

ЗАПИСКИ
ФИЛИПА ФИЛИПОВИЧА
ВИГЕЛЯ.

ИЗДАНИЕ «РУССКАГО АРХИВА».

(ДОПОЛНЕННОЕ СЪ ПОДЛИВНОЙ РУКОПИСИ).

МОСКВА.

Университетская типографія, Страстной бульваръ.

1892.

Филипп Филиппович Вигель

Записки Филиппа Филипповича Вигеля. Части пятая — седьмая

Филипп Филиппович Вигель (1786–1856) — происходил из обрусевших шведов и родился в семье генерала. Учился во французском пансионе в Москве. С 1800 года служил в разных ведомствах министерств иностранных дел, внутренних дел, финансов. Вице-губернатор Бессарабии (1824–26), градоначальник Керчи (1826–28), с 1829 года — директор Департамента духовных дел иностранных вероисповеданий. В 1840 году вышел в отставку в чине тайного советника и жил попеременно в Москве и Петербурге.

Множество исторических лиц прошло перед Вигелем. Он помнил вступление на престол Павла, знал Николая Павловича ещё великим князем, видел семейство Е. Пугачева, соприкасался с масонами и мартинистами, посещал радения квакеров в Михайловском замке. В записках его проходят А. Кутайсов, князь А. Н. Голицын, поэт-министр Дмитриев, князь Багратион, И. Каподистрия, поколение Воронцовых, Раевских, Кочубев. В Пензе, где в 1801–1809 гг. губернаторствовал его отец, он застал в качестве пензенского губернатора

М. Сперанского, «как Наполеона на Эльбе», уже свергнутого и сдавшегося; при нём доживал свой век «на покое» Румянцев-Задунайский. Назначение Кутузова, все перипетии войны и мира, все слухи и сплетни об интригах и войне, немилость и ссылка Сперанского, первые смутные известия о смерти Александра, заговор декабристов — все это описано Вигелем в «Записках». Заканчиваются они кануном польского мятежа. Старосветский быт, дворянское чванство, старинное передвижение по убогим дорогам с приключениями и знакомствами в пути, служебные интриги — все это колоритно передано Вигелем в спокойной, неторопливой манере.

Издание 1892 года, текст приведён к современной орфографии.

Содержание

Часть пятая	0007
I	0007
II	0028
III	0058
IV	0080
V	0138
VI	0167
VII	0175
VIII	0254
IX	0327
X	0366
XI	0385
XII	0414
XIII	0426
XIV	0452
XV	0471
Часть шестая	0483
I	0483
II	0526
III	0557
IV	0588
V	0613
VI	0650
VII	0688
VIII	0717

IX	0757
X	0807
XI	0845
XII	0876
XIII	0893
XIV	0929
Замечания на нынешнее состояние Бессарабии	0941
Часть седьмая	1034
I	1034
II	1077
III	1117
IV	1150
V	1178
VI	1254
VII	1303
VIII	1357
IX	1409
X	1480
XI	1510
XII	1519
XIII	1538
Записка о Керчи	1547
I	1547
II	1614
III	1687

**Филипп Вигель
Записки Филиппа
Филипповича Вигеля
Части пятая — седьмая**

Часть пятая

I

Людовик XVIII-й. — Заблуждения Александра Павловича. Алек-

Незадолго до Французской революции, родился я. Ужасы о ней рассказываемые поражали даже ребяческий мой слух; ибо граница единственной земли, в которой повторялось её безрассудное эхо, находилась только в тридцати верстах от места, где я выросал. Исполненный верноподданнического чувства отец, благочестивая, православная мать и честный немец прежних времен, друг порядка и законов, были первые, которые внушили мне омерзение к её неистовствам. В аристократическом доме два француза-легитимиста довершили ими начатое. Ослепленный пред-рассудками, от которых и поныне еще не краснею, я не только разделять, ни даже понимать не мог восторгов при имени первого консула республики. Она в глазах моих была

продолжительным преступлением, а он был сын её, и долго — её подпора, её слава. Скоро все начали думать и говорить согласно с моим образом мыслей, скоро похвалы ему превратились в укоризненную брань, и именно тогда, как восстановил он монархическую власть и все её формы. Вольнолюбивые видели в нём тирана, истребителя свободы; царелюбцы называли его хищником престола; Англия, которая тогда беспрепятственно давала направление политическим мнениям в России, распространяла в ней ненависть к нему. Венец и порфира казались мне запачканными его полуплебейским прикосновением. В консуле, равно как и в императоре, видел я всё-таки еще революцию: она сокрушала царства, низвергала царей, она сожгла Москву. Когда человек заберет себе что-нибудь в голову, то трудно доказать ему ошибку его.

Весь этот волшебный мир, который столь яркими красками описывали мне старые французы, с коими имел я сношения, исчез в ужасной бездне, подобно городам, поглощенным землею или волнами, Помпее, Геркулануму или Винете. Всё это дореволюционное

блаженство, которое не суждено мне было видеть и которое знал я по одним лишь преданиям, оставалось моею любимейшею мечтой; но не оставалось ни малейшей надежды, чтоб этот золотой век мог когда-либо возвратиться. И вдруг крутой переворот, и быстро за ним последовавшие происшествия воскресили былое, навсегда казавшееся погибшим.

Когда, в неописанной радости моей, громкими молитвами православного духовенства оскверненная цареубийством площадь была очищена и освящена; когда потомок Святого Людовика, приняв его наследие, на заблуждения, на злодеяния минувших лет набросил мантию его милосердия: я думал, что всё кончено. Нимало. Два человека, один восстановитель законного порядка, другой, именем его восстановленный, оба движимые различными чувствами, начали создавать нечто новое, с духом времени более согласное. Оба льстили себя надеждою — истребить снисходительностью и благодушием силу, затмить славу сверженного Наполеона. Возвратившийся Людовик XVIII, на радостях, народу своему октроировал, видишь, пожаловал хартию. С вы-

соты трона, добровольно изливая свободу, он мог надеяться, что подданные будут в нём видеть источник вечных благ. Должен повиниться в тогдашнем невежестве своем: не обратив должного внимания на хартию сию, я почитал ее новым образованием, утверждающим королевскую власть. В дипломатических сношениях, в камерах, везде преимущественно стали показываться Ноальи и Граммоны, Монморанси и Роганы, Ларошфуко и Бофремоны, и я был предоволен. Не прошло года, и Франция доказала, что железный скипетр и меч Наполеона предпочитает она всем хартиям.

Такой урок, данный самим Провидением, кажется, должен бы был образумить венценосцев; но мнения, предрассудки, привитые в первой молодости, видно, совершенно исцелены никогда быть не могут. Если решились уже до того унижить, опозорить Францию, что отдали ее под караул, то, кажется, в это время можно бы было себе всё с нею позволить. Почему же было пропустить сей единственный случай и, для её же блага, не сжать, не оковать её вольности, из коей кроме самого худо-

го, она никакого другого употребления, никогда не умела делать? Ослаблять ее вечными внутренними раздорами могло быть полезно не России, а разве только ближайшей её соседке.

Граф Прованский, иначе Мосье, не имел в нраве ничего схожего с двумя добродушными братьями своими, старшим благочестивым и меньшим — в молодости ветреным шалуном. Он был настоящий француз восемнадцатого века, слегка философ, вольтерьянец, слегка англоман. Не нас одних можно упрекать в страсти к подражанию; этой слабости, кажется, подвержена большая часть человечества. За несколько лет до революции, у французов, точно также как и ныне у нас, вошло в обычай поносить всё отечественное, ругаться над ним и восхищаться одним только иноземным, то есть английским. Следуя общему движению, королевский брат углубился в рассмотрение образований всех государств, но преимущественно с прилежанием стал изучать чудный механизм Великобританской правительственной машины, верх совершенства между изобретениями людей. Небо

Франции омрачилось, грозило королевской власти, и может тайно надеялся он восстановить ее в своей особе, посредством новых своих теорий. Он был начитан, много писал, любил поавторствовать и, родясь на ступенях трона, походил однако же на нынешних профессоров и адвокатов, всегда замышляющих похитить верховную власть. Но он был скромн, осторожен, и подобно родственнику своему, развратному герцогу Орлеанскому, не вступал в явную оппозицию. Первые взрывы революции не испугали его, и когда после взятия Бастилии, граф д'Артуа покинул отечество, около двух лет оставался он еще спокойным зрителем народных бурь. После долгих странствований, последнее убежище нашел он в Англии, и там вблизи мог любоваться искусственным устройством её, которое, к несчастью так много пленяет знакомых мне умнейших людей. На гостеприимное лоно любимой им земли, казалось, навсегда склонил он отягченные тучностью тело и думами главу. В уединении своем не переставал он мечтать об устройстве, которое дал бы он Франции, если б она соблаговолила его при-

звать. Возвращаясь в нее, он нес в руках любимое чадо свое — плод долголетних досугов, в тишине Гартволя им взлелеянное. Оно не спасло Франции от вторжения Наполеона и скорее открыло ему путь в нее; но роди сельская любовь никогда не позволила ему расстаться с ним.

В свободе Англии видят обыкновенно главный источник её богатства и могущества. Там, где вся земля принадлежит малому числу больших владельцев и каждый из них, по прихоти, может лишить живущего на ней клочка земли, который питает его с семейством; там, где с одной стороны горы золота, а с другой голод, вечно ему покорствующий: там, где содержатель фабрики, высылая из неё работника, произносит ему смертный приговор: не знаю, можно ли почитать там людей свободными? Лорды держат народ, как охотники собак на своре: они рвутся, лают; а попритяни их немного, они тотчас уймутся. Столько же было свободы и едва ли не более в Венецианской республике, где её вовсе не было. Нет, Англия сильна беспредельною властью, которою пользуются в ней олигархия

рода и аристократия золота; она сильна местностями положения своего; особенно же она сильна тем, что всегда свято хранила предания древности, всегда их держалась, что народная её гордость всегда чуждалась подражания; что все законы, все учреждения её суть произведения собственной почвы и ни у кого не заимствованы. И не безрассудно ли взять за образец страну, с которой другие не могут иметь ничего общего? Народы, точно также, как всякий человек в особенности, также как звери и растения, имеют различные сложения и склонности. Всякому свое: то, что губительно для пальмы, сохраняет березу, и наоборот. Одинаковая ли температура нужна белому медведю и Африканскому льву?

Высокая ученость почти всегда отделяет людей от действительности жизни. Венчанная мудрость в бархатных сапогах совсем не постигла народный дух французов. Людовик XVIII полагал, что подобно Англии, самые жаркие споры в его камерах будут исполнены достоинства, сопровождаемы приличием. Напрасно: у этого кипучего народа словопрение тотчас обращается в бесчинство, ругатель-

ство, а оппозиция не что иное как постоянный мятеж. Десятки лет прошли, и с каждым годом видим мы, что оно становится всё хуже.

Заблуждения императора Александра истекали из самого чистого источника. Никогда еще не было на троне монарха, оживленного столь горячею, столь искреннею любовью к человечеству. Еще в отроческом возрасте наставник его, швейцарец Лагарп, уверил его, что совершенная свобода есть высочайшее благо для людей. Но видно, что в отчизне его не слишком ею дорожили: ибо вольные жители гор, Альпийские пастухи целыми тысячами продавали себя иноземным владыкам и за деньги проливали кровь свою. Союзная с ним Англия и окружавшие его советники, ей преданные, утвердили в нём желание сделаться благодетелем России, даровав ей представительное правление. Тильзит, который так напрасно клянем мы, всё приостановил. Коль же скоро стали заметны несогласия его с Наполеоном, явился немецкий барон Штейн уполномоченным от многочисленных немецких тайных обществ. Через него возносили

они мольбы свои к нему, вопили о спасении, уверяя, что не переставали почитать его свободолюбцем и видеть в нём будущего спасителя Германии. Тогда свобода сделалась для него не только целью, но обратилась и в средство, и на победоносном пути его до Парижа везде встречали его с венками в руках. В стихах и прозе превозносили его; поэт Раупах изобразил его в трагедии своей *Timoleon der Befreuer*.

Под французским игом, для немцев ненавистным, распространились между ними французские революционные идеи. Очень искусно научились они смешивать слово независимость (что предполагает освобождение от чуждой власти) со словом свобода. Немецкие владетельные князья, дабы более возбудить их к восстанию, обещали им дарование многих прав и вольностей по окончании войны. Нужно ли всё это было, когда честь и самохранение Пруссии и здравая политика Австрии повелевали к нам присоединиться, когда не народы, а правительства и войска один за другим приставали к нам? Наполеон на острове Св. Елены говорил: «Я воевал с Евро-

пой для поддержания монархического правила, цари победили меня именем народной свободы; они жестоко в том будут раскаиваться». И действительно после его шумно-грозно-созидательного века наступило тихо-разрушительное время. Один умный человек сказал, что первые годы после Наполеона были пора посева; через пятнадцать лет все выросло, созрело: горе тем, которые доживут до жатвы.

Англия стояла тогда на вершине могущества своего, блистала величием и богатством, сияла злобною радостью при виде нестерпимых мук, на кои осудила бессмертного своего противника и, дружелюбно улыбаясь неискусным своим подражателям, не переставала твердить им о свободе. В стране, где именем свободы совершены были неслыханные злодеяния, попираемо всё священное для людей, разрушены алтари, изгнана вера Христова, в этой стране единокровные приемники её жертв провозгласили права её неоспоримыми. И, наконец, богоподобный человек, который сделался первым в Европе и в мире, всенародно исповедовал любовь свою к ней! По-

сле того имя её признано равным именам божества и добродетели. Что говорю я? Оно стало выше их. Перед ним все преклоняли головы, и оно сделалось священным для всех, даже для нас, которые прежде никогда не приносили его не от страха, а от неведения.

Трудно мне изобразить, каким неприятным образом был я изумлен, оглушен новым, непонятным сперва для меня языком, которым всё вокруг меня заговорило. Молодость всегда легковерна и великодушна, и первая вспыхнула от прикосновения электрического слова. Довольно скромно позволял я себе входить в суждения с молодыми воинами; куды тебе! Названия запоздалого, старовера, гасильника так и посыпались на меня, и никем не поддержанный я умолк. Любопытно и даже забавно было видеть иных людей, в характере которых была резкая противоположность с правилами, которые вдруг начали они поддерживать: из раболепства стали они прикидываться свободомыслящими. Например, старый министр Козодавлев, который всегда смотрел, откуда при дворе дует ветер, находил в Крылове холопские чувства, в Кры-

лове, который в баснях своих насаждал так много смелых истин, едва завешивая их наготу полупрозрачными прекрасными своими покрывами. На даче у себя, перед всеми высшими властями пресмыкающийся Уваров следующим летом принимал нас в павильоне, посвященном памяти Штейна и названном его именем. Александр хлебнул, и опьянели двор, гвардия и столица его.

Вообще с удивлением заметить должно, что почта во всех землях обыкновенно высшее сословие или аристократия производили народные восстания и направляли их против законной высшей власти. Не говоря уже о революции 89 года, которую раздували дюки и маркизы, во время Фронды, знатные дамы, даже принцессы Монпансье, Лонгевиль принимали сильнейшее участие в возмущениях. В Нидерландах Эгмонт и Горн были не простые люди; Польшу всегда волновали магнаты; в Риме принчипе, гордые и праздные, всегда непокорны и если в Венгрии случится беда, то наверное предсказать можно, что беспокойства произведены будут знатнейшими её богачами. Эти люди, ближе других окружая

трон и ближе других видя слабости сидящих на нём, менее всех уважают их и более всех завидуют им. Безрассудные! Стремясь иссушить единственный источник их благ, они неизбежно ведут сограждан к демократии, для них губительной, истребительной. А там приходит раскаяние; потеряв или, лучше сказать, погубив головы Людовика XVI-го и Марии Антуанетты, роялисты плакали по волосам их.

В одной России это дело кажется невозможным; попытались было бояре, после смерти Петра II-го, облечься в верховную власть; но царелюбивый народ русский пристал даже к немцам, чтобы свергнуть их. Тут дело было совсем иное: из угождения к царской прихоти, может быть, скоро преходящей, некоторые вельможи стали восхвалять свободу. Если первые были преступны, то последние подлы: одни искали власти, а другим хотелось только милостей, повышения.

Важную ошибку на Венском конгрессе вижу я в непризнании Австрийского императора по-прежнему Римским и главою Германии. Нет сомнения, что сие сделано вслед-

ствие дружелюбного угождения Пруссии, которая давно домогается взять первенство между немецкими государствами и повелевать ими. При Оттонах, которые по примеру Карла Великого приняли титул Римских императоров, Германия действительно заняла первое место в Европе. Италия то восставала на нее, то покорялась ей. Крупные и мелкие части, на кои была она раздроблена, время переплело в один большой формат, и на заглавном листе стояло имя избранного императора, более или менее сильного. Порядок сей, существовавший несколько столетий, был нарушен Наполеоном, который сам себя насильственно поставил на место законных императоров. Зачем же, после падения его, не восстановить было прежний порядок? Все эти владения нажалованных им королей и великих герцогов сделались летучими листками (*feuilles volantes*), на живую нитку пришитыми к Франкфуртскому сейму. Мелкие государи сих особняков не в силах были противиться подданным, которые требовали исполнения данных обещаний: подай им конституцию, да и только! Одни уступили ранее, дру-

гие позже, и началась не сильная, но постоянная борьба народа с правительством. Нигде не было единства, ни откуда не было главного надзора, ни могущего влияния. Австрия, единственная твердая блюстительница общенародного спокойствия, довольствовалась сохранением его у себя дома; если бы дано ей было более власти и прав, они конечно водворила бы его и в других германских странах. Непокколебимая в системе управления своего, Австрия сделалась для всей почти Германии предметом ненависти и презрения, совсем не ужаса, и с каждым годом становилась ей более чуждою. Императорский титул, присвоенный одному небольшому герцогству, около которого нанизаны разнородные королевства гораздо обширнее и многочисленнее его, казался также смешною несообразностью. Латинское название сие, пережившее римское величие и для потомства служащее его изображением, прилично только западным и восточным наследникам Августов и Кесарей. Владеет ли он старым или новым Римом или довольно силен, чтобы иметь справедливые притязания на вечные грады, где временно только господ-

ствуют тиара и чалма, тот только без стыда может носить название, которого нет выше в мире. В столь неопределенном положении, мудрено ли, что немцы, среди продолжительного мира, пользуясь всеми плодами его, величайшим материальным благосостоянием, всё еще недовольны, желают лучшего и, разъединенные Венским конгрессом, ищут опять единства? Они волнуются, тоскуют, дерзко говорят и пишут, и замышляют что-то недоброе.

Но как назвать восстановление свободной Польши самодержцем Всероссийским? Никогда еще столь великодушного ослепления не было видано. Неизвестно, кто в малолетстве еще успел уверить Александра, будто возвращение России отторженных от неё западных её областей должно почитаться преступлением его бабки. Стоило только поприлежнее прочесть Русскую историю, чтобы найти в ней оправдание, или, но крайней мере, извинение сему великому злодеянию. В самой цветущей молодости, когда первые впечатления так сильно действуют на сердце и на воображение, полька Нарышкина и поляк

Чарторижский дали познать ему любовь и дружбу. Привязанность к нему польских его подданных представлена ими как невольное сердечное влечение, тогда как в русской добродушной преданности видел он простое исполнение обязанности. Когда на пути в Берлин, в 1805 году, проезжал он через Варшаву, то с трудом мог скрыться от нескромных изъявлений энтузиазма её жителей. Ничто не могло изгладить сих воспоминаний: ни вражда поляков, с новою силой обнаружившаяся против России, следовательно против него (если бы по долгу своему он не захотел отделять себя от неё), ни ужасы и опустошения, которые ровно через двести лет повторили они в Москве и её окрестностях. Он старался уверить себя, что, будучи внуком Екатерины, он обязан загладить её несправедливость. Он был осторожен и нетороплив в исполнении важных предприятий своих: приобретенное им по трактатам Польское Царство первое хотел он подвергнуть испытанию конституционного правления. Желая исподволь новых подданных своих ознакомить со свободой, но зная всю невоздержность поляков, зная, как

готовы они предаваться всякого рода упоениям и опасаясь, чтобы они не слишком стали упиваться сей сладкой отравой, вместо противоядия поставил он меж ними брата своего Константина.

Никто в Петербурге, ни даже настоящие или мнимые друзья свободы, никто не скрывал неодобрения и прискорбия при виде сих новых опасностей, которые добровольно создавал он для России. Это самое, надобно думать, омрачило веселие, которое без того встретило бы его вторичный возврат из Парижа. Отнюдь не будучи свободомыслящим, я, может быть, один в восприятии титула Царя Польского видел событие счастливое для России и основание нового для неё величия в будущем. Мне казалось, что Польша к России должна быть в том же отношении, как при Наполеоне Италия была к Франции: она граничит с немецкими владениями и, по примеру Наполеона, Государь может сделаться главою Германского союза. Или, думал я, Польша будет главным звеном той цепи, которая протянется от неё направо и налево и составлена будет из единокровных ей и нам славянских

государств. Опираясь на Россию, как на огромную скалу, они сами, как ряд твердынь, будут защищать ее от нападений западных народов.

Как ошибался я! И как всё это далеко было от мысли Александра! Слава как будто прискучила ему; он желал еще добра, но не искал за него возмездия меж людей и почитал себя стражем, которого Всевышний поставил для сохранения мира миру. На высоте счастья и успехов внезапно овладело им уныние; он, весь любовь, испытал неблагодарность людей, коим благодетельствовал, и правительств, коих был искренним и мощным союзником. Может быть, он возненавидел бы род человеческий; новое чувство, которое тогда наполнило его душу, не допустило его до того. Любовь к Богу всегда более утверждает в любви к человечеству. Он был расположен к религиозной мечтательности и во время последних странствований его, к сожалению, встретил он одну красноречивую женщину, которая умела передать ему свое неохристианское учение. Это была знаменитая баронесса Крюднер[1], урожденная Фитингоф, вдова рус-

ского посланника в Берлине, писательница, великая грешница, раскаявшаяся, как Магдалина и из светской женщины обратившаяся в площадную проповедницу. В городах и в селах, на открытом воздухе, на распутьях произносила она трогательные речи народу, и целые толпы его следовали из места в место за новой пророчицей. Из многих владений была она изгоняема и, наконец, в России нашла убежище и могилу.

Я старался поместить в этой главе всё то, что при начале 1816 года было, так сказать, в зерне и, постепенно развиваясь, впоследствии причинило нам так много горестей и бедствий. В сей главе объясняется многое, что читатель далее может встретить в сих Записках.

1816^{-18 год.} — Бетанкур. — Институт
 Путьей Сообщения. — Сенновер. —
 Базен.

Поговорив о царях, о важных политических интересах Европы, должен теперь обратиться к малозначащей особе своей, для которой в сем 1816 году пришла эпоха жизни более деятельной, не совсем бесполезной, как было дотоле.

В феврале месяце, одним утром, граф Ламберт прислал пригласить меня к себе в канцелярию. В объяснениях, которые мы имели, увидел я чистосердечное желание быть мне полезным. «Вы теперь ничего не делаете; не хотите ли чем-нибудь заняться? Представляется к тому случай, — сказал он мне. — Слышали ли вы о генерале Бетанкуре? Он в большой доверенности у Государя и по части механики можно почитать его европейскою знаменитостью. Число фальшивых ассигнаций умножилось; надобно переменить их форму; для того хотят устроить особую фабри-

ку, и Государю угодно было дело это поручить Бетанкуру. Через это поставлен он в близкие сношения с министром Финансов, вовлечен в частую переписку с ним и другими ведомствами, а ни языка русского, ни русских форм вовсе не знает. Ему нужен чиновник, который бы хорошо знал французский и русский языки и на которого бы мог он совершенно положиться. Он просил меня о приискании ему такового: я был коротко с ним знакам в Мадриде, когда я находился там секретарем посольства. Я ему назвал вас, но не смел обещать ему вашего согласия. Сегодня вечером поедемте к нему вместе; во всяком случае это будет для вас приятное знакомство. Первоначальные занятия ваши при нём не будут иметь для вас ничего обязательного, вы будете трудиться почти частным образом; пройдет недели две-три, не более и вы увидите, полюбились ли вы друг другу; тогда, продолжая оставаться в министерстве, можете вы официально быть к нему откомандированы, и из сумм, назначенных на заведение и устройство ассигнационной фабрики, можно будет удовлетворять вас приличным содержанием.

Впрочем это нимало не изменяет наших прежних условий; место с хорошим жалованьем и славною квартирой, при службе не весьма утомительной, которое предложил я вам в Комиссии погашения долгов, откроется вместе с нею не ближе как в конце мая или в начале июня. Оно вас ожидает, и до тех пор пройдет довольно времени, чтобы вам на что-нибудь решиться».

Мы нашли Бетанкура одного в обширном кабинете. Он усадил нас вокруг письменного стола своего, разговорился, и знакомство с ним сделалось у меня скоро. Старик показался мне живым, веселым, но не менее того почтенным.

Согласно сделанным накануне предварительным условиям, на следующее утро явился я опять к нему в тот же кабинет. Он сам вынул мне небольшую кипу бумаг, прося меня привести их в порядок. Я разобрал их и с удовольствием увидел, что дела у меня будут немного. Затруднительно было только каждую бумагу писать вдвойне: Бетанкур не хотел подписывать того, чего не понимает, а казенные места не обязаны были знать по-

французски. И для того, на перегнутом пополам листе, на одной половине французское подписывал Бетанкур, а на другой русское скреплял я. Надобно было написать сперва бумагу, потом перевести ее, переписать и, наконец, занести ее под номером в особую тетрадь. Новый начальник мой дивился гениальности моего проворства. Малое количество, самое содержание и краткость сих бумаг одни делали труд сей неважным.

Долго суждено мне было находиться при этом человеке. По многим отношениям был он лицо весьма примечательное, особенно же как выражение духа времени, смешения аристократических предрассудков с плебейскими промышленными наклонностями. Вот почему его самого, семейство его, всё, что мне известно о его жизни, хочу я изобразить здесь с некоторою подробностью.

Неподалеку от Лилля, во Французской Фландрии, и поныне можно найти городок или селение Бетанкур. Предки русского генерала были его владельцами и сохранили его название. Известно, что за люди были эти *сыры*. Когда, при герцогах Бургундских, вся эта

страна начала процветать, и приняты сильные меры для безопасности жителей её богатых, торговых и промышленных городов, то владельцы замков, лишившись средств вооруженною рукою делать поборы на больших дорогах, грабительство свое по соседству перенесли на другую свободную стихию. Услугами сих пиратов воспользовалось правительство небольшого Португальского королевства, которое, будучи прижато к Атлантическому океану, на него беспрестанно устремляло взоры свои и на его пространстве единственно искало себе чести и прибыли. Оно не обманулось: еще до Христофора Колумба и Васко-де-Гамы, смелыми португальскими мореплавателями обреты острова Зеленого мыса, Мадера и Азорские острова, и розданы им. Моряк Бетанкур один из сих островов с графским титулом получил в свое владение; иные говорят — даже Мадеру, но я за это не ручаюсь. Только потомки его, видно, лишились своего острова, ибо сделались испанскими подданными и жителями Канарских островов; и наш Бетанкур родился на счастливом Тенерифском пике, в счастливые для Испа-

нии дни короля Карла III.

Есть искусство вовремя родиться и вовремя умирать, в числе других Бетанкур имел и это искусство. Что бы было с ним, если бы родился он ранее? Из рук самой природы вышел он механиком. Заботясь о благе государства своего, Карл III устраивал тогда славные, покойные дороги, строил мосты, рыл канавы и чистил Гвадалквивир, одним словом создавал в Испании всё то, чего ей не доставало. Ему нужны были инженеры и архитекторы, для них заводил он школы и, подобно Петру Великому, подданных своих посылал учиться за границу. Отправленный им в Англию, Бетанкур провел там молодость свою. Когда Годой, князь постыдного Мира, ввел Бурбона Карла IV в дружественные сношения в союз с Французскою республикой, и испанским подданным открылся свободный путь в Париж, то Бетанкур воспользовался тем, чтоб посетить сей город, где после революции искусственная часть во всех отраслях промышленности стала достигать совершенства. Возвратясь в отечество, сделался он нечто вроде начальника сухопутных и водяных сообщений,

полагать должно, не выше того, что у нас директора департаментов.

С ним в Мадриде коротко был знаком посланник наш Муравьев-Апостол и, желая угодить Государю, который имел одинаковые вкусы с Карлом III, старался подговорить его приехать в Россию; но он никак не мог решиться. Заметив, однако же, что Наполеон отечество его с каждым годом более подбирает в мощные когти свои и предвидя беду неминуемую, сам, наконец, предложил себя. За условленную цену, по контракту заключенному с ним, как с знаменитым художником, не более, приехал он в Петербург осенью 1807 года. Сумма, по условию ему назначенная, была немаловажная: двадцать четыре тысячи рублей ассигнациями, что ныне составило бы около девяноста тысяч. Танцовщицы и певицы, на которых деньги сыплют ныне без счета, едва ли столько получают, а он тоже некоторым образом принадлежал к разряду артистов: испанскому гранду столько бы не дали. На его беду, в самое время приезда его, курс на серебро начал возвышаться, а на ассигнации быстро упадать. Увидев, что через это ли-

шается он более двух третей ожидаемого, стал он громко роптать; беспрестанно умножая содержание его, довели его, наконец, до шестидесяти тысяч рублей. Он этим не остался совершенно доволен: заметив, что в земле, куда он приехал, чин и военный мундир преважное дело, стал требовать того и другого, и его приняли в службу генерал-майором по армии. Тогда притворился он обиженным, утверждая, что чин сей слишком мал для человека, который в отечестве своем был министром; не вдруг, но через два года произвели его генерал-лейтенантом. Не помню за что, Государь пожаловал ему Аннинскую ленту; он отослал ее назад, утверждая, что ему, кавалеру св. Иакова Компостёлского, неприлично принять орден ниже его, и наоборот Государь прислал ему Александровскую ленту. Кто не знает, что орден св. Иакова, равно как и орденна Ависа, Алкантары, Калатравы, Монтеса, суть военно-монашеские братства, рассеянные по Португалии и Испании, и что Мальтийский почитается гораздо выше их? Но его ничем не хотели оскорбить.

Я не виню его: по понятиям, которые име-

ют на Юге и на Западе Европы, в земле северных варваров иностранцы ничего не могут выиграть скромностью, а всё могут брать смелостью, наглостью. С таким содержанием, в таком чине, не трудно было потомку владельческих графов Мадеры и его семейству приписаться в нашей аристократии. В нее так и врезалась, так и засела в ней жена его, Анна, которой особа имела краткость сего имени и совершенно форму небольшой ступки или иготи. Молчаливость почиталась тогда достоинством, а знание иностранных языков облагораживало каждого; но если б кто захотел попристальнее взглядеться в нее, то легко мог принять бы ее за кухарку. Занимаясь механикой и посещая мастерские, Бетанкур вероятно встретил ее среди Лондонского ремесленного народа. Она была католичка, англичанка с французским прозванием, урожденная Жордан, как она подписывалась, не знаю для чего: ибо кому была до того какая нужда, и чем могло это умножить её достоинство? Надобно полагать, что смолоду была она красива собою; без того, кто бы велел Бетанкуру жениться на бедной дура из низкого состояния? А

спесива была она так, что не приведи Бог!

К счастью, дочери ни с какой стороны не походили на Анну Ивановну, а скорее на родителя, Августина Августиновича. Когда они приехали в Петербург, старшая, Каролина, еще молодая, начинала уже дурнеть и стареть, вторая, Аделина, поразила всех своею красотой, а меньшая, Матильда, была еще ребенком. Жаль было смотреть на этих милейших девиц, когда переступали они за двадцать лет. Цвет лица их вдруг начинал портиться, становиться багровым, кожа начинала грубеть и покрываться угрями... Жар в крови, вырывающийся наружу, был у них наследством от отца, которого лицо в старости безобразил густо малиновый цвет. Когда я начал их знать, одна только пятнадцатилетняя Матильда пленяла наружностью; а две старшие давно уже перешли за краткий срок, который жестокая к ним природа дала их престелям. Но было им чем заменить эту великую потерю: каждое слово их выражало грацию ума и сердца; с восхищением можно было слушать их, когда они играли на арфе и на фортепиано, с восхищением любоваться их

рисунками и их народною пляскою фанданго и воллеро; о качуче тогда еще помина не было. Можно ли было удивляться беспредельной нежности к ним отца, и кто бы не был ими счастлив?

В жилах у старика пылал еще жар раскаленного неба, под которым он родился и, как все вспыльчивые люди, имел он доброе сердце и веселый нрав. Ума было у него пропасть, и разговор его был занимателен. Аристократическое чувство, правда, никогда не покидало его даже за станком, за которым всегда трудился он, когда не было у него другого дела; но он принадлежал к восемнадцатому столетию, в котором общею поговоркой было: *poli comme un grand seigneur* — учтив, как великий барин. Читатель, с которым как можно короче старался я познакомить себя, не удивится, узнав, что с таким человеком мы скоро и близко сошлись.

Да какая же была его настоящая должность? можно спросить, и ведь не сам же он делал машины? Для того чтобы отвечать на этот вопрос, нужно за несколько лет воротиться назад и вкратце сделать историю од-

ной из важных отраслей государственного управления. При Екатерине учреждена экспедиция водяных коммуникаций и поставлена наряду с коллегиями. При ней весьма благо- разумно и успешно управлял этою частью один гражданский чиновник, действитель- ный тайный советник граф Сиверс. В первых частях сих Записок сказал уже я, что при учреждении министерств поступила она в ве- домство министра коммерции, и что в 1800 году, преобразованная в особое министер- ство, под названием Главной Дирекции путей сообщения, находилась под управлением принца Георгия Ольденбургского. Там же упо- мянул и об образовании особою корпуса гражданских инженеров, коим для поощре- ния даны были военные чины и мундиры Для пополнения великого недостатка в сих инже- нерах, начали набирать в новый корпус лю- дей кое-откуда, по большей части из граждан- ского ведомства.

Дабы на будущее время не нуждаться в них, учреждено для них особое высшее учи- лище, под названием Института Инженеров Путей Сообщения. Для помещения сего ново-

го заведения, куплен был за безделицу, за триста тысяч рублей ассигнациями, великолепный дом или скорее дворец князя Юсупова, на Фонтанке у Обухова моста. Продавец построил его на славу, по образцу отелей Сен-Жерменского предместий, между двором и садом, с той только разницей, что на пространстве ими занимаемом можно было бы построить три или четыре Парижские отеля. Все ученики были своекоштные, и не только ни один из них не имел жительства в Институте, ни даже права заглядывать в сад, ему принадлежащий. Всем пользовались заведующие им иностранцы. Он состоял под управлением особого директора, над которым были еще принц Ольденбургский, в виде попечителя или покровителя, и генерал Бетанкур, под названием главного начальника Института. Занимаясь разными проектами и планами, сперва потешал он ими только Императора; но тут, по учреждении Института, коего был он настоящим основателем можно сказать, приобрел он оседлость. Он занимал большую, лучшую часть здания, которую, находясь при нём, я посещал ежедневно. Он не принадле-

жал к корпусу инженеров, не носил их мундира, числился в свите Государя и почитал себя зависящим единственно от него. Он признавал однако же перед собою первенство принца, пока тот был жив; но после кончины его сделался совершенно независим от преемника его, инженер-генерала Франца Павловича де-Волана. Здание Института со всеми его принадлежностями было как бы отдельное царство, в котором господствовал он самовластно.

Я опять вступил в мир, мне дотоле совсем неизвестный. Подчиненные Бетанкура, коих число было небольшое, составляли свиту, штат и общество его. Я никаких сношений не имел с ними по службе, но, каждодневно встречаясь, скоро свел с ними знакомство, которого не искал и не избегал. О некоторых из них я не умолчу, ибо почитаю их лицами весьма примечательными.

Старый француз Сенновер, который вступив в нашу службу, официально наречен Степаном Игнатьевичем, был директором Института. Он был умен, как демон, в которого конечно некогда веровал он более чем в Христа;

так надобно думать, ибо, принадлежак одной из благороднейших фамилий в Лангедоке и находясь в королевской службе капитаном, сделался он бешеным революционером и санкюлотом. Этого бы никак нельзя было подозревать, смотря на его спокойный вид, внимая его беспрестанным шуточкам, иногда довольно смелым, но никогда не переходящим за пределы благопристойности. Как во всех любезниках школы Вольтеровской, нечестие и безбожие были в нём щеголеваты; но он тогда не хвастался ими. Он был бледен как смерть, худ лицом, но полон телом; страждущие от подагры ноги его еще более изнемогали от тяжести его туловища: он с трудом мог ходить. Я находил его не столько приятным, как забавным, и во время веселых с ним разговоров мне всегда приходил на мысль Окаррон и всё повествуемое о нем. О якобинстве его я бы умолчал и слышанное мною о том охотно счел бы клеветою, если б он сам, увлеченный воспоминаниями о прошедшем, как об удалстве своей молодости, не рассказывал мне иногда о тесной дружбе своей с Маратом. Мне любопытно было слушать о роскош-

ном, раздушенном и эпикурейском житье этого ужасного человека во внутренних комнатах его и как, выходя с Сенновером, переодевались они в запачканные, оборванные блузы, чтобы на улице более угодить простому народу и заслужить имя друзей его.

Когда Шарлотта Корде лишила его друга, и терроризм начал пожирать сам себя, Сенноверу удалось бежать из Франции. Как потом из Англии попал он в Россию, этого я не знаю; известно только, что в продолжение нескольких лет торговал он в Петербурге выписываемым французским табаком. Играя изрядно на скрипке, был иногда приглашаем на вечеринки к достаточным молодым меломанам, между прочим к одному г. Маничарову. По приезде из-за границы, в собственном доме последнего остановился Бетанкур, ни с кем еще не знакомый; первыми знакомыми его были хозяин дома и через него Сенновер. Старики полюбились друг другу, может быть, самую противоположностью характеров; оба были веселого нрава, но один весь так и кипел, а в другом страсти совершенно погасли.

Когда нужно было избрать директора для

Института Путей Сообщения, Бетанкур предложил Сенновера. Как это возможно? Королевской службы капитана, которого к нам можно принять не более как поручиком! Бетанкур объявил, что достойнее его не знает, и что без него и сам он не примет главного начальства. Что было делать? Определили Сенновера исправляющим должность директора, а через шесть месяцев утвердили в сем звании с чином генерал-майора. Нарушение форм в России было как будто торжеством, услаждением для Бетанкура. Новый успех скоро должен был обрадовать Сенновера; на преступные его заблуждения накинута не мантия, а крест Св. Людовика. По возвращении Бурбонов, этот орден дан всем тем, кои до революции имели военные офицерские чины во французской армии, а ему, не знаю как-то, удалось выдать себя за эмигранта. Впрочем, в правилах его не оставалось и тени республиканизма. Вообще, слово свобода для большей части её мнимых поклонников есть лом, которым пробивают, раскалывают они преграды, загораживающие им путь к быстрому возвышению, и который по достижении желает-

мого, бросают.

Поговорив о Сенновере, нельзя же не сказать ни слова о его семействе. Также как Бетанкур, в Великобритании нашел он себе подругу, только англичанку-англиканку, бабу смирную, которая приплелась к Бетанкурше в виде всепокорнейшей собеседницы. Я никогда не слыхал её голоса, и в гостиной у мужа казалась она домашнею утварью, которую забыли вынести. Единственная же дочь их, Стефания, в тринадцать лет изумляла уже живостью и смелостью ума и развивающимся кокетством. Можно было предвидеть, что она пойдет далеко, что она будет чем-то, чему тогда не было еще имени. Ожидания сбылись: сен-симонизм и все богопротивные секты видели ее сильною своею поборницею.

По открытии Института, начальствовавшие в нём испанец и француз не должны были забыть сводчика своего Маничарова. Он был из армян. Люди этой нации в русских столицах обыкновенно бывают ювелиры, или торгуют шаями, персидскими и индейскими товарами; разбогатевши, объявляют себя дворянами такой земли, где их никогда не быва-

ло. Отец г. Маничарова до того был богат, что сыновьям его нужно было много времени для расстройтва оставленного им состоянія. В старшем из них, любезном моем Петре Макаровиче, было много оригинального. Главною странностью его, среди завистливого, себялюбивого мира сего, почитать можно неистощимую доброту его сердца. Он любил всех людей, обожал всех женщин, наслаждался всеми безвредными для чести удовольствиями. В шумных, холостых обществах, кои предпочтительно посещал он, умел он быть пристойным и тихо-весел, ласков и учтив без приторности. Он был добрым товарищем всех любителей разгульной жизни, по не имел задушевных друзей, за то и не имел ни единого врага. Его душевное спокойствие, слегка тревожимое желаніями, без труда удовлетворяемыми, сохранило ему молодость ума и, конечно, продлит его дни. Сколько поколений встретил он на пороге юности и приводил из неё, сам никогда её не покидая. Никогда в голову не приходила ему служба, как вдруг хозяйственные дела его, пришедши в упадок, не от мотовства, а от беспечности, заставили его о

том подумать. Уже был он лет сорока, когда через покровительство Бетанкура, не имея никакого чина, он был определен в Институт, разумеется, не воспитанником, а экономом одного, прямо с чином инженер-капитана. Ну что уже и была это за экономия! Изо всех новых лиц, с которыми тут свела меня судьба, он более всех полюбился мне своею приветливостью, равенством своего характера.

Образование Института было довольно странное. Воспитанники носили шляпу с пером и офицерский мундир с шитьем, только без эполетов; а произведенные в офицеры, прапорщики, подпоручики, надев эполеты, продолжали оставаться в Институте до поручичьего чина. В нём сперва было четыре только профессора или преподавателя наук. Ими ссудил нас Наполеон, прислав Александру четырех лучших учеников Политехнической Школы: Базена, Потье, Фабра и Дестрема. Это было, как изволите видеть, совершенно французское училище. Самые первые ученики, коими оно наполнилось, были всё молодые графы да князья, также и сыновья французских, немецких и английских ремеслен-

ников, садовников, машинистов, портных и тому подобных; одним словом, всё то что управляющим пришельцам казалось цветом Петербургского юношества. В 1812 году четыре француза объявили, что не могут служить правительству, которое находится в войне с их отечеством и требовали, чтоб их отпустили: им отвечали ссылкой в Сибирь. Учение на время должно было приостановиться. Дабы по возможности помочь этой беде, нарядили в мундир и в штаб-офицерские эполеты мусью Резимона, учителя в частном доме, довольно сведущего в математических науках; да как другого иностранца на первый случай не встретилось, то по неволе должны были взять русского, недавно произведенного в офицеры Севастьянова, который в познаниях догнал и едва ли не перегнал всех иностранных наставников своих. После общего замирения в 1814 году, сосланные французы воротились к своим должностям; во всё время войны сохраняли они жалованье свое и чины: Базен — подполковника, а трое других оставались майорами. Двое из них. Фабр и Дестрем, вскоре, согласно желанию своему, получили

места в округах Путей Сообщения; в Институте же остались только Базен и Потье. О них да позволено будет сказать мне несколько слов.

Уживчивее Петра Петровича Базена ни одного человека не случилось мне видеть. Он родился в самом центре Парижа от бедных мещан и, не совсем будучи уже ребенком, видел все ужасы революции. С одной стороны, это научило его осторожности в изъяснении своих мнений, с другой — породило в нём омерзение к отвратительной грубости развратной Парижской черни. Из разговоров своих старался он изгнать всё то что могло напомнить о навыках его первой молодости, и говорил всегда отборными словами. Не только не позволял себе кого-нибудь порицать, но обо всём и обо всех находил средство говорить с похвалою. В душевном умилении он готов был пасть на колени при имени святого Людовика XVI, умел извинять кровожадных Робеспьера и Дантона, их злодеяния приписывая добрым намерениям, в Лафайете видел самого Вашингтона, приходил в непритворный восторг, когда называли Наполеона, дивился мудрости Людовика XVIII и благород-

ству, рыцарскому духу меньшего брата его. Он имел удивительный дар не только со всеми соглашаться, но каждого порознь уверить, что он совершенно одинакового с ним мнения. Я не думаю, чтоб он кого-нибудь обманывал: невозможно было льстить целому свету; но для борьбы с заблуждениями его он не чувствовал в себе довольно убеждения и желая оставаться в покое, никакого мнения преимущественно не поддерживал. Его все чрезвычайно любили, начиная с меня. Легко было предвидеть, что по службе будет он иметь большие успехи в этой России, которую он искренно или притворно любил и уважал.

Манеры друга его, сотоварища и некогда соученика, Потье, были в совершенной противоположности с его тонкою образованностью.

В нём виден был мужик северной Франции; тоже просторечие и вместо учтивости добродушие не без лукавства.

Петербург как фирмамент: множество больших светил движется в нём; они одни видимы только простыми глазами, тогда как небольшие планеты, около них совершаю-

щие путь свой, остаются неизвестны жителям других планетных систем. Перелетая из одной в другую, в сем совершенно новом для меня мире, с вышепоименованными мною лицами, мне было бы не худо; но, как уже выше я сказал, кроме довольно приятного знакомства, других сношений я с ними иметь не мог. Тот же, с которым служба некоторым образом связывала меня, как объясню я ниже, был для меня совсем не находка.

Для заведения новой ассигнационной фабрики куплен был большой дом откупщика Чоблокова на Фонтанке, близ Калинкина моста. Надобно было заказать несколько машин, другие выписать из Англии; да сверх того нужно было растянуть фасад по улице и возвести несколько новых строений внутри двора. Для того определено было, начиная с 1-го марта 1816 года, в продолжении двух лет, из Казначейства отпускать ежемесячно по шестидесяти тысяч рублей ассигнациями в полное распоряжение Бетанкура, который брался всё устроить экономическим образом. Если бы мне предложено было хранение сих сумм и отчетная часть по ним, я бы решитель-

но отказался; но был другой человек, который принял на себя эту обязанность, тот же самый, которому вместе с тем и поручено бы смотрение за производством работ.

Во время проезда Государя через Брухсаль, вдовствующая маркграфиня Баденская, теща его, навязала ему одного неимущего баденского дворянина, который, по словам её, был весьма искусен по механической части. Из уважения к такой рекомендации, Государь на казенный счет велел отправить искусника к Бетанкуру, с тем, чтобы сей последний сделал из него употребление, какое заблагорассудит. Когда немец захочет угодить начальнику, никто лучше его не сумеет этого сделать. В доверенность к Бетанкуру совершенно вьелся г. Василий Карлович Третер. Он поселился в Чоблоковом доме и начал заниматься перестройкой его, не дождавшись еще высочайшего утверждения. Оно не замедлило, и он принят в службу прямо инженер-майором.

Трудно бывает говорить об иных людях. Обыкновенные пороки легко осмеять; для изъявления негодования, которое производит в душе сотворенное зло, всегда сыщутся выра-

жения; но как быть, когда нельзя ни подняться до ужаса, ни спуститься до смеха? Когда чувствуемое презрение так сильно, что для изображения его нет других слов, кроме тех, кои порядочный человек никогда охотно не употребляет? Я поставлен в эту необходимость и, говоря о Третере, принужден назвать его гнусным плутом. Дотоле знал я одних только честных немцев; но видно, эта нация совсем переродилась, и Третер был первым из тех бесчисленных примеров, которые наконец заставили меня переменить мнение на счет его соотечественников.

Впрочем, что касается до меня лично, я не имел никакой причины быть им недовольным. Не знаю, как объяснялся он с подрядчиками, только мне сообщал он дурно, с ошибками по-французски написанные, заключенные с ними условия, и учтиво просил по воле Бетанкура, переводя их, облечь в законную форму, на узаконенной гербовой бумаге. Я же из собственных денег должен был для того нанимать переписчика. Но взаимная наша антипатия была неодолима: от речей, его, от самого голоса так и пахло дерзким, бесстыд-

ным мошенничеством. Быть не только подчиненным его, ни даже начальником, я ни за что бы не согласился, но отказаться иметь с ним дело мне было невозможно. Тоже самое что я, чувствовали в нему французы, и сам Базен с ним одним только был вовсе нелюбезен. Если был он на руку не чист, за то и на руку был он дерзок; у себя дома с подчиненными бедными солдатами был он настоящий палач; да и в Институте в русском служителям придирался он, чтобы без всякой причины и без всякого права их поколотить. За них вступались французы, и из того один раз чуть было не вышел у него поединок с Базеном. Тут в первый раз мог я заметить разницу в расположении к нам немцев и французов: первые ненавидят нас, как возмужалых и непокорных учеников, которых надеялись они вечно держать в опеке; последние видят в нас победивших, но прежде того побежденных ими великодушных противников.

Мне так надоело возиться с Третером, что я готов был, не говоря ни слова, воротиться опять в Министерство Финансов; одно новое обстоятельство заставило меня приостано-

виться.

Счастливно окончив все войны, Государь захотел предаться вновь некоторым из прерванных любимых своих мирных занятий. Петербург захотелось ему сделать красивее всех посещенных им столиц Европы. Для того придумал он учредить особый архитектурный комитет под председательством Бетанкура. Ни законность прав на владение домами, ни прочность строения казенных и частных зданий не должны были входить в число занятий сего комитета: он должен был просто рассматривать проекты новых фасадов, утверждать их, отвергать или изменять, также заниматься регулированием улиц и площадей, проектированием каналов, мостов и лучшим устройством отдаленных частей города, одним словом, одною только наружною его красотою. Членами в него назначены инженеры и архитекторы.

Почти в то же время, граф Ламберт, уведомляя меня, что штат Комиссии погашения долгов утвержден, и что она скоро имеет быть открыта, требует извещения: сохраняю ли я желание быть одним из её директоров? ибо

только в противном случае будет он почитать себя в праве располагать местом, на которое есть много просящихся. Прежде чем дать ему ответ, объяснил я Бетанкуру, что в настоящем не видя ничего положительного, твердого, я не могу отказаться от места почетного, спокойного и выгодного. Он отвечал мне, что новому Комитету, который скоро должен будет открыть свои заседания, нужны канцелярия и чертежная, что он поручает мне составить первую и штат для обеих, что себе, как правителю этой канцелярии, могу я назначить жалованья сколько мне угодно, что он всё это поднесет Императору, и знает наперед, что всё будет утверждено. Он советовал мне не быть слишком скромным, также не забыть достаточной суммы для найма квартиры Комитету, в которой и я мог бы иметь удобное помещение.

Я расчел, что этот Комитет не что иное, как царская забава, что, невидимому, дела будет в нём немного, и что в небольшом участке, службою мне отмежеванном, буду я полный господин. К тому же я всегда был немного суеверен: рескрипт на имя Бетанкура об

учреждении Комитета был подписан Государем 3-го мая, день именин и рождения матери моей, и я видел в этом счастливое для себя предзнаменование. Итак, я поехал к Ламберту благодарить его за двойные обо мне попечения, и объявить, что от добра добра не ищут, и что я остаюсь доволен тем положением, в которое по его же рекомендации я поставлен.

Без этого проклятого Комитета сколько бы провел я спокойных годов! Винить мне некого, кроме самого себя. Другие промахи свои и неудачи всегда любят взваливать на людей и на обстоятельства; этому всеобщему пороку по крайней мере не был я подвержен. Но как избежать своего предопределения? У меня, видно, на роду было написано увидеть вблизи все состояния; неужели для того, чтоб изобразить их в сих Записках? Коли так, то в следующей главе постараюсь представить художников, с коими пришлось мне коротко ознакомиться.

Архитекторы. — Монферран. — Исакиевский собор.

Всё прежнее поколение архитекторов, которые в конце Екатеринина века, при Павле и в начале царствования Александра, украшали Петербург: Гваренги, Захаров, Старов, Воронихин, Бренна, Камерон; Томон, отошли в вечность, иные не достигнув еще старости; оставался один только Руско́, и тот за ними скоро последовал. Возникли новые строительные знаменитости, которые, по мнению знатоков, в искусстве далеко от первых отстали. Из них четверо посажены членами в Комитет для строений и гидравлических работ, как я самовольно его назвал. Если не портреты с них, то по крайней мере абрисы, кроки хочется мне снять.

Старший по чину и первый по вкусу и таланту между ними был Карл Иванович Росси, иностранец, родившийся в России. Кто был его отец, не знаю; но *chacun sait la tendre mègre*, всякий знал родительницу его, некогда

первую танцовщицу на Петербургском театре. В летописях хореографии прославленное ею имя Росси согласилась она променять не иначе как на столь же знаменитое имя Ле-Пика, которое в царствование Екатерины громко доходило до отдаленнейших от столицы провинций. В Киеве с благоговением производил его танцевальный мой учитель Пото, и я затвердил его; но мне не удалось восхищаться этою четой: вслед за смертью Екатерины и она куда-то закатилась. Слава её однако же не вдруг исчезла, и мне в первой молодости неоднократно случалось читать на афишке: «балет сочинения балетмейстера Ле-Пика». Дочь госпожи Росси, от второго брака, хотя не поступила на сцену, но и не выступила из круга деятельности своих родителей. Она вышла за Огюста, брата сирены Шевалье, некогда пленившей Павла и любимца его Кутайсова. Этот Огюст долго, очень долго танцевал и летал перед нами зephyром, пока время, снабдив его чрезмерною дебелостью, не заставило его надеть бороду, наш простой крестьянский кафтан и пуститься очень хорошо плясать по-русски.

Для Росси такой сценической знатности было мало: он пожелал быть артистом еще более благородного разряда. Следуя внутреннему признанию, он сделался архитектором и на сем избранном им пути нажил деньги, получил чины и кресты. Судьба однако же не вдруг отделила его от родины, от места, где он начал жить и возрастать. Первым произведением его искусства был прекрасный деревянный театр в Москве на Арбатской площади, который сгорел в большом пожаре 1812 года. Он был еще красив и молод, когда его отправили в Москву; к тому же был артист с иностранным прозванием. Половины сих преимуществ достаточно, чтобы пользующиеся ими в Москве обретали рай. Кто знает Московские общества, тому известно, с какою жадностью воспринимается в них молодость людей разных состояний. Успехи Росси в сих обществах были превыше сил его. Когда он воротился в Петербург, друзья с трудом могли его узнать: до того изменился он в лице, до того истощен был он наслаждениями, может быть, душевными. Никогда силы к нему не возвращались; но сие тем полезнее было для

его гения: при изнеможении телесном замечено, что почти всегда изощряется воображение. Взамен здоровья, которого лишился он в барских домах, приобрел он большой навык в светском обхождении. Он был приветлив, любезен, и с ним приятно было иметь дело.

За то, первый после него, Василий Петрович Стасов, был совершенным его контрастом. Кто он? Что он? Откуда он? Мне вовсе неизвестно. Тот же мрак, который изображали его взоры, покрывал и происхождение его. Он, кажется, был человек не злой, но всегда угрюмый, как будто недовольный. Суровость его, которая едва смягчалась в сношениях с начальством, была следствием, как мне кажется, чрезмерного и неудовлетворенного самолюбия. Он хотел быть законодательною властью Комитета и всё предлагал правила, правда, стеснительные для владельцев, за то весьма полезные в рассуждении предосторожности от пожаров.

Третий член, Андрей Алексеевич Михайлов, был настоящий добряк; другого названия ему дать не умею. Маленький, веселый, простой этот человек был воспитан в Академии

Художеств и никогда потом с нею не расставался, ни в звании академика, ни в звании профессора. Он никак не гнался за гениальностью, ничего не умел выдумывать, следовал рабски за славными образцами, по, подражая им, умел однако же из произведений их выбирать всегда лучшее.

Все трое были зодчие домашнего изделия; один только четвертый был иноземный, хотя и не выписной. Прежде чем приехал он в Россию, г. Антоан Модюи посетил развалины Греции; в их священном прахе искал он артистических вдохновений и, как мне казалось, мало привез их к нам с собою. Как об архитекторе, об нём говорить почти нечего; но пребывание многоречивого парижанина в классической земле Эхила и Демосфена усилило в нём дар красноречия, и он сделался оратором нашего Комитета. Скоро открыл я в нём новый талант: подобно Перро, был он и стихотворец. Он подарил мне небольшую тетрадь, по-французски напечатанную в Петербурге под названием: *Циркуль и Лира, le Compas et la Lyre*, содержащую в себе его стихотворения. И что это такое! Ни один ученик

теперь во Франции не позволит себе писать такие стихи; между прочим я помню следующие:

*Caulaincourt, ce mortel dont la
reconnaissance
A jamais dans mon coeur grava le
souvenir,
En parla près du trône et m'y fit
parvenir.*

То есть: «благодарность Коленкура, который возвел его на престол», скажет тот, кто знает по-французски. Дело состоит в том, что он явился здесь во время тесного союза Наполеона с Александром, когда Коленкур играл у нас такую большую роль и был довольно силен, чтоб и этого шута представить самому Государю. Он был нрава совсем невеселого, но вообще был добрый малый, и как француз, болтлив и легкомыслен.

Более или менее все эти великие наши строители принадлежали к старой школе. Для них Ветрувий был тоже что Аристотель для литераторов и особенно для драматических писателей. Как последние три единства на сцене почитали непреложным для себя за-

коном, так первые, вне четырех орденов, Дорического, Ионического, Тосканского и Коринфского, видели беззаконие, нарушение священнейших обязанностей, и композитный орден едва только допускали в своих планах. Французская революция всё ниспровергла, почти всё поставила вверх дном; но, во дни владычества ужасных и смешных подражателей древней Греции и Рима, классицизм в художествах, в науках, во всем устоял и даже еще более усилился. В императоре Александре был вкус артиста, но в то же время пристрастие военного начальника к точности размеров, к правильности линий; и дабы регулярно Петербургу дать еще более однообразия, утомительного для глаз, учредил он этот Комитет. Члены добросовестно выполняли его намерения; план всякого новостроющегося домика на Песках или на Петербургской стороне, представленный их рассмотрению, подвергался строгим правилам архитектуры. Один только Бетанкур вздыхал, видя невозможность в этом случае не сообразоваться с волею Царя. Мальчиком любовался он прелестями Альгамбры и фантастически-

ми украшениями мавританских зданий в Севилье и всегда оставался поборником кудрявой пестроты.

Три инженера участвовали в заседаниях Комитета. Один неизбежный для меня Тре-тер, другой данный мне в утешение вновь произведенный полковник Базен. Третий был весьма молодой майор Андрей Данилович Готман, благородной наружности и приятно-го обхождения, более всех отличившийся в науках воспитанник Инженерного Института, Немец, но католик, преимущественно знающий один только французский язык, сын садовника, но ультралегитимист, благодаря стараниям воспитавшего его архитектора Томона, а еще более его жены.

Кроме одного Росси, никто из наших членов не мог тогда назвать публичного памятника, который был созданием его творческой мысли. Другие занимались дотоле одними частными строениями, которые, доставляя им небольшую прибыль, мало умножали их известность. Только Модюи, получая от казны жалованье, решительно ничего не делал и обиделся, когда ему предложили совершен-

ную перестройку придворных конюшен, в таком виде, в каком они ныне находятся. Стасов не поспесивился и хорошо сделал. Модюи же отвечал, что может принять на себя возведение только тех зданий, которые должны увековечить славу Александра, сделать их обоих бессмертными. Он нашел однако же средство быть действительно полезным: этим же летом принялся он за составление проектов для нового устройства внутренних населеннейших частей города. В них было еще много пустырей, обширных кварталов, одними садами и огородами занятых; через них стал он проводить линии и этим способом умножать сообщения и сближать расстояния. Все его планы были одобрены; но, увы, не ему было поручено их исполнение. Например, по его указаниям, по его рисункам, на месте грязного двора перед Аничковым дворцом, устроена большая площадь со сквером, с Александринским театром и с высокими вокруг него зданиями, и пробита улица вплоть до Чернышова моста. По его же проекту с Невского проспекта от городской башни открыта новая Михайловская улица, ведущая к новой пло-

щади, в глубине коей должен был возвыситься Михайловский дворец, и которой однообразные большие строения должны были служить рамой. Всё это начато и окончено без него и даже после него.

Самоважнейшее дело, коим в продолжение первого лета, по высочайшей воле, занимался Комитет, было постановление о тротуарах, которых прежде не было в Петербурге. Предмет, конечно, важный, учреждение благотворительное для пешеходцев; но и теперь без смеху не могу я вспомнить сильные прения, которые породил сей вопрос, важность, с которою его обсуживали. Казалось, что дело идет об узаконении, от которого зависит благосостояние государства.

Не помню, в июне или в июле месяце этого года приехал из Парижа один человек, которого появление осталось вовсе незамеченным нашими главными архитекторами, но которого успехи сделались скоро постоянным предметом их досады и зависти. В одно утро нашел я у Бетанкура белобрысого французика, лет тридцати не более, разодетого по последней моде, который привез ему рекомен-

дательное письмо от друга его, часовщика Брегета. Когда он вышел, спросил я об нём, кто он таков? «Право не знаю, — отвечал Бетанкур: — какой-то рисовальщик, зовут его Монферран. Брегет просит меня, впрочем не слишком убедительно, найти ему занятие, а на какую он может быть потребу?» Дня через три позвал он меня в комнату, которая была за кабинетом его и, указывая на большую вызолоченную раму, спросил, что я думаю о том что она содержит в себе? «Да, это просто чудо, — воскликнул я. — Это работа маленького рисовальщика», сказал он мне. В огромном рисунке под стеклом собраны были все достопримечательные древности Рима, Троянова колонна, конная статуя Марка Аврелия, триумфальная арка Септима Севера, обелиски, бронзовая волчица и проч., и так искусно группированы, что составляли нечто целое, чрезвычайно приятное для глаз. Всему этому придавало цену совершенство отделки, которому подобного и никогда не видывал. «Не правда ли, — сказал мне Бетанкур, — что этого человека никак не должны мы выпускать из России?» — «Да как с этим быть?» отвечал

я. — «Вот что мне пришло в голову, — сказал он: — мне хочется поместить его на фарфоровый завод, там будет он сочинять формы для ваз, с его вкусом это будет бесподобно; да сверх того может он рисовать и на самом фарфоре». Он предложил это министру финансов Гурьеву, управлявшему в то же время и Кабинетом, в ведении коего находился завод. Монферран требовал три тысячи рублей ассигнациями, а Гурьев давал только две тысячи пятьсот; от того дело и разошлось. Между тем он всё становился со мною любезнее, до того что я решился посетить его и мнимую его мадам Монферран, почти на чердаке, в небольшой комнате, в которую надобно было проходить через швальню портного Люилье. Он же делал для меня прекрасные маленькие рисунки, из которых, к сожалению, я ни одного у себя не оставил, а все раздарил в альбомы знакомым дамам. За то я и затевал для него выгодное место, которым должен был он остаться доволен. Но пока оставим его, чтобы возвратиться к Комитету.

Я чрезвычайно ошибся, полагая что дела в нём мне будет очень мало. Надобно было со-

ставлять журналы заседаний его; они сначала были не длинны, и это бы еще не беда. Но по примеру Бетанкура захотел Модюи, чтобы они писаны были на двух языках; к нему пристал Третер, который также не знал по-русски, и Бетанкур потребовал, чтобы я удовлетворил их желание. Скоро Модюи принялся витийствовать и подавать нескончаемые мнения, которые целиком должен был я вносить в журнал, переводя их на русский язык. С другой стороны, Стасов начал представлять свои мнения, варварским языком писанные, и их также осужден я был переводить на французский.

Пусть сыщут другую землю, врагами не покоренную, где иностранцы имели бы право требовать, чтобы внутри государства, по их прихоти, дела производились не на одном отечественном языке. Пристрастие к тому, что называем мы европейским просвещением, народное самолюбие наше осуждает на непрерывные пожертвования; беспрестанно подавляя, оно наконец совсем может истребить его. Что из нас выйдет тогда? Россия как труп будет тело без души. Если я вполне не

почувствовал тогда, сколь это унижительно для неё, то виною мое себялюбие или эгоизм, если угодно. Прежде чем о ней подумал я о себе и находил обидным, что архитекторы так самовольно могут располагать моими занятиями, и на этот счет объяснился с Бетанкурром. «Пожалуйста, не смотрите на них, а знайте меня одного», отвечал он; и действительно иногда случалось мне в его отсутствии его именем объявлять им свою волю. Даже в напрасном обременении этом видел я полезное для себя умножение труда: мне хотелось настоящей жизни свою, так сказать, оторвать от прошедшего своего бездействия, закалить себя в работе; с остервенением вооружился я против своей лени и с беспримерным терпением стал переводить с языка на язык и французскую болтовню Модюи, и русское вранье Стасова.

Первые месяца полтора составлял я одну всю канцелярию Комитета и, несмотря на всё рвение мое, мне приходилось не в мочь. Бетанкур всё твердил мне: «да зачем не наберете вы канцелярию? вы имеете на то полную власть». Это легко было сказать; в надежде на

будущее жалованье заманить людей, которые бы, по крайней мере, умели переписывать по-французски, было дело весьма трудное; однако же и это не знаю как-то мне удалось.

В департаменте горных и соляных дел служил столоначальником некто Николай Яковлевич Ноден. Не знаю, легковерие ли его, или доверчивость, которую чистосердечие мое внушало всем людям, а может быть и слабая надежда сколько-нибудь умножить средства к содержанию бедного семейства, понудили его принять мое предложение, только он согласился, не покидая настоящего места служения, приходить ко мне на помощь. Он был воспитан в Сухопутном Кадетском Корпусе, где мать его, французженка, вдова танцмейстера той же нации, была инспектриссою при малолетних кадетях[2]. В нём не было достаточно ни способностей, ни познаний, чтобы когда-либо занять какое-нибудь высокое место, но в канцеляриях такие люди клад: он был точен и неутомим. Не столько живости, сколько веселости было у него не в уме, а в характере и необыкновенная кротость в душе; сердиться он никогда не умел, а только

иногда морщился, и за такого помощника, право, мне можно было благодарить Бога.

Я не замедлил составленный мною штат представить на усмотрение Бетанкура. Ни председателю, ни членам никакого жалования в нём не полагалось. Правителю же канцелярии, то есть самому себе, назначил я по две тысячи пятисот рублей ассигнациями ежегодного содержания, секретарю по тысяче пятисот, а двум помощникам его только по тысяче, да сверх того, начальнику чертежной тоже самое что правителю канцелярии, и двенадцати чертежникам от пятисот до тысячи рублей ежегодно. Служащим в канцелярии Комитета выговорил я право занимать другие должности в иных ведомствах, и Нодену, не отнимая его у департамента горных дел, предназначил высокий титул секретаря. Мне удалось завербовать ему и двух помощников: в ожидании будущих благ, молодой человек Прудников, служащий в канцелярии министра Финансов, и старший брат члена Готмана, учитель в частном доме, но числящийся в каком-то ведомстве, согласились некоторое время трудиться при мне безвозмездно.

Должность начальника чертежной березы для Монферрана и чрезвычайно удивился, когда на сделанное мною о том предложение от Бетанкура получил отказ. «Он для такой должности еще слишком молод», — отвечал он. Я, однако же не отступился и выторговал ему, по крайней мере, название старшего чертежника, правда, без жалованья, но с квартирою и с суммою, равную жалованью, в виде награждения или пособия ему, от Комитета выдаваемою. Я должен был объяснить это Монферрану, который всё с благодарностью готов был принять, как будто предвидя, что всё это скоро должно перемениться. Первый набор чертежников, из воспитанников Академии Художеств, сделанный с помощью члена Михайлова, последовавший, однако же, не прежде как через семь месяцев после открытия Комитета, был также весьма удачен. В числе их находились ныне известные архитекторы: Брюлов, Тон, Штакеншнейдер и Щедрин.

Переписывались мы более всего с главнокомандующим в Петербурге, Вязмитиновым; но в сношениях с ним Бетанкур, чрезвычайно

любимый Царем, умел, однако же, сохранять совершенное равенство; с переменою обстоятельств впоследствии сие должно было измениться. С другой стороны, и я, в частых сношениях с двумя правителями канцелярии его, никак не хотел признавать их перед собою первенства. Обоих громко обвиняли в мздоимстве; но я так уже привык это слышать, что смотрел на них без малейшего отвращения. Один из них, Адамович, имел притязания на образованность и приятность форм; другой, Перевозчиков, был веселый и ласковый плут; тот и другой, по-видимому, старались мне быть угодными.

Не выходя из скромной роли своей, Монферран, между тем, тайком трудился над чем-то важным. На словах Государь просил Бетанкура поручить кому-нибудь составить проект перестройки Исакиевского собора, так, чтобы сохраняя всё прежнее здание, разве с небольшою только прибавкою, дать вид более великолепный и благообразный сему великому памятнику. Бетанкуру пришло в голову для пробы занять этим Монферрана, выдав ему план церкви и все архитектурные книги из

институтской библиотеки. Что же он сделал? Выбирая всё лучшее, усердно принялся списывать находящиеся в них изображения храмов, приноравливая их к величине и пропорциям нашего Исакиевского собора. Таким образом составил он разом двадцать четыре проекта или, лучше сказать, начертил двадцать четыре прекраснейших миниатюрных рисунка и сделал из них в переплете красивый альбом. Тут всё можно было найти: китайский, индейский, готический вкус, византийский стиль и стиль Возрождения и, разумеется, чисто греческую архитектуру древнейших и новейших памятников.

В это время начались ежегодные, продолжительные, непрерывные путешествия Государя внутри России, которые не должны были прекратиться для него даже самую его смертью. Не знаю, до какой степени знакомили они его с духом его народа и выгодами его государства. По возвращении его, в глухую осень, из первого такого путешествия, Бетанкур представил ему монферрановский альбом, прося один из рисунков удостоить своим выбором: верный вкус Его Величества будет

служить потом руководством для исполнителей его воли. Нельзя было не восхититься искусством рисовальщика, и Государь на время оставил у себя альбом.

На другой день Бетанкур, с каким-то таинственным видом, позвал меня к себе в кабинет и наедине вполголоса сказал мне:

— Напишите указ придворной конторе об определении Монферрана императорским архитектором, с тремя тысячами рублей ассигнациями жалованья из сумм Кабинета.

Я изумился и не мог удержаться, чтобы не сказать:

— Да какой же он архитектор? Он отроду ничего не строил, и вы сами едва признаете его чертежником.

— Ну, ну, — отвечал он, — так и быть; пожалуйста помолчите о том и напишите только указ.

Я собственноручно написал его, а Государь подписал.

А утверждение нашего штата, несмотря на возвращение Императора, всё еще день от ото дня откладывалось. Наконец, только в декабре вышло вдруг милостивое решение: на

содержание Комитета выдать из уездного казначейства всю сумму сполна за весь истекающий год, а чиновникам — жалованье с 3-го мая, со дня подписания рескрипта Бетанкуру. Сей последний всё еще упрямылся и, несмотря на великолепный титул, им доставленный Монферрану, определил его к нам только что старшим чертежником. Он же, как мне кажется, с умыслом ежился и гнулся перед ним, уверяя его, что во всех больших постройках настоящим архитектором, великим строителем будет он сам, Бетанкур, а он по возможности будет стараться облекать в формы гениальные его идеи.

Дабы кончить рассказ о решительном устройстве пресловутого Комитета, необходимо должен я выступить за пределы 1816 года. В январе 1817 нанял я для него, равно как и для себя, удобную и поместительную квартиру, в доме Шмидта, у Семеновского моста, на углу Фонтанки и Апраксинского переулка. Поселившись в этом приюте, который, по предчувствиям моим, столько лет должен был я занимать, и который, не превышая скудные средства мои, как мог, старался я лучше при-

братъ, ощутил я необычайную отраду. Мне уже исполнилось тридцать лет, и тщетно усиливался я дотолѣ найти постоянное место и прочную службу, вездѣ встречая неудачи. Оттого-то самая жизнь моя в Петербургѣ была всегда кочевая; с одной небольшой квартир-ки часто переезжал я на другую малую. Тут было нечто похожее на оседлость, и это единственный дом, мимо котораго и доселе не могу я равнодушно пройти или проехать. Мне сожителемъ в Монферранѣ, и первые мѣсяцы соседствомъ его оставался я доволенъ. После началъ онъ зазнаваться; я долженъ былъ искать средства, чтобы оградить себя отъ неприятностей, которые готовъ былъ онъ дѣлать, и онъ унялся. Чертежникамъ раздавалъ онъ работу; но они меня гораздо болѣе признавали своимъ начальникомъ. Однимъ словомъ, в небольшомъ углу своемъ долго оставался я совершеннымъ хозяиномъ.

IV

Князь Тюфякин. — Князь А. А. Шаховской. —
Заседания «Арзамаса». — М. Ф. Орлов и
Д. Н. Блудов. — Массонство.

Не целую главу, а несколько страниц в каждой части сих Записок посвящаю я обыкновенно описанию современного состояния русского театра. Здесь достаточно мне будет на то несколько строк; ибо в предыдущей части довольно говорил я об нём, и остается только назвать несколько новых молодых талантов, тогда показавшихся, из коих некоторые и поныне украшают нашу сцену.

Особенно примечательны были два актера, Сосницкий в комедиях и Рамазанов в водевилях. Первому, в цветущие лета, удалось попасть в общество образованных людей; а как сверх того имел он и врожденное чувство светской пристойности, то первый явил себя на сцене молодым человеком, которого можно пустить в лучшую гостиную. Другой, Рамазанов, был живчик, который пел приятным голосом и весьма естественно играл не в шу-

товских, а в веселиях и забавных ролях.

Главною актрисою в комедиях была Валберхова, весьма еще не старая и красивая, но не совсем однако же и молодая дева, дочь посредственного танцовщика Лесогорова, который перевел себя на немецкий язык, дабы внушить зрителям более к себе уважения. Она была, как уверяли, примерной нравственности, скромна, добродетельна и отказалась от брака, для того чтобы прилежнее заниматься воспитанием сирот, меньших братьев и сестер. Такие почтенные свойства вредили однако же её таланту, когда приходилось ей играть ветренных кокеток. Прикованный не любовью, а сожитием, привычкою и общими выгодами к другой актрисе, Шаховской тщетно, говорят, вздыхал у ног её. Катерина Ивановна Ежова (мадам Жегова, как называли ее французские актеры) была женщина или девица хитрая и смелая. Домохозяйка его и мать его детей, она держала его, как говорится, в ежовых рукавицах: змеей обвилась она вокруг его огромного туловища. В ролях сердитых барынь на сцене заступила она место Рахмановой, которая по старости отошла

на покой. К тому же и самый характер нового рода крикуний мало походил на тот, который так искусно изображала Рахманова.

Также и в трагедиях играла Валберхова и, казалось бы, гораздо превосходнее, если какой-либо второстепенный талант мог бы выдержать сравнение с совершенством игры Семеновой. Ни в России, ни за границей в трагедии я никого выше её не видал. На театре она казалась царицей среди подвластных ей рабов, и по моему мнению у нас не умели ей довольно дивиться. Стареющая Каратыгина иногда дерзала также показываться подле Семеновой; а неблагодарная публика, которая прежде, не видав лучшего, столько пленялась ею, смотрела уже на нее с отвращением. Ей обещано было новое, живейшее удовольствие: Гнедич и друг его, Лобанов, возвестили ей, что в трагедии, переведенной последним, будет она изумлена игрой молоденькой актрисы Степановой, в роле Ифигении. Я видел это первое представление и заодно с публикой восторгов не ощутил и не изъявлял.

В отсутствии французской труппы не одни мелкие чиновники и гостинодворцы посеща-

ли русский театр, но и лучшее общество. Дабы видеть и слышать Семенову, соглашалось оно выносить неистового Яковлева, нашего простонародного Лекеня, который многие лета продолжал еще хрипеть и реветь перед зрителями. Для молодых ролей, за неимением лучшего, был некто Щеников; совсем не помню, когда он исчез и куда он девался. Еще один молодой купчик, Брянской, пошел в трагические актеры; он был не без дарований, говорил стихи очень внятно и речисто и мог бы, заступив место Яковлева, избавить нас от него, но, к сожалению, был чрезвычайно холоден. В это время более десяти лет уже находился он на сцене и о сю пору, кажется, не покидал её; после женился он на вышереченной Степановой, и она, благодаря сему союзу, и поныне еще в числе подставных актрис.

Примадонной в опере всё оставалась меньшая Семенова, со столь же пышною красотой и со столь же тощим голосом. Первый тенор был всё тот же славный Самойлов; второй тенор был молодой человек Климовский, как уверяли, из малороссийских дворян, воспитанный в придворной певческой школе; го-

лос у него был слабее чем у Самойлова, но еще приятнее, и музыку знал он лучше. После большего пожара старая Сандунова из Москвы бежала в Петербург и в нём осталась; ибо не было надежды, чтобы в старой столице театр мог скоро быть восстановлен. Она согласилась играть роли старух, однако же по нужде заставляли ее выполнять ролю Весталки и другие, в которых был необходим её уже не свежий, но еще сильный и чистый голос. Партию баса пел весьма не худо Злов, также в одно время с нею из Москвы приехавший певец.

Танцевальные зрелища лишились Дюпора, вместе с Жорж уехавшего во Францию. Неизменная чета Дидло опять осталась тогда одна, чтобы владычествовать в балетах. Двое молодых мальчиков, Люстих и Шемаев, обещали было сравняться с Дюпором, но не сдержали обещанного: поджилки скоро отказались им служить. Члены у русских бывают гибки только в первой молодости; до старости всегда готовы они и бывают в состоянии пахать и ратовать, но одним французам от природы дана привилегия до могилы ловко

прыгать и вертеться. Доказательством тому может служить мусью Андре, которого в 1803 году видели мы довольно пожилым французским актером и который, дабы не расставаться со сценою, в это время неумоимо продолжал плясать на ней, что, двадцать лет спустя, делает он и поныне. Именной список тогдашних русских артистов заключу я названием искусной танцовщицы и известной красавицы, девицы Истоминой, которая в продолжение многих лет пленяла зрителей и сводила с ума молодых офицеров. Она была причиною нескольких поединков между ними и даже смерти одного из них.

В самом главном управлении театральном произошла тогда большая перемена. Вместе с князем Голицыным при Павле сослан был в Москву другой камергер, находившийся при наследнике, князь Петр Иванович Тюфякин, и вместе с ним был вызван по воцарении Александра. Как в характерах обоих князей-камергеров, так и в степени доверенности к ним Государя была великая разница. Голицын был человек добродушный, отменно веселый, но степенный и с молода склонный к

набожности. Тюфякин был скучен, несносен, своенравен и знал одни только чувственные наслаждения. Видя себя обманутым в надежде сделаться любимцем Царя, он с досады поселился в Париже и выезжал из него только во время разрыва Наполеона с Россией, впрочем не возвращаясь в нее. В начале 1812 года для русских и в Европе уже не было места; во внимание к прежней, если не службе, то преданности, Государь наградил воротившегося в отечество блудного Тюфякина званием гофмейстера при дворе и вице-директора театральных зрелищ. В конце 1814 года Александр Львович Нарышкин должен был сопровождать императрицу Елисавету Алексеевну во время заграничного её путешествия, и находя, что без французской труппы ему нечего делать, сохраняя звание главного директора, всё управление свое передал в руки Тюфякина, а тот из них его более уже не выпускал. Каждому свое: в удел Голицына поступила церковь, Тюфякину достался театр.

При начальнике, который вечером никогда не бывал в трезвом виде, власть Шаховского должна была умножиться. Его сожи-

тельница Ежова каждый вечер принимала у себя актрис, танцовщиц и воспитанниц театральной школы; преимущественно же последних, дабы дать им более ловкости в обращении. Несколько пожилых и большая часть молодых людей Петербурга добивались чести быть принятыми в её салопе. Освещение его и угощение, по крайней мере чашкою чаю, сопряжено было с издержками. Какими средствами вознаграждала она себя за них, мне не известно. Из вседневных посетителей сих составлялись дружины хлопунгов, с которыми автор-хозяин всегда мог быть уверен в победе. Если литературная слава его чрез то несколько увеличивалась, за то честь его жестоко страдала от этого. Эти, сначала, столь послушные посетители, видно, приобретая большие права, сделались вдруг смелы и взыскательны. Часто доставалось от них бедной Ежовой, говорят даже самому Шаховскому, до того, что они принуждены были, наконец, прекратить свое гостеприимство. Вот до чего иногда доводит сила страстей, даже самых дозволенных, невидимому, самых полезных просвещению. И теперь без душевного

сожаления не могу вспомнить об этой эпохе жизни слабого, доброго князя, которого после пришлось мне так много любить.

Пока неуважение света и даже знакомых постигало его, избранный им спокойный и безответный его противник Жуковский всё более возвышался в общем мнении. Ему, отставному титулярному советнику, как певцу славы русского воинства, по возвращении своем, Государь пожаловал богатый бриллиантовый перстень с своим вензелем и четыре тысячи рублей ассигнациями пенсионера. Такую блестящую награду сочла Беседа, но знаю почему, для себя обидною; а Арзамас, признаться должно, имел слабость видеть в этом свое торжество.

Другое сильнейшее горе ожидало Беседу. В начале 1816 года, Карамзин, не бывавший в Петербурге более двадцати пяти лет, приехал в сопровождении Вяземского и Василия Львовича Пушкина. Сам Государь принял его отлично, можно сказать, дружелюбно. На издание уже написанных им восьми томов *Истории Государства Российского* велел отпустить ему шестьдесят тысяч рублей ассигнациями,

да, сверх того, с чином статского советника, дал ему прямо Анненскую ленту. Петербург — город придворный, казенный; пример Царя сильно действует в нём на людей; тут подражать было не трудно: под предлогом уважения к личным достоинствам Карамзина, удивления к его талантам, все на перерыв стали оказывать ему почтительные ласки. Творение свое хотел он печатать в Петербурге, и для того, на время возвратясь в Москву, следующею осенью прибыл он со всем семейством своим и остался в нём.

В этой главе хочется мне кстати досказать повесть о Беседе и Арзамасе, хотя для того и должен буду выступить за пределы 1816 года. Одно будет не весьма длинно. Беседа в этом году как будто исчезла, совсем пропала без вести. Единственное заседание её, на коем я присутствовал, было едва ли не последнее; если потом и были они, то не публичные и верно очень редко, ибо о них и слуху не было. Единственный свет, ее озарявший, слабел и тихо угас на берегах Волхова: летом Державин заснул вечным сном в деревне своей Званке, невольно осудив на то и Беседу. Боже-

ство отлетело, и двери во храм его навсегда затворились.

Когда старуха-Беседа в изнеможении сил близилась к концу, в тоже самое время молодой соперник её всё более крепился и мужал. Век его был также короток, но он оставил по себе долгие воспоминания. Новых членов, которыми он обогащался, да позволено мне будет назвать здесь по порядку, неизвестных же читателю стараться познакомить с ним.

Первые им воспрятые были прибывшие из-за границы два дипломата. По летам своим Петр Иванович Полетика мог некоторым образом почитаться нам ровесником, по он всегда был старообразен: ему не было еще сорока лет, а казалось гораздо за сорок, и потому он не совсем подходил под стать к людям, из которых составлялась не академия, а общество довольно молодых еще, пристойных весельчаков. Он родом происходил от одного из греческих семейств, поселенных в Нежине; отец его или дед, если не ошибаюсь, был последним архиатером, то есть, тем, что мы ныне называем генерал-штаб-доктором. Он воспитан был в Сухопутном Кадетском Корпусе при

графе Ангальте, который так много заботился не столько об умственном, как о светском образовании выпускаемых из него юношей. Они знали иностранные языки, всего понемногу, хорошо были выучены верховой езде, танцованью, и всё это было не худо; по крайней мере, преподаны им средства, при некоторых способностях, самим после делать приобретения в области наук, тогда как ныне в казармах, именуемых корпусами, кадеты, от коих требуется знание одной фронтальной службы, сих средств с малолетства навсегда лишены.

Наш Полетика не без пользы употребил небольшой запас познаний, полученных им в корпусе. Не знаю хорошенько, поступал ли он в военную службу, только, наверное, не долго в ней оставался. Семейство его находилось под особым покровительством императрицы Марии Федоровны: старший брат его несколько времени был секретарем её величества; из сестер, воспитанных в Смольном монастыре, одна попала во фрейлины и жила во дворце. С такою опорой рано мог он выбраться на хорошую дорогу, но на ней успехами своими

обязан был уже собственному уму. Служа в Иностранной Коллегии, состоял он при разных миссиях и изъездил почти весь свет. Место советника посольства в Мадриде было последнее, которое занимал он с 1813 года; оттуда, после вторичного падения Наполеона, вызван был в Париж и, по заключении мира, причисленный к делам коллегии, прибыл в Петербург, с тем, чтобы получить новое назначение. Он был собою не виден, но умные черты лица и всегда изысканная опрятность делали наружность его довольно приятною. Исполненный чести и прямодушия, он соединял их с тонкостью, свойственною людям его происхождения и роду службы его; откровенность его, совсем не притворная, была однако же не без расчёта; он так искусно, шутливо, не обидно умел говорить величайшие истины людям сильным, что их самих заставлял улыбаться. Он не имел глубоких познаний, но в делах службы и в разговорах всегда виден был в нём сведущий человек. Не зная вовсе спеси, со всеми был он обходителен, а никто не решился бы забыться перед ним. Всеми был он любим и уважаем, сам же ни к кому

не чувствовал ненависти, и если чуждался запятнанных людей, то старался и им не оказывать явного презрения. К сожалению моему, одержим он был сильною англomanией, и этот недостаток в глазах моих, делал его несколько похожим на методиста или квакера, придавал ему однако же много забавно почтенной оригинальности. Вообще, я нахожу, что благоразумнее его никто еще не умел распорядиться жизнью; он умел сделать ее полезною и приятною как для себя, так и для знакомых. Из-за морей иногда показывался он в Петербурге и потом вдруг исчезал из него; во время сих быстрых появлений, коротко познакомился он с сослуживцами своими, Дашковым и Блудовым; мне также не раз случалось с ним встречаться и разговаривать. Лишь только узнали о его приезде, единогласно, громогласно призвали его в наше общество. Он мало занимался русскою литературой, хотя довольно хорошо ее звал; но, я повторяю, не одни литераторы нам были нужны. Его бы следовало принять почетным членом: тогда их у нас еще не было всё были одни действительные, и нареченный Очарован-

ным Челном, не знаю как-то, ускользнул он от обязанности произнести вступительную речь. Недолго насладились мы его обществом: следующей весной назначен был он советником посольства в Лондон.

Вместе с ним из Мадрида и Парижа приехал один юноша, впрочем лет двадцати пяти, приятель Дашкова. Отец Дмитрия Петровича Северина, Петр Иванович, служил когда-то капитаном гвардии Семеновского полка в одно время с Иваном Ивановичем Дмитриевым. Во дни добродушной старины нашей достаточно было товарищества по службе, чтобы составить дружественные связи между людьми, совершенно разных свойств. Дмитриев был приятелем Северина и еще более жены его, гораздо умнее и просвещеннее мужа своего. Из этого заключали, что он был её любовником и даже приписывали ему родительские права на рожденного от неё сына, хотя она была горбата и настоящий урод. Это была суцая ложь, а не клевета: ибо Дмитриева никто не думал осуждать за такое молодечество.

Спросят, почему Северин был немец, когда

в фамильном имени его нет ничего немецкого? Почему капитан гвардии был сын портного? Последний вопрос никто не сделает ныне, когда в России искусная маршировка доводит до высоких чинов. Во время же оно гвардия была военно-придворный штат; для того, чтобы удостоиться чести быть в ней офицером, нужны были известное имя и большое покровительство. Чье же имя может быть известнее, если не людей, прославившихся в ремеслах? Не всё же пером да мечем; игла и шило также доставляли тогда славу. По одним преданиям и по стихам Дмитриева знаю только я Кроля. Швальная же знаменитость Занфтлебена, закройщика Зеленкова и особенно сапожника Брейтигама мне очень памятливы: молодые франты моего времени ими только и клялись. Кто помнит их ныне? И сколько преемников их потонуло в забвении! И, кажется, даже сам мусью Буту, перед которым гораздо позднее так благоговела молодежь. *Sic transit gloria mundi*. По крайней мере эти люди умели наживать деньги и наживать трехэтажные каменные дома, предоставляя потомкам добывать чести. О портном Северине могли

дойти до меня только темные слухи и то по случаю знакомства моего с его почтенным внуком. Он был счастливее других собратий своих, ибо слава имени его, скромно возникшая на катке, сияет ныне в посольствах; жаль только, что бесплодие Дмитрия Петровича не позволяет надеяться, чтоб она перешла из рода в роды[3].

Когда Дмитриев назначен был министром юстиции, то отцу-Северину, бывшему при Павле Белорусским губернатором, выпросил он сенаторство, а сына определил к себе в канцелярию и дал у себя квартиру. Хотя мальчик вообще был чрезвычайно гибок перед начальством, находили на него иногда бешеные минуты, в которые с высшими делался он также высокомерен и дерзок, как с низшими. Дмитриев не переставал быть щекотливым, а избалованный Северин стал забываться и после двухлетнего сожития, в одно утро, последний был внезапно изгнан своим покровителем. С его же помощью был он потом определен в Иностранную Коллегию и получил место в Испании, откуда воротился с Полетикой. Что сказать мне о сем новом сочлене нашем?

В сокращенном виде был он Уваров, с той, однако, великою разницею, что последний был знатнее родом, гораздо красивее, во сто раз умнее и богаче и даже добродушнее его. Я думаю оттого, что безмерные притязания Уварова давно уже обратились в права, а Северина и поныне еще терзает неудовлетворенное честолюбие. С нами по крайней мере не мог и не умел он позволять себе ничего резкого. Кто же в первой молодости был совершенно зол? Счастье почти всегда ласкает юность, да и самые неудачи так скоро забываются посреди тысячи развлечений, тысячи наслаждений. В это время худенький Северин был точно на молоке испеченный и от огня слегка подрумяненный сухарь. С годами взволнованная желчь, разливаясь по жилам и чертам его в самый неприятный цвет, наконец, окрасила его лицо. Вот его наружность. Что касается до характера, это было удивительное слияние дерзости с подлостью; но надобно признаться — никогда еще не видал я холопство, облеченное в столь щеголеватые и благородные формы. У него были и литературные права: благоволящий к нему Жуковский имел сла-

бость чью-то басенку в восьми стихах напечатать под его именем в собрании русских стихотворений. Он был совоспитанник Вяземского, товарищ по службе Дашкова, приятелем обоих, и потому-то двери Арзамаса открылись пред ним настежь.

Сейчас только что назвал я Вяземского, а он тут и является. Он и Пушкин, как сказал я выше, приехали в Петербург вместе с Карамзиным и месяца через два с ним же воротились в Москву. В сие короткое время один усладил, а другой потешил Арзамас своим присутствием. Весело и совестно вспомнить ныне проказы людей, хотя еще молодых, но уже совсем не мальчиков: кто из тридцатилетних теперь позволит себе так дурачиться? В первой части говорил уже я о первой встрече моей с Василием Львовичем Пушкиным, о метромании его, о его чрезмерном легковерии; здесь нужно прибавить, в похвалу его сердца, что всегда верил он еще более доброму, чем худому. Знакомые, приятели употребляли во зло его доверчивость. Кому-то из нас вздумалось, по случаю вступления его в наше общество, снова подшутить над ним. Эта

мысль сделалась общим желанием, и совокупными силами приступлено к составлению странного, сметного и торжественного церемониала принятия его в «Арзамас». Разумеется, что Жуковский был в этом деле главным изобретателем; и сие самое доказывает, что в этой, можно сказать, семейной шутке, не было никакого дурного умысла, ничего слишком обидного для всеми любимого Пушкина.

Ему возвестили, что непосвященные в таинства нашего общества не иначе в него могут быть приняты как после довольно трудных испытаний, и он согласился подвергнуть им себя. Вяземский успел уверить его, что они совсем не безделица, и что сам он весьма утомился, пройдя через все эти мытарства. Жилище Уварова, просторное и богато убранное, могло одно быть удобным для представления затеваемых комических сцен. Как странствующего в мире сем без цели, нарядили его в хитов с раковинами, надели ему на голову шляпу с широкими полями и дали в руку посох пелерина. В этом наряде, с завязанными глазами, из парадных комнат по задней, узкой и крутой лестнице свели его в

нижний этаж, где ожидали его с руками полными хлопущек, которые бросали ему под ноги. Церемония потом начавшаяся продолжалась около часа: то обращались к нему с вопросами, которые тревожили его самолюбие и принуждали морщиться; то вооружали его луком и стрелою, которую он должен был пустить в чучелу с огромным париком и с безобразною маской, имеющую посреди груди написанный на бумаге известный стих Тредьяковского:

*Чудище обло, озорно, трезовно и
лаяй.*

Сие чудище, повергнутое после выстрела его на пол и им будто побежденное, должно было изображать дурной вкус или Шишкова. Потом заставили его, поддержанного двумя аколитами, пронести на блюде огромного замороженного гуся, а после того... всего не припомню. Между всеми этими проделками, члены произносили ему речи назидательные, ободрительные или поздравительные. В заключение, из темной комнаты, в которой он находился, в другую длинную, ярко освещен-

ную, отдернулась огненного цвета занавесь, ее скрывавшая, он с торжеством вступил в собрание и сказал речь весьма затейливую и приличную. Когда после я спросил его, не досадовал ли он, не скучал ли он сими продолжительными испытаниями? Совсем нет, отвечал, *s'étaient d'aimables allégories*. Подите же после того: родятся же люди как будто для того, чтоб трунили над ними.

В протоколе, который прочитал потом секретарь Жуковский, прописан был весь этот обряд, в предыдущем заседании якобы совершенный над Вяземским. При этом все члены, исключая новопринятого, приступили с требованием на будущее время отменить его, как тягостный для вступающих, так и довольно убыточный для вступивших. Не доставало баллад, чтоб давать их названия новым членам; довольствовались тем, чтобы для того брать из них примечательные имена и слова: вот почему в это же, кажется, заседание Вяземский наречен «Асмодеем», Пушкин стал называться «Вот», а Северин удачно прозван «Резвым Котом». И действительно, этот, ныне старый, тощий кот, был тогда ласков, по край-

ней мере с приятелями, и про них держал в запасе когти, но не выпускал их и в самых ма-
нерах имел еще игривость котенка.

В следующее заседание приглашены были некоторые более или менее знаменитые лица: Карамзин, князь Александр Николаевич Салтыков, Михаил Александрович Салтыков — известные моему читателю и, наконец, Юрий Александрович Нелединский-Мелецкий. Все они, вместе с отсутствующим Дмитриевым, единогласно выбраны почетными членами или почетными гусями: титул сей, разумеется, предложен был Жуковским. В это время только удалось мне видеть Нелединского, невысокого роста, умного, веселого, толстенького старичка, исполненного нежнейшей чувствительности и предававшегося самой грубой чувственности, написавшего немного прелестных стихов и, к сожалению, так много непотребных.

В этот же день потешили и Пушкина. Некогда приятель и почти ровесник Карамзина и Дмитриева, сделался он товарищем людей, по меньшей мере, пятнадцатью годами его моложе. Надобно им было чем-нибудь от-

личить его, признать какое-нибудь первенство его перед собою. И в этом деле помог Жуковский, придумав для него звание «Старосты Арзамаса», с коим сопряжены были некоторые преимущества. Из них некоторые были уморительные и остались у меня в памяти; например: место старосты «Вота», когда он на лицо, подле председателя общества, во дни же отсутствия — в сердцах друзей его; он подписывает протокол... с приличною размашкой; голос его в нашем собрании... имеет силу трубы и приятность флейты, и тому подобный вздор.

Я полагаю, что если б это общество могло ограничиться небольшим числом членов, то оно жило бы согласнее и могло долее продлить свое веселое существование; но Жуковский беспрестанно вербовал новых. Необходимо их представить здесь.

Первого назову я Дмитрия Александровича Кавелина. Гораздо старше Жуковского, он однако же учился с ним вместе в Московском Университетском Пансионе, который оставил он несколько годов прежде него. Он принадлежал к партии Сперанского, находился под

покровительством и в тесной дружбе с Магницким. Он никогда не был выскочкою, держал себя тихо, скромно, удалялся от общества, оттого, может быть, не увлечен был их падением и сохранял значительное место директора Медицинского Департамента. Но без них он как бы осиротел и, как кажется, желал составить новые связи, пристать к чему-нибудь, к кому-нибудь. Придравшись к прежнему соученичеству, он очень ласкался к Жуковскому и предложил ему печатать его сочинения в типографии своего департамента. Он был человек весьма неглупый, с познаниями, что-то написал, казался весьма благоразумным, ко всем был приветлив, а, не знаю, как-то ни у кого к нему сердце не лежало. Действующее лицо без речей, он почти всегда молчал, неохотно улыбался и между нами был совершенно лишний. Жуковский наименовал его «Пустынником». Безнравственность его обнаружилась в скором времени; постыдные поступки лет через семь или восемь до того обесславили его, что все порядочные люди от него удалились, и в России, где общее мнение ко всем так снисходительно, к

нему одному осталось оно немилосердно. Как будто сбылось пророчество Жуковского: около него сделалась пустыня, и он всеми забыт.

Одного только члена, предложенного Жуковским, неохотно приняли. Не знаю, какие предубеждения можно было иметь против Александра Федоровича Воейкова. Я где-то сказал уже, что наш поэт воспитывался в Белевском уезде, в семействе Буниных. Катерина Афанасьевна Бунина, по мужу Протасова, имела двух дочерей, которые, вырастая с ним, любили его как брата; говорят, они были очаровательны. Меньшая выдана за соседа, молодого помещика Воейкова, который также писал стихи, и оттого-то у двух поэтов составилось более чем приятельство, почти родство. Совершенная разница в наружности, чувствах, обращении супругов, конечно, бросалась в глаза: он был мужиковат аляповат, неблагороден; она же настоящая Сильфида, Ундины, существо не земное, как уверяли меня (ибо я только вскользь ее видел). Неужели это ему ставили в вину? Да какое неуклюжество не простил бы я, кажется, за ум; а в нём было его очень много. В душе его не было ничего поэ-

тического, и стихи, столь отчетливо, столь правильно им написанные, не произвели никакого впечатления, не оставили никакой памяти даже в литературном мире. Лучшее произведение его был перевод *Делиллевых Садов*. Как сатирик имел он истинный талант; все еще знают его *Дом Сумасшедших*, в который поместил он друзей и недругов: над первыми смеялся очень забавно, последних казнил без пощады. Он был вольно-практикующий литератор, не принадлежал ни к какой партии, ни к какому разряду, и потому-то мне не случилось доселе упомянуть о нём. Никто, может быть, так хорошо не знал русскую словесность; доказательством любви его к ней служит принятие звания профессора её в Дерптском университете. Это всех удивило и многим не понравилось; наши дворяне, и особенно старинные, как он, гнушались тогда всем, что походило на учительство: они не были современниками Гизо и Шевырева. Воейков никак не обиделся данным ему у нас названием «Дымной Печурки».

Еще одного деревенского соседа, но вместе с тем парижанина в речах и в манерах, поста-

вил Жуковский в «Арзамас». В первой молодости, представленный в большой свет, Александр Алексеевич Плещеев пленил его необыкновенным искусством подражать голосу, приемам и походке знакомых людей, особенно же мастерски умел он кривляться и передразнивать уездных помещиков и их жен. С такую способностью нетрудно было ему перенять у французов их поговорки, все их манеры; и сие делал он уже не в шутку, так что с первого взгляда нельзя было принять его за русского.

Дочь фельдмаршала графа Ивана Григорьевича Чернышова, фрейлина Анна Ивановна, после смерти отца, перед целым двором обнаружила стыд свой; чтобы прикрыть его, строгий, а иногда и снисходительный, император Павел велел скорее приискать ей жениха. Плещеев был вхож в дом её родителя; за него первого взялись, и он тут очень кстати случился. После того молодые супруги удалились в Орловскую губернию и при жизни её никогда не возвращались в Петербург.

В сельское убежище свое перенесли они часть столичных забав, к коим приучена бы-

ла её знатность: сюрпризам, домашним спектаклям, fêtes champêtres, маскарадам конца не было. Плещеев был от природы славный актер, сам играл на сцене и других учил; находили, что это чрезвычайно способствовало просвещению того края. Только брачные узы забавнику, как говорят, не всегда казались забавны: они были блестящие и столь же тяжкие для него оковы. Графиня не забывала свой титул и была чрезвычайно взыскательна с мужем-дворянином. Деревня их находилась в соседстве с Белевым, а сверх того и госпожа Протасова по мужу приходилась теткой Плещееву, почему и Жуковский всегда участвовал в сих празднествах. Когда, овдовев, Плещеев приехал в Петербург, он возвестил нам его как неисчерпаемый источник веселий; а нам то и надо было. Сначала, действительно, он всех насмешил, но вскоре за пределами фарса увидели совершенное ничтожество его. По смуглому цвету лица, всеобщий креститель наш назвал его «Черным Враном»; наскучило, наконец, слушать этого ворона, даже тогда когда он каркал затверженное, а своего уже ровно у него ничего не было. Ему бы-

ло повезло: он попал в чтецы к императрице Марии, сделан камергером и членом театральной дирекции; а после Бог знает, что) из него вышло.

По заочности были приняты еще два члена: Батюшков, как уже сказал я, под именем «Ахилла», и партизан-поэт Денис Васильевич Давыдов, под именем «Армянина». Первый следующей осенью обрадовал нас своим приездом, последнего никогда мы меж себя не видали. Он находился в Москве: там вместе с Вяземским и Пушкиным составили они отделение «Арзамаса», и заседания их посещали Карамзин и Дмитриев. Новых членов они не набирали без согласия горного «Арзамаса», не имея на то права.

Я всё откладывал говорить о некоторых членах, вступивших в «Арзамас», как ныне полагать должно, с дурными замыслами. Тяжко мне изображать людей, возбуждивших во мне приязнь и уважение, после прославивших себя преступными заблуждениями, но коих память, несмотря на то, всё еще осталась мне любезна.

Не стану здесь повторять того, что говорил

я о двух братьях Тургеневых, Андрее и Александре (об одном погибшем во цвете лет; о другом, погубившем в себе способности и знания чрезмерною леностью ума и деятельностью тщеславия). У них был еще третий брат Николай, несколькими годами моложе Александра. Искаженная вера, мартинизм, вольнолюбие восседали у колыбели сих братьев, баюкали их младенчество. Честолюбие между тем в каждом из них развивалось с годами в разных видах и в разных степенях. Определенный в службу по Иностранной Коллегии, Николай Тургенев получил бессрочный отпуск и отправился в Геттинген.

Когда все немцы кипели справедливым, но тайным гневом на истребителя не только независимости их, но и самого названия Германии. Под именем Рейнского Союза, составленного из подданных корольков, она не простиралась даже до Одера, а весь Север её до Любека присоединен был к Франции. Воспрянуть было невозможно: цвет юношества, все жизненные силы государства искусным Наполеоном отрываемы были от родины, и мужество их только что более умножало пора-

бощение их отечества. В университетах сильнее других профессора и студенты томились жаждою свободы и горели желанием мести. Среди тайных заговоров созрел и возмужал наш Тургенев, пристал к известному либералу барону Штейну, и в 1812 году приехал с ним в Петербург. С ним опять поехал он в Германию, чтобы жителей возбуждать к восстанию, что было весьма нетрудно, но опять повторю, не знаю, было ли это необходимо нужно. Он следовал за нашею армией, употреблен был для разных поручений и в 1816 году окончательно воротился в Россию.

Он не имел высоких дарований старшего брата своего Андрея, а заменял их постоянным трудолюбием. Имея врожденное чувство любви к человечеству, оно в нём было усилено правилами какой-то превыспренней филантропии, с ранних лет ему преподанными. По возвращении в отечество, нашедши, что в нём усердно поклоняются кумиру его, свободе, расчел он, что приспело время освобождения от рабства освободителей Европы, — мысль столь же прекрасная, как и безрассудная! С бесчисленными теориями уже явля-

лось к нам множество иностранцев, совершенно не знавших народного духа России, ни пороков, ни доблестей её жителей, ни доброй, ни худой их стороны, не подозревающих неодолимых препятствий, которые законодатель должен встретить, если бы дерзнул приступить к совершенному её преобразованию. Все смотрят на пример Петра Великого и полагают, что у нас стоит только приказать, дабы всё изменилось. Он остриг только верхушки дерев, а до корней и он не смел коснуться. К числу сих иноземных можно приписать и Тургенева, который образовался за границею. Но он искренно, усердно любил Россию, уважал своих соотечественников и в разговорах со мною сколько раз скорбел о том, что чужеземцы распоряжаются у нас как дома. Хорошо, если б и другие русские, подобно ему, перенимали за границей у европейских народов любовь их к отчизне; но это даётся только тем из них, кои по чувствам и по мыслям стоят гораздо выше толпы обыкновенных путешественников наших.

Не знаю, случай или природа, сделав его хромым, осудили его более на сидячую и

уединенную жизнь и отдалили от общества, где мнения, встречая сопротивление, несколько умеряются и смягчаются. К тому же он был одарен великой твердостью (обратившейся после в ужасное упрямство), а это людям почти всегда дает верх над другими. Старший брат его, Александр, обратился и в кадило, вечно перед ним курящееся, и в трубу, гремящую во все концы хвалы его гениальности. А он, просто, был человек с основательными познаниями, с благими намерениями и несбыточными мечтами. Надобно, чтобы наперед ты сам себя уверил, что ты великий муж, потом смело возвести о том: одни по рассеянности, другие по лени поверят тебе, а когда и очнутся, то дело уже сделано, законность притязаний твоих всеми признана. Так часто водится у нас в России. Однако же надобно и признаться, что Тургенев имел в себе нечто вселяющее к нему почтительный страх и доверенность; он был рожден, чтобы властвовать над слабыми умами. Сколько раз случилось мне самому видеть военных и гражданских юношей, как Додонский лес посещающих его кабинет и с подобострастным вни-

манием принимающих непонятные для меня слова, которые, как оракулы, падали из уст новой Сивиллы. Всё тешило тогда Тургенева, всё улыбалось ему. В чине надворного советника назначен он на место действительного статского советника графа Ламберта начальником отделения канцелярии министра Финансов[4], и в тоже время помощником статс-секретаря в Государственном Совете. Всё это, по мнению его друзей, были только первые шаги, которые, несомненно, немедленно должны были повести его к званию министра, а ему было только что двадцать шесть лет от роду. Однако же, хотя после и получал он чины и кресты, выше сих должностей никогда других не занимал он; читая же изданное им в Париже сочинение, можно подумать, что он действительно управлял у нас каким-нибудь министерством.

По тесным связям Александра Тургенева с другими членами, был он принят в «Арзамас» как родной, и кажется, ему самому в нём полюбилось. Тут он нашел нечто похожее на немецкую буршеншафт, людей уже довольно зрелых, не забывающих студенческие при-

вычки. В нём не было ни спеси, ни педантизма; молодость и надежда еще оживляли его, и он был тогда у нас славным товарищем и собеседником. В душевной простоте своей, Жуковский, как будто всем предрекая будущий жребий их, дал Николаю Тургеневу имя убийцы и страдальца «Варвика». Он не скрывал своих желаний и хотя ясно видел, что ни один из нас серьёзно не может разделять их, не думал за то досадовать. Вскоре, движимый одинаковыми с ним чувствами, вступивший в нам новый член был гораздо его предприимчивее.

В первые годы царствования Екатерины, престол её тесно окружали пять братьев-младцев, из коих особенно трое были и её любимцами, и любимцами народа русского. Четверо из них были женаты, но или не имели детей, или законное их потомство мужеского пола в первом поколении прекратилось. Один только, холостой Федор, воспетый Державиным орел

*Из стаи той высокой,
Котора в воздухе плыла,
Впереди Минервы светлоокой,*

Когда она с Олимпа шла,

имел четырех сыновей, которые родством и дородством, мужеством и красотою могли равняться с ним и с братьями его. Я видел их, когда, сам почти малолетний, посещал я малодетных товарищей моих Голицыных в пансионе аббата Николя, где они вместе с ними воспитывались. С двумя меньшими, Григорием и Федором Орловыми, тогда и после я вовсе не был знаком; с двумя старшими, Алексеем и Михаилом, весьма мало, но случалось встречать их в обществах и говорить с ними. Все четверо взяли за военное ремесло, все четверо, не с большим двадцати лет, украшены были Георгиевским крестом; двое же меньших, именно те, с которыми не был я знаком, остановлены были на пути славы ядрами, оторвавшими у каждого по ноге; один запропастился в России, другой поселился, говорят, в Италии. Итак, остается мне говорить лишь о старших, или лучше сказать об одном, и разве коснуться только другого.

Завидна была их участь в юности; завиднее её не находил я. Молоды, здоровы, красивы, храбры, богаты, но не расточительны, лю-

бимы и уважаемы в первых гвардейских полках, в которых служили, отлично приняты в лучших обществах, везде встречая нежные улыбки женщин, — не знаю, чего им не доставало. Судьба, к ним столь щедрая, спасла их даже от скуки, которую рождает пресыщение: они всем вполне наслаждались. Им стоило бы только не искушать Фортуны напрасными затеями, а с благодарностью принимать её дары. Старший брат, Алексей, это и делал. А второму, Михаилу, исполненному доброты и благородства, ими дышащему, казалось мало собственного благополучия: он беспрестанно мечтал о счастье сограждан и задумал устроить его, не распознав, на чём преимущественно оно может быть основано.

Когда я гляжу на Алексея Федоровича Орлова, ныне графа, мне кажется, я вижу раззолоченную, богатыми тканями изукрашенную ладью. Зефиры надувают паруса её, и она спокойно и весело плывет по течению величественной реки между цветущих берегов; и она будет столь же беспечно плыть, я уверен в том, до того самого предела, за которым исчезает весь род человеческий. Там погрузится

ОНА ТОЛЬКО

*Au sein de ces mers inconnues,
Où tout s'abîme sans retour.*

А бедный брат его, как ладья, тяжелым грузом дум обремененная, отважно пустился в море предприятий и расшибся о первый подводный камень.

С первого взгляда, в двух братьях силачах заметно было нечто общее, фамильное; но при малейшем внимании легко можно было рассмотреть во всём великую разницу между ними. С лицом Амура и станом Аполлона Бельведерского у Алексея приметны были мышцы Геркулесовы; как лучи постоянного счастья и успехов, играли румянец на щеках и вечная улыбка на устах его. Красота Михаила Орлова была строгого стиля, более мужественная, более величественная. Один был весь душа, другой весь плоть; где же был ум? Я полагаю, в обоих Только у Алексея был совершенно русский ум: много догадливости, смысленности, сметливости; он рожден был для одной России, в другой земле не годился бы он. В Михаиле почти всё заимствовано бы-

ло у Запада: в конституционном государстве он равно блистал бы на трибуне, как и в боях; у нас под конец был он только что сладкоречивым, приятным салонным говоруном.

Однако же и в России тогда уже был он хотя самым молодым, но совсем не рядовым генералом. Император имел о нём высокое мнение и часто употреблял в важных делах. В день Монмартрского сражения, его послал он в Париж для заключения условий о сдаче сей столицы. После того отправлен был он к Датскому принцу Христиану, объявившему себя Норвежским королем, дабы уразуметь его и заставить примириться со Швецией и Бернадотом. И такой препрославленный человек пожелал быть с нами! С восторгом приняли мы его. Не знаю почему, я думаю, по плавным речам его, как чистые струи «Рейна», у нас получил он название сей реки.

Я говорил и даже с похвалою об отсутствующем сыне Катерины Федоровны Муравьевой, Никите Михайловиче. После войны этот юноша воротился к матери, полон радости и надежды. В звании офицера генерального штаба года два или три сряду сражался он за

независимость Европы; тиран, ее угнетавший, пал, и всё обещало в непродолжительном времени ей и отечеству его окончательное освобождение от всякого поносного ига. Бедный Муравьев! Как не быть иногда фаталистом, когда видишь людей, которых судьба как будто насильно, взяв за руку, влечет в беды и гибели? Добродетельный отец Муравьева был кроткий философ и друг свободы, которого утопии остались наследием его семейства; злая мать его была недовольна Государем и вечно роптала на самодержавную власть; наконец, нечестивый Магиер (которого прошу вспомнить) с младенчества старался якобинизировать его[5]. Случай свел его в Париже с Сизсом и, что еще хуже того, с Грегуаром. Французская революция, точно также как история Рима и республик средних веков читающему новому поколению знакома была по книгам. Все действующие в ней лица унесены были кровавым её потоком; из них небольшое число ее переживших, молниеподобным светом, разлитым Наполеоном, погружено было во мрак, совершенно забыто. Встреча с Брутом и Каталиной не более бы по-

разила наших русских молодых людей, чем появление сих исторических лиц, как будто из гробов восставших, дабы вещать им истину. Всё это сильно подействовало на просвещенный наукою, но еще незрелый и неопытный ум Муравьева: он сделался отчаянным либералом.

Слово *либерализм* в это время только что начало входить в употребление. Что значило оно? В настоящем смысле щедрость; только оно происходило от другого слова, *libertè*, то есть свобода. Наши тогдашние либералы были действительно люди щедрые, не то что нынешние, коим по большей части нечего терять. Почти все те, с коими тогда я был знаком, были молодые люди с богатым состоянием, по службе на прекрасной дороге, которым в настоящем порядке вещей будущее сулило всякого рода успехи; и всем этим готовы были они пожертвовать. Чему? Идее. Одним словом, они готовы были, вопреки пословице, променять ястреба на кукушку, бессмысленно твердящую одно имя — свобода. Ими населена была гостиная госпожи Муравьевой; а как все Арзамасцы были также частыми её

посетителями, то сын её без всякого затруднения поступил в их общество. Ему одному только не помню я, какое дал прозвание Жуковский.

В начале 1817 года был весьма примечательный первый выпуск воспитанников из Царскосельского Лицея; немногие из них остались после в безызвестности. Вышли государственные люди, как например барон Корф, поэты как барон Дельвиг, военно-ученые как Вальховский, политические преступники как Кюхельбекер. На выпуск же молодого Пушкина смотрели члены «Арзамаса» как на счастливое для них происшествие, как на торжество. Сами родители его не могли принимать в нём более нежного участия; особенно же Жуковский, восприемник его в «Арзамасе», казался счастлив, как будто бы сам Бог послал ему милое чадо. Чадо показалось мне довольно шаловливо и необузданно, и мне даже больно было смотреть, как все старшие братья наперерыв баловали маленького брата. Почти всегда со мною так было: те, которых предназначено мне было горячо любить, на первых порах знакомства нашего, мне ка-

зались противны. Спросят: был ли и он тогда либералом? Да как же не быть восемнадцатилетнему мальчику, который только что вырвался на волю, с пылким поэтическим воображением и кипучею африканскою кровью в жилах, и в такую эпоху, когда свободомыслие было в самом разгаре. Я не спросил тогда, за что его называли «Сверчком»; теперь нахожу это весьма кстати: ибо в некотором отдалении от Петербурга, спрятанный в стенах Лицея, прекрасными стихами уже подавал он оттуда свой звонкий голос. Я здесь не буду более говорить об Александре Сергеевиче Пушкине: глава эта и так уже слишком растянута. О, если б я мог дописаться до счастливого времени, в которое удалось мне узнать его короче! Его хвалили, бранили, превозносили, ругали. Жестоко нападавая на проказы его молодости, сами завистники не смели отказывать ему в таланте; другие искренно дивились его чудным стихам, но немногим открыто было то, что в нём было, если возможно, еще совершеннее, — его всепостигающий ум и высокие чувства прекрасной души его.

Показалось Орлову, что свободная стихия

достаточно наполняет «Арзамас», чтобы сделаться в нём преобладающею. Он задумал приступить к его преобразованию и дать ему новое направление. В один прекрасный весенний вечер собрались мы на даче у г. Уварова; заседание открыто было в павильоне Штейна, как в месте особенно вдохновительном. В приготовленной им речи, правильно по-русски написанной, Орлов, осыпав всех нас похвалами, с горестью заметил, что превосходные дарования наши остаются без всякого полезного употребления. Дабы дать занятие уму каждого, предложил в завести журнал, коего статьи новостью и смелостью идей пробудили бы внимание читающей России. Расширив таким образом круг действия общества, он находил необходимым и умножить число его членов; сверх того, предлагал каждому отсутствующему члену предоставить право в месте пребывания его учреждать небольшие общества, которые бы находились в зависимости и под руководством главного. Изумив сочленов своих неожиданностью предложений, он надеялся вырвать их согласие.

Не знаю каким образом о намерении его заблаговременно предупрежденный, Блудов отвечал ему также приготовленной речью. Учтивее, пристойнее и вместе с тем убедительнее нельзя делать опровержений; он доказывал ему невозможность исполнить его желание, не изменив совершенно весь первобытный характер общества. Касаясь до распространения света наук, о воем неоднократно упоминал Орлов, заметил он ему, что сей светоч в руках злонамеренных людей всегда обращается в факел зажигательства; и сие сравнение после того не раз случилось мне слышать от других. Когда вспомнишь это прение, кажется, что будущий жребий сих людей был написан в их речах.

Орлов не показал ни малейшего неудовольствия, вечер кончился весело, и все разъехались в добром согласии. Только с этого времени замечен стал совершенный раскол: неистощимая веселость скоро прискучила тем, у коих голова полна была великих замыслов; тем же, кои шутя хотели заниматься литературой, странно показалось вдруг перейти от неё к чисто-политическим вопро-

сам. Два века, один кончающийся, другой нарождающийся, встретились в «Арзамасе»; как при Вавилонском столпотворении, люди перестали понимать друг друга и скоро рассеялись по лицу земли. И действительно, в этом году, с отлучкою многих членов, и самых деятельных, превратились собрания, и «Арзамас» тихо, неприметно заснул вечным сном. Но прежде кончины своей породил он чувство, редко, никогда почти ныне не встречаемое, — неизменную, твердую дружбу между людей, которые, оказывая великие услуги государству, в век обмана и златолюбия, служили примером чести и бескорыстия.

Полагать должно, что в воздухе бывают и нравственные повальные болезни: даже меня самого в это время так и тянуло всё к тайным обществам. Арзамасские таинства, совсем не Элевсинские, были секретом комедии: мне было их мало. В доме у Оленина встречал я иногда родственника его, одного Московского князька Голицына, который стороной, обиняком, иносказательно, раз заговорил со мною об удовольствиях, коими люди весьма рассудительные наслаждаются вдали от света. Я

слушал его со вниманием, и наконец, он предложил мне быть проводником моим в масонскую ложу. Я дал ему отвезти себя в большой дом на Фонтанке близ Аничкова моста; там в передней дал завязать себе глаза и водить сверху вниз и снизу вверх по комнатам. Не из опасения казаться нескромным или нарушить клятвенное обещание, мною данное, не буду я описывать здесь обряда, который совершается над вступающими в масонство, а потому только, что всякий может это найти в печатных книгах.

Хорошенько не знаю я истории этого ордена; усердные масоны возводят начало его до жрецов Изида. После многих столетий Рыцари Храма обрели в Иерусалиме таящийся его неугасаемый огонь и перенесли его в Европу. Когда они были казнены и сожжены, слабые их остатки скрылись в Шотландии и опять, после столетий, возродились под именем Братства Вольных Каменщиков. Происхождение это заслуживает вероятия, ибо Иаков Моле между ними почитается главным святым мучеником. Нет сомнения, что первоначальной целью их учреждения были желание ме-

сти и ниспровержение власти католических государей и папы. Пока власть сия была неограниченна, и они, закутанные в аллегории, за непроницаемыми завесами ковали и изощряли на нее орудия, их орден был силен и опасен. Самая цветущая его эпоха предшествовала Французской революции. Когда же, после падения престолов, королевская власть хотя опять и восстановлена, но в камерах, в журналах, в памфлетах можно смело и явно нападать на нее, существование масонства сделалось бессмысленно: народы не так уже церемонятся теперь с царями. К нам вошло масонство во второй половине царствования Екатерины, и завелись ложи даже в некоторых губернских городах, между прочим в Пензе; вскоре после начала революции их велено закрыть. Так много было еще тогда если не невинности, то неведения, что масонство не оставило никаких вредных впечатлений, ни даже памяти по себе. наших добрых помещиков и чиновников тешило фармазонство, и иногда заменяло им камедь: они играли в него как в жмурки или в фанты, прятались, рядились как о святках и далее ничего не ви-

дели. Несовершеннолетние народы, коих называют варварами, как дети и обезьяны, всё охотно перенимают и всё скоро забывают, пока не вырастут и не родится у них собственный смысл, собственные страсти. На воспитателях лежит, кажется, обязанность удалять от них дурные примеры.

После Тильзитского мира, в конце 1808 года, прошел слух о новом появлении у нас ма- сонства. Правительство, не поощряя его, не мешало однако же его распространению. Оно понравилось своею новизной; любопытство, дух братства, произведенный тогдашними обстоятельствами и перешедший к нам из Германии, многих людей привлекали к нему. В Москву, в провинции сначала не скоро оно проникло; вся сила его сосредоточилась в Петербурге. В нём показались два «Востока», или две главные ложи: одна «Астрея», а другая просто называемая «Провинциальною». Между ними было соперничество, и образовался какой-то схизм; не достигнув высших степеней ордена, я не могу сказать, какие догматы произвели их несогласие. Они назывались также «Ложами-матерями», и каждая из

них народила много дочерей, — русских, француженок, немок и даже полек.

Я принят был в ложу des Amis du Nord, французскую, как имя её показывает, находящуюся в зависимости от «Провинциальной». Работы производились в ней, то есть обряды совершались на французском языке. Великим мастером в ней был отсутствующий генерал-майор Александр Александрович Жеребцов. Место его заступал служащий в Пажеском Корпусе полковник Оде де-Сион, предобрый человек, который не имел ни нахальства, ни буйства нации, к которой принадлежал, а всю её веселость и довольно ума, чтобы в пажах и масонах вместе с любовью вселять к себе некоторое уважение. Дабы дать понятие о составе сей ложи, назову я главных сановников её, двух надзирателей и обрядодержателя.

Прево де-Люмиан, Иван Иванович, уже старик, настоящий осел из южной Франции, ко всеобщему удивлению, в русской службе достиг до чина генерал-майора, и что удивительнее по артиллерии что, и еще удивительнее, при Екатерине. Мужик добрый, не спеси-

вый, он довольствовался местом первого надзирателя, второго же занято было промотавшимся после сыном графа Растопчина, Сергеем. Тут свысока смотрел только Федор Федорович, один из пяти или шести надутых братьев Гернгросов, о коих, кажется, уже я говорил. Он нажил в карты довольно большое состояние и сделался ужасным аристократом, во первых потому, что не хотел посещать ни одного второстепенного дома в Петербурге, (так как Дмитрий Львович Нарышкин брал его иногда с собою прогуливаться), но более всего потому, что он женился на любимице и воспитаннице Марьи Антоновны, прелестнейшей англичаночке, мисс Салли, дочери какого-то столяра. Впрочем, может быть, я и грешу, говоря о нём всю правду, тогда как брат его, находясь полковым командиром в том полку, где зять мой Алексеев был шефом, жил с ним очень дружно; тогда как мать моя другому брату его, во время бегства его из Смоленска, дала убежище и приют у себя в деревне; наконец, тогда как сам он за мною всегда чрезвычайно как ухаживал. Секретарем был отставной актер Далмас; все же прочие

члены в этой французской ложе почти на две трети состояли из русских и поляков.

Главная «Провинциальная» ложа состояла из должностных лиц всех подчиненных ей лож, да из нескольких эмеритов, все степени ордена перешедших и во все сокровенные его тайнства проникнувших Великим мастером в ней был граф Михаил Виельгорский, с которым за год до того я познакомился; вторым же мастером — Сергей Степанович Ланской, которого слух тогда не был еще столько туп, как ныне, а понятия — как и всегда. Оба они в том же качестве заседали в подведомственной ложе *Елисаветы к Добродетели*, в которой, равно как и в «Провинциальной», работы производились по-русски. Она должна была служить нормой, образцом для всех других сестер своих; все узаконениями установленные обряды соблюдались в ней с величайшею строгостью. В первом из общих собраний, Виельгорский не мог скрыть удивления и сожаления своего, увидев меня принадлежащим к обществу, которое между потомками Храмовников не пользовалось доброю славою; казалось, что нравственности моей грозит опас-

ность. Никто из Северных Друзей не был проникнут чувством долга истинного, вольного Каменщика: Сион, Прево и все прочие были народ веселый, гульливый; с трудом выдержав серьезный вид во время представления пьесы, спешили они понатешиться, поесть, попить и преимущественно попить; все материнские увещания «Провинциальной» остались безуспешны. Но когда я разглядел пристальнее Елисаветинских масонов, то нашел, что они ничем не лучше: они также любили ликовать, пировать, только вдали от взоров света, в кругу самых коротких Исключая главы их Виельгорского, не встретил я между ними ни одного человека уважения достойного; особенно противен мне был святоша их, обер-прокурор Петр Яковлевич Титов, отъявленный вор и бесстыдный взяточник. Лицемерие мне всегда было гадко, а тут показалось оно мне и глупо. Из чего эти люди бьются, подумал я, и кого они думают морочить? Нет, лучше остаться с моими руссо-французами.

Теперь трудно мне будет вспомнить названия всех существовавших тогда лож; постараюсь, однако же, сие сделать. Под управлени-

ем. — «Провинциальной», или *Владимира* к порядку, состояли следующие:

1-я *Елисаветы к Добродетели* и 2-я *Северных Друзей*, мною уже названные.

3-я *Дубовая Долина*, составленная из одних немцев разных сословий, только не низших. Они добросовестно, усердно занимались работами, а после трудов отдыхали с той же важностью за кружками и бутылками и упивались, как будто не теряя рассудка.

4-я *Трех Венчаных Мечей* — русская, под управлением второго и последнего князя Лопухина, Павла Петровича, единственного сына князя Петра Васильевича. Одни только военные имели право быть в нее приняты. Тут нашел я Никиту Муравьева, да еще столь известных после кавалергардского Лунина и двух семеновских офицеров, братьев Муравьевых-Апостолов. Для одного только фракноносца, великого Николая Тургенева, отступлено было от общего правила, и он тут также находился. Все вышеназванные мною скоро перестали посещать ложи: масонство им наскучило, надоело, и сие самое, кажется, доказывает тогдашнюю его безвинность.

5-я *Александра к Венчанному Пеликану*, в которой были ремесленники и всякая французская сволочь. Были еще и другие ложи, но я их или не знал, или не помню.

Под управлением *Астреи* было более тишины и согласия, более сходства с веком *Астреи*. На сем Востоке царствовал, но не господствовал, русский вельможа, добрейший человек, граф Василий Валентинович Мусин-Пушкин-Брюс; душою же его был действительный статский советник Бёбер, коренной старый Каменщик, искусившийся в делах масонства, который умел сохранять дисциплину и порядок. «Астрея» была совершенная немка, ибо подведомственные ей ложи, по большей части, состояли из немцев; из них назову я только те, коих помню имена: *Петра к Истине*, *Михаила Избранного* и *Трех Добродетелей*.

Я бы себе не простил, если бы ничего не сказал о великом мастере первой, Егоре Егоровиче Эллизене. Сей добродетельный и ученый врач одарен был вторым зрением, с первого взгляда угадывал болезнь каждого; оттого все удачные его лечения. В Киеве, во время малолетства моего, подружился он с семей-

ством моим и полюбил мое младенчество, в Петербурге потом, в продолжение более двадцати лет, был безвозмездным моим целителем: я смело мог хворать, имея всегда готового спасителя, в полдень, в полночь, во всякое время дня. Не только когда я претерпевал крайнюю нужду, даже тогда как средства мои позволяли мне подносить ему дань благодарности, он всегда, с досадою отвергал ее. После наставников к добру, таких людей можно, кажется, почитать благодетелями своими.

На волнения в «Провинциальной» ложе спокойно смотрела соперница её, «Астрей», и тайком переманивала к себе недовольных ею. Северные Друзья были весьма многочисленны и бурливы. Что удивительного? Между ними было много французов и поляков. Сперва последние взбунтовались и составили из себя особливую ложу, под именем *Белого Орла*; вскоре дурному их примеру последовали и русские и основали ложу *Российского Орла*. Я помаленьку отставал от масонства и не знал, что в нём происходит, как в одно утро приехал ко мне Гернгрос с объявлением, что большая часть французских членов нашего

союза готова отделиться и перейти к «Астрее», и что он главою этого восстания. Почитая оппозицией небольшие шутки, которые изредка позволял я себе над педантством «Провинциальной», предложил он мне быть участником в этой Французской революции. Мне показалось довольно смешно и забавно; я согласился, и мы завели ложу под названием: *des Amis réunis, Соединенных Друзей*, где и стали масонствовать по-французски. Великим мастером выбран Гернгрос, а на меня взвалили многотрудную должность второго надзирателя. Сначала это меня некоторым образом заняло, но скоро наскучило, даже огадилось, и по просьбе получил я совершенное увольнение от дел. Сим кончается история моего масонства, коего существование скоро прекратилось во всей России; ибо, видя в нём непонятную мне опасность, несколько лет спустя, правительство приказало закрыть все ложи.

Это многочисленное братство продолжает существовать в западных государствах без связи, без цели. Ложи ни что иное как трактиры, клубы, казино, и их названия напечатаны

вместе в *Путеводителе по Европе* г. Рейхардта. Некоторая таинственность, небольшие затруднения при входе в них задорят любопытство; разнообразные обряды и мнимое повышение некоторое время бывают занимательны, и всё оканчивается просто одною привычкою. У нас в России разогнанная толпа масонов рассеялась по клубам и кофейным домам, размножила число их, и там, хотя не столь затейливо, предаётся прежним обычным забавам.

V

Военные поселения. — *Граф Каподистрия.* —
А. П. Ермолов.

Мне, право, совестно, что в последних трех главах сряду говорил я всё о себе и о приключавшемся со мною. Как быть! Предыдущие годы были гораздо обильнее предметами, более чем я достойными внимания читателей моих. Во всей Европе, как и в России, в наступившие годы было или казалось всё тихо. У нас это было действием успокоения умов, в других землях следствием усталости. Сам им-

ператор Александр как будто отказался от прежней деятельности в отношении к внутренним преобразованиям по гражданской части. За то по военной возникли новые учреждения, которые в отчаяние приводили войско и народ.

Неизвестно, Аракчеев подал ли Государю мысль о военных поселениях, или, усвоив ее себе, сделался ревностным её исполнителем и через то более чем когда нужным Царю? В древности римляне на берегах Рейна и в Паннонии заводили вооруженные колонии, дабы защитить империю от варварских вторжений. Ныне в Венгрии, вдоль по Дунаю, под именем Военной Границы поселены храбрые Сербские полки. Во дни порабощения России, её бессилия и неустройств, на южных пределах её, без её участия и ведома, сама собою встала живая стена, составленная из ратников, которые удальством своим долго изумляли окрестные края. То что мудрость человеческая сделала для охранения Рима и не спасла его, Провидению угодно было сотворить для нас. От обоих берегов Днепра, от порогов его, и вдоль по тихому Дону, перстом Всевышнего

проведена была блестящая черта; она должна была как межа означить будущие владения возвеличенной Им России. Когда же они достигли этой грани, то черта сама собою, естественным образом, стала передвигаться и тянуться на нескончаемое пространство. Мы находим ее на берегах Кубани и Терека, Урала и Иртыша и, наконец, ее видели на Амуре, до втока его в Тихое море. Запас самим Небом для нас приготовленный, за который мы не можем достаточно возблагодарить Его, — казачье войско сберегло нам половину Украины, помогло взять обратно другую и теперь в отдаленнейших местах стоит везде на страже, как передовые ведеты сил русских. Его заслуги неисчислимы.

Ничего с ним общего не могло иметь Аракчеевское создание. Для чего внутри государства нужны военные поселения, и от каких внутренних врагов могут они защитить его? Вот вопросы, которые многие друг другу делали. Надобно полагать, что Государь, во время последнего пребывания своего за границей, убедясь в непокорном расположении западных народов в правительствам своим и пред-

видя в будущем новые беспокойства, нашел необходимым для обуздания их сохранить многочисленную армию, которая нужна ему была во время общей войны. Он думал о средствах сделать сие без обременения государства, и несчастная мысль о военных поселениях представилась ему. Вероятно, он открылся в ней Аракчееву, который, избран быв главным орудием в этом важном предприятии, не посмел, или, скорее думать надобно, не захотел ее оспаривать. Сначала, приступая к делу медленно, Государь, как видно, имел намерение колонизировать всю армию, которая, таким образом утроенная числом, сама бы себя содержала. Первый опыт сделан над казенными и у помещиков на сей предмет скупленными крестьянами в селениях Новгородской губернии, находящихся поблизости к владениям графа Аракчеева. Заведенный им в достопамятном с той поры селе его Грузине ужасный порядок, превращающий людей в бесчувственные машины, стал распространяться на несчастных хлебопашцев, в окрестности живущих, и на воинов, посреди их селимых. В следующих годах по этому образцу

заведены военные поселения в Белоруссии, потом на Буге и, наконец, в Харьковской губернии, в Чугуеве. Кажется, что будущая дешевизна содержания войск в настоящем обходилась чрезмерно дорого и была разорительна для казны. Сие самое остановило распространение зла, коего несчастные последствия были бы неисчислимы. Чего бы не могли сделать полтора миллиона людей недовольных, измученных, выведенных из терпения, с оружием в руках?

Пример казаков без всякого пособия, без всякого надзора образовавшихся, первоначально должен был породить мысль о сем чудовищном учреждении. Искусство в этом случае, подражая природе, думало превзойти ее. Произведение её, совокупно с обстоятельствами, казаки были какая-то особая стихия, в состав коей вошли все другие. У них всё было свободно как степной воздух, коим они дышали; в сердцах и взорах их не угасал огонь отваги, движения их были быстры, как течение рек, по коим они селились, и между тем как земля их, покорная законам той же природы, и они непринужденно повиновались властям

над ними поставленным. А тут бедные поселенцы осуждены были на вечную каторгу. Два состояния между собою различные впряжены были под одним ярмом: хлебопашца приневолили взяться за ружье, воина за соху. Русский человек, трудолюбивый и беспечный вместе, после работы вместо отдыха любит погулять на свободе. Что за дело, если изба его не слишком чиста, лишь бы, по пословице, красна она была пирогами. От всего несчастные должны были отказаться: всё было на немецкий, на прусский манер, всё было счетом, всё на вес и на меру. Измученный полевой работой, военный поселянин должен был вытягиваться во фронт и маршировать; возвратясь домой, он не мог находить успокоения: его заставляли мыть и чистить избу свою и мести улицу. Он должен был объявлять о каждом яйце, которое принесет его курица. Что говорю я! Женщины не смели родить дома: чувствуя приближение родов, они должны были являться в штаб.

Жестокости Аракчеева ее всем русским могли быть понятны; его бессердечие было чисто-немецкое. Он любил ломать бессиль-

ные препятствия, неволить человеческую натуру и всё подводить под один уровень. Все выше мною означенные подробности принадлежат ему исключительно, про многие из них не ведал Царь. Терпение, коим одарены русские, у военных поселян иногда лопалось: бывали сильные возмущения, за которыми следовали кровавые усмирения их[6].

Между происшествиями в мирное время важное место занимает всякая перемена министра, и я долгом считаю их означить здесь.

Председателя Государственного Совета, фельдмаршала князя Салтыкова, несмотря на неудовольствия, которые имели на него, не хотели тревожить, не трогали его с места, со дня на день всё ожидая, что, как ветхое здание, он сам собою разрушится: действительно, он не заставил долго ожидать кончины своей. На его место, в конце 1816 года, назначен светлейший князь Петр Васильевич Лопухин, умный человек, опытный и сведущий в делах, бывший генерал-губернатором, генерал-прокурором и министром юстиции, но состарившийся и слабеющий. Такой именно председатель и нужен был Аракчееву, кото-

рый один тогда входил с докладами к Александру, по Совету и по Комитету Министров, и который во все остальные годы его царствования мог почитаться первым министром.

В необычайное время, когда сношения русского правительства с иностранными державами превратились более в личные переговоры Императора с европейскими государями, некоторым образом должен был измениться существовавший по сей части порядок. Управление Коллегией Иностранных Дел как будто отделилось от чисто-дипломатической части, и пока старший чиновник первой, Дивов, управлял ею, два статс-секретаря под личным наблюдением Александра в Вене и Париже занимались последнею.

Я почти мимоходом упомянул о беспримерно-долговечном министре Нессельроде; здесь, кажется, место подробнее говорить о причинах возвышения его и постоянства, с коим сохраняет он приобретенное им положение. Есть люди самые обыкновенные, коих имя слепой случай как бы на зло природе делает всемирно-известным, примешивая стоко всем важным событиям истории их време-

ни. Их краткая биография может сделаться занимательною.

Один из членов младшей линии (на берегах Рейна) знаменитейшего дома Нессельроде-Эресговен, граф Вильгельм, вступил в русскую службу при Екатерине. Образованность, любезность его доставили ему много успехов при её дворе, и он отправлен был ею чрезвычайным посланником в Лиссабон. Неизвестно, нужда ли, бедность, или любовь заставили его вступить в неравный брак с дочерью франкфуртского банкира, еврея Гонтара. Только надобно полагать, что в России был он уже женат; ибо во время морского путешествия на английском корабле, почти в виду Лиссабонского рейда, родился наш герой, Карл Васильевич, сын его. По нужде, слабого ребенка поспешили на корабле окрестить в англиканскую веру, в которой он и поднесь остается. Отец его был протестант лютеранской веры, а мать из иудейской недавно перешла в римско-католическую; жена и дети его православные. Сие семейство, также как и Невский проспект, может служить доказательством достойной похвалы и уважения ве-

ротерпимости в нашей земле и в нашем веке. Пожалуй, есть люди, которые находят в этом совершенное равнодушие к вере.

В изъявление особенного благоволения своего к отцу, Екатерина новорожденного сына его пожаловала прямо мичманом. Как бы из волн морских возникший маленький Тритон, Нессельроде, еще в пеленках, посвящен был бурной стихии, среди коей родился. Павел Первый был еще милостивее к этому семейству, и почти малолетнего мичмана взял к себе флигель адъютантом и перевел поручиком в конную гвардию. Но скоро в юноше оказалось совершенное отсутствие воинственных доблестей, как сухопутных, так и морских; за то произвели его в действительные камергеры, то есть в четвертый класс. Тут начинается темная эпоха его жизни; об нём ничего не было слышно, как вдруг после Тильзитского мира является он советником посольства в Париже. Пробыв там не более трех лет, предпочел он находиться в канцелярии графа Румянцева. Что могло заманить его туда? Уже верно не ласки канцлера, который о уме и способностях его имел самое невысо-

кое мнение. Может быть, чутье, с коим дети Израиля слышат близость клада; может быть, тайные предчувствия ожидающих его успехов.

Они не обманули его. Из разных сведений, необходимых для хорошего дипломата, усовершенствовал он себя только по одной части: познаниями в поваренном искусстве доходил он до изящества. Вот чем умел он тронуть сердце первого гастронома в Петербурге, министра Финансов Гурьева. Зрелая же, немного перезрелая дочь его, Марья Дмитриевна, как сочный плод висела гордо и печально на родимом дереве и беспрепятственно дала Нессельроду сорвать себя с него. Золото с нею на него посыпалось; золото, которое для таких людей, как он, тоже что магнит для железа.

Зачем вскоре после свадьбы отправился он в армию к Барклаю? На этот вопрос буду отвечать как малороссияне: «не скажу», то есть не знаю; вероятно по тем же предчувствиям, которые влекли его в Петербург. В предыдущей части рассказал уже я, как сама судьба всунула его в руку победоносного Александра, и

как пригодился он ему в Париже, где перед этим провел он несколько лет. Утверждают, что по возвращении споем оттуда в 1814 году, Государь на счет Нессельроде согласный с мнениями канцлера Румянцева, сказал сему последнему: «Вы отказались от службы; я не хотел вам дать преемника, сам поступил на ваше место, а по дорогам беру с собою только писца».

В толпе уполномоченных на Венском конгрессе писец играл самую низшую роль. Нельзя было Государю того не заметить, и он избрал ему сотрудника, который превосходством своим должен был раздавить Нессельроде; но, по странному стечению благоприятных для него обстоятельств и сей соперник был для него не опасен. По окончании последней войны с Наполеоном, Нессельроде назначен управляющим Коллегией Иностранных Дел, как будто на место чиновника её Дивова; заграничная же часть осталась в руках графа Каподистрии.

Этого человека лично я не знал, никогда его даже не видывал; не со многими был он коротко знаком, но от сих немногих много я

об нём наслышан. Боюсь, как бы не соврать, говоря о столь важном историческом лице, но и умолчать о нём не могу.

После падения Венецианской республики, принадлежавшие ей Ионические острова поступили если не в подданство, то под непосредственное покровительство России, что одно и то же. Слава этого полезного приобретения принадлежит Павлу Первому, и конечно это одно уже должно смягчить приговор над ним нашего потомства. Мои современники столь же равнодушно посмотрели на сие достославное происшествие его царствования, как и на уступку владычества над сими островами Франции, сделанную сыном его при заключении Тильзитского мира: мне не случилось слышать, чтобы кто-нибудь пожалел о том. Мы еще были весьма не сильны в Истории и в делах внешней политики. Когда Англия, которая вскоре потом присвоила себе Ионические острова, с тем чтобы никогда не возвращать нам их, — когда Англия, говорю я, хорошенько проучит нас, тогда мы будем умнее и лучше будем понимать наши выгоды.

Известно, что венецианские нобли отвер-

гали всякие титулы, каждый из них почитая себя частицею догатства или герцогства венецианского, и что они щедро раздавали графское достоинство подданным республики, живущим вдоль Адриатического моря[7]. Уроженец из Корфу, неимуций граф Иоанн Каподистрия (у нас Иван Антонович), в Болонском университете, говорят, сперва, учился медицине и едва ли не получил докторского диплома. Ему бы стоило отправиться в Турцию и практиковать там, чтобы нажить великое богатство; но он не имел склонности к сему, впрочем, столь почтенному и полезному делу. Высокий ум соединялся в нём с благородством чувств и беспримерным бескорыстием: он казался выходцем из древней Греции и современником Аристиды. Кажется, в это время отечество его, освобождаясь от черствого ига всё более ниспадающей республики, познало над собой покровительственную власть великой империи. В это время все восточные христиане, еще не обманутые в своих надеждах, видели в России будущую свою спасительницу, а во всех русских сердцу милых братьев, которым одна необходимость препятствует толь-

ко лететь к ним на помощь. Каподистрия вступил в русскую службу, не покидая Корфу.

Ни итальянское, ни французское, ни английское владычество не приходились по сердцу жителям Кефалонии, Корфу и Занте, коренным грекам. Им гораздо радостнее было с северными единоверцами своими, которые принесли им с собою жизнь и упование. Нет сомнения, что все они, так же как и Каподистрия, под патронатством России, видели в себе почин, зародыш новой Греции. Англия, которая, как жадный Ахерон, никогда из рук не выпускает добычи своей, истребила в них всю надежду. Дабы увидеть по крайней мере тень её на берегах Невы, Каподистрия переселился в Петербург. Он не показывался в больших обществах, за то в малом кругу, который посещал, возбуждал он энтузиазм. Он был еще молод; не столько красивые и правильные черты, сколько благородство их выражения делали его примечательным; высокая наука не пугала в нём, а нравилась. Канцлер Румянцев умел оценить его достоинства и старался о скорейшем его повышении. В это время сблизился он с семейством молдавского

бояра Стурдзы, коего жена была гречанка, а дети обою пила имели столь много разнообразных познаний, что могли составить из себя семейную академию.

Тут прерываются сведения мои о нём: где был он употреблен потом за границей, какие услуги оказал России, мне неизвестно; знаю только, что в конце 1813 года был он посланником нашим в Швейцарии. При императрице Елисавете Алексеевне находилась тогда за границую любимая фрейлина её Роксандра Скарлатовна Стурдза, одна из умнейших и любезнейших женщин, которых я знавал. С воображением пламенным, имела она великую склонность к мистицизму, что в Вене сблизило её с самим Александром. По связям её семейства с Каподистрией, она втайне прочила его себе мужем и решилась говорить о нём Государю, который дотоле вовсе его не знал. По её совету, для испытания вызвал он его на конгресс и оставил его потом при себе вторым статс-секретарем иностранных дел.

Тогда же назначен бы он был министром; но, к сожалению, он не знал русского языка и, как выше я сказал, должен был с Нессельроде

разделять управление сею частью. Они оба ходили вместе с докладом к Государю; но последний при нём присутствовал бессловесно. Самолюбие его должно было жестоко страдать; но не знаю, лестно ли было и Каподистрии сотоварищество его. Беспрестанно сличая сих людей между собою, император Александр невольным образом одному из них оказывал явное предпочтение.

По Военному Министерству, коего настоящею главой продолжал быть начальник штаба князь Волконский, последовала небольшая перемена. Военный министр граф Коновницын умер, и на его место назначен инспектор всей артиллерии, барон Петр Иванович Меллер-Закомельской, который, верно, был добрый человек, ибо его никто не бранил. Похвал ему слышал я также мало, а только много насмешек на счет его необъятной толщины и зрителей в ужас приводившего обжорства.

В тоже время Министерство Народного Просвещения наскучило богатому и гордому графу Разумовскому, который давно уже вздыхал о Московском дворце своем и о под-

московном замке и стал проситься в отставку. Кого было дать ему преемником? Свобода и христианство были паролем и лозунгом того времени: одна должна была умеряема быть другим. Дабы дать юношеству некоторым образом духовное образование, избран был любимец государев, главноуправляющий духовными делами иностранных исповеданий, князь Александр Николаевич, который влез тогда по уши в мистицизм. Мне почти нечего сказать после всего, что уже говорил я об нём: могу только прибавить, что даже наших знатных людей прежнего времени, столь образованных для света, превосходил он любезностью и невежеством.

Малое министерство, коим он управлял, оставлено ему было в приданое и в соединении с большим составило Министерство Духовных Дел и Народного Просвещения, разделенное на два департамента. Директором первого назначен уже управлявший сею частью Александр Тургенев. В этом департаменте положено быть четырем отделениям: 1-е для дел православных, 2-е для римско-католических, 3-е для протестантских, 4-е для магоме-

танских и еврейских. Итак, Голицыну с Тургеневым удалось господствующую веру сравнить не только с другими терпимыми, но даже с нехристианскими; на негодование, на ропот нашего духовенства эти люди не обратили внимания. До получения звания министра, Голицын продолжал сохранять должность обер прокурора Святейшего Синода; тут на свое место избрал он князя Петра Сергеевича Мещерского, некоторым образом подчинив его департаменту духовных дел. Должности у нас, таким образом, часто подвергаются возвышению и понижению курса.

В департамент народного просвещения сделан был директором Василий Михайлович Попов, кроткий изувер, смиренный, простой человек, которого однако же именем веры можно было подвигнуть на злодеяния. Забавно подумать (если можно только назвать сие забавным), что оба директора чуждались вверенных им частей: Тургенев весь занят был Обществом и происками, а Попов помышлял единственно о делах религиозных. Он был слепым орудием «Библейского Общества», которое не скрывало своего намерения, разли-

вая свет Божественной книги, рассеять тьму нелепостей и суеверий, называемых греко-кафолическим Восточным исповеданием. Усердствуя соединению вер, о чём непрестанно молится наша церковь, он, вместе с министром своим, сделался гонителем их и покровителем всех сект. Размножение их последователей, во время управления Голицына, было невероятное.

Несколько месяцев спустя, примеру Разумовского последовал другой украинец, Трощинский: он был прав. В первые полтора года царствования Александра, по гражданской части был он ближайшим к нему человеком. В 1806 году вышел он в отставку, а в 1814 опять вступил министром юстиции. Но с 1812 года, исключая двух или трех, министры никогда не видели Царя: все доклады их шли через Аракчеева. Никакая награда, никакое отличие не ознаменовали тогда внимания Государя к Трощинскому; он был стар и богат и, можно сказать, бросил службу. Кому было поступить на его место, если не человеку, для которого суетливость и некоторый кредит при дворе были необходимостью. Старик, ко-

торый никогда не бывал в гражданской службе, во время последней всеобщей войны занимавшийся только формированием полков и после того остававшийся без дела, бешеный Димитрий Иванович Лобанов, князь Тильзитского мира, по рекомендации Аракчеева, назначен был министром юстиции. Не понимаю, как решился Государь вручить весы правосудия разъяренной обезьяне, которая кусать могла только не впопад.

В эти годы одному удачному выбору, сделанному Государем, с радостью рукоплескали обе столицы, дворяне и войска. Нужно было в примиренную с нами Персию отправить посла, поручив ему вместе с тем главное управление в Грузии. Избранный по сему случаю представитель России, одним видом, одним орлиным взглядом своим мог уже дать высокое о ней понятие, а простым обращением, вместе со страхом, между персиянами поселить к ней доверенность. Ум и храбрость, добродушие и твердость, высокие дарования правителя и полководца, а паче всего неистощимая любовь к отечеству, к отечественному и к соотечественникам, всё это встретилось в

одном Ермолове. Говоря о сем истинно-русском человеке, нельзя не употребить простого русского выражения: он на всё был горазд. При штурме Праги мальчиком схватил он Георгиевский кресте, при Павле не служил, а потом везде, где только русские сражались с Наполеоном, везде войска его громил он своими пушками. Его появлением вдруг озарился весь Закавказский край, и десять лет сряду его одно только имя горело и гремело на целом Востоке. Его наружность и превосходные качества изображать здесь не буду, в надежде сделать сие, когда буду описывать время, в которое осчастливлен был его личным знакомством.

Желая что-нибудь предоставить Нессельроде, Каподистрия не хотел входить ни в какие распоряжения при отправлении посольства в Персию. Имя Ермолова было весьма привлекательно; но он объявил, что возьмет с собою только тех дипломатов, которых ему дадут, не участвуя в их выборе. Дашков пожелал быть советником этого посольства, и Нессельроде, не видав еще его, дал было слово назначить его на сие место. Но превосходство

ума всегда пугает людей ничтожных. Переговорив с Дашковым, Нессельроде начал делать затруднения, представил к утверждению советником одного г. Соколова, старее его чином, несносного невежду, а ему велел сказать: не хочет ли он быть секретарем посольства, зная, что тот откажется. Через полтора года граф Каподистрия сам предложил ему в качестве советника отправиться в Константинополь.

В первый раз после пожара, осенью 1816 года, Государь посетил Москву, которая из развалин начинала подыматься. Он оказал себя в ней чрезвычайно милостивым и щедрым. Один указ, им подписанный там, всех крайне удивил. В нем было сказано, что по дошедшим невыгодным слухам о Сперанском и Магницком, они были удалены от должностей, но дабы дать им возможность оправдать себя, назначаются они: первый гражданским губернатором в Пензу, а последний вице-губернатором в Симбирск. Они были не только отставлены, они были сосланы, следовательно, наказаны; за что же, неужели по одним только подозрениям? А это походило на пра-

во выслуги, дарованное разжалованным. Вместо того, чтоб объяснить, это дело стало еще темнее.

О Сперанском совсем почти забыли, а когда вспомнили, то уже начали жалеть о нём. Не знаю, назвать ли это добродушием русских или слабодушием их? Он два года прожил в Перми, никем почти не посещаемый; но человек с высокими думами уединение всегда предпочтет обществу необразованных людей. В бездействии, в унынии, он обратился, говорят, к Богу, к Подателю всех утешений и занялся переводом *Подражания Иисусу Христу* Фомы Кемпийского. Я стараюсь уверить себя, что тут не было лицемерия, желания сблизиться вновь с набожным Императором. Он не нажил богатства; всё имущество его состояло в небольшой деревне близ Новгорода, в которую, по ходатайству соседа Аракчеева, дозволено ему было переселиться. Оттуда, вероятно, пошли переговоры. Изо всех отдаленных губерний мысль о Пензе его менее пугала: она находилась вне больших путевых сообщений; её уединение, здоровый воздух ему нравились; там же находилось преданное ему

семейство Столыпинах. Теперь несколько слов о его предместнике.

В 1815 году скончалась княгиня Варвара Васильевна Голицына. Из собственных доходов уделяла она большую часть сыну своему, дабы он мог княжески поддерживать губернаторство свое; с её смертью лишился он этих средств. Дворянам между тем успели надоесть его совсем не забавные проказы. Он ничем не занимался: Арфалов же, бывший секретарь отца моего, в Пензе сам и правил, сам и грабил (как Вяземский сказал о Пестеле), и величался над дворянством, которое начало громко роптать и самому губернатору оказывать холодность и пренебрежение. И без того уже скучал он обязанностью жить в Пензе: у всех этих Голицыных не было никакого постоянства ни в мыслях, ни в действиях; одни прихоти всегда сменялась другими. В начале лета 1816 года князь Григорий Сергеевич по просьбе уволен от службы, и место, им занимаемое более трех месяцев после него оставалось праздным. Видно, тогда уже намерены были назначить Сперанского.

Вспоминая прошедшее, мне как будто не

верилось. По известиям из Пензы, Сперанский полюбился там своею кроткою и умеренною обходительностью. Управление ладьею после стопушечного корабля не могло казаться важным опытному моряку: оттого-то он мало входил в дела, подобно предместникам своим предоставляя большую власть Арфалову, в котором помещики начинали уже видеть неизбежную судьбину. Губернаторское место почитал Сперанский почетною для себя ссылкой. В этом случае я согласен был с его мнением и находил, что определением его оно более унижено чем возвышено.

Возвращаясь к Пензе, мне самому перед собою делается совестно: ибо, давно не говоря ни слова о моем семействе, я как будто совсем его забыл. В это спокойное время никаких больших перемен в нём не последовало, исключая одной, о которой буду говорить ниже. Брат и вторая сестра моя с мужем продолжали за границей пользоваться огромным содержанием, жили там припеваючи, свободно разъезжали из Мобёжа и Ретёля в Париж и Брюссель, одним словом, катались по Фран-

ции, как сыр в масле. Всё более стареющая мать моя терпеливо переносила вечную разлуку с единственным другом сердца своего. Старшая сестра моя, Елисавета, находясь при ней неотлучно, одна заботилась о её успокоении. Ей перешло гораздо за сорок лет, и она имела уже все маленькие слабости старых девок, между коими маленькое тщеславие занимало не последнее место. На публичных балах Сперанский всегда открывал их с нею польским, а у себя водил к столу, как старшую в чине по матери. Это делало ее совершенно счастливою, и она осталась поныне самою сильною защитницей незабвенного Михаила Михайловича.

Меньшая сестра моя, Александра, Москву и Петербург видела только мельком и всю жизнь провела в провинции; в ней было несколько странностей, но и в них не было ничего столичного. Ей уже исполнилось двадцать пять лет, и я полагал, что ее ожидает одинаковая участь с старшею сестрой; однако же она умела сыскать себе жениха в Пензе.

От времени до времени, на показ читателям, всё вытаскиваю я Пензенских дворян и

всё не могу кончить, потому что я делаю сие только в случае крайней необходимости. Я не говорил еще о семействе Юматовых, состоявшем из матери-вдовы, трех замужних дочерей и трех сыновей. Старший, Степан Иванович, был женат, второй, Димитрий, бил сумасшедший; а третий, Петр, еще чрезвычайно молод. У них, вместе у матери с детьми, было более полутора тысяч душ в Саратовской губернии, где летом жили они в родовом селе-нии Юматовке, а на зиму приезжали в Пензу. Анна Димитриевна Юматова была предобрейшая женщина, зато уже чересчур проста. Раз случилось, что один учитель из гимназии, желая похвастаться ученостью, рассказывал при ней, как город Помпею завалило пеплом из Везувия, и она несколько ночей потом не могла заснуть в беспокойстве, чтобы подобная беда не случилась с Пензой. Никакого воспитания детям она не дала и не могла дать; только меньшей, семнадцатилетний мальчик, с ополчением ходил на войну, был в Дрездене, в Лейпциге и в Гамбурге и между военными за границей немного понатерся. Возвратясь из похода, сделался он первым

пензенским танцовщиком и франтом... Он как-то полюбился сестре моей и предложил ей руку. Мать моя не хотела согласиться по многим причинам: во-первых потому, что над семейством Юматовых смеялся весь город, и потому, что жених четырьмя годами моложе невесты был только что коллежский секретарь, а чин в это время был еще преважное дело. У нас пошла о том переписка, и я старался склонить мою мать на согласие, представляя ей, что для девицы, начинающей перезревать, хороший дворянин, добрый человек, имеющий пятьсот душ, может почитаться находкой. В июле месяце 1816 года совершился сей брак.

Приезд Александры Федоровны. — Поездка за границу.

Лето тысяча восемьсот семнадцатого года ознаменовано было у нас одним событием, которое все почитали тогда весьма обыкновенным, но которое имело важные последствия для России.

В начале 1814 года молоденький великий князь Николай Павлович, с меньшим братом, проезжая через Берлин, во время отсутствия короля, во дворце его был угощаем его семейством. Тут первый раз в жизни влюбился он в старшую дочь его и умел понравиться сей только из ребячества выходившей принцессе Шарлотте. Детская любовь сия не потухла, а скоро превратилась в серьёзную, в настоящую. Дружественные связи Императора с королем брачный союз между их семействами делали возможным, и в 1816 году все говорили о нём как о деле полаженном. Но главе сильного государства, еще усиленного новыми приобретениями, королю, искренно при-

вязанному к Лютеранскому исповеданию, дать дочери своей дозволение оставить оное, конечно, должно было казаться великим пожертвованием. Надобно полагать, что взамен того тогда же тайно условлено было, чтобы великому князю быть непосредственным наследником Императора, мимо Цесаревича.

В июне месяце приехала невеста в сопровождении брата своего, принца Вильгельма; 25 числа, в день рождения жениха, было обручение, миропомазание её и наречение Александрой Федоровной, а 1 июля, в день её рождения, была свадьба. Я смотрел в открытое окно на торжественный въезд её: особая честь, которую хотели оказать, дабы отличить ее от других приезжающих в Россию принцесс, но которая после, дабы другим не было завидно, всем была отдаваема. В открытой коляске сидела она между, двух Императриц; миленькое личико её казалось слегка нахмуренным; вместе с любопытством выражало оно тот невольный страх, который молоденькие девочки должны испытывать при совершенной перемене жизни, при вступлении в новое семейство, в новую отчизну. Все смотрели на

нее с нежнейшим участием, вспоминая добродушие, красоту и несчастья её матери.

Сзади верхом, рядом с прусским принцем, ехал Государь с видом чрезвычайно-довольным. За ним следовал Николай Павлович. Русские тогда еще мало знали его; едва вышедши из отрочества, два года провел он в походах за границей, в третьем проскакал он всю Европу и Россию и, возвратясь, начал командовать Измайловским полком. Он был несообщителен и холоден, весь преданный чувству долга своего; в исполнении его он был слишком строг к себе и к другим. В правильных чертах его белого, бледного лица видна была какая-то неподвижность, какая-то безотчетная суровость. Тучи, которые в первой молодости облегли чело его, были как будто предвестием всех напастей, которые посетят Россию во дни его правления. Но при нём они накопились, не он навлек их на Россию; но природа и люди при нём ополчились. Ужаснейшие преступные страсти в его время должны были потрясать мир, и гнев Божий справедливо карать их. Увы, буря зашумела в то самое мгновение, когда взялся он за корми-

ло, и борьбу с нею должен был он начать свое царственное плавание. Никто не знал, никто не думал о его предназначении; но многие в неблагосклонных взорах его, как в неясно писанных страницах, как будто уже читали историю будущих зол. Сие чувство не могло привлекать к нему сердец. Скажем всю правду: он совсем не был любим. И даже в этот день ликования царской семьи я почувствовал в себе непонятное мне самому уныние.

Вскоре после увеселений по случаю сего брака, один из общих друзей наших, Жуковский, определен был преподавателем русского языка к молодой великой княгине. На сие место императрице Марии Федоровне, и без того милостиво к нему расположенной, рекомендован был он Карамзиным, который, с семейством совсем переселясь в Петербург, начинал уже иметь великий вес у Государя и у его матери. Жуковский понравился новобрачной чете и сделался близким к ней человеком. По его словам, ничего не могло быть трогательнее как видеть великого князя в домашнем быту. Лишь только переступал он к

себе за порог, как угрюмость вдруг исчезала, уступая место не улыбкам, а громкому, радостному смеху, откровенным речам и самому ласковому обхождению с окружающими. Жуковский скоро и крепко прилеплялся к тем, кои оказывали ему любовь, и охотно готов был всех хвалить. Вот отчего, хотя говорил он сущую истину, не совсем ему верили. Я вообще заметил, что все те, кои пользуются семейным домашним счастьем, берегут его про себя как святыню, и блаженством своим не спешат делиться со светом. Счастливый юноша, обожающий брата-Царя, как отцом им любимый, с такою матерью, какая у него была, с доброю, верною и прекрасною подругой, с которою жил он душа в душу, имея занятия, согласные с его склонностями, без забот, без ответственности, без честолюбивых помыслов, с чистою совестью, чего недоставало ему на земле? О, как тяжел после того должен был показаться ему венец! Недаром, когда стоило ему надеть его на себя, две недели колебался он его принять. Но что о том говорить, что еще далеко у нас впереди.

В сентябре месяце Государь со всем семей-

ством, со всем двором своим на целую зиму поехал в Москву, дабы более поднять после разорения оживающую столицу. Жуковский, невзначай придворный человек, отправился туда же, и с его отъездом навсегда прекратились собрания «Арзамаса».

В Москве всю зиму веселились и пиروвали, в Петербурге тоже не скучали; а для меня эта зима была совсем не забавна. Первый раз в жизни посетила меня серьёзная хроническая болезнь. Я почувствовал жестокую, мучительную боль в левой ноге; днем она утихла, а ночью будила и с криком заставляла покидать ложе. На счет сей болезни врачи были несогласны: одни в ломоте видели сильный ревматизм; другие полагали, что боль происходит от прилива к одному месту дурных соков, которых, право, кажется, во мне не было. Но все, не исключая Элизена, находили, что зимой делать нечего, и что я терпеливо должен дожидаться весны, теплого времени. Некоторые посылали меня за Рейн, в Висбаден, утверждая, что там только могу получить я исцеление. Мысль о путешествии за границу никогда не приходила мне в голову:

для такого предприятия где бы взял я денег? Тут всё само собою так устроилось, что путешествие сие сделалось для меня возможным и приятным.

Постоянно всю зиму Государь не оставался в Москве, на некоторое время отлучался в Варшаву и на несколько дней в январе приезжал и в Петербург. Его присутствием воспользовался исполненный тогда ко мне нежности Бетанкур, чтоб испросить мне полугодовой отпуск с сохранением жалованья, да, сверх того, с пожалованием единовременно, в виде вспомоществования, годового моего оклада. Государь велел сделать представление через Комитет Министров и в марте месяце его утвердил. С другой стороны, мать моя, узнав о тягостном положении моем, лишила себя четырех тысяч рублей ассигнациями, из числа сбереженных ею денег, и ими снабдила меня на дорогу. Но всё это было бы недостаточно, чтобы совершенно обеспечить меня на время сего дальнего (по тогдашнему) путешествия, если б один счастливый случай не пришел мне на помощь.

Из всех чиновников Министерства Ино-

странных Дел, Полетике и Блудову более всех Каподистрия оказывал приязнь и уважение; последнего называл даже перлом русских дипломатов. Первый зимой из Лондона был им вызван в Москву и, по его представлению, назначен там чрезвычайным посланником и полномочным министром при Северо-Американских Штатах; Блудов же, также призванный в Москву, на его место определен советником посольства в Лондон. Семейство его в эти годы несколько умножилось; при малолетних детях нужны были няньки, кормилицы, что вместе с прислугой заставляло его взять лишний экипаж. А как мне купить таковой было не под силу, и я страшился езды в дилижансах, мне незнакомых, а он отправлялся не морем, а через Германию и Францию, то и предложил он мне одно место в своем, с тем, чтобы счет издержкам на одну мою персону свести по окончании сей совместной поездки. Сколь ни выгодно было для меня предложение сие, я не от всякого бы его принял. Вышло на поверку, что дело обошлось для меня еще дешевле, чем я ожидал; ибо, когда пришлось мне, окончив путь, расставать-

ся с Блудовым, он объявил мне, что счета потеряны, и что не стоит спорить о такой безделке. Как быть? Вся деликатность поступка осталась на его стороне Одним словом, я прокатился даром.

VII

П*утешествие за границу.*

Еще в конце марта уступил я даровую, казенную квартиру мою помощнику моему Нодену. За высокую для него цену, с семейством, жил он дотоле в наемной. И так, слава Богу, при этом случае удалось и мне кому-нибудь сделать одолжение. Я переселился к Блудову, в тот самый верхний этаж купленного им потом каменного дома на Невском проспекте, где за одиннадцать лет перед тем жил я так печально с сестрой Алексеевой. Вскоре приехал из Москвы и Петр Иванович Полетика и, пользуясь также гостеприимством хозяина моего, поселился со мной рядом. У всех у нас апрель прошел в сборах к отъезду.

Наконец, 27-го числа началось второе мое большое и любопытное путешествие. Так же

как и при описании первого буду я говорить единственно о тех предметах, которые *меня* занимали, которые во *мне* возбуждали внимание. Ныне размножилась порода туристов; из самых отдаленных степных губерний наших, провинциалы так и валят в чужие края, и поездка за границу сделалась столь обыкновенным делом, скажу даже столь пошлым, что бывало в старину поездка из Москвы к Троице или в Ростов почиталась гораздо важнее. Следственно соотечественникам рассказывать подробно о том, что они все видели, а потомству о том, что оно, вероятно, увидит, почитаю занятием совсем излишним.

В день выезда нашего погода была самая благоприятная, и я довольно радостно отправился в путь. Так стояла она и следующие дни; несмотря на то, множество затруднений и неприятностей должны мы были сначала встретить. Отобедав в Петербурге, до Стрельны по гладкой дороге доехали мы довольно шибко; на дворе было уже не рано, мы переменили лошадей и намерены были ехать часть ночи. Шести верст не доезжая до станции Кипени, подле Ропши, подымаясь на

небольшую гору, нашли мы ужасные сугробы снега, которые не успели еще стаять. В это время совершенно смерклося. Нельзя себе представить мучительнее езды в летнем экипаже по глубокому полурастаявшему снегу, в котором каждое колесо пробивает новую колею. Положение бедной Анны Андреевны было ужасное: она сидела с малыми детьми и женщинами в большой, тяжелой четверо-местной карете и каждую минуту видела опасность быть опрокинутою и расшибиться вместе с ними. С мужем её следовали мы в открытой коляске и также не весьма веселым образом качались со стороны на сторону; пешком идти было тоже невозможно, ибо на каждом шагу надобно было проваливаться. Не менее трех часов подвергнуты мы были этой пытке, и шаг за шагом, уже за полночь узрели мы, как обетованную землю, красивый, чистый и хорошо прибранный станционный дом Кипени.

Мы спокойно переночевали и думали, что тут конец страданиям нашим. На следующее утро яркое солнце осветило перед нами ужасную картину: на необозримом пространстве

глубокий снег покрывал землю и ослепительно отражал лучи его. Нам объявили, что придется нам, по крайней мере, семьдесят верст бороться с ним. Для Блудова с семейством сыскали пару саней, женщины поместились в коляске, а я поселился один в опустевшей карете и ехал в ней, как в ладье по бурным волнам. Таким образом во всё утро проехали мы одну станцию и в обеденное время, достигнув Каскова, расположились в нём немного отдохнуть. По глупой моей тогда привычке французить и каламбурить, назвал я эту станцию casse-соу; Блудов был в дурном расположении духа и наморщился. Однако же, чтобы не захватить ночи, должны мы были отправиться далее. Непонятно, откуда взялось такое великое количество снегу; вероятно зимой со всей России нанесло его на сей несчастный пункт. А воздух, между тем, был чист и усладителен; смешение солнечного жара со студеными испарениями земли производило приятную прохладу. Выехавший через неделю после нас из Петербурга и обогнавший нас в Пруссии, Полетика сказывал, что на этом пути не встретил и следов снега.

После обеда с трудом могли мы сделать еще одну станцию до Чирковиц. Тут, при въезде в селение, не избегнул я целый день грозившей мне судьбины: карета упала на бок; какие-то ларчики, детские игрушки полетели у меня мимо лица, мимо глаз, ничего не повредив, и вся беда кончилась для меня небольшим испугом и великим затруднением вылезти из опрокинутой кареты. Я вхожу в подробное описание неприятностей этого путешествия, потому что я испытал их один раз, а другому может быть, никогда не удастся.

На другой день, 29-го числа, вздохнув, отправились мы далее. Мы повстречались с одним весьма малоизвестным, хотя и превосходительным дипломатом, Крейдеманом, который возвращался из-за границы и проваливаясь шел пешком за своей коляской. С трудом могли мы разъехаться и поменялись известиями о дороге. Он обрадовал нас, сказав, что в двух или трех верстах не найдем мы более снега; а мы принуждены были объявить ему, что он вступает только в снежную пустыню. И действительно, скоро стали показываться большие потоки воды, потом грязь, а подъез-

жая к Ополью, нашли совсем сухую дорогу. Берег! берег! и на нём в умножение удовольствия нашего встретила нас веселая услужливая немка-трактирщица, которая славно нас накормила и дешево взяла за обед. Не замешкавшись пустились мы вперед; в Ямбурге только что переменили лошадей и оттуда как бы мигом прискакали в Нарву. Дорога, кажется, была мне знакомая, в третий раз проезжал я тут, но ничего не узнавал на ней кроме красивых почтовых домов. Почувствовав необычайную усталость, особенно женский пол между нами, решились мы остаток дня провести в Нарве, и из этого города для меня было настоящее начало нашего путешествия.

Мы въехали в Эстляндию, печальную страну, где родился отец мой, где природа и люди равно жестоки к обитающей ее несчастной чуди, где последние завоеватели не могут или не хотят защитить жителей от угнетений прежних завоевателей. Вместо селений везде разбросанные мызы, везде бедность, неопрятность и недовольные лица; кой-где покажется кирхшпиль, деревянная кирка с пасторатским строением. Взамен врожденной смело-

сти, природного смысла и телесных сил, которыми Бог одарил русских соседей их, бедным чухонцам послал он христианскую веру, которая, и в обнаженном лютеранами виде своем, служит им утешением и дает надежду на лучший мир, где будут они равны немилосердным баронам своим. Они все грамотные, не так как наши православные мужички, которые знают одни лишь церковные обряды и их только исполняют. Что бы ни говорили, а эдак мне кажется лучше. Со сжатым трудами и, по лениво обращающейся крови, тупым воображением маймистов, они не умствуют; но у нас, с распространением грамотности, или родится безверие, безнравственность, или размножатся расколы. Нужно только улучшить состояние священников и быть строже, осмотрительнее в их выборе, дабы глас Божий из уст сих пастырей внятно гремел между нашими бойкими баранами и вел их к благой цели. Вот меня куда занесло!

С дамами и детьми ехать скоро невозможно. Проехав Вайвару, Йеве, места мне знакомые и на деле, и по слуху, сделав не более семидесяти верст, остановились мы ночевать

в Клейн-Пунгерне. На другой день, 1-го мая, подле станции Ненналь увидел я в первый раз отчизну снетков, Чудское озеро. Громадные льдины были еще прибиты к берегам его, и от них несло не совсем приятною свежестью, а само озеро, отражая голубое небо, было красиво и чисто как стекло. Сделав сто верст в этот день, не доезжая Дерпта, на последней к нему станции Игафере, ночевали мы не весьма покойно. Со званием комиссара, то есть по нашему, станционного смотрителя, находился тут один молодой еще студент, которого, помню, звали Крейцберг. Он угощал близко от нас приехавших из Дерпта товарищей; они курили, пили пиво, пели песни, одним словом предавались немецкой швермерей. Хотя мы были очень далеко еще от Германии, но всё ее уже возвещало.

Рано поутру 2 мая, приехали мы в Дерпт и остановились в деревянном одноэтажном, чистеньком доме, который, кажется, назывался гостиница Аланд. Связи с Жуковским не только сближают друзей его, но как будто роднят их между собою. В Дерпте находилась часть семейства, в котором был он воспитан.

Александрю Федоровичу Воейкову, женатому на меньшей Протасовой, пришла охота сделаться профессором русской литературы в Дерптском университете. Там посетила его теща с старшею дочерью, и он нашел средство просватать последнюю за профессора медицины Мойера; сам же, видя, что преподаваемою им наукой молодые немцы не хотят заниматься, вскоре уехал обратно в Петербург. Как странен этот брак должен был казаться в Орловской губернии, откуда Протасовы приехали: дворянская спесь русской барышне прежде никак бы не дозволила выйти за профессора, за доктора. Конечно, это предрассудки старины, но я тогда разделял их и, полно, не разделяю ли еще и поныне? По заочности давно уже будучи знакомы, не помню, кто из нас кого посетил первый, только помню, что в этот же день обедал уже я у г. Мойера с его женой и тещей, Катериной Афанасьевной, что подавали всё немецкое кушанье и что я, за три дня до того тонувший в снегу, сидел за столом в садике под распускающимися липами in's grüne. После обеда повел нас г. Мойер осматривать город. Под именем Юрьева-Ли-

вонского построенный русскими, которые нигде для частного употребления кроме деревянных домов не ставили, поблизости к границе, вероятно, часто разоряемый войною, он, подобно укрепленной Нарве, не сохранил вида древности, Единственный остаток её, католическая со борная церковь, в которую входили мы, обращена уже была в университетскую библиотеку. Провели мы вечер и ужинали у тех же Мойеров. Тут случилась одна гостья, учтивая немка, которая, желая потешить меня, сказала мне, что и она была в России. «Мне кажется, вы и теперь в ней», отвечал я. От этого простого замечания смешалась она и не знала, что сказать.

Я не могу здесь умолчать о впечатлении, которое сделала на меня Марья Андреевна Мойер. Это совсем не любовь; к сему небесному чувству примешивается слишком много земного; к тому же, мимоездом, в продолжении немногих часов влюбиться, мне кажется, смешно и даже невозможно. Она была вовсе не красавица; разбирая черты её, я находил даже, что она более дурна; но во всём существе её, в голосе, во взгляде было нечто неизъ-

яснимо-обворожительное. В её улыбке не было ничего ни радостного, ни грустного, а что-то покорное. С большим умом и сведениями соединяла она необыкновенные скромность и смирение. Начиная с её имени, всё было в ней просто, естественно и в тоже время восхитительно. Других женщин, которые нравятся, кажется, так взял бы да и расцеловал; а находясь с такими как она, в сердечном умилении, всё хочется пасть к ногам их. Ну точно она была как будто не от мира сего. Как не верить воплощению Богочеловека, когда смотришь на сии хрупкие и чистые сосуды? В них только могут западать небесные искры. «Как в один день всё это мог ты рассмотреть?» скажут мне. Я выгодным образом был предупрежден на счет этой женщины; тут поверял я слышанное и нашел в нём не преувеличение, а ослабление истины.

И это совершенство сделалось добычей дюжего немца, правда, доброго, честного и ученого, который всемерно старался сделать ее счастливой; но успевал ли? В этом позволю я себе сомневаться. Смотреть на сей неровный союз было мне нестерпимо; эту кантату, эту

элегию никак не умел я приладить к холодной диссертации. Глядя на госпожу Мойер, так рассуждал я сам с собой: «Кто бы не был осчастливлен её рукой? И как ни один из молодых русских дворян не искал её? Впрочем, кто знает, были вероятно какие-нибудь препятствия, и тут кроется, может быть, какой-нибудь трогательный роман». Она недолго после того жила на свете: подобным ей, видно, на краткий срок дается сюда отпуск из места настоящего жительства их.

Расставшись на другой день с Дерптом и Мойерами, дня три ехали мы до Риги; оттого что в иных местах не было лошадей, а в других было много глубокого песка. Мы первую ночь провели в Гульбене, другую в Роопе, и видели небольшие города Валк и Вольмар, которые показались мне замечательны в местах, где нет даже деревень. Примечательно, что в стране, которая более ста лет вновь принадлежит России, начиная от Нарвы совсем уже не пахнет русским духом, что в ней не услышишь русского слова. Никто не думал у нас о введении тут народного языка нашего сколько-нибудь в употребление, тогда как

немецкие владельцы, преданные отдаленному и раздробленному отечеству своему, всячески стараются сохранить и распространить язык его между населением, совершенно ему чуждым. Путешествия за границу в старину почитались диковинкой, одни знатные господа позволяли их себе: им удобно и приятно казалось, выехав из Петергофской заставы, находить тотчас преддверие чужих краев. Я могу хорошо судить и смело говорить о том, ибо хотя отнюдь не принадлежал к их сословию, имел однако же многие из их привычек и предрассудков. Должен покаяться в том: мне наскучило разъезжать по России из края в край, и я почувствовал непозволительное удовольствие, когда некоторым образом переступил её границу.

Прибыв в Ригу 5-го числа к вечеру, с трудом могли отыскать плохую квартиру в плохой гостинице, которая однако же называлась отель де-Пари. Не было ни ярмарки, ни дворянского съезда, а во всех трактирах номера были заняты. Так бывало всегда, когда после случалось мне проезжать этот город: держатели гостиниц всё еще трепещут перед

могуществом рыцарей и должны всегда держать про них комнаты в запасе. На другой день пошел я гулять по городу; его узкие улицы и высокие старые дома возбудили бы во мне более любопытства, если бы я не видел Нарвы. Все эти древние города на Западе более или менее между собою схожи; в средние века все они были укреплены: жители окрестных мест, часто разоряемых огнем и мечом, укрывались в них и теснились на небольшом пространстве под защитою каменных стен и рвов, коими были они окружены. Пока я ни пригляделся к ним, они мне очень не нравились: мне всё казалось, что я вижу запачканных стариков в морщинах, которые жмутся и все на один лад и построй; я вырос и возмужал среди простора Петербурга и русских городов. Мне хотелось видеть что-нибудь примечания достойное, и мне указали на залу Черноголовых или Шварцгейптеров, Рижский Музеум. Я не очень помню, в чём состояли сокровища, тут собранные, исключая сапоги Карла XII[8]. Долго оставаться тут нам было не для чего: мы ни с кем не были знакомы и 7-го числа отправились далее. Накануне

это было бы труднее, ибо в этот день только навели плавучий мост через Западную Двину.

Расстояние между двумя столицами Лифляндии и Курляндии так невелико, что одна может почитаться предместьем другой. В несколько часов из Риги приехали мы в Митаву, город уже нового издания, на осмотр которого нужно было посвятить еще несколько часов. Вот что погубило нас: как грозная тень, восстал перед нами умирающий фельдмаршал Барклай и целую неделю заслонял нам дорогу. Только вечером узнали мы, что он находится в Митаве, и что все почтовые лошади взяты под многочисленную свиту его. Настоящим образом не зная в каком состоянии находится здоровье его, мы разочли, что нам лучше пустить его вперед, чтобы не иметь более затруднений в дороге. На другой день выехал он или, лучше сказать, вывезли его не очень рано, и пока сам Блудов, вооруженный казенною подорожной по экстренной надобности, ходил к губернатору за приказанием дать ему лошадей и получил его, пошел я к подъезду фельдмаршала, которого прежде не случа-

лось мне видеть и, стоя в толпе, смотрел, как полумертвого почти выносили его и клали в карету. Ныне не дают людям спокойно умереть дома; тем, кои имеют некоторый достаток, сие не дозволяется: по приказанию медиков (обыкновенно иностранцев), в предсмертных страданиях должны они наперед прокатиться по Европе.

По прежнему отобедав, а по нынешнему позавтракав смотря по часу, в гостинице г. Мореля, в которой ночевали, отправились мы. Накануне, в удовлетворение любопытства своего, ходил я за город посмотреть на замок герцогов Курляндских, не ветхое, даже не старое и совсем не древнее четверостороннее здание без укреплений и башен, без парка и даже без сада, посреди чистого поля, выстроенное не Кетлерами, а Биронами, и доказывающее варварский вкус этого семейства. Туда влекло меня не одно любопытство, но и желание поклониться убежищу Бурбонов, к величию и несчастьям коих я тогда питал еще какое-то священное уважение. В этом дворце помещено было тогда несколько чиновников, а главные комнаты оставались пу-

сты на случай приезда тогдашнего генерал-губернатора маркиза Паулуччи; теперь помещены там все присутственные места. О сохранении исторических памятников у нас немного заботятся. Уходя, сквозь железную решетку заглянул я в подвалы замка, где находятся гробницы последних герцогов.

Одного из них, знаменитого Эрнста Иоанна, не защитила решетка от поругания одной бешеной женщины; этот анекдот стоит, мне кажется, чтобы найти здесь место. При Павле и сначала при Александре, губернаторами в Остзейские провинции определяемы были всё русские. Курляндским был некто Николай Иванович Арсеньев, человек смирный; но жена его, Анна Александровна, урожденная княжна Хованская, была совсем не смирна. Сошедши в подвалы, она велела открыть гроб Бирона и плюнула ему в лицо. Не знаю до какой степени можно осудить это бабье мщение; конечно оно гадко, но тут не было личности, а наследственное чувство ненависти её соотечественников. Она была женщина не злая, но тщеславная и взбалмошная. После представления королеве, супруге Людови-

ка XVIII, она ожидала от неё посещения и, узнав, что она совсем не расположена его сделать, прогневалась. «Чем эта дура так гордится? — сказала она. — Тем что она Бурбонша? Да я сама Хованская». Тут видны безрассудность и невежество, но вместе с тем и народное самолюбие, которое мне не противно.

Отъехав одну только станцию до Доблена, принадлежащего вдове последнего герцога, мы опять должны были остановиться. Молодой комиссар, он же и содержатель гостиницы и управляющий имением герцогини, малый очень учтивый и почтительный, показал нам конюшни, в которых не оставалось ни одной лошади: не к чему было так торопиться. Но по крайней мере приятности места, где мы находились, дали нам возможность терпеливее перенести нашу невзгоду. Почтовый дом, в котором мы весьма удобно поместились, отделен был от развалин древнего замка, хорошо сохранившихся, глубоким оврагом, на дне которого тек ручей или малая речка. Стараниями комиссара, разумеется на деньги владелицы, всё это пространство засажено было деревьями и устроен очень хоро-

шенький английский сад. Для нас тут была весьма приятная прогулка, а для меня особенно занимательно и любопытно было в первый раз видеть настоящие развалины, произведенные не искусством людей, а их забвением и действием времени.

Наш передовой, который не заготовлял нам, а отнимал у нас лошадей, ехал сперва довольно поспешно. Целыми сутками был он у нас впереди, и оттого-то следующие два дня имели мы мало остановок. Мы же всегда ночевали; первую ночь провели в Дрогдене, другую в Рутцау, почти на самой границе. Тут старик комиссар, отставной из военных, мне чрезвычайно полюбился своею веселостью и не существующим уже ныне немецким добродушием. Утехой жизни его была золотая табакерка, которую великая княгиня Мария Павловна в проезд ему пожаловала; нам, как и всем у него останавливающимся, выносил он ее на показ.

Нельзя было не заметить нам великой разницы между двумя соседними провинциями. В Курляндии, которая также населена латышами, народ как будто смышленее, почва

земли плодороднее и поля лучше обработаны. Зато она гораздо более онемечена, чем Ливония; там везде еще встречаются финско-латышские названия мест, а тут все они окрещены в немецкий язык. Одним словом, Курляндия, кажется, так и просится в Пруссию; и не знаю, хорошо ли делают, оставляя в ней и поныне весь прежний порядок.

Наконец, 11-го поутру, приехали мы на границу и переехали за нее. Тут в Полангене наша Самогиция выдвигается клинышком. В этом местечке видел я море, но не видал гавани, двенадцать лет спустя найденной тут одним ученым французом, заседающим в палате депутатов. Ни в Полангене на нашей границе, ни в Ниммерзате на прусской не были мы много обеспокоены таможнями. Блудов ехал к должности по воле Русского императора, и оттого потом нигде не подвергались мы жестоким обыскам.

Вот, наконец, я в Мемеле, первый раз в заграничном городе. Хотя мы приехали в него довольно рано, остановясь в так называемом *Немецком Доме*, я не поспешил насладиться воззрением на него. Боли в ноге с наступле-

нием теплого времени у меня как будто замерли, и я почти забыл о них; но во время проезда через Курляндию сделалось сыро и холодно, и я вновь начал страдать, что вместе с усталостью совсем не располагало меня к прогулкам. Еще солнце не село, когда, почувствовав облегчение, заснул я богатырским сном и проснулся только следующим утром. Тогда пустился я ходить; но что примечательное можно найти в Мемеле? Прямые улицы, каменные дома порядочные, как у нас, правильно выстроенные. Это как разговор иных людей небогатых идеями, но благовоспитанных, благопристойных: хорошо говорят и ничего не скажут. Я пошел взглянуть на дом, в котором несколько месяцев жила королева, любезная русским сердцам, когда из всего обширного, хотя разбросанного государства мужа её этот один уголок оставался в его владении.

Река Неман, вытекая из славянской земли, при устье своем образует тут широкий залив. Она дала имя свое этому городу, а сама от кого получила название Мемеля, от немцев ли или самогитов — мне неизвестно. Вдоль по

реке сей проехали мы, и вот отчего: неизбежный Барклай выехал из Мемеля только в день нашего приезда; более двух станций в сутки, по слабости своей, он делать не мог. Нас обманули, сказав, что он выбрал кратчайший путь Куриш-Гафом по штранду. Мы бросились в другую сторону и на первой станции, в Проккульсе, узнали свою ошибку; но уже было поздно, делать было нечего как следовать за тем, коего встречи мы так боялись. С ним были жена и сын, адъютанты и медики, и шествие его походило на триумфальное, но вместе с тем и на погребальное. Однако же надобно признаться, что заграничные почты устроены лучше наших: на усталых еще после него конях кое-как добрались мы на ночлег в плохое местечко Шаматкемен.

Места, коими проезжали мы, обитаемы народом, который играл важную роль в истории нашего отечества; ибо самогиты или жмудь, ятвяги и литва всё одно и то же. Но что это за народ? и откуда взялся он? Я долго полагал, что он смешение готского племени с славянским и финским, но следов их наречений не встречается в особом языке, коим го-

ворит сей народ, а по большей части латинские слова. К тому же в славянах и в финнах никогда не было зверонравия, коим сначала отличались сии дикие выходцы из лесов; впрочем маджары, или венгры, тоже финского происхождения. Должно полагать, что и вся Пруссия некогда населена была Жмудью; многие из древних князей её носили имя Прус. Недолго Литовцы поблистали и погрели в мире. Сперва завоеванная ими обширная православная Русь начала было поглощать их; потом, пристав к католической Польше, они затмились и исчезли в её объятиях. Так будет со всяким государством, которое, не сохраняя своей самоцветности, не старается между покоренными вводить свои нравы, обычаи, законы, язык и веру: завоевания будут его гибелью, оно потонет в них. Польша, несмотря на свои беспорядки, на безрассудность свою, хорошо это понимала и спешила всё окрасить собою. Оттого-то она пережила самое себя, оттого-то находишь её там, где бы давно ей не должно быть, оттого-то её духом еще полон наш юго-западный край, где, за двести лет тому назад, имя её бы-

ло проклинаемо. С особенным вниманием смотрел я на самогитов: лица нехороши, но чрезвычайно выразительны.

Проезжая следующим утром по мосту, через Неман, при въезде в Тильзит, взглянул я на место свидания двух императоров, на место, где стоял исторический плот. Тильзит! при имени его обидном теперь не побледнеет росс, сказал Пушкин. И действительно, что нашли мы на почтовом дворе? Французского инвалида, не знаю, как тут оставшегося, который с гордым еще видом оросил милостыню. Пруссаки в это время с нами были отменно услужливы; комиссар советовал нам стараться опередить фельдмаршала, дал свежих, хороших лошадей и записку к соседу своему, комиссару на следующей станции в Остветене, где, по словам его, Барклай должен был остановиться обедать. Моему нетерпению не было границ; вслух пожелал я, чтобы герой наш на дороге умер и чтобы мы проехали по трупу его. Услышав мои преступные желания, Блудов даже вскрикнул от негодования. В Остветене комиссар наморщился, почесал затылок, но видно товарищ его имел над ним большую

силу: он тотчас велел нам дать лошадей. Одной мили не доезжая до города Инстербурга, на левой стороне дороги, увидели мы небольшую мызу и на дворе её множество карет. Мы заключили из этого, что верно больной остановился тут отдохнуть.

Мы намерены были до свету выехать из Инстербурга, но возможно ли это с дамами? Пока, одеваясь, мы пили чай, пришли нам сказать, что фельдмаршал в эту ночь, на виденной вами мызе, скончался, и что посланный оттуда приехал заказывать гроб. Меня как по коже подрало: вместо радости почувствовал я угрызение совести, точно как будто желанием своим я уморил его. Однако же карета была у подъезда: мы не римские католики и, пожелав добродетельному еретику царствия небесного, пустились в дорогу. Мы едва могли переводить дух: так скоро переменяли нам лошадей и так прытко везли нас. В карете под княжескою короной изображен был герб Блудова вместе с Щербатовским и, сверх того, выставлена литера В. Поэтому принимали нас за семейство или за свиту князя Барклая. Таплакен, Велау, Тапиау, Погауен, — вот

станции или места, через кои вихрем пронеслись мы до Кёнигсберга. Я называю их потому, что они у меня были записаны и что дорога сия в Тильзит, замененная другою укороченною, более не существует.

В Кёнигсберге, на небольшой площади подвезли нас в г. Грегори, к Немецкому Дому, Deutsches Haus, в котором приготовлена была квартира для покойного. На площади нашли мы начальствовавшего в городе генерала Штуттергейма со всем штабом, во всей форме и с рапортом в руках. Он очень удивился, когда мы сказали ему, что труд его напрасен и что Баркляя более нет. Это было засветло 14 мая.

Не знаю, почему Кёнигсберг почитают прусскою Москвою? Какие священные воспоминания наполняют его? Точно также, как Венгрию, как Ломбардию, как Шлезвиг, немцы почитают Пруссию заграничным своим владением; доньше не входила она еще в состав Германского союза. Да что же она такое? Под предлогом обращения язычников в христианскую веру, Тевтоническим орденом завоеванный приморский край. Не знаю, по ка-

кому праву папы и императоры дали рыцарям право владения в нём. Они спокойно в нём господствовали. Напрасно упрекают поляков в том, что будто бы они добровольно и беспечно дали им у себя тут утвердиться: добрые католики, они приняли их сначала как вспомогательное Христово войско, в услугах их готовое, для обуздания во тьме язычества пребывающих, часто непокорных данников их; но скоро, увидя их обман, столетия воевали с ними. С другой стороны, и Литва, вдруг поднявшаяся, угнетенных единокровных возбуждала к восстанию, сильно вступалась за них и помогала им. И нет сомнения, что владычество ордена было бы тут раздавлено, если б у него не было великих богатств в целой Германии, и если б оттуда беспрестанно не приходили к нему на помощь новые рати. Ливонский орден Меченосцев, лет за тридцать прежде того и почти одинаковым образом основавшийся в России, вместе с магистром своим признал над собою власть его, подчинил себя ему, и этот союз обоим был чрезвычайно полезен. Однако же, по временам, погибель грозила обоим; Ягелло, Витовт и еще

прежде наш Александр Невский до основания потрясали их могущество. Польша восторжествовала, но тщеславие её довольствовало званием вассала, которое принял орден; тогда-то, в честь Польского короля, небольшой городок, построенный на Прегеле, назван Королевцем. При Казимире IV преобладание Польши до того умножилось, до того потеснил он рыцарей, что оставил им одну только восточную половину Пруссии, и что из Мариенбурга на Висле, постоянной резиденции великого магистра и главного места управления ордена, они должны были в последней половине XV века перенести его в Королевец, который, кажется, с тех пор начал называться Кёнигсбергом: древность не весьма древняя. Известно, что в начале XVI века лютеранизм нанес смертельный удар воинственно-монашествующим орденам, и что Альберт Бранденбургский, магистр Тевтонического, и Готтард Кеттлер — Ливонского, приняв новую веру, объявили себя независимыми герцогами, первый в Пруссии, последний в Курляндии. Тот и другой отреклись от немецкой или Святой Римской империи и поставили себя под

покровительство католической Польши. Она в нём не отказала им, ибо в совершенном отделеении их от Германии видела их ослабление; к тому же сам король Сигизмунд-Август имел склонность к протестантизму. Расчёт был плохой: после Альберта Пруссия по наследству досталась маркграфам и курфюрстам Бранденбургским, из коих один пожаловал ее королевством, а себя произвел в короли, и кончилось тем, что часть самой Польши сделалась их добычею. Зачем вклеил я тут это краткое историческое начертание? Да так, пришлось к слову.

Первый вечер, проведенный в Кёнигсберге, было мне нехорошо; я почувствовал лихорадку. Не для меня одного послали за доктором; явился англичанин Мотерби, прописал мне что-то успокоительное, и на другое утро был я как встрепанный. Пользуясь лучшим состоянием здоровья и хорошею погодою, пошел я по городу и зашел к Павлу Ивановичу Аверину, управляющему ликвидационною комиссией по заграничным расчётам после войны и оканчивающему тут свои занятия, который накануне был у меня, чтобы удосто-

вериться насчет слухов о кончине Барклая, Он человек с необыкновенными, можно сказать, с несносными странностями, и мне хотелось бы его здесь представить; но говорить о нём нельзя иначе, как пространно, а мне теперь некогда.

В это же утро какой-то немецкий слуга повел меня смотреть достопримечательности; их было немного. Я побывал во дворце или замке и в соборном храме. Первый стоит на высоком месте и имеет четыре фаса или лица, выходящих на улицы, а внутри двор. Одна из сторон, старинная, построена еще великими магистрами, которые тут жили, а ныне помещаются какие-то чиновники и какие-то канцелярии. Другая сторона, гораздо новее, выстроена первым Прусским королем, горбатым Фридериком I. Тут венчался он на престол; разумеется, не миропомазывался, и в точном подражании Реймской церемонии не доставало Сент-Ампули. Тут останавливаются короли, и в несчастное для неё время полтора года прожила тут нынешняя королевская фамилия. Комнаты высоки, просторны и довольно богато прибраны; одна показалась

мне замечательною: она оранжевого цвета, по карнизам расписана цепь Черного Орла, а на стенах изображен синий крест его. Из неё вид далеко в поле; говорят, будто Наполеон смотрел тут из окошка, когда ретирующийся арьергард, не знаю, русский или прусский, сражался с его войсками.

Третья сторона, после пристроенная, довольно безобразная, заключает в себе службы, кухни, конюшни и тому подобное. Четвертая вся состоит из одной огромной, нескончаемой залы, называемой Московскою. Пруссаки полагают, что название сие дано ей прихотью королей, тогда как она построена прихотью Русской императрицы. По сходству имен, Елисавете Петровне почудилось, что она имеет неоспоримые права на Пруссию; она хотела тут короноваться, и во время Семилетней войны велела для того выстроить эту залу, которая, подобно большому манежу, до сих пор стоит не отделанная; ныне, говорят, устроены в ней гимнастические упражнения. Провожатый мой никак не хотел мне поверить, что русские воздвигли эту залу, когда более двух лет в Пруссии они хозяйничали. Что делать!

уже такой обычай у этого кочевого, варварского народа: куда ни придет, в виду неприятеля, под пушечными выстрелами его, везде строит города. Этим только в завоеваниях своих отличается он от Аттил и Тамерланов. В соборной церкви мой проводник повел меня прямо в могиле Канта. «Что за Кант? — сказал я; — я об нём слышал, но никогда не читал его; покажи-ка мне лучше, где похоронены последние великие магистры». Немец посмотрел на меня с удивлением. Для Германии решительно наступил век философических бредней.

Продолжаю мой дневник. Выехав из Кёнигсберга 16-го числа, мы первый день не сделали даже и одной станции: ибо, не доезжая четверть версты до местечка Бранденбурга, где почтовый двор, мы должны были остановиться. Дышло у кареты переломилось пополам, шагу нельзя было сделать далее, и мы вошли в первый попавшийся домишко, в котором было чистеньких две комнаты. Но рядом с ними продавались пиво и водка, одним словом, это был кабак на берегу моря. Оттуда, к несчастью, с самого утра подул сильный се-

верный ветер, воздух сделался вдруг ужасно холоден, а в жилище нашем некоторые окна были разбиты. Анна Андреевна принуждена была затыкать их подушками, чтобы сколько-нибудь бедных детей защитить от непогоды. Я был в совершенном отчаянии; одна беда дорогой сменяла нам другую, и я начинал думать, что не попаду к удобному времени в место лечения моего. Скуки ради ходил я пешком в местечко и видел барское житье альтмана, который в одно время содержал почту, трактир для проезжих и управлял казенным имением. Около суток нужно было для сделания дышла, и мы на другой день часов в одиннадцать могли отправиться далее.

Дорога, по которой мы ехали, ныне брошена и проложена другая, гораздо короче. Почему назову я станции, которые у меня записаны: Гоппенбрук, Браунсберг, где комиссаром нашли мы безногого офицера с Пур-ле-Меритом на шее, который бранил французов на чём свет стоит, а русских перевозносил до небес (чего ныне не услышишь), Мильгаузен, где мы ночевали, потом Прейш-Голланд, Прейш-Марк, городок Ризенбург и наконец

Мариенвердер. Дорога была вовсе не занимательна; возили тогда тихо, не так как после возвращения короля из последней поездки в Россию, и расстояние до Берлина казалось нам ужасным.

Мариенвердер, место примечательное, часто упоминаемое в истории Тевтонического ордена, некогда бывшее тоже главным в Пруссии, и стоило бы осмотреть его; но мы приехали в него слишком поздно и выехали из него слишком рано. Мимоездом вид его показался нам приятен, нечто вроде Москвы, смешение красивых, новых домов с древними хорошо сохранившимися зданиями. В это время король чрез Познань предпринимал путешествие, чтобы поклониться Москве, которая всеожжением искупила независимость Европы, навестить там любимейшую дочь и повидаться с другом-союзником. В Мариенвердере нашли мы генерала Борстеля, который ехал куда-то к нему навстречу; он вел себя с нами очень любезно и сказал, что, опережая нас, везде будет заказывать нам лошадей. Ныне никто не поверит, до какой степени пруссаки, по примеру государя своего,

были предупредительны с русскими и как охотно они братались с нами.

Переехав широкую Вислу, прибыли мы в незavidный город Нови, который немцы называли Нейенбургом. Тут начинается Западная Пруссия, то есть всё то, что по первому разделу отхвачено от Польши, и верст на сто тянувшийся густой, а местами и дремучий Тухельской лес, Tuchelsche Heide. Тут один лишь высший класс, комиссары, трактирщики говорят по-немецки; прислуга же, почтари, все прочие жители чистым польским языком. Так же как Нови, всем местечкам даны немецкие имена; оставлено только *Плохочину*, и то с прибавкою слова *гросс*. На обратном пути мне приятно было встретить тут почти земляков и услышать почти родные звуки, а тогда мне было досадно: мне казалось, что это отделяет меня от Германии, куда я спешил. Время между тем стояло ясное, холодное, несносное, на каждом ночлеге приходилось топить, мрачный лес рождал мрачные мысли; в Тухеле, давшем ему название, сделалось теплее, за то пошел непрерывный, проливной дождь и сделалось грязно; ничего от-

радного не видели мы на всём пути. В городке Конице конец лесу и польскому наречию и начало почтовой дороги, по которой ездят и поныне. Только видно, что всё еще славянская страна, ибо часто встречаются славянские названия мест и деревень, как например Петров[9]. После того есть Рушен-Дорф, коего жители немцы, но предки, говорят, были русские, и я охотно поверил тому, ибо нигде так шибко нас не везли.

Переночевав в Шлоппе, 22-го числа приехали мы рано в Гохцейт. Утро было радостно, как название сей деревни (свадьба); день сиял, солнце грело, а не палило, и на почтовом дворе, в небольшом саду, как родным после разлуки обрадовался я диким каштанам и тополям. Около двадцати лет расставшись с Киевом, где их довольно, жил я всё на Севере и на Северо-востоке, а тут вдруг неожиданно перенесли они меня в счастливое мое ребячество. И потом сколь часто случалось мне, как ребенку, мгновенно забывать продолжительное горе! Здесь же вступали мы в настоящую Германию, в Неймарк, в Новую Мархию Бранденбургскую, которая, впрочем, тоже не иное

что как отрезанный ломоть от Померании. Наконец, я начинал прозревать берег. Продолжительные дожди испортили однако же дорогу, и мы не очень поспешно могли ехать по ней. В прекрасной гостинице хорошенького города Ландсберга ночевали мы. На другой день увидели мы Одер, который всегда был и должен бы оставаться естественною границей славянского племени; но далеко, далеко за него простерлось немецкое владычество.

На берегу сей реки стоит Кюстрин. В крепость его тогда не въезжали, а останавливались на почтовом дворе среди обгоревшего во время войны и еще не обстроеного форшта-та. Пока приготовляли нам тут обед и лошадей, взглянул я в зеркало и испугался себя: я весь оброс бородой. Я спросил цирюльника; а брить меня привели девку; я нашел, что обычай этот хорош, только довольно странен. В первый раз обедал я тут за общим столон и в первый раз увидел вблизи прусских офицеров, коих за ним было множество. Как назвать то, что отличает их от воинов других наций? В русском языке нет для того слова, и на французском недавно приискано старин-

ное outrecuidance. Они говорили мало даже между собою, но каждый из презрительных взглядов их вызывал пощечину. Отчего именно прусские офицеры так нестерпимы в обращении? Оттого что почти все они славянско-го происхождения, из Померании, из Польши, из Шлезии, из Лузании. Тщеславие, врожденное в славянах, в других землях смягчается их добросердечием, а тут оно облечено и закалено в немецкую грубость. Победы Фридерика их возгордили, победы над ними Наполеона раздражили их. Ничто им, сказал я про себя, и спасибо французам. Народное самолюбие еще более возбуждало во мне досаду. У меня перед глазами была неприступная крепость, осажденная русскими в Семилетнюю войну; я находился в одной мили только от Цорндорфа и в нескольких милях от Кунерсдорфа и Гросс-Егерндорфа, от мест, где русские, под предводительством не совсем искусных генералов, Апраксина и Салтыкова, разбили в прах первейшего полководца своего времени. Названия мест славные, ныне забытые, едва известные русским, я вас вспомнил тут! «Что, подумал я, если бы еще когда-нибудь случи-

лось... ведь наши лучше прежнего отколоти-ли бы их; но увы, не нашему поколению это видеть».

Этот день не попали мы еще в столицу Прусской монархии. Две мили не доезжая Мюнхеберга, где мы ночевали, начиналось шоссе, для меня совершенная невидальщина, ибо в России мы этой роскоши еще не знали. С тех пор, два венценосца, как объятия, начали простирать друг к другу шоссе, стараясь по возможности сократить расстояние, их разделяющее.

При самой благоприятной погоде, по топовой аллее, как коридором, между двух высоких зеленых стен, 24 мая прибыли мы в Берлин и остановились в Петербургской гостинице, на Липовой улице, Unter den Linden, столь известной всем проезжающим чужестранцам. Странно, что городе, где бываю я летом, в хорошую погоду, все мне нравятся; оттого-то, вероятно, полюбился мне для всех скучный Берлин. Он далеко простирается на Север и на Юг; одна Фридрихсштрассе, пересекающая Липовую улицу, имеет три версты протяжения; но кто кроме жителей знает те

кварталы? Тут же, где мы остановились, на малом пространстве сосредоточивается вся жизнь Берлина, который после Петербурга регулярностью своею меня удивить не мог. Липовая аллея, в четыре ряда деревьев занимающая середину улицы, но знаю длины имеет ли более полуверсты, а она начинается у большего королевского дворца и оканчивается у Бранденбургских ворот, где застава и выезд из города. По обеим сторонам аллеи находятся все гостиницы, а из середины её чрезвычайно приятный вид на прекрасные ворота, совершенно греческие Пропилеи, с возвышающейся над ними бронзовой Викторией, похищенной французами и опять тут восстановленной. Тотчас за воротами начинается Тиргартен, зверинец или парк, и белизна колонн их еще более виднеется на густой зелени его дерев. Удобство немалое из центра города, через четверть часа, быть на свежем воздухе, среди прохлады прекрасной рощи.

Некоторые починки в карете и необходимость перемыть всё белье, ибо на столь продолжительном пути мы все обносились, заставили нас дня на четыре остановиться в

Берлине. Не раз бывши за границей, Блудов успел сделать некоторые знакомства; сверх того, как немаловажный дипломатический агент, некоторым образом обязан был посещать русских дипломатов и получал от них приглашения. Два дня сряду обедал он у нашего посланника Алопеуса и у португальского Лобо. Я же вел уличную жизнь, по лености моей находя, что на столь короткое время не стоит труда представляться и знакомиться. Пользуясь свободою, старался и успел я видеть почти всё, что в этом городе есть примечательного; но подробно описывать виденное мною не стану.

Дворец велик; нас водили по комнатам его. Их роскошь была старинная, благоразумная, следственно не изумительная, как ныне в русских дворцах: широкие размеры, штофные обои, хорошие паркеты, большие зеркала, местами позолота, всё как следует, без преувеличения. Наш чичероне, толковал всё о какой-то драгоценной *крене* Фридерика; я полагал, что это алмазная корона его, а вышло, что под этим словом он разумел люстру из восточного хрусталя, которая впрочем сто-

ит, говорят, 80 тысяч рейхсталеров. Всего богаче показалась мне комната, убранная по случаю проезда императрицы Елисаветы Алексеевны: все занавесы у окон и кровати были из серебряно-голубого газета с золотыми шнурами, кистями и бахромой. Особый дом близ дворца, в котором жил король, отделан был, как нам сказывали, более в новом вкусе; но хотя он был в отсутствии, не знаю почему нас в него не пустили. В самый день приезда нашего посетил я театр, называемый Королевским; играли какую-то немецкую комедию, и весьма не дурно, но мне показалось скучно. Есть еще оперный дом, в котором бывают великолепные представления; при нас, летом, кажется не играли в нём.

Церквами этот город не богат; их мало, и они не красивы, что и доказывает и прежнюю бедность этого края, и недостаток усердия к вере в правительстве и жителях. Дом-кирхе или собор, в который входил я, чтобы посмотреть на могилы последних курфюрстов и первых королей, пространством менее всякой Петербургской церкви. Одна католическая, Святой Бригитты, несколько замеча-

тельна; она построена ротондой по образцу Римского Пантеона. В воскресный день был я у обедни в нашей посольской, домово́й церкви, и потом у священника Чудовского, который показался мне весьма обыкновенным, но весьма порядочным человеком. Выходя от него на Вильгельмштрассе, поблизости, завернул я на Вильгельмову площадь, на которой, как куклы, расставлены мраморные статуи шести героев Семилетней войны, Цигена, Зейдлица, Винтерфельда и других.

Всякий вечер гулял я по Липовой аллее. Мне сказали, что есть Лустгартен, увеселительный сад позади дворца: захотелось мне и там погулять, я нашел там большой, совершенный недостаток в одном — в деревьях, зато простору очень много. Совсем иное в Тиргартене, куда в воскресенье вечером направил я стопы свои, и направлял их по многим его направлениям: весьма приятная прогулка.

Я поспешил к увеселительному месту, где вдоль речки построены небольшие домики; как сказать трактирцы, кабачки? Французы называют это генгет. На воздухе перед ними

рядами сидели чинно женщины и девицы, довольно нарядные, с виду совсем не принадлежащие к низшему сословию; мужчины тут гуляющие также были очень хорошо одеты. Ни одна из сидящих не была без рукоделья, все вязали чулки; не знаю отчего эта милая простота была мне не по вкусу. Между чулочницами благопристойности ничто не нарушало, хотя вблизи их пунш, пиво и табак стояли на столе. Тут, на берегу узенькой Шпрее, встретил я источник будущих зол для всех чувствительных зрений и обоняний в Европе: картавые мальчишки кругом кричали: *цигагос!* и местами расстилались облака табачного дыму, конечно, не так густо как ныне в Павловском воксале, ввиду высоких посетительниц, но всё-таки сильно заражали благо-растворенный, весенний воздух парка.

Посреди Тиргартена находится загородный дворец принца Августа, называемый Бельвью; по усталости не вошел я в сад его. Далее, с полмили от Бранденбургской заставы, Шарлоттенбург с пребольшим садом. Такая близость мне нравится; я люблю где Рус и Урбс сходятся, чтобы бедным людям недалеко бы-

ло ходить за невинными наслаждениями природы. Туда по широкой аллее парка ездили мы в открытой коляске. Дворец Шарлоттенбурга невысок, но длинен и довольно велик; хорошо сделали, что сохранили простоту внутреннего его убранства, мода на него опять пришла; по большей части стены в комнатах покрыты выбеленным деревом с вычурными позолоченными украшениями. В одной из них с любопытством остановился я пред изображением Фридерика Великого в восемнадцать лет; он написан совершенным красавцем, а между тем схож со всеми известными его портретами. Весьма искусно живописец выразил быстрый, пронизательный взгляд его, пред коим на один миг опустил я глаза и в коем есть нечто не земное, хотя и не небесное. Малую только часть Бада успели мы видеть; мы ходили смотреть великолепный памятник королевы Луизы. Он имеет вид небольшого греческого храма, а внутри на продолговатом камне находится белая, мраморная, лежащая статуя её, чудесное произведение знаменитого ваятеля Рауха. Видев ее в Петербурге, я нашел большое сходство; как во

сне она, кажется, живая; по сторонам сходы в склеп, в котором положено её тело. Королеву похоронить не в Божием храме, а в саду, как любимых попугая или моську! Оно так и следует, может быть, по-протестантскому, но только что-то нехорошо по нашему по-христианскому.

Я не видел общества в Берлине, я не могу судить о нём; за то сколько можно поверхностно, в короткое время, старался разглядеть берлинцев вообще. Я заметил в них претензии на какую-то особую щеголеватость, чрезвычайные усилия подражать во всём ненавистной им Франции. Сам Фридерик, прозванный Великим, во всём что касалось до блеска двора, перенимал у Людовика XV, которого он так презирал; философы и другие французы, его часто посещавшие, вместе с неверием старались распространять любезность в обществах; одним словом, им введена галломания в Пруссию. После него, супруга его преемника, одна из гордых принцесс Гессен-Дармштатских, родная сестра нашей надменной Натальи Алексеевны, первой супруги Павла Первого, умела поддержать всё ве-

личие королевского достоинства. Но лишь только она овдовела, молодая, прекрасная, веселая Луиза как бабочка вспорхнула на трон, и все сердца к ней полетели. Она жила среди забав и охотно разделяла их со всеми, без большего различия. Веселость немом выражается обыкновенно смехом, пляской, нарядами: складу в речах уже не ищи тут. Если же которая из них примется за ум, то она не станет по пустому тратить его на замысловатость и острословие в разговорах, не предастся его кокетству столь обворожительному даже в стареющих француженках; она ухватится за науку, за сентиментальность, за педантизм. В этом нельзя было упрекать королеву Луизу. Долго из чаши жизни пила она одни только радости; тогда по голосу её, как от звуков волшебной флейты, вся Пруссия запрыгала; эпидемия, по преданиям в одной только Германии известная, танец Святого Витта, при ней опять появилась. Тряпичная, но не менее того разорительная роскошь также при ней доходила до настоящей модомании. В Париже едва лишь мода успеет тогда провозгласить новый закон, а Берлин спешит первый

привести его в исполнение[10]. Веселость двора уменьшила его важность в глазах народа. Но в Германии это еще не беда; там на каждом шагу встречаются членов владетельных фамилий, и скорее любят свободное их обхождение. Но худо то, что Пруссия была одна только держава, которая сохранила постоянные сношения с Конвентом и Директориєю Французской республики. Революционеры беспрепятственно приезжали в нее и рассевали в ней дух якобинизма, к чему она и приготовлена была безбожием правительства. Сколько мне известно, пруссаки до войны в великом полководце Франции видели продолжение революции, а он был Наполеон, сокрушитель её. Может быть, это самое было причиною недостатка в усилиях всенародно сопротивляться ему. С другой стороны, Франция так привыкла к покорности Пруссии, что разрыв её с нею Наполеон почитал почти мятежен, а победы свои усмирением его. Не похитителя престолов, а истребителя свободы народов, возненавидела в нём раздавленная им Пруссия; не законного монарха, благодушного и твердого, полюбила она в Александре, а

Штейном обещанного ей либерала; и я уверен, что тайно пруссаки были заодно с врагами порядка во Франции. Шестилетнее, потом, пребывание французов и владычество их имели также сильное влияние на нравы этой земли, и она осталась грубым отпечатком неприязненного ей народа. Самый немецкий язык наполнился французскими словами, как например, *die elegante Welt*, *die Eleganz*, за которую так неудачно гоняются. Посеянные в Пруссии и в Прирейнских её провинциях пагубные правила по замирении стали более развиваться и распространяться по всей Германии; ныне, говорят, там великое брожение в умах. Невольная любовь к честному, доброму и правдивому королю, непохожему на предков своих, с коим вместе упали они, страдали и восстали, удерживала жителей от всякого покушения на его власть; но горе Пруссии, если оратор, а не воин будет её главою: тогда воспрянут писаки и говоруны. В благоустройстве своем Пруссия похожа на штучный стол: куски, кусочки на нём искусно подобраны; но всё это склеено, всё это держится многочисленной, прекрасной армией.

Пока она за правительство, — опасаться нечего; но буде и она примется умствовать, тогда всему конец: Пруссию поминай, как звали.

Мне, первый раз в жизни увидевшему европейскую столицу, в лучшее время года, после скучного путешествия, мог еще Берлин понравиться. Но и мне чего-то не доставало; душа была как будто сжата. Военные смотрели дерзкими победителями, гражданские люди хотели казаться глубокомысленными, все вообще почитали себя отлично образованными. Притязания на первенство между немецкими городами, зависть против Вены и Петербурга, о красе и приятностях коих берлинцы равнодушно не могут слышать, наконец, из-за довольно прихотливой роскоши сквозящая шпарзамкейт (что гораздо сильнее нашей бережливости) всё это, конечно, довольно смешно, но то что смешно не всегда бывает забавно. Берлин прослыл скучнейшим городом в мире, и даже русские, которые ныне везде шатаются, бывают в нём только проездом.

Мы оставили его 28-го числа поутру. В Потсдаме не удалось нам посмотреть на жи-

лице великого Фридерика, ни на Сансуси его, а успели только что отобедать. В Трейенбрицене, где мы ночевали, была старая граница, в последнее время далеко за Эльбу передвинутая; но тогда таможня не была еще перенесена. Пьяный чиновник её явился было очень грубо нас осматривать и был весьма недоволен, когда ему доказали, что он не имеет на то права. На другой день в Виттенберге такая же неудача, как накануне в Потсдаме. Естественной потребности — обедать пожертвовали мы благополучием поклониться могилам великих мужей Германии, Мощи... что было сказал я, окаянный!.. прах Лютера и Меланхтона был близко от меня в большой церкви, а мне не судьба была взглянуть на их памятники. Третий год только край этот находился во владении Пруссии, и жители его сохраняли еще прежний простодушный вид свой. Хозяин трактира, где мы обедали в Виттенберге, добрый старик, со слезами на глазах говорил нам о другом добром старике, короле Саксонском, коего отеческого управления лишились они. Вдруг он спохватился, испугался и, немного наклонясь, сказал шёпотом: die

Herren Preussen sind zu nahe (господа — пруссаки очень близко). Бедняжка! Он думал, что все также ненавидят и боятся пруссаков, как саксонцы и все другие немцы. По наведенному мосту переехали мы через Эльбу, коей берег также тут песчан, как Днепровский; шоссе еще не было, мы часто вязли и с немецкою ездой долго тащились до городка Шмидеберга. Это у нас отняло много времени, но мы успели сделать еще одну станцию до Дюбена и далее не поехали.

В одиннадцатом часу утра на другой день увидел я с ребячества знакомый мне Лейпциг: в нём учился учитель мой, добрый Мут, который вечно про него рассказывал. Этот город, и ученый, и торговый, всегда оживляемый университетом и часто ярмарками, мне показался не велик. После того он распространился, но в это время был он весь сжат и вытянут вверх; улицы преузенские, а дома в пять или в шесть этажей; у самого же въезда его, кругом, прелестнейшие сады. Это мне чрезвычайно правилось в старинных немецких городах. Зимой, когда воздух делается свеж и перестанет быть заразителен, все себе-

рутся на небольшом пространстве. Чтобы посетить приятели или знакомого, на улице нужно сделать только два шага; за то, правда, взойти надобно и сойти сотню ступеней по лестнице. Кареты делаются излишними; в первый раз увидел я тут портшезы, одноместные каретки на носилках; для жителя Петербурга зрелище довольно странное. В Отель-де-Франс, на Флейшерской улице, где остановились мы, я, кажется, и часу не посидел дома; было где погулять и на что посмотреть.

Сперва лазил я на Плейссенбург, остаток древнего укрепления: чрезвычайно высокая башня с обсерваторией. Оттуда смотрел я не на небо, а на знаменитое поле Лейпцигской битвы, где началось решительное падение Наполеона. Тут всё было как на ладони, и снисходительный, услужливый смотритель указывал мне на места, где находились какие войска. Кто не бывал никогда в Лейпциге, тот только не посетил Плейссенбурга; в огромном фолианте, где все вписываются, смотритель заставил и меня похоронить свое имя. Оттуда пошел я в загородный сад Рейхеля, у самых городских воров находящийся. Без дальних

украшений он чрезвычайно велик и хорошо был содержан. В большом каменном доме была ресторация, а в каждой куртине, в густоте дерев спрятанный небольшой домик, с прекрасным цветником, и надобно было нарочно заглянуть, чтоб увидеть его. Холостые и семейные, смотря по величине домика, нанимали их на лето. В этом случае как не отдать справедливости немцам; они лучше нас умеют наслаждаться природой. Привлеченный названием, заходил и в Розенталь: дубовая роща, где не видел я ни одной розы. Окончил я беготню свою достойным примечания садом Рейхенбаха. Хозяин, вероятно весьма богатый человек, со вкусом и роскошью изукрасил его. На берегу одной из двух речек, Ольстера и Плейссы, между коими он находится, построен хорошенький павильон. У этого места французский маршал, князь Иосиф Понятовский, с лошадью бросился в реку, когда французы через сады, огороды, овраги, куда ни попало, опрометью кинулись от союзников-победителей. Эльстер (по-русски сорока) весьма не широка, но чрезвычайно глубока, берег её не высок, но крут; и сия сорока-во-

ровка похитила у поляков надежду их: ибо Понятовского прочили они себе в короли. Подле павильона, на берегу речки, сам хозяин воздвиг тут небольшой памятник погибшему герою. Но другой, гораздо более, в виде продолговатого могильного камня, поставили поляки посреди сада; на нём нашел я много надписей, сделанных карандашом польскими патриотами; очень нужно было какому-то русскому начертать и свои сожаления о его участи! Предок Понятовского, следуя за Карлом XII, везде сражался с нашими войсками, и хотя дядя его, Станислав, России был обязан королевским титулом своим, племянник не отказался от наследственной к нам ненависти. Ныне, под русским управлением, и в Варшаве, если не ошибаюсь, поставлен памятник закланному врагу нашему. Что за добрый народ! Что за великодушное правительство!

Более меня сведущий в истории Блудов утверждал, что Лейпциг построен славянами под именем Липецка. Мне казалось это невероятным; но я не спорил, ибо тогда мне было всё равно. Впрочем и ныне я так далеко не простираю своих видов; я гораздо скромнее в

желаниях своих: лишь бы до Одера могли с этой стороны дойти славянский мир и православию, душа его, я был бы совершенно доволен.

Во время продолжительной прогулки моей по Лейпцигу и его садам — прогулки весьма приятной, неприятно мне было только часто встречать студентов. В других местах нельзя их различить от прочих молодых жителей, а тут, среди смиренного населения Лейпцига, легко было узнать их по их дерзким взглядам. Некоторые из них, весьма еще немногие, оделись в странный наряд по портретам Альберта Дюрера, в черной шапочке, в черном почти казачьем коротком платье, с распущенными волосами. Это, кажется, называлось *алт-дйтш* и возвещало желание единства Германии, чего осудить никак нельзя; но призвание на помощь воспоминаний её древности, по моему, плохое к тому средство. Конечно, при прежнем раздроблении её на мелкие частицы, власть императорская была гораздо сильнее; но того ли хотят молодые немцы? С свободомыслием своим они усиливаются ограничить ее в руках своих владетелей. По

невежеству моему привык я почитать студентов взрослыми, большими школьниками, подчиненными строгому порядку, которым следует доучиваться, а потом, вступив на какое либо поприще, присоединять опытность к приобретенным познаниям. Так, кажется, оно и было в Германии до 1813 г. Страдая от владычества Франции и в то же время заражаясь её идеями, профессора вводили сих несовершеннолетних в тайные общества, делали их участниками своих замыслов и готовили их быть орудиями освобождения отечества. Пришли русские, настоящие избавители: тогда все они, в товариществе с профессорами, являлись на полях сражений. После того возросли они, как в собственных глазах, так и в общем мнении, и сделались в Германии особо грозною стихией. Везде слышали они громкое имя свободы, на деле же еще мало ее видели; а злодеи профессора продолжали возбуждать их. В нетерпении своем кипучая их молодость успела тогда уже выказать мятежный дух свой; в предыдущем году, собравшись из разных университетов в Вартбурге, успели уже они, среди непристойной оргии,

петь возмутительные песни и жечь знаки монархических установлений; между ими несчастный Сеид, хладнокровно исступленный Занд, точил уже тогда кинжал на Коцебу. В следующих годах, строгие меры, принятые против главных виновников-профессоров, Окена и других, на время усмирили их буйство. Я начинал вступать в тот возраст, в котором на двадцатилетних смотрят почти как на мальчиков, и эти показались мне досадны и несносны.

Кроме приятного отдохновения ничто не удерживало нас в Лейпциге, и на другой день, последнее число мая, рано поутру оставили мы его. Целый день видели мы места прелестные, чудесные, но в продолжение последних столетий часто орошаемые потоками крови человеческой. Сперва Лютцен, и если бы мы забыли о Густаве Адольфе, о нём напомнил бы нам поставленный ему тут памятник. Далее Россбах, где пруссаки вечным стыдом покрыли Францию; потом Наумбург, коего имя тесно связано с воспоминаниями о гуситах [11] и, наконец, Ауэрштадт, где французы за Россбах воздали пруссакам сторицей. Я не бу-

ду говорить о других примечания достойных местах, чрез кои в этот день мы проехали: о Вейссенфельсе, столице уже несуществующего герцогства, от коего остался в нём один старинный дворец, ни о Экартсберге, где в развалинах древний замок, построенный маркграфом Экартом, служивший потом притоном многочисленной разбойничьей шайке. Я спешу в Веймар, где в этот же вечер простились мы с маем месяцем и встретили июнь, разумеется, по нашему, по старинному числению.

Имя Веймара известно всем состояниям в России, везде произносится оно в ней с любовью и почтением: в этом городе более тридцати лет живет великая княгиня, еще более русская по сердцу и по чувствам, чем по имени. Покоряясь судьбе, живет она вдали от России, которая осталась её любимой мечтой. Она часто осуществляется перед нею проезжими русскими; все они смело идут к ней на поклонение. Блудовы обязаны были явиться к Марии Павловне, особенно Анна Андреевна, которая, несколько лет находясь при императорском дворе, была ей лично известна и знакома. Мне же хотелось и можно бы было, и

даже следовало, ей представиться; да со мной мундира не было. Но в этом случае какой церемониал соблюдается при маленьком дворе! С почтением и за советами пошли мы с Блудовым к находившемуся тут, на обратном пути из чужих краев в Россию, князю Александру Борисовичу Куракину. Он остановился в Веймаре на всё лето, в ожидании прибытия осенью вдовствующей императрицы, которой всю душу был он предав и которая, в старости, последний раз хотела еще взглянуть на родину. Достопочтенный и, можно сказать, милый старец, некогда мой начальник и всегда милостивец, встретил нас с улыбкой радости, казался здоров, весел, шутил, вспоминал со мною о Пензе и о нашем Симбухине и рассказал как поступить в деле представления[12]. В тот же день великая княгиня прислала придворную карету свою за Анной Андреевной, приняла ее у себя за просто и предложила ложу спую в театре. Не имея права вступить в нее, я пошел в него за свои деньги, нашел, что очень хорош, но что играли в нём, пусть не спрашивают: совестно сказать, не помню.

Это точно непростительно: Веймар почитался немецкими Афинами; Шиллер, Гете, Виланд, Гердер долго жили в сем городке, под покровительством старой герцогини Луизы; следственно и на сцене кроме изящного ничего быть не могло. Поименованных писателей не было уже на свете; один Гете был жив и тот находился в отсутствии. Чиновник посольства, или поверенный в делах, Струве, племянник чудака, мною некогда изображенного, предложил Блудову идти осмотреть его жилище.; я не сопровождал их: такая набожность в знаменитости в моем мнении не столь высокой, еще живой, чужеземной, показалась мне непонятною и неумеренною.

Наши путешественники очень хорошо знают теперь, что все эти немецкие великокняжеские резиденции точно тоже, ни более ни менее, что загородные, увеселительные места наших царей. Народонаселением и тогда Веймар был богаче Царского Села, но пространством и на половину не мог с ним равняться. Из наших комнат, в гостинице Слона, на площади в середине города, везде не в дальнем расстоянии можно было видеть выезд из

него: дома были тесно между собою построены, но не высоки и не красивы. Дворец герцогский, который видел я только снаружи, показался мне обширен, а парк его, приятно и искусно расположенный, еще более. Я не заметил тут павильонов, памятников и тому подобных обыкновенных украшений парков; видел в нём только продолговатую без купола греко-российскую церковь нашу, и на другой день, который был воскресный, я пошел в нее.

Более всего хотелось мне взглянуть на великую княгиню. Во время обедни, обыкновенно, замечала она все новые лица, после того спрашивала о них и подзывала к себе; я не намерен был представляться и старался так стать, чтобы мне ее хорошо, а ей меня совсем не видать было. Из малого числа присутствовавших приметил я только одну, мне после столь знакомую княгиню Мещерскую, которая два года как тут поселилась: это была Катерина Иванова, жена синодального обер-прокурора, сестра будущего министра Чернышова и мать будущего руссо-французского писателя, князя Элима. После обедни, Блудовы

переоделись, нарядились и поехали представляться к велико-герцогскому двору, после чего получили приглашение к обеду. По возвращении их, я с любопытством обо всём расспрашивал, и мне не отказано было в удовлетворении. Королевские повадки герцогини Луизы, подобострастие придворных, коим умела она окружить себя, и по заочности мне понравились; жаль только, что не на более возвышенной сцене поставлена она была. Сестры её, русская, Наталья Алексеевна, прусская, вдовствующая королева, уже покойная, и маркграфиня Баденская, мать императрицы Елисаветы Алексеевны, также как и она, на самом краю поддерживали еще величие владетельных особ, когда в целой Европе готово оно было рушиться. После изображения свекрови, приятно мне было слышать о любезности невестки, не менее исполненной достоинства, также о похвалах, которые неволью расточала она отечеству своему, даже блеску и белизне наших снегов. О их мужьях упомянуто было мало; впрочем известно, что один был старый почтенный воин времен Фридрика, а ныне царствующий сын и наследник

его предобрый простак.

После Веймара, что станция, то столица или по крайней мере известный город. На первой станции, в укрепленном Эрфурте, мы ненадолго остановились. Нам указали дом, где жил Александр, а не тот, в котором принимал его Наполеон. Тут опять увидел я под именем Орла Прусского черного ворона в белом поле, который так мне надоел, также и синие мундиры с оранжевым воротником прусских почтарей, после которых полюбился было мне даже канареечный цвет Саксонских. Пруссия по всей северной Германии провела чересполосные владения свои, с явным намерением при удобном случае захватить между ними лежащее и приблизиться к великой цели единства Германии.

В Готе, не въезжая в город для перемены лошадей, останавливаются на горе, откуда, впрочем, весь он виден. Он обширнее я более похож на столицу, чем Веймар; жаль мне было, что вблизи не мог я посмотреть на место издания любимого моего *Готского Календаря* и жительство издателя его, всемирного путешественника Рейхардта. Ночевали мы в другой,

только бывшей столице, Эйзенахе. Вся эта страна принадлежала некогда к обширным владениям ландграфов Тюрингенских; когда же досталась Саксонским герцогам, они почали дробить ее на уделы между сыновьями и внуками; оттого-то так много Саксонских линий, из коих некоторые просеклись. Русский с деньгами в Германии не умрет с голоду, везде накормят его дешево и сытно; но это могло случиться с нами в Эйзенахе. Хозяин гостиницы Полулуния, воспитанный на французский манер, нашедши вероятно, что желудки образованных людей, как мы, не могут вынести другой пищи кроме самой деликатной, подал нам к ужину легонький бульон, цыплят и бисквиты. Известно каков аппетит у путешественников; нам было и смешно и досадно.

Выехав оттуда на другой день, мы забыли и голод, и едва чувствовали жар, который беспрестанно увеличивался: до того окрестности дороги, по которой проезжали мы, были живописны и очаровательны. Это были остатки знаменитого Тюрингенского леса, некогда страшного. Мы взглянули на Вартбург, где недавно происходили преступные проказы

университетской молодежи; далее подивились двум человекообразным скалам, известным под именем монаха и монахини. Мне бы хотелось уверить по крайней мере католиков, что это обращенные в камень Августинианский монах Мартин Лютер и клятвопреступная монахиня его Катерина де-Бора, нарушившие произнесенные ими обеты; но мы живем не в век Овидиевых превращений. Если не столицы, то небольшие города за Эйзенахом встречались нам при каждой перемене лошадей: Марксул, Фах, Вутлар. Первый в прошедшем веке перестал быть также столицей небольшого Саксонского герцогства, коему давал свое имя; последние два находятся уже в Гессен-Кассельских владениях.

Мы довольно рано приехали ночевать в Фульду, чтоб увидеть тут в сумерки пребольшей дворец с большим садом. Лет за тридцать до того жительствовавший в нём не епископ, а просто аббат, и владел не одним городом, а и небольшою областью: он имел двор, гвардию и до четырех тысяч войска. Такие чудеса могли творить только римский католицизм и пример пап. До реформации Германия была

наполнена такими князьями-аббатами, княгинями-аббатисами; в нынешние времена все эти *gefürstete Abtei* были упразднены или секулиризованы. После Амиенского трактата Фульда отдана принцу Оранскому в вознаграждение за потерю прав в Голландии, и он тут державствовал; теперь она простой гессенский город. Как северный житель, не мог я не заметить в Фульде, что, начиная от самого Кенигсберга, величина печей, меняясь в формах и всё более уменьшаясь по мере приближения к Рейну, достигла тут до пропорций небольшого чугунного столба, служащего как бы подножием чугунной вазе. К удовольствию моему, это доказывало умножение теплоты климата, а еще более, как на опыте я узнал, горячий темперамент жителей. Летом до того они раскалятся, что едва достанет им зимы, чтобы совершенно простыть. За Фульдой пойдут опять города Шлюхтерн, Саальмюнстер, Гельнгаузен, кои, подобно большей части наших, едва ли заслуживают сие имя, разве потому только, что обведены валящейся каменной стеной и при въездах имеют небольшие башни. После них Ганау, с двор-

цом, должен был показаться нам большим городом. В нём прежде имел пребывание наследник Кассельского престола и назывался графом Ганауским. Но и этот город не остановил нас: мы разочли, что еще поспеем во Франкфурт-на-Майне, куда и прибыли 5-го июня ввечеру.

Главный из вставших четырех Вольных Имперских городов, местопребывание Германского Сейма, Франкфурт некоторым образом может почитаться столицею всей Германии, и путешественникам нельзя в нём не остановиться. Тут же приходилось мне расстаться с любезнейшими моими спутниками. Висбаден находится в стороне, в нескольких только милях; но в жаркое время почувствовал я совершенное облегчение, и мне растолковали, что для полного курса лечения нужно мне не более шести недель, а около трех месяцев оставалось еще того, что называют водным временем года, *saison des eaux*. Я уже не так торопился; к тому же мне чрезвычайно хотелось повидаться с любимой сестрой. На продолжительном пути, люди, едущие вместе, обыкновенно под конец ужасно как надо-

едают друг другу. Тут видно этого не было, ибо Блудовы стали уговаривать меня доехать с ними до Шалона, откуда очень близко до Ретеля, где находились мои родные. Предложение это было мне слишком по сердцу, чтоб я не принял его. Но коли уже раз изменился первый план мой, сказали мне, почему бы мне не доехать до Парижа: другой случай не скоро представится; туда могу я выписать брата и сестру. Как сказано, так и сделано, и в тот же день о намерении моем написал я к брату в Мобёж.

Коль скоро дело решено, что я увижу Париж, на Франкфурт что-то не хотелось уже мне и смотреть. А стоило того. Он образует полукружие, коего оба конца упираются в реку Майн; также как Лейпциг он не велик, но гораздо лучше и пышнее его; разодет он в великолепные, обширные сады, которые вне города тянутся далеко от него, в ином месте на полмили; примыкая в нему узким концом, они составляют вокруг него как бы огромный, распущенный зеленый веер. Этого мало: как цветною лентой весь опоясан он бульваром, который, обхватывая его, идет из конца в ко-

нец. Место, которое занимали сломанные стены, скрытый вал и засыпанные рвы, расчищено и засажено деревьями и кустами; под скромным именем бульвара это преширокий, а еще более длинный сад, в котором проведены излучистые дорожки. Преимущественно он был наполнен розовыми кустами; а как в это время все они были в цвету, то глаз мог любоваться миллионами розанов. Я пристрастился к этому месту, и три дня что мы тут пробыли, утром и вечером ходил гулять в него. Другого ничего не хотелось мне видеть: ни городских памятников, ни даже знаменитых садов, которые у меня были в виду. Отчего? Сам не знаю; может быть от пресыщенного, притупленного любопытства. Прогуливаясь тут, мне случалось иногда мысленно переноситься не в темные, а в мрачные времена европейской истории, не столь от нас отдаленные. На этом месте, думал я, где ныне благоухают розы, где столько приятностей и удобств для прогуливающейся беспечности, также как и во всех городах Западной Европы, вечно-тревожные жители сторожили приближение врагов: ни покоя, ни безопасно-

сти не знали люди. Шайки, числом разбойников равняющиеся сильному войску, называемые большими компаниями, нанимаемы были владетельными государями, попеременно служили врагам и из платы губили народ. Ну если подобные времена возвратятся? Нет, не может статья, отвечал я себе. Ныне, увы, я менее чем прежде уверен в этой невозможности.

Мы жили на большой улице Цейль, всем проезжающим известной, в гостинице под вывеской «Римского Императора». Большая деревянная человеческая фигура, вся вызолоченная, в мантии и с короной, поставлена была над воротами. Нигде принцы так не пригляделись, как во Франкфурте, нигде не обращают на них менее внимания: они беспрепятственно приезжают и уезжают из него. В комнате, которую я занимал, имел я соседом с одной стороны эрцгерцога-палатина Венгерского, с другой — соседкой моей была герцогиня Генриетта Виртембергская. Там, где жил русский посланник на улице в большом доме, на дворе в нижнем этаже, помещалась бывшая испанская королева, мадам Жозеф-Бонапарте,

а в самом верхнем — бывший шведский король, именующий себя то Вазой, то полковником Густавсеном. Из любви к Истории и преданиям древности, немцы сохраняют еще некоторое уважение в владетельным домам; неудивительно, если это чувство совсем исчезнет в них. Зато в торговом Франкфурте с благоговением говорили о банкирах, везде упоминаемо было имя Бегмана; о Ротшильдах тогда что-то еще мало было слышно, также и о Гонгарах. Видно, дела последних не были в столь цветущем состоянии; но их должно было поддерживать, утешить родство с Нессельродом: он от них произошел; им гордятся они, как Нарышкины Петром Великим.

Дорогой не любил я бриться и одеваться; оттого-то никого охотно не посещал. Я не был и не обедал с Блудовым у нашего посланника при Сейме; только почти в минуту нашего отъезда приневолил он меня с собою к нему идти. Я нашел в г. Анштете умного немца с французскою любезностью, неутомимого, искусного говоруна, который, как мне казалось, в многоречии топил заповедные мысли свои.

С тем чтобы ночевать в Майнце, после

позднего обеда, 9-го числа выехали мы из Франкфурта. Я слышал об этой неприступной твердыне и думал, что увижу перед собой высокие, огромные укрепления; мои желания были обмануты, но это доказывает только неведение мое в фортификационной науке. В первый, но не в последний раз я переехал тут по мосту через Рейн, который немцы почитают собственностью, а французы — законною, естественною границей. Мне не судьба была видеть эту знаменитую реку во всей красе её, между виноградников, навислых скал и живописных развалин; где я ни проезжал ее, текла она в ровных берегах. Было еще довольно рано, когда мы приехали в Майнц; делать было нечего, и я пошел смотреть на закат солнца. Картина точно прекрасная и величественная, когда пламенное светило тонет и гаснет в спокойных волнах широкого Рейна.

Одну только станцию до Алцея ехали мы Гессен-Дармштатским владением, потом вступили в часть Палатината, принадлежащую Баварии. За Рейном нет еще тут Франции; но всё тогда отзывалось ею, всё показывало недавнее её владычество, особенно же чрез-

вычайно быстрая езда. Как ныне устроена другая кратчайшая дорога на Ингельгейм, место рождения Карла Великого, где находятся остатки дворца его, и на Сарлуи, то на скаку назову я только здесь места, чрез кои мы пролетали: Кирхенполанд, Стандебюль, Ландштуль. Переночевав в Рорбахе, на другое утро в Сарбрюке опять показался было Прусский Орел, но не успел я отвернуться, его не стало, и близ Форбаха мы переехали новую французскую границу. Везде на станциях слышали мы забавный французский язык, коим говорят немцы, меняя *буки* на *покой*, *веди* на *ферт*, *живете* на *ша* и наоборот. Все те, кои могли на нём объясняться, как бы гнушались природным языком своим. Не знаю, можно ли осуждать французов за то, что они неохотно учатся иностранным языкам и даже смеются над ними: за то свой в местах ими занимаемых вводят в общее употребление и тем прикрепляют их к Франции.

Излишняя точность в рассказе бывает иногда утомительна, и не знаю, хорошо ли я делал, называя почти все станции. Воздержусь от того, и на подлежащем мне пути за

справками отошлю читателя к печатным маршрутам. В первом французском, или скорее офранцузенном, городе Метце нельзя было не остановиться. Тут резко обозначена была разница между двумя народами; тут галльский элемент совершенно подавил и поглотил германский. Мы гуляя пошли смотреть какие то ряды; на улицах везде говор, хохот, грохот, веселые взгляды, быстрая походка. Такая живость оживила и меня. Блюдов придрался к случаю посмеяться над моею галломанией, а я был в таком веселом расположении духа, что сам помогал ему в том. Следующий день ночевали мы в другом из трех Лотарингских епископств, насильственно, но справедливо Людовиком XIV присоединенных к Франции, в Вердене, который славится своими конфетами. Тут уже настоящая Франция, и не остается почти следов немецкой чистоплотности. В лучшем трактире, куда нас привезли, надобно было проходить чрез огромную кухню, высокую, в два света, чтобы по устроенной в ней узкой лестнице войти в жилые покои. Сии последние были довольно щеголевато и даже богато убраны; но пол в

них был кирпичный, вымазанный темновато-красною краской и натертый воском, как это водится во всех небогатых домах Франции. Мы неприятным образом были сам изумлены, особенно же Анна Андреевна. Как можно не хвалить опрятность? Однако же я замечал, что те, которые слишком строго ее соблюдают, бывают обыкновенно люди сердитые, суровые; добродушие беспечнее на этот счет, и вот одна из немногих черт сходства нашего с французами.

Не доезжая до Шалона, пока запрягали нам лошадей на станции Пон-де-Соммевеле, разговаривал я со стариком — смотрителем почты, почтенной наружности, которого наряд меня немного удивил. Он был напудрен, причесан *à l'aile de pigeon*, с косой, в коротком черном нижнем платье, в черных шелковых чулках и в башмаках с огромными пряжками, точно так как одевались лет за тридцать прежде того. По его словам, он более тридцати пяти лет находился на одном месте и никогда не хотел менять костюма. Он рассказывал мне, как трудно было ему удержаться от изъявления горести и даже слез, когда прово-

зили тут захваченного в Варенне Людовика XVI. В скромной доле своей он оставался недвижим среди народных волнений: терроризм, война проходили над слабою головой его, не коснувшись её. Насчет наряда своего сказал он мне, что в Париже увижу много ему подобных, а еще более внутри Франция. Впрочем это не должно было бы меня удивлять, когда, начиная от Метца, все почтари, а в иных местах и мужики в блузах, носили еще престрашные напудренные катоганы. Сколько странностей в этом непонятном народе, сколько контрастов, сколько постоянства при всей его верченности!

Еще ближе к Шалону невольно должны мы были остановиться на несколько минут в селении, где не меняют лошадей, чтобы полюбоваться его церковью. Это пребольшой собор называемый Нотр-Дам-де-л'Епин, и не думаю, чтобы в целой Франции нашелся другой ему равный в красе. Сколько искусства, терпения, и как много времени нужно было, чтобы из камня иссечь такое множество кружев и ими покрыть храм Богородицы. Для одной этой церкви стоило бы учредить тут город.

В Шалоне на Марне показывается сия речка (рекой назвать ее много) и потом до самого Парижа сопутствует едущим в него. Берега её обсажены виноградниками, из-за них поднимаются меловые горы, не весьма приятные для вида; самые дома построены из меловатого и мягкого камня, который они производят. Вообще вся эта страна не очень красива; сами французы называют ее вшивую Шампанией и жителей её попрекают глупостью. Русские молодые офицеры говорят о ней гораздо более с уважением: в ней источник частых для них радостей. Не с равными их восторгами, но с достодолжным почтением проехали мы Эперне, прилегающее к нему местечко Аи и купили бутылку вина, за которую и тут заплатили довольно дорого, девять франков. Становилось уже темно, когда название Дормана еще более расположило нас ко сну, и на этой станции Имели мы последний ночлег перед Парижем.

В Шато-Тиерри, родине Лафонтена, в хорошеньком городке, лучшем изо всех, кои видели мы во Франции, по мосту переехали мы опять Марну, и с правой она очутилась у нас

на левой стороне. Почва земли из белой превращается тут в черную, и места становятся гораздо приятнее. Отсюда также начинается прежняя провинция Бри, снабжающая Париж сыром. От Ла-Ферте-су-Жуар идет вплоть до столицы высокая вязовая аллея, но дорога всё не делается лучше. В этом случае французы должны уступить немцам: первым ехать пусть бы больно, лишь бы шибко; а последним, хотя бы тихо, только покойно. Оттого-то в Германии почти везде находили мы шоссе, а во Франции должны были скакать по мостовой из крупных камней, не везде равных. Теперь, говорят, сделано там прекрасное шоссе. Опять французы в этом похожи на нас: чего сами не выдумают, то удачно переймут и перещеголяют.

Довольно большой город Мо, верстах в сорока от Парижа, может уже почитаться предместьем его; за ним селения почти непрерывно теснятся в дороге, а немного проехав Клэ, предпоследнюю станцию, увидел я издали мельницы на высотах Монмартра, которые так недавно еще русские взяли штурмом.

VIII

П*ариж.*

Сильно забилося во мне сердце, когда 14 июня, в шестом часу по полудни, стал я подъезжать к Парижу. Неожиданность поездки моей в него, воспоминания о победах наших, которые вновь нам открыли в него путь, надежда скоро увидеть в нём родных, до высочайшей степени возбужденное любопытство в минуту, в которую должно было оно удовлетвориться, прекраснейшая погода, тысяча оживленных предметов встречающихся на дороге, всё соединялось, чтобы сделать этот час одним из радостнейших в моей жизни.

Предместье Св. Мартына чрез которое въехали мы, мало разнствуует от Пантена и Лавиллета, ему предшествующих, называемых деревнями, но плотно застроенных двухэтажными домами. Когда же, проехав ворота Сен-Мартена, поворотили мы вправо по бульвару, то увидели настоящее волнение шумного Парижа. Вся уличная деятельность его выступает на бульвары, коими, также как в Москве,

окружена вся главная середина его. Только его бульвары не похожи на московские: они не что иное как бесконечная, почти единственная широкая в нём улица, по обеим сторонам которой, близко к домам, стоит по одному ряду полуиссохших деревьев. Чтобы немногим, которые не бывали или не будут в Париже, дать понятие о суетливости, об ужасном движении, какое тут царствует, скажу я, что это вечная ярмарка, к которой ежедневно присоединяется гулянье, бывающее у нас только на Святой неделе.

Чтоб лучше отдохнуть, поворотили мы в улицу Де-ла-Пэ, остановились в отеле Де-ла-Пэ, и как целый день были не евши, то скорее потребовали обед. Пока его приготавливали, трактирный слуга, *domestique de place*, как их называют, мсье Шарль, судя по весьма неблагоприятному дорожному костюму моему, приняв меня за собрата, за француза, принадлежащего к прислуге Блудова, обошелся со мной очень дружелюбно, и как внизу в больших покоях не оставалось для меня помещения, предложил он мне небольшую комнатку подле своей. Мне было очень весело, и вместо

того чтобы рассердиться за такую ошибку, она мне показалась забавна, и я даже принял его предложение. Он повел меня в пятое, в шестое, или не знаю какое жильё, в мансарду, по нашему просто на чердак; но я нашел тут чистенькую комнатку с обоями, с зеркальцем над камином и с хорошею постелью. На первый случай чего мне было более? Немного попозже Шарль должен был удивиться, увидя меня за столом у Блудова, а себя за стулом моим; может быть, он полагал, что в России существует обычай, чтобы слуги обедали с господами, может быть тайно и позавидовал тому. Как бы ни было, я ему обязан за первую ночь в Париже, в приятном сне проведенную. Улица Мира была ни тиха, ни покойна; немного пониже долго бы мне не дали уснуть, но я подъят был над нею под облака, и шум её, как дальний говор морских волн, еще лучше усыплял меня. В этот день выехали мы почти до свету, в жар по мостовой проскакали более ста верст, и после сильных ощущений чувствовал я большое изнеможение, так что с закатом солнца покатылся и я на постелью свою. На ней улыбаясь вспомнил я стихи,

коими Дмитриев описывает путешествие Василия Пушкина:

*В шестом жильё, откуда вывески,
кареты,
Всё, всё и в лучшие лорнеты
С утра до вечера во мгле.*

С этою улыбкой на устах заснул я, а может быть и проспал всю ночь.

Мне что-то веселое грезилось, когда рано по утру слышался стук у дверей моих; они отворились, и брат мой Павел Филиппович кинулся меня обнимать. Мне показалось, что приятный сон мой еще длится. Получив письмо мое из Франкфурта, пока мы оставались в этом городе и ехали до Парижа, он выпросил в Мобёже дозволение отлучиться и прискакал накануне приезда нашего; в русском посольстве, справляясь о прибытии Блудова, узнал даже где он живет. Мы пошли вниз к Блудову, которому я представил брата и который передал меня ему с рук на руки.

Первым делом нашим было идти к портному Леже, одному из знаменитейших того времени, чтобы с ног до головы одеть меня франтом, Платье на другой день было готово; ко-

гда за него хотел я расплатиться, портной сказал мне, что имеет счета с братом, а не со мной. Тоже самое услышал я от содержателя гостиницы Де-ла-Мёз. На улице Нотр-Дам-де-Виктуар, куда перевез меня брат, он объявил мне, что за квартиру, которую я занял, получены деньги вперед за целый месяц. Чтоб ознакомиться с местностями города, первые дни гулял я с братом неразлучно. Карман был у меня не пустъ, и в щепетильном Париже глазел я на тысячу прекрасных и дешевых безделушек, кои в нём на каждом шагу видны за стеклами. Ни одной не удалось мне купить; лишь только спрошу о цене, а уже за нее заплачено, и она моя. После того в присутствии брата должен был я прекратить изъявление желаний своих. В это время как будто судьба определила мне быть у кого-нибудь на содержании. Двадцать четыре тысячи франков русский полковник во Франции получал тогда ежегодно; в Мобёже прожить их брату было не на что, редко посещая Париж, имел он благоразумие лишние деньги откладывать. Тут захотелось ему хоть раз погулять в нём, понатешить меня и попотчевать им.

Почти рядом с нами жил искусный доктор Гарданн, знакомый всему Русскому корпусу, целитель его. Врач повел меня к нему на консультацию. Расспросив меня подробно о предполагаемых причинах моей болезни, о начале, ходе и следствиях её, он объявил, что на воды ехать мне не зачем, что и теперь уже совсем прекратились мои боли, а он постарается возвращение их сделать невозможным; а мне только и надобно было. К тому же и человек мне понравился: он был скромн, вежлив, незаметно в нём было ни малейшего шарлатанства, откровенная его наружность вселяла доверенность; я предвидел, что частые сношения с ним должны быть приятны. Лечение мое, не весьма строгое, началось на другой же день.

Скоро из Ретеля приехали для свидания со мною еще новые содержатели мои, сестра с мужем, тогда как прежние содержатели Блудовы не успели еще отправиться в Лондон. Как следует русскому генералу, Алексеев занял славную квартиру в отеле Де-Бретань, на Ришельевской улице, вблизи от модного Итальянского бульвара и знаменитого кафе Тор-

тони, насупротив знатного игрецкого дома, известного под именем Фраскати. Мы с братом переехали к нему, хотя гораздо скромнейшая квартира моя осталась всё за мной. Тут-то мы пожилы! Вообще все русские из скучных супрефектур своих приезжали в Париж не за тем чтобы беречь деньги; Алексеев был охотник погулять, повеселиться, а как это было на короткое время, то жена дала ему полную волю. Помогая ему сорить деньгами, я иногда вспоминал русские поговорки: «копейка ребром, хоть час, да вскачь» и тому подобные. Никакой издержки не позволено мне было делать: все трое хозяйничали во Франции, а я был у них приезжим гостем. Дома мы никогда не обедали, на дешевые трактиры, на обыкновенный стол смотреть не хотели: подавай нам Бовилье, Бери, Фрер-Провансо, Роше-де-Канкаль; каждый день попеременно мы у них роскошничали в особых комнатах. Оно было не совсем хорошо при необходимой для меня диете, но строгое соблюдение её всё откладывал я до их отъезда.

После обеда уже я становился распорядителем остального времени дня, и хотя был при-

езжий, но знал Париж понаслышке не хуже их и едва ли не лучше. Многие из отдаленных кварталов, которые ныне поглощены всепожирающим Парижем, тогда цвели и под гостеприимную сень своих вековых деревьев призывали веселиться жителей. Таковы были сады: Руджиери, Белльвю, Тиволи, Фоли-Божон; содержатели их истоцили французское воображение свое, чтобы для единокземцев и иностранцев заманчивым образом украсить их. Минутным посетителям нечего было гоняться за большим светом, который, впрочем как и везде, жил в это время за городом. В вышеупомянутые места почти каждый вечер возил я моих родных, разумеется в нанимаемых ими колясках. В каждом из сих садов еженедельно было по три праздника, *fêtes champêtres*, и плата за вход была весьма умеренная. А чего на них не было! Искусно освещенные горы для катанья, воздушные шары, которые спускались в виде дельфинов, орлов, иногда и людей, препорядочные фейерверки, небольшие иллюминации, но приятно для глаз устроенные из разноцветных огней или китайских фонарей; на всё то что называется

колифише французы великие мастера. В разных местах находилась музыка, и была зала для танцующих. Общество тут встречаемое нельзя было назвать отборным или блестящим: по большей части состояло оно из субреток, гризеток, писцов, комми, парикмахеров и тому подобного. Но как всё это было хорошо одето, как весело и как пристойно! Не стыдно было маркизам и дюшессам посещать сии места, и их малое число было очень заметно по снисходительным улыбкам, с которыми смотрели они на веселящихся, не мешаясь с ними. Когда вспомнишь это и посмотришь на наши нынешние летние увеселения, совсем не простонародные, то становится и стыдно, и грустно, и досадно.

Как ни весела была такая жизнь, после трех недель сделалась она для меня утомительна. Когда родные мои разъехались по корпусным и дивизионным квартирам своим, я начал уже жить собственным умом и собственными деньгами. Прежде чем уехал брат, услышал я от него некоторые подробности о его служении, которые несколько опечалили меня. Положение весьма многих из

находящихся под начальством графа Воронцова было совсем не так завидно, как в Петербурге полагали и разглашали. В характере этого человека было смешение самых любезных свойств с ужасным, всякую меру превосходящим самолюбием и несносною, несправедливою в иных случаях взыскательностью. Скоро, часто и много должен я буду говорить об нём; здесь скажу только, что поступки его с генералом Алексеевым, безобидным, всегда покорным начальству, поколебали высокое мнение, которое имел я о его доброте и рассудке. Внимая наговорам, разным родственным сплетням, без всякой настоящей причины, стал он вдруг сильно преследовать человека в равном с ним чине. Алексеев не мастер был на бумаге; между его подчиненными нашелся человек, который сочинил ему почтительную протестацию, в которой смело изъяснена вся несправедливость Воронцова. Оскорбленный, раздраженный и от ран уже хворый воин до того был встревожен, что слег в постель, и все думали, что он уже с неё не встанет. Неправосудие было так очевидно, что все дивизионные и бригадные генералы

явно возроптали. Слух об этой ссоре дошел и до Варшавы, где Цесаревич, давнишний покровитель и заступник Алексеева, объявил, что он в обиду его не даст и, если нужно, будет за него писать к Государю. В союзной армии также произвело это некоторый шум. Уступая необходимости, Воронцов предложил мировую и сам приехал в Ретель навестить и утешить больного, который только что начал выходить из опасности. Всё это происходило месяца за два или за три до приезда моего во Францию. Веда случилась от того, что кавалерия, поставлена будучи далеко от Мобёжа, составляла из себя нечто отдельное, на что корпусная квартира весьма косилась; еще от того, что Льву Александровичу Нарышкину, двоюродному брату Воронцова, начальнику казацкой бригады, не хотелось оставаться в зависимости от Алексеева. Дела были совсем полажены, и в Париже встретил я Воронцова в передней у зятя моего, который, его провожая, мимоходом меня ему представил.

Оставшись совершенно один в большом городе, чужом, для меня совсем новом, однако же я довольно хорошо его узнал и довольно

ко всему в нём приценился, чтобы, не тратя лишних денег, мог приятным образом провести в нём время. Это, я думаю, один город в мире, в котором одинокая уличная жизнь не скоро может прискучить, особенно в молодости. Потом, каждый, согласно со склонностями своими и образом мыслей, может составить себе круг знакомства, и даже довольно обширный: вот что притягивает и прилепляет к этому городу. Только нужно на то время там, где приедем числа нет, не бросаются иностранцам на шею как у нас в Москве (препрославленное её гостеприимство по большей части действие тщеславия и любопытства её жителей). Старик Шишков сам был смешон, когда насмеялся над Василием Пушкиным, утверждая, что в Париже знал он одни только улицы и дома; а сей последний еще смешнее, когда в ответе к нему хвастался знакомством фонтана, Герля, Легувё. Для русского хорошего писателя знакомство с известным французским, может быть, большое взаимное удовольствие, отнюдь не высокая честь. Один только был тогда писатель во Франции, перед коим и по заочности был я

коленопреклонен и перед которым в этом виде готов я был предстать: это Шатобриан; но его тогда не было в Париже.

Лето — самое невыгодное время для наблюдательных посетителей Парижа: общество живет за городом, камеры бывают закрыты, все курсы прекращены, и самый театр лишается лучших своих актеров; они разъезжают в это время по большим городам Франции и кучами франков собирают дань удивления с жителей. Остаются одни только прогулки в городе и за заставами его и летние увеселения самого веселого народа в мире. Ими старался я воспользоваться. По воскресеньям ходил я в Елисейские поля смотреть, как в двух ротондах, называемых залами Аполлона и Марса, Парижские мещане и солдаты отчаянно пляшут кадрили, с разряженными, миленькими ленжерками и здоровыми кошуазами, в народном костюме с высокими шлыками и баволетами. Между собой этот народ был, право, гораздо учтивее, чем ныне иные молодые люди обходятся с дамами в хороших обществах. Из любопытства я раз был и в загородном трактире Ла-Куртиль,

по воскресным дням многочисленную публику посещаемом, где неоплаченное акцизом дешевое вино льется ручьями. Там большой учтивости я не заметил; слышал жаркие споры, сильную брань, но до драки при мне не доходило. Любимым предметом моих прогулок был бульвар Тампля, по обеим сторонам которого тянутся увеселительные места: сперва театры, о коих говорить буду после, потом манеж знаменитого вольтижера Франкони, далее небольшая сцена, с которой шут Бобеш полтора часа, не умолкая, врет народу каламбуры; далее акробаты. На другой стороне турецкий сад, занимающий пространство не более сорока квадратных сажен, но который французское мелочное искусство умело поднять в три этажа, насыпав горку на горку, соединив их мостиками, во впадинах устроив гроты, а другие начинив цветничками и выгадав место для галереи в турецком вкусе, довольно длинной, в конце коей за конторкой с напитками сидела в турецком наряде толстуха. Рядом с этим садом был другой, впятеро его более, называемый «Садом Принцев». Чего в нём не было! И портрет г-жи Мансон,

несчастной, невинной женщины, замешанной в уголовном деле об убийстве Фюалдеса, занимавшем тогда всю Францию; и калейдоскоп-гигант, изобретение того года; и ученая собака Минута, играющая в домино; и работающие блохи. Всё это после было очень обыкновенно, но, вероятно, заменено другими причудами. Очень хорошо эти сады или садики каждый вечер были иллюминированы, и вход стоил в них безделицу.

Вечно одному находиться в этой толпе было бы, наконец, скучно. Судьба наслала мне не товарища, не путеводителя, не собеседника а, так сказать, согулятеля. В жизни этого человека было довольно превратностей, чтобы вкратце упомянуть о них. Когда, во избежание поединков, Александр офицерам своей гвардии велел носить в Париже фраки, каждый полк, по своему вкусу, выбрал себе портного. На Монмартрском бульваре был один магазин платьев, который полюбился Измайловским офицерам. Красивый и веселый мальчик, довольно самолюбивый, из него носил к ним примеривать жилеты и панталоны. Он всем им чрезвычайно понравился,

полком его усыновили и хотели увезти с собой в Россию; но в услужение он ни к кому идти не хотел. Как быть? Решились на обман: отыскали где-то неимущего, молодого легитимиста, кавалера Св. Людовика, который за двадцать луидоров согласился написать и подписать просительное письмо к Константину Павловичу. В нём объяснял он, что несчастья революции заставили родного племянника его, древне-благородного происхождения, скорее чем служить хищнику, тирану, приняться за ремесло, но что ныне желает он посвятить его служению избавителя Европы. А этот мнимый племянник был сын гюиссье (род сторожа неважного суда в небольшом городе Оксерре) и назывался Оже. Известно, что цесаревич имел слабость к французам: на основании этого единственного документа молодой человек принят подпрапорщиком в Измайловский полк и с ним на корабле приплыл в Петербург.

Неудивительно, что тайна хорошо сохранилась: все были виновны в подлоге. Ипполит Оже или г. Оже де-Сент-Ипполит, как он себя назвал, содержим был на счет офицер-

ской складчины: «с мира по нитке — голому рубашка», говорит пословица. Подпрапорщички позволяли себе также не носить тогда мундиров, и он введен был кое в какие общества. Я увидел его у двоюродной невестки моей Тухачевской, о галломании коей я уже говорил; она затеяла домашний французский театр, и он играл на нём. Бульварные фарсы в точном смысле не были прежде известны в Петербурге; о Жокрисах, о Каде-Русселе знал я только понаслышке; но мне сдавалось, что он должен на них походить. Это был настоящий парижский *gamin*, малый очень добрый, но вооруженный чудесным бесстыдством; он не краснея говорил о великих своих имуществвах во Франции, выдавал за свои стихи, которые вероятно выкапывал из бесчисленных, брошенных и забытых альманахов. После вторичного возвращения Государя, все военные оделись опять в мундиры; а он в продолжение этого времени не хотел выучиться ни русской грамоте, ни фронтовой службе, не знал никакой дисциплины, становился дерзок, всем надоел и его просто вытурили из полку. В это время составила какая-то фран-

дузская вольная труппа актеров из оборышей прежней и вербовала всех кто ей ни попадался. Государь слышать не хотел о принятии её на казенное содержание, и она играла в манеже князя Юсупова на Обуховском проспекте, мне сказывали, что ничего нельзя было видеть хуже. Не имея никаких средств к существованию, бедный Оже решился показаться тут на сцене и тем довершил падение свое во мнении небольшого круга, которому был известен. Не знаю, после того что бы стал он делать, если бы кавалергардский Лунин не вышел в отставку, осенью не поехал бы морем во Францию за новыми либеральными идеями и не взял бы его с собою.

Я нечаянно встретил его в Тюльерийском саду, и он мне чрезвычайно обрадовался. Видно, обстоятельства его были не в самом лучшем положении; ибо, несмотря на нероскошное житье мое, он охотно ко мне приписался. Чем он жил, право, не знаю; полагать должно, как тысячи других в огромном Париже, падающими крупицами. Около меня много поживиться ему было нечего; правда, почти каждый день, хотя умеренно, но даром, он

обедал, часто даром ездил гулять и ходил в театр, а для француза которому забавы потребны столько же, как воздух, это уже очень много. Под конец, однако же, за его услужливость, за всегдашнюю готовность исполнять мои поручения, нечаянно удалось мне и ему оказать услугу. За несколько времени до выезда из Пензы, чтобы чем-нибудь развлечь грусть свою и занять ум, перевел я на французский язык *Марфу Посадницу* Карамзина; не знаю, каким образом рукопись эта была со мною. Оже увидел ее, нашел, что не худо бы ее напечатать, а я предоставил ее в полное его владение. Кто мог бы ожидать? За нее книгопродавец предложил ему полторы тысячи франков. Либералам полюбилась мысль, что и посреди снегов Севера, в варварской России, в отчизне рабов, знали некогда свободу, имели народное правление. Она вышла в свет как сочинение г. Оже и подражание Карамзину. Даже слогом остались довольны; когда бы знали, что писано русским, были бы взыскательнее: французы чужестранцам неохотно позволяют хорошо писать на их языке. После того корифеи оппозиции, и меж-

ду прочими, сам Бенжамен-Констан, пожелали узнать Оже; он был не безграмотен, стали употреблять его, заставляли писать в журналах, поправляли его статьи, поддерживали его, и он, не думав, не гадав, попал в литераторы. С легкой руки моей пошел он в гору, только поднялся невысоко. Гораздо после случилось мне, если не читать, то пробежать его печатные романы, и я находил, что они ничем не хуже много других краткожизненных своих собратий.

Всё споспешествовало тому, чтобы пребывание мое в Париже сделать приятным для меня. Давно уже не жил так я, чтобы мне не нужно было помышлять, заботиться о завтрашнем дне. С самого начала революции жерло её никогда не казалась так покойно как в этом году. Все ужасы, в мое время, как будто бы отлетели от Парижа. Тщетно желал я слушать адвокатов в уголовном суде, *cour d'assises*: ни одного важного дела в нём не производилось, ни одной торговой казни при мне не было. Я любопытствовал заходить в морг: ни одного утопленника, ни одного трупа никогда не находил. Не знаю, назвать ли

это счастьем или неудачей.

Квартиры своей не менял я до самого отъезда: я так был ею доволен, что не могу отказать себе в удовольствии здесь ее описать. Она была о трех окошках на улицу и состояла из двух высоких комнат. Первая довольно узкая, разделена была еще на двое: в одной половине её, составляющей темную переднюю, за ширмами спал привезенный мне из Мобёжа русский служитель; другая с окном называлась туалетным кабинетом, но я редко в нее входил. В большой же широкой комнате была глубокая впадина или ниша, в которой за занавесами находилась роскошная постель; по бокам в двух других малых впадинах мог помещаться гардероб. Комната оклеена была серенькими обоями с черною шерстяною каймой; мебели в ней, красного дерева, обиты были желтым утрехтским бархатом; она украшена была двумя большими зеркалами в позолоченных рамах: одно в простенке, другое над большим мраморным камином, на котором стояли бронзовые часы и фарфоровые вазы с искусственными цветами [13]. И за всё это в центре города, в двух шагах

от Пале-Рояля, платил я по 75 франков в месяц; ныне, говорят, не менее двухсот стоит такое помещение.

Мне хотелось, пользуясь совершенною независимостью, только что таскаться по публичным местам; однако же без некоторых знакомств и посещений дело не обошлось. Бетанкур и его институтские французы утверждали, что, будучи так близко от Парижа, нельзя, чтобы я не завернул в него и на всякий случай надавали мне писем. Я начну с описания знакомств в низшем кругу, которые они мне доставили.

Отец моего любезнейшего Базена был добрейший человек, только решительно принадлежал к простонародию. Через покровительство сына получил он место надсмотрщика за провозом товаров, на отдаленнейшей из застав парижских, называемой Адскою, *Barrière d'Enfer*. Там нашел я его совсем не в красивом наряде, со щупом в руках. Нельзя описать добродушной радости его, когда он увидал письмо от сына: слезы у него показались, и он бросился мне на шею. Потом громко позвал жену, которая хотела было то-

же сделать, но, к счастью, остановилась: она что-то стирала, и руки по локоть были у неё в мыле. Она спросила: что́ этот мсье знает нашего сына? (*notre fils, le colonel de là-bas*: даже России назвать не умела). Они просили меня в следующее воскресенье в себе обедать. Из приязни к Базену и из любопытства посмотреть на житье этого класса людей, я согласился и дал слово. Я нашел тут в хорошей казенной квартире, которую мог бы занимать и не надсмотрщик *ostroï*, одно только семейство его. Старики жили одни и по воскресным дням только собирали у себя рассеянных по городу детей своих. Тут находилась старшая дочь с мужем-портным, две другие дочери, которые жили где-то в швеях, и, наконец, милый молодой человек, меньшей сын, который оканчивал науки в Политехнической Школе. Чего не было напечено, наварено, нажарено! Ремесленные люди во Франции обыкновенно бывают довольно умеренны в пище; за то, придерживаясь старины, по прежней привычке, в первый день новой седмицы, спешат вознаградить себя за воздержание. Даже во время революции они знать не

хотели декады, десятый день для отдыха ею установленный, и я думаю, что отчасти это сохранило между ними христианские обычаи и следственно верования. Мне полюбились тут и почтительно-свободное обхождение детей с родителями, и ласково-повелительный с ними тон сих последних. Какая простота царствует между этим народом представить себе нельзя, какое неведение зла! Ну, право, в наших уездных городах каждый зажиточный мещанин, каждый мелкий чиновник гораздо более обо всём имеет понятий. Не знаю, гордиться ли нам этим? Если бы, беспрестанно возбуждая тщеславие, как в добродушных парижанах, даны были нашим средства к восстанию: не знаю, не хуже ли было бы у нас, чем во Франции.

Я был тут как посланный, как представитель отсутствующего божества; имя его беспрестанно повторялось. Не знали чем угодить мне, чем угостить меня. Я был растроган: душевное уважение мое к Базену, который не гнушался таких родных, в этот день еще умножилось. Десять лет он их не видал и оставил их в положении гораздо хуже того,

в котором я нашел их. Я вспомнил, с какою нежностью перед отъездом моим говорил он о своих родителях, как просил, в случае если буду в Париже, навестить их, стараться быть с ними ласковым, неспесивым. После этого обеда, не помню, случилось ли еще раз мне быть у них.

Также и Монферран адресовал меня к родительнице своей, мадам Коммарие, по второму мужу. Счастливый случай свел эту женщину, вдову безвестного бедного артиста, с русским богачом Николаем Никитичем Демидовым. Не знаю какого рода услуги с самого начала могла она оказывать ему, только пользовалась полною доверенностью как его самого, так и супруги его, урожденной Строгановой, недавно перед тем представившейся. От обоих тайно принимала она незаконно-рожденных их детей и потом въявь воспитывала их; разумеется, не из чести лишь одной делала она такие одолжения. На русские деньги нанимала она, в улице Тетбу, большую и щеголеватую квартиру и в ней нередко принимала гостей, потчевая их вкусным обедом. Её знакомство было для меня весьма

приятно, а для богатых русских могло быть и полезно. Она имела связи во всех лучших магазинах Парижа; вместе с нею можно было покупать в них лучшие вещи безубыточно, так что и продавец оставался без наклада, и она была с барышом. Такого рода женщины, когда подымутся до порядочного общества, делаются несносны чопорностью своею и притязаниями на уважение, в котором знают, что всякий в праве отказать им. Разговор г-жи Коммарие остался мил, чрезвычайно жив и смел, однако же слегка подернут полупрозрачною благопристойностью. Такой животрепещущей старухи мне не случалось еще видеть; сколько раз, гуляя с ней, должен я бывало просить ее убавить ходу, когда в шестьдесят лет, в капоте розё, в соломенной шляпке с розанами, скорее бежала чем шла она со мною по бульвару.

На чернорабочий народ вскользь посмотрел я в Ла-Куртиль, ремесленный видел у Базенов, а у Коммарие увидел я особое общество получестное, полуобразованное, в больших сношениях с журналистами. Надобно мне было ознакомиться и с аристократией промыш-

ленности и торговли, и я воспользовался представившимся к тому случаем. Бетанкур и Брегет, друзья-механики, довольно часто переписывались друг с другом. Первый письмом просил последнего, в случае приезда моего, оказать мне возможное пособие, и если нужда потребует снабдить меня деньгами, сколько бы я им попросил, и что он за всё ручается. Нечаянно узнав о том, я поспешил к Брегету, а он встретил меня предложением услуг, от коих я отказался. В продолжение нашего знакомства, он не раз повторял свои предложения, а я, не имея нужды в деньгах, всё отказывался от них; наконец, он сказал, что между русскими он еще не видал столь порядочного (range) молодого человека. Ему было за семьдесят лет, и оттого-то он так и называл меня.

У него был собственный дом в Ситё, на этом большом острове Сены, который составлял Париж в первые столетия его существования. Дом этот в три этажа, сквозной, одною стороною выходил на набережную де л'Орлож, а другою — на площадь Дофин. Ни жилище, ни житье его не имели блестящей наруж-

ности; за то как в том, так и в другом заметно было нечто наследственное, прочно устроенное. Предки его были часовщики, также как и он сам; но он более их усовершенствовал их искусство и умножил состояние свое; дом, принадлежавший им, оставил он в прежнем виде, не увеличив его; только мало-помалу уменьшая число наемщиков, наконец, сам весь его занял. Эти полинялые обои, вероятно, свежими видел отец его; в эти небольшие зеркала, на этом же месте, смотрелся он. Я не мог надивиться такой неподвижности среди народных бурь, так часто тут свирепствовавших. Сам Брегет занимался мною мало: степенные люди того времени не искали сближения с людьми гораздо моложе их. Но единственный его сын, тридцативосьмилетний молодой человек в глазах его старался быть со мною любезно-гостеприимным, предлагал свой кабриолет, своих верховых лошадей. Вместо умершей жены Брегета хозяйством управляла старуха, сестра его, добрая девка лет шестидесяти пяти. По расспросам узнала она очень хорошо, что доктор дозволяет мне есть, и всегда заботилась о том, чтоб я был сыт, ко-

гда у них обедаю, а это, по их приглашениям, случилось почти каждую неделю.

Простота нравов соединялась в этом семействе с большим просвещением. Хозяин дома был довольно богат, чтобы находиться в коротких сношениях с банкирами, с финансовыми князьями, но он не искал их: его более посещали ученые, артисты и литераторы, и сам он был членом Института по части наук. Почти всегда я встречал у него двух довольно известных людей: Прони, начальника Политехнической Школы, сочинителя многих полезных математических книг, и другого — Лемонтё, остроумного, но ленивого писателя. Сей последний приобрел известность несколькими сатирическими, забавными повестями, а более изданием Записок маркиза Данжо, с прибавлением пространных критических замечаний, что и составило часть истории Людовика XIV. Оба были ко мне очень благосклонны, и если б я остался в Париже, чрез них мог бы расширить знакомство свое в ученном кругу; но по краткости времени мне о том и думать нельзя было. К сожалению, все эти господа были очень наклонны к либера-

лизму; опыт был у них перед глазами, но не мог отрезвить их. Особенно Брегеты, отец и сын, были в восторге от изобретательной Англии, что, по моему мнению непростительно и даже преступно во французах.

В другую атмосферу попасть я не мог. — Мне не следовало бы говорить о мимолетном знакомстве моем с маркизом Де-ла-Мезон-Фор; но это была единственная дверь, которая отворилась передо мною для входа в общество высших легитимистов, и что всего страннее, ее отпер мне бывший террорист Сенновер. Я уже рассказал, как умел он прикинуться эмигрантом; там свел он короткое знакомство с этим маркизом, который, находясь в русской службе, занимал неважные должности по дипломатической части, как например, поверенного в делах в Брауншвейге. После реставрации получил он важное место интенданта королевского двора, не столь высокое как у нас (министра императорского) однако же, кажется, равное гофмаршальской должности в соединении с с гофмейстерской; имел большое содержание и обширное помещение в придворных зданиях на Вандомской

площади. Он слыл за чрезвычайно спесивого и по возвращении на родину оказал себя таковым даже и с русскими, но те как-то отучили его. Я видел его в Петербургских обществах, и он тотчас узнал меня, когда я завез ему письмо Сенновера. Со мною был он очень приветлив, сказал, что мало бывает в Париже, а летом большую часть времени проводит около Марли, в Люсиенне, любимом местопребывании известной Дюбарри; сказал, что там надеется познакомить меня со многими из благомыслящих его соотечественников и записал мой адрес. Через несколько дней прислал он пригласить меня туда обедать; я не мог, ибо приглашен был в другое место. Я опять застал его дома, чтоб извиниться и поблагодарить за приглашение; опять он сам заезжал звать меня, и опять я не поехал под каким-то предлогом. Тем и окончилось наше знакомство; зимой с пользой мог бы я возобновить его, но я так долго не остался. После был он посланником во Флоренции, а после я уже об нём более не слыхал.

Из русских довольно часто я видел двух не весьма обыкновенных людей, которые, не бу-

дучи вовсе знакомы между собою, едва ли знавшие о существовании друг друга, в некотором смысле имели большое сходство и вели одинаковый образ жизни. У обоих ровно ничего не было, а их житью иной достаточный человек мог бы позавидовать. Карты объясняют расточительность иных бедных людей, но ни который из них не был игроком: целый век умели они скрывать от глаз человеческих тайник, из коего черпали средства к постоянному поддержанию своей роскоши. Первый, Иван Петрович Липранди, служивший тогда подполковником генерального штаба при дивизии Алексеева, часто отлучался из Ретеля и всегда останавливался в отеле, в котором я жил. Незадолго перед тем меньшая сестра его, сиротка, вышла за сына двоюродного брата моего Тухачевского; всё вместе сделало для меня знакомство его неизбежным. Откуда был он родом и какого происхождения, мне неизвестно; судя по фамильному имени, надобно было почитать его итальянцем или греком, но он не имел понятия о языках сих народов, знал хорошо только русский и принадлежал к православному исповеданию.

веданию. Умом и даже рассудком быль он от природы достаточно награжден; только в последнем чего-то не доставало. Какими бы средствами человек ни собирал материалы для сооружения Фортуны своей, по крайней мере нельзя отказать ему в предусмотрительности; тут этого вовсе не было: добытые деньги медленнее приходили к нему, чем уходили. Вечно бы ему пировать! Еще был бы он весельчак, ни мало: он всегда был мрачен, и в мутных глазах его никогда радость не блистала. В нём было Бедуинское гостеприимство, и он готов был и на одолжения, отчего многие его любили. Доброго Алексеева тайно поджигал он против Воронцова, ко всем распрям между военными был он примешан, являясь будто примирителем, более возбуждал ссорящихся и потом предлагал себя секундантом. Многим от того казался он страшен; но были другие, которые уверяли, что когда дело дойдет собственно до него, то ни в ратоборстве, ни в единоборстве он большой твердости духа не покажет.

Всякий раз что, немного поднявшись по лестнице, заходил я к нему, находил я

изобильный завтрак или пышный обед: на столе стояли горы огромных персиков, душистых груш и доброго винограда, искусственно произрастающего в Фонтенбло, под названием шассела. Я не принимал участия в сих Лукулловских трапезах: предписанная мне диета служила мне предлогом к отказу. И кого угощал он? Людей с такими подозрительными рожами, что совестно и страшно было вступать в разговоры. Раз один из них мне понравился: у него было очень умное лицо, на котором было заметно, что сильные страсти не потухли в нём, а утихли. Он был очень вежлив, сказал, что обожает русских и в особенности мне желал бы на что-нибудь пригодиться; тотчас после того объяснил, какого рода услуги может он оказать мне. Как султан, властвовал он над всеми красавицами, которые продали и погубили свою честь. Видя, что я с улыбкой слушаю его, сказал он: «я не скрою от вас моего имени; вас, по крайней мере, не должно оно пугать: я Видок». И действительно, оно не испугало меня, потому что я слышал его в первый раз. Вскоре растолковали мне, что я знаком с главою парижских

шпионов, мушаров, как их называли; что этот человек за великие преступления был осужден несколько лет был гребцом на галерах и носит клеймо на спин. Нет, от такого человека не захотел бы я и Магометова рая! Не помню после того, был ли я у Липранди. Неприятно же было всегда встречать каторжных. И что за охота принимать таких людей? Из любопытства, подумал я: чрез них знает он всю подноготную, все таинства Парижа, которые тогда еще не были напечатаны. После я лучше понял причины знакомства с этими людьми; также как они, Липранди одною ногою стоял на ультрамонархическом, а другою на ультрасвободном грунте, всегда готовый к услугам победителей той или другой стороны.

Другой промышленник, Николай Александрович Старинкевич, был давнишний мой знакомец. Уроженец из Белоруссии, сын шкловского священника, он хорошо учился в Московском университете под покровительством отца Тургеневых. Из них несколькими годами старше Александра, сохранял он с ним связи, а через него был знаком и с нами.

Пользуясь природными способностями, быстротою понятия, удивительною легкостью в работе, гибкостью характера, стал он быстро подвигаться в чинах по юстицкой части и, в звании начальника отделения канцелярии, сделался любимцем самого министра князя Лопухина. Но он слишком любил житейское, веселые холостые беседы; не имея денежных средств, чтобы вдоволь натешиться, начал прибегать к займам; это много повредило ему, и самые невыгодные о нём слухи стали доходить до министра, который просто велел ему оставить службу. Привычка делать долги обратилась у него в страсть; пока он находился в службе, она легко могла быть удовлетворяема: займодавцы его по большей части были просители, коих дела были ему поручены; они не преследовали его. Но тут на свободе надобно было видеть изворотливость его, когда, не отказывая себе ни в чём, пришлось ему жить одними долгами; надобно было видеть ловкость, искусство, с какими, умножая число кредиторов своих, умел он защищать себя, убегать от них. Такая тревожная жизнь другому была бы мукою, но он находил в ней

наслаждение. Наконец, когда угрожаем был тюрьмою, он решился спастись от неё службой и определился правителем канцелярии к герцогу Александру Виртембергскому, которого тогда назначили Белорусским генерал-губернатором. Под его именем управлял он краем и, надобно полагать, не нуждался там ни в чём. Он начинал уже не ладить с своим герцогом, когда последовало нашешествие галлов; тогда пристал он к ретирующейся пашей армии и с нею более не расставался от Витебска до Москвы и от Москвы до Парижа. Своею вкрадчивостью, всегда веселым видом, длинными, но искусными рассказами, наполовину приправленными красным словцом, сей умный и приятный краснобай пленил всех наших генералов, начиная с Милорадовича и Платова; находился то при том, то при другом, в каком качестве, не знаю, и жил в изобилии, беззаботно, на казенный ли счет или на неприятельский, не ведаю.

Достигнув Парижа, долго не мог он оторваться от него, да и не думал о том: как рыбе в быстрой и широкой реке, было в нём ему раздолье. Он сделался корреспондентом кор-

пусного начальника, грата Воронцова, получал за то содержание из экстраординарных сумм и забавлял его исправно не весьма правдивыми, но всегда любопытными известиями. Тут-то совершенно разладил он с постоянным, почтения достойным, трудом, который открыл ему дорогу по службе; мелочной деятельности его представилось тысячу предметов, из коих плел он свои сплетни. Ум и ласковое обхождение всегда привлекают французов, и Старинкевича, в котором вообще было много липкого, полюбили они, хотя и почитали тайным агентом России. Кого не знал он в Париже! Журналистов, адвокатов, депутатов, проник даже в Сен-Жерменское предместье. Политических мнений своих он решительно не объявлял, потому что не имел их, говоря всегда двусмысленно, и каждая партия почитала его своим.

Число таких людей, к несчастью, чрезвычайно размножилось; они суть порождение века сомнений и эгоизма. В прежние века, когда боролись за религию или за независимость, люди чистосердечно поддерживали свои правила сильными, откровенными ре-

чами и мощно-вооруженною рукой. Ныне, хотя многие хорошо понимают безрассудность господствующих мнений, не имеют твердости им противиться и надеются извлечь из них личную пользу. Что им до отчизны, до её чести, до её благоденствия, лишь бы они насладились всем. А поглядишь, поздно раскаявшись, они гибнут с нею.

Много непонятого, необъяснимого было тогда в жизни Старинкевича; сам он искусно накидывал на нее таинственность, которая придавала ему некоторую важность. Денег, получаемых от Воронцова, не могло ему быть достаточно; в Париже долги делать легко, но отделяться от них трудно. Там была неумолимая Святая Пелагея, не мученица, а мучительница; те, коих заключала она в холодные свои объятия, не скоро могли от них освободиться. Чем же он жил? И для чего нанимал он в одно время три квартиры, в разных частях города, отдаленных одна от другой, и прятался в них от посетителей? Меня же всегда предупреждал о том, где могу его найти, и вообще сохранил ко мне прежнюю обязательность[14]. Его помощь была мне даже полезна

в нижеследующем случае.

Раз, прогуливаясь в так называемом саду Пале-Рояля, заметил я большую толпу подле аркадов, коими он окружен. Приблизившись, под аркадами, увидел я высокого мужчину, важно шествующего в довольно богатом, восточном наряде, с предлинною бородой; нескромные женщины, которые населяли тогда Пале-Рояль, нескромными речами, нескромными движениями изумляли степенного мужа, теребили его бороду, тащили за рукава; народ кругом хохотал. Я узнал Калиархи, одного петербургского знакомого, поспешил к нему на помощь и, оборотись к зрителям, сказал, что стыдно французам отдавать на поругание приезжих почтенных людей. Едва успел я произнести сии слова, как они прикрикнули на дам, которые все разбежались. Г. Калиархи не знал, как меня благодарить. Мне случалось с ним разговаривать, но я знал его мало; он убедительно просил меня навестить его, сказал, где его квартира, спросил, где я живу и объявил, что, не более трех часов находясь в Париже, любопытствовал он взглянуть на Пале-Рояль, где, как

сказали ему, найдет он лучшие товары и встретит лучшее общество. В последнем должен был он разувериться.

Но что это за человек, нужно объяснить. Он был из числа тех фанарных греков, которых Порта через каждые семь лет с господарями отправляла понажиться в Молдавию и Валахию, то есть немного пограбить сии княжества. Два семилетия Калиархи находился постельничим, то есть обер-камергером, при князе Ипсиланти и каймакамом его, то есть наместником на время отсутствия его из столицы. В 1806 году, вместе с его светлостью, бежал он в Россию и успел увезти нажитые деньги. В награду за преданность Ипсиланти, четверем приближенным к нему особам, между прочими Калиархи, дан был прямо чин действительного статского советника. Он им не воспользовался, а продолжал величаться прежними, странными для нас титлами. Снисходительность правительства в таком случае непонятна: как было не снять с него дарованный ему чин? Но в это время граф Каподистрия покровительствовал всех греков, и они чрезвычайно подняли нос. При совер-

шенном невежестве, слабый ум Калиархи был еще затемняем необычайным тщеслави-ем, и если бы не присоединялась к тому маленькая греческая хитрость, его просто можно было бы почитать дураком. В княжествах он, как говорится, не положил на руку охулки; ибо, при большой расточительности, капиталы им оттуда вывезенные только через двадцать лет приметно начали таять. Более всего тратился он на одежду, богатством коей старался превзойти господарей. У него был целый магазин дорогих шуб; мне показывал он длинный кафтан с широкими рукавами из турецких шалей, с широкими золотыми петлицами, к концам коих алмазными пуговицами прикреплены были жемчужные кисти, да еще огромный кинжал, украшенный изумрудами и яхонтами. В сем наряде представлялся он Людовику XVIII, и этот король, который русских генералов, открывших ему путь к престолу, в публичных аудиенциях не удостоивал ни единым словом, а только едва заметным наклонением головы, этого шута принимал приватно и наговорил ему много любезного. Надобно сказать, что не один восточ-

ный наряд, но и большая настойчивость и бесстыдство помогли в этом случае Калиархи. Во время одного важного торжества, о коем буду говорить ниже, пробился он сквозь царедворцев и стал у самого подножия королевского трона.

Я повторяю: как человека этого, так и репутацию его знал я мало, и ему легко было обмануть меня. Ему вздумалось меня покровительствовать; он уверял меня, что он задушевный друг находившемуся тогда в Париже графу Растопчину, что говорил ему обо мне, и что он на другой день приглашает нас вместе обедать к себе. Я был в затруднении: зять мой Алексеев, который коротко знаком был с графом, предлагал уже мне представиться ему, и я отказался; тут, как ни стеснительно мне казалось, не принять сделанной мне чести я не посмел. В открытой коляске отправился я с Калиархи и его длинною бородой, у подъезда слуга объявил нам, что графиня нездорова, а граф не обедает дома, и я заметил, что слова сии сопровождались улыбкой. Я почти был рад. Дня через два пришел ко мне Старинкевич с жестокими упреками. Он часто бывал у

Растопчина, который ему сказывал, что Калиархи хотел ему навязать какого-то неизвестного ему человека (называя меня) и хотел привезти к нему обедать; что он сперва изъявил было согласие, но после спохватился и велел отказать. Старинкевич вступился за меня, уверяя, что я единственно по ошибке мог дать себя протезировать человеку, которого в этом доме только что дурачили, и родил в Растопчине желание меня узнать и поправить то что он почитал своею неучтивостью. Напугав меня тем» что я слабостью своего поступка замарал себя, Старинкевич, не дав ни минуты опомниться, утащил меня с собою.

Я не видал Растопчина с той памятной для меня минуты, когда брат водил меня к нему мальчиком с просьбою об определении в службу, и я не без робости вошел в его кабинет. Лета, покойное, тихое положение, в коем он находился, и приветливый вид, который хотел он показать мне, смягчили прежнюю угрюмость лица его. Разговор начался о странности моего введения, и я объяснил, сколь мало могу почитаться тут виновным в нескромности. Растопчин видно переменял

мнение свое обо мне, ибо пригласил, когда я буду свободен, посещать его хотя всякий день, от одиннадцати часов до трех по полудни, время, в которое начинал он свои прогулки. Так как скоро после того должен был я оставить Париж, то не более трех или четырех раз мог воспользоваться этим дозволением.

Растопчин, как все стареющие люди, что я знаю по себе, любил рассказывать о былом. Разница только в том, что от иных рассказчиков все бегут, а других не наслушаются. Не уважая и не любя французов, известный их враг в 1612 году жил безопасно между ними, забавлялся их легкомыслием, прислушивался в народным толкам, всё замечал, всё записывал, и со стороны собирал сведения, в чём много помогал ему Старинкевич. Наблюдения его и вследствие их суждения о настоящем, всегда остроумные, часто справедливые, умножали занимательность его разговора. Жаль только, что, совершенно отказавшись от честолюбия, он предавался забавам, неприличным его летам и высокому званию.

Регентство, Людовик XV, необузданность и

расточительность Марии Антуанеты, а после них революционный ужас пополам с развратом, совершенно превратили Париж в Вавилон новейших времен. Старики еще более молодых испытывают влияние этой нравственной заразы, особенно же те, кои, неохотно оставив бремя государственных дел, чувственными наслаждениями хотят заглушить сожаление о потерянной власти. Совсем несхожий с Растопчиным, другой недовольный взбешенный Чичагов, сотовариществовал ему в его увеселениях. Не знаю, могут ли парижане гордиться тем, что знаменитые люди в их стенах, как непристойном месте, почитают всё себе дозволенным. Раз получил я от Растопчина предложение потешиться с ним забавным зрелищем, приготовленным у одной пожилой маркизы д'Эстенвиль, в пышных её апартаментах, подле королевской библиотеки, под аркадою Кольберт. Это была настоящая маркиза, не вымышленная; но не только Сен-Жерменское предместье, все честные женщины других состояний давно уже чуждались её общества. Во время революции, а может быть и прежде? лишилась она боль-

шего состояния, но и в бедности сохранила тон важной дамы. Знатные, богатые люди, во мзду её угодливости, старались окружить ее новою роскошью и дом её поставить на высокой ноге. К ней Чичагов взялся представить Калиархи, а Растопчин с старшим сыном своим, которого знавал я в Петербурге, Старинкевичем и со мною должен был приехать невзначай, как будто в гости. Особые почести, особые церемонии ожидали там нового Мамамуши, которого хотели возвести на высокое седалище в виде трона. Ни чести, ни бесчестия не видел я в посещении г-жи д'Эстенвиль; меня к ней чрезвычайно зазывало, но мне больно было бы видеть русских вельмож, которые, думая дурачить одного человека, сами немного бы дурачились, и я нашел какой-то предлог извиниться, чтобы не участвовать в этой проделке. На другой день поспешил и навестить тщеславного Калиархи, который не мог надивиться смелому, свободно обхождению первостатейных дам в Париже. «Удивительно, — сказал он мне с самодовольствием, — как они любят восточный костюм! Поверите ли вы, что эти молодые, пре-

красные графини и виконтессы все в меня влюбили; я не знал куда деваться от стрел их страстных взоров». Я отвечал, что мне остается только завидовать его счастью.

Итак он был у Растопчина домашним буффоном, Старинкевич весьма полезным вестовщиком, я же, кажется, ни на что ему не годился. А он оказывал мне много благосклонности, я думаю, оттого, что я всегда с жадностью слушал умные его речи. После того я уже не видал его в жизни. На прощании подарил он мне литографированный портрет свой, весьма похожий, с подписью:

*Без дела и без скуки,
Сижу поджавши руки,*

который у меня до сих пор хранится.

Я имел случай узнать тогда, хотя не так близко, другого человека, которого также можно назвать историческим лицом, именно русского посла, Поццо-ди-Борго. Он родился в одном году и в одном городе с Наполеоном, учился в одной с ним военной школе и был потом постоянным его противником и врагом. Это одно уже должно было меня заста-

вить пожелать его увидеть; лень и застенчивость сперва не допускали меня ему представиться. Он жил в отеле Телюссон, купленном Наполеоном для графа Толстого, довольно красивом, но не весьма великолепном[15], на улице Шантерен, называемую ныне улицею Побед. Близ него поместился Петр Иванович Полетика, был почти вседневным его посетителем и нахлебником, не спешил в Америку и месяца полтора при мне прожил в Париже. Он пристыдил меня, сказав, что на мой счет предупредил посла, и заставил меня к нему явиться. Посол был отменно учтив, даже разговорчив, хотя не так фамильярен как Растопчин. Через три дня карета его остановилась у подъезда скромного отеля Де-ла-Мёз, в ней кто-то сидел, разумеется не сам он, и мне подали его печатную карточку, без загнутого угла, как ныне водится, а с надписью *en personne*. По моим русским понятиям я нашел даже, что это слишком много для меня чести. Еще через три дня, по его приглашению, обедал я у него. За столом были только советник посольства, предобрейший Андрей Андреевич Шредер, что ныне посланник в Саксо-

нии, да принадлежащие к посольству же: нынешний обер-гофмаршал князь Николай Васильевич Долгоруков и отвратительный, совершенно офранцузенный сын бывшего фаворита, Ермолов. Как солнце сиял между ними Поццо, ярко озаряя всё их ничтожество. Разговор был общий, о самых неважных предметах, в котором каждый мог принимать участие. Я тоже не хотел оставаться тут бессловесною тварью, но даже слово *здравствуй* в устах такого человека как Поццо становится умнее. После обеда сделался он словоохотнее, особенно когда коснулось до Востока где он долго путешествовал. Тем и окончилось наше знакомство. Что мог я иметь с ним общего, кроме того, что я был подданный государства, которого был он тут представителем? Он соблюл со мною всю вежливость, которую обыкновенно оказывал он русским, которых хотел отличить. Несколько недель спустя, получил я общее приглашение к обеду, который давал он дипломатическому корпусу и русским, в день именин Государя; не имея мундира с собою, я не поехал.

Я, кажется, ничего не делал, а на многое не

доставало меня у времени; например, окрестности Парижа не более четырех или пяти раз удалось мне видеть. С зятем и с сестрою, в один воскресный день ездили мы в Бургла-Рен, обедать к Николаю Никитичу Демидову, который жил тут барски, на чьей-то даче, в пребольшом доме с обширным садом. Он пригласил меня каждое воскресенье повторять сии посещения, но до осени не удалось мне его видеть. После обеда возил он нас на пространное поле смотреть, как пять тысяч французов обоего пола довольствуются пятью музыкантами, в разных местах поставленными на бочках, и без памяти пляшут на открытом воздухе. Всё делалось по команде, и новейшие менестрели, с высоты своих бочек, как начальники над войском, громогласно повелевали танцующими. Что за чудачки, право, эти французы!

Я как будто ни на час не хотел отлучаться из Парижа. Для поездок моих из него всегда нужна была чужая воля, стороннее побуждение. Врат предложил мне прогуляться в Версаль вместе с ним, с одним, мне неизвестным, товарищем его по службе и с женою сего по-

следнего. В век не забуду я этой ужасной прогулки. В четырехместной карете, в которой отправились мы, мог я только познакомиться с четою моих спутников. Артиллерийский полковник Либштейн, немец, который не знал другого языка кроме русского, был смирен как ягненок; зато жена его всегда находилась в беспокойном движении, как дикая кошка. Когда он был еще офицером на Дону, молодая казачка, дочь, кажется урядника, заставила его на себе жениться, или лучше сказать насильно на нём женилась, увезла его и уверила, что им была увезена. После того показавшись оседлала она его и целый век погоняла. Она была нельзя сказать чтобы дурна собою, но такого жесткого выражения я еще никогда в женском лице не видал. Бывают у женщины усики, иногда усы; у этой были даже бакенбарды. Около трех лет находилась она с войском во Франции, а точно как будто вчера оставила Донские станицы. Встреча двух крайних противоположностей, самого грубого варварства посреди страны почитаемой просвещеннейшею в Европе, сначала показалась мне забавна, но скоро положение

мое сделалось мучительным.

Это было в первые дни пребывания моего в Париже: с любопытством приезжего вопрошал я брата о местах ему уже знакомых. Она беспрестанно мешалась в разговор, делая с своей стороны вопросы и заключения. Когда сперва проезжали мы площадь, на которой казнен был Людовик XVI, я воскликнул при воспоминании сего печального происшествия. «Да может ли это быть? — сказала она. — Как отрубить царю голову? Да как они смели, канальи!» Она об этом никогда еще не слыхала. Всё было на этот лад. Я, наконец, замолчал и надеялся, что по приезде избавлюсь от неё; а вышло напротив. Мы остановились у дворца, в котором, по случаю праздничного дня, народу было множество. Злодейка знала, что европейский обычай велит мужчинам водить дам; зверским взглядом своим окинув три предстоящие жертвы, выбрала меня и подала мне руку. Известно, что жены кавалеристов, также как и сами они, не любят пешеходства, особенно же казачки, из коих, от того, многие подобно г-же Либштейн, перейдя за тридцать лет, становятся чрезвычайно туч-

ны. Не безделица была для меня подниматься с нею по высокой лестнице и проходить бесконечные ряды огромных комнат совершенно пустых, но наполненных историческими воспоминаниями, столь занимательными для человека воспитанного роялистами. Проводник, в богатой королевской ливрее, часто останавливался, чтобы входить в подробные рассказы; не давая мне даже вслушаться, требовала она, чтоб я всё ей переводил; я говорил наобум, она ничего не понимала и ужасно сердилась. В зале Аполлона спросила: «что это за Аполлон, что он за человек?» В комнате, называемой *Oeil de Voeuf*: — «Где же тут бычачий глаз?» Я не вел её, а тащил, и она решительно лежала на мне. Из толпы других посетителей иные с удивлением, иные почти со смехом смотрели на смуглую рожу её, выразившую негодование и усталость, а еще более на изнеможенную фигуру мою под бременем тяжелого креста, который осужден я был нести. Даже самому брату, виновнику моего несчастья, не предвидевшему такой напасти, смешно и жалко было смотреть на меня. «Что тут увидишь?» повторяла она. «Голые стены?»

Было зачем приезжать!» Мы оба с мучительницей моей не захотели после того идти в сад, а поспешили в ближайшую гостиницу, где она спросила комнату с постелью, повалилась на нее, сняла башмаки и готова была снять при нас чулки, если бы муж не упросил её сего не делать. Подали обед; она ела за троих, а по окончании его закричала вместе со мною: «домой, домой, скорее домой!»

Неудачная эта поездка с братом возбудила, однако же, во мне любопытство одному посмотреть на Версаль. С десятию, кажется, пассажирами сел я в велосифер, тогда нового изобретения карету, и поехал не так шибко как обещало название экипажа. На свободе я мог подивиться во дворце остаткам прежнего великолепия его: живописи плафонов, позолоте карнизов, мраморным галереям и лестницам. Сад со стриженными деревьями, лишенный тени, конечно, не может быть обыкновенною приятною прогулкой, но на этом положена печать величия времени. Всемогущий и роскошный монарх мог один создать его; мрамором выложенные бассейны, высоко бьющие бесчисленные фонтаны, целый

полк бронзовых статуй, всё обличает царское житье: проходя по нём, мне казалось, что я читаю одну из глав истории Людовика XIV. При Малом Трианоне, любимом месте Марии-Антуанетты, находится иррегулярный сад в английском вкусе ничем не замечательный, не более тех, кои в России встречаем мы у частных владельцев. Когда французы начнут перенимать у англичан, то всё как будто передразнивают их, чтоб не держаться им своего.

Опыт должен был научить меня разъезжать по окрестностям Парижа не иначе как одному; я не послушался его и был за то наказан. Мне из Лондона от Анны Андреевны Блудовой привез письмо сын священника нашей миссии, Смирнова, который служил там в канцелярии посольства. Родившись в Англии, от английской матери, говорил он по-русски хотя правильно, но с английским выговором, никогда не бывал в России и, можно сказать, наизусть обожал ее. Этот молодой человек был очень добр и ласков, посещал меня и мне полюбился. В один вечер пришел он ко мне с приглашением богатой мистрис Литтльтон

быть у неё следующим утром в десять часов, дабы вместе с большою компаниею объездить некоторые примечательные места вокруг Парижа. Она хотела этим случаем воспользоваться, чтобы сделать мое знакомство, как сказал мне Смирнов. Я знал мало англичанок, воображал, что почти все они должны быть красавицы и, полон благодарности за сделанное мне приглашение, явился в назначенный час и в указанный мне дом, на улице Прованс. Действительно, в большой зале нашел я собранными до двадцати особ обою пола, между коими русских было только двое: Смирнов, который казался тут домашним, и одна девица Левицкая, которую знавал я в Петербурге, в доме князя Салтыкова, и которая не знаю как сюда попала. Хозяйка очень вежливо приветствовала меня по-французски; все же другие вокруг меня объяснились между собою на языке, который, как у нас говорится, не при мне был писан. Долго не заставили меня дожидаться; не успел еще разглядеть я своих спутниц, как кареты были поданы. Они были для одних дам, а мужчины, о ужас! должны были садиться снаружи. У нас

в России тогда всякий знал свое место: козлы и запятки были собственностью кучеров и лакеев, и никто из господ не думал тогда посягать на нее. Я решительно объявил, что лезть не умею и ехать не могу. Меня посадили в карету с четырьмя дамами, из коих две очень учтиво потеснились.

Когда я взглянул на них, то обмер. Из семи смертельных грехов, казалось, четверо сидело со мною: до того они были дурны собою. Все они говорили по-французски, как? О том не нужно спрашивать; мы могли понимать друг друга, и этого было бы довольно. Я надеялся, что любезность их заменяет им красоту, и дерзнул вступить в разговор. С выжатою на устах улыбкой, на всё отвечали они да, нет или тому подобное. Сначала приписывал я это у нас прославленной скромности британских жен и не терял бодрости. Немного понимая по-английски, я их уверил, что ни слова не знаю, дабы могли они, по крайней мере, между собою разговаривать; ни мало: вопросы и ответы делались односложными словами; хотя бы для забавы моей при мне немного поругали они меня, и этого не было. Я был

не один и не в обществе. Таким образом проехали мы Булонский некогда лес, тогда Булонскую рощу, ныне, говорят, совсем почти вырубленную. Потом приехали в Сен-Клу, где очень кстати не было королевской фамилии, и мы могли осмотреть дворец. Он был исправлен и восстановлен Наполеоном, который на внутреннее убранство дворцов не был очень расточителен; я видел две комнаты, богато отделанные для Марии-Луизы, спальню и кабинет; тогда занимала их герцогиня Ангулемская. В одной полукруглой комнате остановился я перед большим окном, в котором было вставлено цельное зеркальное стекло. Из него виден весь Париж, всегда какою-то мглою подернутый, вечно дымящийся кратер народного вулкана, которого взрывы не раз ужасали владельцев Сен-Клу. Парк и его гигантский водомет в другой раз видел я гораздо лучше, когда один приезжал на ярмарку, которая бывает тут в первое сентябрьское воскресенье.

Из Сен-Клу отправились мы на королевский фарфоровый завод в Севре. Можно было полюбоваться там колоссальными его произ-

ведениями — вазами, на которых писаны картины также искусно и тщательно как бы на холсте, можно было найти и вещи для продажи; но кому было покупать их? Этого рода промышленность более всех других размножилась во Франции, и фарфоровая посуда на частных заводах дошла до невероятной дешевизны.

Мы кончили наше путешествие посещением еще двух королевских увеселительных замков, близко один от другого находящихся, Медона и Белльвю. Вид из последнего, как название его показывает, действительно прекрасен. В обоих заметны были свежие поправки, которыми хотели стереть следы губительной руки революционного варварства.

Все издержки этого странствования взяла на себя госпожа Литтльтон, которая им хотела угостить нас. Один длинный англичанин, кажется, играл тут роль её казначея: при выходе из каждого здания или заведения, проводникам совал он какую-то мелкую монету. Французы в этом случае очень учтивы, всегда скажут «мерси», а эти только с удивлением на него посматривали. Заметив это, я немного

отставал и вручал от себя пятифранковый экю. «Видно, что мсье не англичанин», говорили проводники; «я русский», отвечал я, и они мне почтительно улыбались. Первые англичане, которые по заключении мира приехали в Париж, хотели удивить французов щедростью и сеяли золото: их всех величали милордами. После того люди не столь богатые стали в близком соседстве с отечеством селиться из экономии, и сделались очень расчетливы, даже чересчур.

Немало времени потребно было на такие разъезды. Выехав в одиннадцатом часу утра, воротились мы только в седьмом часу вечера. В большой зале накрыт был длинный стол; мне пришло в голову сосчитать гостей и приборы, и вышло, что одному из нас тут места не было. Чтоб удостовериться, я ли назначен к выключке, стал я раскланиваться и прощаться, и меня не удержали. Говорят что в Альбионе обычай сажать за обед одних только коротких; но я был русский и в Париже, а у нас на Руси отпустить гостя без обеда почиталось тогда неучтивостью и прегрешением; даже на новгородцев в этом случае, мне кажет-

ся, был один только поклеп. С раннего утра ничего не евши, можно посудить о состоянии моего аппетита. Одна беда никогда не приходит на всём; расстоянии от Шассе д'Антен до Пале-Рояля не встретил я ни одного извозчика: в виду у меня проезжали кабриолеты, фиакры, но ни один довольно близко чтоб услышать мой зов, и я, голодный, утомленный, пеший, в начале восьмого воротился домой. Огонь на кухне погас, всё было съедено, но хозяйева и прислуга меня любили; они были тронуты моим горем, принялись стряпать, и через час сколько-нибудь утолил я свой голод. Смирнов на другой день уехал в Лондон, и я не мог даже иметь удовольствия объяснить ему мое неудовольствие. Через четыре дня получил я от г-жи Литтльтон записку, где от имени своего и от имени бывших со мною мистрис, которые по словам её умели оценить мою любезность, приглашает она меня к себе на большой вечер, прибавляя, что, как русский, освобождаюсь я от обязанности надевать башмаки. Я не только не отвечал, но даже не послал извиниться: досада во мне еще не остыла, и вообще желудок у меня

злопамятнее сердца.

Во всё время пребывания моего в Париже был я свидетелем одного только большего торжества, именно воздвижения статуи Генриха IV на самом старом мосту, который вечно называется новым. Этот король, храбрый, умный, хвастливый, влюбчивый, довольно развратный, был точным изображением народа, с коим воевал, коего победил и над коим царствовал, и от того более других живет в его памяти. Его потомство на этой народной любви более всего основывает силу свою, но не ошибается ли оно? Французы любят тех, кои на них похожи, а не уважают. Генрих может быть их любимцем, но Наполеон в будущих веках останется их кумиром. Конная статуя Генриха отлита была за городом и ввезена на катках в заставу де л'Этуаль, где ныне большие Триумфальные ворота. Оттуда по широкой аллее Елисейских полей народ потащил ее на себе; к тысячам веревок припрягались тысячи праздных шалунов. Мне казалось это пламенным усердием народа к памяти доброго Дьябль-акатра. Зрелище было прекрасное; огромная масса всадника, вся покры-

тая синим коленкором, с вырезанными, я думаю, из золотой бумаги и наклеенными на нём лилиями, медленно, шаг за шагом, подвигалась, сопровождаемая и предшествуемая толпами неисчетного народа. Более полу суток везена была она до угла Тюльерийского сада, тут оставлена на ночь, а на другой только день, вдоль по Сене, привезена к предназначенному ей месту. Остров Ситё выдается тут острым клином, который, пересекаям быв мостом, образует небольшое пространство, где поставлена статуя на самом выгодном месте, можно сказать в виду целого Парижа. Против статуи на мосту устроена была богато украшенная галерея для короля, королевского дома, иностранных принцев и маршалов, другие галереи для иностранных послов и двора. На мост без билета никто пропускать не был; но бесстыдный Калиархи, как я сказал выше, добрался до короля, выдавая себя за родственника Русского императора.

Это было 25 августа нового стиля, в день Св. Людовика. Я ходил по бульварам, до обеим сторонам коих расставлены были войско и национальная гвардия, и смотрел, как разъез-

жал перед ними и командовал королевский брат д'Артуа, еще бодрый старик. Потом с церемонией проехал сам король-подагрик, в открытой коляске, с двумя племянницами, Ангулемскою и Беррийскою. Много любопытства, но никакого энтузиазма не заметил я между зрителями. После обеда ходил я в Елисейские поля, где из устроенных фонтанов било красное и белое вино, и я забавлялся, глядя, как народ им упивается и пачкается. Быв целый день в движении, я не в силах был идти ночью, чтобы видеть самое любопытное зрелище: по мосту Pont Neuf, который весь горел как в огне, не было проезда; во всю длину свою превратился он в галерею, где куча не маскированного, а переряженного народа, пользуясь благоприятною погодой, плясали до рассвета. В этот день между чернью, я думаю, все были роялисты.

Если кто вспомнит, как в это время благоговел я перед священным именем Бурбонов, тот поймет жажду мою видеть носящих его. Малый чин мой не давал мне права представляться ко двору, да оно и не было в обычае. Однако же, в первые дни после приезда мое-

го, удалось мне взглянуть на старого короля, который не переезжал еще за город и у которого был большой выход; из внутренних покоев Тюльерийского дворца по наружной открытой галерее, не высоко над садом, шествовал он к обедне в церковь, и вместе с другими зеваками довольно близко мог я разглядеть его. Я прислушивался и вглядывался в окружающих меня; на многих лицах угадывал я насмешки, но вслух никто не позволял их себе, и даже кой-где выпаливало *vive le roi*. Графа д'Артуа видел я один раз только перед фронтом. Нечаянно попал я раз на герцога и герцогиню Ангулемских в Ботаническом саду, *Jardin des Plantes*. Любопытство дало мне смелость вступить в весьма небольшую толпу за ними следовавшую, состоявшую наполовину из священников и монахов. Не слышно еще тогда было о цареубийствах, больших предосторожностей не брали, меня можно было принять за принадлежащего к их свите, и я следовал по пятам их высочеств. Рассматривая зверей и растения, они вопрошали профессоров, и я мог не проронить ни одного слова, коих произносимо было немного. Строи-

ный стан герцогини, её простое платье, простую шляпку, мрачное лицо выражающее спокойствие и твердость, её голос более грубый чем нежный, однако трогательный, я в век не забуду. Если б с целым светом и не знал я повести о её великих страданиях, то и тогда поражен бы был величием и святостью, которые отличали ее. К сожалению не могу я того сказать о её супруге; этот малорослый, дряблый Бурбон, ни в походке ни во взгляде, ни в голосе не имел ничего благородного и беспрестанно ковырял в длинном носу своем. Когда чета сия пошла в кабинет натуральной истории, то догадались, и меня за нею не пустили.

Еще страннее и неожиданнее была встреча моя с другим братом, герцогом Беррийским. В увеселительном заведении Божон устроены были превысокие деревянные горы для катанья, с площадкою наверху и двумя идущими к ней довольно широкими лестницами. Не знаю по какому случаю был тут большой фейерверк, по окончании которого с высоты гор мне захотелось взглянуть на иллюминацию, и я с теснящейся толпою пошел

вверх по лестнице, ярко освещенной. Какой-то толстенный человек, шедший мне навстречу, не весьма учтиво толкнул меня, и я поднял было локоть, чтобы оттолкнуть его. В эту минуту кто-то сзади дернул меня за полу, и я увидел, что он ведет хорошо одетую белокурую даму, которая показалась мне косою, может быть оттого что она покосилась на меня, и я немного посторонился. «Что было вы это наделали, — сказал мне шедший за мною и со мною молодой Карион-де-Низас: — ведь это герцог и герцогиня Беррийские». Он был древнего рода дворянин, но отец его был сенатором при Наполеоне, и он остался ужасным бонапартистом. «Впрочем беда бы не велика была, — продолжал он, помирая со смеху, — вы иностранец. Вы бы извинились, и тем бы дело кончилось». Тот же самый Карион-де-Низас, когда мы раз подходили с ним к театру Фаварь, сказал мне: «Хотите ли вы видеть герцога Орлеанского? Вот он с женой подъезжает в карете, кажется, к боковому подъезду». Мы остановились, пока Филипп выходил из кареты; ни он, ни будущая королева его и тогда красотою хвастаться не мог-

ли.

Изо всех тех, кои играли роли во время революции, республики и при Наполеоне удалось мне видеть только одного, и за то еще обязан я Низасу, который, также как Оже, часто со мной разгуливал. В Тюльерийском саду указал он мне на человека, который сидел на одном из плетеных стульев, за которые платится два су; я поспешил занять его. Варрас был человек весьма пожилой, худощавый, бледный, не с распущенными, а на уши приглаженными волосами, еще не седыми, во фраке старого покроя, в шляпе с большими полями, и обеими руками упирался на трость клюкой. Нелегко было войти в разговор с таким соседом, он смотрел так угрюмо; но я прикинулся простачком, новичком, только что приехавшим из России и всему дивящимся, и он охотнее стал отвечать. Когда я хвалил великолепие Тюльерийского дворца и красоту его сада, он сказал мне, что он не всегда был в этом виде, и что некогда большая аллея его была вся засажена капустой. Мне только и надобно было посмотреть на него из любопытства и услышать его голос: знако-

миться с ним было бы трудно, да и не для чего...

Наступила осень, но совсем такая как у нас на Севере; дни были еще жаркие, но ночи становились сыры и часто дождливы. Надобно было помышлять об отъезде. С помощью г. Гарданна, самые следы ломоты, от которой я страдал, совершенно исчезли. Но видно, средства им употребленные были слишком сильны, ибо ослабили и расстроили весь состав мой. Я не виню его; может быть, я сам был тому причиною, ведя жизнь не весьма строгую, с правилами гигиены несогласную. А как мне воротиться? Денег было у меня еще довольно, но не было экипажа, и меня пугало путешествие в дилижансах и публичных каретах. Сама судьба озаботилась, чтоб облегчить мне средства к обратному пути, точно так же как и к приезду в Париж.

Известно сделалось, что на Ахенском конгрессе решено вывести союзные войска из Франции, дабы показать доверенность к благоразумию французов: через год они оправдали ее. Мои родные предлагали мне, в случае выступления корпуса графа Воронцова, ехать

с ними; это было бы и покойно, и дешево, зато продолжительно и скучно. Дабы сим делом как-нибудь поладить, решился я в конце сентября отправиться в Мобёж.

Последний месяц пребывания моего в Париже я часто бывал и обедал у воротившегося рано с дачи, расслабленного Николая Никитича Демидова. Соотечественники упрекали его в скупости: человек, который жил с такою роскошью, что французы непременно хотели видеть в нем владетельного князя, называя его принцем Демидором, а иные Термидором, скорее мог почитаться мотом. Но он был расчетлив и, при всей пышности своей, находил средства умножать состояние свое. Все жизненные наслаждения в Париже сами идут навстречу к тому, кто в состоянии за них платить; они осаждали Демидова, он предавался им, и оттого постигла его рановременная старость. За вкусным, изысканным его обедом он почти ни до чего не касался, кряхтел и что то часто жаловался мне, говоря его словами, на барометровской елей. Не знаю, как другие, а я нашел в нём великую склонность к одолжениям. Я не просил у него денег, отказывался

даже от них, а он под простую расписку навязал мне четыре тысячи франков, с тем, чтоб я отдал их в Петербурге управляющему его делами. Когда я объяснил ему, что не имею никакой в них нужды, он указал мне на употребление, которое могу из них сделать. Совет его был очень полезен, я последовал ему, а между тем совещаюсь и поныне не только говорить о том, даже вспоминать. С помощью гжи Коммариё закупил я множество хороших вещей, дешевых во Франции, с рулажем отослал их в корпусную квартиру, откуда в казенных ящиках отправлены были они в Россию, где и проданы с изрядным барышом. Конечно, это торговля, но вместе с тем и контрабанда. Находясь тогда в числе тысячи виновных, старался я извинить себя в собственных глазах.

Пробыв не более трех месяцев с половиной как бы в шумном водовороте, где на каждом шагу встречал я предметы удовольствия или отвращения, только на лету мог я сделать свои замечания и наблюдения. Характер французов давно мне был известен; природа в каждого из них влила много добра и зла, и

всё это переболтала, так что, если бы можно было химически разложить их, трудно было бы одно отделить от другого. Сколько мог, следил я за их политическими мнениями. С каждым годом они становятся неуловимее и изменчивее; от абсолютиста тысячью оттенками можно неприметно дойти до якобинца. Меня удивило совершенное забвение, которому парижане предали тогда Наполеона: ни порицаний, ни похвал ему не слышал я. Видел я большое свободомыслие и вместе с ним ужас, который производили одно слово *революция* и воспоминание о ней. Вообще заметно было безотчетное, основательное презрение, впрочем без ненависти, к королевской фамилии. Я надеялся, что время и новые привычки совершенно восстановят порядок.

IX

Поездка в Мобёж. — Граф М. С. Воронцов. —
Возвращение в Россию.

Еще не совсем рассветало, 28-го сентября, когда с русским слугой моим пришли мы в заведение дилижансов, находившееся в двух шагах от меня и вблизи от новостроящейся огромной биржи. Через полчаса отправились мы по дороге, ведущей в Бельгию. Карета, в которой сам шестой сидел я, была очень покойна, и мы ехали быстро. Мне, признаюсь, жалко было расстаться с Парижем: ни малейшей личной неприятности не имел я в нём, а напротив везде и во всех находил предупредительность и ласки, жил беспечно и более думал о забавах своих, чем о поправлении здоровья; в тоже время начинал тосковать и по России, куда собирался воротиться. Оттого погрузился я в мысли, и хотя сидел подле окошка, не обращал внимания на места, через кои мы проезжали и которые, впрочем, долго оставались покрытыми густым туманом. При перемене лошадей выходить и оста-

навливаться долго я не имел права и не хотел. Где мы были, не знаю; помню только, что кто-то назвал городок Санлис.

В три часа, когда солнце просияло, совсем освободясь от туманного покрывала, остановились мы в маленьком городе Руа и провели в нём почти час за обедом в каком-то хорошем трактире; после того пустились далее. Спутников своих я не имел времени разглядеть: они часто менялись, и дилижанс беспрестанно выпускал их, чтобы принимать новых. Один только отвратительный старик, кажется торгаш, который лысину свою прикрывал шитою шапочкой, до следующего утра постоянно пребывал со мною.

С ним была довольно еще молодая женщина, как узнал я, не жена его и не дочь, которую видимо тяготило вынужденное обстоятельством сожитие с ним. Осенью дни становятся коротки, скоро смерклось, и скуки ради я не замедлил заснуть. За то проснулся до рассвета и с сожалением узнал, что мы проехали два города, Перонн и Камбре, на которые мне было хотелось взглянуть. В дилижансах ездить почти тоже что с завязанными гла-

зами. Благодаря французской нетерпеливости, они вдвое шибче ездят чем в Германии. Не с большим в сутки сделав наших двести пятьдесят верст, рано по утру приехали мы в Валансьен. Я остановился в гостинице Большой Утки, и пока мой Дорофей, знавший немного по-французски, пошел мне отыскивать и нанимать кабриолет в Мобёж, я отправился гулять по городу. Он был занят английскими войсками, и тут в первый раз увидел я их красные мундиры. Щеголяя опрятностью и бельем, офицеры выставляли огромные батистовые жабо; подражая их примеру, нижние чины делали их из тонкой, веленовой бумаги, что мне показалось очень забавно.

Лето совершенно воротилось в этот день; мне предстояло не более тридцати верст по гладкой дороге, и я, сидя в кабриолете, поехал как будто на прогулку. Отъехав с полмили, в небольшом селении Брикете, увидел я казаков; невольно взыграло во мне сердце: я вступал в русские владения. Далее показался деревянный столб, выкрашенный белою и черною краской, с красными полосками. Не вдруг разглядев, что это такое? спросил я у

ямщика. «Да это проклятые черти русские наставили нам», отвечал он с досадой, принимая меня за француза. Написано было по-русски расстояние от каждого городка, и я, считая версты, поехал как бы по Московской дороге. Каково было смотреть на это воинам Наполеона, которые осенью в двенадцатом году утверждали, что Смоленск во Франции! Никто из других военачальников Веллингтоновой армии ничего подобного не мог себе позволить. За такую наглость спасибо Воронцову, хотя она могла иметь вредные последствия. С Великобританскою гордостью, враг Наполеона и Франции, он по-русски умел подражать их хвастовству. Тщеславие жителей не дало им понять, сколь унижительно такое хозяйничанье для их национальной чести, а я тотчас почувствовал, как оно усладительно для нашего народного самолюбия.

Предупрежденный моим письмом, брат ожидал меня еще накануне. Он за дешевую цену занимал изрядный, небольшой дом в два этажа. Находящиеся тут русские имели право жить постоем; но у них было много денег, и они предпочитали жить шире и пока-

зывать себя щедрыми, чего в соседстве не делали ни англичане, ни прусаки. Вообще все сии наши воины, счастливее других три года сряду наслаждавшиеся плодами победы и, следуя примеру своего начальника, были приветливо-горды с жителями и старались задабривать их ласками и деньгами.

Небольшой и тесно застроенный город Мобёж со всех сторон окружен укреплениями, около коих обвивается река Самбра. Я нашел в нём большую суматоху. В первой половине октября назначены были около Валансьена маневры и большой смотр всей союзной армии, куда ожидали из Аахена Государя и короля Прусского. По сему случаю все наши войска стянуты были к Мобёжу, и сестра с мужем также находились тут у брата.

Городок, как говорится, был битком набит, а на улицах нигде не слышно было ни одного французского слова: на них встречались одни лишь солдаты наши, денщики, прислуга генеральская и офицерская. Как бы волшебным прутиком в одни сутки перенесен я был в Россию из центра Франции. Зная мой вкус и желая потешить меня, за обедом, к которому я

прибыл, мои родные велели подать щи, кашу, кулебяку, блины и квас, о коих почти полгода я даже не слыхал. В квартире у брата нашел я вставленные двойные рамы, печи и даже одну с лежанкой. Дабы продлить мое очарование, после обеда призваны были полковые песельники, и они дружно грянули круговую. Чем же кончилось? Один казачий полковник завел, у себя русскую баню, как нарочно в этот день велел ее вытопить, и я в ней парился. Нет, никогда не забыть мне этот день — 29 сентября.

Воронцова не было; он только что уехал в Аахен, и дня через четыре ожидали его обратно. И здесь еще не место говорить об этом человеке, который на судьбу мою имел такое великое влияние. Надобно однако же предполагать в нём нечто необычайное, покоряющее ему людей, несмотря на все его слабости. Мобёж был полон его имени, оно произносилось на каждом шагу и через каждые пять минут. Он составил дружину из преданных ему душою, окружающих его людей. Для них имел он непогрешимость папы; он не мог сделать ничего несправедливого или неискусно-

го, ничего сказать неуместного; беспрестанно грешили они против заповеди, которая говорит: не сотвори себе кумира. Не быв царем, вечно слышал он около себя лесть, только чистосердечную, энтузиазмом к нему произведенную. Оттого привычка быть обожаемым обратилась у него в потребность; он стал верить только в себя и в приближенных своих, а на всех прочих смотрел с жесточайшим презрением. Я вскользь познакомился с сими воронцовскими приверженцами; лет через пять пришлось мне быть с ними в самых близких сношениях и, может быть, о каждом из них должен я буду много говорить; потому-то здесь некоторых только что назову а именно: дальнего родственника его Димитрия Нарышкина, Богдановского, Дунаева, Казначеева, барона Франка, Ягницкого, Русанова и, наконец, одного дипломата, меньшего брата Тургеневых, Сергея. С последним не случилось мне потом более нигде встретиться. Не имея ума старших братьев своих, сей впрочем добрый малый был тщеславен, как Александр, и честолюбив как Николай. Все эти люди, отдавшие себя в кабалу к Воронцову, меж-

ду тем ужасно как либеральничали.

Чрезвычайно странно было видеть обращение русских солдат с простыми французами: они обходились с ними ласково, и тем только давали им чувствовать превосходство свое над ними, что всегда подшучивали как большие с детьми. В их суждениях о Франции было много смысла, например: «Где тут между этим народом быть толку, — говорили они, — когда и мужик у них мусью, и царский брат мусью». Мне пересказывали вечный спор двух унтер-офицеров, который подслушали. Один стоял за Людовика XVIII, другой за Наполеона. «Ну что твой Дизвитов (так называли они короля), хорош гусь! Ну на что он похож?» говорил один. «Ведь наш Государь посадил его на престол, да и велел французам его слушаться, а без того они бы на него и глядеть не захотели. То ли дело Бонапарт? Вот уж был молодец: целый свет заставлял плясать по своей дудочке». А другой отвечал: «Али тебе жаль, что он мало жег, резал и грабил нашу матушку-Россею? Разве ты забыл, что по милости батюшки Дизвитова мы славно живем? Он нас поит и кормит. Тот был

больно прыток, везде рыскал; а мой-то себе на уме, сидел у моря, да ждал погоды; вот и дождался, теперь царствует и благоденствует. А где твой Бонапарт скажи-ка? На море на окияне, на острове на Буяне, как бык печеной ест чеснок толченой». Городам ими занимаемым и соседним солдаты дали русские имена: Като-Камбрезис, или просто Като, назвали Коты, Авен — Овином и Валансьен — Волосенем. Начальники, говоря с ними, привыкли к сим названиям и, наконец, стали их употреблять и между собою.

Через несколько дней Мобёж начал пустеть: войска потянулись на маневры к Валансьену и далее. Мы с сестрой, оставшись одни, от нечего делать собрались прокатиться к армии, тем более что погода стояла прекрасная. Сперва обедали в маленьком городе Ваве, потом ночевали и на другой день обедали в Валансьене. Оттуда, сделав четыре льё или 16 верст, приехали в местечко, или бургаду, Солем, где назначена была временная квартира генерала Алексеева. Дом ему отведенный был порядочный, только тесный. Меня же, как будто чиновника принадлежащего

к корпусу, поместили постоем к одному, не знаю как сказать, мещанину или поселянину, только не хлебопашцу. Фландрия была исконно землею промышленною, отчизною батиستا и кружевов, и оттого почти все жители её были люди зажиточные, в том числе и мой хозяин. Комната, в которой жил я у него, была просторна и опрятна, на постели белье было не самое тонкое, но чистое; одного только не доставало — деревянного пола: его заменяла, как в Малороссии, битая земля. Пробыв тут суток полторы, воротились мы в притихший Мобёж.

Скоро он опять наполнился и сделался шумным. Маневры кончились, и 13-го октября, чем свет, прибыл Государь с королем Прусским, с тем чтобы пробывать в нём целый день. У Воронцова для их величеств приготавливался обед и великолепный вечер, на который я, как все другие, не мог быть приглашен, ибо по случаю беспрестанных его разъездов не успел быть ему представлен.

Мобёж до революции принадлежал капитулу каких-то канонисс. Они имели в нём с не весьма большим садом довольно большой

дом в два этажа, который занимал тогда Воронцов. Он не был довольно просторен, чтобы в нём можно было сделать бал для великого числа наехавших гостей, свиты обоих государей, принцев, штаба главной и всех корпусных квартир и, наконец, целой кучи любопытных леди, присутствовавших на маневрах. Для того придумали в саду приделать к нижнему этажу две большие палатки, внутри богато убранные, так чтобы в них был выход прямо из комнат. У нас в октябре танцевать в палатках было бы несколько опасно, а тут стояла такая погода, что самих жителей приводило в удивление. Видно иногда становилось слишком жарко, ибо по временам опускались пóлы, и тогда я, в небольшой толпе разгуливая по саду, мог смотреть и как бы участвовать в увеселении. Более всего хотелось мне видеть господина Веллингтона, с его длинным носом. На этом бале торжествующий Воронцов показал себя однако же мелочным человеком. Приписывая сестре моей, коей ум был всеми признаваем, тот искусный отпор, который добродушный муж её дал ему, он втайне на нее сердился. Прежде, бывало,

когда он затеет пир и должен принимать какую-нибудь важную особу, посылает в ней адъютанта с убедительным письмом приехать к нему в Мобёж и быть хозяйкой у него, холостого генерала. Тут представил он Государю всех генеральских жен, а ее, жену старшего из них, как будто позабыл. Но Веллингтон, который не раз бывал в Ротеле, и король Прусский, который во время разъездов своих пробыл в нём двое суток и оба дня обедал у сестры моей, нашли ее и прошли с нею польский. Тогда и Государь пожелал узнать, кто эта неизвестная дама, подошел к ней с самыми любезными речами и также повел ее ходить польский. Следственно, маленькое мщение Воронцова было совсем неудачно.

Следующим утром, отъезжая, Государь явил несколько милостей, начиная с корпусного начальника. Из генералов одному только Алексееву хотел он дать Александровскую ленту; но Воронцов тому воспротивился, представляя, что, как неимущему человеку, денежное пособие будет ему приятнее; и Государь к прежней аренде прибавил ему другую, в две тысячи рублей серебром. Алексеев было

подосадовал, но благоразумная жена была тому чрезвычайно рада. После продолжительной масленицы, для неё с мужем наступал великий пост, и надобно было позаботиться о том, чтобы сделать его менее строгим. Вскоре потом и Французский король при слал ему награду, одинаковую с Воронцовым, военный орден Св. Людовика первой степени. Из всех генералов союзной армии жители мест, ею занимаемых, ему одному только оказали необыкновенную честь, выбили медаль с изображением его имени и изъявлением их благодарности, и на прощании одну золотую, несколько серебряных и бронзовых поднесли ему. Брату моему тоже пожалован был Анненский бриллиантовый крест на шею, да от короля Французского небольшой перстень, солитер тысячи в три франков.

Говоря о чужих наградах, не надобно мне забывать и о собственной, почти в тоже время мною полученной. Пока я был еще в Париже, Бетанкур уведомил меня, что по его представлению произведен я в коллежские советники, со старшинством с 31-го декабря 1813 года. Этот чин следовал мне за выслугу лет,

следственно милость была не велика; но старшинство мне данное обращало временное служение мое в Пензе и потом полугодовую отставку в настоящую службу. Если в продолжении этого времени не получал я награды, то моя вина: я всегда отказывался от крестиков, которые предлагал мне Бетанкур. Дабы чем-нибудь усладить вечность титулярных советников, начали им давать Владимирские кресты и даже Аннинские на шею. Потом, во время продолжительной войны, при движении огромных армий, необходимо было сыпать их на офицеров. Наконец, для Аннинского ордена учредили новую степень в петлицу. Для щегольства, для того, чтобы наши кресты и медали вместе с иностранными на груди военных людей могли составлять как бы пестрые букеты, чрезвычайно уменьшили величину их... С тех пор в глазах крестолюбивой России потеряли они более половины своей прежней цены.

Дни через два после отъезда Государя, в Мобёже всё утихло, пришло в обыкновенное состояние. Надобно же было, наконец, представиться мне графу Воронцову. Я нашел его

за завтраком, за который посадил он меня и так много явил ласки, что показался мне отменно мил. На другой день он опять уехал и при мне уже не возвращался. Во дни доброго согласия его с Алексеевым, сестра моя шутя твердила, что пора бы ему жениться и с большими похвалами говорила ему о меньшей Браницкой, которую знала с ребячества и года за три перед тем видела у матери её в Белой Церкви. На это отвечал он только смехом. В это самое время старая графиня Браницкая приехала в Париж, а он под предлогом окончания каких-то дел туда отправился. Там увидел он, если не молоденькую, то весьма молодую суженую свою. Она не могла ему не понравиться; она нельзя сказать, чтобы была хороша собою, но такой приятной улыбки кроме её ни у кого не было, а глазки её были еще лучше прекрасных глаз богатого ларца её, как говорит Скупой в Мольере. К тому же польское кокетство пробивалось в ней сквозь большую скромность, к которой с малолетства приучила ее русская мать, что делало ее еще привлекательнее. Мигом поворотил он этим делом, и скоро узнали, что он женится.

Воротившись в Мобёж, он совершенно пере-менился к сестре моей, повторяя, что в ней видит пророчицу своего счастья. Но этот брак был, кажется, причиною, что он тогда не воротился в отечество, а начальствование над корпусом сдал Алексееву, который и привел его в Россию.

Одного только прежнего знакомого, кяхтинского и петербургского, нашел я в Мобёже. Сын министра финансов (тогда еще не графа) Гурьева, с Нижегородским ополчением был в одном только сражении, за что из действительных статских советников переименовав в генерал-майоры, потом женился на дочери начальника своего, графа Петра Александровича Толстого, во Франции командовал пехотною бригадой и стоял на квартирах в Ландреси. Преследуемый воспоминанием о единственном военном подвиге своем, этот тяжеловес всех им преследовал: не было у него других разговоров, как о позиции, которую занимал он под Дрезденом между картофелем и репою. В кратковременное мое тут пребывание мы несколько раз обедали у него с Алексеевым; славный стол и приятности

для меня общества жены его давали мне терпеливо переносить скуку, которую всегда разливал он вокруг себя. Говоря об Авдотье Петровне, хотелось бы мне перевести французское слово *câlinerie*, и для того выдумываю русское слово ластительность: её было в ней много, хотя по временам очи её и тогда на минуту загорались сильным гневом. Она мне чрезвычайно нравилась. Посмотрите на котенка, когда он катает шарик или играет с пробкой, как он забавен! Как все движения его милы, хотя с мурлыканием он и выпускает маленькие когти свои! Посмотрите на него через несколько месяцев, и вы его узнаете в мрачной, сердитой кошке. Вот история Авдотьи Петровны Гурьевой.

Если б я знал, что Алексеев будет начальником корпуса и поведет его чрез всю Германию, может быть, пожелал бы я идти покойно с войском; но я не знал еще этого и очень торопился. Так как я часто прихварывал, меня свели и поладили с одним доктором, Лукой Егоровичем Пикулиным, к которому благоволил Воронцов и которому велел он дать курьерский пашпорт в Россию, следственно и

деньги на проезд. Он был человек добрый, веселый, говорили, искусный врач, в случае нужды дорого мог мне быть полезен и согласился за тысячу рублей ассигнациями довезти меня до Петербурга. Таким образом не только даром, но и с барышом мог он туда доехать.

В день Казанские Богоматери, 22 октября, после завтрака, не совсем раннего, сели мы с ним в коляску его с поднятым верхом и благословясь пустились в путь. Скоро проехали мы Нидерландскую, ныне Бельгийскую, границу и приехали в Монс или Берген, большой город, который после Мобёжа показался мне еще больше. Мы остановились на какой-то большой площади, наполненной народом; но я не выходил из повозки: сделалось холодно, пошел мелкий дождь, и лошадей нам очень проворно перекладывали.

Как следует курьерам, поехали мы всю ночь. Мне хотелось было взглянуть на Нивель, на Сомбрёф, места, где было сильное движение войск, и коих касалось самое недавнее знаменитое Ватерлооское сражение; но смеркло, и при пасмурном небе яги

было не видать. Довольно поздно проехали мы чрез неуснувший еще и весьма оживленный Намюр; ничего видеть и заметить в нём не мог я, кроме весьма хорошего освещения фонарями, повешенными посреди улиц. Наконец начал я дремать, но скоро пробудился и опять заснуть уже не мог. Небо выяснилось, заря занялась, и мы ехали берегами Мааса, действительно очаровательными. Особенно поразило меня то место, где близ города Гюи находится замок, принадлежавший принцу Нассау-Зиген. Берегами всё той же реки, при погоде совершенно разгулявшейся, в веселом расположении духа, приехал я в Литтих, прежде столицу богатого князе-епископства. Нам, торопящимся домой, что было делать в этом большом городе, если, не пользуясь временем, хорошо в нём отобедать и тот же час ехать далее?

Только что совсем смерклось, приехали мы в Аахен, шумный по случаю конгресса, и остановились в гостинице, кажется, Золотого Дракона. У Пикулина были какие-то дела, какие-то поручения, и он объявил мне, что намерен тут немного пробыть. Наша комната

выходила окнами на такую узкую улицу, что у нас и в Риге подобной не найдешь. Насупротив был большой дом, который внутри весь как жар горел. Союзные монархи еще не уехали, и живущая в нём княгиня Турн-Таксийская, сестра покойной королевы Прусской, давала им прощальный праздник. Вечер был так тепел, что в комнатах, видно, стало жарко, ибо все окошки были открыты. Но они были выше наших (которые мы также отворили), и хотя в двух шагах мы никого не могли разглядеть, за то слышали, как у себя, знаменитую Каталани, которая раза три принималась петь. Нельзя было не подивиться силе, гибкости и чистоте её голоса; но приятности я в нём не нашел (может быть, от удаления, подумал я).

Хорошенько выспавшись, пока Пикулин ходил по своим хлопотам, на другое утро пошел я посмотреть по многим отношениям достопримечательный город. Начал я, разумеется, с древнего собора, в восьмом веке построенного, и поклонился огромной плите, всю середину храма занимающей, на которой большими буквами простая надпись: *Carolo*

Магно. Под этою плитой сидел в венце Карл Великий, восстановитель Западной Империи; не знаю, лежит ли он даже под нею теперь; по крайней мере, стул его стоит на поверхности близ престола. Потом, любовавшись большим фонтаном с древними украшениями, вошел я в ратушу, перед которою он стоит, и меня пустили в залу посмотреть на хорошо писанную картину, на которой изображены все полномочные, подписавшие Аахенский мир в 1743 году. Попытался было я взглянуть на целительные воды, в эту пору уже закрытые, и с просьбой о том обращался к старой мадам Дубик, содержательнице заведения при них, к которой был я адресован; но она мне ничего не показала, хотя кроме минеральных источников я ничего видеть не хотел. Навестил я также единственного дипломата, мне тут знакомого, Северина; он был, казался, или хотел казаться печальным, лишившись незадолго перед тем молодой жены, сестры известного Стурдзы. Дела Пикулина кончились скорее чем я ожидал, и после обеда тотчас опять должны мы были отправиться в путь.

Впотьмах проехали мы Юлих, а когда стало светать, то в Дюссельдорфе по мосту переехали через Рейн и тут совсем некрасивый. Эти два города я всё равно что не видал, ибо посмотрел на них сквозь сон, не ступая в них ногою. К обеду, говоря древним немецким языком, то есть часу в первом, приехали мы в Эльберфельд. Вот этот город жаль было бы проехать, не взглянув на него. Тут самая промышленная сторона в Германии: окрестности его и он сам застроены фабриками полотняными, шелковыми. Оттого-то во всём виден чрезвычайный избыток; встречаются одни только сытые фигуры. На почтовый двор приехали мы в самую пору, чтобы сесть за общий стол. Проезжая городом, не видал я ни одной церкви, а на площади заметил отделанное большое, продолговатое, четвероугольное здание, обнесенное колоннами, как Петербургская биржа. Какой большой отстраивается у вас театр, сказал я сидящему против меня за столом содержателю почты и трактира. «Это не театр», отвечал он мне. «Да что же такое?» Тогда рукой сделал он мне знак, на который отвечал я, и мы друг друга поняли.

«Это наша главная масонская ложа», радостно молвил он мне тогда. Оборотясь к Пикулину, «ведь этот трактирщик мне брат, — сказал я по-русски; — вы увидите, что он с нас ничего не возьмет». А вышло, что злодей от нас потребовал двойную братскую помощь.

Ну, подумал я, в хорошем состоянии находится здесь религия! Впрочем, оно так и должно быть в стране совершенно промышленной: в ней всё одно положительное, рассчитанное. Свежие, почти дикие народы сильнее прилепляются к вере; они не рассуждают, а чувствуют и сердцем угадывают. Можно ли математически доказать причину всего восторженного, глубокого религиозного чувства, безумия любовной страсти и поэтических вдохновений?

Небо было еще светло, воздух был еще довольно тепел 25 октября, когда, отобедав, оставили мы Эльберфельд; но это было в последний раз. Небольшие приятности, которые дотоле представляла мне дорога, прекратились, и начались одни только её мучения.

Еще в Аахене с Пикулиным составили мы себе маршрут; обоим хотелось скорее доехать.

Я взял карандаш и на карманной почтовой карте провел кратчайшую линию до Берлина; придерживаясь её, ехали мы сперва по большому тракту, только после начали путаться. Пикулин был очень добрый малый; воспитанный в медицинской школе, он выпущен был из неё лекарем в армейский полк; потом, всё таскаясь по походам, заслугами и искусством возвысился до звания дивизионного доктора и остался, как говорится, совсем военная кость. Учености по своей части было у него много, просвещения довольно, образования никакого. С самого начала предложил он мне ночью поочередно дежурить, на станциях выходить из коляски, чтобы осматривать ее. Я решительно отказался; никогда не имел собственных экипажей, ничего не смыслил я насчет их прочности и устройства; особенно ночью, легко мог проглядеть сломленный винт или согнувшуюся рессору, следственно труд мой был бы напрасен. Это не совсем ему было приятно. Первый раз в жизни решился я ехать совсем без слуги, что уже меня чрезвычайно тяготило, а тут должен бы был еще взять на себя часть его обязанностей. Я согла-

сился превратиться в чемодан, как он не имеет воли, но с тем, чтобы, как он, лежать неподвижно. Пикулин не мог надивиться тому, что называл он моею изнеженностью; он был человек походный, а я только что дорожный и с сожалением должен признаться, что целый век оставался русским барчонком. В одном согласился я помогать ему, и то только днем: расплачиваться, вести счет издержкам и записывать его.

В ночи с 25 на 26 число въехали мы в ужасную Вестфалию, отчизну окороков, где скоро и люди показались мне свиньями. В эту ночь осенний дождь пошел ливмья и в воздухе вдруг произвел стужу. То по чём мы ехали, хотя и называлось большою дорогой, но, право, сделалось хуже наших проселочных; разве теперь только там шоссе. А что за неопрятность, не говорю в обывательских домах, в кои не входил я, а в почтовых, на станциях и в гостиницах! Вообще в Германии возят тихо, не более положенной мили в час; тут, ссылаясь на дурную погоду, вдвое тише, несмотря на наш русский курьерский пашпорт. На станциях держали не менее получаса, не от-

того, чтобы не было лошадей, а оттого что почтовыми узаконениями это дозволено. Напрасно горячился Пикулин, грозя принести жалобу; ему отвечали грубым хладнокровием. Таким образом в целые сутки могли мы сделать только двадцать миль, или 140 верст. наших любезных земляков, бредящих заграничною жизнью, послал бы я сюда пожить и поездить. Я мог мало заснуть и хорошо помню имена городков или местечек, где мы меняли лошадей: Швельм, Унна, Верль, Сёст; эти названия не весьма приятные, но в них нет ничего страшного, а я до сих пор без ужаса не могу произнести их. В полдень прибыли мы в большой город Падерборн, основанную Карлом Великим столицу его в земле покоренных им отчаянных сподвижников Витикинда. В этом городе был и банкир, ибо Пикулин пошел к нему за деньгами; были и вывешенные во множестве колбасы и сосиски. Из этого заключил я, что первые немцы, прибывшие в Россию, вероятно были вестфальцы, и что оттого называют их у нас колбасниками и копчеными шмерцами.

Отъехав не более одной станции от Падер-

борна, должны мы были остановиться у въезда небольшого города Дрибурга. Окрестности его в глухую осень ужасны: высокие горы, дёбри и пропасти; летом, когда съезжаются на его целительные воды, должны они быть живописны. Коляска Пикулина была не из лучших, ветхая, поезженная, не выдержала такой дороги, что-то в ней изломалось, и надобно было чиниться. В первом доме, куда нас пустили, спросил я особую комнату; мне дали большую, холодную, просто выбеленную, но неопрятную постель; простой стол и два стула составляли её мебелировку; небольшая печь только что дымилась, а не грела. Я лежал закутанный в теплую шинель, словно как на дворе, и в этом положении должен был оставаться ночь и следующее утро. Внезапная совершенная перемена погоды везде случается в октябре, даже в южных странах, где я после бывал. Поздняя осень похожа на глубокую старость; её красные дни то же, что крепость и здоровье осмидесятилетнего: неожиданно подует аквилон, или без всякой видимой причины нагрянет смерть, и вмиг всё истребится.

Выбравшись 27-го из Дрибурга, потащились мы на Вракель, Гёкстер, Голцминден. Названия сих мест я очень помню; они были у меня на карте, я их твердил и слышал, как произносят, когда меняли лошадей. К вечеру мне сделалось дурно; я просил моего спутника оставить меня в покое, не говорить даже со мною. Ночью спал ли я не знаю, а, кажется, более был в забытьи и не слышал, как переехали через Везер, единственную, истинно-немецкую реку. Когда рассветало, и я очнулся, увидел я, что мы въезжаем в узкую улицу между высоких домов.

— Где мы? — спросил я.

— В Вольфенбюттеле, — отвечали мне: — во втором городе Брауншвейгского герцогства.

— Да как мы в него попали? — сказал я: — нам следовало быть в Госларе, — это крюк.

— А всё по милости вашей мы так путаемся, — отвечал Пикулин: — хотели дать прямое направление путешествию нашему, а тут вдруг ничего знать не хотите. Лучше бы я сделал, если бы с самого начала поворотил на Кёльн и на Кассель; там где нет шоссе, есть по

крайней мере мостовая.

Он был прав, но неделикатно ему было мне о том говорить. Отъехав немного далее, днем заметил он, что у меня довольно сильный жар, и обещал остановиться в первом хорошем городе. Это был Гальберштадт, до которого, однако ж, оставалось еще семь миль.

Мы приехали в него, только что смерклось. Я объявил, что, не жалея денег, хочу остановиться в лучшей гостинице; мне указали на *Розу*; по слабости моей в этом названии увидел я хорошее предзнаменование, и ожидания мои оправдались. Меня ввели в комнату, красивыми обоями оклеенную, хорошо вытопленную, вмещающую в себе роскошную постель и всё, что ныне называется комфортом, и в серебряных подсвечниках подали восковые свечи. Доктор-товарищ дал мне что-то успокоительное, я укрепил себя пищею, и с седьмого часа вечера принялся спать. Вдруг будит меня немилосердый Пикулин, уверяя будто полсутки провел я обнявшись с Морфеем, а мне казалось, что полчаса прошло только, как я заснул. Делать было нечего; я чувствовал себя свежее и тверже, встал, оделся и

поехал. На ясном небе звезды так и горели, хотя на окраинах его уже вытянулась багровая, малиновая полоса, предвестница бурного дня. Действительно скоро ветер разыгрался и стал свистеть с такою яростью, что того и гляди, что он опрокинет вашу коляску. Странная была погода: ясно, холодно, но без мороза, а то что мы называем сиверко. К полудню опять утихло и потемнело. Укрепленный Магдебург, который вечером проезжали мы, не останавливаясь в нём, в темноте показался мне гигантским городом.

На следующий день, по выезде из Гальберштадта, 30 октября, прибыли мы утром в Берлин, в известный уже мне мир. Названия гостиницы на Липовой аллее, где мы остановились, не помню; комнатой же своею я был так доволен, что первый день не хотел с нею расстаться, тем более что чувствовал себя не совсем еще хорошо. Прогуливаясь, на другой день, по местам мне знакомым, почувствовал я ту скуку и тоску, которую, как уверяют, Берлинский воздух производит во всех приезжих, и от влияния которого я летом избежал. У Пикулина были знакомые медики, ему нуж-

но было с ними видетсья, и он располагал пробыть еще два дня, по 2-е ноября. Чтобы не ходить со двора и не скучать одному дома, в книжной лавке купил я французские романы, и в чтении их провел всё время.

Мы отправились по той же дороге, по которой в мае ехал я с Блудовым; только на этот раз дело шло немного скорее: земля подмерзла, ее накатали, дорога стала глаже, и мы более торопились. Повторять названия мест, чрез кои проезжал я на сем обратном пути, означая только день проезда моего, считаю излишним. Ничего примечательного со мною тут не случилось. Одно только заслуживает здесь быть помещенным. В городе Нови, или Нейенбурге на Висле, за столом подавал нам кушанье молодой, почтительный услужливый поляк. На станциях слышал я везде один немецкий язык; тут обрадовался польскому, который немного знал с ребячества, почти как русскому, и с слугой пустился в разговоры. Сродство языков всегда располагало меня быть снисходительным к полякам, несмотря на тысячу причин, кои имею ненавидеть их.

После обеда дал я слуге талер, а он поцело-

вал у меня руку. Пикулин взбесился. «Кто в Европе у господина станет целовать руку? — воскликнул он. — Одни только поляки и русские умеют быть так подлы!» — «И так добры, — сказал я, — что не гнушаются продолжительно, просто и ласково говорить с низшими. На Западе, — продолжал я, — младшие всегда готовы к восстанию на старших и удерживаемы только их убийственно-холодным обхождением; все состояния находятся там в неприязненном между собою расположении и когда-нибудь дойдут до сильной борьбы. У вас в Европе по возможности воздерживаются от всяких знаков наружного почтения; последователи новых христианских вер и сект, в ней изобретенных, перед Божеством даже не сгибают колен; во храме иные сидят в шляпах. Под именем сохранения человеческого достоинства всем сословиям внушили там гордыню, а от неё не одни люди, но и ангелы пали. Оставьте же нам пока наше смирение; с ним не погибли мы, а напротив недавно спаслись, да еще спасли и других». Так говорил я; откуда у меня что бралось и когда вспомню теперь, то как будто предрекал настоящее.

Мой добрый Пикулин, совершенно русский человек, в Воронцовском корпусе был весь вытерт либерализмом, европеизмом, никогда не слыхал ему возражений и оттого не имел случая никогда рассуждать о том. Он не нашел чем бы мне отвечать и старался обратить всё это в шутку.

Как бы ни было, а Кёнигсберг всё-таки столица, да по милости Наполеона несколько времени был еще и королевскою резиденцией: проехать его, не отобедав в нём и не переночевав, было бы неприлично. Эту дань уважения заплатили мы ему 6-го ноября. В том самом трактире и в той же комнате, которую занимал я в первый мой проезд, остановился я; в ней дочитал я роман, купленный и начатый в Берлине, и более ничего в Кёнигсберге не делал.

Из любопытства хотелось мне видеть Штранд; до света, 7-го числа, отправились мы на него, а еще не по нём. От станции Мюльзен, единственной, которую на этом пути я видел, идет верст на сто песчаная коса, называемая Нерунг. Когда показался свет или скорее осветилась густая мгла, покрывающая

небо, открылось нам шумящее Балтийское море. Слева оно бушевало, а справа песчаная, голая равнина подымалась едва заметным откосом и образовывала цепь низких холмов, на вершине которых кой-где торчали сосны. Никогда столь печального зрелища я не видал. Плохие, тощие лошади могли везти только по мокрому песку, и для того ямщик держался всё самого берега. Море, которое отражало мрак облаков, можно было назвать черным; из него высоко подымались белеющиеся волны и всей этой картине давали вид совершенно траурный и гробовой. Они беспрестанно досягали до коней и до колесницы и разбивались о колеса; иногда обхватывали всю коляску, как бы готовые увлечь ее с собою, и брызги их попадали нам в лицо. К счастью, не было мороза, а не то наш экипаж покрылся бы ледяною корой и отяжелел. В иные минуты шум бывал так велик, что мы друг друга слышать не могли. Станционные дома стоят не у берега, не на дороге, а в версте или более от неё на возвышении; ямщик останавливается, отпрягает одну лошадь, садится на нее, оставляет вам других, едет на станцию и

приводит вам новых лошадей. В названиях (кои не забыл) станций сих (кои не видал): Саркау, Росситен, Шварцорт, и поныне чудятся мне могильные звуки. Целый день не есть, не видеть жилья, ничего кроме мрачного неба, бурного моря и песчаной степи, совсем не было забавно. Я не худо сделал, что описал эту дорогу; теперь она, говорят, совершенно брошена, вероятно, скоро будет забыта и никому неизвестна.

На конце её, проехав по морю аки посуху, мы должны были совсем вверить себя этой неверной стихии. На каком-то большом судне, при сильном ветре и дожде, надобно было целые три мили переправляться через Куриш-Гаф, чтобы пристать к Мемелю. Пикулин готов был ехать далее; но и сам он утомился, да и ночью через границу, которая была в трех милях, нас бы, может быть, не пропустили. В Мемеле повторилось со мною то, что было в Кёнигсберге; я опять нашел знакомую комнату, чистую, хорошо вытопленную: надобно ехать на Север, чтобы зимой не зябнуть в комнатах, и чем далее тем лучше.

В Михайлов день, 8-го числа, проехав Ним-

мерзат, увидели мы рогатку и казачий пикет; один всадник отделился от него, чтобы проводить нас до Полангена, и в тоже время как бы нарочно пошел первый снег. Мы переехали русскую границу, мы вступали в русские владения. Давно ли я расстался с отечеством? Но это было в первый раз, и в первый раз я возвращался в него. Не буду даже пытаться изображать то, что происходило со мною в эту блаженную минуту; за все трудности путешествия ею одною был я вознагражден; язык безмолвствовал, а рука без ведома моего, сама собою, по русско-православной привычке, клала на меня кресты. Придя немного в себя, обратился я к моему товарищу, который пять лет не видал России, и спросил его: что он чувствует? Несчастный, стараясь скрывать сильное ощущение, сперва не мог вымолвить слова, потом смеясь, но задыхаясь, отвечал: «да ничего». Я с досадой отворотился: если бы он подолее пожил за границей, то и действительно ничего бы не чувствовал.

На другой день гнилая Пикулинская коляска опять нам изменила, опять надобно было починиваться и останавливаться на Курлянд-

ской станции Дрогдене. К вечеру кое-как починили испорченное, и мы не без опасения отправились далее. Ночью проехали мы Митаву, а 10-го числа по утру прибыли в Ригу.

Мы остановились в каком-то заезжем доме на берегу Двины, где пришлось нам пробыть суток двое и более. По осмотре экипажа г. Пикулина, открылось, что без большой реставрации мы принуждены будем бросить его на дороге. Погода была дурная, попеременно дождь и снег, страшная слякоть, так что выйти нельзя было. Мне было скучно, но по крайней мере тепло и покойно. На наше счастье опять подморозило, когда мы выехали, и мы хорошо проехали по пескам, которые окружают Ригу; местами на дороге лежал уже снег. Не знаю отчего Пикулину захотелось остановиться в Дерпте и переночевать на почтовом дворе; хотя медик, но, кажется, и он немного прихворнул. Он поднял меня до свету, 14-го ноября, а как погода была весьма неблагоприятная, то мне и не очень хотелось. Я вспомнил, что я именинник, и что в этот день никогда не бывал я в дороге.

Подъезжая к Нарве 15-го числа, случилось

с нами небольшое приключение, хотя неприятное, а впрочем забавное. Чухонец-ямщик, который нас вез, молодой еще мальчик, однако же был пьян: держал невпопад, то направо, то налево, и мог сломить нам шею. Пикулин прикрикнул на него; он взбесился, бросил вожжи, соскочил с козел и пошел пешком. Тут имел я случай подивиться присутствию духа и проворству военного медика: отдав мне вожжи и схватив какие-то запасные веревки, он выскочил, поймал пьяного, перевязал ему руки, посадил насильно со мною в коляску, а сам сел на козлы и поехал. Чухонцы, когда рассердятся, бывают ужасно злы: мальчишка в бессилии своем всё смеялся с бешенством. Так приехали мы в Нарву и на почте сдали виновного, которому обещано было наказание.

Близ Ропши, ночью, спускаясь с пригорка, вспомнил я, как весной на нём бились мы в глубоком снегу, и готов уже был радоваться тому, что он едва покрывает землю, как ямщик наш вскрикнул:

— Господа, худо!

— Что такое? — спросили мы в один голос.

— Да вон видите, стоят волки.

Они верно были не близко, ибо, по близости моей, впотьмах не мог я разглядеть их; но лошади были столь же зорки как ямщик и спутник мой, начали фыркать и без памяти понесли было нас: потеряв из виду врагов своих, они скоро утикли. Это была последняя моя дорожная неприятность. В Стрельне, куда приехали мы до рассвета. 16-го числа, узнали мы, что в Петербурге река стала, и что все начали было ездить в санях, но что опять всё распустило, и лед на Неве едва держится. Пока мы ехали дачами по Петергофской дороге, совершенно рассвело, и в 10 часов утра въехали мы в заставу.

Х

Граф М. А. Милорадович. — *Поездка Бетанкура в Нижний.*

Уже более недели находился я в русском царстве; радость моя уже истощилась на границе; при въезде в него и после кратковременного отсутствия, увидел я Петербург довольно равнодушно, как будто воротился в него из Пензы. Он показался мне печален и тих в сравнении с Парижем.

Спутник мой, он же и хозяин дорожный, Пикулин, остановился у приятеля в Измайловских казармах. Мы расстались без сожаления: ничего общего не было у нас ни в мнениях, ни во вкусах, и мне кажется, мы ужасно друг другу надоели; после того не помню, случилось ли мне раза два в жизни его видеть.

Я сел на извозчика и скорее поскакал к Семеновскому мосту в Шмидтов дом, где нашли мне комнатку, пока Ноден очистит в нём уступленную мною ему квартиру. Тотчас потом, о блаженство, явился мой старый слуга Пантелей. Я не хвалю в этом случае старин-

ное русское воспитание, которое приучает шагу не делать без прислуги; но я получил его, и возвратиться к привычке, сделанной с малолетства, почти месяц прерванной во время трудной дороги, было для меня настоящим наслаждением. Вообще, более полугода пошатавшись по свету, приятно быть у себя. В людях хорошо, а дома лучше, говорит пословица, я думаю западным народам неизвестная.

Моим начальником был я принят, могу сказать, с радостью: он простер деликатность до того, что сам предложил мне несколько дней отдохнуть и погулять. Во время отсутствия моего по нашей части произошла важная перемена. Престарелому графу Сергею Кузьмичу Вязмитинову было не под силу в одно время управлять Министерством Полиции и заведовать столицей. Согласно с его желанием, сохраняя министерство, уволен он от должности Петербургского военного генерал-губернатора, и на его место назначен граф Михаил Андреевич Милорадович. Будучи старее чином Бетанкура, почитал он и имел право почитать себя его начальником: это можно было заметить из письменных от-

ношений. Но как Милорадович в делах ничего не смыслил, то повелительный тон принял новый правитель канцелярии его, Николай Иванович Хмельницкий. Добрый Ноден без меня всепокорнейше принимал эти приказания, и мне после немалого труда стоило сколько-нибудь уравновесить сношения наши с этою канцелярией. С своей стороны Бетанкур неохотно бы вошел в состязание с таким известным смельчаком, каков был Милорадович; я однако же объяснил ему, что если так пойдет, по неопределенности прав наших, то легко можем мы попасть в разряд уездных мест, что гораздо после и случилось. Вследствие чего Бетанкур имел объяснение с Милорадовичем, один на своем испано-французском, а другой на чухоно-французском языке, которым забавлял он двор и публику; а как первый был человек умный и тонкий, то дело и поладилось. Оба правителя канцелярии, Адамович и Перевозчиков, при назначении нового военного губернатора, были удалены от должности, яко бездельники. Мне было их жаль: они конечно пользовались незаконной прибылью, но довольно умерен-

но и были люди незлые и весьма обходительные. Определенный на их место Хмельницкой выбран был на славу, взят из Иностранной Коллегии, был богат, литератор, автор нескольких комедий и должен был очистить, облагородить звание начальника канцелярии. А он вышел величайший грабитель, дерзкий, надменный, так что и честному бы человеку было не под стать. Через несколько времени сам Государь приказал Милорадовичу его прогнать и отставить от службы, с тем, чтобы никуда не определять. По приезде более всего заняли меня мои служебные дела, и оттого с них и начал я мой рассказ.

Большая тишина эту зиму царствовала в Петербурге, только не в высшем кругу. Государь и обе Императрицы находились в отлучении за границей. Без них молодая чета, Николай Павлович с супругой, на свободе, на просторе, предавались забавам, особенно же молоденькая великая княгиня, которая, по тогдашним летам своим и по примеру матери, покойной королевы Прусской, без памяти любила танцы. Посещение бала Государем или кем-либо из членов его фамилии почиталось

редким, важным происшествием. Тут знатные и богатые обрадовались случаю, взапуски стали давать праздники и счастливыми себя почитали, что могут на них угощать у себя почти еще новобрачных. Оно недолго продолжалось. К 1-му января 1819 года возвратился Государь; через несколько дней после него императрица Мария Федоровна; а 9-го числа старого стиля скончалась почти скоропостижно Екатерина Павловна, королева Виртембергская. Многие были уверены, что после второго её брака семейство её охолодело к ней. Тогда глубокая горесть, которую произвела её кончина, дала всем узнать, что нежные чувства к ней родных никогда не теряли своей силы. После этого, разумеется, всякие увеселения при дворе должны были умолкнуть до весны.

В половине января генерал Алексеев привел в Слоним корпус, находившийся три года во Франции, который весь был набран из полков, принадлежащих к дивизиям, внутри государства расположенным. По получении донесения о прибытии его, велено Алексееву распустил корпус, распорядиться отправле-

нием полков к местам квартирования их дивизий, а дела представить в главный штаб Его Величества. Самому же ему, впредь до нового назначения, с сохранением всех окладов, дозволено приехать в Петербург или жить где пожелает. Примечательно, что, в продолжении трех лет, в этом корпусе было только три дезертира, а на обратном пути ни одного, хотя нижним чинам представлялось много средств к побегам. Несчастные знали, что дома будет им плохое житье; но там их родина, и она была для них выше всего. Не так-то думают наши высшие сословия.

Брат мой также получил отпуск на год с сохранением жалованья, и они вместе с зятем и сестрой отправились сперва в Москву, где Алексеев и остался, а брат мой поспешил к матери нашей в Пензу. В это самое время, два сына сестры моей, Александр и Николай, взрослые пажи, были выпущены офицерами в армию. Оба они, особенно в первой молодости, были очень красивы собою; к сожалению не наследовали они ума матери своей. Старший был в отца: всегда весел, жив, более его образован, еще более его ко всем ласков, за

что все без изъятия любили его, особенно же нежный под. Меньшой был угрюм, совсем несообщителен, отчего казался рассудительнее брата, чего однако же вовсе не было. Он имел два порока — чрезмерное самолюбие и себялюбие, которых смешивать не должно; первое всегда было заметно, а последнее ужасно развилось и открылось после. По несчастью бедные мальчики получили самое плохое воспитание; имея только двух сыновей, родители их баловали; в отрочестве таскались они по походам или жили по родным; по царской милости в 1812 году приняты в Пажеский Корпус, который смело можно назвать школою разврата. В прежние времена, если учение шло дурно и воспитанников мало занимали военной наукой, то по крайней мере получали они светские навыки и хорошие манеры; а в это время, также как из кадетов, хотели из них сделать солдатиков, но без строгой дисциплины, которой те были подвергнуты. С сокрушенным сердцем смотрел я, как ребята растут без всякого надзора; из уважения к заслугам отца, со старшего не слишком взыскивали за его ветренность, с мень-

шего за его упрямство и неповиновение. На счет их мне не сделано было никакого доверия; я не имел никакого права мешаться в это дело; к тому же в тогдашние лета мои мне не совсем еще прилично было играть роль Ариста и Геронта. Иногда однако же нехотя принимался я браниться с ними; меньшей сердито слушал меня, а старшим милым шалуном, бывал я скоро обезоружен. Не попав в камер-пажи, вышли они прапорщиками: Александр в какую-то артиллерийскую роту близ Тулы, Николай в гренадерской полк императора Австрийского, находившийся в Царском Селе. Обоим тотчас даны были отпуска для свидания с отцом, только что возвратившимся из-за границы в Москву.

В марте месяце по службе Бетанкура последовала для него большая перемена. Инженер-генерал Франц Павлович Де-Волян, главный директор путей сообщения, преемник принца Георгия Ольденбургского, первого мужа Екатерины Павловны, умер, и Государь для этой важной должности на его место выбрал моего начальника. Я этому очень обрадовался, а между тем не мог понять, как чело-

век, который ни слова не знает по-русски, будет в России управлять министерством. Когда, узнав об этом, на другой день поутру пришел я поздравить его, с притворно-печальным видом отвечал он мне: «Что делать! Государь непременно того требовал». Тщетно говорил я ему о великих затруднениях, которые представятся при исполнении возлагаемой на меня обязанности; он отвечал, что «если бы дела и пошли не так успешно как он желает (хотя он ожидает противного), не его будет вина, ибо его насильно заставили принять должность». Потом прибавил он: «скорее должны вы себя поздравить чем меня; новое назначение мое открывает вам дорогу к возвышению». Через несколько дней объявил он мне, что имеет на меня виды и хочет меня представить к занятию должности директора департамента путей сообщения, на место хворого старика, с которым он не может объясняться, потому что тот не знает по-французски, но что наперед хочет он оглядеться и не вдруг приступить в переменах. Я заметил ему, что при необъятном числе бумаг по вверенной ему части, вступающих и исходящих,

даже с удвоенным штатом не будет возможности сохранить порядок, которому дотоле мы следовали, и что в Петербурге не сыщется и половины людей в состоянии переводить для него и переписывать по-французски. «Уж это я знаю, — отвечал он мне, — и для того-то и нужен мне человек, от которого представляемые бумаги мог бы я слепо подписывать».

Должность директора департамента занимал бывший мой начальник в Министерстве Внутренних Дел, Дмитрий Семенович Серебряков, с 1810 года, при принце Ольденбургском, преемник Лубяновского, тогда уже в Анненской ленте, человек кроткий, честный и деловой. Его-то Бетанкур хотел сбыть с рук. Какая несправедливость! Но удрученный летами, при перемене обстоятельств, он сам желал успокоения.

По письменной части еще два человека были тут замечательны. Один, Александр Павлович Хрущов, был правителем канцелярии совета путей сообщения. Не помню, в других министерствах существовали ли уже тогда общие советы, составленные из директоров и нескольких членов. При самом же

преобразовании бывшей экспедиции водяных коммуникаций найдено было необходимым сохранить ей хотя призрак коллегиального управления. Принц, или скорее всем заведовавший тогда Лубяновский, посылали в этот совет на рассмотрение только сметы проектов. В нём заседали три инженерных генерала, под названием инспекторов, и директор департамента Серебряков. Что сказать о Хрущове? Он был человек самый бесхарактерный, полулитератор, полуделец, не совсем честен, не совсем плут, но скорее последнее.

Главные директора, принц и после него Де-Волан, имели сверх того особую малую канцелярию и секретаря. При Де-Волане секретарем постоянно находился некто Фома Яковлевич Ранд. Немец или голландец, Бог его знает, родился в Москве и воспитывался там от щедрот родного дяди, немецкого учителя моего в Форсевилевом пансионе, Гильфердинга. Им отправлен был он учиться в Геттингенский университет; будучи неприлежен или неспособен, не мог он получить там аттестата, который в то время давал равные права с теми, кои доставляли выдаваемые от русских уни-

верситетов. По словам Николая Тургенева, который вместе с ним в Геттингене слушал лекции, все русские смеялись над ним, называя его Фомушкой. Но он имел некоторые способности, пронырство и наглость, с которыми иные по службе далеко уходят. Он невысоко еще поднялся; лет тридцати, только что титулярный советник и секретарь при таком начальнике, который очень хорошо знал русский язык и чрезвычайно был опытен в делах по своей части, он большего влияния на них иметь не мог. Росту был он видного; многие находили, что он недурен собой; мне же черты его и выражение лица казались даже неприятны. К счастью его, через супругу своего начальника, через довольно еще молодую жену, иногда действовал он на старого мужа и, пользуясь сим искусственным кредитом, успел уже, говорили, нажить капиталу тысяч до тридцати рублей ассигнациями. В откровенной беседе со мною Бетанкур говорил: «Вы не можете себе представить, какие это мошенники, этот мосьё Кручков и этот мосьё Ранд». Я не поддакивал ему, но и не оспаривал его, об этих людях не имея дотоле никако-

го понятия. «Теперь они мне необходимы, — прибавлял он, — но я надеюсь, как из лимонов, выжав из них сок, после того их бросить». Бедный Бетанкур не мог предвидеть, что они прилипнуть к его рукам, и не только их, всю репутацию его выпачкают. В обхождении с Рандом, который каждый день являлся к нему с бумагами, Бетанкур, можно сказать, был даже суров; а тот, по моему, вел себя очень благоразумно, выслушивая его в почти-тельном молчании и не показывая ни досады, ни трусости.

В Главном Управлении Путей Сообщения все видели во мне будущую главную пружину его. Не было любезностей, не было учтивостей, коих бы мне ни оказывали инженеры: генералы Саблуков, Карбоньер, Вельяшев (о коих подробнее говорить предоставляю себе после) сами первые посетили меня. А между тем я не почитал себя в праве входить явно в какие-либо дела этого управления; главные должностные гражданские лица всемерно уклонялись от сообщения «не сведений, и я мог только стороной собирать их. Наконец, решился я на этот счет объясниться с Бетан-

курор. Я представил ему, что, не ознакомившись наперед с делами департамента, который он намерен был вверит мне, буду я плохим его директором. Он отвечал мне, что спешить еще не к чему до возвращения из одного путешествия, которое вместе с ним должен я совершить. «К тому же, — прибавил он, — с быстротою, с какою понимаете вы всякое дело, вам нетрудно будет скоро сладить и с этим». Он не имел никакой нужды мне льстить, и я никаким скромным опровержением не отвечал ему. Вообще же я привык видеть, что как в Италии импровизируют стихи, так у нас в России импровизируют способных ко всему людей. Еще заметил я Бетанкуру, что чин мой мал для места, которое занимали дотоле одни превосходительные. На это отвечал он мне, что вместе с должностью испросит он мне у Государя и чин статского советника, без всякого университетского аттестата. Всё шло для меня как нельзя лучше.

Еще в 1816 году отставной канцлер, граф Румянцев, путешествуя по России, посетил и Макарьевскую ярмарку. Она привлекла на себя особое внимание человека, бывшего столь-

ко лет министром коммерции. Он нашел, что весьма было бы выгодно поблизости перенести ее из Макарьева в Нижний Новгород и тем поддержать, украсить и поднять последний, который во мнении многих людей почитается настоящим средоточием России, долженствующим быть и столицей её. Со всем уважением к памяти государственного мужа нахожу я, что он ошибался. Положение Нижнего Новгорода совсем не центральное. Если в измерении пространства России не отделять от неё Сибирского края, тогда середина её будет, по крайней мере за Уралом. Если же принять в соображение одну населеннейшую часть её от Уральского хребта до Калиша, тогда, прилегая более к северо-восточным её странам, Нижний Новгород слишком удален от западных границ Империи. Находясь на берегу двух величайших, судоходнейших рек, он с умножением народонаселения и промышленности, сам собою мог бы сделаться одним из важнейших пунктов в государстве. Перенесение в него ярмарки один только месяц в году могло оживить его. Без всякой помощи от правительства, без всякого участия

его, самым естественным образом ярмарку сию породили взаимные потребности народов, населяющих Россию и отдаленнейшие азиатские страны. Она возросла как бы под благословением Св. Макария, вокруг обители им основанной. Многочисленное стечение богомольцев в обычный срок встречалось тут ежегодно с проезжающими караванами. Набожность, везде сопутствовавшая прежде русскому народу, указала ему тут и на торговые его выгоды. Начало прекрасное, коего последствием было самое блистательное, широкое развитие нашей торговли. Замечания свои граф Румянцев представил Государю, который принял их в уважение.

Дабы удостовериться в пользе предлагаемого канцлером, в июле 1817 года Бетанкур отправлен был в Нижегородскую губернию. Ему поручено было, обозрев местности, избрать удобнейшую и выгоднейшую для учреждения нового прочного ярмарочного гостиного двора и донести, в случае построения новых каменных лавок, доходы с них будут ли достаточны, чтобы заменить казне, проценты с капитала, употребленного на их соору-

жение: новое доказательство пристрастия и неограниченной доверенности, которые имел Государь к иностранцам. Бетанкур менее чем кто мог тогда судить о выгодах и невыгодах наших торговых и финансовых дел: это было первое путешествие, которое он делал внутрь России, которой дотоле он вовсе не знал, не видав даже Москвы. Никакой важности не видел он в том, чтобы, вырвав с корнем самую природою произведенное растение, посадить его на другой почве, не заботясь о том, будет ли оно процветать на ней или нет. Эти господа знать не хотят, что у так называемых варваров и рабов есть поверия, навыки, коих изменения никогда не совершаются без сердечной для них боли. Бетанкуру представился прекрасный случай выказать всё искусство свое, как инженеру, архитектору, механику, и в самом широком объеме; как было ему не воспользоваться оным? В виду Нижнего Новгорода, за Окой, близ втока её в Волгу, на луговой её стороне, каждую весну потопляемой разлитием двух великих рек, избрал он место для сооружения себе памятника. Тут надлежало с большими издержками для казны по-

бедить препятствия, поставляемые природой. Надлежало, в виде полукруглого острова, сделать высокую насыпь, которую внешние воды не могли бы затоплять, прорыть вокруг неё судоходный канал, соединяющий речку Пыру с Окой, возводимые каменные строения, все без изъятия утвердить на бесчисленных сваях. Мне случилось впоследствии слышать льстецов, которые в разговорах с Бетанкуром это гигантское произведение его гения называли египетскою работою и сравнивали его с ископаным озером Мёриса и пирамидой Хеопса. Он с своей стороны почитал эту лесть слишком грубою и отвергал ее с досадою.

По возвращении лично и словесно докладывал он Государю о своих предположениях. Не знаю, какую уловку употребил он, чтобы не испугать его огромностью сумм, на то потребных. Государь не жалел денег на всё, по мнению его, полезное, но даром бросать их не любил. Я полагаю, что сперва не открыл он ему всей истины, не объяснил, сколько миллионов потребуется, ибо представленная им вслед за тем смета была довольно скромная. Раз втянувши казну в это предприятие, ему

легко было после доказывать необходимость беспрестанных прибавок.

В ту же осень дело вскипело вдруг: отправлены инженеры для снятия планов, приискания подрядчиков, объявления торгов, заключения контрактов; у нас же в Петербурге завелась обширная переписка, что чрезвычайно умножило мои занятия и труды. Весной в 1818 году, ярмарочные деревянные строения перенесены уже были из Макарьева на плоское место, находящееся рядом с тем, на котором предполагалось соорудить прочные здания; летом в сих временных помещениях открыт был уже и торг. Ропот был велик: монастырь Св. Макария лишился богатых приношений, жители окрестных мест почитали себя разоренными, азиатские торговцы жаловались на то, что должны понапрасну делать лишних восемьдесят верст сухим путем, хозяева судов на то, что принуждены более ста верст подниматься вверх по Волге; вообще же ярмарка с этого времени потеряла свою оригинальную, азиатскую физиономию. Бетанкур, который провел там всё лето, пока я был в Париже, остался довольно равнодушен в

сим жалобам; однако же, дабы сколько-нибудь утешить вопиющих, обещал на новом месте построить славную каменную церковь во имя Св. Макария: лишняя сотня тысяч рублей ему ничего не стоила. Несмотря на новое, важное, назначение свое, он намеревался провести в Нижнем Новгороде и лето 1819 года, и пригласил меня ехать с собою. Итак, в апреле месяце начал я приготовляться к новому пути, не столь длинному как в предыдущем году.

XI

П*лавание на пароходе и путешествие в
Нижний.*

Когда в 1816 году жил я на Крестовском острове, в первый раз с некоторым вниманием услышал я о пароходах. Сосед мой, граф Виельгорский, предлагал мне ехать с ним и с большой компанией на чугунный завод англичанина Берда, чтобы подивиться сей ново-рожденной у нас невидальщине; не помню, что помешало мне воспользоваться его приглашением. Дотоле слушал я о том довольно

рассеянно, как об одном из многочисленных американских или английских затейливых изобретений. Берду от правительства дана была привилегия, и его пироскаф исправно с тех пор ходил с Матисова острова в Кронштадт; иногда напоказ народу являлся он и на Неве; мне ни разу не пришлось посмотреть на него.

В первый раз случилось мне видеть не его, а на нём самого себя. Бетанкур собирался отправиться водою, так чтобы наши экипажи, не отдаляясь от берега, следовали за нами сухим путем. Берд, который почитал себя много обязанным Бетанкуру, за то, что все казенные работы заказывались на его заводе, предложил прокатить нас даром по Неве, до самого истока её из Ладожского озера. Отъезд назначен был 14 мая в семь часов утра, и пароход, ночью прошедши по реке во время снятия мостов, причалил к набережной близ Гагаринской пристани. Я проспал, опоздал несколькими минутами, меня одного нетерпеливо дожидались, и едва успел я перебежать по доске, как труба задымилась, и колеса зашумели.

Я очутился на палубе среди многочислен-

ного общества. Семейство Бетанкура, состоящее из жены его и трех дочерей, также два испанца, принадлежащих к посольству, провожали его до Шлиссельбурга. Семейство Берда находилось на пароходе, чтобы хозяйничать и угощать путешественников. С нами отправлялись до Нижнего: единственный сын Бетанкура, Альфонс, пятнадцатилетний беленький мальчик, недавно прибывший из Англии, где по воле отца он воспитывался; при нём наставник, немец Рейф; старый адъютант Бетанкура, Маничаров, недавно оставивший должность эконома в Институте; молодой адъютант Варенцов и, наконец, секретарь Ранд. Сверх того сопутствовал нам до вверенного ему округа инженер-генерал-майор Александр Александрович Саблуков. О некоторых из сих лиц я буду иметь случай говорить во время нашего путешествия.

Этот первый день странствования нашего походил на веселый праздник. Погода была прекрасная, виды по Неве были приятные и занимательные, берега её усеяны дачами, фабриками и деревнями, из коих жители высыпали толпами, чтобы полюбоваться невиданным.

данным зрелищем, большим дымящимся судном, быстро поднимающимся по реке без парусов и весел. Целый день пили и ели, все были разговорчивы, все смеялись, даже скромные девицы Бетанкур. Вероятно вследствие многократных тостов, во время позднего обеда возносимых, почувствовал я сильную дремоту; она одолела меня, я спустился в каюту, заснул и проснулся когда уже солнце готово было садиться. Меня все одобряли и поздравляли, ибо во время сна моего, по неопытности рулевого, в первый раз тут проезжающего, судно село на мель, и более двух часов билось, чтобы тронуть его с места. Хорошо если б и всегда можно было просыпать так горе и узнавать о нём, когда оно миновалось! От этой остановки опоздали мы и приехали в Шлиссельбург, когда уже совсем смерклось.

У начальствовавшего тут по инженерной части полковника, Ивана Дмитриевича Попова, в казенном обширном деревянном доме, приготовлен был обильный обед или ужин трудно сказать и нельзя назвать того до чего никто не коснулся. Все были чрез меру сыты, все устали, и всем хотелось спать. И по этой

части добрый хозяин позаботился; во всех комнатах стояло по две и по три кровати, но и это кроме меня никого не прельстило. Не более получаса пробыло тут общество наше: Бетанкур с семейством и с гостями отправился на богатую, частную, ситцевую фабрику (имя владельца её ускользнуло у меня из памяти), где ожидало их гораздо удобнеее помещение; вся свита пошла обратно к Берду на пароход, и остался я один. В уединении сон мне всегда казался слаще; к тому же мне хотелось, чтобы не совсем пропали труды почтенного старика Попова, которого вид казался мне смущенным и недовольным. Он отвел мне постель, приготовленную для самой Бетанкурши.

Едва успел я, на следующее утро расстаться с мягким ложем своим, как дом, в котором ночевал, сделался опять сборным местом для всех наших спутников. Под предводительством нашего начальника все мы отправились на берег Ладожского озера, куда перебрался Бердов пароход. Чтоб утешить бедного Попова, дано ему обещание воротиться к нему завтракать. Целою компанией подъеха-

ли мы к крепости, где ожидал с рапортом комендант, которого пригласили прокатиться с нами по Ладожскому озеру. Это был генерал-майор Григорий Васильевич Плуталов, почти осьмидесятилетний старец, маленький, сухенькой, но еще дюжий и бодрый. Выходец из старой Екатерининской армии, сохранившийся образчик её, он пользовался привилегией, прищучивая с высшими, говорить им истину. Ее без гнева выслушивал от него даже сам Павел I. Была однако же минута, в которую от него грозила ему гибель, когда он решительно отказался быть суровым с насылаемыми в нему во множестве всякого звания арестантами. «Государь, — сказал он, — сделайте из меня что вам угодно; только я страж их, а не палач». Изумленный, тронутый такою человеколюбивою смелостью, раздраженный Павел бросился обнимать его.

Веселый этот старик, вступив на пароход, не подал Бетанкуру рапорта, а объявил, что он почитает себя похищенным и нас подозревает в злом умысле овладеть крепостью, когда мы похитили её начальника. Потом попросил о дозволении поздороваться с находя-

цимися тут дамами, испанками, англичанками и другими, и еще не получив его и не дав им опомниться, пошел их всех обнимать и целовать в уста. Я спешил уверить их, будто, по нашему прежнему обычаю, это неотъемлемое право глубокой старости, и от удивления и досады они перешли к смеху. Этот человек мало заботился о том что скажут о нём Европа и европейцы. Потом около часу покатались мы по бурным волнам Ладожского озера, в первый раз рассекаемым судном нового изобретения. Пристав к крепости, которая, как известно находится на острове, вышли мы на берег, и тут только Плуталов, вынув рапорт, почтительно подал его старшему генералу. Не знаю был ли он холост или вдов; только женского пола в его квартире мы не видели, а на накрытом столе нашли завтрак или скорее закуску, от которой мало вкусили, ибо берегли себя для Попова. Ускользнув от закуски, в сопровождении какого то офицера, бау- или плац-адъютанта, я обошел крепостной вал. Увидя себя столь честимым, изъявил я желание посмотреть тесное жилище императора Иоанна VI или лучше сказать несчаст-

ного Ивана Антоновича; мой офицер, немного замявшись, отвечал мне, что оно совсем переделано и обращено в казарму; из этого заключил я, что не дозволяется никому его показывать.

Усердным аппетитом оказав должное уважение сытному обеду доброго Ивана Дмитриевича и потешив тем русское хлебосольство его, начали мы собираться в дальнейший путь. Прощание Бетанкура с женою и дочерьми было нежно, даже трогательно. Они с гостями поспешили обратно на пароход, а мы на щеголевато и довольно богато отделанное судно для покойной великой княгини Екатерины Павловны, под названием трешкоута. На Ладожском канале, по которому мы плыли, все суда по левой стороне выстроены были в один ряд, дабы дать свободный проезд царю каналов. На судне вашем под палубой была одна только длинная и широкая каюта, вокруг которой находились диваны не весьма покойные. Я расчел, что не раздеваясь, впопалку, спать на них будет мне весьма неудобно и даже невозможно; и для того, когда, сделав верст тридцать, в сумерки остановились

мы у станции Шалдихи, где нашли свои экипажи, доложил я Бетанкуру, что буду дожидаться его прибытия и приказаний в Новой Ладоге, и распростился с честною кампанией. Я хорошо сделал: около двух недель стояла сухая погода, и дороги были в хорошем состоянии. Майская ночь коротка на Севере, и в приятных размышлениях на свежем воздухе я не видел, как она и я — мы пролетели. Когда я остановился, более для дневки чем для ночлега, чуть-чуть стал показываться свет. Его было не нужно: второстепенный уездный город, в который я приехал, ничем не отличался от других равных ему, и смотреть было не на что. В квартире, приготовленной для Бетанкура, объявил я, чтоб его не ожидали, а сам лег в его постель.

До полудни преспокойно проспал я; обед был готов, и я совсем одет, когда Бетанкур со свитой прибыл в Новую Ладогу, где я встретил его. После обеда занялся он немного делом, а потом очень весело опять пустился водой вверх по речкам Сяси и Тихвинке. Я же опять предпочел ехать сухим путем, и следующие ночь и утро повторилось для меня то,

что было накануне. Проснувшись поздно, я пошел смотреть на город Тихвин, не весьма замечательный, и зашел в монастырь Тихвинские Богоматери помолиться её чудотворной иконе. Мне показали и ризницу, довольно богатую, коей главным украшением служит золотая лампада с бриллиантовою подвеской, оцененные в шестьдесят тысяч рублей и принесенные в дар графом Шереметевым. Я спешил домой, чтоб успеть встретить своего старика-генерала, но тщетно прождал его второй и третий часы пополудни, по тогдашнему, всё еще законные обеденные часы. Беспокойство, нетерпение и аппетит доходили во мне до крайности, когда в конце четвертого часа увидел я трупшу моих спутников, изнеможенных, изнуренных, измученных. Бетанкур был в самом дурном расположении духа. Так же как и другие, он принужден был спать на соломе в простой, хотя врытой, но беспокойной барке. Неизвестно было, что он поедет водой, и ничего не было приготовлено. Подымаясь по речкам, тащился он бечевником, и лошади с крутых берегов беспре-станно обрывались. Нетерпеливый старик

был в бешенстве. После обеда, его поваром, но по моему заказу, приготовленного, он стал спокойнее, веселее и объявил, однако же, что останется ночевать в Тихвине.

Следующий день, 19-е число, был уже и для меня мучительным днем. Надлежало сделать 90 верст до Соминской пристани. На этом расстоянии находится канал с 38-ю шлюзами, часто отворяемыми и запираемыми, чрез кои баркам приходится иногда недели две проходить. Мы поехали по дороге, которая лежит близ канала и которая, конечно, самая скверная в России. Она никогда не поправляется, а болота и пески, кочки и деревянные корни беспрестанно встречаются в частом лесу, через который надобно проезжать. Говорят, что исправить эту дорогу очень трудно и будет стоить очень дорого. Как бы ни было, с раннего утра до поздней ночи тащились мы по ней до Сомины. Нередко останавливались мы для того, чтобы Бетанкуру осматривать шлюзы, и обедали у смотрителя их, нас сопровождавшего, инженер-подполковника Ивана Ивановича Цвиллинга, сухого, прямого и молчаливого немца.

Три судна неодинаковой величины были куплены на казенный счет, чтобы по течению рек везти нас до самого Нижнего Новгорода, и они дожидались нас в Соминской пристани. Самое большое, разумеется, назначено было для главного директора путей сообщения, и он поместился в нём с двумя адъютантами, с сыном своим и его учителем Рейфом. Другое, поменее, досталось нам с г. Рандом, и мы не имели причины быть им недовольными; в чистенькой каюте, довольно просторной, были широкие лавки, на которых очень хорошо уместились наши постели. В третьем судне находились экипажи, прислуга, кухня и некоторые необходимые на этом пути съестные припасы. Вешние воды не совсем еще спали, и мы 20 числа могли беспрепятственно поплыть вниз по речке Сомине, которая летом не бывает столь глубока. В тот же вечер достигли мы её устья и въехали в речку или скорее реку Чагодошъ или Чагоду, как ее просто называют.

Хотя мы были в весьма недалёком расстоянии от обеих столиц, но могли почитать себя среди необитаемой части Северной Амери-

ки. Надобно полагать, что в этих местах земля неудобна для хлебопашества, ибо нам почти не попадались деревни в густом лесу, который беспрерывно тянется по обоим берегам Чагоды. По низости их могла бы она почитаться большим каналом, если бы ширина её, глубина и частые изгибы не давали ей вид реки. Во всякой европейской стороне была бы она препрославлена; у нас считается она третьекласною, и в обществе редко сыщется человек, довольно сведущий в статистике русского государства, чтобы знать её имя; а она связывает низовые губернии и Астрахань с Петербургом, то есть Каспийское море с Балтийским. Вокруг нас царствовала мертвая тишина, изредка показывалось человеческое лицо; зато следы человечества встречались на расстоянии каждых пяти или шести верст. Большие постоялые дворы, никем не занятые, с забитыми овнами, появлением своим пуще наводили тоску: казалось, что вымерли все жители этой страны, а она должна была недели через три на всё лето чудесно оживиться. Когда приплывают низовые караваны, то хозяева сих летних гостиниц наезжают в них из

ближайших деревень и получают большие барыши от судовщиков, которые, останавливаясь тут, запасаются съестным, а иногда и пируют, бражничают. Несмотря на торжественность нашего плавания, мы по части продовольственной в первый день испытали уже недостаток: нам угрожал голод, и мы начали чувствовать его ужасы. Хозяйственная часть поручена была доброму Маничарову, который, с тех пор как начал жить на своей воле, не знал что такое дома обедать: вечно в гостях, в клубах или в трактире. В беспечности своей он не подумал о том, чем мы будем кормиться дорóгой. Бетанкур вознегодовал, возроптал. Не я, а тощий желудок мой во всеуслышание заговорил голосом сильным и трогательным; тогда Бетанкур попросил меня вступить в это дело. Маничаров хотел было обидеться, рассердиться, но никак не мог, обрадовавшись случаю избавиться от забот по провиантской части. Я потребовал, чтобы, в близости первой зажиточной деревни, где-нибудь часа на два пристали мы к берегу, и отправил для закупок комитетского сторожа, еще нестарого и проворного, которого по

просьбе его взял я с собою для свидания с родными. Не более как через час третье судно наше обратилось в птичий двор: явились живые куры, гуси, утки, даже индейки, и всё что нужно для их прокормления. Все дивились моей расторопности; а я, со скромностью отклоняя похвалы, относил их к проворству рядового Латухина. Коль скоро изобилие воротилось к нам, наше плавание сделалось отменно приятным. Каждое утро часу в девятом садились мы с Рандом в сопровождавшие нас лодки и отправлялись пить чай к своему начальнику. Потом возвращались мы домой, на свое судно, раздевались и принимались за чтение, пока обеденный час не заставит нас предпринять новую поездку. После обеда беседа делалась продолжительнее и веселее. Мы шли на веслах скорым ходом вниз по реке, чувствовали движение судна, быстрое и вместе покойное. Но видно и приятное утомляет; к вечеру нас тянуло на твердую землю; где попадетя несколько открытое место среди леса, мы выходили на него и на воздухе чайничали, пока сын Бетанкура, бойкий и смелый мальчик, с учителем своим Рейфом,

углублялся в чащу и стрелял дичь. Когда смеркнется, мы спешим опять на воду, и ну спать.

Впрочем, всё это продолжалось не более двух или трех дней. Когда мы приблизились к месту, где Чагода впадает в Мологу, сопровождающий нам от самого Петербурга инженер генерал-майор Саблуков, пригласил своего и нашего начальника посетить его имение, верстах в шести от берега находящееся. Названия этого поместья я не забыл, потому что забыл о нём спросить и никогда не знал. О самом же владельце уже два раза упоминал я, а в третий не вижу возможности не войти насчет его в некоторые подробности.

Отец его, также как и он, Александр Александрович, был невысокого происхождения, кажется, из придворно служительских детей; но трудами и умом, употребляя дозволенные средства, с помощью царских щедрот, нажил себе хорошее состояние и достиг довольно высокого сана. В Сенате был он правосудным и сведущим членом его и управлял Петербургским Воспитательным Домом. Двух сыновей своих, по образцу знатных людей, воспи-

тывал на иностранный манер, однако же, желая сделать из них людей полезных, более на английской. Меньшой, казалось, удался; он был довольно умен, сведущ; но как со времен Петра Великого слепое, безотчетное подражание всему заграничному и особенно заморскому почти всегда влечет нас к разорению, к мотовству или к неудачным предприятиям, то и наш Саблуков бредил всё проектами, приспособлением иностранного земледелия и промышленности к нашему русскому быту. Из камер-юнкеров и дипломатов поступил он в инженеры и очень хорошо управлял вверенною ему частью, вторым округом путей сообщения. Только собственная хозяйственная часть шла у него плохо. Там, где принимал и угощал он нас, был у него выстроен огромный каменный винокуренный завод, коим заправлял англичанин и который был наполнен дорогими машинами, из Англии выписанными. Лесу было вдоволь; не доставало безделицы — ржи и воды. Первую за дорогую цену покупал он с судов, последнюю с большими издержками проводил к себе, так что каждое ведро обходилось ему втрое доро-

же того, за что мог он его продать. Не знаю после того до какой степени он разорился. Он несколько лет был уже знаком с Бетанкуром, а подчиненность еще более его сблизила с ним. Это был приятнейший из наших спутников, и когда тут, на границе его округа, он расстался с нами, мы с беседой его много потеряли.

В ту же ночь, с 23-го на 24-е число, из Чагоды въехали мы в реку Мологу, еще шире и глубже её. Около половины дня начали показываться суда, спешащие насытить всепожирающий в России Петербург; число их потом всё более и более стало увеличиваться. Недолго продолжалось плавание наше по Мологе: мимоходом взглянув на городок при её устье, носящий имя её, увидели мы Волгу, которая, не совсем еще вступив в берега, показалась нам еще более величественною.

На сто русских, которые, плавая по Рейну, действительно или притворно восхищались красотами берегов его, едва ли сыщется один, который в этом месте спускался бы по Волге. И если эта прекрасная картина и произвела на него какое-нибудь приятное впечатление,

он не сообщал о том, почитая пошлостью любоваться, так сказать, домашними прелестями. Мне бы хотелось передать свои ощущения, но я не буду уметь и назову только те предметы, коих встреча тут понравилась бы каждому. Ничего общего с поэзией Рейнских видов: ни навислых скал, ни гигантских развалин древних замков, ни виноградником усеянных скатов гор, не имеет наша матушка-Волга; она красуется совсем иным: левый берег её представляет необозримые зеленые равнины, тучные пажити, засеянные поля; на правом — подымаются горообразные холмы. На них и под ними теснятся села и деревни, среди коих часто белеются Божии храмы. Эти селения так близки друг от друга, что одним взглядом можно их окинуть от шести до семи. Мы нередко приближались к берегу, так что я хорошо мог рассмотреть их. Избы все на один, но на весьма хороший лад, бревенчатые, почти все в два жилья, с разрезными, расписными украшениями на окнах и на кровле: соломенной ни одной не видать. Из них, особливо к вечеру, то и дело высыпают молодые молодушки, красные девушки, в ма-

линовых, алых, лазоревых сарафанах, отороченных золотыми галунами, иные в серебряных фатах. Лица свежие, полные, умножают красоту одних, заменяют ее другим[16]. Потом пристанут к ним несколько молодых парней, с русыми кудрями, в синих суконных армяках, подпоясанных цветными кушаками, ловко подбоченясь и в шляпе набекрень. Тотчас узнаешь простолюдина-фата по его добродушному ухарству. На встречу нам тянулась непрерывная цепь низового каравана, составленная из судов разной величины и под разными названиями: расшивок, тихвинок, баркасов и других. Все они против течения реки шли на всех парусах, чти) и давало им вид бесконечной стаи; особенно же те, кои можно было завидел в самом отдалении, казались окрыленными и летучими. Весьма замечательными нашел я работников-бурлаков на них употребляемых, как будто из одних мускулов составленных, усмиранных потомков некогда страшных волжских разбойников.

Покорили дерзость и поныне на лице их написана. Я того и глядел, что они вскочат к

нам на судно и загремят *сарынь на кичку!*[17] Живая картина, которая была у меня перед глазами, являла вместе и силу, и красоту, и богатство земли Русской. Все с удовольствием смотрели на это зрелище, я один был в восторге. Русская жизнь выражалась тут так красноречиво, отовсюду ею несло, ею обхватывало меня. Когда же по закату солнца горы, река и долины оглашались песнями хороводов, я, право, был не свой. Кто спорит о том, что голос русских крестьянок и дик, и криклив, и вблизи даже отвратителен; но издали, в соединении с мужскими голосами, в тихую летнюю ночь, на открытом воздухе, на большом пространстве, расстилаясь по этой Волге, над которою и для которой слажены были эти простые напевы, они производили чудную гармонию. Её звуки затихали тогда только, когда на Востоке загорался свет зари. Тогда только и для меня оканчивалось очарование, и я отходил ко сну.

Отойдем и к прозаической стороне моего путешествия. Не останавливаясь нигде, 25 числа прибыли мы рано в богатый Рыбинск. Десять дней не видав больших каменных до-

мов, он мне показался великолепен. Я не буду говорить о великом значении этой известной пристани в торговом отношении, о том пусть справятся в статистическом описании России; но оно было очень важно, ибо на несколько часов заставило тут остановиться главного директора путей сообщения. Мы пристали на квартире смотрителя судоходства, надворного советника Николая Федоровича Виноградова, кажется, из нижних воинских чинов. Место им занимаемое, видно, было очень доходно; ибо мы в жилище его нашли не только изобилие, даже роскошь. Не в первый раз и тут пришлось мне одному воспользоваться угощением, приготовленным для моего начальника. Тут находилась пехотная дивизия, которою начальствовал генерал-адъютант Николай Мартемьянович Сипягин, бывший любимец Александра, тогда в немилости у него. Он Бетанкура со свитой пригласил к себе обедать, а до того усерднейше просил мимоходом взглянуть на ученье какого то полка, испанцу в Петербурге пришла страсть казаться или даже почитать себя военным, и хотя в этом деле смыслил столько

же как и я, он пошел смотреть полк, а я остался с приятною перспективой — после славного обеда развалиться на широком диване. К вечеру мы опять отплыли. Я еще не спал, когда проехали мы мимо города, или лучше сказать, между двух городков Романово-Борисоглебска.

Мне и утром что-то не спалось; я встал рано, оделся, взошел на палубу и завидел в дали большой город; мне сказали, что» то Ярослав. Когда мы довольно приблизились к нему, чтобы разглядеть на пристани множество народа и чиновников в мундирах, я поспешил к Бетанкуру. Он был еще в постели; я велел доложить ему, что его ожидает встреча. Хорошо я сделал, потому что едва успел он принарядиться, как мы пристали к берегу, на котором ожидал его сам губернатор[18]. Пока он водил его сперва к себе, а потом осматривать богоугодные заведения, пошел я отыскивать знакомого мне в Петербурге Петра Яковлевича Писемского, женатого на родной сестре Блудова, а между тем спросил у своего начальника, где могу найти его, пристать к его свите и вместе отправится далее. Находясь среди се-

мейства почтенно-приятного, я заговорился, забылся, опоздал и должен был бежать, чтобы настигнуть своих. Извозчиков не было, или я их не встретил. На месте мне назначенном, в городской больнице, подле публичного сада, некогда насажденного генерал-губернатором Мельгуновым, я никого не нашел. В тщетных поисках своих избегал я весь город, могу сказать, не видав его. Еще несколько минут, и нетерпеливый Бетанкур уехал бы без меня: он спешил на обед к любимому адъютанту своему Варенцову, который нам сопутствовал и у которого в двадцати верстах от Ярославля, близ Волги, на речке Туношне, был собственный ножевый завод.

О сем новом сослуживце мне не приходилось говорить. Он принадлежал к тем купеческим родам, которые, чрезвычайно разбогатев, так охотно и легко переходят у нас в дворянское состояние. Некоторые из них, поднявшись в чинах, посредством блестящих супружеств, беспрепятственно приписываются к знатым, как, например, некогда Демидовы, а в настоящее время Мальцевы, Гончаровы, Устиновы. Но не всем это удается; многие из

них, во втором или третьем поколении, прогуляв нажитое родителями, возвращаются к ничтожеству и к нищете. Отец Варенцова, простой разбогатевший фабрикант, нашел средство двух старших сыновей определить в Иностранную Коллегию, а меньшего Петра Алексеевича в Институт Путей Сообщения. Сей последний имел уже офицерский чин, когда в 1812 году, следуя общему влечению, поступил он в армию, находился в сражениях и получил несколько военных знаков отличия; потом вышел в отставку, а как *тогда* был он еще благоразумен, то не полез в знатность, сыскал невесту, равную себе по состоянию, и женился на богатой девице Кусовниковой. Чинолюбие опять заманило его в службу, и он предложил себя адъютантом бывшему своему инженерному начальнику; а тот, по вышеизъясненной мною слабости казаться военным, во внимание к его армейскому мундиру, крестикам и медалям, охотно принял его предложение. Этот Варенцов был зол, если совершенное отсутствие добродушия, доброжелательства, можно почитать злостью. Я не заметил, чтобы он кому-либо особенно ста-

рался вредить; за то всегда радовался неудаче, даже несчастьем самого хорошего знакомого. Приятелей, разумеется, у него не было. Со всем тем его довольно любили, ибо он имел привычку всем улыбаться — старшим подобострастно, младшим — коварно, чего немногие умели заметить; одни низшие и особенно ему подвластные всегда видели его нахмуренные брови. С умом самым обыкновенным был он угодителен и проворен, и тем еще более полюбился Бетанкуру. Он не мешался ни в чьи дела по управлению, а впоследствии умел себе создать особую часть в виде инспекторской. Завод его находился в самом цветущем состоянии, не так как у Саблукова; не было никаких лишних затей, ни иностранцев, а он сбирался уже вырабатывать бритвы. Можно себе вообразить, какое угощение было тут приготовлено им для своего начальника и его сопровождавших! Пропировав в Туношине почти вплоть до ночи, переехали мы на противоположный берег Волги. Тут нетерпеливый Бетанкур объявил нам о намерении своем нас оставить, сел в коляску, взяв с собою сына, Рейфа и Варенцова, и поскакал по

большой дороге.

Мы остались втроем с Маничаровым и Рандом. Вот до чего уменьшилось сначала столь многочисленное наше общество. Повалившись спать, мы преспокойно поплыли далее. Кому начальствовать над флотилией, не было сказано; а как порядок везде нужен, то и увидел я себя в необходимости при этом случае похитить верховную власть, тем более, что от кроткого, беспечного Маничарова не мог я ожидать никакого сопротивления, и что Ранд в это время был ко мне отменно снисходителен. В следующее же утро, 27-го мая, пришлось мне на опыте явить мое владычество. Подплывши в Костроме, мои спутники хотели, не останавливаясь, ехать далее. Тогда я заметил им, что, не быв природными русскими, они, конечно, могут быть равнодушны к великой знаменитости этого города в русской истории; но что я, никак не соглашусь упустить сей единственный случай посетить Ипатьевский монастырь. В тоже время самовольно распустил я гребцов на полтора часа отдохнуть или погулять по городу. На меня с минуту посмотрели с изумлением, а я, взяв

какого-то провожатого, отправился пешком. Не знаю по какому случаю в монастыре было архиерейское служение, что задержало меня долее, чем я ожидал и лишило возможности увидеть комнаты, которые занимал с матерью малолетний Михаил Федорович, когда пришли призывать его на царство. На город, почти вне которого находился монастырь, едва успел я взглянуть: нетерпеливые спутники мои с некоторою уже досадой ожидали моего возвращения, и мы тотчас отправились далее.

Очень рано поутру на другой день, 28-го числа, причалили мы к городу Кинешме. Я лежал еще в постели и довольствовался сквозь оконце моей каюты (бывшей Бетанкуровской), не вставая, поглядеть на шумный базар, находившийся на низком берегу над самою пристанью. Сии последние два дня нашего странствования были отменно приятны: Волга продолжала быть оживляема и многочисленными судами, по ней плывущими, и картиной беспрерывных веселых селений, по берегам её расположенных. Ночью проплыли мы мимо Балахны, и опять на этот городок не

удалось мне взглянуть. Наконец 29-го мая, когда рождающийся свет едва позволял различать предметы, были мы пробуждены гремучею песнью всех гребцов наших. Между ними есть обычай, при входе в Оку или в которую-либо из больших рек в Волгу впадающих, приветствовать их громогласным, веселым пением. Не было возможности унять их; мы принуждены были встать, одеться и выйти на палубу. Тогда скоро на горе, в тусклом свете, предстал нам «Новгород Низовские земли». Мы пристали к деревянному, двухэтажному, казенному дому, недавно на самом берегу построенному, в котором жил Бетанкур, и тут только, дабы не разбудить его, успел я заставить замолчать певунов наших.

Сперанский в Пензе. — Ф. П. Лубяновский.

Не буду описывать в этой главе ни города, в который мы приехали, ни пребывания моего в нём. Не прошло трех недель как мне пришлось сделать новую поездку. Четыреста верст, отделяющих Нижний Новгород от Пензы, могут почитаться в России расстоянием неважным, даже ничтожным, когда оно отделяет нежного сына от страстной матеря, не видавшей его пять лет. По возвращении из сей поездки в Нижний, примусь за него.

Не предвидя, какой вред по службе причинял мне впоследствии сии кратковременные разлуки с Бетанкуром и свидание с ней, мая бедная мать убедительно требовала меня к себе. Начальник мой неохотно согласился на сию отлучку, однако же дал мне своего курьера для сопровождения меня во время пути и собственную почтовую коляску для совершения его.

Я выехал 21-го июня после завтрака. Сто верст до Арзамаса были только незнакомою

мне дорогой; далее были всё места не раз в сих Записках упомянутые. Рано поутру 23-го прибыл я в Пензу, но не нашел в ней матери моей. Мне дали почтовых лошадей, я отправился в Лебедевку и встретил ее, выходящую после обедня из церкви Владимирские Божией Матери, которой явление в этот день празднуется, также как 26 августа. Кажется, первый раз еще во вдовстве ощутила она полную радость. За неделю до меня приехал брат мой Павел, которого не видела она семь лет; после него сестра Алексеева с мужем, столько времени прожившие за границей; потом два внука, сыновья его, молоденькие офицеры, только что из Пажеского Корпуса выпущенные; наконец, мой приезд довершил её благополучие. Для выражения его у меня не было даже слов; с одного на другого из нас в молчании переводила она глаза, исполненные слез благодарности к Небу. На сем фамильном съезде не доставало только одного члена семейства нашего, малолетнего сына покойного брата Николая Филипповича, который воспитывался в Воронеже, у родных своих Тулиновых. После обеда поехал я в Симбухино по-

клониться могиле отца моего, воротился ночевать, а на другой день, 24-го, все вместе переехали мы в Пензу, где по сему случаю нанята была для нас большая, поместительная квартира.

Пенза из числа тех городов, которые в спокойно-деятельное царствование Екатерины, как бы из недр земли, подобно лаве или нефти, воспрянули, а потом остыли, окаменели и остались в том виде, в котором застала их кончина ее. Через двадцать, через тридцать лет, кто бы ни приехал в Пензу, увидит ее точно в том же виде, в котором я нашел ее в начале 1802 года. В продолжении почти полувека, пять, много шесть каменных зданий построено только на местах сломанных, обветшалых, но величиною им равных домов. А между тем город довольно красив; но, не имея ни обширной торговли, ни промышленности, и поддержанный единственно барским житьем помещиков, он подняться не может. Отчего же, не с большим в десять лет, после открытия в нём губернии, он так внезапно вырос? Этот вопрос также можно сделать по отношению к самой Москве. Исключо-

чая великого множества старинных церквей, какими великолепными зданиями украсилась древняя столица даже во дни Елисаветы? И умножилось ли число их в царствование Павла и Александра? Всё, всё, принадлежит в ней к веку Екатерины, который без преувеличения был для России веком Перикла и Августа. Каким творческим могуществом была одарена эта женщина! Как бы от одного дыхания её возникало у нас всё громадное, и это без разорения народа, без отягощения казны!

В составе общества, после пяти лет, также не нашел я никаких перемен. В наших отдаленных губерниях дворянские поколения следуют одно за другим, но названия их остаются почти всё прежние. Правда, иные из них проматываются, беднеют от наследственных разделов; зато другие, часто их сыновья или внуки, посредством женитьбы, откупа или каким либо другим дозволенным или незволенным средством опять наживаются. Таким образом имения, переходя из рук в руки, от одной фамилии к другой, всё-таки по большей части остаются собственностью одной

касты, освященной временем, составленной из людей, носящих давно известное имя. Они смотрят довольно спесиво на чиновников, посылаемых к ним из столиц; перед одними откупщиками, из какого бы состояния те ни были, готовы они преклонять выю.

Главное влияние на общество в губернских городах имели некогда губернаторы. Мы видели, как легкомысленный Голицын заставлял Пензу наряжаться и плясать, даже во время ужасов Отечественной войны; более для её пользы он сделать не умел. На его место приехал Сперанский, ненавистный всему русскому дворянству. Он ударился с собою об заклад, что заставит его обожать себя, и заклад выиграл. Этот цвет бюрократии был в Александровской ленте, следственно вельможа по прежним понятиям; недавно управлял он государством. К такому человеку невольное чувствуется уважение; оно ограждало его от скучных, беспрестанных посещений людей, ему вовсе не равных по уму и знанию, хотя двери его были всегда на отперти, хотя всем был он доступен. Так иные государи не имеют нужды в страже, хранимы будучи на-

родною любовью. Действительно, он казался Наполеоном на острове Эльбе. Может быть, к счастью, немногим дано понимать превосходство перед собою необыкновенных людей, постигать их высоту; число их завистников и врагов без того было бы слишком велико. Одни звездочеты могут измерять небеса и с точностью определять расстояние солнца от земли, или, по крайней мере, люди имеющие некоторое понятие об астрономии. Кому в Пензе было оценить великие свойства Сперанского и все его недостатки? Закатившееся туда солнце, сверх того, подернуто всегда было облаком задумчивости и тем еще более скрывало свой блеск. Его тихий, приветливый голос и печальный взгляд до того обезоружили жителей, что они прощали ему явное невнимание его к их делам. Он брезгал своею должностью, когда бы ему следовало поднять ее до себя; мне кажется, так было бы лучше. Подобно Наполеону, не мог он с своей Эльбы мигом шагнуть в Петербург: ему нужно было пять лет, и то через Сибирь, куда в начале этого 1819 года назначен был он генерал-губернатором, чтобы воротиться в него,

только уже не на прежнее могущество.

На его место назначен был также опальный друг его, Федор Петрович Лубяновский, который и прибыл в Пензу месяца за полтора до приезда моего в нее. Он никогда так высоко не поднимался, как Сперанский, был неодинакового с ним характера; только участь их во многом имела сходство. Отец его (протоиерей Петр, говорили) принадлежал к малороссийскому дворянству. Я повторю вопрос: до Екатерины существовало ли малороссийское дворянство? Были богатые и небогатые владельцы, чиновные и нечиновные, и наконец, простые казаки. Родственник его (да полно, не родной ли дядя?) Захар Яковлевич Карнеев, весьма умный человек, впоследствии сенатор, открыл ему дорогу по службе. Будучи в тесной связи с мартинистами, он поручил его милостям фельдмаршала Репнина, великого их покровителя. Последний записал его сперва в Измайловский полк, а потом взял к себе адъютантом. Сначала, при Павле, князь Репнин был честим, но вскоре потом, как и все другие, попал к нему в немилость и принужден был оставить службу со всеми

своими адъютантами. Он сохранил однако же довольно кредиту, чтобы внуку своему (что тогда было весьма трудно) выпросить дозволение ехать за границу: с ним и Лубяновский путешествовал по Германии и Италии. Дабы сколько-нибудь умножить благосостояние свое, он с пользою для себя употребил свободное время, стал переводить довольно изрядным русским языком тогдашних немецких мечтателей, Юнга-Штилдинга, Сведенборга и, между прочим, *Тоску по отчизне*. По возвращении, молодой Репнин женился на Разумовской, двоюродной сестре графини Кочубей, жены министра. По всем сим украинским связям, Лубяновский, в чине коллежского асессора, попал в последнем в секретари. Должность эта была важная, ибо министры тогда не имели не только директоров, но даже и правителей канцелярии. Тогда Лубяновский познал истинное призвание свое: он не рожден был ни богословом, ни сектатором, ни литератором, а весьма искусным администратором и судьей. Без службы самые прежние произведения его остались бы неизвестны; но как все губернаторы имели до него де-

ло, то всякой из них рад был угодить ему покупкою за дорогую цену сотни экземпляров совсем не распроданных его творений. Сие было слабым началом сделанной им огромной Фортуны, по примеру начальника его Кочубея.

Он так быстро поднялся и так много прославился, что уже в 1809 году сам Государь избрал его руководителем молодого принца Ольденбургского по правительственной части. Он пожалован статс-секретарем и вместе с тем назначен директором департамента путей сообщения. В Твери с Болотниковым разделили они между собою власть. Один забрал к себе в руки часть придворную, другой начал почитать себя главным директором путей сообщения и генерал-губернатором трех губерний, забывая, что принц только второстепенное тут лицо и не угадав, что высокоумная Великая Княгиня долго не потерпит самоуправной власти двух наставников. Болотникова скоро умела она спровадить, умом же Лубяновского уважала и несколько времени выносила его. Но ум имеет разные свойства, и в числе их есть такт, врожденное чувство при-

личия, которое иногда приобретается и навыком; а этот человек был его вовсе лишен. С каждым днем становясь более дерзким, более повелительным с светлейшим начальником своим, он раз до того забылся, что самой Великой Княгине сказал что-то такое, чего бы не могла вынести и жена частного человека. Вообще замечена, как между многими из коренных жителей Москвы, так и, начиная с архиереев, почти во всех воспитанниках Духовных Академий и Семинарий, какая-то беспощадность к чужому самолюбию. Екатерина Павловна не задумалась и в тот же день отправила курьера к Государю с просьбою, чтобы Лубяновский был удален от должности, или ей самой дозволено было оставить Тверь. Во удовлетворение её требования он был отставлен от службы с тем, чтобы, пока она жива, он принят в нее быть не мог. Она скончалась во цвете лет, и через четыре месяца после её кончины он назначен в Пензу губернатором.

Я нашел его посреди первоначального любезничанья с помещиками. Почитая себя тут более оседлым чем Сперанский, он замышлял

следовать совсем иной системе и стараться исправлять все упущения, сделанные в управление его и Голицына. Он начал жить довольно роскошно и открыто, чему много способствовало большое состояние Александры Яковлевны, дочери генерал-майора Якова Даниловича Мерлина, на которой успел он жениться еще до отставки своей. Она была женщина довольно капризная, только добрая и совсем невзыскательная. Новый губернатор казался совершенно доволен, ибо мог говорить высокопарно, обильно и протяжно, везде встречая молчаливых и покорных слушателей. Это происходило не от, уважения, не от страха, а оттого, что предметы, коих касался он, хотя довольно обыкновенные, выходили однако же из круга понятий большей части тогдашних дворян, кои преимущественно занимались сельским хозяйством, псовой охотой и внутренними политическими Пензенскими известиями. Только дурачества, ребячества, как было при Голицыне, следов не осталось. Вообще Пенза находилась между приятным воспоминанием о Сперанском и еще приятнейшими ожиданиями от Лубянов-

ского; всё сулило ей блаженные дни, и если они не пришли, не знаю кого в том винить.

Лубяновский отменно ладил тогда с моими и, видя во мне как бы преемника своего преемника в департаменте им образованном, Серебрякова, к ласкам своим примешивал особое уважение.

На всё что живо напоминает нам былое, мы смотрим с удовольствием: я нашел ту же ярмарку, которую знал лет около двадцати, тот же воксал в Горихвостовом саду, те же из лубков сколоченные грязные лавки на нижнем базаре, встретил несколько добрых, давно знакомых мне людей, их посетил (а не могилы их, как лет двадцать спустя пришлось мне сие сделать). Наружный вид доброго согласия и спокойствия, который царствовал в это время, и атмосфера упитанная радостью, которую дышал я посреди многочисленного тогда семейства моего, делали пребывание мое в Пензе столь необычайно приятным, что мне желательно было продлить его по крайней мере еще на месяц. Но я опасался огорчить и рассердить начальника моего и должен был 5 июля оставить сей город, получив

от родительницы моей обещание приехать дней через десять со всем семейством навещать меня и посмотреть на Нижегородскую ярмарку.

XIII

В *Нижнем.*

По возвращении в Нижний Новгород, я нашел Бетанкура не слишком опечаленным моим отсутствием. При отъезде сдал я дела свои Ранду. Они не имели великой важности, ибо касались единственно ярмарочного строения, также и раздачи лавок во временном деревянном гостинном дворе, которая, не знаю почему, отдана была в наше распоряжение. Всё, что представляет какой-нибудь косвенный барыш, всегда возбуждает живейшее участие в людях, которые любят наживаться. Будучи мастером докладывать, Ранд заметил сверх того, что если главное управление путей сообщения почитал тогда Бетанкур великою для себя тягостью, за то ярмарка была любимой его забавой, его игрушкой, посредством которой он может более вкрасться в его доверен-

ность. Он даже всепокорнейше предлагал мне не столь усердно заниматься такою пустою частью, а более употреблять его на то. Я однако же отказался от его сотрудничества, ибо без того что бы оставалось мне делать?

Прямо против казенного дома, под горой, в котором мы все вместе жили, наведен был длинный мост через Оку, по которому ездили на ярмарку. Правая сторона плоского места, к которому вел он, занята была временными деревянными лавками и балаганами; на левой кипели тысячи работающего народа, и быстро подымалась огромная насыпь, недоступная волнам двух великих рек во время их разлива. Важность этой операции доказывается великим числом инженерных штаб и обер-офицеров, в Нижний по сему делу нагнанных.

Подполковник, барон Андрей Карлович Боден, не занимался производством работ: ему поручена была другая ветвь общественных доходов, постройка, починка деревянных давок и размещение в них торговцев; тут, кажется, он на руку охулки не положил. Он был немец тихий, обходительный, изворотливый,

как в обществе, так и в делах старающийся остаться незаметным, не позволяющий себе входить ни в какие суждения, ибо все помышления его направлены были к собственным выгодам[19]. Сестра его, некогда красавица, была в замужестве за испанским консулом Коломби, и великая приятельница с семейством Бетанкура, отчего и он сблизился с главою этого семейства и из артиллерии перешел недавно в ведомство путей сообщения. Боде был женат на дочери уже умершего лейб-медика барона Моренгейма и сестре известного дипломата сего имени, долго употребленного в Варшаве. Теща и свояченица-дева жили с ним тут вместе, и дом его, с утра до до вечера открытый всей нашей Бетанкурщине, среди доярмарочного безлюдья, подобно другим заграничным клубам, назывался ресурсом.

Другой подполковник, испанец Бауса, слегка либерал, недовольный Фердинандом VII, и в котором кастиланская гордость более походила на немецкую чопорность, другом своим Бетанкуром, года за два перед тем, был выписан из Парижа. Он начальствовал над други-

ми инженерами, заведовал всеми работами, и, сколько я мог понимать, дело свое смыслил.

Того нельзя было сказать о двух других испанцах, Виадо и Эспехо, также недовольных как Бауса, и во время заграничной поездки моей, под его покровительство из Парижа прибывших в Петербург. Я удивился наряду их, когда увидел его. Он состоял из весьма поношенных фрака, горохового или кирпичного цвета, старого покроя, и голубых панталон с ботфортами. Почти вслед за ними приехав из города, в котором за дешевую цену можно было довольно щеголевато нарядиться, я должен был заключить, что они в нём претерпевали крайнюю нищету. Вероятно многие из них находились в одинаковом с ними положении, оставив отечество. Оно же в это время уже лишилось и Мексики, и Перу, и для сынов его Россия, Бетанкурор вновь открытая страна, могла некоторым образом заменить их. Мне казалось, что инженерную науку едва ли они более меня знают; всё равно: как великих искусников без экзамена их приняли в службу, первого капитаном, последнего

поручиком, и отправили в Нижний Новгород. Они были ребята добрые, смирные, без претензий; Виадо, маленький, толстенный, с небольшим ястребиным, а Эспехо, маленький, худенький, с большим орлиным носом. Оба они напоминали собой героев Сервантеса, один Санхо-Пансу, другой Дон-Кишота. Через три месяца тут нашел я их не только переряженными, даже перерожденными. Оливковый цвет лица их как будто выяснился, они смотрели весело, в мундирах всегда с иголочки были одеты, имели лихих лошадей и славные дрожки, часто давали у себя завтраки и находили, что Нижний — Эльдорадо[20].

Тут находился еще молодой поручик Петр Данилович Гетман, меньшей брат члена строительного комитета и служащего в нём под начальством моим чиновника. Про него точно можно было сказать, что водой не замутит: тише человека я не знавал. В разнообразии своем природа создает людей, наружностью и характером более или менее схожих на всякого рода животных; между ними встречаются и горлицы, и тигры. В Гетмане еще более видна была прихоть природы; она

образец нашла ему между растениями, она сотворила его плющом. Всякий прямой начальник делался для него необходимым деревом. Он совершенно прилепился, привился к Баусе: когда смерть повалила сей небольшой испанский кедр, не знаю около какого русского дуба обвился он?

Между сими иностранцами можно было, наконец, найти и одного русского. И кого же еще? Я люблю употреблять старинные наши поговорки, по мнению моему, чрезвычайно выразительные, и потому двадцатипятилетнего капитана Алексея Ивановича Рокасовского назову в сем случае отметным сободем. Одна необычайная его скромность и ослепленное самолюбие его товарищей могли не дать им почувствовать великого превосходства его перед ними. Отец его, отставной Екатерининский полковник, старался дать ему с братом Платоном самое лучшее образование и совершенно в том успел. Стан был у него самый стройный, лицо, без настоящей красоты, самое миловидное, все движения благородные, а внутренние достоинства его превосходили еще сии наружные преимущества. По-

знания свои выказывал он в делах, а не на словах, был деятелен без суетливости и осторожен, благоразумен без малейшей хитрости. Оттого-то был он терпим всеми иностранцами и любим всеми русскими. Судьба будет весьма несправедлива, думал я, если когда-нибудь этого юношу не поставит на высокую степень: спасибо ей, она исполнила мои желания.

Мне нужно было наперед представить общество людей, с которыми почти каждый день я вместе должен был обедать, и которых по несколько раз в день я видел.

С городскими жителями мы имели мало сношений, исключая одного, именно гражданского губернатора, Александра Семеновича Крюкова. Он был при Екатерине офицером конной гвардии. Тогда была также, как и ныне, не весьма похвальная мода разоряться на содержание преимущественно какой-нибудь иностранки или актрисы. Часто эти женщины, по приобретении большей части имения своих содержателей, с этим приданым за них же выходили замуж. Я не думаю, чтобы скромная, прекрасная и бедная англичанка, к

которой привязался Крюков, была в числе их; только сожитие их предшествовало их супружеству. Госпожа Бетанкур, также англичанка, в 1818 году посетив Нижний, познакомилась и сблизилась с сею единокормкою, женой вице-губернатора. А как в этом же году вышли большие неприятности у губернатора Быховца с её мужем, то вследствие их первый был отставлен и, по ходатайству последнего, Крюков назначен был губернатором. Устрашенный примером своего предместника и обязанный новою должностью своею Бетанкуру, г. Крюков, и без того слишком мягконравный, совсем отдал себя ему в кабалу. Он казался чиновником, принадлежащим к его свите, и со всеми нами, особенно со мною, был не только ласков, даже угодлив. А меня это возмущало: я видел в этом совершенный упадок губернаторского звания, которое, вспоминая отца моего, так высоко я ценил.

Мы часто его посещали: дом его вместе с нашим и с домом барона Воде составлял как бы один. За неимением казенного губернаторского дома жил он в собственном весьма изрядном, пестро и довольно изукрашенном.

Лучшим украшением одного служила единственная дочь его, очень молодая, но уже замужняя, княгиня Надежда Александровна Черкасская. Она еще более походила на англичанку чем мать. Пусть заглянут в лучший английский кипсек и выберут прелестнейшее из женских лиц: с ним только можно сравнить красоту её в восемнадцать лет. Старость или безобразие мужа красивой жены всегда у людей влюбчивых рождает надежды, умножают желания. Князь Черкасской хотя был молод, богат, но при весьма подлой наружности был самая бессловесная тварь. Вот отчего, начиная от шестидесятипятилетнего Бетанкура до четырнадцатилетнего сына его Альфонса, мы все были влюблены в его княгиню. Она же смотрела так невинно и благосклонно вместе, что не любить её было столь же невозможно, как ревновать или подозревать в чём-нибудь. Я не понимаю, как отец её не попользовался сим нежным расположением нашего старика, чтобы держать его в своей зависимости. Напротив, сей последний необычайную его снисходительность, по мнению моему, часто слишком употреблял во

зло.

Еще был один человек, который приплелся к нашему обществу: это был полицмейстер Владимир Савич ...в. Будучи офицером гвардии в Преображенском полку, находился он в Аустерлицком сражении. В этот ужасный день он так много набрался страху, что, по возвращении из похода, поспешил оставить военную службу. Не знаю, замечено ли это было, заставили ли его выйти; только после того долго и по гражданской части определить его не хотели. Ему удалось по выборам попасть в исправники — должность, которой отставные гвардии офицеры брезгали; но что ему было до чести, лишь была бы нажива? Зная деятельность его, Крюков через Бетанкура выпросил ему должность, на которой я его нашел. Человек был замечательный! Невозможно, чтобы подлость могла идти далее, чем у него: он даже не брал никакого труда ее скрывать; нужным людям делаться нужным, вот было его правило. Как искусно умел он навязывать всякого рода услуги тем, в коих искал! Как был он согбен перед высшими! Как лицо его без слов всегда говорило им: что

прикажете? Как дерзок и нестерпим с теми, кои в нём имели нужду! Как ненавидим дворянами и жителями! Уверяют, что после того, по приезде в Нижний всякого сильного при дворе человека, что-нибудь загоралось в этом городе и наперед приготовленными к тому средствами тотчас потухало; а он, вымаранный сажей, как бы из огня, спешил явиться к вельможе, чтобы его успокоить. Гадко о нём вспомнить. Такие люди везде есть; жаль, что у нас только имеют они продолжительные успехи[21].

Среди сего малого круга жил я до половины июля. Город был весьма немногочислен; в нём оставались одни только должностные лица; помещики же все разъехались по деревням и вместе с толпами иногородних к началу ярмарки должны были только приехать; следственно мне никакого почти не было случая с ними познакомиться. С барабанным боем, 15-го июля, ярмарка была открыта; но никого почти еще не было, и купцы только что начинали раскладывать свои товары. Прежде, бывало, оканчивалась она 25-го числа, в день Св. Макария, а с перенесением её в

Нижний Новгород, каждый год опаздывают с ее открытием, так что 25-го июля едва начинается она, а торг продолжается весь август.

Родные мои сдержали слово. Покойная мать с братом моим, с двумя сестрами и с зятем Ильей Ивановичем Алексеевым, приехали в Нижний Новгород 17-го числа, накануне дня рождения его и за три дня до его именин, отпраздновать их со мною и несколько дней потом погостить у меня. Я нанял им квартиру в верхней части города, в доме поляка Зарембы, не знаю как тут поселившегося, и первые дни безотлучно проводил с ними, так что не заметил, как ярмарочная площадь вдруг наводнилась тысячами простого народа на нее нахлынувшего.

Сделать подробное описание этой знаменитой ярмарки считаю здесь ненужным, да и невозможным; ибо из бумаг о сем предмете, бывших у меня в руках, не сохранил я ни одной. В изданной о том книге г. Зубовым видно, что работы, производившиеся пять лет, стоили казне одиннадцать миллионов ассигнациями, тогда как, сколько я припомню, в смете и трех не показано было. Из этой же

книги видно, что каменный гостиный двор заключает в себе 2520 лавок, но сколько получается сбора, того, к сожалению, не сказано; а желательно бы знать, выручает ли казна хотя шесть процентов с издержанного ею капитала? В мое время, если не ошибаюсь, с деревянных лавок получалось было не с большим сто тысяч рублей ассигнациями.

Маленький город, с маленьким дворцом, с храмами православным и иноверными, в котором полтора месяца кишит до двухсот тысяч приезжих и пришедших, не удалось мне видеть, а только возвышение грунта для его построения. Что же касается до временной ярмарки, я находил, что, в самом большом размере, она походит на Пензенскую. Также из досок сколоченные ряды, только в некотором от них расстоянии прочные строения, театр, трактиры, бани. Там только во всякое время дозволено было разводить огонь. Не знаю почему один купец Колесов серед ярмарки пользовался той же привилегией. У него, говорили, была молодая жена, которую он ко всем ревновал, с которою не хотел разлучаться и для того, за большие деньги, вы-

просил себе право построить хотя временное, но прочное помещение. Он был царем Китайской у нас торговли, через его руки проходил весь чай, который распивается в России, и одних пошлин, говорили, платил он более ста тысяч рублей ассигнациями. Такому человеку снисходительность оказать можно было. Невидимая часть ярмарки была самая важная: оптовая продажа и вообще все большие торговые сделки, которые, за неимением биржи, совершались на домах.

Я упомянул о временном ярмарочном театре; был еще в городе другой, деревянный, постоянный. Надобно знать, что в царствование Екатерины, когда русские бегом бежали навстречу к просвещению, они воспринимали преимущественно, как народ молодой, все новые забавы, которые представлял им Запад: оттого-то так много расплодилось домашних оркестров и трупп. В каждом губернском городе был обыкновенно один помещик-забавник или, лучше сказать, забавитель публики. В одной Пензе, как видели, было их некогда трое. Сего мало: почти в каждой губернии был еще один помещик-тиран,

обыкновенно человек богатый, а иногда знатный и чиновный. Безответные крестьяне и дворяне не имели никаких причин на них жаловаться: за то горе соседям, не только мелкопоместным, даже зажиточным дворянам, когда они отказывались исполнять их прихоти. Первых они дарили, последних часто угощали у себя грубо-роскошною трапезой. Но коль скоро произойдут какие-нибудь несогласия, возбудится в них досада, они не удовольствуются одними обыкновенными неприятностями: потравой полей, порубкой леса: они посягали на их личность, с ватагой врывались в их селения, с тем, чтоб иногда предавать их телесному наказанию. Непонятно, как такое жестокое самоуправие могло быть терпимо. Для такой нравственной силы однако богатства было бы недостаточно: нужны были смелость и великая твердость воли. За то эти люди всем располагали на выборах: исправники трепетали пред ними, и сами губернаторы старались обходиться с ними осторожнее.

Учредителем Нижегородского театра был меньшой брат богатого в Москве князя, Бориса Григорьевича Шаховского, бедный князь

Николай Григорьевич. Оба одержимы были сильно сценоманией, но старший имел актеров для своей забавы, меньшей для прибыли. Странно видеть человека, когда он берется совсем не за свое дело: этот Шаховской не имел никакого понятия ни о музыке, ни о драматическом искусстве, а между тем ужасным образом законодательствовал в своем закулисном царстве. Всё, что ему казалось несколько неприличным или двусмысленным, он беспощадно выкидывал из пьес; в труппе своей вводил монастырскую дисциплину, требовал величайшей благопристойности на сцене, так чтобы актер во время игры никогда не мог коснуться актрисы, находился бы всегда от неё не менее как на аршин, и когда она должна была падать в обморок, только примерно поддерживал ее. После того можно себе представить, как движения их были свободны и ловки. Я не имел довольно пристрастия к Пензе, чтобы актеров её предпочесть Нижегородским, однако ж и этим перед теми преимущества дать не могу; вообще, трудно мне решить, которые из них были хуже. Вот еще одна странность Шаховского: он находил

(вероятно, из экономических видов), что сцена производит гораздо более эффекта, когда она одна только освещена, а все другие части театра погружены во тьму. Оттого-то в партере можно было в жмурки играть, а в ложах, чтобы рассмотреть друг друга в лицо, всякой привозил с собою кто восковую, кто сальную свечку, а иные даже лампы. Он к нам был чрезвычайно милостив, дал Бетанкуру даром ложу и поднес билет на все летние представления; только к этой щедроте хотя бы огарок прибавил. И этот друг Талии и Момуса был молчаливый, мрачный и невзрачный старичок. У него была жена гораздо моложе его, отменно добрая, но без всякого образования, да три подрастающих дочери, которых после, не знаю, кому он роздал.

Сверх того, в самом городе была еще зала, не весьма огромная и не весьма красивая, в которой собирались дворяне выбирать друг друга в должности, а зимой играть в карты и танцевать. Я видел ее еще до ярмарки, когда дворянство Бетанкуру давало бал. Постоянным старшиной этого собрания был тот же самый печальный Шаховской, следствен-

но, — источником всех городских увеселений.

Я представил веселую, забавную (хотя не слишком) сторону тогдашнего Нижегородского житья, а затем вот и ужасная. Всеповелительным деспотом с давних пор проживал в сей губернии сын одного грузинского царевича, князь Егор Александрович. Я уже означил вкратце деяния его, когда говорил о подобных ему, коих число впрочем не было велико и из коих один только Рязанский Лев Дмитриевич Измайлов мог равняться с ним в необузданности. Не знаю, первые ли шаги его ознаменованы были насилиями или он постепенно достиг до власти, ни на каких законах не основанной? Царского происхождения, с полуденною кровью, с пылкими страстями, с крутым нравом, князь Грузинский точно княжил в богатом и обширном селении своем Лыскове, на берегу Волги, насупротив маленького города Макарьева. Все приезжие, покупатели и торгующие, находя в Лыскове гораздо более удобств и простора, нанимали тут квартиры во время ярмарки, и это время для Грузинского было самое блистательное и прибыльное в году, так что с каждым годом, казалось, сила

его умножается. Переведение этого огромного торжища в Нижний Новгород нанесло первый, но решительный удар его могуществу. Я не нашел его столь страшным, хотя показалось мне, что глаза его выражают еще утихающую бурю. Видно к приезжим был он милостивее; ибо я не могу нахвалиться его приемом, когда у него обедал. Он был в это время вдов: жена его урожденная Бахметева, скончалась во цвете лет, замученная столько же частыми изъяснениями его бешеной любви, как и порывами его неукротимого гнева, и оставила ему сына и дочь. Сын, офицер гвардии, умер еще в молодости; а единственная, прелестная тогда дочь его, убежала общества и, вопреки обычаям других красавиц, столь же тщательно скрывала красоту свою, как те ее любят показывать. Впоследствии она была замужем за одним весьма мне знакомым графом Толстым[22]. Не знаю, как ныне, а прежде в некоторых губернских городах существовала еще одна особенная должность, не показанная в высочайше утвержденных штатах, а не менее того полуофициальная, должность не жены, а подруги губернатора. В

Нижнем исправляла ее тогда одна госпожа Жданова, дочь почтмейстера Руднева. Ей было лет за тридцать, а она была еще женщина свежая, красивая, видная. Лет восемнадцати вступила она в нее; с тех пор переменялись три или четыре губернатора: она оставалась верна не человеку, а месту. Всякий новый начальник губернии спешил утвердить ее в избранном ею звании. Должно полагать в ней, также как в польках и еврейках, чрезмерную любовь ко власти. Впрочем хотя всюду была она принята, но везде с холодностью. Снисходительного супруга, всегда жившего с нею в согласии, мне не случилось видеть или, лучше сказать, заметить. Желая ничего примечательного не пропустить в посещенном мною городе, упомянул я и об ней.

Сначала только, по приезде моих родных, мог я несколько дней провести с ними вместе. Вскоре целыми гурьбами привалили пензенцы, саратовцы и помещики других соседних губерний. Между ними было много знакомых, частых посетителей; я тоже должен был воротиться к умножившимся занятиям моим. Итак, будучи развлечены, мы были по-

чти разлучены. Всё зашумело, всё задвигалось в городе; я говорю, в самом городе, ибо в верхней части его можно было только найти помещение. Кунавинская слобода, примыкающая к ярмарочной площади, состояла тогда вся из хижин; кой-где начинали однако же подыматься в ней хорошие строения. Долго после того порядочные люди не решались в ней жить: она почиталась местом развратных увеселений.

Кстати о приискании помещений: в рассказе моем я не должен пропустить один случай, который показывает излишнюю снисходительность русских к иностранцам и оттого их наглость с ними. В числе приезжих находился один турист, самый простой джентльмен, даже с весьма ледащею наружностью. В дорожном платье явился он прямо к Бетанкуру с письмом от кого-то и с требованием, чтоб ему отыскана была квартира. Начальник мой был великий энтузиаст всего британского, был коленопреклонен перед отчизной механики и жены своей. Он немного затруднился; тогда англичанин, указывая на меня, сказал: да велите вот ему. «И подлинно, — сказал Бе-

танкур, — не возьмете ли на себя?» Молча взглянул я на него; он понял немой, исполненный негодования мой ответ и прибавил: «Или лучше прикажите кому-нибудь этим заняться». — «Я поручу этого господина попечениям курьера вашего превосходительства»; а курьеру наказал спровадить его в Кунавинскую слободу.

Видно, он был не слишком важная фигура; потому что ни Бетанкур, ни губернатор ни разу не пригласили его к себе, и никто не взял труда узнать, как он прозывается. Наконец, явился он в собрании на бале, в странном фраке с длинными фалдами, с огромною лысиной и с маленьким лорнетом на шнурке, в правый глаз вставленным, что показалось великою новостью. Он остановился посреди залы, вынул из кармана записную книжку и карандаш, а потом, окидывая взорами общество, стал что-то записывать или рисовать. Иные смотрели с уважением и любопытством на оригинальность, которую всякий подданный великой морской державы, лишь бы не совсем принадлежал к простонародью, обязан на себя накидывать; другие находили это

не совсем приличным; я один чувствовал сильное негодование. Но тут случился один молодой человек, который вскипел гневом. Он принадлежал к одной небогатой ветви Нарышкиных, в Нижегородской губернии поселившейся; звали его Петр Александрович. Кроме фамильного имени в нём не было ничего блестящего, он был простой русский человек, дорожил народною честью и тем самым казался отпадшим членом от знатных родов. Он с видом ярости подошел к Британцу и, опустив голос, молвил ему нечто, вероятно, весьма энергическое. Тот посмотрел на него с удивлением, весьма хладнокровно положил книжку в карман и скрылся в толпе. И после того этот же неуч будет обвинять северных варваров в негостеприимстве: попытался бы какой-нибудь русский сделать тоже самое в Англии!

Устав от шума, мать моя начинала собираться в обратный путь. Из знакомых, в Нижнем ею найденных, чаще всех видела она две духовные особы Первый был епархиальный архиерей Моисей, прежде бывший епископом в Пензе. Он был добр, весел, еще не стар и

в церкви весьма красноречиво и назидательно проповедывал. Жаль только, что в гостинной было дело совсем иное: он всегда любил прищучивать и если шутки его не совсем были неблагопристойны, то по крайней мере довольно грубы. В глазах матери моей святость сана все недостатки его прикрывала; к тому же и сам он в разговорах с нею старался быть воздержнее. Другая особа была двоюродная сестра её, некогда вдова, Дарья Михайловна Новикова, урожденная Мартынова, сестра чудака Федора Михайловича и Натальи Михайловны Загоскиной, коих прошу не забывать. Тогда была она настоятельницей женского монастыря, во иноцех Дорофея. Она одарена была умом необыкновенным, характером гибким и твердым, предприимчивым и терпеливым и умела сливать честолюбие со смирением. После малочиновного и не весьма любимого мужа оставшись с тремя детьми в недостаточном положении, ей было душно в провинциальном свете, где никто её не понимал и где презирали её бедностью. Она скрылась от него в стенах монастыря. В это время один духовный вербун, архимандрит Изра-

иль, искусно склонял пожилых девиц и вдов к иноческой жизни; по его совету рассталась она с миром. Но простою монахиней она долго оставаться не могла: она в Пензенском же монастыре составила особливую общину; самые несогласия её с другими инокинями обратили на нее внимание начальства, и вскоре потом была она назначена игуменьей Нижегородского монастыря. В нём была она совершенною царицей, когда пол-Москвы от неприятеля бежало в Нижний. Все барыни, и между ими весьма знатные, искали её знакомства, и она всех наделяла христианскими утешениями. С этого времени вошла она в связи с обеими столицами и сделалась великим авторитетом, на который сами архиереи смотрели с уважением и не без страха.

С 1-го августа по 6-е, то есть от первого Спаса по второй была ярмарка, как говорили, с самом разгаре; куда ни поедешь, в ряды ли, по городу ли, везде скачка, везде суматоха. Роскошным обедам также конца не было у губернатора, у князя Грузинского, а из приезжих — у богача-генерала Дмитрия Дмитриевича Шепелева, да у Пензенских Хрущовых, и

еще у некоторых других. О скучных театре и балах в благородном собрании уже не говорю. Для меня величайшим удовольствием было ходить между простыми торговцами, прислушиваться к их толкам, дивиться торговой оборотливости русских людей. Это делал я почти всякий раз, когда не был с своими. Для них скоро пришел день отъезда. Отслушав в день Преображения обедню в старинном соборе, в котором находились могилы князей и Минина, и который после, по ветхости, должны были разобрать, мать моя с семейством отправилась домой. Отъезд её был как будто сигналом и для других. Однако же не все тронулись вдруг; отлив совершился постепенно. Только через несколько дней и Бетанкур, к удовольствию моему, начал поговаривать о Петербурге, и даже 1-е сентября назначил последним сроком для отбытия нашего. Мне же судьба не велела так скоро расстаться с Нижним, как увидим далее.

XIV

Болезнь. — *Близость смерти.* — *Возвращение в Петербург.*

Лечение мое парижское, не сопровождаемое должным воздержанием, оставило во мне жестокие следы. Весь физический состав мой был потрясен, и хотя боли, ломота совершенно прекратились, я чувствовал изнеможение сил телесных и умственных. Другие, может быть, не замечали сего; я сам старался обманывать себя на этот счет и боролся с возрастающими недугами. Приметно исчезала во мне деятельность и овладевала мною тягостная лень. Один г-н Ранд умел это подметить и старался поддерживать мое бездействие. Двухнедельная моя отлучка в Пензу и трехнедельное пребывание родных моих в Нижнем, когда он уверил Бетанкура, что на это время надобно оставить меня совершенно свободным, дал ему случай докладывать по делам моим. Когда же я принялся вновь за работу, всё валилось у меня из рук, что и сам Бетанкур мог уже заметить.

Лето стояло самое мудреное: несносные жары беспрестанно сменяли сырую, холодную погоду и были ею сменяемы; поле, на котором выстроены ряды, на котором толпились десятки тысяч народу, было то чрезмерно увлажяемо проливными дождями, то от сильных солнечных лучей издавало зловредные испарения, и уже начинали показываться заразительные болезни. Может быть, и это имело влияние на здоровье мое. Вдруг без всякой причины одолела меня тоска неизъяснимая, ко всему получил я отвращение, и всё возвещало мне, что со мною случится что-нибудь необыкновенное.

Так прошло несколько дней, как, наконец, в воскресенье, 17 августа, встав от обеденного стола, за которым я ни до чего не касался, мне пришла охота куда-нибудь бежать. Я пошел на ярмарку; там большая часть лавок была заперта, в других поспешно укладывались, воздух был теплый, но небо мрачное, и всё казалось уныло. Во мне родилось такое отчаяние, что, проходя по мосту, я готов был броситься в Оку. Меня внезапно обхватило холодом, я бегом побежал домой, и хотя скорее лог

в постелю, несколько часов не мог избавиться от озноба.

На другое утро, после беспокойного сна, при необычной слабости, чувствуя несносный жар и холод вместе, начал я вставать с постели и надевал сапоги, когда нечаянно вошел ко мне Маничаров. Он попятился от ужаса: так в одну ночь лицо мое изменилось. Тщетно уговаривал он меня успокоиться; я его не послушался и медленно продолжал одеваться. Тогда побежал он доложить о моем упрямстве, и вскоре пришел Ранд именем генерала просить меня, а если нужно требовать, чтобы я лег в постель и послал за врачом. На первое я согласился, на второе нет. Как Базиля в *Фигаровой Женитьбе* укладывали человека, в котором всё показывало отсутствие рассудка. К вечеру болезнь так усилилась, что сам Бетанкур привел с собою доктора Либошица. Обнаружилась горячка, и самая злокачественная, гнилая, нервная; не дали ей настоящего имени тифуса, потому что, кажется, его еще не знали.

Самое жестокое в этого рода болезнях есть сохранение памяти при мучении и тоске

нестерпимых. Я помню, как всё тело мое изъязвлено было синаписмами и шпанскими мухами, что, конечно, оттягивая жар, умножало однако же нервные страдания. Еще более помню я совершенно родственные, нежные попечения обо мне людей мне чуждых. Как забыть мне и преданность верного и пьяного слуги моего Василия, который в это время до водки не касался и ни дня, ни ночи вокруг меня не знал покою! Хотелось бы забыть мне бесчеловечную, грубую алчность моего врача. Дело естественное: он был еврей, и едва ли крещеный; но тяжко-больному изъяслять опасение на счет уплаты за труды, когда его не станет, — мне кажется дело неслыханное. Дабы успокоить его, сказал я ему, что за то поручится мой начальник.

Наступил двенадцатый, решительный день, 28-ое августа. Либошиц пришел довольно рано, пощупал пульс, посмотрел на язык и ни слова не сказал, Я спросил его, отчего по всей коже моей показавшиеся сперва красные пятна превратились в фиолетовые, а тут сделались черными? «Да у вас и язык уже весь почернел», отвечал он. Кажется, доволь-

но бы сего приговора; он, выходя, остановился у дверей и вслух сказал слуге моему и случившемуся тут одному из инженерных офицеров: «Не мучьте его понапрасну, не давайте ему более лекарств; я думаю, он и суток не проживет». Я принял это довольно хладнокровно; не смею назвать это стоицизмом, а скорее остолбенением, каким-то душевным онемением. Пришел Бетанкур и, забывшись, стал при мне умыть руки уксусом, которым вся комната была накурена, как у чумных. Молча, одною рукой взял он меня за пульс, а в другой держа часы, считал пульсацию; вдруг с гневом отбросил мою руку и убежал: добрый старик рассердился на болезнь. За ним, все поодиночке начали приходить, как будто прощаться со мною. Не касаясь меня, становились они против меня, у ног моих. Со всеми говорил я свободно, ласково о близкой кончине моей, каждому изъявлял искреннее желание, после себя, всякого благополучия. Добрейший Маничаров плакал; даже Ранд, который ничего не любил кроме власти и денег, говорил непритворно-растроганным голосом. Мне кажется теперь, что тайная вражд-

да его против меня погасла тогда при дверях гроба. В полдень открылись двери, и торжественно вступила тетка моя, игуменья Дорофея. Она с важностью села против меня, и между нами начался следующий разговор:

— Знаешь ли ты, мой друг, в каком ты находишься положении?

— Знаю.

— Знаешь ли ты, что с часу на час ты должен ожидать смерти?

— Знаю.

— Чего же ты медлишь послать за священником, в ту минуту, когда должна решиться участь твоя в вечности?

— Уже поздно, — отвечал я, — теперь покаяние было бы действием страха. Я всегда веровал в Господа Бога и в Его милосердие; оно одно простит мне прегрешения мои во мзду немногих добрых дел и чувств.

Она продолжала красноречивые убеждения свои, а я вышел из терпения.

— Вы мне надоели, оставьте меня, — вскрикнул я, выпрямься перед нею пугалом, привидением; огонь, который пожирал существо мое, ярко заблестал во впадших глазах

моих. Она отворотилась с ужасом, как бы видя перед собою добычу демона; потом встала, и уходя промолвила:

— По крайней мере, позволь придти священнику со святою водой отслужить молебен.

— Хорошо, — отвечал я, — только часу в девятом вечера.

Про себя подумал я, что тогда уже он меня не застанет. Это было совершенное безумие, и неужели Всевышний строго бы осудил издыхающего сумасброда, когда и законы человеческие, по большей части столь несправедливые и жестокие, так снисходительны к умалишенным?

По выходе игуменьи, несколько часов остался я совершенно один, как будто всеми брошенный; и беспрестным бдением сам утомленный слуга мой в боковой комнате предался невольному сну. Жар больного воображения стал сильнее действовать в голове моей: одна нелепица сменяла другую. И вдруг на память пришла мне мать моя, о которой во время болезни ни разу я не подумал: до того всё переменилось во мне. Я представил се-

бе горесть её, когда обо мне получит она известие. За нею всё, что мне было любезно, мило, и люди, и места, потянулось передо мною прелестною цепью, которая так и притягивала меня к жизни, коей почитал уже я себя чуждым. Равнодушие, покорность моя к судьбе вдруг превратились в неистовство, в бешенство: я дерзнул самого Бога звать на суд, упрекал Его в жестокости, когда без всякой причины, вдали еще от старости, внезапно лишает Он меня всех даров Своих. Я вертелся, терзал грудь свою, кусал подушки; в душе своей чувствовал адское мучение. Изнеможенный перешел я к умилению. Сквозь опущенные шторы сияло мне заходящее солнце. «Его уже более не увижу, — подумал я; — дай хоть в последний раз взгляну на закат его, столь величественный за Окой». Откуда взялись у меня силы, я встал босой и, держась за стулья, вдоль стены, добрал до окна. Чуткий слуга мой, к счастью, услышав шорох, вскочил и входил в двери в то самое мгновение, когда силы меня оставляли; я зашатался и упал к нему на руки. Он и донес и дотащил меня до кровати, на которую уложил. Скоро

сказали, что пришел священник. «Хорошо». вот всё что мог я отвечать. Усадили меня в кресла, среди подушек, и начался молебен. Холодно, темно, всё повторял я слабеющим голосом. А небольшая комната моя наполнилась всеми любопытными, мне сожителями, и по желанию моему, более угаданному, дюжины две свеч горело. Громогласное чтение иерея мне казалось шёпотом, густой туман носился вокруг меня, оконечности тела моего, руки по локоть и ноги по колено, немели, остывали; слух, зрение покидали меня; я отходил. Молебен кончился, и священник, окропив меня святою водой, поднес к устам моим животворящий крест; бессознательным движением, немеющими руками ухватился я за него, как за спасение свое, и прижал к груди. После того уже без памяти положили меня на ложе. Я не умер, а погрузился в мертвый сон, тогда как перед тем редко на полчаса случалось мне забываться.

Надо мной совершилось чудо, точно чудо! Пусть уверяют, что сильное волнение, чувствуемое мною, к вечеру произвело перелом, для меня спасительный. Мне приятно думать,

и я в том твердо уверен, что Провидению угодно было, чтоб я еще пожил, погрешил, по-
дурачился, пострадал и пописал. А для чего
это? Неразгаданными Его тайнами мы окру-
жены, и бездельные причины как часто по-
рождают важные последствия. Видеть в себе
вечно Им избранное было бы слишком без-
рассудно, и я просто думаю, что когда висел я
над могилой и не упал в нее, на то была та же
самая воля, без которой волос не спадет с го-
ловы человеческой. Подробное описание этой
болезни иным покажется скучным. Но мно-
гим ли удавалось быть одною узкою чертой
отделенными от вечности и круто поворо-
тить от неё вспять? И те, с коими случалось
сие, не забывали ли того? А если и не забыва-
ли, то верно уже не изображали. Вот почему я
думаю, что для иных будет сие любопытно. Я
могу сказать, что я отведал смерти, и до того,
что в Петербурге, в Москве, успел прослыть
покойником: появление мое в сих столицах
могло одно поправить сию печальную репу-
тацию.

Утром на другой день Бетанкур прислал
узнать, в котором часу я скончался; ему отве-

чали, что я жив и сплю. Чтобы удостовериться в истине сего донесения, пришел он сам; так случилось, что в эту минуту я проснулся. Он повторил то, что делал накануне, и когда увидел, что быстрота и число пульсаций наполовину уменьшились, забыв опасность, бросился меня обнимать; это одно должно уже примирить меня с его памятью. После того впал я в летаргию, а когда и очнулся, не понимал уже ничего, что мне говорили, никого почти не узнавал и молот всякий вздор. Чрезмерное напряжение жизненных пружин до того ослабило мою голову, что когда мне стало легче, несколько дней я двух идей связать не мог. К вечеру в этот день, 29-го числа, приехал брат мой Павел Филиппович, за которым Бетанкур посылал в Пензу нарочного. Я с трудом и его мог распознать.

Между тем начальник мой со свитой совсем собрался в Петербург. Одного в пустом доме нельзя было меня оставить. На общем совете с братом положено на другой же день, 30-го, перевезти брэнное тело мое в наемную квартиру, к священнику Покровской церкви, на Большой Покровской улице. Ужасные му-

чения вынес я в этот Александров день: инженеры давали Бетанкуру прощальный обед, у него же самого наверху; полицеймейстер Смирнов хотел тоже подслужиться и привел музыкантов, которые загремели у меня под самыми окнами. Бетанкур в туже секунду велел прогнать их. И действительно, сильные звуки для расслабленных нервов — пытка. Пришедши почти в себя, я, говорят, завопил нечеловеческим голосом. Пока солнце не село, уложили меня в четвероместную карету и вместе с братом потащили вверх на гору. Трясая езда была для меня новою казнью; я не понимал, чего от меня хотят, что творят со мною, и жалобно выл. Бетанкур навестил меня 31-го числа; его узнал я, понял, что он приехал проститься, и слезы показались у меня на глазах. Чтобы успокоить меня, сказал он, что поручил меня попечениям рядом живущей со мною человеколюбивой баронессы Моренгейм, тещи барона Боде. Если б я и понял его, то мало был бы утешен, ибо к этой даме не чувствовал ни малейшей симпатии. 1-го сентября чуть свет уехал он.

Выздоровление не вдруг превращается в

приятное чувство: надобно сперва пройти через тоску, действие безмерной слабости. Я, бывало, не смел глаза закрыть: страшные чудовища, которые иногда являют фантасмагорические представления, ничто перед теми, которые мне мерещились. На другие страдания я жаловаться не смею: — они были мне полезны; сильный переворот в составе моем взволновал, расшевелил в нём всё дурное и выбросил наружу; все тело мое покрылось нарывами, которые совершенно очистили во мне кровь.

Мне, впрочем, было хорошо: со мною был брат мой, которого хотя всякий день куда-нибудь звали обедать, во который остальное время от меня не отлучался. Человеколюбивой Моренгейм я в глаза не видал; попечения её обо мне ограничивались присылкою жиденького супа с кухни своей. За то другая женщина, русская, игуменья, часто навещала меня; я не гнал её уже прочь, а с наслаждением внимал речам её, проникнутым христианскою нежностью. Я не дожидался совета её, чтобы 14-го сентября, в день Воздвижения Креста, через силу отправиться в церковь и

причаститься Св. Тайн. Не покидая жизни, а возвращаясь к ней, и в здравом смысле, хотел я очиститься святыми дарами. По совершении сего, вдруг так быстро стали приходить ко мне силы, без помощи лекарств, даже подкрепительных, о коих давно уже я слышать не хотел, что брат мой, не находи более присутствие свое для меня необходимым, через два дня, 16-го числа, отправился в обратный путь.

Через несколько дней я в состоянии был тоже сделать. Меня удерживали; мало знакомые, а иные вовсе незнакомые желали меня у себя видеть и в честь мою давали обеды, не из особого уважения какого, а из любопытства посмотреть на воскресшего, из гроба подъятого Лазаря. Сверх того пугали меня поздним осенним временем; но я во всём полагался на испытанное мною милосердие Божие; никогда еще вера моя в него так тверда не бывала. Какие обеты давал я тогда, и увы, как исполнил я их!

Итак, в уповании на помощь Господню, выехал я 28-го сентября, ровно через год после выезда моего из Парижа. Новое чудо! В

воздухе сделалось не тепло, а жарко как летом; только после вечерней прохлады скоро наступала осенняя стужа, но я уже был в Озябликовском погосте, где нашел теплый и покойный ночлег. Несколько дней сряду стояла такая погода; но дорога скоро меня утомила, более семидесяти верст в день я сделать не мог и всякую ночь останавливался. Вторую провел я в Муроме, третью во Владимире, четвертую, в день Покрова, в городе Покрове, пятую в Новой деревне. Коротенькую станцию до Москвы сделал я 3-го октября.

Ямщик привез меня в трактир Лейпциг, на Кузнецком мосту, от которого осталось лишь одно только имя: при общей поправке, перестройке, сочли его лишним и уничтожили. Поблизости я поспешил к приятелю моему Александру Григорьевичу Товарову; но он дом свой продал и поселился в Старой Конюшенной, в квартале, в счастливое время Москвы мало кому известном, но после пожара вошедшем в моду. После обеда Товаров приехал сам за мной и перетащил к себе. Мне еще очень нужны был дружеские беседы и попечения.

Мне бы следовало не останавливаться, но как быть! Тут только в Москве почувствовал я вполне то благосостояние, коим пользуются больные вскоре по выздоровлении. Пять лет перед тем оставил я ее в развалинах; тут не мог я налюбоваться белокаменной, красным солнышком постоянно освещаемую; много было в ней древнего, живописного, ничего старого, всё свежо, всё ново, всё выпрямлено, всё изукрашено. Впрочем, город был довольно пуст; невиданная вешняя теплота в глухую осень вероятно удерживала еще помещиков по деревням. Хозяин мой сам подговаривал меня ехать, пользоваться благоприятною погодой, которая со дня на день, с часу на час, может измениться. Я ни о чём не заботился; про то знает высший мой Хранитель, думал я. На Бога надейся, а сам не плошай, говорил мне Товаров.

Однако ж я послушал его и 11-го октября оставил Москву. Видно, и тут силы не совсем во мне пришли, ибо я ехал также медленно как из Нижнего. В самый день моего отъезда, небо из светло-голубого превратилось в серенькое, но дождя не было, и дорога была су-

хая. Только 13 числа, когда ночью въезжал я в Торжок, пошел первый дождик, сильный, летний, еще не осенний. На другой день воздух вдруг похолодел и отсырел, и я должен был бороться с дурною дорогой и с дурною погодой; но я как-то не унывал, тепло одевался, преимущественно ночевал в теплых ямских избах. За Новгородом сделалось мне гораздо хуже, когда 16-го числа должен я был рано остановиться на станции Чудово. Я думал, что не доеду до Петербурга, и немного трухнул. Хотя плоть была немощна, но дух еще довольно бодр; с ним собрался я, чтобы до свету 17-го оставить грязную избу, в которую нечаянно попал я на ночь. Тут нужна была твердость: строилось шоссе, его назначено было следующим летом проводить по той дороге, по которой надлежало мне ехать, и её не чинили. Хотя не совсем выяснено, сделался первый изрядный мороз, что у нас называют утренник; грязь не совсем застыла по бревенчатой дороге, где торчали вверх оледенелые бревешки, где образовавшиеся довольно глубокие лужи подернуло льдом: и тяжело, и скользко, и опасно. Четыре часа с половиною

нужно мне было, чтобы сделать двадцать пять верст до Померанья. И совершенно здоровому трудно бы было вынести; если бы Бог помог, в этот день хотя бы еще одну станцию отъехать, сказал я.

Лишь только издали завидел я вновь устроенную, славную станционную гостиницу померанскую, как всё переменилось. Куда вдруг девались облака? Без их дурного общества, солнце одно засверкало на небе почти с летнею теплотой, на всю зимнюю разлуку как будто нежно прощаясь с землей. Мне стало отрадно; к тому же, в эту осень только от Померании открыто было шоссе, еще твердое, не изъезженное; с радостным нетерпением помчался я по нём, и 32 версты до Тосны сделал с небольшим в два часа. Я думал, не остановиться ли мне в Ижоре; но когда в сумерки начал я подъезжать к этой станции, небо опять заволокло, и в воздухе кой-где стало показываться что-то похожее на белый пух; тогда я решил не дожидаться зимнего пути. В Царском Селе, чрез которое тогда ездили, настоящим образом пошел первый для меня снег. Метеорологические странности суть де-

ло обыкновенное в Петербурге; в один день видел я три времени года, и на одной неделе, после долгой засухи, был первый дождь, первый мороз и первый снег. На спуске Пулковой горы заметен уже был черный след колес по убеленной дороге. Лишь только поравнялся я с Среднею Рогаткой (ныне Четыре Руки), поднялся такой вихрь, такая буря, такая метелица, что если бы в степи, можно было бы заплутаться. По Петербургским улицам тяжело было ехать; когда же остановился я у подъезда моей казенной квартиры, прежде чем вышел я из коляски, надобно было отгребать снег, наваливший на кожаный фартук её.

Меня дожидались, и всё готово было к моему приезду. Какое наслаждение, наконец, быть у себя дома, в теплых, хорошо прибранных и хорошо освещенных комнатах! По великой усталости я скоро отправился спать. Когда на другое утро, 18-го октября, я проснулся, встал и посмотрел в окно, солнце опять еще сияло, только не грело, и весь Петербург разъезжал в санях, с которыми и не расставался до следующей весны.

Кончина Козодавлева и Вязмитинова. — Периоды по службе.

Сначала исполнил я первый долг: пошел помолиться к Спасу на Сенной; потом второй: явился в начальнику своему. Он что-то чересчур принял меня ласково. Тут не было ни малейшего притворства, а может быть некоторая совестливость. «После такой тяжелой болезни и трудной осенней дороги, вам необходимо успокоение, — сказал он; — я увольняю вас, по крайней мере, недели на три от всяких забот; отдохните, погуляйте на свободе, а потом опять примемся за дело». Я всегда был отменно доверчив; мне и в голову не вошло подозревать тут перемену намерений его на счет будущего служения моего.

Во время моего отсутствия, летом и осенью, произошла одна важная перемена в министерствах. Чтобы не забыть, должен упомянуть здесь о ней. Козодавлев, после кратковременных, но жестоких страданий, умер в июле месяце. Государь получил известие о

кончине его, если не ошибаюсь, в городе Архангельске. Он обозревал тогда весь Север государства своего и спешил увидеть Финляндию. Второпях, на всякий случай, поручил он временно его Министерство Внутренних Дел министру просвещения, всё тому же князю Александру Николаевичу Голицыну, который как будто на всё, а между тем ни на что кроме придворной службы, не годился, в чём сознаются ныне самые любимцы его. В начале октября, в самый день возвращения Императора, престарелый граф Вязмитинов совсем оделся, чтоб ехать во дворец, а пока присел и стал подписывать некоторые бумаги. Вдруг рука его остановилась: в одну минуту прекратились все жизненные его движения. С ним вместе скончалось и управляемое им Министерство Полиции.

Оно по прежнему вошло в состав Министерства Внутренних Дел и по прежнему поручено управлению графа Кочубея Он занимал место выше министерского, он был председателем одного из департаментов Государственного Совета, и привял только звание управляющего, с сохранением прежней долж-

ности. Одно чадолюбивое чувство могло его заставить вновь посвятить попечения свои искаженному детищу. В кратковременное им управление, любимцу царскому Голицыну полюбилась в нём почтовая часть, и он выпросил себе ее. Из неё составилось особое министерство под названием главного начальства над почтовым департаментом, и в сем виде оно и поныне существует. Сам Кочубей счел нужным передать Гурьеву департамент мануфактур и внутренней торговли. Нет, навсегда уже прошло блестящее время этого министерства.

Случаются обстоятельства в жизни, которые хотелось бы забыть; те, в коих находился я в конце 1819 года, из числа их; но изобразить их здесь для меня необходимость. Тримя неделями свободы и даже более, дарованными мне Бетанкуром, я охотно воспользовался. Как будто новорожденный, я вновь приступал к жизни; всё пленяло меня в ней, всё сияло мне в будущем. Бетанкур и семейство его были со мною любезнее чем когда-либо, звали обедать, на вечер, а о делах с ним ни слова.

Наконец, мне стало совестно, и я пришел

объявить Бетанкуру, что чувствую себя совершенно в силах вновь трудиться при нём. «По прямой вашей должности в Петербургском строительном комитете, вы всегда властны вступить в управление делами его; что же касается до других особых дел, Государем мне порученных, производством коих вы, по снисходительности вашей ко мне занимались, то как уже раз они поступили в канцелярию мою и несколько месяцев там находятся, взять их оттуда было бы напрасно: пусть остаются они у секретаря моего».

Что бы это значило? подумал я. Это значило, что Ранд меня оттирает, что, пользуясь отсутствием моим, он, всё более втираясь в доверенность бедного старика, неприметным образом овладел им. Не знаю, в чём исподволь обвинял он меня перед ним, в лености, в хворости или в неспособности? Но уже верно не в том, в чём всё главное управление путей сообщения могло уличить его. Я пропустил несколько дней, приготавливаясь к новому объяснению: звание директора департамента всё еще оставалось у меня в виду. Мне однако же пора было заметить, что всё переменилось

для меня. Обхождение со мною инженерных генералов осталось вежливым, как следовало; но не было уже той искательной приветливости, которую находил я в них до поездки в Нижний Новгород. Вельяшев не приглашал уже меня обедать, Саблуков перестал быть со мною словоохотен. Что еще более должно убедить меня в незамеченном мною падении моем, была удвоенная со мною любезность любезнейшего из французов, генерала Карбоньера, который один против Бетанкура составлял тогда тайную оппозицию, превратившуюся после в явную.

Вдруг сказали мне тайком, что готовится докладная записка к Императору, в которой титулярному советнику Ранду, в награду за его великие труды и в поощрение его великих способностей, без университетского аттестата, не в пример другим, испрашивается чин коллежского асессора и с сохранением прежней должности — звания правителя канцелярии. Правитель же канцелярии совета путей сообщения, надворный советник Хрущов, представлен к чину коллежского советника и к должности директора департамента,

на место действительного статского советника Серебрякова, которого уволить с пенсией.

Меня поразило это известие, так что едва поверил я ему. С сердцем, трепещущим от сожаления и досады, явился я к Бетанкуру и решился спросить об истине мне сказанного.

— Вас не обманули, — сказал он: — вчера Государь подписал указы о том.

— Генерал, — сказал я, — вам известно, что я не искал этого места, но со слов ваших желал его получить и в получении был уверен. Вы можете себе представить, сколь прискорбно мне должно быть это предпочтение.

— Как быть! — отвечал он. — Я заметил, что вы бы никогда не поладили с г. Рандом, у вас совсем разные понятия о вещах; г. Кручкова я почти не знаю, но он очень хорошо знает свою часть, с которой ознакомиться вам нужно было бы время; вы довольно упорны, с Рандом была бы у вас вечная распря; каково же бы мне было беспрестанно мирить вас! С Кручковым этого не будет.

— Вероятно, вы удостоверились в том, что о сих господах первоначально даны вам были ложные понятия; что же касается до меня, то

позвольте мне сохранить на счет их то мнение, которое вы мне дали. — Улыбаясь, сказал я.

— Как вы хотите, — сказал он с прижатым бешенством.

— Итак, карьера моя кончена при вас?

— Нимало, оставайтесь сколько вам угодно; я даже намерен представить вас Государю к чину статского советника.

Когда я заметил ему, что маловажная должность моя не будет тому соответствовать, он отвечал:

— Ничего, я буду уметь это сделать.

В этом разговоре можно найти некоторое извинение и в тоже время желание утешить меня. Более внимательный, когда я после пристальнее стал рассматривать это дело, то увидел руку г. Ранда, который со всею тяжестью наложил ее на старца. Он знал, что в первую минуту пойду я напропалую, что старик примет это с испанскою гордостью и с полуденным бурным гневом, что я, может быть, пострадаю от того; но это и наделает шуму, а ему не хотелось никакой огласки. Оставаясь под начальством Бетанкура, сие положит, ду-

мал он, хранение устам моим.

Нельзя было Ранду отказать в искусстве и осторожности, вместе со смелостью. Он молча высмотрел положение свое и, поощряемый примером Третёра, убедился, что честный человек, как бы умен ни был, сделается подвластным нечестному, лишь бы тот ловко умел за то взяться. А Хрущов был подлый плут самого низшего разряда, без предприимчивости, без надежды даже на большие успехи. Он совершенно подчинил себя Ранду только с тем, чтобы и ему что-нибудь перепало от великих барышей, первым получаемых. Одним словом, между ими было тоже расстояние, что между воришкой, крадущим платки из карманов, и прославившимся Ванькой Каином. Я ужаснулся не за себя, а за бедного Бетанкура, и опасения мои скоро оправдались.

Я не заботился об обещанном мне чине, полагая, что начальник мой испросит мне его при первом личном докладе Государю; я не имел аттестата, как же было иначе это сделать? Новое удивление: сам Бетанкур поспешил возвестить мне, что представление о том сделал чрез военного генерал-губернатора.

— Да это всё равно, что ничего, сказал я: первое представление обо мне Государю сделали вы сами и лично.

— Дело другое, отвечал он: тогда был Вязмитинов, на него мы мало смотрели, а Милорадович шутить не любит.

— Да какое ему дело до того? Он даже бы и не узнал о том.

— Не беспокойтесь, я уже с ним о том сам переговорил, и он обещался всё сделать. Да, постойте, я еще лучше сам к нему напишу, а вы отдадите ему письмо. Вот вам случай с ним познакомиться.

И действительно, во французском письме, которое дал он мне прочесть, не было похвал, которыми бы он меня не осыпал. Мне показалось, что он рехнулся, и я поспешил удовлетворить его желание.

К тому меня побуждало еще и любопытство. Мне хотелось хотя раз вблизи посмотреть на человека, который в армии был столь известен как храбрец и чудака. Вместе со многими смешными сторонами имел он и рыцарские замашки. Более всего прославился он необычайным, постоянным счастьем. Замече-

но, что счастье рождает ум или, по крайней мере, умножает его в тех, в ком он есть. В Милорадовиче до конца его жизни такого приращения не было видно. И от недалёковидности, от безграмотности сего вечного хвастуна сколько людей пострадало!

Коль скоро доложили ему обо мне, он тотчас велел позвать меня к себе в кабинет: так называлось несколько комнат верхнего этажа в нанимаемом для него доме на Невском Проспекте, наполненных разными предметами роскоши без большего порядка и вкуса. Он закидал меня словами, от другого весьма бы лестными для моего самолюбия. Когда я сказал ему, что, за неимением аттестата, производство должно встретить неодолимое препятствие, он отвечал мне, что никаких препятствий быть не может, когда дело идет о столь известном человеке как я (я-то тогда известен!), представленном столь необыкновенным человеком, каков мой генерал. Я тотчас увидел, что из этого ничего не выйдет кроме вздору и вспомнил русскую пословицу: «из пустой хоромины или сыч, или сова, или пустые слова».

Нет никакого сомнения, что и в этом случае покорный Бетанкур послушался совета немилостивого ко мне Ранда. Я не сделал ему никакого вреда; а в это время, если бы и хотел, то уже не мог бы. Злоба его ко мне была ничто иное, как инстинктивная ненависть, которую все мошенники питают ко всем честным людям. И что же вышло из того? Милорадович представил обо мне министру внутренних дел, а тот — в Комитет Министров, а Комитет отложил это, как говорится, в длинный ящик.

Почти всегда так случалось, что когда приготавлились в Европе важные происшествия, а в государстве нашем большие перемены, то же самое последовало и в скромной участи моей. Четыре года, описанные мною в сей части, были везде довольно покойны и казались счастливыми после последних бурных годов Наполеонова владычества. Для меня сие четырехлетие было деятельнейшей дотоле эпохой в моей жизни: их заключила жестокая неудача. Но роптать ли мне на то? Сие

увидят в следующей части, если я буду продолжать сии Записки. В этой же, главу сию, кратчайшую изо всех, написал я вместо эпилога.

Часть шестая

I

После Наполеона. — Ссылка А. С. Пушкина. — Семёновская история. — П. Я. Чаадаев.

К началу 1820 года вновь созрели плоды, посеянные еще в пятнадцатом столетии, сперва богословами, потом философами. От века до века жатва их делается обильнее. Во все времена бывали восстания против злоупотреблений власти первосвященников и царей; но с этой поры люди, внимая гласу возмутителей, стали ополчаться для совершенного истребления этой власти. В шестнадцатом столетии пол-Германии и весь Север Европы отвергли постановления Вселенских Соборов; в семнадцатом Англия первая подала пример законного или скорее судебного царубийства; в восемнадцатом Франция последовала сему примеру. Освободясь от опеки и вступая таким образом в совершеннолетие,

человеческий ум стал действительно преуспевать и расширяться. Он всё спросил, всё подвергнул рассмотрению, исследованию: и догматы веры, и права, освященные временем. Свет наук стал быстрее распространяться; но по мере, как новые изобретения с каждым днем создавали для человека новые удобства, новые наслаждения в жизни, законы нравственности всё более теряли свою силу. Всё для ума, всё для тела; ничего для души, которой и в существовании скоро стали отказывать. Не вдруг, но, наконец, та же участь постигла художества и поэзию. Во дни молодости своей, Европа без числа производила гениальные творения резца, кисти и пера. В эти только дни могла породить она Тасса, Рафаэля и Микель-Анджело, и все эти блестящие фаланги, которые под названием школ украшали собою между прочим Испанию и Фландрию. Источник всего прекрасного стал, наконец, иссякать, воображение юных народов гасло и уступало место мрачным и преступным думам зрелого возраста. Итак, в Германии произошла религиозная революция, которая направляла человечество к полити-

ческой; сия последняя совершилась во Франции; согласно с духом сего народа началась она шутками и кончилась ужасами. Кажется, непременно нас поведет она к общественной или социальной, то есть к ниспровержению целого общественного здания. Тогда-то человечество уподобит себя божеству, сокрушая то что создавало.

Молодость, конечно, не есть эпоха чистоты нравов, строгого целомудрия. Посмотрите на этого юношу: веселость его невоздержна, иногда даже неблагопристойна; но испорчено ли его сердце? Оно способно следовать всем благородным побуждениям, для дружбы, для любви готово на всякие пожертвования. Таковою помню я еще мою любезную Россию[23]. Взгляните потом на иного старика: он горит еще честолюбием и алчностью к золоту; ко всему другому он охолодел; он также развратен, только втайне. Под личиной мудрой опытности он даже улыбается беспорядкам, пороку, если ожидает от них пользу. В нём есть уже нечто демонское; он даже любит зло для зла. Италия, впрочем вечно-юная, более ли была преступна, когда восхищалась Арети-

ном и Боккачио, нежели тогда, как гордилась Макиавелем?

В самом начале столетия казалось, что все-сокрушительный дух обуздан, остановлен. Родился человек, который должен был подавить безначалие, воссоздать устройство. Но он сам возник из этого безначалия, и многие из его действий носили на себе печать сего пагубного происхождения. На высоте могущества он впадал в заблуждения: помазанник Божий, желавший в потомстве своем утвердить наследственное право, венценосец, он рвал венцы с государей, чтобы возложить их на своих родственников и сподвижников, не помышляя, что тем истребляется вся моральная сила царского достоинства. На несокрушимом дотоле мече своем основывал он собственную; но не выпал ли бы он из рук его преемников?[24]

Когда он был побежден, низвержен, цари и народы возрадовались, в нём одном видя корень зла, причину всех бедствий и потрясений в мире. Они забыли о революции, об оставшейся после него осиротевшей матери, которая хотя более других восставала на него,

но не могла не питать в нему нежности и для которой остался он последним упованием, при возвращении отчасти прежнего порядка. Они сделали более: уверенные в её ненависти в нему, они призвали на помощь сию страшную союзницу. Не прошло года, как, возвратясь с своего острова, он прямо бросился к ней в объятия. Кажется, это должно бы было открыть, наконец, глаза Александру. По низложении великолепного её представителя, славою покрытого её произведения, ему бы надлежало вслед за тем устремить на нее все силы европейские, которые тогда двигались по манию руки его, не покидать Франции, не полагать оружия до истребления или по крайней мере до совершенного ослабления её. Конечно, Англия и Людовик XVIII-й воспротивились бы тому; особенно последнему неприятно бы было видеть, что у него хозяйничают без его участия; но втайне он обрадовался бы тому, ибо главная ответственность спала бы с него. Император Австрийский того только и желал; а король Прусский не имел другой воли, как воля Александра; к ним охотно пристали бы другие германские вла-

детели.

Только надлежало действовать чистосердечно, откровенно, действовать ужасом, то есть оружием самой же революции. Кто теперь знает французов, тому известно, что такие только средства бывают с ними действительны. Это очень знала лукавая итальянка, Катерина Медичи, которая, что бы ни говорили, Варфоломеевой ночью победила гугенотизм. Также хорошо это знали кардинал Ришелье, Людовик XIV-й, Робеспьер и Бонапарте. Надобно было не пугаться прозвания тирана (сим именем называли и Наполеона; а через несколько лет после его смерти даже пострадавшие от него ставили ему статуи). Но как было на то решиться? Как вдруг изменить постоянно исповедуемым правилам? Как, победив именем свободы, идти против неё? Да также как сделал то Наполеон. Воспитанные, так сказать, в школе англиканских учреждений, Людовик XVIII-й и Александр всё мечтали о возможности соединить величие царское с народною свободою.

Вместо того, чтобы сколько-нибудь усмириться, чувствовать себя униженной, револю-

ция имела все причины гордиться происшествиями последних лет. Ее ласкали царственные враги её; она почитала себя победительницей Наполеона, три месяца потом была опорой его; он пал опять, а она устояла в целости. Присутствием союзной армии в настоящем действия её были сколько-нибудь стеснены; но в будущем всё обещало ей новые успехи. И как была она многолюдна! Название якобинца сделалось постыдным, всякий обижался им; но чада терроризма, верные воспоминанию Кутона, Колло-Дербоа, Сен-Жюста, были рассеяны по всей Франции и, притаившись в малых кругах своих, извиняли и даже восхваляли кровавые их дела. Республиканцы, поклонники памяти Жирондистов, были бесчисленны. Они совсем не были чужды правилам чести и справедливости, высоко поднимали голову и ни пред кем не скрывали своих мнений. Бонапартисты более чем кто ненавидели Бурбонов и, недавно еще орудия деспотизма, более всех твердили о вольности. У всех различны были желанья, цели различны; но знамя одно. Даже из роялистов по крайней мере две трети, уподобля-

ясь королю, показывали любовь к конституции и отвращение от дореволюционного порядка. Те же, кои вечно взывали к нему, ультра-роялисты или легитимисты, как их начинали называть, сами свои древние правила должны были увивать либеральными фразами.

Едва успели выступить союзные войска, как нетерпеливые французы стали менее скрывать свои желанья, от слов стали переходить к действиям, наполнять камеру депутатов смелейшими, искуснейшими либеральными ораторами, избирать Бенжамена-Констана, Мавюэля, Фуа и, наконец, цареубийцу аббата Грегуара, как бы в явное оскорбление королю. Что делать! Видно Провидению угодно, чтобы вулканическое жерло Франции по временам извергало лаву, может быть, для того, чтобы, подобно лаве Везувия, остыв, она оплодотворяла почву, ею опаленную. Всё возвещало новые неустройства, новые несчастья.

И где же показалось первое зарево нового пожара? В стране верноподданничества, среди народа, который шесть лет сражался с силь-

нейшим врагом, ничего не щадил, всем жертвовал, чтобы избавить от плена законного короля своего. В самый день нового 1820 года, 1 января нового стиля, вспыхнуло возмущение в Кадиксе и вскоре распространилось по всей Испании. К удивлению целого мира встретились в этой стране конституция с инквизицией, демократические постановления с Грандессой и либерализм с иезуитами; первые, разумеется, изгнали последних. Но как могла совершиться такая быстрая, невероятная перемена в повериях и навыках народа совсем нелегкомысленного? Во время продолжительного союза с Францией, испанцы если не приняли еще республиканских идей, то ознакомились уже с ними. Когда же их народному самолюбию нанесена была жесточайшая обида; когда чужеземный владыка, без их ведома, даже без права завоевания, стал располагать их престолом, они вступились более за честь свою, чем за отсутствующего короля. Шесть лет потом, не видя его посреди себя, начали они отвыкать от его власти. Кортесы управляли ими, а великодушная Великобритания, великая их помощница, предписывала

законы свои на всём полуострове и, внушая им свободомыслие, потрясала в них и самую веру.

Непонятно, как так долго бесчеловечная политическая система Англии оставалась неразгаданной? Она одна безнаказанно, безопасно умеет пользоваться свободой, народу своему всегда мастерски выставляя её призраком. Правительство всегда умеет обуздывать его безрассудные порывы, опираясь на древние учреждения свои, как на столпы готических своих храмов и карая его силою законов, которые успело в глазах его сделать оно священными. Англия ничто иное, как торговый дом в самом гигантском размере; Англия и компания, то есть правительство и камеры; они связаны общими огромными выгодами; всё спорят, иногда ссорятся, но до разрыва никогда дойти не могут. И вся эта меркантильность покрыта блеском короны, роскошью и славою знаменитых имен. Ничего столь чудовищно-чудесного, ничего подобного Англии в мире не бывало, и смело можно сказать — никогда не будет. А она примером своим ищет ослепить другие народы, зная, что мятежи со-

крушат у них государственные силы, убьют промышленность и таким образом предадут их в её руки.

С одной только Францией у неё вековая наследственная вражда. Но стала ли бы она так ополчаться на её революцию, если бы безумные, от крови опьяневшие демагоги, французские правители, сами не полезли на драку? Правда, когда получено известие о падении личного врага её, Людовика XVI-го, посланнику Шовелену воспрещен был проезд ко двору; но это была одна только благопристойность. К тому же, война с Францией, на которую вооружала она всю Европу, представляла ей тысячу выгод. Истребляя или захватывая все слабые её флоты, она уничтожала всякое соперничество на море и облегчала тем себе завоевания её колоний и островов. С Наполеоном, восстановителем порядка, лишившим ее торговли целой Европы, еще менее могла она мириться. Во время же борьбы с ним должна была она казаться защитницей монархических прав.

Только в испанских делах обнаружилась вся её недобросовестность. Ей приятно было

видеть, как сердца испанцев остыли к поддержанному ею до конца союзнику Фердинанду VII-му, когда возвратился он из плена. Он был упрям, сердит, слаб умом, к сожалению слаб и характером там, где необходимо было показать твердость. Он защищал права свои, кои почитал священными, и был строг в наказаниях с теми, кои восставали против них. Английские журналы сделали из него величайшего злодея. Правление короля Французского было постоянной критикой правления испанского короля, и столица, где царствовала старшая линия Бурбонов, была верным убежищем для спасшихся бегством врагов младшей оттуда могли они смело и свободно составлять против неё заговоры. Как ни кричали тогда, участь Фердинанда мне всегда казалась достойною сожаления.

Любопытно было видеть, как Англия в это время постановила правилом невмешательство в дела чужих народов, она, которая так недавно назначала своего Веллингтона тюремщиком Франции, и он три года сохранял сию должность. Это значило, что всякое государство имеет право тайно возбуждать наро-

ды против правительства ему неприязненно-го, но ни одно не должно осмелиться усмирять первых; одним словом, это значило, что государи, в случае восстания подданных, лишаются всякой надежды на помощь соседей. Известие о происшествии в Кадиксе принято было в Лондоне правительством, как все последующие затем известия о возмущениях, с притворно-равнодушным одобрением. Общество же, журнализм и все состояния приветствовали его с непритворно-радостными похвалами. Сколь счастливыми должны были почитать себя испанцы, имея столь добрых союзников! Но вскоре потом отечество их лишилось лучшего достояния своего — всех заокеанских владений: Перу, Чили, Мексика отторгнулись от них и составили из себя новые республики. Англия первая признала их независимость и поспешила войти с ними в дипломатические и торговые сношения. Такое бесстыдство изумило бы и в частном человеке, хотя бы он был признан отъявленным мошенником.

Не знаю, до какой степени испанская революция огорчила Людовика XVIII-го; только ве-

роятно любимый министр его, либерал Деказ, старался в глазах его уменьшить её важность. Но не прошло шести недель после её взрыва, как убиение племянника его, герцога Беррийского, открыло ему весь ужас истины. Старик показал некоторую энергию, и решительные меры, им принятые, не допустили тогда профессоров революции, французов, последовать примеру учеников своих испанцев.

На нас мятеж, в стране от нас столь отдаленной, первоначально не сделал никакого впечатления. Исключая одного человека, и при дворе немногие им занялись. Скоро увидели, что дело идет не на шутку: на всём протяжении Европы слышался какой-то гул; везде как бы глухие отклики на страшный призыв. Как во время пожара сильным вихрем далеко иногда заносятся воспламененные обломки и зажигают здания, по-видимому вне опасности находившиеся: так и тогда, внезапно там и сям показывалось пламя мятежа. Вспыхнули Португалия, Неаполь, Сардиния, а в следующем году и Греция. Еще скорее сие пагубное действие можно было сравнить с электрическим проводником, который

в минуту пожирает великое пространство; ибо порывы бури, возникшей на берегах Того, к концу года (хотя весьма слабо) отозвались и на берегу Невы.

Молодая Германия, новое поколение, возросшее среди унижения своего отечества, воспитанное в университетах, вскормленное ненавистью к насилиям Наполеона, возгордившееся своим освобождением, себе одному его приписывая, и жаждущее совершенной свободы, ему обещанной, смотрело с радостью на происшествия сего года, не решаясь однако же принять в них большего участия. Немцы не то что французы: глупостям, которые они делают, всегда должны предшествовать продолжительные и глубокие размышления.

Но что должен был восчувствовать император Александр, увидев, что основанное им так непрочное? Священный союз, для блага народов им поставленный, спешили они с бешеным усилием разорвать. У великих душ всегда и высокая цель; общему благу часто жертвуют они самолюбием, и когда увидят ошибки свои, спешат их поправить. Одни слабые

умы хотят, чтобы их почитали непогрешимыми. Совершенную перемену в образе мыслей Государя своего увидели русские из его действий. К сожалению, первое, которое обнаружило то, можно было почитать несправедливостью.

Три года прошло, как семнадцатилетний Александр Пушкин был выпущен из Лицея и числился в Иностранной Коллегии, не занимаясь службой. Сие кипучее существо, в самые кипучие годы жизни, можно сказать, окунулось в её наслаждения. Кому было остановить, остеречь его? Слабому ли отцу его, который и умел только что восхищаться им? Молодым ли приятелям, по большей части военным, упоенным прелестями его ума и воображения и которые, в свою очередь, старались упаивать его фимиамом похвал и шампанским вином? Театральным ли богиням, с коими проводил он большую часть своего времени? Его спасали от заблуждений и бед собственный сильный рассудок, беспрестанно в нём пробуждающийся, чувство чести, которым весь был он полон, и частые посещения дома Карамзина, в то время столь же

привлекательного, как и благочестивого.

Он был уже славный муж по зрелости своего таланта и вместе милый, остроумный мальчик не столько по летам, как по образу жизни и поступкам своим. Он умел быть совершенно молод в молодости, то есть постоянно весел и беспечен: наука, которая ныне с каждым годом более забывается. Молодежь, охотно повторяя затверженные либеральные «разы, ничего не понимала в политике, даже самые корифеи, из которых я иных знал; а он, если можно, еще менее, чем кто. Как истый поэт, на весне дней своих, подобно соловью, он только что любил и пел. Как опытный писатель он уже чудесную свою поэму, *Руслан и Людмила*, а между тем как цветами беспрестанно посыпал первоначальное свое поэтическое поприще прелестными мелкими стихотворениями.

Из людей, которые были его старше, всего чаще посещал Пушкин братьев Тургеневых; они жили на Фонтанке, прямо против Михайловского замка, что ныне Инженерный, и к ним, то есть к меньшому Николаю, собирались не редко высокоумные молодые вольно-

думцы. Кто-то из них, смотря в открытое окно на пустой тогда, забвенью брошенный, дворец, шутя предложил Пушкину написать на него стихи. Он по матери происходил от Арапа генерала Ганнибала и гибкостью членов, быстротой телодвижений, несколько походил на Негров и на человекоподобных жителей Африки. С этим проворством вдруг вскочил он на большой и длинный стол, стоявший перед окном, растянулся на нём, схватил перо и бумагу и со смехом принялся писать. Стихи были хороши, не превосходны; слегка похвалив свободу, доказывал он, что будто она одна правителей народных может спасти от ножа убийцы; потом с омерзением и ужасом говорил в них о совершивших злодеяниях в замке, который имел перед глазами. Окончив, показал стихи и не знаю, почему назвали их «Одой на Свободу». Об этом экспромте скоро забыли, и сомневаюсь, чтобы он много ходил по рукам. Ничего другого в либеральном духе Пушкин не писал еще тогда.

Заметья в Государе склонность карать то, что он недавно поощрял, граф Милорадович, русский Баярд, чтобы более приобрести его

доверенность, сам собою и из самого себя, сочинил нечто в виде министра тайной полиции. Сия часть, с упразднением министерства сего имени, перешла в руки графа Кочубея, который для нее, можно сказать, не был ни рожден, ни воспитан и который неохотно ею занимался. Для неё был нужен человек государственный, хотя бы не весьма совестливый, как у Наполеона Фуше, который бы понапрасну не прибегал к строгим мерам постарался более давать направление общему мнению. Отнюдь не должно было поручать ее невежественным и пустоголовым ветреникам, коих усердие скорее вредило, чем было полезно их государям, каковыми были например Милорадович и другой, которого здесь еще не время называть.

Кто-то из употребляемых Милорадовичем, чтобы подслужиться ему, донес, что есть в рукописи ужасное Якобинское сочинение под названием Свобода недавно прославившегося поэта Пушкина и что он с великим трудом мог достать его. Сие последнее могло быть справедливо, ибо ни автор, ни приятели его не имели намерения его распускать. Милора-

дович, не прочитав даже рукописи, поспешил доложить о том Государю, который приказал ему, призвав виновного, допросить его. Пушкин рассказал ему всё дело с величайшим чистосердечием; не знаю, как представил он его Императору, только Пушкина велено... сослать в Сибирь. Трудно было заставить Александра отменить приговор; к счастью, два мужа твердых, благородных, им уважаемых, Каподистрия и Карамзин, дерзнули доказать ему всю жестокость наказания и умолить о смягчении его. Наш поэт причислен к канцелярии попечителя колоний Южного края генерала Инзова и отправлен к нему в Екатеринослав, но столько под начальство, как под стражу. Это было в Мае месяце.

Когда Петербург был полон людей, велегласно проповедующих правила, которые прямо вели к истреблению монархической власти, когда ни один из них не был потревожен: надобно же было, чтобы пострадал юноша, чуждый их затеям, как последствия показали. Дотоле никто за политические мнения не был преследуем, и Пушкин был первым, можно сказать, единственным тогда мучеником

за веру, которой даже не исповедовал. Он был в отношении к свободе тоже, что иные христиане к религии своей, которые не оспаривают её истин, но до того к ней равнодушны, что зевают при одном её имени. И внезапно, ни за что, ни про что, в самой первой молодости, оторвать человека ото всех приятностей образованного общества, от столичных увеселений юношества, чтобы погрузить его в скуку Новороссийских степей! Мне кажется, у меня сердце облилось бы желчью и навсегда в ней потонуло. Если бы Пушкин был постарее, его могла бы утешить мысль, что ссылка его, сделавшись большим происшествием, объявлением войны вольнодумству, придаст ему новую знаменитость, как и случилось.

Если император Александр имел намерение поразить ужасом вольнодумцев, за бездельцу не пощадив любимца друзей русской литературы, то цель его была достигнута. Куда девался либерализм? Он исчез, как будто ушел в землю; всё умолкло. Но тогда-то именно и начал он делаться опасен. Люди, которые как попугаи твердили ему похвалы, скоро забыли о нём, как о брошенной моде.

Небольшое же число убежденных или злонамеренных нашли, что пришло время от слов перейти к действиям и под спудом начали распространять его. И тогда начали составляться тайные общества, коих только пять лет спустя открылось существование.

Вольнолюбивые мнимые друзья Пушкина даже возрадовались его несчастью; они полагали, что досада обратит его, наконец, в сильное и их намерениям полезное орудие. Как они ошибались! В большом свете, где не читали русского, где едва тогда знали Пушкина, без всякого разбора его обвиняли, как развратника, как возмутителя. Грустили немногие, молча преданные правительству и знавшие цену не одному таланту изгнанника, но и сердцу его. Они за него опасались; они думали, что отчаяние может довести его до каких-нибудь безрассудных поступков или до неблагоприятных привычек и что вдали от нас угаснет сей яркий луч нашей литературной славы. К счастью, и они ошиблись.

О делах политики говорю я всегда по необходимости и тогда только, когда они находятся в связи с внутренними делами нашего го-

сударства. Внутри его, даже во дни Наполеона, мало или совсем почти о них не думали; в одном только Петербурге беспрестанно занимались ею, то есть политикой, или лучше сказать им, то ест Наполеоном: другой тогда быть не могло. Смотря по сомнительным или решительным успехам его, говорили то со страхом, то с надеждой, то с унынием. После падения его, в провинциях, да я думаю даже и в Москве, заграничное стали забывать, полагая, что там всё покойно и, получая и политические журналы, внимательны были к одному модному. Тоже самое вероятно было бы и в Петербурге, если бы не вошло в обычай в образованном свете хоть что-нибудь да сказать о конституциях, дабы казаться сведущим. Некоторая часть, и самая малая, нового возмужавшего поколения толковала всё о теории представительных правлений. Не имея никаких основательных познаний, эти господа (исключая разве одного Николая Тургенева) совсем не понимали этого предмета и сами не знали, чего хотят. Во всём этом было чрезвычайно много детского[25].

Так застал нас 1820-й год. Так как он богат

был происшествиями, а служба моя обильна досугами, то внимание мое вновь устремилось на Европу. Нет ничего ни веселого, ни приятного в этих воспоминаниях; но дабы кончить рассказ и не прерывать нить его, в одной этой главе хочу поместить всё примечательное из тогдашних событий.

Александр, как известно, любил лично находиться на конгрессах. Триумvirаты Священного Союза согласились для того осенью съехаться в Троппау. Но наперед отправился Государь в Варшаву для открытия сейма. Польки (то есть магнаты-пань, ибо в Польше народ всегда шел ни почём), почуя распространяющийся в Европе революционный дух, были вне себя. Заседания сейма делались шумны, речи дерзки до того, что, для обуздания их, конституционный король должен был призвать на помощь русское самодержавие свое. О какое счастье это было для России! Не раз доказывал я, сколь часто враги её обращались в орудия её спасения, успехов или славы. С самого начала Александр не скрывал намерения отнять у России силою её оружия возвращенные ею, отторгнутые от неё запад-

ные её области (Подолию, Волынь, Минск и Литву) и усилить ими Польшу. Нетерпеливое безумие этих сорванцов на неопределенное время отдалило тогда исполнение сего намерения, пагубного для обеих наций.

С каким стыдом, с каким раскаянием благонамеренный Александр должен был внутренне сознаться в ошибках своих! Он взялся врачевать человечество и увидел, сколь вредна метода лечения его. Впрочем не знаю, можно ли обвинять и поляков. Что сделали они? Пользовались дарованными им правами, смело выражали свои мысли. По большей части люди, даже опытные и пожилые, остаются вечно старыми детьми. Зачем же ребятам давать сласти и требовать, чтобы они их не ели? И можно ли с народом обходиться, как с любимой собакой: держать над ними лакомый кусок и твердить: tout beau? В Троппау новая печаль постигла Государя; но дабы говорить об ней, нужно объяснить прошедшее.

Любимым полком Императора, коего при отце еще был он шефом, Семёновским полком командовал генерал-адъютант Яков

Алексеевич Потемкин, отлично храбрый офицер, но раздушенный франтик, который туалетом своим едва ли не более занимался, чем службой. Офицеры любили его без памяти, и было за что. В обхождении с ними был он дружелюбно вежлив и несколько менее взыскателен перед фронтом, чем другие полковые командиры. Дисциплина оттого нимало не страдала. При поведении совершенно неукоризненном, общество офицеров этого полка почитало себя образцовым для всей гвардии. Оно составлено было из благовоспитанных молодых людей, принадлежащим к лучшим, известнейшим дворянскими фамилиям. Строго соблюдая законы чести, в товарище не потерпели бы они ни малейшего пятна на ней. Сего мало: они не курили табаку, даже между собою не позволяли себе тех отвратительных, непристойных слов, которые сделались принадлежностью военного языка. Если которого из них увидят в Шустерклубе, на балах Крестовского острова или в каком-нибудь другом подозрительном месте, из полку общим приговором был он изринут. Они составляли из себя какой-то особый рыцарский орден, и всё

это в подражание венчанному своему шефу. Они видели в себе частицы его самого, мелкую его монету с его изображением, и самое их свободолобие проистекало из желания ему сколько-нибудь уподобиться. Их пример подействовал и на нижние чины: и простые рядовые возымели высокое мнение о звании телохранителей государевых. Семеновец в обращении с знакомыми между простонародья был несколько надменен и всегда учтив. С такими людьми телесные наказания скоро сделались ненужны: изъявление неудовольствия, строгий взгляд, сердитое слово были достаточными исправительными мерами. Всё было облагорожено так, что, право, со стороны любо-дорого было смотреть.

В этом отборном полку примечательны были два брата Муравьевы. Отец их Иван Матвеевич, любезник в красавец времен Екатерины, был двоюродным братом не раз упомянутому Михаилу Никитичу и по жене или по матери вместе с именем принял фамильное имя предка её, гетмана Даниила Апостола. Великая была в нём способность к изучению языков: он прекрасно, безошибочно гово-

рил на всех европейских и очень хорошо писал по-русски. Умный, но легкомысленный человек, он, кажется, убеждений, собственных мыслей не имел. Таких людей, как он, ныне много, и их можно назвать либеральствующими аристократами. Сперва занимал он должность посланника в Мадриде, а потом, чем-то недовольный, жил долго за границей без службы и в Париже воспитывал двух старших мальчиков своих.

Там набрались они идей, которые так благосклонно были принимаемы в их отечестве, когда они начали ему служить. Старший, Матвей, казался угрюм и, верно, любезность свою берег про приятелей, ибо они одни его без меры восхваляли. Другой, Сергей, был гораздо живее, блистательнее, приманчивее. Оба были идолами полку своего. Воспитанные во Франции, они могли если не основательнее, по крайней мере толковитее говорить о предмете, о коем однополчане их рассуждали, ничего о нём не понимая, и от того были они оракулами их. Муравьевы-Апостолы, равно как и другие семеновские офицеры, охотно посещали хорошее общество, где были

отлично приняты. Понятия, которые имели в большом свете о любезности молодых людей, в последнее время несколько изменились. Быть неутомимым танцовщиком, в разговорах с дамами всегда находить что-нибудь для них приятное, в гостиных при них находиться неотлучно: всё это перестало быть необходимою. Требовалось более ума, знаний; маленькое ораторство начинало заступать место комплиментов. Исполняя часть сих условий, семеновские офицеры продолжали быть развязны, ловки, учтивы и не совсем чуждались танцев. И вот это-то было вовсе не по вкусу их нового бригадного начальника.

Три последние поколения царствующего дома, как всем известно, имели... как бы сказать, слабость, страсть или манию к фронтовой службе. Может быть, это самое дало русскому войску всеми признанное превосходство перед другими европейскими армиями. Я не берусь о том судить; только требуемая лишняя исправность совсем была не в русском духе. В первые деятельные годы царствования Александра, у него на всё доставало времени; к тому же, в деле устройства

гвардии и армии имел он славного помощника, брата своего Константина Павловича. Когда же судьбою поставлен был он на страже, дабы блюсти спокойствие Европы, и все помышления его были устремлены на сей предмет, то уже невозможно было ему входить во все подробности, мелочи обмундировки и маршировки; брат же его Цесаревич переселился уже в Варшаву. Но подросли и мужали меньшие два брата его, из коих особенно младший, Михаил Павлович, как будто для этого дела был рожден.

Все старания благочестивой, просвещенной матери, для России вечно памятной императрицы Марии Федоровны, которая часть времени своего посвящала воспитанию младших детей своих, остались тщетны. Ничего ни письменного, ни печатного он с малолетства не любил. Но при достаточном уме, с живым воображением любил он играть в слова и в солдатски: каламбуры его известны всей России. От гражданский службы имел совершенное отвращение, пренебрегал ею и полагал, что военный порядок достаточен для государственного управления. Самое высокое

понятие имел он о военной иерархии, так что звание начальника полка, бригады, а кольми паче корпуса или армии, гораздо более льстило его самолюбию, чем великокняжеский сан его. И он дивился, как сами министры с гражданским чином не вытягивались перед последним генералом.

Он создал себе идеал совершенства строевой службы и не мог понять, как все подчиненные его не стремятся к тому. Перед фронтом был он беспощаден, а в частной жизни был добросердечен, сострадателен, щедр, особенно же к жертвам своим, офицерам и солдатам.

Сделавшись начальником бригады, в которой находился Семеновский полк, он с крайним неудовольствием смотрел на щеголеватые формы офицеров сего полка. По приглашениям они ездили на все большие званные балы. Как можно заниматься удовольствиями света людям, которых единственным помышлением, жизнью их, должны быть полковые учения, караулы, выправка солдат? По чрезвычайной молодости своей не позволял он еще себе быть слишком строгим

с полком, усыновленным самим Государем, хотя и сам он, особенно же по усердию его к делам службы, был им любим, как сын родной.

Вида, какое действие произвели на Александра европейские происшествия, он воспользовался тем, чтобы представить ему, сколь вреден всем известный образ мыслей будто бы целого полка, что доказывалось будто бы пренебрежением его в фронту. Для исправления его предложил он встреченного им во время путешествия по России чудесного фронтовика, который, беспрестанно содержа семеновцев в труде и поте, выбьет из них дурь. К сожалению, Государь согласился и, в самый светлый праздник, командира Екатеринославского гренадерского полка, полковника Шварца, назначил командиром Семеновского вместо генерала Потемкина, которому оставлена была гвардейская дивизия.

Этот Шварц был из числа тех немцев низкого состояния, которые, родившись внутри России, не знают даже природного языка своего. С черствыми чувствами немецкого происхождения своего соединял он всю грубость

русской солдатчины. Палка была всегда единственным красноречивейшим его аргументом. Не давая никакого отдыха, делал он всякий день учения и за малейшую ошибку осыпал офицеров обидными словами, рядовых — палочными ударами; всё страдало нравственно и физически. Не говоря уже о Семеновском полку, другие смотрели на то с ужасом и рассуждали между собою, что если так поступают с любимцами, какая же участь их ожидает?

Конечно, до 1812 года дворянство было недовольно Александром и роптало на него; но войско всегда равно оставалось ему преданным; после же взятия Парижа, никто без восторга не произносил его имени. Но то, чего не могли военные поселения и Аракчеев, удалось Михаилу Павловичу со Шварцом, и то в одном Петербурге и только между военными. Явной хулы никто еще не позволял себе, но при его имени все хранили угрюмое молчание. Я видел, как прежний розовый цвет либерализма стал густеть и в осени переходить в кроваво-красный, каким он ныне на Западе. Раз случилось мне быть в одном холостом, до-

вольно веселом обществе, где было много и офицеров. Рассуждая между собою в особом углу, вдруг запели они на голос известной в самые ужасные дни революции песни: *Veillons au salut de l'Empire*, богомерзкие слова её, переведенные надменным и жалким поэтом, полковником Катениным, по какому-то неудовольствию недавно оставившим службу. Я их не затверживал, ни записывал; но они меня так поразили, что остались у меня в памяти, и я передаю их здесь, хотя не ручаюсь за верность:

*Отечество наше страдает
Под игом твоим, о злодей!
Коль нас деспотизм угнетает,
То свергнем мы трон и царей.
Свобода! Свобода!
Ты царствуй отныне над нами.
Ах, лучше смерть, чем жить ра-
бами:
Вот клятва каждого из нас.*

У меня волосы встали дыбом. Заметив мое смущение, некоторые подошли ко мне и сказали, что это была одна шутка и что мысли их вовсе не согласны с содержанием этой песни.

Я спешил поверить им и самого себя успокоить.

В первой половине ноября, шедши пешком по Гороховой улице, встретил я Сергея Муравьева с каким-то однополчанином. «Что с вами? — спросил я его; — мне кажется, вы нездоровы». — «Нет, здоров, — отвечал он, — только не весел: радоваться нечему». — «И полноте, — сказал я: — скоро Царь приедет; он не даст детей своих в обиду; потерпите, надейтесь». Грустно взглянув на меня, промолвил он: *vivere in sperando, morire in casando*, поклонился и пошел далее. Боюсь, сказал я сам себе: он что-то недоброе замышляет!

Неделю спустя после того, в один из ноябрьских, более осенних чем зимних дней, 18-го числа, погода была ужасная, так что на свет не хотелось бы смотреть. Холодный мрак покрывал небо и землю; густой туман, рассеявшись, превратился в дождик со снегом, и зловонное тесто коричневого цвета лежало на мостовой. Я продолжал жить близ Семеновского моста и всё это утро оставался дома, как слуга мой, вошедши в некотором замешательстве, сказал мне, что слышал в лавочке,

будто бы взбунтовался весь Семеновский полк. «Быть не может, — сказал я; — впрочем отсюда близко, сбегай и разузнай». Возвратясь скоро, он донес мне, что действительно вся площадь перед госпиталем наполнена солдатами, неподвижно стоящими, в шинелях и без ружей; но зачем и почему они тут, этого не мог дознаться.

Известно сделалось в продолжении дня, что на рассвете все нижние чины, в один час и минуту, как бы по данному сигналу, высыпали из казарм, собрались и построились на площади, отвечая допрашивающим их батальонным и ротным командирам, что не хотят более находиться под начальством полковника Шварца и что исключая того готовы исполнять всё, что им прикажут. Тщетно старались обратить их к порядку корпусный начальник, почтенный Ларион Васильевич Васильчиков, другие генералы и сам Великий Князь; они остались непреклонны. Сия мирная демонстрация не менее того сильно встревожила жителей Петербурга, особенно же высшее общество; может быть, в иных людях других словий и возродила она преступные надеж-

ды. На другой день все успокоились, узнав, что три тысячи человек, внимая единому повелительному слову, при знали себя арестантами и беспрекословно отправились в крепость.

Все были уверены, что всё было ими сделано по наущению офицеров; но такова была твердость сих русских воинов, такое доброе согласие между ними и такая преданность к начальникам своим, что при допросах они ни на которого не показали. Последних же похвалить нельзя; в их поступке видны легкомыслие и некоторая робость: выставляя орудия, они надеялись скрыть руку.

Любопытно было знать, как примет это Государь, который находился тогда в Троппау на конгрессе. Рассказывали после, что на какой-то утренней конференции князь Меттерних сказал ему: «Государь, да полно, у вас всё ли покойно? По частным сведениям, вчера вечером полученным, один из ваших гвардейских полков, взбунтовался, и именно Семеновский». — «Не верьте, — отвечал будто Александр: — это суцая ложь; это мой любимый полк». В тот же вечер, в каком-то собра-

нии, Меттерних подтвердил ему тоже самое, ибо с этим известием в самый полдень получил курьера от австрийского посла в Петербурге. Можно посудить о беспокойстве Государя и о гневе его, когда только в продолжении следующего дня прибыл адъютант Васильчикова с донесением о сем происшествии.

Приостановимся. Посланный Васильчикова, этот недобрый вестник, заслуживает быть представленным миру. И хотя он имя свое почитает бессмертным, сомнительно однако же, чтобы без употребляемого мною способа, впрочем весьма неверного, оно могло дойти когда-либо до потомства. Петр Яковлевич Чадаев был красивый мальчик, круглый сирота, с малолетства воспитанный родного теткой, старою княжною Анною Михайловною, дочерью историка Щербатова. Она ничего не щадила для его образования; но женщине, и в тогдашнее время, нельзя было помышлять о том, чтобы дать ему основательные познания. Мальчик, как и все русские, а может быть еще более чем кто из них, имел способность выучиваться иностранным языкам: по-

французски и по-английски говорил он бегло, чисто и безошибочно; а к тому же, как он был нрава серьезного, то в семействе и в обществе своем с ребячества признан и объявлен маленьким чудом.

Уверенный в своем совершенстве, во время отечественной войны иступил он в военную службу и при взятии Парижа находился в Семеновском полку. По возвращении из похода перешел он в лейб-гусарский. В мундире этого полка всякому нельзя было не заметить молодого красавца, белого, румяного, тонкого, стройного, с приятным голосом и благородными манерами. Сими дарами природы и воспитания он отнюдь не пренебрегал, пользовался ими, но ставил их гораздо ниже других преимуществ, коими гордился и коих во все в нём не было: высокого ума и глубокой науки. Его притязания могли бы возбудить насмешки или досаду; но он не был заносчив, а старался быть скромно величествен, и военные товарищи его, рассеянные, невнимательные, охотно предоставляли ему звание молодого мудреца, редко посещающего свет и не предающегося никаким порокам. Он был пер-

вый из юношей, которые тогда полезли в гении. На беду, стоя с полком в Царском Селе, познакомился он и сблизился с лицейским воспитанником Пушкиным. Все поэты немного льстецы с теми, коих любят; Пушкин польстил ему стихами, а Карамзин по добродушию своему ласкал его. Это совершенно вскружило ему голову. Никто не замечал в нём нежных чувств к прекрасному полу: сердце его было слишком преисполнено обожания к сотворенному им из себя кумиру. Когда изредка случалось ему быть с дамами, он был только что учтив; они же между собою называли его настоящим розаном, а он был Нарцис, смертельно влюбленный в самого себя. Чтобы дать понятие о чудовищном его самодовольствии, расскажу следующее, тогда мною слышанное. В наемной квартире своей принимал он посетителей, сидя на возвышенном месте, под двумя лавровыми деревьями в кадках; справа находился портрет Наполеона, с левой Байрона, а напротив его собственный, в виде скованного гения, с подписью:

*Он в Риме был бы Брут,
В Афинах Демосфен,*

А здесь лишь офицер гусарский.

И так не с большим двадцатилетний молодой человек, который ничего не написал, ни на каком поприще ничем себя не отличил, ни к какому роду службы не был годен и который всю ученость свою почерпал из новых французских брошюр, почитал себя одним из светил, озаривших начало девятнадцатого века. Какой бы он был находкой для насмешника-мистификатора; но такового не оказалось, и он не поступил еще тогда, а разве только после, в нарядные шуты.

Крайне дивился он, что, удостоив службу вступлением в нее, он не быстро в ней возносится, а как обыкновенные смертные, производится по старшинству. В ожидании скорых успехов, принял он чье-то предложение доставить ему место адъютанта при Васильчикове и в этом уповании отправился он в Троппау. Он был уверен, что узнав его короче, Александр, плененный его наружностью, пораженный его гением, приблизит его к своей особе и на первый случай сделает флигель-адъютантом. Надо еще знать, что гусар и доктор философии в отношении к наряду был

вместе с тем и совершенная кокетка: по часам просиживал он за туалетом, чистил рот, ногти, притирался, мылся, холился, прыскался духами. Дорогой он предавался тем же упражнениям и оттого с прибытием опоздал двумя сутками.

Приемом разгневанного Государя, как громовым ударом в одно мгновение были разрушены воображением его созданные замки. Всегда умеренный, Александр бывал ужасен в редкие минуты, когда переставал владеть собою. Разобиженный Чаадаев на другой день был обратно отправлен в Петербург и, дабы наказать Царя, отнял у него себя, в ту же зиму вышедши в отставку.

В присутствии Государя Семеновской вспышки не могло бы быть: его тихо-повелительный взгляд всё усмирял вокруг себя. Даже издали ощутительно было его могущество. Гвардия с трепетом ожидала его решения. Оно получено: приказом, в коем дышит негодование вместе с милостью, полк велено уничтожить, кассировать, нижние чины разослать по линейным полкам; офицеры же, коих винность не доказана, но на коих падало

сильное подозрение, переведены также в армию, только с повышением двумя чинами; Шварц отставлен от службы. Тем же приказом велено набрал новый Семеновский полк из лучших офицеров и рядовых гренадерского корпуса.

Ожидали более. И что же? Мне случилось слышать тех же самых офицеров, которые прежде восхваляли смелость семеновцев, читающих не только с одобрением, даже с восторгом грозный приказ Царя. Надобно подумать, что в этом человеке было действительно нечто волшебное.

Это происшествие, которое причинило Петербургу только кратковременный испуг, имело однако же важные последствия. Рассеянные по армии, недовольные офицеры встречали других недовольных и вместе с ними, распространяя мнения свои, приготовили другие восстания, которые через пять лет унять было труднее.

Племянник. — Москва в 1820 году. — Кристин.

Положение семейства моего в 1820 году походило на то, в коем находилось оно в последний год царствования Павла, когда все старшие члены его волею или неволею покинули службу.

Зять мой, генерал Алексеев, командуя корпусом на обратном пути в Россию, почувствовал, что с расслаблением телесным он лишился и нравственной силы. Он забывал приказания им отданные, не помнил и часто не понимал то, о чём ему представляли; одним словом, для начальствования он сделался во все неспособным. Хорошо еще, что окружающие его старались скрывать это за границей как от подчиненных, так и от иностранцев. Ему еще не было пятидесяти лет; но раны, походы, биваки, и во время их жизнь не всегда воздержная, изнурили его; особенно же после тяжкой болезни, перенесенной им во Франции, он совершенно одряхлел. Покой сделал-

ся для него жестокою необходимостью: ибо, исключая обязанностей службы, он ничем не умел заниматься. Все любили его, начиная от Царя, и оттого оставили ему всё содержание, аренды, эполеты и даже надежду быть действительно употребленным, чего однако никогда не могло уже случиться. Он числился по кавалерии в бессрочном отпуску и жил по большей части в Москве, где жена его, на сбереженные ею от огромного французского содержания деньги, купила ему хороший деревянный дом в Старой Конюшенной.

Брат мой, Павел Филиппович, никогда не гонялся за почестями. Фортуна, долго к нему неблагоприятная, с 1812 года начала ему улыбаться, но он уже не доверял ей. Ему наскучило таскаться по белу свету, и он о том только и думал, где бы поселиться в мирном убежище. В Мобёже вошло в общее обыкновение между холостыми русскими заводиться молодой хозяйкой из иноземных красавиц. Иные из них заслуживали сие название, другие были только что молоды. Во Франции, где со времени революции стали так пренебрегать святостью брака, сожитие почиталось с ним

почти наравне. В сем качестве находилась у брата некая Бабе-Пажель, дочь какого-то Лотарингского виноделателя, т. е. просто мужика. Не имея добродетелей соотечественницы своей Жанны д'Арк, она, кажется, имела её смелость. На оставленные ей братом деньги, следующим летом, без его согласия, морем приехала она в Петербург с двумя прижитыми с ним ребятами. Как быть? Надобно было где-нибудь приютить сие незаконное семейство. К тому же во Франции сильно развилась в нём врожденная страсть к садоводству, особенно к цветам; он мог легко удовлетворить ее в селе Симбухине, которое мать наша во вдовстве никогда не посещала и которое назначено ему было на часть. Там был довольно обширный сад, и там мог он укрыть грехи свои. Всё вместе заставило его подать в отставку, и он получил ее в марте 1820 года с мундиром.

Что касается до меня, я как будто воротился к прежнему состоянию: числясь на службе, жил почти без дела. Была однако же великая разница: тогда от казны не имел я ни гроша и из дому весьма мало, а тут, не считая кварти-

ры и отопления, я получал жалованье и прибавку в нему из остаточных сумм, всего тысячи четыре ассигнациями; да по случаю урожайных годов и мать моя была ко мне отменно щедра. Первый раз в жизни я узнал сладость синекуры, и она служила мне утешением в моей неудаче. Бетанкур не переменял со мною обращения, продолжал быть обходителен, шутлив; с женой и семейством его я более сблизился, нередко проводил у них вечера и был даже в числе немногих избранных, приглашенных на свадьбу дочери его Каролины с господином Эспехо, и видел, как в этот самый день после ужина молодые сели в возок и отправились прямо в Нижний Новгород. «Ну, что же, подумал, это положение пока еще сносно; посмотрим, что будет вперед».

А между тем, пока наше поколение как бы склонялось к западу, восходило новое поколение. Признаюсь, не без грусти смотрел я на то. Впрочем, старший племянник мой, Александр Алексеев, был только тринадцатью годами моложе меня. Счастливый этот юноша тогда совершенно блаженствовал. Из артиллерии он перешел в кавалерию, в конно-егер-

ский короля Виртембергского полк, и менее чем через год после выпуска из Пажеского корпуса произведен был в поручики. Ни в каком офицеру начальство не было так снисходительно; под разными предлогами летом разъезжал он по ярмаркам, а зимой веселился в Москве: она была его раем Его стройный стан, его ловкость, его смелое обхождение с дамами и девицами и вместе с тем нежность его взглядов и выражений пленяли их. На балах он господствовал, самая модная почитала торжеством протанцевать с ним; тогда (чего теперь совсем нет) в этой странной Москве, как Грибоедов в своей комедии сказал, женщины любимому кавалеру ура кричали и вверх чепчики бросали; это могло относиться и к моему Алексееву. Меньшой брат его, Николай, оставался пока в Царском Селе, в гренадерском полку Австрийского императора, и, как я уже сказал, был дик, угрюм, и оттого казался рассудителен, чего однако же вовсе не было.

Возвратясь от родных из отпуска, в феврале этого же 1820 года, привез он с собою отпращенного ко мае третьего племянника мо-

его, сына покойного брата Николая, Филиппа Николаевича. Мальчику не исполнилось еще пятнадцати лет, а его хотели уже отдать на службу. Его дотолѣ воспитывали и баловали родные его Тулиновы. Он младенцем был отдан им в виде уступки, а, по настоящему, попечения их об нем могли почитаться великим одолжением для фамилии, коей сирота этот впоследствии должен был сделаться представителем и единственным продолжателем. Кому бы из нас было взять его на руки свои? По старинным понятиям матери моей, для него наступило уже время служения; ей хотелось хотя бы перед смертью видеть его гвардии офицером, и потому-то, к великому прискорбию деда и бабушки, был он оторван от лона их.

Я осмелился воспротивиться воле матери моей, представил ей, как опасно мальчику в эти годы пользоваться свободой, и что если я, в те же лета выпущенный на волю, не погиб, то должно благодарить за то Бога; потом, не дожидаясь разрешения её, отдал его доучиваться в один французский пансион. Содержатель его, г. Курнан, был преемником баро-

на Шабо, который наследовал знаменитому аббату Никелю, и всё в том же доме, на Фонтанке, близ Обухова моста. По мнению моему, учение там было плохое, по прежнему аристократическое: после французской литературы, только уже новейшей, главными предметами были танцы и фехтование. Смотря по элементарным познаниям воспитанника и по краткости срока, нам данного, где уже было нам думать об учености! Мне только хотелось, чтоб он, немного похожий на маленького медвежонка, поболее развязался, приобрел более навыку и усовершенствовался во всеобщем разговорном французском языке, и, наконец, чтобы, находясь с молодыми людьми первых фамилий, он составил бы полезные связи и, увлеченный в лучшее общество, избегнул бы дурного.

Наружность имел он не весьма красивую: был невелик ростом, бел лицом, не по летам дюж и толст, и от излишнего употребления сластей у него попортились и пожелтели зубы, которые очернил после курительный табак. Ума у него было довольно, сердце имел он мягкое, нрав веселый, но вследствие бес-

престантных угождений целого семейства сделался он чрезвычайно своеволен. Я надеялся, что пансион Курнана сколько-нибудь приучит его к порядку и повиновению.

И вот семейная картина, которую счел я необходимостью представить читателю.

В конце мая Бетанкур со всем семейством своим и со двором, разумеется кроме меня, опять отправился в Нижний Новгород. Мы расстались как нельзя лучше. Председательство в строительном комитете, без всякого от кого-либо на то дозволения, поручил он человеку, который не был в нём даже членом: директору инженерного института, генералу Сенноверу, что мне было весьма приятно. Я выучился у Бетанкура поступать иногда самовольно, а с Сенновером, весьма умным, но чрез меру шутливым и совсем непочтенным французом, я давно уже перестал церемониться. Я просто объявил ему, что летом намерен отдохнуть (от чего? — от покоя), и для того на Крестовском острове против Елагина, в деревеньке, нанял чистенькую избу. «И потому — продолжал я — в заседаниях комитета вы редко будете меня видеть: все нужные

бумаги передал я помощнику моему Нодену». Он ничего не нашел возразить против этого, как будто бы я дело сделал[26].

К счастью, в июне и в июле погода стояла прекрасная, изредка перепадали дожди. Петербургские острова не были еще так связаны между собою мостами, как ныне, следственно не было тех удобств для сообщения, какие мы имеем. Один Каменный остров посредством мостов соединялся с Аптекарским, с Крестовским и со Строгоновскою дачей. Елагин остров был место топкое, заглохшее, находившееся в частном владении, и только в этом году сделался собственностью казны. Не было на островах обширных увеселительных мест, с их повседневными великолепными праздниками, столь привлекательными, разорительными и несколько развратительными для недостаточных людей и их семейств. Только лишь Крестовский, с своими двумя трактирами и деревянными горами, богатым и бедным жителям, городским и островским, одним именем своим напоминал веселье. Кто на дешевом извозчике подъезжал, кто пешком приходил к перевозу на Колтовскую и от-

туда за пять копеек медью переносился чрез неширокий тут Невский рукав. Небогатые семейства, составляя небольшие общества, на сделанную складчину, нанимали ялики, приплывали к берегам острова, и сии маленькие флотилии окружали западный его угол. Богатые, разумеется, приезжали в каретах и в колясках. Всё лучшее можно было встретить на большом гулянье, на открытом месте близ перевоза и старого трактира. Средний класс шел густыми толпами по длинной и широкой аллее, ведущей к новому трактиру и деревеньке. Дорога была прескверная, песчаная, нередко можно было спотыкаться о высунувшиеся корни деревьев; нужды нет, в приятном расположении духа никто и не хотел этого заметить. Везде былолюдно, а в иных местах даже и тесно. За вход в трактиры, где можно было посмотреть на пляску немочек, никакой платы взимаемо не было: надобно было только спросить что-нибудь попить или поесть; да и этого никто требовать не смел. Несмотря на то, хозяева, обыкновенно немцы, получали хорошие барыши и мало-помалу наживали изрядное состояние. Век преувеличений еще

не наступил, и трактирщики, как теперь, не думали зашибать миллионов. Гуляв было множество, но до буйства как-то никогда не доходило, и пристойности было, ну право, гораздо более чем ныне в иных воксалах, посещаемых знатными дамами. Так было по воскресным и праздничным дням; но и в будни, при хорошей погоде, Крестовский бывал чрезвычайно оживлен и многолюден.

Имея перед глазами картину, оживотворяемую беспрестанно шумным весельем, после прошлогоднего жестокого кризиса, с возвратившимися и всё более возвращающимися жизненными силами, с укрепленным здоровьем, при постоянном блеске солнца, среди воздуха, упитанного бальзамическими испарениями елей, мне было хорошо, и время быстро летело для меня. Я много ходил, часто купался и приятным образом отдыхал с книгой в руках; более ничего не делал. Это веселое житье вдруг было прервано самым неприятным образом.

Я получил от Курнана записку, в коей извещает он меня, что племянник мой, за что-то прогневавшийся, накануне вечером бежал

из пансиона даже без шляпы, ночью не возвращался, и что нет о нём никакого сведения. Беспокойство мое часа через два немного прекратилось, когда с городской квартиры моей пришли мне сказать, что дезертир в ней ночевал и остался. Я поспешил туда. Нельзя же было мальчика по шестнадцатому году подвергнуть телесному наказанию; за то на жесткие слова я не поспешил. Он показался мне раскаявшимся, и я отправился в Курнану, дабы испросить прощение виновному и склонить к новому его восприятию; но в этом деле не успел. Полугодовой срок к новой уплате приближался, но он никак не хотел ее принять. В этой возне провел я целый день 3 августа и должен был ночевать в городе.

На другой день, 4-го поутру, к несказанной радости моей, приехал брат мой Павел Филиппович для окончания каких-то прежних дел и расчётов и вывел меня из величайшего затруднения.

Ему, яко старшему в семействе, передал я дарованную мне власть над племянником и все попечения об нём. Квартира моя была просторна для меня одного, по для нас трех

довольно тесновата, кольми паче маленькая дачка моя, куда я брата пригласить не мог, а решился дней пять-шесть провести с ним в городе. Лишь только, оставя его у себя, я думал было опять перебраться на Крестовский, как накопившаяся влажность, целое лето чем-то удерживаемая, проливными дождями низринулась сверху. Через несколько дней беда миновалась, небо просияло, и я опять начал собираться; но воздух отсырел, охолодел, и по справке оказались, что утлое жилище мое окружено грязью и прудообразными лужами. Богатые и знатные скромные приюты наши на островах называют гренульерами (лягушечницами), и действительно осенью они неудобобитаемы. Итак, летний сезон, как говорится, кончился для меня в начале августа. Когда не осталось мне надежды подышать еще загородным воздухом) тогда и враг мой начал приискивать себе особую квартиру и с племянником переехал от меня в конце этого месяца.

В конце сентября только г-жа Бетанкур возвратилась одна с дочерьми, супруг же её еще в августе водой из Нижнего по Волге от-

правился в Казань, в Астрахань и оттуда через Кавказ и Крым должен был поздно воротиться. Я поспешил с моим высокопочтанием к Анне Ивановне и немедленно принят. Она была кисла, даже когда хотела быть приветлива; а тут была она даже груба. Дочери её казались смущенными и также как бы затруднялись со мной говорить. Я еще поспешнее оставил эту дуру, чем пришел к ней и вышедши мог сказать как Буффлер:

*Très satisfait d'ajouter
A l'honneur de l'avoir vue,
Le plaisir de la quitter.*

В ноябре, дня через три после Семеновского происшествия, приехал и сам начальник мой. Прием его был немного получше сделанного мне его супругой: он был со мною холоден и рассеян. Даже шестнадцатилетний сынишка его вздумал со мною спесиво кланяться. Что бы это всё значило? спросил я у себя. «Верно кто-нибудь, пользуясь продолжительным твоим отсутствием, отработал тебя», был ответ. «Да кто же?» — «Да кому же, если не одному и тому же человеку?». Мне нужно было

наперед обдумать свое положение, чтобы к чему-нибудь решительному приступить. Одно обстоятельство показало мне, какую власть зловредный человек приобрел над бедным Бетанкуром. Раз в Нижнем, в его приемной и в его присутствии, робко подошел ко мне довольно молодой человек в губернском мундире, стал рекомендоваться и просить о покровительстве; не зная кто он, отделался я от него учтивостями. Заметив сие, Бетанкур, когда все вышли, сказал мне: «Вы говорили с мосьё Элим; как можете вы достаивать вашими разговорами этого вора, этого разбойника? Не понимаю, как он смеет являться ко мне». После этого узнал я, что этот г-н Ильин, любимец бывшего губернатора Быховца и член ярмарочной конторы, действительно был самый бесстыдный человек, грабитель, что купцы запирали лавки, когда издали завидят его с женой, ибо они все забирали даром и, наконец, что по настоянию Бетанкура он удален от должности. Можно посудить об удивлении моем, когда не с большим через год после того, перед его кабинетом встретил я этого человека во фраке и без шляпы в ру-

ках! С насмешливым самодовольствием подошел он во мне и объявил, что, приехав из Нижнего по приглашению генерала, остановился у него. Ранду было мало отдалить честных людей от своей жертвы, ему нужно было окружить ее мошенниками.

В этом году, заботясь и по заочности об умножении просвещения в отечестве своем, граф Воронцов переписывался с Петербургским почт-директором Константином Яковлевичем Булгаковым, с которым за границей сделал связи, о том, чтобы нам варварам показать, как и между просвещенными народами люди путешествуют приятным и удобным образом, одним словом, чтобы завести дилижансы. Для того предложил он небольшой капитал, а Булгаков увидел тут прибыль, а может быть и некоторую славу. Составилось общество на паях, и учредилось первое у нас в сем роде заведение дилижансов. Не было довольно денег, чтобы соорудить летние экипажи (зимние обошлись в десять раз дешевле), и потому для первой попытки захотели воспользоваться первым зимним путем, и первое отправление назначили 1-го декабря. Все

смотрели на то с некоторою недоверчивостью, как один смельчак, француз г. Дюпре-де-Сен-Мор, экс-депутат, экс-супрефект, который в Петербурге за деньги читал чужие хорошие и продавал собственные свои печатные плохие стихи, захотел поощрить нас своим примером. С первым поездом, кажется, он один-одинехонек отправился в Москву.

Я, конечно, не думал подражать ему, а еще менее служить кому-либо примером; но и меня заохотило прокатиться. Я объяснил Бетанкуру, что престарелая мать моя, собравшись с последними силами, еще в августе приехала в Москву, но что далее не в состоянии будучи ехать, там осталась, и что мне желательно бы было для свидания с ней отлучиться на 28 дней; он нашел, что никакое желание не могло быть справедливее. Я взял место и 4 декабря поехал по столь знакомой мне дороге.

Сидел я в экипаже, который казался тогда затейливым. Это была низкая кибитка, немного подлиннее обыкновенной; но она была прочно сделана, хорошо обтянута кожей и разгорожена надвое. Лежать было невозможно: четыре человека, разделенные пере-

городкой, сидели друг к другу спиной и смотрели двое вперед, двое назад по дороге. Как дотоле зимняя кибитка значило лежание, то наши мужички, глядя на новое изобретение, дилижансы прозвали *нележанцами*. Спутников было у меня всего только двое: старый немец-ремесленник с женою; они сидели в одной из двух отправленных кибиток, и я один в другой, и оттого мне было раздолье. Виделся я с ними только на станциях и даже обедал вместе с ними. Одна просвещенная часть влечет за собою другую: дилижансы ввели к нам понятия о равенстве; надобно надеяться, что езда по железной дороге еще более разовьет их. Что однако же весьма напоминало мне прежнюю Россию, это была услужливость и покорность проворного кондуктора из почтальонов. Со мною не было слуги, и он заменял мне его, а на немцев и глядеть не хотел, почитая их более поклажей, чем людьми. Снег выпал только что в конце ноября, дорога была как скатерть, почт-директору хотелось, чтобы заведение его прославилось и быстротой, и оттого решительно мы не ехали, а летели. Ямщики, не предвидя какой

со временем будет им подрыв, смотрели на нас без зависти и досады и усердствовали в запряжке лошадей. В Завидове возопил наш длинный старик; он, верно, знал одну только саксонскую медленную езду, захворал бедняжка, и сказав: «weiter hann ich nicht», с женою остался на станции. А я чуть рассветало лишь, в Николин день, 6 числа, невступно через двое суток по выезде, был уже у Тверской заставы. Тут случился извозчик; я сел к нему в сани с помощью кондуктора, которому дал безделицу; чемодан свой положил себе в ноги и поскакал в Старую Конюшенную, сперва к сестре своей.

Не предуведомленные мои родные тем более были обрадованы моим приездом. Хотя у сестры мне было просторнее, я переехал к матери моей, в небольшой деревянный нанятый ею дом у девиц Бессоновых, на Никитской, и поместился в антресоле, почти на чердаке. Эти Бессоновы, Катерина и Анна Федоровны, были довольно пожилые, весьма почтенные и набожные девки, которые тут подле жили богато в собственном каменном доме. Общество их всё составлено было из по-

добных им особ женского пола, и его нельзя было назвать веселым. Не из одного угождения матери моей, но также из благодарности за нежную внимательность их к ней и всевозможные одолжения, посещал я их. У матери моей всё было тихо; она редко куда выезжала, и то только в Божии храмы, и кроме детей своих мало кого у себя видела.

За то у зятя моего Алексеева бывало очень шумно, всегда много народа и всякого народа. В праздной жизни, на которую был он осужден, без людей всегда ему казалось скучно.

Вообще Московская жизнь в эту зиму напоминала прежнюю её, старинную, беззаботную, шумную веселость. Как в начале двенадцатого года, она мало заботилась о том, что происходит в Европе, и на этот раз я нахожу, что поступала благоразумно. Летом, говорили, можно еще было видеть кой-где следы разрушения; но тут старуха предстала мне в праздничном виде: она как будто набелилась; снег покрывал и изглаживал морщины её и рубцы, нанесенные ей неприятельским вторжением. За год перед тем скончался военный губернатор граф Торماسов; на его место на-

значен был барич, вельможа, князь Димитрий Владимирович Голицын, преблагороднейший и предобрейший человек, который успел поселить к себе уважение и любовь. Знатность нового градоначальника умножала еще радость и веселие чванных москвичей.

Я встретил несколько старых знакомых, новых же знакомств сделал мало. Тут находилась Прасковья Юрьевна Кологривова с своим вечным смехом; у неё не было друга Финмуша, а всё тот же шпиц, и тот же муж[27]. Ее приехала навестить дочь её, княгиня Вяземская, из Варшавы, где оставила супруга своего на службе. По её предложению, сопровождал я ее и меньшую сестру её Любовь, с мужем, генералом Полуектовым, на единственный бал, который я тут видел. Его давал Алексей Михайлович Пушкин, с которым в 1814 году я мимоездом познакомился. Между многими хорошенькими лицами поразила меня тут необыкновенная красота двух княжон Урусовых, из коих одна вышла после за графа Пушкина, а другая за князя Радзивила. Тут также я мог полюбоваться танцевальными и воло-

китными подвигами племянника моего Алексеева.

После того г. Пушкин пригласил меня к себе обедать. С его умом, ему нельзя было не заметить, что дух века совсем переменялся; однако же он продолжал кощунствовать и богохульничать, я думаю, более по старой привычке. Супруга его, Елена Григорьевна, урожденная Воейкова, как заметил один веселый человек, любила гнать спирт, или, как говорят французы, делать ум и чувствительность; первое было ей из чего, а последнего в ней вовсе не было. К тому же она чрезвычайно либеральничала и жестоко нападала на правительство и царя. Чета эта находилась в постоянном возмущении против властей небесной и земной и, как мне казалось, более для тона. Всё это мне весьма не понравилось, и я уже к ним более не возвращался.

У Прасковьи Юрьевны познакомился я также с графиней Де-Броглио, урожденною Левашовой, бывшею её невесткой, бывшею в первом замужестве за братом её, князем Трубецким. Эта женщина, под именем княгини Анны Петровны, была долго слишком извест-

на целой Москве. В ней примечательны были не красота её, совсем не изумительная, ни даже кокетство, а нечто более: она изменяла первому мужу, бросила второго и осталась верна одному только другу. Смешон бы я был, если б, чрез меру держась строгой нравственности, отказался от знакомства с старой греховодницей, не раскаявшейся, но унявшейся. Это знакомство повело меня к другому, приятнейшему и любопытнейшему.

У неё в доме распоряжался, хозяйничал один иностранец, впрочем, у неё не живущий, и о котором Московское общество и поныне вспоминает с сожалением. Я не назвал г. Кристина французом, хотя любезнее его, приятнее в обхождении, занимательнее в разговорах, я ни одного француза прежнего времени не знавал. Это потому я сделал, что он родом был швейцарец, из города Ивердюна, на прежней французской границе. История его заслуживает быть рассказанною, хотя вкратце; увы, и подробности её сделались бы известны без варварства той женщины, у которой мы с ним обедали и познакомились.

Ребячество свое провел он во Франции и в

молодых еще летах попал в секретари к известному министру Калонну, видел начало революции и вместе с покровителем своим бежал от неё. После того в Кобленце, по его рекомендации, употреблен он был принцами, братьями короля. Особенно полюбился он графу д'Артуа (Карлу X). От него с тайными поручениями, переодетый, неоднократно ездил он в Париж, и тайком, с опасением для жизни, проникал во внутренность Тюлерийского дворца, представлял письма, подавал утешения пленному королю. Эtiquette уже тут не могло быть; он запросто разговаривал с ним, с королевой, с принцессой Елисаветой и ласкал малютку, несчастного дофина. Когда злодеяние свершилось, когда пали головы царских невинных жертв, граф д'Артуа взял его с собою в Петербург. Известно, какой блестящий прием сделала ему Екатерина; он уехал, а Кристин остался в России. Не управляя Иностранной Коллегией, граф Марков был однако же главною её пружиной. Он жил тогда с французскою трагическою актрисой Гюс и через нее познакомился, можно сказать, сдружился с Кристином.

Вдруг сей последний взбесился, уехал в Швецию и там стал явно поносить Россию и русских. Тогдашний регент, герцог Зюдерманландский, после Карл XIII, до конца жизни нас ненавидел, и оттого человека почти без имени начал принимать, ласкать и даже звать на придворные балы. На одном из них, как ветреный француз, он как будто разбежавшись, наткнулся на стоящего у камина, несовершеннолетнего, молоденького короля Густава IV; низко кланяясь и как будто в смущении извиняясь, понизив голос, промолвил он ему: «Ваше величество, вас обманывают, хотят женить на уроде; позвольте с вами объясниться». Едва внятным голосом тот отвечал ему: «У меня математический учитель ваш земляк, шевалье такой-то: напишите мне через него». В записке своей Кристин изобразил все прелести великой княжны Александры Павловны и всю пользу от родственного союза с Екатериной. В это время через месяц ожидали невесту, кривобокою принцессу Мекленбургскую. Король вдруг заупрямился, объявил, что сему браку не бывать и, как ни старались убедить его, он поставил на своем. Ни-

кто не мог понять причины такой внезапной перемены; но король ли проговорился, шева-лье ли проболтался, или сами догадались, гроза висела над главою тайного агента. Кто-то по секрету пришел ему сказать, что на другой же день хотят его взять и отправить в рудники далекарлийские. Будучи хорошо знаком с всеми дипломатами, он побежал к английскому посланнику и объяснил ему весь ужас своего положения. У того были бланки, и он задним числом причислил его к своей миссии; когда пришли его брать, он показал предписание отправиться курьером в Берлин. Оттуда только через несколько месяцев воротился он в Россию и приехал в самое то время, когда в Петербурге[28] находился король шведский с дядей, и шло уже сватовство.

Разумеется, в то время нигде нельзя было ему показаться. Хотя предполагаемый брак и не состоялся, Императрица щедро наградила (то, велела определить в Иностранную Коллегию прямо надворным советником и пожаловала ему четыреста душ близ Летичева, в Подольской губернии.

При Павле пришла невзгода на графа Мар-

кова: он был отставлен и сослан в Летичев, ему принадлежащий. Кристин, которого именице было подле, всегда верный дружбе и несчастью, также вышел в отставку и четыре года добровольно разделял изгнание своего мецената.

При Александре Марков был вызван и отправлен в Париж; к ним поехал и Кристин, уже вычеркнутый из списка эмигрантов. Деятельность возвратилась к нему; он еще не унимался. Войдя в знакомство с семейством Бонапарте, с сестрами его, приблизившись к Жозефине и Гортензии, неизменный роялист, он тайно переписывался с графом д'Артуа, который находился в Англии. О том проведали, похитили из русского посольства, послали в Лион и посадили в крепость Пьер-ан-Сиз. Это была одна из причин дерзостей, сделанных Марковым первому консулу. Верный слуга доставил узнику средство бежать из крепости, и он скрылся в Коппё, у госпожи Сталь. Не знаю, как оттуда пробрался он в Москву, где и простился навсегда с романической жизнью.

Он жил у Маркова на дружеской ноге и занимал часть дома его; продал свое имение, и

пользуясь частью процентов с вырученного капитала, помаленьку умножал его. Большие вельможи нередко посещали его. Надобно было видеть обхождение их с ними: как оно было непринужденно и как вежливо! Может быть, сперва и был он любовником графини де-Броглио (не всегда же она походила на старого мужика, дурно выучившегося по-французски); только когда я их видел вместе, то и тени нежности между ими не было. Всех удивляло продолжение этой связи; надобно было полагать, что они были соединены взаимными денежными интересами.

Мы скоро с ним сошлись; с такими людьми, как он, был я нескромно вопросителен, а он снисходительно ответлив: вот отчего узнал я главные обстоятельства его жизни. Он признался мне, что записывает всё случившееся с ним, и первый подал мысль о составлении сих Записок, — намерение, коего исполнение последовало гораздо позже. Умирая, отказал он все имущество смелой злодейке, которая в старости своей овладела его старостью. Какие рукописные сокровища достались, какие перлы рассыпались перед этою...

Переписка со множеством исторических лиц (чего стоили одни читанные мне письма Сталь), самый роман его жизни, всё это, как ненужное, рукою невежества предано огню.

С самой кончины Павла не случилось мне так близко разглядеть Москву, то есть общество её и разные состояния; тогда, выходя из малолетства, смотрел я на всё неопытным, отнюдь не наблюдательным оком; после того нередко проезжал я через нее, по большей части летом, и останавливался дня на два на три, иногда на пять или на шесть, и она оставалась для меня *terra ignota*. Тут сколько-нибудь мог я изучить этот чудный город, ни на какой другой в мире непохожий. Всё было в нём для меня занимательною новостью; сколько странностей нашел я, сколько добра и зла! Здесь не место делать тому описание; достаточно будет сказать, что я от души полюбил Москву, как женщину старую, добрую, умную, веселую, хотя с большими капризами, и что желание спокойно кончить в ней век сделалось постоянною моею мечтой.

Большую часть времени посвящал я той, для которой я приехал, другую же — тщатель-

ным наблюдениям; таким образом три недели быстро прошли для меня. Я хотел быть исправен, и чтобы тем же способом воротиться к сроку в Петербург, взял я место в дилижансе на 29-е декабря.

Назад ехал я не так уже шибко: напало снегу, были оттепели, и дорога немного попортилась. Кондуктор, к удовольствию моему, был опять тот же; спутников опять имел только двоих, молодых парней — купеческих приказчиков, которые всю дорогу были очень веселы и немного навеселе. Выехав в самый полдень, через двое суток с половиною мы еще не были в Петербурге. Чтобы распрямить немного члены свои, вошел я к станционному смотрителю в Тосне; почти в самую ту минуту на деревянных стенных часах пробило двенадцать; он встал, вытащил бутылку рейнского, выпил за мое здоровье и пожелал мне счастливого года, на что я отвечал ему тем же. Когда в пять часов утра приехали мы в Петербург, на улицах не было ни шума, ни движения: все видно улеглись; все фонари погасли, и была совершенная темнота. Я мог бы часа три дожидаться света в чистой комнате

конторы дилижансов, которая находилась на почтовой улице. Нетерпение превозмогло; мне скорее хотелось быть дома, а ни одного извозчика нельзя было встретить. Поручив чемодан свой знакомому кондуктору, кое-как потащился я пешком. Расстояние было не близкое до Семеновского моста; в шубе и теплых сапогах нелегко мне было, а зги было не видать, снег так и валил и покрывал невычищенные тротуары. На этом тяжком странствовании одни только собаки приветствовали меня своим лаем. Лишь только добрел, скорее повалился спать. Вот как для меня начался 1821 год.

Верчение в Михайловском замке. — Закрывшие лож. — Падение Бетанкура.

Как в истекшем 1820 году, так и в наступившем 1821 и в последующем 1822 положение мое не менялось. Оно было не приятно, но покойно. В семействе моем также никаких важных перемен не последовало. Итак, мне придется вкратце говорить о том лишь что у нас в это время происходило в России, едва касаясь Европы. Тем лучше, может быть, скажет читатель.

Из Троппау, дабы быть ближе к театру происшествий в Италии, конгресс зимой перенесен был в Лайбах. Там на царском съезде положено австрийские войска направить к Неаполю и к Пьемонту, для усмирения бунтующих. А на всякий случай, для поддержания их, велено первой нашей армии под начальством Сакена двинуться за границу.

Вместе с тем и гвардия в апреле месяце получила приказание выступить в поход к Литве. Государь был ею недоволен, узнав о сожа-

лении и участии, оказанных её полками товарищам своим семеновцам. Он хотел ее проветрить, надеясь, что трудности переходов разгонят чад дурных помышлений, которых, право, вовсе не было. Во изъявление гнева своего Государь генерала Васильчикова перед самым выступлением удалил от начальствования гвардейским корпусом, поручив его любимому генерал-адъютанту своему, Федору Петровичу Уварову. Это еще было милостиво: ибо Ларион Васильевич сделан был членом Государственного Совета. Начальникам же гвардейских дивизий, генерал-адъютанту Потемкину и барону Григорию Владимировичу Гозену, взамен их, даны простые пехотные дивизии.

При составлении сих Записок имел я в виду сделать из них отчасти и фамильную летопись нашу. И потому да позволено мне будет здесь в описание общественных дел, кстати или некстати, включить и вступление в службу младшего члена нашего семейства. Племяннику моему, бежавшему от г. Курнана, исполнилось шестнадцать лет. Согласно с желанием матери, брат мой, который давно окон-

чил дела свои и для него только жил в Петербурге, хлопотал об определении его подпорщиком лейб-гвардии в драгунский полк. Этого нельзя было сделать без утверждения шефа полка, находящегося в Варшаве, Цесаревича. На переписку, на соблюдение всех формальностей потребовалось много времени, так что приказ об определении его получен только на другой день после выступления гвардии; поэтому первоначально должен был он поступить в находившийся в Петергофе, под начальством полковника Штейна, запасный эскадрон. Также как мне, лет за восемнадцать перед тем, брат нанял ему там квартиру, устроил его и потом отправился домой в Пензу.

После девятимесячного отсутствия, в половине мая, Государь возвратился в Петербург, на пути не удостоив гвардию свою отеческо-монаршим взглядом своим. Еще более чем в протекшем году обнаруживал он твердое намерение противодействовать направлению, которое так неосторожно сам он дал общественным мнениям.

Прежде всего по религиозным делам заме-

тили в нём уклонение от прежних идей. По сей части доверенную его особу, жалкого князя Голицына, всё более втягивали в мистицизм. Он посещал богослужение различных раскольничьих сект, находившихся в Петербурге и одной из них умел выпросить помещение в императорском дворце. Тут должен я остановиться, чтобы рассказать об одном случае, коего отчасти был я свидетелем и который покажет, до какого нелепого изуверства был доведен этот человек.

По возвращении из Нижнего Новгорода, в один воскресный день, раз посетил я доброе семейство Лабат-де-Виванс, чрезвычайно уменьшившееся, с которым я никогда не прерывал давнишних связей моих. Оно состояло из старых девок, ревностных, чтобы не сказать бешеных католичек, которым, по милости Государя, за службу отца, дана была квартира в верхнем этаже Михайловского замка. За дружеским разговором последовало минутное молчание, во время которого послышалось мне странное пение. «Что это значит?» — спросил я. — «Ah, c'est le sabbat», воскликнули они, заливаясь слезами. Окна их

выходили на Фонтанку, рядом с округленным выступом, во внутрь которого из них с боку вниз можно было смотреть. Там находилась зала, отведенная секте для её духовных упражнений. Я любопытствовал взглянуть и мог только рассмотреть фигуры, как бы в саваны наряженные, с остроконечными белыми колпаками, которые, с невероятною быстротою кружась молниеобразно, появлялись и исчезали. Девушки Лабат после того предложили мне войти в темный коридор и в открытую трубу прислушаться к их пению; на голос: «За долами, за горами» мог я разобрать только слова: «Бог нам дал и Дева».

Эти люди были род квакеров, называемых в Англии шейкерами. Один очевидец, допущенный зрителем к их проказливым таинствам, рассказывал мне после следующее. Верховная жрица, некая г-жа Татарина, урожденная Букстевден, среди залы садилась в кресла; мужчины садились вдоль по стене, женщины становились перед нею, ожидая от неё знака. Когда она подавала его, женщины начинали вертеться, а мужчины петь, под такт ударяя себя в колена, сперва

тихо и плавно, а потом всё громче и быстрее; по мере того и вращающиеся превращались в юлы. В изнеможении, в иступлении тем и другим начиналось что-то чудиться. Тогда из среды их выступали вдохновенные, иногда мужик, иногда простая девка, и начинали импровизировать нечто ни на что не похожее. Наконец, едва передвигая ноги, все спешили к трапезе, от которой нередко вкушал сам министр духовных дел, умевший подчинить себе Святейший Синод. Первенствующими членами общества были директор департамента просвещения Попов и некто Мартын Пилецкий, прозванный Мартыном Задегом, племянник бывшего Пензенского губернатора Крыжановского. Татаринова, Пилецкий и некоторые другие жительствовавали даже во дворце.

Столкновение двух фанатизмов было ужасное. Мои бедные, набожные Лабатки вообразили себе, что между ими водворился сам дьявол и что подле них бывают сходбища ведьм. К несчастью они должны были ходить по одной лестнице с ненавистными им существами; встречаясь с ними, они с ужасом отворачивались, невольно произнося несколь-

ко неприятных слов; сверх того самое соседство представляло поводы к частым ссорам. Я старался внушить им умеренность и благоразумие и, говоря их языком, доказывал, что они должны с покорностью нести крест, Господом им посланный. Впрочем всё ограничивалось более жалобами на такое положение, приносимыми посещающим их. И чем же кончилось? Бедняжки были изгнаны из дворца гораздо прежде, чем он отдан в инженерное ведомство и переименован был Инженерным Запком.

Совершенно невежественный в богословских науках Голицын принадлежал ко всем сектам и ни в одной. Странно было видеть смиренного человека, сделавшегося жестоким гонителем за вопросы, которых он не умел ни объяснять, ни даже понимать. А между тем знаменитейшие жертвы падали под ударами его.

Высокопреосвященный Амвросий, более двадцати лет митрополит Петербургский и первенствующий член Синода, умел соединять уступчивость придворного человека с достоинствами верховного пастыря церкви.

Терпение его истощилось, когда он увидел неисчислимыя раны, наносимыя господствующей вере, и он слегка начал противоборствовать совращениям. Маститая старость его послужила Голицыну предлогом к его удалению. Для него отделена Новгородская епархия, он сослан туда и, удрученный летами, вскоре угас там в горести. На его место призван был архиепископ Черниговский Михаил, известный своею кротостью. Но, чего не видали руководители Голицына, он был самый жаркий поборник Православия; это вскоре открылось, и несогласия начались. В этой борьбе скоро истощились силы человека, привыкшего к уединенной и мирной жизни, и он также начал клониться ко гробу. Чувствуя приближение кончины, в начале 1821 года, написал он к Государю письмо в Лайбах. В нём красноречиво, убедительно, трогательно изобразил он опасности, коим подвергнута Греко-Российская церковь; о противнике своем, слепотствующем Голицыне, говорил он с сожалением. Вообще письмо это, при совершенном отсутствии гнева, исполнено было одною глубокою горестью. «Государь, так

оканчивал он (как сказывают), когда дойдет до вас сие писание, вероятно меня уже не будет на свете. Ничего кроме истины не вещал я людям, наипаче же теперь, когда в деяниях своих готовлюсь дать отчет Вышнему Судие». Это письмо тем более поразило Государя, что через две недели получил он известие о его смерти.

Возвратясь в Петербург, неизвестно по чьему внушению, говорят по совету Аракчеева, преемником Михаилу избрал Государь Московского митрополита Серафима, умного старика, и хитрого, и стойкого вместе. Его назначение можно почитать началом постепенного падения Голицына, Библейского Общества и мистицизма.

В следующем году высочайшим рескриптом на имя графа Кочубея велено закрыть все масонские ложи и тайные общества и всех служащих, равно как и вступающих в службу, обязать подпискою не посещать их и к ним не принадлежать. Эта мера была бы весьма полезна за несколько лет перед тем, когда мода и любопытство привлекали в них множество разного звания людей. Тогда злослава-

ренные старались вербовать туда неопытных юношей. Я давно перестал ходить в ложи и только понаслышке знаю, что они были брошены большею половиною прежних посетителей и продолжали существовать без цели и значения.

В августе Государь однако же захотел показать себя гвардии. Усилия австрийских войск в Италии были увенчаны успехом, и следовательно помощь России сделалась более ненужною. Гвардейский корпус был остановлен на дороге в принадлежащем графу Хреbtовичу белорусском поместьи Бешенковичах; туда отправился Государь. Осмотрев полки, он остался ими совершенно доволен, роздал несколько наград начальствующим, но воротиться им в Петербург на зиму не дозволил. На лучшие зимние квартиры должны были они идти не помню в Литву или в Минскую губернию.

Желая в одной этой главе соединить происшествия двух годов по одному предмету, скажу, что, в следующем 1822, к 22 июля, дню именин вдовствующей Императрицы и Петергофского праздника, гвардия возвратилась

из продолжительной и затруднительной прогулки своей; тут, кажется, последовала совершенная мировая. Однако тут же приняты некоторые новые меры, которые соблюдаются и поныне; например, тут начали заниматься учреждением Школы Гвардейских Юнкеров и Подпрапорщиков. Жизнь сих молодых людей была дотоле самая праздная и соблазнительная: на них мало взыскивали, на ученье ходили они редко, в караулы никогда. Но как всякое дело имеет свою худую сторону, то запирать совершеннолетних юношей, как малолетних учеников, не значило ли возбуждать еще более кипящие в них страсти? Исключая походов, гвардейцы не знали дотоле другой жизни, кроме столичной; с этих пор начали поочередно выводить батальоны на полгода в окрест лежащие селения.

Окончу сию главу рассказом о случившемся в сии два года, ближе ко мне относящемся.

Сделавшись главным директором Путей Сообщения, сказать правду, мой Бетанкур слишком зазнался. Он не видел границ ни доверенности в нему Царя, ни покорности первых лиц в государстве к сему последнему, и

почитал всё себе дозволенным. Он не хотел сделать никаких связей, которые бы во дни напасти некоторым образом могли служить ему опорой. Россия казалась ему также неисчерпаемым кладезем, и оттого предприятиям его, скажем лучше, его строительным затеям, не было конца; на всё требовал он миллионы и гневался на министра Финансов, который не умел их находить. В преувеличенном виде кредит его представлялся Ранду, который вне круга действия своего также не имел никаких связей. Он, как говорится, смело бил в его голову, ни от чего незаконного не предостерегая, не удерживая его; только, для прикрытия собственной ответственности, не скреплял ни одной из бумаг им подписанных. Оттого управление шло самым беспутным образом, а число неприятелей Бетанкура, им оскорбленных, в высшем правительственном кругу, с каждым днем возрастало. За всем следил Аракчеев, коего покровительством он пренебрегал, который не враждебно, но и не слишком приязненно был к нему расположен и который обо всём доносил в Троппау и Лайбах. К весне многие были уверены, что начальни-

ку моему не остаться на месте; тучи собрались над его головою, и их не видели только он да Ранд, именно те, над коими они должны были разразиться.

Вскоре после приезда Государя, в Мае месяце, имел Он у него доклад. Надобно полагать, что прием ему был хороший, ибо на другой день видел я его веселым по прежнему. Все предположения его одобрены, все представленные им инженеры награждены; только представления о гражданских чиновниках Государь, показывая усталость, оставил у себя, обещая на другой день их утвердить. Кто бы мог подумать? Без всякой просьбы, без всякого напоминания с моей стороны, и я попал в число представленных. Я думаю, Бетанкуру хотелось честным образом от меня отделаться, а потом распроститься со мною; для того прямо, мимо Милорадовича, испрашивал он мне чин статского советника. Он даже наперед поздравил меня с ним, а мне не поверилось.

Дня через три после доклада, Бетанкур, уверенный в сохранении милости царской, имел неосторожность опять отправиться в

Нижний Новгород, куда его всегда так и зазывало. Таким образом оставил он свободное поле проискам всех своих недоброжелателей. Скоро после отъезда его узнали мы, что представления об нас Государь велел отправить на рассмотрение в Комитет Министров, где целые годы пролеживали они; ибо Государь в частых разъездах, говорили, не имеет времени заняться их утверждением. Меня это мало огорчило, я того и ожидал; но оно служило несомненным доказательством упадка моего начальника в добром мнении Царя.

В конце сентября Бетанкур воротился в Петербург не на радость. Неделя за неделю Государь всё откладывал испрашиваемый им доклад. Это продолжалось почти три месяца, как вдруг в главном управлении его произошла ужасная тревога.

Пензенский помещик, мой сосед, двоюродный браг упомянутым мною Араповым и Хрущовым, Александр Петрович Вельяшев, служил или скорее числился некогда в Иностранной Коллегии. Отец его Петр Адрианович, богатый помещик, в больших долгах не от мотовства, а от предприимчивости, сделал

из него своего поверенного и приказчика. Исполняя волю отца, он следовал и собственной склонности, и в самых молодых годах всё занимался отправлением кулей вниз по Суре и вверх по Волге. Когда ровесники и сослуживцы говорили ему о поэзии, о спектаклях, о красоте женщин, он всё толковал им о Василь-Сурске и о Рыбинске. При учреждении Главного Управления Путей Сообщения пожелал он служить в его ведомстве, естественным образом переведен в инженеры по сей части с переименованием в равный чин и имел тут потом постоянные успехи. Все поручаемые ему операции оканчивал он к удовольствию начальства, хотя с большим накладом для казны. В нём было и русское хлебосольство, однако же с разборчивостью, и некоторая часть тайно или даже открыто делаемых им приобретений поглощалась желудками угощаемых им всегда более или менее нужных ему людей. Это был клад, а не человек. На упрек в умножении состояния ответом всегда бывали родительские спекуляции.

Вывали и для него тяжелые времена, именно перед самым назначением Бетанкура

в должность главного директора. В чине генерал-майора между прочим заведовал он тогда устройством дороги из Чудова в Грузино. По каким-то доносам, по каким-то недочетам грозила ему напасть. Смелым Бог владеет, говорится обыкновенно; мне кажется, иногда и чёрт; с невероятною наглостью Вельяшев умел выпутаться из дела, обчел, обворожил Бетанкура и вместо взыскания получил ленту. Что после того года через два могло разорвать крепкие связи его с Рандом, мне доселе неизвестно; вероятно какие-нибудь споры по дележу, какая-нибудь неустойка, неисполнение великолепных обещаний, только вражда между сих людей возгорелась ужасная. Нападения на Вельяшева поведены были сильно; может быть, если б он не ожидал скорого падения Бетанкура, если б он не твердо надеялся на Аракчеева (к которому умел подделаться, но который никогда не потакал мошенничествам и его после выдал), то не решился бы он вступить в неравный бой. Будучи членом Совета Путей Сообщения вместе с генералом Карбониером, постоянным неодобрителем всего происходящего, составил он с ним яв-

ную оппозицию: они представили бумагу, исполненную самых дерзких выражений в виде протестации против действий главного директора. Это было почти накануне Рождества 1821 года.

Когда о святках дошло сие до Государя, потребовал он к себе, наконец, Бетанкура. В первый раз принял он его сурово и между прочим сказал: «Я вас не виню, а самого себя; я определил вас в должность, для которой вы неспособны и от которой вы отказывались». Кажется, после этого оставалось только просить об увольнении от оной; но удовольствия власти сделались уже в нем привычкою, и он остался. По крайней мере, восторжествовал он над своими врагами. Может быть, в протесте двух генералов было много дельного, много истины; но он вделан был во время неурядиц на Западе и имел вид возмущения против начальства; оба были удалены от должностей и преданы суду[29]. Но как бы ни было, этим нанесен решительный удар Бетанкуру.

Житье было плохое потом для бедного Вельяшева: обвинения на них посыпались, и

строго начали рассматривать его счета. Мне только один раз после того удалось его видеть. В Великую пятницу 1822 года, гуляя по Невскому проспекту, зашел я отдохнуть в католическую церковь; в ней было довольно просторно: все толпились вокруг декорации, находившейся в глубине её. Издали меня увидев, Вельяшев встал, подошел и сел возле меня. Он был беловолос, бледен, худ и чрезвычайно картав, даже косноязычен. Тут на лице его заметил я желтоватую синеву, и в поношенном мундирном сюртуке под поношенной шинелью показался он мне очень жалок. Почитая меня справедливо недовольным, пустился он говорить не столько об общем нашем начальнике, как об окружающих его. Он не старался оправдывать себя и кончил, сказав мне: «Ну что ж, кьяй, так кьяй; но язве я один, да язве я не давай Янту и Хьющову, да язве нет у меня на то вейных доказательств?» Я думаю, что он говорил неправду (такими доказательствами он бы верно воспользовался); как русский человек, поступал он смело, неосмотрительно, а Ранд всегда искусно умел, как говорится, хоронить концы. Такая наив-

ность привела меня в совершенное смущение; язык прильнул к гортани моей, и я с трудом мог проговаривать: ну, так, конечно, оно так. Заметив, что я неохотно его слушаю, он почти с негодованием оставил меня.

Еще весной узнали, что назначен новый конгресс в Вероне и что Государь намерен к концу лета туда отправиться. На этот раз Бетанкур не поехал в Нижний Новгород, остался в Петербурге, тщетно умоляя об аудиенции и ожидая её с надеждою представить все собранные им объяснения и оправдания. Он получил ее накануне отъезда Государева, 2 августа.

Я ничего о том не знал. На другой день после обеда явился ко мне вестовщик Морозов с вопросом: «Правда ли, что Бетанкур отставлен?» — Не знаю, отвечал я; дело возможное, только я не слыхал. Я не обратил особого внимания на принесенные им вести, которые по большей части бывали одно вранье; однако же следующим утром любопытствовал идти к Бетанкуру. Всё нашел я в прежнем порядке, адъютантов, дежурных, его самого, распоряжающего, повелевающего, а Ранда не толь-

ко не встревоженным, казалось, даже более ободренным. Я не решился никого спросить; но от нового адъютанта, гвардии офицера Бестужева, ко мне приятенно расположенного, узнал следующее.

Государь принял Бетанкура по-видимому весьма благосклонно, говорил ему с сожалением о множестве врагов, которых он, как иностранец, имеет в России, и объявил, что придумал средство дать ему сильную опору. «Генерал-инспектор военных инженеров — брат мой Николай Павлович, — сказал он, — но по молодости лет он только поверхностно занимается этою частью, всем же заведует директор инженерного департамента, ученый и опытный генерал Опперман. В семействе моем выбрал я одного человека, с которым хочу поставить вас в одинаковые отношения; это родной дядя мой, герцог Александр Виртембергский, который теперь в Витебске генерал-губернатором; он начальствовать будет только одним именем». Сбираясь в путь, по совершенному недосугу, занятие представленными ему делами Государь отложил до скорого возвращения своего. В приказе, тот же

день отданном, ничего не упомянуто о Бетанкуре, а герцог назван не главным директором, а главноуправляющим путями сообщений. Понимай, как хочешь!

Странно, как Бетанкур не постигнул еще характер Александра, как он не понял дипломатической его уловки! Как вымышленный соотечественник его, граф Альмавива, он не верил одной только правде. Между тем два Александра, Император и герцог, дорогой имели свидание и тайное совещание. А мой бедняга оставался предоволен и даже с большим нетерпением, почти два месяца, ожидал прибытия его королевского высочества.

Стоит порассказать об этом приезде. Зять Бетанкура, майор Эспехо, не помню по какому-то нужному делу, был у меня часу в четвертом 1-го октября, в день Покрова. В душевном волнении, под сильным впечатлением в то утро им виденного, передал он мне все подробности. Накануне 1-го октября рано приехал герцог и остановился в приготовленных для него комнатах Зимнего дворца; потом отдал приказание, чтоб все инженеры, находящиеся на лицо, с своим начальником яви-

лись к нему на другой день 1-го числа. Более часа Бетанкур с гурьбой подчиненных должен был прождать; его позвала, но не отдельно, а вместе с ними. Поочередно начал он их представлять герцогу, как тот, вдруг остановив его словом «довольно», обратился к ним с следующей речью: «Господа, в вашем корпусе тьма беспорядков, хищничества, до того, что мундир ваш весь выпачкан; его стыдно носить, и я не прежде надену его, пока новыми поступками вы не очистите его. Сильными мерами постараюсь вас к тому понудить». Коротко и ясно. Ничего еще не выдавши, клеймить людей, из коих многие была уважения достойны, и единственно с умыслом оскорбить их начальника: это такая бесчеловечная жестокость, которую мог себе позволить только немецкий принц. Бетанкур спросил его: когда прикажете представиться гражданским чиновникам? «Никогда, — отвечал он: — они недостойны меня видеть». Потом поворотился ко всем спиной и вышел.

С небольшим числом накопившихся бумаг должен был я на другой день идти к разоблаженному, униженному генералу. Ста-

рик-швейцар из немцев встретил меня с печальным видом и, качая головой, сказал: «Идите, всё пусто, он один, никого нет». Действительно я нашел его совершенно одного, одетого в мундире, сидящего за письменным столом, сложив руки, погруженного в думу. «А, это вы!» сказал он, приподняв голову и, несмотря, стал подписывать мои бумаги. Я молчал. Вдруг спросил он у меня: «Слышали ли вы, что вчера происходило?» — Слышал и едва поверил, был мой ответ. «Но вы еще не всё знаете, продолжал он; представьте себе, что вчера вечером вдруг он послал за Эвениусом[30] и велел ему, наняв подводы, в самую полночь подъехать к моей канцелярии, там выбрать все дела и бумаги и привезти к нему. Когда сегодня пришел Ранд, чтобы приготовить к докладу дела, нашел он все шкафы пустыми и канцелярию расхищенной и когда узнал, что всё увезено Эвениусом, пошел к герцогу за приказаниями. Тот велел его пустить и встретил словами: Зачем вы пришли? Бы мне вовсе ненужны; ступайте вон и не показывайтесь мне на глаза. Рассказав мне о том, перед вами только что он вышел от ме-

ня». Если б я алкал мщенья, то какого лучше мог я ожидать? Бедный старик до того обеспамятел, что забыл, с кем говорит и с горестью возвещал о падении Ранда человеку, которого оно много опечалить не могло.

Не проходило потом недели, чтобы Бетанкур не испытывал новых неприятностей, не претерпевал новых унижений. Приняв предложение Государя, он добровольно подчинил себя герцогу; делать было нечего. Положение его было совершенно новое: никто еще не видел министра, сделавшегося вдруг подчиненным преемника своего.

Ни один из прежних главных директоров, ни принц Ольденбургский, ни Де-Волан не могли входить ни в какие распоряжения по Институту Путей Сообщения; согласно воле Императора, Бетанкур оставался в нём полным властелином и хозяином. Не предупредив его, герцог вдруг приехал осматривать сие заведение во всех его подробностях. По учебной части трудно бы было ему найти какое-либо упущение; зато по материальной ко всему придирался он, чтобы всё расхулить. Там штукатурка немного отвадилась, там за-

метил он пятно на стене; несмотря на позднее время года, всё велел он переправить, перекрасить. Наконец, за все таковые неисправности объявил строжайший выговор начальству. Еще гораздо позднее, кажется, уже в ноябре, дал он, как бы адъютанту, письменное приказание предместнику своему отправиться в Шлиссельбург, для осмотра каких-то повреждений в шлюзах, затрудняющих прибытие последних транспортов.

Я не понимал, я не узнавал Бетанкура; правда, повиновение его было молчаливое и сердитое, но не менее того безответное. В поступках герцога он находил нечто столь чудовищное, что надеялся по возвращении Царя видеть сердце его тронутым такими против него несправедливостями. Как он ошибался! Немало огорчило его также в это время изъявленное герцогом намерение лишить его великолепной квартиры.

Сын не короля и даже не курфюрста, а только владетельного герцога Виртембергского, прежде князя Монбелиарского, отца многочисленного семейства, герцог Александр претерпевал некогда нужду, и состояние его

далеко не равнялось знаменитости его рода. А в крови всех членов этого владетельного дома была страсть к пышности, к наружному величию. Старший брат его, первый король Виртембергский, коего наследственные владения, благодаря постоянному союзу его с Наполеоном, увеличились впятеро, мог более уделять меньшим братьям. Однако же не более пятидесяти тысяч рублей ассигнациями ежегодного содержания мог он получать от него. Гораздо более имел он от щедрот царственных родственников своих в России. С малолетства, говорят, имел он великую склонность к математике вообще и к живописи. В первой имел большие успехи и с прежнею немецкою терпеливостью и в других частях приобрел много познаний. Иногда искусство может исправлять, украшать тощую природу, но никогда одна наука не может вполне заменить врожденный ум. При малых средствах, со вкусом и бережливостью, герцог умел составить себе изящную картинную галерею, которую, за неимением им оседлости, можно было назвать кочевою. Чтобы расставить ее и жить с подобающим сану его

достоинством, мысленно избрал он казенный, прежде Юсуповский дом, который без всякого преувеличения, когда угодно, можно было назвать дворцом.

Для занятия его, сам Бетанкур неумышленно приготовил ему средства. Еще при принце Ольденбургском значительный капитал выдан был из казны на покупку в Петербурге дома для департамента и канцелярий. По жительству принца в Твери капитал сей положен был для приращения процентами в Земный Банк. Сверх того на тот же предмет по штату отпускалась ежегодно сумма, из которой бережливый Де-Волян употреблял только половину для найма квартиры департаменту, а остальное отсылал в тот же Банк. Институту принадлежало пустое место по Обуховскому проспекту; на нём затеял Бетанкур построить большое, славное здание и употребить для того найденный им накопившийся огромный капитал. Докладывая о том Государю, сказал он: «Есть место, есть деньги, и Вашему Величеству копейки это не будет стоить». Однако же строители, инженеры умели так сделать, что свыше сметы пришлось еще до трехсот

тысяч ассигнациями доплатить. Строение было только что совершенно окончено и отделано и по величине своей не соответствовало своему назначению, ибо несколько департаментов могло в нём поместиться. Герцог нашёл, что оно весьма удобно для Института, и если вывести его из Юсуповского дома, может он занять его место. Все сии перемещения могли быть сделаны лишь с согласия Императора, а возвращения его ожидали только в январе, следственно ближе весны нельзя было приступить к переделкам, и хотя на несколько месяцев Бетанкур мог сохранить свое жилище.

Черты у герцога, говорят, были правильные (я его никогда не видал), но обезображены большим наростом, шишкою или лупою. Несмотря на грозное его вступление, подчиненные не весьма боялись его; при дворе его не уважали, особливо молодые племяннички, из коих проказливый Михаил Павлович называл его то титулярным советником Шишкиным, то дядюшкой Лупандиным (от слова *loup*) и, наконец, великим Понтифом, как заведовающим *ponts et chaussées*. Как в муже

почтенной и любви достойной принцессы и отце семейства не одобряли в нём также слишком явной страсти к презренным женщинам.

Изгнав Ранда и Хруцова, управление департаментом временно поручил он привезенному с собою правителю канцелярии своей, белорусскому дворянину, статскому советнику Петру Вонифатьевичу Борейше, известнейшему плуту, и сохранил его директором до конца жизни своей; и так, как говорят французы, чёрт ничего тут не потерял. Исключая двух первых, вероятно пожертвованных последнему, со всеми другими герцог был отменно хорош. Я уже говорил об увертливости и услужливости Варенцова; для него сочинил Бетанкур дежурство, превратившееся при герцоге в штаб корпуса Инженеров Путей Сообщения пользуясь великою доверенностью нового начальника, он имел бесстыдство и подлость везде поносить прежнего, ему столь благодетельствовавшего. Добрый, честный, любострастный Маничаров из адъютантов попал к герцогу по особым поручениям, и при сем обожателе прекрасного пола житье ему

было лучше прежнего. Наконец, и Бестужева взял он к себе в адъютанты и всегда любил.

По положению моему, вне совершившихся великих переворотов, был я простым их зрителем. Наконец, с моим Бетанкуром остались мы почти с глазу на глаз; но всё какая то неловкость продолжала существовать в наших сношениях; мало-помалу воротилась прежняя доверенность, и наши беседы сделались откровеннее. Странная была моя участь: я был чужд его торжеству, а разделял его падение. В последние годы лень не до того овладела мной, чтобы в других ведомствах не искал я места, если не равного тому, которое имел в виду, по крайней мере немного ниже. Неприязненность к человеку, при котором я находился, везде ставила мне препятствия. Наконец, я решился всё бросить и с братом зарыться в деревне; зимой непременно бы я сие сделал, если б осенью не последовали для нас такие важные перемены. Мне стало совестно и жалко как будто бросить человека всеми покинутого; однако же намерения моего я не оставлял и для исполнения его ожидал только весны.

Надобно же сказать, что последовало с Бетанкуром по возвращении Государя из Вероны. Опальный писал к нему, но не получил ответа. Насилу, как бы в оказание особой милости, дозволено ему не числиться более в Корпусе Инженеров, не управлять Институтом Путей Сообщения и не зависеть от герцога. В заведовании его остались только Петербургский Строительный Комитет, Исакиевский и собор и Нижегородская ярмарка. По первому предмету раза два или три в неделю официально занимался я с ним; по последним бумагами приватно заведывал Ранд, с которым, к счастью, мне редко случалось встречаться. Ослепление старца длилось до конца жизни его; а его губитель, уже без цели, по одной привычке, старался сохранить над ним приобретенную власть.

IV

Герцог Александр. — *Исакиевский собор. — Каталани. — Литература.*

С тех пор как по службе обязан я был заниматься строительною частью в Петербурге, в Записках сих я почти ничего о ней не упомянул. Имея в виду скоро расстаться с нею, не худо сделаю, если читателю дам отчет в её успехах.

Один огромный памятник обращал в это время на себя особое внимание Государя — вечно строящийся Исакиевский собор. В конце 1817 года утвердил он новый чертеж и план сего здания и для перестройки его учредил комиссию под председательством обер-шенка графа Николая Николаевича Головина. Генерал Бетанкур назначен членом сей комиссии по искусственной части, то есть настоящим строителем; именем же строителя почтен Монферран, архитектор невзначай.

Найдено, и весьма справедливо, что величина угловатого, неправильного пространного поля, которое под именем площади окру-

жало прежний собор, повредит колоссальности возводимого нового храма, и для того, по воле Царя, сделан новый план площади; кусок в виде треугольника отрезан от нее для постройки на нём частного строения, которое могло бы служить частью красивой рамы великолепной картине.

Я не видел начала исполнения сего предприятия: к нему приступлено после отъезда моего за границу, весною 1818 года. Когда я возвратился, нашел я подле собора в одно лето выросший огромный дом, который по форме своей походил на фортепиано и принадлежал родному племяннику министра юстиции, князю Лобанову-Ростовскому. Сей последний разбогател от женитьбы на графини Безбородко, племяннице и одной из наследниц князя Безбородки. Что же касается до самого собора, то кирпичный купол, построенный при Павле, был уже с него снят, и небольшая часть его к Почтовой улице сломана. Других перемен я не нашел, и в последующие годы видел мало.

А между тем полтора миллиона рублей ассигнациями ежегодно отпускаемо было для

строения. На что употреблялись они? На постройку существующего и поныне деревянного забора и спрятанного за ним деревянного городка для помещения рабочего народа и зрителей за работами, на сооружение гранитного фундамента под новое к Почтовой улице вытягивающееся строение, более же всего на заготовление драгоценных материалов. Ими изобиловали в Финляндии Рускиальские каменоломни, и один простой русский промышленник, Яковлев, в кафтане и бороде, нашел удобное и легкое средство добывать огромнейшие их массы без помощи инженеров и механиков и доставлять их водою в Петербург. Тут узнал я всё недоброжелательство и несправедливость западных иностранцев к русским; немногие говорили об этом человеке с некоторым одобрением, только двое или трое дивились его изобретательности. Зато русские осыпали его похвалами, когда летом 1822 года на Исакиевскую площадь с Невы вывалял он чудовищный монолит, первый из тех, кои поддерживают ныне фронтоны собора. Нерукотворная гора под стопами Медного Всадника, воспетая Руба-

ном, вблизи его казалась карлицей подле великана. Нужен был и в Бетанкуре гений механики, чтобы поднять такую тяжесть и как простую палку воткнуть перед зданием. Выдуманные им машины служили великою помощью Монферрану, а после смерти его сделались его наследством. Всё споспешествовало этому человеку: искусство и Бетанкура, и Яковлева и, наконец, каменного дела мастера Квадри, который прочно умел строить, лучше всякого архитектора. Ему оставалось только рисовать, да пока учиться строительной части.

За забором нельзя было видеть, как фундамент нового строения подымается из земли; только все видели, как каждый год что-нибудь отламывалось от старого, так что, наконец, осталась одна самая малая часть его и, можно сказать, украшала всё еще новый Петербург, ибо была в нём единственною великолепною руиной.

Чтобы, между тем, чем-нибудь потешить Царя, Монферран, с одобрения Бетанкура, затеял сделать деревянную модель новой церкви. Более года отделялась она в надворном

строении того дома, где мы жили с Монферраном, и стоила более восьмидесяти тысяч рублей ассигнациями. Когда она был окончен, ее перенесли и поставили в большой комнате, которую она всю наполнила собою. Она была рядом с моею квартирой, и я мог досыта любоваться этой щеголеватою и великолепною игрушкой. Купол как жар был вызолочен; лакированное дерево можно было принять за гранит и мрамор: до того оно им уподоблялось. Посредством рукоятки модель раздвигалась надвое и давала вход во внутренность храма: там всё было, и штучный пол, и раззолоченый иконостас, и миниатюрные иконы, его украшающие, и всё чудесно было отделано. В комнате, через которую надобно было проходить, для противоположности нарочно поставлена был довольно грубой работы небольшая модель старой церкви, от времени попортившаяся и которая дотоле хранилась в Академии Художеств. Разница должна была броситься в глаза, хотя одно было плодом воображения пресловутого Растрелли, а в сочинении другого, как в иных французских водевилях, участвовали три автора. Может

быть ныне посмотрели бы снисходительнее и беспристрастнее, но тогда строго держались чисто-греческого стиля, соединяющего простоту с величием, не хотели слышать о ренессансе, о моенаже, и слово рококо было вовсе неизвестно.

Государю угодно было модель сей удостоить своим воззрением. По соседству мне захотелось быть свидетелем сего посещения. Не предупредив Бетанкура, а только условясь с Монферраном, явился я тут в каком качестве? право, сам не знаю, ремесленника ли или помощника архитектора. Это было в мае 1820 года. Нас было всего трое, ожидавших с некоторым волнением, четвертый — прибывший Государь. Вот первый и единственный раз, что вдали от толпы, на столь небольшом пространстве и так продолжительно, мог я видеть и слышать его. Сперва жался я в двери, но скоро любопытство победило во мне почтительный страх (к счастью, он ничего не спросил обо мне). С величайшим вниманием он всё рассматривал, обо всём расспрашивал, делал свои замечания, и несколько раз низко нагибался, чтобы посудить об эффекте, кото-

рый произведет внутренность храма. Как он был еще хорош слишком в сорок лет и с обнаженным челом, и при умножающейся тучности как был он еще строен! Не меня дарил он улыбками, не ко мне обращал он милостивое слово, а я весь был очарован. Удаляясь и взглянув на оба модели, на пестрый и потускневший и на тот, который блистал белизной, обратился он к Бетанкуру и сказал ему: «Вы знаете, насчет нашего предприятия как много в городе сплетен и пересудов; эти модели будут лучшим на них ответом». И действительно, все художники роптали. Как можно для векового здания не сделать конкурса? — говорили они. Архитекторы ненавидели Бетанкура за Монферрана, инженеры — за Ранда, все знатные завидовали его кредиту; другие состояния видели в нём иностранца, презирающего их отчизну, и всё восстало на доброго человека, только ослепленного успехами. Европейцы и до сих пор не постигли нас; они полагают, что в России нет другой России кроме Царя. Одни немцы хорошо нас поняли и оттого, если Бог попустит, долго будут, они у нас первенствовать.

Из двух проектированных замечательных зданий одно в это время было построено, хотя еще не отделано: это новый Михайловский дворец. Покойный император Павел, при рождении младшего сына Михаила Павловича, велел ежегодно откладывать, не помню посколькy сотен тысяч рублей, дабы сей Вениамин, коeму не суждено было царствовать, достигнув совершеннолетия, по крайней мере мог жить по-царски. Говорят, что накопилось до девяти миллионов, коих употребление молодой человек предоставил старшему брату Государю. На них-то, под наблюдением Росси и по плану его, выстроен дворец, для которого образцом, хотя не совсем удачно, архитектор взял Лувр.

К исполнению другого проекта при мне еще не было приступлено; оно последовало немедленно после моего отъезда. На Дворцовой площади с правой стороны находился закругленный так называемый Ланской дом, а с левой — целый ряд частных домов, образующий какой-то топорок, что ей давало вид совсем неблагообразный. Дабы сделать ее более регулярною, положено скупить все дома, сло-

мать их и на их месте, в виде неправильного полукружия, построить те бесконечные здания, в коих помещаются ныне Главный Штаб и два министерства — Иностранных Дел и Финансов.

К этому времени принадлежит и перестройка Большого каменного театра, сторевшего 1 января 1811 года, хотя она произведена гораздо ранее. Француз Модюи принял на себя этот труд так, от нечего делать, говорил он, и дабы доказать русским, что и в безделице может выказаться гений. Этот первый опыт его в Петербурге был и последний. Не совсем его вина, если наружность здания так некрасива, если над театром возвышается другое строение не соответствующее его фасаду. Тогдашний директор, князь Тюфякин, для умножения прибыли, требовал, чтоб его как можно более возвысили. Когда перестройка была кончена, в начале 1818 года, двор находился в Москве, а Государь на несколько дней приезжал в Петербург. Он осмотрел театр, остался доволен, но при открытии его быть не хотел. Щедро наградил он Модюи и деньгами, и чином коллежского асессора; а тому бо-

лее хотелось крестика[31].

Упомянув о театре, кстати приходится мне здесь говорить и о театральных представлениях. В русской труппе больших перемен произойти не могло. Целое новое поколение молодых актеров — Сосницкий, Рамазанов, Климовский, — показалось в пятнадцатом году; в столь короткое время они не могли состариться, а напротив возмужали и усовершенствовались.

Опера шла тихим шагом с своим прежним Самойловым и с меньшою Семеновою. Комедий новых было мало, а новых трагедий и вовсе не было. Но в старых, и особенно в драмах, явился маленький феномен, молодой Каратыгин. Как законный наследник престола, заступил он место отошедшего в вечность Яковлева, всеми почитаемого отцом его. Хотя в голосе двух трагических артистов было большое сходство, зато в прочем совершенная разница. Рослый и величавый Каратыгин, с благородною осанкой и красивым станом, умел пользоваться сими дарами природы; ссора учением и терпением приобрел он и искусство. Он женило» на дочери танцов-

щицы Колосовой, девочке благовоспитанной, которая с ним явилась на сцене и которой вредил только недостаток в произношении. Он с нею ездил в Париж, там пример Тальмы и советы умной жены не только развили, даже породили талант, которого от природы, как утверждают, он не имел. Как бы то ни было, после Дмитревского, которого, еле живого, видел я в глубокой старости, выше актера в этом роде мы не имели.

По каким-то несогласиям с Тюфякиным Шаховской оставил служение в театральной дирекции, но сохранил на нее большое влияние, ибо актеров и актрис, воспитанников и воспитанниц один учил декламировать и для них один почти писал пьесы. В это время сделался он неистощимее, плодовитее чем когда-либо, только в легком роде: по большей части писал он хорошенькие водевили, которые трудно бы мне было здесь припомнить и исчислить. Для этого рода образовал он еще двух миленьких актрис, с французским прозванием, Монруа и Дюрову; обе были хороши собой, особливо последняя. В водевилях был также весьма забавен Шаховским же образо-

ванный шут, Величкин.

Недочеты, передержки наделали князю Тюфякину много неприятностей, которые и его понудили оставить главную дирекцию. Для поправления финансового состояния театра, управление его, с сохранением должности генерал-губернатора, поручено графу Милорадовичу, у которого, кроме неоплатных долгов, ничего уже не было. О в давно добивался этого места и получил его как одну из наград за его великие подвиги. Карикатурный Баярд в одном только был схож с подлинником, которого передразнивал: он был столько же храбр, как и тот. Не в целомудрии подражал он этому рыцарю, когда театральную школу превратил в свой гарем. И так сильны в нас привычки, так влечет нас опять к покинутой власти, что бедный Шаховской, по настоянию Ежовой, согласился быть его Кизлар-агой. Сего ему было мало; он захотел иметь свой парк-о-Сер, и давно брошенный Екатерингофский лесок избрал местом своих увеселительных занятий. На украшение его вытребовал он у города более миллиона рублей, для молодых актрис и воспитанниц кру-

гом велел нанять дачки, и в выстроенной зале, под именем воксала, начал (разумеется не на свой счет) давать балы, на которых плясали перед ним одалиски, баядерки и алмэ, и он по прихоти бросал им свой платок. Не знаю, при таком начальнике усовершенствовались ли драматическое искусство? Только после трехлетнего управления его, открылся ужасный дефицит как в городских, так и в театральных суммах. Он без счета бросал некогда собственные деньги; когда их не стало, принялся за чужие и, зная, что ему нечем будет заплатить, где только можно, особенно у подчиненных, везде занимал. Спрашивается, можно ли назвать это кражей[32]?

Долго не могли склонить Государя вновь завести французскую труппу, тщетно представляя ему, что дипломатический корпус, тысячи иностранцев и лучшее общество умирают без неё со скуки. Наконец, согласился он, не принимая их на придворное ведомство, дозволить прибывшим актерам явиться на Малом театре, где обыкновенно играли немцы. Там увидел я их, по возвращении из-за границы, в конце 1818 года, и даже после Па-

рижа нашел, что они недурны.

Играли всё почти одни небольшие комические оперы: к ним приучила Филис петербургскую публику. Первою певицей была довольно молодая, полная и красивая мадам Данжевиль Вандерберг, которая пением напоминала, но не заменяла Филис. Первым, или, лучше сказать, сперва единственным тенором был толстый Брис; жена его худощавая, почти высохшая, но живая француженка, игрой, фигурой и манерами несколько напоминала Филис, но отнюдь не пением. Сию чету называли у нас картофелем со спаржей. Еще привезли они с собой одного несносного поляка Валдовского, выросшего, а может быть и родившегося, во Франции, и оттого переименовавшего себя в Валдоски. Им на подмогу играли прежние оставшиеся здесь актеры: Монготье, Андрё и братья Мезиеры. Вскоре приехал и другой тенор, Женд, красавец собой и довольно изрядный певец, которого на сцене я видел в Париже.

В следующем году позволено им играть на Большом и Малом театрах, а потом вскоре и совсем поступили они на казенное содержа-

ние. Для удовлетворения желания молодых великих князей, которых в Париже так потешал Потье, выписан Сен-Феликс, верная с него копия, и несколько других забавников и забавниц, которые ввели в нам пьесы с театра Де-Варiete. Наконец стали показываться комедии и, вместе с фарсами, мало-помалу вытеснять французскую оперу, которая пришла уже не по вкусу нового поколения.

За то опять стали мы знакомиться с итальянским пением. Только о целой опере в это время и думать было невозможно: стали только появляться залетные птицы для концертов. Первая из них, Сесси, куды нехороша была собою; по моему, и пела она неприятным образом; сила и чистота были в её голосе, но ничего выразительного. Знатоки вели дивиться ей, им повиновались и, зевая, восхищались и платили деньги.

Почти тоже, что о Сесси можно сказать о прибывшей через год после неё одной европейской знаменитости. У г-жи Каталани в горле были все ноты от тонкого сопрано до густого баса, и сим натуральным инструментом владела она превосходно: вот всё что могу

сказать о ней. Англичане, которые, как известно, не имеют врожденного вкуса к музыке, а из тщеславия сыпят гинеями на прославленных артистов, дивились её голосу, как игре природы, и из Альбиона, войною тогда отрезанного от Европы, несколько лет гремели ей хвалы. На такой высоте увидела она соперника в Наполеоне и объявила ему войну. За Бурбонами последовала она в Париж, где двор и легитимисты старались прославить и поддержать ее. Лондон и Париж владеют правом раздавать дипломы на артистическую славу; вооруженная ими, предшествуемая молвой и заметив, что число её слушателей безмерно уменьшается, Каталани пустилась по белу свету собирать дань с других народов.

Все столицы посетила она потом, но имела осторожность более двух, много трех или четырех, концертов нигде не давать; сего было достаточно, чтоб истощить восторги, произведенные её пением; дело шло для неё более об умножении капитала. Я уже сказал в предыдущей части, что в Аахене, сквозь окно или два окна, через улицу или переулок, слышал я громогласие её и совсем не был обворо-

жен; в Петербурге, послушав её ближе, я надеялся лучше о том посудить. Плата за вход была не огромная, в сравнении с Нынешними чудовищными ценами, по 25 рублей ассигнациями; два раза ходил я слушать ее, издержал пятьдесят рублей и, право, на пятьдесят копеек не имел удовольствия. С аристократическими затеями установила она для себя особый церемониал: публика с нетерпением наполняла филармоническую залу; лядащий оркестр, ей привезенный с собою, состоявший из двух или трех музыкантов, стоял уже на эстраде, а об ней еще помину не было. Кто-нибудь из знатных дожидался её у подъезда, вынимал из кареты, подавал руку, подымался с нею по лестнице, провожал сквозь толпу и возводил на возвышение, откуда она милоливо взирала на жаждущих слышать ее. Концерты её ограничивались одною её особой, и это было ей нетрудно: как у цыганок, было у неё десять или двенадцать годами затверженных арий, между коими вечная *la placida campania*.

Такие почести, признаюсь, меня возмущали, а это было только вступлением в нынеш-

нее безумное время, когда жители на себе возят артисток в колесницах. Когда Рим властвовал над миром, когда было для него время великих мужей и великих деяний, одни победители, триумфаторы восходили в Капитолий; под папским владением, чести, которой не имели ни Вергилий, ни Гораций, удостаивались посредственные поэты, венчаные, названные лауреатами. Италия униженная, несколько веков поработанная немцами, никак не может забыть своей прежней славы и из сынов своих уделяет ее кому попало. Замечено, что когда высокие чувства гаснут в душе, когда мелеют народные характеры, тогда люди боготворят одни только свои наслаждения. Неужели так и у нас? Нет, всё что творится у меня перед глазами — действие нашей подражательности. Нам несвойствен фурор южных народов; одно истинное, великое должно возбуждать в нас восторги.

Показавшись раз пять, чудо европейское от нас скрылось и не оставило не только сожаления, едва ли воспоминания между людьми, которые считали обязанностью пленяться её голосом. Сию обязанность гораздо

легче было выполнить, когда через года полтора приехала к нам Боргондио. Вот это уж была певица: если б она и не очаровала нас своим пением, то поразила бы новостью его рода. В Италии прекратился наконец жестокий обычай младенцев лишать пола; ибо сии несчастные, как бы хорошо ни пели, в слушателях производили некоторое отвращение. Взамен их начали искать контральто между женщинами, и Боргондио была в числе сих счастливых обретений. Мы не слышали её в концертах, а несколько раз в одной лишь опере, в которой на подмогу дана ей была немецкая труппа. В ней явилась она Танкредом, а целую четверть столетия блиставшая перед немцами примадонна их г-жа Брюкль Линденштейн — Аменаидой; стареющему тенору Шварцу весьма кстати пришлось роль Аржира. Тут в первый раз услышал я усладительную музыку божественного Россини, и Боргондио, для которой написал он эту оперу, достойна была ознакомить его с Петербургскою публикой. Судить о музыке я не умею, хотя дело весьма нетрудное (стоит только внимательнее прислушаться к толкам знатоков), за

то чувствовать ее так сильно, как я, не всякому дано.

Говоря о французах, об итальянцах, я было совсем упустил из виду вообще состояние русского театра, ничего не сказал о драматических авторах. Их было трое: Загоскин, Хмельницкий, Грибоедов, которые тогда состязались с Шаховским, если не в плодовитости, то в искусстве. Загоскин поставил на сцену *Богатонава*, *Роман на большой дороге*, *Благородный Театр*, Хмельницкий — *Воздушные Замки*, и хотя Грибоедов написал уже известную комедию свою *Горе от ума*, она ходила только по рукам в рукописи, а печатать ее и играть, не знаю почему, не было дозволено. Милорадович, который столько тешился всем театральным и так презирал его, с правителя канцелярии своей Хмельницкого взял клятвенное обещание не писать более комедий; лучше запретил бы он ему воровать. Когда уличенный в лихоимстве Хмельницкий был с бесчестьем отставлен, то нарушил клятву и снова принялся авторствовать.

В эти годы я почти совершенно охладел к театру и литературе. Оттого-то с прежнею от-

четливостью и не могу говорить о первом из сих предметов; может быть, еще менее о последнем. Однако же, сколько могу, слабые воспоминания мои о том постараюсь сообщить читателю.

Беседы и Арзамаса давно уже не стало: первая, кажется, погибла под ударами последнего, последний почил на лаврах. И кому было поддержать Беседу? Державин отошел в вечность, оставив по себе вечную память, Шишков совершенно устарел, Шаховской унялся, прочие члены рассеялись, как овцы без пастырей. Почти тоже можно сказать и об Арзамасцах: Блудов продолжал жить в Лондоне, Дашков назначен был советником посольства в Константинополь, чувствительному Батюшкову было пагубно пламенное небо Неаполя, под которым рассудок его начинал расстраиваться; Жуковский неоднократно по нескольку месяцев проживал в Германии, сопровождая порфирородную чету, при коей находился. Без них совершенно ослабли узы, вязавшие прежде наше веселое общество. Многие другие члены также находились в отлучке: Вяземский служил в Варшаве, Михаил Ор-

лов командовал дивизией в южной армии, Пушкин был сослан, Жихарев женился и поселился в Москве. Из наличных членов Александр Тургенев помышлял единственно об удовольствиях света и о приобретении больших выгод по службе; брат его Николай с Никитой Муравьевым помышляли совсем не о литературе.

Положение Карамзина сделалось самое возвышенное, от всех отдельное, недостижимое для интриг и критики. Он пользовался совершенною доверенностью Царя, который, на лето помещая его у себя в Царском Селе, нередко посещал его. Там спокойно продолжал он огромный и полезный труд свой, по временам издавая новые томы Русской истории своей; но уже болезни посетили его совсем еще неглубокую старость.

На литературном горизонте в это время показалось великое множество новых писателей, мирными годами порожденных. Но как назвать их или как различить человеку, к появлению их тогда столь равнодушному? Я сравню их со звездами, в белую массу слитыми на млечном пути, или со дву тму бесплот-

ных в глубине иных картин, образующих светлые облака, и надеюсь, что сим сравнением они не обидятся. От этого fond (дном сего у нас назвать нельзя, а как же иначе?) одна фигура, впрочем, совсем не серафическая, отделившись, выступала на первом плане, так что и мне удавалось видеть ее простыми глазами.

Это был Фаддей Венедиктович Булгарин, литовский дворянин, весьма хорошей фамилии, кажется, русского происхождения, воспитанный в русском Первом Кадетском корпусе, выпущенный из него в армию уланским офицером и сражавшийся с французами, потом под французскими знаменами бывший в Испании и, наконец, по приобретении небольшого имения близ Дерпта, сделавшийся эстляндским помещиком. Кому приличнее мог быть космополитизм, как не человеку, прошедшему сквозь огонь и воду, и которого, употребляя простое русское выражение, можно было назвать тертым калачом? Он сперва сделался известен одними журнальными статьями, что и сблизило его с Николаем Ивановичем Гречем, постоянным издателем *Сына Отечества*. В обоих было много веселости и

злаязычия; но в Грече, при некотором добродушии, более остроты, а в Булгарине одна только язвительность. Они слегка придерживались Оленинского общества, которое в умеренности своей стояло неподвижно, пока, подобрав дружину (чтобы не сказать шайку) молодых, смелых пероносцев, с умножившимися силами, они не сделались совершенно независимыми. Дерзость и осторожность были их девизом. Первые нападения их были на обезглавленную Беседу, к которой Греч сам некогда принадлежал. *Беседа* и *Арзамас* тягались за честь, за вкус; тут сражались за одни барыши. Во дни преобладания Англии, по её примеру, и в литературе должны были явиться ратоборствующие торговцы.

При беспрестанно возрастающем числе и смешении новых идей философических, политических, религиозных, трудно честному человеку мимо их идти прямым путем. Они — как подводные камни, возникающие среди бурного моря. Одни искусные люди умеют лавировать между ними: вот что делал Булгарин. Не бескорыстно, как утверждали, преданный правительству, которое примет-

ным образом преследовало либерализм, он в то же время явно подавал руку, не выдавая их, людям, которые составляли особое литературное общество, распространяющее тайно самые свободные мысли.

Адъютант начальника моего, гвардии поручик, Александр Александрович Бестужев, о коем случалось мне упоминать, был вместе с известным после Рылеевым одним из главных членов этого общества. Этот оригинальный писатель повестей мне чрезвычайно нравился своим умом и приятным обхождением. Служба познакомила нас, но коротких сношений у нас не было; всего раза два-три не более посетил он меня. Мне и в голову тогда прийти не могло, чтоб у него были вредные умыслы, ибо на счет мнений своих был он всегда очень скромн. Он говорил мне о Булгарине с участием и уважением и даже хвалился тесными связями с ним. После падения Бетанкура, герцог Виртембергский взял его к себе в адъютанты. Участь его, как всем известно, была потом весьма печальная, но под конец, под псевдонимом Марлинского, и довольно блистательная.

Вот всё что имею сказать я о словесниках этой эпохи. Вскоре потом другой образ жизни, другие занятия на время совершенно изгнали литературу из головы моей.

V

Женитьба брата. — Е. Ф. Канкрин. — Дибич. — Фотий. — К. Я. Булгаков. — Бессарабия (1823).

Великим постом 1823 года новопроизведенный гвардии офицер, драгунский прапорщик, племянник мой, Филипп Николаевич, воротился из отпуска. Он ездил к родным в Воронеж, а оттуда в Пензу, чтобы потешить бабушку своим гвардейским мундиром. Он привез с собою вовсе неожиданную для меня весть.

Брат мой жил потихоньку в селении своем Симбухине отцом семейства холостым; он был чрезвычайно привязан к малолетним детям своим, а безграмотную француженку, ему часто надоедавшую, любил только как мать их. Сестры мои, и особенно прибывшая с мужем на зиму Алексеева, исполненные строгих

христианских правил смотрели на то с грустью и омерзением. Чтобы не встречаться с этою тварью, они должны были воздерживаться от поездок в Симбуховскую церковь, на могилу отца. Они страшились также, чтобы как-нибудь сие не дошло до престарелой матери нашей; городское общество, семейство наше и даже дворня согласно и тщательно скрывали от неё истину, уверены будучи, что она убьет ее. На общем совете сестры положили, чтобы во что ни стало женить брата, что было не весьма легко. Однако же, чего не сделают женщины в заговоре с целым городом?

Не раз приходилось мне говорить о Ефиме Петровиче Чемесове, старинном друге отца моего, предшественнике его во гроб, о несогласиях, возникших без всякой причины между двух старцев, о надменной сестре его Елисавете Петровне Леонтьевой, о гневе её на брата моего, дерзнувшего свататься за внучку её Ступишину; говорил также о странностях Марфы Андриановны Чемесовой, супруги покойного. Мне желательно, чтобы читатели мои вспомнили о том; оно нужно для поясне-

ния нижеследующего.

Семейство Чемесовское, по старинному обычаю, существовавшему долго между русскими барынями, было премногочисленное, и оттого разница в годах детей обоего пола была превеликая: Анна и Александра могли бы быть матерями трех меньших, Натальи, Марфы и Варвары. Из них четвертая отличалась приятностью и просвещением ума, милостью лица и любезностью характера; но с тогдашнею взыскательностью невест все эти преимущества в провинции оставались напрасными. Представился случай, не скажу, к выгодному, по крайней мере для Пензы блестящему замужеству, и тетка Леонтьева захотела им воспользоваться. К счастью невесты, обстоятельства не допустили совершение сего брака, и жених, князь Павел Голицын, женился на моей желанной Теофиле Крогер. Все эти повторения рассказанного считаю здесь необходимыми.

После того годы шли, и девица не молодеда. На ней-то остановился выбор моих сестер. Но как приступили они к атому делу? Какие средства употребили для достижения своей

цели? Как умели склонить к супружеству два существа, никогда не помышлявших друг о друге? Вот что мне, отсутствующему, осталось вовсе неизвестным. Чтобы не терять времени, никому не дать опомниться и ковать, как говорится, железо, пока оно горячо, еще страждущего от болезни брата моего, по разрешению архиерея, в Крестовой церкви его венчали на маслянице. И восемнадцатилетний племянник был шафером на свадьбе у старшего брата отца своего. Из новобрачных одному было за сорок за пять, а другой, кажется, тридцать четвертый год. Бывают супружества по любви, по расчёту, а это был брак по рассудку; богатства не было ни с какой стороны, но он сулил домашнее счастье и сдержал обещанное.

Что же сделалось с Прелестой? Дерзкая француженка бросилась с письменною просьбой к губернатору Лубяновскому, не зная, что он был главным сватом. Он объяснил ей, что как по кодексу Наполеонову, так и по русским узаконениям, не получив никакого обещания, она никакого права жаловаться не имеет. Ее удовлетворили несколькими тыся-

чами рублей, и она сама предложила отказаться от детей своих[33].

Сие семейное происшествие, собственно для меня, было довольно важною вестью, привезенною племянником Великим постом. В день же Светлого воскресенья узнал я другие новости, не менее важные для Петербурга и государства — большие перемены в министерстве.

Мне, человеку удаленному от света и правительственных дел, не могли быть известны пружины, приводимые в движение для сокрушения могущих. Всё что совершалось выше гораздо более покрыто было тайною чем ныне. Если же верить молве, и до меня доходившей, то Аракчеев, от внешних обстоятельств, приобретая всё более силы над встревоженным умом Императора, старался удалить от него всех тех, кои не признавали его власти и чуждались всяких с ним связей, и хотел заменить их людьми ему преданными. Ему хотелось, будто говорил он, поставить деловое и опытное на место знатного пусточванства.

Не знаю, следует ли мне здесь говорить о

переменах, последовавших в предшествовавших годах? О падении Бетанкура рассказал уже я длинную историю. Военного министра я министром не признавал: он находился в большой зависимости от начальника штаба, и скорее можно было назвать его генерал-интендантом. Не излишним считаю однако же упомянуть о смерти барона Меллера-Закомельского, скончавшегося, как утверждали, от несварения желудком излишней пищи, и о назначении на его место генерала кригс-комиссара, старика Александра Ивановича Татищева. У морского министра, маркиза Де-Траверсе, Нептунов трезубец совершенно выпадал из слабеющих от старости рук; но Аракчеев чтит его, и назначенный начальником морского штаба, вице-адмирал Антон Васильевич Моллер, приняв сию часть в управление свое, до конца жизни маркиза уступал ему первенство.

Более тринадцати лет горделивый граф Гурьев оставался министром финансов и в денежный век почитал себя первым министром. Никто не ожидал его увольнения; на Страстной неделе при докладе как-то прого-

ворился он о своих немочах, о потребности отдохновения, а Государь придрался к тому, чтобы с видом сожаления снять с него тяжкое бремя, на нём лежащее, из него оставив ему самую легкую часть — Кабинет и Уделы. Премник ему давно уже приготовлен был Аракчеевым.

Генерал-интендант первой армии, Егор Францович Канкрин, не ей одной известен был умом, едва ли не через меру деятельным, и обширными познаниями во всех частях. Наука была наследственное имущество в его семействе. Дед его, раввин Канкринус, принявший не во святом, а в реформатском крещении имя Людовика, весьма известен был не целому, а только всему немецкому ученому миру. Сын его Франц Людовикович был также, как утверждают, хороший писатель; он прибыл в Россию и, не так как иные чужеземцы, был ей отменно полезен; он умер действительным статским советником и управляющим Старорусскими соляными заведениями. Наконец, сын последнего, Егор Францович, должен был далеко превзойти предков своих.

Он сперва долго находился в гражданской службе. Я помню в 1809 году его длинную фигуру, когда в чине статского советника посетил он соляное отделение департамента государственного хозяйства, в коему был он причислен и в воём я временно занимался; он ни над кем не начальствовал, а служащие изъявляли ему особенное уважение. Военный министр, после главнокомандующий, Барклай открыл его великие способности, перевел в Военное Министерство и взял с собою в армию, где поручил ему продовольственную часть. Четыре года сряду в России, в Германии, во Франции войско наше, благодаря его попечениям, ни в чём не нуждалось. Находясь всё между военными, захотелось ему надеть их платье, и генеральские эполеты были одною из наград за труды его.

Когда его назначили на место вельможи нового издания, Гурьева, казалось, что Министерство Финансов с ним упадет. Ни мало: человек с необыкновенным умом всегда будет равен месту своему, как бы высоко оно ни было. При великой учености, хотя он любил выдавать себя за немца и отчасти был им, не по-

казывал он ни малейшего педантства; живость другого происхождения проявлялась не в действиях, не в поступи его, а в речах: он был чрезвычайно остер. Самолюбие было в нём чрезмерное, но снеси вовсе не было: со всеми обходился просто, хорошо, хотя слегка и давал чувствовать высокое мнение о себе. Сей порок, если сие так назвать можно, был в нём источник благороднейшего чувства — великодушия: он до того презирал врагов своих, что даже, когда мог, никогда им не хотел мстить. Его занимали не одни дела и науки: он изрядно играл на скрипке и любил говорить о музыке; но еще лучше судил он об архитектуре и написал книжку под названием: *Ueber das Schöne in der Baukunst*. И хотя сие не входило в прямые его обязанности, он умел украсить Петербург и его окрестности общественными полезными построениями, отличающимися и прочностью, и вкусом.

Я воображаю себе, что должны были почувствовать директора департаментов, когда после важного, тупоголового Гурьева они начали заниматься с человеком, у которого была такая ясность в мыслях, такая быстрота в

понятиях. Мне два раза в жизни случилось говорить с ним: один раз просителем, не за себя; другой раз даже беседовать с ним около часу. Я с большим почтением подошел к министру и не с меньшим удовольствием долго слушал разумника.

Он женился в Могилеве на Катерине Захаровне, дочери Захара Матвеевича Муравьева, брата Ивана Матвеевича Муравьева-Апостола. По матери-немке, была она двоюродною племянницей жене фельдмаршала Барклая и жила у тетки. Сия последняя главную квартиру армии находила весьма удобным местом для сбыта племянниц. Кажется, с окончательным *ин*, женившись на русской, чего бы стоило Егору Францовичу сделаться совершенно русским? Нет, звание немца льстило его самолюбию, а звание русского, в его мнении, унизило бы его. Кто же виноват, если не мы сами, когда без всякого спора так постоянно уступаем у себя иностранцам первенство перед собою? И оно так останется, пока не явится другой Петр и не подымет из унижения, в которое ввергнул нас первый Петр.

Узнав об увольнении Гурьева, многие,

встречаясь, произносили: «Христос Воскрес» еще радостнее обыкновенного.

В этот же день последовала другая важная перемена, но о которой мало говорили, вероятно, потому что она не была окончательною. Когда в конце 1818 года возвращался я из Мобёжа в Петербург с доктором Пикулиным, дорогой мы мало ли кой о чём переговорили; между прочим, многое узнал я от него о князе Петре Михайловиче Волконском... Свойства таких людей более открыты бывают их врачам и камердинеру, чем духовнику их. В качестве мелкого медика приписанный к свите Государя, Пикулин находился во всех первых его походах и путешествиях, и Волконский неоднократно прибегал к его помощи, требуя скорых, хотя бы сильных, средств к исцелению. Тщетно Пикулин объяснял ему, что одно радикальное лечение может ему помочь, а что таким образом зло придавленное впоследствии жестоким образом может обнаружиться. «Вы увидите, что рано или поздно (точные слова Пикулина) всё это ему отрыгнется». Предсказания Пикулина сбылись видно, в этом году стало ему не в мочь; без того

неужели бы он решился разлучиться с Царем под опасением, что отвычка и забвение могут уменьшить милости его к нему? Как бы ни было, он сам стал проситься в отпуск за границу в минеральным водам, а недруг его, Аракчеев, подготовил уже на его место одного из подручников своих, начальника штаба первой армии, барона Дибича. Через шесть месяцев, возвратясь к должности, он уже в нее не вступал, ибо заступающий его место утвержден в звании начальника главного штаба. Во время оно, когда посещал я дом госпожи Танеевой, видел я у неё всё Аракчеевское общество и раза два его самого. На балах, на вечеринках, встречал я семейства Апрельевых, Дибичей, Клейнмихелей и других и никак не мог предвидеть будущего их величия. Судьба Аракчеева сходствует с участию Наполеона, когда тот и другой гасли в заточении: люди ими взысканные, ими созданные, удерживались, а некоторые и возрастали в могуществе. Но никто из них так скоро и так высоко не поднялся и так быстро не исчез, как Дибич.

Отец его, также как и он, Иван Иванович,

был престарелый прусский полковник, родом из Силезии, как славянское прозвание его показывает. Но призову ли Павла или сам собою прибыл он в Россию, по доброй ли воле или нет оставил Пруссию, не знаю; если по неволе, то тем более ему делает чести. Он слыл великим тактиком, только не на практике. Скоро произвели его у нас генерал-майором, дали большое содержание и поместили в Михайловском замке; и хотя потом всеми признана была его бесполезность, дарованное ему оставлено. Двух сыновей его, из коих меньшей так прославился, определили в русскую службу.

Семеновские офицеры, как уже говорил я, старались в обществе отличать себя любезностью, ловкостью и щегольством. Между ими молодой Дибич примечателен был неуклюжестью и невзрачностью. Товарищи однако же не могли пренебрегать юношей, одаренным великою твердостью и благоразумием, напротив, в своих недоумениях, несогласиях, всегда прибегали к его советам и подчиняли себя его суду. В нём ничего не оставалось славянского, одно только германское во всём бы-

ло видно. Всегда степенный, рассудительный, хладнокровный в делах обыкновенной жизни, как бы равнодушный к окружающему, он исполнен был огня; не сердце кипело у него, а горела голова и, как у всех немцев новейшего времени, полна была фантазий. Во время первых двух французских кампаний, не оставляя гвардии, был он откомандирован в армию и не в больших еще чинах умел показать храбрость и искусство. Когда Прусская королева с супругом посетили Петербург, несколько гвардейских офицеров-молодцов назначены были для бессменного при них дежурства во время их пребывания. Как-то в число их попал и Дибич; кто-то из высших вычеркнул его имя, промолвив: «Как можно? *Такую гнусную фигуру!*» Он узнал о том, обиделся и вышел в генеральный штаб.

Двенадцатый год открыл ему славное поприще, на котором он славно был остановлен Парижским миром. Находясь в Могилеве первым лицом после фельдмаршала, привыкал он уже там к главному начальствованию. Также как Канкрин, женился он на племяннице госпожи Барклай, баронессе фон Тор-

нау. Сам Барклай любил его с нежностью отца, однако же не был ослеплен на счет его недостатков. Я повторю здесь слова его, переданные мне одним из приближенных: «Нельзя лучше Дибича найти начальника штаба, но горе ему и армии, если он будет главнокомандующим». Не того ли же мнения был Наполеон о Бертье? Многие полагали, что по привычке трудно будет Александру без Волконского; они не знали немцев: из них самый суровый на вид лучше всякого русского умеет быть гибок и угодителен там, где его польза.

В это время и помину еще не было о намерении графа Кочубея оставить должность; через четыре месяца спустя, узнал я уже в провинции об увольнении его. Надобно полагать, что он надеялся созданное им Министерство Внутренних Дел возвысить до прежнего значения и самому вновь приобрести доверенность Царя; его ожидания не сбылись, и он видел приближение минуты, в которую предложат ему успокоиться; он не хотел дожидаться её. Была еще и другая причина, законная, естественная: тринадцатилетняя дочь его, без ног, страдала всем телом до того, что не могла

вынести движение кареты, а доктора советовали отправить ее в южный край. Тогда Кочубей едва ли не первый проложил путь, которому и теперь мало следуют, хотя посредством пароходов мог бы он быть удобен.

На водах, на которых сопровождал я Бетанкура, поплыл он до Нижнего Новгорода, откуда вниз по Волге поехал он в Саратов и Дубовку, откуда, по краткости волока, дочь его перенесли на руках до Качалинской станицы на Дону. По этой реке спустился он в Азовское и Черное моря и к осени на зиму приплыл в Феодосию.

Управляющим министерством на его место назначен был государственный контролер и можно сказать государственный муж барон Кампенгаузен. Опять немец! Но когда знатные чада России любят себя гораздо более чем ее, почему не употреблять наемников? Кампенгаузен не успел оглядеться, как один несчастный случай прекратил его дни: карета, в которой сидел он, упала, а как человек был он тощий, точно хрустальный, то и должен был расшибиться вдребезги.

На первый случай, чтобы заместить его,

взялись за устаревшего Василия Сергеевича Ланского, а потом, забывшись, остался он на этом месте. Он был некогда лихим гусарским полковником Сумского полка и страстным обожателем прекрасных. Видно, было в нём что-нибудь еще другое, ибо Екатерина избрала его губернатором в Саратов, и там он был совсем не лихим, а деятельным и искусным правителем вверенной ему страны. По его желанию, при Александре в том же звании он переведен в Гродну и там, кажется, оставался до 1812 года. Супруг и отец семейства, он в прелестях полек находил извинение частым своим неверностям. По занятии русскими Варшавы, находился он долго членом временного там правительства, пока не сделали его членом Государственного Совета. В двух Капучах, Гродне и Варшаве, труды и наслаждения изнурили умственные силы этого старца еще более чем телесные. Он хорошо понял, что слепому случаю обязан он министерством и совершенно предался ему, мало заботясь о делах, никогда не имея докладов у Государя и всё почитая себя накануне увольнения.

В сих Записках стараюсь я по возможности

следовать хронологическому порядку, избегая всячески анахронизмов, но иногда принужден их делать, дабы не прерывать нити повествуемого мною об одном предмете. Вот почему должен здесь говорить еще об одной перемене в министерстве, случившейся уже в следующем году, тем более, что она была последняя в описываемое мною царствование.

Мы видели, как пошатнулся кредит князя Александра Николаевича Голицына; недоброжелатели его не упустили тем воспользоваться. Один умный и смелый изувер, архимандрит Новгородского Юрьева монастыря Фотий, с грубым чистосердечием соединяя большую дальновидность, сильный дружбой Аракчеева, преданностью и золотом графини Орловой-Чесменской, дерзнул быть душою заговора против него. Тайно поддержанный и митрополитом Серафимом, он следил за преподаваемым в учебных заведениях и вопил против неправославного, даже нехристианского направления, которое оно принимает. Три человека, находившиеся под начальством Голицына и им облагодетельствованные, Магницкий, Рунич и Кавелин, имели

также связи с противниками его и втайне строили ему ковы. О двух из поименованных случилось мне говорить и, может быть, еще случится; о Руниче не стоит того.

Когда всё было готово, когда всё назрело, одною книжкой, изданною Библейским Обществом и пропущенною цензурой, как уверяли меня, нанесен решительный удар Голицыну. В ней, между прочим, сказано было, будто Спаситель наш, прежде земли, воплощался уже в других мирах, и что у Богоматери, исключая Его, были другие дети от Иосифа. Александр сильно вознегодовал: цензоры полетели на гауптвахту; оба директора департаментов, Попов и Тургенев, были отставлены, а Голицын уволен только от управления Министерством Духовных Дел и Народного Просвещения. Для препровождения времени оставлен ему Почтовый Департамент под именем Главного Управления или министерства. Это один из примеров, что у нас не людей избирают для министерств, а министерства создают для людей.

Чтобы посадить на его место, вырыли из забвения полумертвого Шишкова. Триумви-

ры, выше названные мною, взяли его к себе в опеку, и из видов корысти, личного мщения (а один, Магницкий, по врожденной злости), именем его, стали преследовать зло, но, противодействуя ему, творили ужасные несправедливости. С назначением Шишкова, православная часть отошла от Департамента Духовных Дел и, в виде особой канцелярии, перешла к синодальному обер-прокурору; доклады же Святейшего Синода Государю представлялись через Аракчеева[34]. Из четырех министров троим (военному, юстиции и внутренних дел) было за семьдесят лет, а четвертому, министру просвещения, около осьмидесяти. Сия геронтократия должна была нравиться Аракчееву своим бессилием и покорностью. Впрочем спасибо ему за трех полезных немцев.

Трудно изобразить состояние, в котором находился Петербург весною 1823 года. Он был подернут каким то нравственным туманом; мрачные взоры Александра, более печальные чем суровые, отражались на его жителях, и это влияние проникало даже до людей, подобно мне, малозначительных. Гово-

рили многие: «Чего ему надобно? Он стоит на высоте могущества». Всякий объяснял по своему причину его неутешной грусти. Человеку, который должен был жить в веках, прославленному другу свободы, по необходимости сделавшемуся её стеснителем, тяжело было думать, что он должен отказаться от любви современников и от похвал потомства. Мне кажется, что пример Наполеона возбудил в нём сильное честолюбие; но для удовлетворения его думал он употребить не насилия, а совсем иные средства. Он пленялся Западом и хотел пленить его; вот что объясняет непонятное пристрастие его к Польше: она была преддверием Германии и, подобно Наполеону, надеялся он со временем быть её главою. Мятежный дух, поднявшийся в этой стране, показал ему, что ожидания его не сбудутся. Многие другие обстоятельства, и некоторые семейные, тяготили его душу.

Петербург еще более казенный, чем придворный город. Как ни говори, а Царь — солнце Петербургское; приближенные, высшее общество или двор, суть звезды, отражающие только его блеск; но лучи его разливаются на

все состояния. Пример его действует на всех; его добродетели или пороки, его бережливость или расточительность, страсть к роскоши проникают даже в сословие мелких чиновников. Последние годы жизни Александровой можно назвать продолжительным затмением.

Мое житье и без того было невеселое, а женитьба брата на особе, которую я душевно любил и уважал, пуще манила меня к сельской тишине, обещающей мне приятное семейное общество. В мае, не ранее, приступил я к исполнению давно задуманного. Прежде этого времени года дороги внутри России бывали чрезвычайно мучительны.

Я объяснился с Бетанкуром; молча и потупя глаза, выслушал он меня.

— «Как мне удерживать вас? — отвечал он наконец. — Когда я был в силе, то не умел или не успел ничего для вас сделать; теперь же служба при мне какую выгоду может вам представить? Мне уже говорили о вашем намерении и, на всякий случай, я приготовил вам преемника: это бывший мой правитель канцелярии Ранд».

Это было мне весьма не по сердцу: помощник мой, секретарь комитета, Ноден, за год до того оставил меня, получив выгодное место правителя канцелярии придворной конюшенной конторы. На его место поступил Александр Федорович Волков, юноша преблагогородный, благовоспитанный, с большими способностями и, что никогда не испортит, с весьма хорошим состоянием. Его я прочил на свое место, которое, по тогдашним летам и чину его, могло для него быть лестно. Ну как быть! Я начал собираться к сдаче дел и к отъезду.

Так как мне никогда уже не придется говорить о Бетанкуре и о Ранде, то здесь мне хочется досказать их историю. Старик последний раз отправился в Нижний летом 1823 года, взяв с собою одного только г. Волкова, о коем сейчас была речь: в униженном виде Ранд не хотел туда являться. Там узнал бедный Бетанкур о смерти любимой дочери, гжи Каролины Эспёхо, и этот удар был для него чувствительнее всех прочих. Возвратясь в Петербург, он быстро начал близиться к гробу и скончался в июле 1824 года. Ранд, которо-

му не с большим было тридцать лет, осужден был скоро последовать за жертвой своей и умер в декабре того же года.

Напрасно человеку даны воля и рассудок. Судьба часто располагает нами по прихоти своей или скорее по воле Того, Кто ею правит. Со мною, по крайней мере, в жизни всё хорошее и дурное приключалось внезапно, неожиданно. Таким же образом в этом году вдруг судьба моя переменялась, как читатель увидит ниже. Но прежде того должен я напомнить ему двух юношей-отроков, бывших моими товарищами в Московском Архиве Иностранных Дел, особенно об одном, коего имя в сих Записках было раз упомянуто, но никогда не повторено.

То был Константин Яковлевич Булгаков, который вскоре после коронации Александра, по протекции отца (некогда посланника в Константинополе) получил место в многочисленной Венской миссии. Работы ему там было мало, да я думаю и вовсе не было: за то в сем материальном городе нашел он бездну наслаждений. Он был красив лицом, крепок телом, любил без памяти женщин и умел им

нравиться. Успехи его по сей части были вседневные, бесконечные; уверяли, что вся австрийская аристократия перебивалась в его объятиях. Он бы век прожил в Вене, если бы смерть отца не заставила его воротиться в Россию. Покойный Яков Иванович, выпросив двум незаконнорожденным сыновьям фамильное имя свое, полагал, что с ним вместе связаны права законных детей, и не заботился о духовной. Племянницы, после смерти его, стали оспаривать наследство у сыновей; тяжба длилась, и положение Булгаковых было совсем незавидное. Тогда Константин задумал отправиться в молдавскую армию, в надежде, что там золото сыплется дипломатическим чиновникам. Надобно отдать ему справедливость: не одним красивым женщинам, но и сильным людям умел он нравиться, с теми и с другими быв смел без дерзости и угодителен без унижения, вообще стараясь принаравливать ко нраву каждого. И поочередно был он любимцем, Каменского, Кутузова и Чичагова; с сим последним достигнув Березины, встретился он опять с Кутузовым, другом отца своего, который оставил его при себе.

После того постоянно находился он в большой армии, или лучше сказать, в свите Государя до самого Парижа; был также и на Венском конгресе. Тут много перенес он трудов, переписывая депеши и снимая копии с трактатов. Для редакции его употребить никак нельзя было. Он сам хорошо это знал и, возвратясь в Петербург, стал приискивать место, которое бы представляло приятную деятельность без больших трудов. Он сделан почт-директором сперва в Москву, а потом в Петербург.

Это место, с коим сопряжено было до восьмидесяти тысяч доходу, было место завидное, однако же не столько уважаемое. Оно находилось в зависимости от Почтового Департамента и почиталось ниже директора оногo. Занимавшие его были люди тихие, образованные, жившие в небольшом кругу знакомых, благословляя судьбу свою и откладывая ежегодно суммы для обогащения детей своих или родственников. Булгаков умел поставить его на высокую ногу, придать ему какую-то важность министерскую. Греческую хитрость свою прикрывая дипломатическою умерен-

ною учтивостью и видом военной откровенности, которую принял он во время своих походов, составил он связи с лучшими генералами и особенно с приближенными из них к Царю. Тоже самое было и с высшими гражданскими чиновниками; но со всеми весьма искусно умел он поставить себя на ногу почти совершенного равенства. В пребольших комнатах почтового дома, ярко на казенный счет освещенных, два раза в неделю принимал он гостей. Вечера эти были новостью для Петербурга; соединяя лучшее общество с нелучшим, они привлекали совершенною свободой и равенством, которые на них царствовали. Сам хозяин являлся в сюртуке и с трубкою во рту, а курительный табак был к услугам всех гостей. Дамы, разумеется, тут не показывались, и это можно было бы назвать холостою компанией, если бы в гостиной не сидела хозяйка, жена Булгакова, дочь валахского бояра Варлама, которая, впрочем, всё хохотала, обходилась свободно и нимало не стесняла веселья общества. Смело ручаюсь, что усерднее монархиста, чем Булгаков не могло быть; но судьба влечет людей и, осво-

бождая себя и других от уз приличия, сие поведет, может быть, к разрыву других уз, более священных.

Что ни говори, это был клуб или трактир такого рода, в котором самим министрам незасорно было показываться, и вход в него ничего не стоил. Еще скорее залу или бильярдную Булгакова можно было назвать биржей для не торговых, а гражданских оборотов. Тут можно было встретить статс-секретарей, сенаторов, обер-прокуроров, директоров департаментов, которых сперва зазывали, и которые после сами напрашивались. Между ними были сделки, условия, взаимные соглашения об определении чиновников на места. Булгаков играл тут роль главного посредника; о ком бы ни замолвили ему слово, о человеке, которого он никогда не видал, которого вовсе не знал ни честности, ни способностей (об этом он мало заботился), спешил он ходатайствовать за него. Отказы получал он нередко и не сердился за то: вообще покровительство было у него не страстью, а расчётом. Все прославляли его гостеприимство, которое ему ничего не стоило, и благодеяния его, ко-

торые стоили ему несколько рассеянно сказанных слов. Что касается до тяжб, то просьбы его бывали упорнее, настойчивее; он также не брал труда читать бумаг, входить в существо дела, а просто делался защитником одного из просителей... Удовольствие было целью его жизни... И никто еще из смертных не наслаждался столько житейскими благами! С самой первой молодости я не чувствовал к нему симпатии; после того, не имея никакой нужды ни в особе, ни в обществе моем, он едва замечал меня, а я едва ему кланялся.

Другой человек более всех других известен читателю. Блудов возвратился из Лондона и возвращается в сии Записки. Он находился в иностранном министерстве без должности, но не без дела. С высочайшего соизволения, по докладу графа Каподистрии, поручено ему было создать русский дипломатический язык, то есть под его наблюдением должны были заниматься молодые чиновники переводом всех актов Венского конгресса. Переводы были дурны, и переправка их ему стоила более труда, нежели если б он переводом сам занялся, но дело сие окончено с желаемым

успехом. Вскоре потом возложено на него другое важное поручение.

Когда, в конце 1815 года, Государь вторично воротился из Парижа, вспомнил он о сделанном им в эти шумные годы небольшом завоевании, на которое дотоле он не обращал внимания.

Бессарабия была сперва управляема, по гражданской части, престарелым молдавским бояром, русским действительным статским советником, Скарлатом Дмитриевичем Стурдзою, по военной генерал-майором Иваном Марковичем Гартингом. Первый скоро умер, и обе власти соединились в руках последнего. Неустройствам там не было конца, самоуправие было чрезмерное. Сын умершего Стурдзы, столь известный Александр Скарлатович, находился тогда при уважаемом Государем статс-секретаре Каподистрии, был его другом и сотрудником. Исполненный тогдашних идей и зная склонность Александра отделять от России сделанные ею завоевания, он затеял из частицы своего отечества сделать маленькое образцовое государство, с представительным правлением. Через Каподистрию

он успел в том: Подольский военный губернатор, Алексей Николаевич Бахматов назначен полномочным наместником в Бессарабскую область, и она сделана независимою от власти Сената и наших министров. Еще хотелось ему, чтобы, по примеру Польши и Финляндии, назначен был для неё особый министр-статс-секретарь, и это желание отчасти исполнилось. Граф Каподистрия согласился докладывать Государю по делам нового края, а Стурдза, заправляя ими, приготавливать доклады, и некоторым образом сделался статс-секретарем по сей части.

Таким образом продолжалось до 1821 года, до возвращения Государя из Лайбаха. Когда греки восстали на турок, положение России в отношении к сему делу было самое затруднительное. Возмущение сие совпадало с другими совершившимися на Западе, казалось в тайной связи с ними и как бы продолжением мятежной цепи от Тага до Босфора. Стараясь усмирять одних, как можно было явно помогать другим против султана, законного владыки, в нарушение святости трактатов! Католический мир, французское правительство и

особенно Австрия открыто держали сторону турок; Англия, по обыкновению, смотрела спокойно на резню народов. Нам же, с другой стороны, без всякого участия внимать воплям наших братьев, наших единоверцев, наших первых наставников и учителей во святой нашей вере, было невозможно. Все народы европейские, вся Россия взывали к Государю; а Турция, тайно подстрекаемая, вероятно, самими же либералами, своими дерзкими поступками сама вызывала нас на бой. Демократический дух этого возмущения один уже должен был нас от того удерживать. Целому свету известна тут умеренность Александра; по моему мнению, никогда не поступал он столь осторожно, столь благоразумно и, смею прибавить, столь справедливо. Греку Каподистрии, которого турки подозревали, обвиняли, и который явно показывал республиканские наклонности, оставаться при нём долее было бы трудно. Он оставил и нашу службу, и Россию; за ним последовал и Стурдза, вышел в отставку и поселился в южном крае.

Но как оставить без призрения любезную Бессарабию? Кому завещать ее? Упросили

графа Кочубея, при других его больших занятиях, заменить в этом случае графа Каподистрию, а Блудова — принять в свое заведование дела находившиеся у Стурдзы. Он уже приучил себя к трудам, а при Нессельроде не мог он ожидать никакого важного значения. Да и в Лондоне бывал он занят только во время отсутствия посла графа Ливена, когда он на его месте оставался поверенным в делах. Супруга сего последнего, графиня Дарья Христофоровна, сестра двух Бенкендорфов, Александра и Константина, при нём исправляла должность и посла, и советника посольства, ежедневно присутствовала при прениях парламента и сочиняла депеши. Сия женщина умная, сластолюбивая, честолюбивая, всю деятельную жизнь свою проводила в любовных, общественных и политических интригах. Веллингтон, Каннинг и весь лондонский фашион были у ног её. Куды какую честь эта женщина приносила России, ей чуждой по чувствам и по рождению! Я не одобрял согласия Блудова: мне казалось, что, в превосходительном его чине, доклады по одной малой области суть дело мелочное. Я не знал, что

это делает его известным самому Царю.

И вот два человека, совсем различных свойств, которые нечаянным образом в это время имели влияние на переворот в судьбе моей.

Совсем собрался я, если не на вечный, то на долгий покой. Не более пяти или шести раз случилось мне в Петербурге посетить немецкий театр; не понимаю, как мне вздумалось вдруг еще раз взглянуть на него; я думаю от того, что на нём играли любимую оперу мою — *Деревенские Певицы*, Фиоравенти. В креслах увидел я Булгакова с постоянным наперсником его Маничаровым: они тут ухаживали за какими-то актрисами. Последний во время междудействия подошел ко мне и сперва начал было говорить с сожалением о нашем бывшем начальнике и о моем положении. Но, несмотря на свой серьезный вид, он до печальных речей был не охотник, любил одни веселые. Вдруг сказал он мне:

— Знаете ли что? Вам предстоит случай приятным образом продолжать службу. Граф Воронцов назначен Новороссийским генерал-губернатором.

Не желая объяснить ему мнения, которое об этом человеке составил я себе в Мобёже, я отвечал, что за меня некому его просить.

— Как некому? А Булгаков-то на что? Ведь они с ним страшные друзья.

— Нет, Булгакова я утруждать не буду; да и он сам меня не очень жалует, — отвечал я.

— Как вы ошибаетесь на его счет! Он на всякие одолжения готов.

Тем и кончился разговор наш.

Дня через три заехал ко мне Блудов, к удивлению моему, с упреками: как можно искать покровительства человека, которого я не люблю и не уважаю, не предупредив о том приятеля, который в исполнении моего желания гораздо лучше мог бы мне способствовать? Я ничего не понимал. Еще в Лондоне хорошо был он знаком с Воронцовым, а тут, когда назначили того вместе и полномочным наместником Бессарабской области, то и по делам должен был он войти с ним в ближайшие сношения. Я ничего про то не знал, да и мало о том заботился. Он приехал ко мне прямо от Воронцова, который, между прочим, спросил у него, знает ли он мена?

— Мне рекомендует его Булгаков, сказал он; но вы знаете, какой он добрый, за всех хлопочет: ему трудно поверить.

Увлеченный приятным чувством, Блудов вероятно не побранил меня.

— О, если оно так, то нехудо бы поскорее с ним познакомиться! Да почему бы не завтра часов в двенадцать? Я буду его дожидаться.

Я вспомнил театральную встречу мою с добрым Маничаровым, рассказал ее и прибавил, что ни намерения, ни желания служить при Воронцове не имею.

— Всё равно, сказал Блудов, надобно всё-таки сходить к нему и найти средство учтивым образом отказаться.

Последнего я никак не умел сделать. Кто не знает ныне Воронцова? Кто не знает, как увлекателен бывает его прием тем, коих он желает при себе иметь? Разве один Александр бывал очаровательнее, когда хотел нравиться. Он имел какую-то щеголеватую неловкость, следствие английского воспитания, какую-то мужественную застенчивость и голос, который, не переставая быть твердым, бывал отменно нежен. Более получаса разговаривал

он со мною наедине о разных предметах, преимущественно же о крае, коим собирался управлять. Я, с своей стороны, ничего не упоминал о себе, не изъявлял никаких надежд, не указывал ни на какое место. Прощаясь со мной, просил он меня понаведаться к нему, дабы пообстоятельнее поговорить о наших делах. На этот раз нашел я его в каких-то хлопотах; он успел сказать со мною несколько слов, еще приголубить меня и пригласить дня через два к себе обедать. Потом опять присылал он меня звать к себе, потом... потом не знаю, как это сделалось, я признал себя в совершенном его распоряжении. Он обошел меня, да и я, кажется, не совсем ему был противен. Даже граф Кочубей расхвалил меня ему. Я некогда служил под его начальством, но как было ему знать меня? Не принимал ли он меня за отца моего? По соглашению с Кочубеем и Блудовым, условлено по прибытии на место сделать меня правителем особой канцелярии Бессарабского наместника.

Я, виноват, не пошел благодарить Булгакова: мне не хотелось в этом деле признавать его участия. Итак, едва оставив службу, не ду-

мав, не гадав, я опять готов был поступить в нее.

Мне оставалось только отправиться надолго и в долгий путь, ибо непременно надобно мне было заехать в Пензу, где меня ожидали и куда заблаговременно, не предвидя, что со мной случится, отправил я свои пожитки и всю накопленную мною маловажную движимость.

VI

Липецк. — Киев. — Графиня Браницкая. — Новороссия.

Взявши место в дилижансе на 8-е июня, я 7-го поехал в Царское Село обедать к племяннику моему, Николаю Алексееву, который служил там офицером в гренадерском полку императора Австрийского. Там гулял я в саду, провел вечер, ночевал и на другой день рано утром, по условию с кондуктором, сел в остановившийся против квартиры племянника моего дилижанс.

По этой части в два года с половиной нашел я большое усовершенствование: когда

русские станут перенимать, всегда стараются перещеголять своих образцов. В покойной четвероместной карете, безо всякого стеснения, засел я с тремя женщинами. Но, если экипаж был покоен, зато не общество, в коем я находился. Оно состояло из одной, кажется, мадам Ледрю, по торговым своим делам отправившейся в Москву, да из одной жены чиновника или помещика, Оловянниковой, с горничною девкой. Сия последняя сидела со мной рядом насупротив своих барынь или дам; она была не стара, но толста, черна, глупа и зла; часто грубила даже госпоже своей и при постоянном жаре природными, а иногда неосторожными испарениями заражала воздух. Француженка, как почти все её соотечественницы, была словоохотна, но ни слова не знала по-русски; русская была молода, скромна и учтива, не говорила по-французски, а почитала необходимою вежливостью отвечать на беспрестанно обращенные к ней речи мадамы. Я несколько времени служил им переводчиком, пока это мне не надоело, и я решительно от того не отказался, за что мадам крайне на меня осерчала; толстая девка во

сне припирала меня к стенке, а я локтем в бок будил ее. Таким образом провел я три дня с половиной и приехал в Москву, не пользуясь приятным расположением моих спутниц.

Только до Бронниц, за Новгородом, устроено было шоссе; далее должны мы были ехать прежним, обыкновенным путем; подъезжая к Москве, последние две станции по выбитой дороге показались нам невыносимы. Правительство начинало баловать нас, но и поныне, распространяя по всей России удобства путешествий, не может приучить нас к странствованиям по своей земле.

По старинному обычаю, в нашем семействе сохранившемся, въехал я прямо в дом отсутствующей сестры моей, на Старой Конюшенной. Она с мужем зажила в Пензе, отпраздновав свадьбу брата. Но их со дня на день ожидали, что и задержало меня несколько в Москве, ибо мне не хотелось дорогой с ними разъехаться. Город был пуст, по крайней мере, для меня; небольшое число моих знакомых находилось в деревнях. Но я не скучал, совершенно ведя жизнь любопытного

путешественника. Всякий раз, что я приезжал в нее после пожара, Москва являлась мне в новой красоте. В этом году весной был открыт так называемый Кремлевский сад: грязная Неглинная, протекавшая через гадкое болото, заключена в подземный свод, а на поверхности её явился прекрасный сад или бульвар, зеленою лентой опоясывающий почти весь Белый Кремль. В этом месте, которому подобного нет в центре Петербурга, проводил я вечера. Наконец, воротились мои Алексеевы; пробыв с ними суток двое и с помощью зятя добыв хорошую бричку на рессорах, я отправился в дальнейший путь.

Я мог бы потерять счет поездкам моим по Владимирской дороге в Пензу. На этот раз мне ровно нечего было бы о нём говорить, если бы не случилось со мной одно происшествие, которое могло бы кончиться для меня несчастным образом и о котором упоминаю здесь потому только, что нечего другого сказать. За Муромом, проезжая лесами, около станции Кулебаки, откуда ни возмись голодный, чуть ли не бешеный волк. Сперва гнался он издали за повозкой моей, потом подско-

чил так близко, что я слышал, как он щелкает зубами; не понимаю, чего он испугался и скрылся в лес. Со мною не было огнестрельного оружия; в смирной России почитал я это излишним, а испуганный ямщик бранил меня за то. Во весь опор по песку гнал он тройку свою, предвидя новое появление волка. Он не ошибся: из чащи волк стрелой прямо бросился на лошадей, но, к счастью, дал промах, очутился на другой стороне дороги и в удивлении остановился. Показался мост; проскакав его, ямщик объявил, что опасность миновалась.

Благополучно прибыл я в Пензу к вечеру 22-го июня. Если бы не всегда этот город вмещал в себе драгоценные для меня залогов, я приближался бы к нему, кажется, столь же равнодушно, как ко всякому незнакомому мне уездному городу. Тут был я обрадован укрепившимися с виду силами матери моей: летом она всегда оживала. Не менее наслаждался я картиной супружеского нежного согласия новобрачных, брата моего и невестки. «Боже мой, говорил он мне, как счастье было близко, у меня в глазах, под руками, и я не по-

нимал его! Надобно было, чтобы другие заставили меня вкусить его; сколько лет ранее мог бы я им пользоваться!» Приятно мне было также увидеть в первый раз небольшое семейство, нарожденное меньшою сестрой моею, Александрой; оно состояло из дочери Дарьи и сына Ивана. В муже её, Юматове, было столько же странностей, как и в ней самой; они часто ссорились, зато нежнее мирились, и оттого, мне кажется, жили они счастливо.

Мне судьба была приезжать в Пензу к неизбежной Петровской ярмарке. На ней было довольно шумно, и я увидел несколько новых лиц, в Пензе поселившихся, между прочим, молодых, образованных дам; как знакомство мое с ними было тогда мимоходное, то и не буду здесь говорить о них. Губернатор Лубяновский жил в больших ладах с моим семейством; в губернии его не очень уже любили, но он умел заставлять всех себе повиноваться.

Зрелищем совершенно для меня новым в Пензе были войска, в ней и вокруг неё расположенные. С незапамятных времен, кроме ополчения 1812 года да внутренней стражи,

других воинов в ней не видали. Дивизией начальствовал генерал-лейтенант Иван Федорович Эмме, семидесятилетний старец, совсем не маститый. Чудесно крепкого сложения, он еще бегал в саду у брата моего, при мне перепрыгивал через довольно широкий ров, в четвертый раз был женат (у немцев это дозволено), жене своей, лет сорок его моложе, начал изменять и собирался развестись с нею. Хотя он и смотрел молодцом, о военных подвигах его что-то мало знали. Получив изрядное образование, он в обществе бывал довольно приятен и весел. Мне всё это в его лета не нравилось, и он мне всё казался старым Мекленбургским жеребцом, еще годным под седло.

Мне непременно хотелось побывать в Киеве: проехать близ его, на него не взглянув, казалось мне и грехом, и великим для меня лишением. Также нужно мне было поспеть в Одессу, в одно время с Воронцовым, гораздо после меня из Петербурга выехавшим. Я стал торопиться, но можно ли скоро вырваться от родных? Мне должно было отпраздновать с братом день именин его, 29-го июня, а потом

день именин новобрачной и матери её, Марфы Адриановны Чемесовой, 4-го июля. Но на другой же день, 5-го числа после обеда, оставил я Пензу.

Мать моя, с сестрой, братом и невесткой, по приглашению семейства Ступишиных, поехали провожать меня до селения их, Пановки, в 35 верстах близ Тамбовской дороги находящегося. С сим семейством давно уже у нас последовало примирение. Не только Агния Дмитриевна была жива, но и в глубокой старости мать её, воплощенная гордыня, Елисавета Петровна Леонтьева. Дочь её, Александра Ивановна, бывшая за генерал-майором Панчулидзевым и несколько лет уже овдовевшая, жила с нею. Итак, три поколения вдов и двое сирот составляли семейство сие. Любопытно мне было видеть женатого брата вместе с обожаемым некогда предметом, в близком родстве с тою, с которою несколько лет вел он любовную переписку. Ни тени прежнего чувства: время всё истребило, обхождение самое простое и дружественное.

Более двадцати лет прошло с тех пор как видел я Пановку и любовался её господским

домом: он был длинен, просторен и чисто, хорошо отделан, с иголки. В продолжении этого времени, владельцы его, вдаваясь в разные чрезмерные издержки, мало заботились о его поддержании; с другой стороны, в это время роскошь при убранстве комнат чрезвычайно увеличилась. Мне предстал он тут с своими обнаженными внутри стенами, в виде клонящегося к падению сарая, нищенски прибранного. Отовсюду в этом доме веяло разорением: казалось, что две хозяйки и Фортуна их готовы скоро рухнуть[35]. Это чувство умножало грусть мою при разлуке с матерью. Переночевав, отобедав и приняв материнское благословение, 6-го числа пустился я далее.

Я поехал шибко ночью и днем: чуть рассветало 7-го числа был уже я в Чембаре. Не вылезая из брички, с удовольствием посмотрел я на собор и на небольшие казенные и частные каменные строения вокруг него, и вспомнил деревушку, которая лет за двадцать занесена тут была снегом. Днем проехал я Кирсанов, а 8-го, рано утром, приехал в Тамбов. Я остановился в каком-то чистеньком домике и пролежал весь день: жары станови-

лись несносны, и я решился днем отдыхать и ехать только ночью. Для сокращения пути до Киева, намерен я был следовать особому маршруту, который г. Лубяновский имел обязательность мне дать перед отъездом моим из Пензы.

С большим удовольствием поехал я из Тамбова по совершенно гладкой дороге. Уездный город Козлов, хорошо обстроенный, чрез который я проехал ночью, спросонья показался мне губернским. Солнце начинало уже палить, когда 9-го приехал я в Липецк. Небольшой, чистый, хорошенький городок весь был занят чающими движения воды. За лощиной, в которой находится целебный ключ, в каком-то выселке, нашли мне приют на постоялом дворе. Мне показалось тесно, душно, и я поселился в темном чердаке. Там было несколько прохладнее, но жар на дворе был Африканский: я мало ел, за то чересчур много пил лимонаду, отчего в желудке моем произошла большая революция. Когда к вечеру она немного поутихла, пошел я взглянуть на заведение, коему подобного еще никогда не видал. Небольшой сад и длинная простая дере-

вянная галерея служили украшением сборному месту. Так как уже смерклось, гуляющих почти никого не было; я встретил, однако ж, одного знакомого, младшего из Голицыных, князя Владимира Сергеевича, тогда кавалерийского полковника. Мы с ним побалагурили; кроме пустяков о чём же с ним было говорить? Я пошел к минеральному колодцу отве-дать его воды; её железистый вкус понравился мне, и я выпил три стакана, отчего совсем прошел мой недуг. Таким образом, в продолжение нескольких часов, я было захворал и исцелился в Липецке.

Давно уже известно, что Липецкая вода, подобно Пирмонтской и Нарзану, укрепляет только совершенно расслабленных, а в других болезнях бывает вредна. По неведению и не ознакомясь еще с заграничными путеше-ствиями, многие посещали её источник. Теперь число их невелико, но привычка осталась видеть тут увеселительное летнее место. Из околodka все помещики с деревенскими запасами приезжают пожить дешевым и приятным образом; даже из обеих губерний, на границе коих стоит Липецк, кто на неделю,

кто на две приезжает погулять в нём. Являются за барышами игроки, комедианты, а городок богатеет и украшается, и говорят, что и поныне цветет.

От Липецка до Ельца следовал я маршруту Лубяновского. Говорили, что тут от сорока до пятидесяти верст; мне показалось, что более полутораства. Ночью, на наемных лошадях, без перемены и по ужасным проселочным дорогам, мне приходило не в мочь. Замечательно было одно большущее село, называемое Патриаршим; за ним по мостику переехал я через узкий Дон и вступил в Орловскую губернию. Не совсем было рано утром, когда 10-го числа приехал я в Елец.

По народонаселению своему и по наружности город этот больше и красивее многих губернских. В нём квартировал штаб конноегерской дивизии под начальством генерал-лейтенанта графа Павла Петровича Палена, при коем, по несчастью, находился адъютантом старший племянник мой, поручик Александр Алексеев. Я без спросу въехал прямо к последнему, а он без притворства обрадовался мне. Втроем, с двумя товарищами, за-

нимал он довольно большой купеческий дом, и все потеснились, чтобы дать мне особую, хорошую комнату. Из них старший адъютант Ворожейкин, письменный человек, имел столь же подлую наружность, как и название, другой, князь Ухтомский, был записной пьяница. Я ужаснулся, когда разглядел это житье, а еще более, когда узнал, что каков приход, таков и поп.

На полях сражений Пален подружился с отцом Алексеева и сына взял к себе. Узнав о приезде моем от своих адъютантов, он в тот же день велел меня звать к себе обедать. Старший сын знаменитого Палена, он совсем не походил на меньших братьев своих. Это был обрусевший в нашей армии прусский гусар, неискусный воин, а смелый рубака, никогда не веселый, хотя всегда навеселе. Светская образованность, им в молодости полученная, оставалась в нём, как облупившаяся позолота, местами выказывающаяся. Сперва был он женат на последней отрасли графов Скавронских, в другой раз не знаю на ком, а в третий на казачке Катерине Васильевне Орловой-Денисовой. Безо всякого воспитания, с

одним врожденным женским желанием нравиться, умела она быть занимательна и любезна; он же был просто учтив, но ни к кому не внимателен. Жену его удавалось мне после того несколько раз видеть, его же никогда. Праздная и невоздержная жизнь, которая была у меня перед глазами, заставляла меня трепетать за бедного моего племянника, и увы! опасения мои время оправдало.

Чего уже не было несколько дней, согласился я ночевать в постели. На другой день, 11-го, жар опять остановил меня, опять обедал я у Палена и выехал только ночью не по большой, не по проселочной, а по уездной дороге в город Ливны.

И в этом городе, который уже совсем не подходил на губернский, и куда приехал я 12-го рано поутру, ожидало меня гостеприимство. Не знаю, говорил ли я где о двух близнецах, братьях Беклемишевых, родных племянниках зятя моего Алексеева? С самого ребячества находились они под покровительством цесаревича Константина Павловича; он записал их в конную гвардию, в то же время воспитывал в 1-м кадетском корпусе и по произ-

водстве в конногвардейские офицеры содержал их на свой счет. От колыбели до полковничьего чина дня не были они в разлуке и расстались тогда только, когда каждому дали по полку. Один из них, Андрей Николаевич, у которого и душа, и кошелек были нараспашку, командовал тут конноегерским полком короля Виртембергского. Из Ельца был он предуведомлен о моем приезде, но это было ненужно. Ухватив меня, он скорее уложил меня спать и долго дожидался моего пробуждения, чтобы сесть за обед. Когда вечером я готов был к отъезду, нашли черные тучи, сделалась сильная гроза, и в Ливнах ливмя пошел дождь. Не надеясь переждать его, я остался ночевать.

Ночью лило как из ведра, а когда поутру, 13-го, солнце выглянуло, и я сел в повозку, то совсем не было грязи: пересохшая, алчная земля поглотила всю влагу. Следуя путевому указателю моему, по какой дороге поехал я? Право, рассказать теперь не могу; знаю только, что по самой кратчайшей, к Курску. В ином месте находил я почтовых лошадей, в другом обывательских. Расстояние, верно,

также было изрядное; ибо около суток проехав шибко, 14-го приехал я в Курск, когда едва начинало светать. Я остановился там, куда привез меня ямщик, на постоялом дворе.

В Петербурге один молодой человек, с которым я был знаком, князь Григорий Петрович Трубецкой, просил меня на случай проезда моего через Курск доставить небольшую посылку зятю его, губернатору, Алексею Степановичу Кожухову, и дал к нему письмо. Порядочно выспавшись, часу в одиннадцатом отправился я к этому господину. Он встретил меня в губернаторском доме среди просителей и залы без стульев. Важность, с которою играл он ролю свою, мне понравилась. Начальнику русской губернии, которая народонаселением равняется Норвежскому королевству, не подобает вести себя наравне со всеми, как, к сожалению, сие ныне делается. Сила, которую дают одни узаконения, а еще более личная дерзость никогда вполне не заменит нравственную силу, которую некоторые прежние губернаторы умели давать себе. Не столько себе, как званию своему, обязаны они возвышать его и наружными формами. Он

обошелся со мною, как с петербургским приездом, и сказал, что, как сам я вижу, он не имеет времени заняться мной, а просит часа в два пожаловать к нему обедать на дачу.

Она находилась в версте от города, в узкой, густыми деревьями осененной долине, принадлежащей архиерейскому дому. В этих разъездах мог я хорошо рассмотреть Курск, украшенный тогда одною большою, каменными домами обставленною улицей. Я уже был в нём зимой 1802 года, не видав его (с замерзшими стеклами, сидел я закутанный в возке, и более часу мы с матерью в нём не оставались). Кожухов представил меня жене своей, Анне Петровне, урожденной Трубецкой. Она совсем не была красавица, но трудно было найти милее и нежнее её голоса, взгляда и улыбки, стройнее и гибче её стана. Говорили, что император Александр был к ней равнодушен и заключали из того, что, в проезде через Курск, он всегда лишний день с нею оставался, а она всякую зиму месяца на два ездила в Петербург. Ну что за беда, если бы и правда! Сам Кожухов был не очень высокого роста, крепок телом, бел и румян. Прав-

да, он деспотствовал в губернии; да как же иначе там, где вековые беспорядки иногда одною силою придавливаются? При нём они почти прекратились. Люди, сами не подвергнутые строгости принимаемых мер, даже пользуясь их действием, кричат против них. Как быть? Ныне уже так ведется, чтобы желать невозможного; мы хотим кататься в санях среди благоухания роз.

За столом, за которым, считая меня, было нас всего человек пять, хозяин советовал мне, если я тороплюсь, отправиться в ту же ночь или пробыть тут весь следующий день.

— За окрестности Курска отвечаю я, — сказал он; — но в прилегающих к Малороссии уездах нередко бывают ночные разбои; несмотря на все мои старания, я не совсем мог их унять. И лучше, и вернее места эти проехать днем.

Я послушался его совета, ночью ехал спокойно и вступил в опасные, по словам его, места, когда совсем рассветало. Тут некогда была русская граница, чрез которую украинская вольница тайно переходила для хищничества; к ней приставали и наши бродяги. Всё

это после поселено с правами однодворцев. И позднейшее потомство этих людей не совсем может отстать от ремесла предков. Я увидел город Льгов рано поутру, Рыльск около полудня, а довольно большой и некрасивый Глухов, когда последние лучи солнца освещали его колокольни.

Наконец, я опять в Малороссии, с неизъяснимою радостью сказал я себе, опять на дороге, по которой первый раз в жизни проехал я отроком! Мне хотелось наглядеться на места, чрез кои проезжал, наслушаться с ребячества знакомых речей; темнота ночная скоро покрыла одни, другие умолкли: ибо утомленный дневными трудами народ скоро предался сну. В сердечном волнении, я не скоро мог заснуть, думаю, перед рассветом; а когда проснулся, 16-го числа, был далеко внутри моей любезной Хохландии. О, горе! На станциях не только смотрители, все ямщики говорили по-русски безошибочно, хотя с дурным выговором. Мне бы следовало радоваться, видя непринужденное преобладание нашего господствующего народа; но любимые места приятно мне находить точно в том виде, в ка-

ком я их оставил. Оттого-то и город Нежин, чрезвычайно много против прежнего выигравший, меня отнюдь не порадовал.

Меня тревожил дорогой нарыв на боку. Во сне, верно, я неловко как-нибудь поворотился, ибо чрезвычайно сильная боль разбудила меня 17-го рано поутру. Скоро забыл я об ней: на дальнем горизонте сквозь ветви деревьев передо мной что-то блеснуло. Я подъезжал к последней станции, Броварам, и это была Печерская глава, маяк православной веры, которому, завидев его издали, ежегодно десятки тысяч богомольцев крестясь поклоняются. Очень редко случалось мне плакать от печали, почти никогда от радости; тут откуда ни возьмись слезы. Чувство и родное, и религиозное, и патриотическое вместе возбудил во мне этот минутный блеск, скрывшийся скоро за деревьями. В Броварах, на мое счастье, был весьма добрый станционный смотритель, который, заметив мое умиленное нетерпение, дал мне тройку лихих курьерских лошадей; с ними восемнадцать верст проскакал я по сыпучему песку, точно так же как и по мосту через Днепр.

На Печерском форштате, в жидовском трактире, которого при мне не было, остановился я. После отсутствия, продолжавшегося более двадцати одного года, увидел я опять Киев. Несмотря на жар и на нарыв, как бы опьянелый, пошел я ходить и прежде всего посетил крепость, теплое гнездо мое, и о радость! ничто в ней тогда не переменялось. Зашел помолиться в лавру, также в ближние и дальние пещеры. Стал спрашивать об архимандрите Киприане, об иеромонахах Павлине и Трифилии, часто входивших в наш дом; их давно не было в живых. Вступая в разговоры с монахами, довольно уже немолодыми, я припомнил им об отце моем и о нашем семействе; ни о нём, ни о вас никто из них и не слыхивал.

*И место, где поднесь цвели,
Нас более не признает.*

Горько было мне подумать, с какою быстротой время стирает следы наши.

С утомленной душой и телом воротился я обедать в свой трактир, а потом отдохнул. Припоминая себе всех простосердечных и

добродушных людей, которые любили мое младенчество и которых я сам любил, подумал я: неужели ни одного из них нет на свете? взял дрожки и пустился в поиски. В тот же вечер сделал я приятные открытия.

Первый, которого отыскал я, был Павел Харитонович Зуев, весьма умный человек, советник Главного Суда, в самый год последнего выезда моего из Киева женившийся на Катерине Петровне, дочери почтенной Иулианы Константиновны Веселицкой, которую читателю не следовало бы забыть. Когда я назвался, муж и жена вскрикнули от радости; наслышанные о моем семействе, подросшие, довольно большие дети обошлись со мною как с давно знакомым. Стыдно сказать, кому тут еще обрадовался я? Арапу, бьющему в бубны и стоящему на старинных столовых часах, принадлежавших покойной Веселицкой: чудо механики, которому дивился я в ребячестве. Как объяснить многие из наших слабостей?

Скоро потом нашел я вдову лысого лекаря нашего, Яновского, Иулиану Осиповну. Потеряв мужа, выдав дочерей замуж и давно отпу-

стив сыновей в военную службу, жила она сиротой в собственном небольшом домике, который для неё одной казался ей слишком просторным. Она начинала терять зрение и даже по голосу, в мужчине, приближающемся к сорокалетнему возрасту, не без труда могла узнать знакомого ей мальчика. Но когда узнала, то заплакала, и нет нежных выражений на украинском наречии, которых бы она мне не переговорила.

Еще обрел я старца, отца Степана, священника комендантской церкви. Этот с первого взгляда узнал меня, встал, обратился к иконам и начал благодарить Бога, что дал узреть ему хотя сына добродетельной матери моей. Он жил на покое, в тесном помещении, окруженный многочисленным потомством, и уже молодой внук его заступал его место в крепости. Одна только добрая Василиса Тихоновна, моя Шехеразада, не дождалась меня, жестокая: умерла за месяц до приезда моего.

На счет сих лиц я хотел было отослать читателя к первым страницам сего бесконечного повествования; но мне и так уже совестно занимать его совсем незанимательными для

него предметами.

Что же мае делать? Воспоминания этого нового пребывания моего в Киеве так живо мне являются, что под пером моим сами собою выступают на бумагу.

Без вышепоименованных лиц возвратясь, могу сказать, на родину, я увидел бы ее себе вовсе чуждою. Польские помещики заменили в ней малороссийских, но и они жили более в деревнях. Лет двенадцать не было уже в Киеве военного или генерал-губернатора. Первенствующею в нём особою находился тогда корпусный командир, Николай Николаевич Раевский, прославившийся в войну 1812 года. Тут прославился он только тем, что всех насильно магнетизировал и сжег обширный, в старинном вкусе, Елисаветою Петровною построенный, деревянный дворец, в коем помещались прежде наместники. Вообще и семейство его только и умело, что себе и другим вредить.

Преимником Масса (преимника отца моего) был хворый брат Аракчеева, Петр Андреевич; но мне никакого следа не было к нему ехать. С губернатором, некогда Петербург-

ским полицеймейстером, мне знакомым, Иваном Гавриловичем Ковалевым, встретился я на улице, и он пригласил меня в себе обедать. Хотя он был холостой, но жил не на холостую руку: у него хозяйничали две старые девы, сестры его. Связь между сими тремя существами была изумительна и трогательна: нигде я такой братской любви не видал. Ковалев был слишком кроток для занимаемого им места, и я тогда же предвидел, что он на нём долго не останется.

Трех дней было мне достаточно, чтоб осмотреть все знакомые мне места и даже некоторые из окрестностей Киева. Между прочим, заезжал я и на хутор, принадлежавший моему отцу, где было наше летнее местопребывание. Он продан купцу Киселевскому и брошен им; старый дом был разобран, и на его месте построены две-три хаты. Всё-таки мог я наглядеться на то, что сохранилось в прежнем виде, — на пруд, на плотину, на плодovitый сад и на рощу, по тропинкам которой я резвился когда-то. От удовольствия и сожаления, право, иногда замирал во мне дух. Хотя он был собственностью отца моего, а

странное дело, и поныне все называют его комендантским хутором.

Как в Рим, так и в Одессу все пути ведут из Киева. Мне сказали, что их несколько; как мне было выбирать из них? У меня было письмо от матери к графине Браницкой, и потому сперва поехал я в Белую-Церковь, в ночь с 20-го на 21-е июля.

Ночи в это время бывают еще коротки, да и путь был мне не длинен; я совершил его до рассвета В Белой Церкви живала графиня только по зимам; летом же — в трех верстах оттуда, в своей любезной Александрии, собственными её стараниями возвращенный огромный парк. Туда я прямо проехал и остановился в довольно чистой корчме. Выспавшись, часу в одиннадцатом, я принарядился и пошел являться.

Проходя садом или парком, я подивился его красоте; строения, которые нашел я на конце его, меня удивить не могли. Над каменным двухэтажным домом, которому предназначено было вмещать в себе гостиницу, большими буквами выставлено было слово Аустерия, и в нём-то помещалась владетель-

ница замка. Я нашел ее после чая или завтрака одну с дочерью, в большой комнате нижнего этажа, служащей ей и гостиной, и кабинетом, в черном тафтяном, довольно поношенном капоте, в белом довольно заношенном чепце. Она не расточительна была на ласки и приветствия; за то простое, доброжелательное обхождение её вселяло уважение и доверенность. Поговорив со мной о матери моей, она сказала, что я непременно сколько-нибудь должен у неё погостить, а потом, позвонив, велела мне во флигеле отвести две или три весьма чистые комнаты.

В этой женщине было так много оригинального, что распространиться немного об ней считаю вовсе излишним. При необъятном её богатстве, все говорили, что она чрезмерно скупа, и я имел тут случай убедиться в том; за то на доброе дело случалось ей бросать по сто и по двести тысяч рублей. В этой русской барыне, совершенно старинной помещице, было так много ума, важности и приличия, что ни один поляк, даже по заочности, не дерзал попрекать ее варварством. Царствование Екатерины было на ней напе-

чатано.

За обедом, исключая хозяйки и меня, сидели четыре женщины и один мужчина, и вот кто они были.

Младшая дочь, графиня Елисавета Ксавьеревна Воронцова, жена моего будущего начальника. Ей было уже за тридцать лет, а она имела всё право казаться еще самою молоденькою. Долго, когда другим мог надоестъ бы свет, жила она девочкой при строгой матери в деревне; во время первого путешествия за границу вышла она за Воронцова, и все удовольствия жизни разом предстали ей и окружили ее. Со врожденным польским легкомыслием и кокетством желала она нравиться, и никто лучше её в том не успевал. Молода была она душою, молода и наружностью. В ней не было того, что называют красотою; но быстрый, нежный взгляд её миленьких небольших глаз пронзал насквозь; улыбка её уст, которой подобной я не видал, казалось, так и призывает поцелуи. Сие изображение служит доказательством моему беспристрастию, ибо впоследствии была она ко мне чересчур немилосерда, хотя на этот раз стара-

лась быть отменно любезна.

Как контраст, сидела подле неё дочь генерала Раевского, Елена Николаевна, дева еще не старая, но мрачная и больная. Всё семейство её страдало полножелчием и, смотря по сложению каждого из членов его, желчь более или менее разливалась в их речах и действиях. Графиня Браницкая приходилась двоюродною теткой Николаю Николаевичу, и оттого покровительствовала и поддерживала его семейство, за что не весьма хорошо отблагодарило оно ее.

Третья особа была старая знакомка моя, Наталья Николаевна Ергольская, дочь Киевского советника, Николая Ивановича, о коем говорил я в начале сих Записок. Я имел всё право назвать ее пожилою девой, ибо в малолетстве моем знавал я ее совершеннолетнею. Она сама себя отлично образовала и своею любезностью точно служила украшением сему небольшому обществу.

Об имени, четвертой женщины, какой-то шляхтянки, пани-экономки, я не только не спросил, но даже хорошенько не поглядел ей в лицо, хотя она сидела рядом со мною.

Предметом общего, особого внимания гордо сидел тут англичанин-доктор, длинный, худой, молчаливый и плешивый, которому Воронцов, как соотечественнику, поручил наблюдение за здоровьем жены и малолетней дочери: перед ним только одним стояла бутылка красного вина. Обед был вкусный и обильный, но вина за ним не подавалось. Вдруг графиня, подозревая слугу и глазами указывая ему на меня и на бутылку перед англичанином, сказала только: «гостю». Тотчас явилась передо мной другая бутылка; я выпил из неё рюмки две; опорожнить же ее помогла моя соседка, полька. Заметно было, что она пользовалась не вседневным случаем.

Порядочно отдохнув после обеда, графиня предложила мне показать сама свое прекрасное создание. Она не повезла и не повела меня с собою. С ослабевшими и опухшими ногами, она ходить не могла; два казака повезли ее в креслах на колесах, а я сопутствовал ей пешком. «Посмотри, батюшка, сказала она мне: двадцать пять лет тому назад здесь было голое поле, прутика не видать было, а теперь мы гуляем в густом лесу». Быстрая речка Рось,

В ином месте удержанная, в другом вьющаяся по воле, протекает весь этот длинный сад. От палящего зноя этим летом вся трава пожелтела; близ речки сохраняла она только свою свежесть, и большие голубые цветы на высоких стеблях, по берегам её насаженные, казались бесконечною сапфировою цепью. Всех прелестей этого очаровательного места я описывать не буду: их было слишком много. Графиня Браницкая сроднилась с природой; деревья сделались её обществом и друзьями. Проезжая мимо иных, проговаривала она: «голубчик, красавец ты мой!» с досадой отворачиваясь от других, говорила мне: «я этих терпеть не могу»; однако же не лишала их жизни, не велела рубить, Сперва я не чувствовал усталости, но, наконец, готов был в ней признаться моей вельможной путеводительнице, когда закат солнца заставил нас воротиться.

Следующий день провел я почти таким же образом. Делаясь доверчивее и смелее с графиней, я заговорил ей про толки, которые идут о её капиталах, и находил, что, по моему мнению, счет им должен быть преувеличен.

«Не знаю, право, батюшка, наверно не могу сказать, а кажется, у меня двадцать восемь миллионов», — отвечала она. Потом прибавила: «Меня все бранят за то, что я не строю дворца. Я люблю садить, а не строиться; одно потруднее другого и требует гораздо более времени. После меня, если сыну моему вздумается взгромоздить хотя мраморные палаты, будет ему из чего».

Из Белой-Церкви чем свет выехал я 23-го числа по тракту мне там указанному. Первый городок, который увидел я, был ледащий Таращ, а после большое местечко Ольшаны, принадлежащее Василью Васильевичу Энгельгардту, племяннику Потемкина и брату Браницкой. Тут мог я немного своротить с дороги, чтобы взглянуть на Казацкое, где провел я год моего отрочества, и мне до смерти того хотелось; но время становилось дорого и, околесив большую часть России, дорога начала мне надоедать. От Ольшаны и Казацкого вплоть до Херсонской губернии идут имения, купленные Потемкиным у князя Любомирского; из них могло бы составиться княжество Потемкинское, пространнее и богаче

иною немецкого герцогства. После его смерти разделены они между потомками трех сестер, и каждому из наследников досталось более пяти тысяч душ. В тот же вечер проехал я Шполу, доставшуюся Дарье Николаевне Лопухиной, внучке сестры его; рано утром — Золотополье, принадлежащее Николаю Петровичу Высоцкому, сыну той же сестры. Тотчас после сего местечка вступаешь в Новороссийский край.

Не знаю, кем или при ком построен Новомиргород. Въехав в него 24-го числа, я еще искал его. Вдали от соборной церкви разбросаны небольшие строения, в дальнем расстоянии друг от друга находящиеся; мне показалось это основой или кадром города. Опять не знаю, поступил ли он тогда в ведомство военных поселений, только на каждом шагу встречались в нём уланы разных чинов. Я пустился далее.

От Новомиргорода то, что показалось мне степью, сим именем еще назвать нельзя: являются пригорки, лески, вероятно, насажденные. Утомленный, гораздо до захождения солнца, приехал я в Елисаветград, или кре-

пость Св. Елисаветы, построенную в царствование Елисаветы Петровны. Это было при ней крайним, а в наше время уже не новым, владением России. Я остановился тут; ибо город, хорошо обстроенный, окруженный садами, похожими на рощи, представлял мне удобное место для отдохновения. В деревянном трактире, в котором я остановился, был длинный ряд чистеньких, беленьких комнат, обнесенных, по южному обычаю, наружною, открытою галереей. Из них я занял одну, но все остались в моем распоряжении, ибо все были пусты. Смертельную жажду, которую чувствовал, утолял я кавунами, по нашему арбузами, которых с полдюжины принесли мне за полтину. Мне нужно было успокоиться, укрепиться для перенесения трудов следующего дня.

Я не имел понятия о тоске пополам с ужасом, которую чувствуешь, проезжая полуденными степями; я узнал ее 25-го июля. Надо мною и подо мною была степь, одна безоблачная, другая безлесная. Благотворное в другое время светило беспощадно горело надо мною. Ни малейшего ветерка, ну точно штиль среди

тропических морей. Ни ручейка, ни деревца, ни хатки, которые бы прервали угрюмое однообразие сих мест. Во время вешних дождей вид на бесконечное зеленое пространство, говорят, действительно, бывает приятен; но тут трава не пожелтела, а почернела, и как зола, хрустя, рассыпалась под ногами. Как нить Ариадны, тянулась цепь пирамидообразных столбиков, разных величин, сооруженных из битой земли, выбеленных и означающих версты, полуверсты и четверти верст. Они походили на надгробные памятники, и белизна их на черноте грунта еще более придавала всему траурный вид.

Растаявшие снега для стока ищут небольшие лоцины, каждый год роют их глубже и таким образом веками изрыли глубокие овраги, называемые тут балками. В них зимой со степи надувает более снега, он долее держится в них; даже летом сохраняют они некоторую влажность и от беспрепятственно в поле бушующих ветров несколько защищены своими берегами. На дне их преимущественно, даже исключительно, построены селения; но, чтобы их увидеть, надобно подъехать в них и

спуститься в овраг. На станциях, в них устроенных, находил я землянки, которые меня привлекали своею прохладой и на четверть часа, иногда на полчаса, останавливали меня. Названия сих станций, между прочим, Сугоклея, Громоклея, суть на языке мне вовсе неизвестном; не на печенежском ли, не на хазарском ли? От Елисаветграда сделав 180 верст, гораздо за полночь приехал я в Николаев, главный Черноморский военный порт.

Куда меня привезли, право не знаю; сказали, что в трактир. Если б я успел заснуть, то от чрезвычайной усталости верно бы так крепко, что не почувствовал бы мучения, на кое был осужден. Миллионы блох, гораздо больше и злее наших, осыпали меня; я подумал, что постель моя осыпана рубленою щетиной. Я встал, велел подать свечку, ужаснулся числу врагов моих, окатился водой и перебрался в свою бричку. Там уснул, но верно не посмотрел на часы, ибо сказал, чтобы, не дожидаясь моего приказа, со светом запрягли лошадей, а через час он показался. Я проснулся и пустился на новую пытку. Когда я въехал в Николаев, была совершенная темнота; ко-

гда выехал из него, мне было не до любопытства, и потому на этот раз я его почти не видел.

Во время утренней прохлады, на пароме переправился я через широкий Буг. Сильное волнение в крови моей поутихло, и я опять немного мог заснуть, но скоро жар разбудил меня. Степь начинает терять тут свое однообразие. Море выступившее во внутренность земли заливами или лиманами, удаляясь под сим последним именем, оставило за собой озера, отделенные от него довольно большим пространством, через которое надлежало мне проезжать. Наконец увидел я третью степь, влажную, голубую, хотя и называют ее Черным морем, и это немного развеселило во мне дух. На сем пути заметны не так давно совершившиеся превращения в этом краю. Станции или селения носят по два имени, одно — прежнее татарское, другое — полурусское, полуевропейское: так, например, Тилигул, принадлежащий англичанину Коблѐ, бывшему одесскому коменданту, получил название Коблевки; Аджелик, где француз Дофинѐ, сперва повар, потом дворецкий Потем-

кина, наконец чиновник, поселил небольшое число крестьян, назван Дофинкой. Солнце уже село, когда с сей последней станции пустился я в Одессу. Прежде чем я въехал в этот замечательный город, должен был я испытать большое, хотя последнее дорожное мучение. Мне надобно было девять верст ехать по так называемой Пересыпи, одно из тех плоских мест, с которых море стекло; всё один песок, но не везде сыпучий; в ином месте, связанный, вероятно, соляными частицами, был он тверд, в другом уступал тяжести повозок, и от того всё пространство наполнено было опасными для езды ямами, особенно ночью.

Насилу в десять часов вечера, 26-го июля, приехал я в Одессу.

VII

Одесские власти. — Брунов. — А. С. Пушкин. — У адмирала Грейга.

Среди ночной темноты всё показалось мне громадно. Я остановился в известнейшем отеле Рено, близ театра, перед которым горела блестящая иллюминация. Она была по случаю приезда графа Воронцова и должна была продолжаться три дня. Подмости были сделаны, шкалики куплены, и хотя в это самое утро отправился он в Бессарабию, ее всё-таки зажгли. Следовательно, как будто праздновали его отбытие.

Никогда еще столь богатых материалов не имел я для разработки; никогда столь длинной галереи замечательных портретов не представлялось мне для списывания как там, куда в первый раз приехал я: новый край, молодой еще, но высоко поднявшийся город, с разнородным населением, можно сказать, в малом виде рождающийся целый мир; наконец, настоящий двор, сборное, беспрестанно меняющееся общество. И когда пришлось мне

всё это описывать? Когда воображение гаснет, память тупеет, охота пропадает. Если бы я был так счастлив, чтобы в читателе возбудить какое-нибудь участие собственно к судьбе моей: то продолжение простого рассказа о похождениях моих достаточно бы было для удовлетворения его любопытства. А вот чем я должен буду ограничиться.

В Одессе было тогда только два заезжих дома, под именем отелей, принадлежащих двум купцам-французам, Сикару и Рено. Первый из них был настоящий торговец из Марсели, умный, веселый и приятный человек. Другой был парикмахер, который, понажившись, стал торговать духами; под покровительством Ришелье в Одессе, от пудры перешел он к крупчатой муке, разбогател, завел себе дачу и построил дом. В двух небольших комнатах одного из них поместился я над конюшнями, что было для меня весьма выгодно, ибо, чувствуя в них нестерпимый жар и духоту и не опасаясь неудовольствия от нижних жильцов, заплатил я за ушаты морской воды и полил ею у себя весь пол. От того стало немного свежее, и я свободно мог провести первую

ночь в Одессе.

Как я приехал в этот город с намерением служить в нём и остаться, то и необходимо мне было явиться к которой-нибудь из властей. Главной, графа Воронцова, не было, оставался градоначальник, и я поехал к нему. Прежде чем назову его, надобно мне объяснить причины некоторых перемен в управлении, последовавших в сем краю. Когда в 1815 году дюк де-Ришелье, одесский градоначальник и Новороссийский генерал-губернатор вместе, оставил Россию, по указанию его, на оба места назначен был его земляк, генерал от инфантерии, граф Ланжерон, ветреннейший и болтливейший из всех французов. Как при нём шли дела, этого уже не нужно спрашивать. Не знали, как него отделаться. Находя, что одна из должностей его не совместна с высотой его чина, сверх того, имея желание подчинить себе все градоначальства, он исходатайствовал приятелю своему, тайному советнику Николаю Яковлевичу Трегубову, звание одесского градоначальника, с тем, однако же, чтобы он оставался в его зависимости. Не прошло года, как они ужасно пе-

рессорились и стали доносить друг на друга. Пожертвован, разумеется, был подчиненный и удален от службы. Открывшееся место всемогущий тогда Гурьев умел выпросить сыну своему, нередко реченному графу Александру Дмитриевичу, даже с условиями стеснительными для Ланжерона. Бак он, так и Ришелье жили в Одессе только по званию градоначальников; местопребыванием же генерал-губернаторов назначен был скучный Херсон, и ему велено было туда переехать. Он рассердился, но в отставку не подал, чего с нетерпением ожидали. Но, дабы показать неудовольствие, потребовал он годовой отпуск и отправился в Париж. Место его заступил временно-управляющий Бессарабскою областью, генерал-лейтенант Инзов. Лишь только узнали о предпринятом им обратном пути, как поспешили назначить Воронцова, и с этим уже не торговались, всё отдали ему: и Новороссийский край, и Бессарабию, и градоначальства, и даже Одессу для жительства. О сем назначении узнал Ланжерон в проезд свой через Германию; он остановился, сильно было прогневался, но с счастливым легкомыслием

своим скоро перестал тужить и поехал далее.

На хуторе Коблѣ, ближайшем к городу, предстал я перед давнишним знакомым моим, Петербургским, Кяхтинским, Мобѣжским, и он принял меня как доброго приятеля, не пустил меня, заставил у себя обедать, и вседневно-славный стол его пробудил во мне аппетит, потерянный во время сильных жаров. Внезапный упадок отца его, назначение Воронцова, много сбавили с него спеси. Его графиня, Авдотья Петровна, как и всегда, была гораздо милее его. А вот на первый случай и знакомый для меня дом.

Из многочисленной свиты Воронцова один только человек находился в Одессе, состоящий по особым поручениям, полковник барон Пфейлицер-Франк. Бедному курляндскому дворянчику, учившемуся в кадетском корпусе, служившему в кавалерии, посчастливилось попасть в адъютанты к Воронцову. Не знаю, был ли он от природы веселого ума, только всегда расположен был к шуткам, зная, что ими угождает высшим и нравится равным. Шутки его бывали иногда очень остры, особенно приправленные искусством пе-

редразниванья. Этого было, кажется, достаточно; но, сверх того, начальника своего наедине забавлял он городскими и всякого рода вестями. К чести последнего надобно сказать, что он был самым приближенным его, но не самым доверенным человеком. Жаль, право; у Франка был ум, хотя никакой способности к делам, а многие видели в нём просто шута и лазутчика. Раза два прозрел я в Петербурге особу его, но подробности о ней мне были все неизвестны. Неизлишним счел я навестить его, дабы получить сведения о его начальнике, еще не моем; он мне показался очень забавен, и я с удовольствием слушал его; он это заметил и, кажется, навсегда остался мне доброжелателен.

Пробыв около недели в Кишиневе, наместник отправился осматривать южную часть Бессарабии. Отсутствие его длилось, а я оставался без дела и даже в некоторой неизвестности на счет моего предназначения. Между тем чиновники, определенные в штат генерал-губернатора, один за другим беспрестанно приезжали из Петербурга и все останавливались в трактире Рено, где я жил, и где слав-

ный повар-француз, Оттон, кормил нас за весьма дешевую цену, ибо съестные припасы стоили тогда весьма мало. Из сих чиновников, приехавший первый и, конечно, примечательнейший из них, был Алексей Ираклиевич Левшин, человек лет двадцати пяти. У него были и познания, и способности, и трудолюбие, вместе с врожденною ко всем приветливостью, которая, равна будучи и со старшими, не могла иметь ни малейшего вида подлости, сверх того, довольно заметное честолюбие, одним словом, — все средства к возвышению. Мне едва ли случалось встретить человека более его благоразумного в поступках, более одаренного тем, что французы называют умом поведения, *esprit de conduite*. Выгораживая себя, по всей истине могу сказать, что это было единственное дельное приобретение, сделанное Воронцовым в Петербурге. О других чиновниках, приехавших в то же время, буду говорить после, а может быть, и ничего не буду говорить.

Наконец, прибил гвардии полковник Александр Иванович Казначеев, некогда дежурный штаб-офицер в Мобёжском корпусе, глав-

ное лицо в Воронцовской свите. Четверти часа разговора с ним было достаточно, чтобы увидеть в нём добрейшего человека в мире. И доброта эта была не апатическая, а живая, огненная, всегда готовая на общее и частное добро. Во всеобщей любви его к человечеству русские занимали первое место, если не он сам; но не будем смешивать себялюбие или эгоизм с самолюбием. Первого в нём вовсе не было, последнее преступало за все возможные и дозволенные пределы. Твердо веруя в свою непогрешимость, он ни за что не отступался от мнения своего, даже тогда, когда обман, в который он был вовлечен, делался очевиден. Правдивые люди всегда бывают доверчивы; для отклонения заблуждений таким людям нужен сильный ум и быстрый, верный взгляд на людей и на дела; а были ли они в нём, это остается еще под сомнением. Я знал его в Мобёже и полюбил; после того находился он в гвардейском штабе, но мне не случилось с ним увидеться. Эти господа военные, занимающиеся в инспекторском департаменте или где в ином месте письменными делами, считают гражданскую службу за сущую

безделку и не скоро могут понять великой разницы между именными списками, рапортчиками и составлением выписки из огромного дела.

Скоро из Кишинева обратно прислал Воронцов еще одного дельца, Никанора Михайловича Лонгинова, брата Николая Михайловича, секретаря императрицы Елисаветы Алексеевны, потом великого статс-секретаря. Он не был подобно брату воспитан в Англии, а из семинаристов попал в какую-то военную канцелярию и был потом полковым аудитором в Мобёжском корпусе. Мужик он был довольно добрый, только что не совсем глуп, великой педант, сухой, кривой, скучный.

Я был призван сими двумя господами на совет касательно нового устройства генерал-губернаторской канцелярии. В России все хотят, возвышая место служения своего, поднять свою должность и свою особу; от того-то совсем неважные управления успевают делаться особыми министерствами. Я скоро заметил, что Казначеев намерен создать не только нечто в виде департамента, но настоящий департамент министерский и быть его

директором.

Департамент должен был состоять из четырех отделений: первое, по всей справедливости, должно было принадлежать коллежскому асессору Лонгинолу, участвовавшему в проекте; четвертое, в котором должны были находиться Бессарабские дела, назначено было мне. Не знаю, как не вскрикнул я от удивления и негодования. Вот куда я упал! подумал я. Надобно было объяснить.

— Еще в Петербурге условлено было, чтобы Бессарабские дела, кои и поныне составляют отдельную часть, находились под особым моим управлением, — сказал я.

— Это невозможно, — воскликнул Казначеев — в высочайшем приказе сказано, что такой-то назначается правителем канцелярии Новороссийского генерал-губернатора и полномочного наместника Бессарабской области. После того как же быть? Да и соглашусь ли я с кем-нибудь делиться?

— Вы совершенно правы, но и мне да позволено будет желать не иметь другого начальника кроме наместника: семь лет находился я в непосредственной зависимости от

одного главного начальника.

— Ну, что за важность, и как же можно сравнивать какого-нибудь Бетанкура с *нашим* графом?

— Тут дело идет не о лицах, а о должностях, и, кажется, что министр может почитаться, по крайней мере, равным генерал-губернатору.

Я старался объяснить ему, что для человека, имевшего в виду департамент, и место правителя канцелярии не слишком завидно. Мы посчитались; и если бы в нём не было так много доброты, и я не знал бы ей всю цену, то, может быть, и перессорились бы.

Другое небольшое унижение должен был я испытать немного прежде, дня через два по приезде в Одессу. Мне принесли с почты пакет, в котором при письме от Бетанкура вложен был Владимирский крест 4-й степени. Представления его, сделанные по Главному Управлению Путей Сообщения, Государь велел бросить Комитету Министров; а обо мне шло через Министерство Внутренних Дел и было утверждено 14-го июня. Спорили в Комитете о награде сей вместо чина, и я чуть не

получил было маленькой Аннинской крестик. Лучше бы, право, нечего.

Положение мое сделалось опять более чем затруднительно. Без ничего воротиться в Пензу, истратив на дорогу все сбереженные крохи и сделав небольшой долг, было бы очень тяжело. С другой стороны, служить, как вздумалось Казначееву предлагать мне, я бы ни за что не согласился. Решения участи своей ожидал я от возвращения Воронцова, которое последовало только 10-го августа. Тогда сделалось еще хуже. Нельзя было мне не заметить, что он избегает объяснений со мною, а я не слишком искал их, всё опасаясь, чтобы в них, против воли моей, не вскользнул какой-нибудь упрек.

У него был собственный не весьма большой дом[36], единственный тогда на берегу моря. Другой, самый большой в Одессе, принадлежащий богачу Фундуклею, нанимал он и приготовлял для вельможеского житья своего. Третий — в городском саду, где жиль, кажется, прежде градоначальник Трегубов и состоящий из трех-четырёх больших комнат в верхнем этаже, занимал он также. В первом

обедал он, во втором ночевал, в третьем принимал просителей и занимался делами. Зрелище было любопытное: все комнаты набиты всякой день были народом, просителями, чиновниками, даже просто любопытными, и посреди их столы, на которых производились дела. Наместник часто выходил из своего кабинета; возьмет бумаги, промолвит с иным слова два, удаляется с тем, чтобы опять скоро показаться. Сборное место при походном управлении. Тут и я почти каждый день являлся, и на мою долю доставалось несколько ласковых слов и почти всегда зов на обед; но о деле ни полслова.

Оставим и мы его на минуту с тем, чтобы заняться точно бездельем: изображением двух лиц, сопровождавших Воронцова в Бессарабию. Оба откомандированы были от Министерства Иностранных Дел, кажется, более для умножения блеска маленького одесского двора, чем для пользы службы. Отец одного из них, *** был старик, вечно служивший в Константинопольской миссии; жена у него была красавица. Посланник Кочубей был молод, и ребенок, в то время родившийся, был

чрезвычайно похож на последнего; ни родители, ни молодой посланник не думали оспаривать общего мнения на счет младенца. Под покровительством графа Виктора Павловича вырос он, определен в службу и представлен в первое Петербургское общество. Когда Неаполитанская королева Каролина бежала из Палермы от жестокостей англичан, всегда так немилосердых к несчастью, то в Константинополе нашла убежище у г-жи *** Как бы подданная, сопровождала она ее и служила ей. Не зная, как лучше ее наградить, королева малолетнему сыну её выпросила звезду Св. Константина, что в самой первой молодости и давало ему вид маленького принца. Сходство лица у *** с отцом, природою ему данным, не было еще так разительно, как сходство характера. В нём была небольшая надменность, соразмерная однако же его положению, и великая страсть к спекуляциям. Не имея большего состояния, он беспрестанно умножал его, не употребляя впрочем никаких неблагородных средств, пользуясь единственно покровительством начальства и удобствами торгового города. Всегда занятый

собственными делами, которые слегка были сплетены с служебными, казался он деятельным. И странная и вместе счастливая была судьба его! Никогда не покидая Одессы, не занимая в ней никакой должности, оставаясь всё в том же положении, в коем прибыл в нее, с чином надворного советника, он, до чина тайного советника, очень часто получал награды, кресты, ленты, подарки, земли, аренды.

Если один показался мне отменно вежлив, то другой, барон Филипп Иванович Брунов, был со мною не только ласков, даже искателен. Курляндец, еще менее чем лифляндец, был он русский. Окончив курс учения в одном из немецких университетов по юридическому факультету, с прилежанием и хорошей головой, приобрел он действительно много познаний по этой части и по рекомендации родственников своих графов Ливенов, в качестве дипломата-законоведца, прибыл с Воронцовым в Новороссийский край. Но не по этой дороге надеялся он далеко уехать; да и не имея ни малейшей практики, не зная русских законов и весьма плохо язык, к чему бы го-

дился он? Наружность имел он неприятную; длинный стан его, всё более вытягиваясь, оканчивался огромной, страшной челюстью; но в нём был ум и большой светский навык, и всем, кроме меня, он более или менее нравился. С самого ребячества в немцах привык я видеть правдивость и честность и хотя было много случаев, которые поколебали во мне сию веру, Брунову дано было разрушить ее; но он принадлежал к новой, юной Германии, бесстыдно-расчётливой. Мы объяснились, и я был столько догадлив, чтобы не показать ему ни малейшего отвращения. Обманутый моим иностранным прозванием и зная, что Казначеев стоит передо мной препоной, предложил он мне против него оборонительный и наступательный союз. Выслушивая его одобрительно, заметил я ему, что нас только двое. «Франк будет с нами, отвечал он, и это достаточно будет, чтобы свихнуть русского дурака и овладеть местом». Внутренне продолжая смеяться над собой и над интригантом, «нет мало, сказал я: кабы нам достать людей из Остзейских губерний или из самой Германии и ими наполнить места, дело пошло бы ина-

че». — «Да это можно после», отвечал он. Не служит ли это новым доказательством, как на всех важных у нас пунктах немцы стремятся утвердить свое преобладание? Не имея прозорливости г. Брунова, я увидел, однако же, как неосновательны его замыслы, и никак не спешил предупредить Казначеева, не видя для него ни малейшей опасности. Еще прежде, чем этот барон употреблен был в Молдавии, всей Одессе известен был он, как самая продажная душа; в Бухаресте же был он пойман в воровстве, в грабеже, уличен, сознался и, неизвестно как, был спасен. Что же с ним после? Что же было с ним наконец? Увы, он русский посол в Лондоне!

Немного лиц изобразил я из толпы, приплывшей с новым начальником, как уже приходится говорить о рассеянной его появлении. У Ланжерона было два правителя канцелярии: Иван Ильич Гуржеев и Павел Григорьевич Саражинович. Бахметев из Каменца-Подольского в Бессарабию привез с собою поляка Николая Андреевича Криницкого и сделал его правителем своей канцелярии. Все сие двойное наследство сохранил Инзов, и

всё оно свезено было в Кишинев. Три правителя канцелярии не могли оставаться вместе с Казначеевым. Справедливое мнение о них графа Воронцова лучше и короче меня изобразит сих людей. «Гуржееву, — говорил он, — как человеку умному и дельному, доставил я почетное и выгодное место; Криницкому, умному, хотя не совсем чистому, но бедному, выпросил я кусок хлеба, несколько тысяч десятин земли; а Саражиновича, как глупого плута, без церемонии просто вытолкнул от себя». Состоящий по кавалерии и по особым поручениям полковник Селехов и два адъютанта, Мейер и Вегелин, показались было при наместнике и вдруг куда-то исчезли, вероятно получили отпуски и потом переменили службу.

Чиновники канцелярские почти все сохранили свои места. Из них был примечателен один только титулярный советник Михайло Иванович Лекс. Отказав ему в приятной наружности, природа взамен дала ему много похвальных и полезных качеств. По делам быстрота понятия равнялась в нём проворству исполнения. Сама судьба сего гражданского чи-

новника как бы нарочно ставила всегда под начальство к военным генералам. Бахметев любил его и отличал не совсем лестным названием *мой* писец. Инзов был деликатнее, заставлял его трудиться не иначе как в своем кабинете и с сожалением расстался с ним. Величайшую честь делала ему его чрезвычайная бедность в Бессарабии, где от мирских крупниц служащие были более чем сыты. Откровенный вид его, всегда умно-веселая улыбка на устах, уменьшали дурноту рябого лица его, а его услужливость всех хорошо к нему располагала. Говорят, излишество во всем есть недостаток; но искреннее желание никого не осердить противоречием, никого не опечалить отказом, ни у кого не отнимать надежды, как бы она ни была несбыточна, одним словом, быть для всех приятным, не имеет ли источник в добрейшем сердце? Я знавал женщин, коим такая доброта служила во вред; без всякой любви часто жертвовали они своей репутацией неотступным молениям влюбленных. Вот каков был Лекс. Когда я узнал его, сказал: «находка!» Скоро слово сие повторил Казначеев, а за ним и сам граф Во-

ронцов.

Образование Казначеевского департамента шло весьма поспешно. Не могу припомнить распределения дел между отделениями, а назову только их начальников. Я сказал уже, что Лонгинов избрал первое, второе поручено было Левшину; от третьего, судного, кто бы мог подумать, не отказался Врунов. Впрочем, он оставался более консультантом и в казусных, затруднительных делах подавал выписки французские из Юстинианова кодекса. Четвертое, меня столь ужасавшее, по всей справедливости, досталось Лексу.

— Согласитесь, — сказал я Казначееву, — что моим отказом услужил я вам, службе и Лексу.

Надобно было подивиться числу налетающих в канцелярию бумаг, а еще более быстроте, с какою вылетали из неё решения и ответы. Быстрота — первое достоинство в глазах военного начальника, управляющего гражданской частью. Что за дело, если потом окажутся промахи: их так легко исправить!

Пока я всё искал случая, без всякого посредничества, говорить о себе Воронцову, с

которым я почти каждый день разговаривал, только всегда при людях, прошло дней десять. Вдруг собрался он в новый путь и, взяв с собой адъютантов и часть свиты своей, поскакал в Крым и далее. Что мне было тут делать? Если б у меня были деньги, я, ни говоря ни слова, поворотил бы оглобли свои в Пензу, тем более, что и сентябрь был не далек; но у меня не достало бы их и на половину дороги; а в незнакомом городе кто бы мне дал взаймы? В это истинно-печальное для меня время, судьба послала мне большое утешение.

Рядом со мной, об стену, жил Пушкин, изгнанник-поэт. Из первых частей видно, что чрезмерной симпатии мы друг к другу не чувствовали; тут как-то сошлись.

В Одессе, где он только что поселился, не успел еще он обрести веселых собеседников; в Бессарабии звуки лиры его раздавались в безмолвной, а тут только что в шумной пустыне: никто с достаточным участием не в состоянии был внимать им. Встреча с человеком, который мог понимать его язык, должна была ему быть приятна, если б у него и не было с ним общего знакомства, и он собою не

напоминал бы ему Петербурга. Верно почитали меня человеком благоразумным, когда перед отъездом Жуковский и Блудов наказывали мне стараться войти в его доверенность, дабы по возможности отклонять его от неосторожных поступков. Это было нелегко: его самолюбие возмутилось бы, если б он заметил, что кто-нибудь хочет давать направление его действиям. Простое доброжелательство мое ему полюбилось, и с каждым днем наши беседы и прогулки становились продолжительнее. Как не верить силе магнетизма, когда видишь действие одного человека на другого? Разговор Пушкина, как бы электрическим прутиком касаясь моей черными думами отягченной главы, внезапно породил в ней тысячу мыслей, живых, веселых, молодых, и сближал расстояние наших возрастов. Беспечность, с которою смотрел он на свое горе, часто заставляла меня забывать и собственное. С своей стороны, старался я отыскать струну, за которую зацепив, мог бы я заставить заиграть этот чудный инструмент, и мне удалось. Чрезвычайно много неизданных стихов было у него написано, и между про-

чим, первые главы *Евгения Онегина*; и я могу сказать, что я наслаждался примерами (на русском языке нет такого слова) его новых произведений. Но одними ли стихами пленял меня этот человек? Бывало, посреди пустого, забавного разговора, из глубины души его или сердца вылетит светлая, новая мысль, которая изумит меня, которая покажет и всю обширность его рассудка. Часто со смехом, пополам с презрением, говорил он мне о шалунах-товарищах его в Петербургской жизни, с нежным уважением о педагогах, которые были к нему строги в Лицее. Мало-помалу открыл я весь зарытый клад его правильных суждений и благородных помыслов, на кои накинута была замаранная мантия цинизма. Вот почему все заблуждения его молодости, впоследствии, от света разума его исчезли как дым.

Между тем Воронцов воротился в сентябре из второго путешествия своего. Я не спешил к нему являться: он прислал за мною.

— Послушайте, любезный Ф.Ф., — сказал он мне; — мне очень жаль, что желание мое иметь вас при себе не могло исполниться; де-

сятилетняя привычка к доброму товарищу моему, Казначееву, заставила меня ему одному поручить мою канцелярию. Но есть еще для вас средство быть полезным этому краю. В Петербурге не имеют настоящего понятия о Бессарабских делах, я сам жить там не могу; нам нужен человек, который бы по наблюдения своим некоторым образом мог заменить меня, и я вас избрал. Верховный Совет области не стоит так высоко, как польский или финляндский Сенат, но в своем кругу и он имеет большую важность. В нём есть вакантное место члена от короны; хотите ли вы занять его? Чтобы вас ничем не связывать, я даже не представлю Государю о вашем утверждении, а употреблю на то дарованную мне власть. Пробыв месяца три на месте, вы всегда, когда хотите, можете приехать сюда, отдохнуть, погулять и потолковать со мною. Жалованье небольшое, шестьсот рублей серебром, но житье там дешевое; согласны ли вы?

Все эти убеждения были напрасны, и граф Воронцов не употребил бы их, если бы знал состояние моего кармана; я, право, готов был

идти в помощники даже к Лексу, но только не к Брунову.

Я имел поручение ходатайствовать у начальника Черноморского флота о переводе из Петербурга одного чиновника морского ведомства. Поспешая в Одессу, я не остановился в Николаеве и думал сделать сие после, на обратном, неизбежном для меня пути в Пензу. Тут, прежде отправления в Бессарабию, захотелось мне исполнить обещанное. Я доложил о том графу[37], который вселюбезно дал мне письмецо к другу своему, вице-адмиралу Грейгу.

Приятнее погоды, какая стояла в начале сентября, придумать нельзя и желать невозможно. Усладительная теплота расстилалась по земле 12-го числа, день выезда моего из Одессы и приезда в Николаев. На этот раз и квартира была у меня в нём готова. Определенный при Бетанкуре в корпус инженеров путей сообщения полковник Рокур, француз весьма серьёзный, хотя довольно говорливый, встретясь со мной в Одессе, взял с меня слово у него остановиться в так называемом молдаванском доме, окруженном со всех сто-

рон крытыми галереями. Он жил только внизу с капитаном Монтеверде, родным племянником Бетанкура и весьма любезным молодым человеком, а верхний этаж оставил в мое распоряжение. Надобно признаться, что французы гостеприимнее нас, ибо не из тщеславия, не из любопытства как мы.

На другой день повез меня он к начальнику портов и флота, Алексею Самойловичу, который принял меня с важностью англичанина и вежливостью чрезвычайно образованного человека. Он занимал бесконечный одноэтажный дом, построенный еще Мордвиновым, а в глубине его бесчисленных внутренних комнат скрывалась (только от приезжих, а не от жительствовающих) какая-то дама, которую называли капитаншей Кульчинской. Он позвал меня обедать; но Рокур, с французскою живостью не дав мне отвечать, объявив, что имеет мое обещание, и что, по праву хозяина, первый день мой принадлежит ему. Тогда адмирал позвал меня на другой день в загородный дом и сад свой, известный под именем Спасского.

Легко мне было заметить, что между сими

людьми, принадлежащими к двум соперническим нациям, не было большего согласия. Рокур говорил мне с уважением, с похвалою о Грейге, но с соболезнованием о каких-то его слабостях, и жаловался на то, что он не дает ему никакого занятия.

— Чтобы произвести что-нибудь необычайное и полезное вместе, — сказал он мне, предложил я ему сделать подземный сад, и он согласился.

Заметив мое удивление, да не угодно ли взглянуть? — сказал он: — это отсюда в сотне шагах.

Я увидел вырытую круглую яму, имеющую восемь сажен глубины и сажен тридцать поперечнику.

— Деревья, которые будут посажены на дне её, — сказал он, — как вы видите, летом будут защищены от палящего зноя, а зимой от холодных ветров.

— Это будет прекрасно, — сказал я; — да только для прогулки пространства не будет ли мало?

— Но ведь это будет просто местом приятного соединения, — возразил он.

И эти затеи, исключая трудов арестантских рот, стоили больших денег.

На следующий день отправился я в Спасское, тем же самым Мордвиновым насажденное место. Эти оазисы были тогда очень редки в Новороссийском краю, и тем приятнее было мне увидеть свежую, весеннюю зелень на деревьях. В начале лета, одно из величайших зол посетило всю эту сторону: от Дунайских берегов саранча, пролетая вдоль моря, оставила везде опустошительные свои следы. Пробыв не более одной ночи в Спасском, не оставила она после себя ни одного листка; потом в августе появились дожди, и деревья вновь зазеленели. В обширном доме на берегу реки, трапеза была для меня украшена приятною беседою адмирала. Сей скромный человек, говоря о Рокуре, сказал однако же незнакомцу: — Не знаю, зачем прислали мне этих инженеров; они мне вовсе не нужны; как дело от безделья, дозволил я ему опыт этого странного сада; проект был написан прекрасно, посмотрим каково будет исполнение. Через год или полтора, как мне сказывали после, пришлось яму зарывать.

После обеда, погуляв в саду, отдохнув, получив от адмирала обещание исполнить мою просьбу и от души поблагодарив его за лестно-внимательный прием, сел я в принадлежащий ему большой катер, и в сопровождении адъютанта его, премилого молодого человека, Василья Ивановича Румянцева, поплыл по реке до места, куда экипаж мой перевезен уже был через Буг. Таким образом, не возвращаясь уже в Николаев, 14-го числа, когда не совсем еще смерклось, отправился я обратно в Одессу. Тут на крутом берегу находится Корениха, которая в отношении к Николаеву тоже самое что Услон к Казани. Она принадлежала г. Рено; бывший парикмахер успел уже всем обзавестись: и толстым откормленным брюхом, и красавицей-женой, и баронским титулом, и Владимирским крестом в петлице, и деревней, населенною русскими крестьянами.

Воздух и ночью был тепел и приятен; под сладким влиянием его я заснул; а когда проснулся, то при солнечном свете завидел издали Одессу. Это был день коронации Александра, и в соборе, когда я проезжал мимо его,

производился большой звон. Не имея мундира, я было не посмел идти обедать к графу; но мне сказали, что в первый год он этот день праздновать не будет. С прощанием и за последними приказаниями являлся я и на другой день к новому начальнику моему.

VIII

Н*а пути в Кишинев. — Кишиневские власти. — М. Ф. Орлов. — И. П. Липранди.*

Не древнее, а прежнее приобретение России, сделанное Екатериною, — степи Новороссийские, отделены были Днестром от нового приобретения, сделанного Александром: обреза Молдавии, названного Бессарабскою областью. В 1823 году Днестр был еще резкою чертой между двумя различными народонаселениями и обычаями.

С властью князя Потемкина, завоевателя и первого образователя сего обширного края, как бы искони обреченного кочеванию, ему не так трудно было населить его, хотя употребленные им средства к тому не все одобрения достойны. Раздача земель была безрас-

судная, безрасчетная: бродяги, беглые мужи- ки из помещичьих имений целой России ста- ли новыми коренными жителями края. Впро- чем, по краткости времени и в продолжение войны, всё, что возможно на первый случай и на скорую руку, было сделано сим могучим и деятельным властелином. Нет сомнения, что по заключении мира, которому, к сожалению, внезапная кончина его предшествовала за несколько месяцев, он принялся бы за пра- вильную колонизацию, и страна сия гораздо ранее начала бы процветать.

В управлении ею, вероятно по праву фаво- ритизма, наследовал князь Зубов, никогда ее не видавший. Он сдал ее на аренду мужу сест- ры своей, Екатеринославскому губернатору, сербу, Осипу Ивановичу Хорвату, который неизвестно на что употреблял огромные сум- мы, на поддержание её отпускаемые. Павел совсем о ней не заботился, и целые десять лет без должного попечения изнывали сии места, только что оживленные жарким дыханием великой России. После того были более искус- ные правители, но всё как будто длилось междуцарствие, которое должно было пре-

кратиться с Ланжероном.

Женатый на внучке бездетного Потемкина, на дочери его племянницы, Воронцов вступал в управление краем, как бы в законное наследство. Многие так думали и были тем чрезвычайно обрадованы. Я полагал, что и в нём была эта мысль, но впоследствии увидел, что ошибаюсь. Воспитанный в Англии престарелым отцом, который беспрестанно с восторгом твердил ему об отечестве его, с русскими солдатами, при виде опасностей, в первый раз забилося сердце его желанием славы. Всю молодость свою, до зрелых лет, провел он среди русской рати и с нею приобрел все воинские успехи свои; более чем кто из наших знатных почувствовал он достоинство русского имени. Но впечатления, поверия, полученные им в отрочестве и в самой первой молодости, остались в нём на век. Чему бы посвятить досуги, которые оставлял ему утвердившийся мир? — Если б он родился Великобританским подданным, то он наверное пожелал бы сделаться лордом-комиссаром на Ионических островах; но в России есть нечто подобное — южный приморский край, и

Одесса лучше Корфу. Я уверен, что он предпочел бы Кавказ и Закавказье, но место было занято; нашим Амгёрстом, нашим Элленбору был Ермолов, и он сидел тогда на царстве в Тифлисе, русской Калькутте.

Исключая Буджацкой степи, Заднепровская сторона являла совершенную противоположность тому, что видно было по сю сторону. Там были леса и горы, и она густо была населена одними молдавскими жителями. В виде отдельной части старались сохранить в ней молдавизм; при Инзове случайно, а при Воронцове постоянно присоединена была она к Новороссийскому краю. В ней должен был я встретить всё для меня совершенно новое.

Меня уговорили сожителемствующие мне в трактире, 17-го сентября, позавтракать, то есть отобедать у Оттона, отчего я выехал не рано, в сопровождении мелкого, однако же теплого дождя. Он испортил дорогу; оттого ехал я медленнее, а ночью сделалось сыро и холодно. Мне всё казалось, что еще лето; одет я был легко, весь переязб и должен был остановиться на станции Кучургане, в самом плохом состоянии содержимой. Мне принесли

два пучка соломы, на один я лег, а другой положили в печь и зажгли. Едва согревшись, уснул я немного, а до свету пустился далее. Если кто из читателей вспомнит Парижского знакомого моего, Липранди, то я скажу ему, что у него был меньшей брат, Павел Петрович, старший адъютант при Иване Васильевиче Сабанееве, начальнике 6-го пехотного корпуса, которого квартира находилась в Тирасполе. Братья были сходны между собою точно также, как день походит на ночь и зима на лето. К сему меньшему Липранди, по его приглашению в Одессе, въехал я прямо в Тирасполь; с трудом мог он отогреть меня камельком и горячим чаем.

Лет двенадцать перед тем город Тирасполь был пограничный, хорошо заселенный, но только раскольниками и всяким сбродом. Плавни, то есть роци из ивняка состоящие и растущие на низменных берегах Днестра, красят его и отнимают у него вид стошного города.

Когда я выехал из него, увидел странное зрелище: туман разорвался на клочки, которые в виде опущенных облаков, в иных ме-

стах расстилались по земле, в других поднимались вверх; говорили, что это возвещает ясный день. И действительно, лишь только переправился я через Днестр, проехал мимо Бендерской крепости и для перемены лошадей остановился в форштадте её, как солнце засияло и запылало. Было ли сие добрым предзнаменованием в этот памятный для меня день, 18-го сентября? Не думаю; ибо, начиная с этого дня, в продолжение двух лет с половиной, много перенес я горя и трудов.

У самой реки встретил меня какой-то чиновник верхом и проводил до почтового двора; потом, когда я отправился далее, поскакал передо мною. Такая почесть казалась мне непонятною, а как я никогда не любил ничего мне не принадлежащего, то, подозревая его, убедительно просил более не трудиться. Просьба моя была неуспешна; тогда я принял повелительный тон, который произвел желаемое действие. И теперь не знаю, за какую важную особу принимали меня потом на станциях. Меня везли четыре лошади, по две в ряд; оборванный суруджи сидел на одной из передних и ужасно хлопал бичом. Эти люди

обычай езды взяли у Запада, подумал я, и пожалуй скажут, что в этом, по крайней мере, опередили они нас в просвещении.

От Бендер до главного города Кишинева всего 60 верст, и я приехал в него, когда солнце было еще высоко. Обширнее, бесконечнее, безобразнее и беспорядочнее деревни я не видывал. Издали он похож еще на что-нибудь, но въехав в него я ахнул. Я был адресован Казначеевым ко вновь определенному полицеймейстеру, подполковнику Якову Николаевичу Радичу; отыскивая его, проезжал я самою нижнею частью города и принужден был беспрестанно зажимать нос, а часто закрывать и глаза. Квартира его — небольшой домик посреди двора, обнесенного плетнем — состояла из двух комнат, разделенных сенями. Одну из них занимал он сам, но не успев ничем обзавестись, жил по-солдатски, так что у него и кровати не было. Другую, пустую комнату, за отсутствием хозяина, отвел мне его денщик, и также как на Кучурганской станции, должен был я расположиться на полу. Явился жид-фактор и повел меня в трактир к своему единоверцу; нет, и поныне еще

при воспоминании сего ужасного обеда вся внутренность во мне поворачивается. Возвратясь, бросился я на солому и предался размышлениям не весьма веселым; они походили на совершенное отчаяние. «И в этой полойной яме я осужден провести, по крайней мере, три месяца, тогда как я не хотел бы пробыть в ней и трех часов, думал я, и живу у человека, которого в глаза не видал». Он воротился вечером, был тихий, добрый человек, под покровительством Казначеева, и спешил угостить меня чем только мог, утешениями и надеждою на лучшее помещение.

Он дал мне свои парные дрожки на следующее утро, и я поехал делать визиты первостепенным лицам: губернатору Константину Антоновичу Катакази, вице-губернатору Матвею Егоровичу Крупенскому, председателю уголовного суда Петру Васильевичу Курику, и областному предводителю дворянства Ивану Михайловичу Стурдзе. Исключая последнего все были дома, все жили в верхней части города на горе, и все приняли меня более чем благосклонно, как избранного Воронцовым. Прекрасная погода и свежий воздух, коим по-

дышал я на высоте, немного успокоили меня.

В первую седмицу пребывания моего в Кишиневе воздержусь от описания лиц и мест, мне представившихся, а буду вести простой дневник случавшемуся со мною.

Радич повез меня 19-го числа в трактир к какой-то немке; обед был опрятный и сытный, и я удостоверился, что не везде тут скверно едят. Следующие дни беспрестанно получал я приглашения на обеды. В продолжение 20-го наехала вся свита и канцелярия графа, Казначеев, Марини, Брунов, Лекс и другие, а к ночи и сам он прибыл.

Для него, в год за двенадцать тысяч левов, нанят был не весьма большой и низкий дом Варфоломея, прозванным *Пестрым*. Он едва мог вместить толпы пришедших утром поклонников, посетителей и просителей. Я отправился в Верховный Совет и был немного смущен при первом взгляде на состав его: наружностью и величиной сие высшее судилище походило на сборную избу. Кто то ссудил меня мундиром, и я в первый раз прицепил свой Владимирский крест. Сам наместник председательствовал и приводил меня к при-

сяге. Всё это происходило 21-го сентября, день именин Блудова, по милости которого я тут находился.

В это время Государь был в Буковине, в городе Черновце, для свидания с Австрийским императором. Граф спешил встретить его во время проезда его в Хотине и должен был сопровождать его потом в Тульчин, где Государь намерен был осматривать войска второй армии. Не более двух дней с половиною пробыл у нас граф; я не смел ни на что жаловаться, но возроптал на худое помещение.

— Если вы хотите, сказал он, быть хранителем моей квартиры, то можете занять часть её; пожалуй хоть и всю, только на время моего отсутствия.

Он уехал 23-го числа, свита его 24-го, а я 25-го переехал в Пестрый дом Варфоломея, что в глазах жителей придало мне великую важность.

У Радича спал я на соломе; тут нашел я атласные, бархатные диваны, мебели всех времен и фасонов, в азиатском и европейском вкусе, некоторые предметы роскоши, странные, стародавние, перемешанные с самыми

новомодными, стены, расписанные всевозможными цветами. Хозяин этого дома был Варфоломей, недобросовестный, запутавшийся в делах откупщик, которому помогли за высокую цену отдать его со всем убранством в наймы для казны.

Надобно было подумать о хозяйстве. Трактиры были дурны и далеко. Я купил кой-какой посуды и стал искать повара. Мне предложили француза; не по деньгам, отвечал я. Да он не возьмет более двадцати пяти рублей ассигнациями в месяц. В таком случае подавай его сюда! Ко мне пришел длинный, сухой старик, черноволосый с проседью. Я Тардиф, — сказал он. — Как Тардиф? Да не родня ли вы (я говорил с французом и по-французски) Тардифу, который содержал славную гостиницу *Европу*, против Зимнего дворца? — Да я сам и есть, отвечал он. — Возможно ли! — воскликнул я. — Что прикажете делать; ваши гвардейские офицеры задолжали мне десятки тысяч рублей, потом неожиданно пошли в поход в двенадцатом году: где мне было за ними гоняться? С другой стороны, собака (ma chienne) жена моя всего меня

ограбила, и я принужден был идти по миру.

Он не прибавил, что с горя начал пить и, служив сперва вельможам, между прочим, Витгенштейну в Тульчине, начал спускаться до бедняков как я. Будучи предупрежден, я велел слуге своему смотреть, чтоб он поутру не отлучался, а иногда вечером, когда он был в полпьяна, призывал его будто за каким-нибудь делом и помирал со смеху от его рассказов. Самого взыскательного гастронома искусство его могло бы удовлетворить, и всё это стоило очень недорого. Тогда я зажил баринном: разукрашенные чертоги и француз-повар! Но сие величие, увы, продолжалось недолго. Не стало возможности удерживать Тардифа: с утра он бывал мертвецки пьян, и кушанье, коим он меня потчевал, было немного получше жидовского обеда в первый день моего приезда; я принужден был удалить его от себя. Через несколько дней, в самой большой комнате, куда, к счастью, я никогда не заглядывал, провалился потолок и перебил множество вещей. Когда донесли о том наместнику, он велел воспользоваться сим случаем, чтобы нарушить контракт, сде-

ланнный без его ведома и согласия.

И в это же время, во второй половине ноября, сделалось очень холодно, туманно, сыро. Сначала я утешался теплою погодой и благословлял южный край. Я помню, что 14-го октября, в воскресный день, в одном сюртуке загулялся я по улицам до поздней ночи. В этот день, видно, было много свадеб, ибо во многих местах, отделенный от веселящихся низким плетневым забором, я как бы участвовал в брачных празднествах: на дворе, при свете факелов, молдаване и молдаванки забавлялись любимую национальную пляской своей *мититжой*. Утром 15-го я не поверил глазам своим, когда увидел на улице снег: он пролежал не более часу, но оставил после себя какую-то жесткость в воздухе, и хотя нередко проглядывали еще красные дни, но с тем, что называется теплою южною осенью, должны мы были проститься.

Мне постоем отвели квартиру в доме одной молдаванки, вдовы Кешкулясы, недавно вышедшей за молодца — русского офицера, Друганова. Оба они старались сделать житье у них для меня приятным, но не могли раз-

двинуть стен двух узких комнат, в коих я помещался. В Совет свой ходил я только два раза в неделю, когда в нём слушались дела по правительственной части; от занятий же по судебным делам, производящимся на молдавском языке, имел я всё право отказываться. Между тяжущимися были однако же люди, которые, не знаю почему, веруя в мое беспристрастие, давали большие деньги за переводы дел своих на русский язык, дабы заставить меня принимать участие в суждениях по ним. С целым городом успел я познакомиться, но ни с кем не успел сделать связей. Книг моих со мною не было, — все отправлены были в Пензу, и осенне-зимние вечера в одиночестве бывали иногда для меня тягостны и скучны.

К счастью, еще в доме Варфоломея, создал я себе большое занятие. При отъезде из Петербурга, дав Блудову слово в частных письмах изображать ему состояние края, сверх того, имея от Воронцова поручение сообщать ему о всём любопытном в нём происходящем, рассчитал я, что гораздо лучше будет составить из всего одну общую записку, в которой пред-

ставить им картину во всех её подробностях. Мне нужны были сведения о лицах и делах; собирать их было нетрудно; во взаимных обвинениях служащих, конечно, было много клеветы, и я старался из рассказов их отделять одно вероподобное. Главный же источник, из коего черпал я, хотя с осторожностью, был Липранди, Парижский мой знакомый, который находился тут в отставке и в бедности. Я с усердием принялся за сей труд, совершенно новый для меня в своем роде, и я смело могу похвалиться, что из всего касающегося до образа управления, до порядка, до особых узаконений края и до исполнителей их, ничто тут не пропущено. Этот труд избавляет меня от другого: повторять здесь хотя часть тогдашних моих замечаний и наблюдений. Совершенно против воли моей, впоследствии с этой тайной моей рукописи было снято много копий. И потому сию отдельную записку, у сего прилагаемую, могу почитать частью тех, кои ныне пишу.

Я писал тогда в самом дурном расположении духа, под влиянием мрачной погоды и окружающей меня скуки, и беспрестанно

внимая мерзостям, мне сообщаемым. За истину мною писанного я могу ручаться, но истина, может быть, и преувеличена. Доходя до причин, надобно с некоторою снисходительностью смотреть на шалости ребят, на свое нравие стариков и на излишнюю запальчивость юношей, а во мне сей снисходительности не было. Главная же ошибка моя состоит в том, что на людей и на их нравы в этом новом краю смотрел я с самой фальшивой точки зрения. Как многие, почти как все, был я пристрастен к Западу, к его просвещению, его общежительности, изобретательности, промышленности и до некоторой степени к его духу свободы, который почитал я естественным произведением разливающегося по нём света. На отечество свое взирал я с нежным, почтительным состраданием и с совершенным презрением на Восток. И вместо того, чтобы возрадоваться, обретая в отдаленной стране все следы почтенной древности нашей, причудливым и жестокосердым Петром более ста лет стертой с лица земли русской, я дерзнул встретить их с презрительною насмешкой.

Вследствие греческого возмущения, не одни эмигранты из Константинополя, но и множество перебежавших через Прут молдавских бояр находилось в Кишиневе, предпочтительно Одессе, где им казалось гораздо дороже. Почти со всеми я познакомился и мог изучить дух молдаван. Румыны или римляне, как они себя называют, происходят от смешения потомков римской колонизации с славянами-даками, завоеванными и покоренными Трояном. В языке, коим говорят они, Латинский взял решительный перевес; но литеры у них почти точно те же что у нас, и славянские слова на целую треть остались у них в употреблении. В характере у молдаван не осталось уже ничего римского, и что бы ни говорили, есть много сходства с нами, — сходство измененное однако же обстоятельствами, в коих они находятся. У простых жителей та же беспечность, не допускающая мысли о приобретении вооруженной рукой народной независимости; та же любовь более к сохранению чем к умножению собственности. В высшем сословии гораздо более тщеславия чем у нас. Для потехи сего тщеславия нужна

роскошь, для поддержания которой нужно золото; а в алчности к сему металлу молдавских бояр обвинять нельзя, ибо они добывают его, а не берегут. Пышные экипажи, наряды несколько разнообразят, тешат сон их жизни, посреди невольной праздности, на кою осуждены они своим положением. Волохи и молдаване были более погружены в глубокую дремоту чем подавлены турецким правительством.

Но там, где румынам оставалась возможность действовать, в Трансильвании, в Седмиградской области, блистали они и воинскими доблестями. Имена Яна Запольского, Стефана Батори, Рагоцкого, Бетлема Габора, Михаила Абафи до половины семнадцатого века были слишком известны туркам, венграм и полякам то по союзам с ними, то по ударам, ими наносимым. И если б по крайней мере Молдовлахия продолжала прозябать в тишине; но нет: с Юга стали насыпать в нее грабителей, развратителей греков, от Севера по временам стали занимать ее развратители русские. Сколь ни больно для сердца моего, но я должен сказать сию истину. Как в ли-

время, переодевшись в европейское платье, мы гордились им и похожи были на лакеев, которые с пренебрежением смотрят на простой и красивый костюм наших мещан и крестьян. Просвещение свое, которое, особенно прежде, состояло всё из заимствованных у Запада пороков, старались мы сообщить нашим природным союзникам. Женщины были первые увлечены; со врожденным в них легкомыслием наряд составляет для них главный предмет в жизни и, кажется, нарочно для удовлетворения их желаний еще Потемкиным были выписаны мадамы. Мужчины не так скоро согласились на преобразование, особенно те, которые были постарее; однако же в Кишиневе нашел я почти всех молодых людей уже во фраке. Перемена одежды совсем не маловажное дело: с нею вместе переменяются совершенно нравы и весь образ жизни. Наш злодей очень хорошо это знал.

И я, несчастный, позволял себе с улыбкою советовать иным боярам снять с себя такое неблагообразие. Они отвечали мне весьма благоразумно, находя, что фрак равняет состояния и ведет к совершенному равенству

между людей. И точно, всякий камердинер может быть щеголеватее первого вельможи. Наше неуважение к духовному сану умножало еще наше презрение к боярскому наряду. Говорили: это точно поповская ряса; правда, зато и архиерейская. Под длинным кафтаном с чрезвычайно широкими рукавами находилось подпоясанное полукафтанье; молодежь умела всё это сокращать и открытый тонкий стан очень ловко сжимать и увивать красивым поясом. Это со взгляду тяжелое платье давало, не знаю, какую-то особую важность поступи и движениям носящих его. Теперь без умиления не могу его вспомнить, особенно когда в старых книгах нахожу печатное изображение тронной залы наших царей и восседающего в ней сонма бояр. Их высокие горлатные шапки невольно напоминают мне Качула Маре.

Одни старики, в это время, исключая собственного языка, знали немного греческий; бояре же средних лет, даже с бородами, следуя примеру добрых наставников своих, русских, почти все говорили по-французски, иные и по-немецки. Усилия наши совершен-

но поворотить их на Запад имели и тогда желаемый успех. Никто из них не знал по-русски и не любопытствовал взглянуть на Москву или на Петербург; из слов их заметить было можно, что наш Север почитают они дикою страной. Зато многие из них ездили в Вену, которая гораздо ближе и где, действительно, и теплее, и веселее. О Париже тогда еще никто не помышлял. Как было не видеть (лишь бы только не пало Российское государство), что Придунайские княжества, рано или поздно, но неизбежно должны, если не войти в состав его, то быть прикованы к участи его неразрывными узами и жить под единственным щитом его. И как никому не пришло в голову, что жители их, на Западе, куда мы им указывали путь, прежде всего должны встретить враждебный нашему православию римский католицизм и враждебный самодержавию республиканский дух.

Но более ста лет, редко мы знаем, что делаем; мы всё блуждаем, пока Провидению угодно будет поставить нас на прямой путь.

Несколько лет спустя, под управлением русского генерала Киселева, знаменитого му-

жа девятнадцатого столетия, довершено начатое. С помощью двух-трех, по мнению его, просвещенных людей, состряпал он для княжеств нечто вроде конституции. В молодости, когда он ничего не писал и не читал, слышался он о свободе и представительных правлениях; в совершенно-зрелых годах захотел он узнать, что это такое, и принялся за дело. Со врожденным, необыкновенным, чисто русским умом, увидел он, что почти всё один обман, но обман, который может быть полезен. Он из числа тех людей, которые дружатся со свободой, обнимают ее с намерением после оковать ее в свою пользу, чего они однако же никогда не дождутся: явятся люди побойчее их, которые будут уметь для себя собрать плоды их преступного посева. А между тем он был причиною, что в нравственном смысле молдоване и Волохи решительно отделились от России, в которой до него всё еще видели они избавительницу. Юношество толпами поспешило в Париж, к источнику знаний и всех земных наслаждений; сколько мне известно, сими последними только пресытились они. И что будет из сих несчастных, пол-

ных страстей и бедных рассудком? Не будут ли они со временем пагубой своего отечества?

Если сие историческое воззрение покажется здесь не у места, то по крайней мере оно верно изображает характер уроженцев Молдавии и может объяснить причины несогласий, впоследствии у них со мною бывших. Теперь следует, кажется, сказать несколько слов о лицах, с которыми тут свела меня служба.

Со времени присоединения области постоянно играл в ней важную роль Крупенской, принадлежащий к боярской фамилии. Он был тщеславен, как все молдоване, роскошен, но более их знаком с европейским житьем. У него в руках всегда находилась казна и, следуя обычаю, принятому в Яссах, он полагал, что он может брать из неё всё для него потребное. Особенно же в звании вице-губернатора при двух наместниках, Бахметеве и Инзове, он делал что хотел, не думая о дне отчетов и ответственности. Сей день настал для него с прибытием Воронцова; он скоро должен был оставить службу и поплатиться по-

что всем наследственным именем за неосторожно сделанные казенные займы.

На его место прибыл Херсонский вице-губернатор Василий Васильевич Петрулин, добродушнейший и честнейший человек в мире, бывший долго адъютантом при дюке де-Ришельё. Едва успел он приехать, как, с наставления графа, меня, ему прежде неизвестного, поспешил посетить он в дорожном платье. Мы оба были залетные птицы в незнакомой стороне, оба должны были действовать с оглядкой, что нас скоро чрезвычайно и сблизило. Его ужасала бездна беспорядков, которые надлежало ему исправить. Деятельность его изумляла всех, его утомляла, а меня заставляла бояться за жизнь его; ибо здоровье у него было самое плохое.

Председатель Уголовного Суда Курик совсем не был так страшен, так опасен и так могущ, каким я вообразил себе его и каким представил в Записке о Бессарабии. Он был украинец, ополячившийся во время служения в Варшаве и пристрастный к евреям; что же могло оставаться русского в этом провинциальном ораторе? В Совете, в котором видел

он какой-то парламент, надоедал он мне своими умствованиями, бесплодную плодовитостью речей. В ласковых его со мною разговорах не мог я поймать выражения ни единого чувства, согласного с моими. Всё вместе породило во мне преувеличенную антипатию к нему, и от того, может быть, и сказал я об нём что-нибудь лишнее.

О депутате от дворянства Иване Константиновиче Прункуле говорил я тоже не с весьма выгодной стороны, и теперь не буду ставить его примером добродетели. Но в нём было много примечательного; он казался выродком из тяжеловесных молдаван. Его чудный ум, быстрота, с какою обнимал он дела и способность объяснять их на русском языке, которому выучился он уже не в молодых летах, мне нравились также, как и выразительный его взгляд и проворство телодвижений. По поставкам на армию, во время последней Турецкой войны, имел он расчёты с казною. Такого рода дела предпринимаются не из усердия, а из барышей, и всякому хочется получить их более. Если требования его были неумеренны, не надобно было удовлетворять

их. Из дела, в котором обращались миллионы, извлек он небольшое состояние в Бессарабии, и это ему ставили в вину. Не только ничего ему не уплачивали, но тянули и тянут еще разорительный для него процесс, и его же еще преследовали. Вообще надлежит быть справедливее и таких людей беречь для будущего, дабы их примером не напугать их соотечественников и не охладить их к России. Сами земляки необыкновенный ум его называли плутовством; везде горе от ума!

Прежде всего следовало бы говорить о гражданском губернаторе Катакази; но из главных лиц он оставался так мало замечателен, что, бывало, всегда между ними его последнего разглядишь. Молоденьким гречёнком из Константинополя в Молдавию вывез его господарь Ипсиланти, потом женил на одной из дочерей своих и по незрелости тогда ума его (и с тех пор мало созревшего) дал ему только звание каминара, как бы сказать — титулярного советника. После побега из Ясс привез он его с собою в Петербург. В награду за преданность Ипсиланти и за понесенные им потери, по его просьбе, два зятя его, Негри

и Катакази, приняты в русскую службу с чином действительного статского советника, будто бы соответствующего их молдавскому званию. Когда в 1818 году утверждено было образование области и по штату положен был гражданский губернатор, то Бахметев, или лучше сказать правитель канцелярии его Криницкий, стал приискивать для сего места совершенное ничтожество и ничего не могли найти лучше, как случившегося тут Катакази; тем самым угодили они и земляку его Каподистрии. В мало населенной стране, в присутствии наместника, губернатор вообще не может играть большой роли; а этот, плохо зная русский язык и совсем не зная дел, на нём производящихся, должен был решительно оставаться нулем. С помощью сведущего секретаря Шульженни мог он еще кое-как выходить из затруднений; за то в разговорах плохим выговором не оставлял часто упоминать о Митрие Павловице. Всё в нём было в малом виде: и рост, и ум, и даже греческая хитрость и злость, всегда подавляемые бессилием и робостью. Обхождение с ним Бахметева, говорят, было столь же высокомерное и грубое,

как и покорность его к нему безгранична. Инзов, более кроткий, старался быть учтив, но по службе остался с ним в тех же отношениях, как и Бахметев.

Нечто вроде представительного правления введено было в Бессарабию под названием «Образования». С помощью наставлений, посылаемых из Петербурга, его составлял Криницкий, который, как всякий поляк, искренно или притворно любил вольность. Поляки, коими многие места наполнил он в области, воскликнули: республика! а недовольные молдаване возмечтали, что могут делать всё что хотят. Бахметев, русский человек и русский воин, не хотел поверить, что, представив проект «Образования», он поднял на себя руки. Управление его сделалось постоянно борьбой, в которой, однако же, он всегда одерживал верх. Но в Петербурге два покровителя нового порядка, Каподистрия и Стурдза, с негодованием смотрели на его действия, как на насильование дарованной ими хартии. В 1820 году сделалась настоящая республика, только с осторожным президентом, Инзовым, которому помогали прикрываться постанов-

лениями и законами. Вдруг узнают, что известный либерал, англичанин в душе, назначен наместником; вот тут-то пришло время совершенной свободы. Многие, вероятно, мечтали уже и о безначалии с Катакази, тем более, что место областного управления должно было перенестись в Одессу. Спросили бы они в великобританских колониях, как либеральничают там англичане. Спокойная твердость Воронцова всех поразила: в нём, более чем наместника, увидели наперсника царского. Как бы то ни было, с самой первой минуты, во всё время многолетнего управления своего, не встретил он и тени сопротивления.

Вместо безначалия в делах показалось гораздо более порядка, и деятельность необходимая, дабы оживить сих неподвижных. Анархию нашёл я только в общежительности; в городе, наполненном помещиками, служащими и эмигрантами из Молдавии и Греции, все жили порознь, нигде не было точки соединения. Старый холостяк, Иван Никитич Инзов, который никогда не приближался к женщинам и до конца жизни сохранил цело-

мудрие, жил по-солдатски; оставшись в Кишиневе по званию попечителя колоний южного края, он ничего не переменил в образе жизни своей. Катакази получал большое содержание серебром, и хотя не справлял, как говорится, царских торжественных дней, проживал его сполна, да еще делал долги. Он ежедневно принимал у себя и кормил одних греков, и они-то объедали его сердечного. Меня не редко приглашал он, и тут-то познакомился я с его соотечественниками; главных назову здесь.

Во-первых, был престарелый Григорий Суццо, Бейзаде, господарский сын, отец князя Михаила, Молдавского господаря, недавно бежавшего в Германию. При нём находились два сына, Николай и Иордаки или Георгий Суццо, женатые, с малолетними детьми. Надобно полагать, что Михаил, прежде и после игравший большие роли, ни в чём не походил на двух братьев своих, ибо ничего ничтожнее их не могло быть. Из двух дочерей старика Суццо одна была в замужестве за Маврокордато, высоким, красивым мужчиной, да вот и всё. Мужем другой был с козли-

ной бородкой маленький Скина, главный советник Катакази. Он был любезен, просвещен, с ним гораздо короче, чем с другими, познакомился я, и я скорее любил его лисий ум, чем пугался его. Об остальных, право, не стоит говорить, разве только о добром тьянислове Плагиано, женатом на княжне Мурузи. Начиная от губернаторши, во всех сих гречанках её общества не было ни красоты, ни любезности; зато нравственностью и пристойностью стояли они гораздо выше молдаванок.

Из моих соотечественников короче всех сошелся я с одним молодым человеком, так же как я, учившимся в Форсевилевом пансионе, только несколько годов позже. Николай Степанович Алексеев родился в Москве, воспитывался в ней, вырос, возмужал и сражался за нее на Бородинском поле. С беспечно-стью юноши и тогдашнего москвича приписался он к какому-то ведомству и мало заботился о повышении. Об нём можно было сказать, обращаясь к прежней Москве:

*Твой образ был на нем означен,
Он создан духом был твоим.*

Одним только разнствовал он от сограждан своих: в их добродушной откровенности было много грубого, а в нём и этого не было. Но годы прошли, не век было танцевать, надобно было подумать о чём-нибудь серьёзном. Семейство Алексеева было в родстве, в свойстве или в тесной связи с Димитрием Ивановичем Киселевым, которого сын Павел Димитриевич, начальник штаба второй армии, был очень силен на Юге. К нему прямо в Тульчин отправили неопытного юношу, а он пристроил его к Бахметеву, в Кишиневе. С тех пор история Алексеева становится историей Бессарабии в последние четыре года. И потому намерен я рассказать их вместе.

В 1819 году властвовал еще Бахметев или, скорее, супруга его Виктория Станиславовна, разводная жена графа Шоазеля-Гуфье, урожденная графиня Потоцкая. Как всякая полька, любила она власть и оттого любила начальствовавшего мужа, безногого, пожилого и хворого. Как полька, любила она деньги и оттого любила дикую еще Бессарабию, в которой видела золотой для себя рудник. Как полька, любила она роскошную жизнь, вся-

кий вечер принимала у себя гостей и часто делала балы. Она жила во вновь построенном каменном доме о двух этажах, в нижней части города[38]. Общество при ней процветало, тешилось, а земля платила за его увеселения: ведь нельзя же забавлять людей всё даром. Министром Финансов её был Армянский архиепископ Григорий, столь же любезный как глубоко и откровенно-безнравственный человек; я бы его возненавидел, если б он принадлежал к православному духовенству, но друждой мне веры какое мне дело? и мы всегда жили с ним по-приятельски. Сей весельчак в архиерейском доне давал иногда и балы, присутствовал при танцах, но сам не принимал в них участия. Собираемыми не совсем добровольных приношений были вызванные ею из Подольской губернии евреи.

И, так, Алексеев с лощенных паркетов, на коих вальсировал в Москве, шагнул прямо к ломберному столу в гостиной Бахметева. Больших рекомендаций ему было не нужно; его степенный, благородный вид заставлял всякого начальника принимать его благосклонно. В провинциях, кто хорошо играет в

карты, скоро становится нужным человеком, и он сделался домашним у Бахметева. Тогдашнее малочиние его заставляло других канцелярских чиновников смотреть на него с завистью и досадою; но он всегда спокойно оставался вне сферы их.

Великая потеря, которую сделал он с отбытием Бахметева, скоро заменена была прибытием дивизионного начальника, Михаила Федоровича Орлова, который, как известно читателю, был опасной красой нашего Арзамаса. Сей благодушный мечтатель более чем когда бредил въявь конституциями. Его жена, Катерина Николаевна, старшая дочь Николая Николаевича Раевского, была тогда очень молода и даже, говорят, исполнена доброты, которой через несколько лет и следов я не нашёл. Он нанял три или четыре дома рядом и начал жить не как русский генерал, а как русский боярин. Прискорбно казалось не быть принятым в его доме, а чтобы являться в нём, надобно было более или менее разделять мнения хозяина. Домашний приятель, бригадный генерал Павел Сергеевич Пуцин не имел никакого мнения, а приставал всегда к

господствующему. Два демагога, два изувера, адъютант Охотников и майор Раевский (совсем не родня г-же Орловой) с жаром витийствовали. Тут был и Липранди, о котором много говорил я прежде и о котором много должен буду говорить после. На беду попался тут и Пушкин, которого сама судьба всегда совала в среду недовольных. Семь или восемь молодых офицеров генерального штаба известных фамилий, воспитанников Московской Муравьевской школы, которые находились тут для снятия планов по всей области, с чадолюбием были восприяты. К их пылкому патриотизму, как полынь к розе, стал прививаться тут западный либерализм. Перед своим великим и неудачным предприятием нередко посещал сей дом с другими соумышленниками русский генерал князь Александр Ипсиланти, шурин губернатора, когда

*На берега Дуная
Великодушный грек свободу вызы-
вал.*

Перед нашим Алексеевым, тайно исполненным дворянских предрассудков и монар-

хических поверий, не иначе раскрылись двери, как посредством легонького московского оппозиционного духа. Для него, по крайней мере, знакомство сие было полезно, ибо оно сблизило его с Пушкиным, который и писал к нему известные послания в стихах.

Всё это говорилось, всё это делалось при свете солнечном, в виду целой Бессарабии. Корпусный начальник, Иван Васильевич Сабанеев, офицер Суворовских времен, который стоял на коленях перед памятью сей великой подпоры престола и России, не мог смотреть на это равнодушно. Мимо начальника штаба Киселева, даже вопреки ему, представил он о том в Петербург. Орлову велено числиться по армии, Пущину подать в отставку, Охотников кстати умер, а Раевский заключен в Тираспольскую крепость; тем всё и кончилось. Это, кажется, было за несколько месяцев до нашего приезда, и без пастыря нашел уже я безгласных и не блеющих более овец.

Назначение графа Воронцова, который любил выводить своих подчиненных, особенно тех, кои находились при лице его, представляло Алексееву много успехов и более прият-

ное житье в Одессе: напрасно он выпросил себе какое-то постоянное поручение в Кишиневе. Страстно влюбленный, счастливый и верный, он являл в себе неслыханное чудо. Он был в связи с женою одного горного чиновника Эйхфельда, милой дочерью боярина Мило; а для милой чем не пожертвуешь! Я, по крайней мере, должен благодарить ее: она мне сохранила Алексеева и утешительные для меня беседы его.

Судьба, как читатель мог видеть, часто, почти всегда вводила меня в круг людей мне все незнакомых. Добрые их свойства, как и недостатки, поражали меня, оставляли сильные впечатления. Вот почему на память писал я их портреты и без большего разбора помещал здесь, может быть, иногда в негодование или скуке читателя. Но эти беспрерывные испытания судьбы, заставляя меня изучать характеры людей, научили и быть с ними осторожным: я не спешил объявлять собственных мнений, а, напротив, любил выслушивать чужие. Оттого сначала в Кишиневе все полюбили меня, Катакази и греки, Стурдза и молдаване, Куриг и жида, архиерей Гри-

горий и армяне, полицмейстер Радич и сербы; о русских и говорить уже нечего; одним словом, я был любим всенародно. И этой любовью, этим уважением, могу сказать, был единственно обязан себе, отнюдь не сильной протекции наместника, которою я тогда пользовался и которую из особых видов тщательно старался ото всех скрывать.

Совсем иначе поступал Липранди. Вскоре по возвращении в Россию, из Генерального Штаба был он переведен в линейный егерский полк и, наконец, принужден был оставить службу. Всё это показывает, что начальство смотрело на него не с выгодной стороны. Не зная, куда деваться, он остался в Кишинёве, где положение его очень походило на совершенную нищету. Граф Воронцов везде любил встречать Мобёжских своих подчиненных; Липранди явился к нему, разжалобил его и на первый случай получил вспомоществование, кажется, из собственного его кармана. Не смея еще представить об определении его в службу, граф частным образом поручил ему наблюдение за сокращением и устройством новых дорог в области, чему

много способствовало недавнее обмежевание её. Тогда на разъезды из казенной экспедиции начали отпускать ему суммы, в употреблении коих ему очень трудно бывало давать отчеты. Очень искусно потом умел он выдать себя за первого любимца графа и всем, у коих занимал деньги, обещал свое покровительство. Вдруг, откуда что взялось: в не весьма красивых и не весьма опрятных комнатах карточные столы, обильный и роскошный обед для всех знакомых и пуды турецкого табаку для их забавы. Совершенно Бедуинское гостеприимство. И чудо! Вместе с долгами возрастал и кредит его.

Мое скудное житье в двух каморках служило совершенным контрастом его роскоши, и когда он везде без счета забирал деньги, старался я по возможности уплачивать сделанный мною на путешествие небольшой долг. Столь возвышенное над моим положением его дало ему, впрочем всегда ко мне благосклонному, возможность объявить себя моим защитником и покровителем, что мне показалось очень забавным.

Мне бы не следовало много жаловаться на

положение свое. Дела у меня было еще не слишком много, жизнь была чрезвычайно дешевая; новостные предметы и разнородность общества и жителей, которые были у меня перед глазами, должны были привлекать мое любопытство, и всё это посреди одних только доброжелателей. Меня мучило отсутствие не удовольствий Петербурга, а удобств его: комфорт начинал уже становиться необходимостью и небогатых в нём жителей. Наконец, и с этой стороны был я несколько удовлетворен. Областной предводитель дворянства, Стурдза, добрейший и правдивейший из смертных, человек еще довольно молодой и холостой, нанимал дом даже слишком обширный для Кишинева. Он предложил мне посмотреть у него три комнаты довольно просторные, никем не занятые, ему вовсе не нужные, и поселиться в них, если они мне понравятся. Затруднение было в том, что у него был славный повар, что он всякий день дома обедал, и что от него нельзя мне было посылать в дрянной своей трактир за кушаньем, а на хлебы мне к нему идти не хотелось. Но предложения его были так убедительны, что

я, наконец, не поспесивился и переехал к нему.

Это продолжалось недолго, декабрь проходил, я неотступно просил графа прислать мне бумагу, коею для объяснений потребовал бы он меня в Одессу, и получил ее. В самый Сочельник, 24 декабря 1823 г. рано по утру, оставил я Кишинев.

IX

Польские Атриды. — Графиня Эдлинг. — Одесский театр. — Витт. — Северин Потоцкий.

Можно почитать феноменом то, что случилось мне замечать всякий раз, что переезжал я через Днестр, реку не весьма широкую: по течению её, на правом её берегу всегда бывало несколькими градусами теплее, чем на левом. Причиною тому полагать можно то, что на Бессарабской стороне большие леса более защищают землю от лучей солнца, тогда как по сию сторону оно тирански властвует над степями. Еще с начала декабря в Кишиневе только кровли, а вокруг него поля покрыты

были снегом, и я хорошо закутавшись, доехал до Бендер; тут, среди небольших льдин, на пароме переправился я через Днестр. Вдруг показалось мне теплее, и снегу нигде не было видно.

Было очень поздно, когда приехал я в Дольник, где последняя перемена лошадей до Одессы. Мне казалось, что из провинции еду я в столицу, и я не иначе хотел въехать в нее как днем. Станционный дом был довольно просторен, накануне Рождества никто еще в нём не спал, везде был свет, и женщины оканчивали свою стряпню. Мне отгородили спокойный, чистый угол, и я заснул с намерением выехать до света.

Как мне было не возблагодарить себя, отчасти за лень свою, которая заставила меня накануне остановиться в Дольнике, когда днем только что проехал я Тираспольскую заставу! Ночью был изрядный мороз, и меня повезли так называемым Греческим базаром, как местом, где дорога глаже. Взрытая и остывшая грязь представляла вид окаменевших морских волн. Для проезда по одесским улицам мне нужно было столько же времени

как на сделание последней станции. Измученный приехал я в обычную уже мне гостиницу Рено.

Надобно однако объяснить причины этой, для не видавших её, баснословной грязи. Когда строился город, то, по приказанию Ришелье, с обеих сторон улиц вырыты были глубокие и широкие канавы. Вынутый из них чернозем высоко поднялся на середине улицы. Сия рыхлая земля, вязкого свойства, не была еще большим неудобством при малом народонаселении; когда же оно увеличилось, то проезд через эту клейкую землю по временам делался невозможным, даже для легоньких дрожек тройкой. Всё отпечатывалось на этом липком веществе, ступни людей и скотов, и уверяли, что кто-то, упав в него прямо носом, надолго оставил на нём свою маску. Сообщения делались невозможны; дабы посетить друг друга, все должны были идти пешком между канав и домов, а для перехода через улицы надевать длинные сапоги выше колен сверх других сапогов и панталон. В таком бедственном положении нашел я Одессу.

Много еще было в ней провинциального, и

скоро всё узнавалось. По случаю великого праздника, Рождества Христова, в этот день у графа обедал весь многочисленный его штат. Там уже знали о приезде моем. Через кого-то из бывших тут, граф велел сказать мне, что ожидает меня к себе на другой день поутру. Многие с этого обеда, в длинных сапогах, прибежали навестить меня. В том числе, разумеется, был и Пушкин.

Я обозначил все главные лица многочисленной свиты графа. Изображать остальных — дело невозможное; но некоторых из них, по моему, нижних чинов пропустить в молчании как-то совестно; а дабы не позабыть их, что весьма легко может случиться, здесь же спешу их назвать.

Два молодых человека, приехавших из Петербурга, которые были почти ровесниками Пушкина и почти в одних с ним чинах, от того почитали себя совершенно ему равными. Один по крайней мере имел на то как будто некоторое право: он пописывал стихи. Но какие? Преплохие. Стихи не есть еще поэзия; а ни малейшей искры её не было в душе Василия Ивановича, принадлежащего к известно-

му в Малороссии по надменности своей роду Туманских. Самодовольствие его, хотя учтливое, делало общество его не весьма приятным; ему нельзя было совсем отказать в уме; но, подобно фамильному имени его, он светился сквозь какой-то туман. Всегда бывал он пристоен, хладнокровен; иногда же, когда вздумается ему казаться веселым и он захочет сказать или рассказать что-нибудь смешное, никого как-то он не смешил. Его кое-куда посылали, ему кое-что поручали, он что-то писал и казался не совсем праздным.

Не знаю, зачем выбрал он себе под пару другого юношу, который сотнею сажень стоял его ниже. Меня судьба водила по всем этажам Петербургских домов и по всем разрядам Петербургских обществ; даже те, коих хозяевами были довольно чиновные люди, а некоторые из гостей в звездах, не могли еще почитаться второстепенными; в них мог я насмотреться на тон их франтов. Излишняя смелость нынешних молодых людей в знатных салонах была ничто в сравнении с их наглостью. Пожилые люди и женщины вероятно смотрели на то, как на неизбежное послед-

ствии распространившегося образования. Мне случалось слышать, как с нежным, трепетным изумлением, смотря на ухарство которого либо из них, девицы говорили: что за пострел! Мне случилось видеть, как один из них стал посреди дамского круга и воскликнул: «Кто хочет со мною танцевать? Никто, ну так я сам возьму!» Не знаю, из которого из сих обществ попал в Одессу Никита Степанович Завалиевский, сын отставного Петербургского вице-губернатора и сам отставной офицер гвардии саперного батальона. Всем показался он очень оригинален; меня не мог он удивить: тип таких молодцов мне был знаком, и я тотчас увидел в нём выходца из Коломны или с Песков. Таких людей ничто не останавливает; они ничего не разбирают, ничем не уважают. На пример, когда я спросил у него, зачем он оставил военную службу? Завалиевский отвечал мне: мне нельзя было оставаться, мы беспрестанно ссорились с Николаем. А этот Николай был великий князь, брат Императора. Росту был он небольшого, но хорошо сложен, имел очень ловко выточенную фигуру, одевался лихим франтом по последней

моде и прекрасно танцевал; к тому же невежественные его глупости были чрезвычайно забавны: сколько достоинств! Раз в гостиной у графа спросил он, кто бы таков был г. Ниагара, изобретатель модных тогда галстуков, носящих его имя и коих концы ниспадали каскадой? Все засмеялись и сказали, что он никому неизвестен. Более всего состоял он под покровительством Казначеева, который для сего безграмотного создал место экзекутора канцелярии. Для неё было куплено сто сажен дров, и он письменным рапортом для хранения их требовал разрешения купить замок во сто сажен дров: уж это был бы целый замок! Пушкин, который чрезвычайно любил общество молодых людей, забавлялся им более, чем кто и оттого позволял ему всякие с собою фамильярности, а Завалиевский, всегда гораздо лучше его одетый, почитал сие знакомство более лестным для Пушкина[39].

Если наместник между определяемыми к себе гражданскими чиновниками искал ум и способности, то конечно не руководствовался он сим желанием при выборе новонабранных им четырех адъютантов. Как природа бывает

изобретательна в своих причудах и какое разнообразие было в умственных недостатках сих господ!

Первый из них, князь Валентин Михайлович Шаховской, был добрейший, благороднейший малый, весьма красивый собою; жаль, что остальное тому не отвечало. Рассудок не допустил бы его до тесных связей с людьми, коих мнений, кажется, он совсем не разделял. А впоследствии если сие не погубило его, то много повредило его службе.

Другой, Иван Григорьевич Синявин был двоюродным братом графу Воронцову. Он старался давать всем это чувствовать и с некоторой досадой смотрел на сослуживцев, в коих видел почти подчиненных, себя ему не подчиняющих. Он был виден собою, бел и румян; но дурь и спесь, так ясно выражаемые его оловянными глазами, делали всю наружность его неприятною. Может быть, он сам только поверил бы тогда предсказанию о высоте, которая его ожидает. Если долго проживешь, то чего не увидишь у нас! Я осужден был видеть, к стыду России, как сие, никем не оспариваемое, совершенное ничтожество, до-

стигнув высочайших гражданских степеней, готово было вступить в звание министра. Во время революций высоко поднимаются люди из грязи, но по крайней мере они все с головой.

Спесь третьего адъютанта, Константина Константиновича Варлама, была не так досадна, за то, если возможно, еще глупее, скучнее и несноснее. А чем он гордился? Тем, что был сыном Волошского бояра и шурином почт-директора Булгакова. Впрочем ему много воли не давали, и только можно было заметить в нём ужасную охоту чваниться.

Четвертого адъютанта, Преображенского офицера, князя Захара Семеновича Херхелидзева, случилось мне видеть в Петербурге в обществах, подобных тем, кои посещал Завалиевский; но он был в них только что добродушным балагуром и безвинное ремесло свое перенес с собою в Одессу. Впрочем был он здоровья плохого, и сие заставило его через покровительство великого князя Михаила Павловича искать места в теплом краю.

Побойчее, поострее и покрасивее его был некто Алексей Михайлович Золотарев, май-

ор, состоящий по кавалерии и по особым поручениям при графе. Он также охотник был смешить, и таким образом веселие разливалось повсюду. Барон Франк своим передразниванием, каламбурами чрезвычайно потешал графиню и всё её приватное общество; Херхеулидзе заставлял от души смеяться всех приближенных графа, а Золотарев — одну только канцелярию его.

Я не мог надивиться совершенно доброму согласию, царствовавшему между сим смешанным, перемешанным обществом, жившим несколько отдельно от городского: не было ни зависти, ни интриг, ни даже пересудов, иногда только бывали необидные насмешки. Причиною сему, кажется, было то, что в добровольной ссылке люди скорее сближаются друг с другом и делаются менее выскательны. Много способствовал тому и характер главного начальника: он старался тогда быть беспристрастен и неохотно слух свой склонял к наушничеству. Исключая прежних своих Мобёжских, и то наедине, со всеми равно умел он обходиться умеренно-ласково и умеренно — повелительно. Раз навсегда всех

пригласил он хотя бы ежедневно у него обедать. Дозволение это все почитали честью, пользовались ею, но не употребляли во зло, не столько из скромности, как из предпочтения другому хозяину, Оттону, у которого и с которым можно было обходиться гораздо повольнее. Веселое добродушие Казначеева (из нас приезжих одного только женатого) также много вязало членов общества, которым в другом месте труднее было бы сойтись. У него всякий вечер собирались почти все сослуживцы и весело, откровенно, а иные и весьма умно разговаривали. И так поутру перед кабинетом графа, в канцелярии, у него же за обедом, а вечером у Казначеева, беспрестанно встречаясь, люди невольно, неприметно свыкались между собою. Меня всё это очень радовало. Да простит же мне читатель, если, вводя его с собою в новый круг, я счел необходимым познакомить его наперед со всеми, круг сей составляющими. Вместо того, чтобы прямо приступить к делу, сказать, какой прием сделан был мне начальником и какой результат имели тайные мои с ним разговоры, я занялся бездельем, изображением мелких тогда

при нём чиновников. Маловажное скорее забывается, я хотел того избежать. К тому же мне хотелось обставить малозначущими фигурами любезного тогда сердцу моему Воронцова, дабы показать его еще более в гигантском виде.

Я представил ему свою Записку о Бессарабии. Прочитав ее, дня через два сказал он мне: «знаете ли вы, что вы с глаз моих как будто сняли повязку; так явственно изображены положение края и характеры людей». Можно представить себе что я почувствовал, услышав такие слова из уст человека, которого мнение так высоко я ценил. Надобно знать, что в это время необыкновенно-умный и хитрый Брунов, с большими, основательными теоретическими познаниями, имел великое влияние на графа. Настроенный Александром Стурдзой, с коим имел тесные связи, он настаивал, чтобы в Бессарабии молдавские права и обычаи были не только сохранены, но еще более распространяемы, и чтобы там введено было какое-то новое судопроизводство; одним словом, чтобы страна сия еще более отрезана была от России. Доводы его были так

сильны и умны, что должны были нравиться человеку, воспитанному в конституционном государстве.

Он не подозревал, что два человека, по мнению его ничтожные и третий, которого почитал он легкомысленным и несведущим, могут сделаться препятствием его видам. Из Кишинева я часто переписывался с Казначеевым и с Лексом. Первый, русский в душе, во всём был со мною согласен. Другому надоела молдавская бессмысленная, тяжелая спесь, и он охотно подогнул бы ее под русские узаконения, но в нём оставалась некоторая робость. Долго быв спрятанным под каплуньими крыльями Инзова, он конечно ожил, как бы воспрянул, увидя себя осененным орлиным крылом Воронцова. Он скорее по сей части мог бы иметь собственные мнения, но ему приятнее было поддерживать мои. Со времени второго приезда моего в Одессу намерения наместника, кажется, взяли новый оборот.

А в чём состояли мои желания, цель моих усилий? В том, чтобы из участка, вновь приобретенного, сделать просто русскую губер-

нию. Я всегда полагал, что вслед за сделанием новых завоеваний, дабы владеть ими спокойно, надлежит стараться припаять их к общей государственной массе, без чего они будут обременять и ослаблять ее. Тут не нужно мне было много выдумывать. Великие завоеватели законодатели, Фридрих, Екатерина и Наполеон, так поступали Укажу на другие примеры: Польша, при всём беспутном своем управлении, умела однако же понять, что православную Украину она не иначе может укрепить за собою как вводя в нее всё польское. Употребляя унию и католичество и действуя первоначально и преимущественно на высшие сословия, она достигла до того, что мы, русские, забыли, что эта страна нам принадлежала, и что в ней была колыбель нашей веры и нашего древнего могущества. И всё насильно введенное и о сию пору еще там преобладает. Посреди прежнего варварства германцев могли они употреблять только жесточайшие меры, смертную казнь, для преобразования славян, для обезьязычения их, как сказал один поэт. И что же? Мекленбург и Померания, Лузация и Силезия, усилив Германию,

сделались нам вовсе чужды, едва ли не враждебны.

От дельного перехожу опять не совсем к бездельному, к описанию образа домашней жизни нашего повелителя. Через день, если не каждый день обедал я у него. Большая зала, почти всегда пустая, разделяла две большие комнаты и два общества. Одно, полуплебейское, хотя редко покидал его сам граф, постоянно оставалось в билиардной. Другое, избранное, отборное, находилось в гостиной у графини; туда едва ли я заглядывал. Без всякой видимой причины графиня оказывала мне убийственную холодность; невидимой же причиной был один человек, живущий без службы, которого воздерживаюсь еще назвать (до того воспоминание об нём меня тревожит и бесит) и который, как утверждали после, пользовался дружбою её... Сей самолюбивый и злой человек не мог простить мне явного несогласия с ним в мнениях и правилах. Исключая его, всегда можно было найти тут Марини, Брунова, Пушкина, Франка и близкого родственника Синявина. Из дам вседневной посетительницей была одна

только графиня Ольга Станиславовна Потоцкая, месяца за два перед тем вышедшая за Льва Александровича Нарышкина, двоюродного брата графа Воронцова. В столовой к обеду сходились вместе, а вечером у Казначеева все опять смешивались.

Опять принужден сделать отступление; но как, назвав знаменитую у нас тогда Ольгу Потоцкую, не рассказать чудную историю о её матери и о её семействе? В одном из Константинопольских трактиров была служанкой гречаночка лет тринадцати или четырнадцати; секретарь Польского посольства Боскампи сманил ее оттуда и через несколько месяцев уступил польскому же посланнику Деболи. С сим последним совсем распустившею розой приехала она в Варшаву, где всех изумила необычайной красотой своей. Она стала жить на свободе, и счастливым, щедрым обожателям её не было числа; но, наконец, всем им предпочла она одного пожилого польского генерала графа Витта, ибо он один предложил ей свою руку. Не знаю, когда и где встретил ее князь Потемкин, только мужа переманил в русскую службу с генеральским чином и на-

значил обер-комендантом в Херсон, а жену увез с собою в Яссы. Там щеголял он ею, как великолепным трофеем, а она гордилась привязанностью человека, которого слушалась вся Россия и который совершенно царствовал в двух княжествах. И великие души, видно, не чужды тщеславию; ибо Потемкин напоказ повез ее и в Петербург. Сопровождаемый многочисленной свитой, верхом для выставки развозил он ее с собою в открытом кабриолете по улицам и гуляньям[40]. После смерти Потемкина, чрез несколько лет, сделалась она знатной дамой.

Польский коронный гетман, граф Станислав-Феликс Потоцкий посещал местечко свое Тульчин в Подольском воеводстве и часто жил в нём. Прекрасная сия страна, вдали от Варшавы, была заброшена, и магнат мог делать в ней, что хотел. Недавно еще старики внукам своим с ужасом рассказывали о несправедливостях Потоцких, которые можно назвать даже злодеяниями. У богатых жидов он насильно занимал большие суммы; по соседству все имения, коих завладение представляло ему выгоды, отхватывал он посред-

ством заводимых тяжб, и трепещущие судьи не смели иначе решить, как в его пользу. Таким образом несметное богатство свое успел он удвоить. Грабительства его прекратились только с поступлением этого края под русское владение; но он заблаговременно передался России, и всё им захваченное осталось за ним. От первого брака было у него четыре сына и несколько дочерей. Об одной, неверной Констанции, упомянул уже я во второй части сих Записок, когда говорил о почтенном супруге её графе Иване Потоцком же, путешествовавшем в Китай. Другую, Викторию Шозель-Бахметеву, прославившуюся между прочим обжорством, недавно изобразил я. О третьей, Розе, вечно враждебной России, на которой, против воли матери, женился граф Владислав Браницкий и которую почтенная свекровь не пускала на глаза, не говорил я ни слова. О добродетелях других сестер и братьев лучше умолчать. Скажу только, что коротко знавшие сие семейство польских Атридов насчитывали в ней гораздо более семи смертельных грехов.

В совершенной старости хищник был на-

казан судьбой. Он пленился графиней Витт в одно время с Феликсом, старшим сыном своим от первого брака. По условию с сыном, она предпочла отца и вышла за него, студодеяния свои соединив со злочестьем Потоцких. Новая Федра, перед которой древняя жалка, спокойно предалась своему Ипполиту и, как та, истерзанная совестью и раскаянием, верно не восклицала: *Et des crimes peut-être inconnus aux enfers!* От сего кровосмешения родилось три сына и две дочери, из них Ольга меньшая. И безумный Феликс не подумал о том, что он себя и братьев лишает большей части наследства. Какая была развязка в этой семейной драме? Старик, наконец, узнал всю истину; вскоре затем последовали две внезапные кончины, сперва сына, потом отца. Клевета в таких случаях до некоторой степени извинительна и весьма походит на правду. Польские дворяне говорили тогда о черной каве, о черном кофе, как о вещи весьма обыкновенной.

Пасынки и падчерицы вдовы графини Потоцкой завели с нею ужасный процесс, оспаривая законность её брака, следственно и законное рождение её детей: ибо Витт был еще

жив и не разведен с нею, когда она вступила во второй брак. Сие понудило ее, наконец, приехать в Петербург. Греческие хитрые уловки заменили ей увядшую красоту. Министрам и сенаторам рассылала она лесть и ласки, для подчиненных не щадила золота. Главным адвокатом в её деле был сумасброд граф Милорадович, который влюбился в молоденькую дочь её Ольгу. Сия последняя, с дозволения матери, не редко посещала его, просиживала с ним наедине по часу в его кабинете и принимала от него великолепные подарки. От яблони яблочко, говорят, не далеко падает. Говорили, что это польский обычай; но величественный и строгий в приличиях двор Александра смотрел на то не весьма благосклонно.

Как ожидать было должно, дело кончилось в её пользу. Она отправилась в доставшийся ей по разделу город Умань, где, в подражание Добродетельной Браницкой, и она развела обширный сад под именем Софиевки. Ей оставалось спокойно доживать век и пользоваться плодами долголетних интриг, как вдруг явилась неумолимая. Ужасна была смерть греш-

ницы: в совершенной памяти, при нестерпимых мучениях, смердящим трупом прожила она несколько месяцев. Весь дом был заражен зловонным воздухом, всё бежало от него; одни дочери остались прикованными в её одру. И как не похвалить их за сей геройский подвиг!

После её смерти сии девицы отнюдь не казались сиротами, меньшая еще менее чем старшая София, которая в то же время вышла за скользящего у меня всё под пером начальника штаба второй армии, Павла Дмитриевича Киселева. Он умел в Тульчине приобрести более власти, чем сам главнокомандующий Витгенштейн. Сие могущество пленило Ольгу, которая приехала погостить к сестре... Если сие скопление мерзостей дойдет до потомства, не знаю, поверит ли оно ему. Пусть вспомнит историю семейства Борджиа; а католическая Польша, едва вышедшая из времен насилий и безначалия, право, стоила Италии средних веков.

Еще летом в Одессе увидел я сию столь уже известную Ольгу Потоцкую. Красота её была тогда во всём своем блеске, но в ней не было

ничего девственного, трогательного; я подивился, во не восхитился ею. Она была довольно молчалива, не горда, но и невнимательна с теми к кому не имела нужды, не столько задумчива, как рассеянна и в самой первой молодости казалась уже вооруженною большою опытностью. Всё было разочтено, и стрелы кокетства берегла она для поражения сильных[41]. Как всё это уладилось, как просватали ее за ***, всё это покрыто тайной и не могло доходить до меня в Кишиневе... Мне не редко за столом случалось сидеть против неё, и мы взоров не спускали; я умел, когда нужно, полагать хранение устам моим, но глаза мои всегда были болтливы....

Зато были в Одессе другие графини ко мне весьма благосклонные. Я уже сказал, что градоначальник Гурьев был со мною на ноге старинного знакомого и что я нередко посещал его. Его графиня Авдотья Петровна, при светской образованности, восхищала меня своею совершенно русскою оригинальностью. Отнятое первенство у неё и мужа её не могла она простить Воронцовой; заметив, что и я не имею в ней большой симпатии, она свою

несколько умножила во мне. Она жила не в ладах с жительницами Одессы. В больших торговых городах бывает всегда коммерческая аристократия; тут из бедности вдруг поднявшиеся богачи, по большей части иностранцы, французы, англичане, греки (Сивар, Рено, Моберли, Маразли, Ризнич) оттого были еще спесивее. Она не могла растолковать себе взыскательности их жен. «Что мне до этой разношерстной компании, говорила она, и как смеют эти купчихи считаться со мною». Этих купчих, хотя изредка, Воронцова приглашала на свои вечера; а ее они совсем бросили.

Другая графиня была для меня совершенно новым знакомством. Меня ребенком знавал в Киеве граф Ланжерон, когда в полковничьем чине бывал он часто у моих родителей. Это воспоминание, казалось, заставляло его меня любить; впрочем со мною, также как и со всеми, обходился он излишне фамильярно для шестидесятилетнего Андреевского кавалера. Не одна подчиненность моя, но и привязанность к графу, была однако великим пороком в его глазах. Из истории управления его Ново-

российским краем составилось бы несколько томов, и она была бы весьма занимательна; только вышло бы из нее большое собрание забавных и веселых анекдотов. Пересватав тщетно всех богатых и знатных невест в России, он женился, наконец, в Одессе на бедной девушке, дочери полковника Вриммера, Елисавете Адольфовне. Он представил меня ей, а я спешу представить ее читателю.

Мне не случалось видеть красивого лица столь угрюмого, как у графини Ланжерон; однако мне оно всегда улыбалось и, право, этим можно похвастать. Прекрасные глаза её были даже выразительны, но она не чувствовала того, что они выражали. Холодна как лед, она редко с кем открывала уста. В Одессе, где она была воспитана, все знали ее девочкой дикой и несообщительной, и когда вдруг поднялась она на генерал-губернаторство, то, ничего не переменяя в своем обхождении, отнюдь не казалась горда; за то и ей не оказывали большой внимательности. Довольствуясь наружным уважением, в котором нельзя было отказывать женщине, выше других поставленной, она ничего более не требовала. Когда она со-

проводила мужа своего в Париж, ей было душно в Сен-Жерменском предместьях, и она всё вздыхала по Одессе. Красивой женщине, одаренной твердостью и хладнокровием, не трудно было овладеть старым ветреником и, повинувшись только её воле, решился он без службы воротиться в Одессу, где впрочем были у него и дом, и хутор. Присутствие Воронцовой было как острый нож для бывшей генерал-губернаторши. К сожалению, она нечужда была зависти; а богатство, знатность, воспитание, все эти преимущества должны были возбуждать ее в ней. Я не думаю, чтобы это было причиной особенной её ко мне благосклонности; а впрочем, кто знает! Когда с другими прилично она отмалчивалась, со мной всегда находила о чём говорить.

Уже под именем графини Эделинг находилась тут женщина, которой Каподистрия обязан был доверенностью Александра, о чём я говорил в пятой части сих Записок. При дворе, где почти всегда красота предпочиталась уму, в Роксандре Скарлатовне Стурдзе видели только безобразнейшую из фрейлин, и все от неё отдалялись, как нечаянный случай сбли-

зил ее с императрицей Елисаветой Алексеев-ной. Тогда ее распознали и невольно стали благоговеть пред необыкновенным превос-ходством её ума. Государыня взяла ее с собой за границу, и на Венском конгрессе все отлич-ные мужи и многие принцессы искали её зна-комства, а некоторые и сдружились с ней. Ли-шившись надежды выйти за Каподистрию, встретила она человека, с которым была счастливее, чем бы, может быть, с этою зна-менитостью. Граф Альберт Эделинг, обер-гоф-мейстер Саксен-Веймарского двора, был один из тех старинных немецких владельцев — ба-ронов, честных, добродушных, благородных, коих тип сохранился ныне только в романах Августа Ла-Фонтена, которых также едва ли ныне найти где можно. Он душою полюбил девицу Стурдзу, и она его; сочетавшись с нею браком, он согласился оставить отечество и поселиться с нею в южной России. Наружно-стью её плениться было трудно: на толстова-том, несколько скривленном туловище, была у неё коровья голова. Но лишь только она за-говорит, и вы очарованы, и даже не тем, что она скажет, а единственно голосом её, неж-

ным, как прекрасная музыка. И когда эти восхитительные звуки льются, льются, что выражают они? Или глубокое чувство, или высокую мысль, или необыкновенное знание, облеченное во всю женскую грациозность, и притом какая простота! Какое совершенное отсутствие гордости и злобы! Превосходство души равнялось в ней превосходству ума. Из Бессарабии, где у неё были родные, писали к ней обо мне чудеса, и оттого-то сею четою был я принят, можно сказать, с отверстыми объятиями. Во мне оставалось еще довольно греколюбия, филлэлинства, чтобы и с этой стороны ей угодить. Как любил я ее в эти минуты, когда, всегда спокойная, она вдруг приходила в восторг при имени героически борющейся тогда Греции. Ну, право, житье мне было: посмеявшись с графиней Гурьевой, нагнав девшись на графиню Ланжерон, спешил я наслушаться графиню Эделинг. Лишивши меня полуцарских милостей Воронцовой, судьба послала мне взамен большие утешения.

Почти также, как у г-жи Эделинг, был я принят у брата ее, Александра Скарлатовича Стурдзы. Сперва два слова о матери и о жене

его. Первая казалась весьма умна и всегда сердита, имя ей было Султана. Другая, дочь знаменитого немецкого врача Гуфланда, принадлежала к числу тех прежних немок, кои, будучи домашним сокровищем, единственно супругами и матерями, не имели никакой наружной цены и не искали её. Отца его, Скарлата Димитриевича, лет десять как не было на свете. Преданный России, он в последнюю войну с турками при Екатерине бежал из Молдавии и, кажется, лишился части своего имения; за то щедро был он вознагражден богатым поместьем близ Могилева, чином действительного статского советника и Владимирской звездой. Он был женат на вышереченной Султане, дочери Молдавского государя князя Мурузи. Три поколения из сей фамилии за Россию в Цареграде прияли мученическую смерть. И сия пролитая кровь, налагая на нас долг благодарности, должна бы и в них возродить привязанность к нашему отечеству; но не совсем оно так было. В глубокой старости на Скарлата Стурдзу возложено было тяжкое бремя управления новоприобретенной Бессарабии; он, видно, изнемог под

ним, ибо вскоре умер.

Изобразить самого Александра Стурдзу не безделица: в этом человеке было такое смешение разнородных элементов, такое иногда противоречие в мнениях, такая выпренность в уме; при мелочных расчетах в действиях, он так весь был полон истинно христианских правил и глубокого, неумолимого злопамятства, осуждаемого нашею верою, что прежде чем начертать его образ, надлежало бы, если возможно, химически разложить его характер. Грек по матери, он более сестры принимал участие в судьбе эллинов; молдаван по отцу, он искренно любил своих соотечественников и всегда горячо за них вступался, забывая, что они враги его любезным грекам. Едва не сделавшись в Германии жертвою преданности своей к законным престолом, он обожал её философию и женился на немке. Желая светильник наук возжечь на Востоке, он сей священный огонь хотел заимствовать у поврежденной уже в рассудке Европы. Друг порядка и монархических установлений, он мечтал о республике под председательством Каподистрии. Друг свободы, он

ненавидел Пушкина за его мнимо-либеральные идеи. Он был всё; к сожалению только совсем не русский. Воспитанный в Могилевской губернии, не понимаю, как он мог приобрести запас учености, с которым вступил на дипломатическое поприще; в знании языков древних и новейших мог бы он поспорить с Меццофанти. С 1815 года сделался он известен вместе с покровителем и другом своим, Каподистрией, в 1822 вместе с ним сошел со сцены (как где-то уже я сказал), и на покое, также как ныне я, строил историческо-политические воздушные замки.

Мне весьма памятны его беседы со мной; ибо, вследствие их, мнения мои о делах Европы и Востока начали изменяться. Он не скрывал желания своего видеть Молдовлахию особым царством, с присоединением к ней Бессарабии, Буковины и Трансильвании. Освобождением одной Греции, по мнению его, дело на Востоке не должно было кончиться. Из слов его заметить было можно надежду, что греки, окрепнув, через несколько лет одолеют окончательно прежних притеснителей своих, восстановят по прежнему императорское досто-

инство в Константинополе, и что, исключая Молдовлахии, все народы, живущие на Север от сей столицы вдоль по Дунаю, войдут в состав сей возобновленной империи. Угадывая его мысль, я отвечал на нее тем, что сие весьма было бы желательно, но что исполнение мне кажется невозможным. В кратковременное пребывание мое в Кишиневе (сказал я ему), мог я убедиться от живущих в нём болгаров, сербов, арнаутов, как все славянские народы не терпят греков, и уверен, что их владычеству предпочтут они даже турецкое иго. «Мудрое правление — отвечал он — будет всегда уметь заставить полюбить свою власть».

И поныне сии господа уверены, что восстановят Греческую империю. Да когда же была Греческая империя? Был новый Рим, Римская Восточная империя; и Константин, и Феодосий, и Юстиниан, и даже Ираклий были римляне. Гораздо позже, когда завоевания готов, славян и турецких племен сузили сие царство до того, что во владении своем имело оно только то, что составляло древнюю Грецию, тогда только начали появляться на пре-

столе Комнины, Дукасы и Палеологи. По мнению г. Тютчева, сия Восточная Римская, отнюдь не Греческая, империя никогда не переставала существовать, а перенесена только с Босфора на берега Москвы-реки, а потом на Неву.

Я привык в сих Записках быстро переходить от одного предмета к другому, а чувствую, что ужасно неловко от исторических вопросов переброситься к Варваре Димитриевне Казначеевой. А что же делать! Она была первою моею знакомкой в Одессе, всех чаще ее я видел и когда много говорил о других дамах, как же ее одну оставить в покое? В восемнадцать или даже в двадцать лет молодые люди влюбляются во встречных и в поперечных, в первую, которая попадетсЯ. Вот каким образом Казначееву, почти мальчику, понравилась в Рязанской губернии одна из живущих там многочисленных бедных княжен Волконских; совершение брака не состоялось за происшествиями войны 1812 года. Через семь или восемь лет, в 1819 году, воротился он, наконец, в Россию из Мобёжа и, говорят, что, как истый рыцарь средних веков, он по

спешил бросить лавровый венок к ногам дамы своих помыслов. Мне что-то не верится, и я скорее полагаю, что она сделала воззвание к его чести, коей имя всегда было для него священной и таким образом женила его на себе. Впрочем он, может быть, и действительно был в нее влюблен; но наверное можно сказать, что он один только в мире. Не видя ни с каких сторон нежных, страстных взглядов, она крепче прилепилась к законному любовнику своему, к своей жертве и душила его своею верностью. Она была еще свежа, беда и румяна, но чрезвычайно толста и кривобока, и неприятное выражение лица её было ничто перед неприятным её нравом. Не то, чтобы она была с кем-нибудь неучлива, но всегда как бы сердита и недовольна. От того обиднее казалась в гостинной графини Воронцовой вечно подобострастная её улыбка. Она была на коленях перед пороками знатных и строга до суровости к малейшим слабостям равных ей женщин и людей. Особенно чтילה она род Потоцких. Раз сказала она мне: «Что за нужда, если торговля в Одессе упадет; есть знаменитая и богатая фамилия, которая ее любит и

поддержит: она всегда останется градом Потоцких». — Тем хуже, не вытерпев отвечал я: она превратится в Содом и Гомор. — С ужасом посмотрела она на меня.

К тому же она имела претензии на ум и на знания, коих в ней вовсе не было, выдавала себя за великую литераторшу, говорила, что пишет стихи, которых никому не показывает, и хотела было завести маленькое литературное общество. Туманский на то было подался, но Пушкин со смехом принял предложение....

По небольшому хотя числу названных мною в сем провинциальном городе высоких особ женского пола можно посудить, как много еще было в нём не названных мною образованных и приятных женщин.

Исключая двух столиц, нет ни одного города в России, где бы находилось столько материалов для составления многочисленного и даже блестящего общества, как в Одессе; а оно тогда как бы не существовало. Вообще Одесса была всегда, или по крайней мере долго, невеселым городом. Настоящий основатель её, дюк-де-Ришелье, был человек серьёзный; он искал одного только полезного и ду-

мал, что приятное придет после само собою: строил дома и магазины и не заботился о заведении рожиц, разведении лесных деревьев, кань бы не зная, что тень в степи есть райское блаженство. Не столько по его примеру, как по собственной охоте, и купцы поступали также: каждый из них жил особняком, проводя утро в заботах и трудах, отдыхал в семейном кругу и неохотно из него выходил. Некоторые из жителей имели вдоль моря спрятанные хутора; но и тут выгодному пожертвовано было приятное: в них насадили одни фруктовые деревья, некрасивые и высокого роста не достигающие. Посреди города, на весьма небольшом пространстве, был публичный сад; на него было отвратительно и жалко смотреть. С мая невозможно было в нём гулять; видел ли в нём кто зелень когда-нибудь, не знаю: густые облака пыли с окружающих его улиц всегда его обхватывали и наполняли; мелкие листки акаций и тополей, коими был он засажен, серый цвет сохраняли всё лето. И это было единственное место соединения для жителей и вечерних для них прогулок; за то никого в нём не было видно. Зимой

страшная грязь препятствовала сообщениям; о том одесситы мало заботились: это служило им новым предлогом, чтобы сидеть дома.

Одно увеселительное место, в коем собирались люди, был итальянский театр. Зачем именно итальянский, не могу сказать. Французский язык во всеобщем употреблении, его почти все понимают, и французскую труппу достать было бы легче и содержать дешевле. Кто были бешеные меломаны, которые подали мысль об итальянской труппе и упорно поддержали ее? Я, по крайней мере, их уже не нашел: все мне показались отменно равнодушными к музыке. Но уже так оно завелось, так оно и продолжается. Цены на места были самые низкие, и ложи все абонированы, по большей части негоциантами. Летом, во время морских купаний, приезжие, не зная куда вечером деваться, посещали театр и наполняли его. Негоцианты, всегда расчётливые, отдавали ложи свои гораздо дороже сим приезжим, так что в год приходились они им даром. Зимой не сами эти господа, а жены их исправно посещали театр: тут только могли они видаться друг с другом, переходить из ло-

жи в ложу, переговорить кой-о-чём, и всё это, как я сказал выше, ничего им не стоило. Не будучи музыкантом, я с некоторого времени, благодаря Россини, сделался страстным любителем итальянской музыки, и оттого не мог терпеть в ней посредственности, а тут всё было ниже её. Что сказать мне о певцах и певицах? Я видел в них кочевой народ, который, перебивав на всех провинциальных сценах, в Болонии, Сиенне, Ферраре и других местах, провозит к нам свои изношенные таланты. Через год, через полтора, их прогонят; но те, коих выпишут на их место, не лучше их. Я назову примадонну Каталани, оттого что она носила громкое имя и была невесткой (женой брата) известной певицы, да хорошенькую Витали, да тенора Монари, который пел довольно приятно, но так слабо, что в середине залы его уже не слышно было. Давали прекрасные оперы: *Севильского Цирюльника*, *Итальянку в Алжире*, *Сороку-Воровку*, но что за исполнение! А все согласно хлопали, хвалили. Так уже было принято: обычай, мода.

Не Ланжерону было заставить жителей Одессы отстать от принятых ими привычек:

они его не уважали, его бы не послушались, и при нем сохранили они весь прежний образ жизни. Улучшений по устройству города он также ввести не был в состоянии. Ему было весело, он был главным лицом, мог болтать сколько ему было угодно, его все слушали, а вечером всегда готова ему была партия виста или бостона.

В том состоянии, в коем Ришелье оставил Одессу, нашел ее граф Воронцов. К сожалению, должно сказать, что и он сначала мало помышлял о введении в ней общежительности. Казалось, что знатный помещик приехал в богатое село свое, начал в нём жить по-барски, судить крестьян своих по правде, искать умножения их благосостояния, но что до забав их ему нет никакого дела. Еще скорее можно было сравнить сие с житьем владельца немецкого герцога в малой столице: двор, его окружающий, достаточен для составления ему приятного общества. Однако же чиновники, служащие и отставные, выше в классах, невольное число помещиков и главные негоцианты, равно как и жены их, представленные графине, несколько раз в зи-

му приглашаемы были на полуофициальные вечера, на которых танцевали. Сколь ни лестно было сим господам находиться на таких вечерах, они охотно отказались бы от сей чести. Роскошь, только что приличная сану и состоянию графа, их пугала.

Но что по справедливости должно было приводить их в ужас — это богатые костюмы графини и подруги её Ольги, которые они беспрестанно меняли. Женщинам невозможно было не следовать, хотя издали, сим блестящим примерам. Графиня же без памяти любила наряды и не только на себе, но и на других, как сие было после, в другом месте. Оттого-то столь приветливо разговаривала она с посетительницами, и было о чём: о цвете, о покрое их платий. Но каково же было крохоборству, меркантильности отцов и мужей? Они, которые дрожали над каждым рублем, видя в нём зародыш сотни тысяч, должны были сотни сих рублей тратить на красивое и щеголеватое тряпье. Это более отдаляло их от приятностей общественных, чем привлекало их к ним.

Прибыль, барыш были единственною по-

стоянною их мыслью. Конечно, она приводит в движение как умы, так и большие и малые капиталы, и необходима для первоначального основания торгового города. Неужели Одесса не имеет и другого предназначения? Давно уже повадились мы ездить за границу, там находим теплый, благорастворенный климат, со всеми удобствами и приятностями жизни. Зачем бы не поискать в России места, которое всё это соединяло бы в себе? Да где же бы? В Киеве; но находят, что там еще довольно холодно. Подольская губерния, рай земной; но как в него попасть? Поляки мешают русским в нём селиться. Остается только берег Черного моря: на нём возник и быстро вырос молодой город со всеми недостатками молодости. Искусный правитель мог бы их исправить; стоит только приложить хорошенько к нему руки, и он заменил бы нам Флоренцию и Ниццу. Об этом после много думали; к сожалению, поздно; привычка едва ли не сильнее природы, и мы более чем когда таскаемся в Южную Европу.

Говоря о недостатках города, в котором было более тридцати тысяч жителей, когда я

узнал его, надобно их означить. В нём не было того, что можно найти во всяком даже небольшом губернском городе: в нём не было так называемого благородного собрания или клуба, куда общество зимой еженедельно съезжается, чтобы повеселиться и потанцевать; не было простого клуба, где бы мужской пол длинные зимние вечера мог проводить за картами. В нём не было того, что необходимо для всякого торгового города: в нём не было биржевой залы: для совещаний, сделок, установления цен на пшеницу, купечество собиралось на небольшой площади перед театром или в гадком закопченном казино, где ни пройти, ни дохнуть от сильного табачного дыму не было возможно. В нём не было того, что находишь на всех минеральных водах и местах для морских лечений: не было купален, ни галереи для прогулки. Ни в городе, ни загородом не было такого места, где бы после удушливого, знойного дня можно было освежиться вечерним воздухом, и где бы знакомые и приезжие могли встретиться и беседовать[42]. Ничего, кроме денег, не нужно было жадным и негостеприимным купцам Одессы.

Из свиты графа никого не приглашали они к себе, и таким образом совсем отделяли городское общество от того, которое почитали придворным. Сия новорожденная колония при Ришелье, а еще более при Ланжероне, была демократическою республикой; Воронцов, как отблеск трона, поразил и ослепил ее. Жаловаться никто не смел, не было к тому ни малейшей причины; но сначала втайне все были недовольны этой переменою.

Эту зиму в Одессе находилось несколько важных людей. Все они были равного чина с графом, все в той же Александровской ленте, и все начальствовали над частями от него независящими. Он не старался воздыматься над ними, а целою головою казался их выше. Оттого ли, что он был богаче их? Ни мало: от природы получил он счастливый дар заставлять без усилий равных себе признавать его превосходство.

Двое из них были искренними его приятелями. Одного, вице-адмирала Грейга, знал уже я в Николаеве; с другим, корпусным командиром Иваном Васильевичем Сабанеевым, тут имел я честь познакомиться. Он был

маленький, худой, умный и деятельный живчик. Не думая передразнивать Суворова, он во многом имел с ним сходство. В армии известен был он как храбрый и искусный генерал, во время войны чрезвычайно попечительный о продовольствии подчиненных ему, которые при нём ни в чём не нуждались.

Третий, по наружности в самом добром согласии с Воронцовым, был тайный недруг его, граф Иван Осипович Витт. Был он сын гречанки Потоцкой от первого её брака. Полный огня и предприимчивости, как родовитый поляк, он с греческою врожденною тонкостью умел умерять в себе страсти и давать им даже вид привлекательный. Он великий был мастер притворяться; только в Аустерлицком сражении, в чине кавалергардского полковника, не умел он притвориться храбрым, и оттого должен был оставить службу и скрыться. Из сего поносного положения нельзя было выйти более счастливым и искусным образом. В 1812 году, когда вся Россия ополчалась, умел он из жителей берегов Буга набербовать два или три конных полка. С ними пришел он к армии во время совершенной ретирады

французов, и они успели еще смело преследовать бегущих, за что ему дан генеральский чин. После того из сих всадников образовано регулярное войско под его начальством; в две последующие кампании они везде отличились, вероятно и он с ними, ибо воротился обвешанный лентами и крестами. Учреждение военных поселений было для него счастливым событием: он полюбился Аракчееву, гораздо еще более самому Царю и назначен начальником сих поселений в Новороссийском краю. Тут в мирное время награды, почести сыпались на него еще обильнее, чем во время войны.

Избалованный первенец безнравственной матери, в ребячестве и в первой молодости, ничему не учился. Тем удивительнее казалось, что при его безграмотности он так сладко и так складно умел говорить. Всем изустным умел он пользоваться и в обществе всегда кстати вводить его в разговоры. Деятельность его умственная и телесная были чрезвычайные: у него ртуть текла в жилах. По наружной части под его руками всё быстро зрело и поспевало; за то в хозяйственную он по-

что совсем не входил, бумаги ненавидел, не только подписывал он не читавши, но уезжая из столицы своей, Вознесенска, подчиненным оставлял множество бланков. Можно себе представить, как они сим пользовались и какому расхищению подвергались казенные суммы. Оттого необходимо было входить в большие долги. Всё сходило ему с рук, и он вымаливал их уплату. Ко всем и особенно к женщинам, коих без памяти любил он, всегда ластился, и многие из них пленялись его черномазым лицом, сухотою и малым ростом. Всякого рода интриги были стихией этого человека. Преуспевая во всём, стал он добиваться звания Новороссийского генерал-губернатора. Тайные происки его против Ланжерона повели только к тому, что на сие место посажен Воронцов. Заметив досаду его, поручили ему наблюдать за поступками последнего, подозреваемого в либерализме; он неосторожно согласился, и многие о том узнали. Какие чувства должен был в графе возбуждать его надсмотрщик? Но образованность обоих, постоянная учтивость одного и угодливость другого ничего не давали замечать публике. Под-

чиненным графа это было известно, и они уклонялись от всякого знакомства с Виттом. Я не убежал его, но ему не для чего было искать меня. Года через три сие знакомство само собою сделалось, и оно мне было чрезвычайно приятно.

Еще был один Александровский кавалер, член Государственного Совета, граф Северин Осипович Потоцкий, который находился тут в отпуску, на отдыхе. Старший брат Ивана Осиповича, Сибирского нашего спутника, он гораздо любезнее его был в обществе, имел менее странностей, столько же познаний, воображение столь же живое и сверх того государственный ум, которого в том не было. Неподалеку от Одессы поселил он сотни две крестьян, сию колонию, деревню назвал Севериновкой и затеял в ней обширные виноградники. Сколь приятно было, говорили, посещать его там по его приглашениям, столь же ужасно было вкушать предлагаемое им и восхваляемое, на месте выделываемое, вино. Сия отдаленная ветвь Потоцких ничего кроме имени и происхождения не имела общего с Тульчинскими Потоцкими; к сожалению, од-

нако же посредством браков соединялась иногда с ними. Тогда я еще не был осчастливлен знакомством графа Северина; несколько времени спустя, удостаивал он меня особою благосклонностью.

Всего пробыв тогда около месяца в Одессе, не видел я ни одного бала; за то было три маскарада. Погода благоприятствовала городским увеселениям; ночью мороз сжимал и сушил грязь, днем солнцем обогретый по ней путь укатывался, сглаживался повозками, телегами, экипажами: сообщения делались возможными.

Первый маскарад был у графа 31-го декабря, дабы весело встретить наступающий 1824 год. Французы и другие иностранцы тут находившиеся называли его *reveillon*. В другом городе, внутри России, этот многолюдный маскарад показался бы великолепным и занимательным. Тут казалось, что люди в костюмах, по большей части, восточных, с улиц и площадей одесских собрались в зале у графа, разумеется, только в нарядах гораздо богатейших.

Другой маскарад был сюрприз, который

графиня Ланжерон в день Богоявления приготовила супругу своему: она никого не хотела приглашать, но всем знакомым изъявила желание, чтобы в этот день как бы невзначай наезжали к ней труппы маскированных, прибавляя, что для них все будет готово, — всё, даже хороший ужин. Чета Воронцовых, стараясь всячески утешить чету Ланжеронов в потере мнимого её величия, способствовала исполнению сего намерения, и сама приехала без зову. Г-жа Ланжерон прикинулась больною и бесила мужа своего, не позволяя ему ехать в гости. Когда явились первые маски, тогда только осветился дом, и приятная истина открылась старому французу.

Начальником Округа Путей Сообщения находился в Одессе генерал Потъё, товарищ Базена, о коих упоминал я в предыдущей части. Он был тут женат на дочери одного богатого овцеводца, девице Рувьё, добренькой, глупенькой и картавой француженке, которая без памяти любила светские увеселения и крайне в них нуждалась. Дабы дать понятие о простых шутках забавника вашего Золотарева, скажу я, что он прозвал ее генеральшей

Потеевой, что прозвание сие осталось ей и всех чрезвычайно забавляло. По знакомству с мужем и во время отлучек его посещал я сию Потееву, и мы стоворились вместе идти в этот маскарад. У неё нашел я весьма молодую девицу Фраполи, дочь одного чиновника, никогда из Одессы не выезжавшую. А со всем тем своею привлекательною наружностью, благородной осанкой, приличием в разговорах могла бы она украсить лучшее общество в Петербурге; в её характере было какое-то смешение мягкости с твердостью, смелость непорочности соединялась в ней с девственною скромностью. Марини влюбился в нее и после того был долго счастливым её супругом. Я подал руку г-же Потье, Марини — своей будущей невесте, и мы четверо поблизости расстояния отправились пешком. На мне сверх фрака был только тафтяный капучин, другие столь же легко были одеты, из чего можно видеть, что Крещенский мороз был не весьма силен. Вечер у Ланжерона был до того весел, что сама хозяйка забыла свою угрюмость и была со всеми отменно любезна.

В день рождения императрицы Елисаветы

Алексеевны, 13-го января, попытались сделать публичный маскарад в театре за деньги. Графиня Воронцова с Ольгой своим присутствием надеялись заманить публику и засели в своей ложе; но зала была почти совершенно пуста, и выручки не было достаточно на её освещение. Расчетливые одессане всё еще убегали от шумных забав.

Я надеялся, что представлением Записки о Бессарабии должна окончиться моя миссия, и что туда уже более я не ворочусь. Напротив: к счастью или в несчастью, граф возымел высокое мнение о моих способностях и нашел, что я в сем краю необходим. «Вы на опыте показали, говорил он мне, как пристально умеете вы вникать в предметы; всё более и более приобретаемые вами сведения мне будут светить в этом хаосе; будьте же там моим глазом и моим ухом. Конечно, это сопряжено для вас с великими жертвованиями, но разве они не будут вознаграждены?» Тогда, хотя не весьма ясно, дал он провидеть губернаторское место.

Вскоре начал он нудить меня отправиться обратно, ибо сам намерен был на короткое

время побывать в Кишиневе (кто знает, может быть, чтобы поверить мои показания) и хотел непременно меня там найти.

Х

Бессарабские дела. — Царане. — И. Н. Инзов. — Полхрония.

До Днестра, 24-го января, ехал я небольшою грязью. На другой день, переехав сию реку, до самого Кишинева, видел поля и пригорки, покрытые снегом, в иных местах столь глубоким, что на санях удобнее бы мне было проехать чем на колесах. Узкие улицы Кишинева тонули в грязи, а на площадях лежал снег. К вечеру 26-го числа приехал граф в сопровождении одного Лекса и остановился в одном частном доме, нескоро ему приготовленном.

Всякий день присутствовал он в Верховном Совете и обедал со мною и с Лексом, втроем. После обеда являлся всегда третий заговорщик, правдивый и опытный вице-губернатор Петрухин. Он в короткое время успел уже в своей Казенной Экспедиции ввести со-

вершенный порядок, поставить ее на ногу других Казенных Палат и наполнить места советничьи людьми русскими, способными и ему известными.

Меры, им предлагаемые, невозможно было отвергнуть. Множество поборов, так сказать, косвенные налоги, под названиями *дажди*, *вадрарита*, *погонарита* и другими, были чрезвычайно отяготительны для жителей. Едва пятая доля поступала в казну, прочее оставалось в руках сборщиков. Он предложил заменить всё это прямым налогом, по десяти рублей ассигнациями с души. Счет на *махмудие*, *левы*, *рубие*, *пари*, на коих курс беспрестанно менялся и часто упал, были чрезвычайно затруднительны и производили большую путаницу; он старался перевести его на русские деньги и сии последние по возможности вводить в общее употребление. Таким образом турецкие и молдавские названия и система сборов начали исчезать.

Почтовая часть находилась в самом жалком состоянии. Она ужаснула графа, когда летом проезжал он Буджак: во время засухи, после получасового дождя, лошади с трудом

могли взвести его на пригорок. Срок контрактам с содержателями почт приближался, и он сам пожелал, чтобы русская езда заменила молдавскую, и чтобы на всех станциях заведены были тройки и кибитки. Один Тирасполь поставил половину ямщиков на всю область. Куда девались каруццы и суруджи? Все сгинули.

Следуя прежнему порядку, расстояния рассчитывались по условленным часам езды, и по сему счету платились прогоны; а между тем вся Бессарабия размежевана была уже на версты. Граф вспомнил Мобёж и как во Франции ставил он русские верстовые столбы, тут имел он более права сие сделать и не преминул тем воспользоваться. В одной Буджацкой степи, по безлесию, исполнение встретило некоторые затруднения; но и там через полгода явились сии деревянные знаки русского владычества.

Все эти перемены, невидимому, маловажные, однако же неприметно и неизбежно вели к другим, гораздо важнейшим. Граф не имел еще твердого, решительного намерения на счет будущего устройства сего края, но

ежедневные толки и совещания с тремя советниками сильно его поколебали. Впрочем, об увлекаем был и собственными распоряжениями.

Я не упомянул об одном важном подвиге, ознаменовавшем начало служения моего в Кишиневе; здесь необходимо говорить об нём.

Исключая казенных имений, во всей области была вольная продажа вина и водки; казенные же имущества заключались в бывших турецких крепостях и в небольшом пространстве окружающих их земель. В 1819 году питейная в них продажа отдана была Казенною Экспедицией или скорее г-жею Бахметевой на откуп или на *комиссии*, сроком на один год, два раза упомянутому мною Варфоломею. Через три месяца уже он был совершенно неисправен в уплате откупной суммы, и пребольшая выросла недоимка. Откуп был у него отобран, и Казенная Экспедиция сама вошла в распоряжение сим делом. При всех беспорядках, при всём хищничестве употребленных на то чиновников, в девять месяцев выручена была такая сумма, что если бы Варфо-

ломей занес сполна с него следуемое, недоимки бы не было. Не явное ли тут мошенничество? Ленивый молдаван хотел как можно более захватить денег и, немного поделившись с высшими особами, остаться покойным. Однако же при Инзове началось о том дело, но не подвигалось: Варфоломей защищал себя словом *комиссия* и утверждал, что он действовал более как комиссионер, нежели как откупщик, и что только по первому званию представлены были от него залого.

Великое движение, которое производству дел дано было приездом нового наместника, и сие дело выдвинуло из забвения. Варфоломей, в доме которого нанята была для графа квартира, первый встретил его с приветствиями и первый был им обласкан; от того ожидал он себе великих успехов. Члены Совета, почти все из бояр, смотрели на него с пренебрежением, как на человека, недавно из ничего вышедшего, смеялись над его мещанским тщеславием и роскошью, но отнюдь не питали в нему зависти и злобы; особенно же вице-губернатору Крупенскому было бы выгодно, если бы дело его кончилось в его поль-

зу; а он уверял, что все они его недоброжелатели и что он страшится их суда. Когда я приехал в сентябре, моя физиономия ему понравилась, и я, не имея о нём понятия, по зову его, обедал с Казначеевым в загородном его доме, кише или хуторе, Мунчештах. Надобно полагать, что он видел во мне простяка, которого легко можно заласкать и задобрить. В просьбе, поданной графу, изъявил он желание, чтобы дело его поручено было особому моему рассмотрению и чтобы по сделанной мною о нём выписке, вместе с мнением моим, представлено оно было в Совет. Граф, не сказав мне ни слова, второпях согласился, подписал о том приказание и ускакал в Хотин. За отсутствием его, ни отказать, ни даже отговариваться мне не было возможности.

Я ахнул, когда мне о том сказали: никогда еще с откупными делами я не встречался, и по привычке часто говорить русские пословицы, я воскликнул: «первый блин да комом!» Я вытребовал дело, и оно ужаснуло меня своею огромностью. Я стал его рассматривать, и оно показалось мне тарабарскою грамотой, которой я никогда не разберу. Однако же чего не

одолеют терпение и внимательность? Хотя, как и во всяком нашем судопроизводстве, истина была тут потоплена в многословии, но не так глубоко, чтобы не мог я ее выудить. Главное затруднение для меня состояло в изложении обстоятельств дела; с приказною фразеологией я был совсем незнаком; но и тут судьба пришла мне на помощь.

Я заметил в Совете одного молодого протоколита, лет двадцати шести, рябоватого украинца, который, за неимением тогда секретаря по русской части, иногда докладывал дела. Добродушие было написано на откровенном лице Владимира Моисеевича Складенки, и весь он исполнен был живости. Когда он входил в объяснения, приятно было его слушать и понимать легко. С отроческих лет употреблен был он в нижних судах Малороссии; с его понятливостью приобрел он великий навык в делах, и в молодости мог уже почитаться в них докой. Как он попал в Бессарабию, не знаю; только я заметил, что ничьим покровительством он в ней не пользуется. Я пригласил его к себе, показал ему бумагу, на которую набросаны были мысли мои

о предстоящем мне деле и попросил его составить по ним в законной форме записку, на что он охотно согласился. Исключая некоторых моих поправок, выписка из дела может почитаться более его творением, чем моим.

А между тем с хозяином моим, Варфоломеем, превратил я всякие сношения, что не мало должно было его удивить; я хотел казаться беспристрастным, а может быть втайне негодовал за взваленный на меня труд. Я ни с кем не советовался и кроме Скляренки никому мнения своего не открывал. Как ни малосведущ я был, однако меня изумило совершенное отсутствие мер предосторожности, принимаемых в таких случаях. С 1819 года не было наложено запрещения на представленные залогом, которые, сверх того, не стоили и половины того, во что были оценены: казна ничем не была обеспечена. Удивительно, как откупщик не догадался; как, не обременив долгами недвижимые свои имущества, движимость и капиталы не перевел он за границу. На такие упущения не оставил я указать в донесении своем. Работа наша была окончена еще к 20-му декабря; но я отправлялся в Одессу, и пред-

ставление её отложил до возвращения моего.

Весьма кстати случился тут граф, который любил действовать быстро и решительно. Совет испугался ответственности, которая и на нём могла лежать, особенно когда с наросшими процентами сумма, следуемая ко взысканию, оказалась огромною. Все единогласно согласились с моим мнением. Полицмейстеру велено в тот же день описать движимое имущество Варфоломея, которое было не маловажно, ибо отчасти состояло из шалей, алмазов и жемчугов. Как громовым ударом был поражен бедный Варфоломей; но что мне было делать? Я действовал по совести и законам.

Начальникам всегда любил я говорить сущую правду и не скрыл от графа участия; которое в сем деле принимал Скляренко. Со времени назначения поляка Подгурского в должность областного прокурора, место секретаря по русской части в Совете шесть месяцев оставалось праздным. Место сие временно занимал и метил на него полячек Михневич, человек самый неспособный, молдаванами не любимый, но сильно поддержанный Кури-

ком и жидовско-польской партией. На сие место предложил я Скляренко, граф тотчас согласился и подписал о том бумагу. Когда я принес ее в Совет, то заметил великое смущение между членами. Наконец, Прункуль сказал мне: «Мы не можем не одобрить выбор графа, мы сами готовы бы были то сделать; но тут нарушен порядок: на места в канцелярию Совета, согласно образованию, чиновники не иначе могут быть назначаемы как по его определениям». Я было совсем о том забыл и отвечал: «Ну что же? Это должно приписать неведению графа; а как он не любит сознаваться в неведении, то протест Совета, если бы он был сделан, может его с ним поссорить». Тем дело всё и кончилось.

Не с большим неделю прожил граф в Кичиневе, и пребывание его было полезно для весьма многих дел. Он поступал благоразумно, справедливо, но признаться должно, довольно самоуправно. Устройство края, улучшения во всех частях кипели в голове у нового наместника, и всё это отозвалось на мне. В продолжении двухлетнего моего тут пребывания, сколько учреждено комитетов, и во всех

посажен я был или председателем или членом. В действиях своих намерен я здесь дать верный отчет как самому себе, так и другим. Труды свои, совершаемые постепенно, дабы не смешивать их с происшествиями, хочу представить здесь разом. По я должен наперед отбросить всю совестливость, дабы нахвастаться вдоволь и потом опять за нее приняться.

Во всех наших губернских городах были уже строительные комиссии; в Кишиневе было тоже нечто под сим названием. Но как было строиться? Молдаване были твердо уверены, что в Кишиневе не может остаться постоянное местопребывание Областного Правления и ставили только небольшие домики, окружая их плетневыми заборами, хотя многие из них за дорогую цену были наняты для казны. Десять процентов со всех областных доходов Государь пожаловал краю для устройства дорог, для общепользных заведений и для украшения городов. Сумма должна была значительно умножиться, но Крупенской, дабы скрыть накопившиеся недоимки, к ним причислил и сей десятипроцентный

сбор. Когда он оставил место, всего на лицо было его только десять тысяч рублей ассигнациями и, исключая острога, не было ни одного казенного строения.

Везде губернаторы заведуют строительною частью; тут захотелось графу меня назначить председателем так называемого Строительного Комитета, и добрый Катакази отнюдь этим не обиделся. Членами посажены областной землемер, исправляющий должность областного архитектора, Азмидов, который свое дело очень хорошо знал, но в архитектуре ничего не смыслил, архитектор, которого Бог весть как я выкопал и о котором еще речь впереди, да еще один депутат от дворянства Дониц и другой от купечества, которого названия не помню. Я открыл первое заседание, а потом на неопределенное время отложил второе.

Во время молдавского управления, даже в последние дни Потемкина, когда тело его провозили чрез Кишинев, был он небольшое селение, с одною каменною церковью, с двадцатью вокруг неё уцелевшими от пожара небольшими домиками и с сотнею обгоревших. После Ясского мира народонаселение

стало опять умножаться; но жители, строя вкривь и вкось, все лепились вдоль небольшой речки Быка. Сие местечко принадлежало Св. Гробу; доходы с него собираемые были весьма маловажны, и патриаршество Иерусалимское добровольно уступило его Государю. Когда в смутное для России время приобретен сей край, то вся власть над ним предоставлена местному начальству. Два старика, митрополит Гавриил и губернатор Стурдза, избрали Кишинев (в котором было уже до полутора тысяч жителей), по центральному его положению, местом пребывания своего. Особенно первый на теме горы, на монастырские и другие церковные деньги, поспешил выстроить Семинарию в два с половиною этажа, да большой каменный архиерейской дом, который и назвал митрополиею. Тем решилась судьба нового города. Когда мы приехали в 1823 году, семь или восемь каменных домов торчали посреди сотен лачужек.

Более всего сначала привлек на себя внимание мое городской сад или, лучше сказать место, для него отведенное. Известно как император Александр любил природу, деревья,

как везде воспрещал он их порубку и как везде споспешествовал их насаждению. Все посещенные им губернские города украшались бульварами, скверами, садами. Будучи в Кишиневе, он изъявил удивление, как в столь благообразном климате никто о том не подумал. Польша Бахметева нашла что ему отвечать: она уверила его, будто такое было у них намерение, только, в тайне ожидая его, надеялись, что он сам изволит избрать место для публичного гулянья, которое потом останется памятником кратковременного его пребывания. Государь согласился и указал на просторную поляну, вблизи от архиерейского дома и сада. За дело взялись горячо, обнесли место низким забором и засадили деревьями. На беду бесплодный Инзов, который почитал себя великим натуралистом, у себя в кабинете под стеклянными колпаками берег разного рода и величины растения и деревцы, о сохранении насажденных совсем не заботился. По воле графа, сие при самом рождении погибшее дитя отдано было под мою опеку.

С ужасом взглянул я на сие полумертвое

чадо. От тридцати до сорока белых акаций и тополей разбросано было на большом пространстве; овцы и короны спокойно разгуливали по нему, ибо по небрежности в заборе сделались отверстия. Я велел заделать их, а животные, по доброму согласию у меня с полицеймейстером, были забираемы и отсылаемы в острог, для прокормления содержащихся в нём. Жители возроптали, вознегодовали; но я устоял на своем и бедный сад навсегда избавил от вредных посетительниц. У города ежегодно выпросил я по шестисот левов на поддержание и умножение плантаций; половину отдал я садовнику, немцу колонисту, влюбленному в свое ремесло, которого сам Ног мне послал. В первый год мы задолжали, в следующий расплатились. Чего не делает бережливость! На небольшую сумму, бывшую у меня в распоряжении, в углу сада поставил я избу для жительства садовника, а он перед нею устроил великолепный цветник, роскошь дотоле неизвестная жителям Кишинёва. В лощинах посадил он липы, и вообще в первый год все аллеи засажены были деревьями, которые все принялись на другой. С

необыкновенным удовольствием вспоминаю я об этом месте, где, по словам приезжих, давно уже теперь прекрасная роща.

Чрезвычайно озабочивала графа чистка реки Быка. По широкой долине, над которой с одной стороны возвышался Кишинев, сей ручей более чем речка протекал медленно беспрестанными большими изгибами, можно сказать метался из стороны в сторону. Сего нельзя было заметить, ибо в двух местах он был запружен. По азиатскому обычаю, в эти пруды валили мертвых кошек, собак, лошадей, да сверх того в них сливались помои и всякого рода нечистота из нижней части города. От того-то нестерпимый дух, коим поражено было мое обоняние при первом въезде в Кишинев. Всё лето и большую часть осени зловредные испарения производили ужасные повальные лихорадки между прибрежными жителями, и смертность умножалась. Как помочь было этой беде? Надлежало в самой середине долины прорыть не широкий и прямой канал: вода, в него втесненная, стала бы быстро протекать чистой струей. Граф поручал Погьё и другим одесским инженерам ис-

числить во что может обойтись такая операция, и эти господа, привыкнув делать всё на широкую руку, составили смету в двести тысяч рублей ассигнациями. «Ну где мы их возьмем?» печально сказал мне граф. Через несколько времени доложил, я ему, что нашел артиллерийского капитана Эйтнера, который женился, вышел в отставку, живет без дела и берется всё это произвести, даже камнем выложить канал, за весьма умеренную цену, всего за восемнадцать тысяч левов. Хорошо граф сделал, что согласился, поверил мне и поручил этим заняться. Пришлось уничтожить две мельницы, которые городу никакого почти не приносили доходу; а жителей между тем это заставило кричать. В январе несколько дней сряду случайно доходило до двенадцати градусов мороза; я этим воспользовался и велел пробить первую плотину, на которой с Эйтнером я сам находился при спуске воды. Несмотря на мороз, едва мог я выстоять двадцать минут: до такой степени сильно было зловоние. Когда стаял лед, начали от костей очищать место; оставшаяся свободная земля, удобренная, унавоженная, от-

дана под огороды и стала приносить городу втрое более чем сломанные мельницы. Уже в июле, во время жаров, число больных уменьшилось более чем наполовину против того что было даже зимой. Самое производство работ началось при мне, но без меня уже кончилось. Не знаю право, хотя единственный человек сказал ли спасибо графу и тем, коих он употреблял?

В самой верхней части города, позади архиерейского дома, не знаю по чьему плану, разбиты были большие кварталы и обозначены обведенною вокруг них малою канавкою; они оставались почти незаселенными. В самой же нижней части владельцы не имели никакого законного права на участки, кои занимали; строились по словесным дозволениям. Странно и жестоко показалось жителям воспрещение строить вновь и починять дома без письменного дозволения от Комитета. Они не хотели слушаться, а я с помощью того же полицеймейстера велел ломать новые, самовольные постройки и между прочим одну пивоварню. Взамен лачужек, кои без починок года через два должны были повалиться и на

доскутке земли, им не принадлежащей, предлагал я жителям пространные места в новых кварталах, где могли бы они заводить сады и на владение коих получали бы они документы. Только два или три человека на то согласились. Нет сомнения, что с соблюдением постоянных мер, а может быть и с помощью пожаров, сие переселение через несколько лет могло бы совершиться. Но после меня никто не хотел о том помышлять, и всё оставалось в прежнем виде.

От областного землемера получил я составленный им самый верный план Кишинева. Не касаясь до верхних кварталов, без большего труда по прочим стал я проводить прямые линии карандашом и поручил областному архитектору начертить по ним новый план регулирования города. Через графа план этот представлен был Государю, который приказал отправить его к управляющему Министерством Внутренних Дел Ланскому, заведовавшему тогда и Бессарабскою частью; а тот, не знаю с чего, передал его в Департамент Государственного Хозяйства и Публичных Зданий. Там пролежал он более семи лет, и мне

не пришлось выручить его оттуда. Он утверждён, приводится в исполнение, по нём строится Кишинев и, как уверяют, весьма украшается.

Самое важное поручение сделанное мне графом было составление проекта постановления об обязанности и правах царан и помещиков. В Бессарабии, равно как и во всей Молдавии, хлебопашцы суть вольные люди. Утверждали однако же, что житье их хуже чем у Негров. Дворянское достоинство, там где нет дворян, не могло давать исключительного права на приобретение земель; покупал их тот, у кого были деньги и к какому бы состоянию ни принадлежал, и живущие на них были к владельцам в том же отношении, что наемщики к хозяевам; за землю должны были платить им работою и деньгами. Везде слабые подвластны сильным и бедные богатым. В совершенном согласии между собою и с исправничествами, несмотря на законами ограниченные обязанности царан, владельцы угнетают их, обременяют тягчайшими работами, иногда не оставляют им ни копейки, так гласили наши европейцы. С живостью

молодости, не совсем во мне потухшей, охотно приступил я к новому, мне незнакомому труду. Вот случай, подумал я, облегчись, может быть, участь тысячей мне подобных людей! Я тогда желал уничтожения крепостного права и в этом смысле только мог почитаться либералом.

Прилежно начал я рассматривать в переводе постановления по сему предмету молдавских господарей, также проект Верховного Совета и, наконец (что не совсем было) проект, составленный самим генералом Инзовым и препровожденный на рассмотрение к графу Кочубею. В этом рукописном фолианте каждая глава начиналась проповедью и каждая статья содержала в себе длинное нравоучение[43]. Я не торопился с окончанием работы: наперед старался добывать нужные сведения и не раз сам ездил в окрестные селения. Везде встречал я довольство и благосостояние. Этим жителя были обязаны не чрезмерной снисходительности помещиков, не собственному трудолюбию, а чрезвычайному плодородию земли. Вообще в молдавских крепостянах нет бесчувственности Чухонцев, а

скорее лень и флегматическое спокойствие малороссиян, с коими и в обычаях имеют много сходства. Познав всю истину, принялся я за свой проект, над которым хотелось мне поставить эпиграфом: чтобы волки были сыты и овцы целы. Я представил его графу, который продержал его несколько месяцев, многим давая его на рассмотрение, и потом без всякой перемены препроводил его в Совет, с которым в это время были у меня ужаснейшие несогласия. Члены его полагали, что вероятно из мщения принесены мною в жертву их выгоды; но увидели противное и скоро также без всякой отмены одобрили проект. Послали его в Петербург, где пролежал он годы, не обращая на себя никакого внимания. После того с переменою обстоятельств неоднократно подвергался он изменениям. Это дело совсем потерял я из виду, забыл об нём, не брал труда узнавать о его участи и о сю пору ничего о том не знаю.

Более хлопот, но менее труда и соображений, стоило мне другое немаловажное дело, которым я должен был заняться. Учреждена Областная Комиссия, составленная из област-

ного предводителя дворянства, двух членов Совета и меня; и ей поручено сделать первую ревизию жителям Бессарабии. Ей подчинены были шесть цынутных комиссий, и в каждую из них отправлено было по одному русскому чиновнику, который, по данным ему письменным наставлениям и с помощью исправника, должен был производить верную и точную перепись поселенным в цынуте. Дело-производство было на русском языке, которого сочлены мои вовсе не знали; от того они ни во что не мешались, и не знаю, собирались ли мы всего раза два: следственно и тут всё возлегло опять на мне. Мне же предоставлен был и выбор чиновников, в чём не встретил я большего затруднения: множество военных, весьма порядочных людей, скуки ради, переженились на молдаванках, в надежде на богатое приданое, и вышли в отставку. Они ошиблись в расчётах, жили скудно и ничего так не желали как быть употребленными по гражданской части. Я принялся за них, и все оправдали мои ожидания. Между ими один особенно оказал себя ко всему способным, майор Калакуцкой, человек умный и

благородный; из них его только имя и особа сохранились в слабеющей памяти моей. Под разными наименованиями мазылов, рупташей, резешей и другими, люди, принадлежащие почти все к одному состоянию, наполняли Бессарабию; при переписи затруднительно было следовать этой классификации. С согласия графа показаны они все под простыми русскими названиями мещан и поселян; и вот еще великий шаг к упразднению молдавских обычаев. Помнится мне, что во всей области, исключая колоний, насчитано жителей до четырехсот пятидесяти тысяч обоего пола; в одном городе Кишиневе было уже их двадцать шесть тысяч.

Мало ли куда еще был я приткнут, но о том не стоит говорить; ибо по другим частям я мало или вовсе не занимался. Между прочим, например, поручена мне была графом вместе с вице-губернатором ревизия счетов и дел Казенной Экспедиции за время управления его предместника, но в таком случае содействие мое Петрулину было бы только помешательством.

Были однако дела, к коим приплелся я са-

мовольно. Граф, как и все тогда, пленялся успехами европейского просвещения и желал начала его распространить в сей полуазиатской стране. Для того спешил он завести Ланкаторские школы взаимного обучения и весьма удачно поручил сие дело ректору семинарии, архимандриту Иринею, человеку пылкому, сведущему, исполненному святости без изуверства. Я свел с ним тесную дружбу, и не раз придется мне говорить об нём, а может быть и о печальном конце его духовного поприща. Я принял в сем деле живейшее участие, как будто бы оно мне было приказано; а от чего? Мне хотелось убедить Иринея (в чём я и успел), что лучше будет молодых молдаван первоначально учить русской азбуке, русскому чтению, а молдавское пока оставить. Везде хотелось мне тут водворить Россию.

Как некогда Киев, в это время Кишинев был богат высшими духовными сановниками. Не знаю, следует ли называть иноверного Армянского архиепископа; но у него не было никакой веры, и он по наружности насильно приписывался и прилипал к господствующей. Везде было его видно, и он всех у себя

угощал. За то, во время совершаемого ими богослужения, можно было только видеть двух Григориев, греческих архиепископов, Гиерапольского и Иренопольского, спасшихся бегством от турецких гонений. Третий Леонтий Ламбрович, митрополит Сербской, как уверяли, муж твердого характера, также преследуемый турками, жил совершенно под спудом. За отсутствием епархиального архиепископа Димитрия, находившегося в Петербурге на очереди, между ими весьма естественным образом сажную роль играл архимандрит Ириней. Архиепископ же Димитрий, человек умный и правдивый, по слабости человеческой, желая угодить Голицыну, господствовавшему до мая 1824 года, всеми мерами в Кишиневе поддерживал Библейское Общество, которое в Петербурге начинало уже разрушаться.

В этом деле не только содействовал ему, но и руководствовал им Иван Никитич Инзов. Рассеянные в сих Записках черты характера его должны были ознакомить с ним; нахожу однако необходимым обстоятельнее говорить об этом человеке. Глубокая тайна покрывает его рождение. Приемышем вырос он в доме

Трубецких, которые дали ему наречение *Иной Зов* или *Инзов*. Братья князя Трубецкие, Юрий и Николай Никитичи, люди ума весьма слабого, увлечены были учением Николая Новикова, покровительствуемого фельдмаршалом князем Репниным. С малых лет воспитанника своего посвятили они в мартинизм, и от того при Екатерине был он долго старшим адъютантом Репнина. Время открыло важную тайну всех этих германских философски-религиозных сект, которые дышали чистейшею любовью к человечеству и привели его к чистейшему, грубейшему материализму. Слепление их первых последователей не доказывает большего ума, но не дает права подозревать их в безнравственности. От природы гневный и самолюбивый Инзов старался в себе убить сии страсти, а тем ослабил свой характер и остался просто зол и в тайне раздражителен. Слабости однако не показывал он в виду неприятеля: в царствования Павла и Александра неоднократно бывал он в сражениях, всегда отличался храбростью и самому себе обязан был дальнейшими успехами по службе. По замирении его тянуло к

покою и мирным занятиям; согласно его желаниям, дано ему место главного попечителя колоний Южного края, не совсем соответствующее его генерал-лейтенантскому чину, и он поселился в Екатеринославе, где находилось центральное управление колоний.

Прибытие к нему под надзор вольнодумца Пушкина было как бы предвестием наступивших для него бурных дней. Религиозные его чувства, которых настоящим образом не понимали, наружная его кротость были известны Стурдзе, ревнителю веры, и он на место Бахметева через Каподистрию, а может и с помощью Голицына, выпросил, чтобы его назначили временно исправляющим должность Бессарабского наместника, не отнимая впрочем у него и колониального управления, которое вместе с собою перевез он в Кишинев. Не прошло двух лет, как, вследствие отбытия Ланжерона, по соседству поручили ему и весь Новороссийский край. Душевные силы были давно им самим придавлены, телесные силы начали оставлять его, а как он добросовестно принялся за исполнение своих обязанностей, то решительно можно сказать, что из-

немогал под бременем дел и сперва обрадовался назначению Воронцова.

Тогда в Кишиневе было поветрие любить меня; надобно полагать, что и он подвергнулся сему не весьма пагубному влиянию: иначе как объяснить внезапную его ко мне приязнь? Я не искал его знакомства, не бывал у него, встречаясь, только что почтительно кланялся, а он осыпал меня нежнейшими ласками. Наконец, решился он позвать меня к себе обедать, что после того нередко повторялось. Суждения его были правильны, рассказы любопытны, и беседы наши бывали приятны для обоих. Иногда скажет он что-нибудь совсем несогласное с моими мнениями, я замолчу: с ребячества приучен я был уважать старость и не позволять себе входить с нею в споры. Ныне никто не даст соврать старику; даже тот, кто сам вовсе ничего не смыслит. Весьма неприятно мне было в Инзове отращение его всего отечественного, порождаемое обыкновенно заграничною мечтательностью. Он терпеть не мог наш простой народ и ненавидел его наряд. В то же время говорил он с особым уважением о бородах мол-

давских бояр, называя их патриархами. «Да ведь и у наших мужичков есть также бороды», заметил я ему. «О, да это совсем другое дело», отвечал он.

Тайна ласк сего совсем непритворного человека открылась мне наконец. Он увидел во мне чудное орудие, насланное судьбою в Бессарабию для поддержания и усиления Библейского Общества, во мне, которому так известна была цель его! Я дал ему себя запасать членом, но извиняясь множеством дел, не отвечал ни на одну из присылаемых мне бумаг, дабы нигде и подписи моей не было видно. Я смело могу сказать, что совершенно неповиновен в действиях сего общества.

Нередко, разговаривая со мною, вздыхал он о Пушкине, любезном чаде своем. Судьба свела сих людей, между коими великая разница в летах была малейшим препятствием к искренней взаимной любви. Сношения их однако сделались сколько странными, столько и трогательными и забавными. С первой минуты прибывшего совсем без денег молодого человека Инзов поместил у себя жительство, поил, кормил его, оказывал ласки, и

так осталось до самой минуты последней их разлуки. Никто так глубоко не умел чувствовать оказываемые ему одолжения, как Пушкин, хотя между прочими пороками, коим не был он причастен, накидывал он на себя и неблагодарность. Его веселый, острый ум оживил, осветил пустынное уединение старца. С попечителем своим, более чем с начальником, сделался он смел и шутлив, никогда не дерзок; а тот готовь был всё ему простить. Была сорока, забавница целомудренного Инзова; Пушкин нашел средство выучить ее многим неблагопристойным словам, и несчастная тотчас осуждена была на заточение; но и тут старик не умел серьезно рассердиться. Иногда же, когда дитя его распроказничается, то более для предупреждения неприятных последствий, чем для наказания, сажал он его под арест, т. е. несколько дней не выпускал его из комнаты. Надобно было послушать, с каким нежным участием и Пушкин отзывался о нём.

«Зачем он меня оставил? — говорил мне Инзов, — ведь он послан был не к генерал-губернатору, а к попечителю колоний; никако-

го другого повеления об нём с тех пор не было; я бы мог, но не хотел ему препятствовать. Конечно в Кишиневе иногда бывало ему скучно; но разве я мешал его отлучкам, его путешествиям на Кавказ, в Крым, в Киев, продолжавшимся несколько месяцев, иногда более полугода. Разве отсюда не мог он ездить в Одессу, когда бы захотел и жить в ней сколько угодно? А с Воронцовым, право, несдобровать ему».

Такие печальные предчувствия родительского сердца, хотя я и не верил им, трогали меня. Я писал к Пушкину, что непростительно ему будет, если он не приедет потешить старика, умолял его именем всех женщин, которых любил он в Кишиневе, навестить нас. И он в половине марта приехал недели на две, остановился у Алексеева, и многих, разумеется в том числе и меня, обрадовал своим приездом.

Он заставил меня сделать довольно странное знакомство. В Кишиневе проживала не весьма в безызвестности гречанка-вдова, называемая Полихрония, бежавшая, говорили, из Константинополя. При ней находилась мо-

лодая, но не молоденькая дочь, при крещении получившая мифологическое имя Калипсо и, что довольно странно, которая несколько времени находилась в известной связи с молодым князем Телемахом Ханджери. Она была не высока ростом, худощава, и черты у неё были правильные; но природа с бедняжкой захотела сыграть дурную шутку, среди приятного лица её прилепив ей огромный ястребиный нос. Несмотря на то, она многим нравилась, только не мне, ибо длинные носы всегда мне казались противны. У неё был голос нежный, увлекательный, не только когда она говорила, но даже когда с гитарой пела ужасные, мрачные турецкие песни; одну из них, с её слов, Пушкин переложил на русский язык, под именем Черной Шали. Исключая турецкого и природного греческого, хорошо знала она еще языки арабский, молдавский, итальянский и французский. Ни в обращении её, ни в поведении не видно было ни малейшей строгости; если б она жила в век Перикла, история верно сохранила бы нам имя её вместе с именами Фрины и Лаисы.

Любопытство мое было крайне возбужде-

но, когда Пушкин представил меня сей деде и её родительнице. В нём же самом не заметил я и остатков любовного жара, коим прежде горел он к ней. Воображение пуце разгорячено было в нём мыслью, что лет пятнадцати будто бы впервые познала она страсть в объятиях лорда Байрона, путешествовавшего тогда по Греции. Ею вдохновенный, написал он даже известное, прекрасное послание к гречанке:

*Ты рождена воспламенять
Воображение поэтов,
Его тревожить и пленять
Любезной живостью приветов,
Восточной странностью речей.
Блистаньем зеркальных очей, и
пр.*

Мне не соскучилось у этих дам, только и не слишком полюбилось. Не помню, ее ли мне завещал Пушкин, или меня ей, только от наследства я тотчас отказался. После отъезда Пушкина у этих женщин не знаю был ли я более двух раз.

Гораздо более полезным готов я был находить знакомство с матерью. По всему городу

носились молва о силе её волшебства. Она была упованием, утешением всех отчаянных любовников и любовниц. Её чары и по заочности умягчали сердца жестоких и гордых красавиц и холодных как мрамор мужчин, и их притягивали друг к другу. Один очевидец, если не солгал, рассказывал мне, как он был свидетелем её магических действий. Пифионисса садилась в старинные кресла, брала в руки прямой, длинный, белый прут и надевала на голову ермолку или скуфью из черного бархата с белыми кабалистическими знаками и буквами. Потом начинала она возиться, волноваться, даже бесноваться; вдруг трепет пробегал по членам её, она быстрее поворачивала прutom, произносила какие-то страшные слова, и седые волосы становились дыбом на челе её, так что черная шапочка от силы движения прыгала на поверхности их. Когда она успокаивалась, просящему о помощи объявляла, что дело кончено, что неумолимая отныне в его власти. Ну как было не желать посмотреть на такое зрелище? Я стал умолять старуху Полихронию, называя первое женское имя, которое пришло мне на память; все

убеждения мои остались тщетны. Она сказала мне: «В ваших глазах читаю я ваше безверие; а в таких случаях, как и во всем, вера есть главное дело!» Сие слово, почитаемое мною священным, в устах такой женщины показалось мне богохульством.

У Калипсо было много ума и смелости. Она написала красноречивое и трогательное послание к Константину Павловичу, и ей повезло: не только прислал он ей денежное пособие, но и рекомендательное письмо к графу Воронцову. Чтобы оказать особое уважение к высокому ходатайству Цесаревича, тот сам середь дня сделал ей церемонный визит. Он ужаснулся, когда ему растолковали, у кого он был. А между тем это посещение произвело важное действие на всех и особенно на её соотечественников, которые перестали её чуждаться. Другое обстоятельство еще более сблизило ее с порядочным обществом: узнав, что молдаване вдруг меня возненавидели, принялась она обременять меня проклятиями и выдавать себя за оставленную мною, обруганную жертву. Из мщения, желая досадить мне, и бояре стали при-

глашать ее к своим женам. Куда как это мне было больно и как лестно даром прослыть Тезеем носастой Ариадны! Следующей зимой находил я ее по вечерам у самой губернаторши Катакази. Нет, даже в петербургском высочайшем, самом лучшем *нынешнем* обществе, где везде встречаешь девиц Смирновых, сомневаюсь, чтобы этот классический разврат мог бы быть принят.

Первый раз в жизни встречая весну, на дальнем Юге, делал я свои метеорологические наблюдения и хочу ими заключить сию главу Я думаю, что сие мне простится: я так много имел предметов к описанию и всех коснулся; следственно не уподобят меня человеку, который, не зная что сказать, заговорит о погоде.

Пустившись гулять 20 февраля, как северный житель, сверх обыкновенного платья надел я холодную шинель. Я зашел далеко, теплота в воздухе начала увеличиваться до того, что ее можно было назвать жаром, и шинель моя сделалась мне не только лишнею, но невыносимою. Я решился зайти в ближайшее знакомое место, к отставному генералу Ивану

Марковичу Гартингу, первые годы управляющему Бессарабией, а тогда живущему в бедности и забвении; а как слуг у него было очень мало, то его самого просить о дозволении шинель у него оставить.

Весь март стояла теплая и ясная погода. Пространное поле на горе, примыкающее к городу, обратилось в ежедневное, общее гулянье. По середине его всякой день по вечерам бывали полковые ученья. Кругом в будках (так по-молдавски называются коляски) медленно тащились все те, кои имели их; коконы и коконицы, боярыни и боярышни по часам останавливались, чтобы посмотреть на ученье и поговорить с знакомыми, в других колясках, рядом с ними стоящих. Обычай сей не гулять пешком и не ездить, а стоять в экипажах, чтобы поглазеть и поболтать, называемый у них илимбари, мне показался очень глуп; я верно ошибся, ибо через несколько лет переняли его в Петербурге. Там где на поле не было вытоптано и разъезжено, довольно высоко подымалась уже густая трава, а вдали белелись яблонные деревья, на которых цвет показывается прежде листьев.

В день Светлого воскресенья, 6 апреля, был настоящий светлый праздник. Утром солнце даже палило; но, дабы день сей сделать совершенно приятным, в самый полдень, небо часа на полтора омрачилось, покрылось черными тучами. Великолепнейшая гроза, с блестящими молниями, сильными громовыми ударами и проливным дождем, не причинив никакого вреда, разразилась над Кишиневом. Потом вдруг всё просияло, всё высохло, и остаток дня можно было назвать райским.

XI

Князь Кантакузин. — Поездка к австрийской границе. — Разбои.

Мне известно было в Бессарабии только шестидесятиверстное расстояние между Бендерами и Кишиневым, и от того хотелось мне, да и нужно бы было взглянуть на другие части сей области. К тому представлялось легкое средство; стоило мне выпросить себе какую-нибудь комиссию и потом разъезжать на казенный счет; но, сам не знаю зачем, от чего и для чего, всегда жаль мне было казенных

и общественных денег. Совестно мне было предложить о том графу, а еще совестнее принять предложение областного предводителя Янко Стурдзы, который, намереваясь прогуляться в поместье свое на австрийской границе, упрашивал меня ему сопутствовать. Подумав немного, я однако согласился, ибо убытка тут никому не было. Конечно, по так ловко было мне сказаться Совету и Катакази, от снисходительности которого получил я даже на всякий случай паспорт за границу, чем отправиться вследствие поручения наместника. Так и быть, дело сделано.

Мы отправились во вторник после Светлого воскресения, 8 апреля, не так как в дорогу, а более как на званый пир. В сорока пяти верстах от Кишинева находится местечко, к коему столица сия приписана. Бывший городок Оргей дает свое имя пребольшему лесу, идущему от Днестра до Прута, вдоль берегов последнего и в цыноте своем или уезде заключает и довольно пространной областной город. В нём квартировал с Екатеринбургским пехотным полком командир оною, полковник Александр Филипович Остафьев, человек

предобрейший, приятнейший и благоразумнейший, которого, судя по связям его, считали либералом; если он им и был, то втайне и, как мне казалось, даже тайком от самого себя. Он был в самых хороших сношениях в Кишиневе со всеми порядочными людьми, из числа коих я себя выключить не хочу. До Пасхи уведомил я его, что мы будем к нему со Стурдзой, и по этому случаю назвал он и других гостей. Следственно пир был в нашу честь; обед был обильный, и вина сколько хочешь. По тогдашнему обычаю между военными, обед кончился небольшой попойкой. В таких случаях бывал я тверд и осторожен, но улыбка чаще стала показываться на устах и краска на лице добрейшего, всегда умеренного и благочестивого Стурдзы. После обеда надобно было отдохнуть, то есть повыспаться.

К вечеру пошли мы все вместе гулять по городу, который вкратце представлял нижнюю часть Кишинева, только улицы были чище, шире и привольнее. Даже на них простые молдаване в кружок, под цыганскую музыку, со спокойно-веселым видом плясали свою вечную мититику. Далее нашли мы русских,

вероятно беглых, которые в числе двухсот душ некогда тут поселились, и, о радость! Я увидел веревочные качели и мальчишек в красных рубашках, которые с лубков катали красные яйца. Достигнув покойного ночлега, любезным Остафьевым нам приготовленного, мы поблагодарили его и совсем простились, ибо чем свет хотели отправиться далее.

Весна на Юге походит на счастливую, беспечную юность; наша же весна на Севере точно болезненная, трудами обремененная молодость. Как наслаждался я 9 апреля! Мы всё ехали лесом, деревья раскинулись и благоухали, высохшая дорога сделалась гладка, и суруджи, по вновь заведенному строгому устройству, везли нас шибко. К часу позднего обеда успели мы в уездный город Бельцы, которого цынут, не знаю почему, всё еще назывался Яским. Он был лучше и пространные Оргея, но не принадлежал казне, а как водилось в Польше, одному богатому владельцу Катаржи, члену Совета, которого оставили мы в Кишиневе. Последний был мужик видный, лет сорока, почти без речей и еще более без мыслей, но которого изысканное франтов-

ство умело дать молдавскому наряду красоту и щегольство. Мы остановились у исправника Константина Фомича Водеско. Исправник был тут не то что у нас, а еще то что в Молдавии, или, лучше сказать, то что супрефекты во Франции. Исключая разве одного Прункуля не было молдавана столь проворного, деятельного и расторопного как Водеско.

Когда бояре женили сыновей своих на гречанках, то не иначе как на родственницах или дочерях господарей и первых сановников. Молдаване несколько пониже соединялись браком единственно со своими соотечественницами. Еще же другие молдаване и особенно молдаванки брачились с цыганской породой. Молдаване *pur sang* вечно сохраняли свою важность и неподвижность. Зато происходящие от вышеупомянутых смешений несколько теряли ее, и многие из них наружностью и нравом были совсем отличные от своих земляков. Не знаю к какому разряду приписать обязательного Водеско, который упрашивал нас остаться ночевать. Мы оба не согласились, рассчитывая, что среди тихой ночи, на воздухе, погруженные в его сладост-

ную свежесть, уснем мы еще приятнее.

На другой день, 10 числа, часу во втором, приехали мы в Хотин и въехали прямо к ожидавшему нас русскому полковнику, князю Георгию Матвеевичу Кантакузину. У него было неподалеку прекрасное поместье Отаки на Днестре; не знаю почему предпочитал он ему пустой и скучный Хотин. Это была одна из странностей, которые иногда делали неприятным общество человека, впрочем всегда веселого, всегда готового на одолжения. Он был женат на одной княжне Горчаковой, сестре графини Сологуб и чрез это был в родстве со многими знатными домами в Петербурге. Молдавскую боярскую спесь свою соединял он с русскими претензиями на аристократию и кавалерийскими удалыми привычками. Воспитанная в Петербурге княгиня Кантакузина была милая, скромная, приветливая женщина, из тех кои долго еще напоминали собою девиц времен Марии Федоровны и Елисаветы Алексеевны. Её скромность, её пристойность была контрастом с вечным шумом, который наполнял их обитель. Для заезжих в гостеприимном доме был он довольно увесе-

лителен.

В эти дни готовилась тут свадьба. Кантакузин выдавал сестру свою за служащего майора Гаевского и, как богатый помещик, давал ей в приданое мошью или деревеньку. Всё что сказал я выше о молдавских браках относится более ко времени, бывшему до присоединения Бессарабии; с тех пор во множестве молдаванки шли охотно за русских, также за немцев и поляков, в русской службе находящихся. Дети от сих смешанных браков, крещенные в православную веру, по достижении совершеннолетия все с гордостью признавали себя русскими, и это более чем что другое этот край привязывало к России. Свадьба и пир назначены были в воскресенье Фомы, следовательно три дня надобно было их дожидаться. Стурдза спешил ехать, Кантакузин упрашивал остаться; но возможно ли было вырваться от этого неотвязчивого, настойчивого человека?

Пользуясь славной погодой я много гулял. Сперва посетил я крепость, которая, исключая бывших военных происшествий, сама по себе ничего примечательного не имеет. Но

внутри её на скале находится цитадель в турецком вкусе, отделенная от неё не рвом, а целой пропастью, над которою висит подъемный мост. Я нашел это чрезвычайно живописным. Государь, коего прошлогоднее посещение было так еще свежо в памяти жителей, заметил, как мне пересказывали, что это напоминает ему прекрасную декорацию в известной тогда опере Лодоиске.

Часто посещал я вне крепости большой сад, для всех открытый, принадлежавший умершему уже генералу Лидерсу, бывшему комендантом в Хотине, долголетними попечениями коего был он насажден. Он шел вниз уступами по большой горе до самого Днестра. Что за очаровательные виды были из него на противоположный берег! Необозримое пространство усеянное пригорками, густыми лесками, цветущими полями, садами, наполненными деревеньками, и посреди их красивый городок Жванец! Как было не восхитить взор, разом всё это обнимавший. Днестр тут узок; так взял бы весло и лодочку и переплыл бы его; но увы, как говорится, глаз видит, да зуб неймет. Стоит неумолимый Исаковецкой ка-

рантин, и тогда как с Херсонской стороны пропускали нас всегда по одной окурке, так что я забыл о том упомянуть, со стороны Подольской соблюдались все строгие меры, на сей предмет предписанные Подольская губерния есть настоящий земной рай, но потерянный для прежних и нынешних своих владельцев, русских. На страже стоят не ангелы с пламенеющими мечами, а поляки, водворившиеся в нём и вооруженные всевозможными ухищрениями, чтобы не допускать нас в нём селиться.

Сад сей и при нём небольшой каменный дом достались по наследству двум сыновьям покойного. Один из них, тот, который после столь прославился, был в отлучении; другой, молодой кирасирской офицер, находился тут в отпуску. Узнав, что я прогуливаюсь в его саду, молодой Лидерс прибежал меня знать к себе на завтрак. Предупредительность его была не совсем бескорыстна: его уверили, что чрез мое посредство может он выгодно продать свое имущество под какой-то гошпиталь. Я объявил ему, что как это, вероятно, по военной части, то до меня вовсе не касается.

Угощать меня помогал ему какой-то родственник Гордеев, не весьма высокого роста, толстенкой, рябоватый и по физиономии которого никто не мог бы почитать его способным на дурные дела. Он был женат на двоюродной сестре Лидерсов, девице Кашинцовой; лишившись её, проживал он у них с малолетними детьми, из чего я мог заключить, что по матери, может быть, и сами Лидерсы русские. Из разговоров с Гордеевым узнал я, что он воспитанник Академии Художеств и был употреблен при строении Казанского Собора; он показывал мне множество собственных рисунков и очень хорошо судил об архитектуре. Этого с меня было довольно; не с другого слова предложил я ему место областного архитектора, чему он чрезвычайно обрадовался. Я написал о том к графу, который не замедлил утвердить его в сем звании. Как должен был я после раскаиваться в своей опрометчивости и какие ужасы открылись потом на счет этого злодея! Когда придет время, не знаю, даже в силах ли я буду описать их.

По случаю свадьбы в воскресенье Кантакунин сделал пир горой. Утомленные им и не

успев даже отдохнуть, 14-го рано поехали мы далее, то есть в обратный путь, только по другой дороге.

Через несколько часов по выезде из Хотина приехал я к почтенному хозяину вместе с ним. Местечко его Новоселицы походило на городок, а двухэтажный каменный дом его был точная копия с так называемых дворцов между Москвой и Петербургом. С грустью оставил он сие мирное убежище, когда выбрали его областным предводителем. Вместо его тут жил и управлял его имением приятель его доктор медицины Фирих, австрийский немец, умный и ученый, любезный и образованный человек. Того не могу я сказать о другом иностранце, которого я тут нашел: я привык всегда видеть итальянцев живых и общительных, а г. Пагани был мрачен и угрюм, и теперь я никак не сомневаюсь в том, чтобы он не оставил отечества своего вследствие гонений на карбонаризм. Он чисто говорил по-французски, и безвинный Стурдза поручил ему воспитание какого то дальнего родственника, сироты, о имени которого я не спросил, мальчика лет уже семнадцати или

восемнадцать. Воспитанник, видно, хорошо воспользовался учением наставника своего: ничего несноснее его я не встречал. И вот каким будет все необразованное молдавское юношество, когда заразится западным духом!

В Новоселицах находилась таможня, и ею управлял коллежский советник Иван Федорович Редькин. Сладкое его обхождение, особенно со мною, было в противоположности с горьким его именем. Из многого множества лиц, мною встречаемых, упоминаю я о тех, с которыми впоследствии имел близкие сношения, и Редькин был в числе их.

И целых суток не прожили мы на границе: на другой день, по утру, 15 числа переехали мы ее и, сделав только двадцать пять верст, прибыли в Черновец, главный город Буковины. В довольно большом доме поместил нас у себя один молдавской бояр, также как и многие другие, бежавший тогда из Ясс. То был Григорий Димитриевич Стурдза, брат покойного губернатора Скарлата Димитриевича и родной дядя Александра Стурдзы. С первого взгляда пленил меня сей старец, коему по всей справедливости принадлежало назва-

ние маститого. Его ясный, благосклонности исполненный взор вместе с седою бородою внезапно внушали почтение. Его супруга, также под бременем лет, несла его с каким-то важным добродушием. У сей четы, истинно почтенной, было трое детей, две дочери и один сын. К сожалению, все они не походили на родителей. Дочери жили обе в Кишиневе, где я знавал их. Одна была в замужестве за генералом Гартингом, о котором сказал я несколько слов, но не жила с ним. Другая за богатым владельцем Мавроени и казалась степеннее. Обе смолоду, говорят, были красавицы и обе от живых мужей, Гики и Бальша, вступили во второй брак. Сей пагубный обычай, истребитель семейных связей, по крайней мере не от нас перешел в Молдавию, а скорее из соседней Польши.

Что-то лисье, начиная с цвета волос, было в Михаиле Григорьевиче Стурдзе. Он был как эти красавицы, которые, не внушая ни малейшей доверенности к словам их, заставляют однако же себя любить. Сохранение национального костюма одно уже в человеке довольно еще молодом, по моему мнению, было

признаком ума. Яркий цвет лица, рыжая борода, ласковый взгляд и всегда тонкая, немного лукавая улыбка на устах делали наружность его примечательною. Не умея объясняться с родителями его, которые кроме собственного языка другого, кажется, не знали, с ним одним должен был я вести беседу и, право, на то не сетую: разговор истинно умного человека, на каком бы языке и по какому бы предмету ни был, всегда будет занимателен. Молодая, тихая жена его была молчалива: он не обращал на нее никакого внимания; за то в обхождении с нею родителей его заметна была величайшая нежность к покорной дочери. Я бы никак не мог вообразить себе тогда, что сей изгнанник через несколько лет воссядет на господарском престоле. Не раз после того видел я его в Кишиневе и сохранил несколько писем от него, которыечитаю для себя, лестными, и не потому только, что они наполнены лестью.

Мой Стурдза был дальним родственником наших хозяев, но старики любили его как бы ближайшего, а сын был исполнен к нему уважения. Двое суток пробыв в Черновце, никого

в нём я не видел, кроме уединенного семейства, посреди коего жил; за то в первый раз еще увидел австрийские владения и австрийские мундиры. С завистью смотрел я на город не весьма обширный, но славно обстроенный и где везде видны были чистота и порядок. Мне не следовало бы забывать, что более тридцати лет сим малым уголком Молдавии владели тогда немцы, что было им время привести всё в устройство и что, если не красотою, то дородством наш Кишинев брал преимущество пред Черновцом.

Посреди площади, на высоком пьедестале, поставлена была статуя Богородицы, и по дороге на каждой почти версте встречалось предлинное изображение распятия. У всех правительств, исповедующих католическую веру, существует обычай в местах, где они водворяют свое владычество, водружать кресты; между язычниками ли, или между православными и протестантами, всё равно, дабы означить торжество христианства над неверными. Не обидно ли должно было это нам казаться? И как в западных губерниях, где уже почти весь народ православный, не

снять до сих пор сих памятников польского владычества? Пусть упрекали бы в неверии нас, усерднейших поклонников Креста: он везде нам сопутствует, и мы можем показать наши груди, на которых сияет он почти со дня рождения нашего. Католицизм и германизм везде показывались в сей земле православия.

В версте от города был однако и русский монастырь, только староверческий. В 1823 году император Александр неподалеку от стен его прогуливался один, как вдруг был настигнут целой стаей ужасных псов; он сломил крепкой сук и со свойственною ему отважностью стал защищаться от сих нового рода неприятелей. Жизнь его была в опасности; это увидели из монастыря, прибежали на помощь и просили посетить их обитель. Тогда еще почитался он покровителем сект и его приняли с глубочайшим благоговением. На память оставил он им огромную палку, которая служила ему для защиты; они обделали, оковали ее в серебро с надписью. Мне хотелось видеть и монастырь, и палку, но некогда было. Впоследствии верная, постоянная союз-

ница наша Австрия обратила его в местопребывание раскольничьего архиерея и учредила особую епархию, дабы из России могли стекаться домашние противники нашей веры. Ей хотелось иметь под руками гнездо злейших врагов наших.

Мне понравилось уважение, коим в Австрии пользовалась гражданская часть. Встретив на улице дивизионного начальника генерал-лейтенанта графа Гогенэка в парадном мундире и в сопровождении целого штаба своего, я спросил, что это значит? Мне сказали, что по случаю какого-то императорского праздника он идет с поздравлением к гражданскому начальнику барону Мальцеву, у которого и приготовлен завтрак. А как в Буковине всего только два города, Черновец и Сучава, и она немного более одного из наших Бессарабских цынотов, то и окружной начальник её, крейс-гауптман Мальцев, немного поболее нашего исправника.

Я согрешил: пленившись чрезвычайной дешевизной товаров, я накупил несколько мелочей, да еще полотно для белья. Проезжая обратно нашей таможней, были мы осмотре-

ны до нитки. Но на другой день Фирих, который тут беспрестанно сновал, привез мне в Новоселицы всё купленное мною.

В это время река Прут была в совершенном разлитии, и заливы её потопляли низкие места по дороге. Мы опять должны были ехать на Бельцы, а оттуда, своротив немного, 20-го числа прибыли в местечко Скуляны, на берегу Прута. В нём находился центральный карантин и главная таможня. Это был весьма важный пункт в Бессарабии; мне хотелось его видеть, и снисходительности Стурдзы обязан я за исполнение сего желания. Тотчас по прибытии получили мы от человека, нам обоим незнакомого, приглашение остановиться у него. Престарелый действительный статский советник Степан Федорович Навроцкой, главный начальник над карантинами, был русский старинного покроя; он нас угостил хорошо, как умел, т. е. накормил, напоил и спать положил.

После обеда любопытствовал я взглянуть на одно место, года за три перед тем ознаменованное небольшим историческим происшествием. Когда возмущение в Молда-

вии произвел Ипсиланти, то набранное им войско было не весьма многочисленно; жители не охотно к нему приставали, и оно по большей части состояло из Арнаутов. Тщеславие всех бояр в Валахии и в Молдавии и даже всех богатых и зажиточных людей в двух княжествах заставляет их иметь в услужении по нескольку, иногда целый десяток, Арнаутов, богато одетых и вооруженных; все они, в надежде на грабеж, кинулись к Ипсиланти. Но при первой встрече с вошедшими турками, сие слабое и неустроенное войско было разбито на голову. Ипсиланти бежал в Австрию, а хотинский приятель наш Кантакузин, с остатком воинов, спасаясь без оглядки, сильно преследуемый неприятелем, был им приперт наконец к самому Пруту, в виду Скулян. Он переплыл реку под картечными выстрелами и пристал к таможенным строениям, посреди коих упало, говорят, неприятельское ядро. Русский отряд был вытянут по берегу, и начальствующий над ним послал сказать турецкому начальнику, что если сие продолжится, то будет нарушением мира; тогда только пальба прекратилась. Помогать сим

возмущенным было столь же невозможно, как и предать их. В этом месте, на которое внимательно смотрел я, Прут весьма узок, и он один спас бегущих от совершенного истребления.

Сие спасение имело однако некоторые вредные последствия. Арнауты рассеялись по Бессарабии; некоторые из них поступили в услужение к боярам, многие же стали отдельно грабить по дорогам, были схвачены и населили острог; другие пристали к большой разбойничьей шайке, которая страх распространяла до самых окрестностей Кишинева.

Не дождавшись пробуждения г. Навроцкого, 21-го числа оставили мы Скудяны. Через час доехали мы до одной длинной, отлогой горы, которой откос тянется более чем на три версты. На ней не было ни одного деревца; тем примечательнее на её зелени казался белый, каменный обелиск, не очень высоко на самой середине её спуска возвышающийся: это был памятник, воздвигнутый наследниками князю Потемкину, на том самом месте, где на земле и на открытом воздухе испустил он дух. Не знаю кем храним этот памятник, но

никаких следов разрушения на нём не было еще заметно.

Достигнув конца отлогой горы, надобно было вдруг подыматься по крутой горе, густым лесом покрытой. В этом месте, похожем на трущобу, явились нам три казака, вооруженных заряженными ружьями и пистолетами. Они обязаны были сопровождать путников и охранять их от нападений разбойничьей шайки, о которой сейчас я говорил и которая иногда тут показывалась. Это было совсем не весело. Долго ехали мы сим опасным, мрачным лесом; хранители наши менялись. Наконец, благополучно выехали мы из него и вскоре потом увидели Кишинев, куда и прибыли часу во втором по полуночи.

Всё было в нём тихо и спокойно; но дня через три случилось происшествие, которое наполнило город не столько страхом, как любопытством. Тут приходится мне досказать историю о разбойниках, невзначай начатую.

В двух княжествах, где не было ни войска, ни полиции, шайки разбойников почти беспрепятственно, безнаказанно могли производить грабежи. Они слились в одну под пред-

водительством известного в тех местах Урсула, медведя на валахском языке. Появление турецкой армии рассеяло сию шайку; остаток её вместе с своим атаманом перешел к нам через Прут и усилился потом пристающими к нему Арнаутами. Долго не могли совладеть с этими людьми; но частые поимки уменьшили их число, так что под конец состояло оно из трех человек, между коими находился и сам Урсул. Они скрылись в шести верстах от Кишинева, в месте, называемом Малина.

В этом месте, можно сказать точно, что природа раскапризничалась: это был Кавказ в самом малом виде. В нём, гневная и прекрасная, как возвышенные места, так и ущелья, овраги, пропасти, наполнила она своими прелестями. Привлеченные ими, некоторые из жителей Кишинева и окрестных мест завели тут свои кишла или хутора. Ими овладел Урсул и заставил живущих повиноваться себе, объедая и опивая их. Военная команда содержала сие неприступное место в осаде, но не дерзала проникнуть в него.

Долго могли бы эти люди в нём оставаться; но почувствовали ли они какой недостаток,

или просто скуку, или лукавый попутал Урсула, он решился его оставить. Он имел тайные сношения с жидами и другими мошенниками в нижней части города, и с их согласия намерен был скрыться между ими. Одним утром вместе с двумя сподвижниками оставил он свое убежище, но подъезжая к городу, заметил сильную за собою погоню. Во всю прыть поскакал он по широким улицам верхней части города, имея в виду, достигнув нижней и своротив немного, исчезнуть в её излучистом зловонии, что, при плохой тогда полиции, было бы удобно. Народ толпами бежал за ним, восклицая толгар, толгар (вор), но не смея приступиться к нему: ибо, имея во рту поводья, в каждой руке держал он по пистолету, равно как и оба товарища его; и раза два должны были они дать выстрелы. Со всех сторон преследуемый, доскакал он под горой до мостика через Бык. Неисправность полиции была в этом случае полезна: лошадь его попала ногой в одну из дыр, находящихся на непочиняемом мостике; бегущие за ним, товарищи наскочили на него, и всё это перепуталось; тогда легко было всех троих схватить

и перевязать.

К сожалению не мог я быть свидетелем сего странного зрелища, среди дня полгородом виденного. Но по званию должностного лица, захотел я увидеть содержащихся под стражей, для коих отведена была особая тюрьма с железными решетками на окнах. Я нашел Урсула задумчиво сидящим на наре, сложив руки. Он был лет сорока, широкоплеч, черноволос и весь оброс бородой. Лицо его было не без благородства: ни страха, ни злости оно не выражало. Когда я вступил с ним в разговор, сказал он мне, что у него, исключая имени, данного ему Волохами, есть еще другое, но объявлять которого он не видит нужды. Потом прибавил: «Буйная молодость завела меня не туда, куда следовало. Как быть! И я знаю, что был бы отличный воин». По показаниям сообщников, никогда рука его не обгалялась кровью.

В углу на соломе лежал также скованный товарищ его Богаченко, лет двадцати шести. Более походить на гиену человеку невозможно; как у неё, взор его сверкал наглостью, беспокоейством и бешенством. Я не подошел к

нему, а посмотрел в лорнет. «Что, барин, сказал он мне, злобно улыбаясь, ты, кажется, не стар, а видно совсем ослеп». Потом пустился он мне доказывать права разбойников вооруженной рукой собирать дани с господ, которые безо всякого труда и опасности грабят своих крестьян. Я взглянул на него с ужасом и омерзением. «Ну, барин, сказал он мне: хорошо, что меня встретил не в лесу, не так бы там на меня ты посмотрел».

Третий на соломе был осмнадцатилетний мальчик Славич, усыновленный Урсолом. Этот был весел и, кажется, никак не понимал своего положения. Он полагал, что батько себя и их непременно будет уметь выручить. Все трое были беглые украинцы: молдоване за их ремесло не охотно брались.

Суд над ними продолжался всё лето. Ничего не дознались, а в это время хитрый и смелый Богаченко успел кого-то подкупить и, перебив свои оковы, бежал один. Тогда поспешили с исполнением приговора. Все дивились твердости духа Урсула, который во всё время казни не испустил ни единой жалобы, ни единого вздоха. Мальчик Славич шел бод-

ро, но после первого удара, данного палачом, как ребенок раскричался, приговаривая: простите, виноват, виноват, не буду. Первый после тяжкого наказания кнутом через два дня умер, последнего сослали на каторжную работу.

К концу апреля опять дожидались графа, которого в первый год управления его чрезвычайно озабочивала Бессарабия и который часто посещал ее. Для него опять был нанят дом каменный на верху горы и за ту же цену, что дом Варфоломея, от которого однако он совсем отличен был просторностью, приличием убранства и удобством помещения. Губернатор Катакази, сохраняя приятельные связи с бывшим вице-губернатором Крупенским, удалившимся в деревню, умолил графа нанять дом его, дабы тем скорее уплатить лежащее на нём казенное взыскание. Для меня этот наем был весьма полезен, ибо граф предложил мне сделаться мажордомом и в сем новом помещении.

В этот приезд последовали новые распоряжения, которые не могли понравиться молдаванам. Приписывая неисправности земской

полиции большую часть беспорядков в области, граф с самого начала замышлял избранных дворянством исправников и четырех комиссаров в каждом цынуге заменить русскими чиновниками от короны. Вся эта история об Урсуле, незадолго до его приезда случившаяся, побудила его безотлагательно приступить к исполнению своего намерения. Дело было немаловажное, явное нарушение образования. В первый раз мои молдаване возроптали, заговорили было о протесте и, наконец, во изъявление своего неудовольствия, решились сделать представление, в коем хотели объяснить, что как они лишаются права избирать чиновников земской полиции, то дворянство отказывается и от права выбирать цынугных казначеев, дабы, в случае растраты имя денег, не иметь за них никакой ответственности. Пользуясь моим влиянием, я старался отклонить их от исполнения такого намерения. К чему это поведет вас? говорил я им. Конечно это будет неприятно наместнику; но он всемогущ, просьба ваша будет исполнена, и еще менее мест останется в вашем распоряжении. Дело так ничем и не кончи-

лось.

Первых исправников хотели сделать на славу; граф сам назначил известных ему отставных Уланского полковника Скоробогатова и Конноегерского подполковника Тарашкевича, обвешанных крестами; Казначеев помог отыскать других; из прежних один только Водеско оставлен на месте. Множество бывших военных, как сказал я в другом месте, находилось в Бессарабии без дела; нам с Лексом не трудно было из них набрать комиссаров. Не полагаясь на Катакази, коего сведения всегда опаздывали и не всегда были достоверны, граф требовал от прежних исправников, чтобы во всех казусных делах относились они к нему; они писали к нему по-молдавски, ибо у них не было ни одного писца, знающего русский язык. От новых исправников потребовал граф, чтобы они писали к нему по-русски; новое затруднение: они сами должны были подписывать бумаги на незнакомом им языке. Но есть наши пословицы, у нас и шило бреет, хоть тресни да полезай, и тому подобные, которые всякую невозможность делают возможною. Эти господа на

свой счет наняли русских писарей, молдавских насильно заставили учиться по-русски, и дело пошло само собою. И вот еще неожиданный для меня важный шаг к распространению того, что уже сделалось постоянным моим желанием. И это без чьего либо настаивания, просто по необходимости; ибо граф всё еще тешился Бессарабией, как особнячком, во власть ему отданным.

Не знаю, право. Русские исправники менее ли молдован сделались падки на наживу. Может быть, я грешу; но я всегда смотрел снисходительнее на наших бедных земляков, которые ничего не имея в родном краю, в завоеванном стараются нажать небольшое имущество. Приобретая оседлость, они привыкают к краю и, воспитывая детей в родимом духе, служат началом преобладания его в нём. Самому правительству не худо бы было бросать такие семена на всякую новую почву: какие бы плоды принесли они о сию пору в Ливонии, и даже в Литве!

Мое положение в это время мог бы я назвать довольно блистательным и некоторым образом завидным. Я пользовался уважением

и доверенностью целой области. Начальник мой оказывал мне более чем доверенность; я ошибался, может быть, но мне казалось что самая беседа моя сделалась для него особенно приятною. Это мог я заключить из предложения им сделанного прокатиться с ним в Крым и погостить у него в поместье Гурзуфе, принадлежавшем Ришелье и недавно им купленном на Южном берегу. Это сперва чрезвычайно польстило моему самолюбию; но после мог я заметить, что прекрасную эту, приморскую пустыню любил он, во время пребывания своего, оживлять приглашенными гостями и, может быть, в надежде, что подобно ему, пленясь её неисчислимыми красотами, они рано или поздно захотят поселиться в ней. О тогдашних чувствах моих к этому человеку мне ныне, право, совестно говорить: я беспрестанно грешил против заповеди, которая воспрещает нам творить себе кумира.

Я уже свыкся с Кишиневским житьем и, после отъезда графа, не очень спешил ехать в Одессу, тем более, что оттуда не ближе как в половине мая намерен был он морем отправиться в Крым. Вдруг рано поутру, 16 числа,

прошел слух, будто в Измаиле открылась чума. Опасаясь, чтобы на Днестре долго не задержали меня в карантине, где в таких случаях соблюдается величайшая строгость, я в то же утро собрался в путь. Всё было уложено, коляска подвезена к крыльцу, как вдруг заметил я на столе второпях забытую бумагу: это была черновая Записка моя о Бессарабии. Тут случился один только секретарь Совета Складенко. Я попросил его взять сию, ему одному известную, бумагу и спрятать у себя. Сие действие торопливости, как увидят далее, имело для меня важные последствия. Я шибко поспекал по Бендерской дороге.

XII

Раевские. — Вторая ссылка А. С. Пушкина. —
Консул Тома.

Ту же самую разницу в температуре по обеим сторонам Днестра, которую прежде я уже заметил, и тут я мог увидеть. Поля в Бессарабии зеленелись изумрудным цветом, но лишь только без задержки миновал я Парканской карантин (куда ложный слух о чуме не успел еще дойти), как представилась мне знодем опаленная степь. Что еще более вид её делало печальным, это были миллионы, миллиарды мухообразных насекомых, которые, покрывая ее, медленно по ней тащились. Это была саранча в детском возрасте, еще не окрыленная. Сотни сих гадов беспрестанно давил я своими колесами. Ночью с 15-го на 16-е мая приехал в Одессу.

Я нашел графа и графиню Воронцовых в большой печали: четырехлетняя, тогда единственная дочь их Александра, премилая девочка сделалась опасно больна. Лысый доктор, особенно для неё из Англии выписан-

ный, не ручался за её жизнь, но и не отнимал надежды у родителей. Они от того не могли переехать на нанятый приморской хутор Рено, а еще менее думать об отправлении в Крым, и принуждены были жить среди городской духоты и внезапно увеличившегося нестерпимого жара. Я тоже должен был ожидать выздоровления малютки, а между тем ежедневно видел графа, обедал у него и бывал чаще чем когда. Иногда для развлечения гуляли мы за городом в коляске, или катались по морю в судне какого-то особого устройства.

Летом в Одессе обыкновенно гораздо веселее, чем в другие времена года. Торговля оживляется, приплывают целые флоты купеческих судов, наезжает множество помещиков для продажи пшеницы и несколько любопытных путешественников. Из последних не встречал я ни одного прежнего знакомого, новых знакомств между ими делать не хотел и жил посреди того самого общества, которое узнал я зимой.

Одного человека, которого не только в Одессе, но гораздо прежде в Париже и Мобеже случалось мне часто встречать, рассмот-

рел я в это время ближе. Но чтобы основательнее говорить об нём, надлежит коснуться всего семейства его.

Внук сестры князя Потемкина, Николай Николаевич Раевской, из огромного его наследства получил изрядную часть. Он не умножил сего имения, а, напротив, кажется, расстроил его с небрежностью военного человека. С другой стороны родство с знатными домами и высокий чин давали и ему некоторое право на название знатного. На войне всегда показывал он себя искусным и храбрым генералом и к сему ремеслу с малолетства приучал и двух сыновей своих. Они находились при нём молоденькими офицерами во время Турецкой кампании 1809 и 1810 годов: следственно Жуковский, певец в стане русских воинов, в 1812-м, кажется, напрасно называет их младенцами-сынами. Меньшой Николай высоко поднялся по службе и пошел бы далее, если бы смерть не остановила его на славном поприще. Обоих отец не удалял от опасностей; за то придирался ко всему, чтобы выпрашивать им чины и кресты.

Старший из младенцев, Александр, не зна-

вал над собой иной власти, кроме родительской, самой снисходительной; всякую другую, и даже полно не эту ли, он презирал и ненавидел. Граф Воронцов по окончании войны взял его к себе по особым поручениям и доставил ему средство с большим содержанием, без всякого дела, три года приятным образом прожить во Франции. Если бы кто захотел пристальнее всмотреться в чувства Раевского, то и тогда мог бы заметить жестокою ненависть его к сему начальнику, несмотря на удвоенную с ним любезность сего последнего. Неблагодарность есть врожденное чувство во всяком греке; благотворения тягостны для его самолюбия. Мать Раевского была дочь грека Константинова и единственной дочери нашего знаменитого Ломоносова: внук, видно, уродился в дедушку.

Вообще все члены этого семейства замечательны были каким-то неприязненным чувством ко всему человечеству, Александр же Раевской особенно между ими отличался оным. В нём не было честолюбия, но из смещения чрезмерного самолюбия, лени, хитрости и зависти составлен был его характер. Не

подобные ли чувства Святое Писание приписывает возмутившимся ангелам? Я напрасно усиливаюсь здесь изобразить его: гораздо лучше меня сделал сие Пушкин в немногих стихах под названием «Мой Демон». Но подробности о нём могут более объяснить действия его, о коих приходится мне говорить.

Наружность его сохраняла еще некоторую приятность, хотя телесные и душевные недуги уже иссушили его и наморщили его чело. В уме его была твердость, но без всякого благородства; голос имел он самый нежный. Не таким ли сладкогласием в Эдеме одарен был змий, когда соблазнял праматерь нашу?

В Мобёже он либеральничал как и все другие, не более, не менее: но втайне не разделял восторгов заблужденной молодости. Верноподданничество, привязанность к монархическим правилам ему казались отвратительными и ненавистными; на друзей конституции, в том числе на зятя своего Орлова, смотрел с величайшим пренебрежением, однако ж с некоторою снисходительностью: ибо за теи их, по мнению его бессмысленные, могли причинить много беспорядков, много зла. По-

сле Мобежа, в быстро достигнутом чине полковника, чтобы сохранить ему независимость, выпросили ему бессрочный отпуск. Он еще пользовался им, когда в 1823-м году нашел я его в Одессе, по-видимому ко мне столь же невнимательного как и прежде, но тайными наговорами лишившего меня гостиней графини Воронцовой, что не мог я почитать для себя великой бедой.

В продолжении последних пяти лет, накопилось число причин ненависти его к Воронцову и его семейству. Графиня Браницкая была только что двоюродная тетка генералу Раевскому, но, всегда покровительствуя его, в его семействе видела собственное. От того старший сын его был принят ею в Белой Церкви как сын родной и с дочерьми её имел право обходиться как брат. Когда, по выступлении Русского корпуса из Франции, лишился он больших средств к поддержанию себя, сия женщина, прослывшая скупую, положила ему по двенадцати тысяч рублей ассигнациями ежегодного содержания; как было не мстить за такое жестокое оскорбление? В Молдавии, в самой нежной молодости, гово-

рят, успевал он понапрасну опозоривать безвинных женщин; известных по своему дурному поведению не удостаивал он своего внимания: как кошка, любил он марасть только всё чистое, всё возвышенное, и то, что французы делали из тщеславия, делал он из одной злости. Я не буду входить в тайну связей его с ***; но, судя по вышесказанному, могу поручиться, что он действовал более на её ум, чем на сердце и на чувства.

Он поселился в Одессе и почти в доме господствующей в ней четы. Но как терзалось его ужасное сердце, имея всякий день перед глазами этого Воронцова, славою покрытого, этого счастливца, богача, которого вокруг него всё превозносило, восхваляло. Он мог бы легко причислиться к нему и, спокойно дождавшись генеральства, получить место градоначальника или гражданского губернатора. Но нет; такие мысли показались бы ему унижительными; его цель была выше. Он прослыл опасным человеком, и все старались учтиво уклоняться от него, исключая его Мобёжских товарищей, которые не любили его, но и не чуждались. Они знали его лучше; они

знали что он не станет тратить времени, чтобы стрелять в простых птиц, подавай ему орлов да соколов. И действительно в Одессе, исключая двух или трех, не было довольно славных жертв для заклания в честь этого божества.

При уме у иных людей как мало бывает рассудка! У Раевского был он помрачен завистью, постыднейшею из страстей. В случае даже успеха, какую пользу, какую честь мог он ожидать для себя? Без любви, с тайною яростью устремился он на сокрушение семейного счастья, супружеского согласия ***. И что же? Как легкомысленная женщина, *** долго не подозревала, что в глазах света фамильярное её обхождение... с человеком ей почти чуждым, его же стараниями перетолковывается в худую сторону. Когда же ей открылась истина, она ужаснулась, возненавидела своего мнимого искусителя и первая потребовала от мужа, чтобы ему отказано было от дому.

Козни его, увы, были пагубны для другой жертвы. Влюбчивого Пушкина не трудно было привлечь миловидной ***, которой Раевский представил, как славно иметь у ног сво-

их знаменитого поэта. Известность Пушкина во всей России, хвалы, которые гремели ему во всех журналах, превосходство ума, которое внутренне Раевской должен был признавать в нём над собою, всё это тревожило, мучило его. Он стихов его никогда не читал, не упоминал ему даже об них: поэзия была ему дело вовсе чуждое, равномерно и нежные чувства, в которых видел он одно смешное сумасбродство. Однако же он умел воспалять их в других; и вздохи, сладкие мучения, восторженность Пушкина, коих один он был свидетелем, служили ему беспрестанной забавой. Вкравшись в его дружбу, он заставил его видеть в себе поверенного и усерднейшего помощника, одним словом, самым искусным образом дурачил его....

Еще зимой, чутьем слышал я опасность для Пушкина, не позволяя себе давать ему советов, но раз шутя сказал ему, что по Африканскому происхождению его всё мне хочется сравнить его с Отелло, а Раевского с неверным другом Яго. Он только что засмеялся.

Через несколько дней по приезде моем в Одессу, встревоженный Пушкин вбежал ко

мне сказать, что ему готовится величайшее неудовольствие. В это время несколько самых низших чиновников из канцелярии генерал-губернаторской, равно как и из присутственных мест, отряжено было для возможного еще истребления ползающей по степи саранчи; в число их попал и Пушкин. Ничего не могло быть для него унижительнее.... Для отращения сего добрейший Казначеев медлил исполнением, а между тем тщетно ходатайствовал об отменении приговора. Я тоже заикнулся было на этот счет; куда тебе[44]! Он побледнел, губы его задрожали, и он сказал мне: «любезный Ф.Ф., если вы хотите, чтобы мы остались в прежних приятельных отношениях, не упоминайте мне никогда об этом мерзавце, — а через полминуты прибавил, — также и о достойном друге его Раевском». Последнее меня удивило и породило во мне много догадок.

Во всём этом было так много злого и низкого, что оно само собою не могло родиться в голове Воронцова, а, как узнали после, через Франка внушено было самим же Раевским. По совету сего любезного друга, Пушкин от-

правился и, возвратясь дней через десять, подал донесение об исполнении порученного. Но в то же время, под диктовкой того же друга, написал к Воронцову французское письмо, в котором между прочим говорил, что дотоле видел он в себе ссыльного, что скудное содержание им получаемое почитал он более пайком арестанта; что во время пребывания его в Новороссийском крае он ничего не сделал столь предосудительного, за что бы мог быть осужден на каторжную работу (*aux travaux forcés*), но что впрочем после сделанного из него употребления он, кажется, может вступить в права обыкновенных чиновников и, пользуясь ими, просит об увольнении от службы. Ему велено отвечать, что как он состоит в ведомстве Министерства Иностранных дел, то просьба его передана будет прямому его начальнику графу Нессельроде; в частном же письме к сему последнему поступки Пушкина представлены в ужасном виде. Недели через Три после того, когда меня уже не было в Одессе, получен ответ: Государь, по докладу Нессельроде, повелел Пушкина отставить от службы и сослать на постоянное

жительство в отцовскую деревню, находящуюся в Псковской губернии.

Какой-нибудь Талейран сказал бы, что он видит тут более чем дурное дело, что тут ошибка, великой промах. Такие люди как Воронцов не должны довольствоваться успехами по службе, умножением власти: у них в предмете должна быть народная молва, всеобщая народная любовь, переходящая между соотечественниками из рода в род. Вот прочная собственность, которой никакая царская немилость лишить не может. Когда разнеслось по России, что одна из слав её губит другую, блеск первой приметным образом начал меркнуть. Ото всего сердца любил я обеих, и оно раздиралось. Теперь когда вспомню, то самому себе кажусь смешным; а тогда право готов был как Химена воскликнуть:

La moitié de ma vie a mis l'autre au tombeau.

Между тем малютка полегоньку выздоравливала, так что в половине июня можно было везти ее с собою в Крым. Но для меня срок уже миновался, и не стоило дня на два — на

три ехать. Таково было мнение графа, и я весьма с ним соглашался. Тогда решился я, дождавшись его отъезда, пуститься обратно в Кишинев.

Накануне отплытия графа, случилось мне быть с ним наедине в его кабинете. Он вынул полученное им письмо от Катакази и, отдавая его мне, сказал: «растолкуйте мне что это всё значит?» Катакази писал, что в Кишиневе все заняты одним каким-то сочинением, писанным моею рукою, которое в молдаванах производит крайнее неудовольствие. Я рассказал, каким образом второпях отдал я Скляренке рукопись свою на сбережение. «Но если он выдал её, то это не делает большой чести хваленному вашему Скляренке». — «Я уверен, что ее выкрали у него, отвечал я. Но после этого, продолжал я, согласитесь, что мне трудно будет показаться, и лучше возьмите меня с собою: если эти люди и останутся спокойны, мне совестно будет на них глядеть». — «И, полноте, отвечал он, что за беда, если эти мошенники узнали наше мнение об них; они пожалуй могут подумать, что вы не смеее приехать». И это дело, подумал я.

Не более двух суток оставался я потом в Одессе. В этот тесный промежуток времени хочу вместить изображение одного человека, о котором давно бы мне следовало говорить. Австрийский генеральный консул, Венгерец Том, с самого рождения этого города, был радостью и украшением его общества. Огромный рост и могучие плечи одни показывали в нём Маджара; но ни в одном из образованных государств нельзя было сыскать человека любезнее его в обхождении. Ему было за восемьдесят лет, а он казался не более шестидесяти; и это уже старость, а дамы старые и молодые, равно как и юноши, искали его беседу. Он всегда был весел и всегда степенен, и смех, который сам старался он производить, всегда смешан был с невольным уважением к сему добрейшему и честнейшему старцу. В редкие маскарады, которые бывали при Ришелье и при Ланжероне, всегда являлся он переряженным и раз огромной книгой, назади которой написано было Том I-й. Страсть имел он к каламбурам, и они часто бывали у него забавны. Нужно ли говорить, что в знакомстве его видел я для себя находку, клад?

Он взялся проводить меня до первой станции Дольника, или лучше сказать до собственного хутора, в одной версте от неё находящегося. Он называл его *coûrteur*, ибо, не принося ему никакого дохода, стоил больших издержек, и он, редко расставаясь с городом, приезжал в него попить и угощать приятелей. Для умножения удовольствия моего, а может быть и Пушкина, пригласил он и его на сию загородную прогулку. Я послал экипаж свой прямо в Дольник, и мы в Иванов день 24 июня втроем отправились в коляске Тома.

Он имел великое искусство сохранять в комнатах теплоту зимой и свежесть в летнее время: в этом состоял его эпикуреизм. Всё было приготовлено на кутёре: окна везде были открыты, но снаружи завешаны предлинными маркизами, которые беспрестанно поливались студеной, колодезной водой. Пол был мраморный, и в четырех углах стояли кадочки со льдом. В то же время множество резеды и туберозов распространяли приятный запах по комнате. По приглашению хозяина мы развалились на диванах; и когда полуденное

солнце со всею силою горело над нами, мы находились среди прохлады и благоухания, и я мог любоваться ясным, теплым вечером долгой безукоризненной жизни. Нет, не забыть мне этого дня! Разные возрасты были веселы и хохотали как ребята. Это было не перед добром: мне предстояли довольно тягостные, а Пушкину весьма скорбные дни. Когда жар начал спадать, простился я с хозяином и с гостем; с последним, кажется, гораздо нежнее, как бы предчувствуя долгую разлуку.

Я не скоро мог заснуть: всё мне мерещился с столь приятными людьми столь весело проведенный день. Заря совсем уже занялась, когда проснулся я в Тирасполе. Пока перепрягали лошадей, вышел я из коляски и вдруг увидел без памяти скачущую тройку. Она остановилась, из повозки выскочил молодой канцелярской и подал мне письмо. Господа Лонгинов и Лекс уведомяли меня, что, по известиям полученным из Кишинева, ярость жителей превосходит всякое описание, что рукопись моя переведена на молдавской язык, всюду распускается и что все друг друга возбуждают против меня, почему они и совету-

ют мне воротиться в Одессу. Словесно поручил я посланному от всей души благодарить Никанора Михайловича и Михаила Ивановича за принимаемое во мне участие. «Если бы вы настигли меня прежде, сказал я ему, то может быть я воротился бы с вами; но вы видите, вот Бессарабия: право, как-то совестно бежать в виду неприятеля».

Однако признаюсь, я чувствовал в себе сильное волнение, когда переправился через Днестр. Оно еще было умножено в Бендерах на почтовом дворе письмом от приятеля моего Алексеева: он не пугал, а спешил предупредить, дабы заранее мог я принять свои меры. Узнав о внезапной ненависти целого населения и испытывая действия несомненной приязни нескольких человек, я не могу описать своих чувств. Вероятно утомленный ими, я опять крепко заснул и проснулся уже в полдень 25-го числа (ныне самый великий из торжественных дней, тогда еще не празднуемый), когда приехал в Кишинев.

XIII

Озлобление молдаван. — Французы в Кишиневе. — Граф Кочубей на Юге (1824).

Я поехал прямо к себе в дом Крупенского. Через час явился с печальным видом Складенко и объяснил, как всё дело случилось. Получив от меня рукопись для хранения, ему показалось, что и для снятия с неё копии. Он поручил это сделать в тайне подчиненному своему, молодому писцу офицерского чина Двуреченцеву; не знаю, как подсмотрели у него его работу, только молдаване купили у него подлинник за четыре тысячи левов; но наперед получил он отставку, дабы спастись от преследований начальства. «Какая глупость, — сказал я, — во всяком случае это кража; а коли им того хотелось так, то я, имеющий на то право, уступил бы им за половину». Но как ни шути, а дело становилось не совсем шуточным.

Молдаване оставались покойны, пока не узнали о моем приезде. Тогда через областного предводителя, недавнего приятеля моего

Стурдзу, послали они просьбу к наместнику, требуя удаления моего из области, как врага народа молдавского. Я поехал к губернатору; он принял меня сухо и надменно. Я старался объяснить ему, что если эти господа творение мое почитают пасквилем, то не я, а они были его издателями и распространителями и что желание мое хранить его про себя доказывается большою суммою, которую употребили они для подкупа писца. Он ничему не внимал и, явно держа их сторону, пригласил меня, в предупреждение неслыханного скандала, под каким-нибудь предлогом не ездить в Совет: ибо члены из молдаван объявили ему, что при первом появлении моем в присутствие его, они из него выйдут, и придется его закрыть. Мне ничего не осталось более делать, как дожидаться ответа из Крыма.

Чего мне страшиться? рассуждал я сам с собою. На смертоубийство молдаване не решатся, а поединки еще не были у них в обычаях. Разве молодые между ними где-нибудь из-за угла бросятся толпой с бранными словами, а может быть и с побоями. Если не для жизни моей, то для чести предстояла некото-

рая опасность. Но, избегая ее, не сидеть же мне дома? В любимом саду, моими попечениями насажденном, встречал я этих молодцов; никто мне не кланялся, и все мерили меня зверскими взглядами; я показывал, будто их не замечаю. Какое странное, неприятное и вместе довольно смешное положение! Частный человек имеет против себя нацию и подобен кумиру, сверженному с подножия, но не разбитому еще в прах.

Некоторые даже из моих соотечественников и сослуживцев сначала трухнули и как будто убегали меня. Зато другие, и первый между ними вице-губернатор Петрулин, не позволяли, чтобы какое-нибудь обидное слово на мой счет было произнесено. Липранди, которого фанфаронство вселяло некоторый страх, объявил, что, взявши раз под свое покровительство, он ни за что меня не выдаст. Алексеев с искренним жаром вступался за меня. Наконец, молодые офицеры генерального штаба, бывшие либералы, так и лезли на молодых молдаван и более чем когда оказывали им презрение. За меня, как бы за какую-нибудь Елену, готова была возгореться война.

К вящему горю моему, сожительствовал мне один полковник, Николай Васильевич Арсеньев. Старший брат его, Дмитрий Васильевич, убитый на поединке графом Хребтовичем, за невесту Ренне, служил некогда вместе с Воронцовым в Преображенском полку и был ему великим приятелем. Он завещал ему сие чадо, и граф взял его к себе в адъютанты, доставлял ему чины и кресты и имел еще при себе в Мобёже. По возвращении из Франции, как многие другие, вышел он в отставку и женился в Москве. Он опять стал проситься в службу, когда патрона его назначили генерал-губернатором, и весною приехал в Одессу, где еще я нашел его.

Товарищем моим в Совете, другим членом от короны, был военный советник Иван Алексеевич Логвинов, некогда правитель канцелярии у Прозоровского в Бухаресте, человек смирный и способный, как утверждали, честный и бедный. Но он сделался хвор, состарился, спился и одурел; никогда рта он не открывал; Христа ради его держали. Его уволили с половинной пенсией, дабы очистить место его, и посадили на него Арсеньева; служба от

того ровно ничего не выиграла. Снисходительные люди называли сего последнего ограниченным человеком; но, право, не было границ его простоумию. Как в беспредельной степи не встретишь куста, так в голове его не было ни одной мысли. С добрым сердцем, с благородными чувствами, сие безвинное, безобидное существо, не возбуждая ни в ком недоброжелательства, могло бы спокойно и незаметно прожить целый век. Но на беду женился он на злой толстухе Авдотье Ивановне, также из рода Арсеньевых, и во всё её слушался. Как ни выдумывай, как ни смягчай выражения, приличнее названия дурищи приискать ей не возможно. До замужества никто её не видал в Московском лучшем обществе: она была не Московская барышня, а Замоскворецкая, а между ими во сто раз более необразованности и грубой спеси, чем в уездных.

К сожалению, пришла графу мысль, что назначением Арсеньева в Совет удвоит он силу мою в нём. Он предлагал ему, как мне сказывали, всегда держаться моего мнения, не как человека более его опытного в делах, а бо-

лее ознакомленного с положением края. Он рассказал о том дуре; она обиделась, разгневалась и возненавидела меня. Если б она знала, как охотно отказался бы я от этой опеки и какую мучительную скуку терпел я в разговорах с сим питомцем!

Другая вина моя была еще важнее. Дабы более сблизить меня с Арсеньевым, дабы водворить между нами единодушие, граф и ему дал помещение в нанятом для него доме Крупенского. Большая, парадная половина его на улицу, хорошо меблированная, оставалась пустою на случай приезда наместника. Я тут же имел две-три небольшие комнаты, порядочно прибранные, составлявшие кабинет хозяина, но в которых женатому человеку поместиться никак было бы не возможно. Уезжая из Кишинева и оставляя в них некоторые пожитки, я их запер. Оставался еще длинный флигель, примыкавший к самому дому, и в нём было семь или восемь комнат чистых, просторных и высоких, но ни одного стула. Арсеньевы приехали за неделю до меня, должны были ночевать на полу и купить потом кой-какие мебели. Дуня крайне взбесилась.... на меня: я

умел, по мнению её, захватить для себя всё лучшее. Вскоре, узнавши о неистовом на меня гневе молдаван, она к нему присоединила собственный и объявила, что я человек беспокойный, опасный, который ничего не умеет делать, как только ссорить начальство с жителями.

Ничего о том не зная, поспешил я посетить милую свою соседку; супруги приняли меня холодно, почти неучтиво. За это сердиться мне было нечего, оно избавляло меня от несносного знакомства. Однако же крайне было неприятно иметь у себя под боком ненавистницу, которая привезенной с собой дворе не запретила не только говорить, даже смотреть на небольшую мою прислугу, почитая и ее как бы зачумленную.

Я уверен, что молдаване не столько почитали себя обиженными невыгодными об них отзывами (мне случалось некоторые истины им самим иногда говорить), сколько были раздосадованы намерениями и желаниями, в рукописи моей изъясненными. Им открылась важная тайна: все быстрые перемены, для них столь неприятные, совершившиеся по

большей части без моего участия, все были приписаны одним только моим внушениям. Уже порядочно начинали они ненавидеть графа Воронцова, но в борьбу с ним вступать не дерзали, а во мне надеялись поразить его, говоря русской пословицей: не смоча коровы, да подойник оземь. Он очень хорошо это понял и не заставил сих господ долго дожидаться ответа на их просьбу. Но по дальнему расстоянию от Крыма, более шестисот верст сухим путем, ответ не мог придти ранее половины июля.

Официальным предложением губернатору граф поручает ему объявить молдавским дворянам: 1-е, что похищение рукописи служит доказательством, сколь мало тот, кому она принадлежит, имел намерение сделать ее известною; 2-е, что в копии, к нему с неё присланной, не найдено ничего противного религии, нравственности и монархическим правилам; 3-е, что ни у кого не отнята воля о других иметь свое мнение и если он сам явно обнаруживает его, то нет никакого повода тем обижаться; 4-е, что вообще, как видно, тут хотят смешать частное дело с обществен-

ным и наконец, 5-е, что исполнение намерения господ депутатов оставить присутствие Совета при моем появлении было бы явным нарушением законного порядка и что в таком случае он озаботился бы о приискании им преемников.

В частном же письме к тому же Катакази граф находит, что он показал мало твердости, не стараясь вразумить молдаван и прекратить дело, не давая ему никакого хода. Одним словом, дал ему напрямой[45].

Официальным письмом из Крыма, Казначеев по поручению графа уведомлял меня о распоряжениях им сделанных. Вместе с тем именем его объявлял он мне хвалу за то, что, не слушаясь Лекса, я поехал в Кишинев и порицание за то, что, послушавшись губернатора, не пошел я в Совет.

Как было не догадаться молдаванам, что дело мое наместник почел как бы собственным? Я же сим торжеством, признаюсь, не весьма был утешен. Кишинев мне вновь опротивел, и я всё надеялся, что, дабы не поддаваться молдаванам, мне сперва дадут какую-нибудь комиссию, а после и вовсе уволят

от должности. Когда явился я в Совет, никто не вышел; но никто из молдаван мне не поклонился. Народы, называемые необразованными, сохраняют еще сколько-нибудь твердости и чистосердия. При сем воспоминании, вместо того чтобы обвинить их, мне хочется их оправдать.

Они жили себе по старине данниками Порты под управлением собственных воевод из единоплеменников, пока турецкое правительство, для умножения с них доходов, не стало отдавать княжеств на откуп и насылать к ним господарей из греков, своих драгоманов. Они познали тогда нужды, им прежде неизвестные и алчность к золоту для удовлетворения их. Когда же русские повадились приходить к ним с вооруженной рукой в виде союзников и избавителей, тогда только началась у них настоящая порча нравов. Россия с своими европейскими затеями, с деспотическими навыками и с либеральным кривляньем часто сама не знает чего она хочет, а бедные завоеванные народы еще менее. Нет ни в чём общей системы, постоянной цели. Во время войны из главнокомандующих армией иные через ме-

ру баловали молдаванов, другие слишком круто поступали с ними. И тут в Бессарабии, когда дарована им была карикатурная конституция, когда они почитали себя свободными, после бессмысленного Бахметева и робкого Инзова, вдруг встретили они непреклонную волю Воронцова.

Сами же русские, натолковавши им о преимуществах европейского просвещения, породили в них глубокое презрение к нам, завоевателям их. На простодушных, веселых, храбрых наших армейских штаб и обер-офицеров, также на гражданских чиновников, степенных, всегда занятых делом, смотрели бояре как на варваров. Несколько они уважали тех, кои одевались по моде, знали светские обычаи и говорили по-французски, но в них видели они уже не русских, а европейцев. В Кишиневе бояре приходящих к ним даже русских советников никогда не сажали у себя: каждый из сих несчастных находился под патронатством которого-нибудь из них, и они трепетали перед их могуществом, полагая, что они имеют в Петербурге тесные связи с Каподистрией и со Стурзой. В мое время в них

это было только действием привычки. Рассказывали, что причудливый, сумасбродный Иван Бальш, пожалованный камергером и поселившись тогда в Петербурге, в маленькой улице, любил забавляться стрельянием в цель. С отчаянием прибежал квартирный надзиратель, из отставных русских офицеров, и умолял оставить сие занятие, представляя, что в случае какого либо несчастья, не он г. Бальш, а он полицейской подвергнется жестокой ответственности. «Ну так стой же на карауле: — отвечал тот, — и никого не пускай, пока я тут»; и приказание исполнялось. Всегда бояре обижались, когда от Бахметева дежурный полицейской офицер приходил к ним с приглашением на обед или на вечер: такие люди не должны были касаться порога их. После того можно посудить, как легко было полиции находиться в исправности. За то и многие русские в глаза смеялись молдаванам и не весьма пристойно над ними подшучивали. Причины к неудовольствию, даже взаимной вражде, были многочисленны.

Вообще иностранцы, находящиеся в области, старались жителей поставить против

нас. Грешно было бы упрекнуть в этом случае немцев: они или прилежно занимались делами службы, ни о чём другом не помышляя, или женившись на молдаванках спокойно хозяйничали в их приданных кишлах. Поляки и французы были для нас вредны: первые вселяли к нам вражду свою, последние презрение. Первых было много; но семейства их, среди православного населения, неприметным образом превращались в русских. Последних было мало; эти хвастуны, без всякого дурного намерения, беспрестанно восхваляли благословенную, цветущую страну свою и сравнивали ее с нашим диким Севером и его грубыми нравами, и тем самым у людей высшего сословия отнимали всю охоту поближе ознакомиться с государством, к которому они принадлежали. Веселая, довольно учтивая дерзость некоторых из сих французов и их легкомыслие были довольно забавны и оригинальны, так что я не могу отказать себе в удовольствии здесь изобразить их.

В дружественных отношениях с богатейшими из бояр был некто Флёри, еще до революции, в первой молодости сосланный на га-

леры и бежавший из Тулона. Возвратиться во Францию ни при котором из менявшихся там правительств ему не было возможно: на левом плече у этого г. Флёри расцветала лилия. Хотя ему было гораздо за пятьдесят, но он был еще бодр, здоров, свеж и румян, умел пленить одну княгиню Ханджери и не ее одну обирал он. Когда мне после случилось временно управлять областью, раз пришел он во мне за каким-то делом. Я имел слабость посадить его, но не мог удовлетворить его просьбы; он, кажется, прогневался и едва вышедши от меня, надел шляпу. В другой комнате стоял с бумагами канцелярской чиновник по имени Грибовской, малый молодой и смелый. Я перстом указал ему на шляпу сквозь открытые двери; он бросился, сорвал ее и, принимая вероятно барина сего за молдавана, подал ему ее с улыбкой, сказав: слуга думитале (покорнейший слуга). С бешенством Флёри оборотился ко мне и спросил, как могу я допустить, чтобы в присутствии моем чинимы были такие дерзости. «Да, я не допускаю, — отвечал я, — чтобы кто-нибудь у меня в комнате при мне смел надеть шляпу». Он пуще разъярил-

ся, хотел еще что-то молвить, но я прервал его словами: «полноте, г. Флёрри, пожалуйста не горячитесь; я знаю, кто вы и мне нетрудно будет приказать обнажить истину». Он что-то пробормотал, но с поникшею головою спокойно удалился.

Другой замечательный в Кишиневе француз назывался Шевалье де Карро. Он был красив собою, весьма доволен собою, всегда одет франтовски и может быть, по фамильному имени его мне казалось, что он походил на бубнового валета. Одна богемская графиня Чернина для него покинула родину и семейство, хотела куда-нибудь подальше скрыться, поселилась с ним в загородном доме в версте от Кишинева и никому кроме него не показывалась.

Еще один француз мусью Рене мне отменно полюбился своею скромностью и знанием. Неизвестно было, чем он жил, но всегда одет был опрятно и везде был принят... Он имел намерение завести пансион для благородных мальчиков, только желал, сверх позволения на то от правительства, получить от него денежное пособие. Я взялся быть за него ходата-

ем у графа. «Что вы, что вы! — воскликнул он, — да вы верно не знаете, что это ужаснейший якобинец». К сожалению после оказалось, что сведения о нём не совсем были ложны.

Никто не назвал бы якобинцем седого ше-валье де-Сиво (Sivault), который меня посе-щал и очень потешал. Он весь был проник-нут, начинен, умащен дореволюционными, аристократическими предрассудками: низ-шее сословие, ротюра, по мнению сего, впро-чем, весьма доброго человека, не совсем при-надлежала к человеческому роду. Не знаю, где провел он первые годы своей эмиграции, только долго жил потом в Одессе под покро-вительством дюка де-Ришелье, который и вы-хлопотал ему во Франции вознаграждение за сделанные им потери. С небольшим капита-лом вторично покинул он родину, где не был восстановлен прежний порядок и где оста-ваться он не мог, и воротился в Новороссий-ский край. Тут взял он в Хотинском цынуте две мошии на аренду; как он заправлял ими, не понимаю, ибо большую часть времени проводил в областном городе. Кто хотел его

молодить, тот давал ему только что шестьдесят лет, а совсем тем был он весел, бодр и проворен. Любимый разговор его был о его амурах, не о стародавних, а о настоящих; он во всех девиц влюблялся, а за одну даже и сватался. Он никак не хотел верить, чтобы он не мог более нравиться женщинам, да и никто не старался разуверить его в том. Лишь только заговорить при нём о фехтовании и в руку дать ему палку, он пойдет сражаться со стеной, делать тьерсы и кварталы. Если кто-нибудь в шутку на фортепиано заиграет при нём французскую кадриль, его сперва начнет подергивать, корчить, потом он вскочит и начнет бить нога об ногу; наконец, не утерпит и один пустится плясать, выделявая шассе батю и антраша. Это был не человек, а наслаждение.

Также легитимист, также роялист, только иного покроя, нового издания, был молодой Бретанский дворянчик барон Риуфф де Торан, близкий родственник жене Шатобриана. Этот был чопорен, скучен, всегда одет щегольски и обвешан разными покупными крестиками, между прочим французской серебряной Ли-

лией и папскими орденами Св. Гроба и Золотой Шпоры. Он, как говорится, был гол как сокол, и где-то за границей женили его на весьма пожилой деве, сестре полоумного камергера Бальша, прослывшей богатою. Он был красавчик, а она куда как неблагообразна. Богатство её состояло из двух небольших деревень в Бессарабии и пребольшом о них процессе. Дело производилось в Совете, и барон так часто твердил мне названия сих владений, Александрени и Коболта, что и поднесь остались они у меня в памяти. Может быть, придется мне говорить о другой тягостной для меня его тяжбе, в которой, к несчастью, избрал он меня единственным судьёю.

В то время житье мое было так неприятно, так скучно, что воспоминание об нём производит во мне зевоту. От того-то для рассеяния принялся я за французов. Впрочем, громовое послание графа рассеяло вокруг меня тучи. Испуганный губернатор сделал обед и на него пригласил меня и несколько менее разгневанных молдаван для примирения; дело обошлось очень хорошо, без изъявления неудовольствия с чьей-либо стороны; но уже

нравственная власть моя над ними навсегда была потеряна. Заметив, что в Совете на каждое слово мое бывает возражение, по делам, в коих принимал более участия, изъявлял я мнение, противное тому, которое имел: сопротивление, которое оно встречало, было согласно с моим желанием, и этой уловкой нередко заставлял я сих господ делать, что хотел. Сочлен и сожитель мой Арсеньев, который живши в двух шагах от меня, сначала ни разу не хотел меня посетить, также приходил с приглашением на обед; но от сей мировой, не помню под каким предлогом, я отказался, и с тех пор до конца его жизни остались мы совершенно чужды друг другу.

Нельзя было сказать, чтобы дом, в котором мы жительствоваали с ним, находился у городского выезда; ибо далеко за него простирались кварталы, назначенные для постройки новых домов. Но покамест тут было одно чистое поле, на котором не было ни кола, ни двора. Это место во время вечерней прохлады было моей любимой прогулкой; не встретишь на нём, бывало, ни одного человеческого лица. Я чуждался надоевшего мне Киши-

невского общества, но дабы не совсем тратить время попустому, мне пришло в голову начать делать новые знакомства.

Я уже сказал, в каком уничижении у молдавских бояр жили русские советники правления и палат. Я на них не обращал большего внимания, да и они сами держали себя в почтительном от меня отдалении. Некоторые из них были женаты, имели добрые семейства, милых детей, жили же они уединенно, хотя совсем не скудно. Так как патроны их бывали в несогласии, то и они между собою не имели близких сношений. Почитая меня погибшим и опасаясь, чтобы не участвовать в моем падении, они еще более от меня отдалялись. Но когда победа оказалась на моей стороне, и я сам сделался к ним внимательнее они приняли это не без удовольствия. Я начал посещать их, звать их к себе, собирать иногда у себя по вечерам и сближать их между собою. Когда я покороче познакомился с ними, то старался объяснить им, сколь постыдно русскому чиновнику в завоеванной земле отдать себя в кабалу кому-либо из жителей и как безрассудно с трепетом поклоняться тем

людям, которые, по наклонности своей к тяжбам, сами более должны иметь в нас нужду. Мне казалось, что слова мои на них подействовали. Они были очень уверены в благосклонности к ним Михаила Ивановича, то есть Лекса, но в случае нужды мало надеялись на твердость его защиты. Я уверил их, что при Воронцове он совсем переменялся, и обещал им покровительство Казначеева, да и самого графа. Что же касается собственно до меня, я объявил им, что всегда совершенно готов к их услугам. Одним словом, поступал как настоящий заговорщик.

Усилия мои остались не безуспешны; только переворот мог сделаться не иначе как постепенно. Еще до наступления осени, сии господа стали посещать друг друга, делать вечеринки без претензий и роскоши и на них, как говорили, играть в картишки. Барыни их, скромные, любезные без французского языка, вкусили наслаждение общежития и никогда потом от него отстать не могли. Чиновники других ведомств, некоторые военные, женатые немцы, Эйхфельд, Эйтнер, Метлеркампф и другие, не попавшие в высший круг, состав-

ленный по большей части из молдаван и греков, пожелали участвовать в удовольствиях сей жизни. Но то ли дело было, когда следующей зимой наехало несколько вновь определенных чиновников с хорошим состоянием (назвать их здесь еще не место), люди, которые умели дать себе вес, любили принимать и угощать у себя преимущественно земляков своих. Тогда то решительно составилось особое русское общество, *status in statu*, которое могло смеяться над боярскою спесью. Я же не мог налюбоваться, глядя на сей, как мне казалось, открытый мною новый мир. Союз дает силу; ее возчувствовали члены беспрестанно умножающегося общества и стали действовать смелее. Как должны были удивиться молдавانه, когда встретили упругость в своих прежних клиентах?

Когда я говорю о молдаванах и спеси их, то дело идет об одних только боярах. Поступивших в Российское подданство было немного; но после разрешения иметь владения по обеим сторонам Прута, многие из них приобрели имущества в Бессарабии и спаслись в нее из Бухареста и Ясс во время турецкого гонения.

Они почитали себя главами народа, крепко стояли за свою народность и возбуждали мелочь против тех, кои смели её касаться. Впрочем, их не очень любили те из соотечественников их, на коих они смотрели с презрением, называя их своими прежними слугами, чокоями и трубкоподавателями, и которые, купив имения и получив места, сделались у нас дворянами и следственно им равными. Из числа сих последних братья Стамати, братья Замфираки, Рале, сами пристали к русской партии; их примеру последовали многие другие. С возвращением восвояси запрутских бояр, совершенно должен был измениться молдавский дух в Бессарабии.

Всё бы это было очень хорошо, но я чувствовал тоску неодолимую и от того мучил графа просительными письмами об увольнении меня от должности. Он не согласился и из Крыма прислал мне опять приказание приехать в Одессу по делам службы. Я и тому обрадовался и 15 сентября, почти ровно через год после первого приезда моего в Кишинев, оставил его.

Перед этим стояли несносные жары, я одет

был легко, и в самую минуту выезда моего пошел мелкий и частый дождик. При внезапной перемене температуры я всегда подвержен был простудам; тут почувствовал я лихорадку, так что должен был остановиться ночевать в Бендерах у полицеймейстера Бароцци, весьма доброго человека. На другой день я оправился, и за Днестром встретило меня опять благотворное солнце. К вечеру приехал я в обычный мне отель де-Рено.

Еще граф не воротился из Крыма. В городе и особенно на пристани было много торговой деятельности, но веселого шума нигде. Один театр занимал тогда всю публику и даже разделял ее. Приехала из Петербурга певица Данжевиль-Ванденберг, которую я там видел на сцене и о которой говорил в начале сей части. Она за что-то поссорилась с дирекцией, привезла в Одессу двух плохих актеров, Валдоски и Огюста, еще кой-кого понабрала и пустилась потчивать жителей водевилями Старожилы, если только могли они быть в двадцатилетнем городе, видели в этом посягательство на священные, исключительные права, дарованные итальянцам. Им вторил старик

граф Ланжерон, вероятно по обязанности бывшего одесского градоначальника. За то новый, граф Гурьев, ничего не смысливший в музыке и всегда отличавшийся галломанией, всю силую поддерживал французов Конечно в искусстве пения Данжевиль не могла бы состязаться даже с посредственными одесскими певицами, за то играла превосходно, была хороша собою и умела выбирать веселые пьесы, при представлении коих партер всегда бывал полон. Не доказывает ли это, что итальянская опера была только делом условным, а настоящею потребностью французский или даже русский театр? Но о сем последнем никто не смел даже думать, и нельзя было предвидеть, что через несколько лет две русские труппы в одно время будут играть на двух разных сценах и всегда привлекать множество зрителей. В таком разноязычном городе как Одесса был необходим общий язык; им сделался русский. Грек или англичанин, жид или француз каждый произносил по своему, но все друг друга понимали. Заведение театра еще более распространило употребление его между жителями.

Больно мне бывало слышать ругательства против русского народа, а еще большее внутренне сознаваться, что они были заслужены. Первое население Одессы состояло из русских бродяг, людей порочных, готовых на всякое дурное дело. Нравы их не могли исправиться при беспрестанном умножении прибывающих подобных им людей. Но они служили основой, так сказать фундаментом новой колонии. А между тем, если послушать иностранцев, каждая нация приписывала себе её основание; во первых французы, которые столь много лет при Ришелье и Ланжероне пользовались первенством; потом итальянский сброд, гораздо прежде Рибасом привлеченный, в этом деле требовал старшинства, жида, которые с самого начала овладели всей мелкой торговлей, не без основания почитали себя основателями. Немцы, которых земляки в Лустдорфе и Либентале, были единственными скотоводами, хлебопашцами, садовниками и огородниками в окрестностях и одни снабжали население съестными припасами, имели равное на то с ними право. Наконец, поляки, которые привозили свою пшени-

цу, родившуюся на русской земле, обработанной русскими руками и поддерживали там хлебную торговлю, видели в Одессе польский город. Одна Россия не участвовала в сооружении сего града, разве только покровительством царским, миллионами ею на то пожертвованными, да десятками тысяч рук её сынов, не трудолюбивых, но неутомимых. На сих сынов её иностранцы смотрели как на навоз. Спросить бы у сих господ, что бы сделали они без этого навоза, который лучше камня служил основанием их Фортунам. До того этот город почитался иностранным, что на углах улиц видны были французские и итальянские надписи, как например *rue de Richelieu*, *Strada di Ribas*. Тогда граф Воронцов был одушевлен самым благородным, патристическим жаром, и все эти надписи велел заменить русскими.

Около месяца дожидались мы возвращения нашего генерал-губернатора. Он зажился посреди прелестей природы на Южном Крымском берегу и, вероятно вследствие какой-нибудь неосторожности, захворал неотвязчивою Крымскою лихорадкою. Дотоле я не знал

человека здоровее его; он достигнул настоящего зрелого возраста и был самого крепкого сложения; с этих пор болезни нередко стали его посещать. Он воротился изнеможенный, бледный, худой, занимался делами, но мало кому показывался. Я не мог много похвалиться ласкою его первого приема; я приписывал это действию лихорадки, а это было действием наговоров. Врунов сопровождал его во всё время этого путешествия и, раз открывши мои злодеяния, с совета Александра Стурдзы, пустился мне вредить, чего дотоле он не делал. Главным намерением его было убедить графа, что после всего происшедшего мне в Бессарабии никак оставаться не было возможно; он не знал, что тем оказывал мне величайшую услугу.

Однако же после первого объяснения, лед обхождения со мною графа приметным образом растаял. Почти всякой день видел я его потом, и когда графиня наверху за обе, дом принимала гостей, а он по слабости здоровья один обедал у себя в кабинете, нередко с глазу на глаз случалось мне разделять его трапезу. Он с каждым днем становился мне любезнее,

и об отсылке меня в Кишинев не было и помину. Но куда же девать меня? Во время последнего пребывания в Крыму прогневался он на Таврического вице-губернатора статского советника Куруту за одно дело, в котором, правду сказать, сей последний был вовсе не виноват, и оросил министра финансов перевести его в какую-нибудь другую губернию; на его место прочил он меня. Но Канкрин не показывал никакого расположения удовлетворить сие желание графа, а я покамест оставался как бы между двух стульев. Увы, скоро одно из них должно было для меня опорожниться.

За несколько дней до графа прибыл из Крыма другой граф, еще знаменитее его, но который присутствием своим его затмить не мог. Граф Кочубей, оставив дела службы, по болезни дочери, провел зиму в Феодосии; но пребывание в сем мертвом городе семейству его показалось слишком унылым, и он морем приплыл с ним в Одессу, дабы в ней провести эту зиму. Он так высоко стоял надо мною, не по званию, не по гениальности, а по горделивому характеру, что я не видел повода ему

представляться. Однако же, за обедом у графини Воронцовой, он сам обратился ко мне с речью, и после обеда милостиво разговаривал; после того счел я обязанностью явиться к нему. Обыкновенно вельможи в провинциях на величие свое накидывают тонкое покрывало, дабы блеск его смягчить для слабого зрения провинциалов и сделаться доступнее. Меня граф Кочубей позвал к себе в кабинет и тотчас посадил; одаренный удивительною памятью говорил он со мною о Китайском посольстве, с участием вспоминал об отце моем и с любопытством расспрашивал о Бессарабии. У таких людей надобно ожидать их сигнала к отбытию; я не дождался его, встал, а он меня опять усадил. Прощаясь объявил он мне, что с такого-то по такой-то час, он не занят делом, и что в это время он всегда меня охотно примет. Мне едва верилось. Маленькое самолюбие заставило меня еще раза два воспользоваться его дозволением или приглашением, и я не имел причины в том рассказываться. Не знаю чему обязан я за его хорошее расположение. Разве добрым словом, за меня замолвленным ему Блудовым?

О сем последнем давно не имел я никакого известия. Но болезни, по неудовольствию ли какому, или просто для прогулки отправился он, как говорили наши старики, на теплые воды, а потом странствовал по Германии. Отъезжая, передал он Бессарабские дела и, кажется, заботы, в случае нужды, обо мне приятелю своему, статскому советнику Аполинарию Петровичу Бутеневу, бывшему впоследствии посланником в обоих Римах, в нашем, и в католическом.

От родных также не часто имел я извещения; последние дышали радостью. В Пензе, где в четверть века едва ли раз показывалось регулярное войско, где народ с любопытством бежал за проходящим Башкирским полком, назначен был смотр двум корпусам. Пенза, которая никогда не наслаждалась лицезрением ни одного из царей своих, ожидала Александра. Он прибыл, остался доволен войском; погода в начале сентября стояла бесподобная, восторг вокруг него был неописанный, и лице его, в последние годы его жизни и царствования, почти всегда унылое и мрачное, на несколько дней просияло веселием. Подроб-

ности пребывания его в Пензе сохраняются у меня в письмах брата и сестер моих.

В это время одесское или лучше сказать семейное общество графа умножилось одною прибывшею из Петербурга четою. Не слишком богатый Казанский помещик, молодой красавчик, Димитрий Евлампиевич Башмаков, служил в Кавалергардском полку. Мундир, необыкновенная красота его, ловкость, смелость открыла ему двери во все гостиные большего света. Он получил там право гражданства до того, что решился искать руки внучки Суворова у Марьи Алексеевны Нарышкиной и получил ее. Право, как-то совестно много толковать о таких людях, как эти Башмаковы, но по заведенному мною порядку сие необходимо. Человека самонадеяннее, упрямее и непонятливее Башмакова трудно было сыскать; кто-то в Одессе прозвал его *Brise-raison*. Молодая супруга его, Варвара Аркадьевна, была не хороша и не дурна собою, но скорее последнее; только на тогдашнее петербургское высшее общество, столь пристойное, столь воздержанное в речах, она совсем не походила, любила молоть вздор и делать

сплетни; бывало, соврет что-нибудь мужу, тот взбесится, и выйдет у него с кем-нибудь неприятность. А *** и Раевской были опять тут как тут и более чем когда, ненавидели друг друга[46]. Они не очень сближались с Башмаковым; а то Синявин подружился с ним, и сии люди, пожаловавшие себя в аристократы, были неразлучны. Я было и забыл сказать, что г-жа Башмакова по матери была двоюродной племянницей графа и что муж её, при оставлении военной службы, получив чин действительного статского советника и камергерской ключ, приехал под покровительство дядюшки. Вот какая родня дальняя и близкая облепила графа и графиню Воронцовых. Последняя сделалась ко мне милостивее, и я смотрел на нее с некоторым сожалением. Можно себе представить, какие неудовольствия, толки, пересуды должны были произвести претензии и несогласия сих людей между окружающими графа. Бог избавил меня по крайней мере от этой напасти: ибо по возвращении его из Крыма, судьба не дозволила мне долее трех недель оставаться в Одессе.

В первых числах ноября приехал из Кишинева сперва губернатор Кагакази, а вслед за ним и товарищ мой г. Арсеньев; сей последний со словесным объяснением вице-губернатора Петрулина, который писать уже не был в состоянии по совершенному изнеможению сил. Пока они не совсем еще оставляли его, напрягал он их и истощал для занятий по службе; тут вдруг принужден был он их сдать, ото всего отказаться и просить об увольнении. Подобного примера деятельности и самоотвержения в исполнении обязанностей сыскать почти невозможно. Приезд Арсеньева значил: неудобно ли меня на его место? Однако же дня через два с тем, с чем приехал, с тем и уехал он.

В Михайлов день, 8 ноября, дабы праздновать именины мужа, графиня сделала великолепный бал, украшенный присутствием двух Андреевских кавалеров, Кочубея и Ланжерона. Не без труда на этот бал могла она вытащить графа, всё еще страждущего, в мундирном сюртуке и без эполетов. Он отозвал меня в сторону и сказал, что имеет кое-что со мной переговорить, но что тут не место и для

того приглашает меня к себе на другой день поутру. Лекс, обыкновенно столь скромный, из особой приязни проговорился мне, что вероятно будет мне сделано предложение занять место Петрулина, об ожидаемой кончине которого, последовавшей 6-го числа, перед вечером получено известие. Меня это чрезвычайно смутило; как было отказываться, но как было и согласиться ехать опять в этот ужасный, для меня как бы неизбежный Кишинев?

Однако же не совсем без бою уступил я требованиям графа. Два слова меня убедили; первое то, что в настоящую минуту моим согласием будет он выведен из величайшего затруднения; второе то, что по случаю приближающегося срока для отдачи в откупное содержание выкупной продажи по области, мне одному может он с полною доверенностью получить сие дело, и что для общей пользы, кажется, можно на некоторое время пожертвовать приятностями жизни.

Он прибавил, как смешно будет смотреть на молдаван, изумленных моим новым появлением с умножением власти. Одним словом,

он нападал и на добрые и на худые стороны моего характера. Не знаю какое мнение мог он иметь обо мне, видя, что всегда воли его была для меня законом; может быть, видел он в этом слепое подобострастие к начальству. Как ошибался он! Моя безусловная покорность происходила от другого чувства: от преданности к избранному сердцем моим, мужу знаменитому, готовому всем жертвовать для отечества, такому, каким воображение мое тогда создало его.

Он хотел, чтобы, исключая Казначеева и Лекса, временное назначение меня в должность вице-губернатора, по особому праву ему данному, оставалось пока в тайне даже для находившегося тут губернатора Катакази. Нужные о том бумаги в Совет были написаны 9-го числа, а я, не сказав никому о том ни слова, ни с кем не простившись, 10-го числа оставил Одессу.

XIV

Желтухин. — *Вице-губернаторство.*

Погода и дорога были прескверные. Уставши, в Тирасполе остановился я переночевать на каком-то постоялом дворе. Я тут оставался не долго: начальник 17-й пехотной дивизии, генерал-лейтенант Сергей Федорович Ж..., в отсутствие генерала Сабанеева исправлявший должность корпусного командира, прислал убедительно просить меня к нему переехать. У него нашел я отличный прием, славный ужин и мягкую чистую постель. Всё прекрасно; но он поразил меня ужасною вестью, что в Измаиле открылась сильная чума, и что в следствие сего известия, только что полученного, едва ли по Днестру не приняты все строгие карантинные меры. Случись это суток двое или трое прежде, и вероятно я не решился бы ехать.

Верно изобразить г. Ж... я колеблюсь. Многим покажется, что я плачу ему неблагодарностью за его гостеприимство; да разве я не обязался исправно дань платить истине? Ес-

ли кто захочет порыться во второй части этих Записок, тот найдет в Казани родителей Ж, отставного сенатора и супругу его, которые, несмотря на свои ласки, произвели на меня ужасное впечатление; тут мимоходом упомянул я и об нём. В самой первой молодости служил он в гвардии, потом в армии, всегда в военной службе; не понимаю, как он выбрал этот путь. Я бы мог умолчать о его необычайной трусости, если бы в редких сражениях, в коих он находился, он свидетелем её не сделал всё войско. В то же время был он чрезвычайно жесток с подчиненными, особенно с нижними чинами, и чрезмерно ласков с теми в коих полагал иметь надобность: одним словом, при уме более чем посредственном, имел все пороки низких душ. Дивизионная квартира его находилась в Кишиневе; узнав об отменном ко мне благорасположении начальника своего Сабанеева, также и графа Воронцова, из коих первый просто его не любил, а последний не мог скрывать отвращения своего от него, он надеялся через меня попасть к ним в милость и душил меня своими ласками. Как умел, отделялся я от них; но во вре-

мя молдавского гонения на меня, он стал чаще меня посещать и оказывать все знаки уважения и дружелюбия; против этого не совсем я устоял, и вот какого рода были наши связи.

Долго проспал я следующим утром: и сам я не очень спешил выездом, да и Ж... удерживал меня до завтрака, то есть до обеда. Не село же мне будет в Кишинев, думал я: вероятно Катакази прямо из Одессы отправится в Измаил, а областью управляет Курок, и мне придется с ним иметь дело; тогда со всех сторон мы будем заперты. Сердце у меня сжалось, когда я переехал через Днестр: мне казалось, что я вхожу в тюрьму, и за мной запираются двери. Шестьдесят верст скоро можно сделать, и 11-го числа в девять часов вечера приехал я в любезный Кишинев. Я даже не въехал к себе прямо на квартиру, а остановился в небольшом немецком трактире, против строения, в котором были заседания Совета. Тотчас послал я просить к себе полицмейстера Радича, ему одному объявил свою тайну и просил, чтобы о назначении и приезде моем никто в городе не знал.

На другой день, 12-го числа, в день моего

рождения, смотрел я в окно и видел, как все члены Совета один за другим приезжали в него. Когда все были собраны, надел я мундир и закутанный перешедши улицу, внезапно явился посреди них. Сие появление француз мог бы назвать *coup de théâtre*: изумление и досада изобразились на всех лицах; я объявил, что никогда не возвращусь, и они опять меня видят! Более всех казался смущенным Арсеньев; не садясь и не говоря ни слова, подал я ему пакет. Его распечатали, прочитали и велели написать журнал о допущении меня к должности. Курика не было; желая показать усердие и деятельность и вероятно почитая себя настоящим губернатором, также поскакал он в Измаил; должность же сию сдал председателю гражданского суда брадатому молдаванину Башоту, предобрейшему старику, который, несмотря ни на кого, один протянул ко мне свои объятия. Как я ни за что не воротился бы к званию члена Совета, то и воссел я на вице-губернаторском месте.

Прямо из Совета поехал я в Казенную Экспедицию, где нашел двух осиротевших советников, Кармазина и Билима, честных, добрых

и сведущих людей, сподвижников Петрулина, которые с ним вместе по желанию его переведены были с ним из Херсона. Объявлением, что я должен заступить его место, были они чрезвычайно утешены. Не вступая еще в должность, я попросил их дать мне общее понятие, в каком находится казенная часть; начиная же с следующего утра, исправно и ежедневно присутствовал в экспедиции.

Между людьми гражданского ведомства, управляющими какою либо частью, есть слабость находить дурным всё, что сделали их предшественники и всё, что делают их преемники; про меня читатель этого не скажет! Менее чем в год Петрулин успел казенные дела извлечь из хаоса, в котором оставил их Крупенской; правда, при расстроенном здоровье, как ретивый конь, он уморил себя. Мне же очистил он путь к дальнейшим улучшениям и облегчил труд, оставив хорошее наследство, опытных сотрудников. Всем он казался дик: сказывали, что, лишившись любимой жены, он начал чуждаться общества и в молчании всё тосковал об ней; может быть, в упорном труде искал он рассеяния. Чистая душа его, я

надеюсь, блаженствует теперь в ином мире с подругой, не опасаясь новой разлуки. Никто даже по заочности не мог упрекнуть его ни в чём, но вообще его мало понимали и не умели ценить. Редкий человек, мало известный и давно забытый, до конца жизни моей останешься ты для меня драгоценным воспоминанием.

Того же дня, 12 числа, переехал я опять в соседство к Авдотье Ивановне. Все её окошки были на двор; каково ей было видеть 14-го числа, в день моих именин, как этот двор, обыкновенно пустой, покрылся всякого рода экипажами? Я никого еще не успел посетить, но большая часть жителей, в том числе много молдаван, придрались к случаю, чтобы приехать меня поздравить. Каково было Авдотье Ивановне узнать, что, для приема великого числа гостей, должен был я открыть парадные комнаты наместника? Её неприязненные ко мне чувства вероятно от того не уменьшились.

Возвратился Курик, и суток не пробывши в Измаиле, куда приехал настоящий губернатор. Не позволяя себе никакой личности, по

делам службы искал он со мною ссоры, а я уклонялся от них. Например, раз приехал он в экспедицию, чтобы свидетельствовать казну: я объяснил ему, что сие делается только в начале месяца, но что впрочем, как мне самому желательно знать всё ли в исправности, то я согласен исполнить его требование. Всё найдено цело и в порядке, что ему весьма не понравилось. Сперва не мог смотреть я без досады на его управление, потом казалось оно мне забавным; он беспрестанно дурачился, с утра до полуночи мучил себя и бедный канцелярский народ, проводя все вечера в областном правлении, где при свечках он всё писал, писал и заставлял переписывать. Такою деятельностью думал он подслужиться графу, дабы попасть на место Катакази, а вместо того своими нескончаемыми донесениями, болтливými посланиями обо всяких мелочах надоел ему до чрезвычайности.

Вскоре получено было из столицы самое печальное известие. Я провел большую часть жизни в Петербурге и с сокрушенным сердцем узнал о его потоплении. Не знаю отчего, но тогда же сие событие показалось мне пред-

вестником других еще несчастнейших. С другой стороны близость чумы, мрачное, холодное осеннее время, всё располагало меня к ипохондрии. Бывали минуты, в которые до того я чувствовал себя расстроенным, что с трудом мог заниматься делом.

Со всем тем мне вдруг пришло в голову заняться бездельем, дабы по возможности разогнать тоску вокруг меня царствующую в целом городе. В публичном саду, уже не по одному имени, для публичных увеселений выстроена была на улицу большая каменная галерея или зала с тремя или четырьмя комнатами вокруг. Она находилась в некотором запустении, и мне хотелось завести в ней балы. Я отыскал некоего Жозефа, Бог весть как попавшего к нам; из бумаг и аттестатов его увидел я, что он находился поваром и метрдотелем сперва у герцога Ангальт-Кётен-Плесского, а потом у принцессы Элизы Бачиоки, сестры Наполеона. Это исполнило меня к нему благоговением, и я предложил ему сделаться содержателем сих балов с условием, что сбор с посетителей будет весь ему принадлежать, но за то отопление, освещение и прочая и

прочая, даже некоторые поправки в зале, должны быть на его счет. Он на всё охотно согласился.

Русское общество, весьма умножившееся, когда я объявил ему о своем желании, первое изъявило согласие содействовать его исполнению. От генерала Ж, усердствовавшего в сем деле, получил я обещание не слишком строго взыскивать с молодых офицеров за несоблюдение формы на сих вечеринках и сие обещание им передал. С его же соизволения полковник Остафьев даром дал нам свою полковую музыку. Наконец, и с молдавской стороны пришла неожиданная помощь.

Была одна добрая, сумасшедшая старушка, госпожа Богдан, которая оставила Яссы единственно потому, что у неё был там сын с предлинной бородой и внук с изрядным усом, а ей всё еще хотелось казаться молодою. Она получила некоторое образование и каким-то непонятным французским языком описала путешествие свое в Италии. Она была богата и имела большой вес между земляками. Не знаю как ей вздумалось свататься за меня; я, разумеется, не позволил себе отказаться от её

руки и просил только времени на размышление. Этим временем пользовался я, чтобы заставить ее делать что хочу. Я уверил ее, что на этих балах будет она царицей, а как царице нужен двор, то и просил ее, чтоб она склонила молодых кокон и кокониц участвовать в сих увеселениях; сие было ей не трудно, ибо им самим до смерти хотелось танцевать. Немногие однако ж из бояр согласились отпустить жен и дочерей на сии вечера; только те, которые искали со мною примирения и показывали, будто мне из уважения сие делали. О молодых молдаванах и говорить нечего: им бы только поплясать. Во всех землях, куда проникает европейское просвещение первым делом его бывают танцы, наряды и гастрономия.

Дело шло весьма успешно: в первом собрании было до полутора ста человек, а в продолжение зимы число посетителей обоего пода доходило иногда до трехсот. Будучи озабочен делами одной только Казенной Экспедиции, было у меня довольно времени, чтобы заниматься такими пустяками, как иные называ-

ли это. Однако же всё как-то смотрело веселее, бодрее по русской пословице: на людях и смерть красна. Однажды нашел я веселящихся в некоторой тревоге: они почувствовали легкий удар землетрясения, которого на езде, к сожалению моему, заметить я не мог. Никогда не удалось мне видеть действие сего феномена, не редкого в Бессарабии.

Вот каким грустным и вместе веселым образом оканчивался для меня 1824-й год. С неизъяснимым чувством непонятного страха смотрел я на приближение ужасного, для меня столь мучительного 1825 года. Опасность для государства в 1812 году была очевидна, по крайней мере можно было, так сказать, ее измерить; а тут что-то мрачное, неугаданное, непостижимое, подымаясь на даль нём горизонте, казалось, грозит тебе. Описанию сей суровой эпохи моей жизни, если достанет сил, намерен я посвятить следующую часть моих Записок.

За два дня до Рождества пожаловал ко мне г. Курик с видом не гневным, однако и не веселым. Он привез мне копию Высочайшего

указа, подписанного 1 декабря, об утверждении меня в звании вице-губернатора. Более десяти дней частным образом был о том я уведомлен, но в Сенате исполнение указов всегда встречает небольшую проволочку. Он предложил мне по краткости времени и по случаю закрытия присутственных мест обратиться Совет для приведения меня к присяге и вслед затем согласно постановлениям передать мне губернаторскую должность. На первое я тотчас согласился, а второе пропустил в молчании. Он принял это за уклонение от исполнения этой обязанности, с которой так жаль было ему расстаться. Оно действительно так было, но формально отказаться я бы не смел. Несколько времени оно так длилось, пока от графа не получил он строгого замечания и предписания сдать мне бразды правления, что было исполнено 5 января уже 1825 года. Часовое калифатство мое также должен я перенести в следующую часть.

Конец шестой части.

Замечания на нынешнее состояние Бессарабии[47]

Бессарабская область составлена из двух частей, совсем почти между собою различных. Первая из них, заключающая в себе цынуты: Хотинский, Ясский и Оргеевский, до последнего трактата с турками собственно принадлежала Молдавскому княжеству; другая же половина (Буджак, т. е. по-турецки Клину именуемая, и также на три цынута: Бендерский, Аккерманский и Измаильский разделенная, была еще недавно занимаема кочующими татарами и состоит из необозримых равнин и степей, подобных тем, кои находятся в соседственной и прилежащей к ней Херсонской губернии. В первой из сих частей живут почти одни природные молдаване, другая же населена русскими, болгарскими, польскими и немецкими колонистами. Земли и селения в первых трех цынутах принадлежат почти вообще помещикам и разного рода владельцам; в последних же всё казенное, за исключением пожалованных земель и хуторов

митрополии Кишиневской, армянскому архиерейскому дому, отведенных для колонистов и вновь пожалованных разным лицам.

Весьма трудно определить число жителей сей области, ибо непосредственные казенные подати, бир и даждия, собираются не поголовно, а с семейств, и в казенно-экономическую экспедицию областного правительства доставляется только исчисление сих последних; примерно же полагается жителей обоего пола, разных сословий и происхождений, до 450 тысяч. Само собою разумеется, что число молдаван, в Бессарабии живущих, превышает число жителей каждой из других наций, в ней поселенных. Но если оные взять в сложности, т. е. всех русских, болгар, сербов, немцев, греков, поляков, армян, цыган и евреев, то число молдаван едва ли третью долю против них составит.

Все сии жители Бессарабии разделены на следующие классы: 1) духовенство, 2) дворяне, 3) бояре наши, или личные дворяне, 4) малылы, что соответствует нашим однодворцам, 5) рупташи (поповичи), 6) купцы и мещане, которые крепостные люди, и 7) евреи.

Не одни дворяне, но люди всех состояний и наций, исключая цыган и евреев, могут приобретать в Бессарабии земли и пользоваться ими на правах помещиков. Обязанности же царан, свободных хлебопашцев, обрабатывающих сии земли, к владельцам оных узаконениями весьма ограничены.

Если преимущества дворян в Бессарабии не столь велики, как в других частях Российского государства, то число их и права на сие достоинство также весьма маловажны. Только семь или восемь фамилий, и именно: Стурдзы, Бальши, Роскеты, Доници, Крупенские, Палладио, Катаржи и Рышкано происходят от молдавских бояр. Все же прочие, коих число полагают до восьмидесяти, были слугами бояр до последней войны между Россией и Турцией. В сие время пристали они к нашей армии, приняли разные должности, были комиссионерами, поставщиками, подрядчиками, шпионами и факторами, разными способами составили себе довольно значительные капиталы, выпросили себе чины и, наконец, воспользовавшись протезмией или полуторагодовым сроком, данным для обмена или про-

дажи имения в той земле, которую оставить подданные обеих держав намеревались, приобрели за бесценок хорошие имения по сю сторону Прута.

Букарестским трактатом Бессарабия присоединена была к России в несчастном, но славном 1812 году. Спасая независимость целого государства, правительству некогда было тогда думать об устройстве вновь приобретенного лоскута земли. Важнейшие происшествия наполнили три следующие года, и когда в 1816 году во всей Европе сделался мир, то вспомнили тогда и о Бессарабии. В сей области между тем беспорядок успел установиться. С начала управлял ею осьмидесятилетний, едва двигающийся старец Стурдза до тех пор, пока силы его не оставили. Преемником его был генерал Гартинг, который усердно принялся за исправление неустройств сего края и, имея весьма мало к тому средств, успел однако же ввести некоторый порядок в судах, учредить карантин, полицию, гошпиталь, острог, сделать нечто похожее на правление. К несчастью, подозрение в корыстолюбии лишило его доверенности Государя, а

вскоре потом и места, им занимаемого. Генерал Бахметев, назначенный потом наместником, должен был все беспорядки исправить; но сей заслуженный воин, честный, добрый, а может быть и умный человек, вверился, как сказывают, недостойным любимцам, и надежды на лучшее состояние сей земли опять исчезли. При сем наместнике хотели существующему в Бессарабии беспорядку дать по крайней мере какую-нибудь форму, и сделан был проект образования области. Составление проекта поручено было г. Криницкому, правителю канцелярии наместника, им из Подольской губернии привезенному, человеку умному, но как видно не имеющему довольно способностей и познаний для труда такого рода; к тому же заметить должно, что ему велено было сделать оный на срок, и времени дано было весьма мало. Недостатки сего образования вероятно замечены были самим Государем, ибо ему угодно было одобрить только оный, но не утвердить, и подвергнуть испытанию. Опыт показал, кажется, еще более его несовершенства.

К нравственному злу присоединилось в

конце 1819 года еще и физическое: моровая язва появилась в некоторых цынутах. Два сенатора, Хитров и князь Гагарин, путешествовали в сие время для обозрения соседственных губерний; хотя уже чума между тем и прекратилась, им велено было заглянуть в Бессарабию. Молдаване воспользовались сим случаем, чтобы обвинять начальника своего в злоупотреблениях. Жалобы их могли быть до некоторой степени основательны, но конечно генерал Бахметев был безвиннее тех людей, которые изъявили против него неудовольствие. Желания их исполнились: он должен был удалиться.

Бессарабия поручена была временному правлению генерала Инзова, главного попечителя колоний Южного края. Долговременная служба, редкая честность его и большая деятельность в малом кругу его прежних занятий обратили на него внимание Государя. Вскоре потом вверены ему были и три Новороссийские губернии. Такое бремя было гораздо выше сил его. Беспреданно в трудах, беспреданно в заботах, не мог он произвести ничего полезного; истощая время свое в раз-

ных мелочах, входя во всякие подробности, упущал он из виду все важные предметы. Ход дел останавливался, беспорядки возрастали, всё шло в совершенному расстройству. Такое положение не могло быть продолжительным, перемена делалась необходима и, невзирая на самолюбие, сродное всякому человеку, уверяют, что генерал Инзов сам в том сознавался. Назначили нового наместника, а прежний возвратился опять к мирным своим занятиям.

Деятельность, вовсе неизвестная жителям здешнего края, ознаменовала первые шаги нового начальства. Подобно электрическому удару поразила она иных, других оживила. Но какое рвение ко благу общему, какие усилия ему потребны, чтобы истребить вековое зло, чтобы исправить грубые нравы, дать понятие о чести людям, не подозревающим её существования, чтобы сотворить всё там, где ничего нет, одним словом сделать всё возможное добро сей несчастной, хотя изобильной земле? Беспорядки в ней бесчисленны. Постараемся означить главнейшие и указать потом, сколько понятия наши позволяют, на

способы к их прекращению.

О Верховном Совете

Следуя природному милосердию и здоровой политике, Государь всем народам, покоренным его оружием, оставляет прежние законы и обычаи, все права и преимущества, коими пользовались они до завоевания. Нам казалось, что счастье сделаться подданными великого и доброго Государя, честь принадлежать к великому народу, более других в последнем столетии прославившемся, и соединить судьбу свою с великими судьбами, кажется, Промыслом ему предназначенными, безопасность от вторжения неприятельского под защиту Великой Державы (ибо ни один сильный завоеватель с оружием в руках не ступал на священную землю Русскую, чтобы не понести за то жестокого наказания и не лишиться вскоре потом престола и жизни): всё сие должно бы быть достаточно, чтобы утешить их и вознаградить за перемену правительства слабого и иногда чуждого[48]. Но удержимся от рассуждений, не входящих в предмет наших замечаний.

Бессарабская область не только, в сходстве

с Остзейскими провинциями и губерниями обратно от Польши к России присоединенными, состоит на особых правах, но подобно Царству Польскому и Великому Княжеству Финляндскому, имеет какое-то особое политическое существование. Она лежит между трех Империй, и от Австрии и Турции, равно как и от России, отделяется карантинными и таможенными линиями; но что более отличает ее от других наших владений: она имеет собственное свое высшее судилище. Сие судилище украшено великолепным титулом Верховного Совета; оно должно состоять из мужей опытнейших сего края. Сам наместник в нём председательствует, первые четыре чиновника области в нём заседают, приговоры его должны исполняться беспрекословно, не было на него апелляций и, решая по примеру парламентов прежних французских провинций, или лучше сказать, по примеру Молдавского и Валахского диванов, все дела гражданские, имеет он пред сими последними еще преимущество заведовать делами распорядительными, исполнительными, казенными и экономическими, также и апелляционными

(гражданскими), уголовными и следственными; одним словом, соединяет в себе власть исполнительную, законодательную и судебную. Но как употребляет он сию власть, как оправдывает такую высокую доверенность и из каких людей состоит он, увидим мы ниже сего.

Для суждения по делам гражданским, производящимся на Молдавском языке, назначены понедельник, среда, четверток и суббота: в сии дни председателем областной дворянства маршал, а присутствуют пять депутатов от выборов и два члена от короны. По вторникам же и пятницам производство дел по-русски; бывают наместник, губернатор, вице-губернатор и оба председателя: тогда полное собрание, и занимаются делами исполнительными и казенными. Но как всякого рода дела должны поступать в Совет, а только два дня в неделю дается для их рассмотрения: то спрашивается какая медленность должна происходить от того, и как губительна она, особенно для части полицейской, где малейшее промедление часто сопряжено с великим вредом для пользы общей?

Видя сии неудобства, казалось непонят-

ным, как мот бывший наместник Бахметев, под наблюдением которого сочинялся проект образования области и представивший его на Высочайшее утверждение, как мог он таким образом дать оковать себе руки и лишить себя способов действовать беспрепятственно для пользы службы? Болтливость одного хитрого, хотя и неосторожного человека (г. Курика), большего приятеля г. Криницкому, редактору образования, пояснила нам сию задачу, и вот история учреждения Совета.

Генерал Гартинг, мало сведущий в делах до управления касающихся, и опасаясь ответственности, по самым похвальным побуждениям, сзывал всех председателей и советников разных присутствий, чтобы совещаться с ними о делах области, узнавать нужды её и способы к удовлетворению, и часто руководствовался их мнениями. Сей порядок вещей был признан и одобрен, и так составилось присутствие под названием общего собрания. Приняв должность наместника, генерал Бахметев нашел оное затруднительным и неприличным и желал переменить при новом образовании. Учреждение Верховного Совета

представлено ему было совсем в ином виде; некоторые хитрые молдаване успели его уверить, что власть его чрез то распространится, что Верховный Совет будет, так сказать, находиться при его особе и что влияние его даже на решения всех судов будет непосредственное. *Властолюбивый, но легкомысленный Бахметев* (точные слова Курика) всему поверил, не подозревая никакой тонкости и, безо всякого внимательного рассмотрения, представил проект Государю. Ошибку свою заметил он только тогда, как с наступлением 1819 года Совет воспринял свое действие; но уже было поздно. Встречая на каждом шагу упорство во власти, которую он сам себе противопоставил, сердился он, принимал строгие меры. Ему указывали на точный смысл образования; люди, которые накануне были у ног его, приняли вид защитников прав народных против самовластия; со всех сторон начались жалобы, досады, интриги, вражда[49]. При сем случае должно заметить, что г. Криницкий, правитель канцелярии наместника и его доверенная особа, писал проект образования. Ему в уме и знании дел отказать нель-

зя; что же можно подумать о его характере, и как не пожалеть генерала Бахметева, столь несчастливому в своем выборе?

Боже сохрани нас от желания видеть в руках начальников губерний власть неограниченную! Сегодня мы счастливы, сегодня у нас начальник умный, справедливый, просвещенный, бескорыстный; но кто может ругаться, что завтра не пришлют к нам по неспособности к фронтовой службе такого генерала, от которого горько нам придется, или храброго и честного, но бессмысленного рубачу, который, принимая всякое дело немного затруднительное за Гордиев узел, начнет рубить его как неприятельские головы? Однако же в здешней необразованной земле видеть русского генерала почти в опеке у этих варваров больно для всякого русского сердца. Чтобы водворить в сем крае порядок, просвещение, правосудие, необходимо еще железным жезлом вооружить на некоторое время руку наместника.

Долго сами жители не могли верить важности Совета; из областного правительства хотели сначала возвратить указы, им в отсут-

ствие наместника насылаемые; но скоро увидели, что он Ареопаг не на шутку.

Что произошло наконец от несогласия Бахметева с Верховным Советом? Старался ли он доставить какие-нибудь выгоды казне, принимал ли он какие-нибудь общепользные меры, всегда встречал он затруднения, если не явно, то тайно ему враждующим Советом противопоставляемые. Чтобы устранить сии затруднения, часто должен он был нарушать правила начертанные в образовании; всё замечалось, всё ставилось ему в вину; не только посылались на него жалобы, депутации отправлялись в Петербург, чтобы у престола донести о его несправедливостях.

С своей стороны сей наместник и преемник его употребляли все средства, дабы обессилить или унижить Совет[50]. Генерал Инзов действовал однако же осторожнее, или лучше сказать, мало действовал, умел более владеть собою, в чрезвычайных случаях испрашивал всегда Высочайшее разрешение и при новых выборах (в начале 1822 года) довольно искусно умел удалить строптивейших из членов. Таким поведением прикрыл он конечно свою

ответственность; но какую пользу чрез то доставил он здешнему краю?

Маршал и депутаты прежнего выбора нам мало известны; в похвалу же теперешнего маршала, Янки Стурдзы, скажем только, что он во всём отличен от своих соотечественников. Его почти нельзя считать молдаваном, ибо он никогда не заводил тяжб, не входил ни в какие подряды, исправно заплатил наследственные долги, а сам их никогда не делал, ни пред кем не ползал и ни против кого не интриговал, образ жизни его и образ мыслей совсем европейские; непонятно, как он был выбран! С его правилами, но с большею живостью в уме и пылкостью в характере, мог бы он быть весьма полезен; к сожалению, довольствуется он тем, что заслуживает уважение и любовь общества своим кротким, учтивым обхождением и признательность низкого состояния людей своими тайными благодеяниями.

Переход от сего почтенного человека к другим членам Совета весьма неприятен. Четверо из них, Катаржи, Дониц, Руссов и Казимир, кажется, щеголяют друг перед другом

слабоумием и невежеством; но дурными людьми их назвать нельзя, напротив они довольно добродушны, и здешние дворяне могли бы хуже выбрать: есть из кого! Только жаль, что из сих членов есть такие, которые, не разумея совсем дела, слишком хорошо разумеют свои личные выгоды. Достаточно будет упомянуть о сих господах в массе, но пятый депутат заслуживает особенное внимание: о Прункуле умолчать нельзя.

Человек сей с умом не совсем обыкновенным и с чрезвычайною деятельностью. Происхождение его неизвестно; только знаем, что молодость свою провел он слугой в доме Димитрия Стурдзы; потом по расторопности своей и, выучась грамоте, стался в сем доме писарем и наконец поверенным и ходил за делами. В сем положении застала его наша армия, занявшая Молдавию в 1806 году. Скоро снискал он покровительство некоторых начальников и свел знакомство и дружбу с комиссионерами провиантскими; быв в частых с ними сношениях, довольно хорошо научился русскому языку и некоторым русским обычаям и сделался наконец поставщиком на ар-

мию. По заключении мира, по сю сторону Прута купил он имение и поселился в Кишиневе; тут начинается блестящая эпоха его жизни. К природным способностям и приобретенной опытности присоединив новые познания, мудрено ли ему было сделаться оракулом Бессарабии? Он один два трехлетия сряду был выбран депутатом в Совет и сохранит, вероятно, сие звание до конца жизни, если Совет не будет уничтожен. Собственным могуществом и посредством сыновей, зятя, родственников, сватов и кумовей, которых вслед за собою вытащил он из грязи, действует он на всё, что в сей области происходит. Что касается до его характера и наружности, то ссылаемся на всех кто его видел: есть ли в мире лицо лучше выражающее подлость, лукавство и вместе наглость? А на тех кто имел с ним дело, не живо ли изображает лицо свойства его душевные?

Разбирательство апелляционных гражданских дел происходит здесь самым странным образом. Наместник и первые четыре чиновника области обыкновенно в эти дни не присутствуют, два члена от короны не знают

молдавского языка, робкий маршал не доверяет своему рассудку, а депутаты, по выслушании дела, обращаются к одному из своих сочленов, который берется им растолковать оное, и произносит наконец решение; все тотчас пристают к его мнению, редко осмеливаясь возражать. Но кто же сей верховный судья, от которого зависит участь и мнение жителей Бессарабии? Тот самый Прункул, о котором мы выше сего упоминали, тот самый, который, посредственно или непосредственно участвуя во всех тяжбах, в одно время истец или ответчик и судья. Чудовищная власть сего человека не сущий ли позор?

В производстве сих дел нет ни малейшего порядка, ни настольного регистра, ни очереди. Если министр или наместник предложить Совету заняться скорейшим окончанием какого-нибудь дела, или корыстолюбие Прункула возбуждается сильным интересом, или неотвязчивость докучливого и упорного просителя заставит пожелать скорее от него отвязаться, в таких случаях только спрашивают дело у секретаря, который, порывшись дня два (ибо ему с такими судьями трудно вести

порядок), выкопает его, потом пишет доклад и если дело покажется длинно и затруднительно, то оставляет его под предлогом соби- рания некоторых нужных справок, и оно опять на неопределенное время теряется из виду, и принимаются за другое дело. В некото- рых случаях, но только весьма редко и по самым сильным побуждениям, совещания с их господ продолжаются до четырех часов; но обыкновенно собираются в десять часов с видом неудовольствия, потом слушая дело с видом скуки и равнодушия, более шести раз в час каждый зевнет; когда же пробьет двена- дцать часов, то все взоры поминутно устрем- ляются на стенные часы в присутствии нахо- дящиеся; в половине первого являются уже все признаки нетерпения и аппетита, кто встанет, сядет, и потом опять встанет; тело- движениями, взорами показывают другие, что им несносно и когда, наконец, ударит час, то всё с шумом подымается, восклицая: «до- мой, домой, пора обедать», хотя бы одну стра- ницу оставалось дослушать из начатого дела. Сие зрелище может быть забавно, но не для такого человека, который осужден его всякий

день видеть. Многие молдаване признаются сами, что их самолюбие страдает, видя судьбу свою зависящую от сего карикатурного сената.

Из сего всякий легко заключить может, какая остановка должна происходить по тяжбы-ным делам, при таком расположении Совета: она превосходит всякое описание. Теперь находится, говорят, в Совете до шести тысяч дел нерешенных, всякий год поступает более двухсот новых, а решено в 1822 году, в котором Совет был деятельнее всех прочих годов, только тринадцать. Если не образ правления сей области, ни мода не переменятся, то в какой ужасной пропорции будет возрастет число неоконченных дел? Совет можно теперь сравнить с плотиной, удерживающей течение дел области; но наконец их накопление должно плотину сию опрокинуть, и тогда они пойдут далеко.

Установить совершенный порядок в делах Совета и дать им поспешнейший ход, кажется, уже невозможным: даже если б совершилось чудо, ум его членов просветился, и правила их очистились, то и в таком случае весь-

ма трудно бы им было исправить все сделанные упущения. Преобразовать же Совет будет также бесполезно, ибо кем заменить теперешних депутатов? Люди хороших фамилий и немного просвещеннее (коих число весьма ограничено) уклоняются от службы, а прочие матадоры Бессарабии были недавно, как выше о том сказано, слугами у молдаван, подданных греков, которые в свою очередь были рабами турок. Итак, от людей стоявших недавно на последней степени сей рабской иерархии можно ли ожидать чувств благородных, знания законов и усердного исполнения обязанностей? Единственным и неизбежным средством к прекращению возрастающих от того зол, кажется, уничтожение сего не только бесполезного, но и вредного Совета и учреждение высшей инстанции в столице, чего начало мы и видим с удовольствием в комитете разбирающем дела Бальша.

Справедливость требует, чтобы мы, говоря о причинах, препятствующих успешному ходу дел в Совете, не умолчали и о тех, кои действуют независимо от лености и ничтожества его членов и даже могут им служить извине-

нием. Главнейшая из них есть недостаток в канцелярских служителях. Всего предвидеть нельзя. Итак удивительно ли, что, при составлении штата Верховного Совета, не обращено было внимания на маловажность суммы, для сего предмета назначенной? Не только число служащих в канцелярии Совета ограничено, но и способностями и знатями они не могут сравниться с теми, кои употреблены в других присутственных местах области. Объяснить сие немудрено. Сие происходит от того во первых, что награждения обыкновенно испрашиваются чрез начальников, с коими Совет был всегда в несогласии; в глупой гордости своей не хотели члены унижать себя ходайством за подчиненных, да и сами наместники, желая, может быть, лишить их хороших сотрудников, ни мало о том не заботились, так что еще не было примера, чтобы кто-нибудь в Совете мог получить чин, даже за выслугу узаконенных лет. К тому должно прибавить, что депутатам не весьма охотно было поощрять русских в Бессарабии служащих, ибо они в них видят будущих своих соперников. Другая причина, отвращающая

всякого служить в канцелярии Совета, есть обхождение молдаван с подчиненными: по их прежним обычаям писцы и самые секретари употреблялись в домашнюю работу у присутствующих и судей; нередко можно было видеть логофета или писца, который, положив перо, становился за каретой своего начальника.

О дворянах и дворянских выборах

В начале сих замечаний сказали мы, что жители Бессарабии разделяются на семь классов. Из них одно сословие дворян можно здесь подразделить на три разряда: 1) молдавские бояре, 2) набогатившиеся чины и занимающие ныне места в правлении, 3) клиенты предыдущих, их стараниями из мазылов и рупташей уже по присоединении Бессарабии в дворянскую книгу вписанные. Второй класс пренебрегает, но покровительствует последний, а первый их обоих равно ненавидит и презирает.

От взаимных их худых расположений произошли великие бури в Бессарабии. Боярам больно было видеть прежних своих подавателей трубок восседающими с ними рядом и да-

же судьями своими, и потому они составили свою партию, малочисленную, но сильную богатством и давно приобретенным уважением. Мест по управлению области было много, кем было их наполнить? Поневоле должны были взяться за вчерашних дворян. Необходимость заставляла молчать, и вражда таилась и возрастала в сердцах, как огонь под пеплом. Наконец при первых дворянских выборах пламя раздора вспыхнуло, и началась междуусобная война, еще до наших дней продолжающаяся.

В сие время, как обыкновенно бывает при великих политических переворотах, явились на сцену люди, весьма дотоле неизвестные. Первый них, Баданеско Россет, историческое лицо новейших времен Бессарабии, требует, чтобы описанию его посвятить хотя с полстраницы. Происходя от одной из первейших фамилий Молдавии, не любил он, говорят, так называемых полезных занятий и буйную молодость свою провел в веселии и удалстве. Презрение, оказываемое ему всеми дальними и близкими родственниками и вообще людьми одного с ним сословия, возму-

тило гордый дух его; он поклялся вечною ненавистью и мщением всем дворянам и в низком классе нашел довольно развратных людей, чтобы с ними разделять свои удовольствия. Когда все счастливые мошенники кинулись из Молдавии, чтобы населять и управлять Бессарабией, то перешел он Прут вслед за ними[51]. Но тут опять встретил он ненавистные имена Бальшев и Стурдзов и должен был скрываться в неизвестности до вышесказанного времени. Между тем с каждым днем приобретал он более народности (popularité): новым дворянам лестно было видеть посреди себя знатного молдавана и когда дело дошло до выборов 1818 года, то был он как с триумфом поднят и чуть не попал в предводители.

Сия эпоха будет незабвенна в летописях здешнего края. Обе партии явились в зале митрополитского дома, явились со страхом, с надеждой, досадой и желанием мести, приняли благословение архипастыря и учинили присягу, а потом отведены были в залу для выборов, в другом доме приготовленную. Тут были явления забавные и ужасные. Начались сильные прения, потом самые подлые руга-

тельства, наконец дело дошло до драки и до кровопролития. Жизнь камергера Бальша и вице-губернатора Крупенского была в опасности: утверждают, что супруга последнего, видя угрожаемые дни его из ложи (tribune), в которой находилась, не могла удержаться от восклицания и упала в обморок. Героем сего дня был натурально Баланеско: высокий его рост, широкие плеча, зверский взгляд, громкий голос, страшные усы, длинная сабля при бедре его висящая и звание спатаря (меченосца), им напрокат взятое[52], всё приводило в трепет робкие сердца его противников и придавало новую смелость многочисленным его партизанам. Победа осталась за ними, дерзнувшие им сопротивляться вышли с окровавленными носом и подбитыми глазами, и по большинству голосов, друзья их заняли все места в области. Сим кончились первые дворянские выборы в Бессарабии.

Для сохранения некоторой благопристойности выбран в предводители дворянства старик Рышкано из хорошей фамилии; в депутаты же попали, исключая одного, всё люди низкого происхождения. Из них два главные,

Прункул и Баланеско, соединили силы свои, дабы захватить всю власть в Совете и, следовательно, все дела области, и успели в том: первый необыкновенною гибкостью, пронырством и знанием дел, а последний неслыханною дерзостью. Скоро пристал к ним Самфираки Рале, человек слабоумный и безо всяких правил, но пылкий и решительный и тем полезный их видам. Тогда сей триумвират всю Бессарабию заставил дрожать перед собою Четвертый депутат, Сандулави Феодосиу, подлец весьма обыкновенный, с почтением следовал издалека за образцами своими и разными плутнями старался им угождать. О пятом депутате мало известно; но он, видно, был тех же свойств.

Когда такого рода люди заняли важнейшие должности в области, то легко можно вообразить себе, кем наполнились другие присутственные места.

Скажем еще несколько слов о Баланеске Россете, чтобы после более о нём не говорить. Почитатели его видят в нём какого-то Мирабо, но возможно ли так обижать тень великого человека? «Всё обо мне сказано, — говорил

он, — исключая того, чтобы я был дурак»; а Россета, по справедливости, называют все глупцом. Если Мирабо по безнравственности своей лишился уважения сограждан, то не был никогда жестоким кровопийцей; а сей варвар, называя всякую власть тиранической, сам потчивает ежедневно фалангами несчастных своих цыган, угнетает поселенных на земле его хлебопашцев и в Хотинском рае, недавно занимаемом турками, самих молдавских помещиков удивляет бесчеловечием и несправедливостью. Неоднократно нападал он на русских офицеров и всегда оставался победителем; в сих случаях не подвергался он большой опасности, ибо имеет силу Геркулесову, и кроме кулачных боев ни на какое другое единоборство не соглашается. Он хвастается везде, что бил русских офицеров, и он еще жив! Против двух наместников воевал он; но последний успел удалить его и от Совета, и от областного города, испросив на то Высочайшее повеление.

На вторых выборах в конце 1821 года соблюдаемо было гораздо более тишины и благопристойности, чем на первых. Генерал Ин-

зов рассудил за благо лично на оных присутствовать и для предупреждения беспорядков придумал, под предлогом какого-то производимого по делам их следствия, удалить из залы собрания, трех мятежных предводителей, Баланеско, Самфираки и Сандулави. Они вздумали было сопротивляться, но до того их не допустили. Законно ли поступил генерал Инзов, сказать не смеем, но знаем, что он поступил справедливо. Искусный и сметливый Прункул, видя необходимость уступить силе, заблаговременно пристал к партии правительства и всемогущего тогда Крупенского и успел вторично быть выбран депутатом в Совет. Он не стал от того добросовестнее, во только на веки расстался с прежними своими сообщниками, которые доселе проклинают и поносят его.

Когда в 1818 году проект образования был одобрен, и много открылось новых должностей от выборов, надобно было озаботиться, чтоб было кем их заместить. Бывший тогда наместник Бахметев выдумал к тому очень хорошее средство: он приказал составить многочисленную дворянскую комиссию и

всем имеющим право на сие достоинство явиться в нее с документами, а приватно поручил комиссии не быть слишком разборчивой и на сворую руку наделать побольше дворян. Она позволением сим умела воспользоваться существовала только 24 часа, но времени не потеряла: вдруг явилось 260 новых дворянских родов. Один предлагал своего кучера, и другой соглашался с условием, чтобы принять его повара; спорить и прекословить было некогда, ибо не дано было времени опомниться. После того было из кого выбирать!

Жалобы и неудовольствия, возникшие против такого странного и неслыханного способа к приобретению благородного звания, заставили впоследствии времени учредить новую комиссию, которой дано гораздо более времени и другие правила в руководство к рассмотрению прав на дворянское достоинство. Сим распоряжением обязана Бессарабия генералу Инзову. Но как этому человеку судьбой определено делать всё хорошее противозаконным образом, то вздумал он сам председательствовать в комиссии. Следствием тру-

дов её было убавление числа Бессарабских дворян на целую треть, так что 170 фамилиям только предоставлено пользоваться сим правом. Теперь занимаются составлением родословной книги, и после отошлетя она в герольдию, которая, невзирая на известную её снисходительность, едва ли еще не сбавит половины.

Но тогда, что будем мы делать? Теперь нуждаемся в дворянах, а тогда половина мест от выборов останутся праздными. Надобно заметить, что здесь почти столько же особ дворянских, сколько фамилий, ибо почти всё одни только родоначальники. Когда из семейств исключить стариков и малолетних, не считать тех, кои по болезням или лености уклоняются от службы, тех, кои находятся за преступления под судом и тех, кои заслуживают поступками своими быть вскоре суду преданы: то мудрено сказать, что представится при будущих выборах. По области 75 избираемых мест, а на последних выборах было только 125 избирателей. Может, правительство вынуждено будет все должности заместить коронными чиновниками по примеру

тех губерний, где мало дворян. Всё к лучшему!

Об исполнительной экспедиции областного правительства и о гражданском губернаторе.

Областное правительство состоит из двух экспедиций: исполнительной и казенно-экономической. Каждая из них действует порознь, но некоторые дела подлежат общему их суждению. Первая из сих экспедиций хорошо названа исполнительной, ибо она только приводит в исполнение распоряжения наместника, совета или общего собрания областного правительства, сама же никаких не делает; за то она безвреднее всех других присутствий области и, кажется, не слышать на нее больших жалоб.

В сей экспедиции председательствует гражданский губернатор. Обязанности его и права весьма распространены уставом образования, но власть его обстоятельствами не только ограничена, почти ничтожна. Здесь прежде не было губернатора; сначала гг. Стурдза и Гартинг управляли всеми частями, а потом наместники, имея пребывание свое в

Кишиневе, сами входили во все подробности управления. Молдаване, привыкнув видеть власть в одних руках, смотрят на звание губернатора, как на совершенно излишнее. Характер же господина Катакази, кротость его, немало к тому способствовали. Посреди ужасных раздоров бывших между наместниками и Советом, посреди волнений: партий, шел он постоянно неприметной тропой своей, мало делал добра, ибо не в силах был творить его, но за то не участвовал ни в каком зле. Без претензий, безо всякого влияния, честный и благородный Катакази жил в уединенном кругу своего семейства и нескольких земляков, образованных греков, загнанных сюда последними происшествиями в Турции. Одно обстоятельство подало ему случай доказать всё, что он в состоянии сделать. Когда моровая язва показалась в конце 1819 года в Яском и Хотинском цынутах, то он немедленно отправился на место, и там никто узнать его не мог, любовь к человечеству воспламенила его, он пренебрегал всеми опасностями, переносил холод и недостаток в пище, около трех месяцев жил в землянках, сам являлся в зара-

женные деревни и примером своим ободрял и поощрял жителей, умел распорядиться, действовать, повелевать, награждать и наказывать. Наконец успех увенчал беспримерное его усердие: зараза не проникнула во внутренность области, и через то спас он, может быть весь Южный край России. По возвращении впал он опять в прежнее равнодушие; но надобно сказать к его чести, что там был он облечен властью, необходимою при чрезвычайных обстоятельствах и мог действовать по своему усмотрению, а здесь должен опять находиться в принужденном бездействии. Вообще нельзя сказать, чтобы он был человек твердого и решительного характера или имел бы отменные способности; но, живши долго в Бессарабии, знает очень хорошо ход дел её, и потому если когда-нибудь учредится для них при Сенате высшая инстанция, то может он быть преполезным сенатором.

О военно-экономической экспедиции и о Крупенском

Изю всех частей по управлению Бессарабской области нет, может быть, ни в одной столько беспорядков как по делам казенным.

Сие происходит, кажется, более всего от сохранения неблагоприятной системы сборов, установленных прежними молдавскими узаконениями.

Источниками казенных доходов в области, суть следующие: 1-е посемейная подать, называемая *бир*, со всех вообще жителей, *даждя* с мазылов и *авает* с поселян, на казенных землях живущих: каждый женатый платить ежегодно по одному червонцу или по 15-ти левов, а холостой взрослый по полу-червонцу или 7-ми левов 20 пар; 2-е таможенные пошлины, 3-е продажа питей по казенным городам, местечкам и селениям; 4-е *гоштина* или сбор с овец, *дежма* с пчел и свиней, *вадрарит*, с виноградного вина и *погонарит* с посева табаку и, наконец, 5-е все поземельные статьи в казенных имениях.

Из вышеписанных податей только первая вносится жителями прямо в цынутные казначейства, а последние собираются посредством откупов.

В начале каждого года делаются чрез публикации вызовы желающим принять на себя откупы; люди являются с достаточными зало-

гами, друг перед другом набавляют цены; за тем, кто более других даст, утверждается откуп, и казенно-экономической экспедиции ничего более не остается делать, как получить исправно по срокам деньги. При начале года знает уже она, сколько следует ей получить, а в случае неплатежа приступает к продаже залогов или целого имения откупщика. Кажется, можно ли сыскать средство легче и проще? Но опыт показал все неудобства и злоупотребления, сопряженные с сим порядком, как мы ниже сего увидим.

Сверх того, собирается еще сумма на земские повинности, отапливание и освещение, содержание лазаретов, гаубвахт, также для почтовых лошадей и станционных строений и прочего. Для сего положено собирать ежегодно по 9-ти левов, и суммы на издержки сии казенная экспедиция отдает также подрядчикам под залогов.

Кто не знает, что в Молдавии и Валахии, под названием откупа, разумеется купленное право законным образом грабить и обогащаться? Первый откупщик и владетель есть владетельный князь и господарь, от самой

Порты подлостями и подарками право сие получивший; вистияр его, вель-логофет, вельбан и другие первые чиновники суть его контрагенты, прочая же челядь суб-арендаторы или, лучше, воры нижнего разряда. Каждый из них есть губка, всасывающая в себя пот и кровь народные, которые из них опять вышею властью выжимаются. Около трехсот лет сей порядок или беспорядок так существует.

Человек, выросший посреди сих диких и вместе развратных нравов, но рожденный с умом, с чувствительностью и с понятием о чести, употреблен был в делах Дивана во время занятия двух княжеств нашими войсками, и часто находился в обществе с образованнейшими из наших соотечественников. Пристрастись во всему русскому, по заключению мира он с радостью поселился в Бессарабии и обменял богатые поместья, им за Прутом оставленные. Зная хотя мало, но более других молдаван, русской язык и законы, управлял он почти с самого начала присоединения области казенною частью, сперва в должности советника, а последние пять лет в

звании вице-губернатора.

Может быть, привычки дурные, примером бескорыстия и твердости русских его начальников не исправленные, тщеславие его, по которому платил он снисхождением за низкие поклоны земляков своих, беспечность сродная всем молдаванам, неведение ужасной ответственности, которой он может подвергнуться (ибо в отчизне его слово *отчет* неизвестно), и самонадеянность его, происходящая от уверенности, что никто лучше его сею частью управлять не может, произвели, наконец, всю запутанность и хаос, найденные недавно в казенно-экономической экспедиции.

Никто еще не оказал новым подданным более щедроты и милосердия, как наш Государь Бессарабским жителям. Первые годы избавлены они были от всех податей, а ныне областные доходы обращаются на удовлетворение нужд самой же области, на жалованье чиновникам, наем квартир для присутственных мест и прочее. Десятая доля из всех доходов отделяется на составление капитала для казенных строений, богоугодных заведений,

школ и прочего, а остающаяся затем уже сумма поступает в государственные казначейства.

Сии благодетельные распоряжения существуют уже с 1818 года, а как ежегодный доход простирается до четырех миллионов левов, то с тех пор так называемая десятипроцентная сумма для богоугодных заведений должна бы возрасти, по крайней мере, до двух миллионов, тем более, что ничего не заведено, что ничего не построено. Но увы! её нет, она вся в недоимке. Кто бы мог думать, что при такой умеренной посемейной подати и при таких средствах, каковы откупы к получению доходов, могла быть недоимка? Как можно было допустить ее до столь значительного накопления?

Нельзя утаить, чтобы всему не был виною вице-губернатор Крупенский; его нельзя извинить даже тем, что у него не было хороших сотрудников: ибо дела, быв производимы на русском языке, он мог бы иметь достойнейших чиновников.

Тут есть тайна, которую мы только что подозреваем; но скоро, может быть, откроется

истина наших замечаний. Вот в чём состоят они. Все почти здешние молдаване суть люди обогатившиеся в самоскорейшем времени легкими непозволительными средствами; *не насытится око зрением, а ум богатством*, сделав Фортуну, желалось бы им увеличить ее. На какие средства? Красть не дают или дают мало; умножить состояние хозяйственными заведениями, улучшением хлебопашества, садоводства, скотоводства, им кажется слишком медленно и скучно; завести фабрики или что-нибудь подобное, у них нет ни смысла, ни терпения. К тому же число русских ежегодно умножается, везде их встречаешь, они толкуют о чести, о науках, твердят, что надобно довольствоваться жалованьем или состоянием, которое Бог послал, заводят балы, прельщают жен и дочерей, сыновей заманивают в службу. То ли дело было за Прутом? Так ли там наживались? Как бы избавиться от сих ненавистных людей, как бы можно дороже сбыть купленные за бесценок имения и потихоньку перебраться потом в любимую сторонушку! Так, верно, многие рассуждают, и откупы представляют им са-

мые выгодные средства к исполнению их желаний. Надобно знать, как они происходят. Молдаване у молдаван оценивают имения и обыкновенно вдвое или втрое дороже настоящей их цены; с сими залогами являются они к торгам, и оные принимаются у них на половину условленной откупной суммы. Например, если б у нас имение стоящее 10 т. рублей оценено было в сорок тысяч и принято залогом по откупу, за который следует заплатить 80 тысяч, и прибавить к тому барыш, который откупщик получит: то неужели он будет так прост, чтобы, получив 80 или 85 тысяч рублей, не предоставил правительству владеть десятитысячным его имением? Вот каким образом выросла недоимка более нежели на четыре миллиона. Тех, коим суждения наши покажутся неосновательными, спросим: какая недоимка была доселе строго взыскиваема? Какое имение по неисправному платежу поступило в публичную продажу? И если теперь будут принимать строгие меры, то какую цену давать будут или кто явится к покупке? Выходит, что казна поневоле купит за несоразмерную цену ненужные ей имения.

Каким образом поступит ныне правительство к удовлетворению казны, мы не ведаем; только полагаем наверное, что если прижать покрепче тех людей, у коих описано даже нужное платье, то из карманов посыпятся червонцы.

Из всего вышеписанного мы не выводим заключения, чтобы Крупенский умышленно участвовал в сем злоупотреблении; но неосудительна ли его неосторожность в сем случае? Он должен был знать своих земляков и не уважать их коленопреклонениями.

Удаление его от должности сделалось необходимым; чем далее продолжалось бы его управление, тем более увеличились бы беспорядки. Но как не пожалеть о том, что человек сей, имея способности, благородное честолюбие и необыкновенную приверженность к русскому правительству, мог бы при других начальниках сделаться чрезвычайно полезен для сего края, но избалованный счастьем не умел им пользоваться и так дурно оканчивает свою карьеру? Впрочем мудрено сказать, в чём именно состоит вина его и какое можно против него иметь подозрение. Он

был богат до вступления в должность, с тех пор ничего не купил и нажил большие долги. Это всем известно, а между тем злоупотребления при нём были ужасные, и он сам один управлял всеми делами экспедиции, почти без всякого участия советников и других подчиненных. Как решить сию задачу? Время всё откроет; много будет труда его преемнику, а еще более тем, коим поручено будет его считать. Главное затруднение будет в предложенных им и генералом Инзовым одобренных, мудреных распоряжениях на счет приема и выдачи денег по разным курсам. Как за подати, так и за повинности принимаемы были сторублевые ассигнации во 140 левов и другие по той же пропорции, а выдавались по курсу существующему в Одессе и ежемесячно переменяющемуся, то есть от 160 до 170 левов. Разница от того выходящая и выигрыш должен был на следующие годы быть зачтен в пользу жителей, с коих подать собиралась; конечно от того будет им после облегчение, но покамест видят они несправедливости и теряют доверенность к правительству, а для проверки счетов представляются чрезвычай-

ные затруднения.

Об уголовном суде и о жидях

Так как нет здесь ни одного уголовного дела, в котором бы евреи не имели более или менее участия, и они находятся под особенным покровительством председателя уголовного суда, то, говоря о сем суде, нет, кажется, приличнее места описать влияние сего многочисленного и вредного народа на участь жителей Бессарабии.

Уголовный суд заключается к одному председателю его. Занимая несколько комнат в доме, нанятом для присутствия, в своем кабинете слушает он дела, по своему усмотрению пишет сам резолюции, и потом остается только советникам подписать оные, а секретарю скрепить. Некоторым покажется странною такая покорность со стороны соприсутствующих и подчиненных; но кто знает властолюбие г. Курика, долголетнюю его опытность, сведения в законах, а особливо по части криминальной, и робость его советников, для того не будет сие загадкой. Так как г. Курик играет и поныне большую роль в области, входил во все дела, мешался во все интриги и

именем его полна Бессарабия, то простят нам, может быть, если мы долго займемся описанием сего странного произведения природы.

Он родился посреди малороссийских козачков. В то время (ибо он давно уже живет на свете) малороссияне не гордились еще именем русских, а мы еще не признавали их за братьев; под словом москаль разумели они ненавистных людей, а мы называли их презрительным именем хохлов. Всё переменялось с тех пор, но только не сердце г. Курика: вкоренившаяся вражда его против русских от времени еще более умножилась. Долго неблагоприятствующая судьба держала его в черном теле, долго пресмыкался он в неизвестности, попадал под начальство к русским, раболепствовал им, терзался завистью и злобою, тайно старался вредить им, и иногда в том успевал. Последняя половина его биографии, им самим рассказанная, приводит в ужас, ибо доказывает всю неблагодарность, какую сердце человеческое вмещать в себе может. Какой-то инстинкт влечет его ко всему низкому, ко всему нечистому, коварному; из людей более всего любит он жидов, из животных ко-

шек, но более всего не терпит он русских, в которых видит северных варваров, наводнивших прекрасные полуденные страны и которых с радостью прогнал бы он в их ледяное царство (собственное его выражение).

Он ужасно самолюбив, и малейшее противоречие делает из него неприятеля; но он довольно хитер, умеет прикинуться сострадательным к угнетенным, твердит беспрестанно о человеколюбии, неопытных или непроницательных людей легко может обольстить и потому мог бы сделаться опасен; к счастью, он вспыльчив и болтун преестественный, есть минуты, в которые у него ничего удержаться не может.

Как мог он с таким характером столько время удержаться? Особливо когда он не гений, и натура дала ему ума и способностей в обрез? Вопрос сей разрешить не трудно. Ко всякому наместнику втирается он ужом и жабой, всеми мерами старается угодить и когда в том успеет, то пользуется кредитом своим, устраняет противников и в тоже время придумывает средства, как бы ввести начальника в заблуждение и тем погубить его[53]. Ко-

гда откроется его измена и предательство, то вдруг перебрасывается он в партию возмутителей и принимает вид противника несправедливой власти. Бахметев не успел, а Инзов не умел выпроводить сего молодца, и его считают вечным и непобедимым.

Говоря о Верховном Совете, ничего не упомянуто о Курике; надобно было беречь силы для изображения сего отвратительного предмета при описании уголовного суда. В сем совете имеет он также немалый вес: когда угрожала ему какая-нибудь напасть, то спасался он в него, как в убежище, в коем не могла постигнуть его власть наместника и там крамольствовал он некогда с Баланеском и Прункулом. Сей последний от них удачно отделился и теперь еще не в ладах с Куриком; но случаются дела, в коих видно между ними согласие: тогда можно наверное поручиться, что начало сих дел предшествовало разрыву сих бездельников, когда они действовали еще заодно и делили всё пополам.

Теперь приступим к важному предмету, к власти Иудейской, распространенной по Бессарабии посредством Курика и объясним при-

чины, от коих сие произошло. Любовь (если только можно употребить сие слово, говоря о Курике), любовь воспалила престарелое его сердце в женщине, принадлежащей сей нации. Такая слабость может казаться только смешною и даже до некоторой степени извинительною, и мы умолчали бы о сей пакости, если б она не имела самых дурных последствий для здешней земли.

Когда старый греховодник предался все- сильной страсти, сердца иудейские оживились надеждою; в старой его жидовке увидели они прекрасную Эсфирь [54], защитницу и подпору Израиля, и тогда, внимая молве о её могуществе, беднейшие из них тысячами кинулись сюда из Польши. Все они прибегнули к Курику, а он, будучи тогда в тесной связи с молдавскими дворянами, крещеными жидами, сблизил их и всеми силами способствовал их водворению; во множестве появились тогда и здешние жидаы, дотоле скрывавшиеся во мраке.

Прежде того занимались они мелочной торговлей и исправляли некоторые ремесла, но тут начали вступать в подряды и откупа,

брать на посессию имения помещиков и стали грабить и притеснять жителей. Бедные молдаване, в течении столетий попираемые, умели сохранить однако же чувство человеческого достоинства: повинуюсь всем, не позволяли повелевать собою жидам, которые не смели много шуметь с последним крестьянином, а ныне везде видим бедных мужиков, стоящих пред жидом с обнаженной и поникшей головой; судьба определила им испытать и последнее сие унижение.

В других землях, конечно, много есть просвещенных евреев, не разделяющих пороки своих соотечественников; но масса сего народа, особливо у нас, суеверна до безумия. Развратить христианина, довести его до преступления, помогать ему в том, обворовать его и обвинять его, по их мнению, дела приятные Иегове. И потому всегда видим мы их помогающих молодежи в любовных делах, хотя бы за безделицу; сребролюбие, удовольствие мести и обязанности религии — всё разом удовлетворяется. Размножение и обогащение их в Бессарабии настоящая зараза; к тому же надобно знать, что простые молдаване едва ли

не самый непорочный народ в мире: посреди рабства сберегли они необыкновенную чистоту нравов; невзирая на худые примеры, не знают воровства, не любят пить, смиренны, но упрямы как волы, ими пасомые; верность супругов и целомудрие дев почитаются самыми обыкновенными добродетелями; оболыщенную наказывают, но жалеют о ней, а оболыстителя преследуют до гроба, и не было примера, чтобы простой мужик продал честь жены своей или дочери. Посреди сих почтенных поселян, да представят себе жидов, работающих беспрестанно, чтобы развратить их, и да пожалеют о их участи!

Пристрастие г. Курика не есть секрет, всем это известно. Они могут злодействовать, не опасаясь наказания: в уголовном суде у них есть верный защитник, и он же за них в других присутствиях самый сильный и усердный ходатай. Если жид побьет или убьет христианина, то всё будет скрыто; но горе всякому русскому или молдавану, дерзнувшему оскорбить жида: он раскается в том. Приведем в пример несколько случаев для подкрепления и доказательства справедливых обвинений

наших.

Генерал Бахметев, не умевший ничего Курику отказывать, отдал ему место подле митрополии, назначенное для построения губернаторского дома. Он начал заготовлять материалы, как вдруг преосвященный Гавриил, покойный экзарх, узнав тайно, что дом им предполагаемый должен быть отдан под синагогу, дабы рядом поставить ее с архиерейским домом, и ужаснувшись такого ругательства против господствующей веры, усердно молил бывшего уже тогда наместником Инзова отнять место у Курика, что вследствие просьбы его и исполнено.

Тот же самый митрополит, заметив, что в воскресные дни во всей Бессарабии бывает большой торг (ибо по субботам евреи, главные торговцы, ничего не продают и не покупают) и чрез то храмы христианские пустеют, просил у правительства запрещения торговать по воскресеньям. Мнение его поступило на рассмотрение в Верховный Совет, в котором тогда владычествовал Курик; он долго не хотел согласиться и сделал сие только с условием, чтобы по субботам и христианские лав-

ки были заперты. И безумный Совет подписал такое определение!

Недавно пять церквей в Кишиневе и окрестностях были обокрадены; пойманы жи-ды в сем воровстве, уличены и со всем тем оправданы. Желая отомстить христианам, выдумали они, что из их школы унесли ка-кую-то утварь. Поймали какого-то несчастно-го и, может быть, безвинно наказали.

Довольно сих примеров. К дополнению скажем: в иудаизме Курика так все уверены, что многие полагают, будто он переменял ве-ру и подвергнул себя церемонии обрезания. Чего доброго!

Неужели небесный гнев постиг несчаст-ную Бессарабию? Неужели над ней вечное проклятие, и она навсегда осуждена страдать от Курика и жидов? Если так, то честным лю-дям не остается ничего более делать, как ско-рее из неё ускакать.

О гражданском суде

Мы не имеем достаточных сведений по ча-сти гражданских законов, особливо молдав-ских, и потому можем судить только поверх-ностно о недостатках здешнего судопроизвод-

ства; однако же не упустим означить, сколько известно нам, все злоупотребления, проистекающие от его несовершенства.

Уставом образования предоставлены здешней области, по части гражданской, все законы, все права и обычаи земли молдавской. В сей последней основанием законоведения служили: 1-е *Иустинианов кодекс* и все узаконения греческих императоров (но в них никто не заглядывал, а советывались иногда с извлечением из законов, известным под именем *Арменопуло*), 2-е, *Хрисовулы* или господарские грамоты, и 3-е наконец, так называемый *Обычаи Пымынтулуй*, то есть обычай земли.

Чтобы дать понятие о сем обычае, скажем, как он составился. Когда власть господарская сделалась неограниченною и встречала в некоторых случаях препятствия к исполнению воли своей во власти законов, то случаи сии названы чрезвычайными, и по них делались особые решения. Мало-помалу, всякий случай сделался чрезвычайным, и по всякому было определение, несогласное с законами. Из сих-то определений Дивана, утвержден-

ных господарем, составилось, наконец, собрание нелепостей и несправедливостей под именем Обычи — Пымынтулуй, и сей памятник варварства оставлен как благодеяние для Бессарабии. О Криницкий!

Любопытно также знать, как тяжёбые дела рассматриваются в Молдавском диване. Он не имеет постоянного пребывания, но когда есть дело, интересующее господаря, то созывает он членов его в тронную свою залу и там, сидя на престоле, соблюдает некоторый порядок благочиния в слушании дел. На все же прочие трактации зовут первостатейные бояра к себе в гости, как на вечеринку, слушают дела, спорят о них и подписывают приговоры, кушая дулчецы посреди густого табачного дыма. Бедный проситель не знает, где будут решать участь его и бегаёт по городу, высуня язык, чтобы узнать о том. Архива нет у них, производство дел не сохраняется, все документы возвращаются просителям, а остаются только одни определения в умножение обычаев. Так точно происходило и здесь, когда существовало общее собрание департаментов.

Здесь судьи вздыхают о сих прекрасных обычаях; с умилением вспоминают они даже об одном ужасном и справедливом законе, пред коим они некогда трепетали и который, к сожалению, здесь более не существует. Этот закон называется *буздуган*, то есть, тяжеловесная булава господарская; в минуты гнева его сей закон ударяет виновных членов Дивана, ломает кости и ребра, а когда попадает в голову, то действительно делается уголовным, ибо лишает жизни.

Но мы слишком удалились от нашего предмета; поспешим к нему возвратиться. Итак здешний гражданский суд руководствуется обычаем земли; из сего хранилища варварских узаконений почерпает он правила для суждений своих. А как нет ни одного рода дела, по коему не было б двух или трех определений, одно другому противоречащих: то судья всегда властен выбирать любые примеры, применять их к своим видам и действовать по пристрастию сколько ему угодно. Иногда может он раскрывать Арменопуло, а в некоторых случаях, и именно по частным тяжбам с казною, придерживаться русских

законов. Какой хаос! Какая путаница! Одним словом, все законы в здравом смысле и чистой совести судьи, а где искать этого между молдаванами?

Такой необыкновенный человек нашелся однако же в особе председателя гражданского суда, старике Башоте, мужике отменно честном и довольно смышленом. Обязан будучи разбирать чужие тяжбы, он старался никогда своих не заводить. К сожалению, он недавно занимает сие место, имеет только один голос и беспрестанно в несогласии с своими советниками, желающими в целости сохранить необузданность молдавских судей.

Дабы показать, как доселе действовал гражданский суд, приведем один или два примера, по коим можно будет судить и о прочих его делах.

Один помещик, именно Баланеско Россет, основываясь на несправедливости раздельного акта в 1726 году между прабабкой его, урожденной Стурдзовой и её братьями, требовал, чтобы отданы были ему некоторые принадлежавшие сей фамилии поместья в Бессарабии. Протекло близ ста лет, четыре поко-

ления Россетов не оспаривали прав Стурдзовых; от братьев разделивших имение и сестры их народилось множество Стурдзов и Россетов, владеющих имениями по обеим сторонам Прута. Следственно как можно было доказать, что здешние Стурдзы здешнему Россету должны отдать имение? Особливо когда он требовал именно от которых, не домогаясь получить от других, также здесь живущих и также от братьев его прабабушки происходящих. Гражданский суд приговорил в его пользу, и до окончательного решения, во ожидании вернейших справок, предписал ввести Баланеско во владение; сие было во время владычества его в Совете. После того сие дело вытребовано в Верховный Совет и под председательством самого Инзова единогласно решено, чтобы отнять у Баланеско имение. Ничего нет справедливее, но увы! Не справедливость тогда имели в виду: тут действовало одно желание унижить и обобрать Баланеско. В этом случае один член, г. Курик, показал свой характер. Он не согласился ни подписать журнал против Баланеско, ни войти с особливym мнением в пользу его, хотя судимые

Стурдзы не хотели подавать на него подозрения. Он сам объявил, что он друг Баланеско и потому в сем деле участвовать не может. Человек, который в одном деле сам себя объявил пристрастным, не может ни в каком другом, по мнению нашему, быть судьей.

Мы видели несправедливость, от коей пострадали Стурдзовы; скажем теперь несправедливость, одним из членов сей фамилии учиненную. Много деревень, которые были поселены в Ясском, Оргеевском и Хотинском цынутах, от притеснений и разбоев опустели, жители их разошлись; наконец, они совсем перестали существовать, и остались только одни урочища, сохранившие их имена. Некоторые из бояр купили после места сии по документам; но как деревень не находилось, то по выбору брали они любую соседственную деревню, утверждая, что она в старину тем именем называлась. Из того выходили споры, тяжбы, но неправильно отнятые деревни оставались за новыми владельцами, с тем, однако же, что они будут возвращены, когда найдутся те деревни, которые действительно то имя носят. Таким образом дипломат Алек-

сандр Стурдза завладел селениями Дарабани и Каплювка, приняв за несуществующую деревню Надабауцы, и г. Крупенский под именем Косоуц взял селение Неллипауцы. Первый из них устыдился такого насильственного завладения и недавно помирился за значительную сумму с владельцем Диаманди, не имея в том никакой нужды; но последний и поныне еще владеет. Всякому, кто не жывал в Бессарабии, покажется это невероятным; ошибиться дверьми можно, но принять одну деревню за другую и такими кипроко разорять соседей? Это дурная шутка!

Медленности в течении дел гражданского суда гораздо менее заметно, чем в Верховном Совете; кто с ним в этом сравняться может! Но и тут дела накопляются. Если будет усердный и ревностный областной прокуратор, примется сих ленивых помыкать и будет поддержан правительством, то сия часть может еще несколько поправиться.

Главный источник тяжёб в области есть Резешское право. Резеши не составляют особенного класса людей. Они владеют в одной деревне малыми участками земли в совокуп-

ности с соседями и родными. Всякой может быть резешем, дворянин, мазыл или крестьянин, но только сделаться им было трудно, ибо соседи и родные всегда имеют преимущество в покупке Резешской земли. Как многие бояра заставляли себе уступать кусок земли в Резешских владениях и потом, получив право, присвоивали себе остальные участки, то в отвращение такой несправедности одним мудрым господарем постановлено, чтобы Резеш не мог уступать земли своей и права иначе, как человеку равного с ним или низшего состояния. Но какой закон здесь соблюдается? Название их происходит от славянского слова резать, и подлинно нарезывается сих участков до бесконечности; а как они все в протяжении, то бывает, что земля шириною в два дюйма или менее тянется на пять или на шесть верст. Всякой из Резешей знает, что у него есть такой малой участок, называемый пармак; помещик какой-нибудь старается выманить у него уступку, и тогда уже не зацепляй за сию ленту: лишь дотронешься, пойдут процессы, во избежание которых соседи начнут за бесценок участки свои уступать, в про-

тивном случае должны войти в разорительные тяжбы. Весьма полезно бы было сделать в рассуждении сего новое какое-нибудь постановление по примеру Валахии и прекратить чрез то тысячу поводов к злоупотреблениям.

О городе Кишиневе, о полиции и строениях его

Когда к России присоединили Бессарабию, то не было в ней ни одного большего города, в котором пристойным образом можно бы было учредить правительство. Центральное местоположение Кишинева и местопребывание в нём митрополита Гавриила, который построил тут довольно обширный архиерейский дом и завел большой сад, заставили впоследствии времени дать сей деревне преимущество пред малыми городами. С того времени постоянно в нём жили оба наместника, наехало множество чиновников, ремесленников всякого рода; иностранные купцы открыли лавки, наполненные предметами роскоши, существовавший тогда тариф и соседство с Турцией и Австрией способствовали умножению торговли, строения распространились

во все стороны, и число жителей обоего пола увеличилось от трех до 26-ти тысяч. Сего мало: Государь пожаловал, как мы сказали, 10 процентов из областных доходов для строения казенных зданий и общепользых заведений. Всё благоприятствовало основанию Кишинева. Как же не подсадовать или подивиться, когда взглянешь на беспорядок его расположения, на безобразие его домов? Что же препятствовало ему сделаться благоустроенным, богатым и красивым городом?

Выбор Кишинева не нравился генералу Бахметеву: он предпочитал ему Бендеры и всегда надеялся перенести туда областные присутственные места. Генерал Инзов занимался исключительно обработыванием разведенного им садика; богатейшие жители думали рано или поздно поселиться в Яссах и заводили только временные строения и, наконец, из десятипроцентной суммы не сделано ни малейшего употребления, да и лучше сказать, она совсем не существовала. К тому же сей город недавно поступил в казенное ведомство; доселе принадлежал он Галатскому монастырю, зависящему от Святого Гроба;

эпитропы, или мирские опекуны монастыря, от имени его поднесли владение оногo в дар Императору, когда он в 1818 году удостоил его своим посещением. Но как он прежде того был отдан в откуп на двадцать лет, и срок миновался только в нынешнем 1823 году, то и не пользовался город доселе никакими почти доходами.

И так Кишинев, невзирая на свою обширность, в правильности и чистоте едва ли может равняться с последним нашим уездным городом. Первоначально он был построен в лощине, на самом берегу местами запруженного ручья Бык, который удостоивают названием реки. Сия древняя часть города и доныне существует. Въезжая в нее, равно страдают и взор, и обоняние: она вся состоит в излучистых переулках, наполненных жидами и узаных лачужками, тесно друг к другу приклеенными. Помои и нечистота стекаются сюда из всех мест, отсюда упадают в Бык и в летние жары так заражают воздух, что производят повальные лихорадки. Поднявшись немного выше, начинается новый город и идет отлого вверх по горе. Улицы и разрывы

между домами становятся шире, но неправильность линий и нечистота везде одинаковы. Всё сие оканчивается на высоте горы пространном полем, на котором предполагаются со временем собор и казенные здания. Отсюда видны город и окрестности: инде возвышаются (числом не более пяти или шести) каменные двухэтажные дома, доказывающие варварским вкусом своим невежество строившего их архитектора; в иных местах показываются церкви, недавно построенные, длинные, узкие, с высокими остроконечными крышами и имеющие вид каменных ящиков. Вот весь Кишинев!

По нерадению ли начальства или по недостатку в способах полиция до сих пор находится в весьма жалком состоянии. При ней положено по штату быть 40 десятников. В сию должность употребляются обыкновенно жидаы, которые, конечно, весьма способны узнавать, где скрываются воры и краденые вещи — *кому, как не лисе все лисьи плутни знать*; но, кажется, лучше бы было употреблять их шпионами, а сею должностью пользуются они только, чтобы грабить и притеснять

жителей. Неопрятность, о которой мы выше сказали, превосходит всякое описание; из больниц, из боен, из прачешных, из нужных мест всё выливается на улицу; всякий сор, лоскутья, мертвые животные валяются по земле и никогда не убираются; нет фонарей, нет будок, нет застав; не только нет мостовой, но бугры и ямы на улицах не сравниваются, и нигде почти по бокам не прорыты канавы для спуска воды. Но одно из величайших неудобств для пешеходцев к Кишиневе есть чрезвычайное умножение собак, которые днем и ночью тысячами бегают, воем своим оглашают город и нападают на всех проходящих. Молдаване зажиточные ленятся и стыдятся ходить пешком, а когда из народа кто-нибудь искусан, то сие почитается невеликой бедой. Коли давно здесь не было чумы, если всякое лето сотни людей не умирают от гидрофобии и середь дня не бывает разбоев, в грязных ущельях Кишинева, то всё сие должно приписать чуду.

Но строительной части учреждена здесь особая комиссия, видно на смех: ибо Кури к в ней председателем. Человека этого встречаем

езде: в Совете, в суде уголовном, в библейском обществе, в строительной комиссии, но чаще всего в остроге, куда увлекает его любовь к ближним; там почитает он себя в семье родной. Кому пришла в голову странная мысль поручить такому человеку наблюдение за устройством и красотой возникающего города? Как можно было ожидать образованного вкуса или малейшего понятия о художествах от старого крюкотворца, которому, вероятно, неизвестны даже имена их? Прямых дорог он не терпит, и потому, при первом взгляде на новые улицы Кишинева, весьма ощутительна склонность его к кривизнам. С ним восседает другой злодей, какой-то Азмидов, соединяющий в себе два звания, архитектора и землемера[55] области. Никаких правил в руководство себе они не постановили и даже неизвестно, какому они следуют плану. Единственное правило их — деньги; если кто вздумает захватить часть улицы и поставить запачканную избу, тот дай деньги; если кто захочет построить каменный дом, не выступая из линии, тот дай деньги; если б граф Шереметев сошел с ума, поселился в Кишиневе,

затеял мраморные палаты, и Росси нарисовал ему фасад, то без нескольких тысяч левов не получил бы позволения строиться. От сей подати увольняются только жидаы: им не нужно подавать просьбу в комисию и получать план, утвержденный подписью членов её; они явятся только к Курику, а он на лоскутке бумаги напишет им позволение строиться как угодно, хоть поперек улицы; сию записку представят они Азмидову, а сей вор против старшего не осмелится сделать возражений. Мы о том утвердительно сказать можем, ибо видели такие записки.

Один случай ясно покажет, как поступают здесь по строительной части. Две развалившиеся почти и вросшие в землю хатки стояли вне Кишинева, когда еще он был деревней, и никто не думал на владение в в нём домов получать документы. После того мало-помалу строения приблизились, и два домика очутились на площади и на земле, по плану отведенной какой-то вдове. Несколько лет сряду она позволяла жить тут двум жидовским семействам, но наконец продала место свое каретнику Гофману, а сей последний, желая по-

строить на площади хороший дом, предложил жидам перебраться, с тем однако же, что он щедро заплатит им за домики (им впрочем не принадлежащие), за землю и за расстройство при переезде. Жиды поупрямились, всякое предложение отвергнули, и Курик сам приезжал стращать Гофмана; не убоясь его, решился сей последний прибегнуть к законам и представил акт свой на владение в цынутный суд, в котором и решено дело в его пользу. Курок не постыдился сам приехать в суд браниться с судьей и до сих пор, нажегся, удерживает исполнение приговора.

Кишинёв и теперь еще может быть прекрасным городом и сделаться со временем соперником Одессы; но тогда необходимо отнять сию часть у Курика и Азмидова; по мнению нашему, это первейшее условие, *sine qua non*: с этими людьми не быть добру. Если призвать из Петербурга искусных архитекторов, приступить (когда будут деньги) к строению казенных зданий, составить новую комиссию, начертать строгие правила для партикулярных строений и наблюдать за выполнением их, запретить безобразные плетневые за-

боры[56] и не позволять каменных домов внутри двора без хорошей решетки, избавить на несколько лет строящихся вновь от неприятной обязанности постоя и тем приохотить жителей к строению, обложить другие дома приличной суммой для постройки казарм и тем избавить от постоя весь город, одним словом искусно употреблять снисхождение и строгость: тогда ручаться можно, что нельзя будет узнать Кишинева, основателю его будет новая честь и слава, а нам не стыдно будет глядеть на Черновиц, главный город Буковины Австрийской Молдавии, который недавно заслужил честь быть местом свидания двух императоров. Кишинев сей чести еще заслужить бы не мог.

О исправничествах

Долго рылись мы с отвращением в навозе, лежащем на высотах Бессарабии, но не спукались еще в вертепы, называемые цынутные суды и исправничества. Первые вероятно мало разнствуют от прочих судебных мест; о неистовствах же исправничеств кто не знает? Ропот народный слишком громок, чтобы не слышан стал всякому.

В Молдавии исправники суть весьма важные люди; достоинством они равняются с французскими супрефектами, но власть их выше. Прежде устава образования они здесь играли ту же роль и соединяли в себе исполнительную и судебную власть, и потому доныне еще идут в сию должность люди значительнейших фамилий. В Молдавии почитается дураком тот исправник, который в год не получит 100 т. левов, но сколько ужасных несправедливостей, грабительств здешним исправникам сделать нужно, чтоб доказать ум свой! Увидим какие средства они к тому употребляют.

Первая, но не главнейшая ветвь исправнических доходов — калараша. В прежнее время они составляли целые селения, не платили податей, а только своекоштно исправляли службу верхом и находились при Диване и исправничествах для разъездов и посылок, по примеру наших казаков. Ныне же положенное их число при исправниках содержится на счет обывателей и относится к земским повинностям. Выбор и наем их должен зависеть от самих жителей, и каждый из каларашей

обходился бы им от двух до трехсот левов в год; но сие было бы слишком невыгодно для исправников, и потому не позволяют они входить в это жителям, а сами набирают обыкновенно всяких бродяг, наемных слуг своих и даже цыган; на содержание каждого из них требуют они ежегодно от пятисот до тысячи левов и между тем половины их не держат, а из сей половины едва ли треть употребляется на службу: все прочие у приятелей их или у них самих в услугах без платы. Сверх того, жители должны еще по произволу исправников доставлять для содержания каларашей хлеб, всякие съестные припасы, а для лошадей овес и сено; лошадей же при каларашах никогда не имеетя: они берут первую любую лошадь у крестьянина, садятся на нее, скачут для исполнения порученности, уморят или надорвут лошадь, в первом селении ее бросают и берут другую.

Великое также зло в цынутах происходить от околашей. Они род голов или старост волостных, имеют в своем ведении несколько селений и должны быть избираемы самими обывателями между оседлых и почетнейших

поселян. Вместо того, исправники предоставили себе право назначать в сию должность людей по своему выбору, а выбор их падает обыкновенно на праздношатающихся, на самых порочных, на лакеев не находящих себе мест, на писарей за пьянство и воровство выгнанных. Эти люди служат им агентами и приказчиками, не только не получают никакого жалованья, но еще взносят исправникам значительные суммы[57]. Околаши служат в тоже время поверенными откупщиков, и появление их в деревню почитается настоящим бедствием. Когда от имени сих последних приезжают они собирать подать с овец, называемую гоштину, то входят во все дома, роются везде, осматривают всё, не найдется ли забытая и не объявленная хозяином какая-нибудь осмушка с ягненка: тогда он пропал, дорого должен он будет заплатить за то. Несколько времени живут они таким образом в деревне на счет жителей, никто в это время не должен отлучаться, и наконец всякой, кому приходится заплатить подати десять или двадцать пар должен по леву платить околашу за квитанцию. Сим беда не кон-

чится, ибо еще приезжает другой поверенный откупщика ревизовать квитанции; та же церемония соблюдается, и другой лев ему платится. Двойные посещения сии, отнимающие драгоценное время у поселян, продолжаются во всю рабочую пору; весной когда овцы приносят плод собирается гоштина, десятина летом когда пчелы оброются, погонарит когда созреет табак и наконец осенью вадрарит по собрании вина. Вообще все сии мелочные подати, посредством откупа собираемые, сущее разорение для бедных крестьян; казне прибыли мало, набогащаются исправники и откупщики, а сии последние и не платят еще откупной суммы. Не лучше ли бы было уничтожить сии налоги и заменить их набавлением на прямую подать бир, которая без всяких притеснений доселе весьма исправно выплачивается?

Исчислить все способы, находящиеся в руках исправников для притеснения народа и обогащения себя, нет возможности. Скажем только, что ни одного из сих средств не упускают они, чтобы им не воспользоваться. На предписания наместников и указы прави-

тельства не обращали они никакого внимания, иногда их даже и не читали. Такое пренебрежение к власти происходит от безнаказанности, которою они пользуются, благодаря премудрому образованию, по правилам коего никакой дворянин в области, даже преданный суду, от должности не удаляется, и потому всегда имеют они способы заставить молчать людей на них жаловавшихся. В некоторых случаях начальники не смотрят на сию статью; но что за образование, если, не нарушая его, нельзя ничего сделать справедливого? К чему же оно годится?

Общие замечания

Никто еще из одного любопытства не приезжал в Бессарабию, хотя к ней и представляется зрелище, единственное теперь в мире. Путешественники с удовольствием посещают просвещенные государства, другие смелые ездят за моря, чтобы видеть народы дикие и человеческой род еще в младенческом состоянии; но что может быть любопытнее для наблюдательного ока, как рождающееся общество, в котором видны остатки восточных обычаев и начало европейской образо-

ванности? Сие можно видеть теперь в Кишиневе и других маленьких городах Бессарабии, так точно как сие было с небольшим сто лет тому назад в нашем отечестве. Сходство между образом жизни богатейших молдаван и наших предков, к стыду нашему, разительное; и потому Кишинев еще более заслуживает внимания русских. Название бояр, длинная их одежда, длинные бороды, высокие шапки, богатые меха, коими они покрываются, их невежество, грубость, всё напоминает древних наших царедворцев. В домашнем быту сходство сие еще заметнее: недостаток в самонужнейших предметах для удобства и приятности жизни, низкие комнаты, коих убранство состоит в широких лавках покрытых коврами; столы отягощенные множеством невкусных блюд, многочисленная, оборванная и засаленная услуга, между стариками ревность [58] и удаление женщин от всякого участия в общезжитии, великолепные наряды сих последних, алмазы, жемчуги, и вместе с тем неопрятность, всё как было у нас в старину. Если быть в судебном месте, то легко счесть себя в приказной избе; а деловые бумаги, на молдав-

ском языке с крючками и под титлами писанные, похожи ни дать ни взять на древние столбцы Московского Архива. Одним словом, всё мысленно переносить нас в семнадцатое столетие и дает более чувствовать всю цену просвещения.

Молодые люди обоего пола принадлежать уже к другому веку России, которого конец мы сами видели. По мнению их французский язык, которым они очень дурно говорят, танцы и несколько песенок, мазурок и вальсов на гитаре или фортепиано, составляют совершенство воспитания. В сравнении с сим за ничто почитаются ум, познания, честность, добродетель. От такого образа мыслей родилась безнравственность, которую по крайней мере у нас никогда и не подозревали. Распутство и жадность к интересу молодых женщин, невежество и вечная праздность молодых людей, их мерзкие интриги, их подлые ссоры и драки представляют порок в столь отвратительном виде, что он теряет всю силу примера. Весьма жаль, если сему ужасному поколению достанется управлять Бессарабией. Старики всё еще лучше!

Тем, кои будут читать сию записку, странно покажется, если мы, упоминая в ней часто о древних и новых дворянских родах, объявим наконец, что никогда не было в Молдавии дворян. Признаемся чистосердечно, что мы были в заблуждении и чрез то выведем из него и других. Нам хотелось дознаться, каким образом приобреталось там дворянское достоинство и какие сопряжены с ним были привилегии; вот что мы узнали. В Молдавии, подобно как и в Турции, коей она подвластна, нет других отличий кроме чинов и должностей, нет никаких наследственных достоинств, и как сын верховного визиря, простой турок, так и сын господаря, хотя во время жизни или царствования отца своего и называется Бей Заде, то есть, княжеский сын, но после поступает в число обыкновенных греков или молдаван. Вообще же жители княжества разделяются на два состояния, *резеши* или владельцы земель, и *царане*, обрабатывающие чужие земли и своих не имеющие. Из первых обыкновенно попадают в члены Дивана и другие должности, но первый боярин, равно как и последний земледелец, платит

бир. Сыновья бояр называются бояринаш, так как в Польше сын генерала или полковника называется пан генералович или пан полковникович; уволенные же от должностей именуют себя мазылами, что значит на древнем языке бывшие, и сие название fuimus сохраняют и потомки их. Некоторые фамилии не растратили, но еще умножили нажитое предками имение, и в течение веков члены их занимали первые места в княжестве; вот от чего считают они себя знатными и не хотят с другими равняться; другие же, разделяя поместье свое между детьми, а сии между внуками и так далее, бесконечные подразделения сии довели потомков их до состояния простых земледельцев, как мы выше сего о резешах сказали.

Несколько времени богатейшие бояре или резеши умели живущих на их земле царан, разными неправдами, поработить; но благодетельный князь Константин Маврокордатосие рабство прекратил, состояния по прежнему сравнял и чрез то спас имя свое от забвения, которому преданы все другие господари. С чего же взял г. Криницкий, или лучше ска-

зять сколько взял он с получивших в мелком молдавском княжестве мелкие чины, чтобы в образовании своем составить длинную таблицу о сословиях и поставить их выше тех людей, от коих отличаются они только безнравственностью и богатым одеянием? Не лучше ли бы было, если непременно дворяне нужны, дать пользоваться сим званием известнейшим фамилиям, а впрочем и тем, кои в русской службе получили штаб-офицерские чины, их потомству и тем, кои впредь таковые получить могут; в рассуждении других же сословий, сделать по примеру России, а решешь приравнять к однодворцам.

Теперь следует затруднительнейший вопрос: что такое бессарабское дворянство, когда его не было в Молдавии? И кого признавать здесь дворянином? Всех тех, которые там или у нас получили чины. В Молдавии чины разделяются ровно на четырнадцать классов, так как у нас; как же поверстать их с нашими? Особливо когда были примеры, что Вель-Логофет и Вестиар, состоящие у них в первом классе, принимались к нам только действительными статскими советниками, и

после того как считать здесь Шатраря, который в 14-м классе и с кем равняется сын молдавского регистратора, когда сыновья не дослуживших даже в военной службе выше капитанского чина почитаются у нас обер-офицерскими детьми, а не дворянами? Как всё это непонятно и какие глупости в этом образовании! Там сказано между прочим, что дворянский сын, хотя бы и не служил прежде того, может по достижении 22-х летнего возраста быть избираем к должности; но опять спросим: что такое Бессарабской дворянин? Вот что из того выходит: многие молодые люди, прельстившись военной службой, изъявили желание в нее вступить, подали просьбы, и от полков свидетельства им данные посланы в герольдию, которая, не понимая что такое Комис, Каминар или Пахарник, сыновей их не могла признать дворянами, и они должны были поступить унтер-офицерами и прослуживать узаконенные лета. Старики на такие примеры указывают детям, а они должны согласиться, что гораздо выгоднее сидеть дома, дожидаться выборов, получить место исправника или выше, понабить себе карман,

да к тому за ревностную и усердную службу получить чин, которого бы они пятнадцать лет не дождались. От того именно нет ни одного дома, в котором бы не было пяти или шести взрослых ослов, ведущих самую глупую и бесполезную жизнь. Надобно непременно с точностью определить, что дает молдавину право на дворянское в России достоинство, закрыть от молодых людей всякую дорогу к повышению, кроме военной и гражданской службы, и быть гораздо снисходительнее к тем, которые пожелают себя на оные употребить.

Более всего нужно определить обязанности поселян к помещикам или, как приличнее сказать, работников к своим хозяевам: ибо здешние помещики, будучи кроме состояния во всём равны поселянам, не иначе как их хозяевами считаться могут. Над проектом устава о Царанах работали два члена Совета Курик и Прункул; легко можно себе представить, как бедные крестьяне были пожертвованы, хотя при первом взгляде и покажется иным, особливо русским помещикам, что обязанности сии весьма не отяготительны. Над

подобным же проектом много трудился сам бывший наместник Инзов; труд его был напрасен; ибо огромная тетрадь, им написанная, ничего путного в себе не заключает и совсем не соответствует цели своей. Может быть, благие намерения нового наместника в сем случае увенчаются желаемым успехом.

Мы мало говорили о сих жителях низшего здесь состояния. Их упрекают в лености; но где тот человек, который бы даром и для другого охотно работал? К тому же их потребности весьма умеренны, а теплота климата и плодородие земли, известно всем, располагают к бездействию. Они легковерны, как дети, и владельцы не одну силу, но и хитрость употребляют, чтобы более и более наложить на них тяжелое ярмо. Глядя на тех и на других, можно подумать, что видишь два разные народа, победителей и побежденных, простодушных дикарей Америки и жестокосердых завоевателей из европейцев. Отчего же такая разница? Как в Молдавии не было ни войска, ни художеств, ни наук, ни промышленности, и единственное средство к обогащению и повышению были разные подлости и угожде-

ния страстям властителей: то все порочные сими способами пользовались, дабы возвыситься, всё лучшее осталось на дне. Положение сих людей становилось день ото дня нестерпимее, и хотя они самые покорные в свете и взбунтоваться бы не могли, но как терпение имеет пределы, то нельзя исчислить бедствий, могущих произойти, если бы сие положение еще продолжилось: еще год, и Бессарабия обратилась бы в пустыню; две трети её жителей, невзирая на гонения, претерпеваемые ныне христианами от турок, готовы были перебежать за Прут и Дунай; там нашли бы они других мучителей, но, верно, менее жестоких, чем здесь. Судьба к ним смягчилась; счастливая перемена в управлении области, воследовавшая в половине сего года, в сердцах их воскресила надежду, которая их, верно, не обманет.

Сколько есть еще предметов достойных внимания, которые описать бы нам следовало; например, надлежало говорить о здешнем духовенстве, о благотворном влиянии его на дела мирские в Молдавии и о устранении его от оных под русским правительством, о спо-

собах учредить с помощью его училища во всей области, которая в этом терпит совершенный недостаток. Надобно бы упомянуть о преосвященном Димитрии, добродетельном архипастыре, которого, к сожалению, мы только по слуху знаем; о архимандрит Иринее, который весь жар пылкой души своей и цветущих лет посвятил единственно добродетели, религии и образованию юношества; о человеколюбивом протоиерее Лончковском, постоянном и неутомимом защитнике престолюдинов и утешителе их в горестях. Особенно надлежало бы изобразить то, что всего лучше в Бессарабии: прекрасную её природу; сказать, как плодоносная земля её, быв, так сказать, поцарапана только, сторицей воздаёт за слабые труды земледельца; означить всё, что она производит и что при лучшем управлении она бы производила; показать, в каком состоянии находятся хлебопашество, садоводство, скотоводство и прочее и до какой степени совершенства всё сие доведено быть может; как бы легко было правительству при самомалейших попечениях предупредить несчастья, коим сей край бывает

подвержен в неурожайные годы,[59] но тогда надобно бы было сделать статистику Бессарабской области. Мы не могли иметь сего намерения, ибо не имели ни времени, ни достаточных сведений, ни довольно способностей для столь обширного предприятия.

Мы не умели даже выполнить обещанного: хотели сначала, описывая беспорядок, представить и средства к истреблению его, причину болезни и способ к её излечению, но везде показали одно бесплодное, хотя сильное и усердное желание видеть конец бедствиям, опечаливающим одну из прекраснейших наших провинций.

По мнению всех благомыслящих наших соотечественников, несколько лет уже в Бессарабии поселившихся и знающих весьма хорошо настоящее её положение, прежде всего должно, раз навсегда, устроить судьбу резешей и царан, а потом смело приступить к преобразованию образования. Народ примет всё с благодарностью, ибо несчастные рады всякой перемене; станут кричать сотни две самозванцев-дворян, губителей народных, но как можно слушать их лай? Поднять палку —

и все замолчат. Сделать преобразование также не весьма трудно: стоит только основанием его взять наше учреждение о губерниях, область назвать губернией, а цынуты уездами. Во всех частях управления употребляется русский язык и соблюдается русский порядок; остается только одна гражданская часть; введение в нее русских законов со всеми несовершенством было бы благом для сей земли и в тысячу раз предпочтительнее тому сумбуру, который доселе царствовал. «Мудрые законодатели, — говорят они, — светильники юриспруденции, образованные в чужестранных университетах, с германским хладнокровием рассуждают о благоразумных и осторожных мерах, кои правительству принять нужно к постепенному улучшению всех отраслей управления и к изданию, наконец, кодекса, приличного народному духу молдаван. Всё сие, конечно, они со временем совершить могут. Когда мистик Стурдза составлял дипломатические фразы, писал для графа Каподистрии красноречивые донесения о благоденствии, коим наслаждаются новые подданные России, и чрез сие обманывал Государя,

министра, и, мы хотим думать, самого себя: тогда Бессарабия быстрыми шагами шла к той бездне, на краю которой мы теперь ее видим. Итак время ли теперь дожидаться свободных минут и счастливых вдохновений господина Брунова? (так говорят сии старове-ры) Да и к чему же напрягать все силы ума своего, призывать в помощь глубокие свои познания, когда представляются самые про-стые и легкие средства? *А ларчик просто от-пирался.* Но положим (всё они же говорят), что г. Брунову удастся импровизировать уло-жение. Какая от того польза государству, и долго ли нам будет в каждом его углу видеть особые законы? Теперь Бессарабия в числе лоскутков, пришитых к России на живую нитку; не лучше ли во сто раз, чтобы она при-росла к ней, вошла в общий состав государ-ства и разделяла отныне участь прочих его жителей? Всё к тому готово: исповедуя одну с нами веру, имея произношение совершенно сходное с нашим[60], имея в языке своем мно-жество славянских слов, ни один народ так скоро обрусеть не может как молдаване». Вот как сии господа толкуют; мы не беремся опро-

вергать их суждения, а предоставляем сие людям, более нас сведущим.

На замечание, как трудно будет молдавским судьям разбирать дела, а судящимся оспаривать права свои на языке, им незнакомом, они возражают, что тем лучше и скорее молдаване выучатся по-русски, а покамест можно с определений гражданского и цынутных судов выдавать тяжущимся переводы на молдавском языке. Что же касается до затруднения иметь из России достаточное число хороших и способных чиновников и канцелярских служителей для наполнения ими мест по области при сем новом порядке вещей, особливо, когда пугает одно её имя и ее считают в соседстве с Грузией: то они полагают, и мы тоже, что этой беде помочь легко, лишь бы только отъезжающим сюда для службы поставлены были в виду некоторые выгоды, коими доселе здесь не пользовались. Всякому, кто решается ехать в Сибирь или Грузию, с условием прослужить там три года, дается при отъезде следующий чин; хотя Бессарабия и не столько отдалена от обеих столиц и в ней климат умеренный и здоровый, но сосед-

ство с чумой и вообще невыгодные о ней слухи у многих отнимают охоту тут поселиться и продолжать службу; да к тому же люди много зависят от привычек, и Бессарабия менее Сибири нам известна, и так, удивительно ли, что и без получения чина скорее согласятся туда ехать? В отвращение такового препятствия, кажется, нужно служащих здесь, по крайней мере на несколько лет, освободить от непрременной обязанности выдержать экзамен для получения чинов пятого или осьмого классов; сама справедливость того требует: ибо высочайший о том указ состоялся в 1809 году, а Бессарабия присоединена только в 1812, и долго о сем постановлении здесь никто и не ведал. Если Государь окажет здешнему краю такую милость, то совершеннолетние молдаване, теперь праздные по неимению надежды к повышению, разделяющие непростительную слабость наших земляков и столь же чинолюбивые, как и русские, толпами бросятся служить и учиться нашим законам и языку; тогда и начальнику легко будет лучшего любого чиновника вызвать сюда из Петербурга[61].

Есть люди, которые опасаются всякой общей перемены в Бессарабии и находят свою пользу в расстроенном её теперешнем положении. Они утверждают, что введение здесь совершенно русских обычаев и законов может иметь вредные последствия. Если наше правительство имеет тайное намерение присоединить некогда к России Молдавское и Валахское княжества, которые столько раз уже нашими войсками были заняты, то должно опасаться, по мнению их, чтобы не были мы встречены более как неприятели, нежели как спасители. Напрасно! Когда до молдаван запрутских дойдет слух о спокойствии и безопасности, которыми пользоваться у нас будут единоплеменники их, когда собственность будет здесь ограждаема законами, то Молдавия, может быть, опустеет; тысячи начнут перебежать к нам и станут населять обнаженные пустыни Буджака. Конечно, бояре еще более нас не полюбят и будут стараться вредить нам, но что могут они сделать? В искусстве наших генералов, в храбрости наших солдат скорее найдем мы вернейший залог наших будущих завоеваний, чем в содействии малодушных и

бессильных соседей наших, обеспеченных и подавленных турецким игом. Но нет, у нас и не думают о завоеваниях; мы, видно, устали от побед! О, если б, потеряв навсегда прекрасный призрак славы, и в самых бедствиях великие народы утешающий, могли мы сей дорогой ценою купить внутреннее наше благосостояние! Если б оживились у нас промышленность, торговля, науки и художества, если б апостолы невежества лишились власти противиться успехам просвещения, и смелые мысли, без коих нельзя достигнуть ни до чего высокого, перестали пугать наших цензоров; если б в судах наших воцарилось правосудие, если б в отечестве нашем иностранцы не предпочитались бы во всём природным жителям, и русским оружием покоренные народы, за великодушные своих победителей, не осмеливались более платить им явною ненавистью и презрением; если б наши офицеры научились уважать гражданскую службу, перенесли бы в судебные места благородство, неразлучно сопряженное с званием военного человека и там сделались бы столь же непричастны гнусному корыстолюбию, сколько на

поле битвы были недоступны страху; если б утвердилось наше древнее Православие и сердечная, истинная набожность заступила место всех смешных и отвратительных бредней, нам за святость выдаваемых; если б мы шли, хотя медленными шагами, но шли к освобождению от рабства миллионов наших соотечественников, и они перестали бы содрогаться от ужасной мысли, что сегодня или завтра могут сделаться собственностью не только какого-нибудь иностранца, но первого армянина или жида, довольно богатого, чтобы купить их свободу, наперед купив себе чин; если б, если б всё сие исполнилось: тогда могли бы мы не пожалеть о столь великой потере, и возмужалый русский народ, вступая в другой возраст, нашел бы новые пути ко славе. Так точно молодой человек, пресыщенный наслаждениями любви, утомленный победами над красотой, вступая в зрелые лета и соединяясь брачными узами, в обязанностях супружества и в занятиях хозяйственной жизни находит новое, неизвестное ему блаженство.

Да совершится же хотя часть наших жела-

ний! Да поможет Бог Государю нашему в благодетельных его намерениях и да внушит ему лучшие средства к их исполнению! Да возвратятся к нам первоначальные прекрасные годы его царствования, сие незабвенное время, когда вся земля русская исполнена была благополучия, веселия, надежд! Да сердце его, сокровище России, воспламенится новою любовью к верному народу, иногда недовольному, но никогда любить его не перестававшему! Да здравствует он, хотя бы!

Часть седьмая

I

Конец Александрова царствования. — Дамская колония в Крыму. — Чума. — Торги на откуп. — Рознаван и Гика. — В. Ф. Тимковский.

Приближался конец первого двадцатипятилетия девятнадцатого века. Всеобщий мир, устроенный сонмом царей на Венском съезде или, лучше сказать, тем, кого почитали все их главою, всё еще существовал. Беспокойный дух, следствие революционной бури, покушался было его нарушить; но его искусством и могущею волею был опять восстановлен. Двойная победа его над диктаторством Наполеона и над рождающимся после того безначалием должна была наполнить душу его справедливою гордостью и доверенностью в самому себе. Но, нет, очарование исчезло; как он, так и Европа не могли долее обманывать себя. Он предвидел новые беспокойства и Россию посредством военных поселений намере-

вался обратить в обширный стан блюститель всемирного спокойствия.

В продолжении более полутора года по выезде моем из Петербурга, не случилось мне видеть ни одного приезжего оттуда, мне хорошо знакомого человека, ни с кем не завел я там переписки, и, посреди забот моего нового рода служения в новом краю, сделался я почти чужд городу, в котором провел большую часть жизни. Однако, хотя изредка, доходили и до меня сведения о том, что там происходило. Сии известия мне казались успокоительны. Противодействие прежнему образу мыслей продолжалось, усилилось, удвоилось. Я не знал, что, к сожалению, самые плохие, даже вредные орудия были на то употребляемы.

Аракчеев, умнейший из всех действующих тогда лиц, друг и блюститель порядка, был сильнее чем когда. Жестокий его характер был однако более вреден, чем полезен самодержавию.

Тайная полиция, под именем Особой Канцелярии, находилась тогда в заведовании Министерства Внутренних Дел. Граф Кочубей как бы гнушался этою частью, а преемник

его, престарелый и беспечный Ланской, мало об ней заботился. Под ними эту частью управлял статский советник Максим Яковлевич Фон-Фок, мне знакомый человек: ибо отцы наши были друзья, и мы оба образованы были одним наставником г. Мутом, только он лет шесть попрежде меня.

Он был немецкий мечтатель, который свободомыслие почитал делом естественным и законным и скорее готов был вооружаться на противников его. Вообще же он никак не был расположен под кого-либо подыскиваться.

Рыцарь Милорадович добровольно обратился в главу шпионов и каждый вечер терзал Царя целыми тетрадами доносов, по большей части ложных. Спасением угрожаемых было сердце Александра: он медлил карать и скоро оказывалась безвинность несчастных жертв жестокого легкомыслия Милорадовича. К счастью круг действий его был не обширен: он не простирался за пределы Петербурга.

Только по части духовной и особенно в Министерстве Просвещения введено было нечто совершенно инквизиционное. Ми-

нистр Шишков был не что иное как труп одним злодеем гальванизированный. Я не берусь осуждать людей, которые с умом под личиною любезности питают злобу к каждому человеку в особенности: я их не понимаю. Неистощимая природа, создавая курицу и гину, творит часто и людей им подобных. По расчётам иногда составляют они и дружественные связи; но коль скоро выгоды их того требуют, без всякого повода, без всякого сожаления, всегда готовы они отказаться от них.

Таков был Магницкий. Первые годы молодости своей провел он в Эпикурейской Вене и в революционном еще Париже; там рано развратилось сердце его. Когда он возвратился в отечество, то сперва вместо трости носил якобинскую дубинку, с серебряной бляхой и с надписью: *droit de l'homme*. Потом он был самым усердным англоманом, а после Тильзитского мира отчаянным обожателем Наполеона, что, кажется, и было причиной ссылки его в Вологду. Оттуда назначен он был Воронежским вице-губернатором, а вскоре потом губернатором в Симбирск. В это время сильно пристал он к мистицизму и тем угодил мини-

стру князю Голицыну, который испросил ему место попечителя Казанского Университета, а по званию члена Главного Правления Училищ, держал его при себе в Петербурге. Он совершенно оседлал Голицына; но, предвидя скорое его падение, способствовал оному, войдя в тайные сношения с его противниками. Езда на Шишкове показалась ему еще гораздо покойнее.

Вот первый случай, что в руках его находилась достаточная власть для преследований: он им воспользовался. Более всего нападения его направлены были на Библейское Общество, к которому он принадлежал; вообще, напал он на всё то, что сам прежде исповедывал. Горе профессорам, которые на кафедре дерзнут выразить какую-нибудь смелую мысль; горе писателям, если в их творениях ему покажется что-нибудь двусмысленным; горе цензорам, то пропустившим. И если б у него были какие-нибудь убеждения! Но он никого и ничего не любил и ни во что не веровал.

Подручником себе избрал он одного неутомимого пустомелю Рунича, который в долж-

ности попечителя Петербургского Университета занял место умного и ученого Уварова. Этот, кажется, был чистосердечнее, за то уже бессмысленнее его ничто не могло быть. Можно себе представить, в каком положении находилась тогда подрастающая наша словесность.

Знаменитая госпожа Крюденер около этого времени испытала также гонение правительства. Года три-четыре оставалась она в Петербурге, но учение свое мало успела в нём распространить. Под её председательством составилось только небольшое общество мечтательниц. Главным из них и ей самой в 1823 году посоветовали выехать из столицы. В числе их была и моя любезная, устаревшая Александра Петровна Хвостова. Уведомляя меня о намерении их избрать местопребыванием Южную Россию, она требовала моего совета, а я предлагал ей Бессарабию. Но как она сделалась истинно набожною, то остановилась в Киеве, где и поднесь находится в живых.

В ответе моем мне вздумалось поэтизировать, в блестящем виде представить полуденный берег Крыма, который знал я только по

описаниям и наслышке. Письмо мое представила Хвостова на общее суждение дамского совета. Главною распорядительницею в деле переселения была богатейшая из сих женщин, мужественная княгиня Анна Сергеевна Голицына, урожденная Всеволожская. Описание мое, как уведомляла меня Хвостова, воспламенило её воображение; она начала бредить неприступными горами, стремнинами, шумными водопадами. Как всех на дорогу снабжала она деньгами, то в капитуле имела первенствующий голос. Как леди Стенгоп на Ливане, избрала она красивое место над морем и начала тут строить церковь и дом. Госпожа Крюденер с зятем и дочерью, бароном и баронессой Беркгейм, поселилась пока в маленьком городе, называемом Эски-Крым; но вскоре потом в 1824 году переселилась в вечность.

За нею скоро последовала привезенная Голицыной одна примечательная француженка. Она никогда не снимала лосинной фуфайки, которую носила на теле, и требовала, чтобы в ней и похоронили ее. Её не послушались, и оказалось по розыскам, что это была жив-

шая долго в Петербурге под именем графини Гашет, сеченая и клейменная Ламотт, столь известная до революции, которая играла главную роль в позорном процессе о королевином ожерелье.

Занимая читателя всё предметами мне посторонними, медлю говорить ему о себе и не знаю, как приступить к тому. Тяжело мне воспоминание о мучительном, хотя кратковременном, губернаторстве моем.

Все чрезвычайные обстоятельства, которые обыкновенно в губерниях встречаются редко, соединились тут, чтобы в течение трех месяцев задавить меня трудами: дворянские выборы, откупа и беспрестанные заботы о недопущении внутрь области распространяющейся заразы. Каждый день обязан я был находиться по крайней мере в одном из трех присутственных мест, в коих председательствовал, в областном правительстве, в Казенной Экспедиции и, наконец, в Верховном Совете. Из первых двух делал я представления третьему, который в присутствии моем мог их не одобрить, чего однако ни разу не случилось. В других губерниях нет карантинной ча-

сти, а там, где она есть, находится под управлением градоначальников; тут находилась она в заведовании губернатора. Таможенная и соляная части везде имеют свои особые управления, тут подчинены были они Казенной Экспедиции. Если прибавить к тому довольно обширную заграничную переписку не только с Буковинским крейстауптманом, но и с Галицийским генерал-губернатором графом Таафе, с самим господарем Молдавским и с Задунайскими турецкими пашами, то можно расчислить, много ли часов в сутки оставалось мне на отдохновение. Счастливы, право, эти господа, которые управляют внутренними губерниями: им неизвестны мучения пограничных губернаторов[62].

На первых двух дворянских выборах, в 1819 и 1822 годах, присутствовали сами наместники — Бахметев и Инзов; сие было не весьма законно, но, может, необходимо для удержания незнакомых с порядком. Были весьма буйные сцены и, несмотря на их присутствие, дело не раз доходило до драки. В 1825 году не было даже и губернатора, а я, в противность законов, не посмел бы и загля-

нуть в залу выборов. И между тем всё на них происходило чинно и благопристойно. Начиная с областного предводителя Янки Стурдзы, раздраженные бояре не хотели вновь принимать занимаемых ими должностей, а предоставляли их мелким, новым дворянам. Сия неожиданность затрудняла последних. Не разделяя вражды высших против меня, некоторые из них ежедневно приходили со мною советываться. Я мог указывать им только на немногих известных мне людей; другие же, особенно приезжие из цынутов, мне были совсем незнакомы и уже между собой, без всякого влияния, без всяких интриг и споров, могли они избирать достойнейших.

Мне самому было смешно и несколько совестно, когда увидал я заседающими в Совете своих новых сослуживцев. Ни одной из прежних длинных бород, которые присутствием своим несколько умножали важность сего Совета. На одного из новых членов, Жигничера Симеона Главче, никогда серьезно не мог я смотреть, а слушать еще менее. Его малый рост и примечательная толщина давали ему вид шарообразный; казалось, он не ходит, а

всегда катится по полу; суждения его были столь же странны, как и наружность.

Чума продолжала свирепствовать, ибо зима стояла теплая, сырая, гнилая. Не в первый уже раз сражавшийся с нею Катакази находился на страже; против вторжений её принимал он самые строгие меры, и за ним можно было спать покойно. Но вблизи от Дуная находились колонии; надзор чиновников Инзова был столь же плохой и слабый, как он сам. С другой стороны из-за Дуная зараза прорвалась и 16 января открылась в селении Барте, между двумя озерами или Дунайскими заливами Ядпухом и Кагулом. В ночи с 17 на 18 число, в четыре часа утра, был я пробужден нарочным, отправленным ко мне от Катази. Уведомляя меня о сем несчастье, как говорил он, ручался только за безопасность мест, окружающих Измаил и объявлял, что дальнейшие меры будут зависеть от моих распоряжений. Весть для меня совсем незабавная и дело совсем новое. Надобно было немедленно послать приказания останавливать всех идущих и едущих из сомнительных мест и учредить новую карантинную линию. Я не видел-

ся с г. Инзовым; тут пришлось хотя письмен-но войти с ним в сношения. Он отвечал мне, что через час сам отправляется на место. Я тотчас послал за канцелярией, и тут же у меня с четырех часов до десяти утра занимались мы, писали, переписывали и отправляли на-рочных.

Когда чума покажется в какой-либо сторо-не, то всякой болезненной признак, которого в иное бы время и не заметили, производит испуг: сделается ли сильное головокружение или распухнет у кого железа. Не один раз во второй половине января был я тревожим неосновательными известиями о появлении заразы. Между прочим донесение из местечка Теленешт разбудило меня часу в первом ночи, когда только что я начал засыпать; всю ночь должен был я с канцелярией прорабо-тать и только после трех суток беспокойств и ожиданий узнал, что это был один ложный страх. Наконец, раз вечером, часу в девятом, встревоженный полицмейстер пришел мне объявить, что едва ли в самом Кишиневе не оказалась чума. В одном из домов нижней ча-сти города захворала молодая цыганка с при-

знаками сей болезни; он тотчас велел оцепить дом и призвал на советъ Константинопольскаго врача, доктора Фотино, который долго возился с моровой язвой и в этом деле был чрезвычайно опытен. На открытую галерею, коими окружена большая часть Кишиневских домов, в нагом виде вывели больную. Но уже было темно, а Фотино был стар и, при помощи свечки и очков, ничего не мог хорошо разглядеть и решительного сказать. Итак, дело осмотра оставлено до следующего утра. Не скажу, чтобы эту ночь спал я очень покойно. Согласно моему желанию присутствовать при сем осмотре, рано по утру явился ко мне Радич, чтобы сопровождать меня, и я отправился с любопытством и страхом вместе. У черномазой не было никаких новых припадков, и это одно должно было нас успокоить. Фотино, пристально осмотрев больную и что-то переговорив с ней по-молдавски, радостно засмеялся и сказал, что беспокоиться мне не о чём, ибо нарыв в левом паху этой женщины есть только следствие её невоздержной жизни. С меня как гора с плеч свалилась.

Все эти тревоги подали мне мысль карантинной линией южную степную часть Бессарабии отделить от северной, для большего удобства сию линию провести вдоль Траянова вала, перепоясывающего область. Я представил о том наместнику, который однако же мое намерение не одобрил, находя, что опасность не так велика и что это будет сопряжено с большими издержками для казны. Почитая меня еще неопытным, он, кажется, в этом деле мне не слишком доверял, и я нахожу, что он был прав. Впрочем, прибавлял он в письме своем, мы скоро увидимся и можем лично о толи переговорить: я сам через Кишинев намерен ехать в Измаил.

Казалось, что у нас не будет зимы, как вдруг 26 января повалил ужасный снег и охолодил воздух. Сильных морозов после того не было, но в продолжении почти шести недель каждый день падал снег, падал и оставался. Такая перемена в атмосфере была для нас весьма благоприятна, ибо с этого дня чума везде приметным образом начала слабеть, между прочим и в Яссах, откуда французский консул Танкоэнь (ибо нашего там не было) ре-

гулярно сообщал мне сведения об ней.

В это время, 6 февраля, в санях прикатил к нам наместник. Накануне предупрежденный о его приезде, в его квартире, мною обитаемой, я всё приготовил для его приема. Он пробыл только два дня. Ни в обращении его со мной, ни в чувствах его ко мне, казалось, ничто не изменилось. Он отправился в Измаил, где должно было встретиться первое маленькое неудовольствие его на меня, и оно было началом многих других неприятностей.

Дивизионный генерал Ж... о коем уже я говорил, старался, что было весьма легко, возбудить во мне человеколюбие, которого в нём самом не было. Он представил мне жалкое состояние бедных солдат его дивизии, содержащих кордонную стражу в низких и топких местах по речкам, уверял, что они валяются как мухи и для того просил меня в местах несколько повыше приказать построить для них временные землянки из тростника. Полагая, что это ничего почти не будет стоить, и ни с кем не посоветовавшись, велел я сие сделать из сумм земских повинностей. В Измаиле явилось к наместнику несколько жителей

тех мест, на коих это взвалили, с просьбою, объясняющею, сколь сие для них обременительно, и он, переговора о том с корпусным генералом Сабанеевым, тут находившимся, отменил мое приказание.

На беду случись тут один бессмысленный цынутный комисар или заседатель, который, затрудняясь, самому графу сказал, что неисполнением моей воли он боится навлечь на себя мой гнев. Это было так глупо, что должно было рассмешить графа: это похоже на лакея графа Разумовского, который потерял его шубу и просил его не сказывать о том управителю. Но нет, граф рассердился, и комиссару велено сказать, что в области есть власть выше моей. Неужели он думал, что я хочу с ним соперничать? Мне кажется, что, когда чиновник подчиненный и покорный, в короткое время, может приобрести достаточно моральной силы, чтобы заставить себе безусловно повиноваться, то начальник, любящий порядок, может видеть в нём полезного сотрудника. Но, видно, другие иначе думают.

Когда граф из Измаила воротился в Кишинев, я заметил в обращении его небольшую

перемену. Он скоро объяснился со мной и, ничего не упоминая о комиссаре, ласково сказал: «Что это вы наделали? охота же вам была послушаться этого мерзавца Ж...: ведь это настоящая самовольная реквизиция». Я никогда не искал оправдываться, когда почитал себя виновным даже в ошибке. Однако я заметил, что хотел сохранить воинов Царю, но вижу, что всякой должен исполнять только долг свой, не делая ничего более, ничего менее.

Ну, сказал я сам себе, пропало мое губернаторство, и скоро сам граф подтвердил мне это. В откровенной будто и тайной беседе объявил он мне сперва, что как зараза уменьшается и, вероятно, скоро прекратится, намерен он, не дожидаясь конца, отправиться в Петербург. Потом сказал по секрету, что как ни мастерски Катакази справляется с чумой, на губернаторском месте ему остаться невозможно и что к нему пишут из Петербурга, будто Государю угодно на его место назначить одного статского советника Тимковского. Я тотчас понял, что этот г. Тимковский кем-нибудь ему сильно рекомендован, что он колебался между нами двумя, но что Измаильская

встреча заставила его дать предпочтение человеку, которого он вовсе не знал.

Не напоминая ему об обещании его, сказал я, что сия весть мне прискорбна, ибо с Катакази мы уже свыклись, хорошо знаем друг друга, а с другим, может быть, не поладим. «Напрасно вы это думаете, сказал он: умные люди всегда скоро сойдутся; ум хорошо, а два лучше, по пословице, и с вами двумя останусь я совершенно покоен на счет Бессарабии». Если б я знал Тимковского, то приравнение к нему совсем бы мне не показалось лестным.

Что делать? Так и быть: мне нельзя еще было помышлять об оставлении должности. У меня в предмете была важная операция, которую хотелось с честью привести к концу. Я говорю об отдаче в откупное содержание винной продажи в Кишиневе. Сроки для торгов уже наступили, но по случаю чумы никто не являлся; граф обещал мне кой-кого прислать из Одессы и Тирасполя, а у меня в виду был один только человек. «Как вы думаете, — спросил меня граф, — сотню тысяч левов может нам дать этот откуп? — Мне кажется, что и сотни тысяч рублей ассигнациями будет ма-

ло. — А сколько же вы полагаете? Да я не помирюсь менее как на двухстах пятидесяти тысячах рублях (тогда всё считали на ассигнации). «Ну полноте, полноте, если вам удастся выручить сто тысяч рублей, я сочту вас великим искусником». Вот наш последний разговор пред его отъездом. Расчёт мой был верен: из двадцати шести тысяч жителей невозможно, казалось мне, чтобы каждый не выпил на десять рублей в год. Барыш основанный на разврате мне всегда казался гнусным; но когда вошло в употребление им пользоваться, то надобно стараться получить его более.

Официальным предложением от 4 марта, наместник уведомил меня об отъезде своем в Петербург. К нему насчет управления областью приложена была копия с инструкции губернатору, коею, во время отсутствия его, и я должен был руководствоваться.

Итак, хотя на время, остался я единственным повелителем в Бессарабии.

Еще в феврале, в общем присутствии областного правительства и казенной экспедиции, начались у меня торги на откуп. Приказчики одного одесского торгового дома Ризни-

ча, с которым завелись у меня приятные связи, торговались робко, для того только, чтобы надбавить цену и, несмотря на мои возбуждения, всё опасаясь, чтобы за ними не остался откуп. Настоящим же образом торговался один богатый купец, еврей Левинсон. Он был из Подольской губернии, где помещики платили ему долги свои ведрами водки, и их так много у него накопилось, что он не знал куда с ними деваться; мне было это известно, и он был тайным моим упованием. Торги кончились, также переторжка; одесские отказались, и вся сумма не доходила и до двухсот тысяч.

Я был в отчаянии. По законам следовало утвердить откуп за Левинсоном; ни на чём не мог я основывать дальнейших претензий, никаких не было данных, ибо дело было совсем новое. Я поступил противозаконно, самовластно и назначил новые торги. Всех это изумило, меня сочли сумасшедшим, а ко мне явилась неожиданная помощь. Наши бессарабские жида ненавидели единокровного пришельца из чужой губернии, завидуя его состоятельности, богатству, кредиту, даже

благородству форм и действий. Они составили против него заговор, набрали кой-где какие-то недостаточные залогов, но с ними не успели выступить на бой. Из среды своей избрали они в сем деле главою величайшего мошенника, Фроима Виолина. Я узнал об этом, призвал его, обласкал, обнадежил, и на новых торгах состязался он с Левинсоном.

Я оказывал Виолину явное предпочтение, когда говорил с ним, все видели улыбку доброго с ним согласия и, как водится, все стали подозревать меня в корыстолюбивых с ним связях. Сие побудило Левинсона просить у меня секретной аудиенции. «Да скажите мне откровенно, г. вице-губернатор, сколько вам надобно?» спросил он. Я, как будто не понимая смысла его предложения, отвечал: да как можно больше. — Я дальше того-то не пойду, сказал он. — Посмотрим, отвечал я. Ничего не понимая, он бы отказался, если б ему не было крайней нужды. На торгах мой Виолин ужасно задорился, в счастье Левинсон пуще его, а я внутренне трепетал, чтобы не восторжествовал первый, ибо впоследствии сие могло бы вовлечь меня в величайшую ответствен-

ность. Наконец, о, радость! за триста тысяч рублей ассигнациями в год откуп остался за Левинсоном.

Я оделял о том представление в Верховный Совет, и он, то есть я, утвердил оное. Мне хотелось, чтобы кроме меня никто в этом деле не имел участия и я старался, чтобы до возвращения Катакази были и контракты подписаны. Ну, право, полководец, выигравший сражение, едва ли мог радоваться более, чем я этой победе над всеми препятствиями. Я поспешил также донести о том наместнику в Петербург и надеялся удивить его; какой получил от него ответ, о том говорено будет после.

С помощью Божиею чума прекратилась в Измаиле и в других местах, и я нетерпеливо со дня на день ожидал возвращения Катакази, в надежде, что он избавит меня от глупых хлопот, у меня тогда бывших по двум частным делам. Одно из них было довольно серьезно, и мне необходимо говорить об нём, ибо оно имело для меня если не несчастные, то довольно неприятные последствия. О другом мог бы я умолчать, но воспоминанием об

нём хочется развеселить себя, а может быть и читателя.

Пусть вспомнит он человека, о котором недавно говорено, француза барона Риуффа де-Торана, женатого на сестре Бальша. Она за что-то поссорилась с ним и бежала от него. Он явился ко мне с требованием велеть схватить ее и засадить в какой-нибудь монастырь до тех пор, пока она не согласится воротиться к нему. «Это слишком жестоко, да и не в моей власти, сказал я. Спросите у настоящего губернатора, когда он воротится; вы с ним, кажется, хороши, он вам даст тот же ответ». «Да что вы мне говорите о Катакази, вскрикнул он, это мокрая курица; а с вашей энергией вы сделаете что хотите, ваша ноля здесь закон; как мне этого не видать?» Могу вас уверить, что если б сам граф Воронцов захотел исполнить ваше желание, его бы не послушалось духовное начальство, был мой ответ. Никакие убеждения мои не действовали на француза: у этих людей страсти всегда помрачают рассудок. В надежде склонить меня на жестокой поступок, он продолжал свои посещения. Всё жаловался он на её обман. «Посудите, —

говорил он, — она уверила меня, что она графиня, тогда как у молдован нет графов, уверяла, что ей двадцать восемь лет, а ей более сорока пяти; уверяла, что у неё сорок тысяч левов дохода, а едва ли есть и пятнадцать». — Напрасно она это делала, эти прельщения были не нужны: любя ее, вы и так бы женились. — «Я, ее любил, помилуйте; да я женился просто из расчёта. Да если б вы могли видеть, как она отвратительна, особливо поутру без туалета: у неё всё фальшивое, и зубы, и волосы, и прочая, и прочая». — Ради Бога перестаньте; когда вы примиритесь, вам будет жаль, что вы постороннему человеку открывали такие супружеские тайны. «Я, примириться с ней? Ни за что и никогда!»

Узнав о частых посещениях мужа и опасаясь Бог весть чего, г-жа де-Торан сама пожаловала ко мне и, входя, бросилась ко мне на шею со словами: «спасите меня». Я ее усадил, успокоил и начал выслушивать её жалобы. Супруга своего называла она разбойником, который неоднократно приступал к ней с требованием, чтобы она отдала ему ящик с её бриллиантами, и в последний раз с пистоле-

том к горлу. «Я слабая женщина, будьте моим защитником; более того, моим отцом, говорила она; вы во мне увидите покорность дочери». Как все люди не так давно, но совершенно вышедшие из молодости, крепко за нее хватаются, так и я имел на нее еще некоторые претензии: каково же мне было слышать, что старуха предлагает себя мне в дочери! То же что барону говорил я и баронессе: «вы его еще любите, я в том уверен, и непременно помириться; для чего же не сделать того скорее и избрать кого-нибудь посредником, только не меня?» В эту минуту вошел слуга доложить, что в другой комнате дожидается меня г. де-Торан. С ужасом бросилась она вновь ко мне в объятия и воскликнула: он меня убьет! «Не опасайтесь ничего: я уверен, что у меня и при мне он воздержится от всякого насилия, а я буду иметь честь проводить вас до кареты». Сказав сие, взял ее за руку и спокойно провел ее мимо мужа, который с бешенством смотрел на нас. Возвращаясь, пригласил я его к себе в комнату.

«Должность губернаторская весьма приятна, — сказал он с злобной улыбкой: — можно

наедине принимать жену, а мужа заставлять дожидаться в передней». — Кажется, вы не долго дожидались; а вас обоих вместе не мог я принять. — «Какая мерзавка, — продолжал он сам с собою: — без всякого стыда посещать холостых мужчин! И верно (оборотясь ко мне), вы не оставили воспользоваться случаем обольстить сию несчастную?» — Вспомните, г. барон, всё то, что вы мне говорили о прелестях вашей супруги, и после того посудите, могло ли прийти мне в голову, чтобы посягнуть на её честь? — «Да так, из тщеславия, и теперь вы будете стоять за нее». — Ни за кого; а если вы непременно того хотите, то должны подать формальное объявление о том, какие сокровища у вас похищены и вообще вести дело законным порядком. — «Да разве в России есть законы?» — Видно, что есть, когда есть суды.

Насилу мог я отвязаться от этих сумасшедших. Через несколько дней приехал Катакази, помирил их, и они же, встречаясь со мной, отворачивались, как будто меня не видят. А может быть, им было совестно, вспоминая всё то, что они друг про друга мне говорили.

Величественно-уединенно жил в Кишиневе Россет Рознован, который был богаче, старше и надменнее всех других бояр, прибывших из Ясс. Его высокой стан, длинная седая борода и шалевый наряд внушали к нему особое уважение. Я мало его звал: всего по одному разу посетили мы друг друга и разговаривали посредством переводчика. У него было два сына. Старший Николай, малый видный, красивый собою, не глупый, женатый и уже разведенный с женою, заведовал его делами, хлопотал по ним и об успехах доносил ему, дабы отец оставался совершенно спокоен и ни перед кем не унижал бы себя просьбами. Другой, Алеко, был глупый, праздный, мотоватый молодой человек. Он задолжал двадцать три тысячи червонцев одному бояру Георгию Гике, также находившемуся в Кишиневе. В Бессарабии, точно как и во всей Молдавии, не было тогда ни банков, ни каких других кредитных учреждений: всякой капиталист был ростовщик и нимало не краснел от того. Вероятно молодой Рознован наличностью получил только четвертую долю требуемой с него суммы, а между тем Гика подал за-

емные письма его ко взысканию. Старик взял сына под защиту, объявив его малолетним, хотя ему было двадцать шесть лет от роду. Тогда Гика стал доказывать, что умершая мать всё имение свое отказала меньшому сыну, что отец им владеет, за собою удерживает, и в нему самому начал простирать свои претензии. Дело два года пролежало без всякого движения, и кто бы дерзнул чем-нибудь прогневить всемогущего Рознована, перед коим сами Катазаки и Крупенской были коленопреклоненны? Если б у него было какое-нибудь законное право, то давно бы Гике отказали в его иске. Известно было, что у меня колена не гнутся перед золотом: вот от чего Гика, в первые дни исправления мною губернаторской должности, подал мне просьбу с возобновлением своих требований; у меня было так много других забот, что я не видел необходимости спешить с этим делом. Узнав о том, старший Рознован приехал ко мне; ласками, перемешанными с угрозами, хотел он заставить меня бросить его; верно, репутация моя до него не дошла, или он ей плохо верил, ибо он заговорил об деньгах, уверяя, что когда я буду

чувствовать в них нужду, всегда кошелек их для меня будет открыт. В таких случаях я никогда не сержусь, а улыбаюсь только с презрением. Гика меня лучше знал: он и не заикнулся даже о денежных жертвованиях, а только до небес возносил мое беспристрастие и бескорыстие и, должен признаться, коснулся тем слабой струны моей. Впрочем я ничего лишнего для него не сделал, а только что пустил дело в ход, ибо почитал это своею обязанностью, никогда не был в нём судьёю, и Рознованам не было ни малейшего повода на меня жаловаться.

Они однако же умели изобрести его. Вдруг получил я от старика Рознована письмо, коим просит меня приказать выдать ему паспорт за границу, ибо он имеет намерение отправиться в Молдавию большой обоз со *многими сокровищами*. Я велел исполнить его желание, а он тайно подослал между тем кого-то к Гике, чтобы его на этот счет предупредить. Желая воспрепятствовать сему отправлению и тем досадить своему противнику, Гика вошел ко мне с прошением и поставил меня в большое затруднение. Я приостановился; то-

гда Рознован прислал ко мне какого-то молдавского чиновника со словесным возобновлением своего требования. Я также словесно объяснил ему, что по моему мнению несколько дней ничего не значат и что, оставляя просьбу его без ответа, разрешение её будет зависеть от настоящего губернатора, который на днях непременно должен будет возвратиться. После того в новом письме, и довольно грубом, Рознован требует, чтобы я решительно сказал ему да или нет. Я был раздражен его неотвязчивостью и сделал ему письменный отказ; однако же в нём сказал я, что как его нельзя почитать каким-нибудь судебным приговором, то губернатор по возвращении своем всегда в праве отменить его, а что касается до меня, то, временно управляя областью, я ничего лишнего не могу взять на свою ответственность. Он ничего не думал отправлять, а только, говоря простыми словами, ему хотелось меня с Гикой надуть. Он выкинул сию штуку, говорят по совету каторжного француза Флёри, с тою целью, чтобы, обвиняя меня в пристрастии, устранить от всякого участия в суждениях по делам сына своего.

Через два дня после сего отказа 24 марта приехал Катакази и на другой день 25-го, в день Благовещения, вступил в должность. Если б у него были наши русские суеверия, он сего бы не сделал: в этот день, говорят, птица гнезда не вьет, и никто ни к каким начинаниям приступать не должен. Наконец, я вздохнул свободно, и даже сама природа, казалось, торжествует со мною избавление мое. Феноменальная в этом краю зима продолжалась почти до половины марта; тогда только накопившиеся горы рыхлого снега вдруг стали таять от вешнего солнца. Я помню, когда в городе была ужаснейшая грязь, мне, живущему в доме Крупенского, по соседству с полем, Пришла охота прокатиться по нём в санях: я вязнул, я тонул в снегу, но из числа немногих людей, которые могут сказать, что близ Кишинева разъезжали в санях 17 марта, в день Алексея Божьего человека, с гор вода, как у нас говорится. Через два дня этого бы я сделать не мог: не оставалось ни крохи снега, а только следы его, шумящие ручьи, ревущие потоки; к концу же марта сделалось почти лето. Сия запоздалая зима была чрезвычайно

полезна для края. В некоторых местах, где земля немного промерзла, были убиты семена, осенью пущенные в нее саранчей; в других местах вышли они полтора месяца позже обыкновенного и оттого, настигнутые холодом, не могли дойти до того возраста, в котором дают жизнь другим подобным себе маленьким чудовищам.

Благодаря устройству данному казенной экспедиции почтенным моим предместником и усердию честных и трудолюбивых моих сотрудников, дела шли в ней как нельзя лучше, и забот по сей части было у меня весьма мало. С Катакази жили мы в добром согласии, и мало-помалу в апреле утихало сильное волнение крови моей; но не совсем и ненадолго.

Из Петербурга имели мы весьма приятные известия: Государь принял нашего наместника как нельзя милостивее и, в последний уже раз отъезжая в Варшаву, пожаловал его 5 апреля генералом от инфантерии, в тоже время утвердил все представления его о наградах. На Бессарабию они были посыпаны. Между прочим Катакази получил славную аренду в

Хотинском цынуте. Но никто из пожалованных не был так обрадован, как бывший председатель гражданского суда, новый областной предводитель дворянства, старик Башот. Когда в Совете вручили ему Аннинский крест второй степени и под длинную бороду стали ему подвязывать его, у него слезы навернулись на глазах[63]. В этот день 5 апреля и я наконец произведен был статским советником.

Не знаю, следовало ли мне много радоваться сему чину. Конечно, я получил его без университетского аттестата, но тогда не так строго уже на это смотрели. Но когда вспомню, что я мог бы легко, без всяких затруднений, получить его вместе с определением в должность вице-губернатора, как мне сказывал о том Бутенев и даже со старшинством с 1818 года (граф никак этого не хотел), когда вспомню, что сей чин следовал мне давно и по старшинству, и за выслугу лет; когда вспомню, что через полтора года толпа прослуживших в чине коллежского советника четыре года произведена в него разом, а многие из неё и даром; когда вспомню, что это

была единственная награда за пятилетнее, изнурительное для здоровья моего служение в Новороссийском краю: тогда не вижу великой обязанности много благодарить за то графа Воронцова, и кажется имею право вычеркнуть его из числа моих благодетелей.

В последних числах марта частным письмом донес я ему об успехе торгов по винному откупу; следственно оно получено им было уже после моего производства. Я ничего не просил, ничего не требовал, но признаюсь ожидал за то особую награду. Когда в Сенате производятся подобные торги, и они идут успешно с приращением государственных доходов, то министрам и сенаторам на них присутствовавшим даются щедрые награды. Тут, хотя в тесном кругу, распорядился один только человек и видимо умножил казенную пользу, ибо большая сумма в этот раз полученная за откуп должна была служить мерилом для будущего времени. На письмо мое получил я высочайший, милостивый рескрипт от его сиятельства, даже не собственноручный, в котором он говорит, что от усердия и расторопности моей менее и ожидать было

нельзя.

За одно из условий контракта Левинсон был весьма благодарен. У него накопилось множество медной монеты, а ему предоставлено было треть откупной суммы вносить медью. Все чиновники были тем сначала весьма недовольны; все, исключая губернатора, но не исключая меня, треть ежемесячного жалованья должны были получать сею монетою. Это сделано было совсем не для облегчения Левинсона, но для того, чтобы русские мелкие деньги, которых почти не видать было, ввести в обращение, во всеобщее употребление и тем вытеснить турецкие пары, сию посребреную шелуху, на которую каждый день курс менялся и падал, что и спутывало счета. Успех превзошел ожидания: в июне на базаре всё покупалось и продавалось на копейки, а к осени о парах уже и слуху не было.

По делам иногда заходил ко мне Левинсон. После графского отзыва почувствовал я сильную досаду и еврею-откупщику открыл важную тайну. Я объяснил ему, что совершенно от моей воли зависело за сто тысяч рублей в год отдать ему откуп и если в три года запла-

тит он лишних шестьсот тысяч, то это моя вина. Помилуйте, воскликнул он, как вам не со-вестно? — Ни мало. — Да скажите, из чего же вы так бились? — Да так, мне хотелось умно-жения казенных выгод, в чём я вижу общую пользу. — Воля ваша, я вас не понимаю. — Да и не вы одни, мой любезный. После того я его спросил, что если б с самого начала открыл бы я ему истину и потребовал третью долю того, чего он лишается, то есть двести тысяч рублей, согласился ли бы он мне их уступить? «Я на коленях поднес бы вам триста», был жи-довский его ответ. Перед читателем каюсь в том, что нередко раскаивался в этом, особли-во, когда, несмотря на всю мою бережли-вость, иногда тесним был нуждою. До каких постыдных помыслов не доведет несправед-ливое начальство!

Не из Петербурга, а из Одессы по секрету уведомили меня, что дело о Тимковском со-всем полагено, что едва ли уже он не назна-чен губернатором и что в конце мая наверное явится в Кишиневе. Тогда решился я из него отлучиться; ибо, сколько желал я настоящего губернаторства, столько убегал временного.

Никто в Кишиневе о сей преднамереваемой перемене ничего не ведал; что всего удивительнее, сам Катакази не подозревал того.

Мне необходимо было собрать некоторые сведения об этом г. Тимковском, о котором до-толе я не слыхивал. Всё что узнал я в это время и все подробности о нём дошедшие до меня после, хочу соединить здесь, чтобы представить характеристику и биографию сего странного человека, с которым, к счастью, судьба никогда не сводила меня по службе.

Он, кажется, был из духовного звания, как многие у нас деловые люди; с большим успехом прошел семинарское и университетское учение и вступил в Иностранную Коллегию. У него были ум и способности необыкновенные, он был незлобив и честен! чего же кажется лучше для начальника губернии? Более всего выигрывал он между людьми чудесным даром слова: все слушали его с приятным изумлением. Не зная иностранных языков, или зная их плохо, он за границей употреблен быть не мог; за то Министерство Иностранных Дел охотно ссужало им другие гражданские ведомства. На славу, почти в ви-

де помощника, Стурдзой был он отправлен к Бахметеву в Бессарабию, где поручили ему огромное дело о претензиях известного армянина Манук-бея; им одним занимался он более восьми месяцев и составил выписку, которая, говорят, действительно могла служить образцом ясности слога. На сих лаврах почил он и никаких других поручений от Бахметева принимать не хотел. Не сим одним вывел он его из терпения, но явным к нему неуважением и беспрестанными шутками, на счет его распускаемыми. По его настаиваниям вызван был он из Бессарабии.

Не знаю, зачем послали его потом в Оренбург. Страна тогда забытая, мало известная и тем более любопытная; страна лежащая за рубежом Азии, чрез которую, рано или поздно, во внутрь сей части света для наших войск должна быть устроена обычная дорога. В ней после полумертвого князя Григория Семеновича Волконского начальствовал тогда слабый Петр Кириллович Эссен. Тут Василий Федорович Тимковский не хотел и за перо взяться; а, кажется, было над чѣм потрудиться. Всё занятие его, вся забава его состояли в

том, чтобы в глаза трунит над бедным Эссеном. От природы остряк, как человек никогда не живший в порядочном обществе, он бывал чрезвычайно дерзок на язык. Как-то удалось наконец Эссену, недостойному его сотрудничества, освободиться от него.

После того наслали его на Ермолова. Он отправлен был как бы в качестве законодателя и образователя Закавказского края. Ермолов привял его очень хорошо и просил заняться делом. Он был на то весьма готов, но в продолжении более полутора года, всякий день собираясь приняться за него, не написал ни строчки. Между тем он возненавидел Ермолова, а за что? Разве за его терпение. Скорее, мне кажется, за то, что вид этого человека, рожденного повелевать, и в нём смельчаке производил иногда невольное смущение, как несколько лет спустя он сам мне в том сознавался. Не только с ним самим быть дерзким, ни даже по заочности забавных насмешек на его счет не мог он позволять себе: всё войско в Грузии обожало его, а все жители видели в нём какой-то могущий дух. За то после вознаградил себя Тимковской. После доказанной

его бесполезности Ермолов был в праве требовать, чтобы его взяли у него. И тут опять, по словам его, не постигнули его гения, не умели оценить его. После того жил он в Петербурге, в праздности, с хорошим содержанием, и я думаю, целый век готов бы был так оставаться.

Трудно объяснить, как человек с великими способностями, по уверению многих, мог принимать на себя важные обязанности с намерением не исполнять их и думать, что это всегда будет сходиться ему с рук. Тщеславия в нём вовсе не было; с равными, с низшими бывал он даже слишком обходителен. Вечно веселый студент, в холостом обществе, он скоро делался его душою, и когда иного и кольнет словцом, но так умно и забавно, что отымет возможность рассердиться. За то самолюбие в нём было ужаснейшее; мысленно он ставил себя выше всех, не питал ненависти к людям, но глубочайшее презрение к ним и к самым серьезным, самым важным их предприятиям. Он думал только забавляться ими и, не думая, забавлял их. Всякою должностью он брезгал и чувством превосходства своего извинял в себе другой порок, чрезвычайную леность. Ро-

дившись в веке философияма и либерализма, он не веровал ни в Бога, ни в добродетель; честь была единственным верованием, которое как-то в нём уцелело. Одним словом, это был величайший эгоист, настоящий человек девятнадцатого века.

Находясь с ним вместе в Оренбурге, трудолюбивый Левшин, который в то же время написал много дельного и полезного о Киргизах, пленился им. Он полагал, что в широком объеме и с большею властью последует полное развитие его высоких дарований. Тихомолком всё более входя в доверенность графа, он часто с восторгом говорил ему о чудесном Тимковском и указывал на него как на единственного человека способного устроить Бесарабию. Другого представительства за него не было. Вероятно, Левшин не знал еще тогда, что гордыню этого человека постигло жестокое наказание, самый постыднейший из пороков: что он сделался горьким пьяницей.

Как легко бы было графу, по приезде в Петербург, навести небольшую справку о сем человеке, которого другим навязывали и которого сам он искал. Да и это было бы не нуж-

но: родин раз пьяный приехал он к нему обедать и за столом, еще более напившись, стал ко всем придирааться и кому-то наговорил большие грубости. Надобно полагать, что граф расхвалил его Государю, а после не хотел сознаться в своей ошибке. Да и Тимковскому, зная самого себя, как можно было принять такую должность? Не доказывает ли это, что он совсем не знал трудностей и ответственности с нею сопряженных, не имел понятия о нашем внутреннем управлении, на которое не обращал никакого внимания, и что практического ума в нём вовсе не было. Самодержавие несколько спасает нас от подобных людей; но на Западе, там, где представительные правления, они блестят на кафедре, самые нелепости говорят умно и красно, и мнениям сии пагубные болтуны дают почти всегда ложные направления. И вот клад, с помощью Левшина открытый Воронцовым!

Я взялся говорить правду; без того не стал бы так строго судить своего соперника, тем более, что после сделался он мстителем моим. Я сказал всё, что знал о нём, и не так скоро придется об нём опять говорить.

Мой одесский корреспондент был в заблуждении: дело о назначении нового губернатора не так скоро должно было кончиться. Наместник в Петербурге получил сильную глазную болезнь, от неё лечился и не мог еще выехать; к тому же дожидался и возвращения Государя из Варшавы. Он намерен был Катакази, за чуму особенно, выпросить Владимирскую звезду (Аннинскую ленту он уже имел). Кажется, при этом случае мог бы он и мне за откуп испросить крест того же ордена третьей степени: это было бы ему весьма не трудно; но, видно, он не хотел этого сделать. Для Катакази же всё ему казалось мало, и аренда, и звезда: он непременно хотел, чтобы с чином тайного советника и со всем получаемым им содержанием был он определен сенатором; одним словом, хотел сделать ему золотой мост. Всё это должно было отдалить назначение Тимковского.

Я же между тем, полагая, что в начале мая получен будет указ об увольнении Катакази, а в начале следующего месяца прибудет его преемник, хотел потешить Курика временным управлением, а себя позабавить путеше-

ствием по южной части Бессарабии, мне еще неизвестной. Совету донес я о намерении моем освидетельствовать цынутные казначейства и осмотреть на месте соляные озера и таможенные заставы, а от губернатора без всякого затруднения получил подорожную по казенной надобности.

II

Поездка по Бессарабии. — Иностранные поселения. — Одесса (ноябрь 1825).

В прекрасное майское утро 6-го числа выехал я из Кишинева. Мне столь знакомую Бендерскую дорогу едва я мог узнать: она показалась мне в праздничном наряде. С половины апреля через каждые три дня шли периодические дожди и, не затопляя, а увлажживая горячую почву, производили на ней чудесную растительность.

Далее за Бендерами начинается степь, и она была еще прекраснее. Передо мной расстилался бесконечный, роскошный зеленый ковер, весь усеянный цветами, лиловыми, красными, желтыми, синими. Каждый из сих

полевых цветков отдельно испускает слабый дух; но в совокупности там, где их бездна, миллиарды их наполняют воздух таким легким, приятным ароматом, что перед ним ничто запах наших цветников. Во мне это производило физическое наслаждение, особенно во время утренней прохлады, которое мне трудно объяснить.

На сем пути до Аккермана встречается одно только место, сколько-нибудь примечания достойное. Это бедное и растянутое селение Каушаны. Когда, при турецком правительстве, татары кочуя занимали весь Буджак, то имели своего особого хана, и тут была его столица. Я нашел, что сии народные владыки не были слишком прихотливы на счет великолепного помещения.

Кажется, поблизости, в стороне, находились две французско-швейцарские колонии Шабо и Дракул. Жители последней были молдаване, которые тут имели свои дома, сады и даже православную церковь, на их счет построенную. Инзов так обрадовался швейцарцам, которые не иначе соглашались приехать, как на всё готовое, что выгнал прежних

жителей, отвел им другое место, их недвижимое имущество предоставил пришельцам и даже церковь обратил в протестантскую. Неимоверно, сколько несправедливостей в отдаленных местах начальники иногда позволяют себе!

На другой день по выезде из Кишинева, приехал я в Аккерман, во многих отношениях городок примечательный. Его знали, им владели генуэзцы, под именем Тираса, которое носил тогда Днестр, при устье коего он был построен. Когда турки завоевали его, то называли Аккерманом, Белым Городом на их языке, и замок, построенный генуэзцами, еще более укрепили. Хотя крепость сия ныне упразднена, но не в развалинах и служит главным украшением сему месту. Как многие из рек, впадающих в Черное море, Днестр образует тут лиман или залив, который имеет девять верст ширины между Аккерманом и жалким Овидиополем. От сего последнего до Одессы всего только 36 верст сухим путем, и следственно город, в котором я находился, для одесских жителей мог бы служить приятной прогулкой. Но никто почти из них не по-

сещал его, ибо сообщения были весьма затруднительны. Ныне, говорят, когда исправлена дорога в Овидиополь, по два раза каждый день отправляется из него пароход, и карантинная линия совсем снята; это сделалось почти предместьем Одессы.

По приглашению полицеймейстера, обрусевшего поляка, Антона Кузьмича Беликовича остановился я у него. Он был очень близорук и часто рассеян, что не мешало ему быть искательным и дальновидным на счет выгод по службе. Жена его, Теофила Осиповна, также полька, довольно молодая старалась быть со мною отменно любезна. В обоих было старинное гостеприимство и не для меня одного, а для всех; в малом кругу своем они были чрезвычайно любимы. Я прожил у них более недели и знаю, что им не был в тягость, ибо просил их обо мне много не заботиться, и невероятная дешевизна была тут на съестные припасы. В этом благословенном месте во всём было изобилие. Речной рыбы всегда бездна, а морская наполняет лиман, когда бывает сильный южный ветер. Владельцы земель в окрестностях никогда не знают неуро-

жая; когда бывает дождливое лето, пшеницей, кукурузой и сеном могли бы они, кажется, снабдить всю область; жаркое лето, даже засуха бывают весьма полезны для винограда, которым так славится Аккерман; да и соль в это время гораздо в большем количестве садится на озерах — земледелие, виноделие, соляная промышленность, всё тут есть!

Я вел жизнь растительную, пожалуй хоть назови ее скотскую; старался ни о чём не думать, ничего не делать, только ходил, пил и ел. Не знаю, для головы после тяжких забот не более ли еще нужно отдохновение, как для тела после сильных трудов. В цынутном этом городе и тогда уже считалось до тринадцати тысяч жителей разных происхождений, привлеченных вероятно здоровым климатом и веселыми видами на лиман. От того-то, на несколько верст весь тянулся он неправильным образом по берегу его. Там где кончаются строения, начинаются сады; ими также усеян был этот берег. Турки без больших усилий насадили их и бросили потом, когда русским должны были уступить крепость в 1806 году. Они наполнены были преимущественно пло-

довитыми деревьями, нерегулярно насажденными, что по достижении ими высокого роста сим садам давало вид натуральных рощей. С большим удовольствием гулял я по ним; особенно нравились мне в них большие каменные гроты, самую природою образованные, в которые вода шумно вливалась из лимана.

Сим садам не было счету. Их раздавали всем кто пожелал их иметь. Некоторые (и в том числе вдова полковника Арсеньева, бывшего тут комендантом, которая из них составила себе славную дачу) имели предосторожность заpastись на них законными документами. Другие, и самое большое число, владели ими без всяких письменных актов. Сим воспользовался один чужак, сардинский граф Паравичини. До Тильзитского мира была мода принимать в нашу службу Пиэмонтских офицеров; он попал в число их и был определен не менее как подполковником по армии. Отсутствие крестов и медалей на груди его показывало, что в военное время он употреблен не был. Потом был он полковник; наконец, уволенный с чином действительного

статского советника, искал места Граф сего графа назначил областным лесничим в Бессарабию, создав для него сие место, не совсем соответствующее его высокому чину. Вместо того, чтобы заботиться не столько еще о сохранении лесов, как о разведении их в Буджацкой степи, он предпочел часть садовую и с дозволения наместника поселился в Аккермане. Тут начал он отбирать все сады, на владение коими не было ясных доказательств; давность тут ничего не помогала, всё обращено в казенное имущество. Изо всего составил он нечто целое, обвел его глубоким рвом и поставил высокие ворота с надписью Jardin Impérial.

Не надобно забывать, что по должности своей был он членом казенной экспедиции, являлся в нее иногда, но будучи старее чином, ни за что не хотел признавать над собою начальником покойного Петрулина, который за множеством хлопот не обращал на то внимания. С согласия главного начальника входил Паравичини в прямые с ним сношения, ему доносил обо всём, а о распоряжениях своих казенной экспедиции простыми отзывами

давал знать за известие. Столь же мало, как Петрулин, и я гонялся за честью быть его начальником; но, рано или поздно, дело сие должно было объясниться: порядок службы того требовал. Одним словом, он был и не был у меня под начальством; такие неправильности, чтобы не назвать их беззакониями, часто позволял себе граф Воронцов. Узнав о моем приезде, Паравичини предоставил какому-то чиновнику потчевать меня своим садом, а сам куда-то отлучился. Он был мужичишко невзрачный, мал, толстоват и глуповат; нельзя было решительно сказать, в какой нации он принадлежал: по-французски и по-итальянски говорил он с немецким выговором, а по-русски только что выучился подписывать свое имя. Нет числа бесполезным иностранцам, которые приезжают к нам покормиться и поумничать; когда же догадаются, увидят, что они даром хлеб едят и от них отделаются, то они сделаются врагами России и начнут ругать ее. Тоже самое после меня случилось и с Паравичини.

Немного часов мне нужно было, чтобы с одного места отдохновения перевалиться на

другое, из Аккермана переехать в Тузлы на соляные озера. Управляющего на них не было, а вместо его принимал и угощал меня помощник его, некто г. Фохтс (имени и отчества его не помню), немец добродушный и весьма еще не старый, служивший в русской службе офицером. С ним была добытая во Франции жена его, Каролина Ивановна, живая, ласковая, как почти все француженки: мне очень весело было с нею болтать. Ей вздумалось выучиться нашему языку, и она вообразила себе, что успела в том, говоря по-французски многие предметы называла по-русски, как, например, л'озеро, ле лошат, ле камиш, коим по безлесию топили они. Они жили довольно просторно в казенной слободке, построенной для управления у Алибейского озера. Я рассматривал у Фохтса книги и счета и всё нашел в совершенной исправности. Бог его знает, как через несколько лет потом попал он под суд.

Дни два при благоприятной погоде прожил я тут без скуки; зимой это было бы невозможно: вид на озеро слишком однообразен и утомителен. Во время жаров, говорят, как

льдом покрывается оно соляной корой; тут видел я соль только по берегу в бутах; они имели вид огромных кусков самого чистого, белого алебастра с лиловыми и пунцовыми отливами и издавали фиалковый запах.

Тут встретился мне и полюбился цынунный комиссар Михаил Григорьевич Бутков, родом из Харькова. Он был не совсем молод и довольно богат: один таганрогской купец, умирая, отказал ему до двухсот тысяч рублей капиталу. Я изъявил ему удивление мое, как с таким состоянием мог он принять столь мелкую должность; он отвечал, что охота к службе его к тому понудила. Разговаривая с ним, нашел я, что он весьма в состоянии занять другую повыше и предложил ему место областного казначея. Его занимал тогда один молдаван Кацика, человек честный, исправный, рачительный и не бедный; но здоровье его до того было расстроено, что он службу продолжать не мог, и я с трудом мог упротить его остаться, пока приищу ему преемника. Дело у нас с Бутковым скоро полагено, и в эту поездку, по крайней мере, сделал я полезное приобретение.

По дороге к Измаилу, мог бы я не заезжать в Килию; но в истории наших войн с турками так часто было упоминаемо об ней, что возбуждало во мне некоторое любопытство ее видеть. К тому же, желая продлить отсутствие свое из Кишинева, я не скупился на время и много тратил его по пустому. Крепость эта была спрятана между двух Дунайских озер-заливов; чтобы попасть в нее, надобно было, своротив с большой дороги, сделать пятьдесят верст, сто лишних взад и вперед. С самого присоединения сего края к России, ни один наместник, ни один губернатор не посещали её; появление всякого путешественника почиталось в ней происшествием, кольми паче приезд по крайней мере вице-губернатора.

Кто-то обо мне предуведомил там. Меня встретил полицейский офицер верхом; по единственной улице форштата, ведущей к крепости, имел я торжественный въезд; все жители высыпали из домов и бежали за мной. Меня привезли к коменданту, подполковнику Чичагову. Запыхавшись встретил он меня, с испугом увидел я его: никогда еще столь чудовищной толщины я не видал. Веро-

ятно при самом рождении получил он необычайное расположение в ней, а неподвижная жизнь дала ей ужасное развитие. Я испросил дозволение сесть, чтобы скорее усадить его. Разговор у нас был самый пустой, а не менее того, видимо, его тяготил; натянутый на него мундир и эполеты еще более, и мне показалось даже, что он тоскует в разлуке с халатом. Он предложил мне посмотреть на крепость, но извиняясь слабостью ног, поручил офицеру проводить меня. Я взошел только на вал; мне хотелось взглянуть на невиданный еще мною Дунай, которого рукав тут протекает и называется даже Килийским гирлом. По возвращении нашел я накрытый стол и приготовленный завтрак; среди нескольких сытных блюд возвышалась огромная, жирная кулебяка, верное изображение самого хозяина. Тут явилась на помощь к отцу молодая дочь его, довольно красивая лицом, но телом слишком рано начинающая уже походить на родителя. Я спросил у неё, иногда прогуливается ли она? Никогда, был ответ. — Это было бы весьма полезно для здоровья, заметил я. — «Да у меня ничего не болит, отвечала она, раз-

ве только иногда зубы». Двухчасовое пребывание в Килии мне показалось слишком продолжительным. Это не жизнь, а сон. Как! В пятидесяти верстах от сих людей идет большая дорога, и у них под глазами плывут корабли, и всё это проходит и проезжает мимо их, не обращая на них никакого внимания! Право это унизительно. С тою же процессией, с какою приехал, выехал я из Килии; также бежали за мной жители, которые, как мне сказывали, состоя по большей части из русских, живут одним рыбным промыслом.

По выезде из сего места должен я был ночевать я на одной станции и на другой день приехал в Измаил. Эта крепость была поважнее, поизвестнее и пообширнее Килийской. За то комендант её обширностью не смел равняться с Килийским. Это был старый, длинный, худой, бледный генерал-лейтенант Федор Иванович Сандерс, прозванный статуей командора, двоюродный брат мой, которого, равно как и супругу его, Марину Игнатьевну, изобразил я в самом начале сих Записок. Прибавлять к сему описанию мне почти ничего. Ума у братца моего было немного, за то вели-

кий вкус ко всему изящному. Если заметишь бывало, что он улыбается при виде какой-нибудь женщины, не взглянув на нее можно назвать ее красавицей. В комендантской квартире его всё было изысканно, опрятно и по возможности щеголевато прибрано. Страсть к цветам была также одним из примечательных его достоинств; перед его домом разведен был пребольшой цветник, по дорожкам коего трудно было проходить от множества благоуханных цветов.

О приезде моем супруги предуведомлены были письмом от цenia и встретили меня с непритворным удовольствием. Самолюбию моему, а не сердцу приятно было заметить, что они как будто гордились моим родством и оказывали мне более знаков уважения, чем простой родственной любви. Марина Игнатьевна была женщина хитрая и мастерица льстить, а кому это бывает неприятно? Большую откровенность нашел я в Ольге Федоровне; но кто она была такова, вот вопрос. Все были уверены, что она побочная дочь, но чья? Мужа или жены? Супруги выдавали ее за племянницу, за питомицу, а она называла

их папенькой и маменькой. Возросшая под шатрами, воспитанная посреди походов, она манерами скорее походила на молодого флейтчика, чем на девицу, со всеми офицерами обходилась свободно и всех называла ты. Ей было лет около тридцати, но с её живостью и малым ростом ей казалось менее. Для меня была она очень забавна и сопровождала меня в ежедневных прогулках на двенадцативесельном катере по Дунаю: единственная такого рода забава, которую имел я в городе, где не было не булеvara, ни садов.

В этом месте Дунай кажется шире, чем где-либо; при близорукости моей, с трудом мог я разглядывать противоположный берег, хотя иные уверяли, что видят турецкую крепостцу Исакчу. Глубина его соответствовала тому и была достаточна для прохода больших кораблей. Тут находилась Дунайская флотилия под начальством контр-адмирала Михайлова, который умер незадолго до моего приезда. И офицеры этой флотилии, желая быть любезными с Ольгой Федоровной и со мной, катали нас по реке.

Столь великой крепости, как Измаильская,

я никогда еще не видал. И форштат был довольно велик, довольно населен и порядочно обстроен. Через четыре года после того, когда число его жителей утроилось задунайскими переселенцами, некрасовцами, пилипонами (отчего молдаване всех русских мужиков называют липованами), тогда сделался он городом Тучковым, и учредилось в нём градоначальство. Что делает привычка и как у людей скоро забывается горе! О прекратившейся за два месяца перед тем чуме и помину не было, а об ужасном Измаильском штурме упоминал иногда бывший на нём комендант. И тут прожил я более недели, начинал уже скучать праздностью и совершенным отсутствием занимательных разговоров и решился пуститься в обратный путь.

Неподалеку от Измаила находится местечко Тобак, отданное болгарам под население. Но немного подалее избрали они другое место, для них удобнее, основали в нём главную колонию свою и назвали ее Болградом. Через первое проехал я днем, в последнем ночевал я. Тут начальствовал со стороны правительства бывший адъютант Инзова, любимец его,

подполковник Малевинский; но как все Инзовские чуждались меня, то и его не имел я чести видеть. Другой чиновник сего ведомства Портицкий пригласил меня к себе и доставил покойный ночлег. На месте совершенно голым, за несколько лет до того, уже построено было множество домов, каменные лавки, составляющие небольшой гостиный двор, и приготовлены материалы для сооружения огромного соборного храма, который мог бы служить украшением всякому губернскому городу. И всё это на счет самих жителей.

Что это за славный народ Болгары! Право, я готов назвать его цветом славянских народов. Какая деятельность в них, какое трудолюбие, какой огонь горит в их глазах! Какая веселость, смелость и добродушие написаны на смуглых лицах их! В униженной доле, в которой находятся совершенно, предались они земледелию и без помощи агрономических сочинений дошли в нём до совершенства. Сверх того, как ростовцы в Москве, так и они в Цареграде славятся лучшими огородниками и первые артишокам умели дать величину

капусты. Однако, если бы случай представился, подобно Цинцинату, от сохи быстро перешли бы они в мечу для защиты родины и собственности. Вот чем отличаются они от других южных славян, склонных к хищничеству, хотя бы например от Сербов. Я любовался ими еще в Кишиневе: их там довольно, и квартал, ими занимаемый, называется даже Болгарией.

Они претерпевали от турок гонения за преданность к России, и многие из них еще до Бухарестского мира бежали в Бессарабию. Тут преимущественно размещались они в селениях, примыкающих к степи и за убежище, данное им жителями, разделяли их полевые работы. Когда же после 1812 года другие болгары, по приглашению правительства, начали переселяться в Буджацкую степь, оставленную кочевыми татарами, то и они стали переходить к единоземцам своим. Никто не мог и не хотел их удерживать. Один только сумасбродный камергер Бальш вздумал обратить их в царан своих (людей впрочем тоже свободных) и находя, что с удалением их уменьшатся его доходы, ни одного не велел

выпускать. Они решились на побег; а он, узнав о том, послал за ними в погоню верховых и вооруженных арнаутов своих, с приказанием привести их к нему *живыми* или *мертвыми*. Догнали немногих отсталых, которые стали защищаться, и арнауты, в точности исполняя волю своего господина, их головы привезли ему в тороках. Все ужаснулись, начался уголовный суд. Бальш отказался от слов своих, а арнаутов наказали кнутом и сослали в Сибирь. И после того он же завел тяжбу с казною за лишение его якобы хороших работников и прибыли от них ожидаемой! У этих людей не было сделано никаких условий ни с ним, ни прежним владельцем селения, их приютившим, кажется, с заграничным бояром Радуканом, у которого с ним шел также процесс об этом же имени: ибо, купив у него за низкую цену, не уплачивал ему ни копейки. И этот дерзкий и бесстыдный человек поселился в Петербурге, где требовал с казны сотни тысяч и до того имел в нём успехи по делам своим, что по просьбам его рассматривались они в особой комиссии, для того учрежденной и вытребовывались из Бессарабско-

го совета: одним словом, в угождение ему со-
творили лишнюю инстанцию. Главным его
поборником и защитником был *..., которому
в займы давал он большие деньги и потом
проигрывал ему их на билиарде. Чем и когда
кончилось дело его о претензиях на казну за
Болгар, я не ведаю; кажется, ему бы и начи-
наться не следовало.

Из Болграда учреждена ныне прямая, уко-
роченная дорога в Кишинев, через бывшую
степь и разные колонии; тогда еще не было
на ней ни почтовых лошадей, ни станций.
Жаль мне, что не удалось взглянуть на жите-
из центра Европы, из просвещенной Герма-
нии переселившихся сюда баварцев и вир-
тембергцев и сравнить его с бытом варва-
ров-болгаров; все мне сказывали, что сие
сравнение было бы утешительно для славян-
ского сердца: ибо даже в опрятности и в на-
ружном порядке последние превзошли нем-
цев. Теперь путешественник может, проехав
Малый Ярославец и Тарутино, побывать тут в
Кульме и Лейпциге, посетить Бриенн, Арсис,
Фер-Шампенуаз и, наконец, самый Париж: си-
ми именами, напоминающими славу нашего

оружия в последнюю войну с Наполеоном, названы по окончании сей войны возникшие тут колонии. Земли было еще вдоволь! Наконец, вздумали мы селить тут русских. Началась о том переписка, и к концу следующего года должны мы были ожидать прибытия двадцати тысяч семейств казенных безземельных крестьян из Калужской и Курской губерний. Заботы об их принятии и устройстве возложены были на казенную экспедицию, и для этого дела Петрулин оставил мне драгоценного человека, советника Романа Степановича Жилло. Он в это время разъезжал по полям, выбирал места и всё приготавливал для принятия дорогих гостей. В этом приятном для меня, хотя довольно трудном, деле участвовал я только первоначально, но не удалось видеть приезда сих земляков и водворения их.

И так я должен был, следуя почтовому тракту, поворотить на лево и приблизиться к Пруту. Сия река похожа на иных недостаточных людей, которые гоняются за богачами. И она, подражая Дунаю, в который впадает, изливает воды свои в сторону и образует залив,

но это только на малое время и в малом виде. Сие случается тогда только, когда она надувается снегами, растаявшими на вершине Карпатских гор, из коих она вытекает. Обыкновенно бывает сие в конце апреля, но в этом году от запоздалой зимы всё запоздало. От того на сем пути должен был я встретить много препятствий, а в иных местах и опасности. Даже самый воздух немного охолодел по берегу разлившегося Прута.

Два места, несколько замечательнее других, видел я на сем берегу: Формозу и Леово. Названия сих мест гораздо приятнее для слуха, чем вид их для глаз. В Леове были карантинная и таможенные заставы, и я недолго должен был в нём остановиться. После того несколько времени был он и цынутным городом.

Сделался вдруг несносный жар, когда от Прута поворотил я к областному городу, так что если не ночевать, то по крайней мере несколько часов отдохнуть принужден я был в местечке Гура-Гальбине. Сие богатое имение принадлежало бешеному Бальшу, и отсюда-то направлял он неистовые набеги на Бол-

гар. Гористое положение Гура Сарацики[64], последней станции, где переменял я лошадей, меня поразило вероятно от того, что несколько времени провел я в степи. Наконец, после более чем трехнедельного отсутствия, 30 мая воротился я в Кишинёв.

Ни о Тимковском, ни о других каких переменах ни малейшего слуха не было, и мой Катакази спокойно царствовал. Меня удивила холодность его приема; я никак не мог постигнуть причины такой внезапной перемены. «Чем тебя я огорчила, ты скажи, любезный мой», старинная песня, которую готов я был запеть ему. Сердиться на него я никак не мог: он был мне смешон и жалок, почти накануне того дня, когда, ничего не ведая, без всякой вины должен был он лишиться места. Дело потом скоро объяснилось.

Находясь в Новоселицах, на австрийской границе, узнал я там управляющего таможеней, коллежского советника Редькина и упомянул об нём в сих Записках, но ничего не сказал о почтенной и приятной молодой еще жене его и о милых его детях. Семейство сие гораздо более мне полюбилось, чем глава его.

Не совсем по доброй воле оставил он потом должность свою и поселился в Кишиневе. Он был довольно богат и тароват, любил у гащивать у себя и мне много помогал составлять и поддерживать наше русское общество. Как же после того отказать мне ему было в месте советника казенной экспедиции, о котором он просил? Не знаю, ошибаюсь ли я, но всегда полагал, что человек, обогатившийся на службе, менее склонен к воровству, чем тот, кому предлежит еще наживаться. К тому же под моим надзором и надзором других честных и смышленных советников большой поживы ему быть не могло, что, может быть, не совсем ему было приятно.

В апреле, после Святой, стал он проситься в отпуск по делам своим в Хотинской цынут; я согласился с тем условием, чтобы он непременно воротился к 1 мая. По прежним моим понятиям мне казалось как-то неловко, хотя на время, оставить вице-губернаторское место титулярному советнику, а выше сего чина, кроме его, не имел ни один из советников. Он немного просрочил, я подсадовал, и когда он пожелал узнать причину нетерпения мое-

го, я не затруднился открыть ему оную, не как человеку, мне преданному, но через меня получившему место и от меня зависящему; однако же потребовал от него тайны и не назвал Тимковского. Во время моего отсутствия по делам сблизился он с губернатором: видя, что он получил аренду, узнав от него, что ему еще обещаны звезда и чин, заключил из того, что он пользуется великим кредитом у графа. Место вице-губернаторское ему полюбилось, он надеялся извлечь из него большие для себя выгоды и называл меня (как узнал я после) собакой, лежащей на сене безо всякой пользы для себя и для других. Он составил себе план: ему хотелось поссорить меня с Катакязи, а потом с его помощью и покровительством ссадить меня и засесть на моем месте. Как интриганы иногда бывают глупы и недалечно-видны! О губернаторстве он ему что-то соврал, и хотя Катакази не совсем поверил ему, однако же нашел, что кроме меня некому искать его места. Тогда зачем бы мне было почти на месяц удаляться в пустыню? Но поди же, у таких людей спрашивай толку!

Говора о сем советнике казенной экспеди-

ции, не забыть бы мне сказать что-нибудь о её новом составе. Покойным Петрулиным представлен был увеличенный её штат, а при мне был утвержден. Из трех советников, которых оставил он мне, один, Кармазин, по старости лет, вышел в отставку с пенсией; на другом — Билиме, возлежали все трудности делопроизводства; третий — Жилло, исключительно занимался частью по переселению из России крестьян. Старшим советником при мне почитался лесничий Паравичини, прозванный мною лешим; но он никогда не присутствовал. Потом был Редькин, потом областной казначей Вутков, с которым познакомился я в Аккермане и который вскоре после того определен в должность. Наконец, самим графом был избран в Одессе и назначен областным контролером Александр Федорович Фурман, родной брат Романа Федоровича, бывшего после вроде министра Финансов Царства Польского. Сей контролер женат был в Одессе на одной девице Колонтаевой, отменно милостивой и привлекательной, даром что кривая. Из русских домов в Кишиневе их дом почитался самым веселым и прият-

НЫМ.

Не довольствуясь тем, что косится на меня, Катакази сталь уже придирааться ко мне. Письменно объявил он, что выдачу мне денег на путевые издержки почитает незаконною, тем более, что не спросись его сделал я поездку. Я не отвечал ему, а представил Совету, во-первых, что в русских губерниях вице-губернаторы совершенно независимы от губернаторов, да и в Бессарабском образовании о какой-либо подчиненности их ни слова не упомянуто; во-вторых, что объяснил г. Катакази причину моих разъездов, вследствие чего он сам велел мне выдать казенную беспошлинную подорожную. Безо всяких затруднений Совет утвердил и разрешил сию выдачу.

Другим образом нашел он средство нака-зывать меня безвинного. И ему самому захотелось отдохнуть и подышать свободою. Под предлогом обозрения области, отправился он в местечко Вадулуй-Воды, верстах в сорока от Кишинева. Там открылся или, лучше сказать, вымышлен минеральный ключ, и были люди, которые ездили туда лечиться безо всякой пользы. Но местоположение было красивое,

настроились домики, и многие посещали Вадулуй-Воды для приятного проведения времени. Таким образом злодей засадил меня и почти весь июнь продержал на губернаторстве.

Но это вторичное управление мое не было столь отяготительно для меня. Я уже не рвался исправлять опущения по областному правительству; в первый раз имел я право думать, что работаю на себя, а тут смотрел я почти равнодушно на медленное течение дел. Одно происшествие, и то на одни только сутки, в это время нарушило мое спокойствие. Линейные войска выступили в лагерь, и острог поручен был слабому хранению внутренней стражи. Пользуясь этим, содержащиеся в нём арестанты задумали бежать из него, выломали даже ворота; но один неустрашимый барабанщик, несмотря на усилия их душить его, не переставал бить тревогу; караул сбежался, но человек десять успели уже выскочить и убежать в близлежащее поле. Казаки погнались за ними, всех переловили, но человек трех переранили. Всё это, разумеется, в городе наделало большую тревогу.

По возвращении Катакази, получил он, наконец, давно ожидаемую Владимирскую звезду, но уже в половине июля. Он чрезвычайно возгордился, особенно со мной. Мне это ужасно наскучило, и я искал случая всепокорнейше с ним объясниться. Тут только мог я догадаться об измене Редькина, и оправдать себя мне не трудно было, но захотелось наказать Катакази, сбавить с него спеси, и я высказал всю ему правду о Тимковском. Он остолбенел от удивления, но вскоре начал улыбаться, как бы принимая сие за выдумку мою. Не вижу, почему графу хотелось из этого делать государственную тайну; но дотоле я хранил ее. К счастью, дня через два или три губернатор получил, кажется, от наместника письмо, коего содержания я не знаю, но, вероятно приготавливающее его к перенесению удара: ибо вдруг упал он духом и смотрел на меня с нежною грустью.

Между тем вот что происходило в Петербурге. Граф продолжал страдать глазами, продолжал лечиться, что и удержало его до самого возвращения Государя из Варшавы. Он имел у него еще доклад, в коем испросил на-

граду Катакази и вместе с тем представил о необходимости удалить его, не потому, чтобы он был неспособен, а потому, что грек, зять Ипсиланти и возбуждает подозрение турецкого правительства, с которым, несмотря ни на что, усиливались мы ладить. Не дождавшись окончания дела о его сенаторстве, граф оставил Петербург и, прожив недели две в Белой Церкви, к концу июля воротился в Одессу.

Мне необходимо было иметь с ним окончательное объяснение, и для того, испросив у него отпуск на неделю, 5 августа отправился я на последнее, как я думал, с ним свидание.

Для меня наступило время беспрестанных неожиданностей, которые должны были окончиться самою прискорбнейшею.

Первое, о чём узнал я по приезде в Одессу, было намерение графа отправиться осенью на целый год в Лондон к отцу, на что и Государь изъявил уже свое согласие. Вместо его управлять Новороссийскими губерниями должен был друг его, начальник Черноморского флота, вице-адмирал Грейг.

Через несколько дней, накануне выезда

моего, получено из Петербурга известие, что по совершенно расстроенному здоровью императрицы Елисаветы Алексеевны должна она провести зиму в полуденном краю России, что местопребыванием её избрав Таганрог, и что сам Государь будет сопровождать ее. Сие известие заставило графа внезапно переменить свой план и поездку в Англию отложить до весны.

Я показал некоторую твердость в разговоре с своим начальником, которого, казалось, он избегал и до которого с трудом я мог добиться, хотя всякой день ездил к нему обедать на хутор Рено. Я решительно просил его избавить меня от сослужения с Тимковским, прибавляя, что причин столь сильного желания я объявить еще не могу, но что опыт скоро покажет всю справедливость его; наконец, что не только с Катакази, со всяким другим вновь определенным губернатором на некоторое время готов бы я был остаться. Подумав немного, сказал он мне: «Кажется, есть средство исполнить ваше желание. Как ни упрямился министр Финансов Канкрин, но я поставил на своем, и он согласился Таврическо-

го вице-губернатора Куруту перевести в другую губернию; коль скоро сие последует, то вы можете на сие место поступить». Я поклонился и поблагодарил. Помолчав с минуту, опять сказал он: «Только я вас предупреждаю, там губернатор родственник мой Нарышкин, человек еще молодой и деятельный, и его не скоро можно выжить». На это я отвечал: «Я попросил бы ваше сиятельство сказать мне, против кого действовал я тайным образом, чьего места искал я. Смерть любимого и уважаемого мною Петрулина открыла мне его место, которое, как вы знаете, я неохотно принял. Что же касается до Катакази, то с самого приезда нашего сюда мне известно было ваше намерение не оставлять его на губернаторстве. И не я с ним, а он со мной искал иногда ссоры». Не понимаю откуда взялась в голове его мысль о мнимом моем властолюбии; он полагал, что в губернии не иначе как первым местом могу я удовольствоваться. В Бесарабии, так: с самого приезда моего туда, прежде чем назначен вице-губернатором, был уже я полугубернатором, многое при мне начато; хотелось бы видеть оконченным и,

управляя областью, сие легче бы для меня было.

Итак дело решено: я должен поселиться в Крыму и занять там место привольное, довольно спокойное. Чего же мне лучше? Но дело о том могло несколько времени продлиться, а мне хотелось, если возможно, и не встретиться с Тимковским; для того стал я проситься в отпуск на четыре месяца и намерен был съездить домой в Пензу и повидаться с матерью. Граф сказал мне, что без Комитета Министров сего сделать нельзя, и я подал ему формальную о том просьбу.

Моего возвращения с нетерпением дожидался Катакази, чтобы сдать мне должность. Ему также хотелось съездить на поклонение в Одессу. Не знаю, какие были у них там переговоры; но через неделю воротился он, казалось мне, пободрее.

Вот прошел и август, наступил сентябрь. Мы знали, что наместник поскакал в Таганрог, дабы всё приготовить для принятия Царя и Царицы; из газет, приходивших к нам из Петербурга по экстра-почте в восемь дней, узнали мы, что и Государь 1 сентября пред-

принял свой предпоследний путь; а об деле Тимковско-Катаказиевском еще никакого известия не было. Да уж не раздумал ли он? пришло мне на мысль. Ни мало. Государь передал сие дело Комитету Министров, где Аракчеев нашел беспримерным чтобы одному человеку в четыре месяца дано было четыре награды: аренда, орден, чин и важное место. О сем сообщено было графу, который отвечал: *ну хоть просто отставить*. При свидании с Катакази вероятно уверил он его, что сенаторство от него не уйдет. Он и поныне еще дожидается! И вот причина всех промедлений.

Когда в последний раз праздновали мы день коронации императора Александра, 15 сентября, и среди поля называемого площадью горело несколько площадок, играла полковая музыка и гуляющие толпились вокруг, захотелось и мне на это взглянуть. Ночь была бесподобная, теплая, тихая, небо было усеяно звездами, а я чувствовал непонятную для меня тоску и с особою нежностью думал о виновнике торжества в этот день. Вдруг мне встретился один человек, который с ковар-

ною улыбкою возвестил мне, что в газетах сейчас полученных напечатан указ от 26 августа об увольнении Катакази и о назначении на его место Тимковского. И этот человек был Редькин. «Для вас это не должно быть новостью, — сказал я ему: — еще в мае знали вы, что Катакази не останется, да и он от кого-то узнал о том». И потом поворотился к нему спиной.

Другим указом от того же числа за Высочайшим подписанием наместник граф Воронцов уволен в отпуск на год за границу, а должность его поручена Грейгу.

И до получения указа из Сената мог бы Катакази, если б захотел, сдать мне должность; но он был так добр, что сего не сделал. В это время между тем произошла большая путаница: вследствие Высочайшего указа выше помянутого все бумаги из министерств и Сената посылаемы были в Николаев к Грейгу, а от него отправляемы были в Таганрог к графу, который, пересмотрев их, пересылал для исполнения в Одессу, где оставался Казначеев. Между Таганрогом и Одессой расстояние было более шестисот верст, следственно сколько

времени потребно было на все эти рассылки, так что указ об увольнении губернатора от службы получен был только в первых числах октября.

К удивлению и к удовольствию моему он и тут не хотел оставить должности, хотя требовали того не только узаконения, но и приличие и здравый смысл. В случае взыскания, не я бы отвечал за то. Но вскоре сие должно было меня крайне оскорбить: Катакази всем объявлял, что при последнем с ним свидании граф убедительно просил его не покидать должности до прибытия Тимковского, давая тем чувствовать, что сие сделано было вследствие недоверчивости ко мне.

Весь этот мрачный октябрь прошел для меня самым неприятным образом. Разогорченный своею отставкою и возгордившийся будущим сенаторством своим, Катакази как белены объелся: никак не можно было с ним сладить. Я тоже почти беспрестанно был в раздражительном состоянии, и от того в Совете наши встречи не совсем были миролюбивы. От него слышал я пререкания и с своей стороны, виноват, позволял себе иногда кол-

кости. Два человека, из коих один оставил службу, а другой готов был оставить место, могли бы, кажется, на малое время пробыть без ссоры.

В этом октябре случилось у нас одно ужасное происшествие. Рекомендованный мною, областной архитектор Г., которого, если припомнят, встретил я в Хотине в доме Лидерсов, оказался на опыте весьма плохим художником; я желал заменить его другим и даже просил о том графа, при отъезде его в Петербург. Вдруг от слуг его подан тайный донос *исправляющему* должность губернатора Катакази о том, что Г., вдовый, имеет связи с семнадцатилетнею, соблазненною им дочерью своею, что один уже младенец, ею рожденный и лишенный жизни, похоронен в Хотине и что такая же участь ожидает другого готового явиться в свет. По сделанным в тайне распоряжениям полиция вступила в его квартиру в самую решительную минуту, доказательства его злодеяния были явны; но несчастная девица от испуга в один миг умерла. Почитая виновного моим избранным, любимым, Катакази сему делу старался дать всевозможную

гласность, с намерением очернить меня и в глазах начальства. В день похорон, когда преступный отец вышел, чтобы идти за гробом своей жертвы, собравшиеся перед домом, а может быть и собранные кучи народа стали бросать в него камнями, и он должен был скрыться. Первый раз в Кишиневе страдал я сильною лихорадкою, когда сие случилось, и хотя этого человека давно уже и не видел я, не менее того был чрезвычайно тем встревожен. Следствие, суд, наказание, ссылка, всё это происходило после меня.

Молдаване не менялись со мною: давно уже жил я с ним в мире. Со стариками был я почтителен, ласков и вежлив со всеми другими и старался во всех случаях показывать совершенное беспристрастие. Толкуя между собою, они не могли понять, в опале ли я у начальника или по прежнему пользуюсь его благорасположением. Они видели, как щедро Катакази награжден и вместе с тем удален от службы. Действительно, трудно было разоб-
раться, где гнев его сиятельства и где милость.

Дела вообще по управлению Новороссийским краем посреди бывшей тогда суматохи

шли не совсем исправно: всё делалось на бегу, на лету. В Таганроге граф подал Государю несчастную мысль прогуляться по Крыму и сопровождал его в сем путешествии. Лучи осеннего солнца, потеряв свою поразительную силу, гораздо лучше» если можно сказать, искуснее освещают прекрасную картину южного берега; природа там после летнего зноя, как бы отдыхая, улыбается всем. Это пленило Государя; прояснилось задумчивое чело его. Он избрал над морем большой участок земли, велел купить его и в тоже время случившемуся тут архитектору англичанину Эльсону велел наскоро начертить план не весьма обширного царского на этом месте жилища. Рассматривая план и довольный исполнением, при многих, говорят, вымолвил он: «ну вот тут-то домком заживем мы с Елисаветой Алексеевной». Неужели возымел он намерение тут поселиться? Выезжая из Крымского полуострова, граф расстался с Государем и в конце октября воротился в Одессу, где очень пристально принялся за дела.

Письменные жалобы бывшего губернатора на какие-то мнимые дерзости мои возбуди-

ли его внимание, удивили его. Как, он еще тут! В тоже время Казначеев показал ему письмо мое, в коем, убедительно упрашивая о скорейшем доставлении мне отпуска, изображаю я всю неприятность ложного положения, в которое поставлен я управлением неслужащего человека. Тот же час граф написал к Катакази частное письмо, о содержании коего сообщил мне Казначеев. В нём было написано, что вероятно г. Катакази нехорошо понял то, что ему сказано было, что на словах не поручается губернаторская должность и что на сей предмет существует законный порядок. Надобно же было дождаться этому человеку, чтобы ему сказали: пошел вон!

И так 2-го ноября, в третий или в четвертый раз на одном году, вступил я в исправление губернаторской должности. Это было и в последний, но столько же мучительных забот ожидало меня как и в первый. По крайней мере своенравная природа в этом ноябре ясной погодой захотела вознаградить нас за угрюмость, постоянно оказанную ею Бессарабским жителям в предыдущем месяце. Никаких неприятных происшествий сначала,

слава Богу, тоже не было, и я сколько-нибудь ожил духом.

III

Характеристика Александра Павловича. — Междоусобие. — Приемы Воронцовского управления.

Находя, что наем дома Крупенского лишняя трата для казны, наместник не велел возобновлять контракта. Нет худа без добра: я лишился квартиры, за то разъехался с Авдотьей Ивановной и её почтенным супругом. Еще летом поблизости на всполье, нанял я, вместо дачки, небольшой, чистенький дом с садиком, что представляло мне большие удобства для моих полевых прогулок. Осенью и к зиме стал он мне казаться тесен и был холодноват, но как я почитал себя на отлете, то и продолжал в нём жить.

Памятен для меня в нём день субботний, 28 ноября. Я проснулся и встал до восхождения солнца; когда оно поднялось, сделалось довольно тепло, чтобы я дерзнул в одном халате выйти в палисадник перед моими окна-

ми. Цвели еще два-три левкоя, и я срезал их, дабы когда-нибудь на Севере, как диво, показать сии декабрьские цветы. Потом принесли бумаги, принесли почту, и я принялся за работу. Дела много было в это утро, и едва в час пополудни мог я окончить свой труд.

В последнем мною распечатанном пакете находилось письмо Казначеева, от которого пришел я в восхищение. Он обстоятельно уведомлял меня об особенно милостивом, почти дружественном обхождении Царя с нашим начальником и о возросшем вдруг кредите последнего. Каких счастливых от того последствий, писал он, не можем ожидать для себя мы, его приближенные! Он прибавил, что хотя Государь не совсем дал слово, но вероятно, если здоровье Императрицы позволит ему отлучиться, то к Рождеству приедет он в Одессу и побывает в Бессарабии. «Смотрите, говорил он, не ударьте лицом в грязь; особенно советую вам содержать дороги в лучшей исправности». Письмо это было от 18 ноября и следственно, верно, залежалось где-нибудь, в канцелярии или на почте.

Голова моя загорелась, я не мог усидеть

спокойно и быстрыми шагами бросился разгуливать по полю. Не было ни холодно, ни жарко; после продолжительных осенних дождей, земля, около месяца согреваемая солнцем, произвела новую, густую, довольно высокую траву, весь луг зеленелся; не было ни ветра, ни облака на небе. Без всякой цели, очарованный три часа не бродил я, а бегал по полю. Я совсем и забыл, что действия графа не раз уже показывали необъясненную на меня досаду его; забыл, что Тимковский со дня на день может приехать: я бредил только счастьем увидеть вблизи Александра, может быть говорить с ним. К четырем часам воротился я обедать; утомленный и утренними занятиями, и сильными после того ощущениями, скоро я заснул и проснулся когда уже смерклось.

Вечером я не велел без нужды никого к себе пускать, развалился на диване и предался приятнейшим мечтаниям. Вдруг послышался мне в передней небольшой шум, и мне пришли сказать, что приехавший из Одессы Липранди непременно желает меня видеть. О, этого подавай сюда, и ну его расспрашивать!

Он неохотно отвечал; лице его, всегда довольно мрачное, показалось мне еще мрачнее. После минутного молчания, вот короткие слова, которыми обменялись мы: Я привез вам худые вести. — Что такое? — Государь опасно болен. — Быть не может! И вот потом некоторые подробности, которые услышал я от него. Болезнь, которую почувствовал Государь дорогою из Крыма, старались в Таганроге скрывать от всех. Даже градоначальник Таганрогский, генерал-майор Александр Иванович Дунаев, человек преданный графу и им посаженный на сем месте, об ней ничего не смел писать к нему; наконец, когда опасность сделалась почти гласною, решился он с нарочным уведомить его о том. Только 20 числа получено сие уведомление, и в тот же вечер, неизвестно как, слух разнесся о том по городу. Свита наместника, 21 рано поутру, с любопытством и страхом собралась перед его кабинетом; но он не показался ей, а явился Казначеев с объявлением, что он вышел другими дверьми и уехал в Таганрог. Садясь в коляску и прощаясь с провожавшим его генералом Сабанеевым, оба заливались слезами, по словам

одного свидетеля. После того Липранди и с ним Алексеев шесть дней оставались в Одессе в ожидании вестей, но неизвестность и печальное молчание продолжались там.

И так северное сияние наше, которое разливало свет свой на полмира, тихо угасало, исчезало на берегу Азовского моря, и мы ничего не подозревали, ничего о том не ведали. Мне всё еще не верилось: не с большим за месяц перед тем и во мне вспылала лихорадка, подобная злой горячке, и я в четыре дни выздоровел. Сия мысль утешала меня, питала во мне надежду; несчастье, казалось, мне слишком велико, чтобы я почитал его возможным. Укрепя себя упованием, мог я спокойно заснуть.

В одну ночь всё переменялось: 29-го небо покрылось мраком, воздух чрезвычайно охолодел и наполнился мелким дождем. Между посетителями явился ко мне и полицмейстер Радич с утренним рапортом и печальным видом. Когда все вышли, он сказал мне, что в эту ночь воротился Катакази, который Бог весть зачем таскался в Одессу и что сия птица худого предвещения возвестила о кончине

Государя. Я был поражен как бы чем-нибудь неожиданным. Потом попросил я Радича побывать у г. Катакази и объяснить ему, что с такими объявлениями торопиться нечего и, кажется, помолчать нетрудно; ну, а если не правда! Мне хотелось, чтобы по крайней мере не говорили о том. В продолжении дня получил я другое письмо Казначеева от 26-го; слухи прошли, будто Государю лучше, и он, голубчик, спешил тем утешить меня. Я было начал оживать, как вечером опять заехал ко мне Радич и сказал, что какая-то купчиха сейчас приехала из Тирасполя, чтобы навестить замужнюю дочь, и о царской смерти рассказывает, как о деле известном. Заедемте к ней, сказал я Радичу. Ее также просил я не делать ложных разглашений; она отвечала мне: «Да помилуйте, батюшка, сегодня поутру сам Иван Васильевич (Сабанеев) перед целым фрунтом изволил разговаривать об том».

На другой день все узнали и все молчали, по крайней мере со мною. Не получив никакого официального извещения, мне и не следовало говорить; а другие, может быть, щадили мою скорбь. Греки же и филэллины не

скрывали своей радости: они возлагали великие надежды на Константина Павловича, потому что он в молодых годах говорил по-гречески, имел при себе Куруту и покровительствовал иногда единоземцев их, находящихся в России. Сии бессмысленные не звали, что никто так не вооружался против войны с турками[65]. Все они толпились вокруг вестника Катакази и сделались так надменны, что встречающимся не хотели кланяться.

Молдаване тоже не показывали большой печали и оставались довольно равнодушны; им было всё равно: не тот, так другой. Как было понять им нашу горесть? Кого могли они боготворить на земле? Приказчиков ли, на семь лет над ними поставленных для сбора податей, или естественного врага их веры, султана? Добрый царь для русских есть Божий дар; и когда сей посланный небес отлетает от них, они повергаются в отчаяние. То, что видел я в младенчестве после смерти Екатерины, тоже самое повторилось передо мною в сорокалетнем возрасте. Из истории мы видим, что тоже самое было, когда Россия лишалась Александра Невского и доброго Федора

Иоанновича. В таких случаях, какие чувства оживлять будут наших потомков, того не ведаю.

Сана судьба хотела последние дни Александра сделать трогательными в глазах наших. Кто не знал, что доброго согласия между ним и добродетельной супругой его не было, что давно уже почтительный холод заступил место первоначальной супружеской нежности. Народ любил ее и роптал. Вдруг узнают, что искреннейшая дружба, взаимная доверчивость вновь соединяют их. Все возрадовались. И когда она оживала сердцем, душою, тело её, изнуренное, может быть, тайными горестями, преждевременно начало приходить в разрушение. Все дворцы, все блестящие жилища свои покидает он, чтобы в тихом уединении, в скромном убежище заботиться о сохранении её жизни и... умирает в её объятиях.

Таким изумительным образом оканчивалось многолетнее царствование, в продолжение коего Россия испытывала превратности счастья. Ей грозила гибель, силы целой Европы разразились над нею, и через несколько

месяцев туже самую Европу повел Александр на великого своего соперника. Магией взгляда, ума и слова примиряя несогласных, создал он союз, который по всей справедливости называл Священным и умирая оставил России тот повелительно-миротворный характер, который, дай Бог, чтобы она навсегда сохранила. Одним стихом верно изобразил его поэт:

*Муж твердый в бедствиях и
скромный победитель.*

И смело можем сказать, что подобного ему трудно сыскать в истории. Как человек, имел он слабости, делал большие ошибки; но сердце его всегда оставалось пучиной любви к человечеству, а величием души своей умел он постигнуть величие Божие и, сколько дозволено смертному, отражал его на земле.

И были люди в новом краю, куда заведен я был случаем, которые удивлялись, а в тайне и смеялись моей горести. И подлинно, если всё относить лишь собственно к самому себе, то потеря для меня была неважная. При этом государе какие были у меня большие успехи по службе? Почти всё одни неудачи, и самое су-

ществование мое было ему вовсе неизвестно. Но, как сын отечества, оплакивал я, по тогдашнему мнению моему, погибающее его величие. К тому же лучшие годы жизни моей проведя под сим правлением, мне казалось, что с ним вместе оканчивается и наш век, прошла и наша пора.

Если в Кишиневе встречал я немного сочувствия, за то известия и письма из Одессы могли меня утешить. Обязанный ему своим существованием и богатством, город сей в полном смысле покрылся трауром. Особенно же женщины, коих он был кумиром, не осушали глаз. Гораздо после узнал я, что тоже самое было и во всех других русских городах.

Вся Россия находилась тогда в странном положении. Обыкновенно преемник усопшего императора манифестом возвещал нам в одно время о кончине его и о своем воцарении. Тут более тысячи верст отделяло наследника престола от столицы, и в дали от неё, совсем в другой стороне последовала кончина его предшественника. Сколько времени нужно было на разъезды, на сообщение известий; сей промежуток времени имел вид между-

царствия. Я ожидал сведений и приказаний из Таганрога, из Петербурга, из Варшавы. Наконец, 3 декабря получил я первую формальную бумагу с черной каймой, подписанную наместником 25 ноября, в день приезда его в Таганрог. В ней, извещая меня о несчастном событии, он предписывает, чтобы во всех актах сохраняемо было имя покойного, *впредь до повеления ныне царствующего Государя Императора Константина Павловича*. Я подчеркнул точные слова его предписания.

По военному ведомству дело шло проворнее. Вследствие полученных им приказаний, генерал Желтухин 6 декабря, в Николин день, на широком дворе митрополии, после обедни приводил к присяге новому царю всех воинов, на лицо находящихся в Кишиневе. Духовное начальство также не замедлило получить указ из Святейшего Синода, и архиепископ Димитрий официальным отзывом пригласил меня на панихиду 12 декабря, в самый день рождения усопшего. Одним словом, я пел еще за здравие, когда духовенство и войско пели за упокой. Однако же, вечером того же числа прибыл ко мне сенатский курьер с

указом из Сената, и весь этот вечер просидел я в областном правлении, дабы скорее привести указ сей в исполнение. Надобно было присяжные листы перевести на молдаванский язык, печатные указы с нарочным разослать по цынутам и повестить всех гражданских и отставных чиновников об учинении присяги. На другой день, 13 декабря, сие совершено мною в крестовой церкви архиерейского дома.

По совершении сего священного обряда, казалось, нам оставалось только спокойно ожидать распоряжений нового правительства; но нет, почти месяц прошел после того, что скончался Александр, а Константин хранил молчание. Царствовал один только густой мрак неизвестности, подобный тому, который постоянно покрывал тогда наше полуденное небо. Впотьмах все предметы кажутся страшнее. И в близи, и в дали, казалось, грозит нам опасность. Неизвестно откуда взялись слухи, что во второй армии (из коей две дивизии занимали Бессарабию) готов вспыхнуть мятеж. И действительно, и солдаты, и офицеры равно не любили цесаревича, почи-

тая его жестокосердым, руссоненавистником. Сии слухи имели по крайней мере какое-нибудь основание, и верноподданный, трусливый генерал Желтухин придавал им вероятность, запершись и нигде не показываясь. Но другие, самые нелепейшие слухи ходили на счет Петербурга. Уверяли, будто Великий Князь Николай Павлович, пользуясь смертью одного брата и отсутствием другого, захотел воссесть на престол и был засажен в крепость; будто у него сильная партия, и может последовать междоусобная война. Надобно было жить в таком отдалении от истины, чтобы поверить такому вздору.

На мою беду еще в ноябре в Яссах вновь появилась чума, и надобно было заботиться опять усилить кордон по Пруту. На этот раз был я несколько успокоен прозорливостью начальника казаков полковника Бегидова, славного и в боях. В тоже время рассказывали у нас, будто турецкое войско приблизилось к Дунаю и в случае каких-либо у нас неустройств готово перейти его. У страха глаза велики: наместник оставался в Таганроге, в восьмистах верстах от нас; правительство,

где оно было? В случае тревоги, откуда ожидать мне было наставлений, скорой помощи? Смутное, тяжкое время было для меня. К счастью, оно не долго продолжалось. По вечерам собирались у меня два-три коротких человека; мы толковали и повторяли: что с нами будет!..

Экстра-почта в восемь дней из Петербурга приходила к нам два раза в неделю. По последне-полученной почте, 23-го декабря к вечеру, не было ни бумаг, ни писем. Долго ли это будет? подумал я. На другой день, часу в двенадцатом утра, по окончании обычных моих занятий, пришел ко мне от архиепископа Димитрия секретарь консистории г. Монастырский с важными, по словам его, бумагами. Преосвященный получил их накануне по почте и, сообщая их мне одному, просил о содержании их никому не говорить. Тут были печатные листы, манифест покойного государя, отречение Константина Павловича и, наконец, манифест о восшествии на престол императора Николая I-го. Сим, казалось, развязывалась засадка; но во мне, привыкшем сомневаться, умножилось недоумение. Для объ-

яснений поспешил я к архиерею; он показал мне коротенькое письмо директора почтового департамента тайного советника Жулковского. Препровождая к нему манифесты, он прибавлял только: «дай Бог много лет здравствовать молодому нашему государю, тяжел был для него первый день его царствования». Выходя от архиерея, я зашел к ранней вечерне в его домовую церковь, и как это был Сочельник, то слышал возношение имени еще Константина, царя Казанского, Астраханского и прочее, и провозглашение всего императорского титула его.

Тайна не могла долго укрыться; в тот же вечер многие стали подозревать ее. В день Рождества маленькие комнаты мои наполнились множеством людей: все приходили поздравить меня будто с праздником; но на всех почти лицах заметил я любопытство, которое не спешил удовлетворить. На другой день, 26-го числа, сделал я несколько посещений, а возвратясь домой, нашел много бумаг, полученных с почты. Ни в одной особенной важности не было, исключая Петербургских газет, в которых нашел я манифесты, читанные

мною за два дня до того, и назначение множества генерал-адъютантов. В прибавлениях находилась подробная реляция о происшествии 14-го декабря.

Я еще был погружен в размышление о сем важном происшествии, когда возвестили мне другого сенатского курьера, прибывшего с манифестом. Мне хотелось было расспросить его; но он отправлен был до 14-го, и также как первый курьер, прежде Кишинева, по восьми губернским городам должен был развозить указы, отчего и последовало промедление. Надобно было опять собирать областное правительство и на Святках немного потрудиться. На другой день, 27 декабря, все гражданские и отставные чиновники были приведены мною в присяге новому императору.

Сим начиналось для меня царствование, в продолжение коего я имел много успехов, а еще более горя.

Наше русское общество состояло по большей части из людей и женщин, совершенно чуждых столице, двору, высшим сословиям. Они не могли смотреть с особенно живым участием на происходившее в течение по-

следнего месяца. Как добрые русские, они искренно оплакивали смерть Александра, а потом сказали: не век же горевать! Сделались довольно равнодушны и немного напомнили мне в стихах Лагарпа, этого

*...berger assis au pied d'un hêtre,
Sans songer que l'Asie allait changer
de maitre.*

На Святках совсем отерли слезы и принялись за свои вечерние собрания. Гадали, пели подблюдные песни, затевали святочные игры; когда фанты вынуты молодым, то заставляли их плясать под фортепиано. Два старика, статский советник Угрюмов, назначенный на мое место членом в Совет, и некто Ланов, член Инзовского комитета, старинные сельчаки, оживляли сии забавы. И так, не совсем грустно встретил я наступивший 1826 год.

Из Петербурга известия, между тем, становились всё успокоительнее. Новый Император, можно сказать, исшел из неизвестности: его знали только двор да гвардия, а не народ, не государство, в делах коего дотоле не при-

нимал он ни малейшего участия. Тем более с беспокойным любопытством смотрели на первые действия его, тем более с радостью увидели, что они ознаменованы твердостью духа и осторожностью ума. Не менее того и в поступке Константина Павловича увидели трогательное самоотвержение и за него готовы были его благодарить[66].

Пока всё еще оставался я один, можно сказать, управляющим Бессарабией: ибо начальник мой 29 декабря, выпроводив из Таганрога тело покойного Государя, отправился в Белую Церковь к жене и теще. О Тимковском не было ни слуху, ни духу: по назначении своем пятый месяц без дела и без всякого предлога проживал он в столице. Сей странный человек ничем не дорожил и никем не уважал. Может быть, хотелось ему протрезвиться перед выездом, дабы не совсем в пьяном виде явиться на губернаторство, но, видно, в этом никак не успевал.

Слышно было, что число заговорщиков против правительства было гораздо значительнее числа возмутителей, схваченных в день мятежа; слышно было, что их отыскива-

ют по губерниям и под стражей отправляют в Петербург. У нас пока еще ничего подобного не было.

И в самые лучшие годы моей жизни иногда без всякой причины находил на меня сплин, что в переводе у нас значит хандра. Свет становился мне не мил, и всё казалось постылым. Такой недуг напал на меня в воскресный день, 10 января. Я не велел никого к себе пускать и, только что смерклось, при слабом мерцании одной свечки, лежал один с черными думами: вдруг письмо от Липранди. Он пишет, что, несколько дней будучи нездоров, сам не может явиться и спрашивает, не слыхал ли я чего об ужасном происшествии, бывшем в окрестностях Белой Церкви? На этом самом письме написал я только сии слова: «ничего не ведаю» и отослал к нему назад. Раз уже веселые мысли мои разогнал он недоброю вестью; тут мрачные рассеял он, возбудив опасения на счет графа, который находился тогда в Белой Церкви.

Не прошло часу, как возвестили мне полицеймейстера Радича и с ним присланного от графа чиновника. Отказать им в приеме я не

мог, да и не захотел бы после письма Липранди. Чиновник сей был девятнадцати или двадцатилетний юноша, Степан Васильевич Сафонов, только что в августе поступивший на службу в канцелярию графа, бывший при нём в Таганроге и в короткое время сделавшийся его первым любимцем (в последствии времени был он первым его министром). Он подал мне две незначительные бумаги. «Неужели ничего более?» — спросил я. «Да, — отвечал он; — я проездом в Кишиневе, имею секретное поручение далее и только переночую у Якова Николаевича» (Радича). Всё это было так странно, что крайне меня удивило. На счет происшествия сказал он, что граф приехал в Белую Церковь после оногo. Это было возмущение Черниговского пехотного полка под начальством бывшего семеновца, знакомого мне Сергея Муравьева. 2 января происходило небольшое, но настоящее сражение; Муравьев и брат его Матвей взяты в плен, третий брат убит, а некоторые из офицеров разбежались неизвестно куда.

На другой день, 11-го числа, рано явились ко мне опять Радич с Сафоновым. Они совер-

шили важный подвиг: арестовали Липранди, опечатали его бумаги, не велели никого к нему допускать, а мне предоставили отправление его в Петербург. «Так как всё сделано мимо меня, сказал я, так как по сему делу не имею я ни строчки от наместника: то пусть г. полицмейстер возьмет на себя и сей последний труд. Мне, по крайней мере, позволено будет его видеть?» Радич отвечал: помилуйте, вам везде открыт вход. Мне хотелось освободить вчерашнее письмо, и я в том успел. Липранди нашел я чрезвычайно упавшего духом, и хотя он божился мне, я почитал его виновным. После с удовольствием узнал, что я ошибся. На другой день Радичем был он отправлен с полицейским офицером.

Какая мысль была у графа устранить меня от этого дела? Неужели подозревал он меня в каком-либо соучастии с подозреваемыми? Нет, этого не было; но он почитал меня большим приятелем Липранди и знал всю Сербскую вражду Радича против него. Вообще, он не любил церемониться с губернаторами и часто без их ведома давал свои предписания исправникам и городничим. Иные обижа-

лись этим; в таком случае, что могло быть удобнее Катакази, и напрасно он удалил его. Везде сперва его произвол, а потом, пожалуй, и закон, лишь бы он был согласен с его видами.

Больно было мне узнать от Сафонова, что вновь произведенный надворный советник Никанор Лонгинов, о котором уже говорено, Высочайшим указом назначен исправляющим должность Таврического вице-губернатора на место Куруты, который переведен в Орловскую губернию. После того, что оставалось мне делать, если не распроститься навсегда с Новороссийским краем? Завеса, покрывавшая недостатки человека, которому преданся я душой, вдруг начала спадать.

Дней через пять после отсылки Липранди, были новые арестации, новые отправления. Два бежавших офицера Черниговского полка находились в Кишиневе под чужими именами, и мы того не подозревали. Николаевский полицмейстер, подполковник Павел Иванович Федоров, человек тонкий, всеведущий, неутомимый[67], не Радичу чета, тайно уведомил нас о том, прибавляя, что один из них,

под новым именем, ожидает писем и денег из Кременчуга. Посредством мнимой повестки с почты, посредством этой ловушки не трудно было схватить обоих. Названий сих офицеров не помню, да и их самих не имел духу видеть. Один из них был ранен, а согласно предписаниям следовало их закованными отправить в Петербург. Сию жестокую операцию представил я Радичу.

В половине января наместник опять воротился в столицу свою, Одессу. Обыкновенно три четверти года проводил он в разъездах, вне её, не считая уже годовых и двухгодовых отлучек за границу. Тогда, по крайней мере, заступающий его место постоянно оставался на нём, а это путевое, кочевое управление, не знаю, приносило ли много пользы краю. При Екатерине генерал-губернаторы жилали более в Петербурге и в Москве и только по временам посещали свои губернии. За то были они только великолепными представителями величия царского и в тоже время постоянными сенаторами-ревизорами. Всякая справедливая жалоба на злоупотребление власти находила в них защитников. Таким образом

губернаторы, настоящие хозяева губерний, были подчинены более их надзору, чем прямому начальству. Время и обычай это изменили. Особенно же при графе Воронцове в губерниях Новороссийских, власть губернаторская основывалась не столько на узаконениях, как на его прихоти. Из неё брал он себе любое, а всё многотрудное оставлял губернаторам и был отменно взыскателен.

В это время должен был я неожиданно испытать всю жестокою несправедливость этого человека. Чтобы представить дело в настоящем виде, должен я с рассказом моим податься недель за шесть назад.

Отапливание дело совсем не маловажное в безлесном краю. Посредством подрядов, на счет земских повинностей, доставлялось войску топливо: дрова, камыш, бурьян или что другое удобное для доставки. Срок двухгодичного контракта оканчивался 1 января 1826 года; объявлены были торги, желающие появлялись, и я находился в большом затруднении. Только в конце ноября неутомимый Левинсон, который не пренебрегал и небольшими барышами, предложил мне цену гораздо

ниже прошлогодних; я представил о том в Совет.

Памятно мне заседание его 4 декабря. Накануне из Таганрога получил я от наместника официальное извещение о кончине Государя. Я знал, как он был привязан к покойному, знал, что Константин Павлович весьма не благоволит к нему, и представлял себе всю горесть его положения; откуда ни возмись вся прежняя, глупая моя к нему нежность! Члены Совета заметили мне, что обыкновенно наместники утверждают подобные подряды. «Да, отвечал я, когда они на лицо или вблизи. Рассудите сами, господа: если бы мы и с нарочным послали представление наше в Таганрог за восемьсот верст, то ближе двух недель не могли бы ожидать ответа. Потом вспомните, сколько времени нужно будет на соблюдение формальностей, на составление и написание контрактов, и сие в самые праздники; это возьмет у нас еще две недели, следовательно, через месяц и после Нового года можем мы окончить сие дело. Вы знаете, что, согласно с образованием и в присутствии наместника, единогласие Совета могло бы и без

его воли утвердить такую сделку, где выгоды для областных сумм очевидны. К тому же, прибавил я со вздохом, наш бедный граф, до того ли ему теперь?» Все члены со мной согласились.

Каким заботам, каким издержкам подвергнута была бы казна, если б принуждена была взяться за сию поставку и если б сутки или двое пришлось бы солдатам зябнуть. В это время носились ужасные слухи, будто войско готово было придраться к первому случаю, чтобы взбунтоваться. Насилу 19 декабря успели мы окончить сие дело, и Левинсон готов уже был отказаться; ибо и ему нужно было время, чтобы сделать свои распоряжения.

И вот что чрезмерно прогневило нашего начальника, когда он возвратился в Одессу. Он держал кормило Новороссийского управления на берегах Финского залива, равно как и на берегах Азовского моря, и при всяком экстренном случае надобно было гоняться за ним, чтобы испрашивать его разрешения. Он определил, не мне одному, а всему Совету в совокупности объявить строжайшее замечание, подряд оставить пока за Левинсоном, но

сделать новые торги к 1 числу мая. Осем грозящем нам ударе письмом предупредил меня добрейший Казначеев, как бы вызывая от меня предупредительное оправдание. Я написал его со всеми подробностями здесь помещенными, винил себя одного, выгораживал членов Совета. Оно показано было неумолимому, но ничто не помогло. Я не знал, что Казначеев уже не в первый раз отклонял от меня удары, наносимые мне начальством и был громовым для меня отводом; после, с горем и с шуткой пополам, я прозвал его моим пар-аграфом. Для самого Воронцова был он докучливою, но часто весьма спасительною советью, от которой месяцев через шесть после того захотел он избавиться.

Трудно было понять, за что и для чего такие гонения. Если хотели заставить меня выйти из службы, то я сам не скрывал желанья своего ее оставить. Я так устал от бесплодных забот по службе, от лишения всех приятностей образованной жизни и от неровностей характера начальника, что в этом видел спасение свое. Я, однако, ошибался: меня совсем не хотели выпускать из рук. Мало бы-

ло моей покорности: к ней примешивалась некоторая самостоятельность, и ее-то хотелось Воронцову измять. Только мае казалось неловко подать в отставку в самом начале нового царствования.

Надобно объяснить причину многих странностей Воронцова. Сын богатого и знатного человека, он воспитан в Англии, где многие лорды богаче и сильнее немецких владетельных князей, и если подобно им не имеют подданных, зато множество благородных и просвещенных людей идут к ним в кабалу, вместе с ними вступают в службу и оставляют ее: это называется патронедж. Нечто подобное хотелось ему завести для себя и в России, где царствует подчиненность начальству, а подданство одному только человеку. В первой молодости, под видом доброго товарищества, поселил он в отцовском доме несколько Преображенских офицеров, содержал их, поил, кормил и, разумеется, надо всеми брал верх. Как главный начальник русского войска в Мобёже, щедротами на французские деньги привязал он к себе много неимущих людей: Богдановского, Дунаева, Лонгино-

ва, Казначеева, Франка, Арсеньева, Ягницкого, вышедшего в отставку и управляющего его имением. В них видел он свою собственность; в Новороссийском крае некоторых посадил на высшие места и начал делать новый набор, в который по неведению и я как-то попал. Заметив, однако, что я не совсем охотно признаю над собою крепостное его право, начал он преследовать меня. Во время последнего моего с ним свидания просил я его об удалении от должности одного явного вора и грабителя, Аккерманского цынутного прокуратора или уездного стряпчего, некоего Бублейвикова, женатого на сестре любимого его и уже умершего адъютанта Русанова. «Да, отвечал он, и до меня доходили невыгодные о нём слухи; за то вы не знаете, как всей душой он мне предан». Я подивился и замолчал. После понял он, что в России одни права начальства дают власть над людьми, могут давать и свиту, и двор; оттого так крепко привязался он к службе, без которой при его состоянии так легко мог бы он обойтись.

Когда грозное его предписание получено было членами Совета, оно до того изумило их,

что они не вдруг его поняли. «Что мы будем делать?» спросили они у меня. — Что хотите, господа, — отвечал я. Между тем сей самый вопрос должен был я и сам себе сделать. Исполнить несправедливое заключение наместника значило бы признать себя виновным; протестовать в такое время, где во всём видели возмущение, было бы идти на явную гибель. Во избежание сих двух крайностей, поступок свой, не знаю, как назвать, робким ли, или смелым. Дни три оставив без исполнения помянутое предписание, 6 февраля сказался я больным и сдал должности губернаторскую и вице-губернаторскую. После того заключился в совершенном уединении, никуда не выходил и никого почти к себе не пускал.

В Одессе сначала поверили моей мнимой болезни; но как она становилась продолжительною, а Тимковской из Петербурга и не думал ехать и дела шли Бог знает как, то советовали мне выздоравливать. Я писал, что сие зависит от получения мною четырехмесячного отпуска, о котором просил еще я в августе месяце. Он давно был разрешен мне Комитетом Министров, давно находился в канцеля-

рии наместника, но выслать его хотели мне только по прибытии нового губернатора. Наконец, Левшин написал мне прелюбезное письмо, в котором, по приказанию Воронцова, убедительно приглашал меня вступить в должность, тем более, что, по известиям из Петербурга, Тимковской совсем на отъезде. Тут была собственноручная приписка графа, где в самых ласковых выражениях повторял он сие приглашение. То и другое оставил я даже без ответа. Вот тут то прогневались на меня и безо всякого отзыва прислали мне отпуск, которым и не замедлил я воспользоваться.

Прежде чем выехать из Кишинева, мне необходимо досказать глупую и жалкую историю о Левинсоне и дровах. Покорный Совет, не дозволив себе ни малейшего, самого почтительного замечания в оправдание свое, поспешил исполнить волю начальника. Но Левинсон не убоился отправить сильную жалобу к управляющему Министерством Внутренних Дел и нашею Бессарабскою частью Ланскому. Из уст сего последнего, самого Василья Сергеевича, слышал я потом, что столь

противозаконного распоряжения не случилось ему видеть ни во время многолетнего управления его разными губерниями, ни в бытность его генерал-интендантом армии. «Контракт всегда свят и ненарушим, говорил он; если он неправильно совершен, то ответственность падает единственно на место или лицо, его заключившее». С Высочайшего соизволения дело остановлено в Бессарабии и передано на рассмотрение Сената. Не ближе как в конце октября последовало справедливое оно решение. Нимало не осуждая действий графа Воронцова и приписывая их особенной заботливости его об общественной пользе, Сенат однако же совершенно одобрил распоряжения Бессарабского Совета, находя, что они сделаны совершенно на законном основании и с явною выгодною для областных сумм.

Кажется, этим и должно бы кончиться сие неважное дело; но Воронцов, который в это время был на отъезде в Англию, чрезвычайно обиделся сим сенатским определением. Через одного приятеля своего, любимца молодого Государя, представил он ему, что решение Сената вредно для власти его и унижает ее в

глазах жителей. Тогда не успели еще хорошенько оглядеться и в делах не слишком придерживались законности: прежние распоряжения Воронцова, вопреки мнению Сената, утверждены, а сверх того членам Совета велено объявить Высочайший выговор с занесением его в формулярные их списки. И вот чистый барыш, который получил я от усердного служения моего в Новороссийском краю!

Получив согласное с желанием своим царское повеление, в исходе декабря Воронцов отправился за границу и приказал вновь назначить торги в 1 мая уже 1827 года. На них никто не явился, и Левинсон исправно и спокойно додержал свой подряд до окончания двухгодичного срока. И стоило ли того, чтобы подымать такую большую тревогу, преследовать и обижать честных, полезных и невинных людей!

IV

Поездка в Петербург. — Глазная болезнь. —
Осень 1826.

Пробыв более трех недель в добровольном тюремном заключении, как сладостно мне было увидеть спасительную бумагу об отпуске, дарующем мне свободу! Совершенная весна наступила уже несколько дней, когда 4 марта оставил я Кишинев. Всё это вместе день выезда моего сделало радостным для меня днем. Узы, которые прежде мне казались столь легки и даже приятны, давили уже меня своею тягостью, и я рвался из них. Немного времени было нужно, чтобы спастись из Бессарабии: от Кишинева до местечка Криулян на Днестре всего сорок верст. Переправившись чрез сию реку, которая от неё, казалось, навсегда меня отделила, я стал дышать свободнее.

Городок Дубоссары до присоединения Бессарабии был значительным пунктом: в нём находилась пограничная почтовая контора, через которую проходила вся русская пере-

писка с Константинополем. Пока линии таможенная и карантинная не были сняты на Днестре, городок сей всё еще казался оживленным; ныне же, будучи заштатным, безуездным, говорят, приходит в упадок. Многие думали, и я в том числе, что эта сторона Новороссийского края населена выведенными из Украины крестьянами; но нет: в двух уездах, Ольвиопольском и Тираспольском, остались первобытные жители, молдавские хлебопашцы. После Ясского мира, с 1792 года, частые сношения их с земляками заднестровскими должны были прекратиться, и в тоже время начали они сближаться с соседями своими, малороссиянами, с коими и в обычаях, и в одеянии, и в образе жизни имеют совершенное сходство. Время ныне до того уподобило их украинцам, что они забыли молдавский язык. Вот что случилось, как утверждают, и в трех северных цинутах бессарабских; вот что неизбежно последует с целою Молдавией, если она присоединена будет к России, не составляя особого, отдельного княжества.

Я сперва намеревался отправиться в Пензу; последние происшествия заставили меня

переменить сие намерение. При начале нового царствования могут быть благоприятные случаи для выгодной перемены службы, подумал я между прочим. Но это не было главною причиною поездки моей в Петербург. Прошло почти три года как я расстался с сею мне столь знакомою столицей, и без переписки я всегда имел мало о ней сведений. Посреди забот службы, сие меня не так тревожило; но во время последних трех недель бездействия любопытство мое было возбуждено до крайности. Дай поглажу на то что там творится, а в Пензе пожить всегда еще успею. Таким образом отправился я по совсем новой для меня дороге.

По выезде из Кишинева на другой день, 5-го числа, рано поутру, проехав Херсонскую губернию, я был уже в Подольской, которою я так любовался издали, но которая в это время года лишена была большей части своих прелестей: сквозь пожелтевшую еще траву, местами только проглядывала зелень, за то местами кой-где расстилался еще снег. Весь населенный жидами и оживленный их торговою деятельностью, город Балта, куда я прие-

хал, был также некогда пограничным. Вольница казацкая в окрестностях его не раз резалась с турками. При Екатерине он причислен был к одной из трех Новороссийских губерний, два года только существовавшей Вознесенской, и назван был Еленск, в честь Елены Павловны, внуки Императрицы. Имена внучат своих любила Екатерина давать некоторым местам в приобретенном ею краю и поблизости его. Таким образом небольшое местечко, через которое я проехал перед вечером, сделано было уездным городом Ольгополем, в честь мало пожившей великой княжны Ольги Павловны.

Только рано на другой день, 6-го числа, поспел я в Тульчин: я рассчитывал длину моего путешествия, чрезвычайно устал от дороги и на сутки остался тут отдыхать. День был прекрасный, и я попал в довольно чистый, к удивлению моему, жидовский дом. Хозяинский сын, молодой, проворный еврей, взялся быть моим проводником, но куда? можно спросить. Тульчин не город, а богатое, обширное местечко, столица Потоцких. Тут построены были в два этажа с половиной довольно

большие хоромы, которые жители, по обычаю, называли палацом или дворцом. Жидок мой уверял меня, что там такие чудеса, которым подобных в мире нет. Я пошел с ним и нашел большой господский дом, какие внутри России бывают у помещиков, не совсем знатных людей. При роскоши, которая и тогда уже царствовала во всех богатых Петербургских домах, на убранство комнат Тульчинского замка и смотреть было нечего. Во всём, что касалось до этой части, поляки не знали никакого толку, ни они, ни жены их; мужчины тратились на Венгерское вино, на собак и лошадей, а женщины на наряды; безвкусице было общее. Несколько картин, совсем не замечательных, из тщеславия купленных владельцами, несколько мраморных бюстов, изображающих, кажется, Потоцких обою пола; бронзовые часы и подсвечники, какие ныне можно найти у всякого начальника отделения, составляли богатую, чудную утварь, которой не менее того польские дворяне приезжали дивиться. Слуга, который отворял мне дверь и водил по комнатам, был весьма недоволен данною мною пятирублевою ассигна-

цией, уверяя, что обыкновенно дают ему по червонцу. Смешны частные люди, которые дают показывать жилища свои, как бы великолепны они ни были, если в них нет ни славной картинной галереи, ни другой какой-нибудь любопытной коллекции; не менее смешны и те, которые платят за такого рода любопытство. Впрочем, вряд ли найдутся такие ныне, когда одною роскошью никого изумить не можно.

По обеим сторонам так называемого палаца находились большие здания, втрое длиннее его. В одном помещался главнокомандующий второю армией, граф Витгенштейн, а в другом — главный штаб армии. Невозможно было, чтобы кого-нибудь в главной квартире не имел бы я знакомых; но я никого не искал, только что отдыхал, да гулял по улицам не совсем уже грязным. К сожалению, не мог я нагуляться в прекрасном саду подле дома: он был весьма худо содержав и только сверху мог я полюбоваться излучистой речкой, которая, протекая чрез него внизу, образовала островки.

В следующие два дня проезжал я местами,

о которых часто и много слышал во время малолетства моего в Киеве, ибо они находились уже в Киевской губернии. Надобно упомянуть, во-первых, маленький городок Брацлав, который при Польском правительстве давал свое имя воеводству, а при Екатерине вновь учрежденной ею губернии: пока собирались его обстраивать, губернские присутственные места находились в городе Виннице. С большим любопытством проехал я Махновку, а еще с большим местечко Бердичев, столь известное своими ярмарками.

Дорога в марте была так утомительна, что часто надобно было останавливаться для отдыха. Прибыв, накануне вечером, весь день 9 числа провел я в губернском городе Волынской губерния, Житомире. Он был весьма некрасив, как все места наших Западных губерний, Россией пожалованные в звание городов, но не успевшие заслужить сей чести.

В Житомире находились тогда квартира одного пехотного корпуса и корпусный начальник генерал-лейтенант Рот, Логин Осипович, с которым в Петербурге случилось мне часто встречаться, с которым даже был я зна-

ком, но не коротко. Родом из Альзаса, он соединял в себе всю дореволюционную изысканную учтивость французов с немецкою жестокостью и педантством. Будучи другом порядка и поборником законной власти, он, древний дворянин, пошел простым рядовым в корпус принца Конде и, неоднократно сражаясь за короля своего, достигнул офицерского чина. Когда корпус сей распустили или, лучше сказать, когда он разошелся, Рот поступил офицером в русскую службу. Во время Турецкой войны в 1809 году начал он выходить из неизвестности и быстро подвигаться в чинах. Отечественная наша война в 1812-м и в последующих годах представила множество случаев отличиться; он отчаянно сражался и не раз был ранен, между прочим в рот: фамильное имя его рану эту сделало известною всей России. Судьба определила этому человеку быть деятельным врагом мятежников: войско под его начальством и под его распоряжением усмирило недавно бунт Черниговского полка, за что молодой Император и наградил его Александровской лентой.

Мне никакого следа не было посетить ге-

нерала Рота, но любопытство взяло верх над чувством приличия. Проездом чрез город, где он начальствовал, счел я будто бы обязанностью явиться к нему, хотя это было после обеда, и я был во фраке. Довольствуясь и сим изъяснением глубокого уважения, он пригласил меня с ним побеседовать. Он сделался словоохотен, рассказчив, и на счет последних происшествий узнал я от него много любопытных подробностей. Между прочим сказывал он мне, как Шервуд, получивший в награду название Верного, по ночам приезжал в нему из Махновки. Никому во второй армии, к которой он принадлежал, не решался Шервуд представить своих тайных изветов, а по соседству с одной из корпусных квартир первой армии решился доверить их Роту. От сего последнего донесения отправлены были в Таганрог, и хотя застали Императора в живых, но при последнем издыхании.

Оставив Житомир 10 марта, я не совсем расстался еще с полуденной природой: всё еще напоминало ее, и вешним солнцем сильно согреваемый воздух, и деревья, на которых почки готовы были распуститься. Но она по-

степенно исчезает до Овруча, где кончается Волынская губерния.

Далее въезжаешь в тот некогда непроходимый бор, тот веками созданный лес, веками сокрушаемый и еще не истребленный, который покрывает собою всю Минскую губернию. Он был обитаем древлянами, а еще более дикими зверями, кои витают в большом количестве в нём и поныне; и между прочим зубры, которых в другом месте нигде уже найти нельзя. Лес этот, местами дремучий, может служить и ручательством за безопасность нашего отечества. Имея по бокам две неприступные крепости (Бобруйск и Брест-Литовской), он наполнен вязкими болотами, из коих вытекают две большие реки, Припять и Березина, а через него для неприятельских вторжений ближайший, почти единственный путь во внутренние области России.

Я ехал медленно Волынью, по грязной, скверной дороге; за то небо и земля улыбались мне в этой плодоносной стране. Когда же я въехал в Минские леса, то воздух сделался суров, и небо угрюмо. Густая тень деревьев сохраняла снег, а с ним вместе и холод, от че-

го нерастаявшая на дороге земля была удобнее для езды. Этим воспользовался я, чтобы ехать шибче, даже днем и ночью, так что 12 числа в полдень проехал я весьма незамечательный городок Мозырь, впрочем, единственный, который видел я в Минской губернии. Тут также, не без опасности, на утлом, узком пароме переправился я через довольно широкую Припять, за несколько дней перед тем покрытую льдом. На другой день, 13 числа, близ станции Екимовичи, имел я переправу через другую реку, более знаменитую, через Березину, которая, подобно Ватерло, именем своим будет вечно напоминать о бедствиях Наполеона.

После того въехал я в Белоруссию, мне уже несколько знакомую. Грустно мне подумать, как все эти места, от самого Днестра, мною проеханные, искони русские, носили на себе тогда и, кажется, носят и поныне печать польского владычества. Жители почти все остались тверды в православии или выступали из него только в унию; но где их было видеть? Помещики богатые и небогатые, шляхтичи, которых, вопреки их притязаниям на

дворянство, следует почитать мещанами, духовенство высшее и низшее, всё это были поляки, были католики; наконец, евреи, которые в руках своих имели всю торговую часть. Все эти слои, как бы густою, непроницаемою корою покрывали собою и подавляли чистойшую, лучшую часть народонаселения. Кого путешественник мог встретить в городских заезжих домах, в почтовых, на станциях? С кем единственно мог иметь он дело? С ляхами, да с жидами.

Туже самую разность, которую внимательный путник находит между климатами в областях на Западе, возвращенных нам от Польши, встречает он и в наружности, и в характере их жителей. В древней России, в губерниях Подольской, Волынской, Киевской, украинцы, потомки храбрых казаков, несмотря на тяготеющее над ними иго польских помещиков, сохраняют вид крепкий, здоровый, веселый, какое-то молодечество, смелость в движениях и речах; сохраняют также язык, которым простой народ говорит от Харькова до Лемберга. Другое славянское племя обитало всегда Белую Русь, говорит наречием, хотя также сла-

вянским, но менее понятным и менее приятным. По крайней мере, жители Минской губернии, имея наружность дикую, весьма некрасивую, еще похожи на людей; в других же губерниях поселяне, живущие на бесплодной почве и подавленные владельцами, начинают сходствовать с рабочим скотом, нуждающимся в пище.

Сие печальное зрелище представилось мне, когда я въехал в Могилевскую губернию. Скоро проехал я незамечательные города Рогачев и Старой Быхов, и 14 числа, когда чуть стало светать, приехал в губернский город Могилев, где тогда находилась и главная квартира первой армии.

Самым странным образом провел я в нём целые сутки. Чрезвычайно беспокойная дорога не давала мне заснуть перед тем две ночи. В жидовских корчмах, где я должен был остановиться, пища казалась мне столь отвратительною, что едва я касался её; нечистые ложки, на которые от усталости иногда спускался я, были наполнены насекомыми. Голодный, истомленный, с волнением в крови, увидел я себя с радостью в чистой, большой, залообраз-

ной комнате лучшего Могилевского трактира, поддерживаемого щедротами многочисленных воинских чинов. Только что успел приехать я, напившись чаю, Обмылся с ног до головы, переменял белье, бросился на постель, чистым бельем покрытую, и в минуту заснул. Меня разбудили к обеду, опрятно и вкусно приготовленному, во время которого в соседних комнатах слышался мне звук шпор и сабель, громкий говор и смех беспрестанно приходящих офицеров, что не помешало мне крепко заснуть после обеда. В пять часов опять разбудили меня к чаю, опять заснул я. Я проснулся перед ужином, после которого залег спать на всю ночь. Двадцать четыре часа только и делал я, что ел, да спал и, совсем освежившись, 15 числа рано поутру оставил Могилев.

Уже не первый раз случилось мне в нём быть. В начале 1800 года с маленькими товарищами моими Голицыными, когда я сам был почти ребенок, проезжал я чрез этот город, который тогда при Павле был еще уездным. Ни слова не упомянул я об нём, равно как и о предшествовавшем ему для меня гу-

бернском городе Чернигове. Я их обоих не видал: ибо, если припомнить, проехал их или во сне, или от жестокой стужи закрытый и закутанный в кибитке.

Начиная от Могилева, я попал как будто на давно знакомый мне Белорусский тракт, но на нём всё было для меня ново. Беспреданно умножающееся еврейское население наводило тоску, особливо в Орше, на распутий стоящем городке, одними жидами наполненном. За то бесконечные, высокие аллеи по дороге, еще при Екатерине генерал-губернатором Пассеком насажденные, развеселяли взор, и отрадно было отдыхать на станциях, в чисто содержимых, просторных трактирах.

Два раза проезжал я через Витебск и останавливался в нём; последний в 1807 году, когда сестру мою из Москвы провожал я к больному мужу её, генералу Алексееву. В третий раз проскакал я только через этот город прямо на станцию и потребовал лошадей. Пока мне их запрягали, подъехал гвардейского Павловского полку полковник Семишин. По праву мимоходного в Петербурге с ним знакомства, позволил я себе сделать ему

несколько вопросов на счет бывшего там важного происшествия; он отвечал мне с замешательством. Когда же спросил я его об участии некоторых лиц, бывших в возмущении и мне лично знакомых, он почти отскокил от меня со словами: «не советовал бы вам признаваться, что вы этих людей знаете». Видно, там крепко напуганы, подумал я.

Хотя от Витебска далеко еще до Петербурга, а мне казалось, что я уже в окрестностях сей столицы. Недавно расстался я с Югом и с вешним воздухом, и оттого суровость климата поразила меня. Впрочем, жители находили, что весна начинается рано: все реки прошли, и в полях оставалось мало снега. Я не могу тут забыть изумления и возгласа ехавшего со мною молдавана при появлении первой березы: никогда белых деревьев, сказал он, не случалось ему видеть.

Не доезжая до Великих Лук, с такою же радостью, с какою возвращаешься на родину, увидел я опять русские избы и почти всё одних русских мужичков с бородами. Я ехал по этой дороге, если припомнит читатель, в лихорадке и в бреде, следственно на окружаю-

щие меня предметы не мог обращать внимания. И оттого Порхов с остатками каменных укреплений был для меня новостью. За Лугой, 20 числа, на станции Долговке, съехался я с одним молодым поляком, которого из Варшавы вез фельдъегерь, и с каким-то гражданским чиновником из Петербурга, отправленным с важным, по словам его, поручением. Напуганный Семишиным, едва отвечал я на слова первого; от последнего узнал я, что Император накануне, 19 числа, сам раздавал медали в воспоминание взятия Парижа и во славу незабвенного брата. Я был почти в Петербурге, куда после почти трехлетнего отсутствия и приехал 21 марта.

По приглашению доброго приятеля моего и прежнего сослуживца Александра Федоровича Волкова, недавно женившегося на одной прелюбезной девице, Елене Ивановне Маркеловой, въехал я прямо в нему на квартиру в Большой Миллионной, в доме Гагарина. Никогда Петербург не являлся мне в столь печальном, в столь унылом виде. Правда, я приехал довольно рано, когда на улицах бывает мало движения; утро было сырое, холод-

ное, густой снег так и валил хлопьями; на Невском Проспекте и на Дворцовой площади встретил я две или три придворные, траурные кареты, совсем обшитые черным сукном. Всё это мне казалось худым предвещанием.

На другой день поспешил я посетить всех добрых знакомых моих; вестей, вестей о происходившем в последние четыре месяца наслушался я до сыта. Сообщать же всё слышанное мною тогда нахожу, что здесь еще не место. Этот достопамятный 1826 год был началом одного из достопамятнейших царствований в России. Наблюдения в течении его мною сделанные требуют особого описания. В этой главе намерен я поместить только то что собственно до меня относится.

Как находящийся еще на службе и занимающий в провинции довольно видное место, должен был я явиться начальству, то есть к одному только человеку, управляющему Министерством Внутренних дел, Василью Сергеевичу Ланскому. Мне показался он стариком умным, любезным, неспесивым и нефамильярным, весьма сведущим в делах, но как бы уставшим от них и сохраняющим важный

пост свой единственно по врожденному всем людям небольшому тщеславию. Я уже говорил о его мнении насчет распоряжений нашего наместника по подряду Левинсона.

Немного времени дала мне судьба на удовлетворение любопытства моего касательно бывших в отсутствие мое важных и маловажных происшествий, на счет литературы, драматической части и особенно политики, которые во всё время пребывания моего в южном краю оставались мне чуждыми. Недолго дозволила она мне воспользоваться обществом многих умных и приятных для меня людей, насладиться, наконец, свободною и беззаботною жизнью. Болезнь дотоле мне неизвестная внезапно посетила меня. Не знаю вследствие ли постоянно сырой, ненастной погоды во время дороги, ранней весны в Петербурге (через два дня по приезде моем вскрылась Нева), холодных испарений от земли и реки, при беспрестанном блеске: сделалось у меня сильное воспаление в глазах.

Это случилось 5 апреля, в тот самый день, в который от Волкова переехал я на квартиру мною, нанятую в Малой Садовой между Нев-

ским проспектом и Семеновским мостом. Выбор, как время показало, был самый невыгодный для больного. Кто-то присоветывал мне пригласить к себе лейб-окулиста Осипа Ивановича Груби. Я нашел в нём человека хорошо знающего свое дело, роста невысокого, нрава мягкого, не слишком словоохотного, но весьма беседолюбивого; разговор мой верно ему понравился, ибо и без нужды посещал он меня всякий день и просиживал долго. Он принялся лечить меня усердно, к несчастью, кажется, даже слишком усердно. После Нижегородской моей горячки, с 1820 года стал я непомерно толстеть; в Бессарабии, при умственно деятельной, но почти сидячей жизни, толщина эта умножилась. Это обмануло Груби: он полагал, что при таком твердом сложении можно безопасно употреблять самые сильные средства. В продолжении четырех недель, по два раза в сутки, за ушами менялись у меня шпанские мухи, нередко ставились пиявки, раза два было кровопускание, да сверх того почти каждый день принимал я внутрь проносные лекарства. Одним словом, чтобы спасти глаза мои, губил он мое тело.

Едва прошел месяц, и я стал непохож на человека. Телесное расстройство было ничто в сравнении с нравственным. Окна мои выходили на улицу и почти на полдень; оттого должно было держать их запертыми и с опущенными шторами от света, весна была жаркая, каких редко бывает в Петербурге, а я всё находился в темноте и в духоте. Ничто не могло сравниться с раздражением моих нерв; непрерывающийся стук колес по мостовой с раннего утра далеко за полночь умножал его: я чувствовал адское мучение.

Несмотря на расслабление мое, я всё однако же был на ногах; погода стояла прекрасная, и я позволял себе даже пешком выходить на улицу, но движения кареты или дрожек я не мог выносить. Если случится кого навестить или захочется погулять, я кое-как побреду до первого моста или канала, и там сяду в лодку. Глазное лечение кончилось, оставив только после себя в веках большую слабость и расположение к раздражению, отчего не могут выносить они долго никакого дыму, что к несчастью сохранилось и до сих пор. Я чувствовал почти постоянно ту неизъясни-

мую тоску без всякой причины, которая заставляет иногда людей бросаться в окно и которая знакома разве только женщинам, подверженным сильным нервическим припадкам. Исцеление такого недуга было труднее, чем первое лечение; его нельзя было совершить без помощи времени и более спокойного жилища. И в этом случае пришел ко мне на помощь мой добрый приятель Волков, который находился тогда в созданной мною должности правителя канцелярии Строительного Комитета на место Ранда. Для сего комитета нанята была новая квартира на конце Гороховой улицы; Волкову дано было в ней просторное и удобное помещение, большею частью выходящее на двор. По случаю болезни жены, на лето отправлялся он в Ревель, а квартиру свою предоставил моему распоряжению.

В это время (не помню в конце апреля или в начале мая), прибыл граф Воронцов для поклонения новому Императору. Болезнь моя была причиной или, лучше сказать, послужила предлогом неявки моей к нему. С ним были только Левшин да новый любимец его Са-

фонов. Левшин весьма дружелюбно меня посещал; мне казалось, что ему совестно и что он раскаивается в поступке своем против меня. Рекомендованный им губернатор Тимковской выехал, наконец, из Петербурга за несколько дней до моего приезда; следственно известны уже стали его проказы в Кишиневе, его недеятельность, пьянство, совершенное пренебрежение его к обязанностям своей должности.

Точно также как в предыдущем году весной, и в настоящем граф Воронцов, по приезде в Петербург, начал страдать главною болезнью. *Qui ne sait comprâtir aux maux qu'on souffre!* Вероятно из сострадания (другой причины я не постигаю) прислал он ко мне своего медика, лейб-окулиста Лерхе, который встретился у меня очень учтиво с соперником своим Груби. Они потолковали о чём-то, дали какие-то общие советы, и Лерхе удаляясь объявил, что, отдавая графу отчет о состоянии зрения моего, скажет, что я в хороших руках и ему у меня делать нечего. Это было в начале июня. Между тем Лерхе, будучи племянником престарелого Элизена, упомяну-

того мною друга отца моего, рассказал ему о моей болезни, а тот явился ко мне с гневом и упреками, как мог я в таком состоянии не призвать его на помощь. Приятели мои, впрочем согласно с моим желанием, привозили ко мне других врачей и между прочим знаменитого Арендта. Всего вместе с Фабром, с Филиповским, с Пальчевским, перебивало их у меня семь человек. Тогда вспомнил я пословицу: у семи нянек всегда дитя без глазу, и ужаснулся. Всех пережил Груби: он не переставал посещать меня дня через три, через четыре, даже тогда как главное Лечение мое совсем кончилось, и я с ним совершенно расплатился. Станный был он человек: мне не случилось видеть кого либо скупее его, он лошадей своих иногда оставлял без корму; а совсем тем он не был алчен к прибыли; но что уже попадалось к нему в кошелек, с трудом из него выходило.

Человеколюбивый поступок со мною графа Воронцова требовал от меня изъявления благодарности. К тому возбуждал меня Левшин и испросил мне дозволение, аки больному, явиться в сюртуке и с зонтиком на глазах.

Итак я предстал пред его графские светлые очи, подобно моим тогда, омраченные и зонтиком осененные. Сходство в болезненном положении растрогало меня; может быть, и его. Легко поверят, что тут наедине, с одной стороны нежнейшая почтительность, с другой ласковая благосклонность не допустили в объяснения наши ни малейшего пререкания. Он сам только заговорил о деле Левинсона и сказал: «может быть я и не прав; но дело в Сенате, и пусть он нас рассудит».

Он сознался, что, после всего происходившего со мною в Бессарабии, мне воротиться туда не к стати. И вдруг не с другого слова предложил мне новое место Керчь-Еникальского градоначальника. Я в изумлении молчал. Он представил мне всю блестящую сторону сего нового назначения, власть почти независимую и почти неограниченную, большое содержание, начальство над флотилией и казаками, составляющими таможенную и карантинную стражи, широкое поле для созидательной моей деятельности, имя в истории и наконец, может быть, статую после смерти. В другое время у меня загорелось бы в голове,

а тут я оставался довольно равнодушен. Я не смел ни отказаться от предлагаемого мне места, ни принять его и выпросил себе неделю на размышление.

Мне известно было, что Керчь в Крыму; я довольно хорошо знал географию и историю России; но далее сведения мои о сем городе не простирались (я даже почитал его на Черном море). Мимоходом слышал я в Одессе, что какой-то итальянский фигляр, мошенник Скасси, под покровительством графов Нессельроде и Ланжерона и с помощью их, склонил правительство открыть там порт и учредить градоначальство. Но было ли сие исполнено, я не ведал, пока в конце 1823 года один из любимцев графа, генерал-майор Андрей Васильевич Богдановской не был назначен туда первым градоначальником. Памятно мне также было то что я слышал в младенчестве: заключить кого в мрачную темницу называлось засадить его в Еникуль, ибо городок Еникале, смежный с Керчью, почитался жесточайшим заточением.

Всё это мало располагало меня туда отправиться. Но срок четырехмесячного отпуска

моего приближался и мне надобно было на что-нибудь решиться. Я рассчитывал, что, получив новую должность, могу я, по примеру Тимковского, по крайней мере, месяца три или четыре не занимать её и проживаться в Петербурге, а там что Бог даст. И не это одно входило в расчеты мои. Самые черные думы осаждали тогда мое воображение; я всё видел перед собою грозящую мне, неизбежную смерть; мысль о ней иногда ужасала меня, иногда я призывал ее и жаждал. Это весьма похоже было на сумасшествие. Зачем, думал я, оскорбить мне графа отказом, когда скоро смерть возьметса за меня сие сделать?

Он спешил тогда в Одессу, ибо в Аккермане назначен был конгресс, на который ожидали турецких полномочных: с ними должен был он стараться устранять все недоразумения, все неудовольствия наши с Портой. Дни за два до его отъезда опять явился я к нему с изъявлением согласия; он обнял меня и, уезжая, отправил к Государю все представления свои.

В день рождения нового Императора, 25 июня, ровно через два года после восстания

на меня в Кишиневе, подписан указ, который разлучал меня с ним. На мое место назначен Херсонский вице-губернатор Фирсов[68].

Несмотря на то, что двор вскоре потом уехал в Москву на коронацию, что Петербург совсем опустел, и что я жил в совершенном уединении, нервы мои исподволь, хотя очень медленно, начали успокаиваться и мысли мои проясняться. Совершенное облегчение почувствовал я только в начале сентября. Мне тогда же следовало бы ехать, но я выжидал возвращения главных государственных сановников, в надежде с их помощью быть уволенным от обязанности отправиться в Керчь. Они возвратились только в начале октября.

Н. М. Карамзин. — Д. Н. Блудов. — Граф Бенкендорф. — Племянник Алексеев. — Граф Закревский. — Сборы в Керчь. — Представление Николаю Павловичу.

Это время для меня столь горестное, по расположению души моей даже убийственное, было, однако же, обильно всем тем, что могло меня утешить и даже порадовать. Все действия императора Николая были согласны с моими правилами и моими желаниями. Либерализм, столь нам несвойственный, обезоружен и придавлен; слова правосудие и порядок заменили сакраментальное дотоле слово свобода. Строгость его никто не смел, да и не хотел, называть жестокостью: ибо она обеспечивала как личную безопасность каждого, так и вообще государственную безопасность. Везде были видны веселые и довольные лица, печальными казались только родственники и приятели мятежников 14 декабря.

В последние годы царствования Алек-

сандра бессильная геронтократия дремала у государственного кормила: старики, Татищев, Лобанов, Ланской, Шишков казались более призраками министров, чем настоящими министрами; всеми делами заправляли их подчиненные, каждый по своей части, без всякого единства. За всех бодрствовал один, всем ненавистный, Аракчеев. По личному ли на него неудовольствию или, соглашаясь с желанием, с общим мнением, его одного Император удалил от себя. Всех прочих оставил на местах, стараясь и несколько успевая пробудить, оживить сих полумертвых.

Прошлогодней весной, отправившийся из Одессы за границу, Кочубей, лишившийся там дочери, с наступлением лета воротился в Петербург. Он был принят с отверстыми объятиями, и все полагали, что он будет главою министров. Тому бы и следовало быть: в таком необъятном государстве, как Россия, необходим первый министр, который облегчал бы Царю тяжкое бремя правления. Кочубей одарен был чудесным свойством распознавать людей. Подобно недостаточному, но опытному ювелиру, который с первого взгля-

да может верно оценить каждый из коронных алмазов, Кочубею, чтобы с точностью определить цену таланту и способностям человека, достаточно, было получасового с ним разговора. Все выборы его служат тому доказательством; а что может быть полезнее для государства, как уменье выбирать людей?

Другой советник, Карамзин, не занимая даже никакой государственной должности, мог также быть полезен Царю. Более двадцати лет он весь был погружен в изучение и изображение протекших времен России, в созерцание её настоящих судеб, весь исполнен жара любви к ней; он хорошо знал характер её народа и понимал великое её предназначение. Сокровищами его ума и знаний пользовался Александр и нередко беседовал с ним наедине. Новый Царь готов был явить ему еще более любви и доверенности и ознаменовал их беспримерною щедростью, назначив ему, а после него семейству его, по пятидесяти тысяч рублей ассигнациями ежегодно пансиона. Но уже года три как здоровье начало заметно ему изменять; происшествие 14 декабря, коего, к несчастью, он был свидетелем,

исполнив его скорбью, потрясло, можно сказать, до основания ослабевший состав его тела. Мне не удалось ни разу его видеть: когда я приехал, лежал он на смертном одре в зданиях Таврического дворца, куда для лучшего воздуха, по воле Царя, был он перемещен; а в мае предал он Богу чистейшую из душ.

Почти в одно и тоже время получено было в Петербурге известие о смерти Императрицы Елисаветы Алексеевны, скончавшейся в Белеве на обратном пути из Таганрога. Она была примером всех скромных добродетелей, и все состояния любили ее и были поражены её кончиной, даже простой народ, который по старинным своим понятиям, пышности и блеску нарядов предпочитает в царицах своих сияние кротости: тогда в глазах его они более сходятся с Царицей Небесной. И в здоровом состоянии, не без прискорбья узнал бы я о сих двух кончинах, а тут, когда воображению моему всё представлялось в мрачном виде, сие умножило отчаянную тоску мою: мне казалось, что всё лучшее в мире готово покинуть его.

По указанию расслабленного и встрево-

женного Карамзина, в самый день мятежа не имевшего сил владеть пером, Государь в тот же вечер призвал к себе друга его Блудова. Он поручил ему изобразить со всею точностью происшествие, от которого столица находилась в ужасе, и сделать сие поспешно тут же, не выходя из его кабинета. На другой день сие известие, припечатанное в газетах, должно было разойтись по всей России. По внезапности поручения, не знаю, кто бы в таком случае не потерялся? Блудову посчастливилось. Он представил истину с такою ясностью, с такою откровенностью, к которой мы в России тогда не привыкли» всегда раскрашенная в официальных актах, она невольно порождала сомнения, а тут, напротив, должна была поселить совершенную доверчивость к словам нового правительства. Государь был совершенно доволен и с этой ночи человека, мало ему дотоле известного, оставил при своей особе.

После того для рассмотрения действий мятежников учреждена была в крепости, в которой они находились, следственная комиссия под председательством великого князя Михаила Павловича. Государю угодно было назна-

читать в нее Блудова производителем дел, что поставило бы его в необходимость каждый день находиться при допросах обвиненных, из коих некоторые были ему весьма знакомы. Для души его это было бы слишком тягостно, и он умолил Царя уволить его от сей обязанности. За то каждый день лично вручаемы ему были Государем протоколы заседаний комиссии, и в одной из соседственных от кабинета царского комнат занимался он составлением из того общего дела. Часть зимы и всю весну провел он в сих занятиях и довершил труд свой известным Донесением Следственной Комиссии за подписанием председателя и всех членов ее и за его скрепою, которое тогда же было напечатано особой книжкой для всеобщего сведения.

Из документов, находившихся у него в руках, он мог усмотреть, что, исключая Пестеля, Рылеева и некоторых других, настоящих революционеров, понимающих цель, к которой идут, все заговорщики, по большей части военные, были молодые люди увлеченные примером обычая и распространившейся моды и почитающие свободомыслие лучшим выра-

жением ума и познаний, коих не было в них. Заметно было, что зачинщики более всего старались действовать на неопытных и на недалёковидных. Как же было не пожалеть о сих несчастных. Излагая их суждения, Блудов умел умалить их значительность и тем самым вероятно надеялся смягчить над ними приговор суда. Иногда действия их были так смешны, что в описании их проглядывала у него невольная ирония. И были люди, которые это ставили ему в вину! как можно ругаться над жертвами готовыми пасть под ударами закона? их следовало бы венчать цветами, представить хотя злодеями, но великими людьми смелых проказников, которым хотелось только шума и тревоги[69] и не помышлявших о последствиях, возбудить не сострадание к ним, а энтузиазм к их дерзким подвигам. Кажется, это не совсем было бы согласно с видами правительства. Впрочем он сказал одну только правду и все присутствовавшие в комиссии подтвердили ее своим подписом.

За тем учрежден Верховный Уголовный Суд, составленный из всех членов Государственного совета, Синода и Сената, к коим

присовокуплено было несколько полных генералов. В числе судящих находился Сперанской, в числе подсудимых задушевный друг его инженерный полковник Батенков, с которым познакомился он в Сибири (от управления коей он давно был уволен) и которого удалось ему перевести в Петербург. Тесные связи его с ним ни для кого не были тайной, и в Следственной Комиссии все ожидали, что из уст Батенкова выйдет, наконец, имя его. Иногда действительно оно как бы скользило по ним; но сей скромный и твердый человек, говорят, чрезвычайно умный и ученый, весь преданный ему, до конца не выдал друга. Казалось, что сих подозрений было бы достаточно, чтобы удалить его по крайней мере от службы; напротив, сей хитрец, разгаданный и отвергнутый покойным Александром, нашел средство войти в милость к новому государю. Представив ему, что в России недостаток в законах, он возбудил в нём весьма похвальную жажду к славе законодателя; по словам его, имя Николая в России должно было стать выше имен Ярослава и царя Алексея Михайловича, а вообще в потомстве наравне

с именами Юстинина, Феодосия и Наполеона. Принимая на себя огромный труд составления свода существующих узаконений и издания потом нового уложения, он уверил царя, что сей труд не может быть довольно успешно совершен без личного участия и надзора Его Величества. И потому комиссия составления законов обращена в II-е Отделение Императорской Канцелярии, а он назначен оною главноуправляющим. Таким образом открыл он себе свободный доступ в кабинет царской, каждую неделю имел доклад, сохранил доверенность Николая до самого конца жизни своей, но не приобрел того влияния, которое надеялся иметь вообще на дела в целом государстве.

По высочайшей воле, Блудов отряжен был в Верховный Уголовный Суд для доставления, в случае нужды, потребных объяснений по делу о подсудимых. Тут встретился он и хорошо познакомился со Сперанским; но кажется, что взаимной симпатии сии господа не почувствовали. За все труды Блудов был награжден Аннинской лентой и званием статс-секретаря, что как будто поставило его на

путь, ведущий к занятию министерского места.

В первых числах июля, не помню именно в какой день (ибо мой ум находился тогда в таком же расстройстве, как и тело), над виновными совершен приговор суда. Полтора ста осужденных выведены на гласис перед крепостью, им прочтено решение суда, над ними переломлены шпаги, сняты с них мундиры и фраки, они облечены в крестьянское платье и отправлены в ссылку. Пять человек были повешены. Всё это происходило вскоре по восхождении солнца и в отдаленной части города, следственно зрителей не могло быть много. Несмотря на то, в этот день жители Петербурга исполнились ужаса и печали. Более шестидесяти лет после Мировича не видели они торговой, смертной казни.

В тоскливом уединении моем я мало ведал о том, что происходило в городе. Несколько доброжелателей с намерением развеселить меня, сколько-нибудь рассеять грусть мою, назвались ко мне обедать и условились на счет дня. Я поручил кому-то заказать обед в трактире и закупить вина. Надобно же было

случиться, чтобы это было в самый печальный день казни. Тут был Левшин, который приехал объявить мне, что указ 25 июня, о назначении меня градоначальником, из Сената только что получен им в канцелярии отсутствующего уже графа Воронцова и меня с тем поздравить. Доктор Груби сообщил мне известие о наградах, полученных Блудовым. Первое принял я почти с огорчением, последнее довольно равнодушно: печальное всё принимал я к сердцу, всё радостное скользило по нём. Между прочим находился у меня один знакомый мне лейб-гренадерский офицер Пересекин, который со взводом гренадер в это утро был свидетелем происходившего перед крепостью; с прискорбием и большими подробностями описывал он сцены, раздирающие душу. И вместо веселия, гости мои умножили мою грусть. Они пили за мое здоровье и, зная приязнь мою к новому статс-секретарю, и за его здоровье. Я тоже попытался было хлебнуть Шампанского; оно показалось мне полынковым самым горьким. Ничего не могло поднять упавший дух мой: расслабленная плоть его давила. Не приведи Бог никому

быть в безотрадном состоянии души, в котором я тогда находился.

Возвратившийся из-за границы Кочубей нашел с удовольствием прежнего подчиненного своего Блудова; деятельно-употребленным мнением своим он еще более утвердил Государя в высоком мнении, которое возымел он об нём. Дашков, управлявший дотоле в Петербурге делами Константинопольской миссии, мало-помалу стал переходить на другое поприще и также был предназначаем для высших занятий. Жуковский по учебной части был наставником наследника престола и почти домашним посреди императорской фамилии. Полетика, оставивший должность посланника и возвратившийся из Америки в предыдущем году, сделан был сенатором. Будучи великим князем, Николай Павлович встретил его за границей, полюбил его оригинальный и смелый ум, продолжал быть с ним милостивым и все были уверены, что он будет очень силен у двора. Всё друзья, Арзамасцы! Касательно успехов по службе, не тот, так другой, каждый готов был протянуть мне руку помощи. И кто бы поверил? В это время

никак не входило мне это в голову.

Дабы сколько-нибудь изгладить мрачное влияние, которое на всех имели продолжительный траур, двойные царские похороны, мятежи и казни, в половине июля поспешили с выездом в Москву. В опустевшем Петербурге вокруг меня всё еще более опустело; однако душевный и телесный мой недуг от того не умножился: он мог бы увеличиться только совершенным лишением рассудка. В продолжении лета я редко виделся с озабоченным Блудовым; тут отправился он с Государем в древнюю столицу и не с тем, чтобы погулять в ней, попировать, а с тем, чтобы принимать прошения на высочайшее имя, там подаваемые. В его отсутствие я немного чаще стал посещать его семейство, умножившееся двумя дочерьми, Антониной и Лидией, двумя сыновьями, Андреем и Вадимом. Всем казался я несносен; одна Анна Андреевна, по неистощимой благодати своей ко мне, принимала меня всегда с соболезнованием, ласкою и участием. Малютки подрастали; в них уже выказывался весь ум отца вместе с добродушием матери. Не знаю, по примеру ли им данному,

или по врожденному, наследственному чувству, несмотря на мою брюзгливость, они любили меня; за то и мне с ними бывало как будто легче, как будто возвращалась мне любовь к жизни. Тут должен я упомянуть об одной девице Дютур, которую за их добрые деяния сам Бог послал семейству Блудовых. В малолетстве, родителями своими, принадлежащими к одной древней и благородной фамилии во Франции и бежавшими от ужасов революции, увезена была она в Англию. Там она и образовалась, и всю живость любезнейших из французенок умела она соединять с благоразумием, со строгими правилами благовоспитанных англичанок. В Лондоне Блудов узнал ее и поручил ей воспитание детей своих обоюго пола. Но твердому и просвещенному уму своему она была весьма способна к занятию звания гувернера при мальчишках; еще более была она в состоянии воспитывать девиц. Я здесь говорю об ней, потому что ничего ей подобного между иностранными у нас наставницами я не встречал; также и потому, что в это именно время, её скромно-веселые разговоры часто уменьшали раздра-

женно-болезненное мое состояние.

В продолжении августа оно приметным образом начало улучшаться. Во время отсутствия двора и гвардии, Петербург становится несколько похож на провинцию, делается легковверен до неимоверности, начинаются в нём нелепые толки, распространяются ложные известия. Ожидали, что коронация будет 1 августа: слабое здоровье молодой Императрицы заставляло откладывать сей величественный и тяжкий обряд; из этого выводили заключение, что будто бы какая-то личная опасность грозит самому Императору: пусто-словию конца не было. 25 августа перед захождением солнца прогуливался я в Летнем саду; с самого апреля погода не менялась, день был жаркий, обещал теплую ночь, и я даже чувствовал некоторую отраду. Когда я стал подходить к решетке, выходящей на Неву, раздался пушечный выстрел. Известно, какое жестокое действие всякий залп, всякий сильный звук, потрясающий воздух, производит на расстроенные нервы. За месяц до того без содрогания не мог бы я услышать и пистолетный выстрел; тут, напротив, почувствовал

я какое-то удовольствие, смешанное однако с некоторою болью: верный признак перемены в состоянии здоровья. Нескорыми шагами пошел я назад, исчитывая громовые удары, из крепости наносимые. У Симионовского моста подле крыльца одного большего угольного дома увидел я множество экипажей разного рода; от кучеров и лакеев узнал я, что хозяин его, генерал-адъютант граф Комаровский, привез известие о совершившемся 22-го августа венчании на престол и миропомазании царской четы; тем опровергались пустые слухи, недоброжелательством распущенные. Весь Петербург истинно, искренно возрадовался и радость свою изъявил самым блестящим образом. На другой день 26-го числа и последующие два дня, 27 и 28, он загорелся из края в край, ночи были темные и теплые, и такой чудной иллюминации я никогда еще в нём не видывал.

Мой брат находился тогда в Москве и рассказывал мне, что 14 го числа, закупаая в лавках на Красной площади какие-то вещи для отправления в Пензу, купцами и сидельцами был приветствуем (равно как и другие поку-

патели) следующими словами: «Батюшка, слышали вы новость? — Что такое? — Ведь он приехал. — Да кто? — Да Константин Павлыч». Радость была написана у них на лицах. Это было подтверждением сделанного им отречения от престола; в глазах обманутого народа казалось это примирением двух никогда не ссорившихся братьев. Много было доброго в этом цесаревиче; невозможно, чтобы без сокрушенного сердца мог он смотреть на корону, по праву ему принадлежащую, на главе меньшего брата и присутствовать при обряде его венчания в виде первого его подданного.

Но он решился на то для общего спокойствия и на несколько недель пожертвовал ему собственным. И пусть сыщут мне другой народ в мире, который бы, подобно русскому, так восхищался бы добродетелями своих царей, с таким восторгом смотрел бы на их славные деяния, а при виде их недостатков, пороков или жестоких несправедливостей, с таким горестным молчанием потуплял бы глаза.

Сколько июль был печален, столько август казался радостен, но это было не перед доб-

ром.

Особая канцелярия по секретной части со времен Балашова существовала сперва при Министерстве Полиции, а по уничтожении его при министре внутренних дел. Действия её были незаметны, особенно после взятия Парижа. Все говорили смело, даже нескромно, всякой, что хотел: время самое удобное для распространения вольнодумства. С 1820 года начали показываться некоторые строгие меры, но и они были только вследствие явно-дерзких поступков. Похвалы свободе продолжались только по принятому обычаю; но горсть недовольных, замышляющих ниспровергнуть образ правления, сделалась скромнее и от мечтаний перешла к сокровенным действиям. Во всяком другом народе сие могло бы иметь самые зловредные последствия и приготовить всеобщие возмущения, но у русских священная власть царская всегда была главным догматом их веры. И как легко было бы тогда правительству, дознавшись до истины, более виновных удалить от службы; для обуздания же их, по их малочисленности, достаточно было бы одних угроз и строгого при-

смотря, а совсем не наказаний. Но секретною частью, как сказал я, управлял Фон-Фок, который не имел с ними никаких связей, а питал к ним братскую нежность. Происшествие 14 декабря и его последствия явно обнаружили, как не велико число было людей опасных для государственного спокойствия; что значили сотни беспокойных и ничтожных умов в сравнения с десятками миллионов жителей? К тому же виновные все отправлены были в ссылку, а ужас казни должен был устрашить готовых подражать им. Кажется, после того можно бы было, хотя на некоторое время, оставаться спокойным; но не так думал г. Фон-Фок. Он часто был призываем в Следственную Комиссию и там познакомился и сблизился с одним из членов её, также немцем, генерал-адъютантом Бенкендорфом, чрез которого надеялся он успеть в одном важном предприятии. Первый раз еще генерал сей является в моих Записках, и потому да позволено мне будет вкратце изобразить его.

Описывая странствование мое по Сибири, говорил уже я о меньшем брате его Констан-

тине Христофоровиче, отлично благородном и любезном человеке, которого с тех пор потерял я из виду: ибо после того служил он в разных посольствах, а в 1812 году поступил в военную службу, сражался в боях и жил вне Петербурга. Оба брата, Александр и Константин, в малолетстве лишившись матери, которая была другом императрицы Марии Федоровны, возросли под её покровительством и были воспитаны в пансионе аббата Николя. Кажется, где-то сказал я, в чём состояло это воспитание: светское образование было единственною целью его, а о высших науках там никто не помышлял. Для дальнейшего усовершенствования молоденького флигель-адъютанта Александра Бенкендорфа посредством путешествий, под разными предлогами и с разными ничтожными поручениями, сперва беспрестанно рассылали его по всем концам России, потом в чужие государства, также в Турцию и на Тонические острова. Нигде почти долго не останавливаясь, проскакал он великие пространства, с невежественностью тогдашнего воспитания, с ветренностью юноши и с рассеянностью наследственною в се-

мействе Бенкендорфов. Так прошли первые годы самой первой молодости его, как вдруг начались Наполеоновские войны, и десять лет сряду Россия не могла вложить в ножны меча своего. В сих войнах он везде участвовал, был отменно храбр и счастлив и также, как Милорадович, нигде не был даже оцарапан. Он быстро поднялся в чинах; но император Александр, который так хорошо умел распознавать людей, хотя в угождение матери своей и сделал его своим генерал-адъютантом, но при себе никогда не хотел употреблять, и он почти забытый, безвестный в мирные годы командовал в Харькове кавалерийской дивизией. Там он, говорят, ничего не читал, совершенно презирал гражданскую службу и её дела, а занятиями военной беспрестанно жертвовал своим забавам и любовным интригам.

Кто бы мог подумать тогда, что скоро участь многих, премногих умных и честных людей будет зависеть совершенно от этого пустоголового создания. Новый Царь, конечно, не обманулся на счет его беспредельной к нему преданности: за него дал бы он себя из-

рубить в куски; но не нужно ли было взять в соображение и способности человека? Для занятия важной государственной должности никто менее его их не имел. То и надобно было Фон Фоку. Он видел старость, бессилие и приближающееся падение начальника своего Ланского и задумал часть свою поставить гораздо выше, на более прочном и обширном основании. Вероятно он представил Бенкендорфу, как выгодно будет ему в руках своих иметь большую власть без больших забот и без всякой ответственности и в тоже время чрез то находиться в ежедневных и непрерывных сношениях с Государем. Он предложил ему Министерство Полиции, но уже в новом виде и под другим именем и составил оному проект. Как ведено было это дело, были ли кто призван на совет? Вот что, кажется, никому не было известно, ибо вскоре после коронации сие новое учреждение было для всех неожиданною новостью.

Особая канцелярия по секретной части переименована в III Отделение собственной Его Величества Канцелярии; Фон-Фок остался оного управляющим, а Бенкендорф назначен

главноуправляющим. Но главное состоит в том, что он назначен вместе и шефом корпуса жандармов, которому поручен был надзор за порядком в целом государстве. Этот корпус составлен был из нескольких округов; к каждому из них принадлежало несколько губерний. Окружными начальниками назначаемы были генералы, а в губернии определяемы были один штаб и несколько обер-офицеров, и весь этот обсервационный корпус сформирован был к концу года, как ни трудно было сначала склонить несколько порядочных людей войти в него. Голубой мундир, ото всех других военных своим цветом отличный, как бы одеждою доносчиков, производил отвращение даже в тех, кои решались его надевать.

Учреждение сего нового рода полиции, кажется, имело двоякую цель. Жандармы обязаны были открывать всякие дурные умыслы против правительства и если где станут проявляться смелые, политические, вольнолюбивые идеи, препятствовать их распространению. Это было немного трудно: ибо число зараженных либерализмом и непричастных к делу 14 декабря было не велико, и они более

чем когда притаились и с великою осторожностью сообщали свои мнения. Потом всякий штаб-офицер сего корпуса должен был в губернии, где находился, наблюдать за справедливым решением дел в судах, указывать губернаторам на всякие вообще беспорядки, на лихоимство гражданских чиновников, на жестокое обращение помещиков и доносить о том своему начальству. Намерение, конечно, казалось наилучшим, но к исполнению его где было сыскать людей добросовестных, беспристрастных, сведущих и прозорливых? Разве не было губернаторов, городских и земских полиций и, наконец, прокуроров? Которые должны были наблюдать за законным течением дел? Неужели дотоле не было в России ни малейшего порядка? Неужели везде в ней царствовало беззаконие? А если так, могла ли всё исправить горсть армейских офицеров, кое-как набранных?

Даровать таким людям полную доверенность значило лишать её все местные власти, высшие и низшие. Многим из штаб-офицеров, поступивших в жандармскую команду, было любо жить в губернии, совершенно

независимыми, без всякого постоянного, определенного занятия и для всех быть грозою. От самых неблагонамеренных людей, изгнанных из общества, принимали они изветы и с своими дополнениями отправляли в Петербург. Если по следствию окажется, что их донесения были ложны, что за беда? Они от усердия могли ошибиться и не подлежали никакой за то ответственности. И где было искать защиты против них губернским начальствам, а кольми паче частным людям, когда и сам глава их Бенкендорф некоторым образом поставлен был надсмотрщиком над другими министрами? Вся спокойная, провинциальная, деревенская жизнь была оттого потревожена. Можно себе представить какая да пропустят мне сие слово какая деморализация должна была от того произойти!

В сентябре сия черная туча поднялась над Россией и на многие годы возлегла на ее горизонте. Конечно время ослабило её действия и ужас, но она не дала вполне насладиться счастьем, которым бы без неё мы пользовались в первые годы царствования справедливейшего из государей. Её появление опечалило да-

же окружавших его приверженцев, и я под присягой могу сказать, что не встречал ни единого человека, который бы учреждение сие одобрил, который бы говорил об нём без крайнего неудовольствия.

Один только человек был совершенно доволен: разумеется, г. Фон-Фок. Он хотел, чтобы просвещенный по мнению его образ мыслей не совсем погиб в России и людей имеющих его намерен был защищать от преследований. Вообще же, надобно отдать ему сию справедливость, он совсем не был зол и, повторяю, ни чьей не искал гибели. Безграмотный его начальник почти всегда не читая подписывал бумаги и таким образом иногда слепо и неумышленно губил людей, и потому Фон-Фоку было весьма удобно большую часть ложных доносов, не доводя до его сведения, бросать в камин, тем более что беспрестанно увеличивающееся число их было не в соразмерности с числом трудящихся в канцелярии. Бенкендорф тогда только ускользал из рук его, когда находился под каким-нибудь посторонним, сильным влиянием.

Что сказать мне еще о сем последнем? Все

познали, что воскрес Милорадович, но только на том свете в короткое время выучившийся хорошо говорить по-французски, а впрочем всё тоже фанфаронство, всё тоже пустословие.

Когда дошли до меня вести о жандармерии, не понимаю, отчего я не обратил на то особого внимания. Но вскоре я приведен был ею в ужас; первые её удары должны были пасть на мое семейство. Это требует подробного рассказа.

Не раз приходилось мне говорить о старшем сыне сестры моей Алексеевой, Александре Ильиче, которого оставил я в Ельце адъютантом при пьяном генерале графе Палене. Из особой милости к отцу, покойный Государь перевел потом обоих сыновей его в гвардию: старшего в конно-егерский полк, а меньшего в новый Семеновский. Хотя гвардейский конно-егерский полк стоял в Новгороде, однако служивший в нём уже штаб-капитаном Алексеев под разными предлогами жид почти безвыездно в Петербурге. Что он в нём делал? Почти одни шалости. Он любил поплясать, погулять, поиграть, но отнюдь не был

буяном; напротив, какая-то врожденная ласкательность (*calinerie*) всегда в отношении к нему склоняла родителей и начальство к снисходительности, может быть, излишней.

Я сам был обезоружен его ласковым и услужливым характером, как вдруг в начале октября я узнаю, что он схвачен и под караулом отправлен в Москву. Вот что случилось. Кто то еще в марте дал ему какие-то стихи, будто Пушкина, в честь мятежников 14 декабря; у него взял их молоденькой гвардейской конно-пионерный офицер Молчанов, взял и не отдавал, а тот об них совсем позабыл. Так почти всегда водилось между армейскими офицерами: немногие знали, что такое литература; возьмут, прочитают стишки выдаваемые за лихие, отдадут другому, другой третьему и так далее. Тоже самое и с книгами: тот, который имел неосторожность дать их и кому они принадлежат, никогда их не увидит.

Между тем лишь только учредилась жандармская часть, некто донес ей в Москве, что у офицера Молчанова находятся возмутительные стихи. Бедняжку, который и забыл об них, схватили, засадили, допросили, от кого

он их получил? Он указал на Алексеева. Как за ним, так и за Пушкиным, который всё еще находился ссыльным во Псковской деревне, отправили гонцов.

Это послужило к пользе последнего. Государь пожелал сам видеть у себя в кабинете поэта, мнимого бунтовщика, показал ему стихи и спросил, кем они писаны? Тот не обинуясь сознался, что он. Но они были писаны за пять лет до преступления, которое будто бы они восхваляют, и даже напечатаны под названием Андрей Шенье. В них Пушкин нападает на революцию, на террористов, кровавых безумцев, которые погубили гениального человека. Небольшую только часть его стихотворения, впрочем, одинакового содержания, неизвестно почему цензура не пропустила, и этот непропущенный лоскуток, который хорошенько не поняли малограмотные офицерики, послужил обвинительным актом против них. Среди бесчисленных забот Государь вероятно не захотел взять труда прочитать стихи; без того при малейшем внимании увидел бы он, что в них не было ничего общего с предметом, на который будто

они были написаны. Пушкин умел ему это объяснить, и его умная, откровенная, почти-тельно-смелая речь полюбилась Государю. Ему дозволено жить где он хочет и печатать что он хочет. Государь взялся быть его цензором с условием, чтобы он не употреблял во зло дарованную ему совершенную свободу, и до конца жизни своей остался он под личным покровительством Царя.

Иная участь ожидала бедных офицеров. По крайней мере Молчанову во мзду его признания дозволено было оставить службу. Но Алексеев, который не хотел или, лучше сказать, не мог назвать того, кто дал ему стихи, по привезении в Москву, где нет крепости, посажен был в острог, в сырую, только что отделанную комнату, в которой скоро расстроилось его здоровье, и он едва не потерял зрение.

И для родителей его в тоже время были ужасные сцены. Отец мало выезжал и редко читал письма от сыновей, а мать всемерно старалась скрыть от него постигнувшее их несчастье, предупреждая посетителей, чтобы они ничего ему о том не говорили. Вдруг вбе-

гает без доклада какой-то адъютант и, не поклонясь даже генералу, начинает сими словами: «Ваш сын преступник, злоумышленник против Государя». Как громовой удар были эти слова для престарелого воина, можно сказать, закаленного в верноподданнической преданности к престолу. Как, что? и пошатнулся. Адъютант продолжает: «Извольте же сейчас отправиться со мною к генералу Бенкендорфу, там увидите вы сына вашего и, может быть, склоните его сказать, наконец, правду». Послушен страшному адъютантскому призыванию, он приказал заложить карету. «Нет, сказал тот, генералу некогда вас долго дожидаться; извольте со мною ехать на моих парных дрожках: они вас доvezут назад». Всё это в присутствии изумленной, отчаянной сестры моей. Вероятно следуя в подобных случаях примеру начальника своего, нового генерал-инквизитора, вот как поступал офицер с человеком, которого имя известно было всей армии и который не раз командовал корпусом. Совсем растерянный, Алексеев машинально повиновался. Бенкендорфа он уже не застал, а в присутствия дежурного генера-

ла Потапова грозил сыну проклятием, если не объявит истины, а тот клялся Богом со всеми святыми, что решительно не помнит, от кого получил несчастные стихи. Как легко можно было видеть, что тут не было ни упрямства, а еще менее благородной твердости в испуганном, ветреном молодом человеке. Истерзанный отец воротился домой и в тот же день почувствовал первый легкий удар паралича.

Нет любви сильнее материнской, а где любовь, тут нет рассудка: конечно, его было мало в предприятии моей бедной сестры. Она решилась пасть к ногам Императора и просить о помиловании сына, объяснив по возможности его безвинность. В Москве этого никак сделать было нельзя. Узнав, что в назначенный день Государь с Императрицею намерен посетить Воскресенский монастырь, Новый Иерусалим именуемый, в 45 верстах от Москвы, она, собравшись с силами, отправилась туда в сопровождении одного доброго друга нашего семейства Товарова, о котором уже мне случалось говорить: одной ей было бы слишком страшно. При выходе из келий архимандрита, в сенях дожидалась она цар-

скую чету. Она сделала шаг вперед, но онемела, не могла вымолвить слова и только что указала на грудь, где находилась просительная бумага. «Что вам надобно? Как вы сме-ли?» сказал ей прогневанный Государь. Более не могла она расслышать, ибо действительно пала к ногам его, только без чувств. Говорят, будто вид отчаянного безумия на лице её встревожил, испугал чувствительную Императрицу вместо того, чтобы возбудить в ней сострадание. Она очнулась в какой-то кухне, куда была отнесена; присланный доктор приводил ее в чувство я старался успокоить, уверяя, что её бумага, взятая во время её беспмятства, находится в руках у Государя. Она могла опасаться, что ее посадят под караул, а такая снисходительность подала ей хотя слабую надежду.

Всё было тщетно. Бенкендорф не хотел выпустить из рук своей жертвы; как было ему сознаться, что первое действие его было промахом? Он представил обвиняемого великим шалуном, что было и правда; но он по самом себе мог знать большую разницу между либералом и *libertin*. Меньшой Николай Алексеев

попросил его о дозволении повидаться с заключенным братом и за то, яко подозрению подлежащий, из Семеновского полка тем же чином переведен был в армейский, находившийся в Рязани. Тут уже видно явное гонение. И так злополучие, во образе безжалостного глупца, вдруг налегло на всё семейство, дотоле спокойное и любимое в Москве.

Чем же всё это кончилось? Обвиняемый был отправлен к полку в Новгород, где велено содержать его под строжайшим караулом, пока не допытаются от него истины. По снисхождению начальства, могли его посещать однополчане. Кто-то из них назвал при нём одного Леопольдова. Глаза у него засверкали; как! что! точно так! воскликнул он: так называется человек, который дал мне стихи. Этот Леопольдов, довольно еще молодой, из духовного звания, был учителем в одном из приходских училищ Петербурга и в то же время преподавал русский язык и Закон Божий в частных домах, между прочим молодому Молчанову. После того был вхож в дом его родителей, где мельком видел его Алексеев. Не знаю, с чего он предложил ему стихи Пушки-

на; тот полюбопытствовал их видеть, и он ему доставил их. Потом Молчанов пожелал их иметь, а как у Леопольдова не было другого списка, то он сказал ему, что может получить от Алексеева, который впоследствии признавался мне, что их даже не читал. Шесть месяцев спустя, не знаю каким образом, Леопольдов находился в Москве, и он-то был тайным доносчиком на юношу, которого семейство ему благодетельствовало.

Казалось, этим объяснялось всё дело; не могло оставаться ни тени подозрения на счет дурного умысла Алексеева; но, видно, по законам г. Бенкендорфа для обвиненных не было оправдания, а следовало неизбежно наказание. Несчастливого молодого человека нельзя же было сослать в Сибирь. Из гвардейского тем же чином перевели его в армейский конно-егерский полк, с лишением права на производство и с воспрещением не только подавать в отставку, но даже проситься во временный отпуск. Года через два вымолили ему увольнение от службы. А Леопольдов? И его недели ша две посадили под караул за неосновательный донос, а потом месяца че-

рез три был он помещен в тайную полицию. Это было началом ужасных нелепостей Бенкендорфовских, которые быть может еще встретятся под пером моим, как ни избегать я буду говорить о них.

Если часть семейства моего, живущая в Москве, много в это время пострадала, то по крайней мере другая, не покидавшая Пензы, продолжала жить в ней спокойно, согласно, не испытывая горестей. Мне же предстояла если не беда, то великая неприятность.

Еще до кончины покойного Императора, Сенату дозволено было принимать жалобы на решения Бессарабского Верховного Совета, не смею сказать по настаиваниям моим у Воронцова, по крайней мере согласно с постоянными моими желаниями. Вот почему молдавской бояр Николай Рознован, еще при начале года, приехал в Петербург хлопотать по делам и тяжбам отца своего. Я нигде не бывал, следовательно не мог его встретить, а только слышал, что он оспаривает долговую претензию бояра Гики на брата его. Так как в этом деле был я человек посторонний, дав ему, правда, законный ход, но не участвовавший в сужде-

ниях по нём: то и могу сказать, что пропустил я это мимо ушей. В болезненном состоянии, в котором я находился, никто не хотел мне сказать, что и на меня подана от него жалоба за то, что я отцу его, если припомнит читатель, отказал в выдаче паспорта для вывоза за границу каких-то сокровищ. Он был здоров, богат, всюду разъезжал, где нужно низко кланялся, где нужно сыпал золото, а я в одном с ним городе про то и не ведал. Главная для меня беда была в том, что он нашел доступ к министру юстиции князю Лобанову-Ростовскому, который, Бог весть за что, ненавидел графа Воронцова, тогда как я, не знаю почему, слыл его любимцем. Разъяренная обезьяна (ибо на сие животное никто так не походил, как Лобанов) не устыдилась показать тут явное пристрастие. Поочередно приглашал он к себе сенаторов (как узнал я после) дабы склонить их на вопиющую несправедливость. Один только из них Павел Львович Батюшков показал некоторое упорство. Исправляющего же должность обер-прокурора, молодого еще Григория Петровича Митусова, честнейшего и благороднейшего, угрозой лишить его ме-

ста принудил он пропустить решение Сената.

Я узнал о нём только в начале ноября. В удовлетворение за великие убытки, понесенные отцом Рознованом, в следствие отказа моего выдать ему паспорт за границу, и в обеспечение уплаты за то повелено первоначально наложить запрещение на всё мое имущество, а цынутному, т. е. уездному суду, рассмотреть, до чего могут простираться эти убытки. Розновану хотелось только отомстить мне за пренебрежение в его молдавскому величию; далее он не думал простирать претензий своих, зная, что с меня нечего взять. Он успел в своем намерении, ибо в первую минуту я был поражен сим ударом. Если бы он направлен был и не на меня, мне всё больно было бы видеть, что первым действием русского Сената в делах бессарабских, которого власть так усердно я призывал, было принесение в жертву злой прихоти молдавского богача безвинного русского чиновника.

Стыдно признаться, а досада, которую во-чувствовал я, меня оживила. Я совершенно упал духом, ничто меня сильно не тревожи-

до, не печалило, не радовало; тут я вдруг воспрянул и, ни с кем не советуясь, сам написал длинную просьбу на Сенат. В ней, стараясь доказать, как поступил он противозаконно, изъяснял я следующее: 1-е, что Рознован отнюдь не торговый человек и не товары для продажи мог он иметь намерение отправить в Яссы, следственно от нахождения пожитков его в том или другом месте не могло последовать для него никаких убытков; 2-е, что вообще он ничего не думал отправлять; сие доказывается тем, что он мог обратиться к прибывшему через два дня после отказа моего, приятелю своему губернатору Катакази, и он сего не сделал; 3-е, что прежде, чем утруждать Сенат, следовало бы ему жаловаться наместнику; 4-е, что департамент судный или апелляционный рассматривает одни только тяжёбые дела, а отнюдь не имеет права входить в суждения по жалобам на несправедливые действия губернаторов, ибо сие подлежит рассмотрению одного первого департамента Правительствующего Сената; 5-е, что по настоящему делу обвиняемый ни разу не был даже спрошен; 6-е, что Сенату воспрещено не толь-

ко отдавать под суд начальников губерний или делать какие-либо с них взыскания, ни даже объявлять им выговоров без Высочайшего разрешения и, наконец, 7-е, что я, действовавший тут, не как частное лицо, а как управляющий областью, некоторым образом предан был суждению уездного суда, чему до толе не видано было примеров.

Мне жаль, что я не сохранил списка с этого прошения на Высочайшее имя. Сколько припомню, в нём были выражения довольно дерзкие и не совсем почтительные к Сенату. Что делать? Потухшее воображение во мне опять возжглось, остывшая кровь как будто закипела, и неудивительно, если, несмотря на ясность доводов, бумага сия отзывалась как-ким-то бредом.

Такого прошения никак принять было нельзя. К счастью моему, незадолго перед тем назначен был статс-секретарем у принятия прошений предобрейший Николай Михайлович Лонгинов, родной брат соперника моего Никанора. Он начал поприще свое в Лондонской, сперва духовной, потом светской миссии. Оттуда прямо взят он был секретарем к

императрице Елисавете Алексеевне и остался в сем звании до кончины её. При ней мог он заниматься только по части благотворительной и по части женских патриотических заведений, а с делами правительственными и судебными никогда дотоле не встречался. Но у нас, как говорится, и шило бреет, и всякий горазд на всё. Лонгинов всем был обязан роду Воронцовых, а как он умел помнить добро и почитал меня великим Воронцовистом, то и готов был всё для меня сделать. По тогдашней неопытности своей он не мог заметить, сколько было неприличного в прошении, которое с авторским самолюбием я сам ему прочитал. Но канцелярия его ужаснулась и требовала, чтобы я иное вымарал, иное совсем изменил. Я устоял на своем, и жалоба моя безо всякой перемены вместе с другими скоро представлена была Государю, который повелел рассмотреть ее в Общем Собрании Сената. Вот чем на этот раз кончилось сие дело.

Телесные недуги мои, как уже сказал я, совсем прекратились, но оставили во мне какую-то апатию, умственную лень, которая де-

лала меня ко всему равнодушным и неспособным. Неумышленно Рознован оказал мне услугу: решение Сената, согласно с желанием его, дало мне толчок, который пробудил меня. Я начал разъезжать, действовать, чувствовать жизнь вполне. Всё происходившее около меня к тому способствовало. Приближался конец траурного года и, как уверяли, молодая царская чета ожидала его с нетерпением, дабы, предаваясь увеселениям, и в городе возбудить охоту к общественным забавам. В это время, и именно тогда только, это могло быть даже полезно. Последние два-три года царствования Александра Петербург, казалось, разделял его уныние, а в истекающем году видел по большей части одни мрачные картины: нужно было шумом веселий несколько заглушить и изгладить воспоминание о них.

Несколько слов о наших внешних делах. Твердость, оказанная Николаем, в решительную минуту вступления его на престол, изумила и Европу: она познала, что сильная Империя не в слабых руках и что преемник Александра не менее его будет иметь влияния на политические дела её. И оттого все ев-

ропейские государства с почтительными приветствиями отправили к нему знаменитейших людей: от Англии приезжали Веллингтон и герцог Девонширский, от Австрии эрцгерцог Фердинанд д'Эсте, от Франции маршал Мармон, от Пруссии принц Вильгельм, родной брат Императрицы, от других по большей части члены их владетельных фамилий. Отчего же, когда все великие державы искали дружественного союза с новым Царем, когда он был в добром согласии с целым светом, одна Турция, ослабленная, едва отдохнувшая от тяжких ударов, последнею войною с Россией ей нанесенных, озабоченная внутренней кровавой борьбой с возмущившимися греками, отчего она так неохотно подавалась на миролюбивые и снисходительные его предложения? Отчего Персия, также испытавшая силу русского оружия, безо всякого повода дерзнула ворваться во владения его, не убоясь даже страшного на Востоке имени Ермолова?

Я не слыхал, чтобы кто-нибудь задал себе этот вопрос. Ныне не трудно бы было разрешить сию задачу. Одна многочисленная, могущественная нация, окруженная морем и за-

щищаемая целыми рядами плавучих крепостей, гордится своим богатством, своею свободою, безопасностью своего положения, почитает себя первою в мире и стремится в преобладанию в нём. Её правительство, не только разделяя сие мнение и сии надежды, внушает их всем жителям и тем более утверждает над ними свою власть. Один человек, которому примера не было в веках, хотел и умел поставить преграды её беспрестанно возрастающей силе. Он пал, и соперник его на твердой земле заступил его место. Не знаю, кто был ей ненавистнее, великий ли Наполеон, распространявший везде войну, или впоследствии времени величественный Александр, водворявший повсюду мир? Привыкнув против явного врага своего нанимать военные силы европейских государств, трудно ли ей даже на союзника восставлять непросвещенные азиатские правительства, действуя на них тайными происками и подкупом?

Известие о вторжении Аббаса-Мирзы в ваши пределы получено было в Москве за неделю до коронации. Ермолов не дремал: он знал о приготовлениях персиан, об умножении их

войск на границе и требовал, чтобы и его корпус был усилен несколькими дивизиями, дабы на первый случай дать им отпор. По какому несчастью сей человек, столь монархически самовластный, был ненавистен придворным и прослыл злым либералом, хитрым и непроницаемым? Над ним парили подозрения, как говорят французы. Казалось, что происшествие 14 декабря и его последствия должны были на счет его открыть глаза: ни мало, зная беспредельную к нему любовь войска, полагали, что с умножением его, он тем удобнее может отложиться от России и на Кавказе, и за Кавказом основать для себя особое государство (кому первому могла придти столь нелепая мысль?), и отказали ему в помощи.

Когда узнали о первых военных действиях персиан, отправили к нему не войско, а генерал-лейтенанта Паскевича, в виде помощника, а более в качестве соглядатая, что должно было крайне его оскорбить. Армии был Паскевич весьма известен, а России совсем нет. Он отличался необычайным мужеством и к тому имел страсть читать книги о военном

искусстве; говорили, что он проглотил всю военную науку. Достаточно ли сего, чтобы быть великим полководцем? Я полагаю, что достаточно, если присоединится к тому необыкновенное, постоянное счастье. Я никогда не видал Паскевича, а еще до побед его много слышал о нём. Он страдал глазами в одно время со мной, и нас лечил один медик. Словоохотный Груби, приезжая от него иногда прямо ко мне, рассказывал подробно об образе его жизни, о его характере, о способах, которые употреблял он к его излечению; особенно последнее выслушивал я всегда с величайшим вниманием. Обыкновенно мы принимаем большое участие в людях, даже нам незнакомых, когда они одержимы одинаковыми с нами страданиями. Если верить Груби, тоже самое было и с Паскевичем, который всегда спрашивал о состоянии здоровья ему вовсе неизвестного человека. Памятно мне, что, по словам Груби, главною кручиною для генерала была невозможность продолжать чтение Кесаревых Комментариев.

Об этой новой войне сначала у нас как-то мало заботились: она казалась в расширен-

ном круте продолжением нескончаемой войны нашей с горскими народами. Гораздо более всех занимал новый образ жизни в столице. В знатных домах загремела музыка, зачались пиршества; на эти балы никто сперва не дерзал приглашать Царя и царскую фамилию, но из снисходительности и для поощрения они сами стали называться на них. Разумеется, что один двор и высшее общество тогда участвовали только в сих увеселениях; но можно было думать, что и общей массе, разевающей на то рот, становилось веселее. Одним словом, в соревновании со скучным Берлином, одинаковым родом забав, Петербург скоро превзошел его.

Где мне было стараться попасть в сии шумные, блестящие собрания. Они бы меня и утомили. Я был счастлив уже и тем, что мог опять проводить вечера в обретенных мною прежних, коротких, приятельских домах. В числе их был один, который приятельским я назвать не могу. Мне бывало довольно весело на холостых вечерах у почт-директора Константина Булгакова, который весьма ласково пригласил меня на них. Обыкновенно не по-

кидал я одной гостиниой, где восседала супруга его Марья Константиновна, женщина чрезвычайно веселая, даже через чур, с которой хорошо познакомился я в Кишинёве, когда она приезжала навестить в нём родителя своего Варлаама. Эта комната была для меня единственным убежищем от табаку, которым все другие были накурены. Мне приходило в голову: что если бы привести в этот дом незнакомого человека с завязанными глазами и посадить его в бильярдной? Он задыхался бы от табачного дыма, услышал бы стук ногою иного нетерпеливого игрока, который после неудачной били, произносил бы слова саперлот и сапристи; услышал бы громкий хохот неизвестной ему женщины. Если бы спросить у него, как он думает, где он находится? Он верно отвечал бы: в самом простом немецком трактире, и слышу голос содержательницы его. Когда спала бы с него завязка, как удивился бы он, увидя графа Литту, князя П. М. Волконского и других знатных людей, посетителей сей аристократической таверны. Приметным образом менялись нравы; начинали отбрасывать узы пристойности и при-

личия... Булгаков узнав, что меня тревожит дело с Рознованом, предложил мне свои услуги, или лучше сказать, свое покровительство; во время отсутствия моего брался он записки по сему делу сам развозить по Сенаторам и убеждать их в мою пользу. «Да это невозможно, со смехом отвечал я ему: на днях узнал я, что вы тоже самое делали для Рознована, хотя знали, что он мой противник; как уже вам действовать против самого себя?» — «Что за важность? Сказал он. Мне всё равно, лишь бы помогать хорошим людям; положим, что я был неправ, то вот случай исправить то». Я его поблагодарил и просил только об одном: не мешаться в это дело...

Я должен упомянуть здесь еще об одном возобновленном в это время знакомстве и вывести на сцену одного человека, и прежде того уже сделавшегося известным. Да вспомнят найденного мною в Аккермане цынутного комиссара Буткова, по моему представлению определенного областным казначеем, которому чрез графа Воронцова успел уже я выпросить Аннинской крест в петлицу, не весьма молодого, хворого, холостого, честного, хотя и

богатого. У него был старший брат, Петр Григорьевич, человек умный, проворный, сведущий, не совсем добродетельный. Некогда был он правителем канцелярии при начальствовавшем в Грузии генерале Кнорринге, а впоследствии находился по аудиторiatской части в Молдавской армии. Тут составил он тесную связь с адъютантом главнокомандующего графа Каменского, Закревским. Сей последний был уже Финляндским генерал-губернатором, а Бутков правой его рукой по управлению сим великим княжеством; оба жили однако же в Петербурге. От младшего Буткова имел я письмо к старшему, отцу довольно большего семейства, что умножало его братскую нежность к хворому холостяку. Я не мог довольно нахвалиться его приемом, и когда мне стало лучше и я посещал его, сказал он мне, что генерал Закревской очень желает меня видеть, и мы вместе к нему отправились. Всё вышесказанное вело к изображению сего лица и к краткой о нём биографии.

Сын самого бедного дворянина Тверской губернии, Закревской воспитан был в Кадетском Корпусе и выпущен из него прапорщи-

ком в Архангелогородский пехотный полк. Какая участь могла ожидать офицера малограмотного, без всяких военных познаний и, как уверяют свидетели, не одаренного даже отважным, воинственным духом? Пробыв годов десятка полтора в армии, оканчивал бы он свое поприще где-нибудь исправником, много что городничим. Но есть нечто непонятное в мире, всемогущее, слепое счастье, наперекор рассудку, всем вероятностям, неотвязчивое от одних, для других всегда недоступное. Шефом того полка, куда попал сей юноша, был граф Каменской, немного постарее его. Он имел страсть к игре, а счастье тогда уже начинало ласкать не опытную молодость Закревского: от нужды принялся он за карты и почти всегда оставался в выигрыше. Узнав о том, Каменской обратил внимание на едва замеченного им дотоле офицера, заставил его вместо себя метать банк, приблизил к себе и, наконец взял к себе адъютантом.

Для успехов у Закревского было нечто гораздо лучше высокого ума: в нём были осторожность, сметливость и какая-то искусная вкрадчивость, не допускающая подозрения в

подлости. Для Каменского он сделался необходимостью; однако к чему бы повела его милость одного из младших генералов русской армии? Но загорелась война неугасимая, и молодому герою, начальнику его, открылся широкий путь к блестящим успехам; и тот, который в конце 1805 года командовал полком или бригадой, в начале 1810-го предводительствовал армией против турок. Среди сражений находился ли при нём любимый адъютант его, разделял ли его опасность? Это не совсем известно; по крайней мере вслед за ним быстро подвигался он в чинах и за отличие получал военные награды. Впрочем для военных подвигов много молодых людей окружало Каменского, а этот был более комнатный, домашний адъютант и занимался преимущественно его собственными, хозяйственными делами.

Я имел случай познакомиться с ним в 1809 году, по окончании Шведской войны, когда зять мой раненный генерал Алексеев приехал в Петербург. Его посещал Каменской, иногда и адъютанты его. Закревской был тогда капитаном и в крестах. Главным достоин-

ством показала мне в нём скромность его [70]: он лишнего слова даром не выпускал; в речах его с малознакомыми была учтивость и пристойность. От того-то мне казалось больно, что Каменской иногда понукает им как слугой; может быть у армейских генералов такое обращение с любимыми адъютантами было общепринятым обычаем.

Во время Турецкой кампании, играл он потом довольно важную роль правителя военной канцелярии главнокомандующего. Тут имел он возможность сблизиться с двумя возникающими знаменитостями, Ермоловым и Воронцовым. Блудов был тут главным лицом по части правительственной и дипломатической; отношения его к Каменскому были совсем иные, родственные, почти братские, чему Закревский завидовал, и от того-то между ними господами, кажется, никакой симпатии никогда не было.

В начале следующего года Каменской скончался в Одессе на руках неотлучного своего Закревского и завещал ему триста душ. При составлении духовной, видно, не были соблюдены все формальности; ибо старший

брат Каменского, граф Сергей Михайлович, который впрочем много обязан был меньшому брату, опровергнул ее и не захотел исполнить его последней воли. Счастье и тут послужило Закревскому. Этот Сергей Михайлович был вообще презираем; не деликатность его поступка всех паче вооружила против него, а Закревского сделала интересным. Цари в окружающих любят находить беспредельную преданность и высоко ценят ее когда она оказывается и начальству. Сам Государь велел военному министру Барклаю, в утешение Закревского, взять его к себе и, кажется, с чином подполковника перевести в гвардию. Нет сомнения, что без того, получив имение, он оставил бы службу и покойно зажил бы помещиком; но судьба влекла его выше. Существование его в Петербурге было впрочем незavidное; я встречал его нередко в доме тетки Каменских, вдовы сенатора Поликарпова. Он был беден, промышлял кое-как картишками; как говорили, гордиться ему было нечем, и он ни с кем не менялся в обращении.

Перед самым открытием отечественной войны 1812 года, великий делец при Барклае

полковник Воейков, по подозрению в связях со Сперанским, был удален. Никто на его место не был подготовлен; на первый случай Барклай приблизил к себе Закревского и взял его с собою в армию. После Бородинского сражения, великие неудовольствия, возникшие между Кутузовым и Барклаем, заставили сего последнего удалиться. Все находившиеся при нём захотели продолжать принимать участие в военных действиях; один только Закревский, может быть оглушенный громом сей ужасной битвы, пожелал сопровождать начальника своего в Петербург. И это послужило в его пользу. Государь, который особенно любил Барклая, увидел в этом новый опыт верности и преданности начальству. Последующие годы находился он неотлучно при Барклае и главной квартире; а в 1815 увидели мы его генерал адъютантом, в ленте и покровительственно всем кланяющегося. Между тем предался он всепредданнейшему князю П. М. Волконскому, который доставил ему место дежурного генерала главного штаба, т. е. директора инспекторского департамента. Лучше ничего нельзя было для него придум-

мать. Ничего кроме именных и формулярных списков тут не было; дело не головоломное: нужна была только великая точность, а в этом у Закревского не было недостатка. Когда в начале 1818 года двор находился в Москве, его вельможеские замашки внушили к нему почтение Москвитян и оттого легко было его сосватать на молодой, богатой наследнице, единственной дочери графа Федора Андреевича Толстого, который, если припомнят, был начальником Пензенского резервного ополчения. Всегда верный закону преданности, он оставил место свое, коль скоро и последний патрон его Волконский, одержимый тяжкими недугами, в 1823 году принужден был расстаться с должностью начальника главного штаба и уехать за границу. Он верно знал, что сие новое пожертвование не останется без возмездия. Мена не было в Петербурге, когда его сделали Финляндским генерал-губернатором. Каким образом это случилось, я вовсе не понимаю: жители Финляндии не знали и не знают поныне русского языка, а он не знал ни одного иностранного или, лучше сказать, ничего не знал. Но впрочем стра-

на сия управлялась особыми законами. Генерал-губернатор, как конституционный король, мог входить в дела только поверхностно. К тому же Закревский, в виде подручника и наперсника, призвал к себе на помощь грамотея Буткова.

По должности дежурного генерала хорошо ознакомился он с молодыми великими князьями Николаем и Михаилом, бывшими сперва бригадными, потом дивизионными начальниками в гвардии. По воцарении первого, мог он питать честолюбивейшие надежды. Предложив мне посетить его, Бутков вероятно имел намерение одолжить меня, и я за то благодарен ему; но сам я никак не ожидал величия, которое предстоит Закревскому. Один со мною в кабинете разговаривал он, можно сказать, приязненно, жалел о том, что я должен отправиться в отдаленное место, жалел и о том, что в Финляндии нельзя ландстевдингами (губернаторами) никого определять из русских: без того мне первому предложил бы такое место. Потом прибавил он с улыбкою: «Теперь я ничто; но кто знает, утро вечера мудренее, может быть и я на что-нибудь могу»

вам пригодиться, тогда смело обращайтесь ко мне, я рад буду, что могу, для вас сделать». За столь доброе намерение как было его не возблагодарить? Только, подумал я про себя, мудро, чтоб этот человек мог подняться еще выше и чтобы я мог воспользоваться его благотворными обещаниями, которых не требовал. Я от того так распространился о Закревском, что и он впоследствии имел некоторое влияние на судьбу мою.

В продолжение истекших лета и даже осени, куда мне было заниматься тем, что происходило и при дворе, и в обществе, и в политическом и в словесном мире? Всею оставался я чуждым. Тем более возбуждено было мое любопытство, когда опять начали приходиться ко мне силы. По случаю траура, почти целый год театры были закрыты. А между тем для драматического искусства наступила счастливая эпоха: оно было особенно покровительствуемо новым Государем, который любил зрелища. По раздраженному состоянию, в котором еще находились мои веки, не дозволено мне было употреблять лорнета; по близорукости же моей не мог я, без его помощи, яс-

но различать предметы на сцене, а слушать только что говорится. От того, несмотря на сильное желание, не спешил я посетить театр. Один раз, и всего только один раз, не мог я одолеть сего желания. Давали французскую комедию в пяти действиях *l'école des vieillards* (Школа стариков), сочинение Казимира Делавинья, и в ней главную роль играл нововыписанный, весьма хороший актер Жениес. Мне показалось, что она отзывается революционным духом; в ней были изображены гнусные поступки одного знатного человека Дюка, а выражения всех благородных чувств вложены в уста людей среднего состояния, которые покрывают стыдом и срамом, преследуют убийственными поношениями порочного и терпеливого Дюка. В своей Бессарабии, а потом в Крыму, я ничего не читал, кроме делового и от того никак не подозревал, что с некоторого времени, благодаря свободе книгопечатания, все французские романы и драмы наперерыв старались снабжать всеми добродетелями простонародие и унижать, топтать в грязь высшие сословия. Почти вся заграничная литература взяла это направле-

ние, и немного лет спустя обнаружались пагубные её последствия.[71] В этой главе, и без того уже слишком длинной, не место еще говорить как о ней, так и о нашей словесности в особенности.

Все ожидали великих перемен в министерстве, даже целого возобновления его. Оно совершилось медленно. Правда, в этом же году вновь учреждены два министерства: полиции или корпус жандармов, о котором уже я говорил, и другое министерство императорского двора, в вознаграждение примерной, испытанной верности князя П. М. Волконского. Все придворные части, гоф-интендантская, конюшенная, театральная и другие, не меняя названий, поступили в ведомство его в виде департаментов. Высшие придворные чины также как бы обратились в придворных директоров, что кажется не возвысило их звания. Из прежних министров старики сохраняли свои места и не показывали намерения оставить их; дабы склонить их к тому, придумано было средство и, кажется, что граф Кочубей подал о том мысль. Давно уже у министров не было товарищей; надлежало воскре-

свить сие звание. Каждому из тех, коих желали удалить, дано было по товарищу, сим же последним в руководство инструкция, дающая им право входить во все дела, и некоторым контролировать действия самих министров. Выборы были довольно счастливы: назначены люди зрелых лет, некоторые с большою опытностью, другие с достаточным умом и познаниями, чтобы скорее приобрести ее.

Первого назову я генерал-адъютанта князя Александра Сергеевича Меншикова, знаменитого потомка знаменитого предка, хотя он и не получил звания товарища, а дан был просто в помощь морскому министру адмиралу Моллеру. Он дотоле находился в военной сухопутной службе, но всегда имел страсть к морской части. Он только что воротился из Персии, куда отправлен был перед войной с чрезвычайным поручением и в удовлетворение желания его был переименован контр-адмиралом. Я скоро буду иметь приятный случай говорить пространнее о сем необыкновенном человеке.

Министру юстиции князю Лобанову нель-

зя было дать товарища менее чем князя, и от того на сие место назначен был сенатор князь Алексей Алексеевич Долгоруков. До полковничьего чина находился он в военной службе; но, познав, что рожден он более мирным, хотя деятельным гражданином, чем воином, перешел в статскую. Он был гражданским губернатором в Симбирске, потом в Москве. Даром, что князь, он был небогат и для поправления состояния два раза женился на купеческих дочерях, что влекло его в связи не совсем знатные. Он дружился преимущественно с людьми деловыми, и тяжёбые дела давали пищу его разговорам и помышлениям. Когда кто из сенаторов примется усердно за исполнение своих обязанностей (что бывает очень редко), когда он начнет пристально вникать в существо дел, его суждениям подлежащих, когда он сочленов своих будет избавлять от труда читать и мыслить, и они слепо будут приставать к его мнениям, то он прослышет величайшим дельцом. Когда же он из знатного рода (что почти никогда не бывает), то слава его от того еще более умножится. Долгоруков совсем оподъячился, когда его по-

садили в Сенат, и тогда уже он мог заменить лучшего обер-секретаря. Аристократия смотрела на него с почтительным изумлением: ей казалось сверхъестественным, что человек, из среды её, мог добровольно и исключительно посвятить себя сухим и скучным занятиям законоведения. Молва о нём доходила до Государя, и он сам избрал его почти преемником Лобанову.

Много распространяться о Блудове мне нечего: он давно и коротко знаком моим читателям. Говорили, что Государь имел намерение назначить его товарищем министра внутренних дел, но что будто бы князю А. Н. Голицыну, премного оскорбленному преемником его Шишковым, казалось забавным к престарелому ребенку приставить довольно молодого еще дядьку, того самого, который мальчиком писал на старика эпиграммы и которого имени тот равнодушно слышать не мог. Уверяли, будто Голицын представил Государю, что часть вверенная Шишкову, более согласна с прежними, любимыми занятиями Блудова, и он назначен был товарищем министра народного просвещения.

Некоторые из директоров департаментов Министерства Внутренних дел, старее в чине Дашкова, обиделись, когда его назначили товарищем к их министру. Но в этом человеке было нечто равняющее его тотчас с местом, которое он получал, как бы высоко оно ни было: какая-то нравственная сила, которой скоро и охотно покорялись ему подчиняемые. Он также не вовсе безызвестен моим читателям. Им предоставляю я посудить о чувствах, какие возбудили во мне сии назначения. Зависти я никогда не знал; правда, иногда сильно досадовал я, видя быстрое возвышение злых глупцов, ибо в этом я видел вред для службы и для общества; за то с какою искреннею, неописанною радостью смотрел я на успехи людей мною любимых и достойно уважаемых!

Нечто странное происходило тогда во мне. Расстройство нерв производит душевную, жестокую болезнь, которую не испытавшим ее трудно, почти не возможно объяснить. Когда эта боль совершенно утихает, остается еще волнение в крови, порождающее приятные и сильные ощущения; они неизвестны в спо-

койном, совсем здоровом состоянии. Два года сряду всё более и более прилеплялся я к Воронцову, высоко оценивал похвальные его свойства, украшал его теми, коих он и не имел. Всё что после происходило между нами, должно было охладить меня к нему. Горько было для меня разочарование и оставило некоторую пустоту в сердце. В первый раз в жизни почувствовал я в нём необходимость нового обожания, потребность нового кумира. Я не искал его: он сам собою представился. И это был человек, которого не более пяти раз случилось мне издали видеть, которого в этом году ни разу я не встречал, и это был Николай Павлович. Я от всей души любил кротость его брата, как всякий добрый русский гордился его славой и оплакал кончину его. Тут было совсем иное: восторженность, энтузиазм. Да не подумают однако, что счастливые, всем сердцем моим одобряемые его выборы, породили во мне сии чувства: нет! Но ясность в выражении желаний, но прямота его действий, но твердость его воли, но заметное его руссолубие: вот что пленило меня, ну, право как женщину. Продлилось ли сие обожание?

Здесь сказать еще не могу. Теперь я верую в одно Божество, Ему одному в душевном умилении поклоняюсь, Тому, Которому молиться учили меня еще с малолетства.

Давно уже наступила пора, прибавить ли? давно уже прошла пора отправиться мне к должности. Шесть месяцев после моего назначения я не думал еще трогаться с места. Осуждая Тимковского за его медленность, я не предвидел, что обстоятельства заставят меня поступить почти так же как он. Летом с болезнью моею мне не было возможности думать об отъезде. В начале осени, когда двор воротился из Москвы, пытался было я приткнуться к какому-нибудь министерству, чтобы оттуда занять потом иное место; но мне объяснили, что, если не вступая в должность, к которой назначен, буду проситься об увольнении от неё, то навсегда должен буду расстаться с службой. Потом пугала меня мысль о дальнем пути, в глухую осень и со здоровьем не совсем еще исправным. Что же более всего останавливало меня — был совершенный недостаток в деньгах. Небольшая их сумма от жалованья, сбереженная в Бессарабии

на черные дни, в Петербурге, была вся истрачена. Однако же я начал собираться в дорогу на обещанные мне займы тысячу рублей ассигнациями.

По службе принадлежал я тогда к двум министерствам, Финансов и Внутренних Дел. Вместе со званием Керченского градоначальника был я и начальником таможенного округа. Это поставило меня в необходимость перед отъездом явиться к министру Канкрину. Я знал, что он не благоволил к Воронцову и вообще к Новороссийскому краю, и не без труда решился на таковое предприятие; в исполнении его не имел однако ж причины раскаиваться. Я давно заметил, что весьма умные люди почти всегда меня любили. «Отчего бы это было?» спросил я себя. «Оттого, что, чувствуя свое Превосходство над тобою, они не могут видеть в тебе соперника; а между тем расстояние, тебя от них отделяющее, не так велико, чтобы язык их для тебя остался непонятным и чтобы ты не в состоянии был дать настоящую цену их умственным способностям; к тому же в разговорах с ними ты всегда наслаждается, и это у тебя написано на

лице». Этим ответом, самому себе данным, остался я доволен, хотя он и не совсем польстил моему самолюбию. После обмена нескольких слов с угрюмым Канкриным, сделался он как будто ласковее и повел меня в свой кабинет, где посадил против себя подле камина и начал пускать ужаснейшие облака табачного дыма. Глаза мои страдали; но я заговорился, заслушался. Я коснулся Бессарабии, сказав ему, что я был в ней единственным в России вице-губернатором, который не имел чести находиться под его начальством. Он с любопытством стал меня спрашивать о сем крае; пользуясь сим, я старался представить ему, сколь вредно для благосостояния области положение, в котором она находится, будучи стиснута на всём протяжении своим двумя таможенными линиями, Прутскою и Днестровскою. С гневом сказал он мне: «Я вижу, вы хотите лишить нас большего таможенного сбора; да этому никогда не бывать». Как умел старался я доказать ему, что промышленность и торговля страдают оттого в Бессарабии и что когда они оживятся, то гораздо более будет пользы для казны. Он воз-

ражал с жаром; оставаясь почтительным, я не уступал ему. Чем же кончилось? Он изрек: «впрочем, патушка[72], я не сказал последнего слова; я этим делом займусь, подумаю и, может быть, ваше желание исполнится». Главное желание мое состояло в том, чтобы, со снятием таможенной линии, маленькая Бессарабия удобнее могла быть поглощена огромной Россией. Дурак бы рассердился и, может быть, указал бы мне двери; но это был Канкрин. Зная сколь все минуты для него дороги и начиная чувствовать боль в глазах, я хотел было сократить свое посещение, но он меня удерживал. Увидев столь неожиданное для меня благорасположение его, я дерзнул обратиться к нему со всепокорнейшей просьбой: объяснил ему причины удерживавшие меня в Петербурге и просил, чтобы жалование мое (которое простиралось тогда до десяти тысяч рублей ассигнациями) за время просрочки не было задержано. Он подумал и сказал: это не совсем в порядке; но так и быть, я не забуду и распоряжусь, чтобы вы были удовлетворены». С предовольным сердцем и с распухшими веками воротился я домой.

Дни через два потом отправился я к министру внутренних дел за приказаниями и наставлениями. Это было не в первый раз, кажется в третий по возвращении его из Москвы. Старив Василий Сергеевич был добр и ласков; заставит, бывало, меня подождать с минуту, позовет потом к себе и усадит; но лишь только я заикнусь о чём-нибудь дельном, он меня перервет и найдет средство меня учтиво выпроводить. В бесконечной России, где со всех концов дела стекаются на один пункт, при централизации нашей, министру необходимы энергия и деятельность средних лет. Опасаясь быть раздавленным, семидесятилетний Ланской весьма искусно должность свою обратил в синекуру. Один он из министров не обиделся, когда ему дали товарища. Дашков еще довольно молод и не довольно чиновен, чтобы надеяться скоро занять мое место, вероятно подумал он. Передам ему власть, свалю на него всю обузу; пусть как хочет возится с директорами, а я спокойнее буду восседать на высоте. По крайней мере действия его были согласны с этим мнением. «Ну что вы?» сказал он мне. — Да

приехал откланиваться вашему высокопревосходительству. — «Куда же вы спешите, проживите еще с нами». — Я уже и так живу здесь седьмой месяц после назначения к должности и боюсь ответственности. — «О, это дело другое!» Вот наш разговор. Потом заговорили о чём-то другом.

Не понимаю и не помню как речь зашла о Варшаве и о живущем в ней, бывшем первом секретаре Китайского посольства Байкове, которого лет двадцать потерял я из виду. Одно уже имя этого наглого человека сделалось неблагопристойностью. Министр с веселым видом и весьма вольным слогом пустился мне рассказывать о его похождениях, о его любовных подвигах с польками. Старый Екатерининской гусарской полковник мне весь открылся. Моложе, я бы покраснел, а тут мне даже не стошнилось, и в свою очередь рассказал я два-три анекдота довольно соблазнительных; после того он не хотел меня выпустить. И вот человек, подумал я, который известен своим умом и своею опытностью! О старость, старость с молодыми привычками и желаниями!

О Керчи ни полслова; я знал, что всё будет напрасно. Но за градоначальника её начал я ходатайствовать. При определении в должность все губернаторы получают известную сумму на подъем и путевые издержки; о градоначальниках на этот счет ничего положительного не было сделано; вероятно все были довольно богаты, чтобы не хлопотать о том; мне трудно было без того обойтись. На просьбу мою отвечал Ланской: «пришлите мне записку, я представлю ее в Комитет Министров; я чай у вас там есть знакомые, да и я сам вас поддержу». Вследствие того получил я пять тысяч рублей ассигнациями.

«Да кстати, — вдруг сказал он, — представлялись ли вы Государю?» — Нет, я не почитал себя довольно важной особой, чтобы удостоиться сей чести. «Так если не представлялись, то должны по крайней мере откланиваться: это необходимо». Это меня изумило, то есть обрадовало и вместе испугало. С ребячества, по примеру немецкого учителя моего Мута, звал я наизусть генеалогию всех владетельных домов в Европе, но судьба не допускала меня находиться вместе с самым мелким из

их многочисленных членов. От того высоко стояли они в глазах моих: я смотрел на них почти как на исторические лица. И вдруг должен я предстать пред тем, который несравненно их выше, перед державной владыкой своим, увидеть наяву того кем я бредил!

Повинуясь необходимости, наперед поехал я к обер-камергеру графу Литте, который должен был меня представить. Уже в старости был он еще красивым геркулесом, с голосом стентора, и женат на одной из племянниц князя Потемкина, сестре графини Браницкой и княгини Голицыной. Я лично был с ним знаком, много раз обедал у него, но несколько лет как от вельможеских знакомств уклонился. Мне совестно было явиться к нему, однако он принял меня благосклонно, и вскоре потом был я извещен о дне представления.

Наступил для меня сей великий день, воскресенье 23 января 1827 года. В назначенный час явился я в Аничковский дворец, в котором по временам любил жить новый Император, как вместе напоминающем ему молодость его и семейное счастье. Прождав с некоторыми другими гражданскими чиновника-

ми первых пяти классов более получаса в какой-то зале, нас позвали в комнату пред царским кабинетом. Не буду описывать тревожного духа, с каким вошел я в нее. Отворилась дверь, и вышел человек весьма еще молодой, высокого роста, тоненький, жиденький, бледный, с нагнутыми несколько плечами и со взглядом совсем не суровым, каким ожидал я его. Откуда взялись у него через два года спустя, вместе с стройностью тела, эти богатырские формы, эти широкие грудь и плечи, это высокоподнятое величественное чело? Тогда еще ничего этого не было. Надобно было ему обойти наперед всех представляющихся, чтобы дойти до меня; ибо я всех моложе был чином: кажется, было мне довольно времени, чтобы ободриться; напротив, смятение мое всё более возрастало. Когда же с приветливою улыбкой он обратил ко мне несколько приветливых слов, то в одну секунду верноподданический мой страх превратился в неизъяснимую радость. Он сказал, «что Керчь по положению своему может сделаться большим, богатым, торговым городом, и что он ожидает того; ибо городок сей отдан в хорошие ру-

ки, прибавив, что много наслышан обо мне с самой лучшей стороны». Не помню, что отвечал я; но помнится только, что не совсем глупо. Керчь, ужасная ссылка! После того я так бы и полетел в тебя. И что я говорю? После этого представления, опять полюбил я жизнь и ею рад бы был пожертвовать для него.

Тотчас за тем в другой зале последовало другое представление, молодой Императрице. Я увидел женщину стройную, хотя не с веселым, однако же с наиприятнейшим лицом, премиленькую барыньку или барышню, щеголевато одетую по последней моде. Тогда был траур по герцоге Йоркском, и хотя она была в черном платье, однако бархатном с цветными лентами и в берете, только что вошедшем в употребление головном уборе, который мне показался весьма странным. Не говоря ни слова, пожаловала она мне ручку, которую я поцеловал. У меня что-то в сердце стеснилось: по моим старинным понятиям, русскую Царицу хотелось бы мне видеть отличною от всех других смертных жен, как бы они красивы ни были. А всё-таки, смотря на нее, так сказать сквозь супруга её, я благого-

вел перед нею.

Тем всё еще не кончилось; нас повезли в зимний дворец представляться Марии Федоровне. Тут увидел я настоящую Императрицу. Она с головы до ног одета была в черное платье, по случаю кратковременного траура, но как бы в обычное одеяние после потери обожаемого сына, Врожденная милость свети-лась в очах этой твердой жены, красота прежних лет всё еще проглядывала из-за морщин, неумолимым временем наведенных на лицо её, величавый голос её не терял благозвучия от картавого слегка произношения слов, и в старости её находил я нечто еще обворожи-тельное. Она удостоила меня разговором по-французски, расспрашивала о прежней служ-бе моей, расспрашивала о Крыме, о его кли-мате, о его жителях. Ободренный, восхищен-ный, я пустился врать о такой стране, кото-рой еще не видал; сказал, что недели через три или четыре надеюсь найти там розы, а она сказала, что ей приятно думать о счастье, коим могут пользоваться поселяющиеся в том краю. Эти десять минут разговора оста-лись самой блестящей точкой в моих воспо-

минаниях.

Уставши от различных сильных ощущений в это утро, я как не свой воротился к себе и с того же дня деятельно принялся за сборы к отъезду. Они продолжались около недели, и наконец, прощаясь с любезными моему сердцу, я просил их не забывать, не оставлять меня, можно сказать в чужой, дальней стороне.

VI

Москва в 1827 году. — Тухачевские. — Харьков. — Екатеринослав. — Симферополь. — Феодосия.

Ровно через неделю после представления моего, в воскресенье 30 января в восемь часов утра, оставил я Петербург. Зима стояла в нём такая теплая, какой не запомню; только 14 декабря, в день годовщины после бунта, Нева покрылась льдом, и в январе при всяком появлении солнца таяло на мостовой и капало с крышек. От того и мне по шоссе ехать было трудно, особливо в коляске на полозьях. Однако, понадеясь на возрастающие силы, сгоряча в первый день сделал я 140 верст, но в

Чудово принужден был остановиться и ночевать.

На другой день опять должен был я остановиться в Новгороде, чтобы отдохнуть, отобедать и попытаться увидеть содержащегося под стражей племянника моего Алексева; но меня к нему не пустили, и я поехал далее. За Бронницами прекращалось тогда шоссе, на дороге было гораздо более снега, особенно в Валдайских горах, и оттого-то мог бы я ехать шибче; но оставшаяся слабость не позволяла мне и ста верст сделать в сутки и каждую ночь заставляла ночевать. Таким образом полегоньку дотащился я до Москвы, 5 февраля поутру.

Грустная встреча ожидала меня в ней. Хотя зять мой генерал Алексеев физически и немного пострадал от первого удара паралича, но весь нрав его изменился: постоянная задумчивость заменила в нём бодрость, шутливость, беспечность, которые прежде никогда его не покидали; а бедная сестра моя, укрепясь верою, старалась показывать твердость, но глубокая горесть ее снедавшая, всегда была заметна. Над их первенцем всё еще

висел меч неправосудия. У них остановился я и сколько было возможно старался ободрить, обнадежить и развеселить их. Люди вслед за Фортуной бегут от печали; немногие только короткие часто навещали их, посещения же других знакомых всё более редели. И по чувству, и по обязанности большую часть времени проводил я с ними, а нельзя же мне было не пожелать увидеть нескольких приятных или почтенных знакомых в Москве.

В Английском клубе встретил я кн. Ив. Дмитриева, и в этот приезд знакомство мое с ним завязалось покороче. Если бы частые, утренние посещения мои ему наскучили, я бы тотчас заметил; но, кажется, было совсем противное. Он был всегда степенно весел, пока разговор не касался недавно умершего друга его Карамзина. Один раз позвал он меня к себе обедать вместе с некоторыми литераторами и полулитераторами, коих не вижу нужды называть здесь. Замечателен был мне сильный спор, который после обеда зашел о романтизме и классицизме. В Бессарабии и потом в Петербургском уединении моем едва подозревал я существование первого,

а тут познал, сколько силы он уже успел приобрести.

Еще захотелось мне видеть другого старика, которого общество мне было столь же приятно, хотя в другом роде. Швейцарец-француз Кристин помолодел, стал добрее с тех пор, как патрон его, граф д'Артуа, под именем Карла X, начал царствовать во Франции. Душа его рвалась туда, он мечтал о переселении; многолетние привычки, удобная, красивая оседлость, собственный дом, старость, а паче всего старая ведьма, графиня де-Броль, его околдовавшая, приковывали его к Москве У него часто бывал один прескучный, по моему даже нелепый, француз Декамп, который приехал с тем, чтобы на публичных лекциях преподавать новейшую французскую литературу, и Кристин помогал ему набирать подписчиков и слушателей. Он с глубоким презрением говорил о Расине, о Буало и даже о поэтическом таланте Вольтера, и всё называл новейших писателей, Виктора Гюго и других, которых гениальные мысли, не стесненные узами правил Аристота, возмут высокий полет и должны удивить мир своею

смелостью. «Да ведь совершенное безначалие в словесности рано или поздно должно повлечь за собою ниспровержение законных властей и постановлений», говорил я ультра-легитимисту Кристину, и никак не мог того растолковать ему. Француз, как бы умен ни был, если нет основательности в рассудке, всегда будет прельщаться всякой новизной.

Несколько лет уже тогда завелась в Москве итальянская труппа; она играла на небольшом театре в доме Ст. Ст. Апраксина, у Арбатских ворот. Но в эту зиму он умер; вместе с его жизнью должно было прекратиться и её существование; последние представления её были на Маслянице. Истинных любителей музыки, как и всегда, у нас было весьма немного; подражание нескольким знатным домам, мода — поддерживали сие частное заведение, которое, впрочем, обходилось довольно дешево. Но и тут говорили, будто тот самый Гедеонов, который после управлял императорскими театрами, а тогда заведовал кассой этой труппы, не всегда держал ее в исправности и часто черпал из неё. Мне хотелось испытать, выдержат ли мои нервы гром-

кие звуки оперы, и я поехал слушать Ворону-Воровку, Россини; к большому удовольствию, которое я ощутил, примешалось еще нечто похожее на боль. Примадонна мадам Анти имела преприятный голос; тенора звали, кажется, Гиеруцци, а у Този был славный бас. Всё вместе было прекрасно, всё было гораздо выше одесской посредственности, хотя далеко от совершенства, которым гораздо позже восхищались мы в Петербурге. Там было ужасно дорого и превосходно, а тут дешево и мило; последнее, мне кажется, лучше, ибо большому числу людей доставляет средства часто наслаждаться.

Тут в креслах встретил я двух одесских знакомых, Пушкина и Завалиевского. Увидя первого, я чуть не вскрикнул от радости; при виде второго едва не зевнул. После ссылки в Псковской деревне, Москва должна была раем показаться Пушкину, который с малолетства в ней не бывал и на неопределенное время в ней остался. Я узнал от него о месте его жительства и на другой же день поехал его отыскивать. Это было почти накануне моего отъезда, и оттого не более двух раз мог я ви-

деть его; сомневаюсь, однако, если б и продоллось мое пребывание, захотел ли бы я видеть его иначе, как у себя. Он весь еще исполнен был молодой живости и вновь попался на разгульную жизнь: общество его не могло быть моим. Особенно не понравился мне хозяин его квартиры, некто Соболевский. Хотя у него не было ни роду, ни племени, однако нельзя было назвать его непомнящим родства, ибо недавно умерла мать его, некая богатая вдова, Анна Ивановна Лобкова, оставив ему хороший достаток, и незаконный отец его, Александр Николаевич Соймонов никак от него не отпирался, хотя и не имел больших причин его любить. Такого рода люди, как уже где-то сказал я, всё берут с бою и наглостью стараются предупредить ожидаемое презрение. Этот был остроумен, даже умен и расчетлив и не имел никаких видимых пороков. Он легко мог бы иметь большие успехи и по службе, и в снисходительном нашем обществе, но надобно было подчинить себя требованиям обоих. Это было ему невозможно, самолюбие его было слишком велико. Оставив службу в самом малом чине, он жил всегда

посреди так называемой холостой компании. Слегка уцепившись за добродушного Жуковского, попал он и на, Вяземского; без увлечения, без упоения разделял он шумные его забавы и стал искать связей со всеми молодыми литературными знаменитостями. Как Николай Перовский лез на знатность, так этот карабкался на равенство с людьми известными по своим талантам. Находка был для него Пушкин, который так охотно давал тогда фамильярничать с собою: он поместил его у себя, подчивал славными завтраками, смешил своими холодными шутками и забавлял его всячески. Не имея ни к кому привязанности, человек этот был желчен, завистлив и за всякое невнимание лиц, ему даже вовсе посторонних, спешил мстить довольно забавными эпиграммами в стихах, кои для успеха приписывал Пушкину. Сего не совсем любезного оригинала случится, может быть, встретить на поле, несколько более обширном.

Прошло около двух недель. С самого приезда, рассчитывая, что зимний путь должен прекратиться для меня в Харькове, на наемных отправил я туда коляску свою, а сам ку-

пил дешевую, зимнюю кибитку, дабы легче мне было ехать. После обеда, 19 февраля, почти в сумерки, оставил я Москву и ночевал в Подольске. На другой день, сколь возможно сберегая силы свои, опять остановился я ночевать на последней станции не доезжая Тулы, куда и прибыл я 21 числа рано поутру.

По предложению, сделанному мне в Петербурге Тульским губернатором, Николаем Сергеевичем Тухачевским, двоюродным братом моим, и повторенному в Москве супругой его Надеждой Александровной, въехал я прямо в их губернаторский дом, где и был встречен двумя пожилыми девами, сестрами его, Ольгой и Пелагеей Сергеевными. Они показали мне письмо, коим поручает он им, в его отсутствии, угостить меня как нельзя лучше; они и сами готовы были сие сделать, говорили они, и без его предуведомления, по обязанности родства. Их мать, а моя родная тетка, Елисавета Петровна 1821 года скончалась в доме сестры своей, а моей матери, и была похоронена в нашей Симбуховской сельской церкви. С 1815 года не упоминал я об этом семействе, а теперь пришлось к слову. Дела бедного Тухачев-

ского были не в лучшем положении: вследствие доноса по делу о каких-то расхищенных казенных лесах в Архангельской губернии, где он тогда находился вице-губернатором, был он вызван в Петербург. Следствие началось за несколько дней до моего отъезда и не обещало хорошего конца. Жена его в Москве от нервных припадков лечила дочь, которая совершенно разошлась уже с мужем, Кусовым. Состояние их было плохое; не знаю, исключая жалованья, какие средства представляло им губернаторское место, чтобы жить открыто; я думаю, более всего средство делать долги. Целые сутки продержали меня двоюродные сестры мои, закармлили и не иначе выпустили как на следующее утро. Никого у них я не видел; день был будничным, великопостный, и не скажу, чтобы я весело провел его.

Последний день, в который хорошо мог я ехать на санях, был 22 февраля: подморозило и дорога была гладкая. Необходимо мне было скорее воспользоваться ею, и я решился ехать день и ночь: только, приехав 23 поутру в Орел почувствовал ужаснейшую усталость и дол-

жен был остановиться. На постоялом дворе комната была теплая, стены её так же чисты и белы как и постель, на которую я опустился. Но пока я поел, выспался, погода переменилась, сделалась большая оттепель, я опять заторопился и в тот же вечер пустился далее.

Ну уж ночь была! Глубокий снег растаял, лошади и повозка беспрестанно проваливались, везущие и едущие совсем выбились из мочи, когда показался пасмурный день. Всё-таки днем было виднее, следственно лучше ехать. Как ни старался я в этот день быть неутомимым, однако не мог доехать до Курска: за две станции до этого города остановился я в каменном, чистеньком почтовом домике. От часу становилось не легче; 25-го яркое солнце осветило полурастаявшие снежные равнины. Видно, я спешил, что в Курске, остановясь подле огромной гостиницы богатого Федора Марковича Полторацкого, я не вошел в нее, не выходил из повозки и что-то дал, дабы мне скорее привели лошадей. Целые водопады с шумом лились по бокам улиц этого гористого города. На ночь однако опять я остановился в таком же чистеньком казен-

ном строении.

Знакомого мне губернатора Кожухова не было уже в Курске: в конце истекшего года он был отставлен. На его место назначен тоже знакомый мне генерал-майор Степан Иванович Лесовский, который полковником во Франции был под начальством Алексеева и командовал Кинбургским драгунским полком; но и он еще не приезжал. Заметить должно, что с самого начала этого царствования строго принялись за губернаторов и одного после другого спешили удалить, как бы с тем, чтобы истребить память незабвенного брата их определившего. Особенно сей участи подверглись все те, кои были покровительствуемы Аракчеевым; всех называть не буду, а укажу только на Жеребцова в Новгороде и на Тухачевского в Туле. Им наследовали люди решительно хуже их и долго не оставались на местах. Кожухов пользовался особою милостью покойного Государя, был примерным начальником губернии, был строг в этой беспокойной стороне и сохранял в ней порядок, который никогда уже после того там водворен быть не мог.

Всё более подвигаясь на Юг и 26-го рано поутру проехав городок Обоянь, потащился я то по снегу, то по голой мокрой земле и таким образом дотащился до Белгорода еще засветло. Не по доброй воле остановился я в сем довольно большом уездном городе, некогда губернском, пограничной крепости и местопребывании епархиального архиерея, носившего его имя: мне совершенно отказали дать почтовых лошадей под зимнюю повозку. Я был в отчаянии, не знал что предпринять; а между тем остался в уютной комнате небольшой гостиницы, напротив какого-то богатого женского монастыря. В продолжении вечера успел я надуматься и решился на отважное дело: оставалось еще 73 версты до Харькова; их проехать в двух перекладных, хотя крытых телегах согласился я, живого или мертвого привезут меня в сию спасительную пристань, где ожидал я найти свою коляску. Кибитку свою продать мне нельзя было; я отдал ее в уплату за ночлег и за кушанье. День был пасмурный, сырой, холодный, 27 февраля, когда рано поутру выехал я из Белгорода. Крохи снега не было в поле, за то грязь препорядоч-

ная, и я с каким-то остервенением выносил получаемые мною толчки. На последней станции показалось солнце; ему стоило немного усилий и времени, чтобы разогреть воздух, и совсем повеяло весной, когда часу во втором по полудни приехал я в Харьков.

Спросив, где могу найти я лучшее помещение, мне сказали, что единственная гостиница находится в центре города, и что там же и клуб или зала благородного собрания по примеру других губернских городов. Содержателем был некто Матусков, историческое лицо в летописях Харьковских, которого значительность возрастала вместе с умножением народонаселения и благосостояния сего города. Сделанный Екатериною губернским, он всё еще походил при ней на большую мало-российскую деревню. При Александре основан университет его и учреждены в нём четыре ярмарки, от чего он быстро поднялся. Множество храмов, каменных зданий и правильные улицы украшали его, когда в первый раз я его увидел. Но, о горе! весенней грязью мог он поспорить с Одессой. В первый день я не обратил на то большего внимания; ибо, до-

вольный отведенным мне номером, после сильного потрясения, я до следующего утра с ним не расставался. Я не имел чести увидеть самого г. Матускова, или просто Матуска, как служители его называли, и в том не было большой нужды: стол был отличный, дешевый и прислуга самая исправная.

Первой заботой моей по приезде в Харьков было послать по всем постоялым и ямским дворам узнать о приезде моей коляски; но не было об ней ни слуху ни духу, что повергло меня в величайшее смущение, особенно когда на другой день узнал я, что все сообщения затруднены непроходимой грязью. Итак я принужден на неопределенное время оставаться в месте мне совершенно незнакомом, или тягаться, переписываться и добиваться своей собственности, или за дорогую цену купить новый вегикул[73], оставаться в уединенной своей комнате, без книг, без развлечений и без возможности малейшей прогулки по улицам. Какое неожиданное тюремное заключение!

Однако на другое утро захотелось мне, хотя на малое время, вырваться из него, глядя в

окно на ясное небо. Вышедши на улицу, увидел я вдали извозчика с парой лошадей и сопровождавшему меня трактирному слуге сказал, чтобы он кликнул его. Тот закричал, видно, знакомцу: Бутков, сюда! Подъехал сей, по мнению моему, похититель славного дворянского имени; я сел на его дрожки и велел ехать сперва куда-нибудь. Впоследствии по расспросам узнал я, что многочисленным родом Бутковых, от единого корня происходящим, изобилует Харьковская губерния и частью Екатеринославская и что он производит в одно время и воинов, и гражданских чиновников, и священников, и церковнослужителей, и ремесленников, и пахарей. Проехав не без труда несколько десятков сажен с моим высокоимянным возницею, мне вдруг пришло в голову отправиться к губернатору.

Сию должность занимал тогда Василий Гаврилович Муратов, который прежде того долго служил по дипломатической части. Я мало знал его, хотя несколько раз мельком встречался с ним в жизни. В Воронеже когда-то брат повез меня на бал, данный по случаю брака его с девицей Гардениной. В пер-

вый раз его увидел я, когда подавал Растопчину просьбу об определении меня в Иностранную Коллегию; в последний, когда через него подавал канцлеру Воронцову просьбу об увольнении меня из оной; оба раза показал он себя учтивым и обязательным. И тут принял меня как нельзя лучше, обнадежил, что велит постараться отыскать экипаж мой и сказал, что сам ко мне явится с приглашением на обед. Он почитался примерным губернатором, был деятелен, честен, строг и справедлив, но, благодаря особому покровительству Аракчеева, бывал иногда несколько самоуправен, и я предвидел, что ему на месте нельзя будет остаться.

В след за посещением моим засадил он меня в карантин. Смотря по времени, извозчики брали непомерную цену за езду; он велел с 1 марта положить умеренную таксу, и ни один из них не стал являться на улицах; пешком же ходить не было возможности. Но и тут судьба послала мне спасителя, утешителя, о коем говорить буду ниже. Когда г. Муратов посетил меня, разговор наш сначала был самый приятный; но лишь только вымол-

вил я, что накануне отыскал и навел на меня вице-губернатор, мой давнишний знакомый, как вдруг обращение его переменилось, чело его наморщилось, и он поспешил меня оставить; о новом свидании и об обеде уже слова не было. Где же мне было знать, что между сими господами величайшая вражда? И вот как в провинции и умные люди становятся мелочны, раздражительны и забывают законы приличия.

Утешитель, о коем сейчас упомянул, был Димитрий Андреевич Донец-Захаржевский, хотя не из числа приятелей, а издавна весьма добрый знакомый. Около года находился он тут вице-губернатором. Человек он был весьма достаточный, не слишком способный к делам, и служил неохотно, только по мягкосердию своему, из угождения к родителям и родным. По их же настаиванию женился он на мужевидной дочери известного при Екатерине генерал-прокурора графа Самойлова, Елене Александровне, но скоро должен был с ней расстаться, убедившись, что она одного почти с ним пола; вообще имел он самые блистательные родственные связи. Он рожден был

артистом, искусно рисовал и прекрасно играл на фортепиано; комнаты его всегда были наполнены изрядными картинами, превосходными эстампами и множеством редких артистических мелочей, коих был он постоянным собирателем. Кроткий, уступчивый нрав его иных обманывал; ибо он отнюдь не лишен был самолюбия, которое не допускает даром давать себя в обиду. Он был довольно дик, чуждался общества даже провинциального и в уединении своем обрадовался, узнав о моем приезде; а после ему стало меня жаль. Дабы сколько-нибудь отогнать от меня скуку, предложил он мне всякой день перед самым обедом присылать за мной легонькие дрожки, запряженные лихой тройкой и тем же образом и путем каждый вечер отвозить меня домой; сверх того снабдил он меня книгами по моему выбору. Так провел я несколько дней; без него не знаю, что бы со мною случилось.

Непонятно, как губернатор мог дойти до сильной ссоры с этим человеком совершенно без претензий. Не расчел также Муратов, что родная сестра Захаржевского, Елисавета Андреевна была в замужестве за всемогущим

тогда Бенкендорфом. Он не знал за собой никакой вины, шел прямым путем и полагал, что сего достаточно, чтобы оставаться на месте, даже без особой поддержки. Через месяц после того мог он узнать, сколько ошибался: его без просьбы отставили от службы.

Наконец, 4 марта пришли мне сказать о прибытии моей коляски; ее нужно было починить, и это задержало меня еще два дня. Напрасно думают, что на Юге в марте всё цветет: там он почитается худшим месяцем в году. Зима не жестокая, слабая, дремлющая в предыдущие месяцы, вдруг как будто пробуждается и вступает в нервный, не менее того лютый, бой с весною всё более возрастающею. В южной Франции кто не страшится *giboulées de Mars*, от которых иногда гибнут сливы и виноградные лозы? Нечто подобное можно встретить и в нашей полуденной России. Хуже дня для выезда не мог я выбрать как воскресенье 6 марта: дотоле всё хорошо было в воздухе, спокойно, светло, и тепло; вдруг откуда ни возьмись ураган, который разыгрался не в одном этом месте; целые сутки свирепствовал он по всей Украине и в при-

лежащих к ней двух Новороссийских губерниях, может быть и далее, ломал деревья, срывал крыши и трубы; свист и шум были оглушительны; холодный дождь шел беспрестанно, а порывы бури, иногда удерживая его в воздухе, сильными ручьями ниспровергали его потом на землю. Сколько раз казалось мне, что ветер готов опрокинуть мою коляску; ее качало со стороны на сторону, как бы ладью в море. Мне хотелось было серед дня остановиться на первой станции Мерефе: у смотрителя была довольно просторная комната; но в ней помещалось всё семейство его, крикливые дети и больная, умирающая, вечно охающая мать его; прислониться было негде, и я принужден был пуститься далее. Наконец, благополучно доехал я до второй станции, изрядного местечка Водолаги, где находилось тогда шелковичное заведение и где нашел я изрядный приют. Выехав когда едва только рассветало и приехав когда смерклось, в борьбе с стихиями, всего сделал я только 45 верст.

Буря утихала и дождик унялся на другой день, но грязь сделалась глубже и вязче. От

того и в этот день немного более я отъехал и был очень доволен, когда вечером мог остановиться в уездном городе Константинограде у одной старой доброй вдовы, которая комнаты свои за умеренную цену отдавала проезжим. Они были так опрятны и теплы, что после ночевки я не без сожаления с ними расстался. На этом пути как не заметить постепенного распространения России? Белгород был некогда пограничная крепость, около которой поселилась слобода; граница отдалилась, крепость упразднена, и слобода, обращенная в город, сделалась местом центрального управления губернией. Тоже самое было и с Константиноградом: тут был поселен Белевский пехотный полк и потому названа Белевская крепость, построенная для защиты слобод украинских от татарских и запорожских набегов. Прошло время, и крепость, как более ненужная, хотя не скрыта, но обезоружена и сделалась складочным местом для военных припасов. Она вместе с преобладающим казенным плодовитым садом, известным во всей стороне, придала некоторую значительность сему городку и способствовала в умножении

в нём населения. Екатерина любила давать городам Новороссийского края, к которому и Белевск был приписав, имена своих детей и внуков; вот почему и этот в честь Константина Павловича назван Константиноградом. Теперь он уездным в Полтавской губернии.

Пред восхождением солнца, 8 числа, прояснело и сделался маленький мороз; тоненький ледок покрыл грязь и лужи; но колеса мои прорезывали его, и мне от того было не легче. Уж я ехал, ехал, а когда совсем смерклось, всё еще не доехал до места назначенного мною для отдохновения. В глубокую ночь спустился я пешком по крутой, каменистой горе, не доезжая Новомосковска и, наконец, попал в него. Тут также была прежде Московская крепость, воздвигнутая почти посреди запорожских куреней. Её и следов нет, а вместо неё народонаселение, состоящее из десяти тысяч душ, по большей части, говорят, староверов, покрывает собою тут пространство более чем на пять верст. У каждого жителя своя усадьба со двором и с садом; и от того нескоро мог я добраться до убежища, которое на эту ночь должно было укрыть меня. От Новомосковска

до Екатеринослава оставалось всего тридцать верст; я довольно скоро проехал их 9-го поутру. Тут опять предстал мне старый друг мой, Днепр, в священные волны которого столько раз погружался я отроком. Сердце взыграло во мне, когда проезжал я по наведенному через него плавучему мосту.

По выезде из Харькова только в четвертые сутки приехал я в Екатеринослав, а всего не с большим двести верст. Во всём губернском городе не было ни одной гостиницы, а какой-то заезжий дом, куда меня привезли, и где не знаю чем бы я мог покормиться. Но иногда хорошо иметь большое знакомство. Не прошло часу, как на заезжем дворе явились дрожки парой, и кучер с запиской от полковника Пфейлицера Франка, об котором так давно не было помину. Он писал ко мне, что он болен, без чего сам бы приехал ко мне, что он гостит у родного, женатого брата, отставного полковника же Франка, губернского предводителя, и что они всем семейством приглашают меня обедать запросто, хотя бы в дорожном платье Вот что было причиною сего внезапного приглашения: обширный дом

господина Франка находился почти у самого выезда и стоял на высоте от которой сад шел прямо вниз во Днепру, и откуда вблизи были видны Заднепровье и мост. Появление, на нём путешественника в коляске на почтовых было тогда происшествием. Весьма еще немногие посещали тогда Крым, почти никто по этой дороге, и особенно в это время года; все отправлялись сперва в Одессу, единственный Новороссийской город известный тогда нашему Северу, а оттуда, если вздумается, то пожалуй и в Тавриду. Жизнь была самая единообразная, скучная и от того возбуждала любопытство к предметам, кои в ином месте остались бы без замечания. Увидев на мосту незнакомую коляску, послали тотчас узнать, кто приехал, где остановился и поспешили убедительно звать меня к себе. Для этих Франков я был находкой, а они для меня.

Моего Франка нашел я действительно хворающим и искренно обрадованным моему приезду. Его звали Отто Романович, а брата его Антон Романович, от чего многие путались в разговоре с ними. Последний был в отсутствии, где-то в деревне, а супруга его при-

нимала меня вместе с деверем. Не знаю, как завела судьба курляндца в Екатеринославскую губернию, и как, будучи не в первой молодости, умел он пленить богатую красавицу, вдову Варвару Дмитриевну Гавриленкову, это искусство, которым владеют у нас немцы. Огромное состояние скоро дало ему первенство между новым и недавно образовавшимся дворянством, и он играл в губернии большую роль. Неравную с ним участь имел знакомец мой, и он поведал мне свои горести. Когда за полтора перед тем из расчетов не столько корысти, как честолюбия, женился он на деве, которая его и меня по крайней мере десятью годами была старше. Пусть вспомнят в Белой Церкви Ергольскую, столь любимую и уважаемую семейством Браницких, без которой старая графиня жить не могла и которая саму Воронцову называла просто Лизой. Вероятно Франк полагал, что за ней будет ни весть что приданого и что посредством этого брака он поступит почти в родство с своими покровителями. И как он ошибся! Граф и графиня Воронцовы, без ведома коих дело было положено и совершено, не знаю почему, нашли

сей поступок подлым и совершенно к нему переменились; графине же Браницкой больно бы было расстаться с своей любимицей, и она умела удержать ее при себе. К тому же, не находя в супруге ожидаемой горячности, и сама Наталья Николаевна скоро к нему охладела; жить им вместе не оставалось возможности, и он женат был только номинально. Вот положение! Однако он по прежнему оставался в службе; в начале зимы Воронцов отправился к родителю в Англию, а он, пользуясь его отсутствием, приехал разделить горе со счастливым братом. Заметив, что назначением в градоначальники справедливая моя досада не совсем потушена, стал он говорить со мною откровеннее; богов своих спустил он на землю и принялся вычитывать все слабости сих смертных.

Между тем каждый день ожидал меня хороший обед, самый ласковый прием, и к услугам моим при возвратившейся хорошей погоде были парные дрожки. Тут у г-жи Франк познакомился я с губернатором Алексеем Ивановичем Свечиным: новая жертва, обреченная несправедливости Воронцова. Он служил

полковником в гвардейской артиллерии и был женат на какой-то родственнице Кочубея; чрез его покровительство получил он место, сперва Полтавского вице-губернатора, а потом и Екатеринославского губернатора. Это было уже во время управления нашего графа, но без его спроса и ведома; какое преступление могло казаться выше самодержавному Воронцову! Гонения скоро начались, но посреди беспрестанных хлопот и разъездов прошлогодних он не успел еще столкнуть его; потом уехал, и до возвращения его Свечин мог еще усидеть на месте. Он был человек кроткий, заботливый, бескорыстный, и в губернии все состояния любили его. За обедом, на которой он позвал меня, увидел я жену и дочерей его, столь же тихих, печальных и молчаливых как он сам.

Зачем было, казалось, оставаться мне в городе совсем не веселом, почти в глуши построенном? Мне так надоела дорога, что о продолжении её без ужаса не мог я думать; с часу на час, со дня на день откладывая свой выезд, прожил я более трех дней.

Сорок лет перед тем Великая Екатерина в

месте почти необитаемом лично положила тут основание города, который Потемкин называл её славою... Через четыре года он умер, и с его смертью прекратились усилия сделать его, если не великолепным, то значительным городом. После же смерти Екатерины всё устремилось к потушению её славы и к истреблению, если возможно, воспоминания об ней. Павел Первый, хотя и оставил в этом городе главное управление краем, в нём учрежденное, но велел ему именоваться Новороссийск. При Александре сперва Николаев, Херсон и, наконец, Одесса вдали от него нанесли ему смертельные удары: там поселились генерал-губернаторы. Тощее существование его продолжалось, и ни разу Император не удостоил его своим посещением; судьбе угодно было, чтобы по крайней мере бранные его остатки единый день в нём оставались.

Потемкин любил всё делать на слишком широкую руку; оттого затеи его иногда не имели успеха. По плану, им утвержденному, широкая площадь в виде улицы и под сим названием спускалась с высокой горы и в прямом направлении к низу тянулась через весь

город; по бокам были всё низкие домики. Единственное каменное здание во всём Екатеринославе был острог, ни одной каменной церкви, все строения были деревянные. Они обходились дешевле, ибо строевой лес из Малороссии весьма удобно сплавлился только до этого места (далее же встречались известные пороги). В прочих же частях каменистой Аравии, называемой Новая Россия, нигде деревянного более найти нельзя. Возили меня также смотреть достопримечательности города. На вершине горы под именем площади находится пространное, пустое поле; с трудом мог я разглядеть на нём нечто выходящее из земли: то были выведенные три или четыре сажени кирпичных стен собора, который величиною должен был равняться почти с церковью Св. Петра в Риме. В расстоянии четверти версты оттуда, по склонению горы к реке, находился Потемкинский дворец; он состоял из одной залы, которую легко можно было бы обратить в огромный манеж, да из двух комнат по бокам, из которых каждую можно было бы назвать пребольшой залой; мелких комнат было немного. Всё это было без полов,

без окон, без дверей, и дождь капал сверху сквозь дырявую деревянную крышу. Зато сад при нём содержался в исправности и чистоте; он шел вниз вплоть до Днепра и на нём захватывал несколько островков, соединенных между собою полустгнившими мостиками[74].

Мне предстоял еще предлинный путь. Пониже порогов, Днепр круто поворачивает влево и огибает большое пространство земли. Вблизи левого берега его население гуще, и от того учрежден там почтовый тракт. Выехав из Екатеринослава, надобно сперва проехать неподалеку от знаменитого острова Хортицы, некогда Запорожской Сечи, или столицы, откуда казаки распространили свои завоевания на всю Украину. Участь сего места ныне гораздо скромнее: тут немецкая колония, кажется Нейенбург; *sic transit gloria mundi*. Далее местечко Канцерополь, где, если не ошибаюсь, надобно переправиться с правого на левый берег Днепра и потом кружиться вслед за ним. Добрый губернатор, войдя в мое положение, предложил мне средство, дабы в этом месте на две трети сократить мой путь. Прямо через степь верст на девяносто шла особая

дорога, так сказать поперек дуги, как тетива в луке, и упиралась опять в Днепр. По ней гоняли волов и ездили одни только солевозы. На всём пространстве, на самой середине дороги, было одно только селение, и в нём только можно было переменить лошадей. Г. Свечин послал приказание мне заготовить их там.

Я на всё решился и выехал 13 марта после раннего обеда. С самого Петербурга ехал я почти впотьмах, закрывая со всех сторон коляску и сколь возможно оберегая глаза свои от ветра, солнца и стужи; тут предосторожности сии мне показались не нужны. День был пасмурный, но тихий и тёплый, земля успела высохнуть, луг чудесно зеленелся, и мне сперва любо было ехать, хотя езда была не шибкая, ибо на одних лошадях должен был я сделать более сорока верст. Всё было пустынно; очень редко, и то издали высовывались из земли хутора, то есть небольшие землянки, около которых паслись немногие овцы. Стало смеркаться, я начал торопить ямщика и очутился в одиноком и большом селении Томаковке. По милости губернатора не одни лошади, но и квартира была мне там приготовлена, и я

нашел ее совсем не так тесной и беспокойной как ожидал. Следующий день, 14 число, был светлее зато и свежее; луг казался еще красивее и, говорят, был усеян цветами, под именем полевых тюльпанов, но я их не видал по близорукости ли своей, или от того, что они, подобно фиалкам, прячутся под травой. Лошади, вероятно более привычные к длинным упряжкам, мчали меня живо и часу в одиннадцатом примчали в городок Никополь.

Тут было прежде запорожское селение Никитин Рог. Русские построили тут Никитинскую крепость, по упразднении её назвали городок Никополем; не знаю, почему не Никитополем. Я в тот день не ослепился своим величием, хотя городничий и встретил меня в мундире, проводил к себе и накормил завтраком или обедом. Я знал, что в городе безуздном и непроездном всякий путешественник должен казаться дивом и что от губернатора дано было предписание на счет моего приема. Не знаю, было ли в инструкциях г. городничего, чтобы он сам на пароме провожал меня за Днепр или он сделал сие из особой ко мне учтивости. На противном берегу про-

стился я с ним и вступил, наконец, если еще не в Тавриду, то по крайней мере в Таврическую губернию.

Меня везли шибко, несмотря на пески, которые встречались часто по соседству с большой рекой. Вечером приехал я в большое, богатое селение Каховку над Днепром, основанное начальствовавшим тут графом Каховским, но не принадлежащее уже его потомству. Март вдруг опять сделался угрюм и суров; воздух охолодел, тучи нависли, когда рано поутру оставил я Каховку. Я спешил в Крым, надеясь, что там, наконец, согреет меня вешнее солнце, и опять ошибся.

Глубокий ров, прорытый татарами поперек перешейка, отделяющего полуостров от твердой земли, при самом въезде в Турецкой Ор-Капи (наш русской Перекоп) существовал еще, и на нём по-прежнему была застава, у которой меня остановили. Пока прописывали в ней мою подорожную, 15 марта во втором часу пополудни, предстали мне вместе Юг и Север: проходил небольшой табун верблюдов и большими хлопьями посыпал снег. Грустно мне стало, и еще более, когда остановился я в

бедном городе, состоящем из одной улицы широкой и грязной. Ничто не может быть отвратительнее дороги из Перекопа в Симферополь: безводная степь, на которой всё произрастающее мрачного оливкового цвета; зимой в большую грязь по ней нет почти проезда, немного высыхает она к концу февраля, летом же в сухое время, если лошади хороши, пространство сие обыкновенно пролетают. Вот отчего в самом жалком состоянии находились станционные домики, на которых никто не останавливался. Я принужден был однако сие сделать на второй станции Дюрмень; мне сказали, что по всей дороге на ней одной могу я найти теплую комнату с печью, а на всех же других всю зиму нечем топить. Писарь уступил мне эту конурку, и я проспал в ней на каком-то сундуке. Снег выпавший накануне скоро исчез; 16 числа было светло и холодно; земля не довольно увлажилась, чтобы препятствовать моей езде, и один предмет, обратив на себя мое внимание, постоянно развлекал меня: в виде белого пара, не высоко над землею, подымался Чатыр-даг, по нашему Палат, гора; он всё более густел, поды-

мался и образовал из себя большое облако на краю горизонта; скоро заблистал он от солнечных лучей, которые отражал снег покрывающий его вершину, и мне, никогда не бывшему на Кавказе, показался он наконец Эльбрусом, *огромным, величавым, воспетым Пушкиным*. Я тогда подъезжал уже к Симферополю.

Если Чатыр-даг подобно Везувию не изрыгает пламени и не так известен целому миру, то и Симферополь, близ подошвы его построенный, весьма далеко не сходствует с Неаполем. Переехав вброд через Салгир, который почитал я речкой и в котором нашел только быстрый поток, увидел я себя на бесконечном поле, среди коего достраивалась довольно хорошей архитектуры соборная церковь; по бокам же в довольно дальнем от неё расстоянии были два двухэтажные каменные здания: присутственные места и странноприимный дом Таранова-Белозерова. Вот весь настоящий Симферополь, или лучше сказать тогдашний. За пределами поля находилось татарское селение Акмечеть, под русским управлением обратившееся в татарской горо-

док. Вид на него снаружи был довольно приятен; из-за красных черепичных кровель подымались пять-шесть минаретов, перемешанных с высокими раинами; внутренность же была совсем не привлекательна: в нём были узкие, кривые, неопрятные улицы с домами на дворе, с каменными запачканными стенами или с грязными лавками на лицо. Впрочем, хотя гораздо менее оставленного мною Кишинева, он мне более понравился: в нём была истинно азиатская физиономия, а в том никакой, как на безобразном лице без всякого выражения. Я знаю, что чрез несколько лет поле покрылось правильными улицами и домами, что новый город, примкнув к старому, спутался с ним, что имя Акмечети забыто даже между татарами и что, по мнению некоторых, изо всего вышла блестящая, новая столица бывшего Крымского ханства, в чём однако я имею причины сомневаться.

На самом рубеже предполагаемой Европы и существующей Азии, стоял двухэтажный трактир под громким названием Одессы; в нём я остановился. Мне отвели в верхнем этаже целую половину его, которая состояла из

одной небольшой комнаты и другой преобладающей. О спокойствии останавливающихся в ней хозяева, видно, мало заботились: замки были все переломаны, двери плохо притворялись, окна тоже, отовсюду дуло, снизу сквозь пол слышны были голоса, и самые половицы под ногами подымались и опускались как клавиши. И в этой комнате, как сказали мне, целую зиму провел несчастный Батюшков; следственно в ней осаждали его мрачные думы, более расстраивались его нервы, усиливалось его сумасшествие, и в ней посягнул он раз на собственную жизнь. Через год после него два месяца изнывала в ней баронесса Крюденер, давно без обожателей, давно уже и без слушателей, в добровольной ссылке, не менее того для неё жестокой; из неё с отчаянием отправилась она умирать в Старый Крым. Я всегда был немного суеверен; не имея ни известности, ни дарований сих особ обоюбого пола, не мог я и опасаться одинаковой с ними участи; несмотря на то, исполнился я тоски. Вечером явился ко мне великий плут, итальянец Томазини, с предложением услуг, с большою живостью в движениях и с вечно

смеющимся лицом, и не мог развеселить меня. Он был тут в трактире проездом в Керчь, где по подряду строил карантин и таможню, и от того искал моего знакомства, чтобы не сказать покровительства.

На другой день, 17-го, сделалось опять тепло. Когда солнце примется тут греть, в какое бы то время года ни было, то скоро начнет и печь. Меня это несколько развеселило и я имел в этот день случай видеть довольно любопытный феномен: пока солнце сияло над Симферополем, видно было, что на Чатыр-даге идет сильный снег. Пользуясь погодой, отправился я с посещением к губернатору, который за неимением казенного дома жил в собственном им самим построенном, в четырех или пяти верстах от города, в прекрасной долине. Деревья еще не распускались, но кустарники там все уже покрыты были листьями.

Мне был несколько знаком Димитрий Васильевич Нарышкин; мы с ним виделись в Мобёже и в Одессе. Будучи сыном Анны Ивановны, урожденной гр. Воронцовой, он приходился внучатым братом нашему гене-

рал-губернатору, который его отменно любил. Воспитание получил он французское, аристократическое, служил в гвардии, потом в достославную нашу войну три года сряду находился при родственнике своем, который ни себя, ни окружающих своих в сражениях не щадил, за то и старался их быстро повышать. При корпусной квартире в 1818 году видел я его уже молоденьким полковником; после того получил он дозволение остаться во Франции, женился на дочери графа Раstopчина и вышел в отставку. В 1823 году, по представлению Воронцова, с чином статского советника, получил он место Таврического губернатора. Вот вкратце формуляр его, и что к тому прибавить? Он был чрезвычайно добрый малый: похвала умеренная для правителя области. Но он был еще довольно молод, лет тридцати пяти, добродушен, прост в обращении, и имел в себе более военного, чем дворцового; с делами по возможности старался ознакомиться. Он принял меня, я думаю как и всякого, со врожденною благосклонностью, и пригласил на другой день к себе обедать. Всё напоминало у него лучший, образованнейший свет: и

умная, любезная, просвещенная хозяйка, Наталья Федоровна, и дом, который походил на небольшой царской загородный дворец, и отличное убранство комнат; всё прочее тому соответствовало. Посетил я также и вице-губернатора Никанора Лонгинова; он тут начинал уже жить домком, в опрятной и хорошей квартире над Салгиром и раза два звал меня обедать.

Как было мне не позавидовать им! Оба были люди не мудреные, а дела у них шли как нельзя лучше. От чего же так? Или их было очень мало, или они не имели большой важности. Надобно также полагать, что у обоих были хорошие подчиненные помощники.

Здоровье мое, еще расстроенное и слабое, как бы Божиим чудом хранилось среди мучений этого продолжительного пути. Но от беспрестанных перемен в температуре оно мне изменило, я сильно захворал и в той самой комнате, в которой видел я преддверие того света. Должен признаться, что я не на шутку струсил. Посещали меня с участием Нарышкин и Лонгинов, посещали и два медика, оба немцы, родившиеся и воспитанные в России.

Один из них, Федор Карлович Мюльгаузен, был человек весьма просвещенный, сведущий во многих науках, ученый ли по медицинской части, не думаю, ибо не имел даже докторского диплома и, как врач в «Причуднице» Дмитриева, в Симферополе почитался знаменитым, потому что долго был в нём один. Он имел прекрасную дачу в смежности с городом, на ней построил каменный дом и развел обширный плодovitый сад. От искреннего сердца презирал он варварскую страну, в которой родился и нажился, никак не брал труда скрывать это чувство и от того казался еще просвещеннее.

Другой, Андрей Федорович Арендт, был родной брат известному в Петербурге лейб-медику. Вот этот был настоящий русской человек, который долголетней практикой приобрел великое искусство. Его лечению обязан я скорым выздоровлением. Однако вместо двух дней, которые намерен был я провести в Крымской столице, я должен был пробить в ней восемь и только 24 марта после обеда оставил ее.

У самого выезда в Карасубазар пригото-

лена была мне для ночевки теплая и чистенькая квартира. Поднявшись до света, 25 числа, я не проехал через этот хорошо населенный и издревле торговый городок, по причине великой в нём грязи; сам ямщик повез меня чрез сады, по наружной его стороне. Сквозь сумрак рождающегося дня, между церковей и мечетей, мог я однако разглядеть здание новой для меня формы: большой азиатский караван-сарай. Оставалось еще шестьдесят верст до Феодосии; я довольно скоро проехал их, ибо поспел еще туда до раннего обеда.

Я поспешил к градоначальнику, Андрею Васильевичу Богдановскому, предместнику моему в Керчи. Как в столь отдаленных местах мало церемонятся, то он оставил меня обедать, а я потом оставался у него до позднего вечера. Со мной была весьма любезна супруга его, Настасья Александровна, дочь главноначальствующего над Московским Воспитательным Домом, Александра Михайловича Лунина, чуть ли не фрейлина, Московская барышня, зрелая и и даже перезрелая, когда вышла замуж. Она мне рассказывала, как в Керчи умирала с тоски; и неудивительно: она без

французского языка ступить не могла, а на нём не с кем ей было там разговаривать; она любила играть на фортепиано, а там некому было ее слушать; в Феодосии же нашлось несколько человек, которые умели ее понимать. Совсем противное являл муж её. Из обер-офицерских детей целый век прослужил он в армейских полках и следственно не получил никакого образования. Мужик он был честный; от природы с умом тупым, однако же не без сметливости и особенно не без расчетливости в денежных делах. С необычайною бережливостью, от скудного жалованья, откладывая копеечку на копеечку, нажил уже он небольшой капиталец, когда наследовал богатому Воронцову в начальствовании Нарвским пехотным полком, и при сдаче оно-го, показал себя чрезвычайно умеренным в требованиях, за что, говорят, был щедро им вознагражден. Проживая мало во Франции, когда получал там огромное содержание и присоединяя к тому жалованные аренды и земли, честным образом сделался он, наконец, почти богат. Мягкость характера и учтивые формы нескоро давали заменить в нём

остатки солдатчины. Генеральское звание не совсем еще тогда потеряло свою цену, и в Москве не трудно было ему соединиться с пожилою девою, также с хорошим достатком. Он начинал жить спокойно, когда Воронцовым вновь увлечен был на службу, с пожертвованием, особенно для жены, всех светских удовольствий в жизни. К сожалению, он был в числе тех невежд, которые не постигают даже необходимости знания дел в гражданской службе.

И вот человек, который подобно мне избран был градосоздателем! Стало быть, и он казался способным к приведению в исполнение великих предначертаний Воронцова; стало быть, и он удостоен был высочайшего доверия. О какое разочарование! Сколько в один день сбыло у меня спеси и как умножилось отвращение мое от Керчи, от которой был уже я так близко. Более чем когда убедился я в том, что Воронцов находит ум и способности только в тех людях, кои ему угождают и которых почитает он себе преданными.

Непростительно бы было, посетив хотя на минуту некогда великолепную, богатую Кафу,

умолчать о нынешнем её состоянии. Над морем, за горой она скрыта от глаз путешественников. В версте от неё находится почтовая станция, с которой надобно спуститься, чтобы въехать в город, так что проезжающие, переменяя на ней только лошадей, могут его и не увидеть. Проехав древнюю башню, местами поврежденную, но еще твердо стоящую, подле которой застава, въезжаешь в улицу не европейскую, и не азиатскую, а новорусскую, широкую, правильную, прямую с двух и трехэтажными домами, совершенно по образцу тех, кои находишь в наших великороссийских губернских городах. С левой её стороны сперва тянется на небольшом пространстве широкой с сухими деревьями бульвар, и о него как бы разбиваются морские волны. С правой идут параллельно еще две регулярные улицы только с низкими домами. Всё это вместе на конце упирается в высокую гору, которая становится поперек и с этой стороны никому не дает выезда. Вне города нет ни малейших следов прежде бывших строений; сим доказывается, что прежняя Каффа с своими двумястами тысяч жителей теснилась на

том самом только месте, которое занимает нынешняя Феодосия. Вероятно генуэзцы, ее соорудившие, брали в образец свой отческий город Геную, где, как говорят, улицы так тесны и где дома, возвышаясь один над другим, образуют террасы до самого верха гор. Так можно предполагать, ибо Феодосия лежит в одной лощине, покатости же гор совершенно пусты, а на вершине виднеются еще остатки каменных стен и башен, которые вероятно прежнему городу служили границей и защитой. Турки завоевали Кафу, нами после названную именем давно несуществующей Феодосии, и разорили ее. Потом большие её христианские храмы обратили в мечети, построили множество бань, лавок, караван-сараяв, и от сочетания двух разных архитектур среди разрушения она долго сохраняла вид весьма оригинальный. Когда же при Александре в 1805 году учрежден в ней портовый город, то первым градоначальником назначен был прежде бывший, если вспомнят, Киевский военный губернатор, просвещенный англичанин, генерал от инфантерии Феньш: так важны еще были места сии, пока не зависели от

генерал-губернаторов. Он ничего лучше не придумал для пользы своего города, как выпросить у казны огромные суммы, раздать их заимообразно жителям и склонять их к строению домов. Всё старое принялся он разрушать, а каменья раздавать даром; такую дешевизною материалов феодосийцы еще более завлечены были к постройкам. Через несколько лет городу сему дана, наконец, та пошлая физиогномия, которую нашел я в нём.

Конечно, наружное устройство давало вид благосостояния городу, который год от году более беднел. Но того ли единственно хотелось правительству? Для того ли оно тратилось? Надобно было подумать наперед, чем будет торговать Феодосия. Одними естественными крымскими произведениями? Но в Анатолии, в Архипелаге и других полуденных странах они находятся гораздо в большем изобилии. Что необходимое для жителей может быть привозимо? Азиатские изделия, шелковые, шерстяные и бумажные ткани, к которым татары так привыкли. Но таким образом значило оставить их вечными данни-

ками восточной промышленности. Оно так и было, пока московские фабриканты не догадались вырабатывать материи по турецкому образцу прочнее и лучше и не пустить их тут дешевле. Вывоза товаров не было, прекратился и привоз. Как никому не пришло в голову устроить прочную дорогу в новооткрытый порт из наших внутренних губерний, столь изобильных земными продуктами, даже отягченных ими без всякого сбыта, что богатило бы их и портовый город? Не лучше ли бы великие суммы, пожертвованные на частные строения, обратить было на сей предмет? А все, наконец, стали обвинять бедную Феодосию в бесплодии и осуждать ее на вечное ничтожество. Для нанесения ей последнего удара учрежден был, почти в глазах у неё, новый порт, и мне суждено было стараться возвысить его, дабы совершенно ее уронить. О преимуществах одного города перед другим должен говорить в следующей главе.

VII

Синельников. — Керченские чины. — Жизнь в Керчи. — Граф Ф. П. Пален.

От Феодосии до Керчи 96 верст. Я надеялся потихоньку приехать туда ночью, но меня везли шибко, и 26 марта еще засветло имел я торжественный въезд в свою Баратарияю. Также как в Никополе, народ высыпал из домов, только не бежал за мной; также по болезни полицмейстера, исправляющий должность его частный пристав встретил меня за городом верхом у колеса и провожал меня до самой квартиры моей. Она мне была отведена у одного Кулисича, славянина-далмата, который пытался завести тут торг и построил двухэтажный каменный дом у подошвы Митридатовой горы. Верхнее жилье не было отделано, а в нижнем находилась широкая, длинная, но весьма низкая зала, служащая для зимних увеселений керченской публики, для балов, на которых не знаю кто танцевал и под какую музыку.

В ней через полчаса после приезда моего

предстали мне все чиновники, карантинные, таможенные и некоторые морские, также весьма неважные первостатейные граждане.

Впереди всех стоял исправляющий мою должность, начальник карантинной конторы, отставной гвардейской артиллерии полковник Александр Никитич Синельников, обвешанный крестами. За один присест хочется мне намарать портрет его. Ему было 38 лет, как он сказывал, а мне казалось менее, он был не высок и не низок, не худ и не толст, стройно сложен, но лицо имел обезьянье. Кадетской Корпус, в котором был он воспитан, оставил на нём печать свою, и он всё казался немолодым кадетом; ухватки его были солдатские, все телодвижения быстры, равно как и речь, и я всё ожидал услышать от него: здоровья желаю или ради стараться. Через Михаила Павловича, который любил такие манеры, получил он у Воронцова местечко, как думал он, покойное. И вот какими людьми Петербургская протекция часто наделяет провинции! По примеру предместника своего, Фон-Дена, он более всего заботился о чистоте улиц: чистоплотность, как я слышал, оста-

лось и поныне лучшим уделом Керчи. На первый случай будет пока и его одного; о других буду говорить после.

Сколь мало наружностью своею показала мне привлекательною столица моя, не менее того я рад был, что в нее приехал: тут по крайней мере оканчивалось мое путешествие, и я мог почитать себя на месте. Успокаиваясь духом, хотелось мне успокоиться несколько и телом, и для того попросил я г. Синельникова дня на два дать мне отдых и продолжать занимать мое место, что, кажется, не совсем ему было противно.

По прошествии девяти месяцев после назначения моего в должность, наконец, вступил я в нее 29 марта. Первые бумаги мною распечатанные не могли мне быть весьма приятными. Определенный градоначальником в Одессу, тайный советник граф Пален, после отъезда графа Воронцова, управлявший Новороссийскими губерниями, по высочайшему повелению объявлял мне высочайший выговор за Левинсоновское дело. С другой стороны я получил уведомление отзыв или предписание, не знаю как назвать, от генера-

ла Паскевича, коим объявляет он о вступлении своем на должность главноначальствующего в Грузии на место генерала Ермолова. Темрюк, Тамань и Бугазский меновой двор на Кубани по части карантинной и таможенной были подведомственны Керченскому градоначальству, а находились на земле Черноморских казаков, зависящих от главного Закавказского управления. От того генерал сей не почитал ли и меня своим подчиненным?

На другой день после моего приезда был у меня почти семидесятилетний старец, Еникольской комендант, генерал-майор Карл Яковлевич Бухгольц, в котором, казалось, и лета, и положение его должны были погасить страсти и честолюбие. Он на следующий день пригласил меня к себе обедать в Еникале. Надобно было сделать десять верст, то есть двадцать взад и вперед, а мне надоело уже считать версты; делать было нечего: я не хотел оскорбить его отказом. При въезде моем в старую уже турецкую крепость, хотя называют ее Еникале, то есть новою, встретил он меня в полной форме и с рапортом в руке. Я не принял оного и, отклоняя от себя честь сию,

сказал, что если это соблюдалось при Богдановском, то вероятно от того, что он сам имел прежде военный чин. По настоящему тому так и следовало быть: во всех местах, подведомственных градоначальникам, все служащие, какого бы они чина ни были, военные, сухопутные и морские, им были подчинены. Мне хотелось оказать только учтивость и уважение к летам, а впоследствии это самое было употреблено против меня во зло.

По дороге к Еникале, в четырех верстах от Керчи, достраивался огромный центральный карантин. Чиновники жили пока в городе, а некоторые из них в семи верстах от него, только с другой стороны, также над проливом, в карантинной заставе, которую и называли старым карантинном. Мне необходимо было ее видеть. Местоположение в самом малом виде совершенно сходствовало с федосийским: также надобно было спускаться с горы, потом ехать по узкой долине, и гора на конце, круто поворачивая к проливу, также заслоняла дорогу проходящим и проезжающим. Тут были кое-где деревья, несколько виноградников, рассеянные домики для каран-

тинных служителей и, наконец, один поболее других, совершенно в татарском вкусе, занимаемый директором карантинного дома Бородиным. Не далее как в начале июня назначено было всех живущих тут перевести в большой карантин, и место сие должно было опустеть. Мне Пришло в голову в день самого первого ему посещения моего сей уголок, сей приют обратить в хутор или дачу для градоначальника и на всё лето поселиться в нём: и мне удалось после мысль сию осуществить. В тот же день имел я случай познать неудобства величия. Лишь только подъехал я к горе, как внезапно был поднят флаг, и с брандвахты, в близи стоящей, мне в честь сделано было несколько выстрелов. Лошади испугались, понесли меня вниз и чуть не сломили мне голову. Тогда я попросил на будущее время избавить меня от сей чести.

Другая неприятность ожидала меня в день Светлого воскресенья, 3 апреля. Дом Кулиси-ча, где я жил, был во ста шагах от небольшой каменной крепости, тогда еще существовавшей, без караульни и без часовых. Посреди её находился собор, древний храм, вросший в

землю, неизвестно каким-то народом построенный. Был обычай предоставлять всем мальчишкам в городе право лазить на его колокольню и целый день звонить во все колокола; они беспрестанно менялись, и устали между или не могло быть: так должно было продолжаться всю неделю. С расстройством нерв я страдал, чувствовал муку невыносимую, и молчал, уважая обычай. Как-то однако узнали о претерпеваемом мною, и совсем не из сострадания, а на первых порах желая мне всячески угодить, на третий или на четвертый день после праздника жители воспретили звон. Я удивился, когда умолк голос колокола, в Керчи единственный вещатель всеобщей радости. Один только русский народ умеет веселиться о Святой; в эту великую седмицу он весь исполняется каким-то непонятным для него блаженством. Греки оставались мрачны, как и всегда.

Когда я хорошенько начал заниматься делом, то увидел, что покамест его очень мало. Это давало мне возможность не всякой день иметь неудовольствие работать с найденным мною правителем канцелярии моей Минар-

ским. Откуда взяли этого человека? Богдановский и Синельников почитали его великим дельцем, а он имел только некоторый навык в самых обыкновенных делах. Наружность его была нестерпима: на безобразном, более широком чем толстом туловище подымалась столь же широкая голова, как у Шумилова в послании Фон-Визина. «Тупейшего ума пространная столица». То, что у других людей по-русски называется лицом, у него следовало по-русски же назвать образиной. С бессмысленными взглядами оно выражало вместе и глупость, и злость, и не было наружно обманчиво. Прибавить ли к тому изо рта несносной дух перегорелой водки? Об был как бочонок всегда ею весь налитый и никогда не был пьян. В Керчи казалось тогда поживиться было нечем, а он находил какие-то тайные средства, если не богатеть, то жить весьма безбедно. К счастью между канцелярскими были порядочные ребята и когда случится что поважнее я призывал их, чтобы, щадя глаза свои, заставляя писать их под мою диктовку.

И так если в Кишиневе осужден я был на муку, то в Керчи на скуку. Не знаю, что луч-

ше? Как везде, куда я вновь поступал на службу, и здесь был я окружен незнакомыми мне лицами, людьми, о коих никогда не слыживал. Мне были нужны наблюдательность и осторожность, и долго ни с кем не решался я быть доверчивым. Без общества, без книг, без больших занятий по службе, житье мое было не самое веселое.

Я вспомнил первые месяцы пребывания моего в Кишиневе. Тут было у меня еще более свободного времени, и один добрый человек, которого назову после, снабдил меня книгами, у него хранящимися, им некупленными и даже не читанными, в которых много говорится о Пантикапее и бывшем Босфорском царстве. Представился случай создать мне себе довольно большой труд, и я воспользовался им. В виде записки начал я составлять вкратце историю классических мест, куда судьбою заведен я был во дни их запустения. Всё более завлекаемый предметом моим, я довел ее до настоящих времен, всё это заключил и описанием вверенного мне города и его окрестностей и взглядом на будущую возможную судьбу его. Сочинением сей записки за-

нимался я всё лето и в начале осени; в ней находится множество подробностей, кои повторять здесь было бы напрасно; чтением её, если угодно, пополнится всё недостающее в сей главе. За верность в описании мест и происшествий могу я ручаться; только мнения мои насчет торговли в этом городе должны были измениться: время и опыт показали мне их ошибочность.

Из сей записки увидят, как иностранец, начавший в России поприще свое с самого низкого ремесла, смелостью, дерзостью, предприимчивостью умел склонить правительство к открытию нового порта и надеялся начальствовать в нём из видов своекорыстия. Имя Скасси должно остаться незабвенным в Керчи, ибо он был главным виновником возрождения сего города. Он поселился в нём, купил небольшой домик и поблизости построил дачу. Назначение Богдановского только на некоторое время расстроило его планы: он увидел человека, узнал всё отвращение жены его от сих мест и старания её оставить их. Досада и отчаяние его были велики, когда узнал он о моем назначении; продолжительное же

отсутствие мое опять воскресило его надежды. А лишь только он увидел в газетах, что я выехал из Петербурга, как сам стал собираться туда с намерением вредить мне чрез покровителя своего графа Нессельрода. Где-то мы дорогой разъехались, и потом нигде не случилось мне с ним встретиться.

По званию попечителя несуществующей торговли с Абазинцами, пустого места для него созданного, получал он 35 тысяч ассигнациями и имел при себе штат, из нескольких чиновников состоящий. Первым из них был коллежский асессор Димитрий Федорович Кодинец, преблагогородный человек, скромный и образованный, который, как замечал я, внутренне стыдился рода службы, в который нечаянно попал. Его общество было для меня утешением, и он-то снабжал меня немногими книгами, которые служили мне развлечением. Я говорил ему откровенно, что в Керчи задолго никак поселиться не могу и что, может быть, не дождусь даже возвращения Воронцова, чтобы оставить ее, и он вероятно писал о том к Скасси, успокоил его и чрез то и меня на некоторое время.

Совсем иного разряда был другой,[75] молодой Ашик, малый видный собою, вечно улыбающийся и полоумный. Его Скасси привез с собою из Рагузы, вместе с сестрой и матерью: а последняя, по званию полутещи была домоправительницей у его начальника. Еще было два мелких существа при нём, грек Хартуллярый, величайший из плутов, который надувал самого Скасси и под конец продавал его, да мальчик французик Люилье, сын разорившегося в Петербурге портного. Его безжалостно подвергал он величайшим опасностям, беспрестанно посылая его к черкесам, что послужило однако к пользе юноши: он выучился их языку, принял их обычаи и одежду и довольно верные известия привозил из гор.

На каком бы малом пространстве люди ни были собраны, сколь бы ни мало было число их, скоро начнутся несогласия и ссоры между ими. В Керчи нашел я две партии: с одной стороны были правительство и народ, с другой слабая оппозиция. Взбалмошный Синельников конечно не по собственному убеждению, а по настаиванию Скасси и тайным про-

искал греков, стал преследовать Керченского полицмейстера, отставного гвардии Павловского полка подполковника Ивана Даниловича Щиржецкого, умного поляка, не столько хитрого, как осторожного. Он преступил за границы власти своей, удалив его от исправления должности и поручив ее частному приставу. Вез всякой видимой причины предметом его гонений сделался также старший карантинный врач Христиан Иванович Кельц, немец тупой, болтливый и скучный, притом великий добряк. Эти два человека часто виделись между собой, и тогда доставалось Синельникову. Щиржецкий оказался здоровым, явился ко мне и я предложил ему опять вступить в должность. Скоро опыт показал мне, что я могу иметь в нём преполезного сотрудника, даже по письменным делам. В Кельце видел я жертву и от того был с ним ласков и утешал его. А вот и готовая мне партия. Но я желал водворить мир и согласие и успевал в том, стараясь со всеми быть вежливым, не показывая впрочем слабости и никому не оказывая особого предпочтения. Вообще всё это лето был я весьма доволен своим поведени-

ем.

О других служивших в Керчи важных особах, право, не стоило бы говорить, если б не было между ими старшего члена карантинной конторы, надворного советника Антона Павловича Пасхали, грека, бывшего прежде в нашей морской службе. Он имел наружность непротивную, был довольно полон собою, тих, молчалив и весьма сладкоречив, когда прерывал молчание. Изощренное долгими наблюдениями чутье мое с первого раза угадало яд в медоточивых речах его. Мнения о нём я никому не сообщал, а еще менее давал заметить ему самому, и мы пока оставались в ладах. Преданный Скасси, он помыкал сумасбродным Синельниковым, настраивал его, как хотел по своему усмотрению и был величайший интриган. Интриги! И где? И для чего? Право, при уме у этого человека было мало рассудка.

В ведомстве моем было еще миниатюрное адмиралтейство, под начальством флота капитана 1-го ранга Владимира Васильевича Бурхановского, очень порядочного человека, большего домоседа, который в посторонние

дела не мешался и с которым я редко виделся. Под его управлением состояла небольшая флотилия, которая летом несколько раз ходила в Редут-Кале.

Место управляющего таможней оставалось долго праздным; за месяц до моего приезда назначен был на него из Таганрога некто Василий Федорович Гудим-Левкович, приехавший только в мае. Он принадлежал к одной из известнейших фамилий в Малороссии и был женат на Елисавете Федоровне, дочери председателя Таганрогского Коммерческого Суда Шауфуса: чета добродушная, приветливая и гостеприимная, которая с самого начала мне понравилась. По совету моему г. Гудим старался сблизиться с Синельниковым, несколько раз посещал его, а тот отказывался даже от приглашений его на обеды и вечера. Он хотел жить особняком, окруженный одними своими подчиненными. Тут узнал я только, что в портовых городах между карантинным и таможней всегда существует какое-то соперничество, а иногда большие несогласия. Таким образом число преданных мне всё умножалось.

Гудим любил жить довольно широко и открыто и потому нанял лучший дом в городе, принадлежащий гражданину Триполито и занимаемый прежде градоначальником Богдановским, что мне было весьма приятно. Я жалел денег, имея в виду другие издержки: как бы не находя для себя приличного помещения, я продолжал жить даром в пустом нижнем этаже Кулисича и питаться тем, что мне присылали от немца Шварца из вновь заведенного им первого трактира; там были и две-три комнаты под номерами, стоявшие большую часть времени пустыми. Кушанье было дешевое, не весьма вкусное, по крайней мере опрятно приготовленное; оно состояло по большей части из картофеля и репы, двух произведений недавно появившихся в сих местах. Греки не хотели знать других овощей кроме потлоджан, род длинных огурцов, которые варили и жарили они в постном масле; оттого предместник мой Богдановский вынужденным нашелся выписать немцев, огородников из колоний на Млочных Водах, и с тех пор за столом его появилась, как и везде, всякого рода зелень. Благодарение ему за то:

важная конечно, но единственная услуга, оказанная им Керчи.

Когда Гудим будто перехватил у меня дом Триполито, предложено мне от города занять дом, ему принадлежащий, называемый генеральским. Он был построен или куплен для приезда генерал-губернаторов и других важных лиц, посещающих Керчь, но ни мало не соответствовал своему назначению: на дворе, имея два этажа и пять окон по фасаду, внутренние его небольшие комнаты были просто выбелены, даже без карнизов, а мебели были самые простые, самые плохие; при нём находился небольшой флигель.

На это временное помещение, равно как и на чрез меру скромное житье мое, греки смотрели с удовольствием: оно показывало им, что я более проезжий, чем оседлый между ними. Естественным образом чувствовали мы взаимную антипатию, хотя я не подавал ни малейшего повода к неудовольствию, и они с своей стороны оказывали мне всевозможную покорность и почтительность. Это был народ самый негодный, ничтожный и горделивый. В семидесятых годах граф Ор-

лов-Чесменский с островов Архипелага снял, так сказать, пену их жителей, что было в них худшего, и населил ими Керченские пустыри, только что нами приобретенные, когда остальные части Крыма вам еще не принадлежали. В этой глуши, пользуясь важными привилегиями им данными, они составили из себя нечто вроде республики, которая не процветала ни промышленностью, ни нравственностью, ни знанием.

Явился Скасси. Ему легко было показать себя их другом и покровителем. Когда русские начальства принимали какие-нибудь справедливые меры, несогласные с их волею, они кидались к нему с жалобой; а он, с сожалением пожимая плечами, говорил, что он безвластен им помочь, но когда он будет начальствовать, то дело пойдет иным образом. Он умел уверить их, что учреждение порта, по его настаиваниям, сделано единственно для их пользы (а об общей государственной никто не думал), что когда власть будет в его руках, ни одного русского не подпустит он к торговле и её выгодам, а привлечет других греков из турецких владений и что таким об-

разом составит отдельное богатое греческое владение. При всей удивительной хитрости сих людей как мало было в них понятливости и дальновидности. Всё-таки надобно назвать главнейших из них: Хамарито, Триполито, Корди, Посполитаки, других не помню. Только первый из них был 3-й гильдии купцом, он же и градским главою; все прочие принадлежали к мещанскому сословию, а Бог весть, что мечтали о себе. Удивительно ли после того, что всякое назначение нового начальника отдаляло исполнение их надежд, которые мог только осуществить желанный Скасси?

На беду, матушке моей, которая полагала, что царствию моему в Керчи не будет конца, угодно было, чтобы я жил в ней по-губернаторски; для того отправила она во мне большой обоз сухим путем до Таганрога, а оттуда в Керчь Азовским морем. В нём находились все пожитки мои и книги, за четыре года пред тем отправленные мною из Петербурга в Пензу, также множество всякой посуды, столовых приборов и белья; при всём этом были повар, лакей и кучер. Предупредить того я никак не мог, ибо уведомлен был после отбытия

людей и вещей, и они благополучно привезены в конце мая.

Другое обстоятельство еще более заставило думать греков, что я намерен засесть между ними. Я сказал, как прельстился я небольшим домиком в карантине, который только в начале июня должен был очиститься. Но г. Бородин, в нём помещенный, в звании адъютанта Паскевича, получивший некогда Георгиевский крест, пожелал опять находиться под его начальством, вступил в военную службу и отправился к нему за Кавказ в первой половине мая; и в тот же самый день принялся за домик. Отец мой любил вечно строиться, а у меня всегда была страсть отделять и убирать комнаты, и случай к тому представился. Нужны были деньги, а для этих небольших затей и их было у меня достаточно. Первому градоначальнику в Одессе, всемогущему Ришелье, отпускаемо было ежегодно по пятидесяти тысяч рублей ассигнациями, что по нынешнему курсу составляет 50 тысяч серебром, на употребление их по усмотрению его для пользы города, даже без всякого отчета, и можно поручиться, что ни

одной копейки из них не обращал он в собственную пользу. Та же доверенность оказана была и Керченским градоначальникам на том же основании, только великая разница была в сумме: выдаваемо было всего по пяти тысяч ассигнациями. Отделив из них некоторую часть, прибавил я к ней собственных полторы тысячи рублей. Денег тогда было у меня вдоволь; жалованья получил я более десяти тысяч ассигнациями, которые со дня определения по день приезда моего были мне выплачены сполна; не говоря о вспомоществовании, пожалованном мне на подъем и обзаведение. Я ничем не заводился, дорогу сделал в одной коляске и жил с начала батраком; следственно пожертвование, сделанное мною, не было слишком значительно. Я начал небольшие переделки для препровождения времени и для удовольствия моих преемников, а греки вздумали, что я хочу устроить себе постоянное жилище.

Неужели не позволено мне будет с некоторою подробностью описать гнездо мною свитое, одно светлое пятнышко среди мрачных воспоминаний моих о Керчи. Домик мой сто-

ял у самой подошвы горы крутой в утесе и на некоторой высоте над взморьем или проливом. По образцу татарских строений, широкая и длинная, низкая и сквозная зала делила его на две равные половины, и в каждой из них было по две комнаты, узких и длинных. В зале было шесть дверей; одна из них выходила на крыльцо, другая прямо напротив к горе, от которой только полторы сажени отделяли ее; остальные четыре вели в четыре боковые комнаты. Вместо крыльца была площадка, гладким камнем выложенная под навесом из холста трех разных цветов. Перед нею терраса, обращенная в славный цветник стараниями любезнейшего Бородина. Это была величайшая редкость. Удивительно, как в полуденных странах пренебрегали цветами; только на Севере, в английских парках и на Петербургских дачах, а еще более в Гарлеме знают цену красоте их. От террасы узкая каменная лестница шла вниз до дорожки, ведущей к морю. Внутренность домика хотелось мне отделать самым необыкновенным образом, и один чиновник таможенный, страстно любящий живописное и рисовальное искусство, в

сем деле явился мне сильным помощником. Одна комната по его рисунку очень красиво была драпирована синим флагтухом пополам с белым коленкором; другую оклеил он простой, толстой бумагой и по ней очень искусно и мило нарисовал он ряд турецких желтых шалей, будто развешанных с их пестрыми украшениями, бордюрами, пальмами. Зала была раскрашена полосами всевозможных цветов, остальные две комнаты были просто выкрашены. Нужны были мебели, и в этом случае мне посчастливилось. Вслед за огородниками прибыл из колоний с берегов Азовского моря хороший немец-столяр, который оставался почти без работы. Я заказал ему стулья, столы, шкафы из орехового дерева, которым не редко в Крыму топят печи, и всё по рисункам того же чиновника, которого, увы, прозвание я позабыл. За довольно высокую цену выписал я из Феодосия турецкие шерстяные материи для покрышки диванов и обшивки мебели, также некоторые турецкие изделия, между прочим небольшие столики с наклейкой из перламутра и черепахи. Всё вместе с привезенными из Пензы вещицами,

картинками, эстам нами и прочим расставлено было, казалось мне, довольно со вкусом. От дверей залы, как сказал я, было шесть или семь шагов до горы, в которой Бородиным был вырыт погреб, с каменным сводом при входе. Погреб велел я зарыть, превратил впадину в грот, а свод украсил мохом и разноцветными разной величины раковинами, которыми изобилуют берега Босфора. Также как во всех Керченских домиках, потолки тут были дощатые с планочками, выкрашенные темною масляною краскою; великое затруднение представилось мне, когда в двух комнатах, обращенных на Юг, надобно было пробивать их и над отверстиями в крыше делать фонари, дабы свет проникал только сверху. Все окна в сих комнатах были совсем заделаны, оставлены только в тех, кои на Север заслонены были высокой горой от солнечных лучей. Всё это предосторожности против жестокостей горящего светила.

Как усладительно мне бывало лежать на диване, в прохладе, под защитою толстых каменных стен от палящего зноя, продолжавшегося во всё лето. Две комнаты мои весьма

похожи были на каюты в кораблях; с девяти часов утра до шести вечера, ежедневно, постоянно дул ветер; он не прохлаждал воздуха, а высоко воздымал волны, которые с шумом и ревом разбивались о берег; внимая им, мне казалось иногда, что я в безопасности посреди моря. Одним словом, я умел создать себе наслаждения даже в Керчи. Немало удовольствия чувствовал я и в некотором отдалении от греков, которых, равно как и Минарского, видел я в городе, по утрам три раза в неделю: сего достаточно было для принятия их вздорных просьб, для получения и отправления бумаг с почты и на почту.

Когда вскоре по приезде моем прошли слухи о намерении моем воспользоваться первым удобным случаем, чтобы ускользнуть из Керчи (слухи, кои не опровергал я и не подтверждал), то и тогда греки плохо им верили. Они рассуждали так между собою: «Чего здесь нет у этого человека? И несколько сотен донских козаков, составляющих карантинную и таможенную стражу, из коих двое всякой день у него на вестях, и пребольшой катер с двенадцатью матросами-гребцами, на кото-

ром сколько ему угодно может он разгуливать по проливу (des superbes droits du Seigneur), и сколько почестей, и какая власть! Возможно ли с такими благами добровольно расстаться?» Эти варвары не имели понятия об умственных, о нравственных удовольствиях, коих я был совершенно лишен. Когда же дошло до них о невероятной, по их мнению, роскоши моего летнего местопребывания, то они еще более убедились в том, что я приковался к своей должности. О том скоро уведомлен был Скасси в Петербурге, и пошли советы о средствах положить конец сатрапскому житию моему.

О нём еще несколько слов. Я хотел жить в уединении, а не в совершенном отшельничестве и для того спешил населить опустевшие домики. Один из них занял нанятый мною женатый садовник, который подсаживал деревца, ходил за виноградом и цветами. Ему в помощь даны были двенадцать матросов с катера, которые с унтер-офицером тут же были размещены и которые работали за умеренную плату; разумеется, всё это было из собственного моего кармана. Прислуга у меня со-

стояла из семи человек, в числе коих было два татарина в азиатских костюмах; все они по возможности обязаны были заниматься садоводством. Сверх того находилось на моем иждивении двое канцелярских, которые или писали под диктовку, или переписывали мои бумаги. Это конечно не составляло мне общества, по крайней мере сколько-нибудь оживляло мою пустыню. Имея хорошего повара и всё нужное для угощения, при невероятной дешевизне припасов, нельзя мне было не приглашать к себе погулять и пообедать людей мне более приятных. Дабы не возбудить неудовольствий, принужден я был звать и других; но почти все отговаривались под предлогом неимения экипажа (как будто таратайки и тележки не экипаж), я не настаивал и был тем весьма доволен. В мирном убежище моем мне не очень хотелось видеть неприязненные лица, и для того я сам ездил к ним в город; к тому же мне казалось смешным, принимая тут просителей, как будто подражать Святому Людовику, когда он судил и рядил под Венсенским дубом. На горе, надомной, видны были не развалины, а на доволь-

но большом протяжении остатки древних каменных фундаментов, что и служило доказательством существования тут некогда городка Нимфеи. Сим именем хотелось мне назвать и хутор мой; но на нём не было ни одной Нимфы, исключая матери семейства, довольно пожилой жены садовника. Все эти мелочи, подробности всякому покажутся ничтожными, для меня же они драгоценны тем более, что, приводя их себе, на память, по месту сем творю я поминки: ибо, как мне сказывали, не осталось на нём и следов того, что при мне было; оно по частям роздано в наймы городским жителям, которые развели свои хозяйства, прежним домикам дали развалиться и на других местах настроили себе новые.

Пользуясь правом, осматривая заставы, разъезжать по берегам, я летом два раза отлучался из Керчи. Первое путешествие сделал я на азиатской берег, в Тамань, вместе с Синельниковым, не весьма приятным для меня спутником. Рано по утру 29 июня, в Петров день, сели мы с ним на мой катер и отправились через пролив. С апреля месяца не было

ни капли дождя, и около полудня, несмотря на свежесть морской влаги, начали мы чувствовать жар нестерпимый. Более тридцати верст должны мы были проехать, а едва сделали двадцать, когда на небе показались облака, которые мы радостно приветствовали. Не с таким удовольствием увидели мы черные тучи, которые вскоре потом начали подниматься с Запада; не успели мы еще доплыть до противоположного берега, когда всё потемнело, как в сумерки. Счастливыми почувли мы себя, вошед в приготовленную нам квартиру, ибо в эту самую минуту пошел проливной дождь и сделалась гроза, какие можно видеть только в жарких климатах. Гром заглушал речи наши, а с огненного неба ниспадали целые катаракты.

Хозяин, нас приютивший, был некто г. Арцыбашев, дворянин старинной фамилии, очень приятный и благовоспитанный юноша, с большим состоянием, который весьма косвенно принимал участие в деле 14 декабря. Зато и не был он сослан в Сибирь, а из кавалергардского полка переведен тем же поручичьим чином в Таманский гарнизонный бата-

льон. Наказание немаловажное: он вел тут самую томительную жизнь. Он нанимал лучший дом, то есть один только порядочный в этом пригородке, имел хороший стол, и сам начальник его, полковник Бобоедов, почти всякой день приходил к нему обедать. Я не верил ему, когда он утверждал, что в Керчь приезжает как бы в какую столицу; а тут имел я случай убедиться в истине его слов. Когда прояснело, и гроза, продолжавшаяся три или четыре часа, совсем утихла, пошли мы сперва в небольшую церковь, собором именуемую, посмотреть на единственную тут достопримечательность, известный Тмутараканский камень. Оттуда пошли гулять, а куда?.. в поле, в степь. Было почти сухо; алчущая земля с жадностью поглотила всю дождевую воду, приятная прохлада сменила зной, а мне стало грустно. Чувствительно было совершенное отсутствие человека; я был в краю земли давно отжившем век свой, истощенном, от которого давно бежали новые поколения, тогда как курганы кругом свидетельствовали везде о бесчисленности племен его обитавших. Царствовало угрюмое, могильное

молчание; не встретишь вспаханного куска земли, не услышишь скрипа телеги, не увидишь вдали появления всадника: всё было пусто и мертво. Не знаю, где были гарнизонные солдаты, а в самой Тамани я их почти не видел. Поблизости находилась крепость Фанагория; до неё мне не было никакого дела, и я не любопытствовал взглянуть на нее.

Проведя ночь весьма покойно, благодаря доброму нашему хозяину, на другой день рано поутру отправились мы в коляске, принадлежащей тому же гостеприимному Арцыбашеву, на Бугазский меновой двор. Печальная картина вчерашнего вновь представилась нам и на протяжении двадцати верст: ни хижинки, ни деревца, ни человека, ни зверя не случилось нам увидеть. Быстрая езда и утренний холодок сколько-нибудь разгоняли неодолимую тоску. Многостоящие карантинные здания куда мы приехали, только что достроенные, уже разваливались; тут нашли мы чиновника Дю-Брикса, сына одного поганого француза в Керчи живущего: как нарочно об эту пору ни одного пассажира не было. По крайней мере имел я удовольствие в пер-

вый и в последний раз увидеть устье знаменитой реки Кубани, в древности Гипаниса. Дав лошадям отдохнуть и выкормиться, поскакали мы обратно в Тамань, где опять ожидал нас хороший обед. Тотчас после него сели мы на катер и через несколько часов прибыли к европейскому берегу. Арцыбашев был совершенно прав: увидев Керчь, нам показалось, что из гробов мы возвратились в жизни.

В начале июля другую прогулку сделал я в Феодосию, с намерением внимательнее посмотреть на сию соперницу моей Керчи. Почти тоже впечатление которое, произвел на меня сей последний город по возвращении из Тамани, почувствовал я въезжая в Феодосию, гораздо более оживленную, более образованную. Через несколько лет после всё это сделалось наоборот. Богдановский принял меня как доброго соседа; супруга его как человека, с которым досыта могла наговориться по-французски. Быстрым взглядом осмотрел я местности города и уже описал их; о живущих не сказал ни слова, ибо в первый приезд не видал их, а в это трехдневное пребывание нашел между ими три лица довольно приме-

чательных.

В карантинной конторе начальником был князь Павел Иванович Долгорукий, старший сын поэта, бывшего Пензенского вице-губернатора. Он был человек добрый, довольно скучный, который беспрестанно играл на фортепиано очень хорошо, но слишком громко, от того что был почти глух. Управлял таможней Павел Васильевич Гаевский, старожил Феодосийский, умный, весьма чванный, к тому же великий хлебосол. Третья особа, на которую обращались все взоры, была крещеная еврейка Марья Семеновна Гейниц, вдова последнего коменданта, отчего и прозвана старой комендантшей. Она слыла очень богатою, не имела ни детей, ни родных, и все, надеясь на ее наследство, угождали ей: вот почему всегда говорила она утвердительно и повелительно.

Еще примечателен был один несчастливец, не сосланный, а поневоле поселившийся в Феодосии, Семен Михайлович Броневской, много лет бывший в ней градоначальником, человек честнейший и просвещеннейший, конечно немного задорный, часто не в ладах

с Новороссийскими генерал-губернаторами, от коих градоначальства тогда еще не зависели. Сие поколебало доверенность к нему правительства; довершили же его падение происки греческой партии, которая и тут находится и которая клеветами своими умела очернить его в глазах всех министров. Еще при Александре был он уволен от должности без просьбы, без вины и без копейки пенсионна, тогда как кроме одного сада у него ровно ничего не было. Во дни долгого управления своею купил он в полутора верстах от города восемь или девять десятин удобной земли, небольшой участок, на коем построил он домик, состоящий из четырех или пяти комнат и который засадил он любимыми своими миндальными деревьями. Как будто из благодарности за его попечения доставляли они ему пропитание: около трех тысяч ассигнациями давали они ему ежегодного дохода[76]. Какое положение! Оставаться без всякой власти среди врагов своих, которые при встречах явно оказывали ему презрение; за то все русские чиновники и все порядочные люди признанным и почтительным обхождением на-

перерыв старались утешить его. Две трети года проводил он в единственном своем убежище; на зиму же, по недостатку в дровах, удалялся к старому другу своему генералу Бекарюкову, в имение его, верст за тридцать находящееся. Я посетил его, выслушал жалобную его историю и нашел, что подобная участь ожидает и меня, если я долго на месте оставаться буду.

Вот всё, что в Феодосии на этот раз мог я увидеть и заметить.

Числом посетителей, хотя и не качеством, город Керчь в это лето не был богат. Первый, показавшийся в июле, был знакомый наш полковник барон Пфейлацер-Франк, который находился в сопровождении или, не знаю, сопровождал окружного жандармского начальника, полковника Михаила Петровича Родзянку. В первый раз увидел я голубой мундир, для многих тогда еще столь страшный, и в нём человека благородного, самого обходительного. Они провели в Керчи всего полторы сутки и большую часть у меня на хуторе. Ни одной жалобы, ни одного доноса подано не было.

Впрочем, греки могли бы иметь на меня большое неудовольствие, если б знали истину. Звание керченского грека, точно также как и нежинского, прежде заключало в себе нечто важное. Они составляли особое сословие, особое общество, в которое не могли входить жители города других наций. Они одни участвовали в выборах, одни пользовались доходами с поземельных угодьев и распоряжались городскими суммами. Желая навсегда удержать за собою права сии, они неохотно, и то в малом числе, допускали русских и татар селиться на городской земле. Весною сотни две бродяг шатались в окрестностях по обеим сторонам пролива; все они были беглые из Курской, Калужской, кажется, даже из Костромской губерний. Им вздумалось подать мне просьбу о дозволении поселиться в Керчи. Будучи о том предуведомлен, тайно поручил я сказать им, что велю всех их схватить, если в просьбе не назовут себя задунайскими переселенцами. Я очень хорошо знал, что не имею права приписать их к городу без согласия греков и утверждения Таврической Казенной Палаты; не менее того о сем причис-

лении послал я к ней бумагу. К счастью, Минарский не захотел предостеречь меня: он видел в этом глупость мою и рад был дать мне ее сделать. В ответе своем Палата спросила меня, имеют ли сии люди паспорта, свидетельства об увольнении от обществ? Тогда частным, секретным, дружеским, ласковым письмом старался я пристыдить Лонгинова, доказывая, как нелепо требовать видов у людей, спасшихся бегством от турецкой сабли, от гонений, даже истязаний, претерпеваемых тогда христианами на Востоке. Утверждение Палаты не замедлило затем последовать.

Вот тут-то греки, еще прежде Минарским извещенные, с торжеством явились ко мне, дабы показать мне (впрочем, в самых почтительных выражениях) всю противозаконность моего поступка.

Я казался изумленным, смущенным и начал извиняться неведением своим, происходящим от новости в занимаемой мною должности. «Неужели, господа, — сказал я им, — захотите вы градоначальника вашего и вице-губернатора уличить в непростительной опрометчивости? Не лучше ли будет, если

задним числом напишу я вам предложение, а вы, задним же числом, дадите ваше согласие. К тому же, — продолжал я, — что такое эти люди? Они всегда будут в вашей зависимости и умножат только число слугителей ваших». Сие последнее, кажется, убедило их сделать всё по моему. Им хотелось устыдить меня, заставить просить себя, и на первый случай этого было с них довольно.

Должен признаться, я покривил тут душой, но для собственной ли пользы? Мне хотелось как можно более на эту почву набросать русских семян, в надежде (что говорю а? в уверенности), что когда добрая трава разрастется, то непременно заглушит негодную: *le froment étouffera l'ivrae*.

В том же июле навестил меня прелюбезнейший Александр Иванович Казначеев, который тогда без дела и без должности разгуливал по Крыму. В предыдущем году был он раздосадован тем, что, вместо ожидаемой Аннинской ленты, получил только Владимирской крест 3-й степени. Правителю канцелярии лента! Согласие между чинами, местами и орденами начинало уже разрушаться и по-

нятия о том смешиваться. Он один имел право смело и чистосердечно говорить с Воронцовым и по возвращении последнего из Петербурга, может быть, слишком резко объяснил ему свое неудовольствие; тот вышел из терпения, и они поссорились. Следствием того было удаление его от должности и назначение на его место в три года три чина получившего Лекса, всегда покорного, угодливого, более хитрого и более сведущего в делах. Со всегдашним беспристрастием моим в этом случае я не смею винить графа, к которому охолодел, а скорее много-любимого мною Казначеева. Он прогостил у меня дня три, если не более. Как все люди, недовольные своим положением, и я желал возбудить в нём сострадание; но, судя по одной наружности, он нашёл его довольно приятным. Жестокий, к сожалению моему, он нимало не пожалел обо мне!

Кстати о Лексе. Я давно потерял из вида Одессу. Сношения мои с нею хотя были редки, но приятны. В отношениях ко мне исправляющего должность генерал-губернатора господствовал такой скромный и вежливый тон,

к какому Воронцов с Казначеевым не приучали нас. Заметно было, что Новороссийским краем управляет дипломат и канцелярией его человек, который старается со всеми ладить.

Скоро должен был я познакомиться с временным моим начальником. В Керчи готовились к важному событию: к торжественному открытию порта, причем сам он должен был присутствовать. Прежде еще чем он появится, желательно мне вкратце изобразить жизнь его и характер. Третий сын Палена, столь известного при Павле и в начале царствования Александра, граф Федор Петрович почти в малолетстве Екатериною пожалован был конногвардейским офицером. Он был красив собою, любезен, умен, но, как говорят, плохой наездник. Раз Император, прогуливаясь верхом с отцом-Паленом, встретил его в полной форме, также на коне. Заметив его неловкость, Павел по-немецки, с негодованием, спросил у отца, кто он таков? Это мой сын, ваше величество, отвечал он, ein dummer Junge, es wäre besser ihm zum Kammerherren zu machen (глупый мальчик, ему бы лучше

быть камергером). Вот как вдруг попал он в четвертый класс. Везде, где потом находился в миссиях, отличался он и способностями, и приличием поступков; был попеременно чрезвычайным посланником в Соединенных Американских Штатах, в Бразилии и, наконец, в Мюнхене. Кажется, он не поладил с Нессельроде и оставил службу.

Будучи с ним приятелем, Воронцов предложил ему вакантное место одесского градоначальника, с тем, чтобы при отъезде передать ему на время управление Новороссийского края. Он никогда по административной части не служил; оттого действовал осторожно, осмотрительно, ничего лишнего не затевал, придерживаясь существующего порядка, и вверился Лексу, в чём и не имел причины раскаиваться.

При первой с ним встрече, он мне чрезвычайно понравился. С малых лет видел я лучшее общество, а он был самым приятным его представителем и назывался в нём милым Фрицом. Кипучая кровь, добрейшее сердце, благороднейшие чувства и правила, живой ум, веселый нрав, в нём было всё то, что при-

ходилось мне по душе. Были, конечно, и недостатки, принадлежащие более веку и только в моих глазах: республиканизм, украшенный каким-то древним рыцарским духом, и безверие, умеряемое наружным уважением ко всем чужим верованиям.

Я очистил и приготовил для него генеральский дом, а сам поместился в одной комнатке флигеля. Он приехал 4 августа с намерением на другой же день открыть порт и тотчас потом уехать. Тщетно просил я его взглянуть на Еникале, на Тамань и посетить мой хутор. Однако уговорил его отложить наше торжество до 6-го числа, до великого праздника Преображения Господня. Он всё отговаривался тем, что я тут полный хозяин и что он долго в гостях оставаться не любит, опасаясь обременить собою.

Наше празднество не было довольно великолепно, чтобы заслуживать большего описания; несколько слов должен я, однако, сказать об нём. По совершении протоиереем молебствия с водоосвящением на берегу взморья, отправились мы в самый большой из карантинных магазинов, в который свет прохо-

дил сквозь верхние окна и где был накрыт стол на шестьдесят приборов. Не знаю откуда набрали столько народу; издержки были большею частью на счет городских сумм, (греки расщедрились), частью же из карантинных. Синельников всем распоряжался и делал приглашения. Обед был препорядочный, вино лилось с избытком, и не было конца тостам, которые сопровождались выстрелами из пушек. Синельников где-то достал их с военных судов и перевез на берег. Несчастное приключение, бывшее в продолжении обеда, многим показалось худым предвещанием для открывающегося порта. Один молодой человек, служивший в карантине канцелярским, имел страсть к артиллерийскому делу и выпросил себе позволение находиться при одной из пушек. Накануне, говорят, обнимал он ее, садился на нее верхом, приговаривая: ну, завтра поедем мы на тебе! Тщетно прикладывал он зажженный фитиль к орудию, а когда нагнулся к отверстию пушки, чтобы взглянуть внутрь её, она выпалила и пыжом убила его наповал.

Ни графу Палену, ни мне ничего не сказа-

ли о том, дабы не нарушить веселого расположения нашего, еще умножившегося к концу трапезы. Пален согласился остаться на некоторое время. К семи часам вечера начали приезжать дамы; я так называю их потому, что их мужья и отцы имели чины и что сами они кое-как выучились танцевать; вскоре явилось несколько морских офицеров, и начался бал, единственный, который видел я в Керчи. Он происходил в том же месте, где мы обедали, в том же огромном сарае, который легко бы можно было обратить в большую приходскую церковь. Он освещен был сотнями свечек, а не свечей, то есть сальных, а не восковых, ибо сих последних трудно было достать. В девять часов Палев сказал мне: Кажется, довольно, и предложил воротиться домой. Мы еще кое о чём потолковали по возвращении, и между прочим сказал он мне: «Я исполнил высшее предписание; а согласитесь, что мне здесь нечего было делать; при вас дело обошлось бы и без меня». Я простился с ним, а на другой день, 7-го августа, я не успел еще проснуться, когда он поспешил ускакать от нас.

И так, три дня провели мы почти с глазу на глаз и успели хорошо друг друга разглядеть. Хозяйство мое всё было на хуторе, а он по-барски возил с собою собственного повара; таким образом хозяину пришлось обедать у гостя втроем со старшим Сифоновым, который один сопровождал его. Как и со всеми, был он учтив и ласков с керченскими греками и спрашивал у них раз, без меня, об их нуждах; они отвечали, что всем совершенно довольны, и ни одной жалобы от них не было ни подано, ни заявлено, не только на меня, ни даже на полицию. Вообще, Керчи он отменно понравился, но она ему не совсем понравилась. У него вырвалось, что без глубокого сожаления он не может подумать об ужасной скуке, которая ожидает меня зимой. Улыбаясь, отвечал я ему, что, может быть, умру от неё, если он не захочет спасти меня. Затем объяснил я ему, как граф Воронцов под предлогом дел службы извлекал меня иногда из Кишинева в Одессу, а что тут идет дело о *важных* совещаниях по предмету устройства и благосостояния нового порта. Он поколебался сначала, не будучи очень уверен еще в пра-

вах своих; наконец, был мною убежден и обещался по первому отзыву моему доставить мне пригласительную бумагу. Я был утешен сей надеждой и несколько дней после отъезда его оставался совершенно спокоен.

Вдруг, 20 августа, прискакали мне сказать, что к нам пожаловали гости еще знаменитее Палена, бывший генерал-губернатор граф Александр Федорович Ланжерон с супругою, и что он остановился в каком-то небольшом домике, отказавшись от генеральского дома. По совету обманщика Скасси купил он негодное именье с соляными озерами, близ Кумыш-Буруна, неподалеку от Керчи, и приехал взглянуть на свое владение. Я поспешил их увидеть и, признаюсь, обрадовался им: графиня была ко мне всегда очень добра, а он был любезнее, веселее, забавнее и каламбурнее чем когда либо. Уж я ли не возился с ними, для них целую неделю вел кочевую жизнь, катал их по взморью, угощал их обедами у себя и в карантине, и в городском доме, и на хуторе. В день коронации, 22 числа, в мундире пошел я к обедне; к молебну явился и граф Ланжерон в Андреевской ленте с бриллианто-

вой звездой. По окончании молебствия потребовал он, чтобы я шел перед ним, говоря: les autorités locales avant tout. Я церемонился, всё ждало, протопоп был в недоумении, наконец, я повиновался, но, подходя к протоиерею, немного отстранился и глазами указал ему на Ланжерона, к которому сам поднес он крест. В Керчи другой иллюминации тогда не знали кроме горящих смоляных бочек, в большие торжественные дни их ставили перед жилищем градоначальника; я велел зажечь их пред квартирой Ланжерона. С обеих сторон неделю продолжался обмен ласк и приветствий.

Вскоре после отъезда Ланжерона, мог бы я увидеть некоторую небольшую, едва заметную перемену в обхождении со мной греков; но я как-то не обратил на то внимания. Между тем мне захотелось потешить самого себя, а совсем не их, и для того затеял я большую вечеринку 10 сентября у себя на хуторе. Я был намерен проститься с ним, вслед за тем расстаться и с самой Керчью, не возвращаться в нее более из Одессы, а оттуда послать прошение об увольнении моем, месяца два спустя,

дабы не столь кратковременным показалось нахождение мое в должности.

На свою вечеринку позвал я всех первостатейных жителей с их женами, которых только можно было пригласить, также всевозможных чиновников и чиновниц, что составило более пятидесяти душ обоего пола; все приехали кто на чём попало. Чем было угостить их? Я должен был нарочно посылать в Феодосию за шкаликами и восковыми свечами; на месте же нашел я достаточное количество плошек и всеми употребляемых бумажных фонарей, которые таможенный художник мой разукрасил разноцветными красками. Домик мой внутри горел как в огне; снаружи был обвешан длинными фестонами расцвеченных фонарей, остальное на довольно большом протяжении освещено было всем, что можно зажечь, даже смоляными бочками. Ночь была тихая, теплая, очаровательная, и морская равнина также иллюминирована была сиянием бесчисленных звезд. Ни музыки достать, ни плясать — было негде. В комнатах и без того становилось душно, большая часть посетителей предпочитала гулять на воздухе

и возвращаться в них только для отдохновения. Всё заключилось ужином, и всех, смею сказать, накормил я на убой и напоил напропалую. Гораздо за полночь все с видимою благодарностью оставили меня. Одно удивило меня в этот вечер: градской голова Хамарито, всегда полусогбенный предо мною, тут подошел во мне смело и свободно без наклона головы, взял меня за руку и крепко пожал мне ее; гостеприимство на этот раз не дозволило мне ее быстро отнять у него. После того оставался я еще три дня в приятном, совершенном уединении; накануне же Воздвижения, 13 числа, вечером совсем перебрался в генеральской дом и с нетерпением начал ожидать бумаги от Палена.

Вскоре потом стало мне весьма очевидно, что против меня есть замысел у греков. Они вдруг сделались дерзки; низшие из них начали буянить, беспрестанно заводили драки на базаре, не слушались полиции, пренебрегали ею, даже обижали ее, и они же приходили ко мне с жалобами, грубым тоном изъясненными. На улице встречаясь со мной, снимали, правда, шапки, но с видом угрюмым, недо-

вольным. Одним словом, смешно сказать, я увидел начало настоящего возмущения.

Что бы это всё значило? спросил я у себя. А вот что. Зимой граф Воронцов должен был из Лондона воротиться в Петербург, а тогда недавно пожалованный статский советник Скасси должен был лишиться всякой надежды на получение давно желаемого места. Надобно было предупредить этот приезд, произвести какой-нибудь большой скандал, пустить о нём молву в преувеличенном виде; для того нужно было вывести меня из терпения, заставить действовать самоуправно; потом, не теряя времени, нанести мне окончательный удар. Пален сам собою не решился бы кого-нибудь представить на мое место, а Нессельрод между тем Государю предложил бы Скасси. Как всё это хорошо было обдуманно! Об одном не помыслил г. Скасси, о том, что, быв определен без ведома и согласия Воронцова, он на месте усидеть бы не мог. Из Петербурга письменно чрез Пасхали возбуждал он жителей Керчи вооружиться на меня. Ланжерон, во время недавнего пребывания своего, лаская мена, лично ободрял их и по-

ощрял к тому же. Могло ли прийти мне в голову, что старый воин, из знатного рода, стоявший на самой высокой степени, спустится до столь пакостных интриг и будет действовать столь изменническим образом? Тот, который всегда хвалился своим рыцарством и, пленившись нового рода славой, с Вашингтоном в Америке сражался за свободу! Если, перед революцией, *des chevaliers français tel était le caractère*: нет ничего удивительного, что она вспыхнула. Всегда покровительствуя Скасси, Ланжерон ненавидел Воронцова и во мне хотел мстить ему. Странны были отношения мои к последнему; я осужден был страдать от него и за него.

Также как Пален был временным генерал-губернатором, и я почитал себя временным градоначальником; также как он, хотел я миром и добрым согласием ознаменовать краткое мое управление. От того, статья может, бывал я иногда слишком снисходительным и должен был казаться слабодушным. Видя почести, оказанные мною летам и высокому чину Ланжерона, потом приветливость, с которою, как всякий учтивый хозяин, во

время пустого праздника моего на хуторе принимал я их, греки возмечтали, что я, всё более прилепляясь к своей должности и чуя опасность, хочу их умилоствовать. Чего же более для подлых душ! Что делать, пришлось мне осадить их.

Много было злоупотреблений, на которые должен был я смотреть сквозь пальцы; некоторые захотелось мне исправить. Главнейший из них был обычай принятый греками молодыми и средних лет, после учреждения градоначальства, вступать в казенную службу, то есть числиться по разным канцеляриям, не посещая их и продолжая торговать по лавкам и лавочкам: всё это для того, чтобы не платить податей и после получить даром один или два офицерских чина. Я поручил одному человеку составить их список, потом дал приказание всем ведомствам исключить их из службы, если добровольно её не оставят, или не согласятся заниматься ею, оставляя торговлю. Человек полтора ста возвратил я таким образом в податное состояние. Изумленные столь строгою и вместе справедливою мерою они сначала не смели даже возроп-

тать.

Другой удар, им нанесенный, был для них едва ли еще не чувствительнее. Больно было для русского сердца моего слышать о жестоком обращении простых, ничтожных греков с русскими крепостными их людьми, как скот купленными на Коренной ярмарке. Ни один из них не имел права владеть ими, ибо купчие крепости совершены были на чужие имена людей, коих права были столь же сомнительны; но никакой жалобы до меня не доходило. Кто-то подбил одного из сих несчастных подать мне просьбу об освобождении его от незаконного ига; видя, с какою благосклонностью она была принята, другие и во множестве последовали сему при мере. Чтобы отклонить от себя всякую ответственность, велел я из сих просьб составить дело и отправить его в Феодосийской уездный суд. Я знал, что как в нём, так и в Таврической гражданской палате греки выиграют тяжбу; за то по крайней мере должны будут хлопотать и много тратиться. Знал я также, что дело тем не кончится, а пойдет в Московский апелляционный департамент Сената, где приятель

мой Жихарев находился обер-прокурором. В следующем году писал я к нему и умолял, именем России, чести и нашей дружбы, склонить сенаторов к справедливому решению. Я просил, чтобы, не довольствуясь освобождением людей, не имеющих пристанища, Сенат предписал указом водворить их на жительстве в Керчи. Всё сделалось после согласно с моим желанием, и более чем сотнею душ умножилось русское Керченское народонаселение.

А покамест дни тяжело шли для меня за днями, и я начинал уже терять надежду на получение от Палена обещанного официального приглашения. С каким-то внутренним остервенением, я почти решился, если нужно, остаться часть зимы, не подавая просьбы об отставке и, воздерживаясь от малейшей запальчивости, хладнокровно продолжать войну свою с греками, в то время когда европейские державы начинали вооружаться за них. Наконец, когда уже переставал я думать об Одессе, получил бумагу из неё и поспешно собрался в дорогу. Сдав должность свою Синельникову, в воскресенье 10 октября, без проща-

ний и проводов, оставил я Керчь.

VIII

Одесса в 1827 году. — Собаньская. —
Н. В. Сушков. — Спада.

Погода была чудесная; казалось, что наступила новая весна. В Феодосии остановился я только с тем, чтобы отобедать у Богдановского и переночевать: нечего было уже мне в ней видеть и узнавать. Утро, в которое на другой день рано оставил ее, не иначе умею назвать как радостным; физическое наслаждение, которое я чувствовал, объяснить нельзя; оно заставило меня забыть всё житейское.

Я приостановился немного на первой станции, называемой Кринички, от которой влево поворачивает дорога в известную Судакскую долину. Не помню кому тогда принадлежало это имение[77], почтовый же домик был хорош и опрятен, а за ним находился преобширный господский сад, хорошо содержанный, и мне захотелось по нём прогуляться. Также был тут обильный родник или криница, давшая название сему месту; предупреждали

всех, чтобы не пили из неё, утверждая, что часто производит она лихорадку; и неудивительно: вода в ней чрезвычайно студёная, и в ужасные жары спешат утолить ею жажду свою. Листья и на половину еще не облетели с деревьев, и я упивался не водой, а таким бальзамическим воздухом, каким никогда не случалось дышать мне на Севере.

Тот же день остановился я опять в Карасу-Базаре, который не мог видеть в первый проезд через него. Пока строился и всё не достраивался Симферополь, главные военное и губернское начальства в нём помещались. Любопытен мне показался этот азиатской городок, который живет собственно своею внутреннею торговлею. Ее душою караимы еще более чем армяне; но что такое первые? Все скажут: жидаы. Ныне достоверно доказано, что они остаток древнего, сильного хазарского народа, совсем не иудейского происхождения, хотя и принявшего Моисеев закон и сокрушенного Византийской империей в X веке с помощью нашего Великого Владимира. Они одеты одинаково с татарами, говорят единственно их языком и более чем другие чужда-

ются евреев-талмудистов. Они слынут самыми честными людьми; вообще всё мне в них понравилось: и откровенная наружность, и живость взглядов, и большая опрятность, отличающая их от других жителей Крыма. Один из них, довольно богатый, предложил мне переночевать у него, но я предпочел прежнюю квартиру за городом.

Когда 12 числа рано поутру приехал я в Симферополь, то не застал в нём Нарышкина, который только что уехал в Петербург на встречу в графу Воронцову, и я обедал у любезной его супруги. Управлял губернией Лонгинов, и по приглашению его, в угождение маленькому его тщеславию, 14, в день рождения вдовствующей Императрицы, хотел я быть у молебна в соборе, где он должен был играть первую роль; но не так-то случилось. Еще 13-го, прогуливаясь вечером, зашел я на принадлежащий дворянскому собранию обширный двор, на котором какой-то приезжий эквилибрист увеселял и удивлял публику, состоящую по большей части из простонародия, своими прыжками по натянутой веревке. Я сидел в одном сюртуке, и мне было

почти жарко.

Зима, равно как и предтеча её осень, в Крыму всегда является неожиданным несчастьем, ибо никогда не знаешь, когда, и всё надеешься, что она не скоро придет. Весь октябрь, а иногда весь ноябрь, стоит такая погода, пользуясь которой я тогда не ехал, не путешествовал, а более гулял. Вдруг 14 октября пошел мелкой дождик, воздух сделался сыр и небо пасмурно, что и помешало мне идти в церковь. В этот день обедал я у одного нового знакомца, странного человека, о коем следует порассказать.

На окраине площади-поля стояли незаметно рядом два дома, один довольно большой, другой — премаленькой. В последнем, убегая от ужасного трактира, в котором перед тем останавливался, по найму занимал я две комнаты; другой принадлежал отставному поручику, Александру Ивановичу Султану-Керим-Гирееву. Судьба его была столь же странна, как он сам и сочетание имен его. В Кавказских горах, один английский миссионер проповедывал христианскую веру и никого не успел обратить в нее, кроме одного молодого

мальчика из черкесов. Оттуда едва успел он унести ноги и увезти с собою юного прозелита. Как с трофеем явился он с ним в Шотландию и стал выдавать его за потомка Гиреев, царствовавших в Тавриде; после того женил он его на милой девочке Нильсен, методистке или квакерше. Когда Библейское Общество в России усилилось, то Пинкертон, глава его в Эдинбурге, отправил молодую чету в Петербург, где она была, принята не только благосклонно, даже милостиво. Мужу дан прямо чин поручика, только отставного, а жене большой участок земли на Южном берегу, вспомогательная сумма на обрабатывание её и по шести тысяч рублей ассигнациями ежегодного пенсионна. Потом послали их в Крым для распространения веры их (право, не знаю какой) не только между татарами, пожалуй, хоть между русскими. Крещеный Султан имел столь же мало успеха, как и креститель его; впрочем, он мало о том заботился. Александр Иванович занимался более размножением своего семейства[78] и своего состояния, когда я познакомился с ним и когда по соседству пришел он ко мне с приглашением на

обед.

Это был добрый, честный полудикарь, которого характер ни сектеризм, ни кротость жены не могли совершенно смягчить, которого опасно было сердить и трудно унимать; а она, не лишенная еще прелестей, была образ первобытной христианки, смиренно готовой на мученичество. Он клялся всегда одной Англией, которой обязан был полупросвещением, и чуждался России, которая дала ему приют и состояние (видно, уже наша доля такая); а она отечеством, казалось, почитала небо, а землю временным из него изгнанием. За столом был он говорлив, даже шумен, а она молчалива, с потупленными взорами и приятной улыбкой, только что отвечая на вопросы; в кушанье также было некоторое смешение английского с татарским. Все эти противоположности показались мне крайне любопытными.

Погода вновь переменилась по утру 15 числа, когда я опять должен был пуститься в дорогу. Дождя не было, зато ужасный, сильный восточный ветер, еще довольно теплый, который то нагонял, то разгонял облака; по край-

ней мере, он высушил землю, и я мог не скакать, а лететь по ней до Перекопа и за него. В Керчи завелся я легонькой, двухместной каретой; я получил ее от подрядчика Томазини и, право, не даром, а в промен за почтовую мою коляску, с прибавкою трехсот рублей ассигнациями. На длинном пути из Петербурга как скучно, как грустно мне бывало сидеть в темноте закутанным, закрытым от дождя, а тут мог я хотя сквозь стекла свободно смотреть на Божий свет. Но на что было глядеть в этой отвратительной степи? Высохшая, побелевшая, высокая, кустообразная трава ковыль, силою ветра оторванная от корня, по дуновению его кубарем катилась через поле и попадала иногда под ноги лошадям. Быстрота их бега, раздвояя воздух, производила другой ветер, рассекающий вихорь, и оттого бедная каретка моя ужасным образом качалась. Дни становились коротки, на ночь я всегда останавливался, и потому, несмотря на скорость езды, в этот день мог я только сделать 160 верст и выехать из полуострова. На станции Чаплинке нашел я дурной ночлег, но и им удовольствовался.

Ветер утих 16 числа; сделалось совершенно ясно, но что-то отменно холодно, как иные говорят, сиверко. Не останавливаясь в Каховке, где я перед тем ночевал, по мосту переехал я чрез мой любезный Днепр и переменил лошадей в незнакомом мне еще городе Бериславе, бывшем Кизикирмене. Он разбросан и рассеян на большом пространстве, и я только кончик его мог увидеть. От него еще отъехал я две станции; в имении, заселенном князем Потемкиным, доставшемся племяннику его Василью Васильевичу Энгельгардту, называемом, кажется, Тягинка, остановился я и попросил, чтобы меня куда-нибудь пустили ночевать. Мне сказали, чтобы я ехал на двор к управляющему; он был в отлучке, а вместо его приняли меня две хозяйки, жена и теща его, и пригласили меня к себе. Тут польское шляхетное семейство занимало весь господский дом, довольно просторный, и я мог подивиться великолепию сделанного мне приема. Все комнаты осветились восковыми свечами, и два часа (время едва достаточное для приготовления славного ужина) дамы продержали меня у себя в гостиной, меня, утомленного и

голодного (ибо два дня я ничего почти не ел). Со свойственной полякам любезностью старались они меня занимать, а я к тому почти был не чувствителен. После ужина, за которым не нужно было меня потчевать, повели меня в особую комнату, положили на роскошную постель с батистовыми простыней и наволоками и покрыли розовым атласным стеганым одеялом. Такое гостеприимство должно приписать скуке, которую эти бедные женщины претерпевают в уединении, а вместе с тем, показывает, как велики должны быть доходы с имения, когда и управитель пользуется толикими приятностями жизни. Вот что подумал я, сладостно засыпая.

Я забыл приказать, чтобы меня пораньше разбудили; оттого проспал я до девятого часа утра; потом пошло чайничание, что и продержало меня еще несколько времени. Первый легонький мороз был на заре этого 17 числа, и я увидел кровли инеем покрытые. Я спешил в Херсон, до которого оставалась одна только станция. Мне желательно было в первый раз посмотреть на город, почти место рождения моего (ибо через три месяца по оставлении

его родителями моими, явился я в свет). Но, о горе! пошел ужасный снег, сделалась просто вьюга, метель, когда я подъезжал к нему: зги было не видать, пока на почтовом дворе переменял я в нём только лошадей. «Да это по нашенскому, как иные говорят, и стоит ли жить в Южном краю, чтобы видеть такие ужасы», сказал я себе. Шестьдесят верст оставалось до Николаева, и весь передрогнув остановился я в нём, хотя было еще светло. Скорее велел я подать себе что-нибудь поесть и затопить камин, случившийся в комнате трактира, в котором я остановился. На другой день, 18 октября, проснулся я до света и, не повидавшись ни с кем, уехал из Николаева. Не оставалось и следов вчерашнего снега, но сделалось холодновато и сыро. Часу в пятом вечера приехал я в Одессу и остановился на Итальянской улице, в больших комнатах Отеля де-Сикара, как подобало званию моему, при довольно хороших денежных обстоятельствах. Впрочем, все эти квартиры осенью и зимой становятся гораздо дешевле летнего.

Когда, 19-го, явился я к Палену, встретил он меня не холодно, но с приметным замеша-

тельством. Он принужден был объявить мне, что из Керчи получена на меня ужаснейшая жалоба. Мы стали объясняться, и мне тотчас пришло в голову, что причиною всему был Ланжерон. Вы точно угадали, сказал он. Сколько раз твердил он ему: это не губернатор, а паша, тиран. Да давно ли я сам был там, отвечал Пален, и не мог заметить и тени неудовольствия. Погодите, погодите, возражал тот, вы всё увидите из просьбы, которую получите (потом несколько раз ветреный старец прибегал справляться о получении ее). После отъезда моего греки могли надеяться, что я к ним не ворочусь, тем более, что и всё имущество мое без себя велел я укладывать; из чего же они бились? Им хотелось мести, им хотелось заставить думать, что они меня выжили. Стараясь иметь и чиновников на своей стороне, Скасси тайно переписывался с Синельниковым и уверял его, что хлопочет о назначении его моим преемником; этот болван тому верил, а Минарский с его согласия и ведома писал просьбу. В хороших руках находился я! Обо всем обстоятельно после уведомлен я был Щиржецким и Гудимом.

При формальном отношении граф Пален препроводил ко мне копию с помянутого прошения. Оно было подписано несколькими сотнями *одних* греков, и в главе подписчиков, разумеется, находилось имя главы городского, Хамарито, заправлявшего маленьким имением Ланжерона. История этого дела может показаться не весьма любопытною; для того постараюсь укоротить ее представив единственно содержание просьбы, обвинения на меня и мои ответы. Греки утверждали, во первых, будто я, неизвестно по какой вражде к ним, всех людей, принадлежащих к их нации, велел выгонять из службы. В доказательство противного, ссылаясь я на недавние представления мои об определении иных греков к местам, о повышении других чинами, прибавляя, что сидельцам и лавочникам действительно воспретил я числиться на службе. 2-е, будто бы я, под предлогом выпрямления улиц, безжалостно ломаю обывательские дома и, между прочим, сломал домик, единственное достояние и убежище бедной вдовы. На это отвечал я, что в Строительном Комитете, который собирал я раза два-три, при рас-

смотрении Высочайше утвержденного плана, случилось мне на нём указывать места, на которых, вероятно, со временем некоторые строения должны будут подвергнуться сломке, но что по моему приказанию ни одной черепицы дотоле не было снято с кровли; что же касается до хижины бедной вдовы, то она без двора и призора стоит поперек улицы в самом тесном и проходном месте, беспрестанно угрожая падением и давно оставлена самой хозяйкой, из опасения быть раздавленной; что я предлагал жителям купить ее за 140 рублей ассигн., запрошенных владелицей, тогда как одни материалы стоят втрое более, но что Дума не изъявила согласия, и домишко стоит еще не тронутым. Наконец, 3-е, что я бросил Керчь, поселился на хуторе и туда никого не велел пускать к себе. Оставаясь на городской земле, сказал я в возражении моем, не покидал я города; проезд ко мне на хутор никогда и никому не был воспрещен, расстояние так близко, что без большего труда можно было туда ездить, а что, впрочем, и сие было не нужно, ибо три раза в неделю принимал я всех в городском доме. Всё была одна

подобная сему явная ложь, которую так легко мне было опровергнуть. В заключении своем говорят греки, что если я не буду удален от должности, они всем населением оставят Россию, и что подобная сему просьба отправлена от них и к управляющему Министерством Внутренних Дел.

Весь этот вздор встревожил графа Палена гораздо более чем меня. Ничего в этом роде не встречалось во время его управления, коего постоянная тишина была тем нарушена Такая гадкая дерзость должна была возмутить чистоту души его; негодование свое едва мог он скрыть от Ланжерона. Получив от меня письменные объяснения, сколько припомню, следующим образом отвечал он жителям Керчи. Они поступили совершенно в противность законов, не избрав кого либо между себя для принесения жалобы, а подписав ее целым миром. Обман в ней столь очевиден, что нет никакой надобности делать по ней какое либо исследование. Будучи русскими подданными, они не могут оставить Россию без Высочайшего соизволения; условия в этом случае с правительством походят на угрозу и по-

казывают возмутительный дух. За это должны бы они быть подвергнуты строжайшему наказанию, но как градоначальник уверяет, что всё сделано ими по неведению и по наущению злонамеренных людей, то во внимание к его ходатайству за них, он, Пален, сему делу не хочет дать дальнейшего хода. Это, конечно, единственная энергическая, грозная бумага, которую подписал он во время управления своего. Копию с нее отправил он к Ланскому, от которого, то есть под именем которого, от товарища его Дашкова, мне столь благоприятствующего, получен был в Керчи отзыв, писанный в том же смысле.

После того всё умолкло, всё притихло. Скасси соумышленников своих перестал возбуждать к новым подвигам; в ноябре со дня на день ожидали в Петербург графа Воронцова.

Итак, два раза в Новороссийском краю восторжествовал я над несправедливостью моих врагов: в первый раз по случаю неприятности у меня с молдавскими боярами, мне было это довольно лестно; борьба же с этою сволочью несколько унижала меня в собственных гла-

Зах моих.

Но довольно о Керчи; постараюсь на время забыть об ней, и веселая моя одесская жизнь поможет мне в том.

Прежде всего буду говорить о новых сношениях моих с Ланжероном и желаю, чтоб и другим показались они столь же забавными, как и мне самому. Я пошел к нему будто являться; он принял меня сухо и величаво и вдруг спросил, что у вас хорошего поделывается в Керчи? — Да, кажется, ничего, всё идет своим порядком. — Как ничего, возразил он с жаром, жалоба целого города на вопиющие притеснения начальства, ничего по мнению вашему? Прехладнокровно отвечал я: «Сущая безделица, о которой, право, не стоит мне много думать; одна ложь и клевета. Пален слишком благороден, чтобы не вступить за меня; Воронцов, которого ожидают в Петербурге, сделает тоже, там есть и другие люди», и я пустился хвастаться пред ним знаменитыми моими связями. Он не молвил ни слова, на лице его показалась ужасная досада, и он едва поклонился мне, когда я начал с ним прощаться.

Зато Пален с каждым днем становился со мною любезнее. Были у него и некоторые капризы: например, он ужасно не любил, чтобы во время представления кто-нибудь приходил в его совсем отдельную ложу близ сцены, все это знали, и он всегда сидел один, дабы без развлечения наслаждаться музыкой, до которой он был великий охотник. Мне сказал он: Зачем вам понапрасну тратиться? Когда бы вам ни вздумалось послушать оперу, приходите ко мне в ложу; я вам даю право живота и смерти в ней, прибавил он, улыбаясь. Такой милости никто еще не удостоился, и я спешил воспользоваться ею. Войдя в ложу, я только что поклонился ему и сел близ него на месте своем; у нас не было никакого условия, а во всё продолжение первого акта я с ним рта не открывал, и он казался преддоволен. Началось междодействие, он пошел навещать другие ложи, и я остался один.

Насупротив в такой же ложе сидел Ланжерон с супругой и также, как все, дивился изъясвлению столь необычайной приязни. Я мог заметить, что он исчез, а минуты через две за мною послышался мне шорох. Я обернулся,

встал и подошел к занавеске или портьеру у дверей; из-за угла её почти в тени показалась голова Ланжерона, который вполголоса сказал мне: «Послушайте, шер Вигель, знаете ли вы, что за вас досталось мне от графини? Она не может мне простить, что я не позвал ее, когда вы были у меня. Она поручила мне на завтра звать вас к себе обедать. Ко мне бы вы, может быть, не поехали; но не будете столь неучтивы, чтобы отказать даме». Я поклонился и сказал, что буду. Когда перед поднятием занавесы воротился Пален, я успел рассказать ему о происходившем в его отсутствие. Возможно ли сердиться на этого человека? — сказал он засмеявшись. Но как же и уважать его?

Итак, в следующий день пошел я обедать в неприятельский стан. Хозяйка, неизменная в чувствах своих, как и всегда приняла меня с искреннею ласкою; хозяин же старался быть любезным, веселым, но всё как-то не клеилось. Он имел на меня особое неудовольствие, о причине которого узнал я вскоре. Соль, добываемую на озерках его, близ Кумыш-Буруна, Хамарито хотел продавать на

Бугазе, а Керченская таможня её не пропустила. Департамент внешней торговли строго предписал ей горцам, нуждающимся в соли, не иначе отпускать ее за Кубань, как самой лучшей доброты, дабы сохранить их доверенность; а Ланжероновская соль была самого худшего качества, вся перемешенная с илом и грязью. Меня, не ведавшего о том, обвинял он и французским письмом жаловался Палену, которому до того никакого дела не было. В этом письме, которое мне показывали, утверждает он, что он совершенно знает русские законы и русский язык, и в доказательство того выписывает по-русски закон на сей предмет. «Владельцев земли, указуют Эмператрис Екатерин, продаит своим соли по вольным цена».

У графини Ланжерон была старшая сестра Генриетта Адольфовна, вдова некоего Аркудинского, во втором замужестве за отставным генерал-майором Павлом Сергеевичем Пуциным. С свойствами дебелой натуры, была она общительна, весела, гостеприимна, и нередко лучшее одесское общество собирала у себя на вечерах, кои, по её приглашению,

с удовольствием я посещал. Муж её принимал всех учтиво и весьма приличным образом играл роль хозяина. О нём, как о бригадном начальнике в дивизии Орлова, некстати попавшемся в либералы и за то лишившемся службы, мимоходом уже говорил я; надобно еще что-нибудь к тому прибавить. Некогда камер-паж, офицер и потом полковник в Семеновском полку, он, разумеется, часто бывал в петербургских обществах. Держать в них себя пристойно, не слишком выставлять себя, говорить недурно по-французски достаточно было тогда, чтобы почитаться образованным человеком; и все сии условия выполнял он, как в Петербурге, так и в Одессе. Никогда, бывало, ничего умного не услышишь от него; никогда ничего глупого он не скажет. Он был в числе тех людей, которых иногда называют, но о коих никогда не говорят. Счастливые люди, как безмятежно течет их жизнь!

Мы однако же с ним иногда рассуждали кой о чём. Не с досадою, а с сожалением говорил я ему о нападениях на меня свояка его; притом объяснил, что к делу о соли я так мало причастен, что узнал о нём только в Одес-

се. А он возьми да и перескажи Ланжерону. Через несколько дней сей последний, встретив меня, осыпал упреками: да как я мог поверить, да как я мог вообразить себе? Потом поклялся мне *честью*, что в этом вздорном деле был он совсем посторонним. Я уже, право, и не знал, что о нём подумать. Видно, тот прав, который сказал о некоторых французах: *criminel sans penchant, vertueux sans dessein*. По крайней мере после того мы жили ладно.

Исключая двух многореченных графов, было тогда еще в Одессе два высокочиновных графа. Графа Северина Потоцкого и графа Витта знал я уже за четыре года пред тем, изобразил их, но тут только с ними познакомился. Все вместе составляли не только сиятельную, но, по мнению моему, в разных родах блестящую четверку. Все ко мне казались отменно благосклонны, только Пален и Лонжерон с некоторой стороны не совсем баловали меня; каждый из них по одному только разу удостоил меня своим посещением. Граф же Потоцкий, погулявши пешком, часто заходил ко мне отдохнуть и побеседовать. Витт делал тоже, но только реже.

Причиною особого ко мне благоволения Витта была незаконная связь его с одною женщиною и ею мне оказываемая приязнь. Каролина Адамовна Собаньская, урожденная графиня Ржевуская, разводная жена, составила с ним узы, кои бы легко могли быть извиняемы, если бы хотя немного прикрыты были тайной. Сколько раз видели мы любовников, пренебрегающих законами света, которые покидают его и живут единственно друг для друга. Тут ничего этого не было. Напротив, как бы гордясь своими слабостями, чета сия выставляла их на показ целому миру. Сожитие двух особ равного состояния предполагает еще взаимность чувств: Витт был богат, расточителен и располагал огромными казенными суммами; Собаньская никакой почти собственности не имела, а наряжалась едва ли не лучше всех и жила чрезвычайно роскошно, следственно не гнушалась названием наемной наложницы, которое иные ей давали. Давно уже известно, что у полек нет сердца, бывает только тщеславный или сребролюбивый расчёт, да чувственность. С помощью первого, завлекая могучих и богатых, приоб-

ретают они средства к удовлетворению последней. Никаких нежных чувств они не питают, ничто их не останавливает; сами матери совесть, стыд истребляют в них с малолетства и научают их только искусству оболгать.

Так сужу я ныне, и мне кажется это довольно гадко; но тогда, ослепленный привлекательностью Собаньской, я о том не помышлял. Ей было уже лет под сорок, и она имела черты лица грубые; но какая стройность, что за голос и что за манеры! Две или три порядочные женщины ездили к ней и принимали у себя, не включая в то число графиню Воронцову, которая приглашала ее на свои вечера и балы, единственно для того, чтобы не допустить явной ссоры между мужем и Виттом; Ольга же Нарышкина-Потоцкая, хотя по матери и родная сестра Витту, не хотела иметь с ней знакомства; все прочие также чуждались её. В этом унижительном положении какую твердость умела она показывать и как высоко подыматься даже над преследующими ее женщинами! Мне случалось видеть в гостиных, как, не обращая внимания на строгие

взгляды и глухо шумящий женский ропот негодования, с поднятой головой она бодро шла мимо всех прямо не к последнему месту, на которое садилась, ну право, как бы королева на трон. Много в этом случае помогали ей необыкновенная смелость (ныне ее назвал бы я наглостью) и высокое светское образование.

Она еще девочкой получила его в Вене, у родственницы своей, известной графини Розалии Ржевуской, дочери той самой княгини Любомирской, которая во время революции погибла на эшафоте за беспредельную любовь свою к Франции. Салон этой Розалии некогда слыл первым в Европе по уму, любезности и просвещению его посетителей. Нашей Каролине захотелось нечто подобное завести в Одессе, и ей несколько удалось. Пален и Потоцкий часто бывали то на утренних, то на вечерних её беседах и веселостью ума оживляли на них разговор; Витта считать нечего, он имел собственный, дом, а проводил тут дни и ночи; Ланжерона строгая жена не пускала к ней. Вообще из мужского общества собирала она у себя всё отборное, прибавляя в тому много забавного, потешного,

между прочим одну г-жу Кирико и одного г. Спида, о которых говорено будет после. Из Вознесенска, из военных поселений приезжали к ней на поклонение жены генералов и полковников, мужа же их были перед ней на коленах. Несмотря на свои аристократические претензии, она высватала меньшую сестру свою за одного весьма богатого, любезного и образованного негоцианта Ивана Ризнича, который в угождение ей давал пышные обеды, что и составляло ей другой дом, где она принимала свое общество. Такое существование было довольно приятно и совсем не уединенно, и она тешилась мыслью, что позорный её триумф производит зависть в женщинах, верных своему долгу.

Имея от Витта обещание жениться на ней, она заблаговременно хотела пользоваться правами супруги; он же просил о разводе с законной женой, которая тому противилась, и с её же согласия тайно старался длить тяжбу по этому делу. У Собаньской было много ума, ловкости, хитрости женской и, по-видимому, самый верный расчет; но был ли в ней рассудок? Вся жизнь её прежде и после доказывала

противное. Блестящая сторона её поразила мой ум, но отнюдь не проникла в сердце; а как к удивлению, которое производят в нас женщины, всегда примешивается несколько нежности, то и сочтено это страстью; дамы жалели обо мне, а я внутренне тем забавлялся. Я так много распространился об этой женщине, во-первых, потому, что она была существо особого рода, и потому еще, что в доме её находил большую отраду. Из благодарности питал я даже к ней нечто похожее на уважение; но когда несколько лет спустя узнал я, что Витт употреблял ее и серьезным образом, что она служила секретарем сему в речах столь умному, но безграмотному человеку и писала тайные его доносы; что потом из барышей поступила она в число жандармских агентов: то почувствовал необоримое от неё отвращение. О недоказанных преступлениях, в которых ее подозревали, не буду и говорить. Сколько мерзостей скрывалось под щеголеватыми её формами!

Более двух лет не был я в Одессе и должен был найти некоторые перемены в её обществе. Из бесчисленной свиты Воронцова боль-

шая часть оставалась в ней; нельзя же было ему весь этот длинный хвост тащить за собою в Англию, и при нём находился один только молодой Сифонов. Казначеев уехал в Петербург на встречу к своему графу, а жена его и без него даже принимала гостей. Левшин на казенный счет путешествовал за границей. Из числа служивших при графе Воронцове со времени управления его четверо успели жениться. О неудачной, невыгодной женитьбе барона Франка уже говорил я. Также намекал я, кажется, о более счастливом супружестве Марини с девицею Фраполи; сия любезная чета жила уже домком и была посещаемая короткими и приятелями.

Как назвать мне насильственный брак Брунова? Инженерный генерал Лёхпер, в чине полковника находясь в Стокгольме при Сухтелене, женился на хорошенькой, бедной шведочке, по имени Брюс, будто бы происходившей от Шотландских королей. В Одессе все пленялись её личиком, фигуркою и особенно танцами. Не понимаю, как мог ей понравиться Брунов, когда муж её, конечно, невзрачный и неуклюжий во сто раз был его

красивее. Всем была известна эта связь, но в снисходительной Одессе мало говорили о том, как о деле самом обыкновенном. Когда же секрет комедии перестал им быть для мужа, он прогневался. Между протестантами получить развод весьма легко; сим не удовольствовался раздраженный Лёхнер, вызвал соблазнителя на дуэль и, так сказать, с пистолетом к горлу, заставил его жениться на соблазненной. Жили ли Бруновы потом счастливо, сказать не умею, только жили уединенно; однако часто, весьма часто посещал их Пален, что было чрезвычайно приятно неревнивому новому супругу.

Истинно-счастливым супругом нашел я одного Лекса. Нельзя было искать ему невесты в кругу называемом блестящим; добрые люди нашли ему подругу в купеческом сословии. Сирота, оставшаяся после довольно богатого торговца Кленова, в малолетстве лишившаяся матери, а вскоре потом и единственного брата, была так счастлива, что наследство ею полученное попало в руки добросовестных опекунов, которые умножили его. Говорили после, что у неё до двадцати пяти тысяч ас-

сигнациями доходу с домов, лавок, хлебных магазинов, а что-то о ней и слуху не было, и она, можно сказать, из-под спуду вышла за Лекса и явилась в свет. Премолоденькая, прехорошенькая, премиленькая бабёночка была эта Варвара Евтеевна, воспитанная в Одесском пансионе обращенном после в Институт благородных девиц. Жаль только, что в нём плохо учили по-русски, а по-французски она, видно, не успела выучиться и оттого ни на одном из двух языков порядочно не умела говорить. Однако, верно по привычке, на иностранном беспрестанно как чечеточка болтала, подобно Богдановской или Лентягиной в «Чудаках» Княжнина, которая прелестным языком любила забавляться. Точно они были счастливы; после двухлетнего супружества Лекс всё ещё был влюблен в жену свою, а она всем сердцем была к нему привязана. Она была чрезвычайно молода, мало видела удовольствий, и ей хотелось повеселиться, а он не мог отказать ей в удовлетворении её безвинных желаний. Они завели у себя небольшие балы, столь же скромные и веселые как они сами, почти единственные этой зимой в

Одессе; а как он играл самую важную роль при Палене, то все, начиная с высоких особ, охотно на них ездили. Фортуна совершенно ему улыбалась, и он был её достоин, никак не забываясь, не пьянея от её даров.

Никто из адъютантов Воронцова не находился тогда в Одессе: Шаховской вышел в отставку, Синявин по особой протекции проживал в Петербурге, Херхеулидзе был не знаю где (я о том не спросил). Один Варлам несколько времени состоял при генерале Роте, временно управляющем в Новороссийском крае по военной части, но скоро сошел в могилу: повесть о печальной кончине его придется рассказать.

Самый младший из шести братьев Сушковых, Москве и разным губерниям известных смелостью своих поступков, которые нередко имели для них весьма неприятные последствия, Николай Васильевич, принялся было сперва за поэзию и довольно успешно, но вскоре потом бросил ее, чтобы заняться службой. Весьма молодым человеком был он советником Таврической казенной палаты и сильно поссорился с вице-губернатором Куру-

той. Он очень полюбился Воронцову, который в этом деле весьма несправедливо держал его сторону, за что, кажется, был он преследуем Министерством Финансов. Гораздо после отъезда моего из Кишинева, по представлению покровительствующего ему Воронцова, назначен был он членом Бессарабского Верховного Совета на место определенного при мне и потом умершего статского советника Угрюмова. Варлам в то время гостил у слепого отца. Причиною раздора его с Сушковым была г-жа Фурман, равно к обеим приветливая; подробности же неприятных между ими встреч мне неизвестны. Раз где-то, не умея отвечать на колкости Сушкова, глупый, вздорный и вместе с тем довольно трусливый, Варлам в запальчивости при всех дал ему пощечину, и потом ну бежать, оставив шляпу и шинель. Тем не должно было кончиться; на следующее утро вооруженные враги выехали за город в условленное место, но самим Варламом предупрежденная полиция была в засаде и не допустила их до драки; начальство же вскоре под предлогом комиссии разослало их в противоположные стороны. Дело было серьезное,

оно сделалось национальным. Молодежь молдаванская с самодовольствием твердила: вот как наши бьют русских! Торжество однако не было на стороне Варлама; никто из русских, особенно из военных его сослуживцев, не хотел ни говорить с ним, ни глядеть на него; Воронцов из Англии велел написать к нему, чтобы он искал другого начальника, а что с таким пятном он при нём остаться не может. Приведенный в отчаяние, он тайно согласился, наконец, на возобновление поединка. Между тем всё казалось забытым, как вдруг узнали, что Сушков, проезжая чрез Тирасполь, в нём остановился, что господа сии стрелялись в поле и что Варлам пал от руки своего противника. Кажется, и тут ожидал он помощи; она опоздала, однако успела схватить виновного на месте преступления. Несколько месяцев содержался он в Тираспольской крепости, был судим, осужден, прощен, и время заключения его сочтено ему за наказание. Потом отправился он опять на Север и довольно счастливо продолжал там службу.

Зная, что Воронцов иных людей почитает

своею собственностью, иногда карает их, но всегда готов их миловать, Казначеев поехал к нему в Петербург. Другие два опальные, Брунов и Франк, не решились на то: их женитьба была причиною совершенной к ним немилости. Обeim курлянцам и приятелям житье было у Палена. Почитая и меня недовольным, но только осторожным в речах, и мне оказывали совершенное благорасположение. В день именин моих 14 ноября Брунов приезжал меня поздравить; мне жаль, что я не успел предупредить вас, сказал я ему; а он отвечал, что он протестантский Филипп и сам не знает, когда бывает именинник.

На Франка имел я небольшую досаду. По его просьбе чиновником по особым поручениям при себе с жалованьем, определил я младшего брата его, отставного штабс-ротмистра барона Александра Франка, несколько помещанного, как сказали мне после. Он явился ко мне перед самым выездом моим из Керчи. Когда же без меня поднялась там тревога, он почел меня погибшим, сблизился со злейшими из моих неприятелей, сдружился с ними и стал гласно порицать мои поступки.

Узнав о том, я нашел, что тут более подлости, чем сумасшествия. Нельзя мне было брата его не упрекнуть за такой подарок. Вы напрасно хорошо его приняли, таких людей надобно держать в ежовых руках, сказал он. Я едва видел его и никогда не брался его воспитывать, отвечал я.

Жаль мне, что я обещал читателей моих познакомить с двумя курьезными созданиями, Кирикó и Спа́да; но как быть, надо выполнить данное слово. Находившийся долго в Бухаресте генеральным консулом действительный статский советник Лука Григорьевич Кирико, армяно-католик, был просто человек необразованный и корыстолюбивый. Жена же его, смолоду красotka, всегда в обществе, изумляла его совершенным неведением приличий, какою-то простодушною, детски-откровенною неблагопристойностью в речах и действиях. Она мыслила вслух, никогда не смеялась, за то всех морила со смеху своими рассказами. Худенькая, живая, огненная, беда бывало, если кто ее раздражит; несмотря на то, мистификациям с ней конца не было. Из анекдотов об ней составила бы книжица,

но кто бы взялся ее написать и какая цензура пропустила бы ее? Я позволю себе привести здесь два или три примера её наивного бесчинства. Описывая счастливую жизнь, которую вела она среди валахских бояр, говорила она мне, как и многим другим: «Все они были от меня без памяти, а как эти люди не умеют изъясняться в любви, иначе как подарками, то и засыпали меня жемчугом, алмазами, шальями. Как же мне было не чувствовать к ним благодарности? Иным скрепя сердце оказывала ее; с другими же, которые мне более нравились, признаюсь, предавалась ей с восторгом». Раз поутру у Собаньской сидели мы с Паленом; вдруг входит мадам Кирикó, объявляет, что намерена провести тут целый день и для того привезла с собою рукоделье. Жизнь разговора не позволила сперва заметить, в чём оно состояло; когда же Собаньская на столе увидела малиновое бархатное мужское исподнее платье, то почти с ужасом вскрикнула: что это такое, моя милая? «Да так, отвечала она; вы знаете, какой мерзкой скряга у меня муж; с трудом могла у него выпросить эту вещь; хочу ее здесь распороть и

выкроить из неё шпенцеры для дочерей). С трудом могли ее уверить, что это уже слишком бесцеремонно. Из этого можно посудить о прочих поступках сей нарядной, даже превосходительной шутихи, которая, впрочем, кое-как выучилась по-французски и давала у себя иногда вечера. Две миленькие, скромные дочки её, Констанция и Валерия, перестали уже краснеть от её слов, а показывали вид будто их не слышат. Вообще служила она публичным увеселением, но Собаньская как-то особенно умела ею овладеть.

Тот, которого ставили ей в пару, был совсем иных свойств, чопорный, осторожный, размеряющий слова свои. Португальский жидок Спада, мальчиком привезен был во Францию, крещен и воспитан у капуцинов, которые и постригли его монахом своего ордена. Во время революции все монастыри были уничтожены, и он явился в Россию светским человеком и эмигрантом. Он одарен был большою памятью, знал числа всех важных происшествий в мире, имена всех владетельных государей в Европе, предков их и родословную их фамилий; знал также наизусть

множество стихов из французских классических сочинений. Хронологические таблицы не суть еще история, и вытверженные стихи не доказывают еще больших познаний в литературе, но и в тогдашнее время, и особенно в тогдашнем большом свете, всё это принято за ученость. Ему посчастливилось; за высокую цену в знатных домах находился он то домашним секретарем, то чтецом, то библиотекарем, а более всего собеседником. Долее всего оставался он у князя Белосельского, которого дурные французские стихи он переписывал и выслушивал их с подобострастием. Разделяя мнения Петербургского аристократического общества, как все челядинцы домов его составляющих, смотрел он с презрением на просвещенных, независимых и даже богатых людей, к тому кругу не принадлежащих. По мере как науки и истинное просвещение начали проникать и в высший круг, ценность Спады, хотя и не плата ему, стала ниспадать. Под конец находился он при графе Кочубее, не знаю в каком качестве, и отправился с ним в Крым и в Одессу. Кажется, наконец, надоел он всему семейству, ибо нашли

средство благотворным образом освободиться от него. Для него создали в Одессе место цензора иностранной литературы, с довольно хорошим содержанием. Тут всё-таки мог он подышать аристократическим воздухом: было довольно графов и князей с европейским образованием. Он не чуждался также иностранных негоциантов, только самых богатых. Право дурачить его признавал он единственно в людях и женщинах, им знатными признаваемых, и некоторые из них пользовались им бесчеловечно. Малого роста, худенький, стянутый, всегда опрятно одетый фертик, он мог бы казаться молодым, если б глубокие морщины на лице и лысина во всё пространство головы не обнаруживали его лет; к тому же и дыхание его было не весьма свежее. А он был чрезвычайно влюбчив и между тем по этой части довольно хвастлив. Мне случилось подслушать, как он Собаньской рассказывал сцену свою с графиней Кочубей. Увлеченный неодолимою страстью, один раз он пал к её ногам, когда никого не было в комнате; вдруг отворяется дверь, входит сам Кочубей, останавливается, с хладнокровием государствен-

ного человека говорит. «меня это не удивляет, я давно того ожидал» и выходит вон. — «Что ты сделал, воскликнула графиня, удались несчастный, ты вас обоих губишь». Если это была и правда, то уже наверно наперед приготовленный фарс. Его взяла с собой Воронцова, когда верст за сорок вместе с Ольгой Нарышкиной и Киселевой, сестрой её, она поехала на встречу к мужу; его посадили в особую двухместную карету, с весьма некрасивой горничною Ольги. По прибытии на место свидания, в ожидании, остановились они в довольно тесном помещении, куда горничная часто входила с видом смущенным, даже отчаянным. Ее спросили о причине её горя, а она, указывая на Спаду, сказала: «зачем вы меня стубили, зачем так долго оставили наедине вот с этим известным соблазнителем?» С ним приняла вид грозный, укоризненный и стали называть человеком во зло употребляющим доверенность своих знакомых. Тщетно клялся он и божился, почти плакал, уверяя, что во всю дорогу даже не глядел на нее. «Нет, нет, отвечали ему; она шляхтянка, следовательно дворянка, и вас будут уметь заставить

загладить ваш проступок и женитьбой возвратить честь вашей жертве». Несчастный вопил, что эта мерзавка, конечно, влюбилась в него, к тому же хочет сделать выгодную партию. Несколько дней потом трепетал он при мысли сего совсем не аристократического союза. Ольга Нарышкина, безжалостная, бессердечная, как все Потоцкие, поступала с ним иногда хуже. Прогуливаясь пешком, она неприятельски заходила навестить его в опрятной, с некоторым кокетством убранной его квартирке. Желая будто ближе посмотреть на картинки, в ней развешенные, она с грязными ногами лазила на канапе, на кресла и как бы не нарочно раздирала материи, их покрывающие.

Забавные сии два существа, Кирико и Спада ненавидели друг друга. Он с ужасом смотрел на нее, как на дикую женщину, она же видела в нём подлого шута, а Собаньская старалась приглашать их в одно время. Благодаря Палена, находился я в самом веселом расположении духа, и оттого сии карикатурные лица доставляли мне иногда минуты блаженства; во дни скорби я уверен, что без отвраще-

ния не мог бы я смотреть на них.

Еще два человека умножали для меня приятности тогдашней одесской жизни, не имея, впрочем, ничего общего с предыдущими. Австрийского генерального консула Тома отрекомендовал уже я публике в шестой части сих Записок. О Бларамберге, директоре музеев Одесского и Керченского, не упомянул ни слова. Он обязан был каждое лето ездить в Керчь, и перед этим в июне он целые три дня своим присутствием освежал для меня духоту Керченской скуки. Он тоже был не молод летами, имея их около шестидесяти, но молод был он пылким умом своим: при глубокой учености, особенно по археологической части, не было в нём и тени педантизма. Оба имели страсть к каламбурам, и когда бывало сойдутся у третьего, Ланжерона, то начинается между ними настоящий бой. Хотя праздная, но рассеянная жизнь моя давала мне возможность только урывками посещать их.

Из двух дам, о коих говорил я, описывая первое пребывание мое в Одессе, упомянул я лишь об одной, об Ольге Нарышкиной, о графине же Эделинг не сказал ни слова. Ту и дру-

гую встречал я только на вечерах у Пуцциной. Последняя из братолюбия почитала обязанностью на меня коситься и мало со мною говорить. Александр Стурдза продолжал ото всей души ненавидеть меня за Бессарабские дела.

Что касается до мужа Ольги, Льва Нарышкина, то он вел самую странную жизнь, то есть скучал ею, никуда не ездил и две трети дня проводил во сне. Она также мало показывалась, но дабы не отстать от привычки властвовать над властями, в ожидании Воронцова, задумала пленить Палена и, к несчастью, в том успела. Из любви и уважения к нему никто не позволял себе говорить о сем маленьком его сумасбродстве.

Владычество Ольги над Паленом не простиралось так далеко, чтобы поссорить его со мною. Я продолжал пользоваться правом один сидеть с ним в ложе. Никогда еще не видели в Одессе столь славной итальянской труппы, как в это время, и никогда после подобной ей не бывало. Примадонна Амити была хороша, очень хороша, да и только. Двадцатилетняя же Морикони была чудесна, очаровательна и красотой лица, и стройностью

тела, и искусством играть и петь, а паче всего голосом контральто, который, я уверен, с трудом бы найти и в самой Италии. Мужественная красота Дезиро совершенно ответствовала его голосу, густому басу, вместе с тем нежному и гибкому. Тенора Молинелли я только слушал, а не глядел на него; как можно было сочетать столь прелестный голос с таким гадким лицом, несносной игрой и подлой фигурой! Всё что было для подставки — было также весьма не худо. Россини был тогда во всём своем могуществе, соперников у него не было, и казалось, никогда не будет: оперы его, переведенные на все языки, игрались на всех театрах; в Одессе других тогда знать не хотели. Из бесчисленного их множества я назову только те, кои более других меня восхищали: Семирамиду, Танкреда, Отелло. После жестоких нервных страданий в 1826 году, в продолжении лета 1827-го брал я в Керчи ванны из морской воды; тем много успокоились мои бедные нервы, и оставшееся в них легкое раздражение умножало только мои музыкальные наслаждения. Можно посудить, какие удовольствия доставлял мне тогда Одесский

театр.

В отношении к политическим известиям и делам Одесса была также любопытным местом. Едва ли мы не первые в России узнали о Наваринском сражении. Оно обрадовало нас не менее греков. Впрочем, много гордиться, право, было нечем: три сильные державы неожиданно напали на одну слабую; мы одни были обиженные, а в этой битве не играли даже главной роли. В этом однако как бы предполагалось намерение разделить Турцию, так же, как некогда Польшу. Еще в Керчи известие о рождении порфирородного Константина меня восхитило, а от чего? Право, сам бы сказать не умел; тут по крайней мере могло оно мне казаться предзнаменованием воздвижения Креста во град Константиновом. Купечество сначала несколько приуныло, ожидая, что вскоре потом последует разрыв, и для иностранных судов запрутся Босфор и Дарданеллы. Ко всеобщему удивлению однако же всякий день корабли приходили и уходили в продолжении почти всего ноября, в самое худое время для мореплавания. Испуганный султан показывал вид, буд-

то случившееся почитает следствием какого-то недоразумения. Между тем и в войске заметно было сильное движение: оно подвигалось к Дунаю и Пруту, дабы при первом знаке броситься в турецкие владения. И с Петербургом также шла деятельная переписка как частная, так и официальная.

Там удерживали нашего графа Воронцова гораздо долее, чем мы ожидали и чем сам он намерен был оставаться. Его присутствие почитали необходимым для совещаний по предмету предпринимаемой войны. И действительно, его указания и советы могли быть весьма полезны: управляя областями сопредельными с театром будущих военных происшествий, он давно и с местностями его хорошо был знаком. Дабы на что-нибудь решиться, и я сначала дожидался возвращения его в Одессу; но через несколько времени вот как раздумал я сам с собою: «Тебе известно моральное могущество этого человека над тобою; нет сомнения, что он будет склонять тебя не оставлять должности; ты не устоишь, особливо когда для успокоения твоего он удалит нескольких чиновников, — и что же?

Несчастный, тогда-то совсем ты будешь осужден на Керчь». При сей ужасной мысли волосы мои, тогда еще не седые, стали воздыматься на лбу моем. Наконец, я предпочел написать ему трогательное письмо, в котором изложил все мучительные стороны моего положения, умоляя его доставить мне несколько приличное содержание при временном увольнении от службы. На это письмо долго не получал я ответа.

Сама судьба хотела спасти меня. Чтобы более возбудить во мне отвращения от места служения моего, Одесса в эту зиму расточала передо мной все увлекательные удовольствия образованной жизни. Ничего не было в ней похожего на то, что я видел в начале 1824 года: не было взыскательности, предпочтений, мелочных интриг маленьких немецких дворов; не было той нестерпимой скуки, которую прежде в ней, как и во всех больших торговых городах, претерпевают люди не участвующие в торговле; не было безумной роскоши нашей северной столицы, где удовольствиями называют только танцы, карты, многочисленные собрания в огромных комнатах,

ярко освещенных; не было разорительного и бестолкового ей подражания, которым отличается не одна Москва, но и большая часть наших губернских городов; не было педантизма и негостеприимства ученых городов немецких. Я никогда не бывал в Париже зимой, в других же местах, любимых путешественниками, Ницце, Неаполе, Флоренции, и совсем не бывал. По слухам и рассказам я знал, а еще более угадывал, удовольствия, которыми по зимам там пользуются люди просвещенные и женщины любезные. Их салоны суть биржевые залы, где верно оцениваются умы, где идет беспрестанный промен идей, где блестят острые слова, не поражая никакой личности, где и глубокие мысли, чтобы не пугать, являются в легкой оболочке; где споры, порождаемые разностью в мнениях, всегда сопровождаются обоюдными уступками, где верный такт не позволяет задевать чьего либо самолюбия, где умеют и говорить, умеют и слушать, где царствуют учтивость и приличие вместе со свободой и веселостью, одним словом, вся общежительность, которая во Франции пережила все ужасы её револю-

ций. Счастливый уголок в России, где бы можно было это встретить, был любимой моей мечтой, и на этот раз она почти осуществилась для меня в Одессе.

Как нарочно на этот раз исчезло и обыкновенное её зимнее безобразие, глубокая грязь. Наступила сильная зима, которую назвал я русскою, а которую жители называли Очаковскою. Выпал большой снег 19 ноября, а на другой день, 20-го, день восшествия на престол, в собор к молебну и оттуда к Палену на завтрак, отправились все мы в санях, и потом с ними не расставались; следственно, и сообщения сделались совершенно свободны. Многим это не понравилось, между прочим и мне сначала. Почти везде было худое устройство печей, и я начинал очень зябнуть в своих больших комнатах отеля Сикара, несмотря на усиленное топление. Один русский тут трактирный служитель вывел меня из беды. Он предложил мне перейти в три небольшие комнаты на дворе над самой кухней, пока они еще не заняты; смирение мое было вознаграждено: в них редко бывало менее 17 градусов теплоты, и я скоро мог обогреться. Вид из

них на море был не весьма приятен: в продолжении декабря весь залив покрылся льдом, и там, куда глаз едва мог достигать, легкий пар показывал, что вода еще не замерзала. Иностранное купечество спряталось по норам, а для нас, людей русских, по большей части выросших и возмужавших на Севере, зима сия совсем не казалась так жестокою. Для меня в особенности время не шло, а летело.

Надобно было однако подумать, что житью этому придет конец. Графу Палену хотелось, чтобы во время управления его никто бы не оставлял должности и никто бы от неё удален не был, чтобы управление сие сдать точно в том виде, в каком он его принял. Жандармская часть весьма справедливо доносила о беспорядочной, безобразно-позорной жизни Бессарабского губернатора Тимковского. Деланы были по сему предмету запросы, но и его Пален старался всячески спасти, предоставляя настоящему хозяину Воронцову делать перемены между главными начальствами. Вот отчего и меня уговаривал он возвратиться в Керчь, хотя бы на малое время, дабы тамошняя сволочь не могла подумать, что

она заставила меня выйти из службы. Я согласился с условием, чтобы в день отъезда моего вручить ему просьбу об отставке, которую по усмотрению своему он может отправить, и чтобы это оставалось тайной между им, мною и Лексом.

Шумных удовольствий не было, и потому новый 1828-й год начался весьма тихо, может быть, приятно для тех, кои встретили его в кругу семейств своих и друзей; я же всю эту ночь провел в глубоком сне. Одна Ольга Нарышкина умела начать его забавным образом. Она созвала к себе на вечер всё общество свое, составленное из людей ей поклоняющихся или ее забавляющих. Все были костюмированы и замаскированы, и между прочим, бедную Казначееву, толстую и кривобокую, нарядила она Тирольским мальчиком. Муж, по обыкновению своему, в десять часов залег спать; но по условию между им и женою в полночь вся гурьба с шумом вошла в его спальню и заставила его встать с постели. Будто раздосадованный, будто спросонья, будто никого не узнавая, принялся он всех бранить; более всех досталось Казначеевой... На

другой день рассказы об этой проделке занимали весь город.

Мог ли я ожидать, что эта знаменитая Ольга будет причиною поспешного моего отъезда из Одессы? Разговаривая с Паленом, раз заметил я ему, что ничего не нахожу в ней особенно привлекательного. «Это от того, сказал он с жаром, что она не удостоивает вас своего внимания: займись она вами полчаса и вы бы были у ног её». Мне бы следовало замолчать, а я спросить: да полно, вы не влюблены в нее, граф? — «Оно, может быть, и так, отвечал он, но только слишком нескромно спрашивать меня о том». Он повернулся ко мне спиной и вдруг охолодел ко мне. В целой Одессе я один не знал о его слабости; ибо никто мне о том не говорил, и я их вместе не видел. Это было в первой половине января.

Я не подсадовал на него, а от всей души пожалел об нём. Надобно было, однако, чтобы тут не узнали о перемене его ко мне, а еще менее в Керчи, куда я писал о намерении моем скоро возвратиться туда и там совсем остаться. Я сделал еще более: добрый сотрудник мой в Бессарабии, Шкляренко, вскоре по-

сле отъезда моего оттуда, оставил должность, не знаю по каким причинам, и жил без дела у себя на хуторе Полтавской губернии, в Зеньковском уезде; я выписал его оттуда в Одессу, определил правителем моей канцелярии на место Минарского, с которым, после происшедшего, я вместе служить не мог и, недели за две перед тем, отправил его в Керчь.

Дни через два после этой пустой размолвки, пошел я к Палену, зная его благородство и скромность и не опасаясь никакой неприятной встречи. Он встретил меня если не дружески, то вежливо, а я объявил ему, что, согласно его совету, скоро намерен ехать в Керчь. Вместе с тем вручил ему просьбу об увольнении, прося его убедительно представить ее по усмотрению, так, чтобы мог я удалиться сколько-нибудь выгодным образом. Он обещался сделать всё, что может, и мы расстались как нельзя лучше.

IX

Ю. *М. Кульчинская.* — *В. А. Перовский.* —
Отставка (весна 1828). — *Царская чета в*
Одессе. — *Стемпковский.* — *Преимущества*
Феодосии.

После веселия почти всегда бывает горе. После приятно рассеянной жизни, осужден я был испытать все неприятности ужасной дороги. Не приведи Бог никого ехать зимой из Одессы в Крым! Я располагал выехать 17-го января поутру; но соблюдение некоторых формальностей для получения подорожной, о чём надлежало бы мне подумать накануне, задержало меня большую часть дня. Потом таможня, желая показать точность и исправность свою перед начальником таможенного округа, продержала меня еще несколько времени, так что на первую станцию, Аджелик или Дофинку, успел я приехать, когда давно уже смерклось.

Я ехал в двух экипажах: в открытых санях и в двухместной карете на колесах; иначе нельзя было. Сильные ветры на степи в иных

местах нагоняли большие сугробы снега, в других сгоняли его с земли; в иных местах версты две и более можно было ехать хорошим зимнем путем, в других местах с версту и более тащиться по голой замерзшей земле. Я предпочитал сани и, в случае только бури, намерен был спасаться от нее в карету. Зги было не видать и продолжать путь сделалось опасно. Из двух зол я выбрал меньшее: остановился ночевать на станции, в холодной, всю зиму нетопленной комнате. Нужда, говорят, великая мастерица на выдумки: я велел отыскать пребольшой горшок, купить поболее водки и, влив в него, зажег ее. Действительно, через несколько времени, воздух сделался теплее, и при свете пылающего синеватого огня, весь укутанный, мог я довольно спокойно заснуть, приказав до свету разбудить себя.

Я выехал 18-го, когда еще совсем было темно, а карету свою еще ранее отправил вперед. Скоро стали показываться море и свет. Я сделал более восемнадцати верст, сидя с слугою своим в санях, к которым из предосторожности велел приделать циновочный верх, как

начал замечать, что ямщик мой часто по-сматривает на море; я сам увидел на горизонте, над ним, узкую багроватого цвета полосу, которая скоро превратилась в широкую темно-лиловую. «Беда, барин», — сказал ямщик. — «Что такое?» — спросил я. — «До станции почти шесть верст; не знаю, успеем ли мы доехать; будет ужасная буря». — «Да на небе всё чисто и ясно, и нет ни малейшего ветерка». — «Ну, вы увидите». Не прошло четверти часа, как небо стало заволакивать густыми облаками и начал слегка попевать ветер. В это время мы поравнялись с какой-то корчмой; ямщик умолял меня остановиться в ней, но мне хотелось догнать свою карету. Спустя еще четверть часа, появился снег и сильно загудел ветер, начиналась гибельная степная вьюга; ямщик гнал лошадей без памяти и остановился у другой корчмы, гораздо более первой, у самого въезда в селение Тилигул или Коблевку. Войдя в нее, я увидел длинную комнату, вдоль надвое разгороженную: в просторной половине спасалось чье-то большое помещичье семейство, а за перегородкой теснилось жидовское во всей обычной нечи-

стоте. Мне чуть не стошнилось, и я спросил: далеко ли до станционного дома? Да с четверть версты будет. Ну так скорее туда! «Что вы, — воскликнули все, — да посмотрите что на дворе происходит». И подлинно казалось, что представление света: сверху валил снег, а ветер, свирепствуя, подымал его и снизу, и всё вместе мешая, с какою-то яростью крутил в воздух. Надобно было видеть шествие мое по ужасно широкой улице селения; я сидел в санях, а слуга мой и ямщик шли подле лошадей; два проводника, мною нанятых, шли по бокам; но смотря на близкое расстояние, они оставались невидимы и только что перекликались с нами. Но вот я и у пристани, где нашел свою карету, заключающую в себе несколько съестных припасов. «Как вас Бог донес?» спросил смотритель. — «Да как видишь, любезный, и хочу ехать далее». — «Это невозможно, воскликнул он, я не могу вам дать ни ямщика, ни лошадей; не хочу губить их, да и не смею: на этот счет есть у нас строгие письменные предписания от начальства», и в доказательство пошел было их отыскивать. Улыбаясь, я остановил его и сказал, что

за то обязан он дать мне хороший приют. Он уступил мне свою комнату небольшую, но теплую и чистую, и сам перешел в другую. Буря, метель целый день не унимались. Каково мне было скучать в таком уединении! Но безопасность, тишина, молчании внутри, когда снаружи бунтовали стихии, имели также свою приятность.

До свету 19-го разбудил меня своим приездом курьер, кем-то посланный и где-то также принужденный останавливаться. Он объявил мне, что всё утихло и улеглось: для меня это было сигналом отъезда. Был мороз, совершенно русская зимняя езда, и самые бурные волны Буга были льдом окованы. Глаза мои не вынесли двухдневного испытания холода и ветра, надобно было их полечить, и я принужден был остановиться в Николаеве. Прямо поехал я к полицмейстеру, Павлу Ивановичу Федорову, всегда готовому на одолжения, о котором раз случилось уже мне говорить. Надежда на его помощь меня не обманула: он поместил меня постоем в домике, который почитался самым теплым в городе.

Редко горе бывает без утешения, и я нашел

его в доброй малороссиянке, хозяйке моей. Она была вдовой не очень богатого купца, который оставил ей малолетнюю дочь, домик и небольшой капитал. С нею вместе жила родная сестра её, также вдова надворного советника и прокурора, получающая пенсион; сими средствами жили они не очень скудно. Хоть убей меня, а теперь не буду уметь назвать их; право, совестно: память сердца, видно, была у меня всегда плохая. Я не искал в них просвещения и любезности, а нашел лучше того: нежное чувство сострадательности, которое так понятно одним только добрым женщинам. Комната о трех окнах, называемая залою, разделяла нас; но и через это небольшое пространство не проходили они, чтобы не потревожить мой покой. А он начал тяготить меня, и только по моему приглашению они меня посетили. Как изобразить всю заботливость сих сестер милосердия о здоровье моем, о моей пище? Привыкнув знаться с людьми разных состояний и как прилежный наблюдатель нравов с участием выслушивать их рассказы, беседы и сих простых и уже немолодых женщин бывали для

мена занимательны.

Выучившись сам, наконец, лечить глаза свои и в запасе имея некоторые нужные лекарства, я не призывал на помощь врача: терпение, диет и употребляемые мною средства скоро помогли; всё-таки однако целую неделю должен был я выдержать карантин. Два раза навестил меня Федоров, а об адмирале Грейге не было ни слуху ни духу: всякой англичанин более или менее почитает себя лордом.

Несмотря на то, будучи с ним знаком, я не хотел оставить Николаев, не явившись к нему, и 26 по утру отправился с моим почтением на дрожках моей хозяйки. У подъезда встретил меня слуга, который сказал, что адмирал на *той* половине и пошел провожать меня туда. *То* половина была на дворе длинная пристройка к главному корпусу строения. По входе в переднюю, слуга сказал мне, что я могу идти далее без доклада. Не знаю, или часы шли у меня неверно или в приморских городах обедали тогда гораздо ранее даже чем в губернских, только в первой комнате нашел уже я накрытый стол, а в другой даму и с пол-

дюжины мужчин, всё моряков. Замешательство Грейга было едва ли не сильнее того, которое я в себе почувствовал. Нахмурясь угрюмо, не сказав мне ни слова, он обратился к даме и сквозь зубы назвал меня по фамильному имени. «Ах Боже мой! Ах как я рада! Как много наслышана об вас, как давно хотела с вами познакомиться и, наконец, нечаянный случай, кажется, хочет нас сблизить».

Вот восклицания дамы, на которые едва успевал я отвечать поклонами. Надобно объяснить причины таких странностей.

В Новороссийском краю все знали, что у Грейга есть любовница жидовка и что мало-помалу, одна за другой, все жены служащих в Черноморском флоте начали к ней ездить, как бы к законной супруге адмирала. Проезжим она не показывалась, особенно пряталась от Воронцова и людей его окружающих, только не по доброй воле, а по требованию Грейга. Любопытство на счет этой таинственной женщины было возбуждено до крайности, и от того узнали в подробности все происшествия её прежней жизни. Также как Потоцкая, была она сначала служанкой в

жидовской корчме под именем Лии, или под простым названием Лейки. Она была красива, ловка и умением нравиться наживала деньги. Когда прелести стали удаляться и доставляемые ими доходы уменьшаться, имела она уже порядочный капитал, с которым и нашла себе жениха, прежних польских войск капитана Кульчинского. Надобно было переменить веру; с принятием св. крещения, к прежнему имени Лия прибавила она только литеру Ю и сделалась Юлией Михайловной. Через несколько времени, следуя польскому обычаю, она развелась с ним и под предлогом продажи какого-то строевого корабельного леса приехала в Николаев. Ни с кем кроме главного начальника не хотела она иметь дела, добилась до свидания с ним, потом до другого и до третьего. Как все люди с чрезмерным самолюбием, которые страшатся неудач, в любовных делах Грейг был ужасно застенчив; она на две трети сократила ему путь к успеху. Ей отменно хотелось выказать свое торжество; из угождения же гордому адмиралу, который стыдился своей слабости, жила она сначала уединенной ради скуки прини-

мала у себя мелких чиновниц; но скоро весь город или, лучше сказать, весь флот пожелал с нею познакомиться. Она мастерски вела свое дело, не давала чувствовать оков ею наложенных и осторожно шла к пели своей, законному браку. Говорили даже, что он совершился и что у них есть двое детей; тогда не понимаю, зачем было так долго скрывать его.

Оправдываясь в неумышленной нескромности, я слагал вину на слугу, а Юлия Михайловна сказала, что не бранить его, а благодарить должна. Сам же Алексей Самойлович, видя мое учтивое, приветливое, хотя свободное, с нею обхождение, начал улыбаться и заставил у себя обедать. В её наружности ничего не было еврейского; кокетством и смелостью она скорее походила на мелкопоместных польских паней, так же как они не знала иностранных языков, а с польским выговором хорошо и умно выражалась по-русски. За столом сидел я между нею и адмиралом. Неожиданно с сим последним зашел у нас разговор довольно серьёзный. Речь коснулась до завоевательницы и создательницы Новороссийского края, и он вспомнил, как в по-

следний год её царствования, будучи только двадцатидвухлетним лейтенантом, в память великих заслуг отца его, был он на всё лето приглашен в Царское Село, как она милостиво со всеми и с ним обходилась и как в беспрестанном созерцании земного Божества можно было предугадывать и понимать вечное блаженство. Мне не забыть рассказа всегда хладнокровного, малоречивого Грейга; легкий румянец стал покрывать его бледное лицо; казалось, что камень разогрелся, раскалился от жара прекрасного воспоминания. Какое сладкое могущество эта женщина имела над людьми! Посидев еще несколько времени после обеда, я хотел раскланяться с хозяевами; но они не согласились проститься со мною, а требовали слова еще увидеться; я дал однако с намерением не сдержать его.

На другой день, 27-го, помаленьку я начал собираться в дорогу, когда явился ко мне курьер с приглашением *Алексея Самойловича и Юлии Михайловны* пожаловать к ним на вечер, бал и маскарад 28-го числа. Мне следовало бы отказаться, во-первых, потому что это был день кончины отца моего, во-вторых, что

я два лишних дня должен был потерять в пути; но мне не хотелось невниманием платить за учтивость, да и любопытство увидеть николаевское общество во всём его блеске взяло верх над долгом. Дней за десять перед тем видел я одесское, но не мог судить о великой разнице между ими, не будучи ни с кем знаком. Мужчины несколько пожилые и степенные, равно как и барыни их, сидели чинно в молчании; барышни же и офицерики плясали без памяти. Масок не было, а только две или три костюмированные кадрили. Женщины были все одеты очень хорошо и прилично по моде, и госпожа Юлия уверяла меня, что она всех выучила одеваться, а что до неё они казались уродами. Сама она, нарядившись будто Магдебургской мещанкой, выступила сначала под покрывалом; ее вел под руку адъютант адмирала Вавилов, также одетый немецким ремесленником, который очень забавно передразнивал их и коверкал русский язык. На лице Грейга не было видно ни удовольствия, ни скуки, и он прехладнокровно расхаживал, мало с кем вступая в разговоры. Сильно возбудил во мне удивление своим

присутствием один человек в капуцинском платье; он был не наряженный, а настоящий капуцин с бородой, отец Мартин, католической капеллан Черноморского флота, который, как мне сказывали после, тайно венчал Грейга с Юлией. Оттого при всех случаях старалась она выставить его живым доказательством её христианства и законности её брака; только странно было видеть монаха на бале. Мне было довольно весело, смотря на большую часть веселящихся, которые казались совершенно счастливыми.

Наконец, 29-го по утру, вырвался я из Николаева. После легкого мороза без ветра, приметно сделалось теплее; солнце ярко засияло; обрадовавшись ему, птички вились по воздуху и щебетаньем своим радовали мое сердце. Я сделался умнее, сидел в карете, защищая глаза свои от частых перемен погоды. Скоро приехал я в Херсон и на этот раз хотел непременно его осмотреть. Просторная комната низенького трактира, в которой я остановился, имела для меня большую привлекательность: в ней был воздух каким не дышал я всю эту зиму; она была вытоплена не по-новороссий-

ски, так что в одной рубашке можно было по ней расхаживать. Подали мне препорядочный обед, после которого прилег я отдохнуть и нечувствительно заснул. Когда я проснулся, начинало смеркаться, и пришел навестить меня бывший мой сотрудник в Бессарабии, советник Кармазин, старик, которого Петрулин перетащил из Херсона и который, при мне получив отставку с хорошей пенсией, возвратился в него. Мы потолковали кой о чём, и я должен был до следующего утра отложить прогулку мою по городу. Погода за ночь опять изменилась, и сделалось пасмурно и не холодно, хотя без оттепели. Улицы Херсона были правильны, а наружность его не красива и даже печальна. Древние руины, как сильные бойцы, после продолжительной борьбы с людьми и стихиями устоявшие, хотя лишённые членов и покрытые рубцами, а новые строения полуразрушенные подобны трупам тощих юношей, обезображенных смертью: вот что являлось тогда в Херсоне. Гораздо приятнее было мне взглянуть на крепость, в версте от него находящуюся: там всё было сохранено и поддержано. Войдя в собор, мне

хотелось увидеть место, где положено было тело князя Потемкина; но мне отвечали, что никто о том не знает. Уверяют, что, когда по приказанию Павла Первого должно было вынуть останки основателя Херсона, тайно вырыт был труп протопопа и вместо Потемкина похоронен где-то в поле.

Воротившись домой обедать, 30 числа, я предпочел ехать в Крым по другой дороге более короткой. В этом месте мой родимый Днепр не похож на самого себя, не широк и не узок: прежде превращения своего в лиман, он делится на рукава и образует семнадцать островов, между коими плавание хотя не опасно, но затруднительно и продолжительно; оттого летом редко кто по этой дороге ездит. Всё было покрыто льдом в эту зиму. Часа через два приехал я на противоположный берег Таврической губернии, в город Днепровск, бывшее селение Алешки, коим он и поныне называется. Была уже ночь, и меня привезли к одному татарину, зажиточнейшему из жителей. Мой приезд не очень должен был понравиться женскому полу; его тотчас куда-то запрятали. Через полчаса пожаловал ко мне городничий

(стоило бы об имени его спросить и его не запомнить) и объявил, что он счел долгом навещать приезжего товарища. Я немного удивился и чуть ли не обиделся, когда он прибавил: «ведь вы там у себя, а мы здесь у себя градоначальники». Служить в Новороссийском крае и не знать разницы между званиями градоначальника и городничего, это уже становилось забавно. Очень заметно было, что он даточный, безграмотный солдат, во время войны вышедший в офицеры и по праву раненого получивший место. Несколько времени потешился я необыкновенным его невежеством, но наконец соскучился, без церемонии сказал, что хочу спать и попросил любезного собрата оставить меня.

Хорошо, что я поехал в карете; ибо в следующее утро 31 числа сделалось опять ужасно холодно и ветрено. Эта сторона, выходящая клином между Днепровским лиманом и Черным морем, весьма богата, как уверяют, пастбищными местами, и от того многие иностранцы и между прочим герцог Ангальт-Кетенский владеют ими и содержат мериносов и электоралей. Мне было не до наблюдений: я

не видел конца своему странствованию и где было можно скакал без памяти. Только что рассветало, когда я приехал на первую станцию Костогрызово, коей название мне не понравилось; не знаю почему, я видел в нём худое предвещание. Однако комната в каменном станционном доме была очень велика и очень высока, и в ней по русскому обычаю находились полати и огромная русская печь. Не успел я оглядеться, как вошел молодой морской офицер, весь посиневший от холода, в одной холодной шинели, из отпуска возвращающийся в Севастополь. Надобно было видеть, с каким проворством бедняга вскочил на печь; оттуда, с этой высоты, сказал он мне, что за три дня перед тем видел меня в Николаеве на бале у Грейга. Я там был приезжий и, разумеется, в толпе его заметить не мои. Мне стало жаль его тем более, что ему отказали в лошадях: по малому числу их на этой малопроезжей дороге все были взяты под мои две повозки. Я предложил ему чемодан свой положить в мои сани, а самому сесть со мною в карету. Только что хотел я тоже самое сделать с одним из двух сопровождавших меня слуг; в

таких случаях теснота не беда, а умножает только теплоту внутри экипажа. Он с радостью и благодарностью принял спасительное мое предложение. Беседа с незнакомым не могла быть для меня занимательна, но я чувствовал какой-то ужас среди окружающей меня замершей пустыни, и присутствие, одного лишнего человеческого лица уменьшало его. От Днепровска до Перекопа девяносто верст. Я засветло проехал сей последний город и располагал ехать всю ночь; но не так-то случилось. Несколько верст не доезжая до первой станции за Перекопом, ветер завыл грозющим голосом; наученный опытом, я опустил стекла и спросил у ямщика, не возвещает ли это бурун (степной вихорь). Да, отвечал он с приметным испугом; кажется, быть беде. Я предался воле Божией, и тут опять она спасла меня. Жестокая вьюга совсем разъярилась, когда уже я был на месте. Не весело было мне ночевать точно в погребе, хотя хорошо закутанным, но дышать холодным воздухом. Еще хуже меня, вероятно, провел эту ночь мой спутник в своей холодной шинели. Я мало заботился о нём, а он бедняжка очень ухаживал

за мною. В расстройстве духа, в котором я почти два дня находился, забыл я даже спросить о его имени.

Перед рассветом, 1 февраля, утихла буря, и я пустился далее, только чувствовал начало сильной простуды. Часу в четвертом пополудни приехали мы в Симферополь. Я дал себя везти куда хотели, лишь бы не в одесской трактир, и попал, не знаю, в какой-то низенькой домик с тремя чистыми выбеленными комнатами, только всю зиму не топленный; видно, я был без памяти, что согласился в нём остаться. Офицер мой простился со мною и уехал, спеша поспеть к сроку отпуска; а я без всякой помощи, пока затопляли печи, лежал уже в лихорадке. Скоро однако явился спаситель, а читателю являются два лица, ему еще неизвестные.

Несколько раз приезжал ко мне в Керчь отставной с мундиром уланской ротмистр Иван Алексеевич Забелин и мне очень любился. Получив после отца богатое наследство, он женился на красавице и вышел в отставку. Он был влюблен, она была щеголиха, мотовка, и расстройство дел скоро заставило

его опять искать службы. У него было имение близ Феодосии, и его выбрали исправником. Деятельность его, расторопность обратило на него внимание губернского начальства, и он определен был полицмейстером в Симферополь. Привязанность его к жене, кажется, начинала уменьшаться, но не уменьшились её требования; а как она умела овладеть им, то для удовлетворения их, как Полагать должно, прибегал он к средствам не совсем позволительным. Он не рожден был для лихоимства, неискусные же в нём скоро попадают в петлю. Лишившись места, отдан был он под суд; но как его все любили, жалели об нём, то была надежда, что он скоро оправдается. Ему очень хотелось быть при мне чиновником по особым поручениям, и мне также хотелось; но я объявил ему, что сие невозможно, пока дело его не кончится в суде. Узнав о моем приезде, поспешил он ко мне и нашел меня, после сильного озноба, в жару, почти в бреду: холодный воздух в комнатах всегда производит на меня это действие. Он стал меня упрашивать переехать к нему, и я не имел силы отказаться.

Он жил даром в доме одного из богатейших татарских мурз, посреди старого города и его кривых, грязных улиц. Мегмед-мурза-Крымтаев был в своем роде великий чудака. Нижнее жильё дома своего, состоящее из пяти или шести комнат, занимал он сам. В нём не было полов, а глиной убитая земля, вся засеянная табачною золою, заступала их место; кругом были широкие, низкие диваны, покрытые изорванной материей; везде пыль и паутина, неопрятность и скверный дух. За то в верхнем этаже всё отделано было по-европейски, стены оклеены красивыми бумажными обоями и все мебели отличные, выписные. Там изредка принимал он почетных гостей, никого из них не пуская вниз, а на эту зиму уступил он сей этаж чете Забелиных, из дружбы к мужу; злословие говорило, — из любви к жене. Вот куда я переселился! Скоро приехал и доктор Арндт, прописал мне что-то; но теплый воздух комнат, я думаю, мне более помог, чем его лекарство.

На другой день, пришед немного в себя, я почувствовал, что тут мне неловко оставаться и на этот счет объяснился с Забелиным, ко-

торый просил меня не оставлять его по крайней мере до тех пор, пока в состоянии буду выезжать. Предобрейший малый был этот Забелин; услуги свои оказывал он мне не из каких либо видов: ибо место, о котором просил он меня, было уже занято Франком. Через час после нашего разговора, явился и хозяин наш мурза в полной форме. На нём был богато украшенный серебряными тесемочками синий кафтан, а на шее висела жалованная золотая медаль с бриллиантами. Он пришел просить меня, чтобы я почитал себя его гостем и не обидел его, отказываясь от предлагаемого гостеприимства; всё это было настроено Забелиным. Многие смотрели на то с худой стороны и между прочим вице-губернатор Лонгинов, за отсутствием губернатора управлявший губерниею, который велел мне сказать, что как бы ни желал меня видеть, не может решиться известить живущего у подсудимого. На то поручил я отвечать ему, что не только охотно увольняю его от посещения, но и своим не хочу возмутить его излишнюю деликатность.

В этом году подвижные праздники были

ранее обыкновенного, и пятница на Маслянице пришлась 3 февраля, через два дня по приезде моем. Климат и образ жизни не допускали тут никакого сходства с нашей русской масляницей; никто не знал что такое кататься с гор, о блинах тогда и помину не было, и не знаю даже, встречались ли пьяные. Однако именно в этот день на всех лицах написано было веселие. Южное солнце одержало совершенную победу над бывшими непогодами; оно горело, озаряло водопады, образованные внезапно растаявшим снегом, которые быстро и шумно по всем покатосям неслись в Салгир. Мне чрезвычайно захотелось выехать, погулять, и где то достали коляску: были места, где через бурные потоки в самом городе почти невозможно было проехать.

Беспреостанно препятствия. На другой день узнали, что по дороге водой снесено множество мостиков и что овраги, ею наполнившись, превратились в глубокие речки. Поневоле надобно было отложить свой выезд.

Принужден будучи остановиться, я сделал несколько посещений и между прочим госпоже Нарышкиной, которая пригласила меня

обедать 5-го числа, в последний день Масляницы. В тот же день вечером полюбопытствовал я взглянуть на костюмированный бал в так называемом Благородном Собрании. Зала была немного повыше, пошире и подлиннее Керченской залы в доме Кулисича. То, что называют Таврическим дворянством, на две трети состоит из татарских мурз, и совершенное их отсутствие на этом бале меня удивило. Мне сказали, что они никак не хотят ознакомиться с обычаями Запада, и не знаю, осуждать ли их за то. Мне показали на танцующую в русском сарафане высокую и плотную дочь знаменитого Палласа, и я смотрел на нее с почтением к памяти её отца. После тут же сказали мне что она только приемыш живущей в Крыму вдовы знаменитого Палласа, и что ей не следовало бы присваивать себе его славного имени. Я заметил на сие, что по росту и дородству её, по смелости приемов и взглядов, надобно бы, по крайней мере, дозволить ей называться Палладой.

Продолжаю мой дневник. В понедельник 6-го числа воротился из Петербурга губернатор Нарышкин, о чём узнал я вечером. На

другой день, пока я собирался к нему, приехал он сам ко мне, но можно сказать, только что повернулся. Он поспешил меня видеть, сказал он, дабы доказать, что он не разделяет слитком строгих правил вице-губернатора. видно, они с ним начинали не ладить. На расспросы мои о Петербурге не хотел отвечать, уверяя, что не имеет времени, но готов удовлетворить любопытство мое, когда соглашусь на другой день приехать к ним обедать.

Погода все эти дни постоянно была теплая, большие воды стекли, дорогу постарались починить, и 9-го числа отправился я из Симферополя. В Феодосии на полчаса завернул в Богдановскому, потом немного поел, немного поспал и 10-го февраля в сумерки приехал в Керчь.

Встречи на этот раз мне не было; доброжелателей своих не известил я даже о точном времени моего приезда. Недели за две до выезда моего из Одессы писал я к полицмейстеру Щиржецкому, прося его нанять помесечно, будто для себя, каменный двухэтажный дом отставного генерал-майора Каламары, который поблизости от Керчи жил у себя на хуто-

ре. Он построил дом в надежде, что его будут нанимать градоначальники, но совсем отдал его незадолго перед тем как Богдановский собирался оставить Керчь; я же не нанял его под предлогом, что он должен быть сыр; он оставался пустым, и хозяин за дешёвую цену уступил его. Щиржецкий будто переуступил его мне, и в него были уже перевезены мои люди и вещи. Мне не хотелось долее жить даром и одолжаться грекам; дом же этот имел для меня особое удобство: он находился при самом въезде в город со стороны Феодосии и даже был отделен небольшим пространством от первых его застроеваний, так что я бы мог, если бы хотел, и не заглядывать в Керчь. Он был довольно просторен, исключая флигеля имел по шести комнат в каждом этаже, и в нём помещались канцелярия моя и правитель её Шкляренко. Сей последний первый явился во мне и рассказал, как искусно умел он избежать малейших неприятностей с Синельниковым.

На другой день явились ко мне главные лица. Не показывая никакой ласки, принял я их как следовало вежливым образом; жите-

лям же велел объявить, чтобы они без особой нужды, с пустяками, подлежащими разбирательству полиции, вперед ко мне не ходили. Им самим не очень хотелось встречать всегда угрюмое чело мое.

Потеряв надежду в это время сделаться моим преемником и ожидая другого более удобного в тому случая, Скасси из Петербурга не подзадоривал более греков, и они, склонив голову, сделались тихи и послушны. Казенные строения приостановлены до наступления настоящей весны, никаких иностранных судов в порте не показывалось, и я совсем почти без дела начал вести жизнь покойную, уединенную, но признаюсь весьма скучную. И погода была тогда не весьма благоприятная; правда, еще до приезда моего Босфор очистился от льда, коим покрыт был более трех недель и в воздухе сделалось тепло, но в продолжении февраля и большей части марта небо оставалось мрачно и не редко шли холодные дожди.

День Светлого воскресенья совпадал (да простят мне сие слово, неологами введенное в общее употребление) со днем Благовещения

25-го марта, и в этот-то именно день была настоящая слякоть. Главные чиновники в мундирах и греки отправились в собор, где богослужение было по-гречески; я же в сюртуке пошел во временную церковь, неподалеку от меня в большом каменном сарае устроенную, одними канцелярскими служителями наполненную, из коих некоторые добровольно составили хор певчих. Отслушав там заутреню и обедню, не без труда по грязи воротился я домой, а по утру, сказавшись больным, никого не принимал.

Странное дело! Когда я не скрывал намерения своего оставить должность никто не хотел мне верить; а тут, когда я принужденным нашелся лгать и уверять, что хочу всю жизнь посвятить Керчи, все мне поверили. И даже когда в апреле получены были письма извещающие о моей будто отставке, никто и слушать не хотел, называя это апрельскими вестями. Между тем этот апрель оживил меня, Погода сделалась опять чудесная, и родились заботы совсем новые для меня в своем роде.

Еще середь зимы приехал в Керчь неизвестно зачем любимец царский, флигель-адъ-

ютант полковник Василий Алексеевич Перовский и по приглашению, сделанному Скасси, остановился в его доме. Когда меня о том уведомили, меня это немного потревожило; но вскоре после получил я от него в Одессе коротенькое письмо с препровождением письма врученного ему ко мне от Дашкова, который советовал мне на счет положения моего откровенно с ним объясниться. В ответе моем к нему не утерпел я, чтобы не говорить о предубеждениях, которые знакомство со Скасси должно было дать ему против меня. На это между прочим отвечал он мне. «Возможно ли, чтобы, имея с вами общих приятелей, Дашкова и Жуковского, захотел я вредить вам? Я желал бы по возможности быть вам даже полезным). В марте получил я наконец и письмо от графа Воронцова собственноручное, длинное, ласковое в ответ на давно мною в нему писанное. Вот что между прочим говорит он в нём: «Вы хотите меня оставить, и я должен исполнить ваше желание; а если бы вы знали сколько копий принужден я был ломать за вас с одним здесь весьма сильным человеком». Этот сильный

человек не мог быть иной как Нессельроде. На счет же обеспечения существования моего после отставки выражался очень неясно.

Недолго Перовский оставался в Керчи: когда я воротился в этот город, он находился в Екатеринодаре, главном городе Черноморских казаков. Там наказным атаманом был генерал-лейтенант Власов, человек всеми восхваляемый, но обвиняемый, преследуемый доносами интригана Скасси. Главною целью путешествия Перовского, казалось, было исследование поступков Власова, и к счастью оно открыло ему истину с помощью изменника грека Хартулляри, подчиненного Скасси, которого он брал с собой. В начале апреля Перовский был уже в Тамани, и у нас через пролив началась деятельная, собственноручная, ото всех тайная с ним переписка.

Я узнал, впрочем подозревая то и прежде, что вскоре и в моем соседстве должны начаться военные действия. Собрав небольшой отряд войска, порученный его начальству, Перовский спрятал его за камышами Кубани, и для перехода через эту реку и нападения на Анапу, дожидался только появления флота,

который атаковать должен был крепость со стороны Черного моря. Приготовления к сим действиям, доставление ему съестных припасов и меры осторожности, дабы не узнали о том неприятели, были содержанием нашей секретной переписки. Согласно с его письмами и по собственному усмотрению, действовал я довольно самовластно. Например, двух армян, приехавших из Анапы и выдержавших карантинный срок, оказавшихся впоследствии лазутчиками, велел я задержать и не пускать в обратный путь. У моих любезных татар, рыболовов, называемых тут забродчиками, велел отобрать все лодки, дабы прекратить им всякое сообщение с противоположной стороной. Это их чрезвычайно прогневало, и чрез то на время остановлена была вся рыбная ловля. Чую приближение грозы, которая впрочем не над ними должна была разразиться, жители Керчи почитали себя как бы в осадном положении и без ропоту повиновались.

Не знаю, право, из чего я мучил так живот свой, когда частным образом был уведомлен о назначении на мое место нового градоначальника.

чальника. Перед выездом из Петербурга Воронцова, прибывшего 28 марта в Одессу, было подписано несколько указов 12 марта. Одним из них граф Пален уволен от должностей настоящей и временной; о предназначении его председателем дивана княжеств Молдавского и Валахского, разумеется, ни слова не сказано. На его место в Одессу градоначальником переведен из Феодосии Богдановский, а на место последнего назначен в Феодосию Казначеев. Были еще некоторые перемещения: бессарабский Тимковский по всей справедливости безжалостно отставлен, безо всякого содержания, а на его место назначен какой-то Тургенев, который никогда к должности не приезжал и, чего-то испугавшись, тотчас подал в отставку. На место нового знакомого моего екатеринославского Свечина, отставленного без просьбы и без вины, определен мой добрый знакомый харьковский Донец-Захаржевский. Наконец, от того же числа Керчь-Еникальским градоначальником сделан Иван Алексеевич Стемковской, о котором буду говорить после. А обо мне в указе не упомянуто ни слова, как будто бы меня и на свете не бы-

ло.

Тогда в гражданских делах не было такого быстрого исполнения как ныне. Для соблюдения всех формальностей Сенату нужно было дней двенадцать, а иногда и недели две; когда же встретятся большие праздники, то и более. Экстра-почта из Петербурга в Одессу ходила тогда в восемь дней, и оттуда уже по разным местам рассылались для исполнения Высочайшие указы: вот отчего я так поздно получил официальное извещение о назначении Стемковского. А между тем, вероятно, по ошибке из Петербурга бумаги приходили на мое имя, и между прочим предписание министра Финансов о наложении эмбарго 25 апреля на все турецкие суда (а их ни одного не было), ибо в этот день должны начаться военные действия.

Так как в указе я не был назван, то по поручению Воронцова приглашали меня не спешить отъездом и сдачею должности; Стемковский также из Одессы писал ко мне и упрашивал дождаться его приезда. Тут, кажется, место начертать краткую его биографию. Сын бедного дворянина и племянник

жены коменданта генерала Коблѣ, он находился при ней в Одессе, когда Ришельѣ приехал начальствовать в этот город. Дюку мальчик понравился, он воспитал его, определил в службу, взял к себе в адъютанты и деятельно употреблял по службе. Можно сказать, что Стемковский вырос вместе с Одессой и принимал участие в устройстве нового портового города. Светская образованность была в нём отличная, а ученость его по археологической части простиралась до того, что он был избран членом Французского Института. В Париже, в 1818 году, познакомился я с ним: в чине полковника числился он тогда по армии и из особой любви и уважения Государя к состоящему также по армии генералу Ришельѣ оставлен был при нём. Умирая, дюк завещал ему всё, что имел в России, хорошую аренду, городской дом и хутор в Одессе и на Южном берегу Крыма дачу Гурзуф. Возвратившись в отечество, он несколько лет поносил еще эполеты, а потом перешел в штатскую службу, но не имел места. Что сказать мне еще для изображения его? Наружность имел он приятную, а характер кроткий и твердый, то есть истин-

но благородный. Вот, наконец, выбор Воронцова, который можно назвать действительно счастливым. Ланжерон и Скасси сказали: наша взяла, и как они опять ошиблись!

Ничто не останавливало меня в Керчи. Не то было время, чтобы греки могли зазнаться передо мной; один только Синельников поднял нос в нетерпении, хотя временно, заступит мое место. С равным нетерпением и я ожидал 25 апреля. Меня весьма забавляла мысль, что я будто участвую в военных подвигах, и мне хотелось их довершить самым важным. В 45 верстах от Керчи находится высокая Апух-гора, выдвинутая в море, и с неё, хотя в тусклом отдалении, но простыми глазами, можно видеть Анапу; в зрительную же трубку можно сосчитать все строения этой крепости. Будучи предуведомлен, что в вышеозначенное число наш флот придет атаковать ее, мне желательно было воспользоваться единственным случаем посмотреть на сражение из безопасного места, как бы из ложи на театральное зрелище. Для того по дороге к горе расставлены были у меня казаки с приказанием, лишь только завидят корабли, при-

скакать меня о том уведомить.

Дней двенадцать как все читали в газетах о назначении мне преемника, и более недели указ о том находился у меня в руках; а я всё медлил объявить его. Никто не мог понять причины такого упорства, и стали подозревать тут великую тайну. Между тем 25-го апреля прошло, и не было никаких известий с Апух-горы; Перовской стоял притаившись за Кубанью, а флот, на котором находились князь Меншиков и Грейг, был удерживаем противными ветрами.

Долее 1-го мая, мне решительно нельзя было оставаться. В этот день вечером подписал я сам себе подорожную до Феодосии, всё еще по званию градоначальника, и потом бумагу Синельникову, которою, извещая его об отъезде моем, будто в округ, поручаю ему исправление моей должности, ни словом не упомянув Стемпковского. Для прощанья посетили меня в тот же вечер два доброхота моих, Щиржецкий и Гудим-Левкович; мы слышали в это время шум множества фузей, пущенных с Керченских пригорков прибывшими сухим путем морскими офицерами. Они должны

были участвовать в экспедиции и радостно приветствовали приближение её.

Очень рано по утру, 2-го мая, простился я с Шкляренькой и шел садиться в карету, как вдруг прискакал казак с известием, что флот показался. Но увы! уже было поздно, ибо еще накануне отправил я бумагу к Синельникову. На первой станции узнал я нечто для меня любопытное. В околотке все знали о городских несогласиях, и смотритель смеясь объявил мне, что еще накануне вечером Скасси приехал из Петербурга с важными поручениями; но, узнав, что я нахожусь еще в городе, туда не поехал, а остановился в двух верстах от него у себя на хуторе.

В Феодосию приехал я к самому обеду и въехал прямо ко вновь прибывшему градоначальнику Казначееву, который убедил меня на несколько дней остаться у него. Мне и самому хотелось, ибо по сделанному согласию ожидал я вестей из Керчи, как о начатии военных действий, так и о том, что происходило в этом городе в первые дни после отъезда моего. Гудим уведомил меня, что в то же утро, 2 мая, когда узнали об отъезде моем и о при-

бытии Скасси, все в мундирах (и он в том числе из любопытства) отправились к нему на поклонение. Великий муж, покровитель Керченской торговли, принял их ласково и величаво. Приветственную речь произнес красноречивый Синельников; она ограничилась ругательствами на меня; Скасси в молчании выслушал ее с одобрительной улыбкой. Потом стали умолять его удостоить город своим пребыванием в нём, тем более, что он очищен от моего присутствия; на это последовало милостивое согласие. Какие были у него поручения и как исполнил он их, увидим мы после [79].

Мне отставному спешить было не к чему, и я дней пять оставался в Феодосии. Куда мне сперва было ехать, если не прямо в Москву. Но Казначеев, испытавший на себе незлопамятность Воронцова, убедил меня, сделав небольшой крюк, отправиться к нему в Одессу, дабы с его помощью устроить дела свои на будущее время. Туда же ожидали Государя с Императрицей, и он мог иметь удобный случай доложить обо мне. Я выехал 7-го, а 9-го, в Николин день, приехал в Симферополь.

По предварительному предложению моего доброго мурзы, Мегмет-Крымтаева, чрез Забелина, остановился я опять у него. Помещение было для меня удобное, но летом оно не отличалось благовонием. Мне хотелось было взглянуть на Южный берег, который я не видал и о котором так много слышал; но потребовалось бы на то довольно времени, а я его и так уже много истратил, и я довольствовался двумя поездками поблизости к Симферополю.

Первую делал я за 15 верст, по дороге в Чатырдагу и морю, в имение моего хозяина мурзы, называемое Магмуд-Султан, где находится источник Салгира. Надобно было сперва карабкаться верхом по высокой и крутой горе, а с вершины её пешком спускаться потом в каменную воронку, цепляясь за бока её. На дне её бьет с чрезвычайной быстротой природный водомет, пробивается сквозь камни и, выходя из ущелья, образует речку. Немного тяжела показалась мне эта поездка, за то зрелище увидел я любопытное.

Другую поездку сделал я за 30 верст, в Бахчисарай, с которым в целой обширной России всех познакомили стихи Пушкина. В лощине

лежит город, то есть одна улица, длиною более версты; на ней всё жарится и варится, всё шьется и прячется, но она своей азиатской физиономией не могла меня поразить после Карасу-Базара и старой части Акмечети. На самом конце улицы, из которой нет выезда, находится нечто в виде наших древних Московских монастырей; каменная ограда, широкие ворота, а над ними башня и несколько келий, наружу выходящих; это знаменитый ханский дворец. Он один привлекает сюда внимание путешественников и заслуживает его. Благодаря стараниям Воронцова, забытый сей дворец исправлен был заново; позолота, живопись были подновлены, даже покрыты тканями, нарочно заказанными в Царьграде по образчикам прежних изорванных кусков, и я могу сказать, что нашел его в том виде, в котором оставили его ханы.

На всё это достаточно мне было трех дней. В Симферополе я почти ни с кем не виделся; летом обыкновенно этот город пустеет: жилищные жители и некоторая часть из служащих переселяются в прекрасные, садами наполненные долины Альмы, Качи и Бельбека.

Тогда начинали уже жить и на Южном берегу, и между прочими там находился губернатор Нарышкин с семейством.

Вечером, 12 мая, поскакал я опять, но нигде не останавливаясь на сей избитой уже мною дороге, ни в Перекопе, ни в Бериславе; поутру 14-го поспел я в Херсон. Дорога была сухая и гладкая; начинались и жары, однако же еще весьма сносные. На один час остановился я, чтобы в дорожном платье увидеть вновь определенного и вновь прибывшего Херсонского вице-губернатора, родного брата Дашкова, Андрея Васильевича.

От него узнал я много важных вестей, по большому отдалению до нас в Крым еще не дошедших. В самый день начатия военных действий и отъезда Государя из столицы, 25 апреля, последовали великие перемены в министерствах: все старики были уволены. Еще в сентябре, нетерпеливый, бешеный князь Лобанов, при товарище находя положение свое стесненным, бросил Министерство Юстиции; на его место назначен управляющим министерством товарищ его, князь Долгоруков. Графа Татищева, кажется, понудили по-

дать в отставку: на его место определен военным министром известный своим фанфаронством Чернышов; ему же на время отсутствия Дибича в армию поручено и начальство над главным штабом. Старцы, Ланской и Шишков, из коих первый был еще довольно бодр, получили тайное приглашение также просить об увольнении от должностей. На место первого сделан министром внутренних дел, с сохранением прежней должности, Финляндский генерал-губернатор, генерал-адъютант Закревской, о котором много говорено в начале сей части Записок. На место последнего, бывший долго в отставке, генерал-лейтенант князь Карл Андреевич Ливен, попечитель Дерптского университета. О действиях сих господ придется, может быть, мне много говорить.

Приятным образом изумило меня и вместе с тем несколько смутило назначение статс-секретаря Блудова в должность главноуправляющего духовными делами иностранных исповеданий, с оставлением его товарищем министра просвещения. Ливен был протестант и самый усердный, а только православный мог

заведовать делами иноверцев, дабы не давать предпочтения одной религии перед другой. Для того эта часть, в виде особого министерства, опять отделена была от Народного Просвещения, как было то сначала при Голицыне. Но зачем было при этом случае не произвести Блудова в тайные советники? Это и сделано несколькими месяцами позже. Когда где-нибудь установится какой-нибудь порядок и несколько поколений привыкнут к нему, то зачем без всякой нужды нарушать его? Все увидели в том совершенное изменение всего существовавшего со времен Петра Великого: разрыв чинов с местами. И мало ли что после увидели! [80].

На несколько часов для отдохновения остановился я в Николаеве, у моих добрых сестьер-хозяев, которые мне обрадовались и меня успокоили. Город был совершенно пуст; флотские все были на море, а из чиновников и жителей, кто только мог, поскакал в Одессу, чтобы взглянуть на царскую чету. Даже сама Юлия Михайловна и полицеймейстер Федоров были в отлучке.

Ни одного человеческого лица не встретил

я на одесских улицах, когда 15 мая, в четыре часа по полудни, чрез Херсонскую заставу въехал я в этот город. Между тем вдали слышан был звон колоколов и вслед за тем пушечная пальба. Всё народонаселение хлынуло к противоположной Тираспольской заставе, чтобы встретить Государя. Их Величества, проехав сквозь шумные толпы, остановились во вновь богато и прихотливо отделанном доме графа Воронцова, над самым морем. Лишь только Императрица вышла на балкон, Воронцов махнул платком, и по этому сигналу началась ужасная трескотня со всех военных и купеческих судов, стоящих на рейде, равно как и с батарей, окружающих карантин. В сию минуту подъезжал я к отелю Сикара, в котором взяли с меня за комнаты не так дорого, как я ожидал; ибо приезжих не было столь много, как сказывали. Как резок показался мне переход от пустоты и молчания к шуму и суете народной! Удивительным могло показаться и то, что в этой части летом ужасно пыльной Одессы не было ни пылинки: казалось, что хотели исчерпать море, чтобы увлажить улицы, чрез кои Царю надлежало проез-

жать.

Только и речей было тогда, что о царском путешествии да о первых военных действиях. Неизлишним считаю повторить здесь мною слышанное. Государь, как сказал я выше, выехал из Петербурга 25 апреля и отправился прямо к армии в Бессарабию; в тот же день выехала Императрица и путешествовала медленнее до Бендер, где могла ожидать новых распоряжений. Тут случилось нечто забавное. Около этого времени управлял областью Бессарабской вице-губернатор Фирсов, мой приятель; но вследствие не грозного, а язвительного письма от Воронцова заболел и внезапно умер. Тогда должность губернаторская перешла в руки преждереченного председателя Уголовного Суда Курика, человека самолюбивого, бестолкового, суетливого, которому представился случай выказать себя. Он узнал, что Государь намерен из Измаила отправиться в Бендеры, дабы неожиданным приездом обрадовать Императрицу. Ему из усердия захотелось предупредить Её Величество; для того послал он особого чиновника курьером с донесением о том, и когда Царь прибыл, то

нашел, что его уже ожидали. Можно представить себе его гнев, как он был раздражен такою глупою смелостью! После этого, разумеется, Курик не мог долго остаться на месте[81]. Пробыв менее суток в Бендерах, Государь вместе с супругою 15 мая имел въезд в Одессу.

Известия о малочисленном дворе, тогда в Одессе находившемся, имел я почти ежедневно от Анны Петровны Юшковой, родственницы и приятельницы Жуковского, вышедшей за англо-американца Зонтага, который был тогда капитаном над Одесским портом. По рекомендации Жуковского, Государыня поручила ей преподавание иностранных языков, равно как и русского, маленькой еще дочери своей Марии Николаевне, ее сопровождавшей. Дитя не очень приневоливали учиться; но г-жа Зонтаг своею ластительностью умела как-то привлекать ее к учению, что, кажется, очень понравилось.

Военные действия ограничивались пока переходом войск через Дунай у Сатунова, да по сю сторону Дуная осадой Браилова. Михаил Павлович тут с гвардией блистательным образом хотел начать свое военное поприще.

Россия дорого заплатила за первый его знаменитый подвиг. Наскучив продолжительной осадой, в следующем месяце взял он штурмом эту крепость. Говорят, он плакал при виде великого множества убитых, изувеченных молодцов-гвардейцев, как ребенок, у которого переломали его игрушки, солдатиков его.

Более всего, конечно, занимало меня мое собственное дело. Дня три-четыре Воронцов был неуловим для меня: он как тень следовал за Государем; наконец, мне удалось его найти. Он встретил меня ласками и проводил обещаниями, настоящего же толку я никак не мог добиться.

К неописанной радости моей, приехал в Одессу Дашков. В звании статс-секретаря сопровождал он Государя, а по совершенному знанию дел Востока, во время этой кампании, был ему чрезвычайно полезен своими сведениями. В продолжении немногих дней, что он тут оставался, каждый день раза по два виделся я с ним. От него узнал я, что Воронцов будто по воле Государя, препроводил просьбу мою в Комитет Министров, где, как дело неважное, при множестве других, оно зале-

жалось. По сделанной однако справке накануне отъезда его, Комитет положил причислить меня в герольдии, с производством трех тысяч рублей ассигнациями ежегодного содержания, впредь до определения меня к другой должности; это бы меня совершенно удовлетворило, и более я требовать не мог. Но, дабы кончить тут же скучный рассказ о деле моего увольнения, прибавлю, что положение Комитета, отправленное в армию, в июле месяце получило все милостивейше утверждение, с тою только разницею, что вместо трех тысяч содержания велено мне выдать их единовременно, в виде пособия. Со мною всё делалось не по-людски.

Нашел я и Стемковского, который, по уверениям его, дожидался меня. Много беседовали мы с сим беспристрастным и благонамеренным человеком. Я сообщил ему всё что знал о Керченских делах. Они отчасти и ему были известны; хорошо знал он и Скасси, и очень хорошо понимал его. Хотя он дотоле находился с ним в хороших отношениях, не менее того, приготавливаясь в оборонительной войне, при мне отправился он во вверенный

ему град.

Кажется, давно ли оставил я Одессу, а как много из зимних моих знакомых не нашел я в ней! Ланжерон как-то приплелся к армии, где и без него было так много главных начальников и полных генералов. Пален отправился на председательство в Бухарест я имел неосторожность правителем дел взять с собою алчного земляка Брунова, в чём после много должен был раскаиваться. Перед отъездом сделал он другой промах: пал к ногам Ольги Нарышкиной, умоляя ее развестись с мужем и выдти за него; она расхохоталась и указала ему двери. Собаньская старалась казаться веселою, любезною; но из самых насмешек её мог я заметить глубокую досаду, видя, что, по праву чина, шутиха её, действительная статская советница Кирикó с дочерью представлялась Императрице, а ей к тому и следа не было. Вот всё что на этот раз могу сказать я об Одессе, в которой сам не знаю за-чем, без всякой для себя пользы, прожил я две недели.

Расставаясь с Новороссийским краем на-долго, может быть навсегда, на прощании

мне желательно в последний раз о выгодах его для России объяснить мнение мое, плод пятилетних наблюдений, иногда ошибочных, но впоследствии исправленное более зрелыми размышлениями.

От Иртыша и Амура до Китайской стены, от реки Урала до Хивы, Заволжье до Каспийского моря, Донские равнины до Азовского моря и Кавказа, всё это одна неизмеримая степь, огромное кочевье, чрез кое — густыми толпами неоднократно протекал человеческий род. Иногда он останавливался, жил и живет и поныне; но нельзя сказать, чтобы он когда либо населял сию пустыню, ибо никогда и нигде прочных жилищ в ней не основывал. Не одна страсть к подвижной жизни, а более естественные причины тому препятствовали. Новороссийскими губерниями до впадения Прута в Дунай дополняется и заключается сия цепь пустошей. Великое пространство от Тихого океана вплоть до Черного моря можно почитать пределом, разделяющим две части света, долженствующим навсегда отделять Россию от настоящей Азии.

Но еще в отдаленные от нас времена, при-

близясь к сему рубежу, русские с оружием в руках далеко проходили за него, когда в сей Западной степи властвовали попеременно печенеги, хазары и половцы. Рано или поздно суждено ей было сделаться их достоянием. Гораздо после, по завоевании уже Сибири, приблизились они и к Восточной, более расширенной части степей, но до настоящего времени вооруженной рукой не пытались в нее проникнуть.

Неподалеку от Украины, за степями, был прекрасный уголок, очень известный еще древним. Просвещенные греки, после них промышленные генуэзцы построили в нём города, завели в нём торговлю, обогатили и украсили его. Геологи полагают, что Крымские степи некогда были покрыты морем; соляные озера, солончаки и самые роды растений подкрепляют сию догадку. Вследствие какого-нибудь сильного переворота на земном шаре вода вероятно утекла в Азовское море, прорвала цепь Кавказских гор, где ныне Керченский пролив, и соединила его с Черным морем. Оторванный от Кавказа лоскут гор всей стране дал название Тавриды, ибо Тавр

значит гора. Сею страну овладели, наконец, татары и превратили ее в логовище, откуда сии хищные звери устремлялись на добычу. Екатерина задумала сие природой облагороженное место вырвать из варварских рук и подарить им Россию; смелый искусный, дальновидный Потемкин помог ей в том. Оба были уверены, что прелести южного Крыма заманят большое население, привлекут и большие капиталы, коих сами не щадили. В сих приятных мечтах умер Потемкин, а она успеха еще увидеть, что ожидания её были тщетны.

И не удивительно ли, когда жители Севера, и особенно из них просвещенный класс, чувствуют столь сильное влечение к Югу? Англичане, когда всеобщий мир то дозволяет, так и стремятся в Италию, немцы едва ли еще не более их; первые за наслаждениями, другие за наслаждениями и прибылью *in das schöne Land wo die Citronen blühn*, прибавляя: *dahin, dachin wo die goldenen Münzen glühn*. В Италии искусства вместе с приятностями жизни и роскошной природой. Вслед за другими и мы повадились туда ездить. А что могли мы

найти во вновь приобретенном нами полу-денном крае? Надобно бы было жертвовать годами, чтобы чем-нибудь там завестись. Между тем он славился у нас, и самое отдаление украшало его в глазах наших.

Были путешественники, в то время почитавшие себя туристами, которые предпринимали трудную поездку в сию как бы новооб-ретенную землю и описания свои об ней отда-вали в печать, как например Сумароков, Из-майлов и Муравьев-Апостол.

Вскоре после присоединения Западных гу-берний не стало Екатерины; при ней не успе-ли еще хорошо разглядеться насчет их выгод. При Александре сильно возчувствовали по-требность, необходимость сбыта земных про-дуктов, даром в них пропадающих, начали искать места на Черном море между Бугом и Днестром, — и родилась Одесса. Вдруг оживи-лись губернии Херсонская, Полтавская, Киев-ская, Волынская, Подольская (Бессарабия то-гда еще нам не принадлежала). Раздались громкие, весьма заслуженные похвалы ново-рожденному городу и основателю его Рише-льё.

После двадцатилетних, непрерывных, быстрых, невероятных успехов этого города увидел я его в первый раз. Зачем повторять здесь сказанное мною при описании его в 1823 году? Всё показалось мне в нём строящемся, недоконченным, недостроенным, хотя в широком размере: абрис или эбош, как угодно, огромной картины. Пять лет едва прошло, и я нашел в нём все приятности общежития. Приписать ли это присутствию или отсутствию нового тогда, ныне давнего начальника Воронцова? Я по опыту знаю великое мастерство его привлекать людей; он употребил его для пользы не целого края, а двух местностей, Одессы и Южного берега Крыма. На сии два предмета было постоянно обращено всё нежное, попечительное его внимание. Удачные предприятия Воронцова не доказывают ли однако, что русские совсем не чуждаются собственного полуденного неба, несмотря на ужасное отдаление его от обеих столиц, от центра всей русской жизни и деятельности, на все неудобства сообщений по нескончаемому пути, на все мучения и лишения, не раз мною описанные?

Рассматривая карту Черноморских берегов, можно подивиться, что от Днепровского лимана до устья Кубани на столь великом протяжении находишь только один известный портовый город, тогда как берега пролива Ламанш ими усеяны. Конечно есть и Феодосия; но у неё нет по соседству больших судоходных рек, каковы Днестр, Буг, Ингул и Днепр, нет небольшой степи, которую на волах в пять дней можно проезжать. Бесконечная степь отделяет ее от плодородных внутренних наших областей, которые для отправки могли бы снабжать ее пшеницей; привоз из Азии прекратился, благодаря успехам нашей русской промышленности, как объяснил я при описании сего города. Отдаленный Таганрог был всегда ее соперником, а тут вдруг по соседству явилась и Керчь. Увидев онемение, оцепенение Феодосии, я сказал ей вечную память, а малому муравейнику моему, где всё копошилось, предсказывал славную будущность. Это всё находится в записке моей о Керчи, которую в Одессе я представил Воронцову. Увы! Не хвастаюсь тем, а каюсь в том: кажется, она сильно на него подейство-

вала.

Напрасно думают, что Воронцов ненавидит и преследует Феодосию; при его уме это было бы слишком безрассудно. Но он видит в ней нечто отставное, следственно бесполезное; поддерживать ее, помогать ей почитает он излишним; одним словом, он поступает с ней точно также как со мной поступил. Он к ней равнодушен, также как и к Таганрогу; из портовых городов, до него основанных, возлюбил он только одну Одессу, как готовую ему столицу.

Керчь дело совсем иное. Я успел объяснить ему, что как при нём назначен туда первый градоначальник, при нём открыт в ней порт, то она и должна почитаться его созданием. Настоящей торговли в ней нет и до сих пор, но благодаря его неусыпным стараниям она сделалась если не весьма богатым, за то красивейшим городом в Крыму. Многие посторонние причины способствовали первоначальным её успехам. Русское население, коему едва положил я начало, при Стемковском быстро увеличилось; умножение народонаселения привлекает и ремесленников, а они

были под рукою в немецких колониях. Азовское море, будучи объявлено практическим, все суда в него идущие должны останавливаться в Керчи и выдерживать трехнедельный карантинный срок. Множество судов чрезвычайно оживляет вид на её порт, но прибыли ей от того мало, все равно что главной заставе, чрез кою проезжает множество экипажей и телег; из привозного однако кое-что перепадает для её внутренней торговли. После удаления Грейга от начальства, князь Меншиков выпросил повеление изгнать из Николаева и Севастополя разбогатевших евреев, кои под покровительством Юлии захватили там все подряды. Они кинулись в Симферополь, а еще более в Керчь, стали селиться, строиться и со врожденною им деятельностью довольно успешно торговать. Сделавшись проезжим местом на установленном тракте из Новороссийских губерний на Кавказ, Керчь в тоже время посредством пароходства имеет морем еженедельное, регулярное сообщение с Феодосией, Ялтой, Севастополем и Одессой. Наконец, в ней местопребывание двух штабов, сухопутного и морского; один ге-

нерал-адъютант и один вице-адмирал постоянно живут в ней: первый начальствует над крепостями и войсками, расположенными по Западному берегу Черного моря; другой над военными судами, вдоль этого берега крейсирующими. Всё это я смею назвать только искусственной жизнью.

Там где восчувствуются неодолимые потребности и представляются способы в их удовлетворению, там всё совершится простым, естественным образом. Хлебородные губернии Курская, Харьковская, Воронежская, Екатеринославская давно искали дешевлешего, кратчайшего, легчайшего пути для отвоза своих произведений и отправления их за море. Ни Таганрог, ни Керчь им таких удобств, какие найдены ими на Бердянской косе и пристани не представляют. Без всякой помощи от казны, сначала даже без всякого поощрения, стал подыматься город Бердянск, о котором в мое время и помину не было. Я все мечтал о каботажном плавании, которое Керчи должно было доставлять продукты наших внутренних губерний; если б могло мне придти на мысль сие неизвестное тогда ме-

сто, я бы призадумался, и надежды мои ослабели б. Как новый памятник его управления, Воронцов сильно покровительствует Бердянску, не замечая, что он будущая гибель его любезной Керчи.

И что с нею будет, когда могучая рука Воронцова от неё отодвинется, когда он сам отыдет на покой или в вечность? Доселе единственно была она поддерживаема счастливыми для неё случаями; собственною жизнью, кажется, ей не жить.

Все эти поименованные города, Бердянск, Керчь, Феодосия могут процветать, не делая ни малейшего подрыва Одессе; разве только одна Феодосия, если она воскреснет, и то не в торговом, а в общежительном отношении, может с нею удачно посоперничать. Жаль, что добраться до неё так трудно, впрочем, как говорить в настоящее время о затруднениях, когда при помощи новых изобретений так много препятствий устраняется, когда действие пароходов с моря перенесено на сухие пути и их сокращает? Носятся слухи, что затевают железную дорогу из Петербурга в Москву. Уверяли меня, что англичане предлагали

правительству также на свой счет устроить железную дорогу в Феодосию и что им будто бы отказано. Там где есть выгоды, эти люди ведут самый верный расчёт и на них в этом случае положиться можно.

Лишь только про себя начал я прилежно рассматривать вопрос о сей новой дороге, как тысячу убеждений в пользу проекта об ней появилось мне. Если проводить ее через узенькой Гениченской пролив и натуральное шоссе Арабатской стрелки, то наперед пройдет она чрез большую, гладкую степь, на которой не встретит она ни горы, которую надлежало бы ей или огибать или прорезывать, ни широкой реки, чрез кою пришлось бы делать мост, что чрезвычайно уменьшит расходы на её построение. По ней для отправления за границу во множестве будет доставляемо в Феодосию всё то, в чём она для торговли нуждалась. Но чем же взамен будет она снабжать Россию? Предметов для вывоза так много, что вдруг их исчислить нельзя. Во первых, столовое вино. Отрасль сию насадил, возрастил и довел до возможного совершенства Воронцов, за что, по всей справедливости, вечная ему

благодарность. До него не слыхивали о Крымском вине, ныне во всех губерниях, до самой Москвы, оно вошло во всеобщее употребление; оттого и цены на него слишком поднялись, тогда как на месте от соревнования они чрезвычайно упали; удобное и дешевое сообщение установит равновесие между ими. И чем не богат чудный вертоград, называемый Южным Крымом? Сочными грушами, гораздо лучше всех французских, крупными абрикосами, фигами, гранатами, миндалем и, наконец, сотнею сортов душистого винограда. Жалко видеть при наступлении осени высокие груды сих садовых и лесных произрастений на базарах не раскупленными, хотя отдают их почти задаром. Если б (это одно только предположение) железная дорога проведена была из Петербурга до Феодосии, тогда эти плоды во всей свежести своей через трое суток являлись бы на столах первых столичных гастрономов. Из чего разводить теперь плодовые сады, разве для собственного удовольствия; тогда сделавшись источником великих доходов для владельцев, они всюду будут размножаться. Нужда, наконец, научила Крым-

ских жителей делать то, чего они прежде не умели, сушить фрукты, готовить изюм, инжир и шепталу, лакомства любимые англичанами и нашим средним состоянием, которые доселе из дальних стран привозились на Петербургскую биржу и Макарьевскую ярмарку, а мы можем иметь их дома. Вот великая важность, скажут иные, фрукты! Да разве Мальта и большая часть Португалии не живут апельсинами?

В Крыму русские варвары начали сажать тутовые деревья и весьма успешно разводить шелководство по примеру варвара Реброва, который сим промыслом на Кавказе нажил миллионы. Также во множестве начали они сеять табак; я в этом деле не судья, но любители уверяют, что он вроде турецкого, если еще не лучше. Самая безобразная часть Крыма — степная, приносит великую пользу: она с овец доставляет мягкую шерсть и Крымские тулупы столь известные. Я не говорю уже о Крымских яблоках, о диких каштанах, о грецких орехах, которые там почитаются за ничто, ни об ореховом дереве, которым, если оно будет вывозимо для мебели, перестанут

топить печи. Паровозы, кажется, с порядочным грузом могут отправляться в обратный путь.

На самой дороге находятся соляные озера Генические и Перекопские; с них будет увозима соль, предмет отменно важный. Далее дорога идет через три уезда Екатеринославской губернии, где недавно открыт каменный уголь; говорят, его такое обилие, что разве в тысячу лет он истощится. Какая находка! Паровозство снабжать им будет все наши безлесные губернии. И при всех явных сих выгодах, одобрение и исполнение проекта встретило уже и будет встречать величайшие затруднения. Воронцов раз осудил Феодосию на смерть и никогда приговора своего не отменит. Завистливые одесситы будут всячески интриговать, чтобы никакое место в Новороссийском краю не сравнялось с их великим градом.

Чего желает Одесса? Чтобы к ней проведена была железная дорога и чтобы сие сделано было на казенный счет; ни один из её богатых негоциантов не будет рисковать малейшим капиталом для сего предприятия. Ныне

имеет она прямое сообщение со всей Европой: пароходы из неё, пройдя небольшой угол Черного моря, вступают в устье Дуная, плывут до Галаца и потом вверх по реке поднимаются прямо до Вены. Из соседних губерний получает она в избытке всё то, что требуется для заграничной торговли. Может ли положение быть счастливее и какие неблагоприятные обстоятельства могут изменить его? Но за то какую великую пользу Россия получает от неё? Польские помещики из Западных губерний, постоянно ей враждебные, летом сами привозят пшеницу для продажи, но с вырученными деньгами редко возвращаются домой: подобно нашим иным подгородным крестьянам, они всё на месте пропивают и проигрывают шулерам, во множестве собирающимся, по большей части иностранным. Благодатный край, где эти иноверные владеют православными мужиками, ничего не выигрывает; ни собственное их благосостояние, ни благосостояние жителей не умножается от высоких цен на хлеб. Вообще, что сама Одесса может доставить России? И что могут производить её сухие, обгорелые окрестности?

Правда, благодаря порто-франко, который не что иное как постоянная, хорошо устроенная контрабанда[82], из неё во множестве вывозятся иностранные ткани и так называемые галантерейные вещи. А что это такое? Всё то что выходит из моды, всё то что не сходит с рук, всякую обороть, Париж для продажи отправляет в Марсель, а там нераспроданное идет к нам в Одессу, откуда перескакивает в наши Юго-западные губернии. Между тем, к сожалению, всё свежее, лучшее привозится в Петербург, в Рижской порт и провозится через всю сухую границу; там по крайней мере оплачивается она таможенными пошлинами.

Кто более всех извлекает пользу из одесской торговли? Во-первых французы, Рубо и другие; все они, как волки в лес, смотрят во Францию; по примеру многих других отбывших своих соотечественников, они непременно переведут туда огромные капиталы, у нас нажитые. Потом греки; у них также есть теперь отечество, куда отплывут их богатства. Наконец жида, которые под особенным, даже пристрастным, покровительством главного местного начальства размножаются и богате-

ют. Вот эти нам останутся. По дошедшим до меня сведениям, они уже и теперь преследуют и безнаказанно обижают людей всех других наций. Говорят, им будет велено наряжаться в европейское платье; жаль, право, если это случится. Тогда-то они завеличатся перед нашими брадатými мужичками, которые доселе с презрением смотрели на их ермолки, фески и черное платье, а тогда увидят в них господ. Если всё так продлится, как мне сказывали, то без сомнения евреи, наконец, выживут христиан и совершенно овладеют Одессой. Может быть, запретят они церкви, или будут пускать в них за деньги, или обратят их в синагоги; кто знает, может быть, они взбунтуются и выберут себе в короли, кого? Одного ли из Ротшильдов или.... больно для сердца моего вымолвить это имя. И Одесса ожидает еще новых поощрений от правительства! О, она твердо полагается на то чего нет, на его безрассудность!

То ли дело Феодосия! Вот это был бы русский, наш собственный порт. И об одной ли Феодосии идет дело? О благосостоянии целого полуострова. Весьма справедливо он назван

садом России, и для прогулок в него из Одессы заведено пароходство. Но зачем же только гулять в нём? Зачем же не селиться? А возможно ли? И что для того сделано? Я помню, как покойный начальник мой Бетанкур, в 1820 году, после поездки своей по всей России, с досадой говорил мне о южном Крымском берегу. «Всё природа, да природа, говорил он, а нигде не видать следов рук человеческих». Теперь бы он того не сказал, когда на каждом шагу встречаются действия трудов людских, за то не увидел бы лица человеческого. Воронцов с большими издержками на высоте построил шоссе, но только по одному направлению. Он умел заманивать туда и царя, и царицу, и многих богатых вельмож, которые настроили там виллы, дворцы, замки и завели прекрасные сады. Но один придворный воздух им кажется теплым и здоровым, и едва ли они в них заглядывали. И подлинно, кому охота как дикой козе карабкаться со скалы на скалу, особенно женщинам, которые, как дамы средних веков, не иначе как на палефруа могут посещать самых ближних соседок? Конечно это может иметь свои приятности вес-

ной, летом и осенью; но зимой, когда прекращаются сообщения морем, а часто и через горы, когда раздувшиеся водопады уносят мосты и обнаруживается совершенный недостаток в самых простых местных припасах: тогда житье там становится невыносимо. А зимой-то именно Юг бывает приятен, и туда врачи отправляют слабых здоровьем. Люди, рассеянные летом, обыкновенно на зиму собираются в одно место, в котором приятно могли бы провести время, найти все удобства образованной жизни. Где такое место в Крыму? Его надобно приискать; оно даже и найдено, но находится не в том виде и состоянии, в котором надлежало бы ему быть.

Феодосия представляет всевозможные выгоды для учреждения в ней большего портового и общежительного города. Также как южный берег, коему служит она заключением, от северных ветров защищается она высокой горой, а к Керчи идут от неё цветущие холмы и долины. Местоположение прекрасное и удовлетворяет все вкусы; любители гор могут лазить по ним и, пожалуй, созидать на них замки; те которые предпочитают разъез-

жать в экипажах или спокойно прогуливаться пешком могут делать сие без всяких затруднений. Когда Керченский пролив и Одесский порт в продолжении нескольких недель замерзают, на чудесном Феодосийском рейде не показывается ни одна льдинка. Она имеет форму подковы, коей оконечности близко сходятся, и так глубока, что корабли могут подходить к самым домам, тогда как в Керчи, также как и в Одессе, гавань устроена посредством молов.

Мы видели, как люди умные, достаточные, образованные, по службе, по необходимости или случайно в Одессе на зиму собравшиеся, умели жизнь в ней сделать приятною и веселою; в Одессе; где и зимой так печален, так грустен взгляд на снегом не покрытую, тощую, почерневшую землю, на деревья, коегде торчащие, полумертвые недоростки, никогда пятнадцатилетнего возраста не достигающие, где никогда не знают тени. Общество в ней меняется каждую зиму: это волшебный фонарь, в котором то светлеет, то становится мрачно. Из людей хорошего общества кто не посещал Одессу, и многие ли из них остава-

лись в ней?

Гораздо южнее, Феодосия имеет перед ней преимущество более теплого климата и роскошной природы, ее окружающей. Она в одно время может сделаться нашей Марселью и нашей Ниццей, и сотни тысяч, вашими земляками там проживаемые, будут в ней издерживаться и оставаться дома; в Одессе этому никогда не бывать. Тогда и Южный берег внезапно оживится, когда из Феодосии на пароходах в пять или в шесть часов можно будет поспевать в Ялту, когда менее смелые будут проезжать по прекрасной дороге усеянной дачами и садами, с одной стороны до Севастополя, с другой, до Керчи. И на сей последней отразился бы блеск её; она жила бы её жизнью, гораздо вернее, чем собственной своей мнимой торговлей[83]. Великолепные построения на Южном берегу, которые ныне владельцы готовы отдавать задаром, возвысятся в цене или, по крайней мере, на лето будут дорого отдаваться в наймы.

С Европой у нас сообщений бездна, в том числе и Одесса; с Азией они более или менее затруднительны, и как на сей предмет не об-

ратить внимания? Когда не было еще пароходства, я помню, как к Керченской пристани менее чем в двое суток приходили суда из Синопа и Трeбизонда. В последнем из сих городов находится богатая английская контора, тайно снабжающая товарами и наш Закавказский край. Кому неизвестно, что Англия совершенно убила промышленность в Малой Азии, заменив ее изделия собственными, сначала более дешевыми? Удобное и дешевое сообщение подало бы, может быть, нашему Московскому предприимчивому и изворотливому купечеству мысль сделать также наперед пожертвования, дабы подорвать там английское торговое господство; мы видели, как в подобном случае оно успешно действовало в Крыму. Еще одно обстоятельство, которое доселе осталось незамеченным: на Черном море есть, не знаю, водовороты ли или места, подверженные особенно сильному дуновению ветров, которые мореплаватели на пути из Константинополя в Одессу и обратно стараются избегать и для того подвигаются к самой Феодосии; меня уверяли, что несоблюдение этого объезда самого Государя дней де-

сять на море продержало.

Но довольно. Для кого и для чего я всё это пишу? Кто будет слушать меня, кто будет меня читать? Но пускай никто; по крайней мере, довольно с меня и того, что бескорыстными моими желаниями блага моему отечеству потешил я свое воображение. Громкий, всеобщий голос истины по сему предмету непременно когда-нибудь услышит правительство; дай Бог, чтобы это было скорее!

Х

Под Тулою. — Москва в 1828 году. — Английский клуб. — Князь Д. В. Голицын.

Часу в двенадцатом поутру 29 мая оставил я Одессу. Я не поехал, а полетел из неё, ибо, против обыкновения моего, серед ночи переменив только лошадей в Николаеве, на другой день, 30-го числа, был уже я от неё за триста верст, в Елисаветграде. После довольно знойного дня наступил прохладный, тихий вечер; после утомительных для зрения степей увидел я большие сады, обширностью своею похожие на рощи. Ими окружен весь

город, и это расположило меня остановиться на ночь и приятным образом подышать в нём.

На следующее утро, 31-го, проехал я к военным поселениям принадлежащее, величиной своей примечательное местечко Петриковку, которому недавно пожалован какой-то новый титул. Около обеденного времени, между последним новороссийским городком Крюковым и первым малороссийским городом Кременчугом переехал я на пароме разделяющий их, часто упоминаемый Днепр. На берегу встретил я ожидающихся переправы башкир, которых из Оренбургской губернии вели в Турцию на убийство или на убой. Кременчуг показался мне лучше многих губернских городов, пользующихся честью сего названия. Когда он был пограничным городом, говорят, был он гораздо многолюднее; но он снабдил первоначальным населением весь Новороссийский край. В нём нашёл я хороший трактир и хороший обед. От него проезжая малороссийскими селениями, не мог налюбоваться ими. Все они занимают большое пространство, наполненное садами, и имеют вид роц,

сквозь деревья коих белеются хаты. Ночевать приехал я в Решетиловку, богатое имение, принадлежавшее Василью Степановичу Попову, и у одного из поселян нашел ночлег, который желательно бы было везде находить даже за границей.

Рано по утру, 1-го июня, приехал я в Полтаву и пробыл в ней целые сутки. Подъезжая в ней, от невежественного ямщика тщетно требовал я указания места, где происходила наша знаменитая битва. Вероятно, славное воспоминание о сей победе заставило при Александре избрать местом главного управления сей малый город. Также как Симферополь, он делится надвое, на старый и на новый; в первой я не заглядывал, в последнем остановился. Широкие в нём, правильные улицы, обставленные низенькими домиками, с большими между ними разрывами, ведут к круглому, обширному полю, названному городской площадью; вокруг него подымаются высокие, казенные, каменные строения, а в самой середине стоит также очень высокий памятник Петру Великому. Пустота этой площади, на краю города находящейся, показалась,

наконец, ужасною, и чтобы наполнить ее, насадили по четырем углам её четыре сада или сквера. Город этот был тогда еще весьма небогат; в нём не было ни одной гостиницы, а низенький деревянный какой-то заезжий дом, в котором тот день кроме меня не было ни одного проезжающего. Я занял две маленькие выбеленные комнатки и должен был довольствоваться плохой пищей. После обеда пошел я гулять в большой, прекрасный сад, казенный или общественный, который спускается по горе до живописной речки Ворсклы. Поблизости от него находились два довольно красивые строения, Институт Благородных Девиц и собственный дом попечительницы его, жены генерал-губернатора князя Репнина; жаль только, что всё это запрятано в угол, который из путешественников, подобно мне, редко кем посещается.

Начиная с Полтавы, я намерен был останавливаться во всяком губернском городе, дабы дать себе о нём некоторое понятие. Во всех находившихся у меня по дороге неоднократно бывал я, почти не видав их.

В первый из них, мне уже несколько зна-

комый Харьков, приехал я 8-го июня. В нём не нашел я ни одного из моих прошлогодних знакомых; не мог даже остановиться в знакомой мне гостинице Матускова, а в каком-то вновь заведенном трактире. Приятно было смотреть на Харьков, который, видимо, рос. Прогуливаясь по его улицам, тогда уже не грязным, видел я множество новых каменных домов; одни из них начинали отделывать, другие были только что выстроены, а иные еще строились. С удовольствием посетил я университетский сад, с длинными, прямыми, густыми аллеями, который на конце Сумской улицы, почти вне города, служит местом общественных прогулок. На краю его была открытая беседка, откуда очень хороший вид на кварталы и сады, находящиеся за речкой Лопанью.

Остановившись в Белгороде и в Обояни только для прокормления своего и 6-го числа приехав в Курск, пристал я в великолепной тогда гостинице Полторацкого. Я не знаю, что бы стал я делать вечером в Курске, где у меня тогда не было ни одного знакомого, если б пожеланиями бывшего губернатора Кожухова,

безжалостно отставленного, у выезда из города не был насажен славный сад при строениях, принадлежащих Приказу Общественного Призрения. Туда я поспешил и приятным образом нагулялся. Он был устроен в угождение императору Александру, который так любил природу и который, проезжая через губернские города, почти в каждом приказывал заводить летние публичные гульбища, и таким образом оставлял в них благодетельные следы своего присутствия.

Тоже самое нашел я и в Орле, куда приехал 8-го поутру. По воле покойного, большое пространство было засажено молодыми деревьями, не успевшими еще много подняться на крутом берегу, где Орлик впадает в Оку. Теперь, говорят, он разросся и служит большим украшением городу, который после пожаров хорошо выстроился.

Во Мценске должен был я остановиться против воли. В рессорах и колесах моей каретки оказалось довольно сильное повреждение, починка их замедлила довольно успешную дотоле езду мою, так что я поспел в Тулу только 11-го числа в полдень.

На всём пространстве, которое проехал я, начиная от самой Одессы, Тула есть первый старинный губернский город, напоминающий времена еще татарские, за то и первый, в котором не нашел я бульвара или сада для общественных прогулок. Я нашел в нём небольшой, зубчатый кремль, а посреди его древний, довольно просторный собор, и поспешил посетить их. Также пожелал я видеть известный оружейный завод. Какой-то чиновник взялся быть моим проводником и безжалостно во всех подробностях показывал мне производство работ, отчего утомленный вечером я воротился в свою гостиницу. Там сказали мне, что семейство бывшего губернатора Тухачевского живет в трех верстах от Тулы, в селении своем Архангельском, на большой Московской дороге, и я счел приятною обязанностью на другой день навестить его. К тому же мне показалось кстати памятный день рождения отца моего 12 июня провести в кругу родственников.

Селенье Архангельское, из 150 душ состоящее, в версте от большой дороги и в трех от Тулы, при больших долгах было тогда, как

и прежде, единственным достоянием супругов Тухачевских. А всё в нём было на барскую руку: огромный двухэтажный дом с большими флигелями, довольно богатая по тогдашнему времени отделка его и сад, идущий вниз по горе до широкого пруда. Но в нём с двухлетнего возраста воспитывался Киреевский, владелец пяти тысяч душ, коего Тухачевский был опекуном; следственно на счет первого всё это и было сооружаемо. Говорили, что прежде гремел тут оркестр из крепостных людей и живало несколько разного рода иностранцев и шутов. Недовольный своим опекуном, Киреевский однако нежно любил тетку, жену его. Дабы в будущем обеспечить её содержание, он взял себе Архангельское, требующее издержек, а взамен принял на себя все долги семейства и дал ей имение в Орловской губернии с равным числом душ, но приносящее большой доход. И туда она собиралась уже отправиться.

Одни слуги были на ногах, а господа только что вставали с постели, когда рано поутру приехал я в Архангельское. Меня встретила в гостиную домашняя шутиха, прозванная Ма-

рухой, остаток прежнего боярского житья; я принял ее за путную и начал было серьезно с нею разговаривать. Вскоре однако явилась сама Надежда Александровна с радостным восклицанием: ah, mon cousin! Я говорил уже о её слабости, о пристрастии к иностранному и в особенности к французскому языку, который она знала довольно плохо. К её несчастью и к несчастью её семейства, мамзель Питон, низенькая, сухощавая и, как мне казалось, ядом налитая француженка вселилась к ней в дом и в душу. Она давала направление всем её действиям и воспитанию её детей, имея осторожность не мешаться в дела самого хозяина, который имел своего особого рода забавы. Он был старинного покроя помещик и чванный хлебосол, который в это время, несчастный, всё еще находился в Петербурге под судом. Два сына были в военной службе, а единственная дочь Кусова жила в Москве. Итак, с моей кузиной были только её золовки, Ольга и Пелагея Сергеевны, пожилые провинциальные девы, меня в прошлом году угощавшие, совершенный контраст с Питоншей, и в горе и в радости не отступавшей от владения свое-

го г-жей Тухачевской.

Разговоры о всякой всячине, воспомина- ния о былом дали мне нескучно провести этот день. Присутствие Питонши одно мне не совсем было приятно, хотя она и старалась быть со мной отменно вежлива. Еще одно по- разило меня неприятным образом. Мать вла- делицы Архангельского, Киреевская жила тут долго с нею и с малолетним внуком и своим большим состоянием умножала ей средства жить роскошно. Сказывали, что она была рус- ская барыня прежнего века, со старинными навыками в пище и одежде, едва умевшая подписывать свое имя. Она жила, жила и умерла; а как другой церкви не было кроме домово́й в маленькой комнатке господского дома, то ее и похоронили в саду. Мне показа- ли низенький над нею памятник, окружен- ный цветами с французскою надписью. Это я нашел слишком противным здравому смыслу и религии нашей.

Пагубным следствием этой галломании была низкая доля, постигшая бедную Кусову. Злодейка Питон старалась всё более и более умножить в ней отвращение от богатого дома

Кусовых и особенно от мужа её. Так длилось восемь лет, пока это отвращение не превратилось в нервическую болезнь, от которой вылечить мать повезла ее в Москву. Там она мало показывалась в обществе, которому могла бы служить украшением, а более жила в кругу модных торговек Кузнецкого моста, куда ввел ее злой гений её семейства. Наконец, явился магнетизёр Делоне, который взялся ее совершенно исцелить. Он был каким-то лекарем, офицером здравия, *officier de santé* в Наполеоновой армии и взят военнопленным в Москве. В ней он и остался и хотя не прослыл знаменитым врачом, приобрел однако же изрядную практику. Я его видел гораздо позже; мужик был он дюжий, смелый, со всеми грубыми манерами Наполеоновской солдатчины. Магнетизм имел плодотворное влияние на Кусову: от незаконного сожития её с Делоне народилось шесть человек детей обоего пола. Разумеется, ей никуда нельзя было показываться в свет, а мать принуждена была смотреть на то снисходительно, ибо Делоне был француз. Я часто смотрю с удивлением, видя у нас так много дам и девиц, сохраняю-

щих чистоту нравов, когда родители берут к ним в гувернантки первую попавшуюся француженку.

Распростившись с вечера и вставши на другой день со светом, я прибыл благополучно в Москву 14 июня, часу в десятом утра.

Но в ней не всё нашел я благополучным. Дом зятя и сестры моих, где я остановился, был еще гораздо мрачнее и печальнее чем тогда, как в предшествующем году я его оставил. В марте месяце генерал Алексеев вторично получил сильный апоплексический удар, от которого лишился он почти языка, памяти и не владел одной рукой и ногой. Одной улыбкой выразил он удовольствие меня видеть; слова с трудом выходили из уст его, зато обильны были слёзы, которые потекли у него из глаз. Их не было у сестры моей; казалось, источник их иссяк, не было ни вздохов, ни рыданий; все мучения скрывались в груди её; только в образной облегчала она их молитвами. О вера! Ты одна можешь подать такую силу страждущим. Для этой бедной женщины полна была чаша горестей. Дела были в совершенном расстройстве, и надлежало

скрывать сие положение от больного, в котором оставалось довольно памяти, чтобы скоро заметить совершенную перемену в образе жизни. Меньшой сын её, как милость, подучил дозволение выйти в отставку и находился при ней. А старший, её любимец, находился в армейском полку, от которого не мог отлучаться, и неизвестно было, чем и когда кончится его незаслуженное наказание. О Бенкендорф!

Всё еще надеясь получить приличное содержание от казны, я решился остаться с нею, чтобы разделять её горести и недостатки. О немилостивом решении, по моей просьбе, узнал я только в конце июля, и тогда уже осталось мне единственным средством отправиться в Пензу и зарыться там в деревне. Была еще другая причина, остановившая меня тогда в Москве.

Мне повторяли врачи и в Петербурге, и на Юге, что мне необходимо пользоваться Мариенбадскими минеральными водами, и для того посылали за границу; а с чѐм бы я туда отправился? Старый и знаменитый Лодер с помощью молодого доктора Ёнихена завел пер-

вые в России искусственные минеральные воды. Они только что были открыты над Москвой рекой, близ Крымского брода, в переулке, в обширном доме с двумя вновь пристроенными галереями и садом. Как же мне было не воспользоваться сим случаем? Всякой день рано по утру ходил я пешком со Старой Конюшенной на Остоженку. Движение, благорастворенный утренний воздух, гремящая музыка и веселые толпы гуляющих больных (из коих на две трети было здоровых), разгоняя мрачные мысли, нравственно врачевали меня не менее чем Мариенбадская вода, коей я упивался. Знакомств, разговоров я избегал и довольствовался беседой любезного старика Кристина, который почти всегда бывал здоров, а тут лечился, кажется, от неизлечимой болезни, от старости. Новизна, мода обыкновенно влекут праздное Московское общество, как сильное движение воздуха всё гонит его к одному предмету. Потому-то сие новое заведение сделалось одним из его увеселительных мест.

Было еще и другое, куда также отправлялся я по воскресным дням. Место за тремя гора-

ми, принадлежавшее графу Толстому, прозванное Трехгорным, было им передано зятю его новому министру внутренних дел Закревскому, который приказал открыть его для публики. Слово загородный дом состарилось для москвичей, его начало заменять слово дача. Вот, кажется, от чего, дача Закревского, во что переименовали Трехгорное, как бы волшебством всех привлекала. Все другие гульбища брошены, опустели. Новый владелец действительно хорошо изукрасил сие место. От больших ворот шла прямая, широкая и длинная аллея для экипажей, с двумя боковыми узкими для пешеходцев, до главного дома над самой рекой» С обеих сторон сих аллей было по три острова, четверугольных, равной величины, разделенных между собою вновь прокопанными канавами, наполненными тогда еще чистой, проточной водой и соединенных деревянными мостиками. Каждый из сих островов был посвящен памяти одного из героев, под начальством которых Закревской находился: Каменского, Барклая, Волконского и других. На каждом посреди густоты деревьев находился или храмик или

памятник сказанным воинам: необыкновенная, нового рода правильность, напоминающая нечто фрунтовое. Самая чистота, в которой всё это было содержимо, как бы заимствована была у Аракчеевских военных поселений. Недолго сия дача была в славе у москвичей. Она продана и ныне под названием уже Студенец принадлежит Обществу Садоводства, которое мало заботится о порядке и чистоте. А как место низкое, сырое и болотистое, то оно и находится в отвратительном запущении.

Раз случилось мне быть и на даче одного г. Ошанина, находившейся неподалеку от сгоревшего и вновь еще не исправленного Петровского дворца, а ныне попавшей в состав разведенного после Петровского парка. Из неё подымались воздушные шары, только без людей, от чего стечение народа бывало превеликое. Но лучшее общество, и особенно дамы, туда не ездило, гнушаясь хозяином, который слыл презреннейшим негодяем.

Обе столицы с каждым годом всё более и более пустеют летом. Потребность чистого воздуха становится всё ощутительнее, и все

разъезжаются по деревням и по дачам. Чтобы кого либо увидеть, с кем-нибудь встретиться, надобно ехать в Английской клуб, учрежденный по примеру Петербургского, кажется, в 1805 году. Во время многократных проездов моих через Москву, не более одного или двух раз удалось мне быть в этом клубе. В этот же приезд я сделался довольно частым его посетителем, благодаря совсем не заслуженной мною благосклонности некоторых членов, которые каждый день записывали меня гостем. Может быть, а этим обязан был званию приезжего, которых так охотно заманивают туда, как всякую новость.

Московской Английской клуб есть место прелюбопытное для наблюдателя. Он есть представитель большей части Московского общества, вкратце верное его изображение, его эссенция. Записные игроки суть корень клуба: они дают пищу его существованию, прочие же члены служат только для его красоты, для его блеска. Почти все они люди достаточные, старые или молодые помещики, живущие в независимости, в беспечности, в бездействии; они не терпят никакого стеснения,

не умеют ни к чему себя приневолить, даже к соблюдению самых простых, обыкновенных правил общежития. Член Московского Английского клуба! О это существо совсем особого рода, не имеющее подобного ни в России, ни в других землях. Главною, отличительною чертою его характера есть уверенность в своем всеведении. Он с важностью будет рассуждать о предметах вовсе ему чуждых, незнакомых, без опасения выказать всё свое невежество. Он горячо станет спорить со врачом о медицине, с артистом о музыке, живописи, ваянии, с ученым о науке, которую тот преподает и так далее. Я почитаю это не столько следствием невежества, как весьма необдуманного самолюбия. Выслушав вас не совсем терпеливо, согласиться с вами значило бы в чём-нибудь да признать перед собою ваше превосходство. Эти оспаривания сопровождались всегда не весьма вежливыми выражениями. «Нет, воля ваша, это неправда, это быть не может, ну кто этому поверит?» так говорилось с людьми мало знакомыми, а с короткими: «ну полно, братец, всё врешь; скажи просто, что солгал». Удивительно, как всё это об-

ходилось миролюбиво, без всякой взаимной досады. Не нравилось мне, что эти господа трунят друг над другом; пусть бы на счет преклонности лет, а то на счет наружных, телесных недостатков и недостатков Фортуны; это казалось мне уже бесчеловечно. Не доказыва-ется ли тем, что наше общество было еще в детстве? Дети всегда безжалостны, ибо не испытали еще сильной боли; мальчики в кадетских корпусах, в пенсиях точно также обходятся между собою. Хотя я не достиг тогда старости, хотя не был еще и близок к ней, мне не нравилось также совершенное равенство, которое царствовало в клубе между стариками и молодыми. Но не то ли же самое мы видим в простонародии? Так обходятся молодые парни с дядей Феодотом, с дядей Парфеном, говорят им ты, а слушаются их, и даже с дедушкой Антипом, который, когда ему вздумается прикрикнуть, заставит всех замолчать. Время мало что изменило в рассказанном мною, донныне всё осталось почти по прежнему. Причиной Европа, у которой так стараемся мы всё перенимать: она также освобождается от всяких уз, как в общественной жизни,

так и в словесности, и быстрыми шагами идет к варварству, из которого только что мы стали выступать. Вот мы и встретились.

Вестовщики, едуны составляли замечательнейшую, интереснейшую часть клубного сословия. Первые ежедневно угощали самыми неправдоподобными известиями, и им верили, их слушали, тогда как истина, всё дельное, рассудительное отвергалось с презрением. Последние были законодателями вкуса в отношении к кушанью и были весьма полезны: образованные ими преемники их превзошли, и стол в Английском клубе доднесь остался отличным. Что касается до прочих, то право лучше бы было их не слушать. Что за нелепости, что за сплетни! Шумим, братец, шумим, как сказано в комедии Грибоедова. Некоторые берутся толковать о делах политики, и им весьма удобно почерпать об ней сведения: в газетной комнате лежат на столе все дозволенные газеты и журналы русские и иностранные; в нее не часто заглядывают, а когда кому вздумается присесть да почитать, то обыкновенно военные приказы о производстве или объявления о продаже просро-

ченных имений. Был один такой барин-чудак, который в ведомостях искал одни объявления об отдаче в услуги, то есть о продаже крепостных девок, как за ним подметил один любопытствующий. Самый оппозиционный дух, который тут находим, совсем не опасен для правительства: он, как и всё прочее, не что иное как совершенный вздор. Один из наших земляков, после весьма долгого отсутствия, воротился в Россию совершенным французом[84], чем-то оскорбленный в одном из московских клубов, впоследствии размножившихся, сказал о дворянском: *c'est de la canaille proprement dite*, а про английский: *c'est de la canaille proprement mise*.

Меня можно спросить: да зачем же ты часто бывал в таком месте? Да так. Я тогда не был еще таким брюзгою как ныне: ничем не брезгал. Как голова, так и желудок мой всё переваривали. Я наслаждался в разговоре с умным и просвещенным человеком; мне бывало весело с людьми другого рода, меня забавляли их глупости, и я тайком любил над ними смеяться. За столом гастронома, после изысканных кухонных произведений, готов я

был с удовольствием хлебнуть щец из серой капусты. Увы, как это время уже далеко! В клубе никаких мнений я не предлагал, ни чьих не оспаривал, от того со всеми жил в ладу и даже имел счастье прослыть добрым и простым малым.

Да не подумают, однако же, что в клубе не было ни одного человека с примечательным умом. Напротив, их было довольно, но они посещали его реже и говорили мало. Обыкновенно их можно было находить в газетной комнате; я назову пока одного Ив. Ив. Дмитриева, не раз мною упомянутого, и похваюсь тем, что со мною бывал он многоречив. Его холодная, важная наружность придавала еще более цены его шутливости и остроумию. Кто бы мог ожидать? Как Афинские мужики Аристиды, хотели было исключить его из общества, право не помню за что; но вдруг опомнились и выбрали его почетным членом. Но он с тех пор, кажется, не являлся к ним.

Кратковременным тогда пребыванием моим в Москве воспользовался я, чтобы случайно сделать одно весьма лестное знакомство. В

заведении минеральных вод встретил я Прасковью Ивановну Мятлеву, которая приехала из Петербурга не с тем, чтобы полечиться, а чтобы погулять. Она обошлась со мной как с давнишним знакомым, узнав от меня о жалком положении сестры моей, поспешила ее навестить, а меня во временную квартиру свою пригласила на чай. Никого почти не нашел я у неё кроме начальствовавшего в Москве князя Димитрия Владимировича Голицына, её двоюродного брата, которому она меня представила. Довольно продолжительный с ним разговор меня с ним ознакомил, а он изъявил сожаление, что сие сделалось не прежде. Тогда я испросил у него дозволения к нему явиться, а он назначил мне час, в который будет совершенно свободен. Дни через три после того был я у него в кабинете. Мне показалось, что в продолжении целого часа, наедине с ним проведенного, он не почувствовал скуки; прощаясь со мной, сказал он, что, к сожалению, его княгиня Татьяна Васильевна находится в подмосковной деревне, Вязёмах, но что по возвращению её, он хочет меня ей представить. Я же был почти на отъ-

езде и отвечал, что не надеюсь скоро иметь сию честь.

Это был человек примечательный, хотя не гениальный. Он находился с матерью в Париже во время начала первой революции; как покорнейший сын, он был упитан строгими аристократическими правилами гордой княгини Натальи Петровны, а как семнадцатилетний юноша увлечен новыми идеями, которые сулили миру блаженство. Сие образовало весьма необыкновенный характер; в нём встречалось всё то, что было лучшего в рыцарстве со всем, что было хвалы достойно в республиканизме. Более чем кто был он предан, верен престолу, но никогда перед ним не пресмыкался, никому из приближенных к нему не льстил, никогда не был царедворцем, большую часть жизни провел в армии и на полях сражений добывал почести и награды. От того-то и в обхождении его была вся прелесть откровенности доброго, русского воина с любезностью, учтивостью прежних французов лучшего общества. И это была не одна наружность: под нею легко было открыть пучину добродушия. Удивительно ли,

что Москва была так долго им очарована, когда после двух свиданий я был им совершенно пленен?

К сожалению, как почти все молодые бары его времени, он плохо знал русский язык, зато очень хорошо постиг он русский дух. Он знал, что нет никакой пользы с этим народом капральничать, употреблять излишнюю строгость, действовать инквизиторально, везде совать нос свой, входить во все мелочи, мешаться даже в семейные, домашние дела, как поступал один из его преемников: бразды правления держал он твердою рукою, но несколько опустивши их. Как Екатерина, говорил он: *vivons et laissons vivre*. Он не покровительствовал порокам, во и не преследовал их; только люди, с худой стороны замеченные, какого бы чина и звания они ни были, в его общество доступа иметь не могли. Примеры жестоких наказаний у нас не столько могут людей удерживать от зла, как смешение угроз и ласки. В противном случае, дворянин как и мужик почувствует в душе какое-то ожесточение, скажет за семь бед один ответ и скоро может дойти до преступлений. Изред-

ка, и то в чрезвычайных случаях, Голицын умел показывать себя взыскательным начальником, строгим исполнителем закона. Со всеми учтивый, даже ласковый, он однако умел безобидным, неприметным образом давать чувствовать высоту своего сана. Бывало слово: «что-то скажет о том князь, как это князю будет досадно» останавливало многих.

Надобно заметить, что у нас Москва старое балованное дитя, которому необходимо давать немного проказничать, лишь бы было не совсем вредно для нравственности общественной. Независимое в ней житье составляет главную её привлекательность; она опустеет, если против её жителей будут принимаемы стеснительные меры. А при Голицыне она процветала и всё более населялась. Когда в других частях России трепетали при появлении светло-синих мундиров жандармских, он один Московскую губернию, как каменной стеной умел оградить от Бенкендорфа и его жандармерии. В ней жили также привольно, без оглядки, как бы их не существовало. Он пользовался совершенною доверенностью обоих императоров Александра и Николая,

которые не только что уважали его, но и сердечно любили, и ни одного из приближенных к ним любимцев он не боялся. Удивительное было в нём искусство без труда повелевать людьми, овладев их сердцами, искусство, ко- ему научала всё та же Екатерина и которое ныне так редко встречается. Увы, ничего нет в мире сем прочного, долговечного! с умножением лет снисходительность князя Голицына превратилась в удивительную слабость, от которой происходило множество беспорядков в его управлении Это было гораздо после, и лучше бы было здесь о том и не упоминать.

Война близ мест, в которых без малого пять лет провел я, предмет, который недавно так исключительно занимал меня, начал я терять из виду. В дали от опасностей, Московское равнодушие ко всему, что происходит на границе и за границей, мало-помалу стало и вшой овладевать. И тем лучше, ибо дела наши за Дунаем шли довольно плохо. Огромнейшие силы были двинуты с Севера на Юг, сам Император, и его брат, и его гвардия находились при войсках; Англия после Наварина отшатнулась от нас, но и не мешала нам; за

то французы нам помогали, сражаясь в Морее. Ослабленная Турция, казалось, должна была пасть; но она держалась, защищалась упорно, и мы почти не шли вперед. Мне случилось в Английском клубе спросить у кого-то, не помню, о причине сильной пушечной пальбы, которую я слышал утром. «Да как же, разве вы не знаете, — отвечал он насмешливо: — совершенно великое дело, и мы его празднуем, взяли какую то Исачку». И действительно, после двух последних побед при Лейпциге и Париже, которые мы торжествовали, этот успех не мог казаться столь важным. Я вспомнил тогда, что в 1810 году, в одном и том же донесении графа Каменского о первых действиях Задунайской армии, было сказано о занятии малых крепостей Исакчи, Тульчи и Бабадага, о взятии штурмом Базарджика и о сдаче важной крепости Силистрии; и мне стало за наших что-то стыдно. Миновав Силистрию и Шумлу всё потянулось к Варне, которую обложили с моря и с твердой земли. Осадным войском начальствовал князь Меншиков, но ему прострелили ногу; тогда на его место из Одессы был призван

граф Воронцов. Всё лето провозились с этой Варной и только в начале октября успели войти в нее. Тем и кончилась кампания.

Неуспехи этой кампании были для всей России загадкой, которая объяснилась следующею зимой. Главнокомандующий армией был фельдмаршал Витгенштейн, прославившийся в 1812 году, а после доказавший, сколь малы были его военные способности. Зато никто не слушался его. Главным же распорядителем был начальник императорского штаба, кипучий генерал Дибич, которого наши солдаты прозвали самовар-пашой. Голова его полна была стратегических идей, но как от того распоряжения его беспрестанно противоречили одно другому, то тем и умножалось неустройство. Подвоз съестных и других припасов был медлен и совершенно неисправен. Губительные молдавские лихорадки свирепствовали в войске и в сутки сотнями валили людей. Во многих местах показалась и чума. При столь неблагоприятных обстоятельствах, всякая другая армия, состоящая не из русских солдат и не с турками имеющая дело, непременно была бы истреблена.

Вот и для меня пришла пора собираться в поход, отправляться на всегдашнее жительство в неизбежную Пензу, места печальной родины моей, как говорит стих Пушкина. Лучше бы, подумал я, отправиться мне куда-нибудь на вечное жилище: там по крайней мере, под землю, мог бы я оставаться совершенно спокоен. Только к концу июля удостоверился я, что мне решительно отказано в щедротах царских, и намеревался выехать тотчас после Успеньева дня; но сестра уговорила меня провести с ней день её именин, 26 августа, и я только 28-го августа оставил Москву.

Поездка в Пензу. — Одряхление матери.

В ночи с 4-го на 5-е сентября я остановился на станции Кутле, в пятидесяти верстах от Пензы, во вновь построенном, весьма поместительном и порядочно прибранном почтовом доме. Мне стало грустно, когда рано поутру выглянул я из окна: от первого утреннего мороза побелели все крыши. Но по мере приближения к Пензе, воздух совершенно разогревался, и мне на душе стало невеселее: я думал о моем семействе и об удовольствии, которое приезд мой принесет, между прочими, старшей сестре моей Елисавете, в тот день имениннице.

Подымаясь по горе Лекарскою улицей и приближаясь к низенькому на ней дому нашему, я вышел из каретки и пошел пешком.

У растворенного окна увидел я сидящую мать мою, которая любовалась ярким солнцем, не обращая внимания на проходящих, и оттого или не узнала меня, или не заметила. Через ворота вошел я на двор и велел позвать

сестру; она бросилась меня обнимать, а потом пошла предупредительно обо мне докладывать. Предосторожности напрасные! Как радость, так и печаль только скользят по сердцу старцев: ту и другую сильно чувствовать они уже не в состоянии. Конечно, мать моя была растрогана моим приездом, обрадовалась, а во мне умножилась печаль, смотря на признаки разрушения, обозначенные на её лице. Ей был семьдесят седьмой год от роду, а казалось лет девяносто.

В нраве её последовали также большие изменения. Она сохраняла твердость воли, по-прежнему оставалась главой своего семейства и дома; но прежде светлый рассудок её не допускал ни до каких излишних, несправедливых требований, а тут летами, болезнями и душевными страданиями он был обессилен, и они породили в ней своенравие и прихоти почти детские, с коими сообразоваться, кои удовлетворять было весьма трудно.

Старшая сестра с удивительным самоотвержением посвящала ей всё свое существование, была при ней безотлучно и жила только её жизнью. Ей было гораздо за пятьдесят, а

она всё называлась Лизанькой и находилась, как говорится, на побегушках. Ею распоряжались, ее бранили, как девочку. Но иногда старушка-мать, взяв ее обеими руками за голову, говорила: «сокровище мое, подпора ты моя, что бы я была без тебя в моей слабости?»

Одною из главных причин мрачности духа моей матери было расстроенное положение её хозяйственных дел. В 1820 году не было у неё ни одной копейки долга, а тут не было ни одной принадлежащей ей крестьянской души, которая не была бы заложена. Как это случилось? Брату, когда он женился, необходимо было к приданой жены его деревне прикупить душ полтора. Денег у него не было, он заложил собственную и уговорил родительницу также заложить и часть её имения. Проценты в казну выплачивал он сам, а долгой капитал пока лежал на ней. К тому же есть слабости весьма извинительные в женщинах добродетельных: их тщеславие имеет предметом не себя, а мужа и детей. Мать наша желала, чтобы фамильное имя вечно любимого, незабвенного супруга было прославлено сыном и внуком, носящими сверх того

имя его, при крещении им данное. Для того ничего не щадила она, чтоб одного поддержать на губернаторстве, как думала она, а другого в звании офицера гвардии; то и другое по старинным понятиям её было очень важно. Между тем были и неурожайные годы; да и умственные силы её несколько слабели, а она хотела сама одна управлять своими делами и принуждена была прибегать к займам. И вдруг, тот и другой остановились на поприще: один в зрелых летах, другой в первой молодости.

Я всегда был любимым её сыном; нежность её во мне не уменьшилась, за то её требования увеличились до чрезмерности. Живши с нею, когда был гораздо моложе, я пользовался совершенною свободой в поступках; тут же без спроса не смел я отлучиться со двора. Я мог посещать только тех, кои были ей угодны. Когда для поддержания здоровья ходил я прогуливаться пешком, за мной издали всегда следовал слуга, обязанный смотреть, чтобы на меня кто-нибудь не наехал, или чтоб я не зашел в какое-нибудь неприличное место. Впадая почти в ребячество, и во мне

хотела она видеть мальчика. Можно себе представить, как мучителен был для меня такой образ жизни. Я безропотно покорялся ему и не делал никаких попыток, чтоб от него освободиться, зная, что, «при её горестях и хворости, малейшее неповиновение мое убьет ее. Мое поведение почти никого не удивляло и казалось самым естественным: непреклонность родительской воли и неограниченность детской покорности пока всё еще сохранялись в нравах.

С приближением зимы становилось для меня еще тягостнее. Остывшая кровь в жилах моей матери требовала большой наружной теплоты: только летнею порой и в красные дни при начале осени открывались её окна, и она любила греться на солнышке. Но коль скоро наступала глухая осень, всё закупоривалось, и она никуда не выходила из малой горницы, жарко натопленной, где, лежа на диване, принимала барынь, посещавших ее из уважения, можно даже сказать, из благоговения. Духота была смертная, невыносимая; а как было жаловаться, когда и посторонние ее переносили? Со мной нередко бывали дурно-

та и головокружение.

В начале ноября получено печальное известие о кончине императрицы Марии Федоровны. Государь успел еще приехать из армии, чтобы закрыть ей глаза. Благотворная деятельность сей незабвенной женщины почти ежегодно населяла наши внутренние области примерными супругами и матерями. Воспитанные под её личным наблюдением девицы, вместе с хорошею образованностью наученные всему доброму, распространяли добрые нравы в семействах, в кои возвращались. Страждущее человечество было также предметом её неусыпных забот. Из множества примеров выберу я один на выдержку. В Мариинской больнице лежал один старый бедный мещанин. У него Антонов огонь показался на ноге, ее следовало отнять; но он не соглашался и хотел так умереть. Императрица подошла к его постели и, желая спасти его жизнь, стала увещевать к выдержанно страшной операции. «Матушка, кабы при тебе: я бы, кажется, выдержал». Оборотясь к доктору, спросила она, когда думают к тому приступить. — Да завтра поутру; позже будет

опасно. — «Вуду», сказала она и сдержала слово. Страдалец и тем не был доволен и требовал, чтобы, во время мучений его, она дозволила бы ему держать её руку. Она согласилась и на то. Пусть сыщут где-нибудь пример такого мужественного человеколюбия!

В конце ноября из Москвы был я извещен, что там, наконец, получено предписание назначенные мне в пособие три тысячи рублей ассигнациями выдать из Московского уездного казначейства. Это подало мне новые мысли. Я подумал: «малый остаток сбереженных мною денег от Керченского жалованья присоединив к этой сумме, могу я несколько месяцев, даже более полугода, провести приятным образом в Москве на свободе; а там что Бог даст, ворочусь опять в Пензу, поступлю решительнее, зароюсь в деревне у брата и там, по крайней мере, обрету покой».

Чтобы получить дозволение моей матери, мне непременно нужно было скрыть от неё мои намерения. Я представил ей желания и надежды, коих вовсе не имел, заговорил о вступлении в службу и без затруднений получил её благословение и согласие.

Итак 9-го декабря отпустила она меня, а 12-го числа прибыл я в Москву.

Несмотря на глубокий траур по императрице, в Москве продолжались собрания и вечеринки; только танцев еще не было. Но с Рождества начались балы и спектакли. В Петербурге двор так сильно пристрастился к сим увеселениям, что в лишении их видел для себя жестокую обязанность и в нежном сострадании допускал их в других городах. Москву нашел я в прежнем виде, который, кажется, потом не долго она сохраняла. Всё также в широких размерах, всё тоже хлебо-сольство без изысканности, всё та же многочисленная, ленивая и неопрятная прислуга, зловоние также наполняло передние. Одним словом, старая столица всё еще была беспечна, весела и казалась счастливою. Впоследствии, частые посещения двора, облегчение средств к сообщению с Петербургом более сблизили ее с ним и изменили оригинальность её характера.

Меня взяло раздумье. Время шло для меня быстро, незаметно, среди рассеянной жизни, от которой я начинал уже уставать. Кончился

1828 год, начался 1829 и наступил уже Великий пост. Я жил почти даром, издержек у меня было мало, исключая экипажа, что обходилось тогда довольно дешево и, по моим размерам, я мог бы продлить мое пребывание в Москве до осени. А там.... подымался перед мной ужасный призрак Пензы. Мысль об обманутых надеждах моей матери также меня мучила.

Тут вспомнил я лестные предложения Закревского, когда он еще не был министром, и решил написать к нему. По слухам, Нижегородского гражданского губернатора, Ивана Семеновича Храповицкого, с тем же званием, переводили в Петербург, и я стал проситься на его место. Я недолго дожидался ответа: министр в самых любезных выражениях предлагал мне приехать в Петербург, ибо по заочности будто бы нельзя было ничего сделать. Сестра присоветовала мне воспользоваться случаем, и я, не задумавшись, ни с кем не простясь, 23-го марта отправился опять искать счастья.

Снег лежал еще на новом шоссе, по приказанию Государя быстро устроенном до Твери,

и я каретку свою должен был поставить на полозья. Далее, до станции Хотиловской, санным путем было еще лучше; но оттуда уже я тащился почти по голой земле. В Валдае, где опять начиналось шоссе, совсем обнаженное от снега, должен был я остановиться, чтобы сделать кой-какие починки и бросить полозья. Тогда уже я шибко поехал до самого Петербурга, куда и прибыл 27-го марта перед вечером.

XII

В Петербурге. — Новые власти. — Поступление на службу в Департаменте Иностранных Исповеданий.

Странное дело! В который раз Петербург встречал меня неудачами?

На другой день по приезде поспешил я в мундире к Закревскому и был им тотчас ласково принят, но с первого слова получил от него отказ. В Нижнем Новгороде, по словам его, должен быть губернатором богатый человек, ибо нигде для этого места не требуется более представительности. К тому, прибавил

он, сам Государь на сие место выбрал Бибикова.

«Да разве нет других губерний в России? — сказал он мне, — вот-таки теперь открывается вакансия в Екатеринославе». — «Я бы не желал, — отвечал я, — возвращаться в Новороссийский край». — «Понимаю, — сказал он, — вы не поладили с Воронцовым; ну что за беда, не бойтесь, мы вас отсюда не выдадим». Это меня изумило: по последним словам Воронцова в Одессе, я почитал их в теснейшей связи. Я объяснил ему, что мне желательнее начальствовать там, где нет генерал-губернатора и находиться под непосредственным, милостивым его начальством и покровительством. Это ему понравилось, и он сказал: «Хорошо, да только в таком случае надобно будет немного подождать. А покамест вы у меня навещайте, навещайте меня, только с условием, без мундира, а во фраке, как вы посещаете других знакомых ваших». Всё это казалось довольно ободрительным.

Был я у Блудова, но неохотно согласился он говорить за меня Закревскому. Они оба в Валахии и за Дунаем служили некогда при гра-

фе Каменском и играли там важные роли; и хотя не было между ними несогласий, а еще менее вражды, но совершенная разность в характере и воспитании никогда не допускала их сойтись между собою. Из уважения к памяти первого благодетеля своего, Каменского, Закревский сохранил связи с двоюродным братом его, Александром Александровичем Поликарповым, который вместе с тем был и свояком Блудова. Его сей последний просил объяснить на мой счет с Закревским. Тот изъявил удивление и сожаление о том, что будто бы я его бросил, и поручил пригласить меня в следующий день в себе на вечер, часов в восемь.

Это было в пятницу на Святой неделе. Мне сказали, что у министра какая-то тайная конференция с министром двора, князем Волконским, и пока провели вниз, где принимались просители. Прождав около часа и слыша, как кареты подъезжают к крыльцу и отъезжают от него, я послал опять доложить о себе; мне велено быть на другой день в двенадцать часов утра. Это было ужасно обидно и вместе с тем так странно, что из любопытства узнать,

чем это всё кончится, принудил я себя поехать и на другой день. Я вошел в комнату, аудиенц-камеру, наполненную просителями всякого рода и состояния. Скоро явился и сам министр; принимая прошения и коротко отвечая на них, он раза два прошел мимо меня, будто меня не замечая; наконец к последнему подошел ко мне и спросил: что вам надобно? Я взглянул на него с удивлением и отвечал: «Мне? Ничего. Вы приказали мне вчера явиться к вечеру, потом сегодня поутру, и я явился, дабы узнать что вашему высокопревосходительству угодно». В приметном замешательстве промолвил он: «Да ведь ныне еще Святая Неделя; Христос воскрес!» «Во истину», отвечал я, и мы облобызались. Потом повел он меня в боковую комнату, где был его особый кабинет, и там сказал мне: «Через несколько дней я еду в отпуск; а вы пока напишите мне записочку, в которой скажите, что такой-то желает получить губернаторское место в такой-то и в такой то губернии; я положу ее в свой портфель, не забуду её, и когда откроется вакансия, вы непременно подучите желаемое». Поблагодарив его за добрые

намерения, я отвечал, что воспользоваться ими не могу, ибо имею в виду другую должность в Петербурге. «Очень рад», сказал он, «желаю вам счастья», и мы расстались.

Сделавшись товарищем Шишкова, совестливый Блудов щадил его старость, оказывал всевозможное уважение, старался заставить его забыть прежние литературные ссоры, прилежно вникал во все дела министерства, но, при случае несогласия в мнениях, всегда искусно и осторожно склонял его на свою сторону, тогда как, в силу данной ему инструкции, ой ежедневно мог бы раздражать его. Впрочем и Шишков так ослабел, что при докладывании ему бумаг почти всегда засыпал крепким сном.

Никогда почти Шишков не видал Государя; а Блудов, имея много и особых поручений, нередко бывал у него с докладом.

Однажды, между разговором, Государь мимоходом вспомнил, с каким неудовольствием видел он Униатских священников когда он начальствовал гвардейскою бригадой в Литве. — «Как бы их к нам присоединить?» сказал он. — «Дело трудное», отвечал Блудов,

«надобно действовать осторожно во всём что касается до совести и веры и при нашей общей веротерпимости. Если бы можно было открыть между их духовенством людей, которые бы согласились нам способствовать, тогда бы можно ожидать успеха». — «Да ведь я не тороплю», сказал Государь, «скоро не требую, а желаю только, чтоб это дело оставалось у нас в виду».

Через несколько месяцев Государь, призвав Блудова, сказал ему: «пока ты ищешь людей, а я тебе нашел человека; на, возьми, прочитай», и вручил ему бумагу, четко и мелко исписанную. В ней изображено было всё горестное состояние Греко-униатской церкви, её бедность, её уничижение, преследование римских католиков и упорство, с каким Униаты стараются сохранить обряды отцовской веры. Пробежав ее, Блудов, изумленный силою слога и ясностью изложения дела, воскликнул: «да, это точно находка; позвольте мне, В.В., призвать этого человека и переговорить с ним». — Ну делай, как хочешь», отвечал Государь. Сия длинная записка приложена была к коротенькой докладной записке

Шишкова.

Сочинителем её был Иосиф Симашко, Униатский каноник, сын бедного сельского священника в Киевской губернии, с величайшим успехом учившийся в Виленском университете Карташевский, кажется, сначала действовал без ведома Блудова. С его робостью, он имел в виду только удовольствие со временем несколько ослабить силу католиков. В этом намерении склонил он министра и его товарища поставить преграду дальнейшему распространению католицизма в западных губерниях запрещением строить, под именем каплиц (часовен), каменные церкви среди православного населения. Вот что подало Симашке мысль и возбудило в нём смелость представить свою записку.

Иноверная духовная коллегия состояла из двух департаментов, Римско-католического и Греко-униатского, в каждом председательствовал митрополит и было по одному члену из епископов и по несколько каноников, депутатов из епархий, от выборов на три года; в числе последних находился и Симашко. В их общих собраниях большинство голосов было

всегда на стороне католиков, которые самовластно господствовали над бедными униатами. Чтоб их со временем присоединить к Православию, нужно было наперед разъединить их с католиками. Учреждением особой Греко-униатской коллегии положено основание сему по истине важному предприятию. Это было в 1828 году, перед самым отъездом Государя в армию.

В тоже время отпущен на покой Шишков, и Блудов тогда же попал бы на его место, если бы по ходатайству вдовствующей императрицы не был определен министром просвещения сын сердечного друга её, княгини Ливен, человек известный нравственностью и религиозными чувствами. Но он был протестант, и Главное Управление духовных дел иностранных исповеданий, как оно было первоначально при основателе его, Голицыне, передано было в руки Блудова. Хотя Карташевский и находился с ним в самых лучших отношениях, но мысль о подчиненности человеку равного с ним чина ему не нравилась. К тому же оставаться директором единственного департамента в министерстве под главным

начальством человека просвещенного, озна-
комленного со вверенною ему частью, умно-
го, деятельного, иногда и взыскательного,
значило бы сделаться его правителем канце-
лярии. Не прошло года, и он стал просить об
увольнении; думали привязать его Аннин-
скою лентой, но он от намерений своих не от-
казывался.

Трудно было приискать ему преемника в
делах совсем особого рода, в которых много-
летним служением приобрел он великую
опытность. Это дало Блудову мысль предло-
жить мне вступить в его департамент пока
учеником и быть отданным на выучку к Кар-
ташевскому. Тут не было никакого лицеприя-
тия, желания сделать мне добро: он знал, как
с давних пор одержим я был сильным право-
славным руссолюбием и видел, что в моем
положении мне было не до выбора мест. Мне
показалось несколько унижительным, но я
должен был согласиться. Может быть, Блудов
тогда бы еще решился представить меня в
должность директора (какого лучшего руко-
водителя мог бы я иметь?); но он собирался
в дорогу, опять отправлялся за границу, в

Карлсбад. Временно назначили Дашкова на его место, но он не хотел принять его без Карташевского, и сей последний согласился остаться еще на некоторое время. При этом случае, чтобы пощадить мое самолюбие, Дашков уговорил Блудова испросить мне звание вице-директора департамента с четырьмя тысячами рублей жалованья из экстраординарных сумм. Конечно, это было идти из попов во диаконы; но всё-таки было лучше.

В самый день отъезда Государя в Варшаву, 25-го апреля, между прочими подписаны и указы о назначении Дашкова временно главноуправляющим, о моем вице директорстве и о пожаловании Симашки викарным Полоцким епископом.

Более недели после царского отъезда Блудов не пользовался данным ему отпуском. Он приводил к концу некоторые дела, исподволь заставлял меня трудиться и давал мне изустные наставления. Приятно ему было видеть, как я вспыхнул от радости, когда он начал мне открывать тайные предположения на счет Унии: это было так согласно с моими политическими и религиозными мнениями. Я

всегда полагал, что нет уз, которые бы крепче связывали между собою разные народы, одному правительству подвластные, как единоверие, и не мог надивиться, как сия простая истина не бросалась в глаза правительственным лицам. Даже поляки понимали ее и, дабы ополячить Украину, старались ее католицизировать.

Всё-таки Блудов состоял еще товарищем министра просвещения и ладил с Ливеном, что мне казалось гораздо труднее, чем с Шишковым. Правда, он почти исключительно занимался особо вверенною ему частью и мало входил в дела просвещения, но странности Ливена были невыносимы. Перед отъездом своим он повез меня в нему знакомить, дабы в случае нужды доставить мне его покровительство. Перед тем тоже самое сделал он с Карташевским и с начальником отделения Покровским. В старце, которому прямой стан и генеральские эполеты давали еще некоторый вид бодрости, трудно мне было узнать Карла Андреевича, храброго полковника с Егорьевским крестом, неутомимого танцовщика, которого, будучи малолетним,

часто видел я в Киеве у моих родителей. На лице его было написано благодущие, изображающее совершенно спокойное состояние духа, плод истинно-христианских чувствований, коими был он проникнут. Он принял меня очень ласково, звал к себе обедать когда хочу, хотя бы всякий день, но о Киеве ни полслова, как бы избегая воспоминания о прежних по мнению его заблуждениях. Он принадлежал к секте Гернгутеров или Моравских братьев, германских староверов, которые крепко держались Аутсбургского исповедания, или, лучше сказать, по фанатизму своему и могуществу, был их главой. В Остзейских губерниях дворянство его ненавидело за быстрое распространение сей секты между жителями: в короткое время число сектаторов его стараниями от трех тысяч возросло до сорока. Оно могло быть вредно и для государства вообще: между лютеранами-мужиками православная вера, в случае их обращения, встретила бы гораздо менее затруднений, чем между этим отчаянным народом. Связанный с Ливеном узами службы, Блудов был им отменно любим и терпеливо переносил непри-

ятное сие положение; да и серьёзно сердиться на него было невозможно, а ссориться не безопасно. Я же попытался было раза два у него обедать; но добровольно, без всякой цели, осуждать себя на скуку и сухоядение мне показалось безрассудным. Случалось иногда, что присланный откуда-нибудь чиновник, с важным поручением, застанет его в зале, громко распеваящего псалмы перед аналоем. Он обернется к нему, выслушает его, но, не отвечая ему, продолжает свою литургию и уже по окончании её примется за дело.

С удовольствием вспоминаю я лето 1829 года; оно было не холодно и не жарко, не дождливо и не сухо. Дела наши с турками шли гораздо успешнее, чем в предшествующем году: весь политический горизонт в Европе, казалось, выяснился. Следствием лечения минеральными водами в Москве было самое удовлетворительное состояние моего здоровья; все лихие болезни меня покинули. Голова моя была полна приятной мысли, что я могу сделаться участником в полезном и святом деле.

Для служащих под его начальством Даш-

ков был сокровищем: никто лучше его не умел сделать службу для них приятною, особенно для тех, коих он любил и уважал; это испытал я тогда на себе. Докладов не принимал он у себя дома, а каждую неделю один раз приезжал в департамент для выслушания их. По окончании занятий всегда проходил со мною мимо чиновников рука об руку, дабы показать некоторое равенство между нами, и потом мы уезжали вместе, в его карете.

Карташевский, тоже мой начальник, был со мною взыскателен; но как же? Требовал, чтобы всякий день бывал я в департаменте, а когда случится, что леность мне помешает, он позволял себе самые учтивые, самые нежные упреки. Все входящие бумаги прочитывали мы вместе. Все важные, секретные дела прежнего времени для прочтения давал мне на дом, вводил меня во все таинства своей части и поступал вместе и братски, и учительски. Заметно было, что он спешил передать мне свое наследство. Ему было лет пятьдесят, побудучи сухощав и заботливо опрятен, он казался моложе: нравственная чистота отвечала наружной. Главным недостатком его была

нерешительность. И у меня он требовал советов; когда же я излагал мнение, он спешил опровергать его, по лишь только я от него отступался, как он приставал к нему. Он был сын небогатого дворянина Уфимской губернии; не знаю где учился, но хорошо выучился. Женат был он на Надежде Тимофеевне Аксаковой, женщине весьма любезной, с которою он меня познакомил.

Князь Долгоруков не был настоящим министром юстиции, а только управляющим министерством, товарищем бывшего министра Лобанова. Дать ему товарища значило почти тоже, что сказать: выходи вон. Крайне тем оскорбленный, Долгорукий не хотел допустить своего товарища к занятиям по своему министерству, под предлогом, что он управляет особою, отдельною частью. Дашков повиновался, но представил о том Государю в Варшаву. Скоро пришел ответ, в котором, вместе с неприятным замечанием, объяснено, что одно для Дашкова временное назначение, а другое — прямая его обязанность. Чтоб изъявить свое неудовольствие, Долгоруков стал проситься в отпуск на 28 дней, получил

его и сдал министерство своему товарищу. Время было каникулярное, вакантное, и у нашего временного начальника оставалось его довольно, чтобы часть его уделить занятиям по нашему департаменту. Но лишь только, по окончании срока отпуска, Долгоруков объявил о намерении вступить опять в должность, как был уволен от неё, с оставлением членом Государственного Совета, а Дашков был назначен управляющим министерством.

Это было в половине июля. Тогда, озабоченный делами важной и новой должности, в которую вступал уже полным хозяином, Дашков объявил, что нашими делами он может заниматься поверхностно. Я видел его редко в министерском доме, куда он переехал, Карташевский еще реже, а прочие наши сослуживцы никогда. И это продолжалось также недолго.

Все рекомендации Блудова у Ливена имели большой вес. Сим пользуясь, Карташевский умел понравиться министру просвещения, который представил об учреждении нового учебного округа в Белоруссии и о назначении его попечителем оного. Указ воспосле-

довал о том 8-го августа. Дашков не почитал себя в праве поручить мне департамент, а представил о том в Комитет Министров, который, с высочайшего разрешения, я назначил меня исправляющим должность директора.

Итак, не думав, не гадав, сделался я почти один главою департамента, который вместе с тем и составлял особое небольшое министерство. Другого бы на моем месте обрадовало, а меня испугало: я опасался, чтобы не наделать множества глупостей. Дашков гораздо более имел ко мне доверенности, чем я сам к себе. Я сделал нежное воззвание к моим сотрудникам, обратился к их опытности, и все они изъявили готовность усердно мне помогать.

Между протестантскими церквами по обоим наименованиям, Лютеранскому и Реформатскому, царствовала страшная неурядица, не было единства, каждая консистория управлялась по своему, ни в богослужении, ни в наряде пасторов не было единообразия, а что важнее всего, не было главного правительственного места, подобно коллегии у католиков. Для государства вообще тут не было никакого вреда, мне кажется, была даже польза;

но Ливен и немцы, которые у нас так сильны, вопияли и молили об уставе для Евангелического исповедания. Один видел в том средство для распространения своей секты; другие, напротив, надеялись остановить тем её действия. Блудов, уступая общему желанию, испросил учреждение особого на сей предмет комитета, который бы производил свои работы под наблюдением и руководством департамента духовных дел. К началу осени он должен был собраться и открыть свои заседания.

Под председательством сенатора графа Тизенгаузена, комитет сей должен был состоять из нескольких членов светского и духовного звания. Старшими же членами назначены два епископа: один домашний, единственный С.-Петербургский епископ Сигнеус, бывший Абовский; другой, выписной из Пруссии, Померанский епископ Ритцль[85]. Одни приготовления к открытию комитета вовлекли нас в большую переписку. Надобно было видеть, как некоторые протестанты, и в особенности начальник Протестантского отделения Фон-Поль, засуетились перед приездом пруссака. Казалось, что ожидают чрезвычайного посла

от какой-нибудь великой державы. Для него от казны нанято было прекрасное помещение с мебелью, на Английской набережной. Ко мне приступили, чтоб я встретил его в сей квартире и сам вручил ему деньги, назначенные на его издержки. Разумеется, я не согласился и предоставил эту честь г. Фон-Полю. Когда, увидевшись с Дашковым, со смехом рассказал я ему о том, он от негодования страшно нахмурил брови.

Я дождался первого посещения г. епископа в черном фраке. Единственным украшением его был наперсный, золотой, совсем гладкий крест на черной ленте. Он мне показался человеком весьма хорошим и благонамеренным, только при первой встрече рассердил меня. Я сказал ему, что, вероятно, в его пастве есть много овец, блеющих по-славянски. «Ох, нет, — отвечал он, — в городах вы ничего не услышите, кроме немецкого языка; только в деревнях, и то в отдаленных, еще в употреблении сей варварский язык». Обязанность гостеприимства заставила меня замолчать.

Наконец мы дождались Блудова. Он возвратился ко дню именин своих, 21-го сентяб-

ря, и для отдыха пробыв несколько дней в Павловске, посреди своего семейства, приехал в столицу. Он одобрил всё то, что было сделано во время его отсутствия, и у меня как гора с плеч свалилась.

XIII

Перед Польским мятежом. — Театр в Петербурге.

Полгода прошло с тех пор как я приехал в Петербург, и в нём ничто меня так не занимало как вступление мое в службу и приспособление себя к новой должности, на которую был предназначен. За ходом дел как в Европе, так и у нас, я не следил и, может быть, тем лучше: никогда еще в столь блестящем виде не представлялся мне мир.

И я ли один был недалъновиден? Совершенное спокойствие в настоящем и самые льстивые надежды в будущем многих ослепляли. Государь с Императрицей, после коронации в Варшаве, несколько времени в ней оставались, потом посетили родителя в Берлине и почти всё лето провели в путешествии-

ях.

Конец траурного срока приближался. Исполненная величия Мария Федоровна и печальные Александр и Елисавета лежали в могилах. Царская чета начала удостоивать своими посещениями частных людей, разумеется, только знатных или богатых. Обрадованное сею новизной, высшее общество приготавливало празднества, шумные зимние увеселения. Везде заблестала роскошь. Великолепные казенные здания подымались со всех сторон, и театр никогда еще не находился в столь цветущем положении. Перед нами явились все наружные признаки народного благосостояния.

Дела наши с турками шли гораздо успешнее, чем в прошедшем году. В Азии, перешагнув Саганлуг, наши войска в первый раз увидели берега Евфрата; в Европе, после великой победы при Кулевче, в первый раз перешли Балкан, как во времена Олега подступили к воротам Цареграда, и в Адрианополе предписан был мир, по-видимому, самый выгодный для России. Два полководца, два новые фельдмаршала, Дибич-Забалканский и Паске-

вич-Эриванский, обессмертив свои имена, покрыли новою славой русское оружие.

Не знаю, право, как приступить мне к изображению достопамятной зимы с 1829 на 1830 год, когда, казалось, мир и тишина водворились в целой Европе, но когда опытные люди чужали уже приближение нескончаемо-бурных времен, посреди коих мы живем и поныне; одни ожидали их с тайным удовольствием, другие с ужасом. Что касается до меня, то сквозь полупрозрачную повязку, покрывавшую мои глаза, мне всё представлялось в радужном свете: я мечтал о благоденствии и могуществе моего отечества. Долго, долго длилось сие ослепление. Сознаюсь в своем грехе: в ошибочное мнение мое входило много эгоизма Быстрые успехи по службе, коих дотоле я никогда не знавал, заставляли меня думать, что у нас всё идет как нельзя лучше. Я почитал себя как бы в ковчеге, предназначенном для спасения и возрождения рода человеческого, и хотя с прискорбием, но без страха смотрел на потоп, готовившийся поглотить весь Запад.

Весь политический горизонт казался ясен,

а барометр его внимательным умам уже показывал непогоду. Всегда великим народным революциям в мире предшествовали сильные перевороты в нравах, в мнениях и особенно в словесности, которая служила верным их изображением...

Совсем без умысла, с 1823 года я уклонился от точных сведений о том, что происходит в Европе. Мой мир заключался весь в одной Бессарабии, а потом в Керчи. Но в 1829 году, находясь более в сношениях с просвещенным миром, я с новым, особенным любопытством принялся за литературу, как иностранную, так и нашу. Каким удивлением, каким ужасом я был поражен! Те, которые не переставали следить за постепенным развитием пагубных систем, но могли того восчувствовать. Не помню в каком-то журнале я нашел большие отрывки и даже целые сцены из трагедии Гернани. Вероятно, никто из нас никогда не читал сочинений Прадона и Шопеленя: только их имена, препрославленные в творениях Буало, были известны и мне. Вдруг мне показалось, что знаменитый Виктор Гюго взял их манеру и присваивает себе их стихи; но нет,

журналы не на смех их напечатали и перевозят до небес. Случилось мне также прочесть двух известнейших тогда поэтов, Казимира де-Лавиня и Ламартина: какая сила в воображении и в выражениях! Но заметна уже была порча в стихотворном языке, и я нашел какое-то отсутствие благородства. Ссудили меня также романами; героем первого был Ган Исландский, более медведь, чем человек. Во втором *Les Mauvais Garçons*, коего автор скрывал себя под именем Библиофила Жакоба, представлены не ужасы, а все пакости, все мерзости неурядицы, бывшей некогда во Франции. В каком отвратительном виде является тут человечество! Всё злодеи или мошенники; первые, разумеется, в блистательном виде. Искусства много, и содержание так занимательно, что, несмотря на чувствуемую тошноту, я дочитал до конца.

Более полутора ста лет как мы живем чужим умом, подражая, передразнивая Европу. До времен Екатерины все те, кои имели притязание на просвещение, говорили и писали по-немецки. При ней показался французский язык; его произведениями сперва пленилась

знать, за нею все молодые благовоспитанные люди. На Парнасе тогда господствовал Вольтер с собратией, и обе столицы наши наполнились безбожниками. После революции, прибывшие к нам, бежавшие от неё маркизы и аббаты начали определяться у нас наставниками к детям. Наученные опытом и несчастьем, они обратились к вере и стали воспитанникам своим проповедывать христианство и монархизм. Так продолжалось до 1815 года, хотя и в этот промежуток времени являлись республиканцы, только в небольшом числе, для занятия учительских должностей в частных домах и казенных заведениях. С помянутого же года Россия начала входить в более частые и тесные сношения с Западом. Галло-германизм с двойною силой начал действовать на читающую у нас публику, а немецкие философические бредни увлекать умы учащихся в университетах.

От театра я почти отвык и редко его посещал. А никогда еще на него не тратилось так много денег, никогда еще костюмы, декорации и представления балетов не были так великолепны, французская и русская труппы

никогда еще не были так многочисленны. Но трагедия и высшая комедия совсем были брошены; их заменили так называемые мещанские драмы и комедии (*comédies bourgeoises*); особенно же изобиловали мелодрамы и водевили; одним словом, трогательное или умно-забавное должно было уступить место ужасному и отвратительному, или непристойно-шутовскому. Это было мне не совсем по вкусу.

Уже несколько лет как молодой Каратыгин блистал на русской сцене в трагических ролях. Природа сама сложила его для них: мужественный голос и лицо, высокий и красивый стан, всё дала она ему. Но дала ли она ему способности? Если нет, то он умел приобрести их прилежным изучением своего искусства и благодаря советам умной, образованной и достаточной жены. По её желанию, с нею ездил он в Париж, и там, дивясь Тальме, как переимчивый русский, удачно старался подражать ему. Но увы, время классицизма прошло, и он мог только изумлять нас в чудовищных ролях. Жена его тоже имела много таланту в благородных ролях, только карта-

вый выговор много вредил ей. Старшая Семёнова сошла со сцены и вышла за князя Гагарина; меньшая Нимфодора продолжала всё еще пленять в маленьких операх. Сосницкий, хотя уже весьма в зрелых летах, играл еще молодых людей в комедиях. Дюр, славный буф, был еще молод, но вскоре потом умер. Воротников был уморителен, когда играл деревенских дурачков и создал роли Филаток. Прочие были всё прежние актеры; а из новых, право, назвать некого.

Переходя из одной крайности в другую, я охолодел к французскому театру: он опротивел мне, и я никогда почти его не посещал. И оттого могу только припомнить себе и говорить здесь о двух главных лицах тогдашней труппы. Я уже раз назвал Жениеса; мне случилось видеть его в обществе; это был самый несносный француз, за то на сцене достоин бы он был играть одинаковые роли с Тальмою. Мадам Виржини Бурбье, красивая собою, также создана была играть Селимен и Эльмир; но всё это уже было брошено.

Только один итальянский театр меня тогда еще притягивал. Года за два перед тем по-

ручено было меломану, знатоку в музыке и самому артисту, графу Михаилу Виельгорскому на казенный счет выписать из Италии певцов и певиц, и он сделал сие удачно и дешево. Но так как это был один только высший каприз, то первую зиму желание угождать, новизна, мода, заставляли лучшее общество посещать представления опер плодovitого и разнообразного Россини, который тогда был неистощим...

Записка о Керчи[86]

I

Есть место в мире, почти совсем неизвестное, или, лучше сказать, почти совсем забытое, но не менее того примечания достойное. В сем месте, кажется, как будто Европа и Азия хотят соединиться и тем воспрепятствовать соединению двух морей, Черного и Азовского. Кажется, как будто в сем намерении идут пространные равнины, одни от подошвы Кавказа, а другие от подошвы гор Таврических, и там, где бы им почти сойтись, они отделяются Босфором Киммерийским или просто Босфором (ибо Фракийский знают гораздо более под именем Константинопольского пролива). Так-то образуются два полуострова, Керченский и Таманский. Сии последние пределы двух частей света, разделенные природою, были некогда соединены под одним правительством и составляли одно царство, не весьма обширное, но долго существовавшее и в древние времена весьма известное по обра-

зованности и промышленности его жителей, по торговому и вместе по воинственному их духу, который в них сохранялся и выгодами их положения между морей, и опасностями оною, ибо со всех сторон было окружено многочисленными хищными варварами.

Тем, кои чтением почтят сию Записку желаем мы вкратце пересказать всё, что знаем об древней истории и географии сей земли, представить потом нынешнее положение её и объяснить, наконец, надежды наши на будущее её благосостояние. О давнопрошедшем почерпнули мы сведения наши не из Страбона, Скилакса, или Перпила, безымянного автора, не из Де-Боза, Вальяна, Кари, или Рауля-Рашета, которые в новейшие времена объясняли древности Босфора (их творения не имели мы еще ни случая, ни возможности достать), но мы следовали тому, что читали в сочинениях новейших наших соотечественных авторов, которые ссылаются на вышесказанных писателей, и тому, что слышали от г. Бларамберга, почтенного и любезного археолога и нумизмата, который остаток дней своих посвятил ученым изысканиям о сем

крае, и всё, что о том писано, знает наизусть.

Иные сочтут, может быть, бесполезным знать то, что происходило здесь в отдаленнейшие эпохи истории, тогда как прежнее положение сей земли не имеет ничего общего с настоящим, когда протекли века и всё переменилось в мире, когда открытие Америки и нового пути в Индию и вообще успехи просвещения дали новое направление торговле. Сие замечание, конечно, будет справедливо, но при виде обнаженных степей там, где были храмы и вертограды и безмолвия могилы там, где были жизнь и движение, да позволено нам будет стараться возбудить участие и внимание к сим опустевшим, некогда цветущим местам. Конечно, после сделанного нами выше сего признания, не станут подозревать нас в намерении щеголять ученостью, которой не имеем.

Одна греческая колония, весьма известная, Милет, в Ионии, была уже за шестьсот лет до Рождества Христова довольно богата, сильна и многолюдна, чтобы самой основывать новые колонии. Она послала избыток своего населения на азиатский берег Босфора, а на ев-

ропейский других поселенцев, несколько лет спустя после того: вот начала Фанагории в Азии и Пантикапеи в Европе. Сии два соседственные, новорожденные города-близнецы, без зависти, без междоусобия, с самого начала бытия своего, старались превзойти друг друга в успехах мореплавания, торговли и в военном искусстве, дабы защититься от окружающих их Скифов. По примеру других городов праматери своей Греции, они имели народное правление и по определенным временам избираемых правителей, судей и военачальников, и цвели в тишине, или, по крайней мере, в безызвестности. Сие причиною было, что происшествия, ознаменовавшие первые годы их существования, и самое название правителей Пантикапеи, не дошли до сведения потомства. Известно только, что Фанагория управлялась *Археанактидами*; но какие были границы их власти, на сколько времени избирались они, сделались ли их права, наконец, наследственными и когда, сего также не знают. Достоверно то, что один из сих Археанактидов, *Спартак* или *Спартакос*, управляя Фанагорией десять лет, распространил в тече-

ние сего времени власть свою и завоевания, переплыл через пролив, овладел Пантикапеей, кою и назначил быть столицей, украсил венцом чело свое, объявил себя царем и был основателем царства Босфорского или Боспорского. Вероятно, имея дух властолюбивый и предприимчивый, он насильственно овладел фанагорийцами, своими соотечественниками; но что пантикапейцы не добровольно ему покорились, сие доказывается их защитою и его завоеванием. Его царствование началось в 439 году до Рождества Христова и продолжалось 17 лет: десять в Фанагории и семь в Пантикапее. Ему наследовал сын его *Селевк*.

С сего времени история Боспора делается известнее, сношения его с Грецией становятся чаще и связи теснее. Диодору Сицилийскому обязаны первые владетели Боспора спасением имен их и деяний от забвения. Нельзя сказать, чтобы владетели сии мелькали только на престоле Боспорском, ибо некоторые из них царствовали более сорока лет; но как немногие отличаются особенными чертами характера, и царствования немногих ознаме-

нованы чрезвычайными происшествиями, то довольно будет сделать им, так сказать, поименный список, выбрав потом из них тех только, коих память действительно заслуживает быть сохранена.

После *Селевка*, второго царя Боспорского, был 3-й *Спартак II-й*, потом 4-й *Сатир I-й*, 5-й *Левкон*, 6-й *Спартак III-й*, 7-й *Перисад*, 8-й *Сатир II-й*, 9-й *Притан*, 10-й *Эвмил*, 11-й *Спартак IV-й*. Все сии цари династии Спартака I-го. Из них имя *Левкона* останется навсегда известным по Демосфеновой речи против *Лентина*, где он называет его благодетельным другом Афинской республики. Он имел право гражданства в Афинах, и уверяют, что в Пантикапее был воздвигнут мраморный столб, на коем был начертан дружественный союз Левкона с афинянами. Сей царь был законодателем Боспора и распространил его пределы, завоевал древнюю Феодосию, которая была верстах в 40 на Запад от нынешней. Он вел значительный торг хлебом с Грецией и, по словам Страбона, из одной Феодосии вывезено в Афины в царствование его миллион сто тысяч медимнов жита, то есть 550 тыс. наших

четвертей.

Перисад царствовал долго, счастливо и мудро и по смерти свой подданными своими был сопричтен в сонму богов. Он оставил престол трем сыновьям своим, выше сего поименованным, Сатиру II-му, Притану и Эвмилу. Из них меньший был честолюбивый властелин, искусный воин и тиран кровожадный. Он с помощью варваров воевал против братьев своих, кои, один после другого пали в битвах, овладел престолом и, не довольствуясь смертью их, обагрился кровью их жен, детей и приверженцев. Но он царствовал искусно, славно и мечтал о покорении всех берегов Черного моря, когда испуганные кони опрокинули его из колесницы и убили его. Эвмилу наследовал сын его *Спартак IV-й*, после коего история Боспора делается неизвестною на 160 лет от потерянных мест в Диодоре. Последний царь Спартакова рода, другой *Перисад*, со всех сторон теснимый варварами, добровольно уступил престол свой великому Митридату, царю Понтскому, который, к наследственным владениям присоединив многие земли вдоль по восточному берегу Черного моря,

сделался близким соседом Боспора.

Царствование Митридата делит надвое историю сего края. До него государство сие хотя и не было обширное, но пользовалось политической независимостью, которую после него утратило при его преемнике и хотя долго еще называлось царством, но действительно было ни что иное, как римская провинция.

Митридат-Евпатор, шестой в Понте и первый по имени в Боспоре, был, как известно всем, кто знает историю, мощный и лютый враг Рима. После сорокалетней с ним борьбы, побежден будучи Помпеем в Малой Азии, он бежал в Боспорскую свою столицу, с новыми замыслами против ненавистного ему народа. Отсюда хотел он предпринять поход через Скифию и Паннонию, побеждая или увлекая с собою все встречающиеся ему дикие племена и уже мысленно грозил истреблением державному, вечному граду; но здесь судьба положила предел его жизни и славы. Счастье, подданные и дети, всё ему изменило; первая Фанагория восстала против побежденного героя, за нею Херсон, Феодосия, Нимфея отложились от него; наконец, в Пантикапее од-

ним утром, при восхождении солнца, увидел он с горы, доселе носящей его имя и где стояли чертоги его, в нижней части города, мятежное войско свое под предводительством Фарнака, своего сына. Тогда рука одного любимца из сострадания избавила его от жизни.

Сие происшествие, прославившее то место, на котором теперь живем и сие пишем, случилось в 65-м году до Рождества Христова.

Тело Митридата, посланное отцеубийцею Фарнаком в дар Помпею, было с честью предано земле в Синопе, Понтской его столице, а Фарнак утверждён Помпеем на престоле Боспорском. Но, пользуясь возникшими потом междоусобиями в Риме, он овладел и Понтом; вскоре же потом Юлий Кесарь, явившись после Фарсальской битвы в Малой Азии, заставил бежать его в Пантикапею, где оставленный им наместником *Асандр* встретил его кинжалом и вместо его воцарился.

Владычество *Асандрово* было продолжительно, сначала под названием этнарха, а потом царя, всего 34 года, от 40-го до 6-го года до Рождества Христова. Но оно сначала было потревожено *Митридатом II-м* Пергамским, ко-

его Юлий Кесарь, наименовав царем Боспорским, послал против Асандра, а сей победил его. После же того, умев угодить Августу, Асандр был утвержден им в царском достоинстве. Наконец, узнав, что Скрибоний послан Августом начальствовать над войсками в Боспоре, лишил себя жизни голодом, как утверждают, но вероятнее умер от старости (ибо ему было за 90 лет).

Прибыв в Боспор, *Скрибоний* женился на Динамисе, вдове Асандра и дочери Фарнака, и объявил себя царем. Агриппа, бывший тогда в Малой Азии, послал против него *Полемона*, царя части Понта и Малой Армении и сына ритора Зенона. Скрибоний был умерщвлен прежде прибытия Полемона, а сей последний встретил сопротивление в народе и должен был победить его.

По смерти Полемона, шестого Боспорского царя по Митридате (если считать Митридата II-го и Скрибония) были следующие цари, известные только по оставшимся медалям: 7-й *Савромат I-й*, 8-й *Гепанирис*, супруга предшественного, 9-й *Рискупор I-й*, 10-й *Полемон II-й*. Сей последний, возведенный на пре-

стол Калигулою, должен был, по повелению Клавдия, уступить его 11-му *Митрида-ту III-му*, потомку Великого, который, при-быв в Боспор, нашел трон свой уже занятым 12-м *Нотисом I-м*, братом своим.

Вот продолжение списка сих царей:

13-й *Рискупор II-й*, при Домициане, в 83-м году по Р. Х.

14-й *Савромат II-й*, при Адриане.

15-й *Котис II-й*, тоже при Адриане, кото-рый, из особенного к нему благоволения, под-чинил ему Херсон и другие места в Тавриде.

16-й *Римиталк*, тоже при Адриане, в 132 году по Р. Х. По смерти сего императора он был изгнан

17-й *Эвпатором*, Антонином на царстве утвержденный.

18-й *Савномат III-й* и

19-й *Рискупор III-й* при Коммоде.

20-й *Котис III-й* при Каракалле и Гете.

21-й *Котис IV-й*.

22-й *Ининтимий*, при Александре-Севере.

23-й *Рискупор IV-й*, при Гордиане, Филиппе и до Галиана.

24-й *Тиран*, при Пробе.

25-й *Тоторс*, при Диоклитиане, следственно, уже в конце третьего столетия по Р.Х.

Всех сих владетелей Боспора, вышешпоименованных и последующих, можно почитать более губернаторами, чем царями. Царствование большей части из них известно только по медалям, в великом множестве отрываемым близ мест, коими они управляли. На одной стороне видно изображение современного императора, а на другой владельца Боспорского, с надписью: иногда *архонтос*, иногда *василевс* то есть, старейшина или царь. В самых посланиях своих императоры римские называли их *regulus*, уменьшительное *rex*, то есть, корольками. Одним словом, их можно применить к ханам киргиз-кайсацких орд, утверждаемых нашим Государем, и кои в Омске, или Оренбурге, украшаются богатым одеянием, шапкою и саблею, от нашего двора им даруемыми; или к малозначащим князьям, коих чрез каждые семь лет Порты посылает управлять малозначащими народами, молдавским и валашским, и коим, при отправлении, вручаются от Султана шубы, кука и топуз.

Кажется, в продолжении сего времени город Пантикапея утратил имя свое. Пролив, царство, на нём стоявшее, и столица его, всё получило общее название Боспора. Фанагория превратилась в Таматархию, уже позже, при Византийских императорах.

Около того же времени началось страшное явление в мире, вооруженное переселение диких народов с Севера и Востока на Юг и Запад. Еще в начале второго столетия по Р.Х. алане являются на северной стороне Кавказа и покоряют Боспор и Таврию, но скоро потом вытесняются готами, около половины сего столетия. Как Боспор был в числе крайних пределов великой империи с сей стороны, то первый он должен был принимать удары, ей наносимые варварами. Но как первые сии вторжения можно почитать одними набегами, как победители столь же быстро удалялись, как и приходили, и нигде власти своей прочно не основывали: то земли сии совершенно не разорялись, и царьки могли опять, под щитом Рима, продолжать свое владычество. Весьма жаль, что подробности сих наших событий в истории не сохранились.

Но возвратимся в Боспорским царям и окончим список их.

26-й *Савромат II-й*, при Диоклитиане, имел дух завоевательный и, победив лазов в Колхиде, дошел до границ царства Лидийского, где был встречен кесарем Констансом-Хлором, который не мог победить его, а довольствовался обороною. Между тем протевон города Херсона. Христос, по повелению Диоклитиана, собрав войско, пошел к Боспору, завоевал оный и не прежде оставил, как по отступлении Савромата и заключении мира его с империєю.

27-й *Савромат V-й*, внук предыдущего, желал отомстить херсонцам за деда, но был разбит ими при урочище Каффа, вероятно, там, где нынешняя Феодосия.

28-й *Раскупор V-й* известен по медалям с изображением Константина Великого.

29-й *Савромат VI-й* вел войну с херсонцами и предложил протевону их, Фарнаку, единоборство, который, согласясь, употребил хитрость, чтобы убить его. После того победитель отпустил побежденных меотийцев-сарматов по домам, а боспорян заключил в узы,

и границу, прежде бывшую в Каффе, отдалил до какого-то Киверника, то есть, верст на сорок.

С сим Савроматом, кажется, кончается Боспорское царство. Еще открываются по медалям несколько царей, Рискупоров, человека два-три. Ареапзес и наконец Радамеад, коего самое существование возрождает споры между учеными археологами. Главное — знать участь Боспора: им в конце четвертого столетия овладели гунны и совершенно его разорили.

Чрез полтора года лет, победы полководцев императора Юстиниана возвратили Тавриду и Боспор Восточной империи; возвратилась и к ним тень благоустроенного правления. Юстиниан возобновил укрепление городов и сделал новые крепости: Горзовиту (нынешний Гурзуф), Алустон (нынешнюю Алушту) и Лампас (нынешний Кучюк-Лампад). Всё сие ненадолго, одни варвары сменялись другими и довершали разорение сей благословенной и несчастной страны. Боспор исчезнул навсегда, и чрез несколько веков он должен был опять возродиться, но только уже под другим

названием, воскрешенный неизвестным до того еще народом русским.

* * *

Окончив, таким образом, краткое историческое изображение древнего Боспора, следует, кажется, приступить и к географическому его описанию, столько, сколько сведений наших на то достанет.

Полуостров Керченский должно считать от перешейка (впрочем, не очень узкого, ибо имеет 30 верст ширины), который идет от Кяффы, нынешней Феодосии, до Арабата, где начинается коса или стрелка сего имени. Сие место было, кажется, постоянною границею Боспорского царства на Запад, и Асандр укрепил его стеною, коей остатки и поныне видны. Отсюда полуостров идет до пролива без малого верст на сто, ширины же имеет во многих местах более шестидесяти. В сем-то заключается Европейско-Боспорское владение; некоторые из царей владели и Феодосией, также Милетинцами основанной колонией, и от нынешней Феодосии на Запад лежавшей; иные же простирали свои завоевания до реки Тапсиса, нынешнего Салгира, но не да-

лее (всё это не более, как верст на двести во
внутрь земли от Пантикапеи).

Азиатские владения Боспора были про-
страннее и занимали почти все земли между
Палюсом Меотийским, ныне Азовским мо-
рем, и Кубанью, тогда называвшеюся Гипани-
сом, то есть всю нынешнюю землю Черномор-
ских Козаков. Говорят, что Боспору принадле-
жали на Азовском море также греками насе-
ленные города: Гермонаса и Диоскурия, но
сие не достоверно; Тана же или нынешний
Азов никогда в его владении не был.

Древнейшие обитатели сих стран были
киммерияне, одно и то же с цимбрами, кимб-
рами или кимврами, известными во времена
Римской республики. По мнению г. Муравье-
ва-Апостола, кимвров назвали греки кимме-
рианами, портя или поправляя приятнейши-
ми для их слуха звуками названия чуждых
им народов, городов и людей. Из того он вы-
водит заключение, что и Крым, или Крим,
есть ни что иное как татарами испорченное
слово Кимвр или Кимр. Действительно, нель-
зя названию Крыма сыскать другого проис-
хождения.

Киммерияне были отсюда в седьмом веке до Р. Х. изгнаны тавро-скифами или горными скифами, которые потому и дали имя Тавриды всему полуострову Крымскому. Знающие же древние восточные языки утверждают, что и поныне в Азии Тавром называют всякую цепь огромных гор, и что гора по-ассирийски называлась Тоира, по-халдейски Тиру и по-сирийски Туро.

Сии варвары, с коими поселившимся среди их грекам часто приходилось сражаться, не были однако же кочующими и совершенно чуждыми искусству зодчества.

Основанные ими города, коими после греки овладели, удивляли огромностью своих зданий. Доныне еще видны основания их; они составлены из камней ужасной величины, так что можно сомневаться, чтоб сие было не творение природы, а рук человеческих, если б они не были правильно положены и обтесаны. Г. Бларамберг называет сие циклопскою или гигантскою работою, совершенно отличною от произведений позднейших времен архитектуры, коих здесь также много находится остатков. Всё греческое прельщает

легкостью, красотой, вкусом, все же творения глубокой древности изумляют огромностью масс.

Весь Керченский полуостров есть плоская равнина; не доезжая Керчи только верст за двадцать, начинается цепь маленьких холмов, постепенно возвышающихся к проливу и оканчивается Митридатовой горой, величайшей из сих холмов и выходящей мысом в самый пролив. Полуостров сей был весь населен, как думать должно; но нет ни одного известного места, ни внутри оно, ни по берегам Черного и Азовского морей: все города теснились около пролива. Причиной сему полагать должно то, что греки первоначально здесь основали свои жилища и потом распространили свои владения; другая причина, что место сие издревле изобильно было лесом и родниками лучшей воды, в чём далее чувствуют недостаток.

Вот названия примечательнейших мест, о коих говорят Геродот, Скилакс и Страбон весьма подробно, означая даже расстояние одно от другого:

1-е. *Цитея* или *Скифея*, на самом Черном

море, близ теперешней Апух-горы, в 45-ти верстах от Керчи. Сей город был построен скифами, как имя его показывает. Есть теперь остатки фундамента сего города и в горе пространные пещеры, где были гробницы его жителей.

2-е *Киммерион* по-гречески, *Киммериум* по латыни, в 17-ти верстах от Керчи, на проливе, близ теперешнего селения Камыш-Бурун, построенный киммериянами; остатки его, равно как и Скифеи, суть громады скал, как бы волшебною силою порядком положенные. Планы сих городов сняты и начертаны г. Бла-рамбергом.

3-е *Нимфея*, любимое место Митридата, но в котором он не окончил жизни, как те, кои читали Расинову трагедию, его имя носящую, подумать могут. Остатки, то есть основания сего города, видны в 7-ми верстах только на полдень от Керчи, на горе, над старым карантинном, из коего, в начале сего 1827 года, переведен карантин в новое строение.

4-е. *Пантикапея*, нынешняя Керчь. О сем городе будем говорить подробнее при описании теперешнего его состояния.

5-е. *Мирмикион*, то есть Муравейник, в 4 верстах от Керчи на Север. Это было самое промышленное местечко в Боспоре: тут были все их фабрики, мануфактуры, и по трудолюбию жителей оно названо Муравейником. Ныне построен на сем месте новый карантин.

6-е. *Гераклион* или *Ираклион*. Тут не был настоящий город, а только храм Геркулесов и около него священная ограда (*enceinte sacrée*), внутри коей и вне её были жилища; полагать должно, что сие было посад, как ныне в Сергиевой Лавре и в других монастырях сие встречается. Боспоряне, будучи в необходимости часто сражаться, из всех богов язычества поклонялись более двум героям-полубогам, Геркулесу и Ахиллу, их имя призывали на помощь в боях и их заступлению приписывали победы над врагами.

7-е. *Портемион* или врата Меотийские, городок, на том месте, где ныне Еникале, в 10-ти верстах от Керчи и в 6-ти от нового карантина. Тут въезжают в Азовское море и тут самое узкое место Босфора.

Древние историки и географы с такою точностью означили места, где существовали го-

рода сии, что с Страбоном в руках и считая по пяти стадий на версту или по сто сажень, весьма легко отыскать их остатки. Только в некоторых местах, где по их описанию должны быть заливы и бухты, воды от берегов удалились, и ныне остались соляные озера.

На азиатской стороне известны два следующие города:

8-е. *Фанагория*, о коей часто упоминается в сей Записке; ныне нет ни малейших следов ее существования, и её место занял город Тамань. В двух верстах же от него построена Суворовым крепость, которой, из уважения к древности, дано имя Фанагорийской.

9-е. *Ахилля*, маленький город при устье или лимане Гипаниса, на том месте, или близ места, где ныне Бугазский меновой двор с черкесами. Город сей по набожности боспорян к Ахиллу, о коей мы выше упомянули, был назван его именем.

В числе народов, поработивших описываемую нами страну, один народ мужественный, многочисленный, сильный, на несколько веков утвердил в ней свое владычество. Хозары или козары, соплеменные с турками, уже го-

раздо прежде того известные своими походами в Армению, Иверию, Мидию, в начале седьмого столетия, пройдя Кавказ, быстро распространили свои завоевания от устья Волги до Днестра, от Каспийского до Черного моря, и основали, под управлением своих каганов, могущественное, знаменитое царство, в состав коего вошла и Таврида. Всё сие пространство земли, и в особенности Крым, получили название Хозарии. Соседственных же с ними славян хозары обложили данью.

Чрез триста лет после того, около 965 года по Рождестве Христове, сии самые данники, славяне, под названием уже русских и под предводительством князя своего *Святослава*, героя древнейших времен России, победили хозаров, взяли столицу их Саркел или Белую Вежу на Дону, разбили потом ясов и касогов, как полагают, осетинцов и черкесов, и покорили все владения хозарские на восточных берегах Азовского моря, в том числе и Таматархию, древнюю Фанагорию.

Владимир великий и святой, сын Святослава, принял христианскую веру и был крещен близ сих мест, в древнем Херсоне, всё

еще остававшемся подвластным восточным императорам. Получив Таматархию с лежащими окрест её землями в наследство от отца, он перед смертью, при разделении своих владений между двенадцатью сыновьями, отдал ее в удел храбрейшему из них, Мстиславу.

Мстислав Владимирович, прозванный Храбрым и Удалым, был первым князем Таматархским или (как русские по своему переименовали) Тмутараканским. Имя сего витязя славно в наших летописях: он помог греческому императору, в 1016 году, отнять у хозаров Тавриду и тем сокрушить и уничтожить навсегда их царство. Потом воевал он с Касогами, в единоборстве победил князя их, Редедю, сильного великана, и овладел его землями. Наконец, недовольный малостью своего удела, или, может быть, скучая праздностью, собрал подвластных ему хозаров, греков, черкесов и касогов и пошел войною на старшего брата своего, великого князя Ярослава, тогда всей Россией владевшего. Покорив Чернигов и одержав после того победу над братом у города Листвена, заключил с ним мир, по которому они разделили государство пополам, и Днепр

служил границею их владений. Прожив потом в мире и согласии с братом еще 10 лет, он умер в 1036 году бездетен.

После кончины Ярослава (в 1054 году), Тмутаракань и Боспор достались в удел одному из сыновей его, *Святославу*, князю Черниговскому. По отдаленности, поручил он управление сей области сыну своему, Глебу Святославичу.

Но в 1064 году молодой *Ростислав* Владимирович, сын Владимира, умершего прежде отца своего, великого князя Ярослава, и не получивший никакого удела, решился вооруженной рукою приобрести оный и без большего сопротивления овладел Тмутараканью. Его отважность и победы над горскими народами устрешили коварных греков, с помощью же русского князя, незадолго пред тем Тавридою овладевших: один из них, по имени Котопан, вкравшись в его доверенность, отравил его ядом. История описывает сего юношу красивым, храбрым и добродушным, и его безвременная кончина была несчастьем для России.

Призванный потом опять жителями Тму-

тараканской области сын Черниговского князя, *Глеб* Святославич, прежде ею управлявший, соделался её отдельным князем.

Получив потом княжество Новгородское, *Глеб*, в 1077 году, уступил Тмутаракань другому брату своему, *Роману* Святославичу.

В половине сего одиннадцатого столетия вышел из Азии один народ, коего имя дотоле было неизвестно, но останется долго памятным в нашей истории, по бедствиям, им России причиненным. Половцы или команы, по мнению покойного Карамзина единоплеменные с нынешними киргизами и других варваров превосходившие жестокостью, вероломством и безобразием, заняли берега Черного моря. Сих варваров нанял вышеименованный князь Роман Святославич, чтобы идти войной против дяди своего, великого князя Всеволода; они заключили мир со Всеволодом и на обратном пути умертвили Романа. Тогда великий князь прислал управлять Тмутараканью наместника своего, Ратибора.

Вскоре потом два молодых князя, *Давид* Игоревич и *Володар* Ростиславич, из коих первый был внук великого Ярослава, а по-

следний правнук (будучи сыном князя Тмутараканского, Ростислава Владимировича, греками отравленного ядом) пришли завоевать сию область и овладели ею.

Их княжение также было непродолжительно. Третий из Святославичей, *Олег*, долго находившийся в плену у греков на острове Родосе, с помощью их, возвратился в Тмутаракань, изгнал князей Давида и Володаря, отомстил за смерть брата своего, Романа и получил область сию по наследственному праву. Все сии происшествия были от 1078 до 1084 года.

Через десять лет после того, Олег Святославич, коего гордость и властолюбие столь известны в русской истории, взяв в помощь половцев, пошел с ними против двоюродного брата своего, Владимира Всеволодовича Мономаха, который княжил тогда в Чернигове. Сей миролюбивый герой, дабы избавить отечество от междоусобия и ужасов войны с половцами, добровольно уступил ему Чернигов, а сам переехал в Переяславль. С тех пор Олег как будто забыл Тмутараканское свое княжество, вместе с другими русскими князьями

вел кровопролитные войны против половцев, и когда в 1111 году одержана русскими над ними знаменитая победа, то ничего уже о Тмутаракани более не упоминается; самое имя её исчезает в русской истории. Кажется, еще прежде того город сей уже сделался добычей половцев.

Итак, без малого полтораста лет князья русского племени владели сею странюю. Их было всего шесть поколений: 1-й Святослав, 2-й Св. Владимир, 3-й Мстислав и Ярослав Владимировичи, 4-й Святослав Ярославич, 5-й Ростислав Владимирович, Давид Игоревич, Глеб, Роман и Олег Святославичи, все пятеро внуки Ярослава, и 6-й Володарь Ростиславич, правнук его.

Прошли века, имя Тмутаракани и деяния её князей сохранились в истории нашего отечества; но долго, очень долго, не знали у нас даже места, где существовали город и княжество сего имени. Писатели наши терялись в догадках; наконец, весьма недавно один нечаянный случай решил сию историческую задачу. Мраморная плита необыкновенной длины лежала в Тамани у дверей казармы

Черноморских казаков и служила ступенью для входа в нее; никто не обращал внимания на высеченную на ребре её надпись. Один любопытный взор открыл русские литеры, начал рассматривать прилежнее и нашел то, чего тщетно дотоле искали. Надпись всё объяснила; она нижеследующая:

*Въ лѣто с. ф. ѳ. Інд. г. Глеб Кназь
мѣрилъ м по леду в Тъмutorокана до
Кървева л и д. саже.*

Следственно, в 6586 году от сотворения мира и в 1068 от Рождества Христова. И расстояние от Тамани до Керчи точно то, что оно и поныне, ровно 30 верст. Сия надпись подает повод думать, что город Кърчев построен предками нашими на развалинах или из развалин упавшей и забытой Пантикапеи. Самое название его имеет что-то русское и похоже на Корчеву в Тверской губернии.

Столь счастливо найденная плита рассмотрена многими учеными, признана законною и положена с честью в Таманской соборной церкви[87]. Не оставалось и тени сомнения о месте, где была Тмутаракань, и даже сим име-

нем назван город Тамань на многих иностранных картах, с тех пор изданных. Впрочем, удивительно только одно то, как сие прежде не могло войти никому в голову, как можно было полагать Тмутаракань на Оке, когда целый ряд её князей всегда делал союзы или воевал с народами, обитавшими, как достоверно известно, на Кавказе и на берегах Днепра, Дона и Азовского моря.

Кажется, после всего вышеписанного, есть ли какая возможность сомневаться в том, чтобы Боспорское царство и княжество Тмутараканское не были одно и то же, и чтоб найденный камень не был действительно драгоценный остаток наших древних времен? Утверждают, однако же, что один известный наш писатель, г. Свиньин, известный по разнообразным творениям своим на отечественном и иностранных языках, по многократным путешествиям, по мореплаваниям, дипломатическим миссиям, журналам, рисункам, картинам, по изданиям своих и чужих сочинений, по всеобщим своим познаниям, что сей ученый муж, художник, воин и законодатель, отвергает сию истину, и что где-то

сказал он, написал, или напечатал, что Тмутараканский камень есть подложный.

Все те, кои, подобно нам, видели сей камень и его надпись, могут утвердительно сказать, что он имеет все признаки древности. А между тем опасаться должно, что мнение г. Свиньина, так давно и так справедливо заслужившего доверенность читающей публики, вовлечет всех в заблуждение, в котором сам он находится, что совсем объясненная историческая истина опять сделается загадкой, и мы опять пошли с гг. Татищевым и Свиньиным искать Тмутаракани около Мурома и Рязани.

Со всем уважением, которое имеем к познаниям г. Свиньина, не столь глубоким, сколь многоразличным, осмелимся ему заметить, что всякий обман должен быть сделан с каким-нибудь намерением; а какое тут можно видеть намерение? Нет, мы не дошли еще до такой тонкости, чтобы составлять каменные фальшивые документы, и для того единственно, чтобы доказать древнее право наше на владение уголком земли, которого у нас никто не оспаривает, о котором большая

часть наших соотечественников даже и не знает, и тогда, как везде лучшие права наши суть могущество России и сила её оружия.

Но, оспаривая г. Свинына, мы бросили Тмутаракань в руках у нечестивых половцев, возвратимся же к ним. Ненадолго и сим гнусным варварам досталось терзать сию прекрасную землю: участь всей нынешней Юго-западной России была беспрестанно переходить из рук в руки.

Страшная гроза собралась на Востоке, оттуда прошла она на Запад с ужасною быстротою, разрушая многие древние азиатские царства: здесь разразилась она и чрез несколько лет распространила опустошения свои по всему нашему отечеству. Славный завоеватель, Чингиз-хан, основал сильное Монголо-татарское царство; сын и преемник его, Октай, следуя его примеру, послал племянника своего, Батыя, искать новых побед на Север и Запад Каспийского моря. Тут встретил сей последний всегдашних врагов наших, половцев. Несметное число воинов Батыя их устрашило, и они сообщили свой ужас соседственным князьям южной России. Соединя силы

свои с половцами, сии русские князья пошли искать татар, встретили их неподалеку от сих мест, и знаменитая с ними битва при речке Калке (в нынешнем Мелитопольском уезде, немного на Запад от Мариуполя), в 1224 году, истребила самое имя половцев и была для России первым из тех жестоких ударов, которые впоследствии времени едва её не сокрушили.

Свирепый Батый, тогда удалившийся, спустя несколько лет воротился опять, и в 1239 году покорил всю Россию, предав ее огню и мечу. Основав Кипчацкую или Золотую Орду на берегах Волги, в степях Саратовской губернии, он был первым её ханом, но подвластным великому хану Большой Орды, и владычество татар простиралось тогда почти до Карпатских гор. Все остатки народов неславянского племени, и между прочим половцы, смешались с ними.

После смерти Батыея, в 1256 году, начались в Кипчацкой орде, им основанной, несогласия, которые, однако же, тогда еще её не ослабили. Но уже вскоре после того, около 1260 года, один смелый воевода ханский, по имени

Ногай, не только сделался независимым владельцем описываемых нами мест, но повелевал в самой орде и менял ханов по произволу. Он заключил союз с греческим императором, Михаилом Палеологом, женился на побочной дочери его, основал свои кочевья или улусы вокруг всего Азовского или, как оно тогда уже называлось, Суражского моря, в бывшем Боспоре и во всей Тавриде, властвовал более тридцати лет и по смерти оставил татарам, вне Крымского полуострова живущим, имя свое, которое они и доныне сохраняют.

При жизни сего Ногая, торговля с плодами тогдашнего просвещения и промышленности проникла опять в сии места, в которых они некогда процветали, но где варварство давно уже истребило и следы их. Две знаменитые итальянские республики, Венеция и Генуя, спорили тогда о владычестве на морях. Крестовые походы, в которых они участвовали, познакомили их с Востоком. Венециане первые на Сурожском море основали колонию Азов; вслед за ними явились и генуезцы на берегах Тавриды, сделали выгодные предложения владевшим тогда ею монголо-татарам

и выпросили у них уголок земли, где бы учредить свою контору и складочное место для товаров. Им отвели пустое урочище, именуемое Каффа, о коем мы выше сего уже говорили: весьма не пространная, узкая долина, как бы спрятанная между морем и высокими горами, в которую один только въезд с Востока; они и тем остались довольны. Имея много золота, большую деятельность, искусных зодчих, генуезцы усердно приступили к строению домов: скоро возник новый, прекрасный город, своим великолепием изумил татар и возбудил их опасения и зависть. Дошло до ссоры и войны. генуезцы подняли с горной стороны высокие каменные стены с башнями и из-за них смеялись усилиям татар. Несколько раз потом в продолжении времени воевали они, примирались, но не упускали ни единого случая, чтоб не делать новых приобретений и не распространять свою власть и торговлю. В исчислении городов и мест, коими республика владела тогда в Тавриде, находим мы Балаклаву, Судак и наконец Serchio, picciol luogo, как говорит Одерико. И так греческая Пантикапея, русский Крчев, сделалась итали-

анскою Черкию, как после обратилась в татарскую Керчь.

Здесь место упомянуть о знаменитом хане Узбеке, в Кипчацкой орде царствовавшем с 1312 по 1341 год и восстановившем прежнюю силу её. Его имя кровавыми буквами начертано в истории нашей: он князей беспрестанно призывал в орду на суд и на казнь, и семерых, в том числе Михаила Тверского и двух сыновей его, Димитрия и Александра, предал смерти. Он любил сии места и по несколько месяцев забавлялся звериною ловлею на великом пространстве от Тавриды до Терека. Первый из ханов принял он магометанскую веру, ввел ее между своими подданными, и при нём начала она иметь поклонников в Крыму. Из любви и уважения к его памяти, многие татары приняли имя узбеков, коими и доныне называются в Хиве.

Со смертью Узбека началось постепенное падение Золотой Орды. В Сарае, главном городе её, один хан сменял и убивал другого, иногда три хана с многочисленным войском спорили между собою о владычестве, возникали новые царства, татары резались, и всё возве-

щало близкий конец чудовищного их могущества. Посреди сих неустройств и междоусобия восстал один смелый воин темник *Мамай*, который, не принимая титула ханского, повелевал ими и который мог бы замедлить падение орды; но в 1380 году разбитый Дмитрием Донским на Куликовом поле, он бежал к Азовскому морю, в соседство древнего Боспора, и на том самом месте, близ нынешнего Мариуполя, где в 1224 году была Калковская битва, побежден вооружившимся против него ханом *Тахтамышем*, потомком Чингис-хана. Он скрылся в Каффе, но там генуезцы коварно умертвили его в угождение Тахтамышу.

В сие время явился на Востоке *Тамерлан*, новый ужас человечества. Подобно Чингис-хану возник он почти из ничтожества до степени властелина мира, но, кажется, еще превзошел его гением, блестящими качествами и лютостью, владения же свои распространил до Египта. Он сначала покровительствовал Тахтамышу, но чрез несколько лет спустя, в 1395 году, озлобленный его неблагодарностью, пошел истребить его, настиг между Те-

реком и Кубанью, разбил на голову, обратил в бегство и в след за ним, с бесчисленным войском ворвавшись в Россию, дошел до самого Ельца. Бытие нашего отечества, можно сказать, висело на волоске, всё было в ужасе... но Провидение, предназначившее великие судьбы сему народу, избавило его, как и в следующие времена неоднократно чудесным образом спасало оно его. Тамерлан удалился тем же путем, мимоходом разрушив Сарай, Астрахань и наконец сравнял с землею богатый Венецианский Азов, предав, как он сказал, державу Батыеву губительному ветру истребления.

Но оставим Кипчацкую орду, беспрестанно в междоусобных бранях идущую к разрушению своему. Один татарский наездник и смельчак, старый князь *Ед шей*, долго в сих войнах участвовавший, повелевавший судьбами самих ханов, при конце дней своих составил для себя особое государство из Черноморских и Азовских улусов, то есть из нынешней Таврической и частью Кавказской губерний. После смерти его, многочисленные его сыновья разделили его владения и вскоре

потом погибли в междоусобии; тогда черноморские татары избрали ханом осмнадцатилетнего юношу, славившегося происхождением от Чингис-хана, который в имени своему Ази прибавил, из благодарности к воспитавшему его земледельцу Гирею, название сего последнего. С сим *Ази-Гиреем* началась около половины пятнадцатого столетия особенная Крымская орда, разбойничье гнездо, которое, отделяемо будучи от России пространными степями, его ограждавшими в течении двух с половиною веков, утомляло ее почти периодическими набегами.

Около того же времени случилось горестное происшествие в мире: турки в 1453 году взяли Константинополь. Через двадцать два года после того Магомет II-й послал свой флот в Черное море, под предводительством капитана-паши, который завоевал Каффу и все генуэзские владения в Крымском полуострове. Таким образом заключилось в 1475 году блестящее, но краткое существование сего торгового города, Кучук-Стамбула или Маленького Царьграда, как турки сами его называли. Крымские ханы вскоре покорились султану и при-

знали над собою его владычество. Таврида и Боспор, хотя и остались особливим ханством, но вошли в состав владений Оттоманской Порты, в зависимости коей были триста лет, без всякой надежды когда-либо опять озариться светом веры и наук.

И в сию-то эпоху, когда магометанизм торжествовал на Юге, один северный народ, долго под игом его стенавший, раздробленный, униженный, изнуренный, едва не исчезнувший в мире, начал оживать, соединяться и испытывать силы свои против мучителей. Любезное отечество наше воскресало. Не вдруг установились в нём порядок и спокойствие: русскому народу надлежало еще пройти сквозь ряд бедствий, коими Небу угодно было искусить его твердость; по, несмотря на вновь наносимые ему удары, он более и более утверждал свою независимость, одолевал врагов и беспрестанно шел к невидимой высокой цели, как будто внимая тайному голосу, зовущему его к чему-то необыкновенно-великому. Едва прошло сто лет, и уже при Грозном Иване Васильевиче все татарские царства, порожденные издыхающею Кипчацкой

ордой, одно за другим пред ним пали; только прелестный Крым остался тогда непокоренным: судьба хотела позже сим цветком украсить победный венец одной бессмертной, долго над русскими царствовавшей.

Мы выше сего сказали, что Крым сделался вертепом разбойников; почти ежегодно толпы хищников выходили из него и бросались на Литву, Польшу и Россию, не для славы и завоеваний, а для грабежа. Атаманы их, именующие себя ханами, данники Порты и ею покровительствуемые и все из роду Гиреев, подражали султанам в грубой роскоши; вся история их состоит из вероломства, братоубийств и деяний зверского мужества. Имя одного только *Метли-Гирея*, сына Ази-Гирея, должны мы произносить с почтением и благодарностью; он был современник великого князя Ивана Васильевича, царствовал, как и он, сорок лет, всегда был постоянным другом его и России и оказал бесчисленные им услуги.

Всё сие пространство, между Великороссийскими владениями и Крымом, быв открыто для внезапных вторжений татарских, на-

полнилось еще многочисленными вооруженными шайками беглецов из России и Польши, которые, видя в черкесах (иначе всё еще по старому косогами или козахами называющихся) удалых наездников и подражая их молодечеству, приняли, по мнению своему почетное имя их, козаков. Тогда мирные жители древней России, литовцами завоеванной и уже называемой тогда Малою Россиею и Украиной, должны были, для защиты семейств своих, собственности и жизни, сделаться вместе хлебопашцами и воинами, составить род военных поселений и, по примеру других, также назвали себя козаками. Часть всех козаков сих основала жилища свои на Дону, другие же по обеим сторонам Днепра, из коих некоторые, ниже порогов его поселившиеся, получили название запорожцев. Сии последние, то союзники, то враги крымцев внутри полуострова, и ногайцев, вне оного живущих, имели почти одинаковые с ними нравы.

В таком положении оставались дела сего края до тех пор, пока возрастающее беспрестанно могущество России и её завоевания к

нему не приблизились.

Еще Россия и Турция только по одним слухам знали друг друга; скоро начались однако же у них некоторые торговые сношения, посреди коих были уже заметны признаки будущей непримиримой вражды между сими народами. Войны не было, а козаки и татары, как бы передовое войско двух держав, почти никогда не прекращали неприязненных действий: одни при всяком случае нападали и грабили соседственные им места и города, подвластные туркам; другие продолжали набегии свои в Россию. Взаимные жалобы царя и султана оставались без удовлетворения; всегда один ответ, одно извинение, что, по отдаленности, самовольства сих людей укротить не можно.

А между тем сии воины, с гордостью и удальством именующие себя *вольными* козаками, свободно избирающие своих атаманов, едва признающие над собою владычество царей и великих князей, сии дикие рыцари, сии преступные, непокорные и отпадшие сыны России, все оставались привязанными к матери своей прелестью воспоминаний, узами и

крови, и языка, и веры. В сражениях они призывали на помощь святыню Московскую и Киевскую, изображали ее на знаменах своих, усердно молились угодникам, почивающим в сих древних столицах, которые называли святыми местами и почитали наравне с Иерусалимом и Афонскою горой. Сама Россия была для них как некое божество, которому они издали поклонялись: имени её ради, во славу и честь её, творили чудеса и всякое значительное завоевание ей, одной ей, приносили в дар, как бы славою и победами желая купить её прощение.

Таким образом, когда изнуренный злобою и развратом, утопающий в крови подданных, давно забывший и добродетель и честь, неистовый Иван Васильевич приближался ко гробу и равнодушно смотрел на посрамление войск своих, отважный Ермак Тимофеевич, с горстью своих козаков, проходил неизмеримое пространство, открывал, так сказать, новую часть света, покорял Сибирское царство, указывал России путь до Китая, обремененный добычею падал с нею в стопам недостойного государя и блеском завоеваний своих

освещал мрак последних дней тирана. Таким образом донские козаки из одного удальства в 1637 году, в царствование воинственного Амурата, взяли приступом Азов (турками разоренный, но потом ими же укрепленный город), пять лет держались в нём и отсиживались, осаждаемы будучи стотысячною турецкою армиею и многочисленным флотом, изумляли неприятелей почти сверхъестественным мужеством и упорством, беспрестанно умоляли Российского государя взять Азов за себя, представляя все выгоды сего завоевания, коим удержаны бы были крымцы и ногайцы от набегов и, наконец, не видя никакой помощи, бросили уже удаляющимся туркам одни развалины Азова. Добродушный, но слабый Михаил Федорович, первый царь из дома Романовых, отец великого человека и дед исполина, не имел чудесного их гения, их предприимчивости, их дальновидности, с удовольствием смотрел на подвиги козаков, милостиво принимал их посланных, ласкал их, дарил, но ни на что отважное не мог решиться.

Но уже наступали времена славы и вели-

чия России: царствование мудрого Алексея Михайловича и правление умной и честолюбивой дочери его Софии Алексеевны приготавливали чудеса Петра Великого. Уже первому из них знаменитый гетман козаков малороссийских Богдан Хмельницкий, устыдясь повиноваться Польше, условиями, заключенными 6-го января 1654 года в Переяславле, отдал себя, воинственный народ, им предводимый и все земли и города, сим последним занимаемые. Тогда-то и Киев, древний, прекрасный, златоверхий Киев, после долгой разлуки, возвратился ко вздыхавшей по нём целые столетия и некогда крещенной им России, возвратился к ней во всей чистоте православия русского; как мученик святой, неоднократно опаленный, он претерпел все гонения господствовавших над ним язычников литовских и татарских и все истязания еще лютейших изуверов, римских католиков, и ни на час не поколебался в вере отцов своих. Казалось, с возвращением его благодать небесная сошла на Россию. Уже во дни правительницы Софии, в 1686 году, союзным трактатом против турок, Польша отказалась в пользу России от

мнимых прав своих на покровительство малороссийских козаков и Украины; при сей же правительнице, в первый раз русские войска начали действовать наступательно против Крыма, и любимец её, князь Василий Голицын в 1687 году подступал уже в Перекопу.

Наконец Петр Великий взошел над Россией, и всё приняло в ней новый вид. В дивные времена его русское оружие не проникало еще до мест, нами описываемых, но кругом везде оно уже гремело. Одною из первых мыслей сего предприимчивого и творческого гения была война с турками; первый опыт, который хотел он сделать из созданного им регулярного войска и устраивающегося в Воронеже первого флота, было употребление их против врагов просвещения, которого он алкал. Он начал первую войну свою и, можно сказать, первую войну России с Турцией, в 1695 году, на двадцать третьем году своего возраста, походом к устью Дона. Сей поход был не совсем удачен: Петр Великий еще учился побеждать; но на следующий 1696 год турки везде разбиты, и взят приступом Азов, с помощью тогда верного, но после славного

изменою своею, гетмана Мазепы. В 1698 году город сей, вследствие перемирия, заключенного с турками на два года и потом обращенного в тридцатилетний мир, уступлен России со всем округом.

Сие приобретение было отменно важно, хотя заключалось в весьма небольшом пространстве. Оно доказывает, что Петр Великий искал еще более пользу своего народа, чем славу его, и тем в потомстве умножил собственную. Это было единственное отверстие, через которое торговле Российской открывался тогда морской путь в отдаленнейшие страны. Дабы упрочить и ополезить сие новое приобретение, Петр Великий поспешил умножить укрепления Азова и на северной стороне моря сего имени построил новый портовый город, Таганрог, недавно прославленный кончиною одного из его преемников.

Основанный полубогом, который населял и животворил приобретаемые им безлюдные степи Юга, равно как и непроходимые леса и болота Севера, и везде, где ни ступал, оставлял следы величия своего, юный Таганрог начал быстро процветать. Торговля для полити-

ческих тел столь же необходима, как воздух для человеческих; без неё душно народу, она всё живит, свежит, и движет, и обращается туда, где представляется ей какая-нибудь возможность сообщаться. И потому нимало не удивительно, при взгляде на нынешний Таганрогский порт, что из середины России, со всех сторон заслоненной тогда от морей, потекли товары в сей единственной точке, где могли они выгодно сбываться.

Здесь не место говорить о всех неудобствах сего, так называемого, порта; далее постараемся мы объяснить их. Если б Петр Великий, владея Крымом и всем тем, чем ныне Россия владеет, избрал Таганрог для учреждения тут порта, то со всем благоговением в священной памяти величайшего из русских должны бы мы были сказать, что он сделал ошибку. Но он не избирал и не предпочитал, а основал тут торговый город, как генуезцы в Каффе, не имея ничего лучшего и из малого умея извлекать пользу. В записках одного английского морского офицера, во многих походах его сопровождавшего, найдено, говорят, недавно, что Государь сам ему в том признавал-

ся и изъявлял сожаление, что не имеет в руках своих Керчи и Босфорского пролива.

С беспокойным духом смотрели турки на растущие Азов и Таганрог. Недальновидное их правительство, если не умело предвидеть, то, по крайней мере, кажется, предчувствовало, куда некогда могут довести сии первые шаги Москов-гяуров, коих имя, дотоле с презрением, но тогда уже с досадой и ужасом, они произносить начинали. Более десяти лет не дерзали они воевать против России; но когда низложенный под Полтавою, бешенный Карл XII спасся в Бендеры, когда всегдашний недруг наш, Крымский хан, Девлет-Гирей, начал иметь сшибки с приближающимися войсками нашими, то, возбуждаема будучи ими, Порта решилась, в конце 1710 года, объявить войну.

Достопамятный и неудачный поход 1711 года в Молдавию есть событие неприятное для самолюбия народного; но оно доказывает, какое уважение и страх Петр Великий успел уже поселить во врагах своих. Стесненный между неприятельскою армиею и Прутом, обложенный со всех сторон, как сетями, сей лев

казался им еще ужасен. Первое слово о мире принято с удовольствием: не смея коснуться его, с радостью смотрели они на его удаление. Но мир, заключивший сию вторую войну с турками, лишил Россию плодов, приобретенных первою: Азов уступлен им обратно, и разрушен недавно построенный мол в Таганроге.

Двадцать пять лет продолжался мир сей. Между тем Петра Великого не стало; но преобразованная им Россия, по направлению, им данному, быстрыми шагами пошла к просвещению. Воцарилась суровая Анна Ивановна, или, лучше сказать, временщик её, Бирон; при нём, в государственном управлении и в войске первые места заняли иноземцы. Одни, считая себя наставниками, призванными образовать младенчествующий народ, с гордым презрением смотрели на грубые нравы его и, думая исправлять их строгостью, безжалостно Россию терзали; другие, вводя дисциплину в войске, начали ломать русские кости, чтобы дать им немецкую прямизну. Всё безмолвно покорствовало в верности к престолу и к священной крови Романовых, в жилах Императрицы текущей. Только один Миних из всех

чужестранцев сих думал о славе, и то о собственной: ему хотелось войны с турками. Поход Крымского хана, Каплан-Гирея, к Кубани, чрез земли, России принадлежащие, нарушение тем последнего трактата, разбитие хана нашими войсками, посланными препятствовать ему, и неудовлетворительные ответы султана, всё это подало повод к войне, которой противился канцлер Остерман; но мнение Миниха превозмогло.

В первый раз после ига татарского, русские войска, в 1736 году, вошли в Крым под предводительством искусного, к сожалению, нерусского полководца Миниха. Упорство и неустрашимость сто десятитысячной турецко-татарской армии, защищавшей хорошо укрепленные линии Перекопа, не могли остановить их; они видели пред собою неприступное убежище скрывающее толпы злодеев, со столь давнего времени и так часто опустошавших пределы России, разбили армию, пробились сквозь укрепления и кипя местию, кинулись во внутрь полуострова. Ужасов сей истребительной войны нельзя представить; казалось, что время нимало не изгладило из

памяти бедствий, некогда татарами нашим предкам нанесенных; казалось, что душа бесчеловечного Бирона, тогда в России повелевавшего, перешла в каждого из её воинов; цветущий Крым они залили кровью. Погибли тогда в огне и великолепие Бахчисарая, и богатства Козлова: сады, мечети, бани, равно как и незащитные жители, всё предавалось разрушению или смерти. Наделав много шума, пролив много крови, Миних к осени должен был опять тою же дорогою выйти из Крыма.

В следующем 1737 году Миних пошел к Очакову; а другой, также иностранный генерал, Ласси вступил в Крым другою дорогою, идя вдоль Азовского моря чрез узкой Ениченской пролив и Арабатскую косу или стрелку, пока хан стоял и ожидал его у Перекопа. Арабатская коса идет между Азовским морем и Гнилым или Сивашским; она имеет более ста верст длины, а ширины от двух до четверти верст, или и менее, и на конце её построена, для защиты Крыма, крепость Арабат, которая дает ей свое имя. Ничего не могло быть от важнее сего предприятия; верно, Ласси знал,

что он ведет людей, которым стоит показать опасности и приказать их преодолеть, чтобы быть уверену в их повиновении. Цель нимало не соответствовала дерзости предприятия, ибо удержаться в Крыму намерения не было, повторены только ужасы предыдущего похода: восемьсот селений и многолюдный торговый Карасу-Базар сделались жертвою пламени.

В 1738 году русские вошли в Крым в третий и в последний раз, опять через Перекоп, с тем же самым генералом Ласси; но едва сделали три перехода вперед, как должны были воротиться, чувствуя всякого рода недостатки в краю, ими же самими разоренном. Миних сим временем обратился совсем в другую сторону: взявши Очаков, он занял Хотин и Яссы, и потом осаждал Бендеры. Один Керченской полуостров, уголок забытый, не участвовал тогда в бедствиях, весь Крым постигших.

В конце следующего 1739 года приступила Россия к миру, между Австрией и Турцией заключенному; всё, что взято, отдано опять назад. Тем и кончилась сия бесчеловечная, бесполезная и бесславная война, достойная вре-

мен людоеда Бирона. Не будем слишком строго судить воинов наших; вспомним, что в то время почти все народы так воевали. Скорее должно обвинить всех генералов, сих мнимых наших просветителей и победодавцев, всех этих Штокманов, Штофельнов, Шпигилей, Левендалей, Брендалей, Кайзерлингов и Ферморов, коих имена являются в тогдашних реляциях и посреди коих заметно одно только русское имя, Аракчеева! Устрашая русских солдат более, чем неприятели, им легко бы было удержать их от жестокостей, но, может быть, не без удовольствия смотрели они на остервенение их и тешились отчаянной борьбой двух храбрых народов, как медвежьей травлей. Кого в сем случае варварами назвать можно?

Мы приблизились к эпохе блистательнейшей в истории нашего Отечества. Божество, во образе женщины, воссияло в 1762 году на Российском престоле, и потом, в продолжении тридцати пяти лет, лило на народ, ему поклоняющийся, просвещение, счастье и славу. В золотой век Екатерины Второй русские решительно взяли верх над турками.

Первая война с ними началась в 1768 году; предлогом к оной служило им преследование нашими войсками польских конфедератов до Балты, города, Турции принадлежащего. Мы слишком удалились бы от предмета своего, если б позволили себе, хотя вкратце, описывать походы Румянцева в Молдавию и за Дунай. Скажем только, что кампания 1770 года открыта была блестящим образом: победою его, 21-го июля, при Кагуле, морского победою Орлова, 24-го июня, при Чесме, и взятием неприступной тогда крепости Бендер Паниным.

В 1771 году другая армия, под предводительством князя Василия Михайловича Долгорукого, названного за то Крымским, заняла полуостров сего имени. Она вошла двумя отделениями: первое, не встретя сопротивления, переправилось через Еничевской пролив и прошло Арабатскую косу, а второе должно было опять пробиваться через линии Перекопа.

С удивлением увидели жители Крыма среди себя мирными гостями тех самых воинов, которые с небольшим тридцать лет пред

тем, казалось, хотели оставить в цветущем их крае одни могилы и развалины. Так времена и люди переменились. Такое поведение имело последствия самые выгодные для России. Татар легко убедили сбросить с себя иго Оттоманской Порты, признать над собою покровительство России и свободно пользоваться правом самим избирать своих ханов, из семейства, триста лет ими владеющего. При радостных восклицаниях и с большим торжеством выбрали они и посадили на престол молодого Сагин-Гирея, которого судьба назначила быть последним ханом Крымским.

В сем самом 1771 году древний Боспор или Тмутараканское княжество коего, имена уже давно были забыты в местах, их носивших, увидели опять, после шести с половиною веков, прежних властителей своих, русских. Отряд их, под начальством генерал-майора Николая Владимировича Борзова, приблизился к Киммерийскому проливу и завял на берегу его две крепостцы весьма не важные, в десяти верстах одна от другой отстоящие, Керчь, старую, и Еникале, новую крепость, как имя сие по-турецки означает. Подле каждой из

них форштат, из шести или семи татарских хижин состоящий, и вокруг — бесчисленное множество могил и курганов. Вот в каком виде предстала им тень Боспорского царства.

Между тем беспрестанные успехи Румянцева несколько лет с ряду, совсем в другой стороне, утомили турецкое правительство и заставили нового султана, Абдул-Гамида, приказать верховному визирю своему заключить мир, во что бы ни стало. Мир сей подписав 10-го июля 1774 года победоносною рукою Румянцева в палатке сего великого полководца, в лагере при деревне Кучюк-Кайнарджи. Условия его были умереннее, чем турки ожидать могли. Возвращение совсем уже разоренного и почти не существующего Азова, признание независимости Крымских ханов, присоединение в России Керчи, Еникале и Кинбурна[88], вот главные статьи.

Почему Императрица довольствовалась тогда приобретением сих незначительных мест, мы того сказать не можем; была ли она, подобно Петру Великому, убеждена выгодами положения Керчи для торговли? Видела ли она в Боспоре древнюю собственность Рос-

сии, которую возвратить надлежало? Или, что всего вероятнее и что впоследствии времени опыт показал, она тогда уже имела намерение, чтобы, схватив с обоих концов последний обломов огромного, некогда наше Отечество подавлявшего и давно уже погибшего, Батыева царства и отделив его от турок, после, при первом удобном случае, без усилий, приставить его в России?

Промежуток времени между первою и последнею Турецкою войною при императрице Екатерине миром назвать невозможно. Едва прошел год после заключения Кайнарджийского трактата, как уже верховный визирь начал с негодованием говорить русскому послу, князю Репнину, об уступке, сделанной Турцией, и изъявлять надежду на непродолжительность мира. С тех пор были непрерывные покушения турецкого правительства, чтобы восстановить власть свою в Крыму; тайно им подосланные старались взбунтовать татар. Селим-Гирей, родственник хана, явился в Бахчисарае и, по бегстве сего последнего в Каффу, сел на его престоле, поддержанный возмущившимся народом. Гарнизоны,

оставленные в Кинбурне и Керчи, и другие войска, вблизи находившиеся, заняли полуостров, и всё пришло в прежний порядок. Показался турецкий флот, начались и неприязненные действия, был уже явный разрыв; но старанием французского посланника, Сен-При, в 1779-м году, кое-как поладили, и новый договор подтвердил все прежние.

Еще за год до того явно обнаружилось намерение Екатерины овладеть Крымом и всем пространством, между им и Россией находящимся. Посреди голой степи, на земле, еще трактатами нам неуступленной, в виду ногайцев и всё еще не совсем покорной Запорожской Сечи, во сто верстах от Перекопа и въезда в полуостров, при Днепровском лимане, её повелением родился в 1778 году и вскоре вырос, новый город с большою крепостью, адмиралтейством и верфью[89]. Он назван древним именем *Херсона*, в память ли прежнего Херсона, в котором крестился Св. Владимир и коего развалины видны близ Севастополя, или, может быть в предзнаменование владычества России над Таврическим Херсоном.

Час сей, наконец, наступил. Русские войска почти не выходили из Крыма; в начале 1783 года князь Потемкин отправился туда сам, и волею, или неволею, убеждениями, или угрозами, склонил Сагин-Гирея[90] отказаться от ханского своего престола в пользу Российской Императрицы, которой именем Потемкин и вступил во владение полуострова. Порта замолчала тогда, но начала приготовляться в войне.

Поспешим окончить первую часть сей исторической Записки, в коей часто поневоле должны мы были касаться до происшествий, не прямо к Керчи относящихся, но которые, однако же, на судьбу сего места имели великое влияние. Что остается сказать нам? Крым присоединен навсегда к России, ему возвращено классическое название Тавриды, долго потерянное им во времена варварства; грубые татарские имена городов его, Козлова, Акмечети, Ахтиара и Кяффы, заменены греческими, для слуха приятными, названиями: Евпатории, Симферополя, Севастополя и Феодосии. Он обращен в губернию, в коей введен гражданский порядок, основанный на общих

законах, в государстве существующих; разнообразным жителям его поданы способы к просвещению и обогащению, и если до сих пор они не умели тем воспользоваться, то не вина правительства; по крайней мере, нетревожимые в делах вероисповедания своего, необремененные налогами, ведут они спокойную и ленивую жизнь, под сенью кроткой державы, еще более милосердой в покоренным народам, чем к наследственным.

Здесь нельзя прейти молчанием достопамятный для Крыма 1787 год, в котором осчастливлен был он посещением новой своей Владычицы. Много было тогда говорено и писано о сем путешествии, напоминающем времена баснословные; здесь, до сих пор, оно служит эпохой: такой-то, говорят, родился, такой-то женился после, а такой-то до появления здесь Северной Царицы. Старики и поныне с восторгом рассказывают детям и внукам, как они видели светозарную женщину, окруженную царями и вельможами, величественно плывущую по Днепру в позлащенной яхте, как народы из дальних мест бежали к ней на встречу и на поклонение, как города и села с

жителями минутно являлись на её пути, чтобы, среди пустыни, развеселить её взоры, как всё устроено было для изумления. Далее Феодосии она не поехала, и во всём Крыму одна только Керчь осталась во мраке, Керчь, хотя не важное, но самое первое её завоевание и ключ, открывший ей Тавриду!

Сей 1787 год памятен в Новороссийском краю еще по двум происшествиям. В течении его превратилось существование Запорожской Сечи и уничтожилось самое имя запорожцев. Сие противонатурное общество дает понятие, что такое была Спарта в древности, в которой любителям её всё кажется прекрасным: оно не могло быть терпимо, когда окрест его везде начиналось устройство. С начала отобраны у него все селения, лежащие вправо от Елисаветграда, пониже Кременчуга, по Днепру, куда отсылались те из запорожцев, которым позволялось жениться, и одно из сих селений, *Половица*, сделано губернским городом и названо Славою Екатерины; потом построено несколько укреплений, которые, удерживая буйных и мало-помалу стесняя, лишали их всей отважности. Нако-

нец, изречено повеление... жениться сим, добровольно безбрачным, и идти спокойно населять землю Кубанскую, между рекою сего имени и Азовским морем, или Азиатский Боспор, который, вместе с Крымом, в 1783 году, поступил во владение русское и по удалении ногайцев совершенно опустел. Противиться было невозможно: они с видом благодарности должны были принять дарованные им земли, леса, соляные озера, рыболовли, одним словом, все угоды изобильной страны, которые, конечно, не могли заменить в глазах их потерянной прежней вольности. Иные из них поудалее, вспомнив, как некогда предшественники их, спускаясь в непрочных ладьях по Днепру и чрез бурные волны всего Черного моря, отваживались брать приступом Синоп, решились убежать к туркам чрез все опасности, и там, за Дунаем, поселиться близ неверных. Оттуда по одиночке, или малыми партиями, выходят они в Валахию и Молдавию и безнаказанно грабят и убивают жителей сих несчастных княжеств, не имеющих ни войска, ни полиции, и под словом запорожец разумеют там ныне всякого разбой-

ника. На Кубани это название забыто, и запорожцы переименованы в войско черноморских козаков, весьма неправильно, нам кажется: ибо земли их только в одном месте прилегают к Черному морю, и то на пространстве 25 верст. В награду за услуги и мужество, оказанные ими и кошевым их атаманом, Чепегою, при взятии укрепленного острова Березани, против Очакова, присоединено к их нынешнему имени черноморских козаков название *верных*, которого, кажется, они стараются быть достойными.

Последнее важное происшествие сего 1787 года было внезапное нападение турок на Кинбурн, поражение, претерпенное ими от Суворова и, следовательно, начало войны. Продолжение её и конец суть предметы, совсем посторонние Керчи: довольно будет, если скажем, что для русских победа следовала за победой, крепость падала за крепостью, и что Ясский мир, в 1791 году, с той стороны еще более распространил владения наши.

Недолго после того жила Благодетельница России. Годы бегут за годами, и много прошло уже времени со дня её кончины. С тех пор

Россия имела новые чрезвычайные успехи во всех родах: её воины с победою входили в столицы Италии, Германии и Франции, много было шуму, много славы, много происшествий. Всё это между современниками изглаживает память о Екатерине; свидетели и участники её великих деяний один за другим уходят в землю; тех, коих смерть еще пощадила, слушают новые поколения с равнодушием или презрением, полагая, что виденное ими превосходит рассказываемое, и чтобы с участием слушать и вещать о ней, скоро останемся только мы, любезные ровесники, мы, у которых конец её необыкновенно — благополучного царствования и первоначальные, блаженные дни младенчества нашего, сливаясь вместе, остались в памяти, как прелестный сон, которого изъяснить невозможно.

Так, в нас, по крайней мере, неблагодарность к ней будет непростительна; особенно же здесь, посреди этого обширного пространства земли, как бы от века обреченного запустению и варварству, где дотоле бродили одни дикие племена скифские, кочевали попеременно печенегы, козары, половцы, монголы

и татары, где торговля и просвещение не во многих местах иногда могли прислоняться, и вскоре потом были изгоняемы, в этой Новой России, где всё говорить об ней и о её мудром правлении, в краю, завоеванном мечем её Румянцевых, Суворовых, Каменских и Кутузовых, населенном, обстроеном своенравною, но сильною волею её Потемкина, кто из нас может здесь вспомнать об ней без умиления и восторга, и кто осмелится осудить или осмеять их? Существо чудесное! Великий муж и женщина чувствительная, она умела соединять всю силу, всю твердость ума, отличающих один пол, с слабостями, которые мы любим находить в другом, и которые, по воплощении своем, сия неземная осуждена была приносить в дань миру сему, в который она, для счастья людей, была ниспослана.

Если наши пламенные желания нас не обманывают, то великий дух её не оставлял ни её семейства, ни страну и народ, ею облагодетельствованный, и перешел весь во младенца, пред самую смертью её, от её сына рожденного. Он явился в мире, когда она его покидала; последние лучи сего заходящего светила оза-

ряли колыбель его, и она нарекала его именем, любезным для русских воинов, и морских, и сухопутных. Теперь он царствует над нами. Будем же молить Всевышнего, чтобы он следовал по стопам её в государственном правлении, не искал для себя иных образцов, чтобы из созданного ею сохранил всё уцелевшее и восстановил всё разрушенное, чтобы, подобно ей, всегда любил народ русский и, подобно ей, был всегда им обожаем, и как она, царствовал долго, счастливо и славно!

II

Желая представить положение, в котором нашли мы маленький город Керчь, необходимо нужно будет нам означить наперед перемены, последовавшие с ним с того времени, как он вновь поступил во владение России.

Когда сие место в 1771 году заняли русские войска, и потом оно в 1774 году, по Кайнардскийскому миру, нам совсем было уступлено: то, как первое завоевание, оно много привлекало на себя внимание правительства. Не принадлежали тогда России ни Крым, ни ны-

нешний Мелитопольский уезд (тогда жилище кочующих ногайцев), ни даже Тамань, почти в виду Керчи стоящая; другого сообщения с Россией сие новое владение тогда не имело как чрез Таганрог и Азовское море. Находившийся в то время с флотом в Архипелаге, граф Орлов-Чесменский, предложил поселить тут более тысячи семейств греков-островитян, которые, боясь ужасов турецкого мщенья, молили его принять их под свое покровительство и увезти с собою. Такое предложение не могло быть отвергнуто: спасти от сабли Магометанской несчастных единоверцев, населить ими отдаленный и отделенный от нас край, — и польза и справедливость того требовали; к тому же воскресение Греции было всегда любимую мечтою Императрицы, как оно и доньне еще есть заблуждение умов самых просвещенных.

Щедрую рукою посыпались милости на сих пришельцев: двадцать тысяч десятин удобной земли, соляные озера, многочисленные привилегии и права и тридцатилетняя льгота, и всё это только в пользу людей одной греческой нации, должны были их утешить в

новом отечестве за потерю оставленной ими родины. Соземцы их, в Крыму живущие, татарами как жида христианами, пренебрегаемые, и также, как жида христиан татар обманывающие, толпами из всех концов полуострова потекли в сие убежище, в сию новую Элладу. В самое короткое время народонаселение в Керчи и Еникале возросло до шестнадцати тысяч душ, сильный гарнизон умножал многолюдство, и сии две греческие колонии представляли вид деятельный и веселый. До сих пор довольно свежие ямы, где видны остатки камней, служивших основанием домов, показывают, как далеко простиралось заселение двух городов.

Сие цветущее состояние не было продолжительно. Как скоро Крым решительно присоединен к России, то греческие выходцы из разных городов и селений его поспешили обратно на прежние свои пепелища: там представлялось им гораздо более удобств обманывать и грабить татар с безопасностью. Керчь и Еникале не опустели еще, но почти на половину уменьшилось число их жителей.

Сильнейший удар благосостоянию сих го-

родов был нанесен двадцать лет позже. Прежде нежели дойдем мы до того, должно объяснить начало величайшего, богатейшего, торговейшего из городов Новороссийских, почти столицы всего края, Одессы. Контр-адмиралу Рибасу, искусному моряку, тонкому и пронырливому итальянцу, удалось с гребным флотом, которым он начальствовал, взять в 1790 году турецкую крепостцу Гаджибей. Это было не что иное, как с небольшим числом разбросанных вокруг его землянок маленький шанец в степи, над крутым берегом Черного моря, на половине дороги между Бугским и Днестровским лиманами. Кажется, завоевание это было единственный трофей Рибаса; но как иностранцы всегда у нас мастера выставлять в большом виде содеянное ими и украшать истину, то подвиг г. Рибаса почтен чудесным.

Незадолго перед сим чудесным подвигом начали строить еще новый город. Когда после долговременной осады взят был приступом Очаков 6 декабря 1788 года, и разрушенные огнем и ядрами стены его потонули в крови жителей, то победитель его князь Потемкин

захотел в память этого великого дня и в честь святого чудотворца Николая, покровителя русских солдат, в праздник коего они Очаков штурмовали, поставить новый город, не на дымящихся развалинах прежнего, а в некотором от него расстоянии. Основателем взялся быть Фалеев, простой гражданин, под покровительством Потемкина разбогатевший в подрядах: он на постройку Николаева истощил всю собственную казну свою и за то похоронен в соборной церкви сего города.

Князь Потемкин не мог предвидеть, что возникающий городок Николаев, в 60 верстах от любимого его Херсона (в котором уже сделаны были купеческий и военный порты и которому в обширных замыслах своих назначил он быть столицею Южной России) скоро затмит его блеск и будет первою виною его падения. Но как место, где находится Николаев, при устье судоходной реки Ингула и соединения лиманов Днепровского и Бугского, гораздо удобнее для строения и хранения кораблей, то тотчас после смерти Потемкина и переведено туда главное управление Черноморского флота.

Главным начальником Черноморских портов и флота назначен был доблестный Мордвинов, честь имени русского, который прежде делами, ныне же советами с пользою ревностно служит государству. Он сделался вторым или, лучше сказать, настоящим основателем Николаева: в руках такого человека не мог сей город не увеличиться, не усилиться, не украситься. Между адмиралами русским и неаполитанцем было какое-то соперничество, какие-то несогласия. Дело странное! Иностранцы в России не любят, когда русские имеют какие-нибудь блестящие успехи. Рибасу стало завидно: он начал выдумывать, как ему помрачить Мордвинова и, наконец, затеял третий большой город.

Верстах в осмидесяти от Николаева и с небольшим в сорока от теперешней Одессы, на пересохшем ныне заливе Тилигуле и речке сего имени, в древности был маленький греческий город Ордиссос или Одиссос, построенный в честь Одиссея-Улисса, в долгих странствованиях своих будто бы и сии места посетившего. Сего было достаточно, чтобы пленить, даже в старости, еще пылкое и цве-

тущее воображение Императрицы; Рибас знал это и поспешил предложить основание Одессы на том месте, где был шанец Гаджибей и которое было свидетелем его славы[91].

В 1794 году указом велено заложить уездный город Одессу и позволено иностранным купеческим кораблям приходить к его порту с товарами. Такими портами усеяны все берега Черного моря: где ни приткнись, везде можно сделать ему подобный, открытый со всех сторон и для всех ветров. Какая мысль была у Рибаса, Бог знает; неужели одно удовольствие обманывать? Между тем инженерному генералу Де-Волану, строившему по новой границе на Днестре новую линию крепостей, приказано построить также крепость и в Одессе, хоть город сей в некотором расстоянии от Днестра находился. Со всеми средствами, которые были дозволены Рибасу, со всеми его усилиями, в два года едва могло накопиться жителей тысячи полторы, и всё почти одних бродяг; впрочем, Рим и Венеция так начинались.

При наследнике Екатерины Второй Новороссийский край был совсем почти заброшен:

из трех наместничеств, Екатеринославского, Таврического и Вознесенского, его составлявших, сделана одна Новороссийская губерния, коею несколько времени управлял военный губернатор Бердяев. Он делал представление между прочим о том, чтобы все казенные здания в Одессе и даже землю, на которой городок сей был расположен, продать с публичного торга, и о том в Совете было рассуждаемо. Впрочем, предложение сие не столь безрассудно, как иные думают.

С восшествием на престол покойного государя Александра Павловича 1801 году, просияло небо для Великой и Малой, для Старой и Новой России. Время блаженное, радостное утро столь бурного дня и столь пасмурного вечера! Нет, подобного тебе нам никогда не видать! Молодые министры молодого царя вместе с ним вскипели почти невиданным дотоле желанием блага Отечеству и благородный жар свой сообщили всем сословиям народным. Но если молодость есть время успехов и счастья, то она же есть и время заблуждений.

Между сими министрами обширными све-

дениями, благородными правилами, острою памятью, редким патриотизмом и трудолюбием отличался граф Кочубей, в такие лета, в какие немногим позволено стать на высокую степень. Он в самой первой молодости был посланником в Константинополе, знал хорошо Турцию, и когда управлению его вручено Министерство Внутренних Дел, то он обратил особое внимание на провинции, сопредельные с областями, Турции принадлежащими. Его рано созревший ум постиг выгоды, какие целое государство получать может от черноморской торговли и вообще какое влияние на будущую участь России иметь должны образование и благосостояние края сего. Он умел объяснить всё это Императору, и положено довершить начатое Петром и Екатериной.

К сожалению, кажется, ошиблись тогда в средствах в достижению предположенной цели. Учреждение трех главных портов на Черном и Азовском морях, Одессы в 1803, Феодосии и Таганрога в 1804 годах, назначение в них чиновных и доверенных градоначальников, хотя и увенчаны были быстрыми успехами, но сие служит только доказательством

взаимной потребности народов обменивать произведения земли своей, и как торговля умеет преодолевать препятствия, поставляемые ей природою: ибо мы смело можем сказать, выбор мест был весьма ошибочен.

Природа сама указывала тогда на Очаков и Керчь. Очаков близко от Одессы, в равном с нею находится расстоянии как от западных и южных губерний Российских, так и от Константинополя, но имеет пред нею преимущество быть на широком устье Днепра и Буга вместе: когда каналом будут обходиться пороги первой из сих рек, то даже из Смоленской губернии могут приходить к нему суда, которые далее к Одессе по Черному морю идти не могут. Чрез лиман имеет Очаков прямое, близкое и безопасное сообщение с Таврическою губерниєю, а уже о преимуществах его рейда пред одесским и говорить нечего.

Одесса, как мы выше сказали, стоит на открытом море; искусственный порт её, с чрезвычайными издержками сделанные два мола, существуют только с небольшим двадцать лет, а уже пространство между молами и вокруг их заносится песком и илом и с каждым

годом мелеет. Время покажет необходимость бросить Одессу или употребить миллионы на продолжение молотков.

Первым градоначальником Одессы был дюк-де-Ришелье. Этого человека можно назвать цветом и перлом французских эмигрантов: он был гораздо просвещеннее других знатных земляков своих, душа его пылала каким-то необыкновенным чистым огнем, он был способен чувствовать энтузиазм, искренно привязался ко второму отечеству своему, России, и умел привязывать к себе русских. Без семьи, без родства, он полюбил маленький новый городок, порученный его управлению, как нежное дитя, которое надлежало ему лелеять, растить и воспитывать. Способы даны ему были чрезвычайные, для умножения народонаселения дозволены ему все средства, сотни тысяч рублей мог он употреблять, не давая никакого отчета; одним словом, доверенность к нему даже самого царя была неограниченная, и, к чести его сказать должно, что он никогда её во зло не употреблял.

Отверстие, сделанное произведениям при-

роды и рождающейся промышленности, которые дотоле накоплялись, пропадали и не имели, куда вытекать, оживило всю юго-западную Россию. Помещики её и крестьяне трудолюбивее принялись за хлебопашество, видя, как часто из погорелых от солнечного зноя мест требовалась пшеница. Всё способствовало увеличению и обогащению Одессы. Любезный, снисходительный характер её градоначальника, этот привольный род жизни, который умел он завести, совершенное отсутствие этикета, неуместного в торговом городе, среди степи рождающемся, всё привлекало не только иностранцев, но и многих наших и польских богачей. Надобно сказать правду: свой своему поневоле друг, и французы в Одессе пользовались особенным покровительством и чрезвычайно там поддерживались. Тысячи мелочей, предметы роскоши и потребности прихотей украсили едва построенные лавочки; везде французские вывески, французские моды, и посреди их полудикие жители, азиатские наряды и обряды, противоположностью своею еще более поражали. У нас явились Бордо и Марсель; кто не знает,

какое у нас пристрастие во всему французскому, даже после всего, что было с нами, и потому-то Одесса вошла в большую моду.

Такие необычайные успехи и в столь короткое время заставляли ожидать еще важнейших. Надобно было не одним городом ограничить счастливое управление дюка-де-Ришелье, а распространить его на весь край, и он сделан генерал-губернатором Новороссийских губерний. Но Одесса осталась навсегда исключительным предметом его неусыпных попечений, а остальное как будто для неё только существовало.

Другие два градоначальства, Феодосийское и Таганрогское, остались независимыми. Между Таганрогом, находящимся близ Великороссийских губерний и отдаленной от него Одессой, соперничества быть не могло: один порт не мог сделать подрыва другому, а только невольно рождалась зависть в жителях Таганрога при виде быстрых успехов Одессы. Одна только Феодосия, отовсюду удаленная и не имеющая ничего, кроме произведений Крыма на обмен привозимых к ней товаров, страдала от совместничества с другими пор-

тами. Вообще же между градоначальниками, не зависящими ни друг от друга, ни от генерал-губернатора, было соревнование, которое имело весьма полезное влияние на участь вверенных им городов.

Каждое из сих градоначальств имело в ведении своем не один только портовый город, но и большую еще дистанцию вдоль морского берега или литтораль, где устроены были карантинные, таможенные заставы и кордоны карантинной и таможенной стражи. В дистанцию Феодосийского градоначальства вошли сначала маленькие города Керчь и Еникале и оставались до 1812 года, когда Таганрогский градоначальник, Пайков, как попечитель торговли по Азовскому морю, убедил правительство, чтобы, по положению их при входе сего моря, они в его управление поступили.

Учреждение градоначальств и трех портов было пагубно для Керчи. Прежде того жители его поддерживались несколько заграничной торговлей и была в нём некоторая промышленность. Генерал Феньш, первый феодосийский градоначальник, вероятно, большой

нелюбитель древности, разрушил стены и башни Феодосии, еще генуэзцами построенные, которые время и варвары пощадили, и потом ополчился и против Керчи. Он выпросил указ, чтобы запретили там всякую выгрузку товаров и совершенно уничтожили карантин и таможню, там существующие. Видя разорение города своего, большая, лучшая часть жителей, решила его оставить; немногие перешли во враждебную, соседственную Феодосию, откуда удар им был нанесен, а почти все, имеющие капиталы и опытность в торговых оборотах, переселились в Таганрог и Мариуполь, где и донныне находятся. Всё, что осталось, можно назвать оборышью: люди бедные, грубые, числом в обоих городах не более полутора тысяч, живущие одной только рыбной ловлей в проливе, пересушиванием её в балыки, развозом их по всем ярмаркам Южной России и отдачей в наймы пожалованной земли, из коей большая часть остается необработанною.

Возгоревшаяся в 1806 году война с турками должна остаться памятна для Керчи. Здесь снарядилась и отсюда отправилась морская

экспедиция к Анатолийским берегам, против Требизонда. Вслед за тем прибыл сюда, в 1807 году, генерал-губернатор Ришелье с отрядом войск, переправился чрез Босфор и подступил к турецкой крепости Анапе, за Кубанью, у подошвы Кавказских гор лежащей. Но он нашел ее уже занятою взявшим ее за несколько дней до того со стороны моря начальником Черноморского флота, маркизом де-Траверсе, и потому вступил в нее беспрепятственно. Лавры, похищенные маркизом у дюка, должны были охладить сих господ французов друг к другу; но душа последнего была превыше зависти. Он желал быть полезен, и обозрение Керченской бухты подало ему самые счастливые мысли. Поход его в Анапе имел для Керчи важные последствия, как мы ниже сего увидим.

Достоверно мы не могли дознаться, когда построена Анапа. Она из четырех турецких крепостей, лежащих вдоль восточного берега Черного моря, есть крайняя и ближайшая к русским владениям. Зачем они тут? Как они тут? Бог знает. Правительство наше мало на них обращало внимания; около них турецко-

го ничего нет; они на земле мнимых данников и явных и тайных врагов наших, горских народов, которым чрез них турки подвозят орудия и всякого рода товары и припасы. В 1701 году брал уже Анапу граф Гудович, и в тот же год, по трактату, отдали ее обратно; в 1807 году опять овладел ею маркиз де-Траверсе, как мы выше сказали, потом приказал взорвать её укрепления, бросил ее и удалился. В 1809 году без сопротивления занял ее генерал Панчулидзеv, а дюк де-Ришелье ходил далее и взял другую крепость, Суджук-Кале. В 1812 году, при заключении Бухарестского мира, повторена прежняя оплошность, и они возвращены Турции. При нынешних обстоятельствах чувствуют сделанную ошибку. Впрочем, крепости сии вредны в мирное время, а в военное совсем не опасны: генералы наши ходят брать их шутя.

Теперь нам предстоит дело весьма затруднительное. Чтобы объяснить причины возрождения Керчи, надобно наперед рассказать повесть о двух любовниках. Герой и героиня сего романа суть лица столь необыкновен-

ные, что мы не знаем, достанет ли искусства нашего для изображения их. Сие однако же неизбежно. И так мы начнем с героя.

Один молодой генуэзец, по имени Скасси, за какие-то мерзкие шалости, говорят иные, за воровство, был выгнан из дому старшего брата своего, искусного врача. Несколько времени шатался он в Марсели, в Ливорне и других портовых городах Средиземного моря и исправлял там самые низкие должности. Но он был сметлив, проворен, весьма не глуп, успел узнать все состояния людей и наблюдательно смотрел на слабости человеческие; впоследствии времени всё это много в успехах его послужило. Вдруг угнал он, что в каком-то русском, новоотроющемся приморском городе Одессе охотно принимаются всякие бродяги; в предприимчивой голове его родились тысячи замыслов, тысячи надежд, часть коих, к сожалению, время оправдало. Он захотел испытать счастья и посмотреть, нельзя ли будет, престав слыть плутом, не преставать обманывать людей и самому попасть в люди. С первым отплывавшим кораблем он пожаловал в Одессу; там, сначала, в

каком-то трактире вступил он в скромную должность маркёра (это все жители Одессы помнят) и печально начал считать били, в уповании, что со временем будет считать сотни тысяч собственных рублей. Но Фортуна скоро ему улыбнулась; он возвысился в достоинстве и поступил счетчиком в контору торгового дома Рено. Отсюда ему уже повезло; далее и более, наконец узнал его сам градоначальник Ришелье, оценил его достоинства и начал употреблять для тайных поручений. В управлении люди всякого рода бывают нужны.

Как бы ни обширны были намерения господина Скасси, мог ли он тогда думать, что он сам попадет в создатели градов? Чего на Руси не творится! Когда в 1809 году Ришелье ходил к Суджук-Кале, то взял его с собою. Тут заметил он рождающуюся взаимную нежность между генуэзцем и одной девой гор, бывшей тогда уже женою русского коменданта в Анапе. Желая завести с абазийцами сношения благоприятные для России, ласковым обхождением привлечь их на нашу сторону и в Керчи открыть новый источник богатства, он по-

лагал, что можно страсть сих молодых людей употребить, как полезное к тому орудие. Любовь должна была завязать узел, который бы впоследствии времени соединил просвещение с варварством, образованные народы с дикими. Мысль прекрасная, достойная рыцаря и француза. Исполнение её не замедлилось; но, прежде нежели о том будем говорить, должно на время оставить Скасси и обратиться к его красавице.

Молодая черкешенка, взятая в плен, привезена была, почти в детстве, к первому губернатору Тавриды, В. В. Каховскому, богатому, старому и холостому. Она была редкой красоты, коей остатки и доньне, в немолодых её летах, еще видны. Прекрасное дитя природы, она усладила, она очаровала старость губернатора; он окрестил ее и посвятил в свои наложницы: дело не совсем христианское; но любовь заставляет всё забывать, и стариков еще более, чем молодых. В упоении ею, Каховский прожил несколько лет и, изнуренный её восторгами, умер в объятиях своей возлюбленной, оставя ей большую часть всего своего имущества.

Привыкнув к европейскому образу жизни, сия женщина не забывала, однако же, родину, младенческие свои забавы, приюты гор, дикую и величественную природу Кавказа. Сделавшись свободною, поспешила она туда. Радость ожидала ее в кругу ближних; она хотела навсегда там остаться, но новые привычки манили ее обратно в Крым. Соседство мест доставляло ей удобность часто удовлетворять потребностям, так сказать, двойной своей натуры.

Такая жизнь сделала из неё существо совсем необыкновенное и оригинальное. Её высокий, стройный стан, как уголь черные глаза, смелые ухватки, странные выражения, показывають в ней горскую породу. Всё это, однако же, умеряется благопристойностью, вежливостью, светским навыком: она любит наряжаться по последней моде, являться в токах, в перьях. Но вдруг всё это бросает ей становится душно, она одевается черкесом, накидывает на себя бурку, вооружается пистолетами, садится на коня, скачет по полям и взбирается смело на крутизны. Говорят, что в прежние времена никто не обгонял ее на бе-

гу, никто не умел так искусно плавать, ни так метко стрелять из лука.

По преданиям древности, близ сих мест жили Амазонки. Она во всём на них похожа, но разнится тем только, что, подобно им, не выжигала сосцов своих и никогда не лишала себя возможности быть супругою и матерью. Напротив того, ей слишком знакома любовь; но не это романическое, платоническое чувство, которое в больших городах питается вздохами, надеждами, воспоминаниями: её ретивому сердцу нужно всё положительное, совершенно вещественное, её любовь есть пламенная, своевольная, даже бешеная и неразборчивая иногда в выборе предметов.

Сия мужественная жена давно уже известна всему Крыму. Заметив, что титулы крещеной черкешенки и вдовствующей любовницы губернатора Каховского не дают в нём больших прав на уважение, она задумала приличным супружеством и новым званием получить их. Дело было не трудное: с достатком и остатками красоты ей легко было сыскать седое и неимущее превосходительство. Она соединилась браком с генералом Бухоль-

цем, который был после назначен комендантом в Анапу, был там с нею во время похода Ришелье к Суджук-Кале, и тут-то в первый раз встретила она с г. Скасси.

Связи итальянца с черкешенкой не могли остаться тайной. Ришелье посредством сих связей захотел положить основание другим прочнейшим и полезнейшим, как мы выше сказали. Он предложил госпоже Бухольц путешествие в горы вместе с Скасси, а ему поручил разведать о народонаселении, о способах и о расположении к нам натухайцев и шапсухов, тех из кавказцев, которые живут ближе к Черному морю и, зная его сладкоречие, его искусство убеждать, велел ему представить им в самом лучшем виде торговые сношения с Россией. Перспектива путешествия на родину вместе с возлюбленным восхитила огненную черкешенку; но опасности, с тем сопряженные, были не по вкусу робкого любовника. Отказаться было стыдно: он дрожащею ногою вступил в стремя и пустился за нею.

Новая Ариадна, она не довольствовалась тем, чтобы дать только одну нить Тезею-Скасси: она с радостью сама хотела предшество-

вать ему в лабиринт Кавказских гор, среди бесчисленных кентавров-абазинцев, отклоня от него или разделяя с ним все опасности и готовясь, если нужно, погибнуть с ним вместе, être perdue ou retrouvée.

Живы и целы возвратились наши любовники чрез две или три недели. Скасси побывал в стране, куда далеко никто не заезжал, в стране чудес; было что ему порассказать; славные бубны привез он из-за гор. В Европе есть нация, самая любезная, самая умная, храбрая и блистательная, но люди сей нации, даже самые степенные, все более или менее подвержены легкомыслию и легковерию. Между ними одна только грубая ложь почитается ложью, а почти всякая другая — приятною выдумкой, украшением истины и дополнением, которое воображение делает к тому, что действительно существует. Ришелье был француз, с нетерпеливым удовольствием слушал Скасси, верил ему, а он... он врал беспощадно. В две недели он всё увидел, всё распознал, со всеми подружился, начал выдумывать какие-то мудреные названия мест и рек,

тяжелые для слуха и трудные для выговора. Как водится между иностранцами, бранил и порицал русских, сих варваров, которые не умеют взяться за этот прекрасный народ. Он брался менее чем в год завести с ним самые тесные сношения, даже отчасти образовать его и так, ничем, одними ласковыми речами и обманом покорить под ноги русского царя сих врагов и супостатов. Он и поднесь еще обманывает, но только не их.

Воротившись в Одессу, дюк де-Ришелье не переставал думать о новых планах своих: учреждение в Керчи порта и градоначальства, единственно с целью привлечь туда черкесов, познакомить их с нашими обычаями, сотворить им новые потребности, одним словом, сделать первый шаг в образовании и порабощению их, было постоянною его мыслью. Времена к тому не благоприятствовали: не только приводить в исполнение, но и предлагать ничего нового, полезного тогда было невозможно. Грозно близился 1812-й год; он наступил, и Россия любовью к вере, храбростью воинов, искусством старого полководца, непоколебимостью царя, единодушными уси-

лиями, неожиданным патриотизмом, пожарами и морозами победила всю Европу, под предводительством Наполеона на нее нахлынувшую. Сей 1812-й год был также бедствен и для Новороссийских губерний: жестокая зима, какой старожилы не запомнят, и моровая язва их опустошали; особенно от чумы пострадали Одесса, Феодосия и Керченский полуостров.

Но пока всё это происходило, пока Наполеон побеждал и был побеждаем, что делал Скасси? Переход не велик от Корсики к Генуе. Скасси попеременно жил то в Одессе, то в Анапе, собирал какие-то сведения посредством госпожи Бухольц в Кавказских горах (но сам туда более не дерзал, даже и с нею) и привозил сведения сии потом к дюку. Когда же Бухарестским миром в 1812 году отдана Анапа туркам обратно, и Бухольц сделан комендантом в Фанагории, то Скасси перевел главную квартиру свою в Керчь. Босфор разделял тогда постоянных любовников; как часто рассекали они волны его, спеша на свидание! Случалось иногда, что черкешенка, горя нетерпением, бросалась вплавь с северной

косы к Еникале (расстояние более шести верст), и Тезей с Ариадной обратились совершенно в Геро и Леандра.

Буря в Европе начинала утихать. Дюк де-Ришелье прежде вторичного занятия Парижа, заплатив более, нежели кто из иностранцев долг благодарности усыновившей его гостеприимной России, поспешил исполнить первые свои обязанности и служить отечеству и законному королю своему. Всем известно, какая блестящая участь ожидала во Франции сего достойного человека. На хвосте орла сего хотел взлететь и паук Скасси, но Париж не степи Новороссийские: много там есть людей, подобных Скасси и поудалее его.

Прежде нежели он туда приехал, посетил он отчизну свою, Геную. Тот, кто служил ему вместо отца, с нежностью в объятия свои принял блудного брата и велел готовить пир; блудный же брат был ни наг, ни бос: он одет был франтовски и гремел тяжелым кошельком с деньгами, разными средствами добытыми. С обыкновенным искусством своим представил он Новую Россию, Тавриду и Кавказ, как обетованные земли, где текут мед и мле-

ко, где богатая жатва ожидает руки искусных и просвещенных людей; уверил, что он там из числа почетнейших, и что ему предназначено сделать там славное себе имя. Но для великих предприятий потребны капиталы; он обещался удесятерить их, когда они ему даны будут. Словом, он успел совершенно ослепить доктора, расшевелить его честолюбие и вкратся в его доверенность, и когда сей бедняк проливал слезы радости, слушая его, гордился им, злодей! он замышлял его ограбить. Он выманил у него доверенное письмо к банкирам на неопределенную сумму и поспешил с ним в Париж.

Там нашел он покровителя своего Ришелье, который однако же во Франции ничего в пользу его сделать не мог. Скасси же сам успел там сделать следующее: захватить на имя брата 50 тыс. франков[92], вымучить у дюка разные проекты, им составленные, о Керчи и черкесской торговле, и рекомендательное письмо к графу Нессельроде.

С проектами, с рекомендациями и с деньгами явился он в северной столице в конце 1816 г. Россия так богата вновь приобретен-

ными землями, русские так много доселе заботились о чинах и так мало о сделании себе имени; иностранцы так у нас во всём предпочитают, что всякий сорванец, лишь бы был чужеземный, может смело выдавать себя за великого человека, предлагать разные перемены в управлении частей, ему вовсе незнакомых, браться за всё, и министерство, если не всегда будет с ним соглашаться, то со вниманием будет его выслушивать. Имея дар слова и местные познания о Керченском полуострове, Черномории и Кубани, Скасси начал толковать об них в гостиных, куда он втерся, и ему дивились, как человеку, открывшему совсем неизвестные земли. На уворованные у брата деньги он угощал, давал обеды случайным людям и прослыл богачом, который из Италии привез большие суммы для важных заведений в Южной России.

Надобно было такое усердие вознаградить. Менее нельзя было сделать, как пожаловать его прямо в надворные советники, причислить к. Иностранной Коллегии, назначить его каким-то комиссаром какой-то несуществующей еще торговли с Абазинцами, дать ему хо-

рошее жалованье и местопребыванием избрать Керчь, с правом уезжать оттуда как и когда ему угодно, по его усмотрению. Таким образом вступил он в службу в 1817 году.

Ему было нужно сделать первый шаг: он на нём не должен был остановиться. После долгого отсутствия воротился он, наконец, в Керчь и нашел там госпожу Бухольц, уже довольно состарившуюся, а мужа её комендантом в Еникале. Он предложил ей дружбу взамен любви, уже невозвратно в обоих погаснувшей Она была неспособна чувствовать и то и другое, а он лишь только употреблял их для своих видов. Послушная велениям дружбы, как некогда готовая всем жертвовать для любви, она неоднократно, не щадя покоя своего, в угождение ему ездила в самую глубь Кавказа. Старания тщетные! Препятствия остались непреодолимы: они в обычаях сих уединенных, храбрых и вместе с тем вероломных народов.

Такие препятствия разохотили бы всякого другого, но Скасси они устрашить не могли. Недостаток в настоящих успехах начал он заменять вымышленными, удвоил, утроил в се-

бе бесстыдство и более нежели когда пустился лгать. Ни разу не ступал он ногою за Кубань, а в донесениях своим министерству он успел уже в каком-то Пшаде, которого от роду не бывало, заключить торговый договор с Абазинцами, и господин Тет-Бу-де-Мариньи, французский вице-консул в Феодосии и приятель его, в четырех литографированных рисунках успел уже передать потомству знаменитые его подвиги: появление его между горцами, совещания с старейшинами, заключение этого Пшадского трактата и, наконец, первую мену товаров.

Хотя мы много совести и не полагаем в г. Скасси, но верно иногда ему было совестно и смешно, видя, как легко ему дурачить русских. Его смелость, его наглость возрастали с легковерием министерства. Впрочем и мудро было дознаться до правды. Кто мог изобличать его? Кому бы пришла охота ехать во внутрь Кавказа с тем только единственно, чтобы допросить, знают ли там еще Скасси? Завеса гор, пропастей и дебрей и поднесь еще скрывает истину.

Можно было только судить по одним по-

следствиям. Его спросили, на конец: да где же эта торговля, эта обещанная прибыль, эта доверенность черкесов, эти связи? Тогда он начал извиняться недостатком способов, ему данных, обвинять слишком строгие меры, принимаемые командующим в Грузии генералом Ермоловым против горских народов, и самое удаление больших городов, в которых торговля, роскошь и все наслаждения образованной жизни могли бы прельщать и привлекать сих дикарей. И на сей конец решил он предложить учреждение нового порта в Керчи.

Он вспомнил, что земляк его Рибас был отцом Одессы и что только перемена царствования и обстоятельств не допустила его собрать плоды его стараний. Разгорелись в нём честолюбие и жадность к интересу. Миллионы во сне ему начали сниться: он видел, как они уже отдаются в его распоряжение; он видел себя первым градоначальником по предложению его создаваемого города. С тех пор интрига его, происки имели уже постоянную цель.

К достижению её ему нужно было орудие. В Новороссийских губерниях начальствовал

тогда граф Ланжерон, земляк, родственник дюка де-Ришелье, приятель его и товарищ в счастье и несчастье. По всем сим уважениям избран он был его приемником; но не в одну форму природа вылила сих людей. С тех пор, как свет стоит, неосновательнее графа Ланжерона еще ничего видно не было. Добрый и честный человек, храбрый на войне, приятный в обществе, любезный балагур, француз по превосходству, он создан был для того, чтобы находиться посланником при каком-нибудь маленьком немецком или итальянском дворе, или управлять где-нибудь придворным театром. Революционную бурю выброшенный из своего отечества, он беззаботно и весело прожил век в чужой земле и дослужился у нас до высокого чина и голубой ленты. Дожив почти до семидесяти лет, он всё сохранил легкий тон Версальского царедворца, остался двадцатилетним французским полковником: и пишет куплеты, и говорить каламбуры. Нашли, что он не годится командовать корпусом и дали ему в управление край, который обширностью своею может почитаться целым королевством. Такой человек

был находка для Скасси.

Во-первых, будучи творением дюка-де-Ришелье, он имел наследственное право на покровительство и приязнь графа Ланжерона. Сим пользуясь, без церемонии предложил он ему способствовать учреждению в Керчи центрального порта, и себя градоначальником. Чтобы более заинтересовать его в сем деле, купил он для него за бесценок, в 25 верстах от Керчи, маленькую оседлость, небольшое поместье Тибичик, с небольшим при нём соляным озером, и виноградный сад подле Еникале, расписал самими блестящими красками будущую торговлю с черкесами посредством нового Керченского порта, и наконец убедил его тем, что учреждение порта будет делаться под руководством и распоряжениями его, графа Ланжерона, что вся честь и слава от того к нему отнесется, а в удел Скасси останутся труды, и что, имея уже в своем заведовании Одессу, потом Керчь, это послужит поводом к подчинению ему остальных двух новороссийских портовых городов. «*Ma foi, c'est charmant, mon cher Scassi!*» воскликнул Ланжерон, и начал действовать.

В Петербурге его не очень слушались, особенно же сие дело встретило большие затруднения. Все министры, исключая графа Нессельроде, упорно тому противились, более же всех скупой и вместе с тем нерасчетливый министр Финансов Гурьев. К тому же, пользуясь тишиной, в Европе воцарившейся, и путешествуя в продолжение последних годов по отдаленнейшим сторонам своей империи, покойный Государь, равно как и великие князья, братья его, удостоили и Керчь своим посещением. Взгляд на сей город не имеет ничего привлекательного: народонаселения вокруг его мало, всё представляет развалины, могилы и запустение, и он им отменно не понравился. Жители Феодосии и Таганрога, проведав об умыслах Скасси и ожидая от них для себя самых вредных последствий послали своих депутатов и, своей стороны, всеми мерами старались отвратить правительство от предлагаемых перемен. Препятствия со всех сторон возрастали.

Вот тут-то надобно было Скасси явить себя достойным роли, которую он на себя принял,

и по всей справедливости должно сказать, что он превзошел себя. Следовать за ним во все непрерывные путешествия его из Керчи в Петербург, Москву и Одессу, посреди всех многосложных и хитросплетенных его интриг, было бы дело невозможное и напрасное. Довольно будет сказать, что он нашел дорогу в передние всех министров и в кабинеты некоторых из них, что он вошел в милость к знатым дамам, старался угадывать и предупреждать их желания, кланялся, просил, убеждал директоров канцелярий, дружился с канцелярскими, знакомился с любовницами и камердинерами, употреблял искательства и ласкательства, а где нужно, то и нахальство, словом, приводил в движение все пружины и, наконец, добился до желаемого. В октябре месяце 1821 года издан указ об учреждении в Керчи порта и градоначальства, и утверждены штаты его.

Покойный Государь неохотно согласился на то: он лучше министров видел невозможность этой черкесской торговли, и хотел, чтобы сделана была только Проба. Один граф Нессельроде за это дело чрезвычайно горячо

принялся. Отчего Керчь и Скасси так постоянно пользуются его высоким покровительством? Это осталось загадкой для всех и тайной между им и г. Скасси. Будучи зятем министра Финансов, Гурьева, он и его склонил на свою сторону; другие же министры и члены Государственного Совета дали свое согласие довольно равнодушно и, вероятно, с тем, чтобы отвязаться от Скасси.

Не совсем, однако же, исполнились его желания: градоначальником его не сделали. Но нет худа без добра: в России очень часто малый чин препятствует достойному человеку — подучить место, которое бы он с пользою для службы мог занять; но зато иногда случается, что ни какая протекция помочь не может какому-нибудь иностранному шуту к получению места повыше, если он заблаговременно не подумал запастись чинами. Сие самое случилось с Скасси. Он полагал, что всегда может он перескакивать через чины, и не знал, что у нас, попавши раз на дорогу, постепенно надобно по ней идти. Чтобы его утешить и не лишить надежды, оставили место Керченского градоначальника вакантным, а

его подвинули, произвели в следующий чин, составили для него штаг, назвали его попечителем Керченской торговли с абазинцами и черкесами, дали ему на канцелярию и расходы по 35 т. рублей ежегодно, до 200 тысяч заимообразно без процентов (и, вероятно, без отдачи) на разные коммерческие заведения. Сверх того, велено ему беспошлинно отпустить несколько тысяч пуд крымской соли, для продажи её горцам за самую умеренную цену.

Вот каким образом человек, родившийся далеко от России, завлеченный в нее следствиями развратной молодости, состояния низкого, без правил, без познаний, вооруженный только медным лбом, пронырством своим успел захватить доверенность правительства, получить чины и большие суммы, и слывет человеком нужным. Теперь уже он статский советник и кавалер двух Российских орденов; в отечестве своем также достал он ныне дешевою ценою почетные титулы: он член Академии Аркадов в Риме и кавалер ордена, которым был украшен искусный Пинетти, ордена Золотой Шпоры. Приличнее всего бы называться ему кавалером промышленно-

сти, в том смысле, как слово сие во Франции принимается.

Такие люди, каков этот кавалер де-Скасси, в старину бывали нередки. Иные из них владели секретом делать золото, иные имели сообщения с духами и с невидимым миром и предсказывали будущее; а иные, среди площадей, взгромоздившись на доски, в пестрых нарядах, непонятным языком, продавали лекарства от всех болезней. Волхвы и чародеи, алхимики, астрологи и шарлатаны, все обманывали народ. В особенности же Италия, которая некогда давала законы миру, в порабощении и бессилии своем, изобиловала такими людьми; её сыны, уже не оружием, а хитростью старались овладеть другими. С умножением просвещения число такого рода людей уменьшается. В новейшие времена переменились совсем их занятия и самое имя; их зовут ныне во Франции *aventuriers*, а в России еще для них названия не приискано; ибо природных в ней было очень мало или, лучше сказать, до таинственного Старинкевича и ни одного в ней не было.

Не будем к ним слишком строги; сознаемся, что для поддержания себя в опасном положении, которое они избрали, им потребны ум, смелость и деятельность чрезвычайная. Завидовать их успехам также не должно: как дорого они за них платят! Они не знают ни покоя, ни дружбы, ни доверенности, живут всегда одни с собою, всего страшатся, во всяком проницательном взгляде видят обвинение, всем жертвуют своенравной богине, Фортуне; вот как течет их несчастная жизнь, и почти всегда какой ужасный конец их ожидает! Вспомним жребий двух славнейших из сих людей в прошедшем веке, Федора Нейгофа, который несколько времени был королем Корсиканским, и Иосифа Бальзами, который, под именем графа Калиостро, морочил всю просвещенную Европу. Один из них умер на соломе в Лондонской тюрьме, куда был посажен за долги, а другой окончил жизнь в Риме, в тюрьмах инквизиции. Сохрани Боже нашего героя от подобной участи! Мы зла ему не желаем, а желаем ему даже успехов, но только, чтоб они были не столь позорны и не столь накладны для России.

Мы забыли сказать, что с утверждением порта в Керчи, в 1821 году, подчинив все градоначальства Новороссийскому генерал-губернатору; всё равно, если б их уничтожили. Градоначальник нужен там, где еще ничего нет, или где мало что сделано: это не есть постоянная должность, это комиссия, это доверенный пост. Там, где уже всё приведено в устройство, где дела текут своим порядком, где торговые сношения совсем установились, такие портовые города должны быть вместе с тем и губернскими, как Архангельск, Ревель, Рига и Астрахань, или должны быть подчинены местному губернскому начальству, как Либава и Нарва. Первые градоначальники назначались после строгого выбора; за то они облечены были доверенностью почти неограниченною, имели большую власть и могли с способностями и усердием быть весьма полезны. Ныне же одесский градоначальник есть обер-полицеймейстер, а прочие немного повыше обыкновенных городничих. В других портах пусть бы так, благосостояние их отныне будет зависеть от политических обстоятельств; но в рождающейся Керчи не знаем,

хорошо ли это?

С исполнением указа об учреждении Керченского порта всё шло отменно медленно, исподволь и как будто нехотя. Насилу к концу 1822 года открыты в нём портовая карантинная контора и первоклассная портовая таможня. Инспектором карантинным прислан армейский полковник фон-Ден, и ему же покамест велено было исправлять должность градоначальника. Этот полковник был воспитан в одном из кадетских корпусов, знал очень хорошо фрунт, любил порядок, чистоту, особенно же эту наружную чистоту, которая с некоторого времени в России так тщательно соблюдалась. Впрочем, он был весельчак, любил играть в карты, попить, поесть и погулять, в книги никогда не заглядывал, терпеть не мог ничего печатного и читал одни только приказы в Инвалиде. Усердствуя, как умел, устройству вверенных ему городов, он тотчас приказал по дорогам и улицам срывать и ровнять все бугорки, засыпать их камешками, посыпать песочком и по бокам прорывать канавки. Около крепостей надолбы и перила начал тотчас красить казенною краской и, с

негодованием видя древнюю церковь, из дикого камня построенную, почерневшую от столетий, мимо её пролетевших, скорее велел ее белить. Словом, Керчь и Еникале сделались как напоказ: приехавши в них, можно было почесть себя в военных поселениях.

Легко можно представить себе отчаяние греков, неопрятнейших из людей. Незадолго перед тем воротился Скасси, давно уже покровитель двух городов и провидение их жителей. На просторном поле интриги заставляет Бомарше говорить Альмавиву: «Надобно всё обрабатывать, даже тщеславие глупца». Следуя сему правилу, Скасси всегда ласкает керченскую чернь и питает спесь в сих грубых невеждах. Они бросились к нему с жалобами; он пожимал плечами и давал надеяться, что при нём так не будет.

Всё это недолго продолжалось. Чрезвычайная перемена скоро последовала во всём крае; захотели, наконец, чтобы Новая Россия обрусела, и в 1823 году прислали управлять ею русского барина и русского воина. Слишком много хвалить графа Воронцова нам не позволено: с некоторою основательностью бу-

дут подозревать нас в пристрастии. Оставляя всё, что он сделал полезного вообще, скажем только, что он такое был в отношении к Керчи. В августе месяце 1823 года посетил он сей город; как Кесарь, он пришел, увидел и... в миг распознал истину с ложью. Химера черкесской торговли перед ним исчезла и, кажется, он первый умел понять действительную пользу, настоящие выгоды, которые государство со временем получать может от Керченского порта.

С внутренним убеждением поспешил он ходатайствовать у покойного Государя за Керчь, и чрез два месяца, именно в октябре 1823 года, в городе Вознесенске, по докладу его, назначен первым Керчь-Еникальским градоначальником генерал Богдановский, давнишний его сослуживец и которого похвальные свойства ему коротко были известны.

Какой неожиданный удар для надменного Скасси! Все его замыслы, как дым, должны были исчезнуть. От досады он не лопнул, но глубоко скрыл ее в коварном итальянском сердце своем. Привыкнув всегда носить личину, он ласкался к графу Воронцову, улыбался

Богдановскому и страдал бессильным желанием вредить столь благонамеренным людям.

Со всею приверженностью к графу Воронцову, со всем уважением к Богдановскому и, прибавим еще, с изрядным таки самолюбием, скажем правду: как первый сей выбор для Керчи, так и последующие были неудачны. По неволе людей посылать не должно: генерал Богдановский, равно как и преемник его, много в своей жизни обязанные графу Воронцову, не могли противиться его желаниям и пожертвовали приятностями жизни его полезным намерениям. Умный и осторожный Богдановский есть раб своего слова и раб всех обязанностей своих: он чрезвычайно аккуратен, менее чем должно он никак не сделает, но и более также никогда. Он слишком два года терпеливо перенес Керченскую жизнь, как птица на ветке во время непогоды, выжидая лучшего времени и никак не думая вить гнезда; он ничего там не захотел завести. Он делал всё, что от него зависело, чтоб всё держать в порядке, почитал себя более исполнителем распоряжений высшего начальства,

был правдив, никаких личностей себе не позволял. С Скасси под конец был он в явном несогласии, но все ядовитые стрелы итальянца скользили только о непоколебимое его хладнокровие. Керчь была для него, как уродливая жена, которой, давши слово в верности, он, как честный человек, не мог изменить и которой, кроме любви, он ни в чём не отказывал. Настоящая жена его та, с которой он соединен перед самым сюда прибытием, была единственною его отрадой в сей пустыне. Воспитанная в столице, она любила если не шумные веселости, то приятности общежития, а здесь их совсем была лишена. Её таланты, любезность и скромность еще более были заметны в кругу этих глупых и злых чиновниц, бывших прачек.

Во время управления г. Богдановского, ничто не делалось в Керчи иначе как под наблюдением его, но по распоряжениям и проектам, утверждаемым самим генерал-губернатором. В начале 1826 года, согласно с сильным его желанием, оставил он здешнее место и переведен градоначальником в Феодосию. Тогда-то Керчь осталась на жертву Лигурийцу

Скасси и одному Вандалу Синельникову, карантинному инспектору, которому поручено было временно градоначальствовать.

Нам теперь более ничего не остается, как описать город сей, в который мы прибыли в начале нынешнего 1827 года.

Надобно почти въехать в него, чтобы его увидеть. Дорога из Феодосии с последней станции идет всё на изволок, перелом делается верстах в двух с половиною от Керчи подле так называемого Золотого Кургана. Этот курган можно почесть горой, он из земли и камней сложен, а Золотым назван потому, что, когда роются в нём, почти всегда в гробницах находят золотые вещи. Суеверные рассказывают, что под ним засажена какая-то девица, сотворившая страшное преступление, за то проклятая и осужденная сидеть целые столетия в подземелье, пока не сыщется добрый человек, который согласится благословить ее. Говорят, что по временам она является, ночью, печально бродить вокруг кургана, завидя всякого проходящего спешит к нему с мольбою; а он, не думая давать благословения, с ужасом от неё удаляется.

От этого волшебного кургана начинаешь неприметно спускаться. Скоро открывается множество разбросанных каменных избушек, построенных русскими поселенцами, и которые со временем, по утвержденному плану, должны составить новые кварталы города. Наконец въезжаешь и в Керчь, то есть в главную и почти единственную улицу сего города, которая от первых прочных застроек до крепости имеет длины более версты. Она идет по косогору довольно высоких холмов и Митридатовой горы; дойдя же до неё, между ею и крепостью, у подошвы её лежащей, поворачивает вправо и ее обходит: можно сказать, весь город лежит у ног Митридата.[93] По обеим сторонам этой главной улицы идут еще две другие, не столь длинные и не столь обстроенные и соединяющиеся с нею переулками. Параллельных улиц более делать невозможно: справа гора, а слева болото, низменное место, куда стекаются ручьи изо всех фонтанов и которое, при сильных ветрах с моря, затопляется. Первая половина большой улицы довольно широка, идет по прямой линии и отстроилась только с учреждения гра-

доначальства; другая же, составлявшая старый город, и крива, и коса, и грязна. Пять или шесть вновь построенных каменных двухэтажных домов дают Керчи вид города.

Народонаселение всё еще простирается не более как до 2500 душ в обоих городах; если всё так пойдет, как шло доньше, то трудно ожидать, чтобы оно умножилось. Таврическая Казенная Палата, обязанная отчетностью Министерству Финансов, очень строго поступает при перечислении жителей из других губерний; общества, при увольнении людей, желающих переселиться в Керчь, неохотно дают свое согласие, а для принятия их здесь встречается еще более затруднений.

Сначала Керчь была многочисленная греческая колония; девять-десятых из её населения разошлись, но остальное удержало за собой все привилегии, права и выгоды, которые им императрицею Екатериною пожалованы. Какая за то от них польза государству? Никакой. Всякая немецкая, или другая какая, колония с столь давнего времени и при столь выгодном местоположении сделалась бы знаменитою. А между тем сии керченские греки во-

ображают, что их одних правительство имело в виду, учреждая здесь порт. Скасси их в том уверил. На смех, обещался он им хлопотать в Петербурге, чтобы дано им было муниципальное правление, и чтобы все полицейские власти и даже градоначальник были ими и из среды их избираемы; он тронул слабую сторону их, тщеславие. Эти люди, столь хитрые в мелочных обманах, но которые в глубоком невежестве своем далее носа своего ничего не видят, охотно верят ему. При таком расположении умов, как трудно всякому иностранному капиталисту, а кольми паче русскому, которых также они называют иностранцами, да еще и худшими, решиться что-нибудь завести и войти в их сословие. Они сами всячески тому противятся, а без их согласия нельзя быть керченским жителем; когда же они согласятся, то в какой жестокой надобно быть от них зависимости! Ибо как они одни избиратели и избираемые, то всегда им надобно кланяться.

Русских простолюдинов они охотно принимают, зная их проворство и трудолюбие. Они их за дешевую цену нанимают, а высо-

кой те от них просить не смеют. Но если кто из них порасторгнется, поразживется и начнет состоянием равняться с греками, то надобно видеть, как начнут все на него нападать, привязываться к нему, мешать ему по всёму, и все усилия градоначальника едва могут его спасти. Этим крымским грекам или татаро-грекам (ибо они не только истории Греции, или же ученого эллинского языка, но и того, который ныне греками говорится, не знают, а говорят все только по-татарски), этим варварам сказал кто-то, что в древности был какой-то город Лакедемон, коего жители, спартанцы, пользовались совершенною свободою и имели у себя илотов, с которыми могли, как с собаками, обходиться. Их уверили, что они происходят от этих спартанцев, и что, по примеру предков, должны иметь своих илотов. И эта сволочь, эти люди, из коих нет ни одного, который бы мог попасть в купцы 3-й гильдии, между коими тот почитается богачом, кто до 30 тысяч рублей имеет в обороте и на них крохоборствует, каждый из них имеет по одной или по две семьи илотов. Каждый год ездят они на ярмарки: Роменскую, Харь-

ковскую и Коренную, и разводят балыки; купцы, которые у них покупают, получают от мотоватых помещиков, вместо должных денег, живых людей, и ими платят грекам за копченую рыбу. Разумеется, что купчие совершаются на чужое имя. О стыд имени русского! Сердце раздирается, когда услышишь вопли сих несчастных единоплеменников, терзаемых самыми презренными из пришлецов[94]. Бывший градоначальник, Богдановский, не мог остаться равнодушным к неистовствам греков: пользуясь указом 1823 года, он полицейскою властью, без церемонии, начал отбирать людей у тех, кои не имели права ими владеть: многих избавил он таким образом от оков; но что же вышло? Всё его возненавидело, и Скасси обрадовался случаю, начал подстрекать греков; они послали прошения в Сенат, оттуда потребовались объяснения, и начались дела. Чем они кончатся, неизвестно; а известно только то, что старый ветреник, Ланжерон, у сенаторов, а Скасси у обер-секретарей хлопочут за жителей *de leur bonne ville de Kertsch*.

Началом всех неприятностей и потом

несчастий для феодосийского градоначальника Броневского было его сострадание. Две девки, измученные греком Качони, у которого они были крепостными, не видя никакого спасения, с отчаяния бросились в море; с тех пор Броневский начал принимать строгие меры к обузданию спартанцев. Всё соединилось против него, ябеды, доносы посыпались, самые невинные его деяния перетолковывались, всё, что ни предпринимал он полезного для города, назвалось притеснением, всякое оказанное им снисхождение названо слабостью, а малейшая строгость злоупотреблением власти. И он погиб! Лишение доброго имени и способностей для того, кто имел их, есть нравственная смерть, в сравнении с которой физическая ничто. Будучи в крайней нищете и не имея способов оставить место казни, он бродит, как тень среди убийц своих и учит осторожности градоначальников, которые могли бы быть увлечены опасным человеколюбием.

И эти греки во всём подобны другим соотчичам своим, рассеянным по России. И эти греки, минус просвещение, напоминают

предков своих, коих характер история сохранила! И эти греки возбуждают ныне живейшее участие во всей Европе! Они коварны, злобны, мстительны, непостоянны, надменны, корыстолюбивы более жидов. Отличительная же их черта есть неблагодарность. Кто их хорошо не знает, тому неизвестно, сколько её вмещаться может в человеческом сердце. Пусть вспомнят мужика, который из Афин выгонял Аристиды только за то, что он слыл правдивейшим из мужей республики; пусть прочитают записки западных воинов, этих Крестonosцев, которые от неверных шли освободить гроб Господень: они дышат откровенностью людей непросвещенных и выставляют всю черноту греков в среднем веке. Можно смело сказать, что изо ста спорных дел, производящихся в портовых коммерческих судах, 99 по жалобам греков или на греков; никакой веры к сим людям иметь невозможно; везде какой-то беспокойный дух, везде гнусные обманы. Если где составится приятельское общество из 15 или 16 человек и замешается между ними один грек, то прощай веселие: тотчас рождаются раздор и вражда.

Их много служит в Черноморском флоте и морские офицеры других наций так хорошо это знают, что формально их чуждаются и других сношений, как по службе, с ними не имеют.

Конечно, Греция была некогда посреди всеобщего мрака блестящей точкой, которая, увеличиваясь, сделалась источником света, разлившегося по всему земному шару. Всякая нация имела свой славный период, и эти самые греки заимствовали у других народов и потом усовершенствовали художества, науки и изощрили этот вкус изящного, которому мы более всего дивимся. За блистательною, хотя и порочною жизнью последовало продолжительное тление; воскресения никогда не будет. Еще такого примера не было, и персияне Фет-Али-шаха совсем не Кировы персы, и египтяне Махмед Али-паши не построят пирамид. Магометанское варварство, как хлад, всё мертвит. Как от сильного мороза притупляется яд всех зловредных насекомых и растений, так и от него греки окоченели; но пусть они отойдут, пусть, согретые свободою, соединятся в политическое тело: тогда мы увидим!

Разве дунет хороший ветер с Невы или из Альбиона, разгонит и заглушит этот смрад.

Что нам толкуют беспрестанно о Гомере и Еврипиде, о Сократе и Платоне, о Демосфене и Есхиле, о Солоне и Ликурге, о Фемистокле и Эпаминонде? Зачем указывают на других славных греков, которые позднее явились, на этих святителей, благочестивых, красноречивых и златоустых отцов Восточной церкви? А разве цари-пророки не были иудеи, и сам Богочеловек разве погнушался родиться между ними? А что такое потомство этих иудеев? Нет, что бы ни говорили господа филеллины, как бы ни призывали тени великих мужей древней Греции, лучи их бессмертия сквозь тьму времен не отражаются на этой вонючей грязи.

Люди, которые любят находить сходства, говорят, будто греки характером похожи на французов, а другие будто на немцев; тех, кои знают многих греков, спрашиваем мы: видели ли они хотя одного из них веселонравного? Они все угрюмы, мрачны и улыбаются только сделанному ими злу. Правда, вместе с тем они болтливы и легкомысленны; но сей

последний недостаток производит в французах самые любезные качества: обходительность, незлобие, иногда, так сказать, неумышленные одолжения, и в самом простом французе нередко встречаются порывы великодушия, о котором греки и понятия не имеют. Как немцы, любят они умствовать; но всё их многоречие для того только, чтоб скрыть истину, тогда как всякий немец от чистого сердца ищет находить истину и готов показать ее целому свету. Народы просвещенные, вы, которые так усердно вступаетесь за тех, коих не знаете, вы со временем будете обижаться всяким с ними сравнением. А вы, молдаване и валахи, которые более двух веков от них страдаете, потомки славян и римлян вместе, вы, в которых недавно мы осуждали неосторожно привитые пороки, вы можете всей Европе дать ответ. Самая ненависть ваша к грабителям и развратителям вашим уже показывает в вас зародыш всего доброго.

На таком малом пространстве и с горстью таких людей, под влиянием Скасси, всякий градоначальник должен иметь более забот, чем при управлении многолюдной губернии.

Будет ли тут время ему думать о каком-нибудь полезном устройстве, особливо тогда, как в 700 верстах от Одессы он о всякой бездельце должен спрашиваться у генерал-губернатора? К тому должно еще прибавить, что по отдаленности Керчи порядочные чиновники неохотно туда едут (почти все, которые там служат, суть люди выгнанные и которых в другие места не принимают); все они определены были господином Скасси при начале учреждения градоначальства и ему преданы. Кто же захочет остаться там долго градоначальником? Как же быть? Назначить самого Скасси? Он наделает много добра.

Следует вопрос: если в Керчи учрежден порт для черкесской торговли и есть попечитель этой торговли, то зачем тут градоначальник? Если назначен градоначальник, то какого же другого попечителя надобно? В такой карманный городок определить двух начальников, почти равных властью, значит тоже, что засадить двух воронов в канареечную клетку. Они будут драться: другой пользы не будет.

Вот что есть примечательного в этой клет-

ке и вокруг неё.

1. *Митридатова гора*. На ней был Акрополис или верхняя часть города Пантикапеи и стояли царские чертоги, как мы в начале сей записки сказали. Вероятно, многие обрушенные великолепные здания время на ней покрыло землею и ее возвысило; по крайней мере, где ни копни, везде обломки колонн, капителей и мраморных барельефов. Жители Керчи в неведении своем и не знают, что это такое за Митридат; большая часть из них полагает, что он был гигант, превращенный в каменную гору и засыпанный землею. Прошло близ двух тысяч лет с тех пор, как один великий человек погиб на сей горе; она всё называется его именем и веками сохранит его. Всё великое исчезает в мире, но долго, долго остается память об нём. Сию гору в некотором отношении можно уподобить одной скале, брошенной среди океана, темнице и могиле чудесного гения, который в наши дни волновал, мучил и восхищал вселенную; она назовется его именем и в течение многих веков будет им славиться.

Митридатова гора в утес стоит над проли-

вом, и внизу подле него самый узкий проезд. На вершине горы стоят кресла Митридатовы, на которых, вероятно, он никогда не сидел; это несколько довольно больших камней, случаем или руками сложенных, между которыми есть впадина, в которую можно сесть; вид с этого места во все стороны далеко простирается. Один бок горы, который к Керчи, довольно отлог, так что на нём поселилась целая матросская слобода, и когда в хижинах вечером зажгутся огни, то снизу взгляд на них очень приятен.

Поневоле должно теперь сделать отступление и сказать, какая это слобода. В русский порт Редут-Кале, в Мингрелии, ежегодно привозился из Керчи в значительном количестве провиант, частью для войск, там расположенных, частью для всего отдельного Грузинского корпуса, и сие делалось посредством найма каботажных судов, которые только подле берегов могут плавать, а в самое море не идут. Это было сопряжено с большими издержками для казны, и Скасси чрез Ланжерона предложил весьма полезное дело по первому взгляду. Согласившись с сим предложением, пра-

вительство приказало купить одиннадцать купеческих судов, оснастить их, снабдить и вооружить, а для управления ими даны флотские офицеры и матросы. Вся эта операция поручена Скасси; а он покупал суда, по какой цене и какой величины хотел; ему подчинили эту флотилию и он попал в адмиралы. Кажется, всё это было в начале 1821 года, но отчетов он до сих пор не отдал. Контроль их от него требует, а он всячески от того уклоняется; поживился он тут, кажется, порядочно, но не соблюл никакого форменного порядка. Все эти суда он перекрестил; одному дал свое имя, другое назвал Ланжероном. Перевозка провианта на сих транспортных судах обходилась казне действительно гораздо дешевле прежнего; матросы целого экипажа, по большей части семейные, обзавелись, построили домики, составили слободку, умножилось тем народонаселение Керчи, и с умножением потребностей более денег пустилось в оборот. Флотилию эту после отдали в ведение градоначальника. Всё это до сих пор прекрасно, но вот что худо.

Суда были старые и весьма непрочные и в

шесть лет совершенно обветшали, так что теперь их надобно бросить. По соглашению графа Воронцова с адмиралом Грейгом к концу нынешнего года должно будет их перевести в Севастополь и они там будут догнивать. Строение каботажных судов прежним наймом чрезвычайно было поощряемо; оно ежегодно умножалось и по той пропорции перевозка год от году становилась бы дешевле. Ныне, невзирая на помощь, которую дает казна, число каботажных лодок в шесть лет много уменьшилось; каботаж есть жизнь Керчи, как мы далее покажем. Теперь опять надобно будет нанимать их по прежнему, но уже гораздо дороже прежнего; где же прибыль? Истрачено много денег на покупку судов, которые чрез несколько лет никуда не годились, и разорены бедные морские солдаты, которые теперь за бесценок начинают домишки свои продавать. Вот как надобно быть недоверчиву к обширным планам этих смелых иностранных прожектеров, которые всегда одну свою только пользу имеют в виду.

2. *Крепость*, построенная турками, вероятно, для обороны со стороны пролива, ибо с

Митридатовой горы весь гарнизон можно забросать камнями. В ней примечательного есть одна древняя башня, говорят, еще генуэзская и церковь, коей времени основания никто хорошенько не знает. Она должна быть очень древняя, ибо часть её вошла в землю, но остальное довольно высоко подымается. Купол её поддерживается четырьмя мраморными столбами, а помост составлен весь из мраморных плит разной величины, на коих высечены разные фигуры, кои служили совсем для другого употребления. Эта-то церковь была убелена г. Фон-Деном. При турках она была мечетью: у входа её стоит высокий минарет, который ныне служить колокольней.

3. *Музеум.* Он открыт только в 1823 году под управлением Бларамберга и покамест помещается в доме одного француза шевалье Дю-Брюкса. Собрание древностей делается с успехом: теперь находится уже в музеуме большое количество Боспорских медалей, золотых, серебряных и бронзовых, урны с пеплом умерших, большие амфоры, в которых древние хранили вино и деревянное масло,

лакриматории разных составов, форм и величины, глиняные сосуды и маленькие статуи, очень хорошо сохранившиеся. Пять или шесть колоссальных мраморных торсов и множество обломков архитектуры и скульптуры, в которых знатоки находят искусство и прекрасную отделку, делают сие собрание весьма любопытным. Есть также много очень хороших золотых вещей, венец из золотых листьев, открытый в могиле какой-то царицы, пропасть золотых перстней с резными камнями, браслеты и проч. и проч.

Директор сего музея, г. Бларамберг, живет в Одессе, редко и на короткое время приезжает в Керчь, и от того-то медленно умножается сия коллекция. За её хранением имеет приглядеть местное начальство.

Конечно, для любителя древности нигде почти нет столь богатой жатвы, как в окрестностях Керчи. До сих пор насчитали 1200 курганов; но и половины, кажется, не сосчитали: немногие из них взрыты и все почти не напрасну, остальное можно почитать неисчерпаемым источником. Когда откроют курган и найдут в нём разные предметы в греческом

вкусе, то надобно рыться еще глубже в землю: там находишь другие гробницы народов, ныне уже неизвестных. Эти подземелья весьма пространны; обыкновенно в нише или впадине находишь человеческие кости, близ которых, на каменном столе, почти всегда каменная чаша и железные орудия, копья и стрелы, а немного поодаль, на каменном канаве, скелет лошади.

Когда приведутся в исполнение намерения графа Воронцова построить особое здание для музея, определить к тому особого чиновника, который бы имел постоянное пребывание в Керчи, и начнут систематически, по порядку, разрывать курганы, то собрание Керченских древностей будет одно из достопримечательнейших в свете. Феодосия имеет также свой музей, но только по одному названию; он находится под надзором доктора Граперона, который столь же мало смыслит в археологии, как и в медицине а, как француз, берется за всё, и сей музей только богат вещами, похищенными у Керчи, когда сей город был подвластным Феодосии. Большие споры идут о том между гг. Бларамбер-

гом и Грапероном, особливо же за одного грифона[95], высеченного на камне. Этот грифон был эмблемою Пантикапеи, украшал долго ворота Керченской крепости, и насильственно завладела им Феодосия.

4. *Старый карантин* находится в семи верстах от Керчи, немного повыше того места, где в старину была Нимфея, а лет двадцать тому назад большая прекрасная и густая роща фруктовых деревьев, на горе, по горе и под горою. Это самое заставило выбрать сие место, среди обнаженной степи для учреждения на нём карантинной заставы, хотя тут стояние для судов самое невыгодное, поблизости к Черному морю: стремление ветров при истоке пролива бывает ужасное, и нередко гибли корабли.

Небрежением и варварством каторжных чиновников, которые в карантинную заставу определялись, роща совсем истребилась: чтобы не покупать дров, они рубили деревья и ими топили печи. Теперь всего осталось деревьев с тридцать, грушевых и миндальных, и несколько кустов очень хорошего винограда. Попечением последнего директора карантин-

ного дому, Бородина, который, как Цинцинат, оставил меч для мирных занятий и обрабатывания земли, и опять взялся за него и сражается теперь с персиянами, разведен довольно большой рассадник молодых деревьев и посажена бездна цветов. Строения сего карантина нынешним летом опустели, один только домик прибран и переделан для жительства градоначальника. Местоположение прекрасное, и если сделать тут хутор или дачу, и попадетса оно к рукам, то сделается украшением для Керчи и весьма приятной прогулкой.

5. *Новый карантин*, построенный по проекту инженерного генерала Потье и оконченный в нынешнем году, находится в четырех верстах от Керчи, к северу, и следственно почти на половине дороги к Еникале.

Множество больших строений и магазинов чрезвычайной величины, на великом пространстве, окруженном двойною каменною стеною, и хорошо укрепленная пристань делают сей карантин первейшим в России и не последним в Европе. Допросные, окурные, маркитантские, пассажирские комнаты, палатии, чумный квартал, всё выстроено и

отделано прекрасно и на таком месте, где суда, как на дворе, безопасно стоять могут. Десять тысяч погонных сажень или пять верст каменной высокой стены, не считая кровель, окончин, печей, полов и дверей, и всё это стоило 347 тыс. рублей! Такое чудо дано было сделать графу Воронцову; под его личным распоряжением, и его стараниями сделаны в Одессе торги и подряды. Хвала ему! Как искусному генералу, ему случалось с малым числом войск бить неприятелей; как искусный правитель, он умеет с малыми средствами делать великое. Сей человек, столь щедрый на собственные деньги, бывает всегда расчётлив, бережлив и почти скуп, когда дело идет о казенном или общественном интересе.

6. *Бугазский меновой двор.* Впадая в Черное море, река Кубань образует обширный залив, губу, лиман или бугаз. От Анапы идет на сорок верст узкая коса, которая, отделяя сей бугаз от моря, оставляет пространство менее версты, для соединения их. На самой сей переправе построен Меновой Двор, говорят, будто с черкесами. Спрашивается, зачем он тут? С Кавказских гор разве только птицы могут

летать к этому месту, минуя Анапу. Абазинцы пойдут ли променивать свои товары срок верст далее и за границу, когда всё потребное могут они найти под руками, в Анапе? И неужели турки так глупы, что они станут способствовать этой мене? Они никого и ничего не пропустят.

Так угодно было Скасси. Меновой Двор уже несколько лет существует, хотя в малом виде. Никаких товаров в нём нет, ни один черкес не является, и пассажиров, кроме грузин и армян, захваченных горцами и убежавших от неволи, там не бывает. Доходу с этого двора получает казна ежегодно от 16 до 18 рублей, а что стоит его содержание? Этого мало. Надобно было быть Скасси, чтобы построить большое здание, но для дешевизны, из битой земли с глиной и на топком месте. Это здание в одно время и строилось, и разваливалось; чрез год, или два, всё обрушится, а стоит оно казне 95 тысяч рублей. Предвидя сие, градоначальник Богдановский, хлопотал чтобы, на первый случай, сделать для пробы строение тысяч в пять; Скасси возопил против того и умел убедить даже самого графа Воронцова,

который согласился всё строение начать в одно время.

Участие, которое принимает Скасси в существовании Бугазского Менового Двора, объясняется следующим: чрез него он имеет сношения с Анапским пашей, разумеется, не клонящиеся во вреду государства, не для измены, а только для своей корысти. Получаемую им соль, безданно, беспошлинно, он отправляет не к черкесам, а дорогою ценою продает туркам, а те еще дороже перепродают ее горцам: вот весь барыш этого Менового Двора.

7. *Темрюк*, селение черноморских козаков, близ Азовского моря, находится в 90 верстах от Керчи и входит в округ Керченского градоначальства. Окрестности его, более нежели где, усыпаны курганами; утверждают, что тут было удельное поместье Боспорских цариц; и действительно, во множестве находимые тут медали и памятник какой-то славной царицы Комосарии подкрепляют сие мнение.

8 *Еникале*. Крепость и городок в азиатском вкусе, идут террасами с горы и до самого моря, с коего вид на них живописен. Внутренность города весьма неопрятна; но строения,

хотя не весьма прочные, больше чем в Керчи, и странностью форм, равно как и цветов, которыми испещрены, привлекают на себя любопытный взор путешественников. Около Еникале более всего ловится рыбы и его можно назвать отечеством балыков.

9. Маяк, построенный в трех с половиною верстах на север от Еникале, у самого входа в Азовское море, на счет таганрогского купечества: довольно высокая башня, около которой нет никакого жилья. Ничего не может быть печальнее её окрестности. Маяк сей освещается только в мрачные осенние ночи; он зависел от Таганрогского градоначальства, но скоро должен поступить в ведение Керченского.

Ширина Керченского пролива или Босфора не во всех местах равная: один Таманский залив входит более чем на тридцать верст внутрь земли. Керченская бухта идет полумесяцем от Павловской батареи до безыменного мыса и имеет в окружности более двенадцати верст. Две косы: одна, северная, к Еникале, а другая южная, к Павловской батарее, с противоположного берега, подходят на расстояние шести верст, а фарватер более версты нигде

ширины не имеет, так что мимо двух укреплений ни одно судно прокрасться не может: оно всегда от них будет на пушечный выстрел.

В сих местах томлюсь я уже несколько месяцев, скитаюсь по берегам этого Босфора, не встречаю ни одного давно знакомого лица, не слышу занимательных разговоров, не имею с кем бы обменять одной мысли. Всё вокруг меня пусто, печально, погорело. Не знаю, когда наступит минута избавления моего и не утешаюсь даже возможностью быть полезным. Говорят, будто я здесь начальствую; но люди, с которыми осужден я жить, соединяя варварство с хитрою злобою и невежество ума с развратом сердца, хотя и низко мне кланяются, но к прямодушию моему питают сильную ненависть. Положиться ни на кого и ни на что не могу. Я не похищал небесного огня, а как Прометей, которого баснословие приковало к Кавказу, я пригвожден к местам, ему соседственным, и пуще ястреба съедает меня грусть.

Мысленно переносусь я иногда в счастливые места и времена, когда я был молодь, здо-

ров и весел, когда беспечно текла жизнь моя или в кругу родной семьи, или в кругу друзей и приятелей, мне Небом дарованных. В поднебесную возносят меня сии воспоминания; но зато, как тяжело упадаю я опять потом в сию пропасть, в сию Керчь!

Когда телесные мои страдания дадут мне отдых, когда больное, слабое зрение мое немного прояснеет, то скорее берусь я за перо: оно здесь мое единственное утешение. Без всякого плана, а только для рассеяния своего принялся я описывать всё виденное, слышанное и читанное мною о месте пребывания моего и даже о всём крае. Бог весть, как составила, наконец, толстая тетрадь. Кто будет читать ее? По крайней мере, я постараюсь скрыть ее от всех глаз, и разве самым искренним, самым снисходительным знакомым решусь когда-нибудь ее показать.

О вы, почтенные друзья мои, которые служили мне образцами в молодости, были опорой и утешением всей жизни моей, и теперь, когда дряхлость меня пришибла, когда в безлюдном, безотрадном заточении кончается неудачное мое служение, остались моим

последним упованием, может быть, дойдет до вас когда-нибудь сия записка! Если вы загляните в нее, то вы не будете слишком строги: вы вспомните, что мне и на мысль никогда не приходило быть автором. Как узник, для развлечения, марает углем стены темницы своей, так я сим нескладным описанием облегчал иногда неизъяснимую тоску моего сердца.

III

В сей записке везде хвалили мы намерения правительства учредить в Керчи порт, указывали на сие место, как на самое выгодное для торговли, и в то же время не совсем выгодно отзывались о г. Скасси, который подал об этом мысль и всеми силами поддерживает ее. Чтобы не быть обвиняемым в противоречии должно объясниться.

Во первых, мысль сия принадлежит не Скасси, а дюку де-Ришельё. Он гораздо после ее себе присвоил, и тогда только, когда увидел совершенную неудачу свою с черкесами. Но и тут ему только хотелось своротить внимание правительства и направить его на дру-

гой предмет, где бы еще несколько лет ему можно было обманывать.

Надобно наперед спросить: какая торговля может быть с Кавказскими народами и в чём она состоит? Вот ответы;

Можно делать условия с дикими, которые близки еще к первородному состоянию человека: они умеют еще хранить святость слова. Но какой трактат, какие клятвы могут связать людей, между коими отцы и матери малых детей учат воровать; между коими тот пользуется уважением, кто отличился обманом, внезапным нападением на соседа и приятеля и похищением его стад и рабов, людей, у которых нет никакой веры, а какое-то, перемешанное из христианства и магометанства, суеверие заступает её место?

Взаимные потребности делают между народами торговлю необходимою. В главном городе Черноморских казаков, Екатеринодаре, и в устье Лабинской крепости уже давно учреждены меновые дворы с черкесами. Что туда привозится и что обменивается? Казаки отпускают им одну только соль с своих озер, в которой они имеют нужду, и получают от них

оленьи рога, в малом количестве шкуры волчьей и шакаловы, да лес, и то не строевой, а только для топлива. Вот чем всё ограничивается, и без совершенной перемены в положении сих народов никак умножиться не может. Надобно еще заметить, что в Екатеринодаре и Усть-Лабинской крепости одна только Кубань отделяет горцев от России, и что в Керчь им надобно гораздо далее идти.

Все нужды свои могут горцы удовлетворять дома: из шерсти, которую дают им стада, их жены ткут очень порядочное сукно, они же плетут так искусно серебряные тесьмы, которыми черкесы украшают свои наряды. Они сами научились делать обыкновенные оружия, турки доставляют им стволы ружейные и сабельные клинки, а они уже их отделывают и натачивают. Как быть с ними? Они в нас никакой нужды не имеют. Одни говорят, что надобно наперед просветить их и познакомить с нашими обычаями, чтобы после поработить; а другие, что прежде должно их покорить, а потом думать о их образовании. Нам кажется, что и то и другое есть дело весьма трудное, но возможное, и что оба вместе

надо начать, искусно и усердно за то принявшись.

Прежде всего должно туркам заградить путь, отнять Анапу, Суджук-Кале и другие укрепления по восточному берегу Черного моря и поставить, сели нужно, эскадру, которая бы круглый год крейсировала и никому не давала бы приставать к берегам. Разделены будучи ущельем, по которому вытекает Терек, где учреждена военная дорога и построена Владикавказская крепость, отделены будучи с Юга от азиатских народов вновь приобретенными Закавказскими провинциями, с Востока Каспийским морем, с Запада от турок Черным и с Севера имея границей Кубань, Куму и Терек, надобно, чтобы, куда бы они ни сунулись, везде встретили Россию, карающую, сильную и вместе с тем милосердную и правосудную к покоренным.

Кажется, это была мысль генерала Ермолова. Его корпус был малочислен, а велико было пространство земель, ему вверенных. Присылаемые рекруты нескоро могли быть годными для службы; потребно было время, чтобы приучить солдат к климату, к опасностям,

трудностям и образу тамошней жизни; за то берег он их, как зеницу своего ока. Сии недостатки должен был он заменять этим страхом, который рассеивал он вокруг себя между злодеями, его окружающими. Его грозное имя в горах с ужасом произносилось, маленьких детей им матери пугали, и он положил уже начало покорения горцев.

Заслужить любовь верных слуг государевых и заставить трепетать врагов его, кажется, вина еще не столь великая. Но Скасси считал это преступлением, не возлюбил генерала Ермолова доносил, что он тиранством своим мешает ему в исполнении возложенного на него дела. Этот плюгавый червь думал состязаться со львом, и, может быть, подточил славную молву об нём.

Ермолов имеет все пороки и все блестящие качества русских: он горд, властолюбив, хитер, а иногда жесток и неумолим, как они; но, как они, он храбр, умен и искусен. Его можно назвать русским народом вкратце. Он никогда не начальствовал ни армией, ни даже корпусом во время войны, отличался, как и другие, и сам ни одной победы над неприятелем.

лем не одержал, а любим как Суворов. Не победы и добродетели в нём любят, а сходство и надежды.

Кажется, надобно бы, подобно Ермолову, на несколько времени отказаться от филантропии, вести войну с этими народами под малейшим предлогом и всех пленных отсылать внутрь России, а мужчин распределять даже по кавалерийским полкам; по прошествии же нескольких лет возвращать им свободу и отпускать домой. Еще есть другое средство. Эти народы почти беспрестанно ведут междоусобную войну, стараются захватить семейства своих противников и продают их потом. В Редут-Кале можно всегда иметь пару мальчиков или девочек за 70 карбованцев или серебряных рублей. Пусть правительство воспрещает, по прежнему, частным людям делать такую покупку, но пусть возьмет ее на себя. Дело будет неразорительное; но надобно стараться покупать пленников такого возраста, в котором бы им невозможно было забыть родину и нетрудно бы было сделать новые привычки. Учить их Закону Божию, русской грамоте, какому-нибудь ремеслу, женить их

даже между собою и лет чрез десять позволять им возвратиться в горы. Невозможно, чтобы потом, мало-помалу, всё там не переменилось. Но филантропией с такими людьми ничего не возьмешь: они её и не поймут и ей не поверят.

Впрочем, мы ошибаемся, может быть, как и г. Скасси, который теперь уже верно не ошибается, но только не сознается.

Как часто обман и ложь наводят на истину, особенно в России, и успехи Скасси в рассуждении Керчи могут служить тому примером. Он верно серьезно не думал, чтобы посредством мнимой черкесской торговли мог бы сей город сделаться знаменитым портом: ему хотелось только, пользуясь легковерием министерства, иметь большие суммы в своем распоряжении, строиться, начальствовать, хвастаться, пожить и повеселиться. Он был подле истины, а на нее не попал; видно, он не имел с нею ничего общего.

Главная и первая польза от учреждения Керченского порта есть безопасность от внесения чумной заразы. За исключением одесского градоначальства и его округа, надобно,

чтобы в Керчи был единственный центральный карантин для всей южной России: если чума заберется, в карантин, то там и надобно ее задушить; если она прорвется из-за стен его, тогда оцепить Керчь; когда и тут её не удержат, то весьма легко будет запереть Керченский полуостров, проведя линию только на 30 верст пониже Феодосии и до Арабата; когда она пойдет далее, то необходимо будет отдать ей в жертву весь Крым и поставить стражу на узком перешейке Перекопа и узком же Ениченском проливе, а Россия всё-таки спасена, и на каждом шагу легкие средства могут остановить распространение зла. Но когда она пойдет за Перекоп, то надобно уже быть большому несчастью. Крым можно почитать обсервационным корпусом, Керченский полуостров авангардом, а Керчь с карантинном аванпостами против моровой язвы, сего ужасного врага.

В Таганроге и по всему Азовскому морю должно бы карантинны совсем уничтожить: они стоят больших денег, а на какую они потребу? Положим, что Константинополь и все берега Черного моря принадлежали бы Рос-

сии, теперь содержание портовых карантин-нов и их линий и стражи сто́ит казне до полутора миллиона: во что бы тогда их содержание обошлось? Не лучше ли бы во сто раз было учредить один карантин в Цареграде, укрепить сей единственный пункт, обратить на него всё внимание, соблюдать в нём всю строгость и, по выдержании карантинного термина, пускать корабли гулять по Черному морю и приставать, где им угодно. Всё это было бы и легче, и безопаснее. От большего к малому: Керчь, в отношении к Азовскому морю, точно тоже, что Константинополь к Черному; сама природа поставила тут заставу, и суда ходили бы в Азовское море только на практику.

Как трудно на большом протяжении берегов не просмотреть иногда тайно пристающую лодку; как трудно положиться на казаков, которые обыкновенно содержат кордон, на сих хищных и храбрых людей, которые любят деньги и столь же мало боятся чумы, как и сабельных ударов, чтобы они иногда за рубль всякую всячину не пропустили! В Таганроге, можно сказать, одна только мнимая предосторожность от чумы: брандтвахта сто-

ит далеко от города, а еще далее от неё могут стоять корабли, и она видит только верхи их мачт. Пассажиры, сколько хотят, могут общаться между собою и с кем хотят.

Вот какой ход имела доселе торговля с Таганрогом. Корабли, пройдя Черное море, останавливались в Керчи, выдерживали шестидневный обсервационный только термин; тут отделялись товары, сомнению не подверженные, и отправлялись в Таганрог, где людям и судам всё-таки полный карантин выдерживать надлежало; товары же, приемлющие заразу, посылались в Феодосию морем, слишком сто верст назад и, по выдержании карантина, или по очищении их посредством газа, могли быть отвезены в Таганрог. Из Керчи давались по два гвардиона из отставших солдат на каждое судно, идущее в Таганрог, дабы они наблюдали, чтоб не было сообщения между судами и не было бы на них тайно провозимых товаров. Эти гвардионы на самом небольшом окладе, и потому за безделицу готовы сказать и позволить делать, что шкиперу угодно. Еще случается, что, во время бури на Азовском море, суда требуют помощи

и получают ее от береговых жителей, которые потом никак не объявляют о том, что имели сообщение, и кому то видеть и доказывать? Какие ужасные затруднения для торговли, и всё по пустому: опасность та же. Один Бог спасал доселе Россию: ибо если чума в Таганроге, то ничто её не остановит, и она в Москве.

Теперь будет иначе: с открытием порта в Керчи, могут суда выдерживать здесь весь карантинный термин и очищать товары, не делая в Феодосию понапрасну взад и вперед двести верст. Когда прежде были в Керчи одна карантинная и таможенная заставы, то представить себе нельзя, какие служили тут люди! Немного получше тех, которых посылают работать в рудники; и по сию пору есть еще из них оставшиеся. Вместо шестидневного observationalного термина, и шести часов суда не останавливались; товары, без соблюдения малейшей предосторожности, без пошлин и самые запрещенные, были впускаемы: это была открытая дверь для контрабанды. По бедности края, в счастье, немного её требовалось. Керченские греки получали от того

большую пользу; они вопиют теперь против строгих мер, принимаемых градоначальниками, и говорят, что закрыли, а не открыли Керченский порт. И здесь также Провидение берегло Крым.

Еще раз должно повторить: по всему Азовскому морю и в Таганроге ничего карантинного не нужно; это одна лишняя издержка. Лучше и проще будет все предосторожности сосредоточить в Керчи, назначить в ней карантин опытных и надежных чиновников, а потом уже возложить на градоначальника самую строгую ответственность. По выдержании здесь карантина, пускай корабли всякой величины идут себе в Азовское море, если хозяевам их будет охота. Тогда только можно будет ручаться за безопасность России.

Азовское море, по уверению Дюро-де-Ламалля, со времен Геродотовых, уменьшилось на целую треть. С каждым годом упадают его воды приметным образом; низкие берега его, большие заливы и великое число озер, в близком расстоянии от него находящихся, показывают, как далеко оно прежде простиралось. Теперь его почитать должно более Дон-

ским лиманом, чем морем; все морские карты, которые с него снимались, неверны, ибо каждый год переносятся его мели: где была прошлого года подводная песчаная коса, там ныне стало глубоко, а где была глубина, там обмелело. Суда, которые берут более двенадцати футов воды, по нём ходить не могут; бури бывают на нём сильнее, чем в самых больших морях, пристать почти негде, а более пятисот верст должно сим морем идти.

Одна крайняя необходимость заставляет бедных мореплавателей и купцов ежегодно подвергать себя на нём чрезвычайным опасностям. Учреждение порта в Керчи всех их радует: они надеются, что торговля вся из Таганрога перейдет сюда, и что все нужные им предметы будут доставляться к ним оттуда посредством каботажных судов. Нам случилось чрез переводчика толковать о том с шкиперами; на вопрос, не будет ли им дороже обходиться покупка русских товаров, когда продавцы их должны будут делать новые издержки, платя за транспорт их от Таганрога в Керчь, и сами они по той пропорции не будут ли возвышать цену товаров, ими приво-

зимых? Они отвечают, что, если счесть опасности, с плаванием по Азовскому морю сопряженные, все их риски, большие проценты, которые должны они платить, застраховывая товары и суда, и более всего время, которое они теряют: то теперь-то должны они товары свои гораздо дороже продавать, чтобы получить какой-нибудь барыш. Действительно, вместо одного рейса, который могут они сделать каждый год в Таганрог, три раза могут они прийти и уйти из Керчи: противные ветры в Азовском море, льды, которые долго покрывают устье Дона, и ранняя зима мешают тому в Таганроге.

Надобно знать, что это такое Таганрогский порт. Когда постоянно дуют северо-восточные ветры, то вода на двадцать верст от него уходит, иногда приближается к нему, но редко посещает его берега. Приходят корабли в Таганрог. Говорят, пришли в него те, которые никогда не бывали, спрашивают, где же порт, где же город? Им указывают, и они, с помощью зрительной трубки едва могут их открыть. Многочисленное сухопутное войско могло бы эту гавань обратить в поле битвы.

Царское Село можно также назвать портовым городом, как и Таганрог. Хотели рыть в нём новую гавань, исправить и продлить молы; восемь миллионов исчислено на то по смете, их будет недостаточно, и всё будет по пустому.

Умерший уже ныне государственный контролер, барон Кампенгаузен, бывший долго Таганрогским градоначальником, человек чрезвычайно умный, ученый и благонамеренный, был ослеплен на счет Таганрога, как мать, которая не видит пороков детей своих. Он так сильно был убежден в выгодах таганрогской торговли, так искусно умел изображать их, что, имея доступ к покойному Государю, и его заставил любить сей город, с именем которого теперь неразлучны самые горестные воспоминания.

Когда с таким портом, из которого товары везутся верст пять или шесть на телегах, грузятся потом на маленькие лодки, на них подвозятся к кораблям и там уже окончательно перегружаются, когда со всеми неудобствами плавания по Азовскому морю, торговля идет довольно хорошо, то чего не можно ожидать,

когда умножится число каботажных судов и товары на них будут привозиться к безопасному порту, к которому отовсюду подходить будет близко и легко? Теперь немногие смельчаки дерзают пускаться к Таганрогу; тогда число купцов и требований на пшеницу, коровье масло, икру, сало, железо и прочее и прочее утроится. Выгоды, которые получают от него внутренние Российские губернии, неисчислимы. Если даже каналом и не соединять Волгу с Доном, но только чтоб хорошенько населилось это шестидесятиверстное пространство между Дубовской и Голубинской станицами, и взята бы была привычка возить этим волоком: то из Сибири потекут товары в Черное море и далее.

Каботаж! Каботаж! На размножение его должно быть устремлено всё внимание местного начальства, он будет новой отраслью народной промышленности. У нас очень мало купеческих кораблей: он будет основанием купеческого «лота, из прибрежных жителей, особливо же из Черноморских казаков; он образует хороших матросов для сего флота, а уже о прибыли, которую получают хозяева ка-

ботажных судов, и говорить нечего. Теперь, говорят, таковых судов есть до трехсот; правительство помогает всякому, кто хочет строить новые, ссудою в 4 т. рублей, число их умножится; но как бы ни увеличилась торговля, восьмисот будет достаточно для всех торговых операций по Азовскому морю.

Большую взаимную помощь могут ожидать друг от друга Керчь и Мелитопольский уезд, который заключается между Днепром и Азовским морем. По берегам его, лет с двадцать тому, поселились менонисты и составили немецкие колонии; трудолюбие произвело чудеса: колонии эти похожи на прекрасные сады, между коими разбросаны опрятные домики; хлебопашество, пчеловодство, садоводство, всё в лучшем состоянии, всякие ремесла производятся с успехом. Такой пример не мог остаться без подражателей, он имел чрезвычайно полезное влияние на соседственные русские селения весьма зажиточных раскольников, в великом числе за наказание туда сосланных. Один французский эмигрант, граф Мезон, из малого числа иностранцев, кои принесли России существен-

ную пользу, поселился между кочующими вокруг ногайцами, принял их образ жизни, получил их совершенную доверенность и, беспрестанно показывая им на счастливую жизнь трудолюбивых немцев, старался и их склонить к домоводству. Один Бог знает, каких трудов ему это стоило; он лишился здоровья, и в одной из драв между сими бешеными, иногда возмущенными против своего наставника и благодетеля, ему переломили ногу. Но с постоянною непреклонною волею он достигнул желаемого: ногайцы бросили кочевать, начали строить дома и пахут хлеб. Уже построен и город Ногайск, а граф Мезон живет в Симферополе, в отставке и бедности!

Вся эта сторона, которая примыкает к Екатеринославской губернии и Мариуполю, а с другого бока к Ениченскому проливу, населилась чудесным образом; всё цветет... но цветет в пустыне. Жителям сих мест возить свои изделия в Таганрог далеко, дорого, и они не сбудут их; подвоз из других мест слишком велик, а в Керчь хотя и близко, но не за чем: там еще ничего нет. Сообщения с другими частями России они имеют мало; всё употребляет-

ся, всё издерживается на месте. Однако же, в одном большом селении, Молочных Водах, завелась ежегодная ярмарка, куда все эти Мелитопольские жители съезжаются: год от году она становится богаче, разнообразие и пестрота нарядов чрезвычайно на ней занимательны, и четырнадцатью разными языками говорят там торгующие. Замечания достойны также в сем уезде: Бердянская коса, весьма населенная и принадлежащая графу Орлову-Денисову, и Обиточная пристань, самая лучшая по всему Азовскому морю. Когда покойный Государь проезжал чрез сии места, то не мог ими налюбоваться и до глубины сердца был тронуть пепритворным усердием жителей; это было за несколько дней до его кончины.

Многие думают, что с возвышением Керчи упадут Феодосия и Таганрог, жалеют о бедных жителях, которые от того разорятся, жалеют и о потере сумм, которые казна уже на строение и поддержание сих городов употребила. Если Керчь место неудобное для торговли, то чего бояться Таганрогу и Феодосии? Этот новый порт их не подорвет. А если выгоды от

учреждения сего порта очевидны, то зачем же упрямитесь, и для того, что уже раз сделана ошибка, не думать ее исправлять? Феодосия не упадет, ибо уже она давно упала и никогда высоко не подымалась; Таганрог не упадет, а перестанет только быть приморским городом (чем он, впрочем, и никогда не бывал) и останется весьма значительным пунктом для торговли, складочным местом и богатою речною пристанью, как Гжатск, Моршанск и Рыбинск.

Возьмем географическую карту, взглянем на место, где находится Керчь, и внимательно рассмотрим удивительное положение сего города. Вообразим себе, что уже он отстроен, богат, и что торговля его в полном действии. На Северо-западе видим мы Дон, которым произведения природы и искусств текут из самых недр России в Нахичевань, Ростов и Таганрог, а оттуда каботажем по Азовскому морю, при попутном ветре, в полторы сутки привозятся в Керчь; прямо на Север видим мы этот Мелитопольский уезд, которому соседство Керчи дает новую жизнь и который беспрестанно с нею сообщается чрез Обиточ-

ную пристань, откуда морем в Босфор обыкновенно езды бывает десять часов; немецкие ремесленники, всякого рода мастеровые, приходят оттуда и находят в Керчи занятие и хлеб. На Востоке, в виду Керчи, на противоположном азиатском берегу, встречаем мы черноморских козаков, между русскими более других в грубых нравах затвердевших людей; для них вблизи светит новый свет; долго отворачиваются они от него, но, наконец, приывают к нему, получают навыки к людности и чувствуют потом потребность знания. Немного подалее, верстах во ста, турецкая крепость Анапа; она взята (или непременно будет взята, всё равно) и сделалась одним из рынков Керчи. По старой привычке приходят в нее горские народы, но находят уже всё новое, мало-помалу осмеливаются идти далее, и в Керчи узнают, наконец, что такое европейское образование. К юго-западу сообщение с Редут-Кале и Мингрелией бывает с небольшим в сутки, а если будет чрез горы и леса учреждена оттуда дорога к Араксу, то можно легко будет получать товары из Персии; в два-три дня поспевают корабли к Керчи от

Анатольских берегов, из Синопа и Требизонда, и доставляют оттуда всё потребное для азиатской роскоши. К Западу весь Крым, который, участвуя в успехах Керчи, будет ей обязан улучшением своего состояния. Или вся черноморская торговля одна только мечта для России, или Керчь есть важнейший её пункт.

Но когда всё это будет? Вот чего никто угадать не может. При таком положении дел, как ныне, скоро сего ожидать нельзя. Генерал-губернатор живет за семьсот верст и так пристально заняться одной Керчью не может, а всякий градоначальник скоро восчувствует всю неприятность своего положения. Лишенный всех удовольствий жизни, в сомнительной надежде со временем сделать себе имя, он будет за всё отвечать, со всех сторон будет связан, никакой почти не будет иметь власти, ничего полезного, по мнению своему, он предпринять будет не в состоянии, и тем только будет озабочен, чтобы обороняться от Скасси и беспокойных греков. Скоро всё надоест ему, другой заступит его место и также долго не останется. В сих частых переменах

безо всякой пользы будут проходить годы.

Если бы кто-нибудь из военных генералов с достаточными сведениями, лично известный Государю и пользуясь его Монаршей милостью, согласился принять сие место, и хотя остался бы в зависимости генерал-губернатора, но ему дано бы было более простора, и если бы Скасси ему подчинили, а что еще лучше и того, и совсем бы удалили: то дело пошло бы тогда иначе. Еще бы того лучше, если б Феодосийское градоначальство вовсе уничтожили, весь округ его присоединили к Керченскому и, по промеру Таганрога, назвали бы градоначальника Керчь-Еникольским и Феодосийским[96].

На первый случай позволило бы мы себе предложить правительству нижеследующее.

Прежде всего, внушить грекам, что Керчь перестала быть греческой колонией с тех пор, как она объявлена русским портовым городом, что люди всех наций могут в нём селиться и имеют с греками равные права на владение землей, озерами и прочим, с чего ныне греки собирают доход и делят между собою, а другие им за то платят. Новыми привилегия-

ми должны уничтожиться те, которые дарованы в 1776 году. После того сыщется много охотников переходить сюда, от времени до времени чрезвычайно будет умножаться число жителей, и, наконец, во всей массе поглотится греческая нечистота.

Потом надобно, чтобы правительство озаботилось приискать хотя одного капиталиста, который бы взялся построить дом, магазины и учредить контору в Керчи, заблаговременно скупил бы в Таганроге большое количество пшеницы и, при наступлении навигации, нанял бы каботажные суда, чтоб перевезти ее, и здесь остановил бы корабли и предложил им продажу: они с благодарностью согласятся. От этого первого шага всё будет зависеть: обедневшие негоцианты феодосийские и так уже помышляют сюда перейти и дожидаются только, чтоб им подан был пример; таганрогские пришлют сюда поверенных, вот и начнется торговля. Большой необходимости нет, чтоб капиталист сей был купец, он может быть дворянин и помещик; например, один русский богач, именно Николай Никитич Демидов, давно уже живет и ве-

селится в чужих краях, но не забывает и любит отечество и на всякое общепольное в нём дело готов. Если б кто захотел возбудить его самолюбие и патриотизм, то он бы пожертвовал на сие предприятие большие суммы; он от того бы не разорился, а напротив чрез то увеличились бы его золотые горы; его бы, по всей справедливости, можно было назвать основателем Керчи, и он оставил бы по себе славную память. Стоит ему только прислать приказчика и деньги, — и Керчь будет настоящий портовый город.

Надобно будет подумать также о том, чтобы сократить и облегчить сообщения Керчи с близлежащими местами. Для того надобно сначала устроить хороший мост чрез Ениченский пролив, который имеет ширины только шестьдесят сажень; теперь на нём самая дурная переправа, которая отнимает охоту обоим идти гужем чрез Арабатскую стрелку; но, несмотря на то, более шестидесяти тысяч телег ежегодно чрез нее проходят. Назначив самую умеренную пошлину с каждой телеги, можно быть уверену, что в три месяца окупится мост, а потом казна будет получать с

него порядочный доход.

Всего нужнее будет для здешних мест купить пароход, который бы два раза в неделю ходил из Керчи в Тамань и обратно и перевозил бы почту и проезжающих. Керчь стоит до сих пор в совершенном уединении, никто через сей город не ездит, до него есть почтовые станции, опять начинаются они от Тамани, но между сими городами сообщение прерывается иногда на несколько дней, а иногда более чем на неделю. Потому-то никто не ездит через Керчь на Кавказ, хотя бы сей дорогой, по которой везде есть почтовые станции, можно едущим из Киевской, Волынской, Подольской и Херсонской губерний на Кавказ и в Грузию, выбросить до шестисот верст. Катера и рыбацьи лодки могут идти на гребле и против ветра, но должны употребить очень много времени. Никакого экипажа и ничего тяжелого с собой взять не могут, и при малейшей буре подвержены большей опасности; одни казенные лансоны могут перевозить тяжести, но они должны идти при благоприятной погоде, а частными людьми употреблены быть не могут. Теперь если из Керчи кто вздумает пи-

сать в Тамань и письмо отдаст на почту, то оно обойдет всё Азовское море, сделает чрез Симферополь, Орехов, Таганрог, Черкасск. Ставрополь и Екатеринодар более 1600 верст, и придет чрез три недели, а Тамань в глазах. Пароход соединил бы столь близкие и в тоже время столь отдаленные места.

На покупку парохода и доставку его нужно будет, по крайней мере, сто тысяч рублей. Где их взять бедным жителям Керчи? Надобно, чтобы казна дала их займы и с обыкновенными процентами. Остальные пять дней в недели будет пароход сей расхаживать по Босфору и проводить суда. Надобно знать, что хотя Керченская бухта и чудесная, но вход в нее опасен: фарватер глубок, но весьма не широк, везде есть подводные косы, часто суда по неосторожности попадают на мель и дают сто, двести и пятьсот рублей, чтобы их стащили. Также и выход из Керченского порта, а особливо из Босфора, затруднителен: из тридцати двух ветров только под четырьмя можно выбраться в Азовское море, и надобно выжидать их; хозяева судов дают Бог знает что, дабы их выпроводили, и они могли выиграть

время, от которого в торговле очень много зависит. Пока иностранные корабли продолжают ходить в Таганрог, да и после круглый год, пароход бы действовал и в два года наверно выработал бы сумму, достаточную, чтобы расплатиться с казною. После того остался бы он для города Керчи главнейшим источником его доходов.

Сколько еще полезного можно предложить, сколько есть еще предметов, коих усовершенствование, не обременяя казны, могло бы быть благодеянием для рождающегося города! Но кто будет слушать наши предложения? Кто поверит их пользе? Искусства Скасси мы не имеем. Нам не суждено видеть счастливые дни Керчи, до них еще далеко; в ожидании их будут для нас проходить годы в одиночестве, вдали от всего привычного, знакомого, родного и милого, и в беспрестанной борьбе с злобою и коварством людей; такая убийственная жизнь продлиться не может. Пусть же другие, здоровее, терпеливее и счастливее нас, предпринимают и действуют; пусть они увидят то, чего нам желать только позволено. Нам же ничего более не остается

делать, как окончить сию записку, положить перо и, может быть... скоро проститься с Керчью. Дай Бог не видать сего города, пока он совершенно не преобразится!

Едва сия записка была окончена, как гром Наваринской победы огласил Новороссийский край, и в то же время, с другого конца, прилетело известие о покорении Эривани и Тавриса. Какое удивительное влияние сии происшествия будут иметь на участь здешних мест! После долгого, беспокойного сна какое счастливое пробуждение! Какая новая эпоха открывается, и какой ряд новых побед сии первые победы обещают! Поклонники Лжепророка опять везде бледнеют перед русскими. О русский Бог и Бог вселенной, не даром Тебя соотечественники мои себе присвоили, и сами себя, друг друга и весь живот свой Тебе предали! Всегда и везде являешь Ты себя покровом избранного Тобою народа. О русский Бог, храни же всегда Русского царя и Русское царство и лишенного всех радостей земных утешай хотя благоденствием и славою Отечества его!

Примечания

Не надобно смешивать ее с другою госпожою Крюднер, также великой грешницей, немкой, которая гораздо после неё в Россию к нам пожаловала.

[^^^]

2

В переписке с Великим Фредериком известный безбожник, барон Гримм, говорит про нее следующее: Эта госпожа Naudin как бывало ни пойдет к обедне, дома у неё случится какое-нибудь несчастье. Когда неоднократно сие повторилось, она воскликнула: «Господи, прости меня, но даю клятву, что отныне никогда нога моя не будет в церкви».

[^^^]

Два раза Северин был женат; последний раз, лет пятнадцать тому назад на одной немке и от обоих браков не имел детей. Он был несколько времени поверенным в делах в Швейцарии; теперь давно находится посланником в Баварии.

[^^^]

4

Это место было некогда мне предложено и обещано, когда я был еще моложе его и в одинаковом с ним чине.

[^^^]

5

Сие повторение мною сказанного считаю необходимым, дабы привести его на память читателю.

[^^^]

6

В разные времена бывают у нас явления, некоторым образом между собою схожие. Например устройство Государственных Имуществ несколько напоминает собою военные поселения. Все эти испытания, все эти попытки прообразовать Россию суть настоящая для неё пытка. О, эти Европа и просвещение! Они для нас тоже, что свобода для западных народов: сколько ужасов и мерзостей их именем творится!

[^^^]

Мне в Петербурге давал уроки итальянского языка некто Варука, который, вместо того чтобы хвастать своим графским титулом, со-
вестился признаваться в неоспоримых пра-
вах, которые на него имел, и сердился, когда
ему о том напоминали.

[^^^]

Хотя бы, по примеру Ревеля, немцы держали тут иссохший труп какого-нибудь герцога Круа, напоказ проезжим, для потехи своей, для прибыли и для доказательства, что и тела грешников могут быть также нетленны, как мощи. Увы, православное правительство терпит такое бесчеловечное ругательство над святостью могил.

[^^^]

Тут уже не Польша, а продолжение Поморья (Померании) или малая Померания или Померелия, как зовут ее немцы, которая более двухсот лет имела особых князей Самбора, Мистивоя, Вязимира и других. Все они упорно и отчаянно дрались с орденом. Ими основаны Гданск (Данциг), где и была их столица, Сталбо (Столпе) и монастырь Олива, где они и похоронены. На малое это княжество попеременно нападали Бранденбург, рыцари и поляки; окончательно победа осталась за последними. После смерти последнего князя, по пресечении княжеского рода, в четырнадцатом веке, Польша присоединила этот край к своим владениям. И для чего? для того, чтобы в восемнадцатом его отняли у неё немцы.

[^^^]

Если немки великие охотницы наряжаться, зато они и великие мастерицы в этом деле; оттого-то и вкус их к маскарадам. Как бывало в ребячестве с нетерпением ожидал я святок и появления переряженной дворни, по большей части в вывороченных тулупах, так в первой молодости с радостным трепетом видел я, многогрешный, приближение вторника на первой неделе поста, когда бывают так называемые немецкие маскарады. Но, право, очень безвинно вкушал я от сего запрещенного плода; наглядеться на странные, чудные или блестящие наряды, — вот в чём состояла вся моя претензия. Чего, бывало, немки и немцы тут не выдумают! И какая верность, точность в сохранении костюмов! Большая часть из них без масок пресерьезно разговаривают с встречающимися знакомыми, а незнакомым маскированным просто не отвечают. Услышишь, как Рейтценштейнберггоферша богато одета, или как Лисхен мила пастушкой, или как Лоттхен в амазонском платье хорошо держит пику! Всё это степенно тя-

нется церемониальным маршем, и сколько пройдет мимо тебя глупых Фигаро, скучных Пьеро и неподвижных Арлекинов! Не суйся говорить с ними: один с досадою что-то пробормочет, другой отвернется, третий, поучтивее, поклонится и пойдет далее: вот и всё тут. После, когда я был постарее, мне это не только наскучило, даже опротивело. Но когда, сквозь пеструю толпу, заметишь быструю походку, когда под широким простым капуцином угадаешь ловкие движения, будь уверен, что это француженка, поспеши к ней, из-под маленькой черной маски полюбуйся беленькой шейкой, миленьким подбородком и как звезды блестящими глазками, заговори с ней смело: она ответит тебе умно, оригинально, забавно и пристойно, и если слегка кольнет твое самолюбие, то так мило, что скорее захочешь смеяться чем сердиться. Вот наслаждение! Гораздо более богатства, но право не более ума в этих торжественных шествиях, недавно, как великие забавы, введенных в употребление. Да и самые живые картины, где нужно только раздеться, да с минуту неподвижно постоять или посидеть, должны

быть непременно выдумкою немок.

[^^^]

В Англии, приняв учение Виклефа, может быть, заблуждался Ян Гус; зато и был он изжарен на Константском соборе. Жаль, что за догматами веры не обратился он к Царьграду, тогда еще (в 1400 году) турецким мечем не покоренному; Господь Бог спас бы его, а они утвердились бы в Богемии. Хотя немцы и почитают его предтечею Лютера, но поносят его, ибо он первый с успехом дерзнул сильно восстать против католицизма и германизма, враждебных славянской породе. Не менее того, немецкие историки стараются затмить славу неукротимого, неумолимого предводителя гуситов Ивана Жижки и преемника его великого Прокопия. Чехи не смели доньше вступить за них; авось ли между чешскими или нашими писателями найдется, наконец, защитник памяти сих трех бессмертных мужей.

[^^^]

Ровно через две недели после того скончался он в Веймаре от приключившейся ему внезапно болезни. Он был сложения крепкого и мог бы долго прожить; но во время пожара, бывшего в Париже, на празднике у князя Шварценберга, по случаю свадьбы Наполеона, где стореда и невестка самого Шварценберга, спасающейся толпой был он опрокинут и истоптан. Он вышел с обгоревшими волосами и руками и никогда в здоровье своем после того поправиться не мог. Согласно желанию его, похоронили его в церкви Павловского, где императрица поставила ему памятник, с надписью: «Другу супруга моего».

[^^^]

Такая роскошь тогда недавно еще распространилась в Париже; для меня была она предметом удивления в наемной квартире. Ныне, говорят, благодаря успехам промышленности и соревнованию промышленяющих, можно найти ее даже в каморках привратников.

[^^^]

Длинный роман его жизни оканчивается благополучно: он давно живет в Варшаве и, кажется, не имеет нужды делать долги.

[^^^]

Ныне дом этот не существует: его сломали, и на его месте построили прекрасную Церковь Лореттской Богоматери.

[^^^]

Разумеется, что в большой части России между крестьянами нельзя найти такого довольства. Отцы, мужья и братья этих женщин живут в Москве и в Петербурге, сидельцами в лавках, половыми в трактирах, другие извозчиками. Тут на самой проезжей дороге харчевничают они, а в свободное время, без больших затруднений, ловят и продаюсь осетров и стерлядей. Все народ промышленный. Жены их не опалаются летним зноем, рано не отцветают, не знают утомительной полевой работы, одну только домашнюю: шьют, ткнут, прядут, стряпают, да разве занимаются коровником. Вот почему они скорее принадлежать к разряду мещанок.

[^^^]

Ужасное слово, при котором для спасения жизни все должны были падать ниц дабы захватившим судно дать время ограбить его.

[^^^]

Гаврила Герасимович Политковский, некогда правитель канцелярии министра финансов, графа Васильева, потом директор Медицинского Департамента, губернатор и наконец сенатор, человек умный, тонкий, проворный, но надобно полагать бескорыстный, ибо ничего почти не оставил сыновьям своим, которые зато умеют наживать миллионы или нечто на то похожее.

[^^^]

Меньший брат его, барон Лев Карлович, ныне в числе московских вельмож.

[^^^]

Подобно росту своему, Виадо впоследствии высоко подняться не мог, а Эспехо имел счастье понравиться старшей дочери Бетанкура, Каролине. В аристократической гордости года полтора родители не соглашались выдать ее за него, видя в нём испанского шляхтича, гидальго. Но где же было взять гранда? Брак состоялся, и это много послужило к его повышению.

[^^^]

После того в двух губерниях был он вице-губернатором, когда водочная продажа не отдавалась на откуп, а находилась в непосредственном управлении казенных палат. Зато ни одного губернаторского места не хотели им замарать. Теперь он управляющим Главного Казначейства в Петербурге.

[^^^]

Её набожность, её уединенная жизнь до высочайшей степени возбуждала любопытство праздных провинциалов; оттого множество догадок, выдумок. Пострижение в монахи одного юноши, воспитанного в доме отца её, подало мысль о целом романе. Утверждали, что когда влюбленные признались князю во взаимной страсти, он объявил им, что брак их дело невозможное, ибо молодой человек его побочный сын и на сестре жениться не может; тогда оба дали обет посвятить себя монашеству. Одна путешественница, английская леди, бывши в Москве, посетила и Троицкую Лавру, где отец Антоний, мнимый любовник, был тогда наместником. Ей рассказали о поэтическом начале его жизни, она составила из этого трогательную повесть и напечатала ее в одном великолепном кипсеке. А я полагаю, что, наследуя упрямству отца, девица просто отказывалась от света, потому что он желал ее видеть в нем и того требовал.

Её добросовестный, ребяческий разврат, сказал Лермонтов.

[^^^]

Тогда во Франции часто повторялся стих Вольтера: «Первый кто попал в короли, был счастливый солдат».

[^^^]

Жуковский, слушая иногда суждения сих господ, говаривал им: «Послушайте, ребята; ведь вы ребята».

[^^^]

Я было и забыл сказать, что сумасбродная и неизъяснимо-привлекательная единственная дочь его Стефания еще в 1818 году вышла за любезного моего Базена. Мы очень с ней подружились, и у неё-то часто встречал я забавника отца её.

[^^^]

Стихи Пушкина, в *Евгении Онегине*.

[^^^]

С ним случился тогда презабавный анекдот. Екатерина приняла его у себя в кабинете, осыпала ласками и велела ему быть при представлении в Эрмитажном театре, только в закрытой ложе. Он в ней соскучился, пошел бродить за кулисы и забрался на самый верх. Уставши, присел он на какое-то седалище, которое вдруг стало опускаться; он закричал, его успели приподнять, и видны были одни только его ноги. Это было облако, на котором был должен спускаться Меркурий. Что, если б он показался двору и приедем гостям? Екатерина очень смеялась, когда ей рассказали об этом апропо.

[^^^]

Карбоньер скоро оправдался и перешел в военно-инженерное ведомство; а Вельяшев даже умер под судом.

[^^^]

Смирный, честный и трудолюбивый помощник Ранда, совсем на него непохожий.

[^^^]

В это царствование ленты и звезды сохраняли еще свою цену; их не бросали на всех медиков, профессоров, архитекторов и тому подобных людей. Если который из них, бывало, получит орден в петлицу или на шею, то бывал тем счастлив на всю жизнь. Когда знаменитому Гваренги дали Владимирский крест 4-й степени, он не снимал его и всегда подписывался с тех пор Cavaliere di Guarenghi.

[^^^]

Один случай покажет всю бесчувственность этого бессовестного человека; мне его рассказывали очевидцы. Когда он начальствовал в Бухаресте, занял он у одного провиантского чиновника до десяти тысяч казенных денег. Вскоре другой чиновник приехал первому на смену и стал требовать сдачи. Тот убедительно умолял должника о заплате, представляя, что он рискует попасть под суд и быть разжалован. «Подожди, помилуй, неужели ты мне не веришь?» всегда был ответ; последний же был — приглашение к себе на бал. Несчастный явился и в промежутке танцев стал посреди залы и воскликнул: «Знаете ли, господа, мы у кого? У злодея, у вора». С тем вместе вынул он пистолет и тут же застрелился. «Мой Бог (известная поговорка Милорадовича), — закричал он, — что это значит? Велите скорее вынести этого сумасброда», а после того, как бы ни в чём не бывало, принялся за мазурку.

После вышла она замуж за немецкого учителя гимназии Мауса. По смерти его она, как путная, как грамотная, сделалась гувернанткой при детях в одном честном дворянском семействе, в уезде живущем. О Русь, с её алчностью к европейскому просвещению!

[^^^]

Шишков стал называться министром народного просвещения и главноуправляющим духовными делами иностранных исповеданий.

[^^^]

Действительно, не прошло двух лет, как обе старухи скончались в неоплатных долгах. И некогда богатая невеста, бедная Панчулидзева, должна была искать себе пропитания, определившись в Смольный монастырь инспектрисою классов.

[^^^]

В Одессе не нужно говорить каменный дом, ибо в целом городе один только деревянный, русским купцом за большие деньги на славу построенный.

[^^^]

Следуя принятому моими сослуживцами обыкновению, отныне не иначе буду называть Воронцова. Говоря о других графах, прибавляли они их фамильные имена; этот один был для них просто граф настоящий; иногда прибавляли они только слово наш.

[^^^]

В этом доме продолжал жить Инзов, даже когда оставил должность наместника; граф Воронцов согласился, чтобы из областных доходов был он для него нанят. Он был построен весьма непрочно и поврежден землетрясениями. Вместе с стареющим жильцом своим приходил он в разрушение. Теперь, слышно, он в развалинах.

[^^^]

Следующим летом веселил он всю Одессу. Ему вздумалось прикинуться влюбленным в единственную дочь князя Петра Михайловича Волконского, которая находилась тут с матерью. Ни той, ни другой не был он представлен, а первую преследовал он на бульваре с апельсинами и конфетами. И хотя они не были приняты, через кого-то предложил он свою руку. Отказ смутил бы другого; его нима-ло, и бедная княжна не могла выйти на улицу, на гулянье, чтобы не видеть его по пятам своим. Наконец, принуждены были его куда-то отправить с комиссией.

[^^^]

Забавно, что будущий зять её ***, уже женатый на её дочери, рассказывал при мне будто в порицание нравов Екатеринына века, как он в ребячестве был очевидцем этого срама.

[^^^]

Нет сомнения, что польки заимствовали у евреек сию страсть к покорению всемогущих. Сколько есть между ими Эсфирей! И сколько бедных русских генералов, запутанных в сети даже простонародных Юдифей, как Олоферны, теряют головы, и оттого хладеют в своему отечеству!

[^^^]

Всё это, говорят, ныне существует, благодаря неусыпным попечениям молодого еще и деятельного градоначальника Левшина.

[^^^]

Случилось нечто забавное: творение сие с язвительными замечаниями Блудова отправлено было обратно к полномочному наместнику. А как Инзов продолжал исправлять сию должность до самого приезда графа Воронцова, а тот промешкал в дороге, то оно успело еще попасть в руки самого автора. Можно себе представить стыд и гнев последнего!

[^^^]

Раз сказал он мне: — Вы, кажется, любите Пушкина: не можете ли вы склонить его заняться чем-нибудь путным под руководством вашим? — Помилуйте, такие люди умеют быть только что великими поэтами, — отвечал я. — Так на что же они годятся? — сказал он.

[^^^]

Когда начальник в негодовании делал подчиненному строгое замечание, между военными это называлось распекать, а между штатскими дать напругай. Сии слова, кажется, начинают вовсе выходить из употребления, и для того одно из них хотел я здесь сохранить.

[^^^]

Раз на танцевальном вечере у графа случилось мне сидеть между Раевским и графом Александром Потоцким, братом *** и по доброты своей выродком из Потоцких. Он сказал мне на ухо: «позвольте мне вас предостеречь, вы так откровенно и приятенно разговариваете с вашим соседом, может быть, не зная, что это самый опасный и ядовитый человек». Я поблагодарил его и сказал потихоньку, что с такими людьми всегда говорю осторожно.

[^^^]

Эти Замечания составляют приложение к шестой части Записок Ф. Ф. Вигеля. Написано в октябре 1823 года.

[^^^]

Жители Лифляндии, Эстляндии и Курляндии суть маймисты и латыши, владеют же ими немецкие рыцарские фамилии. Минская губерния, Волынь и Подолия населены русскими греческого исповедания, а управляются поляками-католиками. Финны населяющие Финляндии не имеют ничего общего, ни происхождения, ни языка со шведами, которых они не любят, но которых законами они управляются. Христианская Грузия была под игом персов-магометан; Польшей до нас владели саксонцы или французы, а Молдавией греки, по назначению турок, и первых они еще более ненавидят, чем последних.

[^^^]

Тогда еще не было двух членов от короны. Наместник имел голос как председатель; но пять депутатов, маршал и чиновник от короны, которые почти все молдаване, имели всегда на своей стороне большинство голосов.

[^^^]

Сие тем между прочим доказывается, что, для уменьшения его наружной важности в глазах жителей, самый дом, для его заседаний избранный, по тесноте своей и безобразию едва ли бы приличен был для помещения нижнего земского суда.

[^^^]

Он перешел через Прут со своими цыганами и арнаутами почти вооруженною рукою. В то время была чума, и он не соглашался выдержать карантин, пробился сквозь кордон и за то был посажен тогдашним правителем Стурдзою в Измаильскую крепость, где и просидел несколько месяцев. Сим наказанием был он избавлен от ссылки.

[^^^]

Генерал Инзов, по самым неоспоримым доказательствам его земляков, снял с него после чин спатаря или полковника, им самовольно присвоенной, и оставил его по прежнему меделничером, то есть, по нашему, много-много губернским секретарем.

[^^^]

Два года сряду проводил он у генерала Бахметева всё свободное от службы и плутней время и пользовался неограниченной его доверенностью. Выходя от него, бежал он домой, чтобы сочинять молдаванам на него просьбы. Добродушный и простосердечный Бахметев не хотел тому верить до тех пор, пока принесли ему в доказательство черновые бумаги. Сама природа отличила его цветом предателей: у него шерсть рыжая, как у Иуды.

[^^^]

Законная супруга Курика, горбатая Васти его, живет в заточении и умирает с голоду в Севастополе. Прожив или присвоив себе приданный её капитал, не хочет он о ней теперь и слышать.

[^^^]

Все его строения отличаются непрочностью, а о знании и вкусе уже и говорить нечего; всякий тринадцатилетний воспитанник Академии Художеств имеет право осмеять его.

[^^^]

Оргеевский цынут, в котором находится Кишинев, отменно изобилен лесом, а владельцы домов скупаются сделать деревянных выкрашенных заборов и огораживают плетнем, на который накидывают хворост такой длины, что подле заборов ходить нельзя.

[^^^]

Один приезжий, слыша беспрестанно слова: *Семираш, Околаш, Калараш*, и получив истолкование оных, заметил довольно забавно, что по мнению его всё это *Ералаш*.

[^^^]

Шестидесятипятилетний Башот не позволяет пятидесятипятилетней жене своей говорить с мужчинами.

[^^^]

По настоящему, здесь голоду никак быть не может. Жители сеют единственно для продажи пшеницу и арнаутку, но для собственного употребления кукурузу или папушой. Мука, вымалываемая из сего растения может безвредно сохраняться двадцать лет, а при хорошем урожае, одно зерно производит шестьдесят. Но правительство и помещики беспечны, и жители умирают иногда от недостатка в пище.

[^^^]

Исключая русской и сербской, в одной только молдавской азбуке находятся литеры *ща*, *ер*, *еры*, и произносятся точно так, как у нас. Оттого-то молдаване так скоро выучиваются по-русски и так хорошо на сем языке выговаривают.

[^^^]

Сама судьба хочет показать, что не быть здесь добру без русских: как нарочно, почти все те, которые здесь служат, Жаданов в исполнительной экспедиции, Таиской в казенно-экономической, Хотяев в уголовном суде и многие другие отличаются честностью, прилежанием и способностями; или, может быть, они так кажутся подле молдаван.

[^^^]

Екатеринославский гражданский губернатор Петр Иванович Берг, согласно желанию своему, был в том же звании переведен в Подольскую губернию. Через шесть месяцев подал он в отставку, уверяя, что если еще полгода, то его на свете не будет.

[^^^]

Я ошибся, сказав, что в Верховном Совете не оставалось ни одной бороды: у Башота была пребоольшая. Он в Молдавии был спатарем: последний из первых шести классов дающих право носить бороду У нас в России с молдавским платьем всякий мог бы отпустить ее; но такова была сила обычая и уважения к нему, что, исключая имеющих на то право, никто не дозволял себе того.

[^^^]

Гура по-молдавски значит устье реки или
речки.

[^^^]

По дошедшим после до меня сведениям из Константинополя, известие о смерти государя Александра поразило султана Махмуда. Смутьившись, схватил он себя за бороду и сказал: буй-адам, добрый был человек. А наследника его, которого одно имя его устрашало, называл Асланом, то есть разъяренным львом.

[^^^]

Мне сказывал после Ланжерон, что, возвращаясь из Парижа (куда ездил на поклонение Карлу X) и находясь проездом в Веймаре, узнал он о великодушной борьбе двух братьев. Тогда к Великой Княгине, сестре двух братьев, обратил он следующий французский комплимент: «Фамилия вашего высочества так высоко поднялась в общем мнении, что члены её как будто уже не восходят на престолы, а скорее спускаются на них».

[^^^]

Он не ожидал тогда, что некогда будет управлять Новороссийским краем.

[^^^]

Мне его очень хвалили. Целый век прослужив по казенно-экономической части и ничего не нажив, он очень хорошо знал ее, сохранил и умножил порядок, заведенный мною и моим предместником. сверх того, другая тягость возлежала на нём: он почти беспрестанно обязан был исправлять губернаторскую должность. Целый месяц Тимковский ничего не делал, недели по две не распечатывал пакетов, потом сказывался больным или уезжал в область, а Фирсов должен был поправлять сделанные им упущения. И какая была ему за то награда? В начале 1828 года, перед Турецкой войной, граф Воронцов, за что, не знаю, прогневленный, написал к нему язвительную бумагу, которою упрекал его в *жидолюбии*. Несчастный, и без того находившийся в болезненном состоянии, был так этим тронут, что пуще заболел и вскоре умер. Кто бы мог подумать тогда, что этот самый граф делается главным покровителем евреев, и что под его щитом в Новороссийском крае они до того сделаются надменны и дерзки, что станут да-

же обижать христиан?

[^^^]

В Пензенской губернии пойман был в зажигательстве один четырнадцатилетний мальчик. При допросах сознался он, что никогда и никем не был подучаем, не в первый уже раз случается ему сим заниматься, ибо он не знает лучшего удовольствия как смотреть на горящие зоны. Некоторые из сих молодых людей не схожи ли были во вкусах с этим мальчиком?

[^^^]

У французов для названия скромности есть два слова, *modestie* и *discretion*, коих значение различно. Закревской был *discret*.

[^^^]

В это время можно было сравнить ее с началом революции 1789 года, но неизбежно затем должна была последовать эпоха её терроризма.

[^^^]

Это слово всегда употреблял он, разговаривая по-русски.

[^^^]

Véhicule (по дурной привычке я часто употребляю французские слова).

[^^^]

Мне сказывали недавно, что собор выстроен гораздо, гораздо в меньшем размере против предположенного, что прежние стены служат только оградой широкому месту, среди коего он построен; что Потемкинский дворец приобретен городом; что попечением предводителя барона Франка он отделан хорошо и просто, что он служит дворянству для его выборов и его увеселений и что, наконец, на пьедестале возвышающаяся бронзовая статуя Екатерины Великой теряется в неизмеримом пространстве так называемой площади.

[^^^]

Первый из них, Кодинец, был впоследствии поверенным в делах в Тегеране, а второго Ашика к удивлению моему сделали начальником Керченского музея.

[^^^]

После смерти Броневского, сия дачка досталась, по покупке герою Кавказа Котляревскому, который на ней оканчивает славную, болезнями и ранами отягченную; жизнь свою.

[^^^]

Ныне имение сие сделалось собственностью знаменитого живописца нашего Айвазовского.

[^^^]

Старшая дочь его, весьма красивая собою, гораздо после под именем Султанши, удостоилась чести быть фрейлиной при Высочайшем дворе и жить во дворце.

[^^^]

Так как мне не придется более говорить о моих Керченских друзьях и недрузьях, то здесь хочу сказать несколько слов о их участи. Высокое образование не могло сойтись с самым грубым варварством; Синельников не мог ужиться со Стемковским; если у него был недостаток в уме и знании, зато в храбрости был избыток. Он вступил опять в военную службу на Кавказе, получил Георгиевский крест, генерал-майорской чин и вскоре потом убит в сражении с горцами. Гудим давно уже управляющим Херсонскою Палатою Государственных Имуществ. Щиржецкий вскоре после меня переведен непременным членом Екатеринославского Приказа Общественного Призрения, но скоро потом умер. За Шкляренко долго благодарил меня Стемковский в письмах своих, называя его драгоценным наследством, мною оставленным. Вот уже несколько лета как он находится правителем канцелярии Смоленского и Белорусского генерал-губернатора и, кажется, управляет губерниями.

[^^^]

Одна московская дама спросила у одного английского путешественника, какой чин имеет Питт? Тот никак не умел отвечать ей на это. Тогда генеральство ездил цугом, а штаб-офицеры четверней. «Ну, сколько лошадей запрягает он в карету?» спросила она. «Обыкновенно ездит парой», отвечал он. «Ну, хороша же великая держава, у которой первый министр только что капитан», заметила она. Многие и поныне готовы еще так думать.

[^^^]

Еще прежде этой проделки Курика, Воронцов позаботился в это критическое время о поручении Бессарабской области верному и надежному человеку. По его избранию управляющим на время войны назначен приверженец его, Таганрогский градоначальник Дунаев, с сохранением прежней должности. Он приехал в Одессу в одно время со мной, и я имел случай мимоходом с ним познакомиться. Он мне показался тоже человеком армейским, но гораздо более смышленным, чем Богдановский. Пребывание в Таганроге покойного Императора, его болезнь, кончина, потом пребывание Императрицы от начала осени до весны, поставила его в необычное тревожное состояние, от которого едва мог он отдохнуть. Управление Бессарабией довершало расстройство его рассудка; в конце, кажется, этого года он сошел с ума и вскоре потом умер.

Уверяет, будто Воронцов сказал «что дьявол изобрел таможни, а Господь Бог, во благости Своей, послал контрабанду». Может быть, это относится к Одессе, ибо действительно без сей последней она бы много потеряла. Город богатеет, но какая от того прибыль казне, то есть государству, то есть России? Два предместья Пересыпь и Молдаванка населились, красиво обстроились контрабандистами и всякого другого рода грабителями. Как уверяли меня, недавно к их операциям присоединились честные немцы колоний Гросс-Либенталя и Лустдорфа.

[^^^]

Точно также как уездный городок Аккерман, благодаря соседству Одессы, вырос до шестнадцатитысячного населения.

[^^^]

Г. Хлюстин, который по имени должен бы
быть совершению русским человеком; сестра,
его вышедшая в Париже за француза, всегда
подписывалась *née de Custine*.

[^^^]

Не говоря об Англии и об англиканской вере, у протестантов только в Швеции и Дании сохраняется звание епископов. Они то же, что у нас генерал-суперинтенденты, с равными им правами. Нельзя себе представить, до такой степени имя епископа ненавистно лютеранам. У нас всего только был один, первый и последний, Сигнеус, и тот в сем звании переведен из Финляндии, после завоевания её. Король Прусский, который так любил подражать всему тому, что видел в России, учредил в своих владениях два епископства, Бранденбургское и Померанское.

[^^^]

Записка эта в первый раз напечатана, без имени сочинителя, в I-й книге Чтений Императорского Общества Истории и Древностей при Московском Университете 1864 года, но по списку неверному и неполному. П.Б.

[^^^]

Ныне в Керченском музее. См. «Исследование Тмутараканского камня с русскою надписью, Григория Спасского». Спб. 1844 г. П.Б.

[^^^]

Кинбурн или Киль-Бурун и Акиль-Бурун, то есть, Ахиллов нос или мыс, есть крепость, построенная турками на остроконечности Таурической губернии, где кончается лиман Днепра и начинается Черное море, против Очакова и подле длинного острова, Тондры, где, равно как и на мысу сем, было Ахиллово ристалище и праздновались игры в честь сего полубога.

[^^^]

Строить города на неприятельской земле и посреди войны есть древний обычай у русских царей. Еще до Петра Великого и Петербурга выстроен Иваном Васильевичем Свияжск, в 30 верстах от Казани, во время осады сего города.

[^^^]

Сей несчастный хан согласился ехать на житье в Воронеж с 800 тыс. руб. жалованья. Недовольный чем-то, он после изъявил желание отправиться в Константинополь; согласились на то, желая от него отделаться, а его в турецкой столице ожидала честь быть удушенным шелковой веревкой.

[^^^]

В 36-ти верстах оттуда построен был в то же время Овидиополь в честь Овидию, который из ссылки своей в древней Мизии не только за Дунай, но и за Днестр будто бы иногда перебирался. Весьма неравною участью пользуются города Овидия и Улисса.

[^^^]

Достоверно знают в Одессе, что из сей суммы выплачено старшему брату Скасси, только шесть тысяч франков, остальное за ним пропадает. Доктор пишет ко всем, жалуется, называет своего единоутробного мошенником, разбойником, а тот тому только смеется.

[^^^]

Народ называет эту гору просто Митридат. Говорят: «я был на Митридате, я пойду на Митридата».

[^^^]

В армянском городе Нахичевань, подле Таган-рога, житье еще хуже этим невольникам. Как город сей многолюднее, богаче Керчи и весь населен армянами, то защитить русских крепостных людей совершенно некому. Последний мясник имеет собственных слуг и обращается с ними, как европейцы с неграми. Жребий их облегчается, когда они принимают армянскую веру.

[^^^]

Господин Бларамберг столь страстно любящий древность, имеет еще другую страсть: говорить каламбуры и играть словами. В нетерпении своем он говорит: «Il faut absolument que je mette la griffe sur ce griphon», на что ему кто-то отвечал: «Cela sera diffielle, parceque m-r Graperon a mis le grappin dessus».

[^^^]

Таганрогский градоначальник называется также Ростовским, Нахичеванским и Мариупольским.

[^^^]